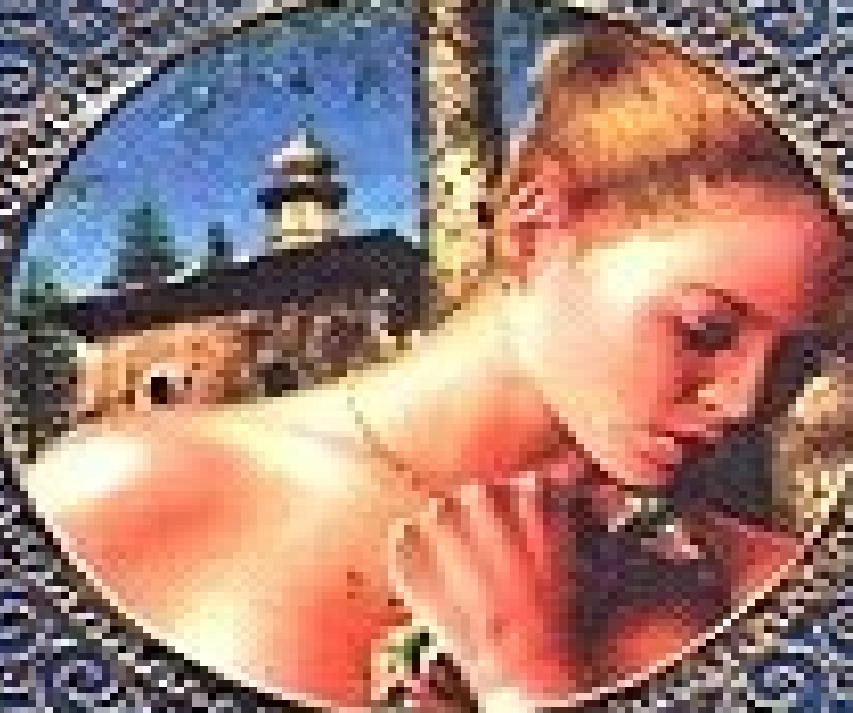


НАДЕЖА ИВАНОВИЧНА  
(АВТОРКА ИСТОРИЧЕСКОГО)  
**В ЛЕСАХ**



## Annotation

Роман П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» занимает особое место в русской литературе XIX века. Посвященный жизни и быту, стародавним обычаям раскольничьих скитов Заволжья, он своим широчайшим охватом действительности, глубоким проникновением в сущность жизненных процессов, ярко реалистическим изображением характеров снискал известность как одно из оригинальнейших эпических полотен русской литературы.

---

- [Павел Иванович Мельников \(Андрей Печерский\)](#)

- [Часть первая](#)

- [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
    - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
    - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
    - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
    - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
    - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
    - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
    - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)

- [Часть вторая](#)

- [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
    - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
    - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
    - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
    - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
    - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)

- [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
- [Часть третья](#)
  - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
  - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
- [Часть четвертая](#)
  - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
  - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)

- [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)

- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)

- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)

- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)



- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)

- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)

- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)

- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)

- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)

- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)

- [425](#)
  - [426](#)
  - [427](#)
  - [428](#)
  - [429](#)
  - [430](#)
  - [431](#)
  - [432](#)
  - [433](#)
  - [434](#)
  - [435](#)
  - [436](#)
  - [437](#)
  - [438](#)
  - [439](#)
  - [440](#)
  - [441](#)
  - [442](#)
  - [443](#)
  - [444](#)
  - [445](#)
  - [446](#)
  - [447](#)
  - [448](#)
  - [449](#)
  - [450](#)
  - [451](#)
  - [452](#)
  - [453](#)
  - [454](#)
  - [455](#)
-

**Павел Иванович Мельников (Андрей  
Печерский)**  
**В лесах**



# Часть первая

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Верховое Заволжье – край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленный и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз до устья Керженца. Ниже не то: пойдет лесная глушь, луговая черемиса, чуваша, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народ там другой: хоть русский, но не таков, как в Верховье. Там новое заселение, а в Заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору – новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву» и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор – с белокаменными стенами, златоверхими церквями, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит, – откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских.

Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сисстари на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина.

В лесистом Верховом Заволжье деревни малые, зато частые, одна от другой на версту, на две. Земля холодна, неродима, своего хлеба мужику разве до масленой хватит, и то в урожайный год! Как ни бейся на надельной полосе, сколько страды над ней не принимай, круглый год трудовым хлебом себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на месте заволжанина давно бы с голода помер, но он не лежебок, человек досужий. Чего земля не дала, уменьем за дело взяться берет. Не побрел заволжский мужик на заработки в чужу-дальнюю сторону, как сосед его вязниковец, что с пуговками, с тесемочками и другим товаром кустарного промысла шагает на край света семье хлеб добывать. Не побрел заволжанин по белу свету плотничать, как другой сосед его галка.<sup>[1]</sup> Нет. И дома сумел он приняться за выгодный промысел. Вареги зачал вязать, поярок валять, шляпы да сапоги из него делать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, весовые коромысла чуть не на всю Россию делать. А коромысла-то какие! Хоть в аптеку бери – сделаны верно.

Леса заволжанина кормят. Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит да красит; гребни, донца, веретена и другой щепной товар работает, ведра, ушаты, кадки, лопаты, коробья, весла, лейки, ковши – все, что из лесу можно добыть, рук его не минует. И смолу с дегтем сидит, а заплатив попенные, рубит лес в казенных дачах и сгоняет по Волге до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, слег и всякий другой лесной товар. Волга под боком, но заволжанин в бурлаки не хаживал. Последнее дело в бурлаки идти! По Заволжью так думают: «Честней под оконьем Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть». И правда.

Живет заволжанин хоть в труде, да в достатке. Сысстари за Волгой мужики в сапогах, бабы в котах. Лаптей видом не видано, хоть слыхом про них и слыхано. Лесу вдоволь, лыко нипочем, а в редком доме кочедык найдешь. Разве где такой дедушка есть, что с печки уж лет пяток не слезает, так он, скуки ради, лапотки иной раз ковыряет, нищей братье подать либо самому обуться, как станут его в домовину обряжать. Таков обычай: летом в сапогах, зимой в валенках, на тот свет в лапотках...

Заволжанин без горячего спать не ложится, по воскресным дням хлебает мясное, изба у него пятистенная, печь с трубой; о черных избах да соломенных крышах он только слышал, что есть такие где-то «на Горах».<sup>[2]</sup> А чистота какая в заволжских домах!.. Славят немцев за чистоту, русского корят за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тем славильщикам, не то бы сказали. Кто знаком только с нашими степными да черноземными деревнями, в голову тому не придет, как чисто, опрятно живут заволжане.

Волга – рукой подать. Что мужик в неделю наработает, тотчас на пристань везет, а поленился – на соседний базар. Больших барышей ему не нажить; и за Волгой не всяк в «тысячники» вылезет, зато, как ни плоха работа, как работников в семье ни мало, заволжанин век свой сыт, одет, обут, и податные за ним не стоят. Чего ж еще?.. И за то слава те, Господи!..

Не всем же в золоте ходить, в руках серебро носить, хоть и каждому русскому человеку такую судьбу няньки да мамки напевают, когда еще он в колыбели лежит.

Немало за Волгой и тысячников. И даже очень немало. Плохо про них знают по дальним местам потому, что заволжанин про себя не кричит, а если деньжонок малу толику скопит, не в банк кладет ее, не в акции, а в родительску кубышку, да в подполье и зарует. Миллионщиков за Волгой нет, тысячников много. Они по Волге своими пароходами ходят, на своих паровых мельницах сотни тысяч четвертей хлеба перемалывают. Много за Волгой таких, что десятками тысяч капиталы считают. Они больше скупкой горянщины<sup>[3]</sup> да деревянной посуды промышленляют. Накупят того, другого у соседей, да и плавят весной в Понизовье. Барыши хорошие! На иных акциях, пожалуй, столько не получишь.

Один из самых крупных тысячников жил за Волгой в деревне Осиповке. Звали его Патапом Максимычем, прозывали Чапуриным. И отец так звался и дедушка. За Волгой и у крестьян родовые прозвания ведутся, и даже свои родословные есть, хотя ни в шестых, ни в других книгах они и не писаны. Край старорусский, кондовый, коренной, там родословные прозвища встарь бывали и теперь в обиходе.

Большой, недавно построенный дом Чапурина стоял середь небольшой деревушки. Дом в два жилья, с летней светлицей на вышке, с четырьмя боковушками, двумя светлицами по сторонам, с моленной в особой горнице. Ставлен на каменном фундаменте, окна створчатые, стекла чистые, белые, в каждом окне занавеска миткалевая с красной бумажной бахромкой. На улицу шесть окон выходило. Бревна лицевой стены охрой на олифе крашены, крыша красным червляком. На свесах ее и над окнами узорчатая прорезь выделана, на воротах две маленькие расшивы и один пароход ради красы поставлены. В доме прибрано все на купецкую руку. Пол крашеный, – олифа своя, не занимать стать; печи-голландки, кафельные, с горячими лежанками; по стенам, в рамках красного дерева два зеркала да с полдюжины картин за стеклом повешено. Стулья и огромный диван красного дерева крыты малиновым трипом, три клетки с канарейками у окон, а в углу заботливо укрыты платками клетки: там курские певуны – соловьи; до них хозяин охотник, денег за них не жалеет.

По краям дома пристроены светелки. Там хозяйские дочери проживали, молодые девушки. В передней половине горница хозяина была, в задней моленная с иконостасом в три тябла. Канонница с Керженца при той моленной жила, по родителям «негасимую» читала. Внизу стряпущая, подклет да покои работников да работниц.

У Патапа Максимыча по речкам Шишинке и Чернушке восемь токарен стояло. Посуду круглую: чашки, плошки, блюда в Заволжье на станках точат – один работник колесо вертит, другой точит. К такому станку много рук надо, но смышленный заволжанин придумал, как делу помочь. Его сторона место ровное, лесное, болотное, речек много множество. Больших нет, да нет и таких, что «на Горах» водятся: весной корабли пускай, в межень курица не напьется. В песчаных ложах заволжских речек воды круглый год вдосталь; есть такие, что зимой не мерзнут: летом в них вода студеная, рука не терпит, зимой пар от нее. На таких-то речках и настроили заволжские мужики токарен: поставит у воды избенку венцов в пять, в шесть, запрудит речонку, водоливное колесо приладит, привод веревочный пристегнет, и вертит себе такая меленка три-четыре токарных станка зараз. Работа не в пример спорее. Таких токарен у осиповского тысячника было восемь, на них тридцать станков стояло; да, кроме того, дома у него, в Осиповке, десятка полтора ручных станков работало. Была своя красильня посуду красить, на пять печей; чуть не круглый год дело делала. Работников по сороку и больше Патап Максимыч держал. Да по деревням еще скупал крашону и некрашону посуду. Горянщиной сам в Городце торговал. Две крупчатки у него в Красной Рамени было, одна о восьми, другая о шести поставках. Расшивы свои по Волге ходили, из Балакова да из Новодевичья пшеницу возили, на краснораменских крупчатках Чапурин ее перемалывал. Мукой в Верховье он торговал: славная мука у него бывала – чистая, ровно пух; покупатели много довольны ей оставались.

У Макарья Патап Максимыч две лавки снимал, одну в щепяном, другую в мучном ряду. Вот уж тридцать лет, как он каждый год выправляет торговое свидетельство и давно слывет тысячником. Денег в мощне у него никто не считал, а намолвка в народе ходила, что не одна сотня тысяч есть у него. И в казенны подряды пускался Чапурин, но большого припену от них не видал. Говаривал подчас приятелям: «Рад бы бросил окаянные эти подряды, да больно уж я затянулся; а помирать Бог приведет, крепко-накрепко дочерям закажу, ни впредь, ни после с казной не вязались бы, а то не будь на них родительского моего благословения».

Почет Патапу Максимычу ото всех был великий. По Заволжью никто его без поклона не миновал; окольные мужики, у которых Чапурин посуду скупал, в глаза и за глаза называли его «наш хозяин». Доверие он имел не в одном крестьянстве, но и в купеческом обществе. Да вот какой случай раз приключился. Мостил Чапурин в городе мостовую, подряд немалый, одного залога десять тысяч было представлено им. Кончил работу, сдал как следует и поехал в город заработанную плату да залоги получать. Дорогой

узнает, что назавтра торги на перевозку казенной соли в Рыбинск назначены. Посчитал, посчитал, раскинул умом-разумом, видит – поставка будет с руки: расшива без дела, бурлаки недорого, паводок девять четвертей. Приехал в город прямо на торги. Соляные чиновники так и ахнули, увидав Патапа Максимыча, – знали его. «Вот принес незваного-непрошеного», – тихонько меж собой поговаривают, – а дело-то у них с другими было полагено. Проводали, однако ж, соляные, что денег у Чапурина в наличности нет, упростили приятелей в строительной комиссии залогов ему не выдавать, пока на соль переторжка не кончится. Пошли в строительной водить Патапа Максимыча за нос, водят день, водят другой: ни отказа, ни приказа: «Завтра да завтра: то да се, подожди да повремени; надо в ту книгу вписать, да из того стола справку забрать». Известно дело!.. Чапурина невтерпеж... Дотянули строительные до того, что час один до переторжки остается, а денег не выдают. Смекнул Чапурин каверзы, видит, хотят его в дураки оплести. «Так врешь же, барин, – думает себе, – ты у меня погоди». Да, отвесив поклон строительным, вон из присутствия. Те: «Куда, да зачем, да постой»; а он ломит себе, да прямо в гостинный двор. Там короткой речью сказал рядовичам, в чем дело, да, рассказавши, снял шапку, посмотрел на все четыре стороны и молвил: «Порадейте, господа купцы, выручите!» Получаса не прошло, семь тысяч в шапку ему накидали. «Будет, будет!.. – кричит Патап Максимыч. – Спаси вас Христос». Духу не переводя, поскакал на переторжку. Там ему первым словом:

– Залоги?

– Вот они! – молвил Патап Максимыч.

Отдал деньги и пошел цену сносить. Снес чуть не половину, а четыре копейки нажил на рубль. Очень недовольны соляные остались.

Патап Максимыч с семьей старинки придерживался, раскольникчал, но закоснелым изувером никогда не бывал. Не держался правила: «С бритоусом, с табашником, щепотником и со всяким скобленным рылом не молись, не водись, не дружись, не бранись». И раскольникчал-то Патап Максимыч потому больше, что за Волгой издавна такой обычай велся, от людей отставать ему не приходилось. Притом же у него расколом дружба и знакомство с богатыми купцами держались, кредита от раскола больше было. Да, кроме того, во время отлучек из дому по чужим местам жить в раскольникчих домах бывало ему привольней и спокойней. На Низ ли поедет, в верховы ли города, в Москву ли, в Питер ли, везде и к мало знакомому раскольнику идет он, как к родному. Всячески его успокоят, все приберегут, все сохраняют и всем угодят. И то льстило Патапу Максимычу, что после родителя был он попечителем городецкой часовни, да не таким,

что только по книгам значатся, для видимости полиции, а «истовым», коренным. От часовенного общества за то ему почет был великий. А почет Чапурин любил.

Семья у него небольшая, сам с женой да две дочери. Богоданная дочка была еще, Груня-сиротка, сызмальства Чапуриным призренная, – та уж замуж выдана была в деревню Вихорево за тысячника. Родные дочери тоже на возрасте были: старшей, Настасье, восемнадцать минуло, другая, Прасковья, годом была помоложе. Только что воротились они в родительский дом от тетки родной, матери Манефы, игуменьи одной из Комаровских обителей. Гостили девушки у тетки без мала пять годов, обучались Божественному писанию и скитским рукодельям: бисерны лестовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канве шерстью да синелью вышивать и всякому другому белоручному мастерству. Отец тысячник выдаст замуж в дома богатые, не у квашни стоять, не у печки девицам возиться, на то будут работницы; оттого на белой работе да на книгах больше они и сидели. Настя да Параша в обители матушки Манефы и «часовник» и все двадцать кафизм псалтыря наизусть затвердили, отеческие книги читали бойко, без запинки, могли справлять уставную службу по «Минее месячной», петь по крюкам, даже «развод демественному и ключевому знамени» разумели. Выучились уставом писать и, живя в скиту, немало «Цветников» да «сборников» переписали и перед великим праздником посылали их родителям в подарение. А Патап Максимыч любил на досуге душеспасительных книг почитать, и куда как любо было сердцу его родительскому перечитывать «Златоструи» и другие сказанья, с золотом и киноварью переписанные руками дочерей-мастериц. Какие «заставки» рисовала Настя в зачале «Цветников», какие «финики» по бокам золотом выводила – любо-дорого посмотреть!

Настя с Парашей, воротясь к отцу, к матери, расположились в светлицах своих, а разукрасить их отец не поскупился. Вечерком, как они убрались, пришел к дочерям Патап Максимыч поглядеть на их новоселье и взял рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столике. Тут были «Стихи об Иоасафе царевиче», «Об Алексее Божьем человеке», «Древян гроб сосновый» и рядом с этой псальмой «Похвала пустыне». Она начиналась словами:

Я в пустыню удаляюсь  
От прекрасных здешних мест.  
Сколько горести напрасно  
Я в разлуке с милым должна снести...

Перевернул Патап Максимыч листок, там другая псальма:

Сизенький голубчик,  
Армейский поручик.

Поморщился Патап Максимыч, сунул тетрадку в карман и, ни слова не сказав дочерям, пошел в свою горницу. Говорит жене:

– Ты, Аксинья, за дочерьми-то приглядывай.

– Чего за ними, Максимыч, приглядывать? Девки тихие, озорства никакого нет, – отвечала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа.

– Не про озорство говорю, – сказал Патап Максимыч, – а про то, что девки на возрасте, стало быть, от греха на вершок.

– Что ты, Максимыч! Бога не боишься, про родных дочерей что говоришь! И в головоньку им такого мотыжничества не приходило; птенчики еще, как есть слетышки!

– Гляди им в зубы-то! Нашла слетышков! Настасье-то девятнадцатый год, глянь-ка ей в глаза-то – так мужа и просит.

– Полно грешить-то, Максимыч, – возвысила голос Аксинья Захаровна. – Чтой-то ты? Родных дочерей забижать!.. Клепешь на девуку!.. Какой ей муж?.. Обе ничегохонько про эти дела не разумеют.

– Держи карман!.. Не разумеют!.. В Комарове-то, поди, всякие виды видали. В скитах завсегда грех со спасеньем по-соседски живут.

– Да полно ж грешить-то тебе!.. – еще больше возвысила голос Аксинья Захаровна. – Как возможно про честных стариц такую речь молвить? У матушки Манефы в обители спокон веку худого ничего не бывало.

– Много ты знаешь!.. А мы видали виды... Зачем исправник-от в Комаров каждую неделю наезжает... Даром, что ли?.. В Московкиной обители с белицами-то он от писанья, что ли, беседует?.. А Домне головщице за что шелковы платки дарит?.. А купчики московские зачем к Глафириным ездят?.. А?..

– Полно тебе, старый хрен, хульные словеса нести, – с озлобленьем вскричала Аксинья Захаровна. – Слушать-то грех!.. Совсем обмирщился!.. Аль забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется?.. Повелся с табашниками-то!.. Вот и скружился. На святые обители хулу нести!.. А?.. Бога-то, видно, в тебе не стало... Знамо дело, зачем в Комаров люди ездят:



на могилку к честному отцу Ионе от зубной скорби помолиться, на поклоненье могилке матушки Маргариты. Мало ль в Комарове святыни!.. Ей христиане и приезжают поклоняться. А по лесу сколько святых мест на старых скитах, разоренных!

– Уж исправник-от не тем ли святым местам ездит поклоняться? – усмехаясь, спросил жену Патап Максимыч. – Домашка головщица, что ли, ему в лесу-то каноны читает?.. Аль за те каноны Семен-от Петрович шелковы платки ей дарит?

Не вытерпела Аксинья Захаровна, плюнула и вон пошла. Сама за Чапурина из скитов «уходом» бежала, и к келейницам сердце у ней лежало всегда.

Поспорь эдак Аксинья Захаровна с сожителем о мирском, был бы ей окрик, пожалуй, и волосник бы у ней Патап Максимыч поправил. А насчет скитов да лесов и всего эдакого духовного – статья иная, тут не муж, а жена голова. Тут Аксиньина воля; за хульные словеса может и лестовкой мужа отстегать.

Так исстари ведется. Раскол бабами держится, и в этом деле баба голова, потому что в каком-то писании сказано: «Муж за жену не умолит, а жена за мужа умолит».

Сел за стол Патап Максимыч. Хотел счета за год подводить, но счета не шли на ум. Про дочерей раздумывал.

«Хоть и жаль расставаться, а лучше к месту скорей, – думал он. – Дочь чужое сокровище: пой, корми, холь, разуму учи, потом в чужие люди отдай. Лучше скорей тем делом повернуть. Для чего засиживаться?.. Мне же Данило Тихоныч намедни насчет сына загадку заганул... Что ж?.. Дом хороший, люди богобоязные, достаток есть... Отчего не породниться?.. Настасья с Прасковьей не бесприданницы; с радостью возьмут. Жених, кажись, малый складный: и речист, и умен, дело из рук у него не валится... На крещенском базаре потолкуем и, Бог даст, порешим... А долго девок дома не держать... Долго ль до греха?»

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Вечер крещенского сочельника ясный был и морозный. За околицей Осиповки молодые бабы и девки сбирали в кринки чистый «крещенский снежок» холсты белить да от сорока недугов лечить. Поглядывая на ярко блиставшие звезды, молодницы заключали, что новый год белых ярок породит, а девушки меж себя толковали: «Звезды к гороху горят да к ягодам; вдоволь уродится, то-то загуляем в лесах да в горохах!»

Стары старухи и пожилые бабы домовничали; с молитвой клали они мелом кресты над дверьми и над окнами ради отогнания нечистого и такую думу держали: «Батюшка Микола милостливый, как бы к утрею-то оттепело, да туман бы пал на святую Ердань, хлебушка бы тогда вдоволь нам уродилось!» Мужики вокруг лошадей возились: известно, кто в крещенский сочельник у коня копыта почистит: у того конь весь год не будет хромать и не случится с ним иной болести. Но, веря своей примете, мужики не доверяли бабьим обрядам и, ворча себе под нос, копались средь дворов в навозе, глядя, не осталось ли там огня после того, как с вечера старухи пуки лучины тут жгли, чтоб на том свете родителям было теплее. В избах у красного угла толпились ребятишки. Притаив дыханье, глаз не спускали они с чашки, наполненной водою и поставленной у божницы: как наступит Христово крещение, сама собой вода колыхнется и небо растворится; глянь в раскрытое на один миг небо и помолись Богу: чего у него ни попросишь, все даст.

– Пусти нас, мамынька, с девицами снежок пополоть, – просилась меньшая дочь у Аксины Захаровны.

– В уме ль ты, Паранька? – строго ответила мать, набожно кладя под окнами мелом кресты. – Приедет отец да узнает, что тогда?

– Да ведь мы не одни! Все девицы за околицей... И мы бы пошли, – заметила старшая, Настасья.

– Пущу я вас ночью, с девками!.. Как же!.. С ума своротила, Настенка! Ваше ль дело гулять за околицей?

– Другие пошли же.

– Другие пошли, а вам не след. Худой славы, что ль, захотели?

– Какой же славы, мамынька? – приставала Параша.

– А вот как возьму лестовку да ради Христова праздника отстегаю тебя, – с притворным негодованьем сказала Аксины Захаровна, – так и будешь знать, какая слава!.. Ишь что вздумала!.. Пусти их снег полоть за

околицу!.. Да теперь, поди чай, парней-то туда что навалило: и своих, и из Шишинки, и из Назаровой!.. Долго ль до греха?.. Девки вы молодые, дочери отецкие: след ли вам по ночам хвосты мочить?

– Да пошли же другие, – настаивала Настя. Очень ей хотелось поиграть с девицами за околицей.

– Коли пошли, так туда им и дорога, – ответила мать. – А вам с деревенскими девками себя на ряду считать не доводится.

– Отчего ж это, мамынька?.. Чем же мы лучше их?.. – спросила Настасья.

– Тем и лучше, что хорошего отца дочери, – сказала Аксинья Захаровна. – Связываться с теми не след. Сядьте-ка лучше да псалтырь ради праздника Христова почитайте. Отец скоро с базара приедет, утренью будем стоять; помогли бы лучше Евпраксеюшке моленну прибрать... Дело-то не в пример будет праведнее, чем за околицу бегать. Так-то.

– Да, мамынька... – заговорила было Настя, – нам бы с девушками посмеяться, на морозце поиграть.

– Сказано, не пуцу! – крикнула Аксинья Захаровна. – Из головы выбрось снег полоть!.. Ступай, ступай в моленну, прибирайте к утрени!.. Эки бесстыжие, эки вольные стали – матери не слушают!.. Нет, девки, приберу вас к рукам... Что выдумали! За околицу!.. Да отец-то съест меня, как узнает, что я за околицу вас ночью отпустила... Пошли, пошли в моленную!

Помялись девушки и со слезами пошли в моленную.

– Ишь что баловницы выдумали!.. – ворчала Аксинья Захаровна, оставшись одна и кладя меловые кресты над входами и выходами, – ишь что выдумали – снег полоть!.. Статочно ли дело?.. Сведает, что Патапа Максимыча дочери по ночам за околицу бегают, что в городе скажут по купечеству?.. Срам один... Просто срам... Долго ль девкам навек ославиться?.. Много недобрых-то людей... Как пить дадут – наплетут, намочают невесть чего!.. И что им, глупым, захотелось за околицу?.. Чего не видали?.. Снег полоть, холсты белить!.. Да придется разве им холсты-то белить?.. Слава Богу, всего припасено, не бесприданницы... А теперь, поди, у девок за околицей смеху-то, балованья-то что!.. Была и я молода, хаживала и я под Крещение снежок полоть... Точим балясы до вторых петухов; парни придут с балалайками... Прибаутками со смеху так и морят... И чего-то, чего не бывало!.. Ох, согрешила я, грешница!.. А хочется девонькам за околицу... Ну, да им нельзя, хорошего отца дети; нельзя!.. Ох, девичья пора!.. Веселья все хочется, воли... Девоньки мои, девоньки!.. и пустила б я вас, да как сам-то приедет, как сам-то узнает...

Тогда что?..

В то время гурьба молодежи валила мимо двора Патапа Максимыча с кринками, полными набранного снега. Раздалась веселая песня под окнами. Пели «Авсень», величая хозяйских дочерей:

Среди Москвы,  
Ворота пестры,  
Ворота пестры,  
Вереи красны,  
Ой Авсень, Таусень!..

У Патапа на дворе,  
У Максимыча в дому  
Два теремушка стоят,  
Золотые терема.  
Ой Авсень, Таусень!..

Как во тех теремах  
Красны девицы сидят,  
Свет душа Настасьюшка,  
Свет душа Прасковьюшка.  
Ой Авсень, Таусень!..

– О, чтоб вас тут, непутные!.. – вздрогнув от первых звуков песни, заворчала Аксинья Захаровна, хоть величанье дочерей и было ей по сердцу. По старому обычаю, это не малый почет. – О, чтоб вас тут!.. И свят вечер не почитают, греховодники! Вечор нечистого из деревни гоняли, сегодня опять за песни... Страху-то нет на вас, окаянные!

Гурьба парней и девок провалила. Какой-то отсталой хриплым, нестройным голосом запел под окнами:

Я тетерку гоню,  
Полевую гоню:  
Она под куст,  
А я за хвост!  
Авсень, Таусень!  
Дома ли хозяин?

– Мать Пресвята Богородица! – всплеснув руками, вскрикнула Аксинья Захаровна. – Микешка беспутный!.. Его голос!.. Господи! Да что ж это такое?..

Пьяный голос слышен был у ворот. Кто-то стучался. Сбежав в подклет, Аксинья Захаровна наказывала работникам не пускать на двор Микешку.

– Хоть замерзни, в дом не пущу. Не пущу, не пущу! – кричала она.

Заскрипел снег под полозьями. Стали сани у двора Патапа Максимыча.

– Приехал, – весело молвила Аксинья Захаровна и засуетилась. – Матренушка, Матренушка! Собирай поскорей самоварчик!.. Патап Максимыч приехал.

В горницу хозяин вошел. Жена торопливо стала распоясывать кушак, повязанный по его лисьей шубе. Прибежала Настя, стала отряхивать заиндевелую отцовскую шапку, меж тем Параша снимала вязанный из шерсти шарф с шеи Патапа Максимыча. Ровно кошечки, ластились к отцу дочери, спрашивали:

– Привез гостинцу с базару, тятенька?

– Тебе, Параня, два привез, – шутил Патап Максимыч, – одну плетку ременную, другу шелковую... Котору прежде попробовать?

– Нет, тятенька, ты не шути, ты правду скажи.

– Правду и говорю, – отвечал, улыбаясь, отец. – А ты, Параня, пока плеткой я тебя не отхлыстал, поди-ка вели работнице чайку собрать.

– Сказано, уж сказано, – перебила Аксинья Захаровна и пошла было в угловую горницу.

– Ты, Аксинья, погоди, – молвил Патап Максимыч. – Руки у тебя чисты?

– Чисты. А что?

– То-то. На, прими, – сказал он, подавая жене закрытый бурак, но, увидя входившую канонницу, отдал ей, примолвив: – Ей лучше принять, она свят человек. Возьми-ка, Евпраксеюшка, воду богоявленную.

Аксинья Захаровна с дочерьми и канонница Евпраксия с утра не ели, дожидаясь святой воды. Положили начал, прочитали тропарь и, налив в чайную чашку воды, испили понемножку. После того Евпраксия, еще три раза перекрестясь, взяла бурак и понесла в моленну.

– В часовне аль на дому у кого воду-то святили? – садясь на диван, спросила у мужа Аксинья Захаровна.

– У Михайла Петровича у Галкина, в деревне Столбовой, – ответил Патап Максимыч.

– Кто святил? Отец Афанасий, что ли? – спросила Аксинья Захаровна.

– Из острога, что ли, придет? – молвил Патап Максимыч. – Чай, не

пустят?.. Новый поп святил.

– Какой же новый поп? – с любопытством спросила Аксинья Захаровна.

– Матвея Корягу знаешь?

– Как не знать Матвея Корягу? Начитанный старик, силу в писании знает.

– Он самый и святил.

– Как же святить ему, Максимыч? – с удивлением спросила Аксинья Захаровна.

– Как святят, так и святил. На Николин день Коряга в попы поставлен. Великим постом, пожалуй, и к нам приедет... «Исправляться» у Коряги станем, в моленной обедню отслужит, – с легкой усмешкой говорил Патап Максимыч.

– Ума не приложу, Максимыч, что ты говоришь. Право, уж я и не знаю, – разводя руками и вставая с дивана, сказала Аксинья Захаровна. – Кто ж это Корягу в попы-то поставил?

– Епископ. Разве не слыхала, что у нас свои архиереи завелись? – сказал Патап Максимыч.

– Австрийские-то, что ли? Сумнительны они, Максимыч. Обливанцы, слышь, – молвила Аксинья Захаровна.

– Пустого не мели. Ты, что ли, их обливала?.. – сказал Патап Максимыч.

– У нас, в Комарове, иные обители австрийских готовы принять, – вмешалась в разговор Настя. – Глафирины только сомневаются, да еще Игнатьевы, Анфисины, Трифинины, а другие обители все готовы принять, и Оленевские, и в Улангере, а и в Чернухе – везде, везде по скитам.

– Из Москвы, из Хвалыни, из Казани пишут про епископа, что как есть совсем правильный, – молвил Патап Максимыч. – Все мои покупатели ему последуют. Не ссориться с ними из-за таких пустяков... Как они, так и мы. А что есть у иных сомнение, так это правда, точно есть. И в Городце не хотят Матвея в часовню пускать, зазорен, дескать, за деньги что хочешь сделает. Про епископа Софрония тоже толкуют... Кто их разберет?.. Ну их к Богу – чайку бы поскорей.

Как утка переваливаясь, толстая работница Матрена втащила ведерный самовар и поставила его на прибранный Настей и Парашей стол. Семья уселась чайничать. Позвали и канонницу Евпраксию. Пили чай с изюмом, потому что сочельник, а сахар скоромен: в него-де кровь бычачью кладут.

Патап Максимыч дела свои на базаре кончил ладно. Новый заказ, и

большой заказ, на посуду он получил, чтоб к весне непременно выставить на пристань тысяч на пять рублей посуды, кроме прежде заказанной; долг ему отдали, про который и думать забыл; письма из Балакова получил: приказчик там сходно пшеницу купил, будут барыши хорошие; вечерню выстоял, нового попа в служении видел; со Снежковым встретился, насчет Настиной судьбы толковал; дело, почитай, совсем порешили. Такой ладный денек выпал, что редко бывает.

Удачно проведя день, Чапурин был в духе и за чаем шутки шутил с домашними. По этому одному видно было, что съездил он подбру-поздорову, на базаре сделал оборот хороший; и все у него клеилось, шло как по маслу.

– Ты, Акси́нья, к себе на именины жди дорогих гостей. Обещались пироги есть у именинницы.

– Кого звал? – вскинув на мужа глазами, спросила Акси́нья Захаровна.

– Скорняков Михайло Васильич с хозяйкой обещались, кум Иван Григорьич с Груней, Данило Тихонич с сыном, Снежков прозывается.

– Не знаю такого. Что за Снежков? – сказала Акси́нья Захаровна.

– Не знала, так узнаешь, – молвил Патап Максимыч. – Приятель мой, дружище, одно дельце с ним заведено: подай, Господи, хорошего совершенья.

– Откуда сам-то?

– Самарский... Мужик богатый: свои гурты из степи гоняет, салотопленный завод у него в Самаре большущий, в Питер сало поставляет. Капиталу сто четыре тысячи целковых, а не то и больше; купец, с медалью; хороший человек. Сегодня вместе и вечерню стояли.

– Так он из наших, из христиан? – спросила Акси́нья Захаровна.

– Известно. Чужого разве пустил бы Михаил Петрович на освящение воды. Старинные старообрядцы: и деды и прадеды жили по древнему благочестию... С сыном Данило Тихонич приедет; сын – парень умный, из себя видный, двадцать другой год только пошел, а отцу уж помощь большая. Вот и теперь посылает его в Питер по салу, недели через две воротится, как раз к твоим именинам. Хорошенько надо изготавиться; не ударь лицом в грязь на угощенье. Ну-ка, девки-грамотейницы, книжные келейницы, смекните, в какой день материны именины придутся? В скоромный аль в постный?

– Хоть в среду, да на сплошной, – ответила Настя.

– Ну, и ладно. Мясным, стало быть, потчевать станем. А рыбки все-таки надо подать. Без рыбы нельзя. Из скитов ждешь кого?

– Матушка Манефа обещалась, – ответила Акси́нья Захаровна.

– Значит, и мясное надо и рыбное. Стряпка одна не управится? Пошли в Ключову за Никитишной, знатно стряпает, что твой московский трактир. Подруги, чай, тоже приедут из Комарова к девкам-то?

– Марья Гавриловна обещалась, – сказала Аксинья Захаровна, – да еще Фленушка.

– Эту бы, пожалуй, и не надо. Больно озорна.

– Ах, тятенька, что это ты? Фленушка девица во всем самая распрекрасная, – вступилась за приятельницу Настя.

– Ладно, знаем и мы что-нибудь, – молвил Патап Максимыч. – Слухом земля полнится.

– Полно, батько, постыдись, – вступилась Аксинья Захаровна. – Про Фленушку ничего худого не слышно. Да и стала бы разве матушка Манефа с недоброй славой ее в такой любви, в таком приближенье держать? Мало ль чего не мелют пустые языки! Всех речей не переслушаешь; а тебе, старому человеку, девицу обижать грех: у самого дочери растут.

– Да я ничего, – молвил Патап Максимыч. – Пусть ее приезжает. Только уж, спорь ты, Аксинья, не спорь, а келейницей Фленушка не глядит.

– А по-твоему, девицам бирюком надо глядеть, слова ни с кем не сметь вымолвить? Чай, ведь и они тоже живые, не деревянные, – вступилась Аксинья Захаровна.

– Ну, ты уж зачнешь, – сказал Патап Максимыч. – Дай только волю. Лучше б еще по чашечке налила.

– Кушай, батюшка, на здоровье, кушай, воды в самоваре много. Свеженького не засыпать ли? – молвила Аксинья Захаровна.

– Засыпь, пожалуй, – сказал Патап Максимыч. – А к именинам надо будет в городе цветочного взять, рублев этак от шести. Важный чай!

– От ярмарки шестирублевого-то осталось, – сказала Аксинья Захаровна.

– Свежего купим. Гости хорошие, надо, чтоб все по гостям было. Таковы у нас с тобой, Аксинья, будут гости, что не токмо цветочного чаю, детища родного для них не пожалею. Любую девку отдам! Вот оно как!

Девушки переглянулись меж собой и с матерью. Канонница глаза потупила.

– Уж что ни скажешь ты, Максимыч, – сказала Аксинья Захаровна. – Про родных дочерей неподобные слова говоришь! Бога-то побоялся бы да людей постыдился бы.

– Что сказал, то и сделаю, когда захочу, – решительно молвил Патап Максимыч. – Перечить мне не смеет никто.

Настя, ласкаясь к отцу, с притворным смехом спросила:



– Что ж ты с нами поделаешь, тятенька?  
– Тебя ожарить велю, – сказал, смеясь, Патап Максимыч, – а Параша тебя пожирней, ее во щи. И стану вами гостей угощать!  
– Пожалеешь, тятенька, не изжаришь.  
– А вот увидишь.  
– Полно-ка вам вздор-от молоть, – принимаясь убирать чайную посуду, сказала Акси́нья Захаровна. – Не пора ль начинать утренью? Ты бы, Евпраксеюшка, зажигала покаместь свечи в моленной-то. А вы, девицы, ступайте-ка помогите ей.

Канонница с хозяйскими дочерьми вышла. Акси́нья Захаровна мыла и прибирала чашки. Патап Максимыч зачал ходить взад и вперед по горнице, заложив руки за спину.

– Братец-от любезный, Никифор-от Захарыч, опять в наших местах объявился, – сказал он вполголоса.

– Объявился, батюшка Патап Максимыч, точно что объявился, – горьким голосом ответила Акси́нья Захаровна. – Слышала я давеча под окнами голос его непутный... Ох, грехи, грехи мои!.. – продолжала она, вскидывая на мужа полные слезами глаза.

– Песнями у ворот меня встретил, – молвил Патап Максимыч. – Кому сочельник, а ему все еще святки.

– И не говори, батюшка!.. Что мне с ним делать-то?.. Ума не приложу... Не брат, а враг он мне... Век бы его не видала. Околел бы где-нибудь, прости Господи, под оврагом.

– Пустого не мели, – отрезал Патап Максимыч. – Мало пути в Никифоре, а пожалуй, и вовсе нет, да все же тебе брат. Своя кровь – из роду не выкинешь.

– Ох, уж эта родня!.. Одна сухота, – плачущим голосом говорила Акси́нья Захаровна. – Навязался мне на шею!.. Одна остуда в доме. Хоть бы ты его хорошенько поначалил, Максимыч.

– Не учил отец смолodu, зятю не научить, как в коломенску версту он вытянулся, – сказал на то Патап Максимыч. – Мало я возился с ним? Ну, да что поминать про старое? Приглядывать только надо, опять бы чего в кабак со двора не стащил.

– Батюшка ты мой!.. Сама буду глядеть и работникам закажу, чтоб глядели, – вопила Акси́нья Захаровна. – А уж лучше бы, кормилец, заказал ты ему путь к нашему дому. Иди, мол, откуда пришел.

– Не дело говоришь, Захаровна. Велик перед Богом грех родного человека из дома выгнать, – молвил Патап Максимыч. – От людей зазорно, роду-племени покор! У добрых людей так не водится. Слава Богу, нас не

объест. Лишь бы не дурил да хмельным делом поменьше зашибался. Парень он не дурак, руки золотые, рыло-то на беду погано. По нашим местам, думаю я, Никифору в жизнь не справиться, славы много; одно то, что «волком» был; все знают его вдоль и поперек, ни от кого веры нет ему на полушку. А вот послушай-ка, Аксинья, что я вздумал: сегодня у меня на базаре дельце выгорело – пшеницу на Низу в годы беру, землю то есть казенную на сроки хочу нанимать. Старые приятели Зубковы сняли на годы в Узенях казенны земли, пшеницу сеять. Набрали дела через силу; хочу я у них хутора два годов на шесть взять. По весне, пожалуй, самому сплыть туда придется, осмотреть все, хозяйство завести. Кого приказчиком послать – придумано. У того приказчика на другом хуторе будет ему подначальный. И пало мне на ум: в подначальные-то Никифора. От того хутора, где думаю посадить его, кабака кругом верст на сорок нет. А Никифор, как не пьет, золото. Так я и решил его – в Узени. Что скажешь на это?

– Что тебе, Максимыч, слушать глупые речи мои? – молвила на то Аксинья Захаровна. – Ты голова. Знаю, что ради меня, не ради его, непутного, Микешку жалеешь. Да сколь же еще из-за него, паскудного, мне слез принимать, глядя на твои к нему милости? Ничто ему, пьянице, ни в прок, ни в толк нейдет. Совсем, отятой, сбился с пути. Ох, Патапушка, голубчик ты мой, кормилец ты наш, не кори за Микешку меня, горемычную. Возрадовалась бы я, во гробу его видючи в белом саване...

– Нишкни. Пустых речей не умножай. Грех! Кто тебя, глупую, корит? – так заговорил Патап Максимыч. – Эх, Аксинья, Аксиньюшка! Не знаешь разве, что за брата сестра не ответчица?.. Хоть и пьяница Никифор, хоть и вором приличился, хоть «волком» по деревням водили его, все же он тебе брат. Что ни делай, из родни не выкинешь. Значит, не чужу остуду на себя беру, своего рода сухоту на плеча кладу. Лишнего толковать нечего, пошлем его в Узени. Все хорошей рукой облажу; и толковать про то больше не станем... А тебе, Аксиньюшка, вот какое еще слово молвлю: не даром девкам-то загадку загнул, что ради гостя дорогого любой из них не пожалею. С Данилой Тихонычем Снежковым мы совсем, почитай, решили.

– Что решили? – спросила Аксинья Захаровна, пристально глядя на мужа.

Он остановился перед ней у стола и сказал:

– Насчет судьбы Настиной.

У Аксињи руки опустились. Жаль ей было расставаться с дочерьми, и не раз говаривала она мужу, что Настя с Парашей не перестарки, годика три-четыре могут еще в девках посидеть.

– Не раненько ли задумал, Максимыч? – сказала. – Надоела, что ль,

тебе Настасья али объела нас?

– Пустого не говори, а что не рано я дело задумал, так помни, что девке пошел девятнадцатый, – сказал Патап Максимыч.

– Пожалей ты ее, голубушку! – молвила Аксинья Захаровна.

– Чего жалеть-то! Худа, что ли, отец ей хочет? – резко и громко сказал Патап Максимыч. – Слушай: у Данилы Тихоныча четыреста тысяч на серебро капиталу, опричь домов, заводов и пароходов. Два сына у него да три ли, четыре ли дочери, две-то замужем за казанскими купцами, за богатыми. Старшему сыну Михайле Данилычу, жениху-то, отец капитал отделяет и дом дает, хочешь с отцом живи, хочешь свое хозяйство правь. Стало быть, Настасье ни свекрови со свекром, ни золовок с деверями бояться нечего. Захочет, сама себе хозяйкой заживет. А Михайло Данилыч – парень добрый, рассудливый, смысленый, хмелем не зашибается, художеств никаких за ним нет. А из себя видный, шадровит маленько, оспа побила, да с мужнина лица Настасье воду не пить; муж-от приглядится, Бог даст, как поживет с ним годик-другой...

– Ох, батюшка, Патап Максимыч, повремени хоть маленько, – твердила свое Аксинья Захаровна. – Скорбно мне расставаться с Настенкой. Повремени, кормилец!

– И повременю, – молвил Патап Максимыч. – В нынешнем мясоеде свадьбы сыграть не успеть, а с весны во все лето, до осенней Казанской, Снежковым некогда да и мне недосуг. Раньше Михайлова дня свадьбы сыграть нельзя, а это чуть не через год.

– Так зачем же сговором-то торопиться? Время бы не ушло, – сказала Аксинья Захаровна.

– Кто тебе про сговор сказал? – ответил Патап Максимыч. – И на разум мне того не приходило. Приедут гости к имениннице – вот и все. Ни смотрин, ни сговора не будет; и про то, чтоб невесту пропить, не будет речи. Поглядят друг на дружку, повидаются, поговорят кой о чем и ознакомятся, оно все-таки лучше. Ты покаместь Настасье ничего не говори.

Узнав, что не близка разлука с дочерью, Аксинья Захаровна успокоилась и, прибрав чайную посуду, пошла в моленную утреню слушать.

Патап Максимыч взял счета и долго клал на них.

«Работников пятнадцать надо принанять, а то не управишься», – подумал он, кладя на полку счета.

Потом взял свечу и пошел на заднюю половину Богу молиться. Едва вышел в сени, повалился ему в ноги какой-то человек.

– Не оставь ты меня, паскудного, отеческой своей милостью, батюшка

ты мой, Патап Максимыч!.. Как Бог, так и ты – дай теплый угол, дай кусок хлеба!.. – так говорил тот человек хриплым голосом.

Он был в оборванной шубенке, в истоптанных валенках, голова всклокочена.

– Встань, Никифор, встань! Полно валяться, – строго сказал ему Патап Максимыч.

Никифор поднялся. Красное от пьянства лицо было все в синяках.

– Где, непутный, шатался? – спросил Чапурин.

– Где ночь, где день, батюшка Патап Максимыч, и сам не помню, – отвечал Никифор.

– Ах ты, непутный, непутный! – качая головой, укорял шурина Патап Максимыч. – Гляди-ка, рожу-то тебе как отделали!.. Ступай, проспись... Из дому не гоню с уговором: брось ты, пустой человек, это проклятое винище, будь ты хорошим человеком.

– Кину, батюшка Патап Максимыч, кину, непременно кину, – стал уверять зятя Никифор. – Зарок дам... Не оставь только меня своей милостью. Чего ведь я не натерпелся – и холодно... и голодно...

– Ладно, хорошо. Ступай покаместь в подклет, проспись хорошенько, завтра приходи – потолкуем. Может статься, пригодишься, – молвил Чапурин.

– Рад тебе по гроб жизни служить, кормилец ты мой!.. – заплакал Никифор. – Только вот – сестра лиходейка... Заест меня...

– Ну, ступай, ступай – проспись... Да ступай же!.. – прикрикнул Патап Максимыч, заметив, что Никифор и не думает выходить из сеней.

Мыча что-то под нос, слегка покачиваясь, пошел Никифор в подклет, а Патап Максимыч – в моленну к богоявленской заутрене. За ним туда же пошли жившие у него работники и работницы, потом старики со старухами, да из молодых богомольные. Сошлись они из Осиповки и соседних деревень. Чапурин на большие праздники пускал себе в моленну и посторонних. На то он попечитель городецкой часовни, значит ревнитель. Когда собрались богомольцы и канонница, замолитвовав, стали с хозяйскими дочерьми править по «Минее» утрению, Аксинья Захаровна торопливо вышла из моленной и в сенях, подозвав дюжего работника, старика Пантелея, что смотрел за двором и за всеми живущими по найму, тревожно спросила его:

– Запер ли, Пантелеюшка, ворота-то? Поставил ли на задах караульных-то?

– Не беспокойся, матушка Аксинья Захаровна, – отвечал Пантелей. – Все сделано, как следует, – не впервые. Слава те, Господи, пятнадцать лет

живу у вашей милости, порядки знаю. Да и бояться теперь, матушка, нечего. Кто посмеет тревожить хозяина, коли сам губернатор знает его?

– Не говори, Пантелеюшка, – возразила Аксинья Захаровна. – «Не надейся на князи и сыны человеческие». Беспременно надо сторожким быть... Долго ль до греха?.. Ну, как нас на службе-то накроют... Суды пойдут, расходы. Сохрани, Господь, и помилуй.

– Ничего такого стать не может, Аксинья Захаровна, – успокаивал ее Пантелей. – Никакого вреда не будет. Сама посуди: кто накроет?.. Исправник аль становой?.. Свои люди. Невыгодно им, матушка, трогать Патапа Максимыча.

– Нет, Пантелеюшка, не говори этого, родимой, – возразила хозяйка и, понизив голос, за тайну стала передавать ему: – Свибловский поп, приходский-то здешний, Сушилу знаешь? – больно стал злобствовать на Патапа Максимыча. Беспременно, говорит, накрою Чапурина в моленной на службе, ноне-де староверам воля отошла: поеду, говорит, в город и докажу, что у Чапуриных в деревне Осиповке моленна, посторонни люди в нее на богомолье сходятся. Накроют-де, потачки не дадут. Пускай, дескать, Чапурин поминает шелковый сарафан да парчовый холодник!

– Какой сарафан, какой холодник? – спросил Пантелей.

– А видишь ли, Пантелеюшка, – отвечала хозяйка, – прошлым летом Патап Максимыч к Макарью на ярманку ехал, и попадись ему поп Сушила на дороге. Слово за слово, говорит поп Максимычу: «Едешь ты, говорит, к Макарью – привези моей попадье шелковый, гарнитуровый сарафан да хороший парчовый холодник». А хозяин и ответь ему: «Не жирно ли, батька, будет? Тебе и то с меня немало идет уговорного; со всего прихода столько тебе не набрать». Осерчал Сушила, пригрозил хозяину: «Помни, говорит, ты это слово, Патап Максимыч, а я его не забуду, – такое дело состряпаю, что бархатный салоп на собольем меху станешь дарить попадье, да уж поздно будет, не возьму». С той поры он и злобится. «Беспременно, говорит, накрою на моление Чапуриных. В острог засажу», говорит.

– В острог-от не засадит, – с усмешкой молвил Пантелей, – а покрепче приглядывать не мешает. Поэтому – может напугать, помешать... Пойду-ка я двоих на задах-то поставлю.

– Ступай, Пантелеюшка, поставь двоих, а не то и троих, голубчик, вернее будет, – говорила Аксинья Захаровна. – А наш-от хозяин больно уж бесстрашен. Смеется над Сушилой да над сарафаном с холодником. А долго ль до греха? Сам посуди. Захочет Сушила, проймет не мытьем, так катаньем!

– Это так. Это от него может случиться, – заметил Пантелей и, направляясь к лестнице, молвил: – Троих поставлю.

– Поставь, поставь, Пантелеюшка, – подтвердила Аксиныя Захаровна и медленною поступью пошла в моленную.

Тревога была напрасна. Помолились за утреней как следует и часы, не расходясь, прочитали. Патап Максимыч много доволен остался пением дочерей и потом чуть не целый день заставлял их петь тропари Богоявлению.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Верстах в пяти от Осиповки, среди болот и перелесков, стоит маленькая, дворов в десяток, деревушка Поромово. Проживал там удельный крестьянин Трифон Михайлов, прозвищем Лохматый. Исправный мужик был: промысел шел у него ладно, залежные деньжонки водились. По другим местам за богатея пошел бы, но за Волгой много таких.

Было у Трифона двое сыновей, один работник матерый, другой только что вышел из подростков, дочерей две девки. Хоть разумом те девки от других и отстали, хоть болтали про них непригожие речи, однако ж они не последними невестами считались. В любой дом с радостью б взяли таких спорых, проворных работниц. Девки молодые, сильные, здоровенные: на жнитве, на сенокосе, в токарне, на овине, аль в избе за гребнем, либо за тканьем, дело у них так и горит: одна за двух работает. Лохматый замуж девок отдавать не торопился, самому нужны были. «Не перестарки, – думал он, – пусть год, другой за родительский хлеб на свою семью работают. Успеют в чужих семьях нажитья».

Старший сын Трифона, звали Алексеем, парень был лет двадцати с небольшим, слыл за первого искусника по токарной части. И красавец был из себя. Роста чуть не с косую сажень, стоит, бывало, среди мужиков на базаре, всех выше головой; здоровый, белолицый, румянец во всю щеку так и горит, а кудрявые темно-русые волосы так и выются. Таким молодцом смотрел, что не только крестьянские девки, поповны на него заглядывались. Да что поповны! Была у станового свояченица, и та по Алеше Лохматом встосковалась... Да так встосковалась, что любовную записочку к нему написала. Ту записку становой перехватил, свояченицу до греха в другой уезд к тетке отправил, а Трифону грозил:

– Быть твоему Алешке под красной шапкой, не миновать, подлецу, бритого лба.

– Да за что ж это, ваше благородие? – спросил Трифон Лохматый. – Кажись, за сыном дурных дел не видится.

– Хоть дурных дел не видится, да не по себе он дерево клонит, – говорил становой.

Не разгадал Трифон загадки, а становой больше и говорить не стал. И злобился после того на Лохматых, и быть бы худу, да по скорости его под суд упекли.

Бывало, по осени, как супрядки начнутся, деревенские девки ждут не дождутся Алеши Лохматого; без него и песен не играют, без него и веселья нет. И умен же Алеша был, рассудлив не по годам, каждое дело по крестьянству не хуже стариков мог рассудить, к тому же грамотой Господь его умудрил. Хоть за Волгой грамотеи издавна не в диковину, но таких, как Алексей Лохматый, и там водится немного: опричь Божественных книг, читал гражданские и до них большой был охотник. Деньгу любил, а любил ее потому, что хотелось в довольстве, в богатстве, во всем изобилие пожить, славы, почета хотелось... Не говаривал он про то ни отцу с матерью, ни другу-приятелю; один с собой думу такую держал.

Жил старый Трифон Лохматый да Бога благодарил. Тихо жил, смирно, с соседями в любви да в совете; добрая слава шла про него далеко. Обиды от Лохматого никто не видал, каждому человеку он по силе своей рад был сделать добро. Пуще всего не любил мирских пересудов. Терпеть не мог, как иной раз дочери, набравшись вестей на супрядках аль у колодца, зачнут языками косточки кому-нибудь перемывать.

— Расшумелись, как воробьи к дождю! — крикнет, бывало, на них. — Люди врут, а вы вранье разносить?.. Потараторьте-ка еще у меня, сороки, сниму плетъ с колка, научу уму-разуму.

Девки ни гугу. И никогда, бывало, ни единой сплетни или пересудов из Трифоновой избы не выносилось.

Без горя, без напасти человеку века не прожить. И над Трифоном Лохматым сбилось то слово, стряслась и над ним беда, налетела напасть нежданно, негаданно. На самое Вздвиженье токаря у него сгорела с готовой посудой ста на два рублей. Работали в токарне до сумерек, огня и в заводах не было. В самую полночь вспыхнула. Стояла токарня на речке, в полуверсте от деревни, — покуда проснулись, покуда прибежали — вся в огне. В одно слово решили мужики, что лихой человек Трифону красного петуха пустил. Долго Лохматый умом-разумом по миру раскидывал, долго гадал, кто бы таков был лиходей, что его обездолил. Никого, кажись, Трифон не прогневал, со всеми жил в ладу да в добром совете, а токарню подпалили. Гадал, гадал Трифон Михайлыч, не надумал ни на кого и гадать перестал.

— Подавай становому объявление, — говорил ему удельного приказа писарь Карп Алексеич Морковкин. — Произведут следствие, сыщут злодея.

Ни слова Трифон не молвил в ответ писарю. На миру потом такую речь говорил:

— Ни за что на свете не подам объявления, ни за что на свете не наведу суда на деревню. Суд наедет, не одну мою копейку потянет, а миру и без



того туго приходится. Лучше ж я как-нибудь, с Божьей помощью, перебыюсь. Сколочусь по времени с деньжонками, нову токарню поставлю. А злодея, что меня обездолил, – суди Бог на страшном Христовом судилище.

Любовно принял мир слово Трифоново. Урядили, положили старики, если объявится лиходея, что у Лохматого токарню спалил, потачки ему, вору, не давать: из лет не вышел – в рекруты, вышел из лет – в Сибирь на поселенье. Так старики порешили.

С одной бедой трудовому человеку не больно хитро справиться. Одну беду заспать можно, можно и с хлебом съесть! Но беда не живет одна. Так и с Лохматым случилось. С самого пожара пошел ходить по бедам: на Покров пару лошадей угнали, на Казанскую воры в клеть залезли. Разбили злодеи укладку у Трифона, хорошу одежду всю выкрали, все годами припасенное дочерям приданое да триста целковых наличными, на которые думал Трифон к весне токарню поставить. Обобрали беднягу, как малинку, согнуло горе старика, не глядел бы на вольный свет, бежал бы куда из дому: жена воет не своим голосом, убивается; дочери режут, причитают над покраденными сарафанами, ровно по покойникам. Сыновья как ночь ходят. Что делать, как беде пособить? Денег нет, перехватить разве у кого-нибудь? Но Трифон в жизнь свою ни у кого не займовал, знал, что деньги занять – остуду принять.

– Прихвати, Михайлыч, сколько ни на есть деньжонок, – говорила жена его, Фекла, баба тихая, смиренная, внезапным горем совсем почти убитая. – И токарню ведь надо ставить, и без лошадок нельзя...

– Рад бы прихватить, Абрамовна, да негде прихватить-то; ни у которого человека теперь денег для чужого кошель не найдешь. Хоть проси, хоть нет – все едино.

– Да вот хотя у писаря, у него деньги завсегда водятся, – подхватила Фекла, – покурить бы тебе у Карла Алексеича. Даст.

Молчит Трифон, лучину щепает; Фекла свое.

– Что ж, Михайлыч? Заем дело вольное, любовное: бесчестья тут никакого нет, а нам, сам ты знаешь, без токарни да без лошадок не прожить. Подь поклоняйся писарю, – говорила Фекла мужу, утирая рукавом слезы.

– Не пойду, – отрывисто, с сердцем молвил Трифон и нахмурился. – И не говори ты мне, старуха, про этого мироеда, – прибавил он, возвысив голос, – не вороти ты душу мою... От него, от паскудного, весь мир сохнет. Знаться с писарями мне не рука.

– Да что же не знаться-то?.. Что ты за тысячник такой?.. Ишь гордыня какая налезла, – говорила Фекла. – Чем Карп Алексеич не человек? И денег

вволю, и начальство его знает. Глянь-ка на него, человек молодой, мирским захребетником был, а теперь перед ним всяк шапку ломит.

– Ну и пусть их ломают, а я, сказано, не пойду, так и не пойду, – молвил Трифон Лохматый.

– А я что говорила тебе, то и теперь скажу, – продолжала Фекла. – Как бы вот не горе-то наше великое, как бы не наше разоренье-то, он бы сватов к Параньке заслал. Давно про нее заговаривал. А теперь, знамо дело, бесприданница, побрезгует...

Прасковья, старшая дочь Трифона, залилась слезами и стала причитать.

– Плети захотела? – крикнул отец.

Смолкла Прасковья, оглядываясь и будто говоря: «Да ведь я так, я, пожалуй, и не стану реветь». Вспомнила, что корову доить пора, и пошла из избы, а меньшая сестра следом за ней. Фекла ни гугу, перебивает у печи горшки да Исусову молитву творит.

Нащепав лучины, обратился Трифон к старшему сыну, что во все время родительской перебранки молча в углу сидел, оттачивая токарный снаряд.

– Алеха! Неча, парень, делать, надо в чужи люди идти, в работники. Сказывают, Патап Максимыч Чапурин большой подряд на посуду снял. Самому, слышь, управиться сила не берет, так он токарей приискивает. Порядися с ним на лето аль до зимнего Николы. Десятков пять, шесть, Бог даст, заработаешь, к тому ж и с харчей долой. У Чапурина можно и вперед денег взять, не откажет; на эти деньги токарню по весне справили бы, на первое время хоть не больно мудрящую. А Саввушку, думаю я, Фекла, в Хвостиково послать, он мастер ложкарить. Заработает сколько-нибудь. А сами, Бог милостив, как-нибудь перебьемся.

– Я, батюшка, всей душой рад послужить, за твою родительскую хлеб-соль заработать, сколько силы да уменья хватит, и дома радехонек и на стороне – где прикажешь, – сказал красавец Алексей.

– Спасибо, парень. Руки у тебя золотые, добывай отцу, – молвил Трифон. – Саввушка, а Саввушка! – крикнул он, отворив дверь в сени, где младший сын резал из баклуш ложки.

– Чего, тятенька? – весело тряхнув кудрями, спросил красивый подросток, лет пятнадцати, входя в избу.

– Избным теплом, сидя возле материна сарафана, умен не будешь, Саввушка. Знаешь ты это? – спросил его отец.

– Знаю, – бойко ответил Саввушка, вопросительно глядя на отца.

– Поживя в чужих людях, умнее будешь. Так али нет?

– Ты, тятя, лучше меня знаешь, – отвечал Саввушка, ясно и любовно глядя на отца.

Бросила горшки свои Фекла; села на лавку и, ухватясь руками за колена, вся вытянулась вперед, зорко глядя на сыновей. И вдруг стала такая бледная, что краше во гроб кладут. Чужим теплом Трифоновы дети не грелись, чужого куска не едали, родительского дома отродясь не покидали. И никогда у отца с матерью на мысли того не бывало, чтобы когда-нибудь их сыновьям довелось на чужой стороне хлеб добывать. Горько бедной Фекле. Глядела, глядела старуха на своих сокольников и заревела в источный голос.

– Чего завывала? Не покойников провожаешь! – сердито попрекнул ей Трифон, но в суровых словах его слышалось что-то плачевное, горестное. А не задать бабе окрику нельзя; не плакать же мужику, не бабиться. – Фекла, – сказал Трифон жене поласковой, – подь-ка, помолись!

И Фекла покорно пошла в заднюю, где была у них небольшая моленна. Взявши в руку лестовку, стала за налой. Читая канон Богородице, хотелось ей забыть новое, самое тяжкое из всех постигших ее, горе.

– Уж вы порадейте, ребятки, пособи́те отцу, – говорил Трифон. – Пустил ли бы я вас в чужие люди, как бы не беда наша, не последнее дому разоренье? Уж вы порадейте. А живите в людях умненько, не балуйте, работайте путем. Не знаю, как в Хвостикове у ложкарей, Саввушка, а у Чапурина в Осиповке такое заведение, что, если который работник, кроме положенной работы, лишков наработает, за те лишки особая плата ему сверх ряженной. Чапурин – человек добрый, обиды никому не сделает. Служи ему, Алексей, как родному отцу; он тебя и впредь не покинет. Порадей же хорошенько, Алексеюшка, постарайся побольше денег заработать. Справиться бы нам поскорей! Тебе же подходит пора и закон совершить, так надо тебе, Алексей, об отце с матерью порадеть.

Долго толковал Трифон с сыновьями, как им работу искать. Порешили Алексею завтра ж идти в Осиповку рядиться к Патапу Максимычу, а в середу, как на соседний базар хвостиковские ложкари приедут, порядить и Саввушку.

Спать улеглись, а Фекла все еще клала в моленной земные поклоны. Кончив молитву, вошла она в избу и стала на колени у лавки, где, разметавшись, крепким сном спал любимец ее, Саввушка. Бережно взяла она в руки сыновнюю голову, припала к ней и долго, чуть слышно, рыдала.

Рано поутру, еще до свету, на другой день Алексей собрался в Осиповку. Это было как раз через неделю после Крещенья. Помолившись со всею семьей Богу, простившись с отцом, с матерью, с братом и

сестрами, пошел он рядиться. К вечеру надо было ему назад к отцу в Поромово прийти повестить, на чем в ряде сошлись. Был слух, что Чапурин цены дает хорошие, что дело у него наспех, сам-де не знает, успеет ли к сроку заподряженный товар поставить. Все работники, что были по околотку, нанялись уж к нему; кроме того, много работы роздано было по домам, и задатки розданы хорошие.

Светало, когда Алексей, напутствуемый наставлениями отца и тихим плачем матери, пошел из дому. Выйдя за ворота, перекрестился он на все стороны и, поникнув головой, пошел по узенькой дорожке, проложенной меж сугробов. Не легко человеку впервые оставлять теплое семейное гнездо, идти в чужие люди хлеб зарабатывать. Много было передумано Алексеем во время медленного пути. Думал он, что-то ждет его в чужом дому, ласковы ли будут хозяева, каковы-то будут до него товарищи, не было ли от кого обиды какой, не нажить бы ему чьей злобы своей простотой; чужбина ведь неподатлива – ума прибавит, да и горя набавит.

Патап Максимыч выходил из токарного завода, что стоял через улицу от дома за амбарами, когда из-за околицы показался Алексей Лохматый. Не доходя шагов десяти, снял он шапку и низко поклонился тысячнику. Чапурин окликал его:

– Здорово, парень! Куда Бог несет?

– До вашей милости, Патап Максимыч, – не надевая шапки, отвечал Алексей.

– Что надо, парень? Да ты шапку-то надевай, студено. Да пойдем-ка лучше в избу, там потеплей будет нам разговаривать. Скажи-ка, родной, как отец-от у вас справляется? Слышал я про ваши беды; жалко мне вас... Шутка ли, как злодеи-то вас обидели!..

– В разор разорили, Патап Максимыч, совсем доконали. Как есть совсем, – отвечал Алексей.

– Богу надо молиться, дружок, да рук не покладывать, и Господь все сызнова пошлет, – сказал Патап Максимыч. – Ты ведь, слышал я, грамотей, книгочей.

– Читаем помаленьку, – молвил Алексей.

– А чел ли ты книгу про Иева многострадального, про того, что на гноищи лежал? Побогаче твоего отца был, да всего лишился. И на Бога не возроптал. Не возроптал, – прибавил Патап Максимыч, возвыся голос.

– Это я знаю, читал, – отвечал Алексей. – Зачем на Бога роптать, Патап Максимыч? Это не годится; Бог лучше знает, чему надо быть; любя нас наказует...

– Это ты хорошо говоришь, дружок, по-Божьему, – ласково взяв

Алексея за плечо, сказал Патап Максимыч. – Господь пошлет; поминай чаще Иева на гноищи. Да... все имел, всего лишился, а на Бога не возроптал; за то и подал ему Бог больше прежнего. Так и ваше дело – на Бога не ропщите, рук не жалейте да с Богом работайте, Господь не оставит вас – пошлет больше прежнего.

Разговаривая таким образом, Патап Максимыч вошел с Алексеем в подклет; там сильно олифой пахло: крашенная посуда в печи сидела для просухи.

– По каким делам ко мне пришел? – спросил Патап Максимыч, скидая тулуп и обтирая сапоги о брошенную у порога рогожку.

– Слышно, ваша милость работников наймете... – робким голосом молвил Алексей.

– Наймуем. Работники мне нужны, – сказал Патап Максимыч.

– Так я бы...

Патап Максимыч улыбнулся.

Самый первый токарь, которым весь околоток не нахвалится, пришел наниматься незванный, непрошенный!.. Не раз подумывал Чапурин спсылать в Поромово к старику Лохматому – не отпустит ли он, при бедовых делах, старшего сына в работу, да все отдумывал... «Ну, а как не пустит, да еще после насмеется, ведь он, говорят, мужик крутой и заносливый...» Привыкнув жить в славе и почете, боялся Патап Максимыч посмеху от какого ни на есть мужика.

– В работники хочешь? – сказал он Алексею. – Что же? Милости просим. Про тебя слава идет добрая, да и сам я знаю работу твою: знаю, что руки у тебя золото... Да что ж это, парень? Неужели у вас до того дошло, что отец тебя в чужи люди посылает? Ведь ты говоришь, отец прислал. Не своей волей ты рядиться пришел?

– Как же можно без родительской воли, Патап Максимыч? Этого никак нельзя, – сказал Алексей.

– Так сами-то вы разве уж и подняться не можете?

– Не можем, Патап Максимыч; совсем злые люди нас обездолили; надо будет с годок в людях поработать, – отвечал Алексей. – Родители и меньшого брата к ложкарям посылают; знатно режет ложки; всякую, какую хошь, и касатую, и тонкую, и боскую, и межеумок, и крестовую режет. К пальме даже приучен – вот как бы хозяин ему такой достался, чтобы пальму точить...

– Доброе дело, – перебил Алексея Патап Максимыч. – Да ты про себя-то говори. Как же ты?

– Да как вашей милости будет угодно, – отвечал Алексей. – Я бы до

Михайлова дня, а коли милость будет, так до Николы...

– До Николы так до Николы. До зимнего, значит? – сказал Патап Максимыч.

– Известно, до зимнего, – подтвердил Алексей.

– А насчет ряды, как думаешь? – спросил Чапурин.

– Да уж это как вашей милости будет угодно, – сказал Алексей. – По вашей добродетели бедного человека вы не обидите, а я рад стараться, сколько силы хватит.

Такое слово любо было Патапу Максимычу. Он назначил Алексею хорошую плату и больше половины выдал вперед, чтобы можно было Лохматым помаленьку справиться по хозяйству.

– Молви отцу, – говорил он, давая деньги, – коли нужно ему на обзаведенье, шел бы ко мне – сотню другу-третью с радостью дам. Разживетесь, отдадите, аль по времени ты заработаешь. Ну, а когда же работать начнешь у меня?

– Да по мне хоть завтра же, Патап Максимыч, – отвечал Алексей. – Сегодня домой схожу, деньги снесу, в бане выпарюсь, а завтра с утра к вашей милости.

– Ну, ладно, хорошо. Приходи...

Алексей хотел идти из подклета, как дверь широко распахнулась и вошла Настя. В голубом ситцевом сарафане с белыми рукавами и широким белым передником, с алым шелковым платочком на голове, пышная, красивая, стала она у двери и, взглянув на красавца Алексея, потупилась.

– Тятенька, самовар принесли, – сказала отцу.

И голос у нее оборвался.

– Ладно, – молвил Патап Максимыч. – Так завтра приходи. Как, бишь, звать-то тебя? Алексеем, никак?

– Так точно, Патап Максимыч.

– Молви отцу-то, Алексеюшка, – нужны деньги, приходил бы. Рад помочь в нужде.

Помолился Алексей, поклонился хозяину, потом Насте и пошел из подклета. Отдавая поклон, Настя зарделась как маков цвет. Идя в верхние горницы, она, перебирая передник и потупив глаза, вполголоса спросила отца, что это за человек такой был у него?

– В работники нанялся, – равнодушно ответил отец.

Возвращаясь в Поромово, не о том думал Алексей, как обрадует отца с матерью, принеся нежданные деньги и сказав про обещанье Чапурина дать взаймы рублей триста на разживу, не о том мыслил, что завтра придется ему прощаться с домом родительским. Настя мерещилась. Одно он думал,

одно передумывал, шагая крупными шагами по узенькой снежной дорожке:  
«Зародилась же на свете такая красота!»

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

К именинам Аксиньи Захаровны приехала в Осиповку золовка ее, комаровская игуменья, мать Манефа. Привезла она с собою двух послушниц: Фленушку да Анафролию. Марья Гавриловна, купеческая вдова из богатого московского дома, своим коштом жившая в Манефиной обители и всеми уважаемая за богатство и строгую жизнь, не поехала в гости к Чапуриным. Это немного смутило Патапа Максимыча; приятелью Марьи Гавриловны он дорожил, родственники ее люди были первостатейные, лестно было ему знакомство их. И по торговле имел с ними дела.

Молодая, красивая, живая как огонь Фленушка, приятельница дочерей Патапа Максимыча, была девица-белоручка, любимица игуменьи, обительская баловница. Она выросла в обители, будучи отдана туда ребенком. Выучилась в скиту Фленушка грамоте, рукодельям, церковной службе, и хоть ничем не похожа была на монахиню, а приводилось ей, безродной сироте, век оставаться в обители. Из скитов замуж въявь не выходят – позором было бы это на обитель, но свадьбы «уходом» и там порой-временем случаются. Слюбится с молодцом белица, выдаст ему свою одежду и убежит венчаться в православную церковь: раскольников по такую чету ни за что не повенчает. Матери засуетятся, забегают, погони разошлют, но дело поправить нельзя. Посердятся на беглянку с полгода, иногда и целый год, а после смирятся. Беглянка после мировой почасту гостит в обители, живет там, как в родной семье, получает от матерей вспоможение, дочерей отдает к ним же на воспитание, а если овдовеет, воротится на старое пепелище, в старицы пострижется и станет век свой доживать в обители. Таких примеров много было, и Фленушка, поминая эти примеры, думала было обвенчаться «уходом» с молодым казанским купчиком Петрушей Самоквасовым, но матушки Манефы было жалко ей – убило бы это ее воспитательницу...

Другая послушница, привезенная Манефой в Осиповку, Анафролия, была простая крестьянская девка. В келарне больше жила, помогая матушке-келарю кушанье на обитель стряпать и исправляя черные работы в кельях самой игуменьи Манефы. Это была из себя больно некрасивая, рябая, неуклюжая как ступа, зато здоровенная девка, работала за четверых и ни о чем другом не помышляла, только бы сытно пообедать да вечером, поужинав вплотную, выспаться хорошенько. В обители дурой считали ее,



но любили за то, что сильная была работница и, куда ни пошли, что ей ни вели, все живой рукой обделает безо всякого ворчанья. Безответна была, голоса ее мало кто слышал.

Мать Манефу Аксины Захаровна поместила в задней горнице, возле моленной, вместе с домашней канонницей Евпраксией да с Анафролией. Манефа, напившись чайку с изюмом, – была великая постница, сахар почитала скоромным и сроду не употребляла его, – отправилась в свою комнату и там стала расспрашивать Евпраксию о порядках в братнином доме: усердно ли Богу молятся, сторого ли посты соблюдают, по сколько кафизм в день она прочитывает; каждый ли праздник службу правят, приходят ли на службу сторонние, а затем свела речь на то, что у них в скиту большое расстройство идет из-за епископа Софрония, а другие считают новых архиереев обливанцами и слышать про них не хотят.

– На прошлой неделе, Евпраксеюшка, грех-от какой случился. Не знаю, как и замолят его. Матушка Клеопатра, из Жжениной обители, пришла к Глафириным и стала про австрийское священство толковать, оно-де правильно, надо-де всем принять его, чтоб с Москвой не разорваться, потому-де, что с Рогожского пишут, по Москве-де все епископа приняли. Измарагдушка заспорила: обливанцы, говорит, они – архиереи-то. Спорили матери, спорили, да обе горячие, слово за слово, ругаться зачали, друг с дружки иночество сорвали, в косы. Такой грех – насилиу розняли! И пошли с той поры ссоры да свары промеж обителей, друг с дружкой не кланяются, друг дружку еретицами обзывают, из одного колодца воду брать перестали. Грех да и только.

– А вы как, матушка, насчет австрийского священства располагаете? – робко спросила Евпраксия.

– Мы бы, пожалуй, и приняли, – сказала Манефа. – Как не принять, Евпраксеюшка, когда Москва приняла? Чем станем кормиться, как с Москвой разорвемся? Ко мне же сам батюшка Иван Матвеич с Рогожского писал: принимай, дескать, матушка Манефа, безо всякого сумнения. Как же духовного отца послушаться?.. Как наши-то располагают, на чем решаются?.. По-моему, и нам бы надо принять, потому что в Москве, и в Казани, на Низу и во всех городах приняли. Разориться Патапушка может, коль не примет нового священства. Никто дел не захочет вести с ним; кредиту не будет, разорвется с покупателями. Так-то!

– Патап Максимыч, кажется мне, приемлет, – отвечала Евпраксия.

– Думала я поговорить с ним насчет этого, да не знаю, как приступить, – сказала Манефа. – Крутенок. Не знаешь, как и подойти. Прямой медведь.

– Он всему последует, чему самарские, – заметила Евпраксия. – А в Самаре епископа, сказывают, приняли. Акси́нья Захаровна сумлевалась спервоначала, а теперь, кажется, и она готова принять, потому что сам велел. Я вот уж другу неделю поминаю на службе и епископа и отца Михаила; сама Акси́нья Захаровна сказала, чтоб поминать.

– Какого это отца Михаила? – с любопытством, взглянув на канонницу, спросила мать Манефа.

– Михайлу Корягу из Колоскова, – сказала канонница. – Ведь он в попы ставлен.

– Коряга! Михайло Коряга! – сказала Манефа, с сомнением покачивая головой. – И нашим сказывали, что в попы ставлен, да веры нейметя. Больно до денег охоч. Стяжатель! Как такого поставить?

– Поставили, матушка, истинно, что поставили, – говорила Евпраксия. – На Богоявление в Городце воду святил, сам Патап Максимыч за вечерней стоял и воды богоявленской домой привез. Вон бурак-от у святых стоит. Великим постом Коряга, пожалуй, сюда наедет, исправлять станет, обедню служить. Ему, слышь, епископ-от полотняную церковь пожаловал и одикон, рекше путевой престол Господа Бога и Спаса нашего...

– Коряга! Михайло Коряга! Попом! Да что ж это такое! – в раздумье говорила Манефа, покачивая головой и не слушая речей Евпраксии. – А впрочем, и сам-от Софроний такой же стяжатель – благодатью духа святого торгует... Если иного епископа, благочестивого и Бога боящегося, не поставят – Софрония я не приму... Ни за что не приму!..

Меж тем в девичьей светлице у Насти с Фленушкой шел другой разговор. Настя расспрашивала про скитских приятельниц и знакомых, гостя чуть успевала ответы давать. Про всех переговорили, про все новости бойкая, говорливая Фленушка рассказала. Расспросам Насти не было конца – хотелось ей узнать, какая белица сарафан к праздникам сшила, дошила ль Марья головщица канвовую подушку, отослала ль ту подушку матушка Манефа в Казань, получили ли девицы новые бисера из Москвы, выучилась ли Устинья Московка шелковы пояски с молитвами из золота ткать. Осведомившись обо всем, стала Настя Фленушку расспрашивать, как поживала она после отъезда их из обители.

– Что моя жизнь! – желчно смеясь, ответила Фленушка. – Известно какая! Тоска и больше ничего; встанешь, чайку попьешь – за часы пойдешь, пообедаешь – потом к правильным канонам, к вечерне. Ну, вечерком, известно, на супрядки сбегаешь; придешь домой, матушка, как водится, началить зачнет, зачем, дескать, на супрядки ходила; ну, до ужина дело-то

так и проволочишь. Поужинаешь и на боковую. И слава те, Христе, что день прошел.

– А к заутрене будют?

– Перестали. Отбилась. Ленива ведь я, Настасья Патаповна, Богу-то молиться. Как прежде, так и теперь, – смеялась Фленушка.

– А супрядки нонешнюю зиму бывали? – спросила ее Настя.

– Как же! У Жжениных в обители каждую среду по-прежнему. Завела было игуменья у Жжениных такое новшество: на супрядках «пролог» читать, жития святых того дня. Мало их в моленной-то читают! Три среды читали, игуменья сама с девицами сидела, чтобы, знаешь, слушали, не баловались. А девицы не промах. «Пролог»-от скрали да в подполье и закопали. Смеху-то что было!.. У Бояркиных по пятницам сходились, у Московкиной по вторникам, только не каждую неделю; а в нашей обители, как и при вас бывало, – по четвергам. Только матушка Манефа с той поры, как вы уехали, все грозит разогнать наши беседы и келарню по вечерам запирает, чтобы не смели, говорит, собираться девицы из чужих обителей. А песенку спеть либо игру затеять – без вас и думать не смей; пой Алексея человека Божьего. Как племянницы, говорит матушка, жили да Дуня Смолокурова, так я баловала их для того, что девицы они мирские, черной ризы им не надеть, а вы, говорит, должны о Боге думать, чтобы сподобиться честное иночество принять... Да ведь это она так только пугает. Каждый раз поворчит, поворчит да и пошлет мать Софию, что в ключах у ней ходит, в кладовую за гостинцами девицам на угощенье. Иной раз и сама придет в келарню. Ну, при ней, известно дело, все чинно да пристойно: стихиры зароем, и ни единая девица не улыбнется, а только за дверь матушка, дым коромыслом. Смотришь, ан белицы и «Гусара» запели...

И, увлекшись воспоминаньями о скитских супрядках, Фленушка вполголоса запела:

Гусар, на саблю опираясь... —

давно уже проникший на девичьи беседы в раскольничьи скиты.

– А у Глафириных супрядков разве не было? – спросила Настя.

– Как не бывать! – молвила Фленушка. – Самые развеселые были беседы, парни с деревень прихаживали... С гармониями... Да нашим туда теперь ходу не стало.

– Как так? – удивилась Настя.

– Да все из-за этого австрийского священства! – сказала Фленушка. – Мы, видишь ты, задумали принимать, а Глафирины не приемлют, Игнатьевы тоже не приемлют. Ну и разорвались во всем: друг с дружкой не видятся, общения не имеют, клянут друг друга. Намедни Клеопатра от Жжениных к Глафириным пришла, да как сцепится с кривой Измарагдой; бранились, бранились, да вповолочку! Такая теперь промеж обителей злоба, что смех и горе. Да ведь это одни только матери сварятся, мы-то потихоньку выдаемся.

– Где же веселее бывало на супрядках? – спрашивала Настя.

– У Бояркиных, – ответила Фленушка. – Насчет угощения бедно, зато парни завсегда почти. Ну, бывали и приезжие.

– Откуда? – спросила Настя.

– Из Москвы купчик наезжал, матушки Таисеи сродственник; деньги в раздачу привозил, развеселый такой. Больно его честили; келейница матушки Таисеи – помнишь Варварушку из Кинешмы? – совсем с ума сошла по нем; как уехал, так в прорубь кинуться хотела, руки на себя наложить. Еще Александр Михайлыч бывал, станowego письмоводитель, – этот по-прежнему больше все с Серафимушкой; матушка Таисея грозит уж ее из обители погнать.

– А из Казани гости бывали? – с улыбкой спросила Фленушку Настя.

– Были из Казани, да не те, на кого думаешь, – сказала Фленушка.

– Петр Степаныч разве не бывал? – спросила Настя.

– Не был, – сухо ответила Фленушка и примолвила: – Бросить хочу его, Настенька.

– Что так?

– Тоска только одна!.. Ну его... Другого люблю!

– Зачем же другого? Это нехорошо, – сказала Настя, – надо одного уж держаться.

– Вот еще! Одного! – вспыхнула Фленушка. – Он станет насмехаться, а ты его люби. Да ни за что на свете! Ваську Шибаева люблю – так вот он и знай, – с лукавой усмешкой, глядя на приятельницу, бойко молвила Фленушка.

– Какой Шибаев? Откуда?

– Эге-ге! – вскрикнула Фленушка и захохотала. – Память-то какая у тебя короткая стала, Настасья Патаповна! Аль забыла того, кто из Москвы конфеты в бумажных коробках с золотом привозил? Ай да Настя, ай да Настасья Патаповна! Можно чести приписать! Видно, у тебя с глаз долой, так из думы вон. Так, что ли?.. А?..

– Ничего тут не было, – потупясь и глухим шепотом сказала Настя.

– Как ничего? – быстро спросила Фленушка.

– Глупости одни, – с недовольной улыбкой ответила Настя. – Ты же все затевала.

– Ну, ладно, ладно, пуцай я причиной всему, – сказала Фленушка. – А все-таки скажу, что память у тебя короткая стала. С чего бы это?.. Аль кого полюбила?..

Настя вся вспыхнула. Сама ни слова.

– Что? Зазнобушка завелась? – приставала к ней Фленушка, крепко обняв подругу. – А?.. Да говори же скорей – сора из избы не вынесем... Аль не знаешь меня? Что сказано, то во мне умерло.

Как кумач красная, Настя молчала. На глазах слезы выступили, и дрожь ее схватывала.

– Да говори, говори же! – приставала Фленушка. – Скажи!.. Право, легче будет. Увидишь!..

Настя тяжело дышала, но крепилась, молчала. Не могла, однако, слез сдержать, – так и полились они по щекам ее. Утерла глаза Настя передником и прижалась к плечу Фленушки.

– Полюбила... Впрямь полюбила? – допрашивала та. – Да говори же, Настенька, говори скорей. Облегчи свою душеньку... Ей-Богу, легче станет, как скажешь... От сердца тягость так и отвалит. Полюбила?

– Да, – едва слышно прошептала Настя.

– Кого же?.. Кого?.. – допытывалась Фленушка. – Скажи, кого? Право, легче будет... Ну, хоть зовут-то как?

Молчала Настя и плакала.

– Говорят тебе, скажи, как зовут?.. Как только имя его вымолвишь, так и облегчишься. Разом другая станешь. Как же звать-то.

– Алексеем! – шепотом промолвила Настя и, зарыдав, прижалась к плечу Фленушки...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Ведется обычай у заволжских тысячников народу «столы строить». За такими столами угощают они окольных крестьян сытным обедом, пивом похмельным, вином зеленым, чтоб «к себе прикормить», чтоб работники из ближайших деревень домашней работы другим скупщикам не сбывали, а коль понадобятся тысячнику работники наспех, шли бы к нему по первому зову. У Патапа Максимыча столы строили дважды в году: перед Троицей да по осени, когда из Низовья хозяин домой возвращался. Угощение у него бывало на широкую руку, мужик был богатый и тороватый, любил народ угостить и любил тем повеличаться. Ста по полутора за столами у него кормилось; да не одни работники, бабы с девками и подростки в Осиповку к нему пить-есть приходили.

На радостях, что на крещенском базаре по торгам удача выпала, а больше потому, что сватовство с богатым купцом наклевывалось, Патап Максимыч задумал построить столы не в очередь. И то у него на уме было, что, забрав чересчур подрядной работы, много тысяч посуды надо ему по домам заказать. Для того и не мешало ему прикормить заранее работников. Но главный замысел не тот был: хотелось ему будущим сватушке да зятюку показать, каков он человек за Волгой, какую силу в народе имеет. «Пускай посмотрит, – раздумывал он, заложив руки за спину и расхаживая взад и вперед по горнице, – пускай поглядит Данило Тихоныч, каково Патап Чапурин в своем околотке живет, как «подначальных крестьян» хлебом-солью чествует и в каком почете мир-народ его держит».

В той стороне помещичьи крестьяне хоть исстари бывали, но помещиков никогда в глаза не видали. Заволжские поместья принадлежат лицам знатным, что, живя в столице либо в чужих краях, никогда в наследственные леса и болота не заглядывают. И немцев управляющих не знавал там народ. Миловал Господь. Земля холодная, песчаная, неродимая, запашку заводить нет зачета. Оттого помещики и не сажали в свои заволжские вотчины немцев-управляющих, оттого и спас Господь милостливый Заволжский край от той саранчи, что русской сельщине-деревенщине во времена крепостного права приходилось не легче татарщины, лихолетья и длинного ряда недородов, пожаров и моровых поветрий. Все крестьяне по Заволжью были оброчные, пользовались всей землей сполна и управлялись излюбленными миром старостами. При отсутствии помещиков и управляющих так называемые тысячники

пользовались большим значением. Вся промышленность в их руках, все рядовые крестьяне зависят от них и никак из воли их выйти не могут. Такой тысячник, как Патап Максимыч, – а работало на него до двадцати окольных деревень, – жил настоящим барином. Его воля – закон, его ласка – милость, его гнев – беда великая... Силен человек: захочет, всякого может в разор разорить.

«Ну-ка, Данило Тихоныч, погляди на мое житье-бытье, – продолжал раздумывать сам с собой Патап Максимыч. – Спознай мою силу над «моими» деревнями и не моги забирать себе в голову, что честь мне великую делаешь, сватая за сына Настю. Нет, сватушка дорогой, сами не хуже кого другого, даром что не пишемся почетными гражданами и купцами первой гильдии, а только государственными крестьянами».

Поутру на другой день вся семья за ведерным самоваром сидела. Толковал Патап Максимыч с хозяйкой о том, как и чем гостей потчевать.

– Беспременно за Никитишной надо подводу гнать, – говорил он. – Надо, чтоб кума такой стол состряпала, какие только у самых набольших генералов бывают.

– Справится ли она, Максимыч? – молвила Аксинья Захаровна. – Мастерница-то мастерница, да прихварывает, силы у ней против прежнего вполовину нет. Как в последний раз гостила у нас, повозится-повозится у печи, да и приляжет на лавочке. Скажешь: «Полно, кумушка, не утруждайся», – не слушается. Насчет стряпни с ней сладить никак невозможно: только приехала, и за стряпню, и хоть самой неможется, стряпка к печи не смей подходить.

– Помаленьку как-нибудь справится, – отвечал Патап Максимыч. – Никитишне из праздников праздник, как стол урядить ее позовут. Вот что я сделаю: поеду за покупками в город, заверну к Ключову, позову куму и насчет того потолкую с ней, что искупить, а воротясь домой, подводу за ней пошлю. Да вот еще что, Аксиныюшка: не запамятуй послезавтра спосылать Пантелея в Захлыстино, стяг свежины на базаре купил бы да две либо три свиные туши, баранины, солонины...

– На что такая пропасть, Максимыч? – спросила Аксинья Захаровна.

– Столы хочу строить, – ответил он. – Пусть Данило Тихоныч поглядит на наши порядки, пуцай посмотрит, как у нас, за Волгой, народ угощают. Ведь по ихним местам, на Низу, такого заведения нет.

– Не напрасно ли задумал, Максимыч? – сказала Аксинья Захаровна. – На Михайлов день столы строили. Разве не станешь на Троицу?

– Осень – осенью. Троица – Троицей, а теперь само по себе... Не в счет, не в уряд... Сказано: хочу, и делу конец – толковать попусту нечего, –

прибавил он, возвыся несколько голос.

– Слышу, Максимыч, слышу, – покорно сказала Акси́нья Захаровна. – Делай, как знаешь, воля твоя.

– Без тебя знаю, что моя, – слегка нахмурясь, молвил Патап Максимыч. – Захочу, не одну тысячу народу сгоню кормиться... Захочу, всю улицу столами загорожу, и все это будет не твоего бабьего ума дело. Ваше бабье дело молчать да слушать, что большак приказывает!.. Вот тебе... сказ!

– Да чтой-то, родной, ты ни с того ни с сего расходился? – тихо и смиренно вмешалась в разговор мужа с женой мать Манефа. – И слова сказать нельзя тебе, так и закипишь.

– А тебе тоже бы молчать, спасенная душа, – отвечал Патап Максимыч сестре, взглянув на нее исподлобья. – Промеж мужа и жены советниц не надо. Не люблю, терпеть не могу!.. Слушай же, Акси́нья Захаровна, – продолжал он, смягчая голос, – скажи стряпухе Арине, взяла бы двух баб на подмогу. Коли нет из наших работниц ловких на стряпню, на деревнях поискала бы. Да вот Анафро́лю можно прихватить. Ведь она у тебя больше при келарне? – обратился он к Манефе.

– Келарничает, – отвечает Манефа, – только ведь кушанья-то у нас самые простые да постные.

– Пускай поможет; не осквернит рук скоромятиной. Аль грех, по-вашему?

– Какой же грех, – сказала мать Манефа, – лишь бы было заповеданное. И у нас порой на мирских людей мясное стряпают, белицам тоже ину пору. Спроси дочерей, сиделись ли они у меня на обед без курочки аль без говядины во дни положенные.

– Не бойся, спасена душа, – шутливо сказал Патап Максимыч, – ни зайцев, ни давленных тетерок на стол не поставлю; *христиане будут обедать. Значит, твоя Анафро́ля не осквернится.*

– Уж как ты пойдешь, так только слушай тебя, – промолвила мать Манефа. – Налей-ка, сестрица, еще чайку-то, – прибавила она, протягивая чашку к сидевшей за самоваром Акси́нье Захаровне.

– Слушай же, Акси́нья, – продолжал Патап Максимыч, – народу чтоб вдоволь было всего: студень с хреном, солонина, щи со свежиной, лапша со свининой, пироги с говядиной, баранина с кашей. Все чтоб было сготовлено хорошо и всего было бы вдосталь. За вином спсылать, ренского непьющим бабам купить. Пантелей обделает. Заедок девкам да подросткам купить: рожков, орехов кедровых, жемков, пряников городецких. С завтрашнего дня брагу варить да сыченые квасы ставить.



– Пряников-то да рожков и дома найдется, посылать не для чего. От Михайлова дня много осталось, – сказала Акси́нья Захаровна.

– Коли дома есть, так и ладно. Только смотри у меня, чтобы не было в чем недостачи. Не осрами, – сказал Патап Максимыч. – Не то, знаешь меня, – гости со двора, а я за расправу.

– Не впервые, батько, столы-то нам строить, порядки знаем, – отвечала Акси́нья Захаровна.

– То-то, держи ухо востро, – ласково улыбаясь, продолжал Патап Максимыч. – На славу твои именины справим. Танцы заведем, ты плясать пойдешь. Так али нет? – прибавил он, весело хлопнув жену по плечу.

– Никак ошалел ты, Максимыч! – воскликнула Акси́нья Захаровна. – С ума, что ли, спятил?.. Не молоденький, батько, заигрывать... Прошло наше время!.. Убирайся прочь, непутный!

– Ничего, сударыня Акси́нья Захаровна, – говорил, смеясь, Патап Максимыч. – Это мы так, шутку, значит, шутим. Авось плечо-то у тебя не отломится.

– Нашел время шутки шутить, – продолжала ворчать Акси́нья Захаровна. – Точно я молоденькая. Вон дочери выросли. Хоть бы при них-то постыдился на старости лет бесчинничать.

– Чего их стыдиться-то? – молвил Патап Максимыч. – Обожди маленько, и с ними мужья станут заигрывать еще не по-нашему. Подь-ка сюда, Настасья!

– Что, тятенька? – сказала Настя, подойдя к отцу.

– Станешь сердчать, коли муж заигрывать станет? А? – спросил у нее Патап Максимыч.

– Не будет у меня мужа, – сдержанно и сухо ответила Настя, перебирая конец передника.

– Ан вот не угадала, – весело сказал ей Патап Максимыч. – У меня женишок припасен. Любо-дорого посмотреть!.. Вон на материных именинах увидишь... первый сорт. Просим, Настасья Патаповна, любить его да жаловать.

– Не пойду я за него, – сквозь зубы проговорила Настя. Краска на щеках у ней выступила.

– Знамо, не сама пойдешь, – спокойно отвечал Патап Максимыч. – Отец с матерью вживе – выдадут. Не век же тебе в девках сидеть... Вам с Паранькой не хлеб-соль родительскую отрабатывать, – засиживаться нечего. Эка, подумаешь, девичье-то дело какое, – прибавил он, обращаясь к жене и к матери Манефе, – у самой только и на уме, как бы замуж, а на речах: «не хочу» да «не пойду».

– Не приставай к Настасье, Максимыч, – вступилась Аксинья Захаровна. – И без того девке плохо можется. Погляди-ка на нее хорошенько, ишь какая стала, совсем извелась в эти дни. Без малого неделя бродит как очумелая. От еды откинуло, невеселая такая.

– Кровь в девке ходит, и вся недолга, – заметил Патап Максимыч, – увидит жениха, хворь как рукой снимет.

– Да полно ж тебе, Максимыч, мучить ее понапрасну, – сказала Аксинья Захаровна. – Ты вот послушай-ка, что я скажу тебе, только не серчай, коли молвится слово не по тебе. Ты всему голова, твоя воля, делай как разумеешь, а по моему глупому разуменью, деньги-то, что на столы изойдут, нищей бы братии раздать, ну хоть ради Настина здоровья да счастья. Доходна до Бога молитва нищего, Максимыч. Сам ты лучше меня знаешь.

– Разве заказано тебе оделять нищую братию? Нищие нищими, столы столами, – сказал Патап Максимыч. – Слава Богу, у нас с тобой достатков на это хватит. Подавай за Настю, пожалуй, чтоб Господь послал ей хорошего мужа.

– Заладил себе, как сорока Якова: муж да муж, – молвила на то Аксинья Захаровна. – Только и речей у тебя. Хоть бы пожалел маленько девку-то. Ты бы лучше вот послушал, что матушка Манефа про скитских «сирот» говорит. Про тех, что меж обителей особняком по своим кельям живут. Старухи старые, хворые; пить-есть хотят, а взять неоткуда.

– Да, – вступилась мать Манефа, – в нынешнее время куда как тяжело приходится жить сиротам. Дороговизна!.. С каждым днем все дороже да дороже становится, а подаяния сиротам, почитай, нет никакого. Масленица на дворе – ни гречневой мучки на блины, ни маслица достать им негде. Такая бедность, такая скудость, что един только Господь знает, как они держатся.

– Сколько у вас сиротских дворов? – спросил Патап Максимыч.

– Тридцать пять, – отвечала Манефа.

– Вот тебе тридцать пять рублей, – молвил тысячник, вынимая десятирублевую и отдавая ее Манефе. – Деньги счел по старине, на ассигнации. Раздай по рублю на двор, – примолвил сестре.

– Спаси тя Христос, – сказала Манефа, перекрестясь и завязывая бумажку в уголок носового платка.

– Ну, вот и слава Богу, – весело проговорила Аксинья Захаровна. – Будут сироты с блинами на масленице. А как же бедные-то обители, Максимыч? – продолжала она, обращаясь к мужу. – И тамошним старицам блинков тоже захочется.

– За них, сударыня моя, не бойся, с голоду не помрут, – сказал Патап Максимыч. – Блины-то у них масляней наших будут. Пришипились только эти матери, копни их хорошенько, пошарь в сундуках, сколь золота да серебра сыщешь. Нищатся только, лицемерят. Такое уж у них заведение.

– Ах нет. Праздного слова, братец, не говори, – вступилась Манефа. – В достаточных обителях точно – деньжонки кой-какие водятся, говорить про то нечего, а по бедным не богаче сирот живут. Вот хоть у нас в Комарове взять: налицо осталось двенадцать обителей, в семи-то, дай Бог здоровья благодетелям, нужды не терпим, грех на Бога роптать. А в пяти остальных такая, братец, скудость, такая нищета, что – верь ты, не верь моему слову – ничем не лучше сиротских дворов. Напольных взять, Марфиных, Заречных, покойницы матушки Солоникеи, Рассохиных... Чем питаются, един Господь ведает. Совсем не стало им теперь подаяния. Оскудела рука христиан, стали больше о суете думать, чем о душеспасенье. Так-от, родной. С тех пор как на Керженце у Тарасия да в Осиновском у Трифины старцы да старицы от старой веры отшатнулись, благодетельная рука христиан стала неразогбенна. Зачали, слышь ты, на Москве все наши заволжские обители в подозренье держать, все-де мы за Керженцом да за Осинками в это единоверие последуем. Заподозрили и присылать перестали. Вот оно что, а ты еще говоришь: лицемерят. Какое тут лицемерие, как есть-то нечего. Хоть нашу обитель взять. Ты не оставляешь, в Москве и в Питере есть благодетели, десять канонниц по разным местам негасиму читают, три сборщицы по городам ездят, ну, покуда Бог грехам терпит, живем и молимся за благодетелей. Бояркины тоже, Жженины, Глафирины, Игнатьевы, Московкины, Таисеины, все благодетелями не оставлены. А другие совсем до конца дошли. Говорю тебе: пить-есть нечего. Рассохиных взять: совсем захудела обитель, а какая в стары годы была богатая. Матушка Досифея, ихня игуменья, с горя да с забот в рассудке инда стала мешаться...

– Запоем, слышь, пьет, – заметил Патап Максимыч.

– Не греши напрасно, братец, – возразила Манефа. – Мало ль чего люди не наплетут! Какое питье, когда жевать нечего, одеться не во что!

– Зачала Лазаря! – сказал, смеясь, Патап Максимыч. – Уж и Рассохиным нечего есть! Эко слово, спасенная душа, ты молвила!.. Да у них, я тебе скажу, денег куча; лопатами, чай, гребут. Обитель-то ихняя первыми богачами строена. У вас в Комарове они и хоронились, и постригались, и каких за то вкладов не надавали! Пошарь-ка у Досифеи в сундуках, много тысяч найдешь.

– Оно точно, братец, в прежнее время Рассохиных обитель была

богатая, это правда и по всему христианству известно, – сказала Манефа. – Одних инокинь бывало у них по пятидесяти, а белиц по сотне и больше. До пожара часовня ихняя по всем скитам была первая; своих попов держали, на Иргиз на каждого попа сот по пяти платили. Да ведь такое пространное житие было еще при стариках Рассохиных. А теперь, сам ты знаешь, каковы молодые-то стали. Стару веру покинули, возлюбили новую, брады побрили, вышли в Господа и забыли отчие да дедные гробы. Как есть одна копейка, и той от них на родительскую обитель не бывало. Слава мира обуяла Рассохиных; про обитель Комаровскую, про строение своих родителей, и слышать не хотят, гнушаются... Ну, и захудала обитель: беднеть да беднеть зачала. К тому ж Господь дважды посетил ее – горели.

– Сундуки-то, чать, повытаскали? – спросил Патап Максимыч.

– Не успели, – молвила Манефа. – В чем спали, в том и выскочили. С той поры и началось Рассохиным житие горе-горькое. Больше половины обители врозь разбрелось. Остались одни старые старухи и до того дошли, сердечные, что лампадки на большой праздник нечем затеплить, масла нет. Намедни, в рождественский сочельник, Спасову звезду без сочива встречали. Вот до чего дошли!

Патап Максимыч подумал немного. Молча достал бумажник, вынул четвертную<sup>[4]</sup> и, отдавая Манефе, сказал:

– Получай. Дели поровну: на пять обителей по пяти целковых. Пускай их едят блины на масленице. Подлей чайку-то, Захаровна. А ты, Фленушка, что не пьешь? Пей, сударыня: не хмельное, не вредит.

– Много благодарна, Патап Максимыч, – с ужимочкой ответила Фленушка. – Я уж очень довольна, пойду теперь за работу.

– За какую это работу? – спросил Патап Максимыч.

– Пелену шью, – ответила Фленушка. – Матушка приказала синелью да шерстями пелену вышить, к масленице надо кончить ее бесприменно. Для того с собой и пяльцы захватила.

– Ступай-ка в самом деле, Фленушка, – сказала мать Манефа, – пошей. Времени-то немного остается: на сырной неделе оказия будет в Москву, надо бесприменно отослать. На Рогожское хочу пелену-то послать, – продолжала она, обращаясь к Патапу Максимычу. – Да еще хочу к матушке Пульхерии отписать, благословит ли она епископу омофор вышивать да подушку, на чем ему в службе сидеть. Рылась я, братец, в книгах, искала на то правила, подобает ли в шитом шерстями да синелью омофоре епископу действовать, – не нашла. Хоть бы единое слово в правилах про то было сказано. Остаюсь в сумненьи, парчовые ли только омофоры следует делать, али можно и шитые. Вот и отписываю, – матушка Пульхерия знает об этом

доподлинно.

Фленушка пошла из горницы, следом за ней Параша. Настя осталась. Как в воду опущенная, молча сидела она у окна, не слушая разговоров про сиротские дворы и бедные обитатели. Отцовские речи про жениха глубоко запали ей на сердце. Теперь знала она, что Патап Максимыч в самом деле задумал выдать ее за кого-то незнаемого. Каждое слово отцовское как ножом ее по сердцу резало. Только о том теперь и думает Настя, как бы избыть грозящую беду.

– А тебе, Настасья, видно, и в самом деле неможется? – спросил ее отец. – Подь-ка сюда.

Опустя голову и перебирая угол передника, подошла Настя к дивану, где сидел Патап Максимыч.

– Совсем девка зачала изводиться, – вступилась Манефа. – Как жили они в обители, как маков цвет цвела, а в родительском доме и румянец с лица сбежал. Чудное дело!

– Уж пытала я, пытала у ней, – заметила Аксинья Захаровна, – скажи, мол, Настя, что болит у тебя? «Ничего, говорит, не болит...» И ни единого слова не могла от нее добиться.

– Сядь-ка рядом, потолкуем ладком, – сказал Патап Максимыч, сажая Настю рядом с собой и обнимая рукою стан ее. – Что, девка, раскручинилась? Молви отцу. Может, что и посоветует.

Не отвечала Настя. То в жар, то в озноб кидало ее, на глазах слезы выступили.

– Чего молчишь? Изрони словечко. Скажи хоть на ушко, – продолжал Патап Максимыч, наклоня к себе Настину голову.

– Тошнехонько мне, тятя, – вполголоса сказала Настя. – Пусти ты меня, в светлицу пойду.

– Эту тошноту мы вылечим, – говорил Патап Максимыч, ласково приглаживая у дочери волосы. – Не плачь, радость скажу. Не хотел говорить до поры до времени, да уж, так и быть, скажу теперь. Жениха жди, Настасья Патаповна. Прикатит к матери на именины... Слышишь?... Славный такой, молодой да здоровенный, а богач какой!.. Из первых... Будешь в славе, в почете жить, во всяком удовольствии... Чего молчишь?... Рада?..

У Насти в три ручья слезы хлынули.

– Не пойду за него... – молвила, рыдая и припав к отцовскому плечу. – Не губи меня, голубчик тятенька... не пойду...

– Отец велит, пойдешь, – нахмурясь, строгим голосом сказал Патап Максимыч, отстраняя Настю.

Она встала и, закрыв лицо передником, горько заплакала. Акси́нья Захаровна бросила перемывать чашки и сказала, подойдя к дочери:

– Полно, Настенька, не плачь, не томи себя. Отец ведь любит тебя, добра тебе желает. Полно же, пригожая моя, перестань!

Настя отерла слезы передником и отняла его от лица. Изумились отец с матерью, взглянув на нее. Точно не Настя, другая какая-то девушка стала перед ними. Гордо подняв голову, величаво подошла она к отцу и ровным, твердым, сдержанным голосом, как бы отчеканивая каждое слово, сказала:

– Слушай, тятя! За того жениха, что сыскал ты, я не пойду... Режь меня, что хочешь делай... Есть у меня другой жених... Сама его выбрала, за другого не пойду... Слышишь?

– Что-о-о? – закричал Патап Максимыч, вскакивая с дивана. – Жених?.. Так ты так-то!.. Да я разражу тебя! Говори сейчас, негодница, какой у тебя жених завелся?.. Я ему задам...

Акси́нья Захаровна так и обомлела на месте. Матушка Манефа, сидя, перебирала лестовку и творила молитву.

– Не достанешь, тятя, моего жениха, – с улыбкой молвила Настя.

– Кто таков?.. Сказывай, покаместь цела, – в неистовстве кричал Патап Максимыч, поднимая кулаки.

– Христос, царь небесный, – отступая назад, отвечала Настя. – Ему обещалась... Я в кельи, тятя, иду, иночество приму.

Патап Максимыч на сестру накинулся:

– Твои дела, спасенница?.. Твои дела?.. Ты ей в голову такие мысли набила?

– Никогда я Настасье про иночество слова не говорила, – спокойно и холодно отвечала Манефа, – беседы у меня с ней о том никогда не бывало. И нет ей моего совета, нет благословения идти в скиты. Молода еще, голубушка, – не снесешь... Да у нас таких молодых и не постригают.

– А коль я к воротам твоим, тетенька, босая приду да, стоя у вереи в одной рубахе, громко, именем Христовым, зачну молить, чтобы допустили меня к жениху моему?.. Прогонишь?.. Запрешь ворота?.. А?..

– Нет, не могу ворот запереть, – отвечала игуменья. – Нельзя... Господь сказал: «Грядущего ко мне не изжену»... Должна буду принять.

– Так слушай же ты, спасенная твоя душа, – закричал Патап Максимыч сестре. – Твоя обитель мной только и дышит... Так али нет?

– Так точно, – отвечала Манефа.

– Знаешь ты, какие строгие наказы из Питера насланы?.. Все скиты вконец хотят порешить, праху чтоб ихнего не осталось, всех стариц да белиц за караулом по своим местам разослать... Слыхала про это?

– Как не слышать! – спокойно сказала Манефа.

– А кто от вас эту беду до поры до времени, покуда сила да мочь есть, отводит? – продолжал Патап Максимыч. – Кто за вас у начальства хлопочет?.. Знаешь?..

– Знаю, что ты наш заступник. Тобой держимся, – молвила Манефа.

– Так помни же мое слово и всем игуменьям повести, – кипя гневом, сказал Патап Максимыч, – если Настасья уходом уйдет в какой-нибудь скит, – и твоей обители и всем вашим скитам конец... Слово мое крепко... А ты, Настасья, – прибавил он, понизив голос, – дурь из головы выкинь... Слышишь?.. Ишь какая невеста Христова проявилась!.. Чтоб я не слышал таких речей...

Сказав это, Патап Максимыч вышел из горницы и крепко хлопнул за собой дверью...

На другой день после того у Чапуриных баню топили. Хоть дело было и не в субботу, но как же приехавших из Комарова гостей в баньке не попарить? Не по-русски будет, не по старому завету. Да и сам Патап Максимыч такой охотник был попариться, что ему хоть каждый день баню топи.

Баня стояла в ряду прочих крестьянских бань за деревней, на берегу Шишинки, для безопасности от пожару и чтобы летом, выпарившись в бане, близко было окунуться в холодную воду речки. Любит русский человек, выпарившись, зимой на снегу поваляться, летом в студеной воде искупаться. Перед сумерками пошла париться Акси́нья Захаровна с дочерьми и Фленушкой, Матрена работница шла с ними для услуги. Из дому в баню надо идти мимо токарен, от них узенькая тропинка пролегалa среди сугробов к чапуринской бане. Высокая, белая, <sup>[5]</sup> светлая, просторная, она и снаружи смотрела дворянскою, а внутри все было чисто и хорошо прибрано. Липовые полки, лавки и самый пол по несколько раз в год строгались скобелем, окна в бане были большие, со стеклами, и чистый предбанник прирублен был.

Фленушка вышла из дому последняя, и когда вошла в предбанник, Акси́нья Захаровна с Парашей уже разделись и ушли в баню, где Матрена полки и лавки подмывала. Настя еще раздевалась.

– Сейчас узнала, в которой токарне чей-то милый дружок работает, – вполголоса сказала ей вошедшая Фленушка, – вторая с краю, от нее тропинка к бане проложена.

– Зачем узнавала, Фленушка? – спросила Настя.

– Да так, на всякий случай. Может быть, пригодится, – отвечала

Фленушка. – Ну, к примеру сказать, весточку какую велишь передать, так я уж и знаю, куда нести.

– Какие весточки? С ума ты, что ли, сошла?

– Да разве сохнуть тебе? – сказала Фленушка. – Надо же вас свести; жива быть не хочу, коль не сведу. Надо и его пожалеть. Пожалуй, совсем ума решится, тебя не выдаючи.

– Может быть, он и думать-то про меня не хочет, – сказала Настя.

– Дурак он, что ли? – отвечала Фленушка. – Кто от этакой красоты отворотится? Смотри-ка какая!.. – прибавила она, глядя на раздевавшуюся девушку. – Жизнь бы свою Алешка отдал, глазком бы только взглянуть теперь на свою сударушку. Ишь какая пышная, сдобная, белая!.. Точно атлас в пуху.

И принялась щекотать Настю.

– Да полно же тебе, безумная! – крикнула Настя и побежала в баню.

Часа через полтора настали сумерки. В токарнях зашабашили. Алексей остался в своей, чтобы маленько поизладить станок, он подводил к нему новый ремень. Провозился он с этим делом долго; все токари по своим местам разошлись, и токарни были на запоре. Когда вышел он и стал запирать свою токарню, почти совсем уже стемнело. Кругом ни души. Оглянувшись назад, увидел Алексей, что по тропинке из бани идет какая-то женщина в шубе, укрытая с головы большим шерстяным платком, и с веником под мышкой. Когда она подошла поближе, он узнал Фленушку. Аксиныя Захаровна с дочерьми давно уж домой прошла.

– Здоровенько ль поживаешь, Алексей Трифоныч? – сказала Фленушка, поравнявшись с ним.

– Слава Богу, живем помаленьку, – отвечал он, снимая шапку.

– Кланяться тебе велели, – сказала она.

– Кто велел кланяться? – спросил Алексей.

– Ишь какой недогадливый! – засмеясь, отвечала Фленушка. – Сам кашу заварил, нагнал на девку сухоту да еще спрашивает: кто?.. Ровно не его дело... Бесстыжий ты эдакой!.. На осину бы тебя!..

– Да про кого ты говоришь? Мне невдомек, – сказал Алексей, а у самого сердце так и забилося. Догадался.

– Некогда мне с тобой балясы точить, – молвила Фленушка. – Пожалуй, еще Матрена из бани пойдет да увидит нас с тобой, либо в горницах меня хватятся... Настасья Патаповна кланяться велела. Вот кто... Она по тебе сокрушается... Полюбила с первого взгляда... Вишь глаза-то у тебя, долговязого, какие непутные, только взглянул на девку, тотчас и приворожил... Велишь, что ли, кланяться?



– Поклонись, Флена Васильевна, – сказал Алексей, с жаром схватив ее за руку. – Сам я ночи не сплю, сам от еды отбился, только и думы, что про ее красоту неописанную.

– Ну, ладно, – молвила Фленушка. – Повидаемся на днях; улучу времечко. Молчи у меня, беспременно сведу вас.

– Сведи, Флена Васильевна, сведи, – радостно вскрикнул Алексей. – Век стану за тебя Богу молиться!

Фленушка ушла. У Алексея на душе стало так светло, так радостно, что он даже не знал, куда деваться. На месте не сиделось ему: то в избе побудет, то на улицу выбежит, то за околицу пойдет и залется там громкою песней. В доме петь он не смел: не ровен час, осерчает Патап Максимыч.

После этого Алексей несколько раз виделся с Фленушкой. И каждый раз передавала она ему поклоны от Насти и каждый раз уверяла его, что Настя довеку его не разлюбит и, кроме его, ни за кого замуж не пойдет.

– Не отдадут ее за меня, – грустно сказал Алексей Фленушке, когда заговорила она о свадьбе. – У нас с Настасьей Патаповной равна любовь, да не равны обычаи. Патап Максимыч богат и спесив: не отдаст детище за бедного работника, что у него же в кабале живет... Ведь я в кабале у него, Флена Васильевна, на целый год закабален... Деньги отцу моему он выдал наперед, чтобы нам домом поправиться: ведь сожгли нас, обокрали, может быть, слыхала?.. А ты сама знаешь, закабаленный тот же барский!.. А какой барин за холопов дочерей своих выдает? Так и тут: все едино... Да и захочет ли еще Настасья Патаповна себя потерять, выйдя за меня.

– Ради милого и без венца нашей сестре не жаль себя потерять! – сказала Фленушка. – Не тужи... Не удастся свадьба «честью», «уходом» ее справим... Будь спокоен, я за дело берусь, значит, будет верно... Вот подожди, придет лето: бежим и окрутим тебя с Настасьей... У нее положено, коль не за тебя, ни за кого нейти... И жених приедет во двор, да поворотит оглобли, как *несолоно хлебал*... *Не вешай головы, молодец, наше от нас не уйдет!*

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

По приказу Патапа Максимыча зачали у него брагу варить и сыченые квасы из разных солодов ставить. Вари большие: ведер по сороку. Слух, что Чапурин на Аксинью-полухлебницу работному народу задумал столы рядить, тотчас разнесся по окольным деревням. Все деревенские, особенно бабы, не мало раздумывали, не мало языком работали, стараясь разгадать, каких ради причин Патап Максимыч не в урочное время хочет народ кормить.

В самый тот же день, как у Чапуриных брагу заварили, в деревне Ежове, что стоит на речке Шишинке, в полутора верстах от Осиповки, собрались мужики у клетей на улице и толковали меж собой про столы чапуринские. Кто говорил, что, видно, Патапу Максимычу в волостных головах захотелось сидеть, так он перед выборами мир задабривает, кто полагал, не будет ли у него в тот день какой-нибудь «помочи».<sup>[6]</sup> Но все это нескладно-неладно придуманное тут же ежовским миром и осмеивалось. И в самом деле: захотелось бы Патапу Максимычу в головы, давным бы давно безо всяких угощений его целой волостью выбрали, да не того он хочет: не раз откупался, ставя на сходе ведер по пяти зелена вина для угощения выборщиков. На «толоку» народ собирать ему тоже не стать: мужик богатый, к тому же тороватый, горд, спесив, любит почет: захочет ли миром одолжаться?.. На что ему «помочь», когда в кармане чистоган не переводится. С добрый час протолковали ежовские мужики, стоя кучкой у клетей, но ничего на дело похожего не придумали. Баба дело решила, да так метко, будто у Чапурина в голове сидела и мысли его читала.

Шла по воду тетка Акулина, десятника жена. Поравнявшись с мужиками, поставила ведра наземь. Как не послушать бабе, про что мужики говорят.

– Эх вы, умные головы, – крикнула она, вслушавшись в мирские речи, – толкуют, что воду толкут, а догадаться не могут. Кто что ни скажет, не под тот угол клин забивает... Слушать даже тошно.

На бабу, как водится, накинлись, осмеяли, кто-то выругал, а муж, тут же стоявший, велел ей идти, куда шла, и зря не соваться, куда не спрашивают.

– Да что вы, лешие, без пути зубы-то скалите? – крикнула Акулина. – Стоят, из пустого в порожнее перекаладывают, а разгадать ума не хватает. Знаю, к чему Чапурины пиры затевают.

– Ну, рассказывай, коли знаешь! – заговорили мужики.

– У Патапа Максимыча дочери-то заневестились, – сказала Акулина, – вот и сзывает он купцов товар показать. Смотрины будут.

– Ай да тетка Акулина! Рассказала, как размазала! – заголосили мужики.

– А баба-то, пожалуй, и правдой обмолвилась, – сказал тот, что постарше был. – Намедни «хозяин» при мне на базаре самарского купца Снежкова звал в гости, а у того Снежкова сын есть, парень молодой, холостой; в Городце частенько бывает. Пожалуй, и в самом деле не свадьба ль у них затевается.

Акулина посмеялась над мужиками и пошла своей дорогой к колодцу. Тут по всем дворам бабам ровно повестку дали; все к колодцу с ведрами сбежались и зачали с Акулиной про чапуринскую свадьбу растабарывать. Молодица из деревни Шишкина случилась тут. Выслушав, в чем дело, не заходя к тетке, к которой было из-за двух верст приходила поклоняться, чтобы та ей разбитую кринку берестой обмотала, побежала домой без оглядки, точно с краденым. Как прибежала, так всех шишкинских баб повестила, что у Чапуриных смотрины будут. Из Шишкина бабы, подымая хвосты, по другим деревням побежали кумушкам новость рассказать. И пошел говор про смотрины по всем деревням. Везде про Настю речи вели, потому что нестаточное, необычное вышло бы дело, если б меньшая сестра вперед старшей пошла под венец.

Пущенные Акулиной вести дошли до Осиповки. В одном из мшеников, что целым рядом стояли против дома Чапурина, точили посуду три токаря, в том числе Алексей. Четвертый колесо вертел.

– Слышал, Петруха, у хозяев-то брагу варят, – говорил коренастый рыжеватый парень, стоя за станком и оттачивая ставешок.

– Как не слышать! – ответил Петруха, весело вертя колесо, двигавшее три станка. – Столы, слышно, хозяин строить задумал. Пантелея Прохорыча завтра в Захлыстино на базар посылают свежину да вино искупать. Угощенье, слышь, будет богатое. Ста полтора либо два народу будут кормить.

– Где ж столы-то рядить? – спросил токарь Матвей. – Я, парень, что-то не слыхивал, чтобы зимой столы ставили. На снегу да на морозе что за столованье! Закрутит мороз, так на воле-то варево смерзнет.

– Мало разве у хозяина изб да подклеток! – заметил Петруха.

– Все ж полторастам не усесться, – молвил третий работник, Мокеем звали – прозвищем Чалый.

– Очередь станут держать, по-скитски, как по обителям в келарнях

странных угощают, – отвечал Матвей. – Одни покормятся и вон из-за столов, на их место другие.

– Разве что так, – молвил Петруха, соглашаясь с Матвеем. – Городовые купцы, слышь, наедут, – прибавил он.

– Пир готовят зазвонистый, – сказал Мокей. – Рукобитье будет, хозяин-от старшую дочь пропивать станет.

Ровно ножом полоснуло Алексею по сердцу. Хоть говорила ему Фленушка, что опричь его Настя ни за кого не пойдет, но неожиданная новость его ошеломила.

– В дом, что ли, зятя-то берут? – спросил Петруха.

– Куда, чай, в дом! – отозвался Чалый. – Пойдет такой богач к мужику в зятях жить! Наш хозяин, хоть и тысячник, да все же крестьянин. А жених-то мало того, что из старого купецкого рода, почетный гражданин. У отца у его, слышь, медалей на шее-то что навешано, в городских головах сидел, в Питер ездил, у царя во дворце бывал. Наш-от хоть и спесив, да Снежковым на версту не будет.

– Снежковых разве жених-от? – спросил Матвей. – Не самарский ли?

– Самарские по всей Волге купцы известные, – отвечал Чалый.

– Куда ж ему в зятя к мужику идти, – сказал Матвей, – у него, братец ты мой, заводы какие в Самаре, дома, я сам видел; был ведь я в тех местах в позапрошлом году. Пароходов своих четыре ли, пять ли. Не пойдет такой зять к тестю в дом. Своим хозяйством, поди, заживут. Что за находка ему с молодой женой, да еще с такой красавицей, в наших лесах да в болотах жить!

Сильней и сильней напирал Алексей острым резцом на чашку, которую дотачивал. В глазах у него зелень ходенем заходила, ровно угорел, в ушах шум стоит, сердце так и замирает. Тогда только и опомнился, как резцом сквозь чашку прошел.

– Что это ты, Алексей? – с усмешкой спросил его вертельщик Петруха. – Сквозь прорезал.

– Сорвалось! – сквозь зубы молвил Алексей и бросил испорченную чашку в сторону. Никогда с ним такого греха не бывало, даже и тогда не бывало, как, подростком будучи, токарному делу учился. Стыдно стало ему перед токарями. По всему околотку первым мастером считается, а тут, гляди-ка, дело какое.

Зашабашили к обеду. Алексею не до еды. Пошел было в подклет, где посуду красят, но повернул к лестнице, что ведет в верхнее жилье дома, и на нижних ступенях остановился. Ждал он тут с четверть часа, видел, как пробрела поверху через сени матушка Манефа, слышал громкий топот

сапогов Патапа Максимыча, слышал, наконец, голос Фленушки, выходившей из Настиной светлицы. Уходя, она говорила: «Сейчас приду, Настенька!»

– Флена Васильевна, – отозвался с лестницы Алексей.

Она взглянула вниз, опершись грудью о перила и свесив голову.

– Что ты какой? – спросила она вполголоса. – Сам на себя не похож?

– Сойди на минуточку, – сказал Алексей. – Здесь в подклете нет никого – все обедают.

Фленушка сбежала в подклет.

– Бог тебе судья, Флена Васильевна, – сказал Алексей. – За что же ты надо мной насмеялась?.. Ведь этак человека недолго уморить!

– С ума, что ли, спятил? – спросила Фленушка. – Чем я над тобой насмеялась?

– Какие речи ты от Настасьи Патаповны мне переносила?.. Какие слова говорила?.. Зачем же было душу мою мутить? Теперь не знаю, что и делать с собой – хоть камень на шею да в воду.

– Да ты белены объелся али спьяну мелешь, сам не знаешь что? – сказала Фленушка. – Да как ты только подумать мог, что я тебя обманываю?.. Ах ты, бесстыжая твоя рожа!.. За него хлопочут, а от него вот благодарность какая!.. Так ты думаешь, что и Настя облыжные речи говорила... А?..

– От Настасьи Патаповны доселева я никаких речей не слыхивал, – молвил Алексей. – С тобой у меня разговоры бывали!.. Вспомни-ка, что ты мне говорила, а вот – готовят пиры, жениха из Самары ждут.

– Только-то? – сказала Фленушка и залилась громким хохотом. – Ну, этих пиров не бойся, молодец. Рукобитью на них не бывать! Пусть их теперь праздничают, – а лето придет, мы запразднуем: тогда на нашей улице праздник будет... Слушай: брагу для гостей не доварят, я тебя сведу с Настасьей. Как от самой от нее услышишь те же речи, что я переносила, согласишься тогда?.. А?..

– Поверю, – потупясь, отвечал Алексей.

– Меня попрекать да обманщицей обзывать не станешь?

– Не буду, – проговорил он.

– То-то же. Ступай теперь. Выкинь печаль из головы, не томи понапрасну себя, а девицу красну в пущу тоску не вгоняй.

Мало успокоили Фленушкины слова Алексея. Сильно его волновало, и не знал он, что делать: то на улицу выйдет, у ворот посидит, то в избу придет, за работу возьмется, работа из рук вон валится, на полати полезет, опять долой. Так до сумерек пробился, в токарню не пошел, сказал старику

Пантелею, что поутру угорел в красильне.

– Долго ли в красильне угореть, – отвечал Пантелей. – Ты бы по морозцу без шапки походил – облегчит.

– И впрямь пойду на мороз, – сказал Алексей и, надев полушубок, пошел за околицу. Выйдя на дорогу, крупными шагами зашагал он, понуриив голову. Прошел версту, прошел другую, видит мост через овраг, за мостом дорога на две стороны расходится. Огляделся Алексей, опознал место и, в раздумье постояв на мосту, своротил налево в свою деревню Поромово.

Громко раздавалась по крытому снегом полю Алексеева песня:

Ох ты, горе мое, горе-гореваньице,  
Ты печаль моя, тоска лютая.  
Загубила ты добра-молодца,  
Красна девица, дочь отецкая.

В каждом звуке песни слышались слезы и страшная боль тоскующей души.

После крупного разговора с отцом, когда Настя объявила ему о желании надеть черную рясу, она ушла в свою светелку и заперлась на крюк. Не один раз подходила к двери Аксины Захаровна; и стучалась, и громко окликала дочь, похныкала даже маленько, авось, дескать, материны слезы не образумят ли девку, но дверь не отмыкалась, и в светлице было тихо, как в гробу.

«Уснула, – подумала Аксины Захаровна. – Пускай ее отдохнет... Эка беда стряслась, и не чаяла я такой!.. Гляди-кась, в черницы захотела, и что ей это в головоньку втемяшилось?.. На то ли я ее родила да вырастила?.. А все Максимыч!.. Лезет со своим женихом!..»

Пошла Аксины Захаровна в другую боковушку, к Параше. Там Фленушка сидела за пядьцами, вышивая пелену, а Параша на мотовиле шерсть разматывала. Фленушка пела скитскую песню, Параша ей подтягивала:

Из пустыни старец  
В царский дом приходит,  
Он принес с собою,  
Он принес с собою

Прекрасный камень,  
Толь прекрасный, прелюбезный,  
Предрагий.

Иосаф царевич,  
Сын царя индейского,  
Просит купца-старца:  
«Покажи мне каменек,  
Покажи мне дорогой,  
Я увижу и спознаю  
Ему цену».

«Когда ты сможешь  
Небеса измерить,  
Небеса измерить.  
Все моря и земли  
В горсть свою схватить  
А все против камня  
Ровно ничего».

«А, купец премудрый, —  
Говорит царевич, —  
Скажи свою тайну,  
Как на свет явился,  
Как на свет явился,  
Где теперь хранится  
Камень тот драгой?»

Отвечает старец,  
Вид купца приявший,  
Преподобный Варлаам:  
«Камень не хранится,  
Камень не хранится,  
С нами пребывает  
Он всегда».

Пречистая дева  
Родила сей камень,  
В ясли положила,

Грудью вскармила,  
Грудью вскармила  
Бога-человека,  
Спасителя.

Он ныне пребывает  
Выше звезд небесных,  
Солнце со звездами,  
А земля с морями,  
А земля с морями  
Непрестанно славят  
Его завсегда».

– Заперлась, – грустно сказала Акси́нья Захаровна, обращаясь к Фленушке. – И окликала ее и стучалась к ней, нишкнет голубушка... А ты что, Параня, как смотришь?.. Аль не жалко сестры-то?.. – прибавила она, заметив, что та усмехается, поглядывая на Фленушку. Но Фленушка была спокойна и даже тоскливо смотрела на Акси́нью Захаровну. Она уж и Парашу кое-чему научила: как говорить с отцом, с матерью, но той и супротивничать-то лень была. Спать бы только ей да валяться на мягком пуховике – другой отрады не знавала Параша.

– Не о чем ей убиваться-то, мамынька, – молвила Параша. – Что в самом деле дурь-то на себя накидывает?.. Как бы мне тятя привез жениха, я бы, кажись, за околицу навстречу к нему...

– Ах ты, срамница, бесстыдница! – крикнула Акси́нья Захаровна. – Где ты этому научилась, где таких слов набралась, беспутная голова твоя?.. Навстречу!.. За околицу!.. А вот я тебя дубцом!..<sup>[7]</sup>

– Да что ж, мамынька? Коли Насте тятенькин жених не по мысли, отдай мне его, с радостью пойду.

– Ах ты, бесстыжая!.. Ах ты, безумная! – продолжала начинать Парашу Акси́нья Захаровна. – А я еще распиналась за вас перед отцом, говорила, что обе вы еще птенчики!.. Ах, непутная, непутная!.. Погоди ты у меня, вот отцу скажу... Он те шкуру-то спустит.

– Не спустит. Не за что, – отвечала Параша.

Насилу уняла Парашу Акси́нья Захаровна.

– Фленушка, – сказала она, – отомкнется Настя, перейди ты к ней в светелку, родная. У ней светелка большая, двоим вам не будет тесно. И пальцы перенеси, и ночуй с ней. Одну ее теперь нельзя оставлять, мало ли



что может приключиться... Так ты уж, пожалуйста, пригляди за ней... А к тебе, Прасковья, я Анафролью пришлю, чтоб и ты не одна была... Да у меня дурь-то из головы выкинь, не то смотри!.. Перейди же туда, Фленушка.

– Слушаю, Аксинья Захаровна, – молвила в ответ Фленушка. – Как отомкнется, тотчас переберусь. Там же мне и вышивать светлее, окна-то на полдень.

– Поразговори ты ее, – говорила Аксинья Захаровна, – развесели хоть крошечку. Ведь ты бойкая, Фленушка, шустрая и мертвого рассмешишь, как захочешь... Больно боюсь я, родная... Что такое это с ней поделалось – ума не могу приложить.

– Ничего, Аксинья Захаровна, – молвила в ответ Фленушка. – Не беспокойтесь: все минет, все пройдет.

– Дай-ка Бог, дай-ка Бог, – вздохнула Аксинья Захаровна и пошла из Парашиной боковуши.

Фленушка, подойдя к Настиной светелке, постучалась и, точно в кельях, громко прочитала молитву Иисусову. Услышав Фленушкин голос, Настя отомкнулась.

– Я к тебе ровно к старице в келью, с молитвой, – смеясь, сказала Фленушка. – Творить ли метания перед честною инокиней, просить ли прощенья и благословенья?

– Тебе, Фленушка, смехи да шутки, – упрекнула ее, обливаясь слезами, Настя. – А у меня сердце на части разрывается. Привезут жениха, разлучат меня...

– Ну, это еще посмотрим, разлучат ли тебя, нет ли с Алешкой, – молвила Фленушка. – Всех проведем, всех одурачим, свадьбу «уходом» сыграем. Надейся на меня да слушайся, все по хотенью нашему сбудется.

– Ах, Фленушка, Фленушка... и хотелось бы верить, да не верится, – отирая слезы, сказала Настя. – Вон тятенька-то как осерчал, как я по твоему наученью свысока поговорила с ним. Не вышло ничего, осерчал только пуще...

– А зачем черной рясой пугала? – возразила Фленушка. – Нашла чем пригрозить!.. Скитом да небесным женихом!.. Эка!.. Так вот он и испугался!.. Как же!.. Властен он над скитами, особенно над нашей обителью. В скиту от него не схоронишься. Изо всякой обители выймет, ни одна игуменья прекословить не посмеет. Все ему покоряются, потому что – сила.

– И сама не знаю, как на ум вошло про черничество молвить, – сказала Настя.

– А ты вот что скажи ему, чтобы дело поправить, – говорила Фленушка. – Только слез у тебя и следов чтобы не было... Коли сам не зачнет говорить, сама зачинай, пригрозь ему, да не черной рясой, не иночеством...

– Чем же? – спросила Настя.

– Сначала речь про кельи поведи, не заметил бы, что мысли меняешь. Не то твоим словам веры не будет, – говорила Фленушка. – Скажи: если, мол, ты меня в обитель непустишь, я, мол, себя не пожалую: либо руки на себя наложу, либо какого ни на есть парня возьму в полюбовники да «уходом» за него и уйду... Увидишь, какой тихонький после твоих речей будет... Только ты скрепи себя, что б он ни делал. Неровно и ударит: не робей, смело говори да строго, свысока.

– Хорошо, – сказала Настя, – хоть и жалко мне его, тятеньку-то. Ведь добрый он, Фленушка.

– А Алешку-то разве не жалко, – прищуриль глаза, лукаво спросила Фленушка.

– Ах, Фленушка!.. И его мне жалко... Рада жизнь отдать за него, – сказала Настя.

– То-то и есть, – молвила Фленушка. – Коль отца пуще его жалеешь, выходи за припасенного жениха.

– Нет, нет, ни за что на свете!.. – с жаром заговорила Настя. – Удавлюсь, либо камень на шею да в воду, а за тем женихом, что тятя на базаре сыскал, я не буду...

– Так и отцу говори, – молвила Фленушка, одобрительно покачивая головою. – Этими самыми словами и говори, да опричь того, «уходом» пугни его. Больно ведь не любят эти тысячники, как им дочери такие слова выговаривают... Спесивы, горды они... Только ты не кипятись, тихим словом говори. Но смело и строго... Как раз проймешь, струсит... Увидишь.

– Сделаю по-твоему, Фленушка, – сказала Настя. – Сегодня же сделаю. А его видела? – прибавила она, понизив голос.

– Алексея-то?

– Да, – полушепотом промолвила Настя.

– Видела. И он тем же женихом беспокоится, – сказала Фленушка. – Как хочешь, Настенька, а вам надо непременно повидаться, обо всем промеж себя переговорить. Да я сведу вас. Аксинья-то Захаровна велела мне в твою светелку перебраться.

– В самом деле? – радостно вскрикнула Настя. – То-то наговоримся...

– Не в том дело, – отвечала Фленушка. – То хорошо, что, живучи с

тобой, легче мне будет свести вас. Вот я маленько подумаю да все и спроворю.

И, прищелкивая пальцами, весело запела:

Я у батюшки дочка была, я у тысячника,  
У тысячника.

Приневоливал меня родной батюшка,  
Приговаривала матушка  
Замуж девушке идти,  
Да идти да и замуж  
Девушке идти.

Во все грехи тяжкие,  
Грехи тяжки поступить,  
Тяжки поступить.

Да дождусь я, девка, темной ночи,  
Во полночи уйду в темный лес,  
Да и в лес.

За обедом Патап Максимыч был в добром расположении духа, шутки шутил даже с матушкой Манефой. Перед обедом долго говорил с ней, и та успела убедить брата, что никогда не советовала племяннице принимать иночество. Больше всего Патап Максимыч над Фленушкой подшучивал, но та сама зубаста была и, при всей покорности, в долгу не оставалась. Настя молчала.

Отобедали, по своим местам разошлись. Патап Максимыч прошел в Настину светелку и сказал Фленушке, чтобы она подождала, покуда он станет с дочерью говорить, не входила б в светелку.

– Я нарочно пришел к тебе, Настя, добрым порядком толковать, – начал Патап Максимыч, садясь на дочернину кровать. – Ты не кручинься, не серчай. Давеча я пошумел, ты к сердцу отцовских речей не принимай. Хочешь, бусы хороши куплю?

– Не надо мне, тятенька, подарков твоих, – сухо ответила Настя. – И без того много довольна. Не дари меня, только не отнимай воли девицкой.

– Какая это воля девицкая? – спросил, улыбаясь, Патап Максимыч. – Шестой десяток на свете доживаю, про такую волю не слыхивал. И при

отцах наших и при дедах про девичью волю не было слышно. Что ж это за воля такая ноне проявилась? Скажи-ка!

– А вот такая это воля, тятенька, – отвечала Настя. – Примером сказать, хоть про жениха, что ты мне на базаре где-то сыскал, Снежков, что ли, он там прозывается. Не лежит у меня к нему сердце, и я за него не пойду. В том и есть воля девичья. Кого люблю, за того и отдавай, а воли моей не ломай.

– Да ведь ты еще не видала Снежкова, – сказал Патап Максимыч. – Может, приглянется. Парень молодой, разумный.

– Что молод, про то спорить не стану, не видала, – молвила Настя. – А разумен ли, не знаю.

– Я тебе сказываю, что разумен, – возразил Патап Максимыч. – Аль не веришь отцу?

– Верю, тятя, – молвила Настя. – Только вот что скажи ты мне: где ж у него был разум, как он сватал меня? Не выдавши ни разу, – ведь не знает же он, какова я из себя, пригожа али нет, – не слыхавши речей моих, – не знает, разумна я али дура какая-нибудь. Знает одно, что у богатого отца молодые дочери есть, ну и давай свататься. Сам, тятя, посуди, можно ли мне от такого мужа счастья ждать?

– Да он не сам сватался, – сказал Патап Максимыч. – Мы с его родителем ладили дело.

– А! Старики решили, значит! – улыбаясь, сказала Настя. – Пускай, дескать, детки живут, как себе знают... А скажи-ка мне, тятя, как у вас речь про свадьбу зашла? Ты зачал али Снежков?

Промолчал Патап Максимыч.

– Ведь не ты же, тятя, первый зачал, – продолжала Настя. – Не станешь же ты у богатых купцов своим дочерям женихов вымаливать. Не такой ты человек, дочерей не продашь.

Совестно стало Чапурину. Встал он с кровати и зачал крупными шагами сновать взад и вперед по светлице.

– Несодееянное говоришь! – зачал он. – Что за речи у тебя стали!.. Стану я дочерей продавать!.. Слушай, до самого Рождества Христова единого словечка про свадьбу тебе не молвлю... Целый год – одумаешься тем временем. А там поглядим да посмотрим... Не кручинься же, голубка, – продолжал Патап Максимыч, лаская дочь. – Ведь ты у меня умница.

– Прости меня, тятя, голубчик, что давеча я тебя на гнев навела, – склонив голову на отцовскую грудь, молвила Настя.

– Ну, и меня прости, – сказал Патап Максимыч, поглаживая волосы

Настя и целуя ее в глаза.

– Только попомни, тятя, мое слово, – решительно и твердо проговорила Настя. – Коли вздумаешь меня силой замуж отдать, я над собой что-нибудь сделаю.

– Что сделаешь? – вызывающим голосом спросил Патап Максимыч.

– В скит уйду, черну рясу надену, – сказала Настя. – А возьмешь из обители, – потеряю себя.

– Эк что вздумала! – вскрикнул тревожно Чапурин.

– Руки наложу на себя: камень на шею да в воду, – сверкая очами, молвила Настя. – А не то еще хуже наделаю! Замуж «уходом» уйду!.. За первого парня, что на глаза подвернется, будь он хоть барский!.. Погоней отобьешь – гулять зачну.

– Что ты, Настасья? – смутясь от слов дочери и понизив голос, сказал Патап Максимыч. – В уме ли?.. Да как у тебя язык повернулся такое слово сказать?

– К слову только сказала, – сдержанно ответила Настя.

– Не забирай же в голову пустяков, – строго, но тихо промолвил Чапурин, уходя из светелки. – Покуда прощай.

Патап Максимыч ушел в свою заднюю, прилег уснуть, но сон не брал его. Настины слова из ума не выходили: «Девка с нором, – думал он. – С виду тихоней смотрит, а гляди-ка какая!.. «Уходом!..» Нет, ни окриком, ни плетью такую не проймешь... Хуже начудит... Лаской надо, делать нечего... «Уходом!..» Эко слово сказала!..»

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Свадьба «уходом» – в большом обыкновенье у заволжских раскольников. Это – похищение девушки из родительского дома и тайное венчанье с нею у раскольников попу, а чаще в православной церкви, чтоб дело покрепче связано было. Венчанье у раскольников попу поди еще доказывай, а в церкви хотя не по-старому венчаны, хоть не посолонь вкруг наложены, да дело выходит не в пример крепче: повенчанного в великороссийской с женой не развенчаешь, хоть что хочешь делай. Оттого при свадьбах «уходом» раскольники больше и бегают к церковному попу, особенно если бедняку удастся подхватить дочь тысячника.

Обычай «крутить свадьбу уходом» исстари за Волгой ведется, а держится больше оттого, что в тамошнем крестьянском быту каждая девка, живучи у родителей, несет долю нерадостную. Девкой в семье дорожат как даровою работницей и замуж «честью» ее отдают неохотно. Надо, говорят, девке родительскую хлеб-соль отработать; заработаешь – иди куда хочешь. А срок дочерних заработков длинен: до тридцати лет и больше она повинна у отца с матерью в работницах жить.

Девки не бойкие, особенно те, кого Бог красотой обделил, засиживаются и стареют в родительском доме за деннонощной работой. Минет тридцать лет – куда ей деваться? Редко выищется такой человек, чтобы взял за себя старую; разве иная за вдовца старика на большую семью пойдет. Старой девке середь молодых уж и места нет – все ее чуждаются... Ни на супрядки зимой, ни в хороводы летом... Молодые парни в глаза смеются над перестаркой... Куда деваться, к чему себя пристроить, а умрут отец с матерью, куда приклонить голову?.. И принимается девка за «душеспасенье»: в скит пойдет, либо выпросит у отца кельенку поставить на задворице, и в ней, надев черный сарафан и покрыв черным платком голову, в знак отречения от мира, станет за псалтырь заказные сорокоусты читать да деревенских мальчишек грамоте обучать, – тем и кормится. По времени в келейку ее три-четыре таких же старых девок наберется, заведут они «общежитие», – смотришь, маленький скиток в деревне завелся: и моленная в нем и служба вседневная, покуда полиция, проведав про богомолка, не разгонит их по своим местам, откуда которая пришла.

Девка побойчей да покрасивей не так делает. Спознается на супрядках либо в хороводе с молодым парнем, непременно из другой деревни, полюбят они друг дружку и станут раздумывать, отдадут родители девицу

«честью», аль придется свадьбу «уходом» играть. Нет надежды на согласие, девушка тихонько сберет приданое и всю одежду, какая есть у ней, передаст возлюбленному, а потом и сама на условное место придет. Жених кидает невесту в сани и с товарищами мчится во весь опор к попу. Родители, узнав про уход дочери, тотчас лошадей запрягать, в погоню скакать, родных, соседей на ноги поднимут, рассыплются по всем сторонам беглецов искать. Случается, что настигают. И тогда зачнут у поезжан «отбивать невесту»... Иной раз тут дело до крови доходит. Но не всегда так бывает; обыкновенно жених с невестой успевают доскакать до попа и обвенчаться. Затем муж везет молодую жену к своим родителям, те уж дожидаются – знают, что сын поехал сноху им выкрасть, новую даровую работницу в дом привезти, с радостью встречают они новобрачных. На другой, либо на третий день новобрачный, с женой, отправляется к тестю прощенья просить. Там принимают его с бранью, дочь с проклятьями. Вся деревня сбежится смотреть, как молодые, поклонясь в землю, лежат, не шелохнувшись, ниц перед отцом, перед матерью, выпрашивая прощенья, а отец с матерью ругают их ругательски и клянут, и ногами в головы пихают, а после того и колотить примутся: отец плетью, мать сковородником. Наконец уходится сердце родительское. За побоями да за бранью мировая следует, но уж кроме того, что успела невеста жениху перед уходом передать, никакого приданого ей не дается. Не бывает при свадьбе «уходом» ни «горного стола», ни подарков, все оканчивается двумя обедами родителей одних и других. Случается, и это бывает нередко, что родители жениха и невесты, если не из богатых, тайком от людей, даже от близкой родни, столкнутся меж себя про свадьбу детей и решат не играть свадьбы «честью», во избежание расходов на пиры и дары. А велят деткам самим справлять свадьбу, как знают. При этом, однако ж, весь обряд чин чином соблюдается: и погоня во все стороны, и брань с проклятиями при встрече, и топанье ногами, и битье плетью и ухватом на глазах сбежавшейся деревни: все как следует. Но когда родительское сердце утолится и руки колотить новобрачных устанут, мирятся, и тем же ухватом, что мать дочку свою колотила, принимается она из печки горшки вынимать, чтобы нарочно состряпанным кушаньем любезного зятюшку потчевать.

Крепко было слово, сказанное Настей. Патап Максимыч не уснул от него после обеда. А этого с ним лет пять не случалось, с тех самых пор, как, прослышав про сгоревшие на Волге, под Свияжском, барки, долго находился он в неизвестности: не его ли горянщина погорела.

Сказав жене, какое слово молвила ему Настя, Патап Максимыч строго-настрого наказал ей глядеть за дочерью в оба, чтоб девка в самом деле, забрав дурь в голову, бед не натворила.

– Особенно по весне, как дома меня не будет, – говорил он, – смотри ты, Аксинья, за ней хорошенько. Летом до греха недолго. По грибы аль по ягоды, чтоб обе они и думать не смели ходить, за околицу одних не пускай, всяко может случиться.

– Стану глядеть, Максимыч, – отвечала Аксинья. – Как не посмотреть за молодыми девицами! Только по моему глупому разуму, напрасно ты про Настю думаешь, чтоб она такое дело сделала... Скор ты больно на речи-то, Максимыч!.. Давеча девку насмерть напугал. А с испугу мало ль какое слово иной раз сорвется. По глупости, спросту сказала.

– Спросту!.. Как же!.. – возразил Патап Максимыч. – Нет, у ней что-нибудь да есть на уме. Ты бы из нее повыпытала, может, промолвится. Только не бранью, смотри, не попреками. Видишь, какая нравная девка стала, тут грозой ничего не поделаешь... Уж не затеяно ли у ней с кем в скиту?

– Не греши попусту, Максимыч, – сказала Аксинья Захаровна. – Немало я сегодня пытала у матушки Манефы: не видала ль Настасья кого из наезжих, не приглянулся ли кто. «Нет, говорит, не видывала никого ни Настя, ни Параня». В строгости ведь она держала их. И Фленушка то же говорит.

– Да что Фленушка! – заметил Патап Максимыч. – Фленушка хоть и знала бы что, так покроет, а Манефа на старости ничего не видит. Ты бы других расспросила.

– Спрошу, Максимыч. Вот хоть Анафрольюшку.

– Да умненько спрашивай, стороной да обиняками, шутками больше, девку бы не срамить.

Лишь только вышел Патап Максимыч из Настиной светлицы, вбежала туда Фленушка.

– Ну вот, умница, – сказала она, взявши руками покрасневшиеся от подавляемого волнения Настины щеки. – Молодец девка! Можно чести приписать!.. Важно отца отделала!.. До последнего словечка все слышала, у двери все время стояла... Говорила я тебе, что струсит... По-моему вышло...

– Жалко мне тятеньку, Фленушка, совестно перед ним, – отвечала Настя.

– Уж ты зачнешь хныкать! – сказала Фленушка. – Ну, ступай прощенья



просить, «прости, мол, тятенька, Христа ради, ни впредь, ни после не буду и сейчас с самарским женихом под венец пойду...» Не дури, Настасья Патаповна... Благо отсрочку дал.

– Что ж из того, что отсрочка дана?.. Потом-то что?.. – сказала Настя.

– Алешкиной женой будешь, – молвила Фленушка.

– Как же так?

– Уходом. Ты, Настя, молчи, слез не рони, бела лица не томи: все живой рукой обделаем. Смотри только, построже с отцом разговаривай, а слез чтоб в заводе при нем не бывало. Слышишь?

– Слышу, – сказала Настя.

– Бодрей да смелей держи себя. Сама не увидишь, как верх над отцом возьмешь. Про мать нечего говорить, ее дело хныкать. Слезами ее понимай.

– Добрая она у нас, Фленушка, и смиренная, даром что покричит иной раз, – сказала Настя. – Сил моих не станет супротив мамыньки идти... Так и подмывает меня, Фленушка, всю правду ей рассказать... что я... ну, да про него...

– Сохрани тебя Господи и помилуй!.. – возразила Фленушка. – Говорила тебе и теперь говорю, чтоб про это дело, кроме меня, никто не знал. Не то быть беде на твоей голове.

Вечером, после ужина, Настя с Фленушкой заперлись в светелке.

– Тошнехонько мне, Фленушка, – говорила Настя, в утомленье ложась на кровать нераздетая. – Болит мое сердечушко, всю душеньку поворотило. Сама не знаю, что со мной делается.

– А я знаю!.. – бойко подхватила Фленушка. – Да провалиться мне на сем месте, коли завтра ж тебя я не вылечу, – прибавила.

– Нет, Фленушка, совсем истосковалась я, – сказала Настя. – Что ни день, то хуже да хуже мне. Мысли даже в голове мешаются. Хочу о том, о другом пораздумать; задумаю, ум ровно туманом так и застелет.

– Про долговязого, поди, все думаешь? – сказала Фленушка.

– Да... – едва слышно молвила Настя, кинувшись лицом в подушку.

– Повидаться надо, маленько покалякать, – сказала Фленушка. – Давеча опять я с ним виделась, говорила... Поклон от тебя сказала.

– Что ж он? – с живостью спросила Настя, вскочив на кровати. – Да говори же?

– Не стоит говорить, – молвила Фленушка.

– Да нет, скажи, пожалуйста. Милая, голубушка, скажи, – приставала Настя, горячо обнимая и порывисто целуя Фленушку.

– Да отстань же, Настя!.. Полно!.. Ну, будет, будет, – говорила

Фленушка, отстраняясь от ее ласк и поцелуев. – Да отстань же, говорят тебе... Ишь привязалась, совсем задушила!

– Да что ж говорил он? – умоляла Фленушку Настя. – Не мучь!.. И без того тошно... Скажи поскорей.

– Говорил, что в таких делах говорится, – отвечала Фленушка. – Что ему без тебя весь свет постыл, что иссушила ты его, что с горя да тоски деваться не знает куда и что очень боится он самарского жениха. Как я ни уверяла, что опричь его ни за кого не пойдешь, – не верит. Тебе бы самой сказать ему.

– Да как же это, Фленушка? – потупясь, спросила Настя.

– А вот как, – немножко подумав, молвила Фленушка. – Завтра я его сюда приведу.

– Обезумела ты!.. А тятенька-то?..

– А как сам тятенька Алешку в светлицу к тебе пошлет?.. – с усмешкой молвила Фленушка.

– Чего только ты не вздумаешь!.. Только послушать тебя, – сказала Настя. – Статочно ли дело, чтоб тятенька его сюда прислал?

– Да помереть мне, с места не вставши, коли такого дельца я не состряпаю, – весело вскрикнула Фленушка. – А ты, Настенька, как Алешка придет к тебе, – прибавила она, садясь на кровать возле Насти, – говори с ним умненько да хорошенько, парня не запугивай... Смотри, не обидь его... И без того чуть жив ходит.

– Ты все шутики шутишь, Фленушка, а мне не до них, – тяжело вздыхая, сказала Настя. – Как подумаю, что будет впереди, сердце так и замрет... Научила ты меня, как с тятенькой говорить... Ну, смиловался, год не хочет про свадьбу поминать... А через год-от что будет?

– До году долго ждать, – отвечала Фленушка. – Весной обвенчаетесь.

– Не мели пустяков, – молвила Настя. – И без того тошно!

– Как отцу сказано, так и сделаем, – «уходом», – отвечала Фленушка. – Это уж моих рук дело, слушайся только меня да не мешай. Ты вот что делай: приедет жених, не прячься, не бегай, говори с ним, как водится, да словечко как-нибудь и вверни, что я, мол, в скитах выросла, из детства, мол, желание возымела Богу послужить, черну рясу надеть... А потом просись у отца на лето к нам в обитель гостить, не то матушку Манефу упроси, чтоб она оставила у вас меня. Это еще лучше будет.

– Что ж из того будет? – спросила Настя.

– А то и выйдет, что летом, как тятенька твой на Низ уедет, мы свадебку и скрутим. Алексей – не робкого десятка, не побоится.

– Боязно, Фленушка, – молвила Настя. – Сердце так и замрет, только

про это я вздумаю. Нет, лучше выберу я времечко, как тятенька ласков до меня будет, повалюсь ему в ноги, покаюсь во всем, стану просить, чтоб выдал меня за Алешу... Тятя добрый, пожалеет, не стерпит моих слез.

– Чтоб отец твоих слез не видал, – повелительно сказала Фленушка. – Он крут, так и с ним надо быть крутой. Дело на хорошей дороге, не испортить. А про Алексея отцу сказать и думать не могли.

– Отчего же? – спросила Настя.

– Разве не слыхала, что теперь по всем деревням вой идет? – спросила Фленушка.

– Сказывал тятенька, что с великого поста рекрутов брать зачнут, – отвечала Настя.

– То-то же. Алексей-от удельный ведь? – спросила Фленушка.

– Да.

– А головой удельным кто?

– Михайло Васильич.

– Отцу-то приятель?

– Приятель.

– Так Патапу Максимычу слово стоит сказать ему – «Убери, мол, подальше Алешку Лохматого», – как раз забреет, – сказала Фленушка.

– И в самом деле, – молвила Настя. – Навела ты меня на разум... Ну как бы я погубила его!

– То-то же. Говорю тебе, без моего совета слова не молви, шагу не ступи, – продолжала Фленушка. – Станешь слушаться – все хорошо будет; по-своему затеешь – и себя и его сгубишь... А уж жива быть не хочу, коли летом ты не будешь женой Алексеевой, – прибавила она, бойко притопнув ногой.

– А как он не захочет? – понизив голос, спросила Настя.

– Кто не захочет?

– Да он...

– Алексей-от? – сказала Фленушка и захохотала. – Эк, что выдумала!.. От такой крали откажется!.. Не бойсь – губа-то у него не дура... Ишь какую красоту приворожил!.. А именья-то что!.. На голы-то зубы ему твои сундуки не лишними будут. Да и Патап Максимыч посерчает, посерчает, да и смируется. Не ты первая, не ты последняя свадьбу «уходом» справишь. Известно, сначала взбеленится, а месяц, другой пройдут, спесь-то и свалится, возьмет зятя в дом, и заживете вы в добром ладу и совете. Что расхныкалась? – спросила Фленушка, увидя, что Настя, уткнувшись лицом в подушку, опять принялась всхлипывать.

– Не на счастье, не на радость уродилась я, – причитала Настя, –

счастливых дней на роду мне не писано. Изною я, горемычная, загинуть мне в горе-тоске.

– Да полно же ты! – ободряла ее Фленушка. – Чего расплакалась!.. Не покойник на столе!.. Не хнычь, не об чем...

И, став перед Настиной постелей, подперла развеселая Фленушка руки в боки и, притопывая босой ногой, запела:

Ох ты, Настя, девка красна.  
Не рони слезы напрасно,  
Слезы ронишь – глаза портишь,  
Мила дружка отворишь,  
Отворотится – забудет,  
Ину девицу полюбит.

– Не робей, Настасья Патаповна, готовь платки да ручники. Да, бишь, я и забыла, что свадьбу-то без даров придется играть. А уж сидеть завтра здесь Алешке Лохматому, целовать долговязому красну девицу...

– Полно, Фленушка.

– И в самом деле: полно, – сказала Фленушка. – Спать пора, кочета<sup>[8]</sup> полночь пели. Прощай, покойной ночи, приятный сон. Что во сне тебе увидеть?..

– Ничего не хочу, – ответила Настя.

– Не обманешь, Настасья Патаповна, – сказала, ложась в постель, Фленушка, – Алешку хочется. Ну, увидишь, увидишь... Прощай.

На другой день поутру сидел Патап Максимыч в подклете, с полу до потолка заставленном готовою на продажу посудой. Тут были разных сортов чашки, от крошечных, что рукой охватить, до больших, в полведра и даже чуть не в целое ведро; по лавкам стояли ставешки, блюда, расписные жбаны и всякая другая деревянная утварь. У входа в подклет старый Пантелей бережно укладывал разобранную посуду по щепяным коробам, в каких обыкновенно возят ее по дорогам и на судах. Алексей также в подклете был. Он помогал хозяину разбирать по сортам посуду и на завязанных Пантелеем коробах писал помазком счет посуды и какого она сорта. Сортировка деревянной посуды самое важное дело для торговца. Тут нужны и внимание, и верный, опытный глаз, а главное – точность; без того торговец как раз может ославиться. Обложится как-нибудь – и пронесут худое слово по пристаням и базарам: у такого-то де скупщика в первый

сорт всяку дрянью валят.

Прежде Патапу Максимычу в этом деле старик Савельич помогал. Прожил он у него в доме, ни мало ни много, двадцать годов и по токарной части во всем заменял хозяина. Верный был человек, хозяйское добро берег пуще глаза, работники у него по струнке ходили, на его руках и токарни были и красильни, иной раз вместо Патапа Максимыча и на торги ездил. Души в нем не чаял Чапурин, и в семье его Савельич был свой человек. Да вот перед самым Рождеством, надо же быть такому греху, бодрый еще и здоровый, захирел ни с того ни с сего да, поболел недели три, Богу душу и отдал. Много тужил по нем Патап Максимыч, много думал, кем заместить ему Савельича, но придумать не мог. Народ, что у него работал, не сподручен к такому делу: иной и верен был, и человек постоянный, да по посуденной части толку не смыслит, а у другого и толк был в голове, да положиться на него боязно. Заметив, что Алексей Лохматый мало что точит посуду, как никому другому не выточить, но и в сортировке толк знает, Патап Максимыч позвал его к себе на подмогу и очень доволен остался работой его. Так у Алексея дело спорилось, что, пожалуй, не лучше ли, чем при покойнике Савельиче.

Разборка кончалась. Оставалось сотни три-четыре блюд перебрать, остальное было разобрано, Пантелеем уложено и работниками вытасчено в сени, либо сложено на дровни, чтоб завтра же, до заревых кочетов, в Городец посуду везти.

– Ну, Алексеюшка, – молвил Патап Максимыч, – молодец ты, паря. И в глаза и за глаза скажу, такого, как ты, днем с огнем поискать. Глядь-ка, мы с тобой целую партию в одно утро обладили. Мастер, брат, неча сказать.

– Спасибо на добром слове, Патап Максимыч. Что смогу да сумею сделать – всем готов служить вашему здоровью, – отвечал Алексей.

– А я вот что, Алексеюшка, думаю, – с расстановкой начал Патап Максимыч. – Поговорить бы тебе с отцом, не отпустит ли он тебя ко мне в годы. Парень ты золотой, до всякого нашего дела доточный, про токарное дело нечего говорить, вот хоть насчет сортировки и всякого другого распоряженья... Я бы тебя в приказчики взял. Слышал, чать, про Савельича покойника? На его бы место тебя.

– Благодарим покорно, Патап Максимыч, – отвечал обрадованный Алексей. – Готов служить вашей милости со всяким моим удовольствием.

– Только сам ты, Алексеюшка, понимать должен, – сказал Патап Максимыч, – что к такой должности на одно лето приставить тебя мне не с руки. В годы-то отец отпустит ли тебя?

– Не знаю, Патап Максимыч, – отвечал Алексей, – поговорю с ним в

воскресенье, как домой пойду.

– Плату положил бы я хорошую, ничем бы ты от меня обижен не остался, – продолжал Патап Максимыч. – Дома ли у отца стал токарничать, в людях ли, столько тебе не получить, сколько я положу. Я бы тебе все заведение сдал: и токарни, и красильни, и запасы все, и товар, – а как на Низ случится самому сплыть аль куда в другое место, я б и дом на тебя с Пантелеем покидал. Как при покойнике Савельиче было, так бы и при тебе. Ты с отцом-то толком поговори.

Вошла Фленушка, смущенная, озабоченная, в слезах. Мастерница была она, какое хочет лицо состроит: веселое – так веселое, печальное – так печальное.

– Что ты, Фленушка? – спросил ее Патап Максимыч.

– До вас, Патап Максимыч, – отвечала она плаксивым голосом. – Беда у меня случилась, не знаю, как и пособить. Матушка Манефа пелену велела мне в пяльцах вышивать. На срок, к масленице, поспела бы непременно.

– Знаю, слышал, – отвечал Патап Максимыч.

– В Москву хочет посылать, – продолжала Фленушка.

– Да что же случилось-то? – спросил Патап Максимыч.

– Пяльцы не порядком положила, – ответила Фленушка. – Упали, рассыпались... Боюсь теперь матушки Манефы, серчать станет.

– Так почини, – молвил Патап Максимыч.

– Рада бы починить, да не умею, – сказала Фленушка. – Надо столяра.

– А где я тебе найду его? У меня столяров нет, – ответил Патап Максимыч.

– Да не может ли кто из токарей починить? – просила Фленушка. – Не оставьте, Патап Максимыч, не введите в ответ. Матушка Манефа и на знаю что со мною поделает.

– Не токарево это дело, голубушка, – сказал Патап Максимыч. – Из наших работников вряд ли такой выищется... Рад бы пособить, да не знаю как. Не знаешь ли ты, Алексей? Не сумеет ли кто из наших пяльцы ей починить?

– Да я маленько столярничаю, – ответил Алексей. – За чистоту не берусь, а крепко будет.

– Ну вот на твоё счастье и столяр выискался, – с веселой улыбкой молвил Патап Максимыч. – Тащи скорей сюда пяльцы-то.

– Никак их нельзя сюда принести, Патап Максимыч, – отвечала Фленушка, – здесь и олифой и красками напачкано, долго ль испортить шитье, цвета же на пелене все нежные.

– Да ты порожные пяльцы тащи, шитье-то вынь, – сказал Патап

Максими́ч. – Эка недогадливая!

– Не знаете вы нашего мастерства, Патап Максими́ч, оттого и говорите так, – отвечала Фленушка. – Никак нельзя из пялец вынуть шитья, всю работу испортишь, опять-то вставить нельзя уж будет.

– Ну, неча делать, сходи наверх, Алексеюшка, – сказал Патап Максими́ч. – Где пальцы-то у тебя? – спросил он, обращаясь к Фленушке.

– В светлице, у Настеньки, – ответила она.

– Проведи его туда. Сходи, Алексеюшка, уладь дело, – сказал Патап Максими́ч, – а то и впрямь игуменья-то ее на поклоны поставит. Как закатит она тебе, Фленушка, сотни три лестовок земными поклонами пройти, спину-то, чай, после не вдруг разогнешь... Ступай, веди его... Ты там чини себе, Алексеюшка, остальное я один разберу... А к отцу-то сегодня сходи же. Что до воскресенья откладывать!

Ровно отуманило Алексея, как услышал он хозяйский приказ идти в Настину светлицу. Чего во сне не снилось, о чем если иной раз и приходило на ум, так разве как о деле несбыточном, вдруг как с неба свалилось.

– Ты послушай, молодец, – сказала Фленушка, всходя с ним по лестнице в верхнее жилье дома. – Так у добрых людей разве водится?

– Что такое? – с смущенным видом спросил Алексей.

– Совесть-то есть, аль на базаре потерял? – продолжала Фленушка. – Там по нем тоскуют, плачут, убиваются, целы ночи глаз не смыкают, а он еще спрашивает... Ну, парень, была бы моя воля, так бы я тебя отделала, что до гроба жизни своей поминать стал, – прибавила она, изо всей силы колотя кулаком по Алексееву плечу.

– Да ты про что? Право, невдомек, Флена Васильевна, – говорил Алексей.

– Ишь ты! Еще притворяется, – сказала она. – Приворожить девку бесстыжими своими глазами умел, а понять не умеешь... Совесть-то где?.. Да знаешь ли ты, непутный, что из-за тебя вечор у нее с отцом до того дошло, что еще бы немножко, так и не знаю, что бы случилось... Зачем к отцу-то он тебя посылает?

– В приказчики хочет меня по токарням да по красильням рядить, – отвечал Алексей, – за работниками да за домом присматривать.

– Полно ты? – удивилась и обрадовалась Фленушка.

– Право, – отвечал Алексей.

– Значит – наше дело выгорает, – сказала Фленушка. – С места мне не сойти, коль не будешь ты у Патапа Максими́ча в зятях жить. Ступай, – сказала она, отворив дверь в светелку и втолкнув туда Алексея, – я покараулю.

В алом тафтяном сарафане с пышными белоснежными тонкими рукавами и в широком белом переднике, в ярко-зеленом левантиновом платочке, накинутом на голову и подвязанном под подбородком, сидела Настя у Фленушкиных пялец, опершись головой на руку. Потускнел светлый взор девушки, спал румянец с лица ее, глаза наплаканы, губы пересохли, а все-таки чудно-хороша была она. Это была такая красавица, каких и за Волгой немного родится: кругла да бела, как мытая репка, алый цвет по лицу расстилается, толстые, ровно шелковые косы висят ниже пояса, звездистые очи рассыпчатые, брови тонкие, руки белые, ровно выточены, а грудь, как пух в атласе. Не взвидел света Алексей, остановился у притолоки. Однако оправился и чин чином, как следует, святым иконам три поясных поклона положил, потом Насте низехонько поклонился.

Хотя Фленушка только о том Насте и твердила, что приведет к ней Алексея, но речам ее Настя веры не давала, думала, что шутит она... И вдруг перед ней, как из земли вырос, – стоит Алексей.

Бледное лицо Насти багрецом подернуло. Встала она с места и, опираясь о стол рукою, робко глядела на вошедшего. А он все стоит у притолоки, глядит не наглядится на красавицу.

У обоих языка не стало. Молчат. Наконец Настя маленько оправилась.

– Что тебе надо? – спросила она, опустив глаза в землю.

– Патап Максимыч послал, – тихо отвечал Алексей.

– Тятенька? – поднимая голову, сказала Настя. – Тебя тятенька ко мне прислал?.. Зачем?..

Сердце у ней так и замерло, сама себя не помнит, наяву она, аль во сне ей грезится.

– Зачем он тебя прислал? – повторила Настя, едва переводя дух.

– Пяльцы чинить.

«Так вот зачем Фленушка пяльцы-то ломала», – подумала Настя.

– Чини, коли прислан, – сказала она, отходя к другому окошку.

Подошел Алексей к пяльцам. Смотрит на полom – и ничего не видит: глаза у него так и застилает, а сердце бьется, ровно из тела вон хочет.

Настя, потупившись, перебирала руками конец передника, лицо у нее так и горело, грудь трепетно поднималась. Едва переводила она дыханье, и хоть на душе стало светлее и радостней, а все что-то боязно было ей, слезы к глазам подступали.

Быстро распахнулась дверь, вбежала Фленушка.

– Пути в вас нету, – защебетала она. – На молчанки, что ли, я вас свела?.. Слушай ты, молодец, девка тебя полюбила, а сказать стыдится... И Алексей тебя полюбил, да боится вымолвить.



И, толкнув Настю к Алексею, выбежала за дверь.

– Неужели правду сказала она? – чуть слышно спросил Алексей.

У Насти сил на ответ не достало. Зарыдала и закрыла лицо передником.

Медленно и робко ступил Алексей шаг, ступил другой, взял Настю за руку.

Быстро откинула она передник. Сквозь слезы улыбаясь, страстно взглянула в очи милому и кинулась на грудь его...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Все распоряженья насчет угощенья домашних работников и пришлого народа были сделаны. Старик Пантелей с Захлыстинского базара навез и говядины, и свинины, и баранины, пять ведер вина, ренского шесть бутылок, молодич потчевать, и большие кульки с деревенскими гостинцами. Дома брагу варили, квасы ставили. Аксиныя Захаровна в кладовых да в стряпущей с утра до ночи возилась: то припасы принимала, то наливки подваривала да по бутылкам разливала, то посуду стеклянную и фарфоровую из сундуков вынимала и отдавала дочерям перемыть хорошенько.

Патап Максимыч в губернский город собрался. Это было не очень далеко от Осиповки: верст шестьдесят. С дороги своротил он в сторону, в деревню Ключово. Там жила сватья его и крестная мать Насти, Дарья Никитишна, знаменитая по всему краю повариха. Бойкая, проворная, всегда веселая, никогда ничем не возмутимая, доживала она свой век в хорошеньком, чистеньком домике, на самом краю деревушки.

Детство и молодость Никитишна провела в горе, в бедах и страшной нищете. Казались те беды нескончаемыми, а горе безвыходным. Но никто как Бог, на него одного полагалась сизмальства Никитишна, и не постыдил Господь надежды ее; послал старость покойную: всеми она любима, всем довольна, добро по силе ежечасно может творить. Чего еще? Доживала старушка век свой в радости, благодарила Бога.

Пяти годов ей не минуло, как родитель ее, не тем будь помянут, в каких-то воровских делах приличился и по мирскому приговору в солдаты был сдан, а мать, вскоре после того как забрали ее сожителя, мудрено как-то померла в овраге за овинами, возвращаясь в нетопленную избу к голодному ребенку

Из царева кабака,  
Из кружала государева.

Ругался мир ругательски, посылал ко всем чертям Емельянику, гроб безо дна, без крыши сулил ей за то, что и жить путем не умела и померла не путем: суд по мертвому телу навела на деревню... Что гусей было перерезано, что девок да молодых к лекарю да к стряпчему было

посылано, что исправнику денег было переплачено! Из-за кого ж такая мирская сухота? Из-за паскуды Емельянихи, что не умела с мужем жить, не умела в его делах концы хоронить, не умела и умереть как следует.

Осталась после Емельянихи сиротка, пятилетняя Даренка. В отцовском ее дому давным-давно хоть шаром покати, еще заживо родитель растащил по кабакам все добро – и свое и краденое. Мать схоронили Христа ради, по приказу исправника, а сиротка осталась болтаться промеж дворов: бывало, где день, где ночь проведет, где обносочки какие ей Христа ради подадут, где черствым хлебцем впроголодь накормят, где в баньку пустят помыться. Так и росла девочка.

В сиротстве жить – только слезы лить; житье сиротинке, что гороху при дороге: кто пройдет, тот и порвет. Мало ль щипков да рывков, мало ли бою до синяков, рванья кос до плешин приняла Даренка, волочась под оконьем в Ключове и по соседним деревням. Не царством небесным было ей жить и при матери; бивала ее и шибко бивала покойница, особенно как под пьяную руку девочка ей подвернется, да все не как чужие люди. Ведь мать хоть и пьяная и безумная, а высоко руку подымет, да не больно опустит, чужой же человек колотит дитя, не рассудя, не велика, дескать, беда, хоть и калеккой станет век доживать. Бивали Даренку старые, бивали ее молодые, от деревенских ребятишек проходу не было. Только, бывало, сиротку завидят, тотчас и обидят, а пожалуется, не стерпя побоев, Даренка, ей же пуще достанется... Правду люди говорят, что пчелки без матки – пропащие детки. Горько бывало безродной сиротке глядеть, как другие ребятишки отцом, матерью пригреты, обуты, одеты, накормлены, приголублены, а ее кто приласкает, ей кто доброе словечко хоть в светло Христово воскресенье вымолвит? Тогда только и праздник был ей, как иная баба, обозлясь на мужа либо на свекра, обносочек какой на сиротку наденет. Да и та радость бывала ненадолго: узнает муж либо свекор, что баба спроворила, Даренку оголят середь улицы да отколотят еще на придачу.

Родись Никитишна парнишкой, иная бы доля ей выпала. Слаще бы не в пример сиротское житье ей досталось. «Пуцай его растет, – решили бы мужики, – в годы войдет, за мир в рекруты пойдет, – плакать по нем будет некому». И крепко-накрепко заказали бы бабам беречь сироту, приглядывать, чтоб коим грехом не окривел аль зубов передних ему не вышибли; не то беда: задаром пропадут и мирской хлеб и посиротские хлопоты. Девчонке не та судьбина. Беречь ее не для чего, знай колоти, сколько хочется, одного берегись – мертвого тела не сделай, чтоб суд не наехал да убытков и хлопот миру не принес.

Не забили, однако, сиротку Даренку. Росла она да росла, выросла, заневестилась. Куда девке деваться?.. В скиты?.. Чего бы лучше?.. Так и в скиты не всякую принимают, и там без денег к спасенью не допускают, а у Даренки железного гроша сроду в руках не бывало. Но, войдя в полную силу, стала она работницей всем на удивленье: цепом ли, серпом ли, бывало, за двоих работает. Тогда ключовские мужики друг перед дружкой стали Дарью Никитишну к себе зазывать. «Ко мне поди», да «у меня поживи – мы ведь тебе, Дарьюшка, люди свои, родня кровная». Такие только речи и слышала. Прежде ночь переночевать места не было, а теперь, что называется, не грело, не горело, а вдруг осветило: все в родню лезут, на житье к себе манят. Пожила у какого-то названного дяди года три либо четыре, за хлеб за соль лихвой ему заработала. Житье было ей не плохое, все до нее были ласковы, приветливы, но не забывала Дарья старых щипков и колотушек, все ей думалось: «Теперь хорошо, а выбьюсь из сил, так под старость из избы середь улицы выкинут». И решила она хоть за нищего замуж пойти, только б самой хозяйкою быть. И вышла Дарья замуж. Брал ее парень хороший, из соседней деревни Быдреевки, но из бедного дома, из большой семьи – шестериками в рекрутском списке стояли. Полтора года Дарья Никитишна пожила с мужем, слова неласкового от него не слыхала, взгляду косого не видала. Рекрутский набор подошел, забрали его. Себя не помнила Дарья, как прощалась со своим «соколиком». Угнали «соколика», воротилась Дарья из города к свекру в дом. Трех недель не минуло, грамотка издалика пришла: не дошел ее «соколик» до полка своего, заболел в каком-то городе, лег в лазарет, а оттуда в сосновый гроб.

Осталась Дарья Никитишна вольной вдовой, детей у ней не было. Баба еще молодая, всего девятнадцать лет, да такая славная, из себя красивая. Немало людей на Дарью заглядывалось, но она хоть и солдатка, как есть мирской человек, но берегла себя строго, умела подлипал от себя подальше спроваживать. Пришла беда, откуда она и не чаяла: толкнул бес свекра в ребро, навел на него искушение; зачал старый молодую сноху на любовь склонять, отходу ей не дает, ровно пришел его кто к сарафану Никитишны. Всем хотел свекор взять, и лаской и таской, да сноха крепка была: супротив греха выстояла. Невтерпеж, однако, стало ей, свекрови пожаловалась, а та ей: «Да мне-то что? Я старуха старая, в эти дела вступаться не могу, а ты свекра должна почитать, потому что он всему дому голова и тебя поит, кормит из милости». Пришло Никитишне житье хуже собачьего, свекор колотит, свекровь ругает, деверья смеются, невестки да золовки поедом едят. Терпела Дарья такую долю с полгода, извелась даже вся, на себя стала непохожа. Не хватило терпенья, ушла в чужи люди работой кормиться.

Куда-нибудь подальше хотелось ей, чтоб и вестей до нее не долетало про скверного свекра, ни про лютую свекровь, ни про злых невесток и золовок. Пошла в город Никитишна. Там к богатому барину пристроилась, в коровницы нанялась. С год за коровами ходила, потом в судомойки на кухню ее определили, на подмогу привезенному из Москвы повару. Барин того повара у какого-то московского туза в карты выиграл. Пошел повар в тысяче рублях, но знающие люди говорили, что тузу не грех бы было и подороже Петрушку поставить, потому что дело свое он знал на редкость: в Английском клубе учился, сам Рахманов<sup>[9]</sup> раза два его одобрял. Прожив при том поваре годов шесть либо семь, Никитишна к делу присмотрелась, всему научилась и стала большою помощью Петрушке. Меж тем воспитанник Английского клуба стал запивать, кушанье готовил хуже да хуже, кончил тем, что накануне барыниных именин сбежал со двора. Так и сгинул. Ходили потом слухи, будто он к матерям в скиты лыжи наострил, там в стару веру перешел, и что матери потом спровадили его в надежное место: к своим, за Дунай. На такие спроваживанья беглых людей за Дунай-реку большие мастерицы бывали матери-келейницы. Пошлют беглого с письмом к знакомому человеку, тот к другому, этот к третьему, да так за границу и выпроводят.

Остался барин без повара, гости на именины позваны, обеда готовить некому. Что тут станешь делать? Принимай срам от гостей. Но выручила барина Никитишна, такой обед ему состряпала, что сам Рахманов, отведав того обеда, облизал бы пальчики. С той поры стала Никитишна за хорошее жалованье у того барина жить, потом в другой дом перешла, еще побогаче, там еще больше платы ей положили. И жила она в поварихах без малого тридцать годов. А деньгу копить мастерица была: как стала из сил выходить, было у нее ломбардными билетами больше трех тысяч рублей на ассигнации. «Ну, – подумала тогда Никитишна, – будет на чужих людей жить, надо свой домишко заводить». Хоть родину добром поминать ей было нечего, – кроме бед да горя, Никитишна там ничего не ведала, – а все же тянуло ее на родную сторону: не осталась в городе жить, приехала в свою деревню Ключовку. Поставила Никитишна домик о край деревни, обзавелась хозяйством, отыскала где-то троюродную племянницу, взяла ее вместо дочери, вспоила, вскормила, замуж выдала, зятя в дом приняла и живет теперь себе, не налюбуется на маленьких внучат, привязанных к бабушке больше, чем к родной матери.

Хоть ни в чем не нуждалась Никитишна, но всегда не только с охотой, но с большой даже радостью езжала к городovým купцам и к деревенским тысячникам столы строить, какие нужны бывали: именинные аль

свадебные, похоронные аль поминальные, либо на случай приезда важных гостей. Езжала Никитишна и к матерям обительским обеды готовить, когда, бывало, после Макарья, купцы богатые, скитские «благодетели», наедут к матерям погостить, побаловать, да кстати и Богу помолиться. Привыкнув к стряпне да к столовым хлопотам, скучно бывало становилось Никитишне, коли долго ее ставить столы никуда не зовут.

Изо всех знакомых городских купцов, изо всех заволжских тысячников ни к кому у ней сердце так не лежало, как к Патапу Максимычу. Аксинья Захаровна как-то в сродстве приходилась ей, и когда еще Никитишна по чужим людям проживала, Патапом Максимычем оставлена не была. Каждый год, бывало, он ей после Макарья чаю, сахару на целый год подарит, да платье хорошее, а иной год и шубу справит, либо деньгами не оставит. Добро Никитишна помнила твердо. Пошли за ней Патап Максимыч хоть в полночь, хоть во время вьюги-метелицы, хоть в трескучий мороз, хоть в распутицу, часа не усидит, мигом в дорогу сберется и покатит к куманьку любезному. Хоть старым костям иной раз и неможется, от послуги Патапу Максимычу ни за что не откажется. И все семейство Чапуриных души не чаяло в доброй, всегда веселой, разговорчивой Никитишне. Кроме нужных случаев, когда Никитишне в Осиповке приводилось столы строить, нередко по неделям и даже по месяцам там она гащивала. И, бывало, во время таких гостин уж никак невозможно было уговорить старушку, чтобы она каждый день обеда не стряпала. Только что приедет, первым долгом в стряпушую. Тогда стряпка уж прочь ступай, к печи никого, бывало, не подпустит Никитишна.

Смерклось и вызвездило, когда по скрипучей, от завернувшего под вечер морозца, по дороге к дому Никитишны пара добрых коней подкатила сани с кожаным лучком, с суконным, подбитым мурашкинской дубленкой, фартуком и широкими отводами. В синей суконной шубе на лисьем меху, подпоясанный гарусным кушаком, в мерлушчатой шапке, вылез из саней Патап Максимыч и, оставя при лошадях работника, зачал в ворота стучать. На его стук, заливаясь визгливым лаем, отвечали со двора собаки, затем послышались чьи-то шаги по снегу, кто-то окликнул приехавшего, и, когда Чапурин отозвался, ворота на оба полотна распахнулись.

– Ах, батюшка Патап Максимыч! – вскрикнул Авдей, приемный сын Никитишны. – Милости просим. Пождите маленько, ваше степенство, за свечой сбегаяю, темненько на дворе-то, не зашибиться бы вам ненароком.

– Не надо, Авдеюшка, дорога знакомая, – отвечал Патап Максимыч, – а ты вот, голубчик, коней-то на двор пусти да сенца им брось. Здорова ль Никитишна?

– Неможет, Патап Максимыч, другой день.

– Ой ли? Что ж такое с ней приключилось? – спросил Патап Максимыч.

– Да Бог ее знает: то походит, то поваляется. Года уж, видно, такие становятся. Великим постом на седьмой десяток перевалит, – говорил Авдей, провожая гостя.

Дверь из горницы отворилась. Авдеева жена, молодая, шустрая бабенка, с широким лицом, вздернутым носом и узенькими глазками, выбежала в сени со свечой.

– Патап Максимыч! Подобру ль поздорову? Милости просим, – заговорила она.

– Здравствуй, Татьянушка. Что тетка?

– Хворает.

Войдя в горницу, Патап Максимыч увидел, однако, что кума любезная, повязанная белым платком по голове, сама встречает его. Заслышав голос куманька, не утерпела Никитишна, встала с постели и пошла к нему навстречу.

– Какими судьбами до наших дворов? – спрашивала она у Патапа Максимыча.

– Да вот, ехал неподалече и завернул, – отвечал он. – Нельзя же куму не наведать. И то с Рождества не видались. Что, Божья старушка, неможется, слышь, тебе?

– Помирать время подходит, куманек. Кости все разболелись. Ломит, тягость такая! – говорила Никитишна. – Таня, ставь-ка ты самовар да сberi чайку: куманек с холодку-то погрееется.

– Рано бы помирать-то тебе, кумушка, – сказал, сядясь на лавку, Патап Максимыч. – Пожить надо, внучек вырастить, замуж их повыдаты.

– Тебя только послушай, наскажешь, – помаленьку оживляясь, заговорила Никитишна. – Аредовы веки, что ли, прикажешь мне жить? Дело наше бабье: слаб сосуд.

– Поживем еще, кумушка, поживем, пока Бог грехам терпит. Выздоровливай. Ну, деток твоих видел, внучки-то что? Здоровеньки ли?

– Слава Богу. Аннушку за букварь засадила, – молвила Никитишна, – «аз, ангел, ангельский» – твердит, а Марфуша, как бы ты видел, какая забавная стала, что рассказать нельзя. Спать легли, да вот завтра увидишь.

– Нет, кумушка, до утра у тебя не останусь, – сказал Патап Максимыч. – Я к тебе всего на часок и коней отпрягать не велел. В город еду. Завтра к утру надо быть там беспрерменно.

– Чтой-то, батька, какой ноне спесивый стал, – возразила Никитишна. – Заночевал бы, завтра пообедал бы. Чуть брожу, а для гостя дорогого знатный бы обедец состряпала. Наши ключовски ребята лось выследили, сегодня загоняли и привезли. Я бы взяла у них лосиного мясца, да такое б тебе кушанье состряпала, хоть царю самому на стол. Редко ноне лосей-то стали загонять. Переводятся что-то.

– Спасибо, кумушка, да ведь этого зверя, кажись, по закону есть не заповедано, – сказал Патап Максимыч.

– Что ты, окстись! – возразила Никитишна. – Ведь у лося-то, чай, и копыто разделенное, и жвачку он отрыгает. Макария преподобного «житие» читал ли? Дал бы разве Божий угодник лося народу ясти, когда бы святыми отцами не было того заповедано... Да что же про своих-то ничего не скажешь? А я, дура, не спрошу. Ну, как кумушка поживает, Аксинья Захаровна?

– Ничего, – отвечал Патап Максимыч. – Клокчет себе. Дочерей взяли из обители, так с ними больше возится.

– Крестница моя что, Настасьюшка? Как поживает?

– Живет себе. Задурила было намердн.

– Как так?..

– Да в кельи захотела, – смеясь, сказал Патап Максимыч. – Иночество, говорит, желаю надеть. Да ничего, теперь блажь из головы, кажись, вышла. Прежде такая невеселая ходила, а теперь совсем другая стала – развеселая. Замуж пора ее, кумушка, вот что.

– И то правда, куманек, – согласилась Никитишна. – Ведь ей никак восемнадцать годков минуло?

– Да. Деятнадцатый пошел с осени, – молвил Патап Максимыч.

– Так... Так будет, – сказала Никитишна. – Другой год я в Ключове-то жила, как Аксиньюшка ее родила. А прошлым летом двадцать лет сполнилось, как я домом хозяйствую... Да... Сама я тоже подумывала, куманек, что пора бы ее к месту. Не хлеб-соль родительскую ей отрабатывать, а в девках засиживаться ой-ой нескладное дело. Есть ли женишок-от на примете, а то не поискать ли?

– Маленько заведено дельце, кумушка, – отвечал Патап Максимыч.

– Из каких мест Господь посылает? Здешний али дальний какой? – спросила Никитишна.

– Где по здешним местам жениха Настасье сыскать! – спесиво заметил Чапурин. – По моим дочерям женихов здесь нет: токари да кузнецы им не пара. По купечеству хороших людей надо искать... Вот и выискался один молодчик – из Самары, купеческий сын, богатый: у отца заводы, пароходы



и торговля большая. Снежковы прозываются, не слыхала ли?

– Нет, Снежковых не слыхала, – отвечала Никитишна. – Да ведь я низовых-то мало знаю. Видел он крестницу-то?

– Покаместь на видал, – сказал Патап Максимыч. – Да вот беда-то кумушка, что ты расхворалась.

– А что?

– Да ведь я было затем и приехал, чтобы звать тебя стол ради жениха урядить, – сказал Патап Максимыч. – На Аксиньины именины гостить к нам с отцом собирается.

– Беспременно буду, – живо подхватила Никитишна. – Да как же это возможно, чтобы на Настиних смотринах да не я стряпала? Умирать стану, а поеду. Присылай подводу, куманек, часу не промешкаю. А вот что, возьми-ка ты у наших ребят лося, знатно кушанье состряпаю, на редкость.

– Пожалуй, – молвил Патап Максимыч, – только уж ты сама сторгуйся и деньги отдай, после сочтемся. Теперь в город за покупками еду, послезавтра домой ворочусь и тотчас за тобой подводу пришлю. Сама приезжай и лося вези.

– Ладно, хорошо, – сказала Никитишна. – А я все насчет крестницы-то. Как же это, куманек, что-то невдомек мне: давеча сказал ты, что в монастырь она собираться вздумала, а теперь говоришь про смотрины. Уж не силой ли ты ее выдаешь, не супротив ли ее воли?

– Заправских смотрин не будет, и настоящего сватовства еще нет, – сказал, уклоняясь от прямого вопроса, Патап Максимыч. – Пуцай парень с девкой повидаются, друг на дружку посмотрят. А про сватовство и речи не будет. Раньше той зимы свадьбы нам не играть: и мне времени нет и Снежковым, – в разъездах придется все быть. Настя с молодцом теперь только повидятся, а по весне Михайло Данилыч, жених-от, еще раз-другой к нам заедет, – ну помаленьку и ознакомятся... А что про скиты-то Настасья заговорила, так это она так... Нравная девка твоя крестница... Да уж я тебе все расскажу, перед тобой таиться нечего: своя ведь, опять же мать крестная... Сказал я намерении Настасье, что жених у меня для нее припасен. Она в слезы. Ну, подумал я, это еще не велика беда; кака девка без реву замуж выходит?.. «Не пойду, говорит, за твоего жениха». Пошумел я. «У тебя, говорю, воли своей нет, отец с матерью живы; значит, моя воля над детищем, за кого хочу, за того и выдам». Тут она и молвила про обещанье, дала, дескать, обет постриг принять в обители. А у меня теперь мать Манефа гостит. Думал, не она ли дурь в голову девке набила. Любят ведь эти игуменьи богатеньких родственниц прилучать... Да как разузнал, вижу, Манефа тут непричинна. Я опять за Настасью, хотелось допытаться,

с чего она постриг в голову себе забрала... Опять про жениха речь повел. А она, кумушка, как брякнет мне!.. Так и сняла с меня голову.

– Что такое? – спросила Никитишна.

– Коли, говорит, неволить станешь, – «уходом», говорит, с первым встречным уйду... Подумай ты это, кумушка?.. А?.. «Уходом»?..

– Так и сказала? – спросила Никитишна, встревожась от таких вестей.

– Так и сказала. «Уходом», говорит, уйду, – продолжал Патап Максимыч. – Да посмотрела бы ты на нее в ту пору, кумушка. Диву дался, сначала не знал, как и говорить с ней. Гордая передо мной такая стоит, голову кверху, слез и в заводе нет, говорит как режет, а глаза как уголья, так и горят.

– Отцова дочка, – усмехнувшись, заметила Никитишна. – В тятеньку уродилась... Так у вас, значит, коса на камень нашла. Дальше-то что же было?

– Уж я лаской с ней: вижу, окриком не возьмешь, – сказал Патап Максимыч. – Молвил, что про свадьбу год целый помину не будет, жениха, мол, покажу, а год сроку даю на раздумье. Смолкла моя девка, только все еще невеселая ходила. А на другой день одумалась, с утра бирюком глядела, к обеду так и сияет, пышная такая стала да радостная.

– А ты девку-то больно не ломай, – молвила Никитишна. – Лаской больше бери да уговорами, на упрямое слово не серчай, на противное не гневайся.

– И то по ней все говорю, – отвечал Патап Максимыч. – Боюсь, в самом деле не наделала бы чего. Голову, кумушка, снимет!.. Проходу тогда мне не будет.

– Страшен сон, да милостлив Бог, – успокаивала его Никитишна. – Много ль гостей-то звал?

– Да, кроме Снежковых, Ивана Григорьича с Груней, удельного голову, еще кое-кого, – отвечал Патап Максимыч. – Мне всего больше того хочется, кумушка, чтоб Снежковым показать, как мы в наших захолустьях живем. Хоть, дескать, на болоте сидим, а мохом не обросли. Не загордились бы, коли Бог велит в родстве быть. Так уж ты порадей, такой стол уряди, как у самых первых генералов бывает. Снежков-от Данило Тихоныч купец первостатейный, в городских головах сидел, у губернаторов обеживал, у самого царя во дворце, сказывает, в Питере бывал. Порядки, стало быть, знает. Так уж ты лицом в грязь не ударь. Денег не жалеи, управь только все на самую хорошую руку. Чего в городе покупать? Сказывай, записывать стану.

Сидя за чаем, а потом за ужином, битый час протолковал Патап

Максими́ч с Никитишной, какие припасы и напитки искупить надо. И про Настю кой-что еще потолковали. Наконец, когда все было переговорено и записано, Патап Максими́ч поехал из Ключова, чтоб с рассветом быть в городе.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Шурин Патапа Максимыча, Никифор, был дрянй человек. Что это был за собинка, того довольно сказать, что «волком» его прозвали, – а хуже, позорней того прозвища в лесах за Волгой нет. «Волк» – это вконец проворовавшийся мужик, всенародно осрамленный, опозоренный, которого по деревням своего околотка водили в шкуре украденной им скотины, сопровождая бранью, побоями, хохотом и стуком в печные заслоны и сковороды. Много мирских побоев за воровские дела принял Микешка, да мало, видно, бока у него болели: полежит недельку-другую, поохает, помается, да, оправившись, опять за воровской промысел да за пьянство. Просто сказать – отятой человек.

А ведь, кажется, был из семьи хорошей. Родители были честные люди, хоть не тысячники, а прожили век свой в хорошем достатке. Жили они в удельном селе Скоробогатове. Отец Никифора, Захар Колотухин, пряжу скупал по Ячменской волости, где не только бабы да девки, но и все мужики по зимам за гребнем сидят. Продавая пряжу в Пучеже да в Городце, хорошие барыши он получал и доволен был житьем-бытьем своим. Детей у Колотухина всего только двое было, сын да дочь – красные дети, как в деревнях говорится. Растили родители Никифора, уму-разуму учили, на всякое добро наставляли как следует, да, видно, уж на роду было ему писано быть не справным хозяином, а горьким пьяницей и вором отъявленным. Урожается иной раз у хорошего отца такое чадушко, что от него только горе да бесчестье: роду поношение, всему племени вечный покор.

Аксинья Захаровна старше брата была. Еще девочкой отдали ее в Комаровский скит к одной родственнице, бывшей в одной из тамошних обителей головщицей правого крылоса; жила она там в холе да в неге, думала и на век келейницей быть, да подвернулся молодой, красивый парень, Патап Максимыч Чапурин... Сошлись, ознакомились, он на нее не наглядится, она на него не надышится, решили, что жить розно им не приходится, и кончилось тем, что Патап Максимыч сманил девку, увез из скита и обвенчался с нею «уходом». Прошло года три, мать Аксиньи Захаровны померла в одночасье, остались в дому отец, старый вдовец, да сын, холостой молодец. Как жить без бабы? Никоим образом нельзя, без хозяйки весь дом прахом рассыплется... И задумал Захар Колотухин сам жениться и сына женить. Уж невесты были выбраны, и сваты

приготовлены, обе свадьбы «честью» хотели справлять, да вдруг Захар занедужился, недельку-другую помаялся и отдал Богу душу.

Остался Никифор надо всем отцовским добром сам себе голова. Не больно жалел он родителя, схоронил его, ровно с поля убрался: живи, значит, теперь на своей воле, припеваючи. Про невесту и думать забыл, житье повел пространное, развеселое. В город поехал, все трактиры спознал, обзавелся друзьями-приятелями, помогли они ему вскорости растратить родительские денежки. Прогуляв деньги, лошадей да коров спустил, потом из дому помаленьку стал продавать, да года два только и дела делал, что с базара на базар ездил: по субботам в Городец, по воскресеньям в Катунки, по понедельникам в Пучеж, – так целую неделю, бывало, и разъезжает, а неделя прошла, другая пришла, опять за те же разъезды. Сказывал людям Никифор Захарыч, что по торговым делам разъезжает, а на самом деле из кабака в кабак метался, только на разуме и было что гульба да бражничанье. Впрочем, кроме сиденья в кабаках у Никифора и другие дела водились: где орлянку мечут, он уж тут как тут; где гроши на жеребьевую выпивку кусают да из шапки вынимают, Никифор первый; драка случится, озорство ли какое, безобразие на базаре затеется, первый заводчик непременно Никифор Захарыч. До того скоро дошел, что и пить стало не на что, пришлось чем-нибудь на выпивку денег добывать. И пошел наш Никифор на сухом берегу рыбу ловить: день в кабаке: а ночь по клетям, – что плохо лежит, то добыча ему. Вконец проворовался, но сколько раз в краже его не примечали, все увертывался. Иной раз только боками ответит, отпустят его мужики еле живого. Почешется, почешется да опять за чужим добром. Нельзя же – целовальник в долг не дает.

А душа была у него предобрая. Кто не обижал, тому рад был услужить всячески. Пожар ли случится, Никифор первый на помощь прибежит, бывало, в огонь так и суется, пожитки спасаючи, и тут уж на него положиться было можно: хоть неделю капельки вина во рту не бывало, с пожару железной пуговицы не снесет. Душ пять на своем веку из огня выхватил да из Волги человек семь. Бывало, только слышит на реке крики: «Батюшки, тону! Подайте помощь, православные!..» – мигом в воду... А плавал Микешка, как окунь, подплывет, бывало, к утопающему, перелобанит его кулаком что есть мочи, оглушит до беспамятства, чтобы руками не хватался и спасителя вместе с собой не утопил, да, схватив за волосы, – на берег. Раз так спас бурлака, что с барки упал, на глазах самого губернатора. Губернатор велел Никифора к себе позвать, похвалил его, записал имя и сказал ему:

– За твой человеколюбивый подвиг, за спасенье погибающего, к

серебряной медали тебя представлю.

– А велика ль та медаль, ваше превосходительство? – спросил Микешка.

– В полтинник, – отвечал удивленный таким вопросом генерал.

– Так не будет ли такой милости, ваше превосходительство, – сказал Никифор, – чтоб теперь же мне полтинник тот в руки, я бы с «крестником» выпил за ваше здоровье, а то еще жди, пока вышлют медаль. А ведь все едино – пропью же ее.

Раз, под пьяну руку, женился Никифор. Проживала в селе Скоробогатове солдатка, вдова. Маврой звали ее. Разбитная была, на все руки. Известно дело, солдатка – мирской человек, кто к ней в келью зашел, тот и хозяин. Когда у Никифора еще деньги водились и дом еще не пропит был, связалась она с ним и задумала вокруг него покорыстоваться. Чем в тесной кельенке жить на задворище, не в пример лучше казалось ей похозяйничать в хорошем, просторном доме. Загулял раз с ней Микешка, пили без просыпу три дня и три ночи, а тут в Скоробогатове «проезжающий священник» наехал, то есть, попросту сказать, беглый раскольничий поп. Говорит Мавра Микешке:

– Соколик мой ясный, голубчик, Микешенька, возьми меня за себя.

– И без того со мной живешь, – отвечал Никифор. – Будет с тебя.

– Лучше будет, ненаглядный ты мой... Кус ты мой сахарный, уста твои сладкие, золотая головушка, не в пример лучше нам по закону жить, – приставала Мавра. – Теперь же вот и отец Онисим наехал, пойдем к нему, повенчаемся. Зажили б мы с тобой, голубчик, припеваючи: у тебя домик и всякое заведение, да и я не бесприданница, – тоже без ужина спать не ложусь, – кой-что и у меня в избенке найдется.

– Какое у тебя приданое? – смеясь, сказал солдатке Никифор. – Ну так и быть, подавай росписи: липовы два котла, да и те сгорели дотла, сережки двойчатые из ушей лесной матки, два полотенца из березова поленца, да одеяло стегано алого цвету, а ляжешь спать, так его и нету, сундук с бельем да невеста с бельмом. Нет, таких мне не надо – проваливай!

– Да полно, голубчик ты мой сизокрылый, не ломайся, Микешенька, – ублажала его Мавра. – Уж как же мы с тобой бы зажили!..

– Да поди ты к бесу на поветь, окаянная! – крикнул Никифор, плюнув чуть не в самую невесту. – Ишь, прости Господи, привязалась. Пошла вон из избы!

– Я бы тебе, Микешенька, во всем угождала, слушалась бы каждого твоего словечка; всем бы тебя успокоила, ты бы у меня как сыр в масле катался, – продолжала уговоры свои Мавра, поднося Никифору Захарычу

стаканчик за стаканчиком.

Не устоял Никифор Захарыч супротив водки да солдаткиных уговоров. Сам не помнил, как в избу сватовья-соседи нагрянули и сволокли жениха с невестой к беглому попу Онисиму.

Проснулся поутру Никифор, Мавра возле него волосы ему приглаживает, сама приголубливает:

– Сокровище ты мое бесценное, муженек мой золотой, ясный соколик ты мой!

– Что ты, свинья тупорыла! С похмелья, что ль, угорела? Какой я тебе муж? – закричал Никифор, вскочив с постели.

– Как какой муж? – молвила Мавра. – Известно, какой муж бывает – венчаный! Бог да поп меня вчерась тебе отдали.

– Вон из избы! Чтоб духу твоего не было... Ишь кака жена выискалась!.. Уйди от греха, не то раскрою, – закричал еще не совсем проспавшийся Никифор, схватив с шестка полено и замахнувшись на новобрачную.

– Матушки мои!.. Голубушки!.. Да что ж это со мной, горькою, делается?.. – зачала во всю ивановскую причитать Мавра. – Да и чем же я тебе, Микешенька, досадила?.. Да и чем же я тебя, желанный, прогневала?

Хватил Никифор поленом по спине благоверную. Та повалилась и на всю деревню заверещала. Сбежались соседи – вчерашние сваты. Стали заверять Никифора, что он вечор прямым делом с Маврой повенчался. Не верит Никифор, ругается на чем свет стоит.

– Да сходи к попу, – говорят сватовья. – Спроси у него, поп не соврет, да и мы свидетели.

Сбегал Никифор к попу. И поп те же речи сказывает. Делать нечего. Поп свяжет, никто не развяжет, а жена не гусли, поигравши, ее не повесишь. Послал за вином, цело ведро новобрачные со сватами распили. Так и повалились, где кто сидел.

Проспались. Никифор опять воевать. Жену избил, и сватым на калачи досталось, к попу пошел и попа оттрепал: «Зачем, говорит, пьяный пьяного венчал?» Только и стих, как опять напился.

Желтенькое житье Мавре досталось. Не ждала она такой жизни, не думала, чтобы силой да обманом взятый муж таким лютым сделался. Что день – то таска, что ночь – потасовка. Одной печи у Мавры на спине не бывало. Только и отдохнет, как муж по дальним кабакам уедет гулять. А из дому Никифор ее не гнал. «Что ж делать, говаривал, какая ни на есть жена, а все-таки Богом дана, нельзя ж ее из дому гнать». Тогда только ушла от него Мавра, как он и дом и все, что в доме, дотла прогулял, и не стало у

него ни кола, ни двора. Сбежала Мавра к целовальнику, прежнему приятелю, села в кабаке жареной печенкой торговать.

Скучно как-то стало Никифору, что давно жены не колотил. Пришел в кабак да, не говоря худого слова, хватить Мавру за косы. Та заголосила, ругаться зачала, сама драться лезет. Целовальник вступился.

– Как ты смеешь, – говорит Никифору, – в казенном месте буянить? Как ты смеешь вольну солдатку бить? Она тоже, – говорит, – человек казенный!

– Как так казенная, – закричал Никифор. – Она жена моя венчанная. Мое добро, сколь хочу, столько и колочу.

– Да черт, что ли, меня с тобой вкруг пенька на болоте венчал? – закричала Мавра, поправляя раскосмаченную голову.

– Не черт, а батюшка, отец Онисим, – отвечал озадаченный жениными словами Никифор.

– А в какой это церкви он венчал меня с тобой? В каком приходе? – кричала Мавра на все село. – Где свадьба наша записана?.. В каких книгах?.. Ну-ка, докажи!

– Сама знаешь, что отец Онисим проезжающий был.

– А ну-ка, докажи! – кричала Мавра. – А ну-ка, докажи! Какие такие проезжающие попы?.. Что это за проезжающие?.. Я церковница природная, никаких ваших беглых раскольничьих попов знать не знаю, ведать не ведаю... Да знаешь ли ты, что за такие слова в острог тебя упрятать могу?.. Вишь: какой муж выискался!.. Много у меня таких мужьев-то бывало!.. И знать тебя не хочу, и не кажи ты мне никогда пьяной рожой своей!..

Нечего тут взять, коли баба и от попа отчуралась.

– Ну, – крикнул Микешка с горьким чувством целовальнику, – так, видно, делу и быть. Владей, Фаддей, моей Маланьей!.. А чапуруху, свояк, поставь... Расшибем полштофика!.. Выпьем!.. Плачу я... Гуляем, Мавра Исаевна!.. А ну-ка, отрежь печенки... Ишь черт какой, дома, небойсь, такой не стряпала!.. Эх, погинула вконец моя головушка!.. Пой песню, Маврушка, ставь вина побольше, свояк!

Уж как, кажется, ни колотил Никифор жены своей, уж как, кажется, ни постыла она ему была за то, что сама навязалась на шею и обманом повенчалась с ним, а жалко стало ему Мавры, полюбилась тут она ему с чего-то. Проклятого разлучника, скоробогатовского целовальника, так бы и прошиб до смерти...

Мавре было все равно. Ей хоть сейчас с татариним ли, с жидом ли повенчаться, а Микешка по старой вере был крепок. Частенько потом случалось, что в надежде на богатого зятя, Патапа Максимыча, к нему в



кабаках приставали вольны девицы да мирские вдовицы: обвенчаемся, мол. У Микешки один ответ на таки речи бывал:

– Запросто гулять давай, а венчаться нельзя. Поп венчал, а из жены душа не вынута.

С ломом красть ходить да с отмычками – дело опасливое, разом в острог угодишь. Да и то сказать: забравшись в чужу клеть, вору хозяйско добро не оценивать стать. А без того умному вору нельзя, коли он знает закон. Хорошо, как на двадцать на девять целковых под руку подвернется, беда не велика. По старому закону за это спиной только, бывало, вор отвечает. А как, по неопытности, зараз на тридцать загребет, да поймают с поличным: по тому же закону – Сибирь, поселенье. И воровать-то надо сноровку знать: занадобиться сто рублей, умному вору, чтоб дома остаться, надо их в четыре приема красть. Микешка это разумел и оттого воровал по мелочи. Надоели, однако, мирские побои добру молодцу, принялся он за «волчий промысел». Тут не скоро попадешься.

За Волгой нет особых пастбищ и выгонов. Скот все лето по лесу пасется. Коням нарочно боталы да глухари<sup>[10]</sup> на шею надевают, чтоб, когда понадобится лошадь хозяину, по звону ее скорей можно было сыскать. Коровы да овцы в лесах уж так приучены, что целый день по лесу бродят, а к вечеру сами домой идут. Пастухов за Волгой в заводе нет. В прежнее время слыхом не было слыхано, чтобы где-нибудь лошадь угнали, хоть она беспастушно паслась. Дальше на север и досель эта добрая старина держится. По Заволжью лошадей тогда только начали красть, как учредили особую должность комиссаров по пресечению конокрадства.<sup>[11]</sup> Должно быть, вора́м стало совестно, что ради их особых чиновников наслали и они даром казенное жалованье берут. Не пропадай же даром казна государева – давай и мы лошадок красть.

А коров да овец иной раз из лесу воры прежде уводили. Таких воров «волками» народ прозвал. Эти «волки» с руками накроют, бывало, в лесу коровенку либо овцу, тут же зарежут да на воз и на базар. Шкуру соймут, особо ее продадут, а мясо задешево промышленникам сбудут, тем, что солонину на бурлаков готовят. Промысел этот не в пример безопасней, чем хождение по чужим клетям и амбарам. Редко «волка» выслеживали. Но если такого вора на деле застанут, тут же ему мужики расправу чинят самосудом, по старине. Выпорют сначала розгами, сколько лозанов влезет, снимут с зарезанной скотины шкуру, от крови не омытую, надевают на вора и в таком наряде водят его из деревни в деревню со звоном в сковороды и заслоны, с криком, гиканьем, бранью и побоями. Делается это в

праздничные дни, и за ворм, которому со времени этой прогулки дается прозвание «волка», собирается толпа человек во сто. После того человек тот навек опозорен. Какую хочешь праведную жизнь веди, все его «волком» зовут, и ни один порядочный мужик на двор его не пустит.

Пропившийся Никифор занялся волчьим промыслом, но дела свои и тут неудачно повел. Раз его на баране накрыли, в другорядь на корове. Последний-то раз случилось неподалеку от Осиповки. Каково же было Патапу Максимычу с Аксиньей Захаровной, как мимо дому их вели братца любезного со звоном да с гиканьем, а молодые парни «волчью песню» во все горло припевали:

Как у нашего волка  
Исколочены бока,  
Его били, колотили,  
Еле жива отпустили.  
А вот волка ведут,  
Что Микешкой зовут.  
У! у! у!  
Микешке волку  
Будет на холку!  
У! у! у!  
Не за то волка бьют,  
Что сер родился,  
А за то волка бьют,  
Что барана съел.  
Он коровушку зарезал,  
Свинье горло перегрыз.  
Ой ты, волк!  
Серый волк!  
Микешкина рожа  
На волка похожа.  
Тащи волка живьем,  
Колоти его дубьем.

Сколь ни силен, сколь ни могуч был в своем околотке Патап Максимыч, не мог ничего сделать для выручки шурина. Ни грозой, ни просьбой, ни деньгами тут ничего не поделаешь. Обычай хранят, чин справляют – мешаться да перечить тут нельзя никому.

Раза три либо четыре Патап Максимыч на свои руки Микешку брал. Чего он ни делал, чтоб направить шурина на добрый путь, как его ни усовещивал, как ни бранил, ничем не мог пронять. Аксинья Захаровна даже ненавидеть стала брата, несмотря на сердечную доброту свою. Совестно было ей за него, и часто грешила она: просила на молитве Бога, чтоб послал он поскорей по душу непутного брата.

С крещенского сочельника, когда Микешка вновь принят был зятем в дом, он еще капли в рот не брал и работал усердно. Только работа его не спорилась: руки с перепоя дрожали. Под конец взяла его тоска – и выпить хочется и погулять охота, а выпить не на что, погулять не в чем. Украл бы что, да по приказу Аксиньи Захаровны зорко смотрят за ним. Наверх Микешке ходу нет. Племянниц еще не видал: Аксинья Захаровна заказала братцу любезному и близко к ним не подходить.

На другой день после отъезда Патапа Максимыча в город за покупками все утро до самого обеда бродил Микешка из места в место. Такая на него тоска напала, что хоть руки на себя наложить. Сосет его за сердце винный червяк. За стакан водки руку на отсечение бы с радостью отдал. И у того и у другого работника Христа ради просил он гривенничек опохмелиться, но от Патапа Максимыча было строго-настрого заказано: ни под каким видом гроша ему не давать. С тоски да с горя Микешка, сам не зная зачем, забрел в нижнее жилье дома и там в сенях, перед красильным подклетом, завалился в уголок за короба с посудой. Там лежал он, в сотый раз передумывая, как бы раздобыться деньжонками, хоть двугривенным каким-нибудь, чтобы сбегать в Захлыстинский кабак и, отведя там душу, воротиться, пока не приехал еще домой Патап Максимыч.

Обедать работники пошли. В ту пору никто в красильный подклет, кроме хозяина, не заглядывал, а его не было дома. Фленушка тотчас смекнула, что выпал удобный случай провести Насте с полчаса вдвоем с Алексеем. Шепнула ему, чтоб он, как только работники по избам обедать усядутся, шел бы в красильный подклет.

Алексей долго ждать себя не заставил. Только зашабашили работники, он сказал, что ему, по хозяйскому приказу, надо пересмотреть остальные короба с посудой и засветло отослать их на пристань, и отправился в подклет. Фленушка его караулила и дала знать Насте. Настя спустилась в подклет.

– Настенька моя, красавица! – говорил Алексей, встречая ее крепкими объятиями и страстными поцелуями. – Давно ль мы, кажись, с тобой виделись, а по мне ровно годы с той поры прошли. Яблочко ты мое наливчатое, ягодка ты моя красная!

– И я совсем стосковалась по тебе, Алеша, – прижимаясь к милому, молвила Настя. – Только и думы у меня, что про тебя, дружочек мой.

– Как бы вовсе нам не расставаться, моя ясынька! – молвил Алексей, обнимая Настю.

Длинным, длинным поцелуем поцеловала его Настя. Не до разговоров было... Глядя друг на друга, все забыли они. Вздохи сменялись поцелуями, поцелуи вздохами.

Крепко сжимал Алексей в объятиях девушку. Настя как-то странно смеялась, а у самой слезы выступали на томных глазах. В сладкой сердечной истоме она едва себя помнила. Алексей шептал свои мольбы, склоняясь к ней...

Когда трепетная, побледневшая Настя вышла в сени, ее встретила Фленушка.

– Ну что? – спросила она.

Настенька припала к плечу подруги и заплакала...

– Ну, пойдем, пойдем, – молвила Фленушка. – Здесь еще навернется кто-нибудь...

И увлекла ее в светелку.

Алексей оставался несколько времени в подклете. Его лицо сияло, глаза горели. Не скоро мог он успокоиться от волнения. Оправившись, пошел в сени короба считать.

Передвигая короб за коробом, увидал притаившегося за ними Микешку.

– Что тут делаешь? – крикнул на него Алексей. – Разве тебе место тут?

Микешка встал и, глупо улыбаясь, сказал Алексею:

– С праздником поздравить честь имеем.

– Какой тут праздник за коробами нашел? – строго сказал ему Алексей. – Убирайся на свое место.

– Мое, брат, место завсегда при мне, – отвечал Микешка. – Аль не знаешь, какой я здесь человек? Хозяйский шурин, Аксиные Захаровне брат родной. Ты не смотри, что я в отрепье хожу... – свысока заговорил Микешка и вдруг, понизив голос и кланяясь, сказал: – Дай, Алексей Трифоныч, двугривенничек!

– Ступай, ступай, откуда пришел, не то Патапу Максимычу скажу, – говорил Алексей, выгоняя из сеней Микешку. – Да ступай же, говорят тебе!

– Дай двугривенный, так сейчас уйду! – настойчиво сказал Микешка.

– Убирайся. Честью тебе говорят, а то смотри, я ведь и взащей.

– Меня взащей! Помни же ты это слово!

– Ну, ладно, ладно, проваливай!

– Помни, а я не забуду, – ворчал Микешка, уходя на двор. – Вишь, девушник какой! А она-то, спасенница-то! Ну, девка! Ай да Фленушка!

Микешка видел из-за коробов, как в подклет входил Алексей, видел и Фленушку. Больше ничего не видел. Думал он, что Алексей ходил с келейной белицей в подклет на тайное свиданье.

В доме Патапа Максимыча накануне именин Аксиныи Захаровны с раннего утра все суетились. Самого хозяина не было дома; уехал на соседний базар посмотреть, не будет ли вывезено подходящей ему посуды. У оставшихся дома семейных возни, суетни у каждого было по горло. Аксиныя Захаровна с дочерьми и с Фленушкой, под руководством Никитишны, прибирала передние горницы к приему гостей: мебель вощили, зеркала вином обтирали, в окнах чистые занавески вешали. Накануне из города привезли Чапурину две горки красного дерева за стеклами, их поместили по углам. Аксиныя Захаровна вынимала из сундуков серебряную и фарфоровую посуду, приготовленную дочерям в приданое, Настя и Параша расставляли ее каждая в своей горке. Патап Максимыч каждый раз, как бывал в Москве иль у Макарья, привозил дочерям ценные подарки, и в продолжение нескольких лет накопилось их довольно. Ожидая в гости жениха, он, бывши в последний раз в городе, купил в мебельной лавке горки, чтобы все свои подарки выставить напоказ. Знали бы, дескать, Снежковы, что дочери у него не бесприданницы.

Весело уставляла Настя «свою» горку серебром и фарфором, даже песенку запела. Следов не видно было прежней тоски.

Аксиныя Захаровна в суетах из сил выбилась.

– Ох, родная ты моя, – говорила она Никитишне, садясь на стул и опуская руки, – моченьки моей не стало, совсем измучилась...

– Да не суетись ты, Аксиныюшка, – отвечала ей Никитишна. – Ведь только так, даром толчешься, сидела бы себе в спокойе. И без тебя все украсим как следует.

– Как же это возможно, – отвечала хозяйка. – Сама не приглядишь, все шиворот-навыворот да вон на тараты пойдет... А после за ихнюю дурость принимай от гостей срам да окрик от Патапа Максимыча... Сама знаешь, родная, какие гости у нас будут! Надо, чтобы все было прибрано показистее.

– Не твое это дело, Аксиныюшка. Предоставили мне, одна и управлюсь, тебя не спрошу. Чать, не впервые, – сказала Никитишна.

– Так-то так, уж я на тебя как на каменну стену надеюсь, кумушка, – отвечала Аксиныя Захаровна. – Без тебя хоть в гроб ложись. Да нельзя же и

мне руки-то сложить. Вот умница-то, – продолжала она, указывая на работницу Матрену, – давеча у меня все полы перепортила бы, коли б не доглядела я вовремя. Крашены-то полы дресвой вздумала мыть... А вот что, кумушка, хотела я у тебя спросить: на нонешний день к ужину-то что думаешь гостям сготовить? Без хлеба, без соли нельзя же их спать положить.

– Да что сготовить? – с расстановкой стала говорить Никитишна. – Буженины косяк да стерлядок разварим, индейку жареную, и будет с них.

– А похлебку-то?

– Никакой похлебки не надо. Не водится, – отвечала Никитишна.

– Как же это за ужин без варева сесть? Ладно ли будет? – с недоумением спросила Аксинья Захаровна. – Ну, а на завтра, на обед-от, что ты состряпаешь?

– Уху сварю, – отвечала Никитишна. – Хороших стерлядок добыл Патап Максимыч, живы еще и теперь, у меня в лохани полощутся. После ухи кулебяку подам, потом лося, что из Ключова с собой привезла, осетра разварим, рябков в соусе сготовим, жареных индюшек, а после всего сладкий пирог с вареньем.

– Не маловато ли будет? – сказала Аксинья Захаровна. – Ты бы уж дюжину кушаньев-то состряпала.

– Больше не надо, – отвечала Никитишна. – Выдай-ка мне напитки-то, я покаместь их разберу.

– Пойдем, пойдем, родная, разбери; тут уже я толку совсем не понимаю, – сказала Аксинья Захаровна и повела куму в горницу Патапа Максимыча. Там на полу стоял привезенный из города большой короб с винами.

– Ну, ты поди, управляйся с полами, – сказала Никитишна Аксинье Захаровне, – а ко мне крестницу пришли. Мы с ней разберем.

Аксинья Захаровна вышла. Весело вбежала в горницу Настя.

– Развязывай короб-от, Настенька, – сказала Никитишна. – Давай разбирать.

Настя развязала короб и стала подавать бутылку за бутылкой. Внимательно рассматривая каждую, Никитишна расставляла их по сортам.

– Чтой-то с тобой творится, Настя? Ровно ты не в себе? – сказала она.

– Ничего, крестненька, – весело отвечала Настя, но, заметив пристальный взгляд, обращенный на нее крестной матерью, покраснела, смешалась.

– Меня, старуху, красавица, не обманешь, – говорила Никитишна, смотря Насте прямо в глаза. – Вижу я все. На людях ты резвая, так и

юлишь, а как давеча одну я тебя подсмотрела, стоишь грустная да печальная. Отчего это?

– Никакой нет у меня грусти, крестненька, – отвечала смущенная Настя. – Тебе показалось.

– Не обманывай меня, Настя. Обмануть крестную мать – грех незамолимый, – внушительно говорила Никитишна. – Скажи-ка мне правду истинную, какие у вас намерения с отцом перекоры были? То в кельи захотелось, то, гляди-кась, слово какое махнула: «уходом»!

У Насти от сердца отлегло. Сперва думала она, не узнала ль чего крестненькая. Меж девками за Волгой, особенно в скитах, ходят толки, что иные старушки по каким-то приметам узнают, сохранила себя девушка аль потеряла. Когда Никитишна, пристально глядя в лицо крестнице, настойчиво спрашивала, что с ней поделалось, пришло Насте на ум, не умеет ли и Никитишна девушек отгадывать. Оттого и смутилась. Но, услышав, что крестная речь завела о другом, тотчас оправилась.

– А! успели уж пожаловаться! – с досадой сказала она. – А коли уж все тебе рассказано, мне-то зачем еще пересказывать?.. Жениха на базаре мне заготовил!.. Да я не таковская, замуж неволей меня не отдашь... Не пойду за Снежкова, хоть голову с плеч. Сказала: «уходом» уйду... Так и сделаю.

– А как нагонят? – молвила Никитишна. – Как поймают? От твоего родителя мудрено «уходом» уйти. Подначального народу у него сколь?.. Коли такое дело и впрямь бы случилось, сколько деревень в погоню он разошлет!.. Со дна моря вынут...

– Тогда руки на себя наложу, – твердо и решительно сказала Настя. – Нож припасу, на тятиних глазах и зарежусь... Ты еще не знаешь меня, крестненька: коль я что решила, тому так и быть. Один конец!

– Полно, полно, Настенька, – уговаривала ее Никитишна. – Чтой-то какая ты в самом деле стала?.. А может, этот Снежков и хороший человек?

– Он тятю по торговле хорош, – с усмешкой молвила Настя. – Дела, вишь, у него со стариком какие-то есть; ради этих делов и надо ему породниться... Выдавай Парашу: такая же дочь!.. А ей все одно: хоть за попа, хоть за козла, хоть бы дубовый пенек. А я не из таковских.

– Не гневи, Настенька, отца с матерью. Грех, – сказала Никитишна.

– Ничем я их не прогневила, – сказала Настя. – Во всем покорна, а насчет этого – ну уж нет. Силком за немилого замуж меня не выдадут.

– За немилого! – усмехнулась Никитишна. – А за милого пойдешь?

– Еще бы нейти! – улыбнувшись, ответила Настя.

– Не завелся ли такой? – лукаво поглядывая на крестницу, спросила

Никитишна.

– Да ты, крестненька, от себя это спрашиваешь? – сложив накрест руки и нахмутив брови, спросила Настя. – Аль, может, тятенька велел тебе мысли мои выведывать?

– Известно, сама от себя, – отвечала Никитишна. – Разве я чужая тебе? Не носила, не кормила, а все же мать. Жалеючи тебя, спрашиваю.

Неправду сказала Никитишна. Еще в Ключове Патап Максимыч просил ее выпытать у Насти, не завелась ли у ней зазнобушка. «В скиту ведь жила, – говорил он, – а там девки вольные, и народу много туда наезжает».

Настя немного подумала и с твердостью сказала, как отрезала:

– Коли ты, крестненька, от себя спрашиваешь, так я одно тебе слово скажу: «нет». Больше у меня и не спрашивай. А коль велено тебе мои мысли спознать, так скажи им вот что: вздумают силой замуж отдавать, свяжусь с самым лядашим из тятиных работников... Сама навяжусь, забуду стыд девичий... Не он меня выкрадет, а я его «уходом» к попу сведу... Самого лядашего, слышишь?.. Так и скажи... Кто всех пьяней, кто всех вороватей, того и возьму в полюбовники... Жаль, что с дядей венчаться нельзя, а то бы вышла я за нашего пропойцу.

– Ах, Настенька, Настенька! – качая головой, сказала Никитишна. – В уме ли ты?

– Покуда в уме, – ответила Настя. – А пойдут супротив воли моей, решусь ума и таких делов настряпаю, что только ахнут... Не то что «уходом» венчаться сему, к самому паскудному работнику ночевать уйду... Вот что!



## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В Осиповке еще огней не вздували. По всей деревне мужички, лежа на полатах, сумерничали; бабы, сидя по лавкам, возле гребней дремали; ребятишки смолкли, гурьбой забившись на печи. На улицах ни души.

А у Патапа Максимыча в доме все на ногах. В горницах и в сенях огни горят, в передней, где гостям сидеть, на каждом окошке по две семитки лежит, и на каждой курится монашенка.<sup>[12]</sup> Все домашние разодеты по-праздничному. Особенно нарядно и богато разодета Настасья Патаповна. В шелковом пунцовом сарафане с серебряными золочеными пуговицами, в пышных батистовых рукавах, в ожерелье из бурмицких зерен и жемчугу, с голубыми лентами в косах, роскошно падавших чуть не до колен, она была так хороша, что глядеть на нее – не наглядишься... Но что-то недоброе порой пробежало на хмуром лице ее. Не суежилась Настя, как прочие, но и на месте не сидела. То к окну подойдет, то в светлицу сходит, то на кресло сядет; и все так порывисто, как бы со злом каким. Говорят ей что-нибудь, не ответит, либо скажет что невпопад. Глядя на дочь, Аксиныя Захаровна только руками по полам хлопает, а Патап Максимыч исподлобья сурово поглядывает; но, помня прошлое, себя сдерживает, словечка не вымолвит, ходит себе взад да вперед по горнице, поскрипывая новыми сапогами.

Первым из гостей прикатил Иван Григорьич. Частой, дробной рысцой парочка кругленьких соловых вяток подвезла к растворенным настежь воротам Чапурина уютные легкие санки-катунки, казанской работы, промеж расписных вязков обитые немецким железом. В санках, рядом с седоватым кумом, сидела красивая молодая женщина в малиновой шелковой шубке с большим куньим воротником, голова у ней укутана была голубым ковровым платком. То была жена Ивана Григорьича – Аграфена Петровна, не родная, да и не чужая Патапу Максимычу – дочка его богоданная.

Иван Григорьич Заплатин был тоже из заволжских тысячников. Верстах в пятнадцати от Осиповки, на краю «чищи», что полосой тянется вдоль левого волжского берега, под самой «раменью»,<sup>[13]</sup> проживал он в небольшой деревушке домов в двадцать, Вихорево прозывается. Как Чапурин верховодил в Осиповке, так Иван Григорьич в своем Вихореве. Эта деревня да еще с дюжину окольных круглый год на него работали и звали Заплатина своим «хозяином». А занимаются по тем местам делом валеным.

У Заплатаина при доме было свое заведение: в семи катальных банях десятка полтора наемных батраков зиму и лето стояло за работой, катая из поярка шляпы и валеную обувь. В окрестных деревнях на него же мягкий товар валяли. Кто ездил зимней порой по той стороне, тот видал, что там в каждом доме по скатам тесовых кровель, лицом к северу, рядами разложены сотни, тысячи белых валенок, а перед домом стоит множество «суковаток»,<sup>[14]</sup> у каждой десятка по два рогулин, и на каждой рогулине по валенку висит. Это мягкий товар промораживают, чтоб бело да казисто на покупателя смотрел. Из катальных бань то и дело выскакивают босые, с головы до пояса обнаженные, распотелые работники. Прокатится парень кубарем по снегу, прохладится и назад в баню за работу. А из распахнутых настежь дверей катален пар, как дым пожарный, валит, оседая по застрехам хлопками густой, белой кружевины. За сотню деревень таким промыслом кормятся.

В прежнее время Иван Григорьич больше по шляпной части занимался. Лет сорок тому назад заволжские катальщики чуть не на всю великорусскую сельщину шляпы работали. Валяли они и тот «шляпок», что исстари в ходу по Тверской и Новгородской сторонам – с низенькой прямой тульей, – и ярославскую «верховку», такую же низенькую, но с тульей раструбом. В Суздальскую сторону, на Ветлугу, на Вятку, в Пермь и на волжское Низовье работали шляпы гречушником «с подхватцем» либо «с переломом»; для Московской стороны «шпилек московский», на Рязань, на Тулу и дальше к Украине «шпилек ровный» да «кашники». Большим подспорьем шляпной торговле бурлаки в прежнее время бывали. Для них шляпу на особую стать за Волгой валяли, ни дать ни взять, как те низенькие, мягкие летние шляпы, что теперь у горожан в моду вошли. И татарам за Волгой белые шляпы валяли. Хоть иной катальщик и брезговал такой работой: греховное, дескать, дело христианские руки поганить, катая шляпу на бриту башку бусурманина, но таких не много бывало, потому что «татарка» товар сходный, никогда, бывало, не залежится. Много денег за Волгой шляпой добывали, немало досужих работников шляпа в люди вывела, тысячами поставила. Теперь не то. Все это было, да давно и сплыло, а что не сплыло, то быльем поросло.

Совсем подошла теперь шляпа заволжская. Хоть брось совсем. Спрос малый, сбыту вовсе почти не стало. Годов тридцать тому назад какой-то кантауровец<sup>[15]</sup> ушел на жительство в Тверскую сторону и там, где-то около Торжка, завел родимый свой заволжский промысел. Сразу разбогател. Новые соседи стали у того кантауровца перенимать валеное дело, до того и

взяться за него не умели; разбогатели ли они, нет ли, но за Волгой с той поры «шляпка «да «верховки» больше не валяют, потому что спросу в Тверскую сторону вовсе не стало, а по другим местам шляпу тверского либо ярославского образца ни за что на свете на голову не наденут – смешно, дескать, и зазорно. С легкой руки кантауровца, и другие заволжане по чужим сторонам пошли счастья искать и развезли дедовский промысел по дальним местам. Спросу на шляпу за Волгой оттого стало еще меньше. А тут пароходы на Волге завелись, убили бурлачество, тогда и бурлацкой шляпе пришел конец. А больше всего бед наделал картуз. Вышел он на Русь из неметчины, да не из заморской, а из своей, из той, что лет сто тому назад мы, сами не зная зачем, развели на лучших местах саратовского Поволжья. Дешевый картуз вытеснил более ценную стародавнюю шляпу, и осталась она лишь праздничным убором молодежи, да еще степенные, седые мужики пока еще не променяли дедовских шляп на нововводный картуз.

Хизнул за Волгой шляпный промысел, но заволжанин рук оттого не распустил, головы не повесил. Сапоги да валенки у него остались, стал калоши горожанам работать по немецкому образцу, дамские ботинки, полусапожки да котики, охотничьи сапоги до пояса, – хорошо в них на медведя по сугробам ходить, – да мало ль чего еще ни придумал досужий заволжанин.

Иван Григорьич вот какой промысел тогда произвел. Раз, будучи у Макарья, зашел по какому-то делу к знакомому барину. Погода стояла дождливая. Выходя из дому вместе с Иваном Григорьичем, барин велел подать себе непромокаемое пальто. Иван Григорьич полубопытствовал, пощупал невиданное им дотоле пальто, видит, дело-то валеное, значит, сподручное, спросил у барина, где он добыл такую вещь, и, по его указанию, купил у заезжего на ярмарку чужеземца непромокаемое пальто, дал чуть ли не четвертную. Воротясь в Вихорево, принялся Иван Григорьич по иноземному образцу пальто работать, вышло ничем не хуже, зато вшестеро дешевле. Медаль получил на выставке. Вихоревское пальто спервоначалу шибко пошли в ход, только ненадолго: зазорно стало господам мужицкого дела одежду носить – подавай хоть поплоче, да подороже, да чтоб было не свое, а немецкое дело... Азямы тогда стал работать Иван Григорьич непромокаемые – эти пошли.

Жил Иван Григорьич, на Бога не жаловался. Всего у него было вдосталь. Скупая валеный товар по окрестностям и работая в своем заведении, каждый год он его не на одну тысячу сбывал у Макарья и, кроме того, сам на Низ много валеной обуви сплавлял. В Нижнем у него лавка

была, приказчик в ней круглый год сидел, да на ярмарке две лавки нанимал. Мельница-крупчатка на Линде у него стояла, о десяти поставках была. На последних годах пароход кабестанный завел: пароход звался «Вихорем», забежка «Заплатой». Тысяч в семьдесят на серебро обошелся.

С Патапом Максимычем Заплатин с малолетства дружил. Оба из одной деревни: старик-от Заплатин тоже был осиповский и в шабрах проживал с Максимом Чапуриным. Патапушка да Ванюшка с ребятишками вместе на улице в козны да в горелки игравали, у келейницы Капитолины вместе грамоте обучились, вместе в люди вышли. Схоронив отца с матерью, Иван Григорьич не пожелал оставаться в Осиповке, а занявшись по валеному делу, из «рамени» в «чищу» перебрался, где было ему не в пример выгоднее, потому что народ там больше этим промыслом жил. Но, выселившись из Осиповки, в прежней любви с Чапуриным остался. Жили они после того три десятка лет ладно и советно; никогда промеж них серая кошка не пробегала. Не раз друг друга из беды выручали, не раз помощь в пору, вовремя друг другу подавали. Дай Господи, родным братьям в таком согласье жить, в каком жили осиповский тысячник с вихоревским. И семейные их меж себя тоже как родные были.

Испокон веку народ говорит: жена добрая, домовитая во сто крат ценней золота, не в пример дороже камня самоцветного. Правдиво то русское извечное слово; правду его Иван Григорьич на себе спознал. Хозяйка у него была молодая, всего двадцати двух лет, но такое сокровище, что дай Бог всякому доброму человеку. Свежая, здоровая, из себя пригожая, Аграфена Петровна вот уж пятый год живет за ним замужем и, хоть Иван Григорьич больше чем вдвое старше ее, любит седого мужа всей душой, денно и ночью благодаря создателя за счастливую долю, ей посланную. Ясное, веселое лицо Аграфены Петровны верней всяких речей говорило, что нет у нее ни горя на душе, ни тревоги на сердце. Тихо и мирно проходила жизнь этой любящей и всеми любимой женщины. Всегда спокойная, никогда ничем не возмутимая, красным солнцем сияла она в мужнином доме, и куда вчуже ни показывалась, везде ей были рады, как светлому гостю небесному, куда ни войдет, всюду несет с собою мир, лад, согласие и веселье. При ней и мрачные старики, угрюмо на постылый свет глядевшие, юнели и, будто сбросив десяток годов с плеч долой, становились мягче, добрей и приветливей. Никогда не слышать было при ней пересудов, ни злых попреков, ни лихих перекоров. Как достигла Аграфена Петровна такого влияния на всех ею знаемых, сама не знала и другие не ведали. Как-то само собой вышло, а когда началось и с чего началось, никто бы не сумел и ответа дать. «Такая уж молодница: от Бога ей

дано», – говорили соседи, когда спрашивали у них, отчего при жене Заплата ни злословить, ни браниться и ничего подобного никто сделать не может. Самый вздорный человек, самый охочий до ссор и брани стихал на глазах кроткой разумницы и потом сам на стороне говорил, что при Аграфене Петровне вздорить никак не приходится.

Росла она круглой сиротой, но святой Божий покров всегда был над нею. За молитвы, видно, родительские не довелось Груне изведать горечи и тяги, неразлучных с сиротской долей. С младенческой колыбели до брачного венца никогда почти не знавала она ни бед, ни печалей, а приняв венец, рай в мужнин дом внесла и царила в нем. *Почти* не знала бед и печалей, но не совсем же они были ей не ведомы. Без горя, без печали, что без греха, человеку века не изжить. И над Груней, еще девочкой, внезапно грозой разразилась беда тяжкая, и пришлось бы она ребенку не под силу, если б не нашлось добрых людей, что любовью своей отвели грозу и наполнили мирным счастьем душу девочки.

Отец ее был хоть не из великих тысячников, но все же достатки имел хорошие и жил душа в душу с молодой женой, утешаясь, не на радуясь на подраставшую Груню. Дети у них не жили, одну ее сохранил Господь, и крепко любили родители белокурую дочку свою. Девять годов Груне на Купальницу исполнилось, через месяц после именин ее поехали отец с матерью к Макарью – там у них в Щепяном ряду на Песках, что у Стрелки, лавка была. Взяли они с собой и маленькую дочку. Так они ее любили, что ни за какие блага не покинули б в деревне с домовницей, чтоб потом, живучи в ярмарке, день и ночь думать и передумывать, не случилось ли чего недоброго с ненаглядной их дочуркой.

Год был тяжелый: смерть по людям ходила. Холера на ярмарке валила народ. У Грунина отца в один день двое молодцов заболели, свезли их в Мартыновскую, оттоль к Петру-Павлу.<sup>[16]</sup> Прошел день-другой, разом у Груни отец с матерью заболели, их тоже в больницу свезли. Одна-одинешенька, средь чужих людей, осталась в лавке девятилетняя Груня. Урвавшись как-то от соседних торговцев, Христа ради приглядывавших маленько за девочкой, она, не пивши, не евши, целый день бродила по незнакомому городу, отыскивая больницу; наконец, выбившись из сил, заночевала в кустах волжского откоса. Поутру, чуть еще брезжило, голодная девочка уж стояла и плакала у ворот Мартыновской больницы. Сторожа не пускали ее на двор. Долго лежала она под солнечным припеком, громко рыдая и умоляя пустить ее к отцу с матерью. Сторожа для порядка гнали Груню прочь от больничных ворот и сказали, что ни тятки, ни мамки у ней больше нет, что досветла обоих на кладбище

стащили. Несмотря на угрозы, бедная Груня все-таки прочь от больницы не шла...

Тогда взглянул Господь на сироту милосердным оком и послал к ней доброго человека.

Проведал один ярмарочный торговец из-за Волги, что в Щепянном ряду выморочная лавка явилась и в ней один-одинешенек малый ребенок остался. Спросил у соседей той выморочной лавки, куда девалась сирота – никто не знает. Бросил свое дело добрый человек и пустился на розыски. Отыскал он Груню у ворот больницы и взял сиротинку в дом свой. Вспоил, вскормил ее и воспитал наравне с родными дочерьми, ни на волос их от богоданной дочки не отличая. И благословение Божие почило на добром человеке и на всем доме его: в семь лет, что прожила Груня под покровом его, седмерицею достаток его увеличился, из зажиточного крестьянина стал он первым богачом по всему Заволжью. То был осиповский тысячник, Патап Максимыч Чапурин.

Двумя-тремя годами Груня была постарше дочерей Патапа Максимыча, как раз в подружки им сгодились. Вырастая вместе с Настей и Парашей, она сдружилась с ними. Добрым, кротким нравом, любовью к подругам и привязанностью к богоданным родителям так полюбились она Патапу Максимычу и Аксинье Захаровне, что те считали ее третьей своей дочерью.

– Слушай, Аксинья, – говорил хозяйке своей Патап Максимыч, – с самой той поры, как взяли мы Груню в дочери, Господь, видимо, благословляет нас. Сиротка к нам в дом счастье принесла, и я так в мыслях держу: что ни подал нам Бог, – за нее, за голубку, все подал. Смотри ж у меня, – не ровен час, все под Богом ходим, – коли вдруг пошлет мне Господь смертный час, и не успею я насчет Груни распоряженья сделать, ты без меня ее не обидь.

– Чего ты только не скажешь, Максимыч! – с досадой ответила Аксинья Захаровна. – Ну, подумай, умная ты голова, возможно разве обидеть мне Грунюшку? Во утробе не носила, своей грудью не кормила, а все ж я ей мать, и сердце у меня лежит к ней все едино, как и к роженным дочерям. Все мои три девоньки заодно лежат на сердце.

– Знаю про то, Захаровна, и вижу, – продолжал Патап Максимыч, – я говорю для того, что ты баба. Стары люди не с ветру сказали: «Баба что мешок: что в него положишь, то и несет». И потому, что ты есть баба, значит, разумом не дошла, то, как меня не станет, могут тебя люди разбить. Мало ль есть в миру завистников? Впутаются не в свое дело и все вверх дном подымут.

– Да что ты в самом деле, Максимыч, дура, что ли, я повитая? Послушаюсь я злых людей, обижу я Грунюшку? Да никак ты с ума спятил? – заговорила, возвышая голос, Акси́нья Захаровна и утирая рукавом выступившие слезы. – Обидчик ты этакой, право обидчик!.. Какое слово про меня молвил!.. По сердцу ровно ножом полоснул!.. Бога нет в тебе!.. Право, Бога нет!..

– А ты горла-то зря не распускай, – в свою очередь возвысив голос, сказал ей Патап Максимыч. – Молчи да слушай... Ну же, не хныкать, покуда не бита; чтоб я не видал бабьих слез!.. Слушай, что приказывать стану... Слова не смей проронить, все в точности исполни!.. Бог даст, женихи станут к Груне свататься и к дочерям – приданое всем поровну. Что Настасье, что Парасковье, то и Груне... Слышишь?.. А помрем мы с тобой, весь дом и все добро, что останется, тоже на три доли всем поровну... Помни же завет мой, из ума его не выкладывай. Не то моим костям во гробу покоя не будет. Не будь Настасье с Прасковьей родительского моего благословенья, коли поровну они с Груней не поделятся. Не мое и не ихне добро, что мы нажили: его Бог ради Груни послал. Так я в разуме держу, и дочери так же пусть держат. Помни же слово мое. А коли после меня, как я приказываю, не сделаешь, так я тебя... – прибавил Патап Максимыч, поднимая кверху увесистый кулачище... – На том свете-то... Перед Богом на страшном судище поставлю... И засудит он тебя, засудит, – в ад крошечный пошлет, коли Груню обидишь... Да, да... Ты это помни!.. А теперь вот что, – продолжал он, значительно понизив голос после окрику, – на той неделе, накануне Иванова дня, Груня именинница. Возьми канаус, что из Астрахани привезен, сарафан имениннице справь, пуговицы были бы серебряные. Есть там у тебя... И дочерям такие же сарафаны сшей, канаусу на всех должно хватить...

Понимал Патап Максимыч, что за бесценное сокровище в дому у него подрастает. Разумом острая, сердцем добрая, ко всему жалостливая, нрава тихого, кроткого росла и красой полнилась Груня. Не было человека, кто бы, раз-другой увидавши девочку, не полюбил ее. Дочери Патапа Максимыча души в ней не чаяли, хоть и немногим была постарше их Груня, однако они во всем ее слушались. Ни у той, ни у другой никаких тайн от Груни не бывало. Но не судьба им была вместе с Груней вырасти.

Только что Груня заневестилась, стал Патап Максимыч присматривать хорошего степенного человека, на руки которого, без страха за судьбу, без опасенья за долю счастливую можно бы было отдать богоданную дочку.

На ту пору овдовел Иван Григорыч. Покинула ему жена троих деток

мал мала меньше. Бедовое ему настало время: известно, вдовец деткам не отец, сам круглый сирота. Нет за малыши детьми ни уходу, ни призору, не от кого им услышать того доброго, благодатного слова любви, что из уст матери струей благотворной падает в самые основы души ребенка и там семенами добра и правды рассыпается. Лежат те семена глубоко в тайнике души, дожидаясь поры-времени, когда ребенок, возмужав, вырастит, выхолит их доброй волей и свободным хотеньем... И благо тому, кто сумеет взрастить семена, посеянные в нем любовью матери – добрый плод от них выйдет. Беда, горе великое малым деткам остаться без матери, пуще беда, чем пчелкам без матки. Понимал это горемычный Иван Григорьич, и тоской разрывалось сердце его, глядя на сироток.

А тут и по хозяйству не по-прежнему все пошло: в дому все по-старому, и затворы и запоры крепки, а добро рекой вон плывет, домовая утварь как на огне горит. Известно дело: без хозяйки дом, как без крыши, без огорожи; чужая рука не на то, чтобы в дом нести, а чтоб из дому вынести. Скорбно и тяжело Ивану Григорьичу. Как делу помочь?.. Жениться?

Жениться! Легко слово молвишь, а сделать как? Жениться не мудрость, и дурак сумеет, но как вдовцу найти жену добрую, хозяйку хорошую, мать чужим детям? Где? В каком царстве, в каком государстве? Мало что-то таких видится... Как ни разводил Иван Григорьич разумом, как ни вскидывал мыслями на знакомых вдов и девушек, ни одной мало-мальски подходящей не отыскалось. Одно гребтит на уме бедного вдовца: хозяйку к дому сыскать не хитрое дело, было б у чего хозяйствовать; на счастье попадется, пожалуй, и жена добрая, советная, а где, за какими морями найдешь родну мать чужу детищу?.. Эх, житье вдовца горькое, бесталанное!.. От печалей к немощам, от немощей к печалям!.. Не под стать Ивану Григорьичу слезы точить: голова уж заиндевила, а слезы старого и людям смешны, и себе стыдны. Крепится Иван Григорьич, а иной раз непрошенная слеза бежит да бежит по седым усам.

До гробовой доски, до белого савана думать бы да передумывать бедному горюну, если бы друг не выручил. Тот же старый друг, то же неизменное копье, что и в прежние года из житейских невзгод выручал, тот же Патап Максимыч.

Справив сорочины по покойнице, стал Иван Григорьич из дому по делам уезжать. Еще хуже пошло. Спиридоновна, родственница жены покойницы, старуха хвора, хозяйством в дому у него заправляла и за детьми приглядывала. Но не сможет она с домом справиться – и хотела бы, да не умеет. Детей любила, да по-своему: в неряшестве Спиридоновна беды



не видала, а тукманки, думала она, детям нужны: умнее растут... Другой хозяйки Ивану Григорьичу негде взять: родни только и есть, что Спиридоновна, а чужую в дом ко вдовцу зазорно вести. Не по чину, не по обряду; в добрых людях так не водится.

Заехал раз Иван Григорьич в Осиповку размыкать тоску свою в советной беседе с другом изведанным. Пора была вечерняя. В передней горнице вся семья Патапа Максимыча за чаем сидела. Обе дочери и Груня были на ту пору в Осиповке; из обители, куда в ученье были отданы, они гостить приезжали... Патап Максимыч и Аксинья Захаровна при них завели с гостем беседу, толковали про трудное, горемычное житье-бытье его. Настя – тогда ей только что тринадцать лет минуло – о чем-то пересмеивалась с Парашей, а шестнадцатилетняя Груня прислушивалась к речам говоривших. Отпили чай. С громким смехом Настя с Парашей прыснули вон из горницы и побежали играть в огород, клича с собой Груню, но Груня не пошла с ними... Уселись кумовья за пуншиком, Аксинья Захаровна к ним же подсела с шитьем, рядом с ней Груня с вязаньем.

– Вот и живу я, кумушка, ровно божедом в скудельнице, – говорил Иван Григорьич Захаровне. – Один как перст! Слова не с кем перемолвить, умрешь – поплакать некому, помянуть некому.

– Что ты, батька, – возразила Аксинья Захаровна, – детки по родительской душеньке помянники.

– Что детки? Малы они, кумушка, еще не разумны, – отвечал Иван Григорьич. – Пропавшие они дети без матери... Нестройно, неукладно в дому у меня. Не глядел бы... Все, кажись, стоит на своем месте, по-прежнему; все, кажется, порядки идут, как шли при покойнице, а не то... Пустым пахнет, кумушка.

– Это так, – пригорюнясь, ответила Аксинья Захаровна, – правду говорят: без хозяйки дом, что мертвец несхороненный.

– Да что дом! Пропадай он совсем!.. – молвил Иван Григорьич. – Не дом крушит меня – сироты мои бедные. Как расти им без матери!.. Ходит за ними Спиридоновна, как умеет, усердствует, да разве мать? Ни приласкать, ни приголубить... У отца в дому, а детям горькая доля!.. Призору нет: приедешь из города али с мельницы: дети не умыты, не чесаны, грязные, оборванные. При покойнице разве водилось так?.. Недавно проведал, без меня иной раз голодными спать ложатся. Спиридоновна старуха старая, хвора – где ей за всем углядеть?.. Рада-радешенька до подушки добратся, а работницы народ вольный. Спиридоновна на боковую, они на супрядки, дети-то одни и остались. Того и гляди, что грешным делом искалечутся...

Горько житье мое, кумушка!

И, склонив голову на руку, тяжким вздохом вздохнул Иван Григорьич. Слезы в глазах засверкали.

Пристально глядела на плачущего вдовца Груня. Жаль ей стало сироток. Вспомнила, как сама, голодная, бродила она по чужому городу.

– Жениться надо, кум, вот что, – сказал Патап Максимыч.

– Легко сказать, а сделать-то как? – отвечал Иван Григорьич.

– Надо искать. Известно дело, невеста сама в дом не придет, – сказал Патап Максимыч.

– Где ее сыщешь? – печально молвил Иван Григорьич. – Не жену надо мне, мать детям нужна. Ни богатства, ни красоты мне не надо, деток бы только любила, вместо бы родной матери была до них. А такую и днем с огнем не найдешь. Немало я думал, немало на вдов да на девок умом своим вскидывал. Ни единая не подходит... Ах, сироты вы мои, сиротки горькие!.. Лучше уж вам за матерью следом в сыру землю пойти.

– Что ты?.. Христос с тобой! Опомнись, куманек!.. – вступилась Аксинья Захаровна. – Можно ль так отцу про детей говорить?.. Молись Богу да Пресвятой Богородице, не оставят... Сам знаешь: за сиротой сам Бог с калитой.

Долго толковали про бедовую участь Ивана Григорьича. Он уехал, Аксинья Захаровна по хозяйству вышла за чем-то. Груня стояла у окна и задумчиво обрывала поблекшие листья розанели. На глазах у ней слезы. Патап Максимыч заметил их, подошел к Груне и спросил ласково:

– Что ты, дочка моя милая?

Взглянула Груня на названного отца, и слезы хлынули из очей ее.

– Что ты, что с тобой, Грунюшка? – спрашивал ее Патап Максимыч. – О чем это ты?

– Сироток жалко мне, тятя, – трепетным голосом ответила девушка, припав к плечу названного родителя. – Сама сирота, разумею... Пошлет ли Господь им родную мать, как мне послал? Голубчик тятенька, жалко мне их!..

– Господь возлюбит слезы твои, Груня, – отвечал тронутый Патап Максимыч, обнимая ее, – святые ангелы отнесут их на небеса. Сядем-ка, голубонька.

И сели рядом на диван.

– Помнишь, что у Златоуста про такие слезы сказано? – внушительно продолжал Патап Максимыч. – Слезы те паче поста и молитвы, и сам Спас пречистыми устами своими рек: «Никто же больше тоя любви имать, аще кто душу свою положит за други своя...» Добрая ты у меня, Груня!..

Господь тебя не оставит.

– Тятенька, голубчик, как бы сирот-то устроить? – говорила Груня, ясно глядя в лицо Патапу Максимычу. – Я бы, кажись, душу свою за них отдала...

Молчал Патап Максимыч, глядя с любовью на Груню. Она продолжала:

– Сама сиротой я была. Недолго была по твоей любви да по милости, а все же помню, каково мне было тогда, какова есть сиротская доля. Бог тебя мне послал да мамыньку, оттого и не спознала я горя сиротского. А помню, каково было бродить по городу... Ничем не заплатить мне за твою любовь, тятя; одно только вот перед Богом тебе говорю: люблю тебя и мамыньку, как родных отца с матерью.

– Полно, полно, моя ясынька, полно, приветная, полно, – говорил растроганный Патап Максимыч, лаская девушку. – Что ж нам еще от тебя?.. Любовью своей сторицей нам платишь... Ты нам... счастье в дом принесла... Не мы тебе, ты добро нам сделала...

– Тятя, тятя, не говори. Не воздать мне за ваши милости... А если уж вам не воздать, Богу-то как воздать?

Припала Груня к груди Патапа Максимыча и зарыдала.

– Добрыми делами, Груня, воздашь, – сказал Патап Максимыч, глядя по голове девушку. – Молись, трудись, всего паче бедных не забывай. Никогда, никогда не забывай бедных да несчастных. Это Богу угодней всего...

– Слушай, тятя, что я скажу, – быстро подняв голову, молвила Груня с такой твердостью, что Патап Максимыч, слегка отшатнувшись, зорко поглядел ей в глаза и не узнал богоданной дочки своей. Новый человек перед ним говорил. – Давно я о том думала, – продолжала Груня, – еще махонькою была, и тогда уж думала: как ты меня призрел, так и мне надо сирот призирать. Этим только и могу я Богу воздать... Как думаешь ты, тятя?.. А?..

– Ты это хорошо сказала, Груня, – молвил Патап Максимыч, – по-Божески.

– Жаль мне сироток Ивана Григорыча, – сказала Груня, – я бы, кажись, была им матерью, какую он ищет.

– Как же так? – едва веря ушам своим, спросил Патап Максимыч. – Нешто пойдешь за старика?

– Пойду, тятя, – твердо сказала Груня. – Он добрый... Да мне не он... Мне бы только сироток призреть.

– Да ведь он старый! Тебе не ровня, – молвил Чапурин.

– Стар ли он, молод – по мне все одно, – отвечала Груня. – Не за него, ради бедных сирот...

– Ах, Грунюшка моя, Грунюшка! – говорил глубоко растроганный Патап Максимыч, обнимая девушку и нежно целуя ее. – Ангельская твоя душенька!.. Отец твой с матерью на небесах разыграли теперь!.. И еще согрешили в чем перед Господом, искупила ты грехи родительские. Стар я человек, много всего на веку я видал, а такой любви к ближнему, такой жалости к малым сиротам не видывал, не слыхивал... Чистая, святая твоя душенька!..

– Тятя, тятя, что ты? – вскрикнула Груня.

Богоданная дочка и названный отец крепко обнялись.

На другой день рано поутру Патап Максимыч собрался наскоро и поехал в Вихорево. Войдя в дом Ивана Григорьича, увидел он друга и кума в таком гневе, что не узнал его. Воротясь из Осиповки, вдовец узнал, что один его ребенок кипятком обварен, другой избит до крови. От недосмотра Спиридоновны и нянек пятилетняя Марфуша, резвясь, уронила самовар и обварила старшую сестру. Спиридоновна поучила Марфушу уму-разуму: в кровь избила ее.

– Вот, кум, посмотри на мое житье! – говорил Иван Григорьич. – Полюбуйся: одну обварили, другую избили... Из дому уедешь, только у тебя и думы – целы ли дети, друг мой любезный, беда неизбывная... Не придумаю, что и делать...

– Молчи ты, – весело отвечал на его жалобы Патап Максимыч. – Я к тебе с радостью.

– Какие тут радости! – с досадой отозвался Иван Григорьич. – Не до радости мне... Думаю, не придумаю, какую бы старуху мне в домовницы взять. Спиридоновна совсем никуда не годится.

– Да ты слушай, что говорить стану, – сказал Патап Максимыч. – Невеста есть на примете.

– Какая тут невеста!.. – с досадой отозвался Иван Григорьич. – Не до шуток мне, Патап Максимыч. Побойся Бога: человек в горе, а он с издевками...

– Хорошая невеста, – продолжал свое Чапурин. – Настоящая мать будет твоим сиротам... Добрая, разумная. И жена будет хорошая и хозяйка добрая. Да к тому ж не из бедных – тысяч тридцать приданого теперь получай да после родителей столько же, коли не больше, получишь. Девка молодая, из себя красавица писаная... А уж добра как, как детей твоих любит: не всякая, братец, мать любит так свое детище.

– Полно сказки-то сказывать, – отвечал Иван Григорьич. – Про какую царевну-королевну речь ведешь? За морем, за океаном, что ль, такую сыскал?

– Поближе найдется: здесь же у нас, в лесах кое-где... – улыбаясь, говорил Патап Максимыч.

– Не мути мою душу. Грех!.. – с грустью и досадой ответил Иван Григорьич. – Не на то с тобой до седых волос в дружбе прожили, чтоб на старости издеваться друг над другом. Полно чепуху-то молоть, про домашних лучше скажи? Что Аксинья Захаровна? Детки?

– Чего им делается? И сегодня живут по-вчерашнему, как вечер видел, так и есть, – отвечал Патап Максимыч. – Да слушай же, не с баснями я приехал к тебе, с настоящим делом.

– С каким это? – спросил Иван Григорьич.

– Да все насчет того... Про невесту.

– Про какую? Где ты ее за ночь-то выкопал?

– Да хоть про нашу Груню, – молвил Патап Максимыч.

– С ума ты спятил, – отвечал Иван Григорьич. – Хоть бы делом что сказал, а то на-тка поди.

– Делом и говорю.

– Да подумай ты, голова, у нас с тобой бороды седые, а она ребенок. Сколько годов-то?

– Семнадцатый с Петровок пошел. Как есть заправская невеста.

– То-то и есть, – сказал Иван Григорьич. – Ровня, что ли? Охота ей за старика на детей идти.

– Без ее согласия, известно, нельзя дело сладить, – отвечал Патап Максимыч. – Потому хоша она мне и дочка, а все ж не родная. Будь Настасья постарше да не крестная тебе дочь, я бы разговаривать не стал, сейчас бы с тобой по рукам, потому она детище мое – куда хочу, туда и дену. А с Груней надо поговорить. Поговорить, что ли?

– Да полно тебе чепуху-то нести! – сказал Иван Григорьич. – Статочно ли дело, чтобы Груня за меня пошла? Полно. И без того тошно.

– А как согласна будет – женишься? – спросил Патап Максимыч.

– Пустяшное дело, кум, говоришь, – отвечал Иван Григорьич. – Охотой не пойдет, силом взять не желаю.

– Ну так слушай же, что было у меня с ней говорено вечер, как ты из Осиповки поехал.

И рассказал Патап Максимыч Ивану Григорьичу разговор свой с Груней. Во время рассказа Иван Григорьич больше и больше склонял голову, и, когда Патап Максимыч кончил, он встал и, смотря плачущими

глазами на иконы, перекрестился и сделал земной поклон.

– Голубушка! – сказал он. – Святая душа!.. Ангел Господень!.. Гришутка, Марфуша!.. Бегите скорей!

Вбежал шестилетний мальчик в красной рубашонке и Марфуша с синяками и запекшимся рубцом на щеке.

– Молитесь Богу, дети! – сказал им Иван Григорьич. – Кладите земные поклоны, творите молитву за мной: «Сохрани, Господи, и помилуй рабу твою, девицу Агриппину! Воздай ей за добро добром, владыко многомилостливый!»

И сам вместе с детьми клал земной поклон за поклоном.

Патап Максимыч стоял сзади и тоже крестился.

– Вот вам отцовский наказ, – молвил детям Иван Григорьич, – по утрам и на сон грядущий каждый день молитесь за здоровье рабы Божьей Агриппины. Слышите? И Маша чтобы молилась. Ну, да я сам ей скажу.

– Какая же это Агриппина, тятя? – спросил маленький Гриша.

– Святая душа, что любит вас, добра вам хочет. Вот кто она такая: мать ваша, – сказал детям Иван Григорьич.

На другой день были смотрины, но не такие, как бывают обыкновенно. Никого из посторонних тут не было, и свахи не было, а жених, увидав невесту, поступил не по старому чину, не по дедовскому обряду.

Как увидел он Груню, в землю ей поклонился и, дав волю слезам, говорил, рыдая:

– Матушка!.. Святая твоя душа!.. Аграфена Петровна!.. Будь матерью моим сиротам!..

– Буду, – тихо с улыбкой промолвила Груня.

Через две недели привезли беглого попа из Городца, и в моленной Патапа Максимыча он обвенчал Груню с Иваном Григорьичем.

Засиял в Вихореве осиротелый дом Заплата. Достатки его удвоились от приданого, принесенного молодой женой. Как сказал, так и сделал Патап Максимыч: дал за Груней тридцать тысяч целковых, опричь одежи и разных вещей. Да, опричь того, выдал ей капитал, что после родителей ее остался: тысяч пять на серебро было.

Растит Груня чужих детей, растит и своих: два уж у ней ребеночка. И никакой меж детьми розни не делает, пасынка с падчерицами любит не меньше родных детей. А хозяйка какая вышла, просто на удивление.

И прошла слава по Заволжью про молодую жену вихоревского тысячника. Добрая слава, хорошая слава!.. Дай Бог всякому какой славы, какой доброй по людям молвы!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Весело, радостно встретили дорогих гостей в Осиповке. Сначала, как водится, уставные поклоны гости перед иконами справили, потом здороваться начали с хозяевами. Приветам, обниманьям, целованьям, казалось, не будет конца. Особенно обрадовались Аграфене Петровне дочери Патапа Максимыча.

– Здравствуй, голубушка моя Настасьюшка, – говорила Аграфена Петровна, крепко обнимая подругу детства. – Ох ты, моя приветная! Ох ты, моя любезная!.. Да как же ты выросла, да какая же стала пригожая!.. Здравствуй, сестрица, здравствуй, Парашенька, – продолжала она, обнимая младшую дочь Патапа Максимыча. – Да как же раздобрела ты, моя ясынька, чтоб только не сглазить! Ну, да у меня глаз-от легкий, не бойся. Да и люблю я вас, сестрицы, всей душой, так с моего глаза никакого дурна вам не будет. А раздобрела Параня, раздобрела... Ах вы, мои хорошие, ах вы, мои милые!.. Здравствуй, Фленушка! Каково живешь-можешь? Давно не видались. Тетенька здорова ли, матушка Манефа?

А матушка Манефа как раз сама на лицо. Вышла из боковуши, приветствует приезжую гостью.

– Здравствуй, Аграфенушка! Иван Григорьич, здравствуйте! Здорово ли поживаете?

Не отвечая словами на вопрос игуменьи, Иван Григорьич с Аграфеной Петровной прежде обряд исполнили. Сотворили пред Манефой уставные метания,<sup>[17]</sup> набожно вполголоса приговаривая:

– Прости, матушка, благослови, матушка!

– Бог простит, Бог благословит, – сказала, кланяясь в пояс, Манефа, потом поликовалась<sup>[18]</sup> с Аграфеной Петровной и низко поклонилась Ивану Григорьичу.

– Ну как вас, дорогих моих, Господь милует? Здоровы ли все у вас? – спрашивала Манефа, садясь на кресло и усаживая рядом с собой Аграфену Петровну.

– Вашими святыми молитвами, – отвечали зараз и муж и жена. – Как ваше спасение, матушка?

– Пока милосердный Господь грехам терпит, а впредь уповаю на милость Всевышнего, – проговорила уставные слова игуменья, ласково поглядывая на Аграфену Петровну.

Аксинья Захаровна как поздоровалась с гостями, так и за чай. Уткой

переваливаясь с боку на бок, толстая Матрена втащила в горницу и поставила на стол самовар; ради торжественного случая был он вычищен кислотой и как жар горел. На другом столе были расставлены заедки, какими по старому обычаю прежде всюду, во всех домах угощали гостей перед сбитнем и взварцем, замененными теперь чаем. Этот обычай еще сохранился по городам в купеческих домах, куда не совсем еще проникли нововводные обычаи, по скитам, у тысячников и вообще сколько-нибудь у зажиточных простолудинов. Заедки были разложены на тарелках и расставлены по столу. Тут были разные сласти: конфеты, пастила, разные пряники, орехи грецкие, американские, волошские и миндальные, фисташки, изюм, урюк, винные ягоды, киевское варенье, финики, яблоки свежие и моченые с брусникой, и вместе с тем икра салфеточная прямо из Астрахани, донской балык, провесная шема, белорыбица, ветчина, грибы в уксусе и, среди серебряных, золоченых чарочек разной величины и рюмок бемского хрусталя, графины с разноцветными водками и непременно бутылка мадеры. Как Никитишна ни спорила, сколько ни говорила, что не следует готовить к чаю этого стола, что у хороших людей так не водится, Патап Максимыч настоял на своем, убеждая куму-повариху тем, что «ведь не губернатор в гости к нему едет, будут люди свои, старозаветные, такие, что перед чайком от настоечки никогда не прочь».

– Ну-ка, куманек, перед чайком-то хватим по рюмочке, – сказал Патап Максимыч, подводя к столу Ивана Григорьича. – Какой хочешь? Вот зверобойная, вот полынная, а вот трифоль, а то не хочешь ли сорокатравчатой, что от сорока недугов целит?

– Ну, пожалуй, сорокатравчатой, коли от сорока недугов она целит, – молвил Иван Григорьич и, налив рюмку, посмотрел на свет, поклонился хозяину, потом хозяйке и выпил, приговаривая:

– С наступающей именинницей!

– Груня, а ты стукнешь по сорокатравчатой али нет? – спросил Патап Максимыч, обращаясь с усмешкой к Аграфене Петровне.

– Не выучилась, тятенька, – весело отвечала Аграфена Петровна.

– Ну, так мадерцы испей; перед чаем нельзя не выпить, беспрременно надо живот закрепить, – приставал Патап Максимыч, таща к столу Груню.

– Не мне же первой, постарше меня в горнице есть, – говорила Аграфена Петровна.

К матушке Манефе хозяева с просьбами приступили. Та не соглашалась. Стали просить хоть пригубить, Манефа и пригубить не соглашалась. Наконец, после многих и долгих приставаний и просьб, честная мать игуменья согласилась пригубить. Все это так следовало – чин,



обряд соблюдался. После матушки игуменьи выпила Никитишна, все-таки уверяя Патапа Максимыча и всех, кто тут был, что у господ в хороших домах так не водится, никто перед чаем ни настойки, ни мадеры не пьет. Потом выпила и Аграфена Петровна без всякого жеманства, выпила и Фленушка после долгих отказов. Пропустила рюмочку и сама хозяйюшка, а за ней и Настя с Парашей пригубили.

Иван Григорыч и Патап Максимыч балыком да икрой закусывали, а женщины сластями. Кумовья, «чтоб не хромать», по другой выпили. Затем уселись чай пить. Аксинья Захаровна заварила свежего, шестирублевого.

Патап Максимыч с кумом уселся на диване и начал толковать про последний Городецкий базар и про взятую им поставку. Аграфена Петровна с Настей да Парашей разговаривала.

– Что это, сестрица: погляжу я на тебя, ровно ты не по себе? – спросила она Настю.

– Я?.. Я ничего, – отрывисто отвечала Настя и вспыхнула.

– Меня не проведешь – вдоль и поперек тебя знаю, – возразила Аграфена Петровна. – Либо неможется, да скрыть хочешь, либо на уме что засело.

– Ничего у меня на уме не засело, – сухо ответила Настя.

– Ну, так хвораешь.

– И хвори нет никакой... С чего ты взяла это, сестрица? – молвила Настя и пересела поближе к Фленушке.

Подойдя к Аксинье Захаровне, спросила ее потихоньку Аграфена Петровна:

– Сказали, видно, Насте про жениха-то?

– Молвил отец, – шепотом ответила Аксинья Захаровна. – Эх, как бы знала ты, Грунюшка, что у нас в эти дни деялось! – продолжала она. – Погоди, уж расскажу, ты ведь не чужая.

Никому не было говорено про сватовство Снежкова, но Заплатины были повешены. Еще стоя за богоявленской вечерней в часовне Скорнякова, Патап Максимыч сказал Ивану Григорычу, что Настина судьба, кажется, выходит, и велел Груне про то сказать, а больше ни единой душе. Так и сделано.

– Что ж она? – тихонько спрашивала Аграфена Петровна у названной матери. – Не прочь?

– Какое не прочь, Грунюшка! – грустно ответила Аксинья Захаровна. – Слышать не хочет. Такие у нас тут были дела, такие дела, что просто не приведи Господь. Ты ведь со мной спать-то ляжешь, у меня в боковушке постель тебе сготовлена. Как улягутся, все расскажу тебе.

Настя хмурая сидела. Как ни старалась притворяться веселой, никак не могла. Только и было у ней на уме: «Вот-вот зазвонят бубенчики, заскрипят у ворот санные полозья, принесет нелегкая этих Снежковых. И все-то на меня глядеть устанут, все – и свои и чужие. Замечать станут, как на него взглянула я, не проронят ни единого моего словечка. А тут еще после ужина Груня, пожалуй, зачнет приставать, зачнет выпытывать. Она и то уж, кажись, заметила... Рассказать разве ей всю правду-истину? Она ведь добрая, любит меня, что-нибудь хорошее посоветует... А как крестному скажет, а крестный тятя?.. Тогда что?.. Загубит тятя соколика моего ясного; Фленушка правду говорит... Нет, не надо Груне ничего говорить... А ее не обманешь... Ох ты, Господи, Господи! Мученье какое!.. Хоть бы проходили уже скорей эти пиры да праздники!..» И вдруг вспомнился Насте ее ясный светлоокий соколик. «Вот, думает, сижу я здесь разряженная, разукрашенная напоказ жениху постылому, сижу с отцом, с матерью, с гостями почетными, за богатым угощением: вокруг меня гости беседу ведут согласную, идут у них разговоры веселые... А он-то, голубчик, он-то, радость моя!.. Сидит, бедняжка, в своей боковушке, ровно в темнице. Сидит один-одинешенек с своей думой-кручиной. И взойти-то сюда он не смеет, и взглянуть-то на наши гостины не может. Ровно рабу неключимому, нет ему места на веселом пиру. Бедный мой, бедный соколик!.. Скучно тебе, грустно сидеть одинокому... да и мне не легче тебя...»

– Да не хмурься же, Настенька! – шепотом молвила крестнице Никитишна, наклонясь к ней будто для того, чтоб ожерелье на шее поправить. – Чтой-то ты, матка, какая сидишь?.. Ровно к смерти приговоренная... Гляди у меня веселей!.. Ну!..

– Ты знаешь, каково мне, крестненька. Я тебе сказывала, – шепотом ответила Настя. – Высижу вечер, и завтра все праздники высижу; а веселой быть не смогу... Не до веселья мне, крестненька!.. Вот еще знай: тятенька обещал целый год не поминать мне про этого. Если слово забудет да при мне со Снежковыми на сватовство речь сведет, таких чудес натворю, что, кроме сраму, ничего не будет.

– Полно ты, – уговаривала крестницу Никитишна. – Услышат, пожалуй... Ну уж девка! – проворчала она, отходя от Насти и покачивая головой. – Кипяток!.. Бедовая!.. Вся в родителя, как есть вылита: нраву моему перечить не смей.

Затем, сказав Аксинье Захаровне что-то про ужин, отправилась Никитишна к своему месту в стряпушую.

Меж тем у Патапа Максимыча с Иваном Григорьичем шел свой разговор.

– Каково с подрядом справляешься? – спросил у кума Иван Григорьич.

– Помаленьку справляюсь, Бог милостив – к сроку поспеем, – отвечал Патап Максимыч. – Работников принанял; теперь сорок восемь человек, опричь того по деревням роздал работу: по своим и по чужим. Авось управимся.

– Работники-то ноне подшиблись, – заметил Иван Григорьич. – Лежебоки стали. Им бы все как-нибудь деньги за даровщину получить, только у них и на уме... Вот хоть у меня по валеному делу – бьюсь с ними, куманек, бьюся – в ус себе не дуют. Вольный стал народ, самый вольный! Обленился, прежнего раденья совсем не видеть.

– Это так, это точно, – отвечал Патап Максимыч. – Слабость пошла по народу. Что прикажешь делать? Кажись, и хмелем не очень зашибаются и никаким дурным делом не заимствуются, а не то, как в прежнее время бывало. Правду говоришь, что вольный народ стал, – а главное то возьми, что страху Божьего ни в ком не стало. Вот что! Все бы им как-нибудь да как ни попало. Беда с ними, горе одно. У меня еще есть, коли правду сказать, пять-шесть знатных работников – золото, не ребята! А другие-прочие хоть рукой махни – ничего не стоящие люди, как есть никакого звания не стоящие! А вот недавно порядился ко мне паренек из недалних. Ну, этот один за пятерых отслужит.

– Уж за пятерых! – недоверчиво сказал Иван Григорьич.

– Правду говорю, – молвил Патап Максимыч. – Что мне врать-то? Не продаю его тебе. Первый токарь по всему околотку. Обойди все здешние места, по всему Заволжью другого такого не сыскать. Вот перед истинным Богом – право слово.

– Отколь же такого доспел? – спросил Иван Григорьич.

– По соседству, из деревни Поромовой, – ответил Патап Максимыч. – Трифона Лохматого слышал?

– Лохматого? Знаю, – ответил Иван Григорьич, – добрый мужик, хороший.

– Сын его большой, – сказал Патап Максимыч. – Знатный парень, умница, книгочей и рассудливый. А из себя видный да здоровый такой, загляденье. Одно слово: парень первый сорт.

Настя в то время говорила с Аграфеной Петровной, отвечая ей невпопад. Словечко боялась проронить из отцовых речей.

– Как же ты залучил его? – спросил Иван Григорьич. – Старик Лохматый не то чтоб из бедных. Своя токарня. Как же он пустил его? Такой парень, как ты об нем сказываешь, и дома живучи копейку доспееет.

– Сожгли их по осени, – молвил Патап Максимыч. – Недобрые люди

токарьню спалили. Водятся такие по нашим местам. Сами век по гулянкам, а доброму человеку зло. Мало, что сожгли старика Лохматого, обокрали на придачу. Что ни было залежных – все снесли, и коней со двора свели и коровенок. Оттого Алексей Лохматый и пошел ко мне, по бедности, значит, чтоб отцу поскорее оправиться. А не то – шут бы ему велел в чужие люди идти. Золото – в век другого такого не нажить: дело у него в руках так и горит... Разборку посуды по сортам тоже знает! Лучше Савельича, дай Бог ему царство небесное, даром что молод... Намедни посуду с ним разбирали, ему только взглянуть – тотчас видит, куда что следует, в какой, значит, сорт, и каждый изъянец сразу заметит. Чаял дня в два разобрать, с ним в одно утро управился. Золото парень, говорю, просто золото.

– А надолго нанял? – спросил Иван Григорьич.

– Рядились до зимнего Николы. А теперь другой уговор. Порешили с его стариком.

– Что порешили? – спросил Иван Григорьич, прихлебывая пунш из большой золоченой чашки.

– В годы взял. В приказчики. На место Савельича к заведенью и к дому приставил, – отвечал Патап Максимыч. – Без такого человека мне невозможно: перво дело, за работой глаз нужен, мне одному не углядеть; опять же по делам дом покидаю на месяц и на два, и больше: надо на кого заведенье оставить. Для того и взял молодого Лохматого.

– Вот как! – молвил Иван Григорьич. – Дай Бог тебе, куманек.

– Я решил, чтобы как покойник Савельич был у нас, таким был бы и Алексей, – продолжал Патап Максимыч. – Будет в семье как свой человек, и обедать с нами и все... Без того по нашим делам невозможно... Слушаться не станут работники, бояться не будут, коль приказчика к себе не приблизишь. Это они чувствуют... Матренушка! – крикнул он, маленько подумав, работницу, что возилась около посуды в большой горенке.

Матрена вошла и стала у притолоки.

– Кликни Алексея Трифоныча, – сказал ей Патап Максимыч. – Хозяин, мол, велел скорее наверх взойти.

Ни жива ни мертва сидела Настя. Аграфена Петровна заводила с ней речь о том, о другом, ничего та не слыхала, ничего не понимала и на каждое слово отвечала невпопад.

– Да что с тобой, Настенька? – сказала наконец Аграфена Петровна. – Ровно ты не в себе.

Ни слова не ответила Настя. Аграфена Петровна, пристально поглядев на нее, подумала: «Это неспроста, что-нибудь да есть на уме. Это не оттого, что ждет жениха, другое что-нибудь тут кроется. Что ж бы это такое?»

Вошел Алексей. Настя поалела. Груня взглянула на нее: «Теперь понимаю», – подумала.

Алексей был в будничном кафтане. Справив уставные поклоны перед иконами и низко поклонясь хозяевам и гостям, стал он перед Патапом Максимычем.

– Кликнуть велели меня, – молвил.

Оглянул его с ног до головы Чапурин, слегка подбоченился и, склонив немного голову на сторону, с важностью спросил Алексея:

– В хорошей компании быть умеешь?

– Как в хорошей компании? – спросил Алексей, смутясь неожиданным вопросом и не понимая, к чему хозяин речь свою клонит.

– Ну, вот, примером сказать, хоть бы с нами теперь, – сказал Патап Максимыч.

– Не приводилось с такими людьми, – наклонив покорно голову, молвил Алексей.

Любо то слово показалось Патапу Максимычу, а вдвое больше по сердцу пришлись покорный вид Алексея и речь его почтительная.

– Гм! – молвил Патап Максимыч. – Одежа хорошая есть?

– Есть.

– Вырядись, приходи.

Алексей вышел. Аксинья Захаровна с удивленьем посмотрела на мужа. Не ждала она, чтоб Патап Максимыч на такую короткую ногу и так скоро приблизил Лохматого. «Правда, поступил он на место Савельича: значит, его место, его и честь, – думала Аксинья Захаровна. – Но Савельич был человек старый, опять же сколько годов в дому выжил, а этого парня всего полторы недели как знать-то зачали. Хороший паренек, услужливый, почтительный, богомольный, а все бы не след так приближать его. Ведь это, значит, с нынешнего дня он, как Савельич, и обедать с нами будет и чай пить, а куда отъедет Патап Максимыч, он один мужчина в семье останется. Да такой молодой, да красавец такой и разумный. Злые люди не знай чего наплетут на девонек... Ах, батюшки светы, неладно!.. А что станешь делать?.. Сам решил... не переломишь!..»

Видела Настя, как пришел Алексей, видела, как вышел, и ни слова из отцовских речей не проронила... И думалось ей, что во сне это ей видится, а меж тем от нечаянной радости сердце в груди так и бьется.

Лукаво взглянула Фленушка на приятельницу, дернула ее тихонько за сарафан и, найдя какое-то дело, вышла из горницы.

– Молодец из себя! – заметил Иван Григорыч по уходе Алексея.

– А ты не гляди снаружи, гляди снутри, – сказал Патап Максимыч. –

Умница-то какой!.. Все может сделать, а уж на работу – беда!.. Так я его, куманек, возлюбил, что, кажись, точно родной он мне стал. Вот и Захаровна то же скажет.

– Добрый парень, неча сказать, – молвила Акси́нья Захаровна, обращаясь к Ивану Григорьичу, – на всяку послу́гу по дому ретивый и скромный такой, ровно красная девка! Истинно, как Максимыч молвил, как есть родной. Да что, куманек, – с глубоким вздохом прибавила она, – в нонешне время иной родной во сто раз хуже чужого. Вон меня награди́л Господь каким чадушком. Братец-то родимый... Напасть только одна!

– А где он? – спросил Иван Григорьич.

– У нас обрета́ется, – сухо промолвил Патап Максимыч. – Намедни приволокся как есть в одной рубаше да в дырявом полушубке, растерзанный весь... Хочу его на Узени по весне справить, авось уймется там; на сорок верст во все стороны нет кабака.

– Эка человек-от пропадает, – заметил Иван Григорьич. – А ведь добрый, и парень бы хоть куда... Винище это проклятое.

– Не пьет теперь, – сказал Патап Максимыч. – Не дают, а пропивать-то нечего... Знаешь что, Акси́нья, он тебе все же брат, не одеть ли его как следует да не позвать ли сюда? Пусть его с нами поспра́зднует. Моя одежда ему как раз по плечу. Синяки-то на роже прошли, человеком смотрит. Как думаешь?

– Как знаешь, Максимыч, – сдержанно ответила Акси́нья Захаровна. – Не начудил бы при чужих людях чего, не осрамил бы нас... Сам знаешь, каков во хмелю.

– Не в кабаке, чай, будет, не перед стойкой, – отвечал Патап Максимыч. – Напиться не дам. А то, право, не ладно, как Снежковы после проводят, что в самое то время, как они у нас пировали, родной дядя на запоре в подклете, ровно какой арестант, сидел. Так ли, кум, говорю? – прибавил Чапурин, обращаясь к Ивану Григорьичу.

– Точно что не совсем оно ладно, – заметил в свою очередь Иван Григорьич.

– И что ж, в самом деле, это будет, мамы́нька! – молвила Аграфена Петровна. – Пойдет тут у вас пированье, работникам да странному народу столы завтра будут, а он, сердечный, один, как оглашенный какой, взаперти. Коль ему места здесь нет, так уж в самом деле его запереть надо. Нельзя же ему с работным народом за столами сидеть, слава пойдет нехорошая. Сами-то, скажут, в хоромах пируют, а брата родного со странным народом сажают. Неладно, мамы́нька, право, неладно.

– Пойду, обряжу его, – сказал Патап Максимыч и ушел в свою

горницу, сказав мимоходом Матрене: – Позови Никифора.

«Родной дядя! Так он сказал, – думала Настя. – Дядя, не брат, он сказал. Значит, у тяти и тут про меня дума была... Ох, чтоб беде не случиться!...»

Выйдя в сени, Фленушка остановилась, оглянулась на все стороны и кошкой бросилась вниз по лестнице. Внизу пробежала в подклет и распахнула дверь в Алексееву боковушку.

Алексей вынимал из укладки праздничное платье: синюю, хорошего сукна сибирку, плисовые штаны, рубашку из александрийки.

– Что, беспутный, каково дело-то выгорело?.. А?.. – спросила Фленушка.

– Не знаю, что и думать, Флена Васильевна, – отвечал от радости себя не помнивший Алексей. – Не разберу, во сне это аль наяву.

Как щипнет его Фленушка изо всей силы за руку, Алексей чуть не вскрикнул.

– Что?.. Не во сне?.. Ха-ха-ха!.. Обезумел?.. Постой, впереди не то еще будет, – хохотала изо всей мочи Фленушка.

– А что будет?

– А то, что с этого вечера каждый Божий день станешь ты обедать и чаи распивать со своей сударушкой, – сказала Фленушка. – Что, бесстыжий, сладко небось?.. Ну да теперь не о том говорить. Вот что: виду не подавай, особенно Аграфене Петровне; с Настей слова сказать не моги, сиди больше около хозяина, на нее и глядеть не смей. Она и то ровно на каленых угольях сидит, а тут еще ты придешь да эти Снежковы... Боюсь, при чужих чего не начудила бы... А отужинают, минуты в горницах не оставайся, сейчас сюда... Слышишь?.. Да вот еще что: коли когда услышишь, что над тобой три раза ногой топнули, в окно гляди: птичка прилетит, ты и лови... Да чтоб чужих глаз при том не было.

– Какая птичка? Что ты говоришь? – спросил Алексей, не понимая, про что говорит ему Фленушка.

– Нечего тут, – сказала она, – облакайся скорей да рожу-то свою бесстыжую помой, космы-то причеши... Ох, бить-то тебя некому!..

Мигом Фленушка вбежала наверх и со скромной умильной улыбкой вошла в горницу.

Вскоре пришел Алексей. В праздничном наряде таким молодцом он смотрел, что хоть сейчас картину писать с него. Усевшись на стуле у окна, близ хозяина, глаз не сводил он с него и с Ивана Григорьича. Помня приказ Фленушки, только разок взглянул он на Настю, а после того не смотрел и в

ту сторону, где сидела она. Следом за Алексеем в горницу Волк вошел, в платье Патапа Максимыча. Помолясь по уставу перед иконами, поклонившись всем на обе стороны, пошел он к Аксинье Захаровне.

– Здравствуй, разлюбезная сестрица, – желчно сказал. – Две недели, по милости Патапа Максимыча, у вас живу, а с тобой еще не успел повидеться за великими твоими недосугами...

– Отойди, – сурово ответила брату Аксинья Захаровна. – Как бы воля моя, в жизнь бы тебя не пустила сюда. Вот залетела ворона в высоки хоромы. На, пей, что ли! – прибавила она, подавая ему чашку чаю.

– А вот мы прежде первоначал зложим, а после того можно тебе, сестрица моя любезная, и чайком братца попотчевать.

Никифор Захарыч подошел к столу с графинами и закусками. Две недели капельки у него во рту не бывало; и теперь, остановясь перед разноцветными графинами, он созерцал их как бы в священном восторге и, радостно потирая ладони, думал: «С которого бы начать?»

Вскочила с места Аксинья Захаровна и, подойдя к брату, схватила его за рукав.

– И думать не моги! – крикнула она. – Его как путного обрядили, до хороших людей допустили, а он на-тка поди!.. Не в кабак, батька, затесался!.. Прочь, прочь!.. И подходить к водке не смей!..

Распустив руки, Никифор Захарыч стоял в недоумении, что теперь ему делать. Не будь тут Патапа Максимыча, сумел бы он по-свойски ответить сестрице, сиди тут хоть сотня гостей. Но Патапа Максимыча бесшабашный Волк не на шутку боялся. Даже, когда море бывало ему по колено, всегда он держал себя перед зятем робко и приниженно. А тут еще эта Аграфена Петровна сидит да таково зорко глядит на него... Стыдно как-то перед ней... А пуще всего стыдно, совестно перед Настей – любил он ее беззаветно, хоть никогда почти с ней не видался... А выпить так и тянет.

С минуту продолжалась попытка Никифора. Даже пот его прошиб, слеза в глазу блеснула. Патап Максимыч дело решил.

– Выпей, Никифор, – сказал он ему.

– Охмелеет он, Максимыч, осрамит при гостях наши головы. Не знаешь, каков он во хмелю живет? – возражала Аксинья Захаровна.

– С одной не охмелеет, другой не дам, – решил Патап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорьичу, продолжал рассказывать ему про подряды.

Дрожащей рукой налил Никифор рюмку и выпил ее залпом. Затем, откромсав добрый кусок салфеточной икры, намазал на ломоть хлеба и, подойдя к сестре, сказал:

– Ну теперь, сестрица, чаем потчуй. Давно не пивал этой дряни.



– Непутный! – молвила Аксинья Захаровна, подавая брату чашку лянсина. – Тоже чаю!.. Не в коня корм!.. Алексеюшка, – продолжала она, обращаясь к Лохматому, – пригляди хоть ты за ним, голубчик, как гости-то приедут... Не допускай ты его к тому столу, не то ведь разом насвищется.

– И вправду, Алексей, присмотри за Никифором, – подтвердил Патап Максимыч. – Не отходи от него и пить без моего приказа не давай. За ужином сядь с ним рядом.

Тут только заметил Никифор Алексея. Злобно сверкнули глаза у него. «А! деvушник! – подумал он. – И ты тут! Да тебя еще смотреть за мной приставили! Постой же ты у меня!.. Будет и на моей улице праздник!» И с лукавой усмешкой посмотрел на Фленушку.

Послышался ямской колокольчик. Ближе и ближе. Кто-то к дому подъехал.

– Не исправник ли, чтоб ему пусто было, аль не становой ли? – с досадой сказал Патап Максимыч, вставая с места и направляясь к двери. – Вот уж, поистине, незванный гость хуже татарина.

И всем стало неловко при мысли об исправнике. Исправник и становой в самом деле никогда не объезжали Осиповки, зная, что у Чапурина всегда готово хорошее угощенье. Матушка Манефа, хоть и в приязни жила с полицейскими чинами, однако поспешно вышла из горницы. Была она во всем иночестве, даже в наметке,<sup>[19]</sup> а в таком наряде на глаза исправнику показываться нехорошо. Скитницы были обязаны подпиской иноческим именем не зваться, иноческой одежи не носить. Фленушка осталась в горнице, на ней ничего запретного не было.

Минуты через две Патап Максимыч ввел в горницу новых гостей. То был удельный голова Песоченского приказа Михайло Васильич Скорняков с хозяйюшкой, приятель Патапа Максимыча.

После обычных входных поклонов перед иконами, после установленных дедовскими преданьями приветствий и взаимных пожеланий усьелись.

– Напугал же ты нас своим колокольцем, Михайло Васильич, – сказал Патап Максимыч, подводя удельного голову к столу с водками и закусками. – Мы думали, не исправника ль принесла нелегкая.

– Ха-ха-ха! – громко захохотал Скорняков. – А разве ноне стал бояться властей предержажих?

– Бояться, опричь Господа Бога, никого не боюся, – спесиво отвечал Чапурин, – а не люблю, как чужой человек портит беседу. С чего же это ты по-исправничьему с колокольчиком ездидь?

– На стоешных, из приказа приехал, – с важностью погладив бороду, отвечал Михайло Васильич.

Не успели Скорняковы по первой чашке чая выпить, как новые гости приехали: купец из города, Самсон Михайлыч Дюков, да пожилой человек в черном кафтане с мелкими пуговками и узеньким стоячим воротником, – кафтан, какой обыкновенно носят рогожские, отправляясь к службе в часовню.

– Узнал старого приятеля? – поздоровавшись со всеми бывшими в горнице, спросил Дюков у Патапа Максимыча. Чапурин не узнавал.

– И я не признал бы тебя, Патап Максимыч, коли б не в дому у тебя встретился, – сказал незнакомый гость. – Постарели мы, брат, оба с тобой, ишь и тебя сединой, что инеем, подернуло... Здравствуйте, матушка Аксинья Захаровна!.. Не узнали?.. Да и я бы не узнал... Как последний раз виделись, цвела ты, как маков цвет, а теперь, гляди-ка, какая стала!.. Да... Время идет да идет, а годы человека не красят... Не узнаете?..

– Никак не признать, – сказал Патап Максимыч. – Голос будто знакомый, а вспомнить не могу.

– Стуколова Якима помнишь?.. – молвил гость.

– Яким Прохорыч!.. Дружище!.. Да неужели это ты?.. – вскрикнул Патап Максимыч, обнимаясь и целуясь со Стуколовым. – А мы думали, что тебя и в живых-то давным-давно нет... Откудова?.. Какими судьбами?..

– Яким Прохорыч! – подходя к нему, сказала Аксинья Захаровна. – Сколько лет, сколько зим! И я не чаяла свидеть тебя на сем свете. Ах, сватушка, сватушка! Чать не забыл: сродни маленько бывали.

– Бывало так в старые годы, Аксинья Захаровна, – отвечал Стуколов. – Считались в сватовстве.

И Заплатин и Скорняков оказались тоже старыми приятелями Стуколова; знал он и Никифора Захарыча, когда тот еще только в годы входил. Дочерей Патапа Максимыча не знал Стуколов. Они родились после того, как он покинул родину. С тех пор больше двадцати пяти годов прошло, и о нем по Заволжью ни слуху ни духу не было.

Стуколову было лет под шестьдесят. Был высок ростом, сухощав, и с первого взгляда было заметно, что, обладая большой телесной силой, был одарен он неистомною силой воли и необычайною твердостью духа. Худощавое, смуглое лицо его было обрамлено густою черною бородой, с сильной проседью. Раскаленными углями светились черные глаза его, и не всякий мог долго выдерживать пристально устремленный на него взгляд Стуколова. По всему было видно, что человек этот много видал на своем веку, а еще больше испытал треволнений всякого рода.

Начал расспросы Стуколов, спрашивал про людей былого времени, с которыми, живучи за Волгой, бывал в близких сношениях, и про всех почти, про кого ни спрашивал, дали ему один ответ: «помер... помер... померла».

Сидел Стуколов, склонив голову, и, глядя в землю, глубоко вздыхал при таких ответах. Сознавал, что, воротясь после долгих странствий на родину, стал он в ней чужанином. Не то что людей, домов-то прежних не было; город, откуда родом был, два раза дотла выгорал и два раза вновь обстраивался. Ни родных, ни друзей не нашел на старом пепелище – всех прибрал Господь. И тут-то спознал Яким Прохорыч всю правду старого русского присловью: «Не временем годы долги – долги годы отлучкой с родной стороны».

– Где ж пропадал ты все это время, Яким Прохорыч? – спросил у странника Патап Максимыч.

Маленько помолчав и окинув беглым взглядом сидевших в горнице, Стуколов стал говорить тихо, истово, отчеканивая каждое слово:

– Не мало государств мною исхожено, немало морей переехано, много всяких народов очами моими видано. Привел Господь во святой реке Иордане погружаться, Спасов живоносный гроб целовать, всем святым местам поклониться... Много было странствий моих...

– Неужели все двадцать пять лет ты в странстве пребывал? – спросил его Иван Григорыч. – Чай, поди, где и на месте живал?

– Как не живать! Жил и на месте, – сказал Стуколов. – За Дунаем немалое время у некрасовцев, в Молдавии у наших христиан, в Сибири, у казаков на Урале... Опять же довольно годов выжил я в Беловодье, там, далеко, в Опоньском государстве.

– Какое же это государство? Про такое я что-то не слыхивал, – спросил у паломника Патап Максимыч.

– Не мудрено, что про Опоньское государство ты не слыхивал, – сдержанно ответил Яким Прохорыч. – То государство не простое, не у всех на виду. Государство сокровенное...

– Сокровенное? – в недоуменье спросил Чапурин у Стуколова, а сидевшие в горнице с изумленьем глядели на паломника.

Замолк Яким Прохорыч. Не дал ответа. Через малое время спросил его Патап Максимыч:

– Помнится, ты в Москву уехал тогда, потом пали к нам слухи, что в монастыре каком-то проживаешь, а после того и слухов про тебя не стало.

– Постой, погоди... Все странства по ряду вам расскажу, – молвил Стуколов, выходя из раздумья и подняв голову. – Люди свои, земляки,

старые други-приятели. Вам можно сказать.

– Расскажи, Расскажи, старый дружище, – молвил Патап Максимыч, кладя руку на плечо паломника. – Да чайку-то еще. С ромком не хочешь ли?

– Не стану, а чайком побаловаться можно, – отвечал Стуколов, собираясь начать рассказ про свои похождения.

– Постой, постой маленько, Яким Прохорыч, – молвила Аксинья Захаровна, подавая Стуколову чашку чая. – Вижу, о чем твоя беседа будет... Про святыню станешь рассказывать... Фленушка! Подь кликни сюда матушку Манефу. Из самого, мол, Иерусалима приехал гость, про святые места рассказывать хочет... Пусть и Евпраксеюшка придет послушать.

– Какая это Манефа? – спросил Стуколов, когда Фленушка вышла в сени.

– Да Матрену-то Максимовну, сестру Патапа Максимыча, помнишь, чай? – сказала Аксинья Захаровна.

– Матрена Максимовна?.. – оживляясь, спросил сумрачный дотоле странник. – Так она во иночестве?

– Давно. Больше двадцати годов, как она пострижена. Теперь игуменствует в Комарове, – отвечала Аксинья Захаровна.

– Так... Так... – медленно проговорил Стуколов и задумался.

Вошла мать Манефа с Фленушкой и Евпраксией. После обычных «метаний» и поклонов Яким Прохорыч пристально поглядел на старушку и дрогнувшим несколько голосом спросил у нее:

– Узнала ль меня, матушка Манефа?.. Аль забыла Якима Стуколова?

– Яким Прохорыч?.. – быстро вскинув на паломника заблиставшими глазами, вскрикнула игуменья и вдруг поправила «наметку», опустя креп на глаза... – Не чаяла с тобой свидеться, – прибавила она более спокойно.

Пристальным, глубоким взором глядела она на паломника. В потускневших глазах старицы загорелось что-то молодое... Перебирая лестовку, игуменья чинно уселась, еще раз поправила на голове «наметку» и поникла головою. Губы шептали молитву.

– Ну, рассказывай свои похождения, – молвил Патап Максимыч Якиме Прохорычу.

Стуколов стал рассказывать, часто и зорко взглядывая на смущенную игуменью.

– Горько мне стало на родной стороне. Ни на что бы тогда не глядел я и не знай куда бы готов был деваться!.. Вот уже двадцать пять лет и побольше прошло с той поры, а как вспомнишь, так и теперь сердце на клочья рваться начнет... Молодость, молодость!.. Горячая кровь тогда

ходила во мне... Не стерпел обиды, а заплатить обидчику было нельзя... И решил я покинуть родную сторону, чтоб в нее до гробовой доски не заглядывать...

Ниже и ниже склоняла Манефа голову. Бледные губы спешно шептали молитву. Если б кто из бывших тут пристальнее поглядел на нее, тот заметил бы, что рука ее, перебирая лестовку, трепетно вздрагивала.

– Какая ж это обида, Яким Прохорыч? – спросил Иван Григорыч. – Что-то не припомню я, чтобы перед уходом из-за Волги с тобой горе какое приключилось.

– Про то знают Бог, я да еще одна душа... Больше никто не знает и никто не узнает... Послушайте-ка, матушка Манефа, про мои странства по дальним палестинам... Как решил я родное Заволжье покинуть, сам с собой тогда рассуждал: «Куда ж мне теперь, безродному, приклонить бедную голову, где сыскать душевного мира и тишины, где найти успокоение помыслов и забвение всего, что было со мной?..» Решил в монастырь идти, да подальше, как можно подальше от здешних мест. Слышал прежде про монастырь Лаврентьев, что стоит неподалеку от славной слободы Ветки. Житие там строгое. Не каменными стенами, не богатыми церквями красовалась обитель та, – красовалась она старческими слезами, денно-нощными трудами, постом да молитвой... Много там было крепких подвижников, много иноков учительных, в деле душевного спасения искусных. Было немало и молодого, как я, народу: тогда в Лаврентьеву обитель юноши из разных сторон приходили, да управят души свои по словеси Господню. Все молодые трудники чтению Божественных книг прилежали и в преданиях церковных были крепки и подвижны... Без малого пять лет выжил я с ними, под начальством блаженного старца, и открыл мне Господь разум писания, разверз умные силы и сподобил забыть все, все прошлое... сподобил... простить обидчику... В пучине Божественного писания и святоотеческих книг чрез малое время потопил я бывшее горе и прежние печали... И как скоро со мною такая перемена совершилась, восстала в душе другая буря, по иным новым волнам душевный корабль мой стал вляться... Не сиделось на месте, стало тянуть меня куда-то далеко-далеко, а куда, сам не знаю... Прискучили леса и пустыни, прискучили благочестивые старцы; не иноческой тишины мне хотелось, хотелось повидать дальние страны, посмотреть на чужие государства, поплавать по синему морю, походить по горам высоким. Как птица из клетки, рвался я на волю, чтоб идти, куда глаза глядят, – идти, пока где-нибудь смерть меня не настигнет... Хотел бежать из обители, думал в мир назад воротиться, но Бог не пустил... Приезжали в то время к

нашему отцу игумну Аркадию зарубежные старцы из молдавских монастырей, в Питере по соборам были и возвращались восвояси. Два дня и две ночи игумен Аркадий тайные речи вел с ними, на третий всех молодых трудников призвал в келью к себе. Пришло нас пятнадцать человек. И стал нам сказывать отец Аркадий про оскудение благочестивого священства, про душевный глад, христиан постигший. «А есть, говорит, в дальних странах места сокровенные, где старая вера соблюдена в целостности и чистоте. Там она, непорочная невеста Христова, среди бусурман, яко светило сияет. Первое такое место на райской реке Евфрате, промеж рубежей турецкого с персидским, другая страна за Египтом – зовется Емакань, в земле Фиваидской, третье место за Сибирью, в сокровенном Опоньском государстве. Вот бы, говорит отец игумен, порадеть вам, труднички молодые, положить ваши труды на спасение всего христианства. Поискать бы вам благодать таковую, там ведь много древлеблагодатных епископов и митрополитов. Вывезти бы вам хоть одного в наши российские пределы, утвердили бы мы в России корень священства, утолили бы душевный глад многого народа. Свои бы тогда у нас попы были, не нуждались бы мы в беглецах никоньянских... И аще исполните мое слово – в сем мире будет вам от людей похвала и слава, а в будущем веке от Господа неизглаголанное блаженство...» Как услышал я такие глаголы, тотчас игумну земно поклонился, стал просить его благословенья на подвиг дальнего странства. За мной другие трудники поклонились: повеление пославшего все готовы исполнить. Снабдил нас игумен деньгами на дорогу, дал для памяти тетрадки, как и где искать благочестных архиереев... И пошли мы пятнадцать человек к реке Дунаю, пришли во град Измаил, а там уж наши христиане нас ожидают, игумен Аркадий к ним отписал до нашего приходу. Без паспортов пропуск за Дунай был заказан, стояла на берегу великая стража, никого без паспорта за реку не пускала. В камыши спровадили нас христороубцы, а оттоле ночью в рыбацких челноках, крадучись, яко тати, на турецкую сторону мы перебрались. Тут пошли мы в славное Кубанское войско, – то наши христиане казаки, что живут за Дунаем, некрасовцами зовутся. Соблюли они старую веру и все преданья церковные сохранили. Хорошо было нам жить у них и привольно. Богатейшие у них там рыбные ловли и земли вдоволь; хлебом, виноградом, кукурузой и всяким овощем там преизобильно. А живут те некрасовцы во ослабе: старую веру соблюдают, ни от кого в том нет им запрету; делами своими на «кругах» заправляют, турецкому султану дани не платят, только как война у турки зачнется, полки свои на службу выставляют... Прожили мы у некрасовцев без мала полгода в ихнем монастыре, а зовется он

Славой, и жили мы там в изобилие и довольстве. Еще больше тут к нам из России путников на дальнее странство набралось – стало всего нас человек сорок. И поплыли мы к Царьграду по Черному морю и, поживши мало время в Царьграде, переплыли в каюках Мраморное море и тамо опять пришли к нашим старообрядцам, тоже к казакам славного Кубанского войска, а зовется их станица Майносом. Оттоль пошли к райской реке Евфрату...

Смолк Яким Прохорыч. Жадно все его слушали, не исключая и Волка. Правда, раза два задумывал он под шумок к графинам пробраться, но, заметив следившего за ним Алексея, как ни в чем не бывало повертывал назад и возвращался на покинутое место.

– Что ж? Дошли до Евфрата? – спросила Аксинья Захаровна.

– Из сорока человек дошло только двадцать, – продолжал паломник. – Только двадцать!.. Зарыли остальных в песках да в горных ущельях... десять недель шли: на каждую неделю по два покойника!.. Голод, болезни, дикие звери, разбойники да бусурманские народы – везде беды, везде напасти... Но не смущалось сердце наше, и мы шли, шли да товарищей хоронили... Безвестны могилки бедных, никому их не сыскать и некому над ними поплакать!.. Прошли мы вдоль реки Евфрата, были меж турецкой и персидской границей и не нашли старообрядцев... А смерть путников косила и косила... Назад к Царьграду поворотили. Шли, шли и помирали... И никому-то не хотелось лечь на чужой стороне, всякой-то про свою родину думал и, умирая, слезно просил товарищей, как умрет, снять у него с креста ладанку да, разрезавши, посыпать лицо его зашитой там русской землею... У меня одного ладанки с родной земли не бывало... И встосковалось же тогда сердце мое по матушке по России... В Царьград я один воротился, молодые трудники все до единого пошли в мать сыру-землю... Добрел до Лаврентьева и про все рассказал отцу игумну подробно. Справил он по них соборную панихиду, имена их записал в синодик, постенный и литейный, а дела не покинул. Нудит опять меня: «Ступай, говорит, в Екамань, в страну Фиваидскую, за Египет. Там беспрременно найдешь епископов; недавно, говорит, некие христолюбцы тамо бывали, про тамошнее житие нам писали». Новые трудники на подвиг странства сыскались, опять все люди молодые, всего двадцать пять человек... Как бывалого человека, меня с ними послали... Тем же путем в Царьград мы пошли, там на корабли сели и поехали по Белому морю,<sup>[20]</sup> держа путь ко святому граду Иерусалиму. Были у Спасова гроба, зрели, как все веры на едином месте служат. Отслужат свою обедню армяне, пойдут за ними латины, на месте святе в бездушные органи играют, а за ними пойдут

сирийцы да копты, молятся нелепо, козлогласуют, потом пойдут по-своему служить арабы, а сами все в шапках и чуть не голы, пляшут, беснуются вокруг Христова гроба. Тут и греческие служат... Не обрели мы древлего благочестия ни в Иерусалиме, ни в Вифлееме, ни на святой реке Иордане – всюду пестро развращено!.. Поплакали, видя сие, и пошли во град Иоппию; сели на корабль, и привезли нас корабельщики во Египет. Пошли мы вверх по реке Нилу, шли с караванами пеши, дошли до земли Фиваидской, только никто нам не мог указать земли Емаканьской, про такую, дескать, там никогда не слыхали... И напала на нас во Египте чума: из двадцати пяти человек осталось нас двое... Поплыли назад в Россию, добрались до отца игумна, обо всем ему доложили: «Нет, мол, за Египтом никакой Емакани, нет, мол, в Фиваиде древлей веры...» И опять велел игумен служить соборную панихиду, совершить поминовение по усопшим, ради Божия дела в чуждых странах живот свой скончавших... А потом опять меня призывает, опять на новый подвиг странствия посылает. «Есть, говорит, в крайних восточных пределах за Сибирью хриstopодражательная древняя церковь асирского языка. Тамо в Опоньском царстве, на Беловодье, стоит сто восемьдесят церквей без одной церкви, да, кроме того, российских древлего благочестия церквей сорок. Имеют те российские люди митрополита и епископов асирского поставленья. А удалились они в Опоньское государство, когда в Москве изменение благочестия стало. Тогда из честные обители Соловецкой да из многих иных мест много народу туда удалилось. И светского суда в том Опоньском государстве они не имеют, всеми людьми управляют духовные власти. Идти тебе за Сибирские пределы, искать за ними того Беловодья, доставить к нам епископа древлей веры благочестивой. А товарищи тебе готовы». Так повелел мне игумен. Шесть недель мы в Лаврентьевой обители пожили, ровно погостили, и потом всемером пошли к Беловодью. Дошли в Сибири до реки Катунь и нашли там хриstopлюбивых странноприимцев, что русских людей за Камень в Китайское царство переводят. Тамо множество пещер тайных, в них странники привитают, а немного подале стоят снеговые горы, верст за триста, коли не больше их видно. Перешли мы те снеговые горы и нашли там келью да часовню, в ней двое старцев пребывало, только не нашего были согласу, священства они не приемлют. Однако ж путь к Беловодью нам указали и проводника по малом времени сыскали... Шли мы через великую степь Китайским государством сорок и четыре дня сряду. Чего мы там не натерпелись, каких бед-напастей не испытали; сторона незнакомая, чужая, и совсем как есть пустая – нигде человечесьих лица не увидишь, одни звери бродят по той пустыни. Двое наших путников теми зверями при



нашем виденье заедены были. Воды в той степи мало, иной раз два дня идешь, хоть б калужинку какую встретить; а как увидишь издали светлую водицу, бежишь к ней бегом, забывая усталость. Так однажды, увидав издали речку, побежали мы к ней водицы напиться; бежим, а из камышей как прыгнет на нас зверь дикий, сам полосатый и ровно кошка, а величиной с медведя; двух странников растерзал во едино мгновенье ока... Много было бед, много напастей!.. Но дошли-таки мы до Беловодья. Стоит там глубокое озеро да большое, ровно как море какое, а зовут то озеро Лопонским<sup>[21]</sup> и течет в него с запада река Беловодье.<sup>[22]</sup> На том озере большие острова есть, и на тех островах живут русские люди старой веры. Только и они священства не приемлют, нет у них архиереев, и никогда их там не бывало... Прожил я в том Беловодье без малого четыре года. Выпуску оттудова пришлым людям нету, боятся те опонцы, чтоб на Руси про них не спознали и назад в русское царство их не воротили... И, живучи в тех местах, очень я по России стосковался. Думаю себе: «Пускай мне хоть голову снимут, а уйду же я от тех опонцев в Российское царство». А там в первые три года свежаков<sup>[23]</sup> с островов на берег великого озера не пускают, пока не уверятся, что не сбежит тот человек во матушку во Россию. На четвертом году хозяин, у которого я проживал в батраках, стал меня с собой брать на рыбную ловлю. И уж скажу ж я вам, что только там за рыбная ловля! Много рек видал я на своем веку: живал при Дунае и на тихом Дону, а матушку Волгу сверху донизу знаю, на вольном Яике на багреньях бывал, за бабушку Гугниху пивал,<sup>[24]</sup> все сибирские реки мне вдосталь известны, а нигде такого рыбного улова я не видал, как на том Беловодье!.. Кажется, как к нашим местам бы да такие воды, каждый бы нищий тысячником в один год сделался. Такое во всем приволье, что нигде по другим местам такого не видно. Всякие земные плоды там в обилье родятся: и виноград и пшено сорочинское; одно только плохо: матушки ржицы нет и в заводе... Но как ни привольно было жить в том Беловодье, все-то меня в Россию тянуло. Взял меня однажды Сидор – хозяин мой – на рыбную ловлю, переехали озеро, в камышах пристали. Грешный человек, хотел его сонного побывшить,<sup>[25]</sup> да зазрела совесть. Пьян он был на ту пору: чуть не полкувшина кумышки из сорочинского пшена с вечера выпил; перевязал его веревками, завернул в сети, сам бежал в степи... Три месяца бродил я, питаюсь кореньями да диким луком... Не зная дороги, все на север держал по звездам да по солнцу. На реку, бывало, наткнешься, попробуешь броду, нет его, и пойдешь обходить ту реку; иной раз идешь верст полсотни и больше... На сибирском рубеже стоят снежные горы; без

проводника, не зная тамошних мест, их ввек не перелезть, да послал Господь мне доброго человека из варнаков – беглый каторжный, значит, – вывел на русскую землю!.. Спаси его, Господи, и помилуй!

Замолчал Яким Прохорыч и грустно склонил голову. Все молчали под впечатлением рассказа.

– Что ж, опять ты пошел в монастырь к своему игумну? – через несколько минут спросил у паломника Патап Максимыч.

– Не дошел до него, – отвечал тот. – Дорогой узнал, что монастырь наш закрыли, а игумен Аркадий за Дунай к некрасовцам перебрался... Еще сведал я, что тем временем, как проживал я в Беловодье, наши сыскали митрополита и водворили его в австрийских пределах. Побрел я туда. С немалым трудом и с большою опаской перевели меня христороубцы за рубеж австрийский, и сподобил меня Господь узреть недостойными очами святую митрополию Белой Криницы во всей ее славе.

– Расскажи нам про это место, – спрашивал Стуколова Патап Максимыч. – Все расскажи, поподробну.

– Поистине, – с торжественностью продолжал паломник, – явился благодать спасительная всем человекам, живущим по древлеблагочестивой вере. Нашел я в Белой Кринице радость духовную, ликование неумолкаемое о господине владыке митрополите и епископах и о всем чину священном. Двести лет не видано и не слыхано было у наших христиан своей священной иерархии, ныне она воочию зрится. Притек я в Белую Криницу, встретил там кое-кого из лаврентьевских мнихов. Меня узнали, властям монастырским обо мне доложили. Рассказал я им по ряду про свое сибирское хождение и про жизнь в Беловодье. Они меня, странного, всем успокоили, келью мне дали и одежду монастырскую справили. Был и у самого владыки Амвросия под благословеньем, и он через толмача много меня расспрашивать изволил обо всех моих по дальним странам хождениях. Прожил я в той Белой Кринице два с половиною года, ездил оттоль и за Дунай в некрасовский монастырь Славу, и тамо привел меня Бог свидеться с лаврентьевским игумном Аркадием. Немало вечеров в тайных беседах у нас протекло с сим учительным старцем. Многое рассказывал я ему про три хождения наши: про евфратское, египетское и в Беловодье. И скорбел я перед ним, заливаясь слезами: «Не благословил Бог наш подвиг: больше семидесяти учеников твоих, отче, три раза в дальние страны ходили и ничего не сыскали, и все-то семьдесят учеников полегли в чужих странах, один аз, грешный, в живых остался». Отвечал на такие речи старец, меня утешая, а сам от очию слезы испуская: «Не скорби, брате, – говорил он, – не скорби и душевного уныния бегай: аще троечастный твой

путный подвиг и тщетен остался, но паче возвеселиться должен ты ныне с нашими радостными лики: обрели мы святителей, и теперь у нас полный чин священства. За труды твои церковь тебя похваляет и всегда за тебя молить Бога будет, а трудникам, что нужною смертью в пути живот свой скончали, – буди им вечная память в роды и роды!..» Тут упал я к честным стопам старца, открыл перед ним свою душу, поведал ему мои сомнения. «Прости, – сказал ему, – святой отче, разреши недоуменный мой помысл. Корень иерархии нашей от греков изыде, а много я видал греческих властей в Царьграде, и в Иерусалиме и во Египте: пестра их вера, благочестия обнажена совершенно. Как же новая иерархия от столь мутного источника изыде, како в светлую реку претворися?» И довольно поучил меня старец Аркадий, и беседою душеполезной растопил окаменелое мое сердце, отогнал от меня лукавого духа. Потом и сам я исследовал все дело подробно и со многими искусными в Божественном писании старцами много беседовал и вконец удостоверился, что наша священная иерархия истинна и правильна!.. Ей! Перед Господом Богом свидетельствую вам и всех вас совершенно заверяю, – прибавил, вставая с места и подходя к иконам, паломник, – истинна древлеправославная австрийская иерархия, нет в ней ни едина порока!

Медленною поступью подошла Манефа к паломнику и твердым голосом сказала:

– Не чаяла тебя видеть, Яким Прохорыч!.. Как из гроба стал передо мною... Благодарю Господа и поклоняюсь ему за все чудодеяния, какие оказал он над тобою.

Поклонилась мать Манефа паломнику и скорей, едва слышной поступью, пошла из горницы, а поравнявшись с Фленушкой, сказала ей шепотом:

– Пойдем... Евпраксию позови... Укладываться... Чем свет поедем.

– Зачем же ты, Яким Прохорыч, ушел из митрополии? – спросила Аксинья Захаровна у Стуколова.

– Творя волю епископа, преосвященного господина Софрония, – внушительно отвечал он и, немного помолчав, сказал: – Через два с половиною года после того, как водворился я в Белой Кринице, прибыл некий благочестивый муж Степан Трифоныч Жиров, начетчик великий, всей Москве знаем. До учреждения митрополии утолял он в России душевный глад христиан, привлекая к древлему благочестию никонианских иереев. Письма привез он из Москвы, и скоро его митрополит по всем духовным степеням произвел: из простецов в пять дней стал он епископ Софроний и воротился в Россию. Белокриницкие власти повелели мне

находиться при нем. С ним и приехал я до Москвы.

– И за Волгу он же прислал тебя? – спросил Патап Максимыч.

– Он же, только совсем по другому делу. Не по церковному, – отвечал Яким Прохорыч.

– Что за дело? – продолжал расспросы Патап Максимыч.

Стуколов замолчал.

– Коли клятвы не положено, чтобы тайны не поведать, что не говоришь?.. – сказал Патап Максимыч.

– Клятву не положено, и приказу молчать не сказано, – вполголоса проговорил Стуколов.

– Зачем же нас в неведение держишь? – сказал Патап Максимыч. – Здесь свои люди, стары твои друзья, кондовые приятели, а кого не знаешь – то чада и домочадцы их.

Молчал Яким Прохорыч.

– Видно, долга разлука холодит старую дружбу, – вполголоса промолвил Чапурин Ивану Григорьичу.

– Скажу, – молвил Стуколов. – Только не при женах говорить бы...

– Ах, батька! Уйти можем, – воскликнула Акулина Захаровна. – Насть, вели-ка Матрене заедки-то в задню нести. Пойдемте, Арина Васильевна, Грунюшка, Параша. Никифору-то не уйти ли с нами, Максимыч?

– Ступай-ка с ними в самом деле, – сказал ему Патап Максимыч.

Никифор пошел, с горестью глядя, что Матрена в заднюю несет одни сладкие заедки. Разноцветные графины и соленьенькое остались, по приказу хозяина, в передней горнице.

Обведя собеседников глазами, Стуколов начал:

– Вот вы тысячники, богатеи: пересчитать только деньги ваши, так не один раз устанешь... А я что перед вами?.. Убогий странник, нищий, калика перехожий... А стоит мне захотеть, всех миллионщиков богаче буду... Не хочу. Отрекся от мира и от богатства отказался...

– Научи нас, как сделаться миллионщиками, – слегка усмехнувшись, сказал удельный голова.

– Научу... И будете миллионщиками, – отвечал Стуколов. – Беспременно будете... Мне не надо богатства... Перед Богом говорю... Только маленько работы от вас потребуется.

– Какой же работы? – спросил голова.

– Не больно тяжелой, управиться сможете. Да не о том теперь речь... Покамест... – с запинками говорил Стуколов. – Земляного масла хотите? – примолвил он шепотом.

Все переглянулись.

– Что за масло такое? – Чапурин спросил.

– Не слышал?.. – с лукавой усмешкой спросил паломник. – А из чего это у тебя сделано? – спросил он Патапа Максимыча, взявши его за руку, на которой для праздника надеты были два дорогих перстня.

– Из золота.

– По-нашему, по-сибирски, – это земляное масло. Видал ли кто из вас, как в земле-то сидит оно?

– Кому видеть? Никто не видал, – отозвался Чапурин.

– А я видал, – сказал паломник. – Бывало, как жил в сибирских тайгах, сам доставал это маслицо, все это дело знаю вдоль и поперек. Не в пронос будь слово сказано, знаю, каким способом и в Россию можно его вывозить... Смекаете?

– Да ведь это далеко, – заметил Патап Максимыч. – В Сибири. Нам не рука.

– Ближе найдем, – отвечал паломник. – По золоту ходите, по серебру бродите... Понимаете вы это?

– Разве есть за Волгой золото? Быть того не может! Шутки ты шутишь над нами, – сказал удельный голова.

– Известно, здесь в Осиповке опричь илу да песку нет ничего. А поблизости найдется, – сказал Стуколов. – Слушайте: дорогой, как мы из австрийских пределов с епископом в Москву ехали, рассказал я ему про свои хождения, говорил и про то, как в сибирских тайгах земляным маслом заимствовался. Епископ тут и открылся мне: допрежь в Москве постоянный двор он держал, и некие от христиан земляное масло из Сибири ему вживали в осетрах да в белугах, еще в меду. Епископа брат путь-дорогу привезенному маслу показывал, куда, значит, следует идти ему. Хоть дело запретное, да находились люди, что с радостью масло то покупали. Однако ж начальство сведало. Тогда и пришло на мысль епископу, чем тайно сбытом земляного масла заимствоваться, лучше настоящим делом, как есть по закону, искать золото. В Сибирь не раз Жировы ездили прииска открывать. Найти золотой прииск там не мудреное дело, только нашему брату не дадут им пользоваться. Ты сыщешь, а богатый золотопромышленник из-под носу его у тебя выхватит, к своим рукам приберет, а тебя из тайги-то взашей, чтоб и духа твоего там не было. Это так, это я сам видел, как в Сибири проживал. И узнал преосвященный наш владыка, что недалече от родины его, в Калужской, значит, губернии, тоже есть золото. Поглядели, в самом деле нашли песок золотой. Не оглашая дела, купили они золотиносное место у местного барина, пятьдесят десятин. В Петербург пробы возили; там пробу делали и сказали, что

точно, тут золото есть.<sup>[26]</sup> Рассказавши про такое дело, епископ и говорит: «Этим делом мне теперь заниматься нельзя, сан не позволяет, но есть, говорит, у меня братья родные и други-приятели, они при том деле будут... А перед самым, говорит, отъездом моим в Белу Криницу, мне отписывали, что за Волгой по тамошним лесам водится золото. Я, говорит, тебя туда заместо послушания пошлю спроведать, правду ль мне отписывали, а если найдешь, предложи там кому из христиан, не пожелает ли кто со мной его добывать...» Вот я и пришел сюда, творить волю пославшего.

– Что же, нашел? – с нетерпением спросил Патап Максимыч.

– Видимо-невидимо! – ответил Стуколов. – Всю Сибирь вдоль и поперек изойди, такого богатства не сыщешь. Золото само из земли лезет... Смотрите!

И, вынув из кармана замшевый мешок, в каких крестьяне носят деньги, Стуколов развязал его, и густая струя золотого песку посыпалась на чайное блюдечко.

Все столпились вокруг стола и жадно смотрели на золотую струю. Ни слова, ни звука... Даже дыхание у всех сперлось. Один маятник стенных часов мерно чикал за перегородкой.

Вдруг скрип полозьев. Остановились у ворот сани. Внизу забегали, в сенях засуетились.

Патап Максимыч очнулся и побежал гостей встречать. Паломник, не торопясь, высыпал золотой песок с блюдечка в мешок и крепко завязал его.

– Где нашел?.. В каком месте? – спрашивал его Алексей, едва переводя дух и схватив паломника за руку.

– Неподалеку отсюда, в лесу... – равнодушно молвил Стуколов, кладя мешок в карман.

Загорелись у Алексея глаза. «Вот счастье-то Бог посылает, – подумал он. – Накопаю я этого масла, тогда...»

Патап Максимыч вошел в горницу, ведя под руку старика Снежкова. За ним шел молодой Снежков.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Струя золотого песка, пущенная паломником, ошеломила гостей Патапа Максимыча. При Снежковых разговор не клеился. Даниле Тихонычу показалось странным, что ему отвечают нехотя и невпопад и что сам хозяин был как бы не по себе.

«Что за притча такая? – думают Снежковы. – Звали именинный пир пировать, невесту хотели показывать, родниться затевали, а приехали – так хоть бы пустым словом встретили нас. Будто и не рады, будто мы лишние, нежданные». Коробило отца Снежкова – самолюбив был старик.

Меж тем Патап Максимыч, улуча минуто, подошел к Стуколову. Стоя у божницы, паломник внимательно разглядывал старинные иконы. Патап Максимыч вызвал его на пару слов в боковушку.

– Это Снежковы приехали, – сказал он, – богатые купцы самарские, старик-от мне большой приятель. Денег куча, никаких капиталов он не пожалеет на разведки. Сказать ему, что ли?

– Оборони, Господи! – отвечал Стуколов. – Строго-настрого наказано, чтоб, опричь здешних жителей, никому словечка не молвить... Там после что Бог даст, а теперь нельзя.

Не по нраву пришлись Чапурину слова паломника. Однако сделал по его: и куму Ивану Григорычу, и удельному голове, и Алексею шепнул, чтоб до поры до времени они про золотые прииски никому не сказывали. Дюкова учить было нечего, тот был со Стуколовым заодно. К тому же парень был не говорливого десятка, в молчанку больше любил играть.

Кой-как завязалась беседа, но беседовали невесело. Не стала веселей беседа и тогда, как вошли в горницу Аксиныя Захаровна с дочерьми и гостями. Манефа не вышла взглянуть на суженого племянницы.

Когда Настя входила в горницу, молодой Снежков стоял возле Алексея. Он был одет «по-модному»: в щегольский короткополый сюртук и черный открытый жилет, на нем блестела золотая часовая цепочка со множеством разных привесок. Белье на Снежкове было чистоты белоснежной, на левой руке белая перчатка была натянута. Михайло Данилыч принадлежал к числу «образованных старообрядцев», что давно появились в столицах, а лет двадцать тому назад стали показываться и в губерниях. Строгие рогожские уставы не смущали их. Не верили они, чтоб в иноземной одежде, в клубах, театрах, маскарадах много было греха, и Михайло Данилыч не раз, сидя в особой комнате Новотроицкого с сигарой в зубах, за

стаканом шампанского, от души хохотал с подобными себе над увещаниями и проклятиями рогожского попа Ивана Матвеича, в новых обычаях видевшего конечную погибель старообрядства.

Михайло Данилыч был из себя красив, легкие рябины не безобразили его лица; взгляд был веселый, открытый, умный. Но как невзрачен показался он Насте, когда она перевела взор свой на Алексея!

Патап Максимыч познакомил с женой и дочерьми. Уселись: старик Снежков рядом с хозяйкой, принявшейся снова чай разливать, сын возле Патапа Максимыча.

– Просим любить нас, лаской своей не оставить, Аксинья Захаровна, – говорил хозяйке Данило Тихоныч. – И парнишку моего лаской не оставьте... Вы не смотрите, что на нем такая одежда... Что станешь делать с молодежью? В городе живем, в столицах бываем; нельзя... А по душе, сударыня, парень он у меня хороший, как есть нашего старого завета.

– Что про то говорить, Данило Тихоныч, – отвечала Аксинья Захаровна, с любопытством разглядывая Михайла Данилыча и переводя украдкой глаза на Настю. – Известно, люди молодые, незрелые. Не на ветер стары люди говаривали: «Незрел виноград, невкусен, млад человек неискусен; а молоденький умок, что весенний ледок...» Пройдут, батюшка Данило Тихоныч, красные-то годы, пройдет молодость: возлюбят тогда и одежду степенную, святыми отцами благословенную и нам, грешным, заповеданную; возлюбят и старинку нашу боголюбезную, свычаи да обычаи, что дедами, прадедами нерушимо уложены.

– Это вы правильно, Аксинья Захаровна, – отвечал старый Снежков. – Это, значит, вы как есть в настоящую точку попали.

– Куда я попала, батюшка? – с недоумением спросила Аксинья Захаровна.

– В настоящую точку, значит, в линию, как есть, – ответил Данило Тихоныч. – Потому, значит, в ваших словах, окромя настоящей справедливости, нет ничего-с.

– Невдомек мне, глупой, ваши умные речи, – сказала Аксинья Захаровна. – Мы люди простые, темные, захолустные, простите нас, Христа ради!

– А ты слушай да речей не перебивай, – вступился Патап Максимыч, и безмолвная Аксинья Захаровна покорно устремила взор свой к Снежкову: «Говорите, мол, батюшка Данило Тихоныч, слушать велит».

Прочие, кто были в горнице, молчали, глядя в упор на Снежковых... Пользуясь тем, Никифор Захарыч тихохонько вздумал пробраться за стульями к заветному столику, но Патап Максимыч это заметил. Не ворочая



головы, а только скосив глаза, сказал он:

– Алексей!

Алексей проснулся из забытья. Все время сидел он, опустил глаза в землю и не слыша, что вокруг его говорится... Золото, только золото на уме у него... Услышав хозяйское слово и увидя Никифора, встал. «Волк» повернул назад и, как ни в чем не бывало, с тяжелым вздохом уселся у печки, возле выхода в боковушку. И как же ругался он сам про себя.

– По нынешним временам, сударыня Акси́нья Захаровна, – продолжал свои речи Данило Тихоныч, – нашему брату купцу, особенно из молодых, никак невозможно старых обычаев во всем соблюсти. Что станешь делать? Такие времена пришли!.. Изойдите вы теперь все хорошие дома по московскому аль по петербургскому купечеству, из нашего то есть сословия, везде это найдете... Да и что за грех, коли правду сказать, Акси́нья Захаровна? Была бы душа чиста и свята. Так ли? Все эти грехи не смертные, все эти грехи замолимые. Покаемся, Бог даст успеем умолить создателя... А некогда да недосуг, праведников да молитвенников попросим. Они свое дело знают – разом замолят грех.

– Велика молитва праведников перед Господом, – с набожным вздохом молвила Акси́нья Захаровна.

Стуколов нахмурился. Как ночь смотрит, глаз не сводя со старого краснобая.

– Я вам, сударыня Акси́нья Захаровна, про одного моего приятеля расскажу, – продолжал старик Снежков. – Стужин есть, Семен Елизарыч, в Москве. Страшный богач: двадцать пять тысяч народу у него на фабриках кормится. Слыхали, поди, Патап Максимыч, про Семена Елизарыча? А может статься, и встречались у Макарья – он туда каждый год ездит.

– Как про Стужина не слышать, – ответил Патап Максимыч, – люди известные. Миллионах, слышь, в десяти.

– Посчитать, и больше наберется, – отвечал Данило Тихоныч. – Поистине, не облыжно доложу вам, Акси́нья Захаровна, таких людей промеж наших христиан, древлего то есть благочестия, не много найдется!.. Столп благочестия!.. Адамант!.. Да-с. Так его рогожский священник наш, батюшка Иван Матвеич, и в глаза и за глаза зовет, а матушка Пульхерия, рогожская то есть игуменья, всем говорит, что вот без малого сто годов она на свете живет, а такого благочестия, как в Семене Елизарыче, ни в ком не видывала... Через него, сударыня Акси́нья Захаровна, можно сказать, все Рогожское держится, им только и дышит. Потому, знаете, от начальства ноне строгости, а Семен Елизарыч с высокими людьми водит знакомство... И оберегает.

– Дай ему Бог доброго здоровья и души спасения, – набожно, вполголоса, проговорила Акси́нья Захаровна. – Слыхали и мы про великие добродетели Семена Елизарыча. Сирым и вдовым заступник, нищей братии щедрый податель, странным покой, болящим призрение... Дай ему, Господи, телесного здравия и душевного спасения...

– Так-с, – ответил Данило Тихоныч. – Истину изволите говорить, сударыня Акси́нья Захаровна... Ну, а уж насчет хоша бы, примером будучи сказать, этого табачного зелья, и деткам не возбраняет, и сам в чужих людях не брезгует... На этом уж извините...

– Сквернится? – грустно, чуть не со слезами на глазах спросила Акси́нья Захаровна.

– Одно слово – извините! – с улыбкой отвечал Данило Тихоныч.

Стуколов плюнул, встал со стула, быстро прошелся раза два в сторонке и, нахмуренный пуще прежнего, уселся на прежнее место.

– Что делать, сударыня? – продолжал Снежков. – Слабость, соблазн, на всякий час не устоишь. Немало Семена Елизарыча матушка Пульхерия началит. Журит она его, вычитает ему все, что следует, а напоследок смилуется и сотворит прощенье. «Делать нечего, скажет, грехи твои на себя возьмем, только веру крепко храни... Будешь веру хранить, о грехах не тужи: замолим».

– Много может молитва праведника, – с набожным вздохом промолвила Акси́нья Захаровна. – Един праведник за тысячу грешников умоляет... Не прогневался еще до конца на нас, грешных, царь небесный, посылает в мир праведных... Вот и у нас своя молитвенница есть... Сестра Патапу-то Максимычу, матушка Манефа комаровская. Может, слыхали?

– Много наслышаны, – отвечал Снежков. – По нашим местам сказывают, что у ней в обители отменно хорошо и по чину содержится все... Да, сударыня Акси́нья Захаровна, это точно-с, дана вам благодать Божия... Со своей молитвенницей не в пример спокойнее жить. Иной, чувствуя прегрешения, и захотел бы сам грехи свои замаливать, да сами посудите, есть ли ему время?.. Недосуги, хлопоты... Хоть нашего брата возьмите, как при нашей то есть коммерции станешь грехи замаливать? Суета все: кричишь, бранишься, ссоришься, времени-то и не хватит на Божие дело... Да и то сказать: примешься сам-от замаливать, да, не зная сноровки, еще пуще, пожалуй, на душу-то нагадишь. Ведь во всяком деле надо сноровку знать. А праведнику это дело всегда подходящее, потому что он на том уже стоит. Он уж маху не даст, потому что сноровку в своем деле знает, за дело взяться умеет. А нам куда! Не пори, коли шить не умеешь... Ваше дело женское, еще туда-сюда, потому что домоседничаете

и молитвам больше нашего навькли, а как наш-от брат примется, курам на смех – хоть дело все брось... Ха-ха-ха!..

И раскатился старый Снежков громким хохотом. Но, кроме сына, никто не улыбнулся ни на речи, ни на хохот его. Все молча сидели, Аграфена Петровна особенно строго поглядела на рассказчика, но он не смотрел в ее сторону. Стуколова так и подергивало; едва мог себя сдерживать. Аксиныя Захаровна про себя какую-то молитву читала.

Чтобы поворотить разговор на другое, Патап Максимыч напомнил Снежкову:

– Так что ж про Стужина-то зачали вы, Данило Тихоныч?

– Насчет нынешней молодежи хотел сказать, – отвечал Данило Тихоныч. – У Семена Елизарыча, – продолжал он, обращаясь к Аксиные Захаровне, – сынки-то во фраках, сударыня, щеголяют, – знаете, в этакой куртке с хвостиками?.. Всему обучены... А ежели теперь прийти на бал али в театре на них посмотреть, от графов да от князей ничем отличить невозможно, купецкого звания и духу нет... А коммерция из рук не валится, большая помога отцу. В коммерческой академии обучались, произошли всякую науку, медали за ученье получили, не на вывеску только, а карманные, без ушков, значит, и ленты нет, – прибавил он, поправляя висевшую у него на шее, на аннинской ленте, золотую медаль. – Ну, да хоть и без ушков, а все же медаль, почесть, значит... На дочерей бы Семена Елизарыча посмотрели вы, Аксиныя Захаровна, ахнули бы, просто бы ахнули... По-французскому так и режут, как есть самые настоящие барышни. И если где бал, танцуют вплоть до утра, и в театры ездят, в грех того, по нынешним временам, не поставляют. А уж одеваются как, по триста да по четыреста целковых платье... И всякую мелочь даже на них, до последней, с позволения сказать, исподницы, шьют французенки на Кузнецком мосту... Поглядели бы вы, как на бал они разоденутся, – любо-дорого посмотреть... В позапрошлом году, зимой, сию я раз вечером у Семена Елизарыча, было еще из наших человека два; сидим, про дела толкуем, а чай разливает матушка Семена Елизарыча, старушка древняя, редко когда и в люди кажется, больше все на молитве в своем мезонине пребывает. Хозяюшка-то Семена Елизарыча в ту пору на бал с дочерьми собиралась в купеческо собрание. В первый раз дочерей-то везла туда. Бабушке, понятно дело, хочется тоже поглядеть, как внушки-то вырядятся. Напоила нас чаем, а сама сидит в гостинной, нейдет в свою горенку, дожидается... И вышли внушки, в дорогие кружева разодеты, все в цветах, ну а руки-то по локоть, как теперь водится, голы, и шея до плеч голая, и груди наполовину... Как взвидела их Божия старушка, так и всплеснула

руками. «Матушка, кричит, совсем нагие!» Да и ну нас турить вон из гостиной. «Уйдите, говорит, отцы родные, Христа ради, уйдите: не глядите на девок, не срамите их». Так мы со смеху и померли.

С изумленьем глядели все на Снежкова. Акси́нья Захаровна руки опустила, ровно столбняк нашел на нее, только шепчет вполголоса:

– Мать Пресвятая Богородица! И шея и груди!.. Господи помилуй, Господи помилуй!

Фленушка глаза опустила, Параша слегка покраснела, а Настя с злорадной улыбкой взглянула на Данилу Тихоныча, потом на отца. Глаза ее заблестали.

Стуколов не выдержал. Раскаленными угольями блеснули черные глаза его, и легкие судороги заструились на испитом лице паломника. Порывисто вскочил он со стула, поднял руку, хотел что-то сказать, но... схватив шапку и никому не поклонясь, быстро пошел вон из горницы. За ним Дюков.

– Куда вы?.. Куда ты, Яким Прохорыч?.. – говорил Патап Максимыч, выбежав следом за ними в сени.

Не старый друг, не чудный паломник, – золото, золото уходило.

– Душе претит! – отвечал Стуколов. – Не стерпеть мне хульных речей суеслова... Лучше уйти... Прощай, Патап Максимыч!.. Прощай...

– Да что ты... Полно!.. Господь с тобой, Яким Прохорыч, – твердил Патап Максимыч, удерживая паломника за руку. – Ведь он богатый мельник, – шутливо продолжал Чапурин, – две мельницы у него есть на море, на окияне. Помол знатный: одна мелет вздор, другая чепуху... Ну и пусть его мелют... Тебе-то что?

– Не могу. Душа не терпит хульных словес! – ответил Стуколов. – Прощай, пусти меня, Патап Максимыч.

– Да куда ж ты, на ночь-то глядя? – уговаривал его Патап Максимыч. – Того и гляди метель еще поднимется, слышь ветер какой.

– Метели, вьюги, степные бураны давно мне привычны. Слаще в поле мерзнуть, чем уши сквернить мерзостью суесловия. Прощай!

Умаливал, упрашивал Патап Максимыч старинного друга-приятеля переночевать у него, насилу уговорил. Согласился Стуколов с условием, что не увидит больше Снежковых, ни старого, ни молодого. Возненавидел он их.

Патап Максимыч кликнул в сени Алексея.

– Яким Прохорыч устал, отдохнуть ему хочется, – сказал он. – У тебя пускай заночует. Успокой его. А к ужину в горницу приходи, – примолвил Патап Максимыч вполголоса.

Алексей с паломником пошли вниз. Патап Максимыч с молчаливым купцом Дюковым к гостям воротились. Там старый Снежков продолжал рассказы про житье-бытье Стужина, – знайте, дескать, с какими людьми мы водимся!

«Что же это такое? – думал Патап Максимыч, садясь возле почетного гостя. – Коли шутки шутит, так эти шутки при девках шутить не годится... Неужели правду он говорит? Чудное дело!»

Рассказывал Данило Тихоныч про балы да про музыкальные вечера в московском купеческом собрании, помянул и про голые шеи.

– Да зачем же у вас девок-то так срамят? – спросил, наконец, Патап Максимыч. – Какой ради причины голых дочерей людям-то кажут?

– Так водится, Патап Максимыч, – с важностью ответил Снежков. – В Петербурге аль в Москве завсегда так на бал ездят: и девицы и замужние. Такое уж заведение.

– И замужние? – проговорил Патап Максимыч, пристально поглядев на Снежкова.

– И замужние, – спокойно ответил Данило Тихоныч. – Без этого нельзя, везд так.

Ни слова не молвил Патап Максимыч. «Что ж это за срам такой? – рассуждает он сам с собою. – Как же это жену-то свою голую напоказ чужим людям возить?.. Неладно, неладно!..»

Как нарочно, и молодой Снежков в такие же рассказы пустился. У него, что у отца, то же на уме было: похвалиться перед будущим тестем: вот, дескать, с какими людьми мы знаем, а вы, дескать, сиволапые, живучи в захолустье, понятия не имеете, как хорошие люди в столицах живут. И рассказывал молодой Снежков про балы и маскарады, про танцы, как их танцуют, про музыкальные вечера и театральные представления. Слушай, мол, Настасья Патаповна, какое тебе житье будет развеселое; выйдешь замуж за меня, как сыр в масле станешь кататься. А она с первого взгляда понравилась Михайле Данилычу, и уж думал он, как в Москву с ней переедет жить, танцевать ее и по-французски выучит, да разодевши в шелки-бархаты, повезет на Большую Дмитровку в купеческое собрание. Так и ахнут все: «Откуда, мол, взялась такая раскрасавица?»

– А летом, – продолжал он, – Стужины и другие богатые купцы из наших в Сокольниках да в парке на дачах живут. Собираются чуть не каждый Божий день вместе все, кавалеры, и девицы, и молодые замужние женщины. Музыку ездят слушать, верхом на лошадях катаются.

– Как же это верхом, Михайло Данилыч? – спросила Аксинья Захаровна. – Этого мне, старухе, что-то уж и не понять! Неужели и девицы

и молодницы на конях верхом?

– Верхом, Аксинья Захаровна, – отвечал Снежков.

– Ай, срам какой! – вскрикнула Аксинья Захаровна, всплеснув руками. – В штанах?

– Зачем в штанах, Аксинья Захаровна? – отвечал Михайло Данилыч, удивленный словами будущей тещи. – Платье для того особое шьют, длинное, с хвостом аршина на два. А на коней боком садятся.

Девушки зарделись. Аграфена Петровна строгим взглядом окинула рассказчика. Настя посмотрела на Патапа Максимыча, и на душе ее стало веселее: чуяла сердцем отцовские думы.

Схватив украдкой Фленушку за руку, шепнула ей:

– Не бывать сватовству.

Фленушка головой кивнула.

В это время Настя взглянула на входившего Алексея и улыбнулась ему светлой, ясной улыбкой. Не заметил он того – вошел мрачный, сел задумчивый. Видно, крепкая дума сидит в голове.

– Молодость! – молвил старый Снежков, улыбаясь и положив руку на плечо. – Молодость, Патап Максимыч, веселье на уме... Что ж?... Молодой квас – и тот играет, а коли млад человек не добесится, так на старости с ума сойдет... Веселись, пока молоды. Состарятся, по крайности будет чем молодые годы свои помянуть. Так ли, Патап Максимыч?

– Так-то оно так, Данило Тихоныч, – отвечал Патап Максимыч. – Только я, признаться сказать, не пойму что-то ваших речей... Не могу я вдомек себе взять, что такое вы похваляете... Неужели везде наши христиане по городам стали так жить?... В Казани, к примеру сказать, аль у вас в Самаре?

– Ну, не как в Москве, а тоже живут, – отвечал Данило Тихоныч. – Вот по осени в Казани гостил я у дочери, к зятю на именины попал, важнецкий бал задал, почитай весь город был. До заутрень танцевали.

– И дочки? – спросил Патап Максимыч.

– Как же! Они у меня на все горазды. В пансионе учились. И по-французски говорят, и все.

– И одеваются, как Стужины? – слегка прищутив глаза и усмехнувшись, спросил Патап Максимыч.

– Известно дело, – отвечал Данило Тихоныч. – Как люди, так и они. Варвара у меня, меньшая, что за Буркова выдана, за Сергея Абрамыча, такая охотница до этих балов, что чудо... И спит и видит.

– Чудны дела твоя, Господи, чудны дела твоя! – проговорил Патап Максимыч. Больно не по себе ему стало.

Ужин готов. Патап Максимыч стал гостей за стол усаживать. Явились и стерляди, и индейки, и другие кушанья, на славу Никитишной изготовленные. Отличилась старушка: так настряпала, что не жуй, не глотай, только с диву брови подымай. Молодой Снежков, набравшийся в столицах толку по части изысканных обедов и тонких вин, не мог скрыть своего удивленья и сказал Аксинье Захаровне:

– Отменно приготовлено! Из городу, видно, повара-то брали?

– Какой у нас повар! – скромно и даже приниженно отвечала столичному щеголю простая душа, Аксинья Захаровна. – Дома, сударь, стряпали – сродственница у нас есть, Дарья Никитишна – ее стряпня.

Надивиться не могли Снежковы на убранство стола, на вина, на кушанья, на камчатное белье, хрусталь и серебряные приборы. Хоть бы в Самаре, хоть бы у Варвары Даниловны Бурковой, задававшей ужины на славу всей Казани... И где ж это?.. В лесах, в заволжском захолустье!..

Смекнул Патап Максимыч, чему гости дивуются. Повеселел. Ходит, потирая руки, вокруг стола, потчует гостей, сам приговаривает:

– Не побрезгуйте, Данило Тихоныч, деревенской хлебом-солью... Чем богаты, тем и рады... Просим не прогневаться, не взыскать на убогом нашем угощенье... Чем Бог послал! Ведь мы мужики серые, необтесанные, городским порядкам не обвыкли... Наше дело лесное, живем с волками да медведями... Да потчуй, жена, чего молчишь, дорогих гостей не потчуеть?

– Покушайте, гости дорогие, – заговорила в свою очередь Аксинья Захаровна. – Что мало кушаете, Данило Тихоныч? Аль вам хозяйской хлеба-соли жаль?

– Много довольны, сударыня Аксинья Захаровна, – приглаживая бороду, сказал старый Снежков, – довольны-предовольны. Власть ваша, больше никак не могу.

– Да вы нашу-то речь послушайте – приневольтесь да покушайте! – отвечала Аксинья Захаровна. – Ведь по-нашему, по-деревенскому, что порушено да не скушано, то хозяйке покор. Пожалейте хоть маленько меня, не срамите моей головы, покушайте хоть маленечко.

– Винца-то, винца, гости дорогие, – потчевал Патап Максимыч, наливая рюмки. – Хвалиться не стану: добро не свое, покупное, каково – не знаю, а люди пили, так хвалили. Не знаю, как вам по вкусу придется. Кушайте на здоровье, Данило Тихоныч.

– Знатное винцо, – сказал Данило Тихоныч, прихлебывая лафит. – Какие у вас кушанья, какие вина, Патап Максимыч! Да я у Стужина не раз на именинах обедывал, у нашего губернатора в царские дни завсегда обедаю – не облыжно доложу вам, что вашими кушаньями да вашими

винами хоть царя потчевать... Право, отменные-с.

– Наше дело лесное, – самодовольно отвечал Патап Максимыч. – У генералов обедать нам не доводится, театров да балов сроду не видывали; а угостить хорошего человека, чем Бог послал, завсегда рады. Пожалуйста-с, – прибавил он, наливая Снежкову шампанское.

– Не многолько ли будет, Патап Максимыч? – сказал Снежков, слегка отстраняя стакан.

– Наше дело лесное, по-нашему, это вовсе немного. Пожалуйста-с.

Две бутылки распили за наступающую именинницу.

Не обнес Патап Максимыч и шурина, сидевшего рядом с приставленным к нему Алексеем... Было время, когда и Микешка, спуская с забубенными друзьями по трактирам родительские денежки, знал толк в этом вине... Взял он рюмку дрожащей рукой, вспомнил прежние годы, и что-то ясное проблеснуло в тусклых глазах его... Хлебнул и сплюнул.

– Свекольник! – молвил вполголоса. – Мне бы водочки, Патап Максимыч.

Молча отошел от него Патап Максимыч.

Чуть не до полночи пировали гости за ужином. Наконец: разошлись. Не все скоро заснули; у всякого своя дума была. Ни сон, ни дрема что-то не ходят по сениям Патапа Максимыча.

Патап Максимыч поместил Снежковых в задней боковушке. Там отец с сыном долго толковали про житье-бытье тысячника, удивлялись убранству дома его, изысканному угощению и тому чинному, стройному во всем порядку, что, казалось, был издавна заведен у него. И про Настю толковали. Хоть не удалось с ней слова перемолвить Михайле Данилычу, хоть Настя целый вечер глядела на него неласково, но величая, гордая красота ее сильно ударила по сердцу щеголеватого купчика. Только и мечтал он, как разоденет ее в шелки, в бархаты, на диво не Самаре, а самой Москве, и как станут люди дивоваться на его жену-раскрасавицу... Старику Снежкову Настя тоже по нраву пришла.

Дал маху Снежков, рассказав про стужинских дочерей. Еще больше остудил он сватовство, обмолвившись, что и его дочери одеваются так же, как Стужины.

Не первый год знался Снежков с Патапом Максимычем; давно подметил он в нем охоту стать на купецкую ногу, во всем обиходе подражать тузам торгового мира. И то знал Данило Тихоныч, что не строго относится Чапурин к нарушениям старых обычаев. В самом деле, Патап Максимыч никогда не бывал изувером, сам частенько трунил над теми



ревнителями старого обряда, что покррой кафтана и число на нем пуговиц возводят на степень догмата веры. Не гнушался и табашниками, и хоть сроду сам не куривал, а всегда говаривал, что табак зелье не проклятое, а такая же Божья трава, как и другие; в иноземной одежде, даже в бритые бороды ереси не видал, говоря, что Бог не на одежду смотрит, а на душу. Потому Снежков и был уверен, что рассказ про житье богатых московских старообрядцев будущему свату по мысли придется, – но такая судьба ему выпала, – оборвался... Сильно возмутила Патапа Максимыча мысль, что Михайло Данилыч оголит Настю и выставит с обнаженными грудями людям напоказ.

Все улеглись. Никого не берет дрема, сон никому не смыкает глаз.

Долго в своей боковушке рассказывала Аксинья Захаровна Аграфене Петровне про все чудное, что творилось с Настасьей с того дня, как отец сказал ей про суженого. Толковали потом про молодого Снежкова. И той и другой не пришлось он по нраву. Смолкла Аксинья Захаровна, и вместо плаксивого ее голоса послышался легкий старушечий храп: започила сном именинница. Смолкли в светлице долго и весело щебетавшие Настя с Фленушкой. Во всем доме стало тихо, лишь в передней горнице мерно стучит часовой маятник.

Сам хозяин не спит, думу думает. Разделся, лег – ни сон нейдет, ни дрема не берет... Стужинские дочери ему вспоминаются, да чудный рассказ Стуколова, да это золото, что недалеко где-то в земле сокрыто лежит. Заведет глаза Патап Максимыч – и видит золотую струю, текущую из кошель паломника. И думает он, передумывает, как примется земляное масло копать, как выйдет в миллионщики. Полно тогда за Волгой жить... Хоть и жаль расставаться с родиной, да нечего делать, придется... И вот уж строит он в Питере каменный дом, да такой, что пеший ли, конный ли только что с ним поверстаются, так ахают с дива: «Эк, мол, какие палаты сгромоздил себе Патап Максимыч, Чапурин сын!..» «Нечего делать, в гильдию записаться надо, потому что тогда заграничный торг заведем, свои конторы будем иметь!.. В славу войду, в силу... Медали, кресты, мундиры, коммерции советник!.. С министрами в компании, обеды задаю, не то что Никитишни. И сам у министров в почетных гостях!.. Кланяются мне, ублажают, угодить стараются: чуют тугой карман!.. Чего ни захотел, как по щучьему веленью все перед тобой... Больниц на десять тысяч кроватей настрою, богаделен... всех бедных, всех сирых, беспомощных призрею, успокою... Волгу надо расчистить: мели да перекаты больно народ одолевают... Расчищу, пускай люди добром поминают... Дорог железных везде настрою, везде... И сведает про меня сам батюшка, пожелает видеть

самолично... Министры скачут, генералы, полковники, все: «Патап Максимыч, во дворец пожалуйте...» И выходит наше красно солнышко...»

Но тут вдруг ему вспомнились рассказы Снежковых про дочерей Стужина. И мерещится Патапу Максимычу, что Михайло Данилыч оголил Настю чуть не до пояса, посадил боком на лошадь и возит по московским улицам... Народ бежит, дивуется... Срам-от, срам-от какой... А Настасья плачет, убивается, неохота позор принимать... А делать ей нечего: муж того хочет, а муж голова.

Вскочил с постели Патап Максимыч и, раздетый, босой, заложа руки за спину, прошел в большую горницу и зачал ходить по ней взад и вперед.

«Руки по локоть!.. Шея, плечи голые, и грудей половина!.. Тьфу ты, мерзость какая! – думает он, расхаживая по горнице... – И дочери у него в Казани так же щеголяют... До заутрени пляшут!... Люди Богу молятся, а они голые пляшут!.. Иродиады, прости Господи!.. Срамота!.. И всяк на них смотрит, а они хоть бы платочком прикрылись, бесстыжие, – нет... Верхом, с хвостом, боком на лошади по Сокольникам рыщут, ровно шуты какие, скоморохи!.. Ни стыда в глазах, ни совести!.. Нет, сударь Михайло Данилыч, ищи себе невесту в ином месте, а у нас про тебя готовых нет... Не рука нам таковский зять... Отдам я детище свое на поруганье?.. Выведу на позор родную дочь?.. Да скорее в землю живую ее закопаю, чем такое бесчестье на род-племя приму... Ну, друг любезный, Данило Тихоныч, сходились мы с тобой, не бранились, дай Бог разойтись не бранясь, а сыну твоему Настасьи моей не видать... Просим не прогневаться, ищите лучше нас... Чуюло сердечко у голубки!.. А я-то на нее, мою ластовку, злобился, я-то, старый дурак, бранил ее, до слез доводил... Хорош отец!.. Нечего сказать!.. Ишь какого жениха дочери высватал!.. Еще слава Богу, что вовремя себя выявили... Нет, дружище, Данило Тихоныч, приезду твоему рад, ешь, пей у меня, веселися, а насчет свадьбы выкинь из головы... А я-то еще первый в Городце ему намеки намекал... О Господи, Господи!.. Что наделал я, что натворил...

Долго ходил взад и вперед Патап Максимыч. Мерный топот босых ног его раздавался по горнице и в соседней боковушке. Аксинья Захаровна проснулась, осторожно отворила дверь и, при свете горевшей у икон лампы, увидела ходившего мужа. В красной рубахе, весь багровый, с распаленными глазами и включенными волосами, страшен он ей показался. Хотела спрятаться, но Патап Максимыч заметил жену.

– Тебе что? – спросил шепотом, но гроза и в шепоте слышна была.

– Не спится что-то, Максимыч... Про Настеньку все думается... – едва слышно отвечала Аксинья Захаровна.

– Чего еще?.. Ну? – сказал Патап Максимыч, остановясь перед женой.  
– Да я ничего... Известно, твоя воля... Как хочешь... – И залилась бедная слезами.

– О чем заревела?.. Гостей, что ли, перебудить?.. А?.. – грозно спросил именинницу Патап Максимыч.

– Настасья с ума нейдет, кормилец ты мой. Разрывается мое сердечушко, заснула было, так и во сне-то вижу ее, голубушку... Оголили... срамить ведут...

– Ну, ступай спать, – мягким голосом сказал жене Патап Максимыч. – Утро вечера мудренее... Ступай же, спи... Свадьбе не бывать.

Бросилась в передний угол именинница и начала класть земные поклоны. Помолившись, кинулась она мужу в ноги. – Бог тебя спасет, Максимыч, – сказала она, всхлипывая. – Отнял ты печаль от сердца моего.

– Полно же, полно, ступай... Спи, говорят тебе, – молвил Патап Максимыч. – Да ну же... Тебе говорят...

Ушла в свою боковушку Аксинья Захаровна. А Патап Максимыч все еще ходил взад и вперед по горнице. Нейдет сон, не берет дрема.

Вдруг слышит он возню в сенях. Прислушивается – что-то тащат по полу... Не воры ль забрались?.. Отворил дверь: мать Манефа в дорожной шубе со свечой в руках на пороге моленной стоит, а дюжая Анафролия с Евпраксией-канонницей тащит вниз по лестнице чемодан с пожитками игуменьи.

Как взвидела брата матушка Манефа, так и присела на пороге. Анафролия стала на лестнице и, разиня рот, глядела на Патапа Максимыча. Канонница, как пойманный в шалостях школьник, не знала, куда руки девать.

– Это что?.. – спросил Патап Максимыч.

– Я, братец... домой хочу... в обитель собралась... – шептала Манефа.

– Домой?.. А коль тебе домой захотелось, зачем же ты, спасенная твоя душа, воровским образом, не простясь с хозяевами, тихомолком вздумала?.. А?..

Молчала игуменья.

– Что же это ты, на срам, что ли, хочешь поднять меня перед гостями?.. А?.. На смех ты это делаешь, что ли?.. Да говори же, спасенница... Целый, почитай, вечер с гостями сидела, все ее видели, и вдруг, ни с того ни с сего, ночью, в самые невесткины именины, домой собраться изволила!.. Сказывай, что на уме?.. Ну!.. Да что ты проглотила язык-от?

– Неможется... – едва смогла проговорить Манефа.

– Неможется, так лежи. Умри, коли хочется, а сраму делать не смей...

Вишь, что вздумала! Да я тебя в моленной на три замка запру, шаг из дому не дам шагнуть... Неможется!.. Я тебе такую немоготу задам, что ввек не забудешь... Шиш на место!.. А вы, мокрохвостницы, что стали?.. Тащите назад, да если опять вздумаете, так у меня смотрите: таковских засыплю, что до новых веников не забудете.

Нечего делать. Осталась Манефа под одной кровлей с Якимом Прохорычем... Осталась среди искушений... Не под силу ей против брата идти: таков уродился – чего не захочет, на своем поставит.

Запереть Манефу он не запер, но, разбудив старого Пантелея, дал ему наказ строго-настрого глядеть в оба за скитским работником, что приехал с Манефой из Комарова.

– Чтоб к обительским лошадям и подходить он не смел, – приказывал Патап Максимыч, – а коль Манефа тайком со двора пойдет – за ворот ее да в избу... Так и тащи... А чужим не болтай, что у нас тут было, – прибавил он уходя Пантелею.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Смущенная внезапным появлением Якима Прохорыча, Манефа не могла выдержать его присутствия и ушла с Фленушкой к себе в заднюю.

Игуменья всем телом дрожала, едва на ногах держалась. Еле-еле дошла до горенки, опираясь на Фленушку.

– Что с тобой матушка? – говорила ей оторопевшая девушка. – Аль неможется? Шалфейцем не напоить ли?.. Аль бузиной с липовым цветом?

– Не надо... Ничего не надо... – отрывисто отвечала мать Манефа.

Когда вошли в боковушу, там никого не было. И здоровенная Анафролия и богомольная Евпраксеюшка суетились в стряпущей, помогали Никитишне ужин нарядать.

Тяжело опустилась на стул Манефа. Фленушка взяла ее за руки. Как лед холодные.

– Что это, матушка? – сказала Фленушка. – Дай я раздену тебя, уложу, тепленьким напою, укутаю...

– Ах, Фленушка, моя Фленушка! – страстным, почти незнакомым дотоле Фленушке голосом воскликнула Манефа и крепко обвила руками шею девушки... – Родная ты моя!.. Голубушка!.. Как бы знала ты да ведала!..

И горячо, страстно целовала Манефа глаза, щеки и уста Фленушки.

– Матушка, матушка! Что с тобой? – встревоженная необычными ласками всегда строгой, хоть до безумия любившей ее игуменьи, говорила Фленушка. – Матушка, успокойся, приляг.

– Постой, постой, мое дитятко, милая моя, сердечная ты моя девочка!.. Как бы знала ты!.. О Господи, Господи, не вмени во грех рабе твоей!.. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, отжени от мене омрачение помыслов... Уйди, Фленушка, уйди... Кликни Евпраксеюшку с Анафролией... Ступай, ступай!..

Фленушка встала перед Манефой на колена и горячо целовала ее руки.

– Не пойду я от тебя, матушка, – сказала она со слезами. – Как мне оставить больную тебя? Не сказать ли Аксинье Захаровне?

– Оборони Господи! – воскликнула Манефа, вставая со стула и выпрямляясь во весь рост. – Прощай, Фленушка... Христос с тобой... – продолжала она уже тем строгим, начальственным голосом, который так знаком был в ее обители. – Ступай к гостям... Ты здесь останешься... а я уеду, сейчас же уеду... Не смей про это никому говорить... Слышишь?

Чтоб Патап Максимыч как не узнал... Дела есть, спешные – письма получила... Ступай же, ступай, кликни Анафролию да Евпраксеюшку.

Вышла Фленушка, а Манефа закрыла лицо руками и тихо зарыдала.

Пришли Анафролия с Евпраксией. Воспрянула подвижница. Слез как не бывало. Коротко и внушительно отдав приказ собрать ее тайком в дорогу, пошла она в моленную. Там упала ниц перед темными ликами угодников, едва освещенными догоравшими лампадами, и громко зарыдала.

Встреча с паломником, которого она в живых не чаяла, возмутила духовный мир матери Манефы. Много недреманных молитвенных ночей провела она в продолжение двадцати пяти лет ради забвения бурь и тревог, что мутили ее душу во дни давно отжитой молодости. Заключась в тесной келье, строгая подвижница успела умирить треволнения души. Удаление от мира и его греховной суеты, строгий пост, удручение плоти, чтение *Добротолубия* и других книг аскетического содержания мало-помалу покрывали благодатным покровом забвения все бывшее... Годы шли. Реже и реже восставали в ее памяти образы когда-то дорогих ей людей, и в сердце много и горячо любившей женщины воцарился наконец тихий мир и вожделенный покой. Отжившую для мира черницу перестали тревожить воспоминанья о прежних днях, и если порой возникал перед ее душевными очами милый когда-то образ, строгая инокиня принимала его уже за наваждение лукавого, раскрывала *Добротолубие* и, читая наставление об умной молитве, погружалась в созерцательное богомыслие и, Господу помогающую, прогоняла находившее на нее искушение.

И вдруг не сонное видение, не образ, зримый только духом, а как есть человек во плоти, полный жизни, явился перед нею... Смутилась старица... Насмеялся враг рода человеческого над ее подвигами и богомыслием!.. Для чего ж были долгие годы душевной борьбы, к чему послужили всякого рода лишения, суровый пост, измождение плоти, слезная, умная молитва?.. Неужели все напрасно?.. Минута одна, и как вихрем свеяны двадцатипятилетние труды, молитвы, вздыхания, все, все...

Стоит мать Манефа в моленной перед иконами, плачет горькими, жгучими слезами. Хочет читать, ничего не видит, хочет молиться, молитва на ум нейдет... Мир суетный, греховный мир опять заговорил свое в душевные уши Манефы...

За Волгой, в лесах, в Черной рамени, жил-был крестьянин, богатый мужик. У того крестьянина дочка росла. Дочка росла, красой полнилася. Сама белая, что кипень, волосы белокурые, а брови – черный соболь, глаза

– угольки в огне...

Матреной звали дочку Максима Чапурина.

Высокая, стройная, из себя красивая, девушка цветет молодостью. Много молодцов на ее красоту зарится, но, гордая, спесивая, ласково взглянуть ни на кого не хочет Матренушка. Немало сухоты навела на сердца молодецкие. Роем, бывало, вокруг ее парни увиваются, но степенная, неприступная, глядеть ни на кого не хочет она. И такая была у ней повадка важная, взгляд да речи такие величавые, что ни один парень к ней подступиться не смел. Иной бахвал, набравшись смелости, подвернется порой к спесивой красавице с речами затейными, но Матренушка так его, бывало, отделаёт, что тот со стыда да со сраму не знает, убраться куда.

Хоть бы раз какому ни на есть молодцу ласковое словечко промолвила, хоть бы раз на кого взглянула приветливо.

Подружки ей говаривали:

– Чтой-то ты, Матренушка, гордая такая, спесивая? На всех парней серым волком глядишь. Аль тебе, подруженька, никого по мысли нет?

– Что мне до них, – ответит, бывало, красавица. – Все они нескладные, все несуразные. И без них проживу!

– Не проживешь, Матрена Максимовна. Славишься только, величаешься, – смеясь, говорили ей девушки. – Как без солнышка денечку пробыть нельзя, так без милого веку прожить нельзя.

– Полноте, девушки! – ответит, бывало, белокурая красавица. – Это только одно баловство. Не хочу баловаться, не стану любить никого.

– Полно, полно! От любви, что от смерти, не зачураешься, – говорили ей подруженьки.

– Ну ее совсем, – молвит, бывало, Матренушка. – И знать ее не хочу! Спокойней, девушки, спится, как ни по ком не гребтится.

Девушки правду сказали: не отчуралась от любви Матрена Максимовна. До той поры она подругам не верила, пока не спозналась с Якимом Прохорычем.

Свиделись они впервые на супрядках. Как взглянула Матренушка в его очи речистые, как услышала слова его покорные да любовные, загорелось у ней на сердце, отдалась в полон молодцу... Все-то цветно да красно до той поры было в очах ее, глядел на нее Божий мир светло-радостно, а теперь мутятся глазыньки, как не видят друга милого. Без Якимушки и цветы не цветно цветут, без него и деревья не красно растут во дубравушке, не светло светит солнце яркое, мглою-морозом кроется небо ясное.

Не сказала Матрена Максимовна про любовь свою отцу с матерью, не ронила словечка ни родной сестре, ни подруженькам: все затаила в самой

себе и по-прежнему выступала гордой, спесивою.

А немало ночей, до последних кочетов, с милым другом бывало сижено, немало в те ноченьки тайных любовных речей бывало с ним перемолвлено, по полям, по лугам с добрым молодцем было похожено, по рощам, по лесочкам было погулено... Раздавались, расступались кустики ракитовые, укрывали от людских очей стыд девичий, счастье молодецкое... Лес не видит, поле не слышит; людям не по что знать...

Засылал стороной Яким Прохорыч к Чапурину, узнавал через людей, какие мысли насчет дочери держит он, даст ли ей благословенье за него замуж пойти.

– Не по себе Яким дерево клонит, – отвечал сватам Чапурин. – Бог даст, сыщем зятя почище его. Наш товар вам не к руке, в ином месте поищите.

А как сваты уехали из Осиповки, крикнул к себе Чапурин Матренушку. Спрашивает: как узнал ее Яким Стуколов, где видались они, про какие дела разговоры вели?

Зарделась Матренушка – кумач-кумачом. Слова не может вымолвить. Слезы так и брызнули из очей ее.

– Сказывай!.. Все по ряду сказывай!.. – говорил отец, сурово глядя на Матренушку. Дрожал и обрывался от гнева голос его.

Стоит Матрена Максимовна, как к земле приросла. Молчит, как неживая.

– Говори же, бесстыжая! – закричал Чапурин, схватив дочку за руку. – Говори, не то разражу...

И поднял увесистый кулак над белокурой головкой дочери...

– Батюшка! – крикнула Матренушка и без чувств упала к отцовским ногам.

Поглядел на помертвевшую дочь Максим Чапурин, плюнул и велел работнику лошадей запрягать.

Через час времени он уж вез ее в Комаровский скит.

Там у него двоюродная сестра проживала, мать Платонида. Ей сдал Максим Чапурин дочь свою с рук на руки.

– Береги ты ее, мать Платонида, – говорил он сестре на прощанье. – Глаз не спускай с нее. Чтоб из кельи, опричь часовни, никуда она ноги не накладывала и чтоб к ней никто не ходил. В оба гляди, чтобы грамоток к ней не переносили, чтоб сама не писала. Ни пера, ни бумаги чтоб в заводе у ней не бывало... Сбережешь девку, попомню добро твое, – останешься довольна... Сундук с поклажей, перину с подушками вели взять из саней, да вот тебе покаместь четвертная девке на харчи... А в келарню не пускай



ее, пусть в келье обедает и ужинает... А это тебе, матушка...

Разложил на столе подарки: сукна на шубу, черный платок драдедамовый, китайки на сарафан, икры бурак, сахару голову, чаю фунт, своих пчел меду.

Мать Платонида не знает, как благодарить тороватого братца, а у самой на уме: «Полно теперь, мать Евсталия, платком своим чваниться. Лучше моего нет теперь во всей обители. А как справлю суконную шубу на беличем меху, лопнешь от злости, завидуящие глаза твои».

– Смотри же, мать Платонида, сбереги Матрену, – продолжал Максим Чапурин. – Коим грехом не улизнула бы... Слышишь?

– Слушаю, братец, слушаю, кормилец ты мой, – отвечала Платонида. – Все будет по приказу исполнено. Птице к окошку не дам подлететь, на единую пядь не отпущу от себя Матренушку, келарничать пойду – на замок запру.

– И хорошее дело, – ответил Чапурин. – В самом деле, запирай-ка ее на замок. Надежнее.

– Да что ж это, братец? – спросила наконец мать Платонида. – Аль провинилась у тебя чем Матренушка?

– Большой провинности не было, – хмурясь и нехотя отвечал Чапурин, – а покрепче держать ее не мешает... Берегись беды, пока нет ее, придет, ни замками, ни запорами тогда не поможешь... Видишь ли что? – продолжал он, понизив голос. – Да смотри, чтоб слова мои не в пронос были.

– Чтой-то ты, братец! – затараторила мать Платонида. – Возможное ли дело такие дела в люди пускать?.. Матрена мне не чужая, своя тоже кровь. Вот тебе Спас милостивый, Пресвятая Богородица троеручица – ни единая душа словечка от меня не услышит.

– То-то, смотри, – молвил Чапурин. – Девка молодая, из себя красовита, хахалишка один пришатился к ней... Так, дрянь, голытьба решетная... у самого за душой отродясь железного гроша не бывало, и туда же свататься лезет... Я его сватам оглобли-то поворотил... Вдругорядь не заглянут... Да это что, пустяки, а вот что гребтится мне, матушка: Мотря-то сама, кажись, не прочь бы за того хахалы замуж идти: боюсь, чтоб он не умчал ее, не повенчался б «уходом»... Кажись, легче живому в гроб лечь: больно уж он противен душе моей!.. Встретил бы его, кажется, так бы на месте и положил... А в деревне, сама рассуди, можно разве девку ухоронить?.. Вороват стал народ: умчит ее пес, как пить даст... Так я и рассудил: до поры до времени пусть ее погостит у тебя, дурь-то пока из головы у ней выйдет... Сможешь ли такое дело сделать?

– Как такого дела не сделать? – отозвалась Платонида. – Чужим делывала, не то что своим. У нас в обители на этот счет крепко!.. В позапрошлом году у меня тоже двух девок от «уходу» хоронили: Авдонинских Лукерью да Матюшину Татьяну Сергевну... Ублюла, слава те Господи... Уж каких подвохов они ни подводили, а, слава Богу, ухоронила... Матюшина-то, бывало, – беда!.. И давиться-то хотела, и подушками-то душила себя, и мышьяком травиться было вздумала, а никакого дурна над ней не случилось... Ублюла, братец, ублюла... На этот счет будьте спокойны... А ты вели-ка ей, сударь, преподобному Моисею Мурину молиться; зело избавляет от блудные страсти.

– Молитесь, кому знаете, – отвечал Чапурин. – Мне бы только Мотря цела была, до другого прочего дела нет... Пуще всего гляди, чтоб с тем дьяволом пересылок у ней не заводилось.

– Одно слово: будьте спокойны, братец, – сказала мать Платонида. – Сохраню Матренушку в самом лучшем виде... А кто же таков злодей-то?.. Мне надо знать, чтобы крепче опаску держать... Кто таков полубовник-от у ней?

– Уж и полубовник! – гневно крикнул Чапурин, грозно вскинув глазами на старицу. – Говори, да не заговаривайся... Никакого полубовника нет. Так себе, шальная голова, и все... Стуколовых слыхала?

– Как не знать Стуколовых, – отвечала мать Платонида. – Семен Ермолаич благодетель нашей обители.

– Племянник ихний, Якимко, – молвил Чапурин. – Чтоб близко к скиту не подходил он... Слышишь?

– Слышу, батюшка братец, как не слыхать? – сказала Платонида. – Знаю я Якимку. Экой вор такой!.. А еще все о Божественном – книгочей... Поди-ка вот с ним, какими делами вздумал заниматься!

Неласково расстался Чапурин с дочерью. Сулил плети ременные, вожжи варовенные... Как смертный саван бледная, с опущенными в землю глазами, стояла перед ним Матренушка, ни единого словечка она не промолвила.

Заперли рабу Божию в тесную келийку. Окроме матери Платониды да кривой старой ее послушницы Фотины, никого не видит, никого не слышит заточенница... Горе горемычное, сиденье темничное!.. Где-то вы, дубравушки зеленые, где-то вы, ракитовые кустики, где ты, рожь-матушка зрелая – высокая, овсы, ячмени усатые, что крыли добра молодца с красной девицей?.. Келья высокая, окна-то узкие с железными перекладами: ни выпрыгнуть, ни вылезти... Нельзя подать весточку другу милому...

Мать из деревни приехала к Матренушке да сестра замужняя.

Погоревали, поплакали, пособить горю не могли. Супротив отцовской воли как идти?

Хоть и заверял Платониду Чапурин, что за Матренушкой большой провинности нет, а на деле вышло не то... Платониде такие дела бывали за обычай: не одна купецкая дочка в ее келье девичий грех укрывала.

Не спознали про Матренушкин грех ни отец, ни сестра с братьями и никто из обительских, кроме матушки игуменьи да послушницы Фотиньи. Материца была хоронить концы мать Платонида.

Во время родов мать Платонида не отходила от Матренушки. Зажгла перед иконами свечу богоявленскую и громко, истово, без перерывов, принялась читать акафист Богородице, стараясь покрывать своим голосом стоны и вопли страдальцы. Прочитав акафист, обратилась она к племяннице, но не с словом утешения, не с словом участия. Небесной карой принялась грозить Матренушке за проступок ее.

– Что, тяжело? – язвила ее Платонида, стоя у изголовья. – На том свете не то еще будет!.. Весело теперь? Сладко?.. погоди, не избежать тебе муки вечныя, тьмы кромешныя, скрежета зубного, червя бесконечного, огня негасимого!.. Огонь, жупел, смола кипучая, геенские томления... А это что за муки!

– Матушка!.. Родная ты моя!.. – упавшим голосом, едва слышно говорила девушка. – Помолись Богу за меня, за грешницу...

– Не доходна до Бога молитва за такую! – сурово ответила ей Платонида. – Теперь в аду бесы пляшут, радуются... Видала на иконе страшного суда, какое мученье за твой грех уготовано?.. Видала?.. Слушай: «Не еже зде мучитися люто, но она вечна мука страшна есть и самим бесом трепетна...» Готовят тебе крюки каленые!..

– Матушка! Матушка... прости ты меня Христа ради... Мне бы исправиться... <sup>[27]</sup> Смертный час приходит... Не переживу я...

– Исправой греха твоего не загладить... Многие годы слез покаянья, многие ночи без сна на молитве, строгий пост, умерщвление плоти, отречение от мира, от всех соблазнов, безысходное житье во иноческой келье, черная ряса, тяжелы вериги... Вот чем целить грех твой великий...

– Матушка!.. Если Господь помилует меня... я готова... отрекусь от мира... ото всего... надену... черную рясу...

– Обещаешься ли? – спросила Платонида.

– Обещаюсь, – проговорила девушка.

– Обещаешься ли Христу?

– Обещаюсь...

– Принять ангельский образ иночества?

- Обещаюсь...
- Жить безысходно в обители?
- Обещ...

Громко, пронзительно, нечеловеческим голосом вскрикнула Матренушка... Стихла... Иной, тихий, слабенький человеческий голосок в Платонидиной келье раздался...

– Боже сильный, милостию вся строяй, – молилась вслух Платонида, обратясь к иконам, – посети рабу свою сию Матрену, исцели ю от всякого недуга плотского и душевного, отпусти грех ее, и греховные соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие приязненно...

Дочку Бог дал. Завернула ее Платонида в шубейку, отдала кривой Фотинье, а та мигом в соседнюю деревню Елфимову спроворила.

Там жил один мужичок, Григорий Ильич. Пряниками торговал и по скитам ребячьим делом заправлял: промысел тот не в пример был доходней пряничной торговли. У Ильича в избе ребенка обмыли, в пеленки уложили. Заложил Григорий лошадку – и в Городец. Дорожка давным-давно проторенная. В Городце редку неделю двух-трех подкидышей не бывало. И из скитов в Городец же, бывало, младенцев возил Григорий Ильич. Свезет, сдаст кому следует, а на деньги, что получил от честных матерей, городецких пряников накупит, жемков, орехов и продает их скитским белицам да молодым богомольцам. Выручку получал хорошую.

Елфимовский пряничник девочку сдал на часовенном дворе старице Салоникее. Большая была начетчица та черница – строгая постница, великая ревнительница по древлему благочестию: двенадцать попов на своем веку от церкви в раскол сманила. И тем также по бозе ревновала, чтоб городецких подкидышей непременно посолонь в старую веру крестить.

Делом не волоча, мать Салоникеея снесла девочку к жившему при часовне беглому попу. Тот окрестил и нарек ей имя Фаина.

Мать Салоникеея была восприемницей, часовенный уставщик Василий Баранов был восприемником.

Таково было рождение Фленушки...

В тот же день Салоникеея, идучи от вечерни, увидала на часовенном дворе знакомую молодницу. Зазвала ее к себе, чайком попотчевала, водочкой, пряничками, а потом и стала ей говорить:

– Вот, Авдотьюшка, пятый год ты, родная моя, замужем, а деток Бог тебе не дает... Не взять ли дочку приемную, богоданную? Господь не оставит тебя за добро и в сей жизни и в будущей... Знаю, что достатки ваши не широкие, да ведь не объест же вас девочка... А может статься,

выкупят ее у тебя родители, – люди они хорошие, богатые, деньги большие дадут, тогда вы и справитесь... Право, Авдотьюшка, сотвори-ка доброе дело, возьми в дочки младенца Фленушку.

Авдотьюшка поговорила с мужем и согласилась принять богоданную дочку. И росла у нее Фленушка. Разлихая девчонка росла.

Из семейных о провинности Матрены Максимовны никто не узнал, кроме матери. Отцу Платонида побоялась сказать – крутой человек, насмерть забил бы родную дочь, а сам бы пошел шагать за бугры уральские, за великие реки сибирские... Да и самой матери Платониде досталось бы, пожалуй, на калачи.

Много и горько плакала мать над дочерью, не коря ее, не браня, не попрекая. Молча лила она тихие, но жгучие слезы, прижав к груди своей победную голову Матренушки... Что делать?.. Дело непоправимое!..

В ногах валялась она перед Платонидой и даже перед Фотиньей, Христом-Богом молила их сохранить тайну дочери. Злы были на спесивую Матренушку осиповские ребята, не забыли ее гордой повадки, насмешек ее над их исканьями... Узнали б про беду, что стряслась над ней, как раз дегтем ворота Чапурина вымазали б... И не снес бы старый позора, все бы выместил на Матренушке плетью да кулаками.

И Платонида и Фотинья перед иконой Казанской Богородицы поклялись свято хранить тайну. Начал положили, икону с божницы сняли и во свидетельство клятвы целовали ее перед Матренушкой и перед ее матерью.

Дня через три, по отъезде из скита старухи Чапуриной, к матушке Платониде из Осиповки целый воз подарков привезли. Послан был воз тайком от хозяина... И не раз в году являлись такие воза в Комарове возле кельи Платонидиной. Тайна крепко хранилась.

Хорошо обительской матушке-келейнице держать при себе богатенькую молоденькую родственницу. Как сыр в масле катайся! Всего вдоволь от благостыни родительской, а в обители почет большой. Матушки-келейницы пользуются всяким случаем, чтобы уговорить молоденькую девушку на безысходное житье в скиту.

Стала мать Платонида не по-прежнему за больной ухаживать. Сколько ласки, сколько любви, сколько заботы обо всякой малости! Не надивится Матренушка перемене в строгой, всегда суровой, всегда нахмуренной дотоле тетке...

Тетенька своего достигла – птичка в сетях. Хорошо, привольно, почетно было после того жить Платониде. После матери игуменьи первым человеком в обители стала.

Оправясь от болезни, Матренушка твердо решила исполнить данный обет. Верила, что этим только обетом избавилась она от страшных мук, от грозившей смерти, от адских мучений, которые так щедро сулила ей мать Платонида. Чтение *Книги о старчестве, патериков и Лимонаря* окончательно утвердили ее в решимости посвятить себя Богу и суровыми подвигами иночества умиласердить прогневанного ее грехопадением Господа... Ад и муки его не выходили из ее памяти...

Немало просьб, немало слез понадобилось, чтоб вымолить у отца согласие на житие скитское. И слышать не хотел, чтобы дочь его надела иночество.

– Лучше за Якима замуж иди, – сказал он Матрене после долгих, напрасных уговоров. – Хоть завтра пушай сватов засылает: хочешь, честью отдам, хочешь, «уходом» ступай.

Зарделась Матренушка. Радостью блеснули глаза... Но вспомнила обет, данный в страшную минуту, вспомнила мучения ада...

– Что ж, Мотря? – спрашивал отец. – Посылать, что ли, к жениху тайную весточку?

– Жених мой – царь небесный. Иного не знаю и не желаю, – твердо отвечала Матрена Максимовна.

Отец нахмурился и склонил голову. Немного подумав, сказал он:

– Ну, делай как знаешь... Прощай!

Целую ночь простояла на молитве девушка... Стоит, погружаясь глубже и глубже в богомыслие, но помысел мятежного мира все мутит душу ее. Встают перед душевными очами ее обольстительные образы тихой, сладкой любви. Видится ей, что держит она на одной руке белокурую кудрявую девочку, другою обнимает отца ее, и сколько счастья, сколько радости в его ясных очах... Она чувствует жаркие объятья ее, его губы чувствуют горячий поцелуй мужа... Мужа?.. «Грядет мира помышление греховно, борют мя окаянную страсти», – шепчет она, дрожа всем телом. «Помилуй мя, Господи, помилуй мя! Очисти мя скверную, безумную, неистовую, злопытливую...»

И взяв бутылку из-под деревянного масла, стоявшую под божницей, разбила ее вдребезги об угол печи, собрала осколки и, став на них голыми коленами ради умерщвления плоти, стала продолжать молитву.

Матрену Максимовну взяла под свое крылышко сама мать игуменья и, вместе с двумя-тремя старухами, в недолгое время успела всю душу перевернуть в поблекшей красавице...

Вольный ход, куда хочешь, и полная свобода настали для недавней заточенницы. Но, кроме часовни и келий игуменьи, никуда не ходит она.

Мерзок и скверен стал ей прекрасный Божий мир. Только в тесной келье, пропитанной удушливым запахом воска, ладана и деревянного масла, стало привольно дышать ей... Где-то вы, кустики ракитовые, где ты, рожь высокая, зыбучая?.. Греховно, все греховно в глазах молодой белицы...

Однажды, тихим летним вечером, вышла она за скитскую околицу. Без дела шла и сама не знала, как забрела к перелеску, что рос недалеко от обителей... Раздвинулись кустики, перед ней – Яким Прохорыч.

– Ясынька ты моя, ненаглядная!.. Радость ты моя!.. Голубушка!.. – рыдая и страстно дрожа всем телом, вскрикнул Стуколов. Стремительно бросился он к подруге.

Она остановилась... Глаза вспыхнули... Еще одно мгновение – и она была бы в объятиях друга... Но обет!.. Страшный суд, вечные муки!..

– Бес!.. Проклятый!.. – крикнула она, высоко подняв правую руку. – Прочь!.. Не скверни святого места!.. Прочь!..

– Матренушка!.. Милая!.. Разлапушка!.. Ведь это я... я... Аль не узнала?.. Вглядись хорошенько!

– Прочь, говорят тебе, – отвечала она. – Не знаю тебя... Змей, искуситель!.. Оставь!..

И спокойной поступью пошла к своей келье.

С того дня за Волгой не стало ни слуху ни духу про Стуколова.

Через три дня после этой встречи бледную, исхудалую девушку вели в часовню; там дали ей в руки зажженную свечу... Начался обряд... Из часовни вышла новоиспеченная мать Манефа...

С первого шага Манефа стала в первом ряду келейниц. Отец отдал ей все, что назначил в приданое, сверх того щедро оделял дочку-старницу деньгами к каждому празднику. Это доставило Манефе почетное положение в скиту. Сначала Платонида верховодила ею, прошел год, другой, Манефа старше тетки стала.

Сделалась она начетчицей, изощрилась в словопрениях – и пошла про нее слава по всем скитам керженским, чернораменским. Заговорили о великой ревнительнице древнего благочестия, о крепком адаманте старой веры. Узнали про Манефу в Москве, в Казани, на Иргизе и по всему старообрядчеству. Сам поп Иван Матвеич с Рогожского стал присылать ей грамотки, сама мать Пульхерия, московская игуменья, поклоны да подарочки с богомольцами ей посылала.

Умерла Платонида, келья ее Манефе досталась. Стала она в ней полной хозяйкой, завися от одной только игуменьи матери Екатерины.

– Сиротку в Городце нашла я, матушка, – сказала она однажды игуменье. – Думаю девочку в дочки взять, воспитать желаю во славу

Божью. Благословите, матушка.

Екатерина сидела за *Кирилловой книгой*. Медленно подняла она голову и, глядя через очки на Манефу, спросила:

– Велика ль девочка-то?

– Пять лет, шестой пошел, – отвечала мать Манефа.

– Пять лет... шестой... – медленно проговорила игуменья и улыбнулась. – Это выходит – она в тот год родилась, как ты в обитель вступила. Ну что ж! Бог благословит на доброе дело.

Смущенная словами Екатерины, Манефа побледнела как полотно и до земли поклонилась игуменье.

Григорий Ильич через несколько дней привез из Городца хорошенькую бойкую девочку Флену Васильевну.

Выросла Фленушка в обители под крылышком родной матушки. Росла баловницей всей обители, сама Манефа души в ней не слышала. Но никто, кроме игуменьи, не ведал, что строгая, благочестивая инокиня родной матерью доводится резвой девочке. Не ведала о том и сама девочка.

Прошло еще сколько-то лет, скончалась в обители игуменья мать Екатерина. После трехдневного поста собирались в часовню старицы, клали жеребьи за икону Пречистой Богородицы, пели молебный канон Спасу милостивому, вынимали жребий, кому сидеть в игуменьях.

Манефе жребий вынулся. В ноги ей вся обитель разом поклонилась, настоятельский жезл ей поднесли и с пением духовных песен повели ее в игуменские кельи...

Разумно и правдиво правила Манефа своей обителью. Все уважали ее, любили, боялись. Недругов не было. «Давно стоят скиты керженские, чернораменские, будут стоять скиты и после нас, а не бывало в них такой игуменьи, как матушка Манефа, да и впредь вряд ли будет». Так говорили про Манефу в Комарове, в Улангере, в Оленеве и в Шарпане и по всем кельям и сиротским домам скитов маленьких.

Обительские заботы, чтение душеполезных книг, непрестанные молитвы, тяжелые труды и богомыслие давно водворили в душе Манефы тихий, мирный покой. Не тревожили ее воспоминания молодости, все бывшее покрылось забвением. Сама Фленушка не будила более в уме ее памяти о прошлом. Считая Якима Прохорыча в мертвых, Манефа внесла его имя в синодики постенный и литейный на вечное поминовение.

И вдруг нечаянно, негаданно явился он... Как огнем охватило Манефу, когда, взглянув на паломника, она признала в нем дорогого когда-то ей человека... Она, закаленная в долгой борьбе со страстями, она, победившая в себе ветхого человека со всеми влечениями к миру, чувственности, суете,



она, умертвившая в себе сердце и сладкие его обольщения, едва могла сдержать себя при виде Стуколова, едва не выдала людям давнюю, никому не ведомую тайну.

Слушая длинный рассказ паломника, Манефа духовно утешалась и радовалась. «Благодарю тебя, Господи, – мысленно говорила она, – о твоих благодеяниях, милостиво на нас бывших. Не погнушался еси нашею скверною и грешника сего суща воздвигнул еси потрудиться и послужити во славу имени твоего!»

Нелицемерен был поклон ее перед бывшим любовником. Поклонилась она не любовнику, а подвижнику, благодарила она трудника, положившего душу свою на исканье старообрядского святительства... Ни дубравушки зеленые, ни кусты ракитовые не мелькнули в ее памяти...

Но едва отошла от паломника, все ей вспомнилось... Бежать, бежать скорей!..

Бежать не удалось... Патап Максимыч помешал... Надо жить под одной кровлею с ним... И Фленушка тут же... Бедная, бедная!.. Чует ли твое сердечушко, что возле тебя отец родной!

Стоит Манефа перед темными ликами угодников, хочет читать – не видит, хочет молиться – молитва на ум нейдет...

– Просвети ум мой, Господи, – шепчет она, – очисти сердце мое!..

А в ушах звучат то веселые звуки деревенского хоровода, то затейный хохот на супрядках, то тихий, ласкающий шепот во ржах...

Затряслась всем телом Манефа...

– О Господи, Господи! – шептала она, взирая на икону Спаса. И холодная, как лед, без памяти, без сознания, тихо опустилась на помост моленной.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На другой день столы работникам и народу справлялись. В горницах весело шел именинный пир. Надивиться не могли Снежковы на житье-бытье Патапа Максимыча... В лесах живет, в захолустье, а пиры задает, хоть в Москве такие.

Провожая Снежковых, Патап Максимыч не только не повел речи про сватовство, но даже намека не сделал, а когда на прощанье Данило Тихоныч завел было речь о том, Патап Максимыч сказал ему:

– Не раненько ль толковать об этом, Данило Тихоныч? Дело-то, кажись бы, не к спеху. Время впереди, подождем, что Бог пошлет. Есть на то воля Божья, дело сделается, нет – супротив Бога как пойдешь?

– Оно, конечно, воля Божия первой всего, – сказал старый Снежков, – однако ж все-таки нам теперь бы желательно ваше слово услышать, по тому самому, Патап Максимыч, что ваша Настасья Патаповна очень мне по нраву пришлась – одно слово, распрекрасная девица, каких на свете мало живет, и паренек мой тоже говорит, что ему невесты лучше не надо.

– На добром слове покорно благодарим, Данило Тихоныч, – отвечал Патап Максимыч, – только я так думаю, что если Михайло Данилыч станет по другим местам искать, так много девиц не в пример лучше моей Настасьи найдет. Наше дело, сударь, деревенское, лесное. Настасья у меня, кроме деревни да скита, ничего не видывала, и мне сдается, что такому жениху, как Михайло Данилыч, вряд ли она под стать подойдет, потому что не обывала к вашим городским порядкам.

– Это не беда. Долго ль приобвыкнуть! – возразил Снежков. – Нет уж, вы напрямик скажите, Патап Максимыч, можно нам надеяться аль не можно?

– Да чего же тут надеяться-то? – говорил Патап Максимыч. – От меня ни отказу, ни приказу нет. Ведь хоша у нас с вами, Данило Тихоныч, и были разговоры, так ведь это так... Мало ль что за столиком с рюмочками промеж приятелей говорится. Вы не всяко лыко в строку пускайте!.. Опять же было у нас с вами говорено так: если делу тому сделаться, так разве на ту зиму. Стало, и будем ждать той зимы. Там что Господь укажет... А все ж моя Настасья не порогом поперек вам стала, ищите где лучше и на мне не взыщите, коли до той поры Настасье другой жених по мысли найдется. Я воли с нее не снимаю, у девки свой разум в голове, – сама должна о судьбе своей рассудить.

– Как же это понимать надобно, Патап Максимыч? – немного помолчав, спросил Снежков. – Ведь это значит отказ, как длинный шест.

– Где же тут отказ, Данило Тихоныч? – сказал Патап Максимыч. – Никакого отказа вам от меня... Отказ бывает, когда сватовство идет, а разве у нас сватовство в настоящем виде, как следует, было? Разговоры только были. По-приятельски поболтали от нечего делать... Да и тут было сказано – до зимы ожидать... Там, опять-таки говорю я вам, увидим, что Бог даст... И отказывать не отказываю, и обещать не обещаю... Опять же надо прежде Настасью спросить, ведь не мне жить с Михайло Данилычем, а ей: с дочерей я воли не снимаю, хочет – иди с Богом, а не хочет – неволить не стану.

– Помнится мне, в Городце не такие речи я слышал от вас, Патап Максимыч? – с усмешкой промолвил Снежков. – Тогда было, кажись, говорено: «Как захочу, так и сделаю».

Передернуло Патапа Максимыча. Попрек Снежкова задел его за живое. Сверкнули глаза, повернулось было на языке сказать: «Не отдам на срам детище, не потерплю, чтобы голили ее перед чужими людьми...» Но сдержался и молвил с досадой:

– В голове шумело, оттого и соврал. Татарин, что ль, я, девку замуж отдавать, ее не спросясь? Хоть и грешные люди, а тоже христиане.

Распрощались, по-видимому, дружелюбно, но Патап Максимыч понимал, что дружба его со Снежковым ухнула. Не простит ему Данило Тихоныч во веки веков...

Проводив Снежковых, пошел Патап Максимыч в подклет и там в боковушке Алексея уселся с паломником и молчаливым купцом Дюковым. Был тут и Алексей. Шли разговоры про земляное масло.

– Так и в самом деле в наших местах такая благодать водится? – спрашивал Патап Максимыч паломника.

– Есть, – отвечал Яким Прохорыч. – В большом даже избытке. И чудное дело, – прибавил он, – сколько стран, сколько земель исходил я на своем веку, а такой слепоты в людях, как здесь, нигде не видывал! Люди живут – хоть бы Ветлугу взять – беднота одна, лес рубят, луб дерут, мочало мочат, смолу гонят – бьются, сердечные, век свой за тяжелой работой: днем недоедят, ночью недоспят... О, как бы не ихняя слепота!.. Стоит только землю лопатой копнуть, и такое тут богатство, что целый свет можно бы обогатить. По золоту ходят, а его не примечают... Бабы у них дресвой полы моют. Не дресвой они моют, червонным золотом... Вот ведь что значит, как человек-от в понятии не состоит! Известно: живут в лесах, людей, которые

бы до всего доходили, не видывали... Где им знать?

– Где ж эти самые места? – спросил Патап Максимыч.

– Сказано – на Ветлуге, – отвечал Стуколов.

– Ветлуга-то велика. Ты скажи, которо место, – приставал к паломнику Патап Максимыч.

– Где именно те места, покаместь не скажу, – отвечал Стуколов. – Возьмешься за дело как следует, вместе поедem, либо верного человека пошли со мной.

– Я хоть сейчас готов, – сказал Патап Максимыч.

– Сейчас нельзя, – заметил Стуколов. – Чего теперь под снегом увидишь? Надо ведь землю копать, на дне малых речонок смотреть... Как можно теперь? Коли условие со мной подпишешь, поедem по весне и примемся за работу, а еще лучше ехать около Петрова дня, земля к тому времени просохнет... болотисто уж больно по тамошним местам.

– Летом нельзя мне, – заметил Патап Максимыч. – Да кума могу попросить, Ивана Григорьича. А коли ему недосужно, вот его спосылаю, – прибавил он, показывая на Алексея. – Теперь-то что же надо делать?

– Капиталом войти, потому расходы, – сказал Яким Прохорыч. – Условие надо писать, потом в сроки деньги вносить.

– На что же деньги-то? – спросил Патап Максимыч.

– Мало ль на что, – отвечал Стуколов. – Шурфы бить, то есть пробы в земле делать, землю купить, коли помещичья, а если казенная, в Питере хлопотать, чтобы прииск за нами записали... Да и потом, мало ль на что денег потребуется. Золото даром не дается... Зарой в землю деньги, она и станет тебе оплачивать.

– Да ты Расскажи по порядку, как этим делом надо орудовать, как его в ход-от пустить? – допрашивал паломника Патап Максимыч. – Хоть наше дело не то, чтобы луб драть, однако ж по этому делу, что про лыкодеров ты молвил, то и к нашему брату пристало: в понятии не состоим, взяться не умеем.

– То-то и есть! – сказал Стуколов. – Без умелых людей как за такое дело приниматься? Сказано: «Божьей волей свет стоит, человек живет умением». Досужество да уменье всего дороже... Вот ты и охоч золото добывать, да не горазд – ну и купи досужество умелых людей.

– Да как его купить-то? – усмехнувшись, молвил Патап Максимыч. – На базаре не продают.

– Вот что, – сказал Стуколов, – складчину надо сделать, компанию этакую. Слыхал про компании, что складочными деньгами дела ведут?

– Как не слыхать? – молвил Патап Максимыч. – Только в этом деле,

сказывают, много греха живет – обижают.

– На то глаза во лбу да ум в мозгу, чтоб не обидели, – отвечал Стуколов. – Видишь ли: чтоб начать дело, нужен капитал, примером тысяч в пятьдесят серебром.

– В пятьдесят! – воскликнул Патап Максимыч. – Эк тебя!.. Ровно про полтину сказал. Пятьдесят тысяч деньги, брат, не малые, зря не валяются... Эко слово молвил! Пятьдесят тысяч!.. Да у меня, брат, и половины таких денег в ларце-то не найдется, да если и кума, и Михайлу Васильича взять, так и всем нам пятидесяти тысяч наличными не набрать. У нас ведь обороты, торговля... У торгового человека наличными деньги не лежат. А заведенных дел ради твоего золота я не нарушу... Что-то еще там на Ветлуге будет, а заведенное дело изведено – с ним идешь наверняка. Хоть и сулишь ты горы золота, однако же я скажу тебе, Яким Прохорыч, что домашний теленок не в пример дороже заморской коровы.

– Так как же, Патап Максимыч, будет наше дело? – после минутного молчания спросил Стуколов.

– Да уж верно так и будет, что твои блины отложить до другого дня. Неподходящая сумма, – отвечал Патап Максимыч.

– Меньше нельзя, – равнодушно отвечал Стуколов. – Пятидесяти тысяч не пожалеешь – миллионами будешь ворочать... Слышал, как в Сибири золотом разживаются?

– Слышать-то слышал, – отвечал Патап Максимыч. – Да ведь то Сибирь, место по этой части насиженное, а здесь внове, еще Бог знает как пойдет.

– Ветлужские прииски богаче сибирских – верь моему слову, – сказал Стуколов. – Гляди...

И вынул паломник из замшевого мешка полгорсти золотого песку и стал пересыпать его. Глаза так и загорелись у Патапа Максимыча. Закусил он губу.

– Этой благодати на Ветлуге больше, чем в Сибири, – говорил Стуколов, – а главное, здешняя сторона нетронутая, не то что Сибирь... Мы первые, мы сметанку снимем, а после нас другие хлебай простоквашу...

– Да впрямь ли ты это на Ветлуге нашел? – спросил Патап Максимыч, не спуская глаз с золотой струи, падавшей из рук паломника.

– Божиться, что ль, тебе?.. Образ со стены тащить? – вспыхнул Стуколов. – И этим тебя не уверишь... Коли хочешь увериться, едем сейчас на Ветлугу. Там я тебя к одному мужичку свезу, у него такое же маслицо увидишь, и к другому свезу и к третьему.

– Что ж, это можно, – сказал Патап Максимыч. – Сколько ж денег потребуется?

– Да покаместь гроша не потребуется, – отвечал Стуколов. – Пятьдесят тысяч надо не сразу, не вдруг. Коли дело плохо пойдет, кто нам велит деньги сорить по-пустому? Вот как тебе скажу – издержим мы две аль три тысячи на ассигнации, да если увидим, что выгоды нет, вдаль не поедем, чтоб не зарваться...

– Две либо три тысячи! – раздумывал Патап Максимыч. – Ну это еще туда-сюда... На этом можно помириться. А насчет пятидесяти серебра – нет, брат, шалишь, мамонишь.

– Как вперед загадывать? – отвечал Яким Прохорыч. – Может статья, и много меньше пятидесяти тысяч положишь, а года в два миллион наживешь.

– Уж и миллион? Не широко ль загинаешь? – перебил Патап Максимыч.

– Не один миллион, три, пять, десять наживешь, – с жаром стал уверять Патапа Максимыча Стуколов. – Лиха беда начать, а там загребай деньги. Золота на Ветлуге, говорю тебе, видимо-невидимо. Чего уж я – человек бывалый, много видал золотых приисков – и в Сибири и на Урале, а как посмотрел я на ветлужские палестины, так и у меня с дива руки опустились... Да что тут толковать, слушай. Мы так положим, что на все на это дело нужно сто тысяч серебром.

– Значит, это дело надо оставить, – махнув рукой, сказал Патап Максимыч. – Сто тысяч!.. Эк у него тысячи-то – ровно парена репа...

– А ты слушай, речи не перебивай, – прервал его Стуколов. – Наличными на первый раз – сказал я тебе – две либо три тысячи ассигнациями потребуется.

– Хоть убей – в толк не возьму, – возразил Патап Максимыч. – Про какие же сто тысяч поминаешь?

– Да ты не перебивай моей речи, а то ввек с тобой не столкнешься, – с досадой молвил Стуколов. – Сто тысяч!.. Эти сто тысяч надо делить на сто паев, по тысяче рублей пай. Понимаешь?

– Дальше что? – молвил Патап Максимыч.

– Пятьдесят паев ты себе возьми, вложивши за них пятьдесят тысяч, – продолжал Яким Прохорыч. – Не теперь, а после, по времени, ежели дело на лад пойдет. Не сможешь один, товарищей найди: хоть Ивана Григорьича, что ли, аль Михайлу Васильича. Это уж твое дело. Все барыши тоже на сто паев – сколько кому достанется.

– Ладно, хорошо, а другие-то пятьдесят паев куда? – спросил Патап Максимыч.

– Епископу Софронию, – отвечал паломник.

– Даром?

– Даром.

– И половина барышей ему? – спросил Патап Максимыч.

– Конечно.

– Жирно, брат, съест! – возразил Патап Максимыч. – Нет, Яким Прохорыч, нечего нам про это дело и толковать. Не подходящее, совсем пустое дело!.. Как же это? Будь он хоть патриарх, твой Софрон, а деньги в складчину давай, коли барышей хочешь... А то – сам денег ни гроша, а в половине... На что это похоже?.. За что?

– А за то, что он первый опознал про такое богатство, – отвечал Стуколов. – Вот, положим, у тебя теперь сто тысяч в руках, да разве получишь ты на них миллионы, коль я не укажу тебе места, не научу как надо поступать? Положим, другой тебя и научит всем порядкам: как заявлять прииски, как закрепить их за собой... А где копать-то станешь?.. В каком месте прииск заявишь?.. За то, чтобы знать, где золото лежит, давай деньги епископу... Да и денег не надо – барыши пополам.

Задумался Патап Максимыч.

– Было бы с него и десяти паев, – сказал он. – Право, больше не стоит – сам посуди, Якимушко.

– Меньше половины нельзя, – решительно ответил Стуколов. – У него в Калужской губернии такое же дело заводится, тоже на пятидесяти паях. Землю с золотом покупают теперь у помещика тамошнего, у господина Поливанова, может, слышал. Деньги дали тому господину немалые, а епископ своих копейки не истратил.

– Ну пускай бы уж его пятнадцать паев взял. Больше, право, обидно будет, – сказал Патап Максимыч.

– Как сказано, так и будет, а не хочешь, других охотников до золота найдем, – спокойно ответил Стуколов.

И, вынув опять замшевый мешок, насыпал из него песок себе на руку перед Патапом Максимычем.

Не раз и не два такие разговоры велись у Патапа Максимыча с паломником, и все в подклете, все в Алексеевой боковуше. Были при тех переговорах и кум Иван Григорыч, и удельный голова Михайло Васильич. Четыре дня велись у них эти переговоры, наконец решился Патап Максимыч взяться за дело.

Решили до поры до времени про затеваемое дело никому не сказывать. Стуколов говорил, что если пойдет оно в огласку – пиши пропало. В сибирских тайгах, по его словам, зачастую бывает, что один отыщет прииск, да ненароком проболтается, другой тотчас подхватит его на свое

имя. После масленицы Патап Максимыч обещался съездить на Ветлугу вместе с паломником повидать мужиков, про которых тот говорил, и, ежели дело окажется верным, написать со Стуколовым условие, отсчитать ему три тысячи ассигнациями, а затем, если дело в ход пойдет и окажутся барыши, давать ему постепенно до пятидесяти тысяч серебром.

Патап Максимыч только и думает о будущих миллионах. День-деньской бродит взад и вперед по передней горнице и думает о каменных домах в Петербурге, о больницах и богадельнях, что построит он миру на удивление, думает, как он мели да перекаты на Волге расчистит, железные дороги как строить зачнет... А миллионы все прибавляются да прибавляются... «Что ж, – думает Патап Максимыч, – Демидов тоже кузнецом был, а теперь посмотри-ка, чем стали Демидовы! Отчего ж и мне таким не быть... Не обсевок же я в поле какой!..»

На первой недели великого поста Патап Максимыч выехал из Осиповки со Стуколовым и с Дюковым. Прощаясь с женой и дочерьми, он сказал, что едет в Красную рамень на крупчатные свои мельницы, а оттуда проедет в Нижний да в Лысково и воротится домой к середокрестной неделе, а может, и позже. Дом покинул на Алексея, хотя при том и Пантелею наказал глядеть за всем строже и пристальней.

Накануне отъезда, вечером, после ужина, когда Стуколов, Дюков и Алексей разошлись по своим углам, Аксинья Захаровна, оставшись с глазу на глаз с мужем, стала ему говорить:

– Максимыч, не серчай ты на меня, кормилец, коли я что не по тебе молвлю, выслушай ты меня, ради Христа.

– Чего еще надо? – взглянув на жену исподлобья, спросил Патап Максимыч.

– Завтра уедешь ты?..

– Ну?

– На кого же дом-от покидаешь? Прежде Савельич, царство ему небесное, был, за всем, бывало, приглядит, теперь-то кто?

– Кто на его месте... Не могла догадаться? – сказал Патап Максимыч.

– Алексей Трифоныч, значит? – тихо проговорила Аксинья Захаровна.

– Что ж, по-твоему, на Никифора, что ли, дом-от покинуть? – рывкнул Патап Максимыч. – Так он в неделю весь его пропьет да и тебя самое в кабаке заложит.

– Про этого врага у меня и помышленья нет, Максимыч, – плаксиво отвечала Аксинья Захаровна. – Себя сгубил, непутный, да и с меня головоньку снимает, из-за него только попреки одни... Век бы его не



видела!.. Твоя же воля была оставить Микешку. Хоть он и брат родной мне, да я бы рада была радешенька на сосне его видеть... Не он навязался на шею мне, ты, батько, сам его навязал... Пуцай околел бы его где-нибудь под кабаком, ох бы не молвила... А еще попрекаешь!

– Замолола!.. Пошла без передышки в пересыпку! – хмурясь и зевая, перебил жену Патап Максимыч. – Будет ли конец вранью-то? Аль и в самом деле бабьего вранья на свинье не объедешь?.. Коли путное что хотела сказать – говори скорей, – спать хочется.

– Да я все насчет Алексея Трифоныча, – робко молвила Аксинья Захаровна.

– Что еще такое?

– Да как прикажешь: сюда ли ему без тебя обедать ходить аль в подклет ему относить? – спрашивала Аксинья Захаровна.

– И здесь места не просидит, пуцай с вами обедает, – сказал Патап Максимыч.

– Ладно ль это будет, кормилец? Сам посуди, что люди зачнут говорить: хозяин в отлучке, дочери невесты, молодой парень с ними ест да пьет... И не знай чего наскажут! – говорила Аксинья Захаровна.

– Не смеют!.. – решительно сказал Патап Максимыч. – Да и парень не такой, чтобы вздумал нехорошее дело... Не из таких, что, где пьют да едят, тут и пакостят... Бояться нечего.

– Да так-то оно так, Максимыч, – отвечала Аксинья Захаровна. – А все бы лучше, кабы он в подклете обедал и без тебя бы наверх не ходил... Что ему здесь делать?.. Не веришь ты, кормилец, все сердечушко изныло у меня...

– Да отвяжись ты совсем, – с нетерпением крикнул Патап Максимыч, – ну, пуцай его в подклете обедает!.. Ты этого парня понять не можешь. Другого такого не сыщешь... Можешь ли ты знать, какие я насчет его мысли имею?

– Как я могу знать, Максимыч? – отвечала Аксинья Захаровна. – Где же мне?

– Так, значит, и молчи, – ответил Патап Максимыч.

– Да что ж такое?.. Какие у тебя мысли про Алексея Трифоныча? – заискивающим голосом спросила Аксинья Захаровна.

– О чем не сказывают, про то не допытывайся, – ответил Патап Максимыч. – Придет время, скажу... а теперь спать пора.

У Патапа Максимыча в самом деле новые мысли в голове забродили. Когда он ходил взад и вперед по горницам, гадая про будущие миллионы, приходило ему и то в голову, как дочерей устроить. «Не Снежковым чета

женихи найдутся, – тогда думал он, – а все ж не выдам Настасью за такого шута, как Михайло Данилыч... Надо мне людей богобоязненных, благочестивых, не скоморохов, что теперь по купечеству пошли. Тогда можно и небогатого в зятя принять, богатства на всех хватит».

И попал ему Алексей на ум.

Если бы Настя знала да ведала, что промелькнуло в голове родителя, не плакала бы по ночам, не тосковала бы, вспоминая про свою провинность, не приходила бы в отчаянье, думая про то, чему быть впереди...

Собрались в путь-дорогу. Пробыв день-другой на мельницах в Красной рамени, Патап Максимыч со спутниками поехал на Ветлугу прямою дорогой через Лыковщину. Надобно было верст восемьдесят ехать лесами, где проезжих дорог не бывало, только одни узкие тропы меж высоких сугробов проложены. По тем тропам лесники в зимницы ездят и вывозят к Керженцу для сплава нарубленный лес. Сторона та совсем не жилая, летом нет по ней ни езду конного, ни ходу пешего, только на зиму переселяются туда лесники и живут в дремучих дебрях до лесного сплава в половодье.

Поехали путники в двоих санях, каждые тройкой гусем запряжены. Иначе и ездить нельзя по лесным тропам. Сначала путь шел торный, – по этому пути обозы из Красной рамени в Лысково ходят, – но когда переехали Керженец и попали в лесную глушь, что тянется до самой Ветлуги и дальше за нее, езда стала затруднительна. Седоки то и дело задевали головами за ветки деревьев и их засыпало снегом, которым точно в саваны окутаны стояли сосны и ели, склонясь над тропой. Чуть не через каждые полторы-две версты приходилось останавливаться и отгребаться от снега. Тропа была неровная, сани то и дело наклонялись то на одну, то на другую сторону, и седокам частенько приходилось вываливаться и потом, с трудом выбравшись из сугроба, общими силами поднимать свалившиеся набок сани. Тропа все одна, нет своротов ни направо ни налево, и нет никаких признаков близости человека: ни осека,<sup>[28]</sup> ни просеки, ни даже деревянного двухсаженного креста, каких много наставлено по заволжским лесам, по обычаю благочестивой старины.<sup>[29]</sup> И никакого звука. Разве только затрещит рябчик, перелетая с дерева на дерево, либо забурчит вдали глухарь да заскрипит надломленное дерево, качаемое ветром. Заячьи и волчьи следы частенько пересекают тропу, иногда попадает след раздвоенных копыт дикой коровы<sup>[30]</sup> либо широкой лапы лесного боярина

Топтыгина, согнанного с берлоги охотниками.

Перебравшись за Керженец, путникам надо было выбраться на Ялокшинский зимняк, которым ездят из Лысково в Баки, выгадывая тем верст пятьдесят против объездной проезжей дороги на Дорогучу. Но вот едут они два часа, три часа, давно бы надо быть на Ялокшинском зимняке, а его нет как нет. Едут, едут, на счастье, тепло стало, а то бы плохо пришлось. Не дается зимняк, да и полно. А лошади притомились.

– Да туда ль мы едем? – спросил Патап Максимыч сидевшего на козлах работника. – Коим грехом не заблудились ли?

– Где заблудиться, Патап Максимыч! – отвечал работник. – Дорога одна, своротов нет, сами видели.

– Да в Белкине-то хорошо ли ты расспросил у мужиков про дорогу?

– Как же не расспросить, все расспросил как следует. Сказали: как проедешь осек, держи направо до крестов, а с крестов бери налево, тут будет сосна, раскидистая такая, а верхушка у ней сухая, от сосны бери направо... Так мы и ехали.

– У крестов сворачивали? – спрашивал Патап Максимыч.

– Как же не сворачивать, направо своротил, как было сказано.

– И у сосны сворачивал.

– И у сосны своротил, – ответил работник. – На ней еще ясак вырублен, должно быть, бортовое дерево. Тут только вот одного не вышло против того, что сказывали ребята в Белкине.

– А что говорили ребята? – спросил Патап Максимыч.

– Да сказывали: будет маленький долок, и как-де переедешь долок, сосна будет с обеих сторон отесанная: а тут и Керженец.

– Ну?

– Долок-от был, еще мы вывалились тут, а тесаной сосны не видать, ан на Керженец выехали.

– Стало быть, тут мы и спутались – закричал, разгорячась, Патап Максимыч. – Чтоб тебе высохнуть, дурьи твои глаза! Зачем тесану сосну прозевал?

– Да не было ее, Патап Максимыч, – отвечал оторопевший работник. – Не родить же ее мне, коли нет.

– Да ведь тебе белкински ребята говорили: держи на сосну. Для че не держал? – кричал Патап Максимыч.

– Да где ж мне ее взять, сосну-то? Ведь не спрятал я ее. Что ж мне делать, коли нет ее, – жалобно голосил работник. – Разве я тому делу причинен? Дорога одна была, ни единого сворота.

– Да сосна-то где? – закричал Патап Максимыч, хватив увесистым

кулаком работника по загорбку.

– Может статья, срубили, – пропищал, нагнувшись на передок, работник.

– Срубили! Коему лешему порчену сосну рубить, коль здорового леса видимо-невидимо! – орал Патап Максимыч. – Стой, чертова образина!

Работник остановил лошадей. Понурился, они тяжело дышали, пар так и валил с них. Патап Максимыч вылез из своих саней и подошел к задним, где сидел Стуколов. Молчаливый Дюков, уткнув голову в широкий лисий малахай, спал мертвым сном.

– Так и есть, заблудились, – сказал Патап Максимыч паломнику. – Что тут станешь делать?

– Да сам-то ты ездил ли прежде по этим дорогам? – спросил его Стуколов.

– Сроду впервые, – отвечал Патап Максимыч.

– И работники не езжали? – спросил Стуколов.

– Како езжать? – отозвался Патап Максимыч. – Кого сюда леший понесет? Ведь это сам ты видишь, что такое: выехали – еще не брезжилось, а гляди-ка, уж смеркаться зачинает. Где мы, куда заехали, сам леший не разберет... Беда, просто беда... Ах, чтобы всех вас прорвало! – ругался Патап Максимыч. – И понесло же меня с тобой: тут прежде смерти живот положишь!

– В сибирских тайгах то ли бывает, – отозвался паломник. – По неделям плутают, случается, что и голодной смертью помирают...

– Голодом помереть не помрем, пирогов да всякой всячины у нас, пожалуй, на неделю хватит, – спокойно отвечал Патап Максимыч. – И лошадям корму взято довольно. А заночевать в лесу придется... Хоть бы зимница какая попалась... Ночью-то волки набегут: теперь им голодно. Пора же такая, что волки стаями рыщут. Завтра ихний день: звериный царь именинник. [\[31\]](#)

– Бог милостив, – промолвил паломник. – И не из таких напастей Господь людей выносит... Не суетись, Патап Максимыч, – надо дело ладом делать. Сам я глядел на дорогу: тропа одна, поворотов, как мы от паленой с верхушки сосны отъехали, в самом деле ни единого не было. Может, на эту зиму лесники ину тропу пробили, не прошлогодною. Это и в сибирских тайгах зачастую бывает... Не бойся – со мной matka есть, она на путь выведет. Не бойся, говорю я тебе.

– Какая тут matka? Бредишь ты, что ли? – с досадой молвил Патап Максимыч. – Тут дело надо делать, а он про свою матку толкует.

– Вот она, – сказал Стуколов, вынимая из дорожного кошель круглую

деревянную коробку с компасом. – Не видывал? То-то... та matka корабли водит, без нее, что в море, что в пустыне аль в дремучем лесу, никак невозможно, потому она все стороны показывает и сбиться с пути не дает. В Сибири в тайгу без матки не ходят, без нее беда, пропадешь.

Стуколов показал Патапу Максимычу стороны света и объяснил употребление компаса.

– Ишь ты премудрость какая!.. До чего только люди не доходят, – удивился Патап Максимыч. – Ну, как же нам дорогу твоя matka покажет?

– Да нам как надо ехать-то, в котору сторону? – спросил Стуколов.

– На полуночник, <sup>[32]</sup> – отвечал Патап Максимыч.

– А мы на сивер чешем, маленько даже к осеннику подаемся. Сбились, значит.

– Сбились!.. Я и без матки твоей знаю, что сбились, – насмешливо и с досадой отвечал Патап Максимыч. – Теперь ты настоящую дорогу укажи.

– Этого нельзя, надо все дороги знать, тогда с маткой иди куда хочешь...

– Так прячь ее в кошель. Пустое дело, значит. Как же тут быть? – говорил Патап Максимыч.

– Да поедем куда дорога ведет, тропа видная, торная, куда-нибудь да выведет, – говорил Стуколов.

– Вестимо, выведет, – отозвался Патап Максимыч. – Да куда выведет-то? Ночь на дворе, а лошади, гляди, как устали. Придется в лесу ночевать... А волки-то?

– Бог милостив, – отвечал Стуколов. – Топор есть с нами?

– Как топору не быть? Есть, – сказал Патап Максимыч.

– Сучьев нарубим, костры зажжем, волки не подойдут: всякий зверь боится огня.

Так и решили заночевать. Лошадей выпрягли, задали им овса. Утоптали вокруг снег и сделали привал. Топоров оказалось два, работники зачали сучья да и валежник рубить, костры складывать вокруг привала и, когда стемнело, зажгли их. Патап Максимыч вытащил из саней большую кожаную кису, вынул из нее хлеба, пирогов, квашеной капусты и медный кувшин с квасом. Устроили постную трапезу: тюри с луком накрошили, капусты с квасом, грибов соленых. Хоть невкусно, да здорово поужинали. И бутылочка нашлась у запасливого Патапа Максимыча. Роспили...

Ночь надвигалась. Красное зарево костров, освещая низины леса, усиливало мрак в его вершинах и по сторонам. С треском горевших ветвей ельника и фырканием лошадей смешались лесные голоса... Ровно плачет ребенок, запищал где-то сыч, потом вдали послышался тоскливый крик,

будто человек в отчаянном боре с смертью зовет себе на помощь: то были крики пугача...<sup>[33]</sup> Поближе завожилась в вершине сосны векша, проснувшись от необычного света, едва слышно перепрыгнула она на другое дерево, потом на третье и все дальше и дальше от людей и пылавших костров... Чуть стихло, и вот доносится издали легкий хруст сухого валежника: то кровожадная куница осторожно пробирается из своего дупла к дереву, где задремал глупый красноглазый тетерев. Еще минута тишины, и в вершине раздался отрывистый, жалобный крик птицы, хлопанье крыльев, и затем все смолкло: куница поймала добычу и пьет горячую кровь из перекушенного горла тетерева... Опять тишь, опять глубокое безмолвие, и вдруг слышится точно кошачье прысканье: это рысь, привлеченная из чащи чутьем, заслышавшая присутствие лакомого мяса в виде лошадей Патапа Максимыча. Но огонь не допускает близко зверя, и вот рысь сердится, мурлычет, прыскает с досадой, сверкая круглыми зелеными глазами, и прядает кисточками на концах высоких, прямых ушей... Опять тишь, и вокруг либо заверещит бедный зайчишка, попавший в зубы хищной лисе, либо завожится что-то в ветвях: это сова поймала спавшего рябчика... Лесные обитатели живут не по-нашему – обедают по ночам...

Но вот вдали, за версту или больше, заслышался вой, ему откликнулся другой, третий вой – все ближе и ближе.

Смолк, и послышалось пряданье зверей по насту, ворчанье, стук зубов... Ни один звук не пропадет в лесной тиши.

– Волки! – боязливо прошептал Патап Максимыч, толкая в бок задремавшего Стуколова.

Дюков и работники давно уже спали крепким сном.

– А?.. что?.. – промычал, приходя в себя, Стуколов. – Что ты говоришь?

– Слышишь? Воют, – говорил смутившийся Патап Максимыч.

– Да, воют... – равнодушно отвечал Стуколов. – Эх их что тут! Чуют мясо, стервецы!

– Беда! – шепотом промолвил Патап Максимыч.

– Какая же беда? Никакой беды нет... А вот побольше огня надо... Эй вы, ребята! – крикнул он работникам. – Проснись!.. Эка заспались!.. Вали на костры больше!

Работники встали неохотно и вместе со Стуколовым и самим Патапом Максимычем навалили громадные костры. Огонь стал было слабее, но вот заиграли пламенные языки на хвое, и зарево разлилось по лесу пуще прежнего.

– Видимо-невидимо!.. – говорил оторопевший Патап Максимыч, слыша со всех сторон волчьего голоса.

Зверей уж можно было видеть. Освещенные заревом, они сидели кругом, пощелкивая зубами. Видно, в самом деле они справляли именины звериного царя.

– Ничего, – успокаивал Стуколов, – огонь бы только не переводился. То ли еще бывает в сибирских тайгах!..

В самом деле, волки никак не смели близко подойти к огню, хоть их, голодных, и сильно тянуло к лошадям, а пожалуй, и к людям.

– Эх, ружья-то нет: пугнуть бы серых, – молвил Стуколов.

– Молчи ты, какое тут еще ружье! Того и гляди сожрут... – тревожно говорил Патап Максимыч. – Глянь-ка, глянь-ка, со всех сторон навалило!.. Ах ты, Господи, Господи!.. Знать бы да ведать, ни за что бы не поехал... Пропадай ты и с Ветлугой своей!..

А волки все близятся, было их до пятидесяти, коли не больше. Смелость зверей росла с каждой минутой: не дальше как в трех саженях сидели они вокруг костров, щелкали зубами и завывали. Лошади давно покинули торбы с лакомым овсом, жались в кучу и, прядая ушами, тревожно озирались. У Патапа Максимыча зуб на зуб не попадал; везде и всегда бесстрашный, он дрожал, как в лихорадке. Растолкали Дюкова, тот потянулся к своей лисьей шубе, зевнул во всю сласть и, оглянувшись, промолвил с невозмутимым спокойствием:

– Волки, никак!

Без малого час времени прошел, а путники все еще сидели в осаде. До света оставаться в таком положении было нельзя: тогда, пожалуй, и костры не помогут да не хватит и заготовленного валежника и хвороста на поддержание огня. Но паломник человек бывалый, недаром много ходил по белу свету. Когда волки были уже настолько близко, что до любого из них палкой можно было добросить, он расставил спутников своих по местам и велел, по его приказу, разом бросать в волков изо всей силы горящие лапы.

[34]

– Раз... два... три!.. – крикнул Стуколов, и горящие лапы полетели к зверям.

Те отскочили и сели подальше, щелкая зубами и огрызаясь.

– Раз... два... три!.. – крикнул паломник, и, выступив за костры, путники еще пустили по горящей лапе.

Завыли звери, но когда Стуколов, схватив чуть не саженную пылающую лапу, бросился с нею вперед, волки порскнули вдаль, и через несколько минут их не было слышно.

– Теперь не прибегут, – молвил паломник, надевая шубу и укладываясь в сани.

– Дошлый же ты человек, Яким Прохорыч, – молвил Патап Максимыч, когда опасность миновалась. – Не будь тебя, сожрали бы они нас.

Паломник не отвечал. Завернувшись головой в шубу, он заснул богатырским сном.



## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В лесах работают только по зимам. Летней порой в дикую глушь редко кто заглядывает. Не то что дорог, даже мало-мальских торных тропинок там вовсе почти нет; зато много мест непроходимых... Гниющего валежника пропасть, да кроме того, то и дело попадаются обширные глубокие болота, а местами трясины с окнами, вадьями и чарусами... Это страшные, погибельные места для небывалого человека. Кто от роду впервой попал в неведомые лесные дебри – берегись – гляди в оба!..

Вот на несколько верст протянулся мохом поросший кочкарник. Сажеными пластами покрывает он глубокую, чуть не бездонную топь. Это «мшава», иначе моховое болото. Поросло оно мелким, чахлым лесом, нога грузнет в мягком зыбуне, усеянном багуном, звездоплавкой, мозгушей, лютиком и белоусом.<sup>[35]</sup> От тяжести идущего человека зыбун ходенем ходит, и вдруг иногда в двух, трех шагах фонтаном брызнет вода через едва заметную для глаза продушину. Тут ходить опасно, разом попадешь в болотную пучину и пропадешь не за денежку... Бежать от страшного места, бежать скорей, без оглядки, если не хочешь верной гибели... Чуть только путник не поберегся, чуть только по незнанию аль из удалства шагнул вперед пять, десять шагов, ноги его начнет затягивать в жидкую трясины, и если не удастся ему поспешно и осторожно выбраться назад, он погиб... Бежать по трясине – тоже беда...

Вот светится маленькая полынья на грязно-зеленой трясине. Что-то вроде колодца. Вода с берегами вровень. Это «окно». Беда оступиться в это «окно» – там бездонная пропасть. Не в пример опасней «окон» «вадья» – тоже открытая круглая полынья, но не в один десяток сажен ширины. Ее берега из топкого торфяного слоя, едва прикрывающего воду. Кто ступит на эту обманчивую почву, нет тому спасенья. «Вадья» как раз засосет его в бездну.

Но страшней всего «чаруса». Окно, вадью издали можно заметить и обойти – «чаруса» неприметна. Выбравшись из глухого леса, где сухой валежник и гниющий буреломник высокими кострами навалены на сырой, болотистой почве, путник вдруг, как бы по волшебному мановению, встречает перед собой цветущую поляну. Она так весело глядит на него, широко, раздольно расстилаясь среди красноствольных сосен и темнохвойных елей. Ровная, гладкая, она густо заросла сочной свежей зеленью и усеяна крупными бирюзовыми незабудками, благоуханными

белыми кувшинками, полевыми одаленами и ярко-желтыми купавками.<sup>[36]</sup> Луговина так и манит к себе путника: сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному, понежиться на душистой, ослепительно сверкающей изумрудной зелени!.. Но пропасть ему без покаяния, схоронить себя без гроба, без савана, если ступит он на эту заколдованную поляну. Изумрудная чаруса, с ее красивыми благоухающими цветами, с ее сочной, свежей зеленью – тонкий травяной ковер, раскинутый на поверхности бездонного озера. По этому ковру даже легконогий заяц не сигает, тоненький, быстрый на бегу горностаи не пробежит. Из живой твари только и прыгают по ней длинноногие голенастые кулики, ловя мошек и других толкунов, что о всякую пору и днем и ночью роями выются над лесными болотами... Несметное множество этих куликов, – от горбоносого кроншнепа до желтобрового песчаника, – бродит, бегаёт и шмыгает по чарусе, но никакому охотнику никогда не удавалось достать их.

У лесников чаруса слывет местом нечистым, заколдованным. Они рассказывают, что на тех чарусах по ночам бесовы огни горят, ровно свечи теплятся.<sup>[37]</sup> А ину пору видають среди чарусы болотницу, коль не родную сестру, так близкую сродницу всей этой окаянной нечисти: русалкам, водяницам и берегиням... В светлую летнюю ночь сидит болотница одна-одинешенька и нежится на свете ясного месяца... и чуть завидит человека, зачнет прельщать его, манить в свои бесовские объятия... Ее черные волосы небрежно раскинуты по спине и плечам, убраны осокой и незабудками, а тело все голое, но бледное, прозрачное, полувоздушное. И блестит оно и сквозит перед лучами месяца... Из себя болотница такая красавица, какой не найдешь в крещеном мире, ни в сказке сказать, ни пером описать. Глаза – ровно те незабудки, что рассеяны по чарусе, длинные пушистые ресницы, тонкие, как уголь, черные брови... только губы бледноваты, и ни в лице, ни в полной, наливной груди, ни во всем стройном теле нет ни кровинки. А сидит она в белоснежном цветке кувшинчика с котел величиною... Хитрит, окаянная, обмануть, обвести хочется ей человека – села в тот чудный цветок спрятать гусиные свои ноги с черными перепонками. Только завидит болотница человека – старого или малого – это все равно, – тотчас зачнет сладким тихим голосом, да таково жалобно, ровно сквозь слезы, молить-просить вынуть ее из болота, вывести на белый свет, показать ей красно солнышко, которого сроду она не видывала. А сама разводит руками, закидывает назад голову, манит к себе на пышные перси того человека, обещает ему и тысячи неслыханных наслаждений, и груды золота, и горы жемчуга перекатного... Но горе тому,

кто соблазнится на нечистую красоту, кто поверит льстивым словам болотницы: один шаг ступит по чарусе, и она уже возле него: обвив беднягу белоснежными прозрачными руками, тихо опустится с ним в бездонную пропасть болотной пучины... Ни крика, ни стога, ни всплеска воды. В безмолвной тиши не станет того человека, и его могила на веки веков останется никому не известною.

А тех, кто постарей, иным способом залучает в чарусу нечистая сила... Старец-пустынник подойдет к пожилому человеку, сгорбленный, изможденный, постный, железные вериги у него на плечах, только креста не видно. И зачнет он вести умильную беседу о пустынном житии, но Спасова имени не поминает – тем только и можно опознать окаянного... И зачарует он человека и станет звать его отдохнуть на малое время в пустынной келье... Глядь, ан среди чарусы и в самом деле келейка стоит, да такая хорошая, новенькая, уютная, так вот и манит путника зайти в нее хоть на часочек... Пойдет человек с пустынником по чарусе, глядь, а уж это не пустынник, а седой старик с широким бледно-желтым лицом, и уж не тихо, не чинно ведет добрую речь, а хохочет во всю глотку сиплым хохотом... То владыко чарусы – сам болотняник. Это он хохочет, скачет, пляшет, веселится, что успел заманить не умевшего отчураться от его обаяний человека; это он радуется, что завлек крещеную душу в холодную пучину своего синего подводного царства... Много, много чудес рассказывают лесники про эти чарусы... Что там не бывает! Недаром исстари люди толкуют, что в тихом омуте черти водятся, а в лесном болоте плодятся...

Не одни вадьи и чарусы, не одна окаянная сила пугает лесников в летнюю пору. Не дают им работать другие враги... Мириады разнообразных комаров, от крошечной мошки, что целыми кучами забивается в глаза, в нос и уши, до тощей длинноногой караморы, день и ночь несметными роями толкуются в воздухе, столбами носятся над болотами и преследуют человека нестерпимыми мученьями... Нет ему покоя от комариной силы ни в знойный полдень, ни прохладным вечером, ни темной ночью, только и отрада в дождливую погоду. Даже на дымных смоляных казанах и на скипидарных заводах иначе не спят, как на подкурах, не то комары заедят до полусмерти. Врывают для того в землю толстые жерди вышиной сажени по три и мостят на них для спанья полати; под теми полатами раскладывают на земле огонь – курево отгоняет комариную силу. Так и спят в дыму прокопченные насквозь бедняги, да и тут не всегда удастся им отделаться от мелких несносных мучителей... А кроме того, оводы, слепни, пауты и страшный бич домашних животных

строка.<sup>[38]</sup> Одной строке достаточно залететь в рой слепней, вьющихся над конями, чтобы целая тройка, хоть и вовсе притомленная, закусив удила, лягаясь задними ногами и отчаянно размахивая по воздуху хвостами, помчалась зря, как бешеная, сломя голову... Залетит строка в стадо – весь скот взбесится, поднимет неистовый рев и, задрав хвосты, начнет метаться во все стороны... Бедные лоси и олени пуще всех терпят мученье от этой строки. Она садится на ноги, на спину или на бока животного и прокусывает кожу. Раны загноятся, и строка кладет в них свои яйца. На следующую весну из яиц выводят личинки и насквозь проедают кожу бедного животного. В то время лось переносит нестерпимые муки, а строка снова режет свежие места его кожи и снова кладет туда яйца. Шкура, снятая со зверя, убитого летом или осенью, никуда не годится, она усеяна круглыми дырами в пятиалтынный и больше. Единственное спасенье бедных зверей от строки, если они, понунив головы и дрожа всем телом, добредут до озера либо речки... Свежего воздуха, идущего от студеной воды, строка боится... Да что толковать про беззащитных оленей и лосей, сам косолапый боярин лесов пуще огня боится строки. За недостатком ли лосей, по другой ли причине, строка иногда накидывается на медведя. Забившись к Мишке в загривок в ту пору, как он линяет, начинает она прокусывать толстую его шкуру. Благим матом заревет лесной боярин. Напрасно отмахивается он передними лапами – не отстанет от него строка, пока, огрызаясь и рыча на весь лес, кувыряясь промеж деревьев, не побежит Мишенька до воды и не погрузнет в ней голову. Тем только косматый царь северных зверей и спасается от крохотного палача... Человека, слава Богу, строка никогда не трогает.

Нелюдно бывает в лесах летней порою. Промеж Керженца и Ветлуги еще лесует<sup>[39]</sup> по несколько топоров с деревни, но дальше за Ветлугу, к Вятской стороне, и на север, за Лапшангу, лесники ни ногой, кроме тех мест, где липа растет. Липу драть, мочало мочить можно только в соковую.<sup>[40]</sup>

Зато зимой в лесах и по раменям работа кипит да взваривает. Ронят деревья, волочат их к сплаву, вяжут плоты, тешут сосновые брусья, еловые чегени и копани,<sup>[41]</sup> рубят осину да березу на баклуши,<sup>[42]</sup> колют лес на кадки, на бочки, на пересеки и на всякое другое щепное дерево. Стук топоров, треск падающих лесин, крики лесников, ржанье лошадей далеко разносятся тогда по лесным пустыням.

Зимой крещеному человеку и окаянного нечего бояться. С Никитина дня вся лесная нечисть мертвым сном засыпает: и водяник, и болотняник, и бесовские красавицы чарус и омутов – все до единого сгинут, и становится

тогда в лесах место чисто и свято... На покой христианским душам спит окаянная сила до самого вешнего Никиты,<sup>[43]</sup> а с ней заодно засыпают и гады земные: змеи, жабы и слепая медяница,<sup>[44]</sup> та, что как прыгнет, так насквозь человека проскочит... Леший бурлит до Ерофеева дня,<sup>[45]</sup> тут ему на глаза не попадайся: бесится косматый, неохота ему спать ложиться, рыщет по лесу, ломит деревья, гоняет зверей, но как только Ерофей-Офеня по башке лесиной его хватит, пойдет окаянный сквозь землю и спит до Василия парийского, как весна землю парить начнет.<sup>[46]</sup>

После Ерофеева дня, когда в лесах от нечисти и бесовской погани станет свободно, ждет не дождется лесник, чтоб мороз поскорей выжал сок из деревьев и сковал бы вадьи и чарусы, а матушка-зима белым пологом покрыла лесную пустыню. Знает он, что месяца четыре придется ему без усталости работать, принять за топором труды немалые: лесок сечь – не жалеть своих плеч... Да об этом не тужит лесник, каждый день молится Богу, поскорей бы Господь белую зиму на черную землю сослал... Но вот, ровно белые мухи, запорхали в воздухе пушистые снежинки, тихо ложатся они на сухую, промерзлую землю: гуще и гуще становятся потоки льющегося с неба снежного пуха; все белеет: и улица, и кровли домов, и поля, и ветви деревьев. Целую ночь благодать Господня на землю валит. К утру красно-огненным шаром выкатилось на проясневшее небо солнышко и ярко осветило белую снежную пелену. У лесников в глазах рябит от ослепительного блеска, но рады они радешеньки и весело хлопочут, собираясь в леса лесовать. Суетятся и навзрыд голоса бабы, справляя проводы, режут, глядя на них, малы ребята, а лесники ровно на праздник спешат. Ладят сани, грузят их запасами печеного хлеба и сухарей, крупой да горохом, гуленой<sup>[47]</sup> да сушеными грибами с репчатым луком. И вот, на скорую руку простившись с домашними, грянули они разудалую песню и с гиканьем поскакали к своим зимницам на трудовую жизнь вплоть до Плющихи.<sup>[48]</sup>

Артелями в лесах больше работают: человек по десяти, по двенадцати и больше. На сплав рубить рядят лесников высковские промышленники, разделяют им на Покров задатки, а расчет дают перед Пасхой либо по сплаве плотов. Тут не без обману бывает: во всяком деле толстосум сумеет прижать бедного мужика, но промеж себя в артели у лесников всякое дело ведется на чистоту... Зато уж чужой человек к артели в лапы не попадайся: не помилует, оберет как липочку и в грех того не поставит.

За неделю либо за две до лесованья артель выбирает старшего: смотреть за работой, ровнять в деле работников и заправлять немудреным

хозяйством в зимнице. Старшой, иначе «хозяин», распоряжается всеми работами, и воля его непрекословна. Он ведет счет срубленным деревьям, натесанным брусьям, он же наблюдает, чтобы кто не отстал от других в работе, не вздумал бы жить чужим топором, тянуть даровщину... У хозяина в прямом подначалье «подсыпка», паренек-подросток, лет пятнадцати либо шестнадцати. Ему не под силу еще столь наработать, как взрослому леснику, и зато «подсыпка» свой пай стряпней на всю артель наверстывает, а также заготовкой дров, смолья и лучины в зимницу для света и сугрева... Он же носит воду и должен все прибрать и убрать в зимнице, а когда запасы подойдут к концу, ехать за новыми в деревню.

Зимница, где после целодневной работы проводят ночи лесники, – большая четырехугольная яма, аршина в полтора либо в два глубины. В нее запущен бревенчатый сруб, а над ней, поверх земли, выведено венцов шесть-семь сруба. Пола нет, одна убитая земля, а потолок накатной, немножко сводом. Окон в зимнице не бывает, да их и незачем: люди бывают только ночью, дневного света им не надо, а чуть утро забрезжит, они уж в лес лесовать и лесуют, пока не наступят глубокие сумерки. И окно, и дверь, и дымволок<sup>[49]</sup> заменяются одним отверстием в зимнице, оно прорублено вровень с землей, в аршин вышины, со створками, над которыми остается оконце для дымовой тяги. К этому отверстию приставлена лестница, по ней спускаются внутрь. Среди зимницы обыкновенно стоит сбитый из глины кожух,<sup>[50]</sup> либо вырыта тепленка, такая же как в овинах. Она служит и для сугрева и для просушки одежды. Дым из тепленки, поднимаясь кверху струями, стелется по потолку и выходит в единственное отверстие зимницы. Против этого отверстия внизу приделаны к стене широкие нары. В переднем углу, возле нар, стол для обеда, возле него переметная скамья<sup>[51]</sup> и несколько стульев, то есть деревянных обрубков. В другом углу очаг с подвешенными над ними котелками для варева. Вот и вся обстановка зимницы, черной, закоптелой, но теплой, всегда сухой и никогда не знающей, что за угар такой на свете бывает... Непривычный человек недолго пробудет в зимнице, а лесники ею не нахвалятся: привычка великое дело. И живут они в своей мурье месяца по три, по четыре, работая на воле от зари до зари, обедая, когда утро еще не забрезжило, а ужиная поздно вечером, когда, воротясь с работы, уберут лошадей в загоне, построенном из жердей и еловых лап возле зимницы. У людей по деревням и красная никольщина, и веселые святки, и широкая масленица, – в лесах нет праздников, нет разбора дням... Одинаково работают лесники и в будни и в праздник, и, кроме «подсыпки», никому из



них во всю зиму домой хода нет. И к ним из деревень никто не наезжает.

В одной из таких зимниц, рано поутру, человек десять лесников, развалясь на нарах и завернувшись в полушубки, спали богатырским сном. Под утро намаявшегося за работой человека сон крепко разнимает – тут его хоть в гроб клади да хорони. Так и теперь было в зимнице лыковских <sup>[52]</sup> лесников артели дяди Онуфрия.

Огонь в тепленке почти совсем потух. Угольки, перегорая, то светились алым жаром, то мугились серой пленкой. В зимнице было темно и тихо – только и звуков, что иной лесник всхрапывает, как добрая лошадь, а у другого вдруг ни с того ни с сего душа носом засвистит.

Один дядя Онуфрий, хозяин артели, седой, коренастый, краснощекий старик, спит будким соловьиным сном... Его дело рано встать, артель на ноги поднять, на работу ее урядить, пока утро еще не настало... Это ему давно уж за привычку, оттого он и проснулся пораньше других. Потянулся дядя Онуфрий, протер глаза и, увидев, что в тепленке огонь совсем догорел, торопливо вскочил, на скорую руку перекрестился раза три-четыре и, подбросив в тепленку поленьев и смолья, стал наматывать на ноги просохшие за ночь онучи и обувать лапти. Обувшись и вдев на одну руку полушубок, влез он по лесенке, растворил створцы и поглядел на небо... Стожары <sup>[53]</sup> сильно наклонились к краю небосклона, значит, ночь в исходе, утро близится.

– Эй вы, крещеные!.. Будет вам дрыхнуть-то!.. Долго спать – долгу наспать... Вставать пора! – кричал дядя Онуфрий на всю зимницу артельным товарищам.

Никто не шевельнулся. Дядя Онуфрий пошел вдоль нар и зачал толкать кулаком под бока лесников, крича во все горло:

– Эх, грому на вас нет!.. Спят ровно убитые!.. Вставай, вставай, ребяташки!.. Много спать добра не видать!.. Топоры по вас давно стосковались... Ну же, ну, поднимайтесь, молодцы!

Кто потянулся, кто поежился, кто, глянув заспанными глазами на старшего, опять зажмурился и повернулся на другой бок. Дядя Онуфрий меж тем оделся как следует, умылся, то есть размазал водой по лицу копоть, торопливо помолился перед медным образком, поставленным в переднем углу, и подбросил в тепленку еще немного сухого корневища. <sup>[54]</sup> Ало-багровым пламенем вспыхнуло смолистое дерево, черный дым клубами поднялся к потолку и заходил над струями. В зимнице посветлело.

– Вставайте же, вставайте, а вы!.. Чего разоспались, ровно маковой воды опились?.. День на дворе! – покрикивал дядя Онуфрий, ходя вдоль

нар, расталкивая лесников и сдергивая с них армяки и полушубки.

– Петряйко, а Петряйко! Поднимайся проворней, пострел!..Чего заспался?.. Уж волк умылся, а кочеток у нас в деревне давно пропел. Пора за дело приниматься, стряпай живо обедать!.. – кричал он в самое ухо артельному «подсыпке», подростку лет шестнадцати, своему племяннику.

Но Петряйке неохота вставать. Жметса парнишко под шубейкой, думая про себя: «Дай хоть чуточку еще посплю, авось дядя не резнет хворостиной».

– Да вставай же, постреленок... Не то возьму слегу, огрею, – крикнул дядя на племянника, сдернув с него шубейку. – Дождаться, что ль, тебя артели-то?.. Вставай, принимайся за дело.

Петряйка вскочил, обулся и, подойдя к глиняному рукомойнику, сплеснул на лицо. Нельзя сказать, чтоб он умылся, он размазал только копоть, обильно насевшую на лицах, шеях и руках обитателей зимницы... Лесники люди непривередливые: из грязи да из копоты зиму-зименскую не выходят...

– Проворь, а ты проворь обедать-то, – торопил племянника дядя Онуфрий, – чтоб у меня все живой рукой было состряпано... А я покаместь к коням схожу.

И, зажегши лучину, дядя Онуфрий полез на лесенку вон из зимницы.

Лесники один за другим вставали, обувались в просохшую за ночь у тепленки обувь, по очереди подходили к рукомойнику и, подобно дяде Онуфрию и Петряю, размазывали по лицу грязь и копоть... Потом кто пошел в загон к лошадям, кто топоры стал на точиле вострить, кто ладить разодранную накануне одежду.

Хоть заработки у лесников не Бог знает какие, далеко не те, что у недалних их соседей, в Черной рамени да на Узоле, которы деревянну посуду и другую горящину работают, однако ж и они не прочь сладко поесть после трудов праведных. На Ветлуге и отчасти на Керженце в редком доме брага и сыченое сусло переводятся, даром что хлеб чуть не с Рождества покупной едят. И убойна<sup>[55]</sup> у тамошнего мужика не за диво, и солонины на зиму запас бывает, немалое поспорье по лесным деревушкам от лосей приходится... У иного крестьянина не один пересек соленой лосины в погребе стоит... И до пшенничков, и до лапшенничков, и до дынничков<sup>[56]</sup> охоч лесник, но в зимнице этого лакомства стряпать некогда да и негде. Разве бабы когда из деревни на поклон мужьям с «подсыпкой» пришлют. Охоч лесник и до «продажной дури» – так зовет он зелено вино, – но во время лесованья продажная дурь не дозволяется. Заведись у



кого хоть косушка вина, сейчас его артель разложит, вспорет и затем вон без расчета. Только трижды в зиму и пьют. На Николу, на Рождество да на масленицу, и то по самой малости. Брагу да сусло пьют и в зимницах, но понемногу и то на праздниках да после них...

Но теперь великий пост, к тому ж и лесованье к концу: меньше двух недель остается до Плющихи, оттого и запасов в зимнице немного. Петряйкинастряпня на этот раз была не очень завидна. Развел он в очаге огонь, в один котел засыпал гороху, а в другой стал готовить похлебку: покрошил гулены, сухих грибков, луку, засыпал гречневой крупой да гороховой мукой, сдобрил маслом и поставил на огонь. Обед разом поспел. Приставили к нарам стол, к столу переметную скамью и уселись. Петряйка нарезал черствого хлеба, разложил ломти да ложки и поставил перед усевшейся артелью чашки с похлебкой. Молча работала артель зубами, чашки скоро опростались. Петряйка выложил остальную похлебку, а когда лесники и это очистили, поставил им чашки с горохом, накрошил туда репчатого луку и полил вдоволь льняным маслом. Это кушанье показалось особенно лакомо лесникам, ели да похваливали.

– Ай да Петрай! Клевашный<sup>[57]</sup> парень! – говорил молодой лесник, Захаром звали, потряхивая кудрями. – Вот, брат, уважил так уважил... За этот горох я у тебя, Петрайко, на свадьбе так нарежусь, что целый день песни играть да плясать не устану.

– Мне еще рано, сам-от прежде женись, – отшутился Петрайко.

– Невесты, парень, еще не выросли... Покаместь и так побродим, – отвечал Захар.

– А в самом деле, Захарушка, пора бы тебе закон свершить, – вступился в разговор дядя Онуфрий. – Что так без пути-то болтаешься?... За тебя, за такого молодца, всяку бы девку с радостью выдали.

– Ну их, бабья-то! – отвечал Захар. – Терпеть не могу. Девки не в пример лучше. С ними забавней – смехи да песни, а бабы что! Только клохчут да хнычут... Само последнее дело!

– Экий девушник! – молвил на то, лукаво усмехнувшись, лесник Артемий. – А не знаешь разве, что за девок-то вашему брату ноги колом ломают?

– А ты прежде излови, да потом и ломай. Эк чем стращать вздумал, – нахально ответил Захар.

– То-то, то-то, Захар Игнатьич, гляди в оба... Знаем мы кое-что... Слыхали! – сказал Артемий.

– Чего слыхал-то?... Чего мне глядеть-то? – разгорячившись крикнул Захар.

– Да хоть бы насчет лещовской Параньки...

– Чего насчет Параньки? – приставал Захар. – Чего?.. Говори, что знаешь!.. Ну, ну говори...

– То и говорю, что высоко камешки кидаешь, – ответил Артемий. – Тут вашему брату не то что руки-ноги переломают, а пожалуй, в город на ставку свезут. Забыл аль нет, что Паранькин дядя в головах сидит? – сказал Артемий.

Закричал Захар пуще прежнего, даже с места вскочил, ругаясь и сжимая кулаки, но дядя Онуфрий одним словом уговорил расходившихся ребят. Брань и ссоры во все лесованье не дозволяются. Иной парень хоть на руготню и голова – огонь не вздует, замка не отопрет, не выругавшись, а в лесу не смеет много растабарывать, а рукам волю давать и не подумает... Велит старшой замолчать, пали сердце сколько хочешь, а вздорить не смей. После, когда из леса уедут, так хоть ребра друг дружке переломай, но во время лесованья – ни-ни. Такой обычай ведется у лесников исстари. С чего завелся такой обычай? – раз спросили у старого лесника, лет тридцать сряду ходившего лесовать «хозяином». «По нашим промыслам без уйму нельзя, – отвечал он, – также вот и продажной дури в лесу держать никак невозможно, потому, не ровен час, топор из рук нашего брата не выходит... Долго ль окаянному человека во хмелю аль в руготне под руку толкнуть... Бывали дела, оттого сторожко и держимся».

Смолкли ребята, враждебно поглядывая друг на друга, но послушаться старшого и подумать не смели... Стоит ему слово сказать, артель встанет как один человек и такую вспорку задаст послушнику, что в другой раз не захочет дурить...

Петряйка ставил меж тем третье кушанье: наклал он в чашки сухарей, развел квасом, положил в эту тюрю соленых груздей, рыжиков да вареной свеклы, лучку туда покрошил и маслица подлил.

– Важно кушанье! – похвалил дядя Онуфрий, уписывая крошево за обе щеки. – Ну, проворней, проворней, ребята, – в лес пора! Заря занимается, а на заре не работать, значит, рубль из мошны потерять.

Лесники зачали есть торопливее. Петряйка вытащил из закути курган [58] браги и поставил его на стол.

– Экой у нас провор «подсыпка»-то! – похвалил дядя Онуфрий, поглаживая жилистой рукой по белым, но сильно закопченным волосам Петряя, когда тот разливал брагу по корчикам. [59] – Всякий день у него последышки да последышки. Две недели масленица минула, а у него бражка еще ведется. Сторожь, сторожь, Петрунюшка, сторожь всякое

добро, припасай на черный день, вырастешь, большой богатей будешь. Прок выйдет из тебя, парнюга!.. Чтой-то? – вдруг спросил, прерывая свои ласки и вставая с нар дядя Онуфрий. – Никак приехал кто-то? Выглянь-ка, Петряй, на волю, глянь, кто такой?

В самом деле слышались скрип полозьев, фыркание лошадей и людской говор.

Одним махом Петряйка вскочил на верх лесенки и, растворив створцы, высунул на волю белокурую свою голову. Потом прыгнул на пол и, разведя врозь руками, удивленным голосом сказал:

– Неведомо, каки люди приехали... На двух тройках... гусем.

– Что за диковина! – повязывая кушак, молвил дядя Онуфрий. – Что за люди?.. Кого это на тройках принесло?

– Нешто лесной аль исправник, – отозвался Артемий.

– Коего шута на конце лесованья они не видали здесь? – сказал дядя Онуфрий. – Опять же колокольцов не слышать, а начальство разве без колокольца поедет? Гляди, лысковцы<sup>[60]</sup> не нагрянули ль... Пусто б им было!.. Больше некому. Пойти посмотреть самому, – прибавил он, направляясь к лесенке.

– Есть ли крещенные? – раздался в то время сверху громкий голос Патапа Максимыча.

– Лезь полезай, милости просим, – громко отозвался дядя Онуфрий.

Показалась из створки нога Патапа Максимыча, за ней другая, потом широкая спина его, обтянутая в мурашкинскую дубленку. Слез наконец Чапурин.

За ним таким же способом слез паломник Стуколов, потом молчаливый купец Дюков, за ними два работника. Не вдруг прокашлялись наезжие гости, глотнувши дыма. Присев на полу, едва переводили они дух и протирали поневоле глаз.

– Кого Господь даровал? – спросил дядя Онуфрий. – Зиму зименскую от чужих людей духу не было, на конец лесованья гости пожаловали.

– Заблудились мы, почтенный, в ваших лесах, – отвечал Патап Максимыч, снимая промерзшую дубленку и подсаживаясь к огню.

– Откуда Бог занес в наши палестины? – спросил дядя Онуфрий.

– Из Красной рамени, – молвил Патап Максимыч.

– А путь далеко держите? – продолжал спрашивать старшой артели.

– На Ветлугу пробираемся, – отвечал Патап Максимыч. – Думали на Ялокшинский зимняк свернуть, да оплошали. Теперь не знаем, куда и заехали.

– Ялокшинский зимняк отсель рукой подать, – молвил дядя

Онуфрий, – каких-нибудь верст десяток, и того не будет, пожалуй. Только дорога не приведи Господи. Вы, поди, на санях?

– В пошевнях, – ответил Патап Максимыч.

– А пошевни-то небось большие да широкие... Еще, поди, с волочками?<sup>[61]</sup> – продолжал свои расспросы дядя Онуфрий.

– Да, с волочками, – сказал Патап Максимыч. – А что?

– А то, что с волочками отсель на Ялокшу вам не проехать. Леса густые, лапы на просеки рублены невысоко, волочки-то, пожалуй, не полезут, – говорил дядя Онуфрий.

– Как же быть? – в раздумье спрашивал Патап Максимыч.

– Да в кое место вам на Ветлугу-то? – молвил дядя Онуфрий, оглядывая лезу топора.

– Езда нам не близкая, – ответил Патап Максимыч. – За Усту надо к Уреню, коли слыхал.

– Как не слыхать, – молвил дядя Онуфрий. – Сами в Урени не раз бывали... За хлебом ездим... Так ведь вам наперед надо в Нижне Воскресенье, а там уж вплоть до Урени пойдет большая дорога...

– Ровная, гладкая, хоть кубарем катись, – в один голос заговорили лесники.

– За Воскресеньем слепой с пути не собьется...

– По Ветлуге до самого Варнавина степь пойдет, а за Варнавином, как реку переедете, опять леса, – там уж и скончанья лесам не будет...

– Это мы, почтеннейший, и без тебя знаем, а вот вы научите нас, как до Воскресенья-то нам добраться? – сказал Патап Максимыч.

– Разве к нашим дворам, на Лыковщину, отсель свернете, – отвечал дядя Онуфрий. – От нас до Воскресенья путь торный, просека широкая, только крюку дадите: верст сорок коли не все пятьдесят.

– Эко горе какое! – молвил Патап Максимыч. – Вечор целый день плутали, целу ночь не знай куда ехали, а тут еще пятьдесят верст крюку!.. Ведь это лишних полтора суток наберется.

– А вам нешто к спеху? – спросил дядя Онуфрий.

– К спеху не к спеху, а неохота по вашим лесам без пути блудить, – отвечал Патап Максимыч.

– Да вы коли из Красной-то рамени поехали? – спросил дядя Онуфрий.

– На рассвете. Теперь вот целы сутки маемся, – отвечал Патап Максимыч.

– Гляди-ка, дело какое! – говорил, качая головой, дядя Онуфрий. – Видно, впервой в лесах-то?

– То-то и есть, что допрежь николи не бывали. Ну, уж и леса ваши –

нечего сказать! Провалиться б им, проклятым, совсем! – с досадой примолвил Патап Максимыч.

– Леса наши хорошие, – перебил его дядя Онуфрий.

Обидно стало ему, что неведомо какой человек так об лесах отзывается. Как моряк любит море, так коренной лесник любит родные леса, не в пример горячей, чем пахарь пашню свою.

– Леса наши хорошие, – хмурясь и понутив голову, продолжал дядя Онуфрий. – Наши поильцы-кормильцы... Сам Господь вырастил леса на пользу человека, сам владыко свой сад рассадил... Здесь каждое дерево Божье, зачем же лесам провалиться?.. И кем они кляты?.. Это ты нехорошее, черное слово молвил, господин купец... Не погневайся, имени-отчества твоего не знаю, а леса бранить не годится – потому они Божьи.

– Дерево-то пускай его Божье, а волки-то чьи? – возразил Патап Максимыч. – Как мы заночевали в лесу, набежало проклятого зверья видимо-невидимо – чуть не сожрали: каленый нож им в бок. Только огнем и оборонились.

– Да, волки теперь гуляют – ихня пора, – молвил дядя Онуфрий, – Господь им эту пору указал... Не одним людям, а всякой твари сказал он: «Раститесь и множитесь». Да... ихня пора... – И потом, немного помолчав, прибавил: – Значит, вы не в коренном лесу заночевали, а где-нибудь на рамени. Серый в теперешнюю пору в лесах не держится, больше в поле норовит, теперь ему в лесу голодно. Беспременно на рамени ночевали, недалеко от селенья. К нам-то с какой стороны подъехали?

– Да мы все на сивер держали, – сказал Патап Максимыч.

– Кажись бы, так не надо, – молвил дядя Онуфрий. – Как же так на сивер? К зимнице-то, говорю, с коей стороны подъехали?

– С правой.

– Так какой же тут сивер? Ехали вы, стало быть, на осенник, – сказал дядя Онуфрий.

– Как же ты вечор говорил, что мы едем на сивер? – обратился Патап Максимыч к Стуколову.

– Так по матке выходило, – насупив брови и глядя исподлобья, отозвался паломник.

– Вот тебе и матка! – крикнул Патап Максимыч. – Пятьдесят верст крюку, да на придачу волки чуть не распластали!.. Эх ты, голова, Яким Прохорыч, право, голова!..

– Чем же матка-то тут виновата? – оправдывался Стуколов. – Разве по ней ехали, ведь я глядел в нее, когда уж с пути сбились.

– Не сговоришь с тобой, – горячился Патап Максимыч, – хоть кол ему

теши на лысине: упрям, как черт карамышевский, прости Господи!..

– Ой, ваше степенство, больно ты охоч *его* поминать! – вступился дядя Онуфрий. – Здесь ведь лес зимница... У нас *его* не поминают! Нехорошо!.. черного слова не говори... Не ровен час – пожалуй, недоброе что случится... А про каку это матку вы поминаете? – прибавил он.

– Да вон у товарища моего matka какая-то есть... Шут ее знает!.. – досадливо отозвался Патап Максимыч, указывая на Стуколова. – Всякие дороги, слышь, знает. Коробочка, а в ней, как в часах, стрелка ходит, – пояснил он дяде Онуфрию... – Так, пустое дело одно.

– Знаем и мы эту матку, – ответил дядя Онуфрий, снимая с полки крашеный ставешок и вынимая оттуда компас. – Как нам, лесникам, матки не знать? Без нее ину пору можно пропасть... Такая, что ль? – спросил он, показывая свой компас Патапу Максимычу.

Диву дался Патап Максимыч. Сколько лет на свете живет, книги тоже читает, с хорошими людьми водится, а досель не слыхал, не ведал про такую штуку... Думалось ему, что паломник из-за моря вывез свою матку, а тут закоптый лесник, последний, может быть, человек, у себя в зимнице такую же вещь держит.

– В лесах matka вещь самая полезительная, – продолжал дядя Онуфрий. – Без нее как раз заблудишься, коли пойдешь по незнакомым местам. Дорогая по нашим промыслам эта штука... Зайдешь ину пору далеко, лес-от густой, частый да рослый – в небо дыра. Ни солнышка, ни звезд не видать, опознаться на месте нечем. А с маткой не пропадешь; отколь хошь на волю выведет.

– Значит, твоя matka попортилась, Яким Прохорыч, – сказал Патап Максимыч Стуколову.

– Отчего ей попортиться? Коли стрелка ходит, значит, не попортилась, – отвечал тот.

– Да слышишь ты аль нет, что вечер ей надо было на осенник казать, а она на сивер тянула, – сказал Патап Максимыч.

– Покажь-ка, ваше степенство, твою матку, – молвил дядя Онуфрий, обращаясь к Стуколову.

Паломник вынул компас. Дядя Онуфрий положил его на стол рядом со своим.

– Ничем не попорчена, – сказал он, рассматривая их. – Да и портиться тут нечему, потому что в стрелке не пружина какая, а одна только Божия сила... Видишь, в одну сторону обе стрелки тянут... Вот сивер, тут будет полдень, тут закат, а тут восток, – говорил дядя Онуфрий, показывая рукой страны света по направлению магнитной стрелки.

– Отчего ж она давеча не на осенник, а на сивер тянула? – спросил у паломника Патап Максимыч, разглядывая компасы.

– Не знаю, – отвечал Стуколов.

– А я так знаю, – молвил дядя Онуфрий, обращаясь к паломнику. – Знаю, отчего вечер твоя матка на сторону воротила... Коли хочешь, скажу, чтобы мог ты понимать тайную силу Божию... Когда смотрел в матку-то, в котором часу?

– С вечера, – отвечал Стуколов.

– Так и есть, – молвил дядя Онуфрий. – А на небо в ту пору глядел?

– На небо? Как на небо?.. – спросил удивленный паломник. – Не помню... Кажись, не глядел.

– И никто из вас не видел, что на небе в ту пору деялось? – спросил дядя Онуфрий.

– Чему на небе деяться? – молвил Патап Максимыч. – Ничего не деялось – небо как небо.

– То-то и есть, что деялось, – сказал дядя Онуфрий. – Мы видели, что на небе перед полночью было... Тут-то вот и премудрая, тайная сила творца небесного... И про ту силу великую не то что мы, люди старые, подростки у нас знают... Петрайко! Что вечер на небе деялось? – спросил он племянника.

– Пазори<sup>[62]</sup> играли, – бойко тряхнув белокурыми кудрями, ответил Петрай. – Вечор, как нам с лесованья ехать, отбель по небу пошла, а там и зори заиграли, лучи засветили, столбы задышали, багрецами налились и заходили по небу. Сполохи даже били, как мы ужинать сели: ровно гром по лесу-то, так и загудели... Оттого матка и дурила, что пазори в небе играли.

– Значит, не в ту сторону показывала, – пояснил дядя Онуфрий. – Это завсегда так бывает: еще отбелей не видать, а уж стрелка вздрагивать зачнет, а потом и пойдет то туда, то сюда воротить. Видишь ли, какая тайная Божия сила тут совершается? Слыхал, поди, как за всенощной-то поют: «Вся премудростию сотворил еси!..» Вот она премудрость-то!.. Это завсегда надо крещеному человеку в понятии содержать... Да, ваше степенство, «вся премудростию сотворил еси!..» Кажись, вот хоть бы эта самая матка – что такое? Ребячья игрушка, слепой человек подумает! Ан нет, тут премудрость Господня, тайная Божия сила... Да.

«Экой дошлый народец в эти леса забился, – сам про себя думал Патап Максимыч. – Мальчишка, материно молоко на губах не обсохло, и тот премудрость понимает, а старый от писанья такой гораздый, что, пожалуй, Манефе – так впору».

– От кого это ты, малец, выучился? – спросил он Петряя.



– Дядя учил, дядя Онуфрий, – бойко ответил «подсыпка», указывая на дядю.

– А тебя кто научил? – обратился Патап Максимыч к Онуфрию.

– От отцов, от дедов научены; они тоже век свой лесовали, – ответил дядя Онуфрий.

– Мудрости Господни! – молвил в раздумье Патап Максимыч. Проговорив это, вдруг увидел он, что лесник Артемий, присев на корточки перед тепленкой и вынув уголек, положил его в носогрейку<sup>[63]</sup> и закурил свой тютюн. За ним Захар, потом другие, и вот все лесники, кроме Онуфрия да Петряя, усевшись вокруг огонька, задымили трубки.

Стуколова инда передернуло. За Волгой-то, в сем искони древнеблагочестивом крае, в сем Афоне старообрядства, да еще в самой-то глуши, в лесах, курильщики треклятого зелья объявились... Отсторонился паломник от тепленки и, сев в углу зимницы, повернул лицо в сторону.

– Поганитесь? – с легкой усмешкой спросил Патап Максимыч, кивая дяде Онуфрию на курильщиков.

– А какое ж тут поганство? – отвечал дядя Онуфрий. – Никакого поганства нет. Сказано: «Всяк злак на службу человеком». Чего ж тебе еще?.. И табак Божья трава, и ее Господь создал на пользу, как все иные древа, цветы и травы...

– Так нешто про табашное зелье это слово сказано в писании? – досадливо вмешался насупившийся Стуколов. – Аль не слыхали, что такое есть «корень горести в выспрь прозябаяй»? Не слыхивал, откуда табак-от вырос?

– Это что келейницы-то толкуют? – со смехом отозвался Захар. – Врут они, смотницы,<sup>[64]</sup> пустое плетут... Мы ведь не староверы, в бабье не веруем.

– Нешто церковники? – спросил Патап Максимыч дядю Онуфрия.

– Все по церкви, – отвечал дядя Онуфрий. – У нас по всей Лыковщине староверов спокон веку не важивалось. И деды и прадеды – все при церкви были. Потому люди мы бедные, работные, достатков у нас нет таких, чтобы староверничать. Вон по раменям, и в Черной рамени, и в Красной, и по Волге, там, почитай, все старой веры держатся... Потому – богатство... А мы что?... Люди маленькие, худые, бедные... Мы по церкви!

– А молитесь как? – спросил Патап Максимыч.

– Кто в два перста, кто щепотью, кто как сызмала обык, так и молится... У нас этого в важность не ставят, – сказал дядя Онуфрий.

– И табашничаєте все? – продолжал спрашивать Патап Максимыч.



– Все, почитай, веселой травки держимся, – отвечал, улыбаясь, дядя Онуфрий и сам стал набивать трубку. – Нам, ваше степенство, без табаку нельзя. Потому летом пойдешь в лес – столько там этого гаду: оводу, слепней, мошек и всякой комариной силы – только табачным дымом себя и полегчишь, не то съедят, пусто б им было. По нашим промыслам без курева обойтись никак невозможно – всю кровь высосут, окаянные. Оно, конечно, и лесники не сплошь табашничают, есть тоже староверы по иным лесным деревьям, зато уж и маются же сердечные. Посмотрел бы ты на них, как они после соку<sup>[65]</sup> домой приволокнутся. Узнать человека нельзя, ровно степь ходит. Боронятся и они от комариной силы: смолой, дегтем мажутся, да не больно это мазанье помогает. Нет, по нашим промыслам без табашного курева никак нельзя. А побывали бы вы, господа купцы, в ветлужских верхотинах у Верхнего Воскресенья.<sup>[66]</sup> Там и в городе и вокруг города по деревьям такие ли еще табашники, как у нас: спят даже с трубкой. Маленький парнишка, от земли его не видать, а уж дымит из тяткиной трубчонки... В гостях на свадьбе аль на крестинах, в праздники тоже храмовые, у людей первым делом брага да сусло... а там горшки с табаком гостям на стол – горшок молотого, да горшок крошеного... Надымит в избе, инда у самих глаза выест... Вот это настоящие табашники, заправские, а мы что – помаленьку балуемся.

– Оттого Ветлугу-то и зовут «поганой стороной», – скривив лицо язвительной усмешкой, молвил Стуколов.

– Да ведь это келейницы же дурным словом обзывают ветлужскую сторону, а глядя на них и староверы, – отвечал дядя Онуфрий. – Только ведь это одни пустые речи... Какую они там погань нашли? Таки же крещены, как и везде...

– В церковь-то часто ли ходите? – спросил Патап Максимыч.

– Как же в церковь не ходить?.. Чать, мы крещеные. Без церкви прожить нельзя, – отвечал дядя Онуфрий. – Кое время дома живем, храм Божий не забываем, оно, пожалуй, хоть не каждое воскресенье ходим, потому приход далеко, а все ж церкви не чуждаемся. Вот здесь, в лесах, праздников уж нет. С топором не до моленья, особливо в такой год, как нынешний... Зима-то ноне стала поздняя, только за два дня до Николы лесоватъ выехали... Много ль тут времени на работу-то останется, много ль наработаешь?.. Тут и праздники забудешь, какие они у Бога есть, и день и ночь только и думы, как бы побольше дерев сронить. Да ведь и то надо сказать, ваше степенство, – примолвил, лукаво улыбаясь, дядя Онуфрий, – часто и в церковь-то ходить нашему брату накладно. Это вон келейницам

хорошо на всем на готовом Богу молиться, а по нашим достаткам того не приходится. Ведь повадишься к вечерне, все едино, что в харчевню: ноне свеча, завтра свеча – глядишь, ан шуба с плеча. С нашего брата Господь не взыщет – потому недостатки. Мы ведь люди простые, а простых и Бог простит... Однако закалялся я с вами, господа купцы... Ребятушки, ладь дровни, проворь лошадей... Лесовать пора!.. – громко крикнул дядя Онуфрий.

Лесники один за другим полезли вон.

Дядя Онуфрий, оставшись с гостями в зимнице, помогал Петрюю прибирать посуду, заливать очаг и приводить ночной притон в некоторый порядок.

– Сами-то отколь будете? – спросил он Патапа Максимыча.

Патап Максимыч назвал себя и немало подивился, что старый лесник доселе не слышал его имени, столь громкого за Волгой, а, кажись, чуть не шабры.

– Нешто про нас не слышал? – спросил он дядю Онуфрия.

– Не доводилось, ваше степенство, – отвечал лесник. – Ведь мы раменских-то <sup>[67]</sup> мало знаем – больше все с лысковскими да с ветлужскими купцами хороводимся, с понизовыми тоже.

– Экая, однако, глушь по вашим местам, – сказал Патап Максимыч.

– Глухая сторона, ваше степенство, это твоя правда, как есть глушь, – отвечал дядя Онуфрий. – Мы и в своем-то городе только раза по два на году бываем: подушны казначею свезти да билет у лесного выправить. Особняком живем, ровно отрезанные, а все же не променяем своей глуши на чужу сторону. Хоть и бедны наши деревни, не то что на Волге, аль, может, и по вашим раменям, однако ж свою сторону ни на каку не сменяем... У вас хоть веселье, хоть житье привольное, да чужое, а у нас по лесам хоть и горе, да свое... Пускай у нас глушь, да не пошто нам далеко, и здесь хорошо.

– Да, – ответил Патап Максимыч, – всякому своя сторона мила... Только как же у нас будет, почтенный?.. Уж вы как-нибудь выведите нас на свет Божий, покажите дорогу, как на Ялокшу выехать.

– Пошто не указать – укажем, – сказал дядя Онуфрий, – только не знаю, как вы с волочками-то сладите. Не пролезть с ними сквозь лесину... Опять же, поди, дорогу-то теперь перемело, на масленице все ветра дули, деревья-то, чай, обтрясло, снегу навалило... Да постойте, господа честные, вот я молодца одного кликну – он ту дорогу лучше всех знает... Артемушка! – крикнул дядя Онуфрий из зимницы. – Артем!.. погляди-ко на сани-то: проедут на Ялокшу аль нет, да слезь, родной, ко мне не на долгое

время...

Артемий слез и объявил, что саням надо бы пройти, потому отводы невеликие, а волочки непременно надо долой.

– Ну долой, так долой, – решил Патап Максимыч, – положим их в сани, а не то и здесь покинем. У Воскресенья новы можно купить.

– У Воскресенья этого добра вволю, – сказал дядя Онуфрий, – завтра же вы туда как раз к базару попадете. Вы не по хлебной ли части едете?

– Нет, едем по своему делу, к приятелям в гости, – молвил Патап Максимыч.

– Так, – проговорил дядя Онуфрий. – Ин велите своим парням волочки снимать – вместе и поедем, нам в ту же сторону версты две либо три ехать.

– Ну вот и ладно. Оттоль, значит, верст с восемь до зимняка-то останется, – молвил Патап Максимыч и послал работников отвязывать волочки.

– Верст восемь, а может, и десять, а пожалуй, и побольше наберется, – отвечал дядя Онуфрий. – Какие здесь версты! Дороги немерены: где мужик по первопутке проехал – тут на всю зиму и дорога.

– А как нам расставанье придет, вы уж, братцы, кто-нибудь проводите нас до зимняка-то, – сказал Патап Максимыч.

– На этом не погневись, господин купец. По нашим порядкам этого нельзя – потому артель, – сказал дядя Онуфрий.

– Что ж артель?.. Отчего нельзя? – с недоумением спросил Патап Максимыч.

– Да как же?.. Поедет который с тобой, кто за него работать станет?.. Тем артель и крепка, что у всех работа вровень держится, один перед другим ни на макову росинку не должен переделать аль недоделать... А как ты говоришь, чтоб из артели кого в вожатые дать, того никоим образом нельзя... Тот же прогул выйдет, а у нас прогулов нет, так и сговариваемся на суйме, <sup>[68]</sup> чтоб прогулов во всю зиму не было.

– Да мы заплатим что следует, – сказал Патап Максимыч.

– А кому заплатишь-то?.. Платить-то некому!.. – отвечал дядя Онуфрий. – Разве можно артельному леснику с чужанина хоть малость какую принять?.. Разве артель спустит ему хошь одну копейку взять со стороны?.. Да вот я старшой у них, «хозяином» называюсь, а возьми-ка я с вашего степенства хоть медну полушку, ребята не поглядят, что я у них голова, что борода у меня седа, разложат да таку вспарку зададут, что и-и... У нас на это строго.

– Мы всей артели заплатим, – сказал Патап Максимыч.

– Это уж не мое дело, с артелью толкуй. Как она захочет, так и

прикажет, я тут ни при чем, – ответил дядя Онуфрий.

– Коли так, собирай артель, потолкуем, – молвил Патап Максимыч.

– Скликнуть артель не мудреное дело, только не знаю, как это сделать, потому что такого дела у нас николи не бывало. Боле тридцати годов с топором хожу, а никогда того не бывало, чтоб из артели кого на сторону брали, – рассуждал дядя Онуфрий.

– Да ты только позови, может, сойдемся как-нибудь, – сказал Патап Максимыч.

– Позвать, отчего не позвать! Позову – это можно, – говорил дядя Онуфрий, – только у нас николи так не водилось... – И, обратясь к Петряю, все еще перемивавшему в грязной воде чашки и ложки, сказал: – Кликни ребят, Петряюшка, все, мол, идите до единого.

Артель собралась. Спросила дядю Онуфрия, зачем звал; тот не отвечал, а молча показал на Патапа Максимыча.

– Что требуется, господин купец?.. – спросили лесники, оглядывая его с недоумением.

– Да видите ли, братцы, хочу я просить вашу артель дать нам проводника до Ялокшинского зимняка, – начал Патап Максимыч.

Артель загалдела, а Захар даже захохотал, глядя прямо в глаза Патапу Максимычу.

– В уме ль ты, ваше степенство?.. Как же возможно из артели работника брать?.. Где это слыхано?.. Да кто пойдет провожать тебя?.. Никто не пойдет... Эк что вздумал!.. Чудак же ты, право, господин купец!.. – кричали лесники, перебивая друг дружку.

Насилу втолковал им Патап Максимыч, что артели ущерба не будет, что он заплатит цену работы за весь день.

– Да как ты учтешь, чего стоит работа в день?.. Этого учесть нельзя, – говорили лесники.

– Как не учесть, учтем, – сказал Патап Максимыч. – Сколько вас в артели-то?

– Одиннадцать человек, Петряй двенадцатый.

– А много ль ден в зиму работать?

– Смекай: выехали за два дня до Николы, уйдем на Плющиху, – сказал Захар.

Подсчитал Патап Максимыч – восемьдесят семь дней выходило.

– Ты, ваше степенство, неделями считай; мы ведь люди неграмотные – считать по дням не горазды, – говорила артель.

– Двенадцать недель с половиной, – сказал Патап Максимыч.

– Ну, это так, – загалдели лесники... – Намедни мы считали, то же

выходило.

– Ну ладно, хорошо... Теперь сказывайте, много ль за зиму на каждого человека заработка причтется? – спросил Патап Максимыч.

– А кто его знает! – отвечали лесники. – Вот к святой сочтемся, так будем знать.

Беспорядицы и бестолочи в переговорах было вдоволь. Считали барыши прошлой зимы, выходило без гривны полтора рубля на ассигнации в день человеку. Но этот счет в толк не пошел, потому, говорил Захар, что зимущняя зима была сиротская, хвилеватая, <sup>[69]</sup> а нонешняя – морозная да ветреная. Сулил артели Патап Максимыч целковый за проводника – и слушать не хотели. Как, дескать, наобум можно ладиться. Надо, говорят, всякое дело по чести делать, потому – артель. А дядя Онуфрий турит да турит кончать скорей переговоры, на всю зимницу кричит, что заря совсем занялась – нечего пустяки городить – лесовать пора...

Потерял терпенье Патап Максимыч. Так и подмывает его обойтись с лесниками по-свойски, как в Осиповке середь своих токарей навывк... Да вовремя вспомнил, что в лесах этим ничего не возьмешь, пожалуй, еще хуже выйдет. Не такой народ, окриком его не проймешь... Однако ж не вытерпел – крикнул:

– Да берите, дьяволы, сколько хотите... Сказывай, сколько надо?.. За деньгами не стоим... Хотите три целковых получить?

– Сказано тебе, в зимнице его не поминать, – строго притопнув даже ногой, крикнул на Патапа Максимыча дядя Онуфрий... – Так в лесах не водится!... А ты еще его черным именем крещеный народ обзываешь... Есть на тебе крест-от аль нет?.. Хочешь ругаться да вражье имя поминать, убирайся, покамест цел, подобру-поздорову.

– Народец! – с досадой молвил Патап Максимыч, обращаясь к Стуколову. – Что тут станешь делать?

Не отвечал паломник.

– Говорите же, сколько надо вам за проводника? Три целковых хотите? – сказал Патап Максимыч, обращаясь к лесникам.

Зачала артель галанить пуще прежнего. Спорам, крикам, бестолочи ни конца, ни середки... Видя, что толку не добиться, Патап Максимыч хотел уже бросить дело и ехать на авось, но Захар, что-то считавший все время по пальцам, спросил его:

– Без двугривенного пять целковых дашь?

– За что ж это пять целковых? – возразил Патап Максимыч. – Сами говорите, что в прошлу зиму без гривны полтора рубли на монету каждому топору пришлось.

– Так и считано, – молвил Захар. – В артели двенадцать человек, по рублю – двенадцать рублей, по четыре гривны – четыре рубля восемь гривен – всего, значит, шестнадцать рублей восемь гривен по старому счету. Оно и выходит без двугривенного пять целковых.

– Да ведь ты на всю артель считаешь, а поедет с нами один, – возразил Патап Максимыч.

– Один ли, вся ли артель, это для нас все едино, – ответил Захар. – Ты ведь с артелью рядишься, потому артельну плату и давай... а не хочешь, вот те Бог, а вот порог. Толковать нам недосужно – лесовать пора.

– Да ведь не вся же артель провожать поедет? – сказал Патап Максимыч.

– Это уж твое дело... Хочешь всю артель бери – слова не молвим – все до единого поедет, – заголосили лесники. – Да зачем тебе сусолько народу?... И один дорогу знает... Не мудрость какая!

– А вы скорей, скорей, ребяташки, – день на дворе, лесовать пора, – торопил дядя Онуфрий.

– Кто дорогу укажет, тому и заплатим, – молвил Патап Максимыч.

– Этого нельзя, – заголосили лесники. – Деньги при всех подавай, вот дяде Онуфрию на руки.

Делать было нечего, пришлось согласиться. Патап Максимыч отсчитал деньги, подал их дяде Онуфрию.

– Стой, погоди, еще не совсем в расчете, – сказал дядя Онуфрий, не принимая денег. – Волочки-то здесь покинете аль с собой захватите?

– Куда с собой брать!.. Покинуть надо, – ответил Патап Максимыч.

– Так их надо долой скосить... Лишнего нам не надо, – молвил дядя Онуфрий. – Ребята, видели волочки-то?

– Глядели, – заговорили лесники. – Волочки – ничего, гожие, циновкой крыты, кошмой подбиты – рубля три на монету каждый стоит... пожалуй, и больше... Клади по три рубля с тремя пятаками.

– Что вы, ребята? Да я за них по пяти целковых платил, – сказал Патап Максимыч.

– На базаре? – спросил Захар.

– Известно, на базаре.

– На базаре дешевле не купишь, а в лесу какая им цена? – подхватили лесники. – Здесь этого добра у нас вдоволь... Хочешь, господин купец, скинем за волочки для твоей милости шесть рублей три гривны... Как раз три целковых выйдет.

Патап Максимыч согласился и отдал зеленую бумажку дяде Онуфрию. Тот поглядел бумажку на свет, показал ее каждому леснику, даже Петрайке.

Каждый пощупал ее, потер руками и посмотрел на свет.

– Чего разглядываешь? Не бойся, справская, – сказал Патап Максимыч.

– Видим, что справская, настоящая государева, – отвечал дядя Онуфрий. – А глядеть все-таки надо – без того нельзя, потому артель, надо, чтоб все видели... Ноне же этих проклятых краснаяр[70] больно много развелось... Не поскорби, ваше степенство, не погневайся... Без того, чтоб бумажку не оглядеть, в артели нельзя.

– О чем же спорили вы да сутырили[71] столько времени? – сказал Патап Максимыч, обращаясь к артели. – Сулил я вам три целковых, об волочках и помина не было, у вас же бы остались. Теперь те же самые деньги берете. Из-за чего ж мы время-то с вами попусту теряли?

– А чтоб никому обиды не было, – решил дядя Онуфрий. – Теперича, как до истинного конца дотолковались, оно и свято дело, и думы нет ни себе, ни нам, и сомненья промеж нас никакого не будет. А не разберись мы до последней нитки, свара, пожалуй, в артели пошла бы, и это уж последнее дело... У нас все на согласе, все на порядках... потому – артель.

Патапу Максимычу ничего больше не доводилось, как замолчать перед доводами дяди Онуфрия.

– Тайную силу в матке да пазорях, знают, а бестолочи середь их не оберешься, – сказал он полушепотом, наклонясь к Стуколову.

– Табашники... еретики!.. – сквозь зубы процедил паломник.

Патап Максимыч, выйдя на середку зимницы, спросил, обращаясь к артели:

– Кто ж из вас лучше других дорогу на Ялокшу знает?

– Все хорошо дорогу знают, – отвечал дядя Онуфрий. – А вот Артемий, я тебе, ваше степенство, и даве сказывал, лучше других знает, потому что недавно тут проезжал.

– Так пуцай Артемий с нами и поедет, – решил Патап Максимыч.

– Этого нельзя, ваше степенство, – отвечал, тряхнув головой, дядя Онуфрий.

– Отчего же нельзя? – спросил удивленный Патап Максимыч.

– Потому нельзя, что артель, – молвил дядя Онуфрий.

– Как так?.. – возразил Патап Максимыч. – Да вы же сами сказали, что, заплативши деньги на всех, могу я хоть всю артель тащить.

– Можешь всю артель тащить... Слово скажи – все до единого поедет, – отвечал дядя Онуфрий.

– Так ведь и Артемий тут же будет? – с досадой спросил Патап Максимыч.



– Известно, тут же будет, – ответил дядя Онуфрий. – Из артели парня не выкинешь.

– Артемья одного и беру, а других мне и не надо, – горячился Патап Максимыч.

– Этого нельзя, – спокойно отвечал дядя Онуфрий.

– Почему же нельзя?.. Что за бестолочь у вас такая!.. Господи, царь небесный!.. Вот народец-то!.. – восклицал, хлопая о полы руками, Патап Максимыч.

– А оттого и нельзя, что артель, – отвечал дядя Онуфрий. – Кому жребий выпадет, тот и поедет. Кусай гроши, ребята.

Вынул каждый лесник из зепи<sup>[72]</sup> по грошу. На одном Захар накусил метку. Дядя Онуфрий взял шапку, и каждый парень кинул туда свой грош. Потряс старшей шапкой, и лесники один за другим стали вынимать по грошу.

Кусаный грош достался Артемью.

– Экой ты удатной какой, господин купец, – молвил дядя Онуфрий. – Кого облюбовал, тот тебе и достался... Ну, ваше степенство, с твоим бы счастьем да по грибы ходить... Что ж, одного Артемья берешь аль еще конаться<sup>[73]</sup> велишь? – прибавил он, обращаясь к Патапу Максимычу.

– Лишний человек не мешает, – ответил Патап Максимыч. – В пути всяко случиться может: сани в снегу загрузнут аль что другое.

– Дело говоришь, – заметил дядя Онуфрий, – лишний человек в пути не помеха. Кидай, ребята! – промолвил он, обращаясь к лесникам, снова принимаясь за шапку.

Жребий выпал Петряю.

– Ишь ты дело-то какое! – с досадой молвил дядя Онуфрий, почесывая затылок. – Петряйке досталось! Эко дело-то какое!.. Смотри же, парень, поспевай к вечеру беспрременно, чтоб нам без тебя не лечь спать голодными.

Патап Максимыч, посмотрев на Петряя, подумал, что от подростка в пути большого проку не будет. Заметив, что не только дядя Онуфрий, но и вся артель недовольна, что «подсыпке» ехать досталось, сказал, обращаясь к лесникам:

– Коли Петряй вам нужен, пожалуй, иного выбирайте, мне все едино...

– Нельзя, ваше степенство, – возразил дядя Онуфрий. – Никак невозможно, потому – артель. Вынулся кусаный грош Петряйке, значит, ему и ехать.

– Да не все ли равно, что один, что другой? – сказал Патап Максимыч.



– Оно, конечно, все едино, да уж такие у нас порядки, – говорил дядя Онуфрий. – Супротив наших порядков идти нельзя, потому что артель ими держится. Я бы сам с великой радостью заместо мальчика поехал, да и всякий за него поехал, таково он нужен нам; только этому быть не можно, потому что жребий ему достался.

– Коли на то пошло, конайте третьего, – сказал Патап Максимыч. – От мальчугана пособи немного будет, коли в дороге что приключится.

– Третьего бери, четвертого бери, хочешь, всю артель за собой волочи – твое дело, – отвечал дядя Онуфрий. – А чтоб Петряйке не ехать – нельзя.

– Чудаки вы, право чудаки, – молвил Патап Максимыч. – Эки порядки установили!.. Ну, конайте живей.

Третьим ехать вышло самому дяде Онуфрию.

Но тем дело не кончилось: надо было теперь старшего выбирать на место уезжавшего Онуфрия. Тут уж какой шум да гам поднялись, что хоть вон беги, хоть святых выноси.

– Да ты заместо себя кого бы нибудь сам выбрал, тут бы и делу конец, а то галдят, а толку нет как нет, – молвил Патап Максимыч дяде Онуфрию, не принимавшему участия в разговоре лесников. Артемья и Петряя тоже тут не было, они ушли ладить дровешки себе и дяде Онуфрию.

– Нельзя мне вступаться теперь, – отвечал дядя Онуфрий.

– Отчего ж?

– Оттого, что на сегодняшний день я не в артели. Как знают, так и решат, а мое дело сторона, – отвечал дядя Онуфрий, одеваясь в путь.

Не скоро сговорились лесники. Снова пришлось гроши в шапку кидать. Достался жребий краснощекому, коренастому парню, Архипом звали. Только ему кусаный грош достался, он, дотоле стоявший, как немой, живо зачал командовать.

– Проворь, ребята, проворь лошадей! – закричал он на всю зимницу. – И то гляди-ка, сколько времени проваландались. Чтоб у меня все живой рукой!.. Ну!..

Лесники засуетились. Пяти минут не прошло, как все уж ехали друг за дружкой по узкой лесной тропе.

– Ну уж артель, будь они прокляты, – с досадой молвил Стуколову Патап Максимыч, садясь в сани. – Такой сутолочи, такой бестолочи сродясь не видывал.

– Известно, табашники, церковники! Чего путного ждать?.. Бес мутит, доступны они дьяволу, – отозвался паломник.

– Ваше степенство! – крикнул со своих дровешек дядя Онуфрий. – Уж ты сделай милость – язык-то укороти да и другим закажи... В лесах не след

его поминать.

– Слышишь: не велят поминать, – тихонько сказал Патап Максимыч сидевшему рядом с ним паломнику.

– Это так по ихней жидовской вере, – шептал Стуколов. – Когда я по турецким землям странствовал, а там жидов, что твоя Польша, видимо-невидимо, так от достоверных людей там я слышал, что жиды своего Бога по имени никогда не зовут, а все *он* да *он*... Вот и табашники по ихнему подобию... Едина вера!.. Нехристь!.. Вынеси только, Господи, поскорей отселе!.. Не в пример, лучше по-вчерашнему с волками ночевать, чем быть на совете нечестивых... Паче змия губительного, паче льва стерегущего и гласов велиим рыкаяща, страшны седалища злочестивых, – сказал в заключение паломник и с головой завернулся в шубу.

«Так вот она какова, артель-то у них, – рассуждал Патап Максимыч, лежа в санях рядом с паломником. – Меж себя дело честно ведут, а попадись посторонний, обдерут как липку... Ай да лесники!.. А бестолочи-то что, галденья-то!.. С час места попусту проваландали, а кончили тем же, чем я зачал... Правда, что артели думой не владати... На работе артель золото, на сходке хуже казацкой сумятицы!..»

Дорога шла узенькая, легкие дровешки лесников бойко катились впереди, но запряженные гусем пошевни то и дело завязали меж раскидистых еловых лап, как белым руном покрытых пушистым снегом. В иных местах приходилось их прорубать, чтоб сделать просеку для проезда. Не покинь Патап Максимыч высокие волочки, пошевням не проехать бы по густо разросшемуся краснолесью. Сначала дорога шла одна; не успели полверсты проехать, как пошли от нее и вправо и влево частые повороты и узенькие тропы. По ним лесники бревна из чащи вывозят. Без жоака небывалый как раз заплутался бы меж ними и лыжными маликами,<sup>[74]</sup> которых сразу от санного следа и не отличишь. А попробуй-ка пустить по малику, так наткнешься либо на медвежью берлогу, либо на путик, оставленный для осинового лова.<sup>[75]</sup>

Доехав до своей поворотки, передние лесники стали. За ними остановился и весь поезд. Собралась артель в кучу, опять галдовня началась... Судили-рядили, не лучше ль жоакам одну только подводу с собой брать, а две отдать артели на перевозку бревен. Пospорили, покричали, наконец решили – быть делу так.

Своротили лесники. Долго они аукались и перекликались с Артемьем и Петряем. Впереди Патапа Максимыча ехал на дровешках дядя Онуфрий, Петряй присоединился к храпевшему во всю ивановскую Дюкову, Артемий

примостился на облучке пошевной, в которых лежал Патап Максимыч и спал, по-видимому, богатырским сном паломник Стуколов.

– Эка, парень, бестолочь-то какая у вас, – заговорил Патап Максимыч с Артемьем. – Неужель у вас завсегда такое галденье бывает?

– Артель! – молвил Артемий. – Без того нельзя, чтоб не погалдеть... Сколько голов, столько умов... Да еще каждый норовит по-своему. Как же не галдеть-то?

– Да вы бы одному дали волю всяко дело решать, хоть бы старшему.

– Нельзя того, господин купец, – отвечал Артемий. – Другим станет обидно. Ведь это, пожалуй, на ту же стать пойдет, как по другим местам, где на хозяев из-за ряженой платы работают...

– Ну да, – ответил Патап Максимыч. – Толку тут больше бы было.

– Обидно этак-то, господин купец, – отвечал Артемий. – Пожалуй, вот хоть нашего дядю Онуфрия взять... Такого артельного хозяина днем с огнем не сыскать... Обо всем старанье держит, обо всякой малости печется, душа-человек: прямой, правдивый и по всему надежный. А дай-ка ты ему волю, тотчас величаться начнет, потому человек, не ангел. Да хоша и по правде станет поступать, все уж ему такой веры не будет и слушаться его, как теперь, не станут. Нельзя, потому что артель суймом держится.

– А в деревне как у вас? – спросил Патап Максимыч.

– В деревне свои порядки, артель только в лесах, – отвечал Артемий.

– Как же она у вас собирается? – спросил Патап Максимыч.

– Известно как. Придет осень, зачем сговариваться, как лесовать зимой, как артель собирать. Соберется десять либо двадцать топоров, – больше не бывает. Наберутся скоро, потому что всякому лесовать надо, без этого деньгу не добудешь... Ну, соберутся, зачнут друг у друга спрашивать, кому в хозяевах сидеть. Один за того мекает, другой за другого... Так и толкуем день, два, ину пору и в неделю не сговоримся... Тут-то вот галденья-то послушал бы ты... Тогда ведь вино да хмельное пиво пьют, народ-от в задоре, редко без драки обходится... Положат наконец идти кланяться такому-то – вот хоть бы дяде Онуфрию. Ну, и пойдем, придем в избу, а он сидит, ровно ничего не знает: «Что, говорит, скажете, ребятушки? Какая вам до меня треба?» А ему в ответ: так, мол, и так, столько-то нас человек в артель собралось, будь у нас за хозяина. Тот, известно дело, зачнет ломаться, без этого уж нельзя: «И ума-то, говорит, у меня на такое дело не хватит, и стар-от я стал, и топор-то у меня из рук валится», ну и все такое. А мы стоим да кланяемся, покаместь не уломаем его. Как согласился, тотчас складчину по рублю аль по два – значит, у лесничего билеты править да попенные платить. А которые на купцов работают, те старшего

в Лысково посылают рядиться. Это уж его дело. Оттого и выбирают человека ловкого, бывалого, чтоб в городе не запропал и чтоб в Лыскове купцы его не обошли, потому что эти лысковцы народ дошлый, всячески норовят нашего брата огреть... Ну, выправит старшой билеты, отводное место нам укажут. Тут, собравшись, и ждем первопутки. Только снег выпадет, мы в лес... Тут и начинается артель... Как выехали из деревни за околицу, старшой и стал всему делу голова: что велит, то и делай. А коли какое стороннее дело подойдет, вот хоть бы ваше, тут он ни при чем, тут уж артель что хочет, то и делает.

– А расчеты когда? – спросил Патап Максимыч.

– После Евдокии-плющихи, как домой воротимся, – отвечал Артемий. – У хозяина каждая малость на счету... Оттого и выбираем грамотного, чтоб умел счет записать... Да вот беда – грамотных-то маловато у нас; зачастую такого выбираем, чтоб хоть бирки-то умел хорошо резать. По этим биркам аль по записям и живет у нас расчет. Сколько кто харчей из дома на зиму привез, сколько кто овса на лошадей, другого прочего – все ставим в цену. Получим заработки, поровну делим. На страшной и деньги по рукам.

– А без артели в лесах работают? – спросил Патап Максимыч.

– Мало, – отвечал Артемий. – Там уж не такая работа. Почитай, и выгоды нет никакой... Как можно с артелью сравнять! В артели всем лучше: и сытней, и теплей, и прибыльней. Опять завсегда на людях... Артелью лесовать не в пример веселей, чем бродить одиночкой аль в двойниках.

– А летней порой ходите в лес? – спросил Патап Максимыч.

– Как не ходить? И летом ходим, – отвечал Артемий. – Вдаль, однако, не пускаемся, все больше по раменям... Бересту дерем, луб. Да уж это иная работа: тут жизнь бедовая, комары больно одолевают.

– Сам-от ты ходишь ли по летам? – спросил Патап Максимыч.

– Я-то?.. Как же?.. Иной год в леса хожу, а иной на плотях до Астрахани и на самое Каспийское море сплываю. Чегень туда да дрючки гоняем... А в леса больше на рябка да на тетерю хожу... Ружьишко есть у меня немудрящее, грешным делом похлопываю. Только по нынешним годам эту охоту бросать приходится: порох вздорожал, а дичины стало меньше. Вот с осиле да в пленку<sup>[76]</sup> птицу ловить еще туда-сюда... Так и тут от зверья большая обида бывает: придешь, силки спущены, а от рябков только перышки остались; подлая лиса либо куница прежде тебя успела убрать... Нет, кака ноне охота!.. Само последнее дело!.. А то ходят еще летней порой в леса золото копать, – прибавил Артемий.

– Как золото?.. – быстро привскочив в сани, спросил Патап Максимыч.

– Так же... золота да серебра по нашим лесам много лежит, – отвечал Артемий. – Записи такие есть, где надо искать... Хаживал и я.

– Что же? – с нетерпением спросил Патап Максимыч.

– Не дается, – отвечал Артемий.

– Как не дается?

– Так же и не дается. Слова такого не знаю... Вещбы<sup>[77]</sup> не знаю, – отвечал Артемий.

– Да ты про что рассказываешь? Говори толковей, – молвил Патап Максимыч.

– Про клады говорю, – отвечал Артемий. – По нашим лесам кладов много зарыто. Издалека люди приходят клады копать...

– Клады!.. – проговорил Патап Максимыч и спокойно развалился на перине, разостланной в сани.

– Ну, рассказывай, какие у вас тут клады, – через несколько времени сказал он, обращаясь к Артемию.

– Всякие клады тут лежат, – отвечал Артемий.

– Как же так? – спросил Патап Максимыч. – Разве клады разные бывают?

– А как же, – отвечал Артемий. – Есть клады, самим Господом положенные, – те даются человеку, кого Бог благословит... А где, в каком месте, те Божьи клады положены, никому не ведомо. Кому Господь захочет богатство даровать, тому тайну свою и откроет. А иные клады людьми положены, и к ним приставлена темная сила. Об этих кладах записи есть: там прописано, где клад зарыт, каким видом является и каким зарокотом положен... Эти клады страшные...

– Отчего? – спросил Патап Максимыч.

– Кровь на них, – отвечал Артемий. – С бою богатство было брато, кровью омыто, много душ христианских за ту казну в стары годы загублено.

– Когда ж это было? – спросил Патап Максимыч.

– Давно... – сказал Артемий. – Еще в те поры, как купцами да боярами посконна рубаха владала.

– Когда ж это было? При царе Горохе, как грузди с опенками воевали?.. – смеялся Патап Максимыч.

– В казачьи времена, – степенно отвечал Артемий.

– Что за казачьи времена такие? – спросил Патап Максимыч.

– Разве не слыхивал? – сказал Артемий. – Ведь в стары-то годы по

всей Волге народ казачил... Было время, господин купец, золотое было времечко, да по грехам нашим миновало оно... Серые люди жили на всей вольной волюшке, ели сладко, пили пьяно, цветно платье носили – житье было разудалое, развеселое... Вон теперь по Волге пароходы взад и вперед снуют, ладьи да барки ходят, плоты плывут... Чьи пароходы, чьи плоты да барки? Купецкие все. Завладала ваша братья, купцы, Волгой-матушкой... А в стары годы не купецкие люди волжским раздольем владели, а наша братья, голытьба.

– Что ты за чепуху несешь? – молвил Патап Максимыч. – Никогда не бывало, чтоб Волга у голытьбы в руках была.

– Была, господин купец. Не спорь – правду сказываю, – отвечал Артемий.

– Стара баба с похмелья на печке валялась да во сне твою правду видела, а ты зря бабьи сказки и мелешь, – сказал Патап Максимыч.

– Вранью да небылицам короткий век, а эта правда от старинных людей до нас дошла. Отцы, деды про нее нам сказывали, и песни такие про нее поются у нас... Значит, правда истинная.

– Мало ли что в песнях поют? Разве можно деревенской песне веру дать? – молвил Патап Максимыч.

– Можно, господин купец, потому что «сказка – складка, а песня – быль», – ответил Артемий. – А ты слушай, что я про здешню старину тебе рассказывать стану: занятное дело, коли не знаешь.

– Ну, говори, рассказывай, – молвил Патап Максимыч. – Смолоду охотник я до сказок бывал... Отчего на досуге да на старости лет и не послушать ваших росказней.

– Голытьба в стары годы по лесам жила, жила голытьба и промеж полей, – начал Артемий. – Кормиться стало нечем: хлеба недороды, подати большие, от бояр, от приказных людей утеснение... Хоть в землю зарывайся, хоть заживо в гроб ложись... И побежала голытьба врозь, и стала она вольными казаками... Тут и зачинались казачьи времена... Котора голытьба на Украйну пошла – та ляхов да басурманов побивала, свою казацкую кровь за Христову веру проливала... Котора голытьба в Сибирь махнула – та сибирские места полонила и великому государю Сибирским царством поклонилась... А на Волгу на матушку посыпала что ни на есть сама последняя голытьба. На своей стороне у ней не было ни кола, ни двора, ни угла, ни притула;<sup>[78]</sup> одно только и осталось за душой богатство: наготы да босоты изувешаны шесты, холоду да голоду анбары полны... Вот, ладно, хорошо – высыпала та голытьба на Волгу, казаками назвалась... Атаманы да есаулы снаряжали легки лодочки косные и на тех

на лодочках пошли по матушке по Волге разгуливать... Не попадай навстречу суда купецкие, не попадайся бояре да приказные: людей в воду, казну на себя!.. Веслом махнут – корабли возьмут, кистенем махнут – караван разобьют... Вот каковы бывали удальцы казаки поволжские...

– Это ты про разбойников? – молвил Патап Максимыч.

– По-вашему, разбойники, по-нашему, есаулы-молодцы да вольные казаки, – бойко ответил Артемий, с удальством тряхнув головой и сверкнув черными глазами. – Спеть, что ли, господин купец? – спросил Артемий. – Словами не расскажешь.

– Пой, пожалуй, – сказал Патап Максимыч.

Запел Артемий одну из разинских песен, их так много сохраняется в Поволжье:

Как повыше было села Лыскова,  
Как пониже было села Юркина,  
Супротив села Богомолова:  
В луговой было во сторонущке,  
Протекала тут речка быстрая,  
Речка быстрая, омутистая,  
Омутистая Лева Керженка.<sup>[79]</sup>

– Наша реченька, голубушка!.. – с любовью молвил Артемий, прервав песню. – В стары годы наша Лева Керженка славной рекой слыла, суда ходили по ней, косные плавали... В казачьи времена атаманы да есаулы в нашу родну реченьку зимовать заходили, тут они и дуван дуванили, нажитое на Волге добро, значит, делили... теперь и званья нашей реки не стало: завалило ее, голубушку, каршами, занесло замоинами,<sup>[80]</sup> пошли по ней мели да перекаты... Так и пропала прежняя слава Керженца.

Громче прежнего свистнул Артемий и, тряхнув головою, запел:

Выплыла легка лодочка,  
Легка лодочка атаманская,  
Атамана Стеньки Разина,  
Еще всем лодка изукрашена,  
Казаками изусажена.  
На ней парусы шелковые.  
А веселки позолочены.  
На корме сидит атаман с ружьем,

На носу стоит есаул с багром,  
Посередь лодки парчевой шатер.  
Как во том парчевом шатре  
Лежат бочки золотой казны.  
На казне сидит красна девица —  
Атаманова любовница,  
Есаулова сестра родная,  
Казакам-гребцам — тетушка.  
Сидит девка, призадумалась,  
Посидевши, стала сказывать:  
«Вы послушайте, добры молодцы,  
Вы послушайте, милы племянники,  
Уж как мне, младой, мало спалось,  
Мало спалось, много виделось,  
Не корыстен же мне сон привиделся:  
Атаману-то быть расстрелену,  
Есаулу-то быть повешену,  
Казакам-гребцам по тюрьмам сидеть,  
А мне, вашей родной тетушке,  
Потонуть в Волге-матушке».

— Вишь, и девки в те поры пророчили! — сказал Артемий, оборотясь к Патапу Максимычу. — Атаманова любовница вещий сон провидела... Вещая девка была... Сказывают, Соломонидой звали ее, а родом была от Старого Макарья, купецкая дочь... И все сбылось по слову ее, как видела во сне, так все и случилось... С ней самой атаман тут же порешил, — матушке Волге ее пожертвовал. «Тридцать лет, говорит, с годиком гулял я по Волге-матушке, тридцать лет с годиком тешил душу свою молодецкую, и ничем еще поилицу нашу, кормилицу я не жаловал. Не пожалую, говорит, Волгу-матушку ни казной золотой, ни дорогим перекатным жемчугом, пожалуйю тем, чего на свете краше нет, что нам, есаулы-молодцы, дороже всего». Да с этим словом хватъ Соломиду поперек живота, да со всего размаху как метнет ее в Волгу-матушку... Вот каков был удалой атаман Стенька Разин, по прозванью Тимофеевич!..

— Разбойник, так разбойник и есть, — сухо промолвил Патап Максимыч. — Задаром погубил христианскую душу... Из озорства да из непутовой похвальбы... Как есть разбойник — недаром его на семи соборах проклинали...



Тут пошевни заехали в такую чащу, что ни вбок, ни вперед. Мигом выскочили лесники и работники и в пять топоров стали тяпать еловые сучья и лапы. С полчасу провозились, покаместь не прорубили свободной просеки. Артемий опять присел на облучке саней Патапа Максимыча.

– А что ж ты про клады-то хотел рассказать? – молвил ему Патап Максимыч. – Заговорил про Стеньку Разина, да и забыл.

– Про клады-то! – отозвался Артемий. – А вот слушай... Когда голытьба Волгой владела, атаманы с есаулами каждое лето на косных разъезжали, боярски да купчески суда очищали. И не только суда они грабили, доставалось городам и большим селам, деревень только да приселков не трогали, потому что там голытьба свой век коротала. Церквам Божьим да монастырям тоже спуска не было: не любили есаулы монахов, особенно «посельских старцев», что монастырскими крестьянами правили... Вот наш Макарьев, сказывают, от них отборонился; брали его огненным боем, да крепок – устоял... Ну, вот есаулы-молодцы лето на Волге гуляют, а осенью на Керженец в леса зимовать. И теперь по здешним местам ихние землянки знать... Такие же были, как наши. В тех самых землянках, а не то в лесу на приметном месте нажитое добро в землю они и закапывали. Оттого и клады.

– Где же эти землянки? – спросил Патап Максимыч.

– По разным местам, – отвечал Артемий. – Много их тут по лесам-то. Вот хоть между Дорогучей да Першей<sup>[81]</sup> два диких камня из земли торчат, один поболее, другой помене, оба с виду на коней похожи. Так и зовут их – Конь да Жеребенок. Промеж тех камней казацки зимницы бывали, тут и клады зарыты... А то еще озера тут по лесу есть, Нестиар, да Култай, да Пекшеяр прозываются, вокруг них тоже казацки зимницы, и тоже клады зарыты... И по Ялокше тоже и по нашей лысковской речонке. Вишней прозывается... Между конем и жеребенком большая зимница была, срубы до сей поры знать... Грешным делом, и я тут копал.

– Что ж, дорылся до чего? – спросил Патап Максимыч.

– Где дорыться!.. Есаулы-то с зарокм казну хоронили, – отвечал Артемий. – Надо слово знать, вещьбу такую... Кто вещьбу знает, молви только ее, клад-от сам выйдет наружу... А в том месте важный клад положон. Если достался, внукам бы, правнукам не прожить... Двенадцать бочек золотой казны на серебряных цепях да пушка золотая.

– Как пушка золотая? – с удивлением спросил Патап Максимыч.

– Так же золотая, из чистого золота литая... И ядра при ней золотые лежат и жеребьи золотые, которыми Стенька Разин по бусурманам стрелял... Ведь он Персиянское царство заполонил. Ты это слыхал ли?

– Нестаточное дело вору царство полонить, хоша бы и басурманское, – молвил Патап Максимыч.

– Верно тебе говорю, – решительно сказал Артемий. – Кого хочешь спросай, всяк тебе скажет. Видишь ли как дело-то было. Волга-матушка в Каспийское море пала, сам я то море не раз с чегенником да дрючками хаживал. По сю сторону того моря сторона русская, крещеная, по ту бусурманская, персиянская. Услыхал Стенька Разин, что за морем у бусурманов много тысячей крещеного народа в полону живет. Собирает он казачий круг, говорит казакам такую речь: «Так и так, атаманы-молодцы, так и так, братцы-товарищи: пали до меня слухи, что за морем у персиянов много тысячей крещеного народу живет в полону в тяжелой работе, в великой нужде и горькой неволе; надо бы нам, братцы, не полениться, за море съездить потрудиться, их, сердечных, из той неволи выручить!» Есаулы-молодцы и все казаки в один голос гаркнули: «Веди нас, батька, в бусурманское царство русский полон выручать!..» Стенька Разин рад тому радешенек, сам первым делом к колдуну. Спрашивает, как ему русский полон из бусурманской неволи выручить. Колдун говорит ему: «За великое ты дело, Стенька, принимаешься; бусурманское царство осилить – не мутовку облизать. Одной сило-храбростью тут не возьмешь, надо вещьбу знать...» – «А какая же на то вещьба есть?» – спросил у колдуна Стенька Разин. Тот ему тайное слово сказал да примолвил: «И с вещьбой далеко не уедешь, а вылей ты золоту пушку, к ней золоты ядра да золоты жеребья, да чтоб золото было все церковное, а и лучше того монастырское... И как станешь палить, вещьбу говори, тут и заберешь в свои руки царство бусурманское». Стенька Разин так и сделал, как ему колдуном было сказано.

– Что ж потом? – спросил Патап Максимыч.

– Известно что, – отвечал Артемий. – Зачал из золотой пушки палить да вещьбу говорить – бусурманское царство ему и покорилося. Молодцы-есаулы крещеный полон на Русь вывезли, а всякого добра бусурманского столько набрали, что в лодках и положить было некуда: много в воду его пометали. Самого царя бусурманского Стенька Разин на кол посадил, а дочь его, царевну, в полюбовницы взял. Дошлый казак был, до девок охоч.

– Эту самую пушку ты и копал? – спросил Патап Максимыч.

– Эту самую, – сказал Артемий. – Когда атаман воротился на Русскую землю, привез он ту пушку с жеребьями да с ядрами в наши леса и зарыл ее в большой зимнице меж Коня и Жеребенка. Записи такие есть.

– Как же это до сих пор никто той пушки не вынул? Ведь все знают, в каком месте она закопана, – сказал Патап Максимыч.

– Экой ты, господин купец! – отвечал Артемий. – Мало знать, где клад положон, надо знать, как взять его... Да как и владеть-то им, тоже надо знать...

– А как же кладом владеть? – спросил Патап Максимыч.

– Это дело мудренее, чем клад достать, – отвечал Артемий. – Сколько ни было счастливых, которым клады доставались, всем, почитай, богатство не на пользу пошло: тот сгорел, другой всех детей схоронил, третий сам прогорел да с кругу спился, а иной до палачовых рук дошел... Прахом больше такие деньги идут... Счастливого человека, что вынул клад, враг день и ночь караулит и на всякое худое дело наталкивает... Знамо, хочется окаянному душой его завладеть, чтоб душой своей расплатился он за богатство. Потому, как только он вырыл клад, попов позови, молебен отпой, на церкву Божию вклады не пожалей, бедным половину денег раздай, и какого человека в нужде ни встретишь, всякому помощи. Коли так поступишь – недобрая сила тебя на коснется, и богатство твое, как вешняя вода на поемах, каждый день, каждую ночь зачнет у тебя прибывать. Сколько денег нищим ты не раздашь, а их опять как снегу в степи, к тебе в дом нанесет. Так и в старинных записях писано: «А вынутый клад впрок бы пошел, ино церковь Божию не забыть, нищей братье расточить, вдову, сироту призреть, странного удовлетворить, алчного напитать, хладого обогреть». Так и про золоту пушку писано.<sup>[82]</sup> Хоша бы и тот клад и лихим человеком был положон на чью голову – заклятье его не подействует, а вынутый клад вменится тебе за клад, самим Богом на счастье твое положенный.

– Разве Бог-от кладет клады? – с усмешкой молвил Патап Максимыч. – Эка что городишь!

– Как же не кладет? – возразил Артемий. – Зарывает!.. Господь в землю и золото, серебро, и всяки дорогие камни тайной силой своей зарывает. То и есть Божий клад... Золото ведь из земли же роют, а кто его туда положил?.. Вестимо – Бог.

Патап Максимыч насторожил уши, не перебивая Артемьево рассказа. Привстал с перины и, склонив к Артемью голову, ухватился руками за облучок.

– Когда Господь поволит мать сыру-землю наградить, – продолжал Артемий, – пошлет он ангела небесного на солнце и велит ему иверень<sup>[83]</sup> от солнца отщербить<sup>[84]</sup> и вложить его в громовую тучу... И Господнею силой тот солнечный иверень разольется в туче чистым золотом. И по Божьему велению пойдет та туча над землею и в моленьях золото на землю

посыплет. Как только та молонья ударит, так золото на землю и в ней песком рассыплется... Это и есть Божий клад... серебро ангел Господень с ясного месяца берет, а камни самоцветные со звезд небесных... Вот каково чудна сила Божия...

– Да ведь грозы-то везде бывают, – отчего ж не везде роют золото? – спросил Патап Максимыч.

– Не во всяку тучу Богом золото кладется, – ответил Артемий, – а только в ту, в которую его святой воли угодно. В обиходной молонье не золото, не серебро, а стрелка громовая кладется... Видал, что ли? Еще в песке находят, воду с той стрелки пьют от рези в животе... А в солнечной туче стрелки нет, одно золото рассыпчатое. Молонья молонье рознь. Солнечная молонья рассыпается по небу ровно огненными волосами, бьет по земле не шибко, а ровно манна небесная сходит, и гром от нее совсем другой... Тут не гром гремит, а Господни ангелы воспевают славу Божию...

– А можно ль узнать такое место, где золотая молонья пала? – сказал Патап Максимыч.

При этом вопросе спавший Стуколов потянулся и, раскрыв воротник шубы, захрапел пуще прежнего.

– Господь да небесные ангелы знают, где она выпала. И люди, которым Бог благословит, находят такие места. По тем местам и роют золото, – отвечал Артемий. – В Сибири, сказывают, много таких местов...

– А ты бывал нешто в Сибири-то? – спросил Патап Максимыч.

– Самому быть не доводилось, – отвечал Артемий, – а слышать слышал: у одного из наших деревенских сродники в Горах живут, <sup>[85]</sup> наши шабры <sup>[86]</sup> девку оттоль брали. Каждый год ходят в Сибирь на золоты прииски, так они сказывали, что золото только в лесах там находят... На всем белом свете золото только в лесах.

– В лесах? – переспросил Патап Максимыч.

– В лесах, – подтвердил Артемий. – Никогда Господь солнечную молонью близко от жила не пустит... Людей ему жалко, чтоб не загубить.

– Чем же загубить? – спросил Патап Максимыч.

– А как же? – молвил Артемий. – Ведь солнечна-то молонья не простой чета. Хлыщет не шибко, а на которо место падает, от того места верст на десяток кругом живой души не останется...

– Отчего ж так? – спросил Патап Максимыч.

– У Бога спроси!.. Его тайна, – нам, грешным, разуметь ее не дано... – отвечал Артемий. – Грозна ведь тайна-то сила Божия.

– А по здешним лесам такая молонья выпадала? – после некоторого молчания спросил Патап Максимыч.

Паломник опять шевельнулся во сне.

– По нашим местам не слыхать, – отозвался Артемий. – А там на сивер, в Ветлужских верхотинах, сказывают, бывало Божие проявление. Хвастать не стану, сам не видал, а слыхать слыхал, что по тамошним лесам Божьих кладов довольно.

– И золотой песок? – торопливо спросил Патап Максимыч.

– Есть и пески золотые, – отвечал Артемий.

– Которо место? – с нетерпением спросил Патап Максимыч.

Спавший Стуколов вздрогнул и перестал всхрапывать.

– Доподлинно сказать тебе не могу, потому что тамошних лесов хорошо не знаю, – сказал Артемий. – Всего раза два в ту сторону ездил, и то дальше Уреня не бывал. Доедешь, Бог даст, поспрошай там у мужиков – скажут.

– Донес Бог!.. Вот и зимняк!.. Ялокша!.. – крикнул дядя Онуфрий, сворачивая в сторону, чтобы дать дорогу пошевням.

На расставанье Патап Максимыч за сказки, за песни, а больше за добрые вести, хотел подарить Артемью целковый. Тот не взял.

– Спасибо на ласке, господин купец, – молвил он, – а денег твоих не возьму.

– Экой, парень, чудной ты какой, – говорил ему Патап Максимыч. – Бери, коли дают. На дороге не поднимешь, пригодится.

– Как не пригодится? – сказал Артемий. – Только брать твои деньги мне не приходится, потому артель...

– Нельзя Артемию с тебя малу росинку взять, – подтвердил дядя Онуфрий. – Он в артели.

– Ну, на артель примите, – сказал Патап Максимыч.

– Артель лишку не берет, – сказал дядя Онуфрий, отстраняя руку Патапа Максимыча. – Что следовало – взято, лишнего не надо... Счастливо оставаться, ваше степенство!.. Путь вам чистый, дорога скатертью!.. Да вот еще что я скажу тебе, господин купец; послушай ты меня, старика: пока лесами едешь, не говори ты черного слова. В степи как хочешь, а в лесу не поминай его... До беды недалече... Даром, что зима теперь, даром, что темная сила спит теперь под землей... На это не найдется!.. Хитер ведь он!..

Распрощались. Пошевни взяли вправо по Ялокшинскому зимняку, и путники засветло добрались до Нижнего Воскресенья.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

На постоялом дворе, на одной из широких улиц большого торгового села Воскресенского, в задней чисто прибранной горенке, за огромным самоваром сидел Патап Максимыч с паломником и молчаливым купцом Дюковым. Решили они заночевать у Воскресенья, чтоб дать роздых лошадям, вдосталь измученным от непривычной езды по зимнякам и лесным тропам.

– Горазды ж вы оба спать-то, – молвил Патап Максимыч, допивая пятый либо шестой стакан чаю. – Ведь ты от зимницы до Ялокши глаз не раскрыл, Яким Прохорыч, да и после того спал вплоть до Воскресенья.

– Сон что богатство, – ответил паломник, – больше спишь, больше хочется.

– А со мной все время лесник калякал, – продолжал Патап Максимыч. – И песни пел и сказки сказывал; затейный парень, молодец на все руки.

– Слава те, Господи, что сон меня одолел, – отозвался Стуколов. – Не сквернились, по крайней мере, уши мои, не слышали бесовских песен и нечестивых речей треклятого табашника.

– Пошел расписывать! – молвил Патап Максимыч. – Везде-то у него грехи да ереси, шагу ты не ступишь, не осудивши кого... Что за беда, что они церковники? И между церковниками зачастую попадают хорошие люди, зато и меж староверами такие есть, что снаружи-то «блажен муж», а внутри «вскуе шаташася».

– Правая вера все покрывает, – сказал паломник, – а общение с еретиком в погибель вечную ведет... Не смотрели бы глаза мои на лица врагов Божиих.

– Нашему брату этого нельзя, – молвил Патап Максимыч. – Живем в миру, со всяким народом дела бывают у нас; не токма с церковниками – с татарами иной раз хороводимся... И то мне думается, что хороший человек завсегда хорош, в какую бы веру он ни веровал... Ведь Господь повелел каждого человека возлюбить.

– Да не еретика, – подхватил Стуколов. – Не слышал разве, что в писании про них сказано: «И тати, и разбойницы, и волхвы, и человекоубийцы, и всякие другие грешники внидут в царство небесное, только еретикам, врагам Божиим, несть места в горних обителях...»

– Надоел ты мне, Яким Прохорыч, пуще горькой редьки такими

разговорами, – с недовольством промолвил Патап Максимыч.

– Обмирщился ты весь, обмирщился с головы до ног, обошли тебя еретики, совсем обошли, – горячо отвечал на то Стуколов. – Подумай о души спасении. Годы твои не молодые, пора о Боге помышлять.

– Береги свои речи про других, мне они не пригожи, – с сердцем ответил Патап Максимыч. – Хочешь, на обратном пути в Комаров завернем? Толкуй там с матерью Манефой... Ты с ней как раз споешься: что ты, что она – одного сукна епанча, одного лесу кочерга.

Стуколов несколько смутился.

– А знаешь ли, что песенник-то сказывал? – спросил после недолгого молчания Патап Максимыч.

– Почему я знаю? У сонного нет ушей, – отвечал Стуколов.

– Про Стеньку Разина сказки сказывал, про клады, по лесам зарытые, а потом на земляное масло свел, – сказал Патап Максимыч.

Сонный Дюков вспрянул, уставив удивленные глаза на Патапа Максимыча. А Стуколов преспокойно студил вылитый в блюдечко чай.

– Слышишь? – обратился к нему Патап Максимыч. – Про золотой песок парень-от сказывал. На Ветлуге, дескать, подлинно есть такие места.

– И без него знаем, – безучастно промолвил Стуколов.

– В лесах, говорит, золото лежит, ото всякого жила далече, а которое место оно в земле лежит, того не знает, – продолжал Патап Максимыч.

– Хошь и знал бы, так не сказал, – заметил Стуколов. – Про такие дела со всяким встречным не болтают.

– Сказал же про клады, где зарыты, и в каком месте золотая пушка лежит. Вот бы вырыть-то, Яким Прохорыч, пожалуй бы, лучше приисков дело-то выгорело.

– Пустое городишь, Патап Максимыч, – сказал паломник. – Мало ль чего народ ни врет? За ветром в поле не угоняешься, так и людских речей не переслушаешь. Да хоть бы то и правда была, разве нам след за клады приниматься. Тут враг рода человеческого действует, сам треклятый сатана... Душу свою, что ли, губить! Клады – приманка дьявольская; золотая россыпь – Божий дар.

– В одно слово с лесником! – воскликнул Патап Максимыч. – То же самое и он говорил.

– Правдой, значит, обмолвился злочестивый язык еретика, врага Божия, – сказал Стуколов. – Ину пору и это бывает. Сам бес, когда захочет человека в сети уловить, праведное слово иной раз молвит. И корчится сам, и в три погибели от правды-то его гнет, а все-таки ее вымолвил. И трепещет, а сказывает. Таков уже проклятый их род!..

– Да полно ль тебе, Яким Прохорыч! – вставая с лавки, с досадой промолвил Патап Максимыч. – О чем с тобой ни заговори, все-то ты на дьявола своротишь... Ишь как бесу-то полюбилось на твоём языке сидеть, сойти долой окаянному не хочется.

Паломник плюнул и, сердито взглянув на Патапа Максимыча, пробормотал какую-то молитву, глядя на иконы.

– Весть Господь пути праведных, путь же нечестивых погибнет!.. – сказал он потом громким голосом.

– Нет, Яким Прохорыч, с тобой толковать надо поевши, – молвил Патап Максимыч. – Да, кстати, и об ужине не мешает подумать... Здесь, у Воскресенья, стерляди первый сорт, не хуже васильсурских. Спсылать, что ли, к ловцам на Левиху.<sup>[87]</sup>

– В великий-то пост? – испуганно воскликнул Стуколов.

– В пути сущим пост разрешается, – сказал Патап Максимыч.

– Поганься, коли Бога забыл, а мы и хлеба пожуем, – молвил паломник сдержанным голосом, не глядя на Патапа Максимыча.

– Эх вы, постники безгрешные!.. Знавал я на своём веку таких, – шутил Патап Максимыч. – Есть такие спасенные души, что не только в среду, в понедельник даже молока не хлебнут, а молочнице и в велику пятницу спуску не дадут.

Плюнул от досады Стуколов.

– Как же будет у нас? – продолжал Патап Максимыч. – Благословляй, что ли, свят муж, к ловцам спсылать?.. Рыбешка здесь редкостная, янтарь янтарем... Ну, Яким Прохорыч, так уж и быть, опоганимся, да вплоть до святой и закаемся... Право же говорю, дорожным людям пост разрешается... Хоть Манефу спроси... На что мастерица посты разбирать, и та в пути разрешает.

– Отстань от меня, ради Господа, – молил Стуколов. – Делай, как знаешь, а других во грех не вводи.

Патап Максимыч махнул рукой и вышел к хозяевам в переднюю горницу, чтоб спсылать их к ловцам за рыбой.

Только что он вышел, Дюков торопливо сказал паломнику:

– Про места расспрашивал!

– Не спознал и не спознает, – решительно ответил Стуколов. – Я все слышал, что лесник рассказывал...

– То-то, чтоб нам в дураках не остаться, – сказал Дюков.

– Будь покоен: попал карась в нерето,<sup>[88]</sup> не выскочит.



Патап Максимыч запоздал на Ветлуге. Проехали путники в Урень, под видом закупки дешевого яранского хлеба. И в самом деле Патап Максимыч сделал там небольшую закупку. Потом отправились в лесную деревушку, к знакомому Якима Прохорыча, оттуда в другую, Лукерьиной прозывается, к зажиточному баклушнику<sup>[89]</sup> Силантью. Оба знакомца Стуколова заверяли Патапа Максимыча, что по ихним лесам вправду золотой песок водится. Силантий показал даже стеклянный пузырек с таким добром. На вид песок, ни дать ни взять, такой же, как стуколовский.

– Пробовали плавить его, – сказывал Силантий, – топили в горну на кузнице, однако толку не вышло, гарь одна остается.

К великой досаде паломника, разболтавшийся Силантий показал Патапу Максимычу и гарь, вовсе не похожую на золото.

Как ни старался Стуколов замять Силантьевы речи, на Патапа Максимыча напало сомнение в добротности ветлужского песка... Он купил у Силантья пузырек, а на придачу и гарь взял.

Когда совершалась эта покупка, Стуколов с досадой встал с места и, походив по избе спешными шагами, вышел в сени. Дюков осовел, сидя на месте.

На другой день, рано поутру, Патап Максимыч случайно подслушал, как паломник с Дюковым ругательски ругали Силантья за «лишние слова»... Это навело на него еще больше сомнения и, сидя со спутниками и хозяином дома за утренним самоваром, он сказал, что ветлужский песок ему что-то сумнителен.

– У меня в городе дружок есть, барин, по всякой науке человек дошлый, – сказал он. – Сем-ка я съезжу к нему с этим песком да покучусь ему испробовать, можно ль из него золото сделать... Если выйдет из него заправское золото – ничего не пожалею, что есть добра, все в оборот пушу... А до той поры, гневись, не гневись, Яким Прохорыч, к вашему делу не приступлю, потому что оно покаместь для меня потемки... Да!

– Съезди, пожалуй, к своему барину, – молвил паломник. – Только не проболтайся, ради Бога, где эта благодать родится. А то разнесутся вести, узнает начальство, тогда нам за наши хлопоты шиш и покажут... Сам знаешь, земля ведь не наша.

– Купим ее, – сказал Патап Максимыч. – Земли здесь недорого.

– Легко сказать – купим, – прервал Стуколов. – Ежели бы земли-то здешние были барские, нечего бы и толковать, купил и шабаш, а тут ведь казна. Годы пройдут, пока разрешат продажу. По здешним местам казенных земель спокон веку никто не покупывал, так...

– Не казенна здесь земля, удельная, – перебил Силантий.

Стуколов искоса взглянул на него: «Не суйся, дескать, куда не спрашивают», – и продолжал, обращаясь к Патапу Максимычу:

– С удельной и того хуже. Удел земель не продает. Да что об этом толковать прежде времени? Коли дело пойдет, как уговорились, в Питере отхлопочем за тебя прииски, а коли ты, Патап Максимыч, на попятный, так после пеняй на себя...

– Кто на попятный? – вскрикнул Патап Максимыч. – Никогда я на попятный ни в каком деле не поворачивал, не таков я человек, чтоб на попятный идти. Мне бы только увериться... Обожди маленько, окажется дело верное, тотчас подпишу условие и деньги тебе в руки. А до тех пор я не согласен.

– Да ты не всякому пузырек-от показывай, – сказал паломник. – А то могут заподозрить, что это золото из Сибири, краденое. Насчет этого теперь строго – как раз в острог.

– Малого ребенка, что ли, вздумал учить? – вспыхнул Патап Максимыч. – Разве мы этого не понимаем?.. Барин верный. Дружок мне – не выдаст. Отсюда прямо в город к нему.

– А вот что, Патап Максимыч, – сказал паломник, – город городом, и ученый твой барин пушай его смотрит, а вот я что еще придумал. Торопиться тебе ведь некуда. Съездили бы мы с тобой в Красноярский скит к отцу Михаилу. Отсель рукой подать, двадцати верст не будет. Не хотел я прежде про него говорить, – а ведь он у нас в доле, – съездим к нему на денек, ради уверенья...

– По мне, пожалуй, для че не съездить, – сказал Патап Максимыч. – Да что это за отец Михаил?

– Игумен Красноярского скита, – ответил Стуколов. – Увидишь, что за человек – поискать таких старцев!..

По совету Стуколова, уговорились ехать в скит пообедавши. Перед самым обедом паломник ушел в заднюю, написал там письмецо и отдал его Силантью. Через полчаса какие-нибудь хозяйский сын верхом на лошади съехал со двора задними воротами и скорой рысью погнал к Красноярскому скиту.

Совсем уже стемнело, когда путники добрались до скита Красноярского. Стоял он в лесной глуши, на берегу Усты, а кругом обнесен был высоким деревянным частоколом. Посредине часовня стояла, вокруг нее кельи, совсем не похожие на кельи Каменного Вражка и других чернораменских женских скитов. Все здесь было построено шире, выше, суразнее и просторней; кельи друг от дружки стояли подальше; не было на

них ни теремков, ни светелок, ни вышек, ни смотрилен. Не будь середь обители высокой часовни да вокруг нее намогильных голубцов, Красноярский скит больше бы походил на острог, чем на монастырь. Такой же высокий частокол вокруг, такие же большие ворота, местами обитые железом, такие же длинные, высокие, однообразные кельи с маленькими окнами и вставленными в них железными решетками. Вне ограды хоть бы какой клевушок.

Подъехав к скиту, путники остановились у ворот и дернули висевшую у калитки веревку. Вдали послышался звон колокола; залаяли собаки, и через несколько времени чей-то голос стал изнутри опрашивать:

– Кого Господь дарует?

– Люди знакомые, отец вратарь, – отозвался паломник. – Стуколов Яким с дорогими гостями. Доложись игумну, Яким, мол, Прохорыч гостей привез.

– Отец игумен повечерие правит. Обождите малехонько, схожу благословлюсь... – ответил за воротами привратник.

– Да ты поскорей, отец вратарь, мы ведь издалека. Кони приустали, да и самим отдохнуть охота, – сказал Патап Максимыч.

– Ладно, поспешу, – отвечал голос за воротами. – А много ль вас народу-то?

– Пятеро, – сказал Стуколов, – ты молви только отцу игумну: Яким, дескать, Прохорыч Стуколов с гостями приехал.

– Ладно, ладно, скажу.

Привратник ушел и долго не возвращался. Набежавшие к воротам псы так и заливались свирепым лаем внутри монастыря. Тут были слышны и сиплый глухой лай какого-то старинного стража Красноярской обители, и тьяканье задорной шавки, и завыванье озлившегося волкопеса, и звонкий лай выжлятника... Все сливалось в один оглушительный содом, а вдали слышались ржанье стоялых коней, мычанье коров и какие-то невразумительные людские речи.

– Ну, брат, в этот скит, как в царство небесное, сразу не попадешь, – сказал Патап Максимыч паломнику.

– Нельзя в лесах иначе жить, – отвечал Стуколов. – С большой опаской здесь надо жить... потому глушь; верст на десять кругом никакого жилья нет. А недобрых людей немало – как раз пограбят... Старцы же здешние – народ пуганый.

– А что? – спросил Патап Максимыч.

– Мучили их. Забрались одиново разбойники – грабили.

– Как так? – спросил Патап Максимыч.

– Так же, – отвечал паломник. – Пошла слава про монастырь, что богат больно, а богат-то он точно богат, от того самого дела – смекаешь... Вот погоди, сам своими глазами увидишь. Годов десять тому и польстись на Красноярскую обитель неведомо какие злодеи, задумали старцев пограбить... Сговорились с бельцом ихнего же монастыря, тот у привратника ключи украл и впустил ночью разбойников. Человек пятнадцать их было, народ молодой, здоровенный... Которых старцев в кельях заперли, которых по рукам, по ногам перевязали да, этак распорядившись, зачали по-своему хозяйничать... Часовню разбили, образа ободрали, к игумну пришли. Все мышинные норки у него перерыли, а денег два с полтиной только нашли. Принялись за отца Михаила, говорят: подавай деньги... Тот уперся... Никаких, говорит, денег у меня нет, опричь тех, что вы отобрали. Разбойники его пытать – уж чего они над ним не творили: и били-то его всячески, и арапником-то стегали, и подошвы-то на бересте палили, и гвозди-то под ногти забивали... Вытерпел старец – слова не проронил, только молитву читал, как они его мучили. Замертво бросили в чулан, думали, нежив. Но помиловал Бог – отдышался. За келейника игуменовского принялись. Тот, не стерпя мук, может статья, и сказал бы, да, Богу благодаренья, сам не знал, куда игумен деньги запрятал. Так и не покорыстовались... Разыскали после разбойников, сослали...

– Этак, пожалуй, старцы нас и не пустят, подумают, опять разбойники нагрянули, – сказал Патап Максимыч.

– Пустят, как не пустить. Меня знают, – отвечал Стуколов.

Прошло немало времени, как в монастыре снова слышались людские голоса.

– Отец вратарь, скоро ли ты? Отпирай! – крикнул Стуколов.

– Да вот отец казначей пришел поспрошать, что за люди, – слышалось из-за ограды.

– Ты, что ль, будешь, отец Михей? – крикнул Стуколов.

– Я, грешный инок Михей, – отвечал казначей. – А вы кто такие?

– Да ведь сказано было вратарю, что Стуколов Яким гостей привез... Сказывали отцу игумну аль нет еще?

– Отец Михаил повечерие правит – нельзя с ним теперь разговаривать, – отвечал привратник. – Потому я отцу казначею и доложил.

– Аль меня по голосу-то не признаешь, отец Михей? – спросил паломник.

– Как через ворота человека признать по голосу? Я же и на ухо крепонек.

– Ах вы, старцы Божьи!.. – крикнул Стуколов. – Не воры к вам приехали, свои люди, знакомые. Благослови, отец Михей, ворота отворить.

– Да гости-то кто такие с тобой? – спросил казначей.

– Дюков Сампсон Михайлович, дружок отцу-то Михаилу, – сказал Стуколов, – да еще Патап Максимыч Чапурин из Осиповки.

– Не братец ли матушки Манефы комаровской? – спросил отец Михей.

– Он самый, – отвечал Стуколов.

– Ин обождите маленько, пойду благословлюсь у отца игумна, – сказал казначей, и вскоре послышались шаги удалявшихся внутрь монастыря. Притихший собачий лай поднялся пуще прежнего.

Из себя вышел Патап Максимыч, браниться зачал. Бранил игумна, бранил казначея, бранил вратаря, бранил собак и всю красноярскую братию. Пуще всего доставалось Стуколову.

– К какому ты лешему завез меня! – кричал он на весь лес. – Понесла же меня нелегкая в это гнездо проклятое... Чтоб их всех там свело и скорчило!.. Ночевать, что ли, тут в лесу-то?.. Шайтан бы побрал их, этих чернецов окаянных!.. Что они, морозить нас вздумали?.. Аль деревенских девок прячут по подпольям?..

– Не грехи праздным словом на Божьих старцев, – уговаривал его паломник. – Потерпи маленько. Иначе нельзя – на то устав... Опять же народ пуганый – недобрых людей опасаются. Сам знаешь: кого медведь драл, тот и пенька в лесу боится.

Не внимал уговорам Патап Максимыч, ругани его конца не виделось. До того дошло, что он, харкнув на ворота и обозвав весь монастырь нехорошими словами, хотел садиться в сани, чтоб ехать назад, но в это время забрякали ключами и продрогших путников впустили в монастырскую ограду. Там встретили их четверо монахов с фонарями.

До десятка собак с разнообразным лаем, ворчаньем и хрипеньем бросились на вошедших. Псы были здоровенные, жирные и презлые. Кроме маленькой шавки, с визгливым лаем задорно бросившейся гостям под ноги, каждая собака в одиночку на волка ходила.

– Лыска!.. Орелка!.. Жучка!.. По местам, проклятые!.. Цыма, Шарик!.. Что под ноги-то кидаешься?.. По местам!.. – кричали на собак монахи и насили-насили успели их разогнать.

– Чего с такой псарней разбою бояться, – ворчал не уходившийся еще Патап Максимыч. – Эти псы целый стан разбойников перегрызут.

– Повечерие на отходе, – чуть не до земли кланяясь Патапу Максимычу, сказал отец Спиридоний, монастырский гостиник, здоровенный старец, с лукавыми, хитрыми и быстро, как мыши,

бегающими по сторонам глазками. – Как угодно вам будет, гости дорогие, – в часовню прежде, аль на гостиный двор, аль к батюшке отцу Михаилу в келью? Получаса не пройдет, как он со службой управится.

– По мне все едино, – сухо ответил Патап Максимыч. – В часовню так в часовню, келью так в келью.

– Так уж лучше в часовню пожалуйте, – сказал отец Михей. – Посмотрите, как мы, убогие, Божию службу по силе возможности справляем... А пожитки ваши мы в гостиницу внесем, коней уберем... Пожалуйте, милости просим.

И казначей отец Михей повел гостей по расчищенной между сугробами, гладкой, широкой, усыпанной красным песком дорожке, меж тем как отец гостиник с повозками и работниками отправился на стоявший отдельно в углу монастыря большой, ставленный на высоких подклетах гостиный дом для богомольцев и приезжавших в скит по разным делам.

Войдя в часовню, Патап Максимыч поражен был благолепием убранства и стройным чином службы. Старинный, ярко раззолоченный иконостас возвышался под самый потолок. Перед местными в золоченых ризах иконами горели ослопные свечи, все паникадила были зажжены, и синеватый клуб ладана носился между ними. Старцы стояли рядами, все в соборных мантиях с длинными хвостами, все в опущенных низко, на самые глаза, камилавах и кафтырях. За ними ряды послушников и трудников из мирян; все в черных суконных подрясниках с широкими черными усменными<sup>[90]</sup> поясами. На обоих клиросах стояли певцы; славились они не только по окрестным местам, но даже в Москве и на Иргизе. Среди часовни, перед аналогием, в соборной мантии, стоял высокий, широкий в плечах, с длинными седыми волосами и большой окладистой, как серебро, белой бородой, старец и густым голосом делал возгласы. Это был сам игумен – отец Михаил.

Служба шла так чинно, так благоговейно, что сердце Патапа Максимыча, до страсти любившего церковное благолепие, разом смягчилось. Забыл, что его чуть не битых полчаса заставили простоять на морозе. С сиявшим на лице довольством рассматривал он красноярскую часовню.

«Вот это служба так служба, – думал, оглядываясь на все стороны, Патап Максимыч. – Мастера Богу молиться, нечего сказать... Эко благолепие-то какое!.. Рогожскому мало чем уступит... А нашей Городецкой часовне – куда! тех же щей да пожиге влей... Божье-то милосердие какое, иконы-то святые!.. Просто загляденье, а служба-то – первый сорт!.. В Иргизе такой службы не видывал!..»

Наружность игумна тоже понравилась Патапу Максимычу. Еще не сказав с ним ни слова, полюбил уж он старца за порядки. Прежней досады как не бывало.

«Эка здоровенный игумен-то какой, ровно из матерого дуба вытесан... – думал, глядя на него, Патап Максимыч. – Ему бы не лестовку в руку, а пудовый молот... Чудное дело, как это он с разбойниками-то не справился... Да этакому старцу хоть на пару медведей в одиночку идти... Лапища-то какая!.. А молодец Богу молиться!.. Как это все у него стройно да чинно выходит...»

Кончилось повечерие. Проговорил отпуст отец Михаил и обратился к старцам:

– Отцы и братие и служебницы сея честныя обители!.. Возвещаю вам радость великую: убогое жительство наше посетили благочестивые христолюбцы, крепкие ревнители святоотеческой веры нашае древлего благочестия. Чем воздадим за такую милость, к нам бывшую? Помолимся убо о здравии их и спасении и воспоем Господу Богу молебное пение за милость творящих и заповедавших нам, недостойным, молиться о них.

Братия, обернувшись зараз, чуть не до земли поклонились гостям, а отец Михаил замолитвовал канон о здравии и спасении. Головщик правого клироса звонким голосом поаминил и подробно начал чтение канона.

Тут уж совсем растаял Патап Максимыч. Любил почет, особенно почет церковный. Пуще всего дорожил он тем, что с самой кончины родителя, многие годы бывшего попечителем Городецкой часовни, сам постоянно был выбираем в эту должность. Льстило его самолюбию, когда, бывая в той часовне за службой, становился он впереди всех, первый подходил к целованию Евангелия или креста, получал от беглого попа в крещенский сочельник первый кувшин богоявленской воды, в вербну заутреню первую вербу, в светло воскресенье первую свечу... Но такого почета, какой был оказан ему в Красноярском скиту, никогда ему и во сне не грезилось. Как было не растопиться сердцу, как не забыть досады, что взяла было его у ворот монастыря? Слеза даже прошибла Патапа Максимыча.

«Сторублевой мало! – подумал он. – Игумен человек понимающий. По крайности сторублевую с двумя четвертными надо вкладу положить».

Слушает, а отец Михаил поминает о здравии и спасении рабов Божиих Патапия, Ксении, девицы Анастасии, девицы Параскевы, инокини Манефы, рабы Божией Агриппины.

«Глядь-ка, глядь-ка, – удивляется Патап Максимыч, – всех по именам так и валяет... И Груню не забыл... От кого это проведал он про моих сродников?... Две сотенных надо, да к Христову празднику муки с маслом

на братию послать».

Когда же наконец стал отец Михаил поминать усопших родителей Чапурина и перебрал их чуть не до седьмого колена, Патап Максимыч как баба расплакался и решил на обитель три сотни серебром дать и каждый год мукой с краснораменских мельниц снабжать ее.

Таким раем, таким богоблагодатным жительством показался ему Красноярский скит, что, не будь жены да дочерей, так хоть век бы свековать у отца Михаила. «Нет, – думал Патап Максимыч, – не чета здесь Городцу, не чета и бабьим скитам... С Рогожским потягается!.. Вот благочестие-то!.. Вот они, земные ангелы, небесные же человеки... А я-то, окаянный, еще выругал их непригожими словами!.. Прости, Господи, мое согрешение!»

После службы игумен, подойдя к Патапу Максимычу, познакомился с ним.

– Любезненькой ты мой! Касатик ты мой! – приветствовал он, ликуясь с гостем. – Давно была охота повидаться с тобой. Давно наслышан, много про тебя наслышан, вот и привел Господь свидеться.

– Случая до сей поры не выдавалось, отец Михаил, – отвечал Патап Максимыч. – Редко бываю в здешних местах, а на Усте совсем впервой.

– Ну, спаси тебя, Господи, что надумал нас, убогих, посетить, – говорил игумен. – Матушка-то Манефа комаровская по плоти сестрица тебе будет?

– Сестра родная, – отвечал Патап Максимыч.

– Дивная старица! – сказал отец Михаил. – Духовной жизни, опять же от писания какая начетчица, а уж домостроительница какая!.. Поискать другой такой старицы, во всем христианстве не найдешь!... Ну, гости дорогие, в трапезу не угодно ли?.. Сегодня день недельный, а ради праздника сорока мучеников полиелей – по уставу вечерняя трапеза полагается: разрешение елея. А в прочие дни святые четырдесятницы ядим единожды в день.

Пошли в келарню игумен, братия, служебницы, работные трудники и гости. Войдя в трапезу, все разом положили уставные поклоны перед иконами и сели по местам. Патапа Максимыча игумен посадил на почетное место, рядом с собой. Между соборными старцами уселись Стуколов и Дюков. За особым столом с бельцами и трудниками сели работники Патапа Максимыча.

Трапеза совершалась по чину. Чередовой чтец заунывным голосом протяжно, нараспев читал «синаксарь». Келарь, подойдя к игумну, благословился первую яству ставить братии, отец чашник благословился



квас разливать, отец будильник на разносном блюде принял пять деревянных ставцев с гороховой лапшой, келарь взял с блюда ставец и с поклоном поставил его перед игумном. Отец Михаил и тут воздал почет Патапу Максимычу: ставец перед ним поставил, себе взял другой. Также и чашу с квасом и кашу соковую, поданную келарем, все от себя переставлял гостю.

Когда Патап Максимыч, проголодавшись дорогой, принялся было уписывать гороховую лапшу, игумен наклонился к нему и сказал потихоньку:

– Ты, любезненькой мой, на лапшицу-то не больно налегай. В гостинице наказал я самоварчик изготовить да закусочку ради гостей дорогих.

– Зачем это, отче? – отозвался Патап Максимыч. – Были бы сыты и за трапезой, ишь какая лапша-то у вас вкусная. Напрасно беспокоился.

– Нет, касатик, уж прости меня, Христа ради, а у нас уж такой устав: мирским гостям учреждать особую трапезу во утешение... Вы же путники, а в пути и пост разрешается... Рыбки не припасти ли?

– Нет, отец Михаил, не надо – пост, – сказал Патап Максимыч.

– В пути и в морском плавании святые отцы пост разрешали, – молвил игумен. – Благослови рыбку приготовить, – прибавил он, понизив голос. – А рыбка по милости Господней хорошая: осетринки найдется и белужинки.

– Нет, нет, отец Михаил, – продолжал отнекиваться Патап Максимыч, – и в грех не вводи.

– Говорю тебе, что святые отцы в пути сущим и в море плавающим пост разрешали, – настаивал игумен. – Хочешь, в книгах покажу?.. Да что тут толковать, касатик ты мой, со своим уставом в чужой монастырь не ходят... Твори, брате, послушание!

– Ох ты, отец Михаил!.. Какой ты, право!.. – сказал Патап Максимыч, сдаваясь на слова игумна и решаясь, по его велению, сотворить послушание. – Нечего делать, – прибавил он, улыбаясь, – послушание паче поста и молитвы. Так, что ли, писано, отче?

– Ах ты, касатик мой! Ох ты, мой любезненькой!.. – молвил игумен и, подозвав отца Спиридония, велел ему шепнуть Стуколову и Дюкову, чтоб и они не очень налегали на лапшу да на кашу.

Трапеза кончилась, отец будильник с отцом чашником собрали посуду, оставшиеся куски хлеба и соль. Игумен ударил в кандию, все встали и, стоя на местах, где кто сидел, в безмолвии прослушали благодарные молитвы, прочитанные канонархом. Отец Михаил благословил братию, и все попарно тихими стопами пошли вон из келарни.

– Ну, гости дорогие, любезненькие вы мои, – сказал отец Михаил, оставшись с ними в опустевшей келарне, – теперь я вас до гостиного двора провожу, там и успокойтесь... А ты, отец будильник, гостям-то баньку истопи, с дороги-то пускай завтра попарятся... Да пожарче, смотри, топи, чтоб и воды горячей и щелоку было довольно, а веники в квасу распарь с мятой, а в воду и в квас, что на каменку поддавать, тоже мятки положи да калуферцу... Чтоб все у меня было хорошо... Не осрами, отче, перед дорогими гостями, порадей, чтоб возлюбили убогую нашу обитель.

– В исправности будет, отче святой, – смиренно отвечал будильник, низко кланяясь. – Постараюсь гостям угодить.

– Коням-то засыпал ли овсеца-то, отец казначей? – спрашивал игумен, переходя из келарни в гостиницу. – Засыпал бы без меры, сколько съедят... Да молви, не забудь, отцу Спиридонию, приезжих работников хорошенько бы успокоил... Ах вы, мои любезненькие! Ах вы, касатики мои!.. Каких гостей-то мне Бог даровал!.. Беги-ка ты, Трофимушка, – молвил игумен проходившему мимо бельцу, – беги в гостиницу, поставь фонарь на лестнице, да молви, самовар бы на стол ставили, да отец келарь медку бы сотового прислал, да клюковки, да яблочков, что ли, моченых... Ненароком приехали-то вы ко мне, гости любезные, – не взыщите... Не изготавился принять вас как надобно.

В гостинице, в углу большой, не богато, но опрятно убранной горницы, поставлен был стол, и на нем кипел ярко вычищенный самовар. На другом столе отец гостиник Спиридоний расставлял тарелки с груздями, мелкими рыжиками, волнухами и вареными в уксусе белыми грибами, тут же явились и сотовый мед, и моченая брусника, и клюква с медом, моченые яблоки, пряники, финики, изюм и разные орехи. Среди этих закусок и заедок стояло несколько графинов с настойками и наливками, бутылка рому, другая с мадерой ярославской работы.

– Садитесь, гости дорогие, садитесь к столику-то, любезненькие мои, – хлопотал отец Михаил, усаживая Патапа Максимыча в широкое мягкое кресло, обитое черной юфтью, изукрашенное гвоздиками с круглыми медными шляпками. – Разливай, отец Спиридоний... Да что это лампадки-то не зажгли перед иконами?.. Малец, – крикнул игумен молоденькому бельцу, с подобострастным видом стоявшему в передней, – затепли лампадки-то да в боковушках у гостей тоже затепли... Перед чайком-то настоечки, Патап Максимыч, – прибавил он, наливая рюмку. – Ах ты, мой любезненькой!

– Да не хлопочи, отец Михаил, – говорил Патап Максимыч. – Напрасно.

– Как же это возможно не угощать мне таких гостей? – отвечал игумен. – Только уж не погневайтесь, ради Христа, дорогие мои, не взыщите у старца в келье – не больно-то мы запасливы... Время не такое – приехали на хрен да на редьку... Отец Спиридоний, слетай-ка, родименький, к отцу Михею, молви ему тихонько – гости, мол, утрудились, они же, дескать, люди в пути сущие, а отцы святые таковым пост разрешают, прислал бы сюда икорки, да балычка, да селедочек копченых, да провесной белорыбицы. Да взял бы звено осетринки, что к масленой из Сибири привезли, да белужинки малосольной, да севрюжки, что ли, разварил бы еще.

Отец Спиридоний низко поклонился и пошел исполнить игуменское повеление.

– Что же настоечки-то?.. Перед чайком-то?.. Вот зверобойная, а вот зорная, а эта на трефоли настояна... А не то сладенькой не изволишь ли?.. Яким Прохорыч, ты любезненькой мой, человек знакомый и ты тоже, Самсон Михайлович, вас потчевать много не стану. Кушайте, касатики, сделайте Божескую милость.

Выпили по рюмочке, закусили сочными яранскими груздями и мелкими вятскими рыжиками, что зовутся «бисерными»...

– Отец Михаил, да сам-то ты что же? – спросил Патап Максимыч, заметив, что игумен не выпил водки.

– Наше дело иноческое, любезненькой ты мой, Патап Максимыч, а сегодня разрешения на вино по уставу нет, – отвечал он. – Вам, мирянам, да еще в пути сущим, разрешение на вся, а нам, грешным, не подобает.

– Говорится же, что гостей ради пост разрешается? – сказал Патап Максимыч.

– Ах ты, любезненькой мой, ах ты, касатик мой! – подхватил отец Михаил. – Оно точно что говорится. И в уставах в иных написано... Много ведь уставов-то иноческого жития: соловецкий, студийский, Афонский горы, синайский – да мало ли их, – мы больше всего по соловецкому.

– Ну и выкушал бы с нами чару соловецкую, – шутя сказал Патап Максимыч.

– Ах ты, любезненькой мой!.. Какой ты, право!.. Греха только не будет ли?.. Как думаешь, Яким Прохорыч? – говорил игумен.

– Маленькую можно, – сухо проговорил паломник.

– Ох ты, касатик мой! – воскликнул игумен, обняв паломника, потом налил рюмку настойки, перекрестился широким, размашистым крестом и молодецки выпил.

«Должно быть, и выпить не дурак, – подумал Патап Максимыч, глядя

на отца игумна. – Как есть молодец на все руки».

Воротился отец Спиридоний, доложил, что передал игуменский приказ казначею.

– Отец Михей говорит, что есть у него малая толика живеньких окуньков да язей, да линь с двумя щучками, так он хотел еще уху гостям сготовить, – сказал отец Спиридоний.

– Ну, Бог его спасет, что догадался, а мне, старому, и невдомек, – сказал отец Михаил. – Это хорошо с дороги-то ушки горяченькой похлебать... Ну, Бог тебя благословит, отец Спиридоний!.. Выкушай рюмочку.

– Не подобает, отче, – смиренно проговорил гостиник, а глаза так и прыгают по графинам.

– Э-эх! все мы грешники перед Господом! – наклоняя голову, сказал игумен. – Ох, ох, ох! грехи наши тяжкие!.. Согрешил и я, окаянный, – разрешил!.. Что станешь делать?.. Благослови и ты, отец Спиридоний, на рюмочку – ради дорогих гостей Господь простит...

Отец гостиник не заставил себя уговаривать. Беспрекословно исполнил он желание отца игумна.

Выпили по чашке чаю, налили по другой. Перед второй выпили и закусили принесенными отцом Михеем рыбными снедями. И что это были за снеди! Только в скитах и можно такими полакомиться. Мешечная осетровая икра точно из черных перлов была сделана, так и блестит жиром, а зернистая троечная,<sup>[91]</sup> как сливки – сама во рту тает, балык величины непомерной, жирный, сочный, такой, что самому донскому архиерею не часто на стол подают, а белорыбица, присланная из Елабуги, бела и глянцевица, как атлас. Хорошо едят скитские старцы, а лучше того угощают нужного человека, коли Бог в обитель его принесет. Медной копейки не тратит обитель на эти «утешения» – все усердное даяние христороубцев.

Живет христороубец век свой рабочих на пятаки, покупателей на рубли обсчитывает. Случится к казне подъехать – и казну не помилует, сумеет и с нее золотую щетинку сорвать. Плачутся на христороубца обиженные, а ему и дела мало, сколачивает денежку на черный день, под конец жизни сотнями тысяч начнет ворочать да разика два обанкрутится, по гривне за рубль заплатит и наживет миллион... Приблизится смертный час, толстосум сробеет, просит, молит наследников: «Устройте душу мою грешную, не быть бы ей во тьме кромешной, не кипеть бы мне в смоле горячей, не мучиться бы в жупеле огненном». И начнут поминать христороубца наследники: сгромоздят колокольню в семь ярусов, выльют в тысячу пудов колокол, чтобы до третьего небеси слышно было, как тот

колокол будет вызванивать из ада душу христороубца-мошенника. Риз нашьют парчовых с жемчугами да с дорогими камнями, таких, что попу неведомо и носить их, да и страшно – поручь одна какая-нибудь впятеро дороже всего поповского достоянья. Сотни рублей платят наследники христороубца голосистому протодьякону, чтобы такую «вечную память» сорал он по тятеньке, от какой бы и во аде всем чертям стало тошнехонько. И вызвонят и выревут таким способом грешную душу из вечных муки...

Раскольникам так спасать родителей не доводится – колокола, ризы и громогласные протодьяконы у них возбраняются. Как же, чем же им, сердечным, спасать душу тятенькину?.. Ну и спасают ее от муки вечных икор да балыками, жертвуют всем, что есть, на потребу бездонного иноческого стомаха... Посылай неоскудно скитским отцам-матерям осетрину да севрюжину – несомненно получит тятенька во всех плутовствах милосердное прощение. Ведь старцы да старицы мастера Бога молить: только деньги давай да кормы посылай, любого грешника из ада вымолят... Оттого и не скудеет в скитах милостыня. Ел бы жирней да пил бы пьяней освященный чин – спасенье всякого мошенника несомненно.

Откушал Патап Максимыч икорки да балычка, селедок переславских, елабужской белорыбицы. Вкусно – нахвалиться не может, а игумен рад-радехонек, что удалось почествовать гостя дорогого. Дюков долго глядел на толстое звено балыка, крепился, взглядывая на паломника, – прорвало-таки, забыл великий пост, согрешил – оскоромился. Врагу действующу, согрешили и старцы честные. Первым согрешил сам игумен, глядя на него – Михей со Спиридонием. Паломник укрепился, не осквернил уст своих рыбным ядением.

Покончив с рыбными снедями, принялись за чай с постным молоком, то есть с ромом. Тут старцы от мирян не отстали, воздержней других оказался тот же паломник.

Поразвеселились, языки развязались, пошла беседа откровения, даже Дюков помаленьку зачал разговаривать.

– Что, отец Михаил, скудно, чай, в лесу-то жить? – спросил Патап Максимыч у игумна.

– Распрелюбезное дело, касатик ты мой, – отвечал он. – Как бы от недобрых людей не было опаски, лучше бы лесного житья во всем свете, кажись, не сыскать... Злодеи-то вот только шатаются иной раз по здешним местам... Десять годов тому, как они гостить приезжали к нам... Памятки от тех гостин до сей поры у меня знать... Погляди-ка, вот ухо-то как было рассечено, – прибавил он, снимая камилавку и приподнимая седые волосы. – А вот еще ихняя памятка, – продолжал игумен, распахивая грудь

и указывая на оставшиеся после ожога белые рубцы, – да вот еще перстами не двигаю с тех пор, как они гвоздочки под ногти забивали мне.

И показал Патапу Максимычу два сведенных в суставах пальца левой руки.

– Как бы не страх от этих людей, какой бы еще жизни! – продолжал отец Михаил. – Придет лето, птичек Божьих налетит видимо-невидимо; от зари до зари распевают они на разные гласы, прославляют царя небесного... В воздухе таково легко да приятно, благоухание несказанное, цветочки цветут, травки растут, зверки бегают... А выйдешь на Усту, бредень закинешь, окуньков наловишь, линея, щучек, налим иной раз в вершу попадет... Какого еще житья?.. Зимней порой поскучнее, а все же нашего лесного житья не променять на ваше городское... Ведь я, любезненькой мой, пятьдесят годов в здешних-то лесах живу. Четырнадцать лет в пустыню пришел; неразумный еще был, голоусый, грамоте не знал... Так промеж людей в миру-то болтался: бедность, нужда, нищета, вырос сиротой, самый последний был человек, а привел же вот Бог обителью править: без году двадцать лет игуменствую, а допрежь того в келарях десять лет высидел... Как же не любить мне лесов, болезный ты мой, как мне не любить их?.. Ведь они родные мои.

– Конечно, привычка, – заметил Патап Максимыч.

– Да, касатик мой, истинное слово ты молвил, – отвечал отец Михаил. – Это, как у вас в миру говорится: «Привычка не рукавичка, на спичку ее не повесишь». Всякому свое, до чего ни доведись... В книзе животней, яже на небеси, овому писано грады обладати, овому рать строити, овому в кораблях моря преплывати, овому же куплю деяти, а наше дело о имени Христове подаянием христоролюбцев питаться и о всех истинных христианах древлего благочестия молитвы приносить. Свет истинный везде, и в море далече, и во градах, и в весях, и нет места ближе ко Христу-свету, как в лесах да в пустынях, в вертепах и пропастях земных. Так-то, касатик, так-то, родненький!..

– Так у вас в обители, говоришь, соловецкий чин содержится? – спросил Патап Максимыч.

– Чин соловецкий, любезненькой ты мой, а также и по духовной грамоте преподобного Иосифа Волоцкого. Прежде всего о том тщание имеем, како бы во обители все было благообразно и по чину... А ты, миленький отец Спиридоний, налей-ка гостям еще по чашечке, да рюмку-то не жалей, старче!.. Ну, опять же, касатик ты мой, Патап Максимыч, блюдем мы опасно, дабы в трапезе все сидели со благоговением и в молчании... Ведь святые-то отцы что написали о монастырской трапезе?

«Яко, глаголют, святыи жертвенник, тако и братская трапеза во время обеда – равны суть...» Да ты что осовел, отец Спиридоний, подливай-ка гостям-то, не жалеи обительского добра... Ах ты, любезненькой мой, Патап Максимыч!.. Вот принес Христос гостя нежданного да желанного!.. А уж сколько забот да хлопот о потребах монастырских, и рассказать всего невозможно. И о пище-то попекись, и о питии, об одежде и обуви,<sup>[92]</sup> и о монастырском строении, и о конях, и о скотном дворе, обо всем... А братией-то править, думаешь, легкое дело?.. О-ох, любезненькой ты мой, как бы знал ты нашу монастырскую жизнь... Грехи, грехи наши!.. Потчуй и ты, отец Спиридоний!.. Да что же ущицу-то, ущицу?.. Отец Михей, давай скорее, торопи на поварне-то, гости, мол, ужинать хотят.

Минут через пять казначей воротился, и за ним принесли уху из свежей рыбы, паровую севрюгу, осетрину с хреном и кислую капусту с квасом и свежепросольной белужиной. Ужин, пожалуй, хоть не у старца в келье великим постом.

И старцы и гости, кроме паломника, все согрешили – оскоромились. И вина разрешили во утешение довольно. Кончив трапезу, отец Михей да отец Спиридоний начали носом окуней ловить. Сильно разбирала их дремота.

– Ты бы, отче, благословил отцам-то успокоиться, смотри, глаза-то у них совсем слипаются, – молвил Стуколов, быстро взглянув на игумна.

– Ин подите в самом деле, отцы, успокойтесь, Бог благословит, – молвил игумен.

Положив уставные поклоны и простившись с игумном и гостями, пошли отцы вон из кельи. Только что удалились они, Стуколов на леса свел речь. Словоохотливый игумен рассказывал, какое в них всему изобилие: и грибов-то как много, и ягод-то всяких, помянул и про дрова и про лыки, а потом тихонько, вкрадчивым голосом, молвил:

– А посмотрел бы ты, касатик мой, Патап Максимыч, что в недрах-то земных сокрыто, отдал бы похвалу нашим палестинам.

– А что такое? – спросил Патап Максимыч.

– От других потаю, от тебя не скрою, любезненькой ты мой, – отвечал игумен. – Опять же у вас с Якимом Прохорычем, как вижу, дела-то одни... Золото водится по нашим лесам – брать только надо умеючи.

– Слыхал я про ваше ветлужское золото, – сказал Патап Максимыч, – только веры что-то нейма, отче святыи... Пробовали, слышь, топить его, одна гарь выходит.

– Это ему вечор Силантий насудачил, – вступился Стуколов.

– Какой Силантий? – спросил игумен.

– Да в деревне Лукерьиной Силантия Петрова разве не знаешь? – молвил паломник.

– А, лукерьинский!.. Коротенька-Ножка?.. Как не знать! – отозвался игумен. – Да чего ж он в этом деле смыслит! Навалил, поди, песку в горшок, да и ну калить!.. Известно, этак, кроме гари, не выйдет ничего... Тут, любезненькой мой, Патап Максимыч, науку надо знать. Кого Бог наукой умудрил, тот и может за это дело браться, а темному человеку, невегласу, оно никогда не дается... Читал ли «Шестоднев» Василия Великого? Там о премудрых-то хитрецах что сказано? «Тайны Господни им ведомы, еже в пучинах морских, еже в недрах земных».

– Это так, отче, это ты верно говоришь, – сказал Патап Максимыч. – Ну, так как же из того песку золото делать?

– Не умудрил меня Господь наукой, касатик ты мой... Куда мне, темному человеку! Говорил ведь я тебе, что и грамоте-то здесь, в лесу, научился. Кой-как бреду. Писание читать могу, а насчет грамматического да философского учения тут уж, разлюбезный ты мой, я ни при чем... Да признаться, и не разумею, что такое за грамматическое учение, что за философия такая. Читал про них и в книге «Вере» и в «Максими Греке», а что такое оно обозначает, прости, Христа ради, не знаю.

– Почему ж ты знаешь, отче, что из того песку можно золото делать? – спросил Патап Максимыч.

– Ах ты, любезненькой мой!.. Ах ты, касатик! – воскликнул отец Михаил. – А вот я тебе все порядку скажу. Ты вот у нас в часовне-то за службой был, святые иконы видел?

– Видел, – отвечал Патап Максимыч.

– Хороши? – спросил игумен.

– Нечего и толковать, – отвечал Патап Максимыч. – Такого благолепия сроду не видал. У нас, в Городецкой часовне, супротив вашей – плевое дело.

– То-то же, – сказал игумен. – А чем наши иконы позолочены? Все своим ветлужским золотом. погоди, вот завтра покажу тебе ризницу, увидишь и кресты золотые, и чаши, и оклады на евангелиях, все нашего ветлужского золота. Знамо дело, такую вещь надо в тайне держать; сказываем, что все это приношение благодетелей... А какие тут благодетели? Свое золото, доморощенное.

– Так неужель у тебя в скиту про это дело вся братия знает? – сказал Патап Максимыч.

– Как возможно, любезненькой ты мой!.. Как возможно, чтобы весь монастырь про такую вещь знал?.. – отвечал отец Михаил. – В огласку



таких делов пускать не годится... Слух-то по скиту ходит, много болтают, да пустые речи пустыми завсегда и остаются. Видят песок, а силы его не знают, не умеют, как за него взяться... Пробовали, как Силантий же, в горшке топить; ну, известно, ничего не вышло; после того сами же на смех стали поднимать, кто по лесу золотой песок собирает.

– Как же, честный отче, сами-то вы с ним справляетесь? – спросил Патап Максимыч.

– Ох ты, любезненькой мой, ох ты, касатик мой!.. Что мне сказать-то, уж я, право, и не знаю, – заминаясь, отвечал отец Михаил, поглядывая то на паломника, то на Дюкова.

– Сказывай, как есть, – молвил Стуколов. – Таиться нечего: Патап Максимыч в доле по этому делу.

– По золотому? – спросил игумен, кидая смутный взгляд на паломника.

– А по какому же еще? – быстро подхватил Стуколов и, слегка нахмурясь, строго взглянул на отца Михаила. – Какие еще дела могут у тебя с Патапом Максимычем быть? Не службу у тебя в часовне будет он править... Других делов с ним нет и быть не должно.

– А я думал, что ты, любезненькой мой, с Патапом Максимычем по всем делам заодно, – несколько смутившись, молвил игумен.

Быстро Стуколов с места встал и торопливыми шагами прошелся по келье. Незаметно для Патапа Максимыча легонько толкнул он игумна.

– Расскажи ему, отче, как вы с песком тем справляетесь, – сказал он потом мягким голосом.

– Да уж, пожалуйста, поведай мне, – молвил Патап Максимыч. – Бог даст, заодно станем работать... Прииски откроем.

– Ах ты, любезненькой мой! Ах ты, касатик!.. – воскликнул отец Михаил, обнимая Патапа Максимыча. – А ты вот облепихи-то рюмочку выкушай. Из Сибири прислали благодетели, хорошая наливочка, попробуй... Расчудесная!

Патап Максимыч выпил облепихи. Наливка оказалась в самом деле расчудесною.

– Ну, так как же, отче? – сказал он. – Как у вас песок-то в золото переделывают?

– Теперь у нас такого знатока нет, – отвечал игумен. – Был, да годов с десяток помер. А ноне, любезненькой ты мой, Патап Максимыч, вот как мы делаем. Я, грешный, да еще двое из братии только и знаем про это дело. Летней порой, тайком от других, мы и сбираем сколько Бог приведет песочку, да по зиме в Москву его и справляем... А на Москве есть у нас

други-приятели, в этом деле силу они разумеют. Господь их ведет, какою хитростью делают они из нашего песку золото, а на нашу долю сколько его причитается, деньгами высылают... По науке, касатик ты мой, по науке до этого доходят, а мы что? Люди слепые, темные, куда нам разуметь такую силу!

Задумался Чапурин... Обращаясь к отцу Михаилу, сказал он:

– Вот и я то же говорю Якиме Прохорычу: прежде испытать надо, а потом за дело браться.

– Справедлива речь твоя, любезненькой ты мой, – отвечал игумен, – справедливая речь!.. «Искуси и познай» – в писании сказано. Без испытания нельзя.

– Вот и думаю я съездить в город, – сказал Патап Максимыч, – там дружок у меня есть, по этой самой науке доточный. На царских золотых промыслах служил... Дам ему песочку, чтоб испробовал, можно ль из него золото делать.

– Что ж, съезди, съезди, любезненькой ты мой!.. Уверься!.. Не соваться же в самом деле в воду, не спросясь броду? – говорил игумен.

Паломник с досады опять вскочил, пройдясь раза два по келье, сердито он взглянул на отца Михаила и вышел.

– А много ль, примерно, каждый год наберете вы этого песку? – спросил Патап Максимыч игумена.

– Да что наше дело! Совсем пустое, – отвечал отец Михаил. – Ино лето чуть не полпуда наберешь, а пользы всего целковых на сто, либо на полтора ста получишь.

– Что так мало? – спросил Патап Максимыч. – Ведь золота пуд на плохой конец двенадцать тысяч целковых.

– Ах ты, любезненькой мой!.. Что же нам делать-то? – отвечал игумен. – Дело наше заглазное. Кто знает, много ль у них золота из пуда выходит?.. Как поверить?.. Что дадут, и за то спаси их Христос, царь небесный... А вот как бы нам с тобой да настоящие промысла завести, да дело-то бы делать не тайком, а с ведома начальства, куда бы много пользы получили... Может статься, не одну бы сотню пудов чистого золота каждый год получали...

Смолк Патап Максимыч. Погрузился он в расчеты. Между тем вошел Стуколов и еще суровей взглянул на отца Михаила. Тот вздохнул тяжело, спустил на лоб камилавку и потупил глаза.

– Что же? Какое теперь будет твое решение? – спросил у Патапа Максимыча Стуколов.

– Да я не прочь, только наперед съезжу увериться, – отвечал Патап

Максимиыч.

– Когда поедешь? – спросил паломник.

– Отсюда прямо, – отвечал Патап Максимиыч.

Петухи запели, отец Михаил с места поднялся.

– Ахти, закалякался я с тобой, разлюбезный ты мой, Патап Максимиыч, – сказал он. – Слышь, вторы кочета поют, а мне к утрени надо вставать... Простите, гости дорогие, усните, успокойтесь... Отец Спиридоний все изготавил про вас: тебе, любезненькой мой, Патап Максимиыч, вот в этой келийке постлано, а здесь налево Якиму Прохорычу с Самсоном Михайлычем. Усни во здравие, касатик мой, а завтра, с утра, в баньку пожалуй... А что, на сон-от грядущий, мадеры рюмочку не искушаешь ли?

Патап Максимиыч с Дюковым выпили по рюмке, выпил и гостеприимный хозяин. Паломник мрачно простился с отцом Михаилом.

Крепко полюбился игумен Патапу Максимиычу. Больно по нраву пришлись и его простодушное добросердечие, его на каждом шагу заметная домовитость и умение вести хозяйство, а пуще всего то, что умеет людей отличать и почет воздавать кому следует. «На все горазд, – думал он, укладываясь спать на высоко избитой перине. – Молебен ли справить, за чарочкой ли побеседовать... Постоянный старец!.. Надо наградить его хорошенько!»

Уверения игумна насчет золота пошатнули несколько в Патапе Максимиыче сомнение, возбужденное разговорами Силантья. «Не станет же врать старец Божий, не станет же душу свою ломать – не таков он человек», – думал про себя Чапурин и решил непременно приняться за золотое дело, только испробует купленный песок. «Сам игумен советует, а он человек обстоятельный, не то что Яким торопыга. Ему бы все тотчас вынь да положь».

В думах о ветлужских сокровищах сладко заснул Патап Максимиыч, богатырский храп его скоро раздался по гостинице. Паломник и Дюков еще не спали и, заслышав храп соседа, тихонько меж собой заговорили.

– Эк его, старого хрена, дернуло! – шептал паломник. – Чем бы заверять да уговаривать, а он в город советует: «Поезжай, уверься!» Кажется, все толком писал к нему с Силантьевым сыном – так вот поди ж ты с ним... Совсем с ума выступил!

– Что ж, пуцай его съездит, – молвил Дюков.

– Пуцай съездит! – передразнил паломник приятеля. – А что Силантий-от продал ему? Какой у него песок-от?

– Мяконькой? – улыбнувшись, спросил Дюков.

– То-то и есть, – ответил Яким Прохорыч. – Надо дело поправлять.

– Надо, – согласился Дюков.

– Ты вот что сделай, – говорил паломник. – В баню с ним вместе ступай, подольше его задерживай, я управлюсь тем временем. Смекаешь?

– Ладно, – сказал Дюков.

– Сибирским подмену, настоящим.

– Понимаю.

– Целковых на триста отсыпать придется, – ворчал Стуколов. – Ишь оно, пустое-то мелево, чего стоит!.. Триста целковых не щепки... Поди-ка выручай потом.

– Выручишь! – сказал Дюков.

– Выручим ли с Патапа, нет ли, а завтра же я триста целковых со старого болтуна справлю... Эка язык-от не держится... Слышал?... Ведь он чуть-чуть про картинку не брякнул...

– Да... Я, признаться, струхнул, – молвил Дюков.

– Писано было ему, старому псу, подробно все писано: и как у ворот подольше держать, и какую службу справить, и как принять, и что говорить, и про рыбную пищу писано, и про баню, про все. Прямехонько писано, чтоб, кроме золотого песка, никаких речей не заводил. А он – гляди-ка ты!

– Да, – согласился Дюков.

– Хоть бы тыщенок десять с Патапа слупить, – молвил паломник. – И за то бы можно было благодарить создателя... Ну, да утро вечера мудренее – прощай, Самсон Михайлыч.

– Спокойной ночи, – отвечал, зевая, полусонный Дюков и, повернувшись на бок, заснул.

Но паломник еще долго ворочался на тюфяке – жаль было ему расставаться с сибирским песком.

Поднялись ранехонько, на заре, часу в шестом. Только узнал игумен, что гости поднимаются, сам поспешил в гостиницу, а там отец Спиридоний уж возится вокруг самовара.

– Что, гости дорогие, какво спали-ночевали, весело ли вставали? – радушно улыбаясь, приветствовал Патапа Максимыча с товарищами отец Михаил.

– Важно спали, честный отче! – ответил Патап Максимыч. – Уж так ты нас успокоил, так уважил, что веки не забуду.

– Ах ты, любезненькой мой!.. – говорил игумен, обнимая Патапа Максимыча. – Касатик ты мой!.. Клопы-то не искусили ли?.. Давно гостей-

то не бывало, поди голодны, собаки... Да не мало ль у вас сугреву в келье-то было!.. Никак студено?.. Отец Спиридоний, вели-ка мальцу печи поскорее вытопить, да чтобы скутал их вовремя, угару не напустил бы.

Молча поклонился гостиник и поспешил исполнить веление настоятеля.

— А в баньку-то? — спросил игумен Патапа Максимыча. — Уж опарили... Коли жарко любишь, теперь бы шел. Мы, грешные, за часы пойдем, а ты тем временем попарься.

По строгому монастырскому уставу, что содержится в скитах, баня не допускается. Мыться в бане, купаться в реке, обнажать свое тело — великий грех, а ходить век свой в грязи и всякой нечистоте — богоугодный подвиг, подъятый ради умерщвления плоти. Возненавидь тело свое, смирай его постом, бдением, бессчетными земными поклонами, наложи на себя тяжелые вериги, веселись о каждой ране, о каждой болезни, держи себя в грязи и с радостью отдавай тело на кормление насекомым — вот завет византийских монахов, перенесенный святошами и в нашу страну. Но не весь этот завет исполняется. Старые народные обычаи крепко держатся, и баня с вениками, которым, говорят, еще апостол Андрей дивовался на Ильмени, удержалась в пустынях и в монастырях, несмотря на греческие проклятья. Не ходят в баню лишь те скитские жители, что самое подвижное житие провождают, да и те ину пору не могут устоять против «демонского стреляния» — прячутся.

В Красноярском скиту от бани никто не отрекался, а сам игумен ждет, бывало, не дождется субботы, чтоб хорошенько пропарить грешную плоть свою. Оттого банька и была у него построена на славу: большая, светлая, просторная, с липовыми полками и лавками, менявшимися чуть не каждый год.

Узнав из письма, присланного паломником из Лукерьиного, что Патапа Максимыча хоть обедом не корми, только выпарь хорошенько, отец Михаил тотчас послал в баню троих трудников с скобелями и рубанками и велел им как можно чище и глаже выстрогать всю баню — и полки, и лавки, и пол, и стены, чтобы вся была как новая. Чуть не с полночи жарили баню, варили щелоки, кипятили квас с мятой для распариванья веников и поддаванья на каменку.

Диву дался Патап Максимыч, войдя в баню; уважение его к отцу Михаилу удвоилось. Такой баней сроду никто не угощал его. В предбаннике на лавках высоко, в несколько рядов, наложены были кошмы, покрытые белыми простынями; весь пол устлан волоками, и на них раскидано пахучее сено, крытое тоже простынями. В бане на полках и на

лавках настланы были обданные кипятком калуфер, мята, чабер, донник<sup>[93]</sup> и другие пахучие травы. На лавках лежали веники, стояли медные луженые тазы со щелоком и взбитым мылом, а рядом с ними большие туеса,<sup>[94]</sup> налитые подогретым на мяте квасом для окачиваяния перед тем, как лезть на полки. На особом, крытом скатертью, столике разложены были суконки, мелко расчесанные вехотки<sup>[95]</sup> и куски казанского яичного мыла.

– Сумел банькой употчевать отец игумен, – молвил Патап Максимыч дюжим бельцам, посланным его парить. – Вот баня так баня, хоть царю в такой париться. Ай да отец Михаил!

Две пары веников охлытали бельцы о Патапа Максимыча, а он таял в восторге да покрикивал:

– Поддавай, поддавай еще!.. Прибавь парку, миленькие!.. У, жарко!.. Поддавай и ты, поддавай!..

И дюжие бельцы, не жалея мятного кваса, плескали на спорник<sup>[96]</sup> туес за туесом и, не жалея Патапа Максимыча, изо всей силы хлытали его как огонь жаркими вениками.

Вдруг Патап Максимыч прыгнул с полки и стремглав кинулся к дверям. Распахнув их, вылетел вон из бани и бросился в сугроб. Снег обжег раскаленное тело, и с громким гоготаньем начал Чапурин валяться по сугробу. Минуты через две вбежал назад и прямо на полки.

– Хлыщи жарче, ребятушки!.. Поддавай, поддавай, миленькие!.. – кричал он во всю мочь, и бельцы принялись хлытать его еще пуще прежнего.

Три раза валялся в сугробе Патап Максимыч, дюжину веников охлытали об него здоровенные бельцы, целый жбан холодного квасу выпил он, запивая банный пар, насили-то, насили отпарился.

И когда лег в предбаннике на разостланные кошмы, совсем умилился душой, вспоминая гостеприимного игумна.

– На все горазд отец Михаил, – говорил он Дюкову, – а уж насчет бани, просто сказать, первый человек на свете.

– Старец хороший, – чуть слышно промычал Дюков и задремал на кошме. Он тоже упарился.

Между тем как Патап Максимыч наслаждался в бане, паломник, рассчитав время, тихими стопами вышел из часовни и отправился в гостиницу. Там заперся изнутри и вошел в келью, где ночевал Патап Максимыч. Порывшись в его пожитках, скоро нашел пузырек, взятый у Силантья. Стуколов поспешно его опорожнил и насыпал своим песком. Положив пузырек на прежнее место, паломник преспокойно отправился в

часовню и там усердно стал перебирать лестовку, искоса взглядывая на игумна. Взоры их наконец встретились. Смутившийся игумен возвел очи горе.

В келарне потрапезовали, когда Патап Максимыч с Дюковым воротились из бани. Игумен поспешил в гостиницу.

– Ну, банька же у тебя, отче!.. – сказал Патап Максимыч, низко кланяясь отцу Михаилу. – Спасибо... Вот уважил, так уважил!..

– Ах ты, любезненькой мой! Ах ты, касатик мой! – восклицал игумен, обнимая Патапа Максимыча. – Уж не взыщи, Христа ради, на убогих наших недостатках... Мы ото всей души, родненький. Чем богаты, тем и рады.

– Не ложно скажу тебе, отче, сроду так не паривался. Уж такая у тебя банька, такая банька, что рассказать невозможно... – говорил Патап Максимыч.

– После баньки-то выкушать надо, – молвил игумен, наливая рюмку сорокатравчатой, – да и за стол милости просим. Не взыщи только, любезненькой ты мой, Патап Максимыч.

Обед был подан обильный, кушаньям счету не было. На первую перемену поставили разные пироги, постные и рыбные. Была кулебяка с пшеном и грибами, была другая с визигой, жирами, молоками и сибирской осетриной. Кругом их, ровно малые детки вокруг родителей, стояли блюда с разными пирогами и пряженцами. Каких тут не было!.. И кислые подовые на ореховом масле, и пряженцы с семгой, и ватрушки с грибами, и оладьи с зернистой икрой, и пироги с тельным из щуки. Управились гости с первой переменою, за вторую принялись: для постника Стуколова поставлены были лапша соковая да щи с грибами, а разрешившим пост уха из жирных ветлужских стерлядей.

– Покушай ущицы-то, любезненькой ты мой, – угощал отец Михаил Патапа Максимыча, – стерлядки, кажись, ничего себе, подходящие, – говорил он, кладя в тарелку дорогому гостю два огромных звена янтарной стерляди и налимьи печенки. – За ночь нарочно гонял на Ветлугу к ловцам. От нас ведь рукой подать, верст двадцать. Заходят и в нашу Усту стерлядки, да не часто... Расстегайчиков к ущице-то!.. Кушайте, гости дорогие.

Отработал Патап Максимыч и ветлужскую уху и расстегайчики. Потрудились и сотрапезники, не успели оглянуться, как блюдо расстегаев исчезло, а в миске на доньшке лежали одни стерляжьи головки.

– Винца-то, любезненькой ты мой, винца-то благослови, – потчевал игумен, наливая рюмки портвейна. – Толку-то я мало в заморских винах понимаю, а люди пили да похваливали.

Портвейн оказался в самом деле хорошим. Патап Максимыч не заставил гостеприимного хозяина много просить себя.

Новая перемена явилась на стол – блюда рассольные. Тут опять явились стерляди разварные с солеными огурцами да морковью, кроме того, поставлены были осетрина холодная с хреном, да белужья тешка с квасом и капустой, тавранчук осетрий, щука под чесноком и хреном, нельма с солеными подновскими огурцами, а постнику грибы разварные с хреном, да тертый горох с ореховым маслом, да каша соковая с маковым маслом.

За рассольной переменной были поданы жареная осетрина, лещи, начиненные грибами, и непомерной величины караси. Затем сладкий пирог с вареньем, левашники, оладьи с сотовым медом, сладкие кисели, киевское варенье, ржевская пастила и отваренные в патоке дыни, арбузы, груши и яблоки.

Такой обед закатил отец Михаил... А приготовлено все было хоть бы Никитишне впору. А наливки одна другой лучше: и вишневка, и ананасная, и поляниковка, и морошка, и царица всех наливок, благовонная сибирская облепиха.<sup>[97]</sup> А какое пиво монастырское, какие меда ставленные – чудо. Таково было «учреждение» гостям в Красноярском скиту.

Насилу перетащились от стола до постелей, Патап Максимыч как завел глаза, так и пустил храп и свист на всю гостиницу. Отец Михей да отец Спиридоний едва в силу убрались по кельям, воссылая хвалу создателю за дарование гостя, ради которого разрешили они надокучившее сухоядение, сменили гороховую лапшу на диковинные стерляди и другие лакомые яства. Отец Михаил, угощая других, и себя не забывал. Не пошел он к себе в келью, а, кой-как дотащившись до постели паломника, заснул богатырским сном, поохав перед тем маленько и сотворив не один раз молитву: «Согреших перед тобою, Господи, чревоугодьем, пианственного пития вкушением, объедением, невоздержанием...»

Дюков тоже завалился на боковую. Один только постник Стуколов остался свежим и бодрым... Когда сотрапезники потащились к постелям, презрительно поглядел он на объевшихся, сел за стол и принялся писать.

Часа через полтора игумен и гости проснулись. Отец Спиридоний притащил огромный медный кунган с холодным игристым малиновым медом, его не замедлили опорожнить. После того отец Михаил стал показывать Патапу Максимычу скит свой...

И братские кельи и хозяйственные постройки срублены были из толстого кондового леса, а часовня, келарня и настоятельская «стая» из такой лиственницы, что ее облюбовал бы каждый строитель корабля. Все



было пригнано вплотную, ничего не покосилось, ничего не выдалось ни вперед, ни назад. Не было в кельях ни вышек, ни теремков, никаких других украшений, зато глядели они богатырскими покоем. Внутри келий не было так приглядно и нарядно, как в женских скитах: большие, тяжелые столы, широкие лавки на толстых, в целое бревно, ножках, изразцовые печи и деревянные столярной работы божницы в углах – вот и все внутреннее убранство. Ни зеркальца, ни картинки на стене, ни занавески, ни горшков с бальзамином и розанелью на окнах, столь обычных в Комарове и других чернораменских обителях, в заводе не было у красноярской братии. Только и было сходства с женскими скитами в опрятности и удушливом запахе ладана и восковых свеч. В сенях между кельями понастроено было несчетное число чуланов, отделявшихся не жиденькими перегородками, а толстыми мшенными срубами. И везде так широко и просторно. Не то что в келье, в каждом чулане с привольем могла бы поместиться любая крестьянская семья из степных, безлесных наших губерний.

У отца Михаила заведен был особый порядок: общежитие шло наряду с собственным хозяйством старцев. И монахи и бельцы получали от обители пищу и одежду, но каждый имел и свои деньги. На эти деньги и ели послаще в своих кельях и платья носили получше того, какое каждый год раздавал им казначей. Большею частью старцы Божьи изводили свои денежки на «утешение», то есть на чай да на хмельное и разные к нему закуски. Редкий день, бывало, пройдет, чтоб честные отцы не сбирались у кого-нибудь вкупе: чайку попить, пображничать да от писания побеседовать; а праздник придет, у игумна утешаются, либо у казначея. Так и коротали дни свои небесные ангелы, земные же человеки, проводя время то на молитве, то на работе, то за утешением. Монастырь был богатый, и братия весело поживала во всяком довольстве и даже избытке.

На конный двор пошли, там стояли лошади рослые, жирные, откормленные, шерсть на них так и лоснится. Сыплют им овса, задают сена без счета, без меры, зато и кони были не чета деревенским мужичьим клячам, слоны слонами. На что хороши разгонные лошади у Патапа Максимыча, да нет, далеко им до игуменских. Заглянули в сараи, там телеги здоровенные, кибитки с кожаными верхами и юфтовыми запонами, казанские тарантасы, и все это на железных осях с шинами в два пальца толщиной, все таково крепко да плотно сработано и все такое новое, ровно сегодня из мастерской... Отправились на скотный двор, там десятка четыре рослых жирных холмогорских коров, любо-дорого посмотреть, каждая корова тамбовской барыней смотрит. А на птичном дворе куры всех

возможных пород, от великанов голландок до крошек шпанок. В особом помещенье содержались гуси, утки, индейки, цесарки, это уж так, для охоты и ради «утешения» мирских гостей, посещавших честную обитель во время мясоедов.

В работные кельи зашли, там на монастырский обиход всякое дело делают: в одной келье столярничают и точат, в другой бондарь работает, в третьей слесарня устроена, в четвертой иконописцы пишут, а там пекарня, за ней квасная. В стороне кузница поставлена. И везде кипит безустанная работа на обительскую потребу, а иное что и на продажу... Еще была мастерская у отца Михаила, только он ее не показал.

– Домовитый же ты хозяин, отец Михаил, – сказал Патап Максимыч, возвращаясь в гостиницу. – К тебе учиться ездить нашему брату.

– Ох ты, любезненькой мой! – восклицал игумен. – Какой ты, право! Уж куда тебе у нашего брата, убогого чернца, учиться. Это ты так только ради любви говоришь... Конечно, живем под святым покровом владычицы, нужды по милости христолюбцев, наших благодетелей, не терпим, а чтоб учиться тебе у нас хозяйствовать, это ты напрасно слово молвил.

– Не обык я зря, с ветру говорить, отец Михаил, – резко подхватил Патап Максимыч. – Коли говорю – значит, дело говорю.

– Ну, ну, касатик ты мой! – ублажал его игумен, заметив подавленную вспышку недовольства. – Ну, Христос с тобой... На утешительном слове благодарим.

И низко-пренизко поклонился Патапу Максимычу.

– Живет у меня молодой парень, на все дела руки у него золотые, – спокойным голосом продолжал Патап Максимыч. – Приказчиком его сделал по токарням, отчасти по хозяйству. Больно приглянулся он мне – башка разумная. А я стар становлюсь, сыновьями Господь не благословил, помощников нет, вот и хочу я этому самому приказчику не вдруг, а так, знаешь, исподволь, помаленько домовое хозяйство на руки сдать... А там что Бог даст...

– Что ж, дело доброе, коли человек надежный. Облегчение от трудов получишь, болезный ты мой, – говорил отец Михаил.

– Надежный человек, – молвил Патап Максимыч. – А говорю это тебе, отче, к тому, что если, Бог даст, уверюсь в нашем деле, так я этого самого Алексея к тебе с известьем пришлю. Он про это дело знает, перед ним не таись. А как будет он у тебя в монастыре, покажи ты ему все свое хозяйство, поучи парня-то... И ему пригодится, и мне на пользу будет.

– Ладно, хорошо, любезненькой ты мой, все покажу, обо всяком деле расскажу, – отвечал игумен. – Что ж, как ты располагаешься?.. В город

отсюда?

– Сегодня же в город, – сказал Патап Максимыч.

– Погости у нас, убогих, гость нежданный да желанный, побудь с нами денек-другой, дай наглядеться на тебя, любезненькой ты мой, – уговаривал отец Михаил.

Но Патап Максимыч не внимал уговорам и велел запрягать лошадей.

На расставанье написал он записочку и подал ее отцу Михаилу.

– Пошли ты, отче, с этой запиской работника ко мне в Красную рамень на мельницу, – сказал он, – там ему отпустят десять мешков крупчатки... Это честной братии ко Христову дню на куличи, а вот это на сыр да на красны яйца.

И вручил отцу Михаилу четыре сотенных.

– Ах ты, любезненькой мой!.. Ах ты, кормилец наш! – восклицал отец Михаил, обнимая Патапа Максимыча и целуя его в плечи. – Пошли тебе, Господи, доброго здоровья и успеха во всех делах твоих за то, что памятуешь сира и убога... Ах ты, касатик мой!.. Да что это, право, мало ты погостил у нас. Проглянул, как молодой месяц, глядь, ан уж и нет его.

– Нельзя, отче, нельзя, пора мне, и то замешкался... Дома есть нужные дела, – отвечал Патап Максимыч.

– Не забудь же нас, убогих, не покинь святую обитель... Ох ты, любезненькой мой!.. Постой-ка, я на дорогу бутылочку тебе в сани-то положу... Эй, отец Спиридоний!.. Положи-ка в кулечек облепихи бутылочки две либо три, полюбила давеча она благодетелю-то, да поляниковки положь, да морошки.

– Напрасно, отче, право, напрасно, – отговаривался Патап Максимыч, но должен был принять напутственные дары отца игумна.

Паломник с утра еще жаловался, что ему нездоровится. За обедом почти ничего не ел и вовсе не пил. Когда отец Михаил водил Патапа Максимыча по скиту, он прилег, а теперь слабым, едва слышным голосом уверял Патапа Максимыча, что совсем разнемогся: головы не может поднять.

– Поезжай ты в город с Самсоном Михайлычем, – говорил он, – а я здесь, Бог даст, пообмогусь как-нибудь... Авось эта хворь не к великой болезни.

– Да как же мы без тебя, Яким Прохорыч?.. – заговорил было Патап Максимыч. – С тобой-то бы лучше, ты бы и сам уверился... Дело-то было бы тогда без всякого сомнения.

– И теперь знаю, что оно безо всякого сомнения, ты ведь только Фома неверный, – сказал Стуколов. – Нет, не поеду... не смогу ехать, головушки

не поднять... Ох!.. Так и горит на сердце, а в голову ровно молотом бьет.

– Когда ж свидимся? – спросил Патап Максимыч.

– Да уж, видно, надо будет в Осиповку приехать к тебе, – со стонами отвечал Стуколов. – Коли Господь поднимет, праздник-от я у отца Михаила возьму... Ох!.. Господи помилуй!.. Стрельба-то какая!.. Хворому человеку как теперь по распутице ехать?.. Ох... Заступнице усердная!.. А там на Фоминой к тебе буду... Ох!.. Уксусу бы мне, что ли, к голове-то, либо капуста кочанной?..

Отец Спиридоний и уксусу и кочанной капусты принес. Стуколову обложили голову, но он начинал бредить, заговорил об Опоньском царстве, об Египте, о Белой Кринице.

– Эка бедняга, как его размочалило. Гляди-кась, – тужил, стоя, Патап Максимыч.

Делать нечего, поехал с одним Дюковым.

Отец игумен со всею братией соборне провожал нового монастырского благодетеля. Сначала в часовню пошли, там канон в путь шествующих справили, а оттуда до ворот шли пеши. За воротами еще раз перепрощался Патап Максимыч с отцом Михаилом и со старшими инокami. Напутствуемый громкими благословеньями старцев и громким лаем бросавшихся за повозками монастырских псов, резво покатыл он по знакомой уже дорожке.

Проводив гостя, отец Михаил пошел в гостиницу к разболевшемуся паломнику.

– Ах ты, старай дурак! – вскричал больной, вскочив с места и швырнув с головы капусту. – И речью говорено тебе, и на письме тебе писано, а ты, кисельная твоя голова, что наделал?.. А?..

– Что ж я такого наделал, Якимушка?.. Кажись, дело-то клеится, – трусливо говорил отец Михаил.

– Клеится! – передразнил игумна Стуколов. – Клеится! Шайтан, что ли, тебе в уши-то дунул уговаривать его в город ехать? Для того разве я привозил его? Ах ты, безумный, безумный, шитая твоя рожа, вязаный нос!

– Да что ж ты ругаешься, Якимушка?.. Ведь он и без того хотел в город ехать, – оправдывался игумен. – Как же бы я перечить-то стал ему, сам рассуди.

– Твое дело было уверять его, тебе надо было говорить, что в город не по что ездить... А ты что понес?.. Эх ты, фофан, в землю вкопан!.. Ну если б он сунулся в город с силантьевским-то песком? Сам знаешь, каков он... Пропали б тогда все мои труды и хлопоты.

– Прости, Христа ради, – отвечал отец Михаил. – Признаться, этого мне и на ум не впадало.

– То-то и есть. На ум ему не впадало! Эх ты, сосновая голова, а еще игумен!.. Поглядеть на тебя с бороды, как есть Авраам, а на деле сосновый чурбан, – продолжал браниться паломник. – Знаешь ли ты, старый хрыч, что твоя болтовня, худо-худо, мне в триста серебром обошлась?.. Да эти деньги у меня, брат, не пропащие, ты мне их вынь да положи... Много ли дал Патап на яйца?.. Подавай сюда...

– Да ты постой, погоди, не сбивай меня с толку, – молил отец Михаил, отмахиваясь рукою. – Скажи путем, про какие деньги ты поминаешь?..

– Как бы ты ему не советовал в город ехать, он бы не вздумал этого, – сказал Стуколов. – Чапурин совсем в тебе уверился, стоило тебе слово сказать, ни за что бы он не поехал... А ты околесную понес... Да чуть было и про то дело не проболтался... Не толкни я тебя, ты бы так все ему и выложил... Эх ты, ворона!..

Творя шепотом молитву и перебирая лестовку, смиренно слушал отец Михаил брань и попреки паломника. По всему было видно, что он уже не хозяин, а безответный раб Стуколова.

– Про какие же деньги ты спрашиваешь, Якимушка?.. – робко спросил он. – Кажись, мы с тобою в расчете...

– Силантьев песок подменить надо было... Понял?.. Покаместь Чапурин парился, я ему сибирского на триста целковых засыпал.

– Ловко же спроворил ты, Якимушка, – с довольной улыбкой ответил игумен. – Подай тебе, Господи, доброго здоровья...

– Деньги подай, – протягивая руку, сказал Стуколов. – Для того и хворым прикинулся я, для того и остался здесь, чтобы кровные денежки мои не пропали... Триста целковых!..

– Да как же это, Якимушка?.. За что ж мне платить, касатик?.. Полно, любезненькой мой, – лебезил перед паломником отец Михаил.

– Жалких речей на меня не трать, – сухо ответил ему Стуколов. – Слава Богу, не вечор друг дружку спознали... Деньги давай!.. Ты наболтал, ты и в ответе.

– Ну так и быть, грех пополам – бери полтораста, Якимушка, – сказал отец Михаил.

– А ты узоров-то не разводи!.. Сам знаешь цену сибирскому песку. Сказано триста, и дело концом, – решительно отвечал Стуколов. – Спорить со мной не годится.

– Да уступи сколько-нибудь, возьми хоть две сотенных, – торговался игумен.

- Деньги! – крикнул паломник, схватив его за руку.
- Ну, двести пятьдесят, – молил игумен, жалобно глядя на Стуколова.
- Говорят тебе, деньги! – на всю гостиницу крикнул паломник.

Дрогнул отец Михаил, отсчитал из денег, данных Патапом Максимычем, триста целковых и подал их Стуколову. Тот, не торопясь, вынул из кармана истасканный кожаный бумажник и спрятал их туда.

– Теперь о деле потолкуем, – сказал он спокойным голосом, садясь на кресло. – Садись, отче!

Игумен сел и опустил голову.

– С моим песком Чапурин уверится, – начал паломник. – Этот песок хоть на монетный двор – настоящий. Уверившись, Чапурин бумагу подпишет, три тысячи на ассигнации выдаст мне. Недели через три после того надо ему тысяч на шесть ассигнациями настоящего песку показать, – вот, мол, на твою долю сколько выручено. Тогда он пятидесяти тысяч целковых не пожалеет... Понял?

– Дальше-то что же? – спросил игумен.

– Чать, не впервой, – ответил паломник.

– Опасно, Якимушка, боязно. Чапурин – не кто другой. Со всяким начальством знаком, к губернатору вхож... Не погубить бы нам себя, – говорил игумен.

– Обработаем – Бог милостив, – сказал на то Стуколов.

– Разве насчет картинок?<sup>[98]</sup> Тут бы смирно сидел? – прищурясь, молвил игумен.

– На картинки не пойдет. Об этом и поминать нечего, – отвечал решительно Стуколов. – Много ль у тебя земляного-то масла?

– Немного наберется, – отвечал игумен. – К масленице осетров привезли – полфунта не нашлось.

– Ожидаешь еще?

– К празднику обещались.

– Сколько?

– Верно сказать не могу, – отвечал игумен. – С сибиряками-то в последний раз я еще у Макарья виделся; обещали за зиму фунтов пяток переслать, да вот что-то не шлют.

– По крайности, шесть фунтов надо Чапурину предоставить, – раздумывал Стуколов.

– У Дюкова, может, есть?.. – сказал отец Михаил.

– Ни зернышка, – отвечал паломник.

– Здешним досыпать?

– Что пустяки городить!.. Хлопочи, на Фоминой бы шесть фунтов

сибирского было... А теперь ступай. К вечеру подводу наряди!..

– Куда ж ты? – спросил игумен.

– А тебе что за дело? – сказал паломник. – Ступай с Богом, не мешай. Мне надо еще письмо дописать.

Отец Михаил помолился на иконы, низко поклонился сидевшему паломнику и пошел было из гостиной кельи. Стуколов воротил его с полдороги.

– Картинок много? – спросил он.

– Есть, – шепотом ответил отец Михаил.

– Много ль?

– Синих на две тысячи, красных на три с половиной...

– Что лениво стал работать? – слегка усмехнувшись, молвил паломник.

– Боязно, Якимушка, – прошептал игумен, наклоняясь к самому уху Стуколова. – Наезды пошли частые: намедни исправник двое суток выжил, становой приезжал... Долго ль до беды?..

– Чать, не каждый день наезжают, а запоры у тебя крепкие, собаки злые – больно-то трусить, кажись бы, нечего... Давай красных, за каждую сотню по двадцати рублей «романовскими». [\[99\]](#)

– По тридцати намедни платили, – молвил игумен.

– Была цена, стала другая. Неси скорей, получай семьсот рублей государевых, – сказал Стуколов.

– Обидно будет, Яким Прохорыч, право, обидно. Никогда такой цены не бывало.

– Мало ль чего прежде не бывало, – подхватил Стуколов. – Прежде в монастырях и картинок не писали, а ноне пишут. Всякому дневи довлеет злоба его.

– Прикинь хошь пять рубликов, – жалобно просил отец Михаил.

– Сказано двадцать, копейки не прикину.

– Ну, три рублевика!

– Ах, отче, отче, – покачивая головой, сказал отцу Михаилу паломник. – Люди говорят – человек ты умный, на свете живешь довольно, а того не разумеешь, что на твоём товаре торговаться тебе не приходится. Ну, не возму я твоих картинок, кому сбудешь?.. Не на базар везти!.. Бери да не хнычь... По рублику пристегну беззубому на орехи... Неси скорее.

– По два бы прибавил, касатик, – клянчил игумен. – Любезненькой ты мой!.. Право, обидно!

– Не ври, отче, надоед, – неси скорее.

– А синих не надо? – спросил отец Михаил.

– Синих не надо.

– Что так? Взял бы уж заодно.  
– Синих не надо, – стоял на своем паломник.  
– Не все ль одно? Взял бы уж и синие. Я бы по двадцати отдал.  
– Копейки не дам, – решительно сказал Стуколов.  
– Да чем же они тебе стали противны? Кажись, картинки хорошие, – уговаривал игумен.

– То-то и есть, что не хорошие, – подхватил Стуколов. – Слепой увидит, какого завода. Тебе бы лучше их вовсе не тяпать. Не ровен час, влопаешься.

– Сбывали же прежде, Якимушка, – молвил игумен. – Авось, Бог милостив, и теперь сбудем... Дай хоть по восемнадцати.

– И в руки такую дрянь не возьму, – отвечал паломник. – Погляди-ка на орла-то – хорош вышел, нечего сказать!.. Курица, не орел, да еще одно крыло меньше другого... Мой совет: спусти-ка ты до греха весь пятирублевый струмент в Усту, кое место поглубже. Право...

– Пожалуй, что и так, – согласился игумен. – А последышки-то взял бы, родной, право... Не обидь старика, Якимушка... Так уж и быть, бери по пятнадцати романовских.

– Не надо... Неси красные...

Замаялся игумен на месте, но Стуколов так на него крикнул, что тот почти бегом побежал из гостиницы.

Минут через пять отец Михаил принес красные картинки и получил от паломника семьсот рублей. Долго опытный глаз игумна рассматривал на свет каждую бумажку, мял между пальцами и оглядывал со всех сторон.

Яким Прохорыч уселся дописывать письмо.

Переглядев бумажки, игумен заговорил было с паломником, назвал его и любезненьким и касатиком; но «касатик», не поднимая головы, махнул рукой, и среброкудрый Михаил побрел из кельи на цыпочках, а в сенях строго-настрого наказал отцу Спиридонию самому не входить и никого не пускать в гостиную келью, не помешать бы Якиме Прохорычу.



## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Приятель, к которому из Красноярского скита проехал Патап Максимыч, был отставной горный чиновник Колышкин. Громко и честно держалось на Волге имя его. Два парохода у него бегало, с Низу пшеницу до Рыбинска возили. Славно бегали, а лучше того зарабатывали. Не то что какие-нибудь одиночные пароходчики – общества, компании завидовали делам Сергея Андреича. Те, сердечные, бывало, бьются на пристанях чуть не до водополи, закликают кладчиков, задают пшеничникам дорогие обеды, дюжинами ставят перед ними отборные вина, проигрывают им в трынку да в горку, а Сергей Андреич лежит себе на диване да сигаркой попыхивает. Еще с середины зимы у него ни забот, ни хлопот, на все путины клади готовы и условия подписаны. Как же пароходчикам не завидовать Колышкину, как не стараться ему ножку подставить?.. Дело известное: счастливым быть – всем досадить... А Сергей Андреич будто не замечает, что глядят на него не дружески, смешками да шутками ото всякого норовит отойти... А чтоб кто Сергею Андреичу повредил хоть какую малостью, того не случалось. Охота вредить была, да спорыньи не было...

Душевный человек был этот Сергей Андреич. Где он – там и смех и веселье, вон из беседы – хмара на всех... Любил шутку сшутить, людей посмешить, себя позабавить. А кто людей веселит, за того свет стоит... И любили его, особенно простой народ.

С рабочими был строг: всяко лыко у него в строку. Зорко на дело глядел: малости не спускал. Ни прогула, ни беспорядка, бывало, не простит, зато ко всем справедлив был. И рвались же к нему на службу, а кто попал, тот за хозяина и за его добро рад бывал и в огонь и в воду. Тем люб был простонародью Сергей Андреич, что не было в нем ни спеси, ни чванства, ни гордости... Другой, наживя богатство, вздуется, как тесто на опаре... близко не подходи: шагает журавлем, глядит козырем и, кроме своего же брата богатея, знать никого не хочет. Сергей Андреич был не таков... Приди к нему в обеденный час хоть самый последний кочегар – честь ему и место, хоть тут губернатор сиди. Говорили Колышкину приятели: зачем так делает, хороших людей обижает, сажая за один стол со всякою чернотой да мелкотой. «До Бога нам далеко, – ответит, бывало, Сергей Андреич. – Верстаться с Господом персти земной не приходится, а у него, света, за небесной трапезой иной нищий выше царей сидит... А я-то что?.. Знатней Бога-то, что ли?.. Аль родом-породой выше его?.. Нет,

братцы, сам я не княжой, не дворянской крови, сам из мужиков... Родитель мой на заводе в засыпках<sup>[100]</sup> жил, так мне гордиться чем стать?» Дивовались Сергею Андреичу, за углом подсмеивались, в глаза никогда... Да и совестно было смеяться, глядя на его голубые, лучистые глаза, что искрились умом, горели добром и сияли Божьею правдой...

Родом с Урала был. На одном из тамошних горных заводов родитель его крепостным мастером значился. Сызмала до смерти кержачил<sup>[101]</sup> он. Человек был домовитый, залежна копейка у него водилась, хоть и не гораздо большая. Была у Андрея Колышкина жена добрая, смиренная, по хозяйству заботная, – Анной звали, был сын Сергей да дочка Маринушка... Жили себе Колышкины тихо да ладно, Бога хваля, ближнего любя. И промаячили бы век свой на заводе, если б юркость да затейливость Сережи не повернули вверх дном всю ихнюю жизнь.

Шустрый мальчонок рос, сметливый, догадливый, развеселый такой. Десяти лет не минуло, и он уж все заводские песни знал наизусть, так и заливается, бывало, звонким голоском на запольных<sup>[102]</sup> хороводах. Сереже семь лет минуло, и отец, помолясь пророку Науму, чтоб отрока Сергея на ум наставил, дал ему в руки букварь да указку и принялся учить его грамоте. По вечерам, как родитель, бывало, с домны аль с вагранки<sup>[103]</sup> домой воротится, долбит перед ним Сережа: «Аз, ангел, ангельский, архангел, архангельский», а утром тихонько от матери бежит в заводское училище, куда родители его не пускали, потому что кержачили... и думали, что училище то бусурманское. Там-де учат бритоусы да еще по гражданской грамоте, а гражданская грамота, святыми отцами не благословенная, пошла в мир от антихриста. Опять же в заводском училище цифирной мудрости учат, а цифирь – наука богоотводная... Так судили-рядили Сережины отец с матерью, а он бегаёт себе да бегаёт в училище, а чему там учиться, от родителей держит в тайне...

Не дошел старик Колышкин с сыном до «свят, святитель», а тот уже по толкам и по титлам читает. Засадил за часослов, а он перву кафизму так и режет... Диву засыпка дался, что за сын такой у него уродился!... Десяти годов нет, а он псалтырь так и дерет, хоть по мертвым читать посылай. «Мал малышок – а мудрые пути в себе кажет...» – думает отец. Дал ему mineю месячную, дал mineю цветную – Сереже все нипочем... Чему еще учить?.. Одиннадцати годов нет, а мальчуган всю кержацкую мудрость произошел... И учиться больше нечему... «И откуда мне сие? – раздумывает старик. – Уж не в сем ли отrotchати чаяние нашей благочестной веры лежит? Не от моего ль рождения глас вещания произыдет, не от него

ль последует утверждение старой веры отцов наших?»

А между тем Сережа, играючи с ребятами, то меленку-ветрянку из лутошек состроит, то круподерку либо толчею сладит, и все как надо быть: и меленка у него мелет, круподерка зерно дерет, толчая семя на сбойну бьет. Сводил его отец в шахту, <sup>[104]</sup> а он и шахту стал на завалинке рыть.

В то время из чужих краев приезжал на завод его владелец. Летним вечером, проходя мимо дома Колышкиных, заметил он мальчугана, копавшегося под окнами. Это Сережа шахту закладывал. Полюбилось это барину, понравилась и юркость мальчика, его светлый, умный взор. Разговорился он с Сережей, и вспало на мысль ему, что из засыпкина сына может он сделать знаменитого человека, другого Ломоносова – стоит только наукам его обучить. Наутро старика Колышкина в контору позвали, вольную для сына выдали и приказ объявили: снаряжать его для отправки в Питер с золотухой. <sup>[105]</sup>

День-деньской без шапки, мрачно понуриив голову, простоял засыпка под барскими окнами, с утра до вечера возле него выла и голосила Анна, Сережина мать. Барин остался непреклонным. Завидев его, Анна ринулась ниц и, судорожно охватив за ноги барина, зачала причитать отчаянным, нечеловеческим голосом. Барин очень удивился, но не мог понять материнского вопля; по-русски не больно горазд был... А мать молила его, заклинала всеми святыми не басурманить ее рождения, не поганить безгрешную душу непорочного отрока нечестивым ученьем, что от Бога отводит, к бесам же на погубу приводит... Насилу оттащили... Не обошлось без пинков и потасовки, а когда старик хотел отнять жену у десятских, и ему велено было десятка два засыпать... Столь горячо радел заводской барин о насаждении наук в России. Взглядывая на озлобленные глаза засыпки, на раскосмаченную Анну и плакавшего навзрыд Сережу, утешал он мальчика сладкими речами, подарил ему парижских конфет и мнил себе, что самому Петру Великому будет он в версту, что он прямой продолжатель славных его деяний – ввожу, дескать, разума свет в темный дикий народ.

Ранним утром другого дня тронулась с завода золотуха. Сережу увезли. К вечеру старик Колышкин с женой и четырнадцатилетнею Маринушкой без вести пропали...

Меж тем заводской барин, убоясь русской стужи, убрался в чужие края, на теплые воды, забыв про петровскую свою работу и про маленького Колышкина. Забыл бы и Русь, да не мог: из недр ее зябкий барин получал свои доходы.

Попав на дорогу, Сережа с пути не свернул. Вышел из него человек умный, сильный духом, работающий. Кончив учение, поступил он на службу на сибирские казенные заводы, а потом работал на золотых промыслах одной богатой компании.

Проезжая в Сибирь, целый месяц Сергей Андреич прожил на родном Урале... Про отца с матерью все разведывал: куда делись, что с ними случилось... Но ровно вихрем снесло с людей память про Колышкиных.

Потужил Сергей Андреич, что не привел его Бог поклониться седидам родительским, поплакать на иссохшей груди матери, приветить любовью сестру родимую, и поехал на старое пепелище, на родной завод – хоть взглянуть на места, где протекло детство его...

И на заводе про его стариков ни слуху ни духу. Не нашел Сергей Андреич и дома, где родился он, где познал первые ласки матери, где явилось в душе его первое сознание бытия... На месте старого домика стоял высокий каменный дом. Из раскрытых окон его неслись песни, звуки торбана, дикие клики пьяной гульбы... Вверх дном поворотило душу Сергея Андреича, бежал он от трактира и тотчас же уехал из завода.

В Сибири Колышкин работал умно, неустанно и откладывал из трудовых денег копейку на черный день. Но не мимо пословица молвится: «От трудов праведных не наживешь палат каменных»... Свековать бы в денно-нощных трудах Сергею Андреичу, если б нежданно-негаданно не повернула его судьба на иной путь. Вспомнили про сынка родители, за гробом его вспомнили.

Как-то раз зимним вечером сидел Колышкин один в своей рабочей комнате, тишина была мертвая, только из соседней горницы раздавались мерные удары маятника... Вдруг кто-то кашлянул сзади него. Обернулся Сергей Андреич – видит старика в длиннополой, осыпанной снегом сибирке с заиндевелой от мороза густой бородой. У него в руках сундучок тагильского дела, <sup>[106]</sup> окованный росписной жостью.

– Что тебе? – с места вскочив, спросил старика Колышкин.

– До твоей милости, Сергей Андреич, – хриплым, едва слышным голосом отвечал старик.

– Кто ты, откуда?

– Странник о Христе Исусе, – отозвался неведомый гость. – Посылочку принес, – прибавил он, ставя перед Колышкиным сундучок и возле него ключ.

– От кого? – спросил Сергей Андреич.

– Из лесов, – отвечал странник.

– Из каких лесов?.. От кого?.. – спрашивал Колышкин, а сам,

наклонясь, стал рассматривать сундучок.

Ответа не было. Оглянулся Сергей Андреич, странника след простыл. Ни на дворе, ни на улице не нашли его. Прислуга Колышкина не видела даже, ни как он в дом вошел, ни как вышел.

Отпер сундучок Сергей Андреич. В нем сверток и письмо, писанное уставом.

Стал читать:

«Его благородию господину Сергею Андреичу Колышкину грешного инока Серапиона землекасательное поклонение с пожеланием доброго здоровья и всякого земного благополучия. За известие даем вашему благородию, что мимошедшего септемвриа в седьмый день проживавший в нашем убогом братстве более тринадцати годов схимник Агапит от сея временныя жизни в вечныя кровы преселися... А отходя сего света, заповедал мне, недостойному, молиться о нем к вашему благородию, яко сыну по плоти, справить сию посылку. Засим, прекратя письмо сие, остаемся доброжелатели вашего благородия, грешный инок Серапион с братиею».

Ни числа, ни месяца, ни места, откуда письмо.

В свертке лежало пятнадцать тысяч рублей. Шесть тысяч были завернуты в особую бумажку, с надписью: «Лета 7343, иулия в 21 день преставися инокия Агния... Лета 7345, януария 15 дня преставися девица Марина».

Только!.. Вот и все вести, полученные Сергеем Андреичем от отца с матерью, от любимой сестры Маринушки. Много воды утекло с той поры, как оторвали его от родной семьи, лет пятнадцать и больше не видался он со сродниками, давно привык к одиночеству, но, когда прочитал письмо Серапиона и записочку на свертке, в сердце у него захолонуло, и Божий мир пустым показался... Кровь не вода.

Где, в каких лесах, в каких пустынях дожили свой век старики?.. В каких обителях вечный сон смежил их очи? На склоне ли Уральских гор, в пустынях ли Невьянских и Тагильских, иль между Осинскими сходцами, [\[107\]](#) иль на славном по всему старообрядству Иргизе, или в лесах Керженских-Чернораменных?.. Никому не узнать!.. Далеко и в ширь и в даль раскинулась земля Святорусская... Кто изочтет в ней дебри, леса и пустыни? Кто изведal в ней все «сокровенные места», где живут и долго еще будут жить «люди под скрытием», кинувшие постылую родину «сходцы», доживающие век свой в неизвестных миру дебрях, вдали от людей, от больших городов и селений?.. Разве вольный ветер, что летает от моря до моря, да солнце ясное знают про все места сокровенные!... Да, они

только ведали, где кончили жизнь старики Кольшкины.

Но отчего же они, посылая единородному сыну наследство, не послали ему ни приветного слова, ни родительской ласки, ни даже благословенья?.. Понимал это Сергей Андреич... Схимнику Агапиту, инокине Агнии горный чиновник был чуж-человек. Не рознь сословия – рознь веры разлучила стариков с любимым сыном... Суров, жесток завет старообрядский: «не подобает родительское благословение преподати сыну никонианину». Коротенькой запиской отец с матерью как будто говорили Сергею Андреичу: «Прими от родивших тебя тленное земное наследие, но за гробом нет тебе части с нами. И блудник, и тать, и убийца наследуют жизнь вечную, еретика же самая кровь мученическая очистить не может. Нет тебе части с нами... Кое убо общение Христу с Велиаром?» Такие жестокие понятия казались бы несовместными с добродушием мягкосердого, любвеобильного нашего народа. Русскому человеку нет ничего на свете дороже любви родительской, нет ничего краше семейного лада... Откуда же взялась такая жестокость, столь обычная между старообрядцами?.. Из чужих краев она принесена, чуждыми учителями на Русь навеевна... Бессердечные византийцы, суровые слагатели отшельнических уставов, дышащие злобой обличители еретичества древних лет, мертвящими буквами своих писаний навеевли на нашу добрую страну тлетворный дух ненависти... Лукавый дух злобы под видом светлого благочестия успел проникнуть даже в такую крепкую, в такую твердую и любительную семейную среду, какова русская... Сильна была Византия коварством, лестью да хитростью... «Суть же Греци льстиви даже до сего дни», – давно сказано и верно сказано первым русским писателем. Только за то и спасибо Византии, что по ее милости Русская земля с римским папой не зналась...

Прошел год, другой после получения наследства. Сергей Андреич живет не по-прежнему, он был уж человек с достатком и вошел в паи по золотым приискам... Счастье повезло ему... В тайгах нашлись богатые россыпи, и он, как участник в деле, в короткое время стал богачом... Его товарищи по золотому делу были все кабацкие богатыри, набившие карманы спаиваньем народа смесью водки и дурманом... Не лежало к этим людям сердце Сергея Андреича, стал он смотреть, как бы подброду-поздорову да прочь от них... Раскольникья кровь заговорила... Известно, что во все времена винных откупов ни один раскольник (а между ними много богачей) не осквернил рук прибытком от народной порчи. Был один... но того старообрядцы считали за прокаженного.

Женился Сергей Андреич на дочери кяхтинского «компанейщика» и,

взяв за женой ценное придание, отошел от кабацких витязей. Наскучила ему угрюмая Сибирь, выехал в Россию, поселился на привольных берегах широкой Волги и занялся торговыми делами больше по казенным подрядам.

К торговому делу был он охоч, да не больно горазд. Приехал на Волгу добра наживать, пришлось залежные деньги проживать. Не пошли ему Господь доброго человека, ухнули б у Сергея Андреича и родительское наследство, и трудом да удачей нажитые деньги, и приданое, женой принесенное. Все бы в одну яму.

Тот добрый человек был Патап Максимыч Чапурин. Спознал он Сергея Андреича, видит – человек хороший, добрый, да хоть ретив и умен – а взялся не за свое дело, оттого оно у него не клеится и вон из рук валится. Жалко стало ему несчастного Колышкина, и вывел он его из темной трущобы на широкую дорогу.

– Наплюй ты, Сергей Андреич, на эти анафемские подряды, послушай меня, старого торговца, – говорил Патап Максимыч. – Не ради себя, ради махоньких деток своих послушайся, не пусти ты их с сумой под оконья... Верь моему слову: года не минет, как вззоет у тебя мошна – и вон из кармана пойдет... Тебе ли, друг, с казенными подрядами вожжаться?.. Тут, милый человек, надо плутом быть, а коль не быть плутом, так всякое плутовство знать до ниточки, чтобы самого не оплели, не пустили бы по миру. Кинь, ради Христа, подряды... Хотя убытки понесешь – наплевать, развяжись только с этим проклятым делом скорей... Знаю я его вдоль и поперек... Испробовал!.. А вот построй-ка ты лучше пароходишко, это будет тебе с руки, на этом деле не сорвешься. Право, так.

Послушался Колышкин, бросил подряды, купил пароход. Патап Максимыч на первых порах учил его распорядкам, приискал ему хорошего капитана, приказчиков, водоливов, лоцманов, свел с кладчиками; сам даже давал клади на его пароход, хоть и было ему на чем возить добро свое... С легкой руки Чапурина разжился Колышкин лучше прежнего. Года через два покрыл неустойку за неисполненный подряд и воротил убытки... Прошло еще три года, у Колышкина по Волге два парохода стало бегать.

Толстый, дородный, цветущий здоровьем и житейским довольством, Сергей Андреич сидел, развалившись в широких, покойных креслах, читая письма пароходных приказчиков, когда сказали ему о приходе Чапурина. Бросив недочитанные письма, резвым ребенком толстяк кинулся навстречу дорогому гостю. Звонко, радостно целуя Патапа Максимыча, кричал он на весь дом:

– Крестный! Ты ль, родной?.. Здорово!.. Здорово!.. Что запропал?..

Видом не видать, слыхом не слыхать!.. Все ли в добром здоровье?

– Ничего – живем да хлеб жуем, – отвечал, улыбаясь, Чапурин. – Тебя как Господь милует?.. Хозяюшка здорова ль?.. Деточки?

После обычных приветствий и расспросов, после длинного разговора о кладях на низовых пристанях, о том, где больше оказалось пшеницы на свале: в Баронске аль в Балакове, о том, каково будет летом на Харчевинском перекате да на Телячьем Броде, о краснораменских мельницах и горянщине, после чая и плотной закуски Патап Максимыч молвил Кольшкину:

– А ведь я к тебе с докукой, Сергей Андреич. Нарочно для того и в город меня примчало.

– Приказывай, крестный, что ни велишь, мигом исполним, только бы мочи да уменя хватило, – отвечал Кольшкин.

– Мое дело во всей твоей мочи, Сергей Андреич, – сказал Патап Максимыч. – Окроме тебя по этому делу на всей Волге другого человека, пожалуй, и нет. Только уж, Христа ради, не яви в пронос тайное мое слово.

– Эка что ляпнул! – воскликнул Кольшкин. – Не ухороню я тайного слова своего крестного!.. Да не грех ли тебе, толстобрюхому, такое дело помыслить?.. Аль забыл, что живу и дышу тобой?.. Теперь мои ребятки бродили б под оконьем, как бы Господь не послал тебя ко мне с добрым словом... Обидно даже, крестный, такие речи слушать – право.

– Ну, ну, не серчай, – говорил Патап Максимыч. – Не в ту силу говорено, что не верю тебе... На всякий случай, опаски ради слово молвилось, потому дело такое – проносу не любит, надо по тайности.

– Ну, сказывай, какое дело? – молвил Кольшкин.

– Дело такое, Сергей Андреич, что тебе, по твоей науке, оно солнца ясней, а нашему брату, человеку слепому, неученому, – потемки, как есть потемки... Научи уму-разуму...

– Что ж такое?

– Видишь ли, у нас в лесах, за Волгой, река есть, Ветлугой зовется... Слыхал?

– Знаю, – отвечал Кольшкин. – Как Ветлугу не знать? Не раз бывал и у Макарья на Притыке и в Баках.<sup>[108]</sup> И сюда, как из Сибири ехали – к жениной родне на Вятку заезжали, а оттоль дорога на Ветлугу...

– Ладно, хорошо, – сказал Патап Максимыч. – Так в эту самую реку Ветлугу пала река Уста.

– И Усту знаю и из Усты воду пивал, – отозвался Кольшкин.

– Так вот что: меж Ветлуги и Усты золото объявилось, золотой песок, – полупшепотом молвил Патап Максимыч.



Хоть и верил он Сергею Андреичу, хоть не боялся передать ему тайны, а все-таки слово про золото не по маслу с языка сошло. И когда он с тайной своей распротаслся, ровно куль у него с плеч скатился... Вздохнул даже – до того вдруг так облегчало.

А Колышкин так и помирает со смеху. Полные розовые щеки дородного пароходчика задрожали, как студень, грудь надрывалась от хохота, высокий круглый живот так и подпрыгивал. Сергей Андреич закашлялся даже.

– Ветлужское золото!.. Ха-ха-ха!.. Россыпи за Волгой!.. Ха-ха-ха!.. Не растут ли там яблоки на березе, груши на сосне?.. Реки молочные в кисельных берегах не текут ли?.. Ах ты, крестный, крестный, – уморил совсем!.. Ха-ха-ха!..

– Зачем гоготать? – молвил, нахмурясь, Чапурин. – Не выпросив дела путем, гогочешь, ровно гусь на проталине!.. Не след так, Сергей Андреич, не ладно... Ты наперед выпроси, узнай по порядку, вдосталь, да потом и гогочи... А то на-ка поди!.. Не пустые речи говорю – сам видел...

Видя досаду Чапурина, Колышкин сдержал свой смех.

– Нестаточное дело, Патап Максимыч, – молвил он. – Покажи мне пегого коня, чтоб одной масти был, тогда разве поверю, что на Ветлуге нашлось золото.

– А это что? – резко сказал Патап Максимыч, ставя перед Сергеем Андреичем пузырек.

Колышкин взял и только что успел приподнять, как смеющееся лицо его думой подернулось. Необычный вес изумил его. Попробовал песок на оселке, пуще задумался.

– Что? – спросил Патап Максимыч.

Колышкин ни слова в ответ.

Глаз не спускал с него Патап Максимыч. Вынул Колышкин из стола вески какие-то, свесил песок, потом на тех же весах свесил его в воде.

– Что? – спросил Патап Максимыч, вставая с дивана. Колышкин опять ни слова.

Видит Патап Максимыч – «крестник» взял какую-то кастрюльку, налил в нее чего-то, песку подсыпал, еще что-то поделал и, отдавая пузырек, сказал:

– Золото.

Просиял Патап Максимыч.

– Видишь! – сказал он. – А гогочешь!.. Теперь, барин, кому над кем смеяться-то?.. Ась?..

– Где ж его промывали? – спросил Колышкин. – Промыто хорошо.

– Как промывали? – молвил Патап Максимыч. – Никто не мыл... Из земли такое берут.

– Не может этого быть, – решительно сказал Сергей Андреич.

– Как не может быть? – возразил Патап Максимыч. – Я тебе говорю, что песок из земли накопан...

– Сам видел? – спросил, прищуриваясь, Колышкин.

– Хвастать не хочу – сам не видал, – отвечал Патап Максимыч.

– Значит, люди сказывали, что они такой песок прямо из земли берут? – прервал его Колышкин.

– Так говорили, – ответил Патап Максимыч.

– Так-таки и сказывали, что в этом самом виде песок из земли копан? – продолжал свои расспросы Колышкин. – Ни про какую промывку не было речи?

– Да, – подтвердил Патап Максимыч.

– Мошенники это тебе говорили – вот что!.. – с сердцем крикнул Сергей Андреич.

– Как мошенники? – вскочив с места, еще громче вскрикнул Патап Максимыч. – Разве стану я водиться с мошенниками?

– Не туда, крестный, гнешь... – молвил Колышкин. – Не кипятись, слушай, что скажу. Сдается мне, на плутов ты попал... Денег просили?

– Мое дело, – нехотя отозвался Патап Максимыч.

– Не таи, тебя ж от обмана хочу обречь, – говорил Колышкин. – Много ли дал?

– За пузырек-от? – после некоторого молчания спросил Патап Максимыч.

– Ну да.

– Сорок целковых дадено, – сквозь зубы процедил Чапурин.

– С барышом поздравляю! – весело усмехнувшись, молвил Колышкин. – Пять сереньких в карман попало!.. Э-эх, Патап Максимыч!.. Кто таковы знакомцы твои, не ведаю, а что плуты они, то знаю верно... И плуты они не простые, а большие, козырные... Маленький плут двухсот пятидесяти целковых зря не кинет.

– Какие двести пятьдесят целковых? – спросил Патап Максимыч.

– Да ведь в этой склянке без малого фунт чистого золота, – сказал Колышкин, – его фунт казенна цена триста целковых... Как же тебе за сорок-то продали?.. Смекаешь, каковы подкопы ведут под тебя?

– Невдомек! – почесывая затылок, молвил Патап Максимыч. – Эка в самом деле!.. Да нет, постой, погоди, зря с толку меня не сшибай... – спохватился он. – На Ветлуге говорили, что этот песок не справское золото;

из него, дескать, надо еще через огонь топить настоящее-то золото... Такие люди в Москве, слышь, есть. А неумелыми руками зачнешь тот песок перекалывать, одна гарь останется... Я и гари той добыл, – прибавил Патап Максимыч, подавая Колышкину взятую у Силантья изгарь.

Икнулось ли на этот раз Стуколову, нет ли, зачесалось ли у него левая бровь, загорелось ли левое ухо – про то не ведаем. А подошла такая минута, что силантьевская гарь повернула затеи паломника вниз покрышкой. Недаром шарил он ее в чемодане, когда Патап Максимыч в бане нежился, недаром пытался подменить ее куском изгари с обительской кузницы... Но нельзя было всех концов в воду упрятать – силантьевская гарь у Патапа Максимыча о ту пору в кармане была...

Колышкин испробовал гарь и сказал:

– Не от того песку... Это от серного колчедана... Теперь ихнюю плутню насквозь вижу... Знаешь серный колчедан?..

– Не знаю, что за колчедан такой, не слыхивал... – отвечал Патап Максимыч.

– Дресву знаешь?

– Как дресвы не знать! – молвил Чапурин. – По нашим местам бабы дресвой полы моют.

– А как ее делают? – спрашивал Колышкин.

– Спорник с каменки<sup>[109]</sup> берут... потолкуют в ступе, вот тебе и дресва, – сказал Патап Максимыч.

– Ладно, а замечал ты когда, что в дресве-то ровно золотые искорки светятся? – продолжал спрашивать Колышкин.

– Как не замечать!.. «Мышиным золотом» те блески зовут.

– Ну вот, это «мышинное золото» и есть колчедан, – сказал Колышкин. – Ветлужское золото тоже «мышинное»... Понял?..

– Чудно что-то заговорил ты, Сергей Андреич, – молвил Патап Максимыч. – «Мышиное золото» искорками живет, блесками такими, а это, гляди-ка, что... – прибавил он, указывая на пузырек.

– Не про это тебе говорю, это золото настоящее и брато не на Ветлуге, – сказал Колышкин. – Говорю тебе про серный колчедан, про тот, что у вас «мышинным золотом» зовется. Местами он гнездами в земле лежит и с виду как есть золотой песок. Только золота из него не добудешь, а коли хочешь купоросное масло делать, – иная статья – можно выгоду получить... Эта гарь от колчедана, а по-вашему, от «мышинного золота», а песок в склянке не здешний. То с приисков краденое настоящее промытое золото... Берегись, крестный, под твои кошель подкопы ведут...

Задумался Патап Максимыч. Не клеится у него в голове, чтоб отец

Михаил стал обманом да плутнями жить, а он ведь тоже уверял... «Ну пушай Дюков, пушай Стуколов – кто их знает, может, и впрямь нечистыми делами занимаются, – раздумывал Патап Максимыч, – а отец-то Михаил?.. Нет, не можно тому быть... старец благочестивый, игумен домовитый... Как ему на мошенстве стоять?..»

– А богат человек, что песок тебе продавал? – спросил Колышкин.

– Мужик справный, – ответил Патап Максимыч.

– Как, однако?

– Денежный человек, – изба хорошая, кони, коровы, все в порядке...

Баклушами кормится – баклушник.

– Не тысячник? – спросил Колышкин.

– Какое тысячник! – молвил Патап Максимыч. – Баклушами в тысячники не влезешь... Сот семь либо восемь – залежных, может быть, есть, больше навряд...

– Двести пятьдесят целковых ему деньги?

– Еще бы не деньги! Да Силантью целый год таких денег не выручить.

За сорок то целковых он мне кланялся, кланялся.

– А давно ль ты его знаешь? – спросил Колышкин.

– Впервой видел, – отвечал Патап Максимыч. – Ночь у него ночевал, пообедал, вот и знакомства всего...

– А в дело тебя звали? На золото денег просили? – приставал Колышкин.

– Было, – нехотя молвил Патап Максимыч.

– Теперь мне все как на ладонке, – сказал Колышкин. – Подумай, Патап Максимыч, статочно ли дело, баклушнику бобра вместо свиньи продать?.. Фунт золота за сорок целковых!.. Сам посуди!.. Заманить тебя хотят – вот что!.. Много ль просили? Сказывай, не таи...

– Да на первый раз не больно много: три тысячи на монету.

– А потом?

– А потом, коли дело на лад пойдет, пятьдесят тысяч целковых обещался им дать, – сказал Патап Максимыч.

– Э!.. Народ тертый!.. На свои руки топора не уронит... – молвил Колышкин. – Сибиряки, надо быть?

– Народ здешний, – отвечал Патап Максимыч. – Один, правда, живал в Сибири и на приисках золотых, рассказывает, живал...

– Так и есть, – подхватил Колышкин. – Жил в Сибири, да выехал в Россию «земляным маслом» торговать... Знаю этих проходимцев!.. Немало народу по миру они пустили, немало и в острог да в ссылку упрятали... Нет, крестный, воля твоя – это дело надо бросить.

Задумался Патап Максимыч. Отец Михаил с ума нейдет... Как же это игумну в плутовских делах бывать?

– А ты бы, крестный, рассказал уж мне все по порядку, как зачиналось это дело и как шло до сих пор, – сказал Кольшкин. – Подумали бы вместе, – гнилого ответа от меня не услышишь.

Молчит Чапурин. Хмурится, кусает нижнюю губу и слегка почесывает затылок. Начинает понимать, что проходимцы его обошли, что он, стыдно сказать, ровно малый ребенок поверил рассказам паломника... Но как признаться?.. Друг-приятель – Кольшкин, и тому как сказать, что плуты старого воробья на кривых объехали? Не три тысячи, тридцать бы в печку кинул, только б не признаться, как его ровно Филю в лапти обули.

– Отчего не сказать всего по ряду? – приставал Кольшкин. – Вдвоем посоветуем, как бы тех плутов изловить?

– А чего ради в ихнее дело обещал я идти? – вдруг вскрикнул Патап Максимыч. – Как мне сразу не увидеть было ихнего мошенства?.. Затем я на Ветлугу ездил, затем и маету принимал... чтоб разведать про них, чтоб на чистую воду плутов вывести... А к тебе в город зачем бы приезжать?.. По золоту ты человек знающий, с кем же, как не с тобой, размотать ихнюю плутню... Думаешь, верил им?.. Держи карман!.. Нет, друг, еще тот человек на свет не рожден, что проведет Патапа Чапурина.

– А я-то про что тебе говорю? – сказал Кольшкин, вдоль и поперек знавший своего крестного. – Про что толкую?.. С первого слова я смекнул, что у тебя на уме... Вижу, хочет маленько поглумиться, затейное дело правским показать... Ну что ж, думаю, пуцай его потешится... Другому не спущу, а крестному как не спустить?..

– А, понял же, значит, что шутку хотел над тобой сшутить! – самодовольно улыбаясь, молвил Патап Максимыч. – Ишь ты!.. На саврасой, брат, тебя не объедешь!

– Не сразу, Патап Максимыч, не вдруг, – шутливо ответил Кольшкин. – Сами с усами, на своем веку тоже кое-какие виды видали.

– Да ты у меня умный!.. Золотая головушка!.. – сказал Патап Максимыч, глядя Сергея Андреича по голове. – С тобой говорить не наскучит.

– Ну ладно, ладно. Будет шутку шутить... Рассказывай, как в самом деле ихняя затея варилась, – прервал Кольшкин. – Глазком бы посмотреть, как плуты моего крестного оплетать задумали, – с усмешкой прибавил он. – Сидят небось важно, глядят задумчиво, не улыбнутся, толкуют чинно, степенно... А крестный себе на уме, попирает смех на сердце, а сам бровью не моргнет: «Толкуйте, мол, голубчики, распоясывайтесь,

выкладывайте, что у вас на уме сидит, а мне как вас насквозь не видеть?..» Ха-ха-ха!..

И звонкий хохот Колышкина раскатился по высоким комнатам.

– Экой догадливый! – тоже смеясь, молвил повеселевший Чапурин. – Ровно ты, Сергей Андреич, в ту пору промеж нас сидел... Так уж верно ты рассказываешь.

– Так как же, как дело-то было? – спрашивал Колышкин.

И рассказал Патап Максимыч Колышкину, как приехали к нему Стуколов с Дюковым, как паломник при всех гостях, что случилось, расписывал про дальние свои странствия, а когда не стало в горнице женского духа, вынул из кармана мешок и сыпал из него золотой песок...

– И такие пошел моты разматывать, только слушай, – говорил Патап Максимыч. – И стелет и метет, и врет и плетет, а сам глазом не смигнет, ровно нет и людей перед ним... Занятно мне стало... Думаю: «Постой ты, баламут, точи ляссы, морочь людей, вываливай из себя все дотла, а затеек твоих как нам не видать?..» Сродственник на ту пору был у меня да приятель старинный – удельного голову Захлыстина Михайлу Васильевича не слыхал ли?.. Мы тому проходимцу будто и поверили, а он говорит: «Золотой, дескать, песок неподалеку от ваших мест объявился – на Ветлуге». И давай нас умаливать: золоты прииски заявляйте, компанию заводите, миллионы, говорит, наживете. А мы: отчего ж, мол, не завести компании, Яким Прохорыч, – для че от счастья отказываться? Денег-то, скажи, много ль потребуется? «На первый раз, говорит, тысячи три бумажками, а станет дело на своих ногах, тысяч пятьдесят серебром будет надобно». Для видимости согласились мы, по рукам ударили. А мне о ту пору требовалось на Ветлуге побывать. Едем, говорю Стуколову, кажи, где такой песок водится. Поехали... Места не показывал, а на Силантья, баклушника, навел.

– Ну? – спросил Колышкин смолкшего было Патапа Максимыча.

– Силантий и продал песок, – отвечал Патап Максимыч. – В лесу нарыл, говорит... И другие заверяли, что в лесу роют.

Кто эти другие, не сказал Патап Максимыч. Вертелся на губах отец Михаил, но как вспомнятся красноярские стерляди, почет, возданный в обители, молебный канон, баня липовая с калуфером – язык у Патапа Максимыча так и заморозит... «Возможно ль такого старца к пролазу Якимке приравнивать, к бездельнику Дюкову? – думал Патап Максимыч. – Обошли, плуты, честного игумна... Да нет, постой, погоди – выведу я вас на свежую воду!..»

– Все, кто тебя ни заверял, – одна плутовская ватага, – сказал наконец

Колышкин, – все одной шайки. Знаю этих воров – нагляделся на них в Сибири. Ловки добрых людей облапошивать: кого по миру пустят, а кого в поганое свое дело до той меры затянут, что пойдет после в казенных рудниках копать настоящее золото.

– Изловить бы их, – молвил Патап Максимыч.

– Ловить плутов – дело доброе, – заметил Колышкин. – Не одного, чай, облупили, на твоём только кошеле пришлось напороться... Целы теперь не уйдут...

– Не уйдут!.. Нет, с моей уды карасям не сорваться!.. Шалишь, кума, – не с той ноги плясать пошла, – говорил Патап Максимыч, ходя по комнате и потирая руки. – С меня не разживутся!.. Да нет, ты то посуди, Сергей Андреич, живу я, слава тебе Господи, и дела веду не первый год... А они со мной ровно с малым ребенком вздумали шутки шутить!.. Я ж им отшучу!..

– А ты, крестный, виду не подай, что разумеешь ихнюю плутню, – сказал Колышкин. – Улещай их да умасливай, а сам мани, как пташку на силоч. Да смотри – ловки ведь мошенники-то, как раз выюном из рук выскользнут. Вильнут хвостом, поминай как звали.

– Не сорвутся! – молвил Патап Максимыч. – Нет, не сорвутся! А как подумаешь про народ-от!.. – прибавил он, глубоко вздохнув и разваливаясь на диване. – Слабость-то какая по людям пошла!..

– На скорые прибитки стали падки, – ответил Колышкин. – А слышал ты, как ветлужские же плуты Максима Алексеича Зубкова обработали?.. Зубкова-то?

– Как не знать Максима Алексеича! – ответил Патап Максимыч. – Ума палата...

– Да денежка щербата, – перебил Колышкин. – Мягкую бумажку возлюбил – переводит... И огрели ж его ветлужские мастера – в остроге теперь сидит.

– Полно! Как так? – с удивлением спросил Патап Максимыч.

– Приходит к нему какой-то проходимец из вашего скита – Красноярский, никак, прозывается?

– Красноярский! – воскликнул Патап Максимыч. – Есть такой... Знаю тот скит... Что ж тако? – спрашивал он с нетерпением.

– Приходит к Зубкову из того скита молодой парень, – продолжал Колышкин. – О том, о сем они покалякали, знамо – темные дела разом не делаются. Под конец парень две сереньких Максиму Алексеичу показывает: «Купите, дескать, ваше степенство, дешево уступлю, по пятнадцати целковых казенными». Разгорелись глаза у Максима Алексеича – взял. Сбыл без сомнения. Да только сбыл, парень опять лезет с

серенькими, только дешевле двадцати пяти за каждую не берет. Максим Алексеич и эти взял – видит, товар хороший. Да для пущего уверенья понес одну в казначейство... Приняли... Он другую, и ту приняли... Максим Алексеич и остальные понес – все взяли. «Эка работа-то важнецкая, – думает, – да с такой работой можно поскорости миллион зашибить». Сам стал красноярского парня разыскивать, а тот как лист перед травой. «Такие дела, говорит, выпали, что надо беспрерывно на Низ съехать на долгое время, а у меня, говорит, на двадцать тысяч сереньких водится – не возьмете ли?» Максим Алексеич радехонек, да десять тысяч настоящими взамен и отсчитал... Да на первой же бумажке и попался – все фальшивые... Дело завязалось – обыск... Красноярские денежки сыскались у Зубкова в сундуке, а парня и след простыл – ищи его как ветра в поле... И сидит теперь Максим Алексеич в каменных палатах за железными дверями...

– Поди же вот тут! – молвил Патап Максимыч.

– Первы-то бумажки парень давал ему настоящие, – продолжал Кольшкин, – а как уверился Зубков, он и подсунул ему самодельщины... Вот каковы они, ветлужские-то!

Патап Максимыч задумался. «Как же так? – было у него на уме. – Отец-то Михаил чего смотрит?.. Морочат его, старца Божия!..»

– Да, избаловался народ, избаловался, – сказал он, покачивая головой. – Слабость да шатость по людям пошла – отца обмануть во грех не поставят.

– Навострились, крестный, навестились, – отозвался с усмешкой Кольшкин. – Всяк норовит на грош пятаков наменять.

– Ослепила корысть, – думчиво молвил Чапурин. – Ослепила она всех от большего до малого, от первого до последнего. Зависть на чужое добро свет кольцом обвила... Последни времена!

– Ну! Заговори с тобой, тотчас доберешься до антихриста, – сказал Кольшкин. – Каки последни времена?.. До нас люди жили не ангелы, и после нас не черти будут. Правда с кривдой спокон века одним колесом по миру катятся.

Замолчал Патап Максимыч, а сам все про отца Михаила размышляет. «Неужель и впрямь у него такие дела в скиту делаются!» Но Кольшкину даже имени игумна не помянул.

Воротясь на квартиру, Патап Максимыч нашел Дюкова на боковой. Измаявшись в дороге, молчаливый купец спал непробудным сном и такие храпы запускать по горнице, что соседи хотели уж посылать в полицию... Не скоро дотолкался его Патап Максимыч. Когда наконец Дюков



проснулся, Чапурин объявил ему, что песок оказался добротным.

– Как же теперь дело будет? – спросил, зевая во весь рот, Дюков.

– Как лажено, так и будет, – решил Патап Максимыч. – Получай три тысячи. «Куда ни шли три тысячи ассигнациями, – думал он, – а уж изловлю же я вас, мошенники!»

– Ладно, – отозвался Дюков, взял деньги, сунул в карман и, повернувшись на другой бок, захрапел пуще прежнего.

Вечером выехали из города. Отъехав верст двадцать, Патап Максимыч расстался с Дюковым. Молчаливый купец поехал восвояси, – а Патап Максимыч поспешил в Городец на субботний базар. Да надо еще было ему хозяйским глазом взглянуть, как готовят на пристани к погрузке «горянщину».

## **Часть вторая**

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Леса, что кроют песчаное Заволжье, прежде сплошным кряжем между реками Унжей и Вяткой тянулись далеко на север. Там соединялись с Устюжскими и Вычегодскими дебрями. В старые годы те лесные пространства были заселены только по южным окраинам – по раменям – вдоль левого берега Волги, да отчасти по берегам ее притоков: Линды, Керженца, Ветлуги, Кокшаги. По этим рекам изредка стояли деревушки, верстах на двадцати и больше одна от другой. Тамошний люд жил как отрезанный от остального крещеного мира. Церквей там вовсе почти не было, и русские люди своими дикими обычаями сходились с соседними звероловами, черемисой и вотяками; только языком и отличались от них. Детей крестили у них бабушки-повитухи, свадьбы-самокрутки венчали в лесу вокруг ракитова кустика, хоронились заволжане зря, где попало. «Жили в лесу, молились пенью, венчались вкруг ели, а черти им пели» – так говаривали московские люди про лесных обитателей Заволжского края...

Иной раз наезжали к ним хлыновские попы с Вятки, но те попы были самоставленники, сплошь да рядом венчали они не то что четвертые, шестые да седьмые браки, от живой жены или в близком родстве. «Молодец поп хлыновец за пару лаптей на родной матери обвенчает», – доселе гласит пословица про таких попов. Духовные власти не признавали их правильными и законными пастырями... Упрекая вятских попов в самочинии, московский митрополит говорил: «Не вемы како и нарицати вас и от кого имеете поставление и рукоположение».<sup>[110]</sup> Но попы хлыновцы знать не хотели Москвы: пользуясь отдаленностью своего края, они вели дела по-своему, не слушая митрополита и не справляясь ни с какими уставами и чиноположениями. Таким образом, почва для церковного раскола в заволжских лесах издавна приготовлена была. И нынешние старообрядцы того края такие же точно, что их предки – духовные чада наезжих попов хлыновцев. Очень усердны они к православию, свято почитают старые книги и обряды, но держатся самоставленных или беглых попов, знать не хотят наших архиереев. Архиереев и попов австрийской иерархии тоже знать не хотят.

Каков поп, таков и приход. Попы хлыновцы знать не хотели Москвы с ее митрополитом, их духовные чада – знать не хотели царских воевод, уклонялись от платежа податей, управлялись выборными, судили

самосудом, московским законам не подчинялись. Чуть являлся на краю леса посланец от воеводы или патриарший десятильник, они покидали дома и уходили в лесные тущобы, где не сыскали б их ни сам воевода, ни сам патриарх.

С XVII столетия в непроходимые заволжские дебри стали являться новые насельники. Остатки вольницы, что во времена самозванцев и лихолетья разбоем да грабежом исходили вдоль и поперек чуть не всю Русскую землю, находили здесь места безопасные, укрывавшие удалцов от припасенных для них кнутов и виселиц. Беглые холопы, пашенные крестьяне, не смогшие примириться с только что возникшим крепостным правом, отягощенные оброками и податями слобожане, лишенные промыслов посадские люди, беглые рейтары, драгуны, солдаты и иные ратные люди ненавистного им иноземного строя – все это валом валило за Волгу и ставило свои починки и заимки по таким местам, где до того времени человек ноги не накладывал. Смуты и войны XVII века в корень расшатали народное хозяйство; неизбежным последствием явилось множество людей, задолжавших в казну и частным людям. Им грозили правож или вековечное холопство; избегая того и другого, они тоже стремились в заволжские леса. Тогда-то и сложилась пословица: «Нечем платить долгу, дай пойду за Волгу».

Такова была закваска населения заволжских лесов, когда во второй половине XVII века явились туда новые насельники, бежавшие из сел и городов раскольники.

По скитским преданьям, начало старообрядских поселений в заволжских лесах началось чудесным образом. Во время «Соловецкого сиденья», когда царский воевода Мещеринов обложил возмутившихся старообрядцев в монастыре Зосимы и Савватия и не выпускал оттуда никого, древний старец инок-схимник Арсений дни и ночи проводил на молитве перед иконой Казанской Богородицы. И та икона была прежде комнатною царя Алексея и пожалована им в Соловки еще до патриаршества Никона. Накануне взятия монастыря царскою ратью истомился Арсений, стоя на молитве, задремал. И, будучи в тонком сне, слышал он глас от иконы: «Гряди за мною ничто же сумняся, и где я остановлюся, тамо поставь обитель, и пока икона моя будет в той обители, древнее благочестие будет в ней процветать». И видел Арсений, что икона Богородицы в выспрь поднялась и в небесной высоте исчезла... Проснулся инок-схимник, иконы на месте не было... На другой день взят был монастырь. «Соловецких сидельцев» в кандалах перевезли на матерую землю, и здесь Арсению удалось бежать из-под царского караула в леса.

Только что ступил он в лесную чащу, видит икону, перед которой молился; грядет та икона поверх леса на воздушных... Идет за нею изумленный и трепетный Арсений. Перед ним деревья расступаются, перед ним сохнут непроходимые болота, перед ним невидимая сила валежник врозь раскидывает. «Чудясь бывшему о нем», Арсений идет да идет за иконою. И стала та икона в лесах Чернораменских, неподалеку от починка Ларионова, на урочище Шарпан. И поставил тут Арсений первый скит.<sup>[111]</sup>

С легкой руки соловецкого выходца старообрядские скиты один за другим возникали в лесах Заволжья. Вскоре их появилось больше сотни в Черной рамени, в лесах Керженских, в лесах Рымских и за рекой Ветлугой.

В скитах селились старообрядцы разного звания. В первые десятилетия существования раскола от «Никоновых новшеств» бегали не одни крестьяне и посадские люди, не одни простые монахи и сельские попы. Уходили и люди знатных родов, из духовенства даже один архиерей сбежал в леса.<sup>[112]</sup> И в Черной рамени являлись знатные люди: из пределов смоленских бежали туда Салтыковы, Потемкины и другие. Основали они свой скит неподалеку от первоначального скита Шарпанского. Давно лесом поросло старинное жилье богатых и влиятельных старообрядцев; но остатки гряд, погребных ям, заросших бурьяном могил и двенадцать надгробных камней до сих пор видны на урочище, прозванном «Смольяны»... В XVII столетии в Комаровском скиту была основана обитель Бояркина, названа так оттого, что была основана княжной Болховской и первоначально вся состояла из боярышень. В ее часовне на венце иконы Спаса нерукотворенного до последнего времени висела александровская лента с орденом крестом: ее носил Лопухин, дядя основательницы обители... В Оленевском ските одна обитель была основана Анфисой Колычевой, родственницей святого Филиппа митрополита... Когда старый Улангерский скит в последних годах прошлого столетия сгорел от молнии, ударившей в пору необычайную, в самый крещенский сочельник, галицкая помещица Акулина Степановна Свечина со своею племянницей Феодосьей Федоровной Сухониной собрала разбежавшихся от ужаса матушек, привела их на речку Козленец и поставила тут доньше существующий Улангерский скит. Все скитские жители с умилением вспоминали, какое при «боярыне Степановне» в Улангере житие было тихое да стройное, да такое пространное, небоязное, что за раз у нее по двенадцати попов с Иргиза живало и полиция пальцем не смела их тронуть.<sup>[113]</sup>

Пребывание в некоторых обителях лиц из высших сословий, не

прекращавшееся со времен смоленских выходцев, а больше того тесные связи «матерей» с богатыми купцами столиц и больших городов возвышали те обители перед другими, куда поступали только бедные, хотя и грамотные крестьянки из окрестных селений. Такие обители считались как бы аристократическими, имели свои предания. Этих преданий крепко держались, и за их сохранением зорко смотрели настоятельницы и старшие матери. Вход в такие обители, даже в число работниц, «трудниц», не всем был доступен. Нужны были для того связи, чье-нибудь покровительство. Большею частью игуменьи и старшие матери наполняли такие обители близкими и дальними своими родственницами. Бедные обители и небольшие скиты не очень дружелюбно смотрели на эти «прегордые» общины, завидовали их богатству, связям и почету, которым ото всех они пользовались.

Спервоначально скиты керженские, чернораменные были учреждениями чисто религиозными, как и наши монастыри. Они служили убежищем, «не хотевшим новины Никоновы принять», но с течением времени, по мере того как религиозный фанатизм ослабевал в среде раскольников, скиты теряли первоначальный характер, превращаясь в рабочие общины с артельным хозяйством. На деле оказалось, что женские скиты были способней усвоить такое хозяйство, чем мужские. В женских твердо сохранялись и повиновение старшим и подчинение раз заведенным порядкам, тогда как в мужских своеволие, непокорность старшим и неподчинение артельным уставам в корень разрушали общинное устройство. По мере того как женские общежития умножались и год от году пополнялись, ряды скитников редели, обители их пустели и, если не переходили в руки женщин, разрушались сами собою, безо всякого вмешательства гражданской или духовной власти. Ко времени окончательного уничтожения керженских и чернораменных скитов<sup>[114]</sup> не оставалось ни одного мужского скита; были монахи, но они жили по деревням у родственников и знакомых или шатались из места в место, не имея постоянного пребывания. Искатели иноческих трудов и созерцательной жизни удалялись в лесные трущобы и там жили совершенными отшельниками в вырытых землянках, иные в срубленных кое-как старческими руками кельях. Но таких пустынников было очень немного.

Во всех общежительных женских скитах хозяйство шло впереди духовных подвигов. Правда, служба в часовнях и моленных отправлялась скитницами усердно и неопустительно, но она была только способом добывания денежных средств для хозяйства. Каждая скитская артель жила

подаваниями богатых старообрядцев, щедро даваемыми за то, чтобы «матери хорошенько молились». И матери добросовестно исполняли свои обязанности: неленостно отправляли часовенную службу, молясь о здравии «благодетелей», поминая их сродников за упокой, читая по покойникам псалтырь, исправляя сорочины, полусорочины, години и другие обычные поминовения. Под именем «канонниц», или «читалок», скитские артели отправляли в Москву и другие города молодых белиц к богатым одноверцам «стоять негасимую свечу», то есть день и ночь читать псалтырь по покойникам, «на месте их преставления», и учить грамоте малолетних детей в домах «христоробивых благодетелей». Отправляли по разным местам и сборщиц с книжками. Ежегодно к празднику Пасхи такие сборщицы съезжались в скит и привозили значительные суммы денег и целые воза с припасами разного рода и с другими вещами, нужными в хозяйстве.

В стенах общины каждый день, кроме праздников, работа кипела с утра до ночи. Пряли лен и шерсть, ткали новины, пестряди, сукна; занимались и белоручными работами: ткали шелковые пояски, лестовки, вышивали по канве шерстями, синелью и шелком, шили золотом, искусно переписывали разные тетради духовного содержания, писали даже иконы. Но никто на себя работать не смел, все поступало в общину и, по назначению настоятельницы, развозилось в подарки и на благословенье «благодетелям», а они сторицею за то отдаривали.

Главной распорядительницей работ и всего обительского хозяйства была игуменья. Ей помогали: уставщица, по часовенной службе и по всему, что касалось до религиозной части; казначея, у ней на руках было обительское имущество, деньги и всякого рода запасы, кроме съестных, — теми заведовала мать-келарь, в распоряжении которой была келарня, то есть поварня, столовая. Уставщица, казначея, келарь и еще три-четыре, иногда и больше старших матерей, называясь «соборными», составляли нечто вроде совета настоятельницы, решавшего обительские дела. При настоятельнице обыкновенно «ходила в ключах» особая инокиня, заведовавшая частным ее хозяйством, ибо игуменье дозволялось иметь частную собственность. Мать-ключница обыкновенно вела обительскую переписку и имела не последнее место в обительском совете — «соборе», как называли его. Иногда в ключницах бывали и белицы. Выбор ключницы зависел от одной игуменьи.

Таково было внутреннее устройство скитских обителей. Таково было устройство и в обители Манефиной, богатейшей и многолюднейшей из всех обителей Комаровского скита, стоявшего на Каменном Вражке.

В лесах Черной рамени, в верхотинах Линды, что пала в Волгу немного повыше Нижнего, среди лесов, промеж топких болот выдался сухой остров. Каменным Вражком зовут его.

В самом деле место тут каменистое. Белоснежным кварцевым песком и разноцветными гальками усыпаны отлогие берега речек, а на полях и по болотам там и сям торчат из земли огромные валуны гранита. То осколки Скандинавских гор, на плававших льдинах занесенные сюда в давние времена образования земной коры. За Волгой иное толкуют про эти каменные громады: последние-де русские богатыри, побив силу татарскую, похвалялись здесь бой держать с силой небесною и за гордыню оборочены в камни.

Еще недавно в Каменном Вражке стояло обширное селение; остатки его целы. С виду селение то не похоже было на окрестные деревеньки. Вокруг его хоть бы крохотная полоска пашни. Не сеяли, не жали в Каменном Вражке, а в каждом амбаре закромы круглый год ломились от насыпного хлеба. И золотая пшеница кубанка, и чистая рожь яранская, и отборное сызранское пшено, и крупная гречка, и тяжеловесный вятский овес доверха наполняли скитские сусеки. В клетях и чуланах тесно было от мешков с пушистою казанской крупчаткой, с разными солодами и крупами, тогда как спокон века ни в едином доме на Каменном Вражке ни сохи, ни бороны не бывало. В тамошних речонках, кроме рыбки-малявки, ничего не водилось, а в погребах засеченные в лед пересеки стаивали полным-полнехоньки с осетриной, с белужиной, с сибирскими рыбами: нельмой, муксунами и другими, а в кладовых бывали навешаны жирные донские балыки, толстые пуки визиги, вяленые судаки, лещи, сазаны. Никакого промысла на Каменном Вражке не бывало, ни завода, ни фабрики, а всякого добра водилось вдоволь. Люди там как в раю жили – никому не гребтелось, как концы с концами по хозяйству свести, откуда добыть деньгу – Богу на свечку, себе на рукавицы, на соль, на деготь, на ков, на привар да на штоф зелена вина, как гребтится мужику рядовому. Выдайся год дородный, выдайся год голодный, стой в межень на Волге десять четвертей, бреди через нее курица, на Каменном Вражке ни думушки нет, ни заботы: будет день, будет и пища.

Внутри околицы обширного селенья не было ни улицы, ни односторонки, ни курмышья. Обнесенные околицей жилые строения и разные службы были расположены кругом обширного двора, среди которого возвышалась часовня. Строения стояли задом наружу, лицом на внутренний двор. Такое расположение домов очень давнее: в старые годы русская община всегда так строилась; теперь редко где сохранился



круговой порядок стройки, все почти наши селенья как по струнке вытянулись в длинные улицы или односторонки. За Волгой и в северных лесных пространствах кое-где сохранились еще круговые поселения, напоминающие древнюю общинную жизнь предков. Таковы были и скиты.

На Каменном Вражке в последнее время было до двенадцати общин «обителей», стоявших отдельно. Между ними стояли избенки, где жили не принадлежавшие к общинам – «сиротами» звались они. Каждое сиротское строенье на свою сторону смотрело: избы, обычной деревенской постройки, то жались в кучу, то отделялись друг от друга и от обителей просторными пустырями, огородами, кладбищами. Пустыри покрыты были луговиной, на ней паслись гуси, куры и другие домашние птицы обительские, тут же стлали новины для беленья. В огородах, окружавших со всех почти сторон каждую обитель, много было гряд с овощами, подсолнечниками и маком, ни единого деревца: великорусс – прирожденный враг леса, его дело рубить, губить, жечь, но не садить деревья. Чуть ли не в одной Манефиной обители на кладбище и возле него росли березы, рябины и черемуха. Плодовых деревьев в скитах не бывало – за Волгой земля холодна, неродима, ни яблоков, ни вишен, ни груш не родится. Кладбища среди строений были и старые, запущенные, заросшие бурьяном, и новые, с покрытыми свежим дерном холмиками и с деревянными, почерневшими от дождей и снежных сугробов, столбиками, к которым прибиты медные кресты. Изредка попадались на тех кладбищах деревянные голубцы, еще реже надгробные камни.

Строенье в обителях на Каменном Вражке не похоже было ни на городское, ни на деревенское. Обыкновенно пять-шесть больших бревенчатых изб на высоких подклетах ставились одна вплоть к другой, либо отделенные одни от других тесовыми холодными сенями. Строены под одну кровлю, соединялись между собой сенями и крытыми переходами. Такое строенье называлось «стаей» и напоминало допетровские городские хоромы зажиточных людей. В каждой стае бывало по пяти, по шести, иногда до десяти теплых горниц, каждая с перегородками чистой столярной работы, иногда ольховыми, иногда ясеневыми. Вокруг по стенам каждой горницы стояли вделанные в стены широкие деревянные лавки, но в иных покоях бывали и диваны, и кресла, и стулья красного дерева, обитые шерстяною или шелковой материей. В переднем углу каждой горницы поставлена была деревянная божница с иконами и лампадами, под нею висела шелковая пелена с крестами из позумента. Светло, сухо, тепло было в тех горницах, а чистота и опрятность такая, что разве только домам Голландии можно было поспорить со

скитскими кельями.

Кроме теплых покоев, в каждой стае много бывало холодных сеней с темными чуланами и каморками, переходов, тайников. Внизу под жилыми покоем устроены были теплые повалуши, а под сенями глухие подклеты; наверху чердаки, теплые светелки и холодные летники, вышки и смотрильни, в которых под самую кровлей порублены были на все четыре стороны едва видные окошечки. Крыши делались обыкновенно в два теса со «скалой», [\[115\]](#) утверждались на застрехах и по большей части бывали с «полицами», то есть с небольшими переломами в виде полок для предупреждения сильного тока дождевой воды. Несколько высоких крылец и едва видных выходов окружали каждую стаю.

Две, три, иногда до десяти стай с разбросанными между ними избами обычной деревенской постройки, амбарами, погребами, житницами, с стоявшими одаль сараями, конюшнями, конным и скотным дворами, с примыкавшими к строению огородами, с одним или двумя кладбищами обносились особою изгородью или пряслами из дрючкового леса. Это составляло особую общину и называлось «обителью».

Несколько таких обителей составляли *скит*.

Часовни, сажень по пятнадцати в длину, по шести, по семи в вышину, строились на один лад: каждая составляла огромный четырехугольный бревенчатый, не обшитый тесом дом, с окнами в два, иногда в три ряда, под огромною крутою на два ската тесовою кровлей с крестом вместо конька и с обширною папертью, на которой возвышались небольшие колокольни, давно, впрочем, стоявшие без колоколов. Для призыва к часовенной службе запрещенные колокола заменялись «билами» и «клепалами», то есть повешенными на столбах досками, в которые колотили деревянными молотками. В обителях, не имевших часовен, внутри главной стаи устраивались обширные моленные. Это были те же часовни, но, так сказать, домашние, стоявшие в одной связи с кельями.

Вот что известно из скитских преданий про начало скита Комаровского и про обитель матери Манефы.

Вскоре после «Соловецкого сиденья» на Каменном Вражке поселился пришлый из города Торжка богатый старообрядец, по прозвищу Комар. По имени его и скит прозвали Комаровым. Сначала тут было четыре обители, к концу прошлого столетия было их до сорока, а жителей считалось до двух тысяч.

Долгое время, около ста лет, Комаровский скит на Каменном Вражке был незначительным скитом. В год московской чумы и зачала

старообрядских кладбищ в Москве – Рогожского и Преображенского<sup>[116]</sup> – зачалась слава скита Комаровского. В том году пришли на Каменный Вражек Игнатий Потемкин, Иона Курносый и Манефа Старая.

Еще при царе Алексее Михайловиче смоленские старообрядцы знатных родов, Сергей Салтыков, Спиридон и Ефим Потемкины и многие другие, переселились в Черную рамень, неподалеку от первоначального скита Шарпанского. Впоследствии родственница Сергея, Анна Ивановна, сделалась императрицей, а при Екатерине родственник Ефрема и Спиридона сделался великомощным князем Тавриды... Во времена силы Салтыковых в лесах заволжских не оставалось родичей Сергея, но Потемкины жилали в Черной рамени до дней князя Таврического. Там, сказывают скитские предания, жил старец Игнатий из рода Потемкиных, внук Спиридонова племянника. Был он смолоду на службе, воевал под начальством Миниха с турками и татарами, весь израненный удалился в Черную рамень «спасаться» и, будучи старообрядцем, постригся в иноки, с именем Игнатия. Когда родич его князь Потемкин возвысился, Игнатий поехал к нему в Петербург, показал какие-то бумаги, и «великолепный князь Тавриды» признал раскольникского инока своим родственником. С богатыми дарами щедрого фаворита воротился смиренный инок в леса заволжские и на Каменном Вражке, в Комаровском скиту, построил обитель, прозванную по имени его Игнатьевою. Впоследствии мужская обитель не устояла; подобно другим, и она сделалась женскою... До последнего времени существования скитов керженских и чернораменских хранилась память о том, будто старец Игнатий Потемкин, представленный своим родичем императрице Екатерине, получил какие-то письма императрицыной руки, на основании которых нельзя будто бы было никогда уничтожить заведенной им обители. По поводу этих мнимых писем была немалая молва во время уничтожения скитов в 1853 году... У настоятельницы Игнатьевой обители матери Александры требовали их, но она не могла ничего представить.

До того лет за двадцать, в первые годы елизаветинского царствования, поселилась в Комарове старая дева, княжна Болховская. Она основала обитель Бояркиных, составленную первоначально из бедных дворянок и из их крепостных женщин. На родовой, древнего письма, иконе Спаса нерукотворенного повесила княжна орден Александра Невского, принадлежавший дяде ее, сосланному в Сибирь, Лопухину.

Потемкин!.. Княжна!.. Обитель Бояркина!.. Александровский орден!.. Эти слова имели сильное обаяние на раскольников... Со всех сторон текли новые насельники и еще более новые насельницы на Каменный Вражек. И

с тех пор Комаров скит стал расти, прочим же скитам оставалось молиться.

В числе знаменитых пришельцев был многоначитанный старец Иона, по прозванию Курносый, пришедший из Зауралья, с заводов демидовских, убажываемый и доселе старообрядцами за ревность вере, за писания в пользу старообрядства и за строгую жизнь. Имя его не осталось бесследным в истории русского раскола. Этот Иона был одним из замечательнейших людей московского старообрядского собора 1779 года, утвердившего «перемазыванье» приходящих от великороссийской церкви. Его считают праведным. В давно запустелой и развалившейся обители Иониной, стоявшей рядом с Игнатьевою, цела еще могила его, осененная огромною елью. «Ионина ель» – предмет почитания старообрядцев: ствол ее чуть не весь изгрызен. Страдающие зубной болью приходят сюда, молятся за умершего или умершему и грызут растущее над могилой его дерево в чаянии исцеления. И верующие, как сказывают, исцелевают.

Тогда же пришла на Каменный Вражек Манефа Старая. Была она из купеческого рода Осокиных, города Балахны, богатых купцов, имевших суконную фабрику в Казани и медеплавильные заводы на отрогах Урала. Управляющие демидовскими заводами на Урале были ей также свойственники. Когда Осокины стали дворянами, откинулись они от скита раскольничьего, обитель обедняла, и обитель Осокиных прозвалась обителью Рассохиных. Бедна и скудна была, милостями матери Манефы только и держалась.

Эти насельники возвысили Комаровский скит перед другими. Разнеслась о нем слава по всем местам, от Петербурга до Сибири и Кубани, и в обители его отовсюду полились щедрые даяния «благодетелей». Но самую богатую, самую знатную обителью стала обитель Манефы Новой, оттого, что в ней прочно основано было общежительство, строги были уставы общины и не видано, не слыхано было про какие-нибудь от них отступления. По имени настоятельницы называлась она «Манефиной» и своим благосостоянием обязана была целому ряду домовитых, бережливых, распорядительных игуменей, следовавших одна за другой в продолжение целого почти столетия.

Но не одна домовитость, не одна бережливость были источниками богатств, скопленных в Манефиной обители в первые годы ее существования. Прежние игуменьи, особенно мать Назарета, обогащали обитель свою иными способами.

Шарташ, Уктус, пустыни Висимских лесов<sup>[117]</sup> были в постоянных сношениях с ними. Во время оно нередко приходили оттуда на Каменный Вражек возы с сибирскими осетрами и с коровьим маслом. Потрошила тех

осетров и перетапливала масло всегда сама Манефа Старая, и никого тогда при ней не бывало, а когда померла она, преемница ее игуменья Назарета принялась за то же дело. Хотя ни та, ни другая об алхимии не слыхивали, но из осетровых потрохов и подонков растопленного масла умели добывать чистое золото. Делом тем занимались они в подземелье, куда уходили через тайник, устроенный в игуменской стаяе... Назарета была уже в преклонных летах, когда настал французский год. Рассказывали, что в ту страшную пору купцы, бежавшие из Москвы от неприятеля, привезли Назарете много всяких сокровищ и всякой святыни, привезли будто они то добро на пятистах возах, и Назарета самое ценное спрятала в таинственное подземелье, куда только перед большими праздниками одна спускалась и пробывала там по двое, по трое суток. Всем это было на удивление. Как ни пытались обительские матери разведать тайну игуменьи, никто разведать не мог. Как ни спрашивали ее, как у ней ни допытывались, молчит, бывало, строгая старица, отмалчивается богомольница, никому своей тайны не поведавая. Много было зависти оттого по другим обителям и по малым скитам. Пошла недобрая молва про матушку Назарету Комаровскую... В своей-то обители толковали, что она чересчур скупа, что у ней в подземелье деньги зарыты и ходит она туда перед праздниками казну считать, а за стенами обители говорили, что мать Назарета просто-напросто запоем пьет и, как на нее придет время, с бочонком отправляется в подземелье и сидит там, покаместь не усидит его. Много и других нехороших сплетен плели про мать Назарету... Меж тем французы ушли из Москвы, купцы уехали из скита, но пожитки оставили у Назареты до лета, чтоб взять их, когда отстроят погорелые дома в Москве. Вскоре после Пасхи Назарета умерла и благословила быть в обители настоятельницей своей племяннице Вере Иевлевне, с тем чтоб она постриглась. Хотя молода была Вера Иевлевна, тридцати лет тогда ей не минуло, но все у одра умиравшей Назареты согласились быть под ее началом. Хотелось тем угодить Назарете, очень ее уважая, а вместе с тем и то у матерей на уме было: уйдет Вера из обители, теткины богатства с собою унесет, а останется, так все с ней в обители останется... В самый смертный час подозвала мать Назарета Веру Иевлевну, велела ей вынуть из подголовка ключ от подземелья и взяла с нее зарок со страшным заклятьем самой туда ходить, но других никого не пускать. «Там найдешь бумагу, в ней все написано», – сказала умиравшая, и это были последние слова ее... Когда Вера, схоронив тетку, в первый раз спустилась в подземелье, воротилась от страха полумертвая, но потом, однако же, чаще и чаще стала туда похаживать... Зачали говорить ей матери: «Вера Иевлевна, не пора ль тебе,

матушка, ангельский чин воспринять, черную рясу надеть, чтобы быть настоящей игуменьей по благословению покойницы матушки». Но Вера Иевлевна неделю за неделей откладывала, и так прошло месяца с три... И случился тут соблазн, какого не бывало в скитах керженских, чернораменских с тех пор, как зачинались они... Молодая настоятельница ушла в подземелье и несколько дней не возвращалась... Ждут, пождут ее, с неделю времени прошло, слышат, что Вера повенчана в Пучеже с купеческим сыном Гудковым, и повенчана-то в православной церкви... Прямо из-под венца она уехала с мужем в Москву... Выбрали матери новую настоятельница, мать Екатерину, ту самую, при которой Манефа Чапурина в обитель вступила. Когда Екатерина, несколько дней погодя, вместе со старшими матерями через тайник спустились в подземелье, кроме пустых сундуков, там ничего не нашли... В углу подземелья была отыскана дверь, отворили ее, а там ход. Пошли тем ходом: шли, шли и вышли в лес, на самое дно Каменного Вражка... Матери перепугались, исправник, мол, узнает, беда; зарыли и ход и подземелье. И только что кончили это дело, на другой же день, Бог знает отчего, загорелась келья матери Назареты, и стая сгорела дотла... Приехали купцы из Москвы за своим добром. Что в обительских кладовых было спрятано, получили обратно, но золото, серебро, жемчуги и другие драгоценные вещи так и пропали. Зато муж Веры Иевлевны переехал в Петербург, богачом сделался... коммерции советник, в орденах, знатные люди у него обедывали... Но чужое добро впрок нейдет: салом на бирже большие дела делал, но прогорел, сам умер в недостатках, дети чуть не по миру ходили.

Темная история Веры Иевлевны не повредила Манефиной обители. Мать Екатерина, умная и строгая женщина, сумела поддержать былую славу ее. Ни с Москвой, ни с Казанью, ни с уральскими заводами связи не были ею порваны. Правда, к матери Екатерине не привозили осетров и масла с золотом, а из Москвы именитые купцы перестали наезжать за добытым в скитском подземелье песочком, но подаяния не оскудевали, новая игуменья с нужными людьми ладить умела.

Мать Манефа была вся в свою предшественницу Екатерину. Обитель при ней процветала.

Она считалась лучшей обителью не только во всем Комарове, но и по всем скитам керженским, чернораменским. Среди ее, на широкой поляне, возвышалась почерневшая от долгих годов часовня с темной, поросшей белесоватым мхом кровлей. До трех тысяч икон местных, средних и штилистовых стояли в большом и в двух малых придельных иконостасах, а также на полках по всем стенам часовни. В середине большого

пятиярусного иконостаса, поставленного у задней стены на возвышенной солее, находились древние царские двери замечательной резьбы; по сторонам их стояли местные иконы в серебряных ризах с подвешенными пеленами, парчовыми или бархатными, расшитыми золотом, украшенными жемчугом и серебряными дробницами. Перед ними ставлены были огромные серебряные подсвечники с пудовыми свечами. Древний деисус с ликами апостолов, пророков и праотцев возвышался на вызолоченном тябле старинной искусной резьбы. С потолка спускалось несколько паникадил с прорезными золочеными яблоками, с серебряными перьями, с репьями и витыми усами. Малые образа древней иконописи, расставленные по полкам, были украшены ризами обронного, сканого и басменного дела с жемчужными цатами и ряснами.<sup>[118]</sup> Тут были иконы новгородского пошиба, иконы строгановских писем первого и второго, иконы фряжской работы царских кормовых зографов Симона Ушакова, Николы Павловца и других. Все это когда-то хранилось в старых церквах и монастырях или составляло заветную родовую святыню знатных людей допетровского времени. Доброхотные датели и невежественные настоятели, ревнуя не по разуму о благолепии дома Божия, заменяли в своих церквах драгоценную старину живописными иконами и утварью в так называемом новом вкусе. Напудренные внуки бородатых бояр сбывали лежавшее в их кладовых дедовское благословение как ненужный хлам и на вырученные деньги покупали севрского фарфора, парижских гобеленов, редкостных табакерок и породистых рысаков или растранижировали их с заморскими любовницами. Старообрядцы, не жалея денег, спасали от истребления неоцененные сокровища родной старины, собирая их в свои дома и часовни. Немало таких сокровищ хранилось в обители матери Манефы. Были тут и комнатные иконы старых царей, и наследственные святыни знатных допетровских родов, и драгоценные рукописи, и всякого рода древняя церковная и домашняя утварь.

Вкруг часовни были расположены обительские стаи. Та, что стояла прямо против часовенной паперти, была и выше и обширней других. Здесь жила сама игуменья со своими наперсницами. Из этой стаи выдавалась вперед большая пятистенная<sup>[119]</sup> ее келья, с пятью окнами на лицо, по два на каждой боковой стене. С одной стороны в келью вело высокое, широкое крыльцо под навесом, с другой был маленький выход из подклета. Над самой игуменьиной кельей возвышалась светлица в виде теремка, с двумя окнами, убранными вокруг резным узорочьем. Здесь в летнее время жила племянница матушки Манефы и Дуня, дочь богатого купца, рыбного



торговца Смолокурова, когда они воспитывались в ее обители.

Поближе к часовне стоял небольшой новенький деревянный домик, вовсе не похожий на скитские. Он был строен по-городскому. Пять больших лицевых окон этого домика с бемскими стеклами и блестящим медным прибором весело глядели на сумрачную обитель. Сквозь стекла виднелись шелковые занавески с аграмантом, клетки с канарейками, горшки с цветами. Домик обшит был тесом, выкрашенным в дикую краску, крыша железная ярко-зеленого цвета. Перед окнами невысоким решетчатым забором огорожен был палисадник, занесенный теперь сугробом, из которого поднималось десятка полтора обверченных в кошмы и рогожи молодых деревьев. В том уютном домике жила двадцатисемилетняя бездетная вдова из богатого купеческого дома, Марья Гавриловна Масляникова. Овдовев, поселилась она у Манефы в обители, не вступая в общежительство. Дом построила на свой счет и жила в нем своим хозяйством. Ее все любили, уважали за строгую жизнь и доброту, а еще больше за богатство.

Неподалеку от игуменьиной стаи стояла обширная, почерневшая от времени изба, на высоком подклете, но без светлиц и повалуш. Это келарня. Тут была общая обительская трапеза, стряпущая и кладовая с разными запасами. Рядом с келарней стояли погреба. В трапезе на темных бревенчатых стенах повешены были иконы с горевшими перед ними лампадами, от входа до самых почти передних окон в три ряда поставлены были длинные столы, вокруг них переметные скамьи. Здесь не только могли обедать все жительницы Манефиной обители, — а было их до сотни, — доставало места и посторонним, приходившим из деревень на богомолье или погостить у гостеприимных матерей и послаще поесть за иноческой трапезой. В переднем конце среднего стола стояли старинные кресла, обитые побуревшею от времени, бывшею когда-то черной, кожей с медными гвоздиками. Перед креслами на столе стояла кандия с крестом на верхушке. В переднем углу келарни, под киотом с иконами, лежало несколько книг в старых черных переплетах, стояли кацея и ладанница.<sup>[120]</sup> Перед образами стоял складной кожаный налой, за ним во время трапезы читали положенное уставом на тот день поучение или житие святого, память которого в тот день праздновалась.

Келарня служила и сборным местом жительниц обители. Сюда сходились старшие матери на сборы для совещаний о хозяйственных делах, для раздачи по рукам денежной милостыни, присылаемой благодетелями; здесь на общем сходе игуменья с казначеей учитывала сборщиц и канонниц, возвращавшихся из поездок; сюда сбегались урвавшиеся от



«трудов» белицы промеж себя поболтать, здесь же бывали по зимним вечерам супрядки. С гребнями, с прялками, с пяльцами, с разным шитьем и всяким рукодельем после вечерен белицы и инокини, которые помоложе, работали вместе вплоть до ужина под надзором матушки-келаря. На супрядки прихаживали девицы и из других обителей. Поэтому обители чередовались супрядками: в одну сбирались по понедельникам, в другую по вторникам, кроме субботы и канунов праздничных дней. В Манефиной келарне супрядки по четвергам бывали.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В один из таких четвергов, незадого перед масленицей, собралось белиц до двадцати. Тут были и свои, и гости от Бояркиных, от Жжениных и других обителей. Рядами сидели они по скамьям. Кто за пальцами, кто за кружевной подушкой, а кто за гребнем, другие, отложив работу к сторонке, весело пересмеивались с подругами. Маленькая, юркая старушка, с выразительными черными глазками, со следами былой красоты, взад и вперед бродила по келарне и напрасно старалась унять разболтавшихся белиц от веселых криков и хохота. Это была мать Виринея, келарь обители. Как ни хотелось старушке положить конец «мирской», «греховной» беседе, как ни хлопотала она, ходя вокруг молодых девушек, – все было напрасно. Слушать ее никто не хотел. Не скупилась мать Виринея ни на брань, ни на угрозы, но это девицам было как к стенке горох. Знали они, что добродушная, любящая всех и каждого мать Виринея поворчит, поворчит, да тем дело и кончит.

– Искушение с вами, девицы, беда, да и только, – бранилась она. – Эти ваши беседы, эти ваши супрядки – просто Господне наказание. Чем бы из Пролога что почитать аль песню духовную спеть, у вас на уме только смешки да баловство. Этакие вы непутные, этакие бесстыжие!.. погоди, погоди вот, придет матушка, все ей доложу, все доложу, бесстыдницы вы этакие!.. Слышь, говорю, замолчите!.. Оглохли, что ль? – крикнула она наконец, топнув ногой.

Смолкли девицы, но шушуканье вполголоса не прекращалось.

– Завтра что? Какого святого? – спрашивала мать Виринея, дергая за рукав белицу Евдокеюшку, свою племянницу, жившую при ней в келарне.

– Преподобного отца нашего Ефрема Сирина, – глухо отвечала молчаливая и всегда, на общем даже веселье, сумрачная Евдокеюшка.

– Так, Ефрема Сирина, – продолжала мать Виринея. – А знаете ли вы, срамницы, что это за святой, знаете ли, что на святую память его делать надобно?

– Домового закармливать, – бойко отвечала красивая, пышущая здоровьем и силой Марьюшка, головщица правого клироса, после Фленушки первая баловница всей обители. На руках ее носили и старые матери и молодые белицы за чудный голос. Подобного ему не было по всем скитам керженским, чернораменским.

На слова Марьюшки девицы покатались со смеху.

– Что-о-о?.. Что ты сказала? – быстро подходя к ней, закричала мать Вириная.

– На Ефрема Сирина по деревням домового закармливают, каши ему на загнеток кладут, чтобы добрый был весь год, – отвечала Марья, смеясь в глаза Виринае.

Пуще прежнего захохотали девицы.

– А вот я тебя за такие слова на поклоны поставлю, – вскричала мать Вириная, – да недели две, oprичь черствой корки, ты у меня в келарне ничего не увидишь!.. Во святой обители про идольские басни говорить!.. А!.. Вот постой ты у меня, непутная, погоди, дай только матушке Манефе приехать... Посидишь у меня в темном чулане, посидишь!.. Все скажу, все.

– Ну и посижу, – бойко отвечала Марья. – Эка беда?.. А кто на клиросе-то будет запевы запевать? Ты, что ли, козьим своим голосом?..

– А вот я гребень-то из донца выну да бока-то тебе наломаю, так ты у меня не то что козой, коровой заревешь... С глаз моих долой, бесстыжая!.. Чтобы духом твоим в келарне не пахло!.. Чтобы глаза мои на тебя, бесстыжую девчонку, не глядели!..

– Ну и пойду, – смеясь, отвечала Марья, накидывая на голову большой ковровый платок. – Ну и пойду... Благодарим покорно за угощение, матушка Вириная, – низко поклонившись, прибавила она и, припрыгивая, побежала к двери.

– Постой, постой, Марьюшка, погоди, не уходи, – ласково заговорила вслед уходившей добродушная Вириная. – Ну полно, девка, дурить, – образумься... Ах ты, озорная!.. Гляди-ка!.. Ну, клади поклоны – давай прощаться.

– Аль уж в самом деле попрощаться с матушкой-то? – смеясь, молвила, обращаясь к подругам, головщица и, приняв степенный вид, стала перед образами класть земные поклоны, творя вполголоса обычную молитву прощения. Кончив ее, Марьюшка обратилась к матушке Виринае, чинно сотворила перед нею два уставные «метания», проговоривши вполголоса:

– Матушка, прости меня, грешную, в чем перед тобой согрешила... Матушка, благослови.

– Бог простит, Бог благословит, – чинно ответила мать Вириная.

Напущенного гнева на лице мягкосердой старушки как не бывало. Добродушно положив руку на плечо озорной головщицы, а другою поглаживая ее по голове, кротко, ласкающим, даже заискивающим голосом спросила ее:

– Скажи же, Марьюшка, скажи, голубушка, потешь меня, скажи про святого отца нашего Ефрема Сирина. Чем он Господу угодил?.. А?.. Скажи,

моя девонька, скажи, умница.

– Святые книги писал, матушка, о пустынном житии, об антихристе, о последних временах, – скромно опустив глаза, отвечала шаловливая головщица.

– То-то, дева, – вздохнув, сказала мать Виринея и, сев на скамью, склонила щеку на руку. – То-то, родная моя, о пустынном житии писал преподобный Ефрем, как в последние дни от антихриста станут люди бегать в дебри и пустыни, хорониться в вертепы и пропасти земные. Про наше время, девонька, про нас писал преподобный. Хоть мы и на каждый час грешим перед Господом, хоть и нет на свете грешников паче нас, но по вере мы чисты и непорочны, а по благочестию нет на свете первее нас. За веру и благочестие чаем и грехов отпущения и вечная жизни в селениях праведных... Ведь и мы, бегая сетей антихристовых, зашли в сии леса и пустыни, все как есть по слову преподобного Ефрема. Потому и надо нам почитать святую его память... Так-то, девоньки, так-то, разумницы!.. Вот и вы бы почитали от книг преподобного Ефрема Сирина, а я бы, старуха, послушала... Подай-ка мочку, Евдокеюшка, – промолвила мать Виринея, обращаясь к племяннице и садясь за гребень. – Так-то, мои ластовицы, – продолжала она, быстро вертя веретеном, – так-то, разумницы. Чем смехотворничать да празднословить, вы бы о душах-то своих подумали... О грехах надо помышлять, девушки, сердцем к молитве гореть, вражеских сетей беречься. А вам все смешки да шутки. Нехорошо это, голубушки вы мои, больно нехорошо. Не живут так во святых обителях. Того разве не знаете, что смех наводит грех? От малого небрежения в великие грехопадения не токмо мы, грешницы, но и великие подвижники, строгие постники, святые праведные частехонько впадали... О, о, ох, ох, ох!... Грехи-то наши, грехи тяжкие!.. А вы, девушки, не забыв Бога живите, не буянно поступайте... Да ты, Устинья, что это выдумала?.. Опять хохотать!.. В Москве, что ли, научилась? Смотри у меня!

– Да я ничего, матушка, – молвила, едва сдерживая смех, молоденькая канонница, только что воротившаяся из Москвы, где у богатых купцов читала «негасимую» по покойникам да учила по часослову хозяйских ребятишек.

– То-то ничего! Сама гресишь и других на грех наводишь... Ох, девоньки, девоньки, что-то глазыньки у меня слипаются, – прибавила мать Виринея, кладя веретено и зевая, – хоть бы спели что-нибудь, а то скучно что-то.

– Мы тотчас, матушка, – лукаво подхватила Марья головщица и, переглянувшись с подругами, начала с ними:

Не свивайся, не свивайся трава с повиликой,  
Не свыкайся, не свыкайся молодец с девицей,  
Хорошо было свыкаться, тошно расставаться.

– Ох, искушение!.. Ах вы, беспутные!.. Очумели вы, девицы, аль с ума спятили? – в источник голос кричала мать Виринея, изо всей силы стуча по столу кленовым гребнем. – Да перестаньте же, бесстыжие, перестаньте, непутные!.. Сейчас у меня перестаньте, не то возьму кочергу да всех из келарни вон.

Насилу-насилу добила старушка, чтоб смолкла песня греховная. Зато шутливая болтовня и веселый хохот поднялись пуще прежнего. Повскакали девицы из-за работы, и пошла у них такая возня, что хоть святых вон неси.

Устала мать Виринея. Задыхаясь, села на лавку, опустила руки на колена.

– Ах вы, бесстыжие! – изнемогая, ворчала она. – Ах вы, разбойницы! Уморили меня, старуху... Услышит Марья Гавриловна, что тогда будет?.. Что про вас подумает?.. А?.. Погодите у меня, дайте срок: все матушке Манефе скажу, все, все... Задаст она вам, непутные!.. Заморит на поклонах да в темных чуланах...

Нашалившись досыта, усталые девицы, через силу переводя дух, расселись по лавкам, где кто попало. Пристают к Виринее:

– Матушка, не сердись! Преложи гнев на милость!.. Мы ведь только маленько... Прости, Христа ради... Да пожалуйста, матушка... Мы тебе хорошую песню споем, духовную.

Так говорили девицы, перебивая друг дружку и ласкаясь к матери Виринее.

– Ах вы, злодейки, злодейки!.. Совсем вы меня измучили... Бога вы не боитесь. Совести нет у вас в глазах... Что вы, деревенские, что ли, мирские?.. Ах вы, греховодницы, греховодницы!..

И голос Виринеи все мягче и мягче становился; не прошло трех-четырех минут, обычным добродушным голосом говорила она пристававшим к ней девицам:

– Полно же, полно... Ну, Бог простит... Спойте же хорошее что-нибудь... Живете в обители, грех беса тешить греховными бесстыдными песнями.

Марья головщица сильным грудным голосом завела унылую скитскую песню. Другие белицы дружно покрыли ее хором:

Воззримте мы, людие, на сосновы гробы,  
На наши превечные дома,  
О, житие наше маловременное!  
О, слава, богатство суетное!

И слезы убожества и гордость завистная  
На сем вольном свете все минет.

Бог нам дает много, а нам-то все мало,  
Не можем мы, людие, ничем ся наполнить!  
И ляжем мы в гробы, прижмем руки к сердцу,  
Души наши пойдут по делам своим,  
Кости наши пойдут по земле на предание,  
Тела наши пойдут червям на съедение,  
А богатство, гордость, слава куда пойдут?

Покинем же гордость,  
Возлюбим мы кротость,  
За всех потрудимся  
И тем себе купим  
Небесное царство.

Стихли уныло-величавые звуки песни о смертном часе, и дума хмарой подернула веселые лица. Никто ни слова. Мать Виринея, облокотясь руками и закрыв лицо, сидела у края стола. Только и слышна была неустанная, однообразная песня сверчка, приютившегося за огромною келарскою печкой.

– Спаси вас Господи, родненькие! – подымая голову, дрожащим сквозь слезы голосом говорила мать Виринея. – Ну вот так и хорошо, вот так и прекрасно... Теперь и ангелы Божии прилетели на нашу беседу да, глядя на вас, радуются... Как дым отгоняет пчелы, так бесчинные беседы и бесстыдные песни ангелов Божиих отгоняют. Отходящим же им приходит бес темен, сея свой злосмрадный дым посредине беседующих. Слышания же чтения и песен духовных враг стерпети не может, далече бежит от бесед благочестивых. Так-то, девоньки!.. Нуте-ка, пойте еще, красавицы, утешьте старуху... Зачинай-ка, Марьюшка!

Началась новая песня:

Ах, увы, беда,  
Приходит чреда,  
Не вем, когда  
Отсель возьмут куда...  
Боюсь Страшного суда,  
И где явлюсь я тогда?..

Плоть-то моя немощна,  
А душа вельми грешна.  
Ты же... смерти, безобразна и страшна!..

Образом своим страшишь,  
Скоро ты ко мне спешишь,  
Скрыты твои трубы и коса,  
Ходишь всюду нага и боса.

О, смерти! Нет от тя обороны —  
И у царей отъемлешь ты короны,  
Со архиереи и вельможи не медлишь,  
Даров и посулов не приемлешь;  
Скоро и мою ты хочешь душу взять  
И на страшный суд Богу отдать.

О люте в тот час и горце возопию.  
Когда воззрю на грозного судию.

В глубокое умиление пришла мать Виринея. Лицо ее, выражавшее душевную простоту и прямоту, сияло теперь внутренним ощущением сладостной жалости, радостного смирения, умильного, сердечного сокрушенья.

— Касатушки вы мои!.. Милые вы мои девчурочки!.. — тихонько говорила она любовно и доверчиво окружавшим ее девицам. — Живите-ка, голубки, по-Божески, пуще всего никого не обидьте, ссор да свары ни с кем не заводите, всякому человеку добро творите — не страшон тогда будет смертный час, оттого что любовь все грехи покрывает.

В порыве доброго, хорошего чувства ласкались девицы к доброй Виринее. Озорная Марьюшка прильнула губами к морщинистой руке ее и кропила ее слезами.

Резкий скрип полозьев у окна послышался.

Все подняли головы, стали оглядываться.

– Взгляни-ка, Евдокеюшка, – молвила племяннице мать Виринея. – Кого Бог принес? Кой грех, не из судейских ли?

Накинув на голову шубейку, вышла Евдокеюшка из келарни и тотчас воротилась.

– Матушка приехала! – воскликнула она.

– Ну, слава Богу! Насилу-то, – сказала, вставая со скамьи, мать Виринея. – Идти было к ней. Здорова ли-то приехала?

Поспешно стали разбирать свои рукоделья девицы и скоро одна за другой разошлись. В келарне осталась одна Евдокеюшка и стала расставлять по столам чашки и блюда для подоспевшей ужины...

В игуменской келье за перегородкой сидела мать Манефа на теплой изразцовой лежанке, медленно развязывая и снимая с себя платки и платочки, наварченные на ее шею. Рядом, заложив руки за спину и грея ладони о жарко натопленную печь, стояла ее наперсница, Фленушка, и потопывала об пол озябшими ногами. Перед игуменьей с радостными лицами стояли: мать София, ходившая у нее в ключах, да мать Виринея. Прежде других матерей прибежала она в заячьей шубейке внакидку встретить приехавшую мать-настоятельницу. Дверь в келью то и дело отворялась, и морозный воздух клубами белого пара каждый раз врывался в жарко натопленную келью. Здоровенная Анафролия, воротившаяся с игуменьей из Осиповки, да еще две келейные работницы, Минодора да Наталья, втаскивали пожитки приехавших, вместе с ними узлы, мешки, кадочки, ставешки с гостинцами Патапа Максимыча и его домочадцев. Одна за другой приходили старшие обительские матери здороваться с игуменьей: пришла казначея, степенная, умная мать Таифа, пришла уставщица, строгая, сумрачная мать Аркадия, пришли большого образа соборные старицы: мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталия. Каждая при входе молилась иконам, каждая прощалась и благословлялась у игуменьи, спрашивая об ее спасении – все по чину, по уставу... Вскоре боковуша за перегородкой наполнилась старицами.

– Да скоро ль вы переносите? – хлопотала Виринея около Анафролии и келейных работниц. – Совсем келью-то выстудили. Матушка и без того с дороги иззябла, а вы тут еще валандаетесь... Иное бы что и в сенях покинули.

– Истоплено хорошо, – вступилась мать София. – Перед вечерней печи-то только скутаны, боюсь разве – не угарно ли.



– Угару нет, кажись, – заметила мать Виринея, – а ты бы, матушка София, чайку поскорей собрала. Самоварчик-то у тебя поставлен ли?

– Как не поставлен? – отвечала мать София. – Поди, чай, кипит.

И, выйдя в сени, сама притащила в келью шипящий «самоварчик» ведра в полтора...

– Ну как вы, матушка, время проводили? Все ль подобиру-поздорову? – сладеньким, заискивающим голосом спрашивала казначея мать Таифа едва отогревшуюся на горячей лежанке игуменью.

– Не больно крепко здоровалось, – разбитым голосом отвечала Манефа.

– Что ж так, матушка? – спросила Таифа. – Чем недомогали? Поясница, что ли, опять?

– Головушку разломило. Известно: дело мирское – суета, содом с утра до ночи, – говорила Манефа.

– Много, чай, гостей-то понаехало на именины? – спросила уставщица мать Аркадия.

– Было довольно всяких гостей, – сухо ответила ей мать Манефа.

– Из городу, поди, наехали? Купцы были? – спросила мать Никанора.

– И из городу были, и из деревень были, и купцы были: всякие были. Да ну их – Господь с ними. Вы-то как без меня поживали? – спросила Манефа.

– Благодарение Господу. За вашими святыми молитвами все было хорошо и спокойно, – сказала уставщица Аркадия. – Службу каждодневно справляли как следует. На преподобную Ксению, по твоему приказу, утренне бдение с полиелеем стояли. Пели канон преподобным общий на два лика с катавасиями.

– С которого часа зачали службу? – спросила игуменья.

– В два часа за полночь велела я в било ударить, – отвечала мать Аркадия. – Когда собрались, когда что – в половине третьего пение зачали. А пели, матушка, утреню по минеи. У местных образов новы налепы горели, что к Рождеству были ставлены, паникадила через свечу зажигали.

– А на трапезе, – подхватила мать Виринея, – ставлено было четыре яствы: капуста с осетриной да с белужиной, да щи с головизной, да к ним пироги с визигой да с семгой, что от Филатовых прислана была еще до вашего, матушка, отъезда, да лещи были жареные, да пшенники с молоком. Браги и квасу сыченого на трапезу тоже ставили. А на вечера три яствы горячих подавали.

– А трудники в тот день дела не делали, – прибавила казначея Таифа.

– А на утрое, на Григория Богослова, тоже с полиелеем служба была,

икону святителя, строгановского письма, на поклон становили, – докладывала уставщица.

– Бог вас спасет, матери, – поклонясь, молвила игуменья. – Добро, что порядок блюли и Божию службу справляли как следует. А что Марья Гавриловна, здорова ли? – осведомилась мать Манефа.

– Здорова, матушка, слава Богу, – отвечала Таифа. – В часовне у служб бывала и у часов и к повечерию. К утрене-то ленивенька вставать, разве только что в праздники.

– Ее дело, – строго заметила Манефа. – А ты бывала ль у нее в дому-то?

– Как же, матушка, раза три ходила, – отвечала казначея, – да вот и мать Аркадия к ней захаживала, а Марьюшку так почти каждый день Марья Гавриловна к себе призывала.

– Не слыхали ль чего, не гневается ли она на Патапа Максимыча? – обращаясь ко всем, спросила мать Манефа. – За хлопотами совсем позабыл к ней письмо отписать, в гости позвать ее... Уж так он кручинится, так кручинится...

– Нет, матушка, кажись, ничего не заметно, чтобы гневалась на кого Марья Гавриловна, – молвила мать Таифа.

Аркадия подтвердила слова казначеи.

– Какой гнев, матушка! – подхватила Марья головщица. – Сколько раз она со мной и Настеньку с Парашей, и Патапа Максимыча поминала, и все таково любовно да приятно.

– Завтра после часов надо сходить к ней, повидаться, гостинцы снести, – озабоченно говорила Манефа. – А вам, матери и девицы, Аксинья Захаровна тоже гостинцев прислала за то, что хорошо ее ангелу праздновали, по рублю на сестру пожаловала, опричь иного. Завтра, мать Таифа, – прибавила она, обращаясь к казначее, – возы придут. Прими по росписи... Фленушка, у тебя никак роспись-то?

Фленушка порылась в дорожном мешке и, вынув сложенный начетверо лист бумаги, подала его Манефе.

– Читай-ка, мать Таифа, – сказала игуменья, подавая казначее роспись. – Благо, все почти матери здесь в сборе, читай, чтобы всем было ведомо, какое нашей святой обители сделано приношение.

Мать Таифа, с трудом разбирая скоропись, медленно стала читать:

– «Рыбы осетрины свежей шесть пудов, да белужины столько ж, да севрюги соленой четыре пуда. Тешки белужьей да потрохов осетровых по пуду. Икры садковой полпуда, осетровой салфеточной пуд. Жиров да молоко два пуда с половиной, балыков донских три. Муки крупчатой четыре

мешка, гороху четыре четверти, ветчины окорок...»

Мать-казначей руками развела, дочитавшись до такого приношения.

– Как ветчины? – строго спросила игуменья.

– Ветчина писана, матушка, – отвечала Таифа, показывая роспись Манефе.

– Ох, искушение!.. – слышалось между инокинями.

Белицы улыбались, отворачиваясь в сторону, чтобы матушка не заметила и не вздумала бы начать их за нескромность.

– Ты писала? – нахмурившись, обратилась Манефа к Фленушке.

– Настенька это приписала, – отвечала Фленушка. – На смех. А как стали укладываться, она и в самом деле сунула в воз не то окорок, не то два.

– Верченая девка! Егоза!.. – заворчала Манефа, и, обращаясь к матерям, прибавила: – Давно ли, кажись, из обители, а поглядели бы вы, какова стала моя племянница.

– Что ж, матушка, дело молодое – шутки да смехи еще на уме... Судьбы Господь не посылает ли? – умильно спросила мать Евсталия. – Женишка не приискали ль родители-то?

– Нет, – сухо ответила Манефа.

– А намедни мужичок проезжал из Осиповки в Баки за хлебом, – продолжала Евсталия, – у Бояркиных приставал, говорил, что жених приезжал к Патапу Максимычу. Из Самары, слышь, купеческий сын.

– Приезжать приезжал, – нехотя отвечала Манефа, – только про сватовство не то что речи, и думы не бывало. Наврал тебе, Евсталия, твой мужичонко с три короба, а ты плетешь. Похожего ничего не бывало. Да.

Мать Евсталия замолчала и ушла в угол, заметив, что игуменья маленько на нее осерчала.

– Известно дело, матушка, деревенский народ завсегда пустого много городит, – отозвалась уставщица Аркадия. – Пусти уши в люди – чего не наслушаешься.

– То-то и есть, – внушительно молвила Манефа, – коль мирских пустых речей не переслушаешь, так нечего и разговоры с проезжими заводить... Не погневайся, мать Евсталия.

Евсталия вышла из угла и, подойдя к игуменье, смиренно поклонилась. Та молча ответила малым поклоном.

– Как благоволите, матушка, утреню править? – спросила Аркадия. – Завтра память преподобного Ефрема Сирина... с полиелеем аль рядовую?

– Как прежде бывало? – спросила Манефа.

– Всяко бывало, матушка, – отвечала уставщица. – Служили с

полиелеем, служили рядовую. В уставе сказано: «Аль велит настоятель».

– Так служи, мать Аркадия, рядовую, – решила игуменья. – Послезавтра надо еще полиелей справлять и службу с величанием трем святителям. А у нас и без того свечей-то, кажись, не ахти много?

– За Пасху, матушка, хватит, а к лету надо будет новых доспеть, – отвечала казначея.

– То-то же, – промолвила игуменья, – поберегать свечи-то надо. Великий пост на дворе, службы большие, длинные, опять же стоянья со свечами.

– А насчет ветчины-то как же, матушка, прикажете? – спросила казначея. – Собакам выкинуть аль назад отослать? Сиротам бы мирским подать – да молва про обитель пойдет.

– Спрячь подальше, соблазну бы не было, – сказала игуменья. – Не погань – пригодится: исправник приедет али кто из чиновников – сопрут... Устинья Московка приехала?

– Приехала, матушка, в ту пятницу прибыла, – ответила казначея. – Расчет во всем подала как следует – сто восемьдесят привезла, за негасимую должны оставались. Да гостинцу вам, матушка, Силантьевы с нею прислали: шубку беличью, камлоту на ряску, ладану росного пять фунтов с походом, да масла бутыль, фунтов, должно быть, пятнадцать вытянет. Завтра обо всем подробно доложу, а теперь не пора ли вам и покою дать? Устали, чай, с дороги-то?

– И то устала, матери, – отвечала Манефа, – костоньки все разломило.

– Матушка-то и в Осиповке совсем больнешенька была, – молвила Фленушка, прибирая чайную посуду. – Последние дни больше лежала, из боковушки не выходила.

– Вам, матушка, завтра в баньку не сходить ли? Да редечкой велели бы растереть себя, – сказала, обращаясь к игуменье, ключница мать София.

– Поглядим, что завтра будет, – отвечала Манефа, – а к утрени, матушка Аркадия, меня не ждите. В самом деле что-то неможется. Рада-рада, что домой добралась... Прощайте, матери.

И стали матери одна за другой по старшинству подходить к игуменье прощаться и благословляться. Пошли за ними и бывшие в келье белицы. Остались в келье с игуменьей мать София да Фленушка с головщицей Марьей.

– Топлено ль у Фленушки-то? – спросила Манефа у ключницы.

– Топлено, матушка, топлено, – отвечала она. – Зараз обе кельи топили, зараз и кутали.

– Спаси тебя Христос, Софьюшка, – отвечала игуменья. – Постели-ка

ты мне на лежаночке, да потри-ка мне ноги-то березовым маслецем. Ноют что-то. Ну, что, Марьюшка, – ласково обратилась Манефа к головщице, – я тебя не спросила: как ты поживала? Здорова ль была, голубка?

– Слава Богу, матушка, вашими святыми молитвами, – отвечала, целуя Манефину руку, головщица.

– Больно вот налегке ходит, – ворчала ключница, постилая на лежанку толстый киргизский войлок. – Ты бы, Марьюшка, когда выходишь на волю, платок бы, что ли, на шею-то повязывала. Долго ль простудить себя? А как с голосу спадешь – что мы тогда без тебя будем делать?

– Э, матушка София, что мне делается? Я не из неженков. Авось Бог милостив, – ответила головщица.

– Не говори так, Марьюшка, – остановила ее Манефа. – На Бога надейся, сама не полошай... Без меня где ночевала – у Таифы, что ли?

– К Таифе не пускала я ее, матушка, – ответила за головщицу София, – у ней келья угарная и тесновато. Мы с Марьюшкой в твоей келье домовничали. Минодорушка с Натальей ночевать к нам прихаживали.

– Ну, ступайте-ка, девицы, спать-ночевать, – сказала Манефа, обращаясь к Фленушке и Марьюшке. – В келарню-то ужинать не ходите, снежно, студено. Ехали мы, мать София, так лесом-то ничего, а на поляну как выехали, такая метель поднялась, что свету Божьего не стало видно. Теперь так и метет... Молви-ка, Фленушка, хоть Наталье, принесла бы вам из келарни поужинать, да яичек бы, что ли, сварили, аль яиченку сделали, молочка бы принесла. Ну, подите со Христом.

Фленушка и Марьюшка простились и благословились на сон грядущий у матушки и пошли через сени в другую келью.

– Ну, Софьюшка, рассказывай, как без меня поживали, – спросила игуменья свою ключницу, оставшись с нею вдвоем.

– Да ничего такого не случилось, матушка, – отвечала София. – Все слава Богу. Только намедни мать Филарета с матерью Ларисой пошумели, да на другой день ничего, попрощались, смирились...

– Чего делали? – строго спросила Манефа.

– Видишь ли, с чего дело-то зачалось, – продолжала София, растирая игуменье ноги березовым маслом. – Проезжали это из Городца с базара колосковские мужики, матери Ларисы знакомые, – она ведь сама родом тоже из Колоскова. Часы у нас мужички отстояли, потрапезовали чем Бог послал да меж разговоров и молвили, будто ихней деревни Михайла Коряга в попы ставлен.

– Слышала и я, слышала, Софьюшка, – вздыхая, промолвила Манефа. – Экой грех-от!.. Стяжательно такому, корыстолюбцу дали

священство!.. Какой он поп?.. Отца родного за гривну продаст.

– Ну вот, матушка, ты одно слово с Филаретой сказала, а мать Лариса за Корягу горой. Ну и пошли. Да ведь обе они горячие, непокорливые, друг перед другом смириться не хотят, и зачалась меж ними свара, шумное дело. Столько было греха, столько греха, что упаси царь небесный. Мать Лариса доказывать стала, что не нам, дескать, о таком великом деле рассуждать, каков бы, дескать, Коряга ни был, все же законно поставлен в попы, а Филарета: «Коли, говорит, такого сребролюбца владыко Софроний поставил, значит-де и сам он того же поля ягода, недаром-де молва пошла, что он святыней ровно калачами на базаре торгует». А Лариса такая ведь огненная, развернись да матушку Филарету в ухо. Та едва отскочить успела.

– Где ж это было?.. В келарне?.. При мужиках?.. – встав с лежанки и выпрямляясь во весь рост, строгим, твердым голосом спросила Манефа.

– Случилось это, матушка, у Аркадии в келье, – ответила мать София. – Так матери в два венка и метут – шум, гам, содом такой, что вся обитель сбежалась. Просто, матушка, как есть вавилонское языков смешение!.. И уж столько было промеж них сраму, столько было искушения, что и сказать тебе не могу. Как пошли они друг дружке вычитывать, так и Михайлу Корягу с епископом забыли, и такие у них пошли перекоры, такие дела стали поминать, что и слушать-то стало грешно... Что и смолodu водилось, а чего, может статься, и не бывало – все подняли. Уж судачили они, судачили, срамили себя, срамили – с добрый час времени прошло. Мать Таифа их было уговаривать – и слышать не хотят. Насилу-то насилу мать Аркадия их развела, а то бы, пожалуй, в драку полезли, истрековенились бы.

– Марья Гавриловна слышала? – спросила игуменья.

– Как не слышать, матушка. Приходить не приходила, а Таня, девица ее, прибежала, – отвечала София.

– Злочинницы! – резко сказала Манефа, ходя взад и вперед по келье. – Бога не боятся, людей не стыдятся!.. На короткое время обители нельзя покинуть!.. Чем бы молодых учить, а они, гляди-ко!.. Как смирились?

– Известно, миротворица наша, мать Виринея, в дело вступилась... ну и помирила. На другой день целое утро она, сердечная, то к той, то к другой бегала, стряпать даже забыла. Часа три уговаривала: ну, смирились, у нее в келарне и попрощались.

– То-то Филарета давеча стояла, глаз не поднимаючи, а Лариса даже и не пришла встретить меня, – молвила Манефа.

– Хвораёт, матушка, другой день с места не встает, – подхватила

София, – горло перехватило, и сама вся ровно в огне горит. Мать Виринея и бузиной ее, и малиной, и шалфеем, и кочанной капусты к голове ей прикладывала, мало облегчило.

– Не погляжу я на хворь ее, – молвила гневно Манефа. – Не посмотрю, что соборные они старицы: обеих на поклоны в часовню поставлю и за трапезой... В чулан запру!.. Из чужих обителей не было ль при том кого?

– Нет, матушка, никого не было.

– А толки пошли?

– Как толкам не пойти, – отвечала мать София. – Известно, обитель немалая: к нам люди, и наши к чужим. Случился грех, в келье его не спрячешь.

– Обитель срамить!.. – продолжала Манефа. – Вот я завтра с ними поговорю... А девицы в порядке держали себя?

– Все слава Богу, матушка, никакого дурна не было.

– Супрядки бывали?

– Бывали, матушка, и сегодня вплоть до твоего приезда у Виринеи в келарне девки сидели.

– Чужие приходили?

– Бывали, матушка, и чужие: от Жжениных прихаживали, от Бояркиных.

– А от Игнатьевых? – быстро спросила Манефа.

– Как можно, матушка! Статочно ли дело супротив твоего приказа идти? – отвечала мать София.

– Деревенских парней не пускали ль?

– Ай, что ты, матушка! Да сохрани Господи и помилуй! Разве мать Виринея не знает, что на это нет твоего благословенья? – сказала София.

– Хорошая она старица, да уж добра через меру, – молвила Манефа, несколько успокоившись и ложась на войлок, посланный на лежанке. – Уластить ее немного надо. У меня пуще всего, чтоб негодных толков не пошло про обитель, молвы бы не было... А тараканов в скотной морозили?

– Выморозили, матушка, выморозили. Вчера только перешли, – отвечала мать София.

– А Пестравка отелилась?

– Телочку принесла, матушка, а Черногубка бычка.

– И Черногубка? Гм! Теперь что же у нас, шестнадцать стельных-то? – спросила Манефа.

– Да, должно быть, что шестнадцать, матушка, – отвечала София.

– Масла много ль напахтали? – продолжала расспросы Манефа.

– Не могу верно тебе доложить, – отвечала София, – а вечер мать

Виринея говорила, что на сырную неделю масла будет достаточно, с завтрашнего дня хотела творог да сметану копить.

– Сапоги работникам купили?

– Купили, матушка, еще на той неделе с базару привезли.

– Зажил глаз у Трифины?

– Все болит у сердечной, – отвечала София, – совсем врозь глазок-от у нее разнесло... Выльется он у нее, матушка, беспрерывно выльется.

– Лекарство-то прикладывали ли? – спросила Манефа. – Недаром за него деньги плачены.

– Прикладывает, матушка, только пользы не видится. Уж один бы конец, – отвечала мать София.

– Из господ не наезжал ли кто? – спросила Манефа.

– Третьего дня окружной на короткое время приезжал, – отвечала София. – На въезжей не бывал, напился чаю у Глафириных да и поехал в город. А то еще невесть какие-то землемеры наезжали, две ночи ночевали на въезжей... Да вот что, матушка, доложу я тебе: намедни встретила я с матерью Меропеей от Игнатьевых, так она говорит, что на Евдокеин день выйдет им срок въезжу держать, а как, дескать, будет собрание, так, говорит, беспрерывно на вашу обитель очередь наложим: вы, говорит, уж сколько годов въезжу не держите.

– Этому не бывать, – сказала Манефа. – Покаместь жива, не будет у меня в обители въезжей. С ней только грех один.

– Известно дело, матушка, – как уж тут без греха, – сказала София. – И расходы, и хлопоты, и беспокойство, да и келью табачищем так прокурят, что года в три смраду из нее не выживешь. Иной раз и хмельные чиновники-то бывают: шум, бесчинство...

– Нельзя, нельзя, – говорила игуменья. – Может статься, Настя опять придет погостить, опять же Марье Гавриловне не понравится... Рассохины пусть держат, что надо заплачу. Побывай у них завтра, поговори с Досифеей.

– Девицы, матушка, сказывали, закурила, слышь, матушка-то Досифея опять, – отвечала мать София.

– Опять?

– Другу неделю во хмелю. Такой грех.

– С Евстихией поговори, – сказала Манефа. – На ней же и лежит все у них. Спроси, что возьмут за год въезжу держать. Деньгами не поскуплюсь, припасы на угощенья мои. Так и скажи... Да скажи еще Евстихии, ко мне бы пришла: братец Патап Максимыч по пяти целковых на каждую бедную обитель прислал. Рассохиным, Напольным, Солоникеиным, Марфиным,



Заречным... Всех повести... Да повести еще сиротам, завтра бы к часам приходили; раздача, мол, на блины будет... Ох, Господи помилуй, Господи помилуй!.. – примолвила мать Манефа, зевая и крестя открытый рот. – Подай-ка мне, Софьюшка, келейную манатейку да лестовку... Помолюсь-ка я да лягу, что-то уж очень сон стал клонить.

Мать София подала игуменье все нужное, простилась с ней и, поправив лампадки, ушла в свою боковушку.

Манефа стала на молитву.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пока Манефа расспрашивала ключницу, в соседних горницах Фленушка сидела за ужином с Марьей головщицей.

Во Фленушкиных горницах, где перед тем жили дочери Патапа Максимыча, было четыре комнаты, убранные гораздо нарядней, чем келья игуменьи. Стены оклеены были обоями, пол крашеный, лавок не было, вместо них стояла разнообразная мебель, обитая шерстяной материей. Семь окон заставлены были цветочными горшками и убраны кисейными занавесками. Стояли пьалы, швейки, кружевные подушки и маленький станок для тканья шелковых поясков. По стенам в крашеных деревянных рамках висели незатейливые картины. То были виды Афонской горы, иргизских монастырей, Рогожского кладбища; рядом с ними висели картины, изображавшие апокалипсические видения, страшный суд и Паскевича с Дибичем на конях.

За столом, уставленным келарским кушанием и сладостями, привезенными из Осиповки, сидели девушки, толкуя о разных разностях. Сначала беседа их шла вяло, Фленушке не совсем было весело. Досада разбирала ее. Очень хотелось ей недельку-другую еще погостить в Осиповке, да не удалось. Спервоначалу Манефа и соглашалась было оставить ее у Патапа Максимыча до Пасхи, но, заболев в день невесткиных именин и пролежав после того три дня, заговорила другое. «Бог знает, буду ль жива я до Пасхи-то, – отвечала старица на просьбы Фленушки и племянниц, – а без того не хочу помереть, чтобы Фленушка мне глаз не закрыла». И казалось, никогда еще мать Манефа не была так ласкова, так нежна к своей любимице, как в эти дни. Фленушке хоть и очень не хотелось ворочаться в келью на скуку и однообразную жизнь, но, беззаветно любя Манефу, она не решилась ее огорчить. Патап Максимыч был не прочь, чтобы бойкая Фленушка поскорей убралась из его дома. Не то чтоб он подозревал что-нибудь, а сдавалось ему, что сбивает она с толку его Настю. «Какая прежде тихая, какая сговорчивая была у нас Настасья, – говорил он жене, – а появилась эта Фленушка – сорочий хвост, – ровно ее перевернуло всю. И не думай, Аксинья, унимать эту егозу, не упрашивай Манефу здесь ее оставлять, авось без нее девка-то выкинет дурь из головы». Пыталась было защищать Аксинья Захаровна Фленушку и дочь, но Патап Максимыч цыкнул, и та замолчала. Накануне Манефина отъезда завела было речь Фленушка, чтоб отпустили Настю с Парашей в обитель гостить да кстати

уж и поговеть великим постом. Сама Аксинья Захаровна, видя, что Насте хочется побывать в скиту, сказала мужу, отчего бы и не отпустить их. Придут, дескать, великие дни, девки к службе Божьей привыкли, а живучи в деревне, где помолятся, особенно же на страстной неделе? Патап Максимыч отказал наотрез. Настя знала, что стоит ей захотеть, так она переупрямит отца и во всем поставит на своем; хотела взяться за дело, но Фленушка остановила ее. «Молчи, не приставай к отцу, – сказала она, – пожалуй, испортишь все. Пуцай его маленько повеличается, а уж я жива быть не хочу, коли не будешь ты у нас в скиту великим постом, не то весною». Как ни твердо была уверена Фленушка в успехе своего намеренья, все же ей было скучно теперь и досадно. Не любя, не приветлива показалась ей родная келья с ее обстановкой, не похожей на убранство богатого дома Патапа Максимыча.

– Рассказывай, Фленушка, все по ряду, как наши девицы в миру живут. Помнят ли нас, грешных, аль из памяти вон? – спрашивала Марьюшка.

– Как не помнить, – ответила Фленушка. – Тебе особенно кланяться наказывали.

– Бог их спасет, коль и нас из людей не выкинули, – молвила головщица.

– Кончила подушку-то, что в Казань шила? – спросила Фленушка.

– Дошила, вечор из пялец выпорола, – отвечала Марьюшка.

– Нову зачинай. Настя подарок прислала тебе: канвы, шерстей, синели, разных бисеров, стеклярусу. Утре разберусь, отдам.

– Благодарим покорно, – ответила головщица. – Только нову-то подушку вряд ли придется мне шить. Матушка омофор епископу хотела вышивать.

– Когда это будет, про то еще сорока на воде хвостом писала, – молвила Фленушка. – Матушка не один год еще продумает да по всем городам письма отписывать будет, подобает, нет ли архиерею облачение строить из шерсти. Покаместь будут рыться в книгах, дюжину подушек успеешь смастерить.

– Ин спроситься завтра у матушки, – сказала головщица.

– Спросись, а Настя тебе и новых узоров прислала, – заметила Фленушка.

– Ну, вот за этот за подарочек так очень я благодарна, – молвила Марьюшка. – А то узорами-то у нас больно стало бедно, все старые да рваные... Да что ж ты, Фленушка, не рассказываешь, как наши девицы у родителей поживают. Скучненько, поди: девиц под пару им нет, все одни да одни.

– Параша-то не скучает, – молвила Фленушка.

– Что так? – спросила головщица.

– Да что она? Уваленъ, – ответила Фленушка. – Как здесь сонуля была, так и в миру. Пухнет инда со сна-то, глаза совсем почти заплыли.

– Что ж это она? Со скуки, поди? – сказала Марьюшка.

– Не разберешь, – ответила Фленушка. – Молчит все больше. День-деньской только и дела у нее, что поесть да на кровать. Каждый Божий день до обеда проспала, встала – обедать стала, помолилась да опять спать завалилась. Здесь все-таки маленько была поворотливей. Ну, бывало, хоть к службе сходит, в келарню, туда, сюда, а дома ровно сурок какой.

– Поди же ты, какая стала, – покачивая головой молвила Марьюшка. – Ну, а Настасья Патаповна что? Такая же все думчивая, молчаливая?

– Поглядела бы ты на нее! – усмехнувшись, ответила Фленушка. – Бывало, здесь водой ее не замутишь, а в деревне так развернулась, что только ой.

– Полно ты! – удивилась головщица. – Бойка стала?

– Меня бойчей – вот как, – оживляясь, ответила Фленушка. – Чуть не всем домом вертит. На что родитель – медведь, и того к рукам прибрала. Такая стала отважная, такая удалая, что беда.

– Поди вот тут, – говорила Марьюшка. – Долго ли, кажись, и в миру пожила, на воле-то. Здесь-то, бывало, смотрит тихоней, словечко не часто проронит.

– На людях и теперь не больно говорлива, – молвила Фленушка. – А на своем захочет поставить – поставит. Люта стала, вот уж, что называется, вьется ужом, топорщится ежом.

– Платьев, поди, что нашили им? – спросила головщица.

– Полны сундуки, – ответила Фленушка. – А какие платья-то, посмотрела бы ты, Марьюшка. Одно другого пригляднее. И по будням в шелку ходят. Отродясь не видала я нарядов таких: сережки брильянтовые, запонки так и горят огнями самоцветными. Параша что! На нее, как на пень, что ни напаль, все кувалдой смотрит. А уж Настя! Надо чести приписать, разрядится – просто королева. В именины-то, знаешь, у них столы народу ставили, ста два человек кормились: день-от был ясный да теплый, столы-то супротив дома по улице стояли. Вот тут посмотрела бы ты на ихние наряды, как с родителями да с гостями они вышли народ угощать.

– В чем Настенька-то была? – спросила головщица.

– Был на ней сарафан, шелковый голубой, с золотым кружевом, – рассказывала Фленушка, – рукава кисейные, передник батистовый, голубой

синелью расшитый, на голове невысокая повязка с жемчугами. А как выходить на улицу, на плечи шубейку накинула алого бархата, на куньем меху, с собольей опушкой. Смотреть загляденье!

– Хоть бы глазком взглянула! – сказала, вздохнув, Марьюшка.

– А вот погоди, к нам в гости приедут, увидишь, – молвила Фленушка.

– Где увидеть? – покачав головой, ответила головщица. – Разве в скиту в таком уборе ходят девицы?

– А может статься, и в миру увидишь ее, – прищурившись и зорко глядя на головщицу, сказала Фленушка.

– Где уж нам, Флена Васильевна, мирские радости видеть! – с горьким чувством вздохнув, молвила Марьюшка. – Хорошо им при богатых родителях, а у нашей сестры что в миру? Беднота, пить-есть нечего, тут не до веселья. И то денно и ночью Бога благодаришь, что матушка Манефа призрела меня, сироту. По крайности, не голодаешь, как собака. А и то сказать, Флена Васильевна, разве легко мне у матушки-то жить: чужой-от ведь обед хоть сладок, да не спор, чужие-то хлеба живут приедчивы. Мед чужой, и тот горек, Фленушка.

– Ну, разрюмилась что радуница, – подхватила Фленушка. – Нечего хныкать, радость во времени живет, и на нашу долю когда-нибудь счастливый денек выпадет... Из Саратова нет ли вестей? – спросила Фленушка, лукаво улыбаясь. – Семенушка не пишет ли?

– А ну, пес его дери! – с досадой ответила Марьюшка. – Забыла об нем и думать-то.

– Врешь! По глазам вижу! – приставала Фленушка.

– Ей-Богу, право, – продолжала головщица. – Да что? Одно пустое это дело, Фленушка. Ведь без малого целый год глаз не кажет окаянный... Ему что? Чай, и думать забыл... А тут убивайся, сохни... Не хочу, ну его к ляду!.. Эх, беднота, беднота!.. – прибавила она, горько вздохнув. – Распроклятая жизнь!

– Полно тебе!.. Меня, дева, не обморочишь, – усмехнувшись, сказала Фленушка. – Получила весточку?.. А?.. По глазам вижу, что получила...

– Ну, получила!.. Ну, что же? – резко ответила головщица.

– Письмо, что ли, прислал?

– Ну, письмо прислал... Еще что будет?.. Тебе из Казани не пришло ли письмеца от Петрушки черномазого?

– Мое дело, голубушка, иное, – усмехаясь ответила Фленушка. – Мне только слово сказать, зараз свадьбу «уходом» сыграем... Матушку только жаль, – вздохнув, прибавила она, – вот что... В гроб уложишь ее.

– А мне и гадать про свадьбу нечего, – желчно сказала Марьюшка. –

Не равны мы с тобой, Флена Васильевна. Тебе в ларцах у матушки Манефы кое-что припасено, а у меня, сироты, приданого-то голик лесу да кузов земли.

– Да полно тебе, надоела с своей беднотою, как горькая редька, – молвила Фленушка. – Хнычет, хнычет, точно на смерть ведут ее. Скажи-ка лучше: сходились без меня на супрядки?

– Сходились, – ответила головщица. – И сегодня вплоть до вашего приезда сидели.

– Что ж? Весело? – спросила Фленушка.

– Какое веселье! Разве не знаешь? – молвила Марьюшка. – Как допрежь было, так и без тебя. Побалуются маленько девицы, мать Виринея ворчать зачнет, началить... Ну, как водится, подмаслим ее, стихеру споем, расхныкается старуха, смягнет – вот и веселье все. Надоела мне эта анафемская жизнь... Хоть бы умереть уж, что ли!.. Один бы конец.

– Это кровь в тебе бродит, Марьюшка, – внушительно заметила Фленушка. – Знаю по себе. Иной раз до того доходит, так бы вот взяла да руки на себя и наложила... Приедет, что ли, Семен-от Петрович?

– Обещался... Да кто его знает, может, обманет; у ихнего брата завсегда так – на словах, как на саях, а на деле, как на копыле. Тут сиди себе, сохни да сокрушайся, а он и думать забыл, – сказала Марьюшка.

– Обещался, так приедет, – утешала ее Фленушка. – Не кручинься... Завсегда он наезжает, только Волга вскрыется. Гляди, после Пасхи приедет. Вот Марьюшка, веселье-то у нас тогда пойдет: к тебе Семенушка приедет, моего чучелу из Казани шут принесет, Настеньку залучим да ее дружка приманим...

– Шибаета-то, что ли? – спросила головщица.

– Ну его к лешему! – ответила Фленушка. – Поближе найдем.

– Про самарского жениха говоришь? – сказала Марьюшка. – Болтали намердны, Снежков-де какой-то свататься к ней приезжал. Богатый, слышь!

– Какой тут Снежков! – молвила Фленушка. – Не всяк голова, у кого борода, не всяк жених, кто присватался, иному от невестиных ворот живет и поворот. Погоди, завтра все расскажу... Видишь ли, Марьюшка, дельце затеяно. И тому делу без тебя не обойтись. Ты ведь воструха, девка хитроватая, глаза отводить да концы хоронить мастерица, за уловками дело у тебя не станет. Как хочешь, помогай.

– Что ж? Рада помочь, коли смогу... Для Настеньки на все я готова, – ответила Марьюшка.

– Она на тебя, что на каменну гору, надеется, – молвила Фленушка. – Ай, батюшки!.. Забыла сказать... Про шерсти, да бисера помянула, а про

самые первые подарки забыла. Платок шелковый прислала тебе, ситцу на сарафан, колечко с бирюзой, цепочку.

– Напрасно это, – с ужимкой ответила Марьюшка. – Разве я из корысти? Ситец-от какой?

– Розовый с разводами.

– Ой ли! Такого давно мне хотелось. А платочек?

– Голубой со звездочками да изюминами, – сказала Фленушка.

– Спаси ее Христос, что не забывает меня, сироту, – сказала, довольная подарками, Марьюшка.

– И впредь обижена не будешь, – молвила Фленушка. – Удалось бы только нам дельце наше состряпать, будут у тебя и шелковы сарафаны.

– Ну уж и шелковы! – улыбнулась Марьюшка.

– Я тебе говорю, – молвила Фленушка. – Только молчи да ухо держи востро... Видишь ли, какое дело вышло – слушай. Только приехали мы в Осиповку, гляжу я на Настю, думаю, что это такое случилось с ней. Ровно не она; заговоришь с ней, то заревом вспыхнет, то муки белей станет, глаза горят, а вдруг ни с того ни с сего затуманятся. Зачнет говорить – в речах путается, видимо – другое что в мыслях держит... Думаю я, тут что-нибудь да не так, это не то, что с Васькой Шибаевым соловьев у перелеска слушать. Стала пытаться, созналась девка.

– Слюбилась? – живо спросила Марьюшка.

– Посмотрела бы ты, Марьюшка, парень-от какой, – сказала Фленушка. – Такой молодец, что хоть прямо во дворец. Высокий да статный, сам кровь с молоком, волос-от черный да курчавый, глаза-то как угли, за одно погляденье рубля не жаль. А умница-то какая, смысленый какой...

– Кто ж он таков? Из купцов? Заезжий? – спрашивала Марьюшка.

– Деревенщина, голь перекатная, – ответила Фленушка. – И вовсе не заезжий, у них в дому живет.

– Кто ж такой? – допытывалась Марьюшка.

– Токарь, в работники его Патап-от Максимыч нанял, – ответила Фленушка. – Деревнюшка от них есть неподалеку, Поромово прозывается, – оттоле. Незадолго до нашего приезда и нанят-то был.

– Стало быть, Настенька допрежь водилась с ним? – спрашивала Марьюшка.

– Слыхом не слыхала, что есть на свете Алешка Лохматый, – ответила Фленушка.

– Алексеем зовут?

– Да. А ты слушай: только увидела она его, сердце у ней так и

закипело. Да без меня бы не вышло ничего, глаза бы только друг на друга пялили... А что в ней, сухой-то любви?.. Терпеть не могу... Надо было смастерить... я и смастерила – сладились.

– Как же?

– Как водится, – сказала Фленушка. – По весне надо дело до конца довести, – прибавила она, немножко помолчав.

– Как довести? – спросила Марьюшка.

– Окрутить Алешку с Настасьей, – отвечала Фленушка.

– «Уходом»? – спросила Марьюшка.

– Да.

– Смотри, Фленушка, не обожгись, – молвила Марьюшка. – Патапа Максимыча я мало знаю, а толкуют, что ежели он на кого ошетинится, тому лучше с бела света долой. Не то что нас с тобой, всю обитель вверх дном повернет.

– У медведя лапа-то пошире, да и тот в капкан попадает, – смеючись, подхватила Фленушка. – Сноровку надо знать, Марьюшка... А это уж мое дело, ты только помогай. Твое дело будет одно: гляди в два, не в полтора, одним глазом спи, другим стереги, а что устережешь, про то мне доводи. Кто мигнул, кто кивнул, ты догадывайся и мне сказывай. Вот и вся недолга...

– Да я готова, боязно только, – говорила Марьюшка.

– Э! Перестань. Прежде смерти не умрешь! – сказала ей Фленушка. – Зубаст Патап Максимыч, да нас с тобой не съесть ему, а и захотел бы, так не по горлу придется – подавится. Говорила тебе, хочешь в шелковых сарафанах ходить?

– Да так-то оно так, Фленушка, – в раздумье говорила Марьюшка. – Ну а как Патап Максимыч проводит, тогда что?

– А как же это ему проведать-то? – возразила Фленушка. – Летом на Низ сплывет, тогда все и сработаем. Приезжай после на готовое-то, встречай зятя с молодой женой. Готовь пиры, созывай гостей – это уж дело его...

Чуть не до полночи протолковали девицы, как бы половчей состряпать Настину свадьбу «уходом».

Наутро, еще до света, по всей Манефиной обители поднялась обычная, не суетливая, но спорная работа. Едва северо-восток небосклона зардел тонкой розовой полосой, как пятеро пожилых, но еще крепких и бодрых трудников с лопатами на плечах пришли в обитель с конного двора, стоявшего за околицей, и начали расчищать снежные сугробы, нанесенные



за ночь едва стихшею под утро метелью. Прочистили они дорожку от часовни к келарне, и пошли по ней только что отпевшие утреню инокини и белицы, прочистили еще дорожки к игуменской келье, к домику Марьи Гавриловны и от одной стаи до другой, к погребам, к амбарам и к другим обительским строеньям. После заутрени по всем кельям огоньки засветились. Толстые, здоровенные белицы из рабочих сестер, скинув коты и башмаки, надели мужские сапоги и нагольные тулупы, подпоясались кушаками и, обернув головы шерстяными платками, стали таскать охапки дров, каждая в свою стаю, а все вместе в келарню и к крыльцу матушки игуменьи. Через полчаса высокие столбы дыма высоко вились над трубами в тихом, недвижимом, морозном воздухе. Трудницы меж тем таскали из колодца воду по кельям, скоблили скребками крыльца, подтирали в кельях и в сенях натоптанные с вечера следы. Мать Виринея со своими подручницами хлопотала в келарне, оттаивала принесенную из кладовой рыбу, перемывала рубленую капусту, засыпала в чугуны горох и гречневую крупу. А в обитель меж тем собирался посторонний люд. Мать София не выходила еще из Манефиной кельи, но сироты, уж Бог их знает как, проведали о предстоящей раздаче на блины и на масло, пришли к заутрене и, отслушав ее, разбрелись по обители: кто на конный двор, кто в коровью избу, а кто и в келарню, дожидаться, когда позовет их мать игуменья и велит казначее раздать подаянье, присланное Патапом Максимычем.

Совсем рассвело. В сенях уставщицы раздался серебристый звон небольшого колокольчика. Ударили девять раз, затем у часовни послышался резкий звук деревянного била. Мерные удары его разносились по обители. Вдалеке по сторонам послышались такие же звуки бил и клепал из других обителей. Это был скитский благовест к часам.

Вскоре Манефина часовня наполнилась народом. Инокини в черных мантиях и креповых наметках чинно становились рядами перед иконостасом, пели по клиросам, впереди всех Марьюшка. Сироты тоже прибрели в часовню, но стали в притворе, мужчины по одну сторону, женщины по другую. Еще раздались три удара в колокольчик уставщицы, а за ним учащенные звуки била, и входные двери часовни распахнулись настежь. Вошли рядом две сгорбленные древние старушки в черной одежде, расшитой красными крестами и буквами молитвы «Святый Боже». То были инокини-схимницы... Опираясь на деревянный костыль, медленно выступала за ними мать Манефа в длинной черной мантии, в апостольнике и камилавке с черной креповой наметкой. Ровною поступью проходила она между рядами склонявшихся перед нею до земли инокинь и белиц и стала на свое игуменское место. За нею, склоня голову, шла Фленушка и стала за

правым клиросом. Вслед за Манефой вошла Марья Гавриловна, высокая, стройная, миловидная женщина, в шерстяном сером платье, в шелковой кофейного цвета шубейке, подбитой куньим мехом, и в темной бархатной шапочке, отороченной соболем. Вдовушка прошла сторонкой подле стен и стала рядом с Фленушкой.

– За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй нас, – громко возгласила Манефа.

– Аминь, – ответила стоявшая среди часовни за налоем белица, исправлявшая должность канонарха. Неспешно, истово отчеканивая каждое слово, начала она чтение часов.

Чинно, уставно, с полным благоговением справляли келейницы службу. Мать Аркадия, как уставщица, стояла у аналоя, поставленного среди солеи и подобно церковному престолу покрытого со всех сторон дороною парчой. В положенное время, поклонясь игуменье, Аркадия делала возгласы. Все стояли рядами недвижно, все были погружены в богомыслие и молитву, никто слова не молвит, никто на сторону не взглянет: оборони Бог – увидит матушка Манефа, а она зоркая, даром что черный креп покрывает половину лица ее. Увидит, тут же при всех осрамит – среди часовни на поклоны поставит, не посмотрит ни на лета, ни на почет провинившейся. Все разом крестились и кланялись в положенное уставом время, все враз бросали перед поклонами на пол подручники, все враз поднимали их, все враз перебирали лестовки. Часа полтора продолжалось протяжное чтение часов и медленное пение на клиросах. Наконец Манефа сделала несколько шагов вперед и прочитала «прощу». Все до земли поклонились ей, и она также. Затем рядами пошли все вон из часовни.

Сойдя с паперти, шедшая впереди всех Манефа остановилась, пропустила мимо себя ряды инокинь и, когда вслед за ними пошла Марья Гавриловна, сделала три шага ей навстречу. Обе низко поклонились друг другу.

– Здравствуете ли, сударыня Марья Гавриловна? – ласково спросила у нее мать Манефа. – Как вас Господь Бог милует, все ль подобру-поздорову?

– Вашими святыми молитвами, матушка, – отвечала Марья Гавриловна. – Вы как съездили?

– Что про меня, старуху, спрашивать? – ответила Манефа. – Мои годы такие: скорби да болезни. Все почти время прохворала, сударыня... Братец Патап Максимыч приказал вам поклониться, Аксиныя Захаровна, Настя с Парашей...

– Благодарим покорно, – с улыбкой ответила Марья Гавриловна. – Здоровы ли все они?

– Слава Богу, сударыня, – сказала Манефа и, понизив голос, прибавила: – Братец-от очень скорбит, что вы его не посетили... Сам себя бранит, желательно было ему самому приехать к вам позвать к себе, да дела такие подошли, задержали. Очень уж он опасается, не оскорбились бы вы...

– Э, полноте, матушка, – ответила Марья Гавриловна. – Разве за тем я в обитель приехала, чтоб по гостям на пиры разъезжать? Спокой мне нужен, тихая жизнь... Простите, матушка, – прибавила она, поклонясь игуменье и намереваясь идти домой.

– До свиданья, сударыня, – ответила Манефа. – Вот я не на долгое время в келарню схожу, люди там меня ждут, а после к вам прибреду, коли позволите.

– Милости просим, удостойте, – отвечала Марья Гавриловна. – Будем ждать. Фленушка, – прибавила она, обращаясь к ней, – пойдем ко мне... Марьюшка! Ко мне на чашку чаю.

И, поклонясь еще раз матери Манефе, Марья Гавриловна пошла к своему домику, а за ней Фленушка с головщицей.

Мать Манефа с инокинями, белицами и сиротами прошли в келарню. Там столы были уже накрыты, но кушанье еще не подано. В дверях встретила игуменью мать Вирина с своими подручницами и поклонилась до земли. Клирошанки запели тропарь преподобному Ефрему Сирину, Манефа проговорила «прощу» и села на свое место. Инокини расселись по сторонам по старшинству; белицы стояли за ними. Лицом к игуменье у самых дверей рядами стали пришедшие сироты. Легкий шепот раздавался по келарне. Мать Манефа ударила в кандию, и все смолкло.

– Здравствуйте о Христе Исусе, – сказала она, обращаясь к сиротам.

Те враз поклонились ей до земли.

– Бог вам милости прислал, – продолжала Манефа, – а Патап Максимыч Чапурин кланяться велел.

Еще раз сироты молча до земли поклонились.

– Говорила я ему про вашу бедность и нужды, вот приходит, мол, сырная неделя, к великой четьредесятнице приуготовление, а нашим сиротам не на что гречневой мучки купить да маслица. И Патап Максимыч пожаловал вам, братие и сестры, по рублю ассигнациями на двор.

– Дай Бог многолетнего здравия Патапу Максимычу и всему дому его, – проговорили сироты, опять кланяясь до земли.

Бабы отирали слезы, мужики гладили бороды, ребятишки,

выставленные вперед, разинув рот, удивленными глазами смотрели на игуменью и на сидевших вокруг нее инокинь.

– По муку да по крупу на базар вам ездить не надо, – продолжала мать Манефа не допускающим противоречия голосом. – Нечего время попусту тратить. Отпусти, Таифа, сиротам на каждый двор муки да масла. Сняточков прибавь, судачка вяленого да пшеничной мучки на пряженцы. Разочти, чтоб на каждый двор по рублю с четвертью приходилось. По четверти от нашей худости примите, – промолвила Манефа, обращаясь к сиротам.

Почесал иной мужик-сирота затылок, а бабы скорчили губы, ровно уксусу хлебнули. Сулили по рублю деньгами – кто чаял шубенку починить, кто соли купить, а кто думал и о чаре зелена вина. А все-таки надо было еще раз земной поклон матушке Манефе отдать за ее великие милости...

– Молитесь же за здравие рабов Божиих Патапия, Ксении, Анастасии и Параскевы, – продолжала мать Манефа. – Девицы, возьмите по бумажке да пишите на память сиротам, за кого им молиться. Кроме семьи Патапа Максимыча еще благодетели будут.

Три белицы принесли бумаги и стали писать «памятки» на раздачу сиротам. Манефа вынула из кармана три письма и, подав казначее, сказала:

– Читай, мать Таифа.

Надев на нос очки в медной оправе, казначея стала читать:

– «Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Крайнего и пресветлого, грядущего града небесного Иерусалима взыскательнице, любознательных же и огнелучных ангельских сил ревнительнице, плоть свою Христа ради изнулившей, твердому и незыблемому адаманту древлеблагочестивыя отеческия наша веры, пресветло, аки луча солнечная, сияющей во благочестии и христоподражательном пребывании пречестной матушке Манефе, о еже во Христе с сестрами пречестныя обители святых, славных и всехвальных, верховных апостол Петра и Павла земнокасательное поклонение и молитвенное прошение о еже приносить подателю всех благ, всевышнему Богу о нас грешных и недостойных святых и приятных ваши молитвы. По сем возвещаем Любви вашей о Божиим посещении, на дом наш бывшем, ибо сего января в 8 день на память преподобного отца нашего Георгия Хозевита возлюбленнейший сын наш Герасим Никитич от сего тленного света отъиде и преселился в вечный покой. И вам бы его поминати на двадцатый и на сороковой день, полугодовыя памяти творити, и вписати бы его в сенаник и вечно поминати его, а в день кончины его и на тезоименитство, 4-го марта, кормы ставить: по четыре яствы горячих и квасы сыченые, и кормити, опричь обительских,

и сирот, которые Бога ради живут в ските вашем. Пять сот рублей на серебро кладу на вечное поминовение пришлем с Ростовской ярмарки, а теперь посылаем двести пятьдесят рублей ассигнациями вручную раздачу по обители и по сиротам и по всем старым и убогим, которые Бога боящиеся живут постоянно: на человека на каждого по сколько придется, и вы по ним по рукам раздайте. А нас письменно уведомьте, все ли получили деньги, и означьте в письме вашем доподлинно имена обительских, а также и сирот, которым раздадите наше усердное приношение. Только тем подавайте, которые хорошо молятся и живут постоянно, помолились бы хоть по три поклона на день во все шесть недель за Гарашу покойника и за нас, о здравии Никиты и Евдокии и о вдове Гарашиной Анисии с чадами. А здесь у нас на дому молятся хорошо – негасимую и всенощную читает ваша читалка, Аринушка, прилежно и усердно, все чередом идет. У Богдановых она годовую отчитала, и мы ее взяли к себе. А как у нас отчитает, то мы пришлем в вашу обитель еще приношение по силе возможности. Засим, припадая к стопам ног вашей честности и паки прося святых ваших молитв, остаемся ваши доброжелатели Никита Зарубин с сожительницею, снохою и внучатами».

– Пишите, девицы, – сказала Манефа, – в ряд после Патапа Максимыча семейства: «за здравие Никиты, Евдокии, Анисии с чадами», а на затыле пишите: «за упокой Герасима новопреставленного». Другое письмо читай, мать Таифа.

– «Пречестная матушка, Манефа Максимовна, с соборными о Христе сестрами, здравствуйте. Когда мы виделись с вами, матушка, последний раз у Макарья в прошедшую ярмарку в лавке нашей на Стрелке, сказывал я вашей чести, чтобы вы хорошенько Богу молились, даровал бы Господь мне благое поспешение по рыбной части, так как я впервые еще тогда в рыбную коммерцию попал и очень боялся, чтобы мне в карман не наклали, потому что доселе все больше по подрядной части маялся, а рыба для нас было дело закрытое. И теперь вижу, что Бога молили вы как не надо лучше, потому что, вот как перед самим истинным Христом, вовсе не думал по рыбе займаться, потому думал, дело плевое, а вышло дело-то способное. И вашими святыми молитвами на судаке взял я по полтине барыша с пуда, да на коренной двадцать три копейки с деньгой. А Егор Трифонов хотел перебить у меня эту часть, да и проторговался. Так ему хорошо въехала судачина, что копеек по двенадцати с пуда скостить должен, а икра вся прогоркла да, почитай, и совсем протухла; разве что в Украину сбурит, а здесь, на Москве, никто такой икры и лизнуть не захочет. И такое Божие милосердие вашим святым молитвам приписуючи, шлю вам,

матушка, сто рублей на серебро на раздачу обительским да сиротам по рукам, которые хорошо Бога молили. А Игнатьевым в обитель отнюдь не давайте для того, что они за Егорку Трифонова Бога молят, он еще у Макарья при моих глазах деньги им давал и судачками. Только ихняя-то молитва, видимо, не так до Бога доходна, как ваша. Просим и впредь не оставить, молиться хорошенько, чтоб Господь по нашей торговле больше барышей нам подавал. А поминать за здоровье меня да супругу нашу Домну Григорьевну. Засим, пожелав вам всякого благополучия, остаемся известный вам, Сергей Орехов».

– Пишите, девицы: «за здоровье Сергия и Домны», – проговорила обычным невозмутимым голосом Манефа. – Третье письмо читай, мать Таифа.

– «Любезненькая наша, матушка Манефа, ангельские твои уста, серафимские очи!.. Что это вы, матушка, давно нам не отписываете, каково в трудах своих подвизаетесь, и о здоровье вашем и о Фленушке милой ничего мы не знаем, как она, голубушка наша, поживает, и про племянников ваших, про Настасью Патаповну, Прасковью Патаповну. А мы с Варенькой каждый день вас поминаем, как летось гостили в вашей обители и уж так вами были обласканы, и уж так всем были довольствованы, что остается только Богу молиться, чтоб и еще когда сподобил в вашем честном пребывании насладиться спасительною вашею беседой. Извещаю вас, матушка, что Вареньке моей Бог судьбу посылает. Сосватана она за Петра Александрыча Саблукова – в нашем городе что ни на есть первые люди, а Петр Александрыч, хоша и вдовец, однако же бездетен, и самому всего двадцать седьмой годочек пошел. У отца ихнего фабрика здесь кумачовая, два сына да дочка замужем, отделенная, а в капитале они в хорошем. Одно только, что по единоверию они, по новоблагословенной значит, как в Москве у Салтыкова моста, аль по вашим местам Медведевской церкви, а впрочем, люди хорошие. Свадьбу сыграем в пятницу перед масленой, хоша и не все приготовлено, да не ждать же Фоминой недели, – что хорошего томить жениха с невестой?.. А присватался-то поздненько, на самое Богоявление по рукам били. При сем посылаю вам, матушка, сто двадцать рублей на серебро, помолились бы вы и ваши богоугодные сестры, а также которые сироты живут постоянно, за дочку за нашу и за жениха, чтоб послал им Господь брак честен, ложе нескверно и житие безмятежно. А бисерную листовку и подручник, шитый по канве, мы получили и много за то благодарствуем. Засим, прося ваших святых и до Бога доходных молитв и уповая на милость вашу, остаюсь доброжелательница ваша, Наталья Шарымова».

– Пишите: «за здоровье Петра, Варвары и Наталии», – сказала Манефа.

– Можно ли, матушка, жениха-то поминать? Ведь он не нашего согласия, – наклонясь к игуменье, шепотом спросила уставщица мать Аркадия.

– Поминайте жениха без сомнения, – громко ответила Манефа. – Инославных за упокой поминать не подобает, а за здоровье можно. Молимся же за державного, за бояры и за вои.

– Так то ведь власти, матушка, – продолжала полушепотом мать Аркадия. – За всякую власть предержащую по апостолу молимся. А шарымовский жених что нам за власть?

– Зато благодетель, – молвила Манефа. – А за благодетелей первее всего подобает молиться. Впрочем, вольному воля, – прибавила она, немного помолчав, – кому не по совести молиться за Петра Александровича, тот не молись. Сказывайте, кому не по совести, того мы выключим из раздачи шарымовских денег.

Всем было по совести. Никто не отказался от части в шарымовской присылке.

– Мать Таифа, – сказала игуменья, вставая с места. – Тысячу двадцать рублей на ассигнации разотчи как следует и, по чем придется, сиротам раздай сегодня же. И ты им на масленицу сегодня же все раздай, матушка Виринея... Да голодных из обители не пускай, накорми сирот чем Бог послал. А я за трапезу не сяду. Неможется что-то с дороги-то, – лечь бы мне, да боюсь: поддайся одной боли да ляг – другую наживешь; уж как-нибудь, бродя, перемогусь. Прощайте, матери, простите, братия и сестры.

Провожаемая низкими поклонами и громкими благодарностями сирот, мать Манефа медленно удалилась из келарни.

Проводя игуменью, все стали вокруг столов. Казначейка мать Таифа, как старейшая, заняла место настоятельницы. Подали в чашках кушанье, Таифа ударила в кандию, прочитали молитву перед трапезой, сели и стали обедать в строгом молчании. Только один резкий голос канонницы, нараспев читавшей житие преподобного Ефрема Сирина, уныло раздавался в келарне.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В Казани, за Булаком, несмотря на частые пожары, и до сих пор чуть ли не цел небольшой каменный дом старинной постройки, где родилась Марья Гавриловна. Во время оно принадлежал тот дом купцу третьей гильдии Гавриле Маркелычу Залетову.

Не был Гаврила Маркелыч в числе первостатейных купцов, не ворочал миллионами, но считался весьма зажиточным. В Плетенях на Кабане был у него мыловаренный завод, рядом с ним китаечная фабрика. Заведены были они не на широкую ногу, зато устроены исправно и держались в хорошем порядке. У Макарья Залетов торговал, там у него были две лавки; в понизовых городах дела вел, в степи да за Урал за сырьем ездил. Опречь того, две расшивы у него возили по Волге пшеницу от Балакова до Рыбинска. В это дело сам он не вступался, предоставив его старшему женатому сыну, жившему с отцом за одну семью. Очень хотелось Гавриле Маркелычу пароход завести, потому что видел он скорый конец неуклюжим расшивам, баркам, коломенкам и ладьям, что исстари таскали кладь по Волге. Из головы у него не выходил пароход: целые часы, бывало, ходит взад и вперед и думает о нем; спать ляжет, и во сне ему пароход грезится; раздумается иной раз, и слышатся ему то свисток, то шум колес, то мерный стук паровой машины... Но не мог Гаврила Маркелыч исполнить заветной, долгие годы занимавшей его мечты – денег не хватало на постройку, а он сроду ничего в долг не делывал и ни за какие блага не стал бы делать займа... Зато ничего не пожалел бы, жену, детей рад бы, кажется, был продать, если б только можно было ему пароход свой доспеть.

Ходила молва по купечеству, что у Залетова денег много, и хоть не пишется он в первую гильдию, а будет богаче иных первогильдейцев. Как сказано, должен он сроду никому не бывал, торговал всегда на наличные. Выпадали случаи, столь обычные в жизни торгового человека, что Гавриле Маркелычу деньги бывали нужны дозарезу; тогда всякий бы с радостью готов был одолжить его, но Залетов ни за что на свете копейки у чужих людей не брал. «Нет, – говаривал он, – чужи-то денежки зубасты, возьмешь лычко, отдашь ремешок, займы та же кабала». Сын приставал иной раз, уговаривал вести торговлю на кредит.

– Батюшка, – скажет, бывало, ему, – сами вы у себя деньги отнимаете, – иной раз какой бы можно оборот сделать, а нет в наличности денег – дело и пропустишь... На ином деле можно бы такой барыш взять,



что и пароход бы выстроили.

– Не смущай ты меня, Антип, – отвечал обыкновенно на это Гаврила Маркелыч. – Экой лукавый – знает, чем смутить... Не поминай, не моги смущать родителя... Побольше тебя на свете живем, побольше твоего видали. Зачни-ка делать долги, – втянешься так, что по уши завязнешь... Слыхал, какие в прежние годы в нашем городе богатеи были? Вихляевых, к примеру, взять, Круподеровых – какими делами ворочали. Какие были у них заводы, а как пошли по этому чайному делу да стали на пустышку дело вести, все прахом пошло. Вон вихляевский-то внук в извозчиках на бирже стоит, а дед, прадед первыми людьми по всей Казани были... Нет, Антип, покаместь на свете живу, копейки ни у кого не возьму, да и тебе нет моего благословенья ни в долги входить, ни людям давать... Это все заморские купцы выдумали кредит этот – немцы... Ну их к бесовой матери!.. Одно наваждение!.. Будут у тебя залежные, строй пароход – дело выгодное, не чета твоим расшивам. А построивши пароход, коли еще лишних денег наживешь – другой выстрой, третий, а не то уж лучше по-старинному в кубышку да в подполье. Там крепче деньгам лежать, за море не улетят... А пуще всего в люди давать не моги, потому это баловство одно, как есть малодушие и больше ничего. Коли видишь человека в нужде, а человек он добрый, стоящий, – дай ему, только не в долг, а без отдачи. Справится по времени, принесет деньги – прими, не принесет – не поминай. А давай не грош, не гривну, а чтобы справиться можно было человеку. Пуще всего родне займы не давай да друзьям-приятелям, потому что долг остуда любви и дружбы. А случится, надоест какой человек и не сможешь ты от него ничем отделаться, дай ему займы, глаз не покажет... Это завсегда так: верь отцовскому слову... Помни это, Антип, во всю твою жизнь помни и детям своим заповедай, говаривал-де мне покойник родитель: «Плут, кто берет, плут, кто дает...»

Так думал и поступал Гаврила Маркелыч, оттого и жил в своей среде особняком. Не то чтобы люди его бегали аль б он от людей сторонился, но дружество ни с кем у него не клеилось.

А скрягой нельзя было назвать его. Никто честней Залетова с рабочими не разделялся. В заводе не бывало того у Гаврилы Маркелыча, чтоб обсчитать бедного человека. Да если бы паче чаяния и случилось, чтобы сын его сделал такое дело, гривну бы какую при расчете утянул, Гаврила Маркелыч ему голову бы, кажется, сорвал. У него было так: не ладен работник аль лентяй, какой, сейчас расчет, отдаст ему, что следует, до копейки, да тут же и на порог укажет, а хорошему рабочему сверх уговора что-нибудь даст, только накажет ему строго-настрого о прибавке никому не

сказывать... А в часовню, что у Татарского моста на Булаке стояла (раскольничал Гаврила Маркелыч, по беглому священству был), кто больше всего жертвовал?.. Кто ризы на иконах золотил, кто ослопные свечи к каждой Пасхе, к каждому Рождеству перед местными образами ставил, кто сирот и странников в часовенной богадельне всем удовлетворить старался?.. Гаврила Маркелыч Залетов даром что из часовенного общества, другие не в пример богаче его были... У кого каждую субботу нищим ручная раздача милостыни? У Гаврилы Маркелыча... Кто каждое воскресенье, каждый праздник в острог калачи посылает? Гаврила Маркелыч... У кого на окнах снаружи приворотной светелки каждую ночь хлеб, пироги и другую, какая случится, пищу кладут ради тайной милостыни? У Гаврилы Маркелыча...

В гостинном дворе аль на Бакалде<sup>[121]</sup> зачнут, бывало, купцы к нему приставать:

– Чтой-то ты, Гаврила Маркелыч, делаешь? Всем, сударь мой, ты на удивление! С такими деньгами, с таким твоим капиталом сидишь, братец мой, в третьей гильдии. Для че в перву не пишешься?

– Эх, други мои любезные, – молвит на то Гаврила Маркелыч. – Что за невидаль ваша первая гильдия? Мы люди серые, нам, пожалуй, она не под стать... Говорите вы про мой капитал, так чужая мошна темна, и денег моих никто не считал. Может статься, капиталу-то у меня и много поменьше того, как вы рассуждаете. Да и какой мне припен в первой гильдии сидеть? Кораблей за море не отправлять, сына в рекруты все едино не возьмут, коль и по третьей запишемся, из-за чего же я стану лишние хлопоты на себя принимать?

– Почету больше, Гаврила Маркелыч, – говорят ему торговцы.

– Ну уж почет, – нечего сказать! – ответит, бывало, Залетов. – Свысока-то станешь глядеть – глаза запорошишь. Не в пример лучше по-нашему, по-серому: лежи низенько, ползи помаленьку, и упасть некуда, а хоть и упадешь, не зашибеешься. Так-то, други вы мои любезные.

В семейном быту Гаврила Маркелыч был с головы до ног домовладыка старорусского завета. Любил жену, любил детей, но по-своему. Всегда казался с ними холоден, бывал даже суров ни за что ни про что, так, – здорово живешь. «Хозяин всему голова, – говаривал он, – жена и дети мои: хочу – их милую, хочу – в гроб заколочу». Воля Гаврилы Маркелыча была законом, малейшее проявление своей воли у детей считал он непокорством, непочтением, влекущим за собой скорую и строгую расправу. Когда сыну его пришла пора жениться, он сказал ему:

– Антипушка, пора тебе закон свершить, а невесту тебе я сыскал. Матвея Петровича Солодова дочку Аннушку видал?.. Хозяйка по тебе:

смирная, работающая, из себя казиста – видная такая, кость широкая, собой девка здоровенная, надолго тебе ее хватит, небось не овдоеешь... Говорю тебе, по всем статьям останешься доволен... Завтра сватов надо засылать, для того что мясоеду остается немного... Скорым делом вас окрутим; благо поп с Иргиза наехал.

Хоть об Аннушке Солодовой Антипу Гавриловичу и в голову никогда не приходило, но, не поморщившись, исполнил он волю родительскую, пошел под венец с кем приказано... И после ничего... Не нахвалится, бывало, женой. Ладно жили между собою.

Дочка еще была у Гаврилы Маркелыча – детище моленное, прошеное и страстно, до безумия любимое матерью. И отец до Маши ласков бывал, редко когда пожурит ее. Да правду сказать, и журишь-то ее было не за что. Девочка росла умненькая, добрая, послушная, а из себя такая красавица, каких на свете мало родится. Заневестилась Марья Гавриловна, семнадцатый годок ей пошел, стал Гаврила Маркелыч про женихов думать-гадать.

В старинных русских городах до сих пор хранится обычай «невест смотреть». Для того взрослых девиц одевают в лучшие платья и отправляются с ними в известный день на условленное место. Молодые люди приходят на выставку девушек, высматривают суженую. В новом Петербурге такие смотрины бывают на гулянье в Летнем саду, в старых городах – на крестных ходах. Так и в Казани водится.

Приближался день приноса чудотворной иконы из Семиозерской пустыни, когда казанские женихи невест высматривают. Гаврила Маркелыч велел жене Машу вырядить и отправиться на смотр.<sup>[122]</sup> Разрядилась Маша в шелки-бархаты и рано утром с матерью и невесткой пошла на широкую луговину, что расстилается между кремлем и Кижицами. Через нее должны были пронести икону Богородицы. Прихватили Залетовы с собой бабушку Абрамовну, двоюродную тетку Гаврилы Маркелыча, кочевавшую по родным и знакомым, где подомовничать, где за больным походить, где по хозяйству перед праздниками пособить. Маленько и сватаньем занималась Абрамовна.

Дело было в июне. С раннего утра гудел торжественный звон колоколов с пятидесяти казанских колоколен. Погода стояла теплая, ясная; поднимавшееся на небосклон солнце ярко освещало городские здания и кремлевские стены и переливчатым блеском играло на золотом шаре Сумбекиной башни. Разряженные горожане густыми толпами спешили по луговине к Кижицкому монастырю, куда еще с вечера принесли икону из Семиозерной обители. Женщин, как всегда и везде в подобных случаях,

было гораздо больше, чем мужчин; белые, красные, голубые и других ярких цветов наряды, цветные зонтики, распущенные над головами богомолки, придавали необычный в другое время праздничный вид луговине, весной заливаемой водопольем, а потом посещаемой разве только косцами да охотниками за болотной дичью. Чем ближе к монастырю, тем гуще и пестрей становились толпы. Народный говор, гиканье казаков, летавших взад и вперед по дороге, крики полицейских, в поте лица работавших над порядком, стук экипажей, несшихся к монастырю, и колокольный благовест – все слилось в один праздничный гул, далеко разносившийся по окрестностям. Семейство Гаврилы Маркелыча остановилось у того места, где должны были встретиться два крестных хода: один из города, другой из монастыря. Шестнадцатилетняя Маша сияла красотой: черные, как смоль, волосы оттеняли смуглое, румяное личико, огненные черные глаза так и горели из-под длинных ресниц. Высокая, стройная, статная девушка скромно стояла на месте, глаз не поднимая, а молодежь так и кружилась вокруг нее, так на нее и заглядывается. На всем поле не было красивее Маши Залетовой.

Но вот вместо мерного благовеста в монастыре затрезвонили. Затрезвонили тотчас и на городских колокольнях. Толпы пришли в движение: кто спешил к монастырю, кто к месту встречи крестных ходов. Из Кижич показалось церковное шествие: хоругви, кресты и, наконец, всеми ожидаемая икона, во время оно, как гласит предание, спасшая Казань от моровой язвы. Несли икону на руках священники, сопровождаемые пришлыми из дальних и ближних мест богомольцами... Запылены те богомольцы в пути, навьючены котомками и пещерами... В то же время по крутому спуску к реке Казанке, из Тайницких ворот кремля, двинулось другое шествие. Там развевались цеховые значки и церковные хоругви, блестели на солнце дородовые ризы духовенства, расшитые золотом мундиры казанских властей и штыки гарнизонного батальона, расставленного рядами по сторонам пути. Звон колоколов, грохот барабанов, военная музыка, пение клира и глухой перекатный топот многотысячной толпы сливались в нестройные, но торжественные звуки.

На приготовленном месте встретились крестные ходы. Все смолкло: и звон, и пение, и барабанный бой, и музыка, и народный топот, и говор. Всякий звук замер в громадной толпе, и далеко по луговине раздалось бряцанье серебряного кадила в руке архиерея, приветствовавшего фимиамом пришествие владычицы. Слышались еще шумный шорох от движения десятков тысяч рук крестившегося народа да звонкая, вольная песня жаворонка, лившаяся на землю из лазурного пространства. Но вот

архиерей, приняв на свои руки принесенную святыню, передал ее городскому голове, и клир торжественно воскликнул: «Днесь светло красуется град сей, яко зарю солнечную восприемше, владычице, чудотворную твою икону!..» Блеснули слезами взоры молящейся толпы, и десятки тысяч поверглися ниц пред ликом девы Марии. Опять загудели колокола, опять загрохотали барабаны, опять раздалось громкое пение, опять грянула военная музыка. Шествие двинулось в кремль. И у всех на душе было светло, легко и радостно.

– Ну вот и привел Господь проводить владычицу! Слава те, Господи, – говорили пришедшие издалека богомольцы, собираясь восвояси, иные за сотню верст и больше от Казани.

– Слава те, Господи! Дождались матушку пресвятую Богородицу! Привел Бог встретить царицу небесную, – набожно крестясь, говорили расхаживавшие по домам горожане. И, встречаясь с знакомыми, весело и радостно поздравляли они друг друга с великим празднеством. У всех лица сияли чистой, светлой радостью. На что толстый, широкоплечий, со здоровенными кулаками, частный пристав Хоменко, долго и неустанно возбуждавший православных к благоговению и порядку, даже и тот, остановясь у Тайницких ворот, раза два перекрестился усталою рукою... А затем, окинув с высоты горы орлиным взором расстилавшуюся внизу луговину и заметив на ней кучки богомольцев, там и сям рассевавшихся по траве, подозвал квартального и зычным голосом отдал приказ:

– Ишь их, чертей, что там насело!.. Взять трех хожалых да казаков. Для усиления четырех подчасков – через полчаса чтоб не было народу на поле. У меня не зевать!

И меньше чем через полчаса на поле не оставалось ни одного человека.

По случаю торжества в городской думе был завтрак, стоивший двух обедов. Это городской голова угощал архиерея с духовенством, губернатора со властями и почетное купечество. Стерляди были уму помрачение, разварной осетр глядел богатырем, а кулебяка вышла такая, что первый знаток поваренного дела, дюжий помещик Петр Александрович Кострильцов, хотел было пальчики облизать, да застыдился. Он ограничил восторг свой тем, что низенько издали поклонился голове, сделав ему ручкой и щелкнув языком. Голова, погладив бороду, собственноручно подлил хорошему человеку вина и примолвил: «Пожалуйте-с!..» Тостов было множество, пили за всех и за вся. Вечером город был иллюминирован, а в Швейцарии,<sup>[123]</sup> на даче губернатора, состоялся танцевальный вечер. Через день в губернских ведомостях напечатана была умилительная и в

высшей степени благонамеренная статья о минувшем торжестве. Все в ней было сказано, ни о чем не забыто – говорилось и о лазурных небесах, и о майском зефире в июне месяце, не были забыты ни яркое солнце, сочувствовавшее ликованию благочестивых жителей богоспасаемого града, ни песни жаворонка, ни осетры на завтраке, ни благочестие монахов Кижицкого и особенно Зилантова монастыря, ни восхитительные наряды дам на танцевальном вечере в Швейцарии, ни слезы умиления, ни превосходный полицейский порядок. В заключение упомянуто, что все жители города, без малейшего исключения, беспредельно преданы душой и сердцем его превосходительству господину губернатору и видят в нем не начальника, а отца. Статья понравилась, и все были уверены, что ее перепечатают в «Северной пчеле». Губернатор, читая статью, прослезился, читали ее даже казанские дамы, а редактор в первое воскресенье был приглашен к губернатору обедать, и после обеда губернаторша имела с ним разговор о поэзии и чувствах.

Дела давно минувших дней! А давно ли, кажется, были они?

Но возвратимся к семейству Гаврилы Маркелыча. Там жизнь не краснее, зато цельнее и не в пример своеобразней.

Когда на луговине перед Кижицами встретились крестные ходы, сделалась такая теснота, такая толкотня и давка, что Маша не успела оглянуться, как ее оттеснили от матери и чуть не сбили с ног. Не видя вокруг ни одного знакомого лица, девушка заплакала... Положение Маши, никогда не бывавшей в многолюдстве, в самом деле было трудное... Но нашелся избавитель. Красивый, статный молодой незнакомец взял трепетавшую от страха девушку под руку, сильной рукой раздвинул толпу и вывел на простор полуживую Машу. Она оправляла помятое платье и, глядя по сторонам, искала своих. Растерявшись, не догадалась даже поблагодарить молодого человека, не взглянула даже на него хорошенько.

– Вы с кем-с? С маменькой, что ли-с? – спрашивал Марью Гавриловну ее избавитель, любуясь красотой плачущей девушки.

– С маменькой... с сестрицей... да еще бабушка с нами... – отвечала Маша, всхлипывая.

– Не плачте-с... они придут... сейчас придут-с, – успокаивал ее молодой человек. – Будемте стоять здесь на одном месте, непременно придут-с.

Взглянула Маша на молодого человека, и сердце у нее упало. Сроду не видала она таких красавцев. Да и где было видеть их, сидя дома чуть не взаперти?

Скоро заметила она и мать и невестку, успевших кое-как выдраться из толпы. Она подбежала к ним. Когда все ахали и охали, а Маша рассказывала, что ее совсем было задавили, да, спасибо, добрый человек выручил, он и подошел к Залетовым. Мать поблагодарила его, но разговор у них не клеился. Узнали, однако ж, что это был купеческий сын из Москвы, Евграф Макарыч Масляников, накануне приехавший в Казань, где знакомых у него не было ни единого человека. Машина мать сказала Масляникову, кто они такие и где живут. Затем расстались.

Не вздумай сам Гаврила Маркелыч послать жену с дочерью на смотрины, была бы в доме немалая свара, когда бы узнал он о случившемся. Но теперь дело обошлось тихо. Ворчал Гаврила Маркелыч вплоть до вечера, зачем становились на такое место, зачем не отошли вовремя, однако все обошлось благополучно – смяк старик. Сказали ему про Масляникова, что, если б не он, совсем бы задавили Машу в народе. Поморщился Гаврила Маркелыч, но шуметь не стал.

– Как его зовут, говоришь ты? – спросил он жену.

– Евграфом Макарычем. – ответила она.

– Из Москвы?

– Московский, рассказывал.

– Гм! Уж не тех ли это Масляниковых, что дом на Сыромятниках? Макарыч по отчеству-то? – спрашивал Гаврила Маркелыч.

– Макарыч.

– Пожалуй, что из них, – молвил Гаврила Маркелыч. – Старика-то Макар Тихоныч зовут; люди богатые, в миллионе... Вот бы тебе, Маша, такого молодца подцепить, – прибавил он, обращаясь к дочери.

Маша поникла головой и зарделась, как маков цвет.

– Чего краснеть-то? – молвил отец. – Дело говорю, нечего голову-то гнуть, что кобыла к овсу... Да если б такое дело случилось, я бы тебя со всяким моим удовольствием Масляникову отдал: одно слово, миллионеры, опять же и по нашему согласию – значит, по Рогожскому. Это по нашему состоянию дело не последнее... Ты это должна понимать... Чего глаза-то куksiшь?... Дура!

– Да я... тятенька... право, не знаю... – бессвязно говорила Маша, а у самой так и волнуется грудь, так и замирает сердце, так и подступают рыдания, напрасно силится она сдерживать их, глядя на отца перепуганными глазами.

– Чего тут – тятенька! – ворчал свое Гаврила Маркелыч. – Подчаль такого жениха, коль на самом деле сыном Макару Тихонычу приходится, я тебе, кажись, в ноги поклонюсь, даром что отец, а ты мое рождение... Ей-

Богу, право, поклонился бы... Чего рюмишь? Понимаешь ли ты, глупая, что такое означает одно слово Масляников?.. То пойми – миллионеры... Ведь если бы Господь такую благодать послал, не то что тебя, нас бы тогда рукой не достать!.. Чужих денег не бирывал, а от тебя, от своего рожденья, завсегда могу взять... Потому что тебя на свет породил... Пароходище какой бы я тогда сляпал – понимаешь ты это аль нет?.. Строят теперь на Балахне «Сампсона», чуть не в пятьсот сил, я бы в тысячу выстроил... Ты это понимать должна!.. Потому, что ты дочь – мое рождение... Так ли говорю?.. А?.. Так аль не так?

Маша только рыдала.

– Хныкать-то нечего! – продолжал свое Гаврила Маркелыч. – За ум берись. Говорят тебе: причаливай жениха – лучше этого в жизни не будет... Бог даст, завернет к нам, а не завернет, сам пойду, разыщу, заманю... Смотри ж у меня, Марья, – скачи перед ним задом и передом – это уж ваши девичьи ухватки, тут вашу сестру учить нечего, а чтоб у меня этот жених был на причале... Слышала?.. Мне бы только пароход, а все прочее, как знает Господь, так и устроит... Его святая воля!.. Только ты у меня смотри, Марья, хоть и сказано тебе от отца, от родителя значит: причаливай Масляникова, а того не забывай – коли прежде венца до греха дойдешь, живой тебе не быть. Мужа прилучай, а девичью честь не порушай... Помни мое слово, ты уж не махонькая, все понимать должна.

Дня через два молодой Масляников приехал к Гавриле Маркелычу будто китайку торговать, хоть ему ни до какой китайки дела не было. Китайки у Гаврилы Маркелыча не оказалось, работали ее только по заказам. Зашли разговоры о том, о сем, и Гаврила Маркелыч с удовольствием узнал, что гость его в самом деле сын московского богача Масляникова. Знакомство завязалось. Гаврила Маркелыч частенько зазывал Евграфа Макарыча на вольном воздухе чайком побаловаться, в саду, в беседке. Хоть Масляников в Казани был проездом и никаких дел у него там не было, однако прожил недели три и чуть не каждый вечер распивал чай в беседке Гаврилы Маркелыча, а иногда оставался на короткое время один на один с Машей. Сначала они молчали, потом разговорились... Прошла неделя, другая, третья, и зоркий глаз бабушки Абрамовны, лазившей за чем-то на чердак, подкараулил, как в темном уголке сада, густо заросшем вишеньем, Масляников не то шептал что-то Маше на ухо, не то целовал ее. Сослепу старуха хорошенько не разглядела...

Пока Абрамовна раздумывала, сказать аль нет родителям про то, что подглядела, Масляников, собравшись в путь, попросил Гаврилу Маркелыча переговорить с ним наедине о каком-то важном деле. Долго говорили они в



беседке, и кончился разговор их тем, что Евграф Макарыч весело распростился со всеми, а Гаврила Маркелыч обещался на другой день проводить его до пристани.

Воротясь домой, Залетов говорил жене:

– Помнишь, как вы тогда со смотрин из Кижиц пришли? Шутки я тогда с Марьей шутил, хорошо бы, мол, Евграфа Макарыча подчалить? Шутки-то на правду стали походить.

– Что ты, Маркелыч? – вскрикнула жена его. – Неужели в самом деле?

– Врать, что ли, стану? – закричал Гаврила Маркелыч, да так, что жена маленько вздрогнула. – Посватался, – прибавил он, понизив голос.

– Что ж ты сказал, Маркелыч? Как решил? – спросила взволнованная мать.

– Нечего пока решать-то, – ответил Гаврила Маркелыч. – Сказал, что тут прежде всего воля родительская, если, мол, Макар Тихоныч пожелает с нами родниться, мы, мол, не прочь... Станем ждать вестей из Москвы... Да ты Марье-то покаместь не говори... нечего прежде времени девку мутить. Да никому ни гугу, лучше будет.

Но Маша смекнула, что Масляников сватался. Видя, что отец был необычайно ласков на прощанье с Евграфом Макарычем, даже на пароход проводил его, с радостным трепетом сердца она догадалась, что дело на лад пошло. Расцвела, повеселела девушка, стала краше прежнего. С раннего утра до позднего вечера вольной пташкой распевала она. Бегая по отцовскому садику, вспоминая, на каком месте какие сладкие речи говаривал ее желанный. Отец гораздо мягче стал, крику его больше не слышно; даже ласкал то и дело Машу. Бывало, придет в сад, взглянет на нее и молвит, улыбаясь:

– Не приустила ль, Машенька? Что это день-деньской ты по саду все строчишь?

– Нет, тятенька. Какая мне усталъ? Не работа какая.

– Ну гуляй, девка, гуляй, пой свои песенки, – молвит Гаврила Маркелыч и своей дорогой пойдет.

Письмо из Москвы пришло, писал Евграф Макарыч, что отец согласен дать ему благословенье, но наперед хочет познакомиться с Гаврилой Маркелычем и с будущей невесткой. Так как наступала Макарьевская ярмарка, Евграф Макарыч просил Залетова приехать в Нижний с Марьей Гавриловной. Тут только сказали Маше про сватовство. Ответила она обычными словами о покорности родительской воле: за кого, дескать, прикажете, тятенька, за того и пойду, а сама резвей забежала по саду, громче и веселей запела песни свои.

– Человек он хороший, – как-то сказал отец. – Люб он тебе, Маша?  
– Он добрый... пригожий такой... – краснея, проговорила Маша.  
– Что пустяки-то городишь! – крикнул Гаврила Маркелыч. – Пригожий!.. А какого шута тебе в его пригожестве? С мужнина лица не воду пить; какого Бог уродил, таков и будет – все едино... Тут главная причина, что один сын у отца: рано ли, поздно ли все капиталы ему без раздела достанутся. Опять же люди они постоянные, благочестивые. Дом богобоязненный, от кого ни послышишь. Вот это статья!.. Ты не на рожу, в мошну гляди. Уж выдать бы мне только тебя, Марья, за Масляникова, какой бы мы с тобой пароход спустили!.. Первый по Волге был бы!..

Старик Масляников был старый вдовец. Схоронив Евграфову мать, женился он на молоденькой девушке из бедного семейства, но и та пожила недолго. Поговаривали, будто обе жены пошли в могилу от кулаков благоверного. В третий раз Макар Тихоныч жениться не хотел.

«Куда мне, старому грибу, с молодой женой возиться!.. Пора душу спасать, век мой на исходе», – говаривал он свахам, зачастившем было к богатому вдовцу с предложеньями своего товара. «Правда, – продолжал он, – без бабьего духа в доме пустым что-то пахнет, так у меня сыну двадцать первый пошел, выберу ему хорошую невесту, сдам дела и капитал, а сам запрусь да Богу молиться зачну. Мы свое изжили, наше время прошло, – молодым надо дорогу давать. Да и то сказать надо, не хочу от врага рода человеческого жену себе пояти, потому сказано: «Перва жена от Бога, втора от людей, третья от беса».

Воротясь из Казани, Евграф Макарыч, заметив однажды, что недоступный, мрачный родитель его был в веселом духе, осторожно повел речь про Залетовых и сказал отцу: «Есть, мол, у них девица очень хорошая, и если б на то была родительская воля, так мне бы лучше такой жены не надо».

– Ишь ты! – усмехнулся отец. – Я его на Волгу за делом посылал, а он девок там разыскивал. Счастлив твой Бог, что поставку хорошо обладил, не то бы я за твое малодушие спину-то нагрел бы. У меня думать не смей самому невесту искать... Каку даст отец, таку и бери... Вот тебе и сказ... А жениться тебе в самом деле пора. Без бабы и по хозяйству все не ходко идет, да и в дому жилом не пахнет... По осени непременно надо свадьбу сварганить, надоело без хозяйки в доме.

– А разве, тятенька, у вас есть на примете? – взволнованным голосом спросил Евграф.

– А тебе что за дело? Сыщу, так скажу.

Замолк Евграф Макарыч, опустил голову, слезы на глазах у него выступили. Но не смел супротив родителя словечка промолвить. Целу ночь он не спал, горя о судьбе своей, и на разные лады передумывал, как бы ему устроить, чтоб отец его узнал Залетовых, чтобы Маша ему понравилась и согласился бы он на их свадьбу. Но ничего придумать не мог. Одолела тоска, хоть руки наложить, так в ту же пору.

Прошло с неделю времени. Приехал однажды Макар Тихоныч из города развеселый. Сели обедать, говорит он сыну:

– Сегодня нам с тобой, Евграф, счастья Бог послал – всю залеж, что ее в лавке ни было, с рук спустил. Что ни было старого, негодящего товару, весь сбыл, да еще за наличные. Думал убытки нести, выпал барыш, да какой!

– Кому же, тятенька, продали? – робко спросил Евграф Макарыч.

– Послал Господь олуха. Благодарю создателя!.. Из Сибири дурак приехал. Дела-то свои только что начинает, толку-то ни в чем еще не смыслит. Молоденький, вот как твое же дело, легковёрный такой: что ему ни ври, всему верит... Уж и объегорил же я его, обул как Филю в чертовы лапти!.. Ха-ха-ха!.. Не забудет меня довеку... Надо будет завтра на Рогожское съездить, Господа поблагодарить... Вели-ка после обеда приказчику пшеничной муки туда свезти, по кулю на каждую палату, да масла деревянного бутылки две Богу на лампадки.

– Слушаю, батюшка.

– А ведь тебе, дураку, не удастся этак с алтыном под полтину подъехать! – хвалился Макар Тихоныч. – Посмотрю я на тебя, Евграф, толку-то в тебе нисколько нет – ни на маково зернышко... Помру – в прах проторгуешься. Ей-Богу, помяни мое слово. Сноровки, братец, до сих пор не знаешь, не знаешь, как обойти покупателя, как ему намолоть с три короба, чтоб у него в глазах помутилось, в мыслях бы затуманило. Да что про это толковать, – со вздохом прибавил Макар Тихоныч, – известно дело, что глупому сыну и родной отец ума к коже не пришьет... Разве вот как женю тебя, не будешь ли маленько поумнее?.. Да, чуть было не забыл спросить... Намедни ты про Залетовых поминал... Ездит он к Макарью аль нет?

– Как же, тятенька! Ездит, – немного оторопев от неожиданного вопроса, ответил Евграф Макарыч. – В казенном гостином дворе, в китаечном ряду, лавка у него, да в деревянных рядах мылом торгует.

– Так. В китаечном да в мыльном... – раздумывал Макар Тихоныч. – Это хорошо... Фабрика у него, сказываешь, да завод?

– Так точно, тятенька.

– Ладно... Оборот велик?

– Не могу сказать, а должно быть, немалый... Гаврило же Маркелыч только на наличные торгует, грошом не кредитует, – отвечал Евграф.

– Дурак, значит, хоть его сегодня в Новотроицком за чаем и хвалили, – молвил Макар Тихоныч. – Как же в кредит денег аль товару не брать? В долги давать, пожалуй, не годится, а коль тебе деньги дают да ты их не берешь, значит, ты безмозглая голова. Бери, да коль статья подойдет, сколь можно и утани, тогда настоящее будет дело, потому купец тот же стрелец, чужой оплошки должен ждать. На этом вся коммерция зиждется... Много ль за дочерью Залетов дает?

– Не знаю, тятенька, о том речи не было. Как же бы смел я без вашего приказанья спросить? – отвечал Евграф Макарыч.

– Это ты умно сказал!.. Обмолвился, должно быть, – проговорил Макар Тихоныч, выпив стакан холодного квасу и погладив седую бороду. – Один сын, говоришь, да дочь, только всего и детей?

– Только, тятенька.

– Сын-то отделен?

– Нет еще, не отделен, – отвечал Евграф Макарыч. – Дал родитель ему расшивы на весь отчет, а прочее все при нем.

– Так... – промычал Макар Тихоныч. – Много хорошего про Залетова я наслышан, – продолжал он, помолчав и поглядывая искоса на сына. – С кем в городе ни заговоришь, опричь доброго слова ничего об нем не слыхать... Вот что: у Макарья мы повидаемся, и коли твой Залетов по мысли придется мне, так и быть, благословлю – бери хозяйку... Девка, сказывают, по всем статьям хороша... Почитала бы только меня да из моей воли не выходила, а про другое что, как сами знаете.

На тот раз тем разговор и кончился. Но и этого много было Евграфу. На другой же день отписал он Гавриле Маркелычу.

Поехали на ярмарку и Масляниковы, и Залетовы. Свиделись. Макару Тихонычу и сам Залетов по нраву пришелся. «Человек обстоятельный», – сказал он сыну по уходе его. Хотя слово то было брошено мимоходом, но, зная отцовский нрав, Евграф так обрадовался, что хоть вприсядку.

Дня через три завернул старик Масляников в китаечный ряд, свиделся там с Гаврилой Маркелычем. Слово за слово. Залетов позвал гостя наверх в палатку чайку напиться. Поломался маленько Макар Тихоныч, однако пошел. Тут увидал семейных Гаврилы Маркелыча. Маша ему приглянулась.

– Девка придется нам ко двору, – молвил он сыну, воротясь домой. – Экой ты плут какой, Евграшка! Кажись, и не доспел разумом, а какую паву

выследил – умному так впору. Как бы ты по торговой-то части такой же дока был, как на девок, тебя бы, кажется, озолотить мало... Засылай сваху, дурак!..

– Тятенька! – вне себя от радости закричал Евграф, кидаясь отцу в ноги и целуя его руки. – Тятенька! Благослови вас Господи!

– Дурак! не тебе меня благословлять, а мне тебя... Ноги выше головы не растут, – угрюмо ответил Макар Тихоныч, отстраняя Евграфа. – Чего лижешься, ровно теленок?.. Очумел?.. Ишь как его прорвало!.. Сказано: сваху засылай – чего еще тебе?.. По всему видно, каков ты разумом: люди говорят: «Дурак и посуленному рад». Так и ты.

– Тятенька, тятенька! – говорил Евграф, и смеясь и заливаясь слезами. – Вы родитель мой... вы отец... глава... Не отталкивайте меня... Как Бог, так и вы... батюшка!

– Да чего визжать-то? Сказано, есть на то воля родительская... Какого тебе еще лешего?

Отыскал Евграф Макарыч знакомую купчиху, попросил ее за сваху быть. Без свахи нельзя – старозаветный обычай соблюсти необходимо. Решили после ярмарки ехать в Москву и там свадьбу играть. По-настоящему жениху бы с родней надо было ехать к невесте, да на это Макар Тихоныч не пошел бы... Гордыня!.. Поедет такой богатеи к купцу третьей гильдии... Как же!..

Полная светлых надежд на счастье, радостно покидала свой город Марья Гавриловна. Душой привязалась она к жениху и, горячо полюбив его, ждала впереди длинного ряда ясных дней, счастливого житья-бытья с милым избранником сердца. Не омрачала тихого покоя девушки никакая дума, беззаветно отдалась она мечтам об ожидавшей ее доле. Хорошее, счастливое было то время! Доверчиво, весело глядела Марья Гавриловна на мир Божий.

Макар Тихоныч непомерно был рад дорогим гостям. К свадьбе все уже было готово, и по приезде в Москву отцы решили повенчать Евграфа с Машей через неделю. Уряжали свадьбу пышную. Хоть Макар Тихоныч и далеко не миллионер был, как думал сначала Гаврила Маркелыч, однако ж на половину миллиона все-таки было у него в домах, в фабриках и капиталах – человек, значит, в Москве не из последних, а сын один... Стало быть, надо такую свадьбу справить, чтобы долго о ней потом толковали.

В свадебных хлопотах помолодел старик Масляников, нравом даже ровно переродился. Незаметно стало в нем порывов своенравия, всячески угождал он названным родным, а к невесте так был ласков, что всем

знавшим крутой и мрачный нрав его было то на великое удивление.

Венчанье назначено. За несколько дней перед тем Залетов, как водится, сделал сговор на своей квартире. Немало гостей съехалось, и все шло обычной чередой: пели девушки свадебные песни, величали жениха с невестой, величали родителей, сваха плясала, дружка балагурил, молодежь веселилась, а рядом в особой комнате почетные гости сидели, пуншевали, в трынку<sup>[124]</sup> играли, про свои дела толковали. Макар Тихоныч верховодил и, видя воздаваемый ему со всех сторон почет, вполне благодушествовал. Нередко выходил он в комнату, где молодежь справляла свое дело, подшучивал над товарищами Евграфа: «Нуте-ка, дескать, сыщите другую такую королеву», подсаживался к Маше, называл ее милой дочкой и, шутя, низко кланялся и просил, чтоб она, сделавшись хозяйкою, не согнала его, старого хрыча, со двора долой, а покоила б и берегла старость его да поскорей бы внучат народила ему. Маша краснела от шуток нареченного свекра, ласкалась к нему робко, но так доверчиво, как не всякая дочь к родному отцу ласкается. Глядя на жениха, утопала она в счастье.

Ужинать сели. Как водится, жениха с невестой рядом посадили, по другую сторону невесты уселся Макар Тихоныч. Беседа шла веселая, вино рекой лилось – хорошо пировали. Вдоволь угостился Макар Тихоныч, поминутно сыпал шутками. В конце стола, взглянув на невесту, сказал, обращаясь к Гавриле Маркелычу:

– Ну, сватушка, нечего сказать – умел дочку уродить, умел и вырастить. Такой красавицы, такой умницы, пройди всю Москву насквозь, с огнем не отыщешь.

– Какова есть – вся тут, – шутил Гаврила Маркелыч. – Отдаем без обману.

– И молодцов таких, как Евграф Макарыч, тоже с огнем поискать, – думая польстить Макару Тихонычу, молвила Машина мать. – Тоже по всей Москве другого такого, пожалуй, не найдется.

– Таких-то здесь непочатый угол, – ответил Макар Тихоныч. – Много почище найдется!

– Где же много? – сказала Залетова. – Что-то ровно таких и не видать.

– А хоть бы я, например? – отрезал Масляников, облокотясь на стол и прищурясь на Машу. – Куда ж ему равняться со мной? У меня голова на плечах, а у него что? Тыква, не голова!

– Про это что говорить, – молвила Машина мать. – Только уж не прогневайтесь, Макар Тихоныч, старый молодому неровня, наше с вами время прошло.

– Про это бабушка-то надвое сказала, – ляпнул подгулявший Макар

Тихоныч. – Хоть седа борода, а за молодого еще постою. Можно разве Евграшку со мной равнять? Да он ногтя моего не стоит!.. А гляди, какую королеву за себя брать вздумал... Не по себе, дурак, дерево клонишь – выбирай сортом подешевле, – прибавил он, обратясь к оторопевшему сыну.

– Чтой-то вы, Макар Тихоныч? – вступился Залетов. – Как же можно так обижать?

– Какая тут обида? – кричал Масляников. – Кому?.. Чать, Евграшка маленько сродни мне приходится? Что хочу, то с ним и делаю – хочу – с кашей ем, хочу – масло из него пахтаю. Какая ему от меня обида быть может?

Все замолчали, видя разгорячившегося Макара Тихоныча.

– Что за шутки, сватушка?.. – молвила Машина мать. – Время ль теперь?

– Какие шутки! – на всю комнату крикнул Макар Тихоныч. – Никаких шуток нет. Я, матушка, слава тебе Господи, седьмой десяток правдой живу, шутком сроду не бывал... Да что с тобой, с бабой, толковать – с родителем лучше решу... Слушай, Гаврила Маркелыч, плюнь на Евграшку, меня возьми в зятя – дело-то не в пример будет ладнее. Завтра же за Марью Гавриловну дом запишу, а опричь того пятьдесят тысяч капиталу чистоганом вручу... Идет, что ли?

Жених пополовел – в лице ни кровинки. Зарыдала Марья Гавриловна. Увели ее под руки. Гаврила Маркелыч совсем растерялся, захмелевший Масляников на сына накинудся, бить его вздумал. Гости один по другому вон. Тем и кончился Машин сговор.

Все думают, захмелел старик за ужином и, не помня себя, наговорил глупых речей. Но хмель со сном прошел, а блажь из головы Макара Тихоныча не вылезла, шальная мысль, засев в голову пьяного самодура, ровно клином забита была... «А дай-ка распотешу всех, – думал, проснувшись и потягиваясь на одинокой постели, Макар Тихоныч, – сам-ка женюсь в самом деле на Марье. Пуцай Москва две недели про мою свадьбу толкует... Девка же сдобная, важная – грудь копной, глаза так и прыгают. Крепыш девка, ровно репа, – знатная будет жена!» – думал, подзадоривая себя, Макар Тихоныч.

Наутро вырядился, прямо к Залетовым.

– Коли хочешь со мной родниться, – сказал Гавриле Маркелычу, – выдавай дочь за меня. Мой молокосос рылом не вышел, перстика ее не стоит – какой он ей муж?.. Толковать много нечего, не люблю... Кончать, так разом кончай, делом не волочи... Угостил ты меня вечер на славу, Гаврила Маркелыч, развеселое было у тебя пиrowанье... Спасибо за

угощенье... Ну, грешным делом, хоть и шумело у меня в голове, и хоть то слово во хмелю было сказано, однако ж я завсегда правдой живу: от слова не пячусь. Отдашь за меня Марью Гавриловну, сегодня ж ей дом и пятьдесят тысяч в опекунский совет на ее имя внесу... Ты это понимай, как оно есть, Гаврила Маркелыч: все будет записано на девицу Марью Гавриловну Залетову, значит, если паче чаяния помрет бездетна, тебе в род пойдет... А пароход мой, что на Волге бегают, знаешь, чать, «Смелый» прозывается, в шестьдесят сил, да две баржи при нем – это у меня тестю в подарок сготовлено.

Вот он пароход-от!.. Век думал, гадал про него Гаврила Маркелыч, совсем было отчаялся, а он ровно с неба упал. Затуманилось в голове – все забыл, – один пароход в голове сидит.

– Как же это будет? – раздумывал Гаврила Маркелыч.

– Так же и будет, как сказываю, – отозвался Макар Тихоныч. – А то, пожалуй, отдавай свою дочь и за Евграшку, перечить не стану; твое детище, твоя над ним и воля. Только знай, что ему от меня медного гроша не будет ни теперь, ни после... Бери зятя в дом, в чем мать на свет его родила, – гроша, говорю, Евграшке не дам, – сам женюсь, на ком Бог укажет, и все, что есть у меня, перепису на жену. А не женюсь, все добро до копейки размытарю... С цыганками пропью, в трынку спущу, а Евграшке медной пуговицы не оставлю. Слово мое крепко.

Пароход, дом, пятьдесят тысяч, а пуще всего пароход... Взглянул Гаврила Маркелыч на иконы, перекрестился и, подавая руку Масляникову, сказал:

– Видно, есть на то воля Божия. Будь по-твоему, любезный зятюшка.

Обнялись старики, поцеловались.

– Когда ж невесте-то будешь объявлять? – спросил новый жених.

– Когда хочешь, – ответил Гаврила Маркелыч. – Хоть сегодня же. Привози только наперед купчие билеты. Тут ей и скажем.

Нашла коса на камень. Попал топор на сучок... Думал Масляников посулом отъехать, да не на того напал... А сердце стариковское по красавице разгорелось; крякнул Макар Тихоныч, поморщился, однако ж поехал купчие совершать и деньги в совет класть.

На другой день отдал он бумагу и билеты нареченному тестю. Продали Машу, как буру корову.

Свадьбу сыграли. Перед тем Макар Тихоныч послал сына в Урюпинскую на ярмарку, Маша так и не свиделась с ним. Старый приказчик, приставленный Масляниковым к сыну, с Урюпинской повез его в Тифлис, оттоль на Крещенскую в Харьков, из Харькова в Ирбит, из



Ирбита в Симбирск на Сборную. Так дело и протянулось до Пасхи. На возвратном пути Евграф Макарыч где-то захворал и помер. Болтали, будто руки на себя наложил, болтали, что опился с горя. Бог его знает, как на самом деле было.

Восемь лет выжила Марья Гавриловна с ненавистным мужем. Что мук стерпела, что брани перенесла, попреков, побоев от сурового старика. Тому только удивляться надо, как жива осталась... Восемь лет как в затворе сидела, из дому ни разу не выходила: старый ревнивец, под страхом потасовки, к окнам даже запретил ей подходить. Только и жила, бедная, памятью о милом сердцу да о тех немногих, как сон пролетевших, днях сердечного счастья, что выпали на ее долю перед свадьбой. Истаяла вся, стала худа, желта и совсем опротивела мужу. Макар Тихоныч ядреных, дородных любил.

Совсем одичала Марья Гавриловна, столько лет никого не видя, кроме скитских стариц, приезжавших в Москву за сборами. Других женщин никого не позволялось ей принимать. Отец с матерью померли, братнина семья далеко, а Масляников строго-настрого запретил жене с братом переписываться.

Впрочем, Макар Тихоныч человек был благочестивый, набожный, богомольный. На сгибах указательных и средних пальцев от земных поклонов мозоли у него выросли, и любил он выставлять напоказ эти признаки благочестия. Много денег жертвовал на скиты и часовни, не только все посты соблюдал, понеделничал даже, потому и веровал без сомнения в спасение души своей. Чтоб это было еще повернее, в доме читалку ради повседневной Божественной службы завел. Случалось, что читалка, после келейных молитв, с Макаром Тихонычем куда-то ночью в его карете ездил, но что ж тут поделаешь? – враг силен, крепких молитвенников всегда наводит на грех, а брэнному человеку как устоять против демонского стреляния? И то надо помнить по сто поклонов на день, отпой шесть молебнов мученице Фомаиде, ради избавления от блудных страсти, все как с гуся вода, – на том свете не помянется.

Приехала раз в Москву мать Манефа. Заговорили об ней на Рогожском. Макар Тихоныч давно ее знал и почитал чуть не за святую. Молил он матушку посетить его, тут-то и познакомилась с нею Марья Гавриловна.

Мать Манефа наслышана была про судьбу бедной женщины и, вспоминая свое прошлое, поняла ее страдания. Коротко они сблизились, Марья Гавриловна вполне высказалась Манефе, ни с кем никогда так по душе она не разговаривала, как с нею. Игуменья плакала с ней и утешала

не мертвыми изречениями старых книг, а задушевными словами женщины, испытавшей сердечное горе. Тихонько от Макара Тихоныча и от его читалки молилась Манефа с Марьей Гавриловной за упокой раба Божия Евграфа. Молитвой, терпением, упованием на милость Господню Манефа учила ее врачевать наболевшее сердце. И слезы Марьи Гавриловны, после каждой беседы с игуменьей, казались ей не столь горьки, как прежде, а на душе становилось светлей. Не водворялось в этой душе сладкого, мирного покоя, что бывает уделом немногих страдающих, зато холодное бесстрашие, мертвенная притупленность к ежедневным обидам проникли все ее существо. Мало-помалу перестала Марья Гавриловна ненавидеть своего злодея, стала думать о нем с сожалением. Даже на молитве стала поминать мужа, а прежде и в голову ей того не приходило.

Тогда Манефа бывала в Москве нередко, и с каждым приездом ее Марья Гавриловна сильней к ней привязывалась. Дело понятное: кроме Евграфа, никто еще не относился к ней с истинной любовью. Отец продал ее за пароход, мать любила, но сама же уговаривала идти за старика, что хочет их всех осчастливить; брат... да что и поминать его, сам он был у отца забитый сын, а теперь, разбогатев от вырученного за счастье сестры парохода, живет себе припеваючи в своей Казани, и нет об нем ни слуху ни духу. Мать Манефа всех дороже стала Марье Гавриловне.

На девятый год третьего своего супружества, в понедельник, на масленице, Макар Тихоныч, накушавшись первых блинов с икрой у знакомого и запив блины холодненьким, воротился домой, обругал хозяйку, прилег на диван и отдал Богу спасенную душу свою.

На волю вышла Марья Гавриловна... Фабрика, дом, деньги – все ее. Богатство, свобода, а не с кем слова перемолвить...

Куда деваться двадцатипятилетней вдове, где приклонить утомленную бедами и горькими напастями голову? Нет на свете близкого человека, одна как перст, одна голова в поле, не с кем поговорить, не с кем посоветоваться. На другой день похорон писала к брату и матери Манефе, уведомляя о перемене судьбы, с ней толковала молодая вдова, как и где лучше жить – к брату ехать не хотелось Марье Гавриловне, а одной жить не приходится. Сказала Манефа:

– Да к нам милости просим, в нашу святую обитель: мы бы вас успокоили.

– Не могу я, матушка, снести иноческой жизни – не в силах черной рясы надеть.

– А зачем ее надевать? – возразила игуменья. – У нас обитель большая, места вдоволь, желательно со мной жить, место найдется, хоть, правду

сказать, тесненько вам покажется, после этих хором неприглядно. Не то поставьте себе келью, какую знаете, и живите в ней со своими девицами. Угодно к службе Божией – ходите, не угодно – не взыщем. Будете жить на своем отчете и на полной своей воле. А если насчет пищи или одежды беспокоитесь, так вы и не в числе обительских будете: у нас свой устав, у вас будет свой, и скромное кушайте на здоровье и цветное носите.

Так расхваливала Манефа жизнь монастырскую, что Марье Гавриловне понравилось ее приглашение. Жить в уединении, в тихом приюте, среди добрых людей, возле матушки Манефы, бывшей во дни невзгод единственною ее утешительницей, – чего еще лучше?..

– А вы, сударыня Марья Гавриловна, вот как сделайте, – советовала ей Манефа. – Сорочины по покойнике придутся в понедельник на шестой. До того из дому вам уехать нельзя: и люди осудят, и перед Богом грешно... Каков бы ни был Макар Тихоныч, царство ему небесное, все же супруг – простить надо его, сударыня, за все озлобления... молиться надо, успокоил бы Господь многмятежную душу его... Вот мы вместе с вами и помолимся... Если угодно, останусь у вас до сорочин. В то время устройте дела, а на шестой неделе, если реки пропустят, поедемте к нам за Волгу. Пасха-то нынче ранняя, кажись бы к тому времени дорогам не надо испортиться. Страстную службу у нас послушаете, воскресение Христово встретим, а потом и гостите у нас, сколько заблагорассудится... Посмотрите на наши обычаи, узнаете наше житье-бытье и, коли понравится, ставьте к зиме келью себе, местечко отведу хорошее, возле самой часовни, и садик разведете и все, что вам по мысли придется.

Марья Гавриловна согласилась. Когда брат ее приехал из Казани и стал уговаривать богатую сестру ехать к нему на житье, она ему наотрез отказала. Обещалась, впрочем, летом побывать к нему на короткое время в Казань.

Явились наследники, были предъявлены векселя покойника. Марья Гавриловна продала фабрику, разделалась со всеми без споров. У ней осталось больше двухсот тысяч наличными да дом полная чаша.

К Пасхе Манефа воротилась в Комаров с дорогой гостьей. Марье Гавриловне скитское житье приятным показалось. И немудрено: все ей угождали, все старались предупредить малейшее ее желанье. Не привыкшая к свободной жизни, она отдыхала душой. Летом купила в соседнем городке на своз деревянный дом, поставила его на обительском месте, убрала, разукрасила и по первому зимнему пути перевезла из Москвы в Комаров все свое имущество.

Москву, кроме горя, нечем было ей помянуть, и она прервала с нею все

сношения. Наследники, очень довольные ее непритязательностью, хотя и называвшие ее за то дурой, кредиторы, которым с другого без споров и скидок вряд ли можно было получить свои деньги, писали к ней ласковые письма, она не отвечала. На родину, в Казань, к брату ездила. Там и братняя семья, и другие родные и знакомые, помня Марью Гавриловну еще девочкой, наперерыв друг перед дружкой за ней ухаживали. И женихи закружились вокруг богатой молодой вдовушки. Выгоднее ее по всему Поволжью вряд ли другая невеста была, но она никому ни словом, ни взглядом не подала на успех надежды. Свахам от нее был один ответ: «Из скитов замуж не выходят». И брат и невестка пытались уговаривать Марью Гавриловну выбрать друга по мысли, но она на их речи только головой качала. Несмотря на неудачи, искатели не оставляли в покое богатой невесты. Надоело ей, и поспешила она уехать в мирный приют на Каменном Вражке.

Тихо, спокойно потекла жизнь Марьи Гавриловны, заживали помаленьку сердечные раны ее, время забвеньем крыло минувшие страдания. Но вместе с тем какая-то новая, небывалая, не испытанная дотоле тоска с каждым днем росла в тайнике души ее... Что-то недоставало Марье Гавриловне, а чего – и сама понять не могла, все как-то скучно, невесело... Ни степенные речи Манефы, ни резвые шалости Фленушки, ни разговоры с Настей, которую очень полюбила Марья Гавриловна, ничто не удовлетворяло... Куда деваться?.. Что делать?

Ото всех одаль держалась Марья Гавриловна. С другими обитателями вовсе не водила знакомства и в своей только у Манефы бывала. Мать Вирина ей прилась по душе, но и у той редко бывала она. Жила Марья Гавриловна своим домком, была у нее своя прислуга, – привезенная из Москвы, молоденькая, хорошенькая собой девушка – Таня; было у ней отдельное хозяйство и свой стол, на котором в скромные дни ставилось мясное.

Дочери Патапа Максимыча, жившие у тетки, понравились ей. С самого приезда в скит Марья Гавриловна ласкала девушек, особенно Настю. Бывали у нее еще Фленушка с Марьюшкой, другие редко, и то разве по делу какому.

Патап Максимыч очень был доволен ласками Марьи Гавриловны к дочерям его. Лестило его самолюбию, что такая богатая из хорошего рода женщина отличает Настю с Парашей от других обительских жительниц. Стал он частенько навещать сестру и посылать в скит Аксиныю Захаровну. И Марья Гавриловна раза по два в год езжала в Осиповку навестить

доброе Патапа Максимыча. Принимал он ее как самую почетную гостью, благодарил, что «девчонок его» жалуется, учит их уму-разуму.

Добра была до Патапа Максимыча Марья Гавриловна и во всем ему верила. Капитал ее лежал в опекуновском совете, и часто предлагала она Чапурину взять у нее хоть все двести тысяч на его обороты... Патап Максимыч не соглашался, но, взявши, не по силам подряд на горянщину, поклонился Марье Гавриловне, и она дала ему двадцать тысяч по векселю, сроком по 8 июля... По весне увидал Патап Максимыч, что к сроку денег ему не собрать, сказал про то Марье Гавриловне, и она его обнадежила, что готова хоть год, и больше ждать, а когда придет срок, – вексель она переписшет.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

За круглым столом в уютной и красиво разубранной «келье» сидела Марья Гавриловна с Фленушкой и Марьей головщицей. На столе большой томпаковый самовар, дорогой чайный прибор и серебряная хлебница с такими кренделями и печеньями, каких при всем старанье уж, конечно, не сумела бы изготовить в своей келарне добродушная мать Вириная. Марья Гавриловна привезла искусную повариху из Москвы – это ее рук дело.

Заспала ли Фленушка свою досаду, в часовне ли ее промолила, но, сидя у Марьи Гавриловны, была в таком развеселом, в таком разбитном духе, что чуть не плясать готова была. Да и заплясала бы и запела бы залихватскую песенку, да стыдно было ей перед Марьей Гавриловной. Недолгоблывала вдовушка шумного веселья; опять же обитель – можно там и поплясать, можно и песенку спеть, но все ж опасаясь, слава не пошла бы, не было бы на обитель нареkania. Все можно, все позволительно, только втайне, чтоб иголки никто не подточил. Тогда ничего: «Тайно содеянное тайно и судится». Так говорится в обителях.

Развеселая Фленушка так и заливалась, рассказывая Марье Гавриловне про гостины у Патапа Максимыча. Пересыпая речь насмешками и издевками, описывала она именинный пир и пересмеивала пировавших гостей. Всех перецыганила и Манефу не помиловала. Очень уж расходилась, не стало удержу. До того увлеклась смехотворными рассказами, что, выскочив на середь горницы, пошла в лицах представлять гостей, подражая голосу, походке и ухваткам каждого. Весело слушала Марья Гавриловна болтовню баловницы и улыбалась на ее выходки. Марья головщица держала себя сдержанно.

– Матушка идет, – выглядывая из передней, молвила хорошенькая, свеженькая Таня, одетая не по-скитски, а в «немецкое» платье.

Поджала хвост Фленушка как ни в чем не бывало, чиннехонько уселась за стол и скромно принялась за сахарную булочку... Марья Гавриловна спешила в переднюю навстречу игуменье.

Войдя в комнату, Манефа уставно перекрестилась перед иконами, поздоровалась с Марьей Гавриловной, а та, как следует по чину обительскому, сотворила перед нею два обычных «метания».

– Садитесь-ка, матушка, – приглашала ее Марья Гавриловна, придвигая к столу мягкое кресло. – Утомились в келарне-то. Покорно прошу чайку покушать, а мы уж, простите Христа ради, по чашечке, по

другой пропустили, вас дожидаячи...

– На здоровье!.. Бог благословит, – промолвила мать Манефа. – Где меня дожидаться?.. Делов-то у меня немало – совсем измаялась в келарне. Стара становлюсь, сударыня Марья Гавриловна, устаю: не прежние года. Видно, стары кости захотели деревянного тулупа... Живым прахом брожу – вот что значит стары-то годы.

– Какие еще ваши годы, матушка? – ответила Марья Гавриловна, подавая чашку и ставя перед игуменьей серебряную хлебницу. – Разве вот от хлопот от ваших? Это, пожалуй... Оченно вы уж заботны, матушка, всяку малость к сердцу близко принимаете.

– Хлопоты, заботы само по себе, сударыня Марья Гавриловна, – отвечала Манефа. – Конечно, и они не молодят, ину пору от думы-то и сон бежит, на молитве даже ум двоится, да это бы ничего – с хлопотами да с заботами можно бы при Господней помощи как-нибудь сладить... Да... Смолоду здоровьем я богата была, да молодость-то моя не радостями цвела, горем да печальми меркла. Теперь вот и отзывается. Да и годы уж немалые – на шестой десяток давно поступила.

– Что ж это за годы, матушка? – сказала Марья Гавриловна.

– Не в годах сила, сударыня, – ответила Манефа. – Не годы человека старят, горе, печали да заботы... Как смолоду горя принято вдоволь, да потом как из забот да из хлопот ни день ни ночь не выходишь, поневоле раньше веку состаришься... К тому же дело наше женское – слабое, недаром в людях говорится: «сорок лет – бабий век». Как на шестой-от десяток перевалит, труд да болезнь только останутся... Поживете с мое, увидите... вспомните слова мои... Ну, да ваше дело иное, Марья Гавриловна, хоть и знали горе, все-таки ваша жизнь иная была, – глубоко вздохнув, прибавила Манефа.

– Матушка! – быстро подхватила Марья Гавриловна, вскинув черными своими глазами на Манефу. – Жизнь мою вы знаете – это ль еще не горе!..

– Всякому человеку только свой крест тяжел, сударыня, – внушительно ответила Манефа. – Все же видали вы красные дни, хоть недолгое время, а видали... И вот теперь, привел Бог, живете без думы, без заботы, аки птица небесная... Печали человека только крушат, заботы сушат. Горе проходчиво, а забота, как ржа, ест человека до смерти... А таких забот, как у меня, грешной, у вас и прежде не бывало и теперь не предвидится... Конечно, все во власти Божией, а, судя по человечеству, кажись бы и наперед таких забот вам не будет, какие на мне лежат. Ведь обителью править разве легкое дело? Семейка-то у меня, сами знаете, какая: сто почти человек – обо всякой подумай, всякой пить, есть припаси, да порядки

держи, да смотри за всеми. Нет, не легко начальство держать... Так тяжело, сударыня, так тяжело, что, самой не испытавши, и понять мудрено... Так вот какое мое дело, далеко не то, что ваше, Марья Гавриловна... Какие вам заботы? Все у вас готово, чего только ни вздумали!.. Опять же и здоровьем не такие, как я в ваши годы была. Оттого и старость поздней к вам придет.

– Как про то знать наперед? – сказала Марья Гавриловна. – Все во власти Господней.

– Вестимо так, – ответила Манефа и, немного помолчав, заговорила ласкающим голосом: – А я все насчет братца-то, сударыня Марья Гавриловна. Очень уж он скорбит, что за суетами да недосугами не отписал вам письмеца, на именины-то не позвал. Так скорбит, так кручинится, не поставили бы ему в вину.

– Полноте, матушка, – отвечала Марья Гавриловна. – Ведь я еще давеча сказала вам... Затем разве я в обители поселилась, чтобы по пирам разъезжать... Бывала прежде у Патапа Максимыча и еще как-нибудь сберусь, только не в такое время, как много у него народу бывает...

– Да так-то оно так, – продолжала мать Манефа, – все ж, однако, гребтится ему – не оскорбились ли?.. Так уж он вас уважает, сударыня, так почитает, что и сказать невозможно... Фленушка, поди-ка, голубка, принеси коробок, что Марье Гавриловне послан.

– Напрасно это, матушка, право, напрасно, – говорила Марья Гавриловна, между тем как Фленушка, накинув шубейку, побежала по приказанию Манефы. – Скажите-ка лучше, как поживает Патап Максимыч? Аксинья Захаровна что?.. Девочки ихние как теперь?

– Слава Богу, – отвечала Манефа, – дела у братца, кажись, хорошо идут. Поставку новую взял на горянщину, надеется хорошие барыши получить, только не знает, как к сроку поспеть. Много ли времени до весны осталось, а работников мало, новых взять негде. Принанял кой-кого, да не знает, управится ли... К тому ж перед самым Рождеством горем Бог его посетил.

– Что такое случилось? – озабоченно спросила Марья Гавриловна.

– Знали ль вы у него приказчика Савельича? – спросила мать Манефа.

– Как не знать, матушка, славный такой старичок, – ответила Марья Гавриловна.

– Помер ведь...

– Полноте?

– Помер, сердечный, – продолжала Манефа. – На Введеньев день в Городец на базар поехал, на обратном пути застань его вьюга, сбился с



дороги, плутал целую ночь, промерз. Много ль надо старику? Недельки три поболел и преставился...

– Царство небесное!.. – набожно перекрестясь, молвила Марья Гавриловна. – Добрый был человек, хороший. Марьюшка, – прибавила она, обращаясь к головщице, – возьми-ка там у меня в спальне у икон поминанье. Запиши, голубушка, за упокой. Егором, никак, звали? – обратилась она к Манефе.

– Так точно, Георгием.

– Прошу вас, матушка, соборне канон за единоумершего по новопреставленном рабе Божиим Георгии отпеть, – сказала Марья Гавриловна. – И в сенаник извольте записать его и трапезу на мой счет заупокойную по душе его поставьте. Все, матушка, как следует исправьте, а потом, хоть завтра, что ли, дам я вам денег на раздачу, чтоб год его поминали. Уж вы потрудитесь, раздайте, как кому заблагорассудите.

– Благодарим покорно, сударыня, – молвила, слегка поклонясь, Манефа. – Все будет исправлено... Да, плохо, плохо стало братцу Патапу Максимычу без Егора Савельича, – продолжала она. – Одно то сказать – двадцать лет в дому жил, не шутка в нынешнее время... Хоть не родня, а дороже родного стал. Правой рукой братцу был: и токарни все у него на отчете были, и красильни, и присмотр за рабочими, и на торги ездил, – верный был человек, – хозяйскую копейку пуще глаза берег. Таких людей ныне что-то мало и видится... Тужит по нем братец, очень тужит.

– Как, матушка, не тужить по таком человеке! – отозвалась Марья Гавриловна. – Жаль. Очень жаль старика. Как же теперь без него Патап Максимыч? Нашел ли кого на место его?

– Взял человечка, да не знаю, выйдет ли толк, – отвечала Манефа. – Парень, сказывают, по ихним делам искусный, да молод больно... И то мне за диковинку, что братец так скоро решился приказчиком его сделать. По всяким делам, по домашним ли, по торговым ли, кажись, он у нас не торопыга, а тут его ровно шилом кольнуло, прости Господи, сразу решил... Какую-нибудь неделю выжил у него парень в работниках, вдруг как неожиданный карась в вершу попал... Приказчиком!..

– Откуда ж он добыл его? – спросила Марья Гавриловна.

– Из окольных, – ответила Манефа. – Нанимал в токари, да ровно он обошел его: недели, говорю, не жил – в приказчики. Парень умный, смиренный и грамотник, да все-таки разве можно человека узнать, когда у него губы еще не обросли? Двадцать лет с чем-нибудь... Надо бы, надо бы постарше... Да что с нашим Патапом Максимычем поделаешь, сами знаете, каков. Нравный человек – чего захочет, вынь да положь, никто перечить не

смей. Вот хоть бы насчет этого Алексея...

– Какого Алексея? – спросила Марья Гавриловна.

– Да я все про нового-то приказчика, – продолжала Манефа. – Хоть бы про него взять. Аксины Захаровне братец хоть бы единое слово наперед сказал: беру, мол, парня в дом, – нет, сударыня. При гостях к слову пришлось, так молвил, тут только хозяйюшка и узнала. Говорила ему после того Аксины Захаровна: «Хоть, мол, Алексей человек и хороший, кроткий и тихий, да ладно ли, говорит, будет молодому парню быть у нас в приближенье? Уедешь ты на Низ аль в Москву, останется он в доме один, другого мужчины нет. Долго ль до славы? Ну, как зачнут люди пустые речи про дочерей нести?.. Девки на возрасте...» Так и слушать, сударыня, не хочет: «Никто, говорит, не смеет про моих дочерей пустых речей говорить; голову, говорит, сорву тому, кто посмеет».

– Напрасно, – молвила Марья Гавриловна. – Живучи в миру, от сплетен да от напраслины мудрено уйти. Падки люди до клеветы, матушка!

– Да не то что в миру, сударыня, – сказала Манефа. – У нас по обителям, кажись бы, этого и быть не должно, а разве мало клеветы да напраслины живет?.. Нет, гордостен больно Патап-от Максимыч, так гордостен, что сказать невозможно. Не раз я ему говаривала и от писания вычитывала: «Послушай меня, скудоумную, не хуже тебя люди речи мои слушают: не возносятся гордостью. Сатана на небесех сидел, а загордился, куда свалился? Навуходоносор, царь, превыше себя никого быть не чаял, гордостью, аки вол, наполнился, за то Господь в вола его обратил; фараон, царь египетский, за гордость в море потоп. Вот, говорю, цари были, а гордостью проклятой до чего дошли? Мы-то как, мол, загордимся, так куда годимся?..» И ухом не ведет, сударыня.

Вошла Фленушка с увесистым коробом. Вскрыли его, два фунта цветочного чая вынули, голову сахару, конфеты, сушеные плоды, пастилу, варенье и другие сласти.

– Напрасно это, право, напрасно, – говорила Марья Гавриловна, когда Фленушка, вынимая из коробка гостинцы, раскладывала их по столу. – Что это так беспокоится Патап Максимыч?

– Нельзя, сударыня, – молвила Манефа. – Как же бы я с именин без гостинцев приехала? Так не водится. Да и Патап Максимыч что бы за человек был, если б вас не уважил? И то кручинится – не оскорбились ли.

– Да перестаньте, пожалуйста, говорить про это, матушка, – возразила Марья Гавриловна. – На уме у меня не было сетовать на Патапа Максимыча. Скажите-ка лучше, девицы наши как поживают, Настя с Парашей?

– Живут помаленьку, – отвечала Манефа. – В Параше мало перемены, такая же, а Настенька, на мои глаза, много изменилась с той поры, как из обители уехала.

– Чем же, матушка? – спросила Марья Гавриловна.

– Да как вам сказать, сударыня? – ответила Манефа. – Вы ее хорошо знаете, девка всегда была скрытная, а в голове дум было много. Каких, никому, бывало, не выскажет... Теперь пуще прежнего – теперь не сговоришь с ней... Живши в обители, все-таки под смиреньем была, а как отец с матерью потачку дали, власти над собой знать не хочет... Вся в родимого батюшку – гордостная, нравная, своебычная – все в ей над каким ни на есть человеком покуражиться...

– Что вы, матушка? – возразила Марья Гавриловна. – Настенька девица такая скромная.

– Нет в ней смиренья ни на капельку, – продолжала Манефа, – гордыня, одно слово гордыня. Так-то на нее посмотреть – ровно б и скромная и кроткая, особливо при чужих людях, опять же и сердца доброго, зато коли что не по ней – так строптивая, так непокорна, что не глядела б на нее... На что отец, много-то с ним никто не сговорит, и того, сударыня, упрямством гнет под свою волю. Он же души в ней не чает – Настасья ему дороже всего.

– Значит, Настенька не дает из себя делать, что другие хотят? – молвила Марья Гавриловна. Потом помолчала немного, с минуту посидела, склоня голову на руку, и, быстро подняв ее, молвила: – Не худое дело, матушка. Сами говорите: девица она умная, добрая – и, как я ее понимаю, на правде стоит, лжи, лицемерия капли в ней нет.

– Да так-то оно так, сударыня, – сказала, взглянув на Марью Гавриловну и понизив голос, Манефа. – К тому только речь моя, что, живучи столько в обители, ни смирению, ни послушанию она не научилась... А это маленько обидно. Кому не доведись, всяк осудить меня может: тетка-де родная, а не сумела племянницу научить. Вот про что говорю я, сударыня.

– Ну, матушка, хорошо смирение в обители, а в миру иной раз никуда не годится, – взволнованным голосом сказала Марья Гавриловна, вставая из-за стула.

Заложив руки за спину, быстро стала она ходить взад и вперед по горнице.

– И в миру смирение хвалы достойно, – говорила Манефа, опустив глаза и больше прежнего понизив голос. – Сказано: «Смирением мир стоит: кичение губит, смирение же пользуется... Смирение есть Богу угождение,

уму просвещение, душе спасение, дому благословение, людям утешение...»

– Нет, нет, матушка, не говорите мне этого, – с горечью ответила Марья Гавриловна, продолжая ходить взад и вперед. – Мне-то не говорите... Не терзайте душу мою... Не поминайте!..

Манефа стихла и заговорила ласкающим голосом:

– Не в ту силу молвила я, сударыня, что надо совсем безответной быть, а как же отцу-то с матерью не воздать послушания? И в Писании сказано: «Не живет дней своих, еже прогневляет родителей».

– А писано ли где, матушка, чтоб родители по своим прихотям детей губили? – воскликнула Марья Гавриловна, становясь перед Манефой. – Сказано ль это в каких книгах?.. Ах, не поминайте вы мне, не поминайте!.. – продолжала она, опускаясь на стул против игуменьи. – Забыть, матушка, хочется... простить, – не поминайте же...

И навзрыд заплакала Марья Гавриловна. Фленушка с Марьюшкой вышли в другую горницу. Манефа, спустив на лоб креповую наметку, склонила голову и, перебирая лестовку, шепотом творила молитву.

– Нет, матушка, – сказала Марья Гавриловна, отнимая платок от глаз, – нет... Мало разве родителей, что из расчетов аль в угоду богатому, сильному человеку своих детей приводят на заклятие?.. Счастье отнимают, в пагубу кидают их?

– Бывает, – скорбно и униженно молвила мать Манефа.

– Не бывает разве, что отец по своенравию на всю жизнь губит детей своих? – продолжала, как полотно побелевшая, Марья Гавриловна, стоя перед Манефой и опираясь рукою на стол. – Найдет, примером сказать, девушка человека по сердцу, хорошего, доброго, а родителю забредет в голову выдать ее за нужного ему человека, и начнется тиранство... девка в воду, парень в петлю... А родитель руками разводит да говорит: «Судьба такая! Богу так угодно».

Слова Марьи Гавриловны болезненно отдались в самом глубоком тайнике Манефина сердца. Вспомнились ей затейливые речи Якимушки, свиданья в лесочке и кулаки разъяренного родителя... Вспомнился и паломник, бродящий по белу свету... Взглянула игуменья на вошедшую Фленушку, и слезы заискрились на глазах ее.

– Нездоровится что-то, сударыня Марья Гавриловна, – сказала она, поднимаясь со стула – И в дороге утомилась и в келарне захлопоталась – я уж пойду!.. Прощенья просим, благодарим покорно за угощение... К нам милости просим... Пойдем, Фленушка.

И, придя в келью, Манефа заперлась и стала на молитву... Но ум

двоится, и не может она выжить из мыслей как из мертвых восставшего паломника.

Разговор с Манефой сильно взволновал и Марию Гавриловну. Горе, что хотелось ей схоронить от людей в тиши полумонашеской жизни, переполнило ее душу, истерзанную долгими годами страданий и еще не совсем исцеленную. По уходе Манефы, оставшись одна в своем домике, долго бродила она по комнатам. То у одного окна постоит, то у другого, то присядет, то опять начнет ходить из угла в угол. Вспоминались ей то минуты светлой радости, что быстролетной молнией мелькнули на ее житейском поприще, то длинный ряд черных годов страдальческой жизни. Ручьем катились слезы по бледным щекам, когда-то сиявшим пышной красотой, цветущим здоровьем, светлым счастьем.

На другой день по возвращении Манефы из Осиповки нарядчик Патапа Максимыча, старик Пантелей, приехал в обитель с двумя возами усердных приношений. Сдавая припасы матери Таифе, Пантелей сказал ей, что у них в Осиповке творится что-то неладное.

– Пятнадцать лет, матушка, в доме живу, – говорил он, – кажется, все бы ихние порядки должен знать, а теперь ума не приложу, что у нас делается... После Крещения нанял Патап Максимыч работника – токаря, деревни Поромовой, крестьянский сын. Парень молодой, взрачный такой из себя, Алексеем зовут... И как будто тут неспроста, матушка, ровно околдовал этот Алексей Патапа Максимыча; недели не прожил, а хозяин ему и токарни и красильни на весь отчет... Как покойник Савельич был, так он теперь: и обедает, и чай распивает с хозяевами, и при гостях больше все в горницах... Ровно сына родного возлюбил его Патап Максимыч. Право, нет ли уж тут какого наваждения?

– Слышала, Пантелеюшка, слышала, – ответила мать Таифа. – Фленушка вечор про то же болтала. Сказывает, однако ж, что этот Алексей умный такой и до всякого дела доточный.

– Про это что и говорить, – отвечал Пантелей. – Парень – золото!.. Всем взял: и умен, и грамотей, и душа добрая... Сам я его полюбил. Вовсе не похож на других парней – худого слова аль пустошных речей от него не услышишь: годами молод, разумом стар... Только все же, сама посуди, возможно ль так приближать его? Парень холостой, а у Патапа Максимыча дочери.

– Правда твоя, правда, Пантелеюшка, – охая, подтвердила Таифа. – Молодым девицам с чужими мужчинами в одном доме жить не годится... Да и не только жить, видаться-то почасту и то опасливое дело, потому

человек не камень, а молодая кровь горяча... Поднеси свечу к сему, нешто не загорится?.. Так и это... Долго ль тут до греха? Недаром люди говорят: «Береги девку, что стеклянную посуду, грехом расшибешь – ввек не починишь».

– Пускай до чего до худого дела не дойдет, – сказал на то Пантелей, – потому девицы они у нас разумные, до пустяков себя не доведут... Да ведь люди, матушка, кругом, народ же все непостоянный, зубоскал, только бы посудачить им да всякого пересудить... А к богатым завистливы. На глазах лебезят хозяину, а чуть за угол, и пошли его ругать да цыганить... Чего доброго, таких сплеток наплетут, такую славу распустят, что не приведи Господи. Сама знаешь, каковы нынешние люди.

– Что и говорить, Пантелеюшка! – вздохнув, молвила Таифа. – Рассеял враг по людям злобу свою да неправду, гордость, зависть, человеконенавидение! Ох-хо-хо-хо!

– Теперь у нас какое дело еще!.. Просто беда – все можем пропасть, – продолжал Пантелей. – Незнаемо какой человек с Дюковым с купцом наехал. Сказывает, от епископа наслан, а на мои глаза ровно бы какой проходимец. Сидит с ними Патап Максимыч, с этим проходимцем да с Дюковым, замкнувшись в подклете чуть не с утра до ночи... И такие у них дела, такие затеи, что подумать страшно... Не епископом, а бесом смущать на худые дела послан к нам тот проходимец... Теперь хозяин ровно другой стал: ходит один, про что-то сам с собой бормочет, зачнет по пальцам считать, ходит, ходит, да вдруг и станет на месте как вкопанный, постоит маленько, опять зашагает... Не к добру, не к добру, к самой последней гибели!.. Боюсь я, матушка, ох, как боюсь!.. Сама посуди, живу в доме пятнадцать лет, приобык, я же безродный, ни за мной, ни передо мной никого, я их вместо своих почитаю, голову готов положить за хозяина... Ну как беда-то стрясется?.. Ох ты, Господи, и подумать – так страшно.

– Что ж они затевают? – спросила Таифа.

– Затевают, матушка... ох, затевают... А зачинщиком этот проходимец, – отвечал Пантелей.

– Что ж за дело такое у них, Пантелеюшка? – выпытывала у него Таифа.

– Кто их знает?.. Понять невозможно, – отвечал Пантелей. – Только сдается, что дело нехорошее. И Алексей этот тоже целые ночи толкует с этим проходимцем, прости Господи. В одной боковушке с ним и живет.

– Да кто ж такой этот человек? Откуда?.. Из каких мест? – допытывалась мать Таифа.

– Родом будто из здешних. Так сказывается, – отвечал Пантелей. –

Патапу Максимычу, слышь, сызмальства был знаем. А зовут его Яким Прохорыч, по прозванию Стуколов.

– Слыхала я про Стуколова Якима, слыхала смолоду, – молвила мать Таифа. – Только тот без вести пропал, годов двадцать тому, коли не больше.

– Пропал, а теперь объявился, – молвил Пантелей. – Про странства свои намерен рассказывал мне, – где-то, где не бывал, каких земель не видывал, коли только не врет. Я, признаться, ему больше на лоб и скулы гляжу. Думаю, не клал ли ему палач отметин на площади...

– Ну уж ты! Епископ, говоришь, прислал? – сказала Таифа. – Пошлет разве епископ каторжного?..

– Говорит, от епископа, – отвечал Пантелей, – а может, и врет.

– А если от епископа, – заметила Таифа, – так, может, толкуют они, как ему в наши места прибыть. Дело опасное, надо тайну держать.

– Коли б насчет этого, таиться от меня бы не стали, – сказал на то Пантелей. – Попа ли привезти, другое ли что – завсегда я справлю. Нет, матушка, тут другое что-нибудь... Опять же, если б насчет приезда епископа – стали бы разве от Аксиньи Захаровны таиться, а то ведь и от нее тайком... Опять же, матушка Манефа гостила у нас, с кем же бы и советоваться, как не с ней... Так нет, она только раз и видела этого Стуколова... Гости два дня гостили, а он все в боковуше сидел... Нет, матушка, тут другое, совсем другое... Ох, боюсь я, чтоб он Патапа Максимыча на недоброе не навел!.. Оборони, Царю Небесный!

– Да что ж ты полагаешь? – сгорая любопытством, спрашивала Таифа. – Скажи, Пантелеюшка... Сколько лет меня знаешь?.. Без пути лишних слов болтать не охотница, всякая тайна у меня в груди, как огонь в кремне, скрыта. Опять же и сама я Патапа Максимыча, как родного, люблю, а уж дочек его, так и сказать не умею, как люблю, ровно бы мои дети были.

– Да так-то оно так, – мялся Пантелей, – все же опасно мне... Разве вот что... Матушке Манефе сам я этого сказать не посмею, а так полагаю, что если б она хорошенько поговорила Патапу Максимычу, остерегла бы его да поначалила, может статься, он и послушался бы.

– Навряд, Пантелеюшка! – ответила, качая головой, Таифа. – Не такого складу человек. Навряд послушает. Упрям ведь он, упорен, таких самонравов поискать. Не больно матушки-то слушает.

– Дело-то такое, что, если матушка ему как следует выскажет, он, пожалуй, и послушается, – сказал Пантелей. – Дело-то ведь какое!.. К палачу в лапы можно угодить, матушка, в Сибирь пойти на каторгу!..

– Что ты, Пантелеюшка! – испугалась Таифа. – Ай, какие ты страсти

сказал!.. На душегубство, что ли, советуют?

– Эх тебя куда хватило!.. – молвил Пантелей. – За одно разве душегубство на каторгу-то идут? Мало ль перед Богом да перед великим государем провинностей, за которы ссылают... Охо-хо-хо!.. Только вздумаешь, так сердце ровно кипятком обварит.

– Да сказывай все по́ ряду, Пантелеюшка, – приставала Таифа. – Коли такое дело, матушка и впрямь его разговорить может. Тоже сестра, кровному зла не пожелает... А поговорить учительно да усовестить человека в напасть грядущего, где другую сыскать сўпротив матушки?

Долго колебался Пантелей, но Таифа так его уговаривала, так его умасливала, что тот наконец поделился своей тайной:

– Только смотри, мать Таифа, – сказал наперед Пантелей, – опричь матушки Манефы словечка никому не моги проронить, потому, коли молва разнесется, – беда... Ты мне наперед перед образом побожись.

– Божиться не стану, – ответила Таифа. – И мирским великий грех божиться, а иночеству паче того. А если изволишь, вот тебе по евангельской заповеди, – продолжала она, поднимая руку к иконам: – «Буди тебе: ей-ей».

И, положив семипоклонный начáл, взяла из киота медный крест и поцеловала.

Потом, сев на лавку, обратилась к Пантелею:

– Говори же теперь, Пантелеюшка, заклята душа моя, запечатана...

– Дюкова купца знаешь? – спросил Пантелей. – Сампсона Михалыча?

– Наслышана, а знать не довелось, – ответила Таифа.

– Слыхала, что годов десять али больше тому судился он по государеву делу, в остроге сидел?

– Может, и слыхала, верно сказать не могу.

– Судился он за мягкую денежку, – продолжал Пантелей. – Хоша Дюкова в том суду выгородили, а люди толкуют, что он в самом деле тем займовался. Хоть сам, может, монеты и не ковал, а с монетчиками дружбу водил и работу ихнюю переводил... про это все тебе скажут – кого ни спроси... Недаром каждый год раз по десяти в Москву ездит, хоть торговых дел у него там сроду не бывало, недаром и на Ветлугу частенько наезжает, хоть ни лесом, ни мочалой не промышляет. Да и скрытный такой – все молчит, слова от него не добьешься.

– Так что же? – спросила Таифа.

– А то, что этот самый Дюков того проходимца к нам и завез, – отвечал Пантелей. – Дело было накануне именин Аксиньи Захаровны. Приехали нежданные, незванные – ровно с неба свалились. И все-то шепчутся, ото



всех хоронятся. Добрые люди так разве делают?.. Коли не на уме дурна, зачем людей таить?

– Известно дело, – отозвалась Таифа. – Что ж они Патапа-то Максимыча на это на самое дело и смущают?

– Похоже на то, матушка, – сказал Пантелей, – по крайности так моим глупым разумом думается. Словно другой хозяин стал, в раздумье все ходит... И ночью, подметил я, встанет да все ходит, все ходит и на пальцах считает. По делу какому к нему и не подступайся – что ни говори, ровно не понимает тебя, махнет рукой либо зарычит: «Убирайся, не мешай!»... А чего мешать-то? Никакого дела пятый день не делает... А по токарям и по красильням все стало... Новый-то приказчик Алексей тоже ни за чем не смотрит, а Патапу Максимычу это нипочем. Все по тайности с ним толкует... А работники, известно дело, народ вольница, видят, нет призору, и пошли через пень колоду валить.

– Да почему ж ты думаешь, что они насчет фальшивых денег? – спросила Таифа.

– А видишь ли, матушка, – сказал Пантелей, – третьего дня, ходивши целый день по хозяйству, зашел я в сумерки в подклет и прилег на полати. Заснул... только меня ровно кто в бок толкнул – слышу разговоры. Рядом тут приказчикова боковуша. Слышу, там говорят, а сами впотьмах... Слышу Стуколова голос и Патапа Максимыча, Дюков тут же был, только молчал все, и Алексей тут же. Ну и наслышался я, матушка.

– Что ж они, Пантелеюшка? – с нетерпением спрашивала Таифа. – Про эти самые фальшивы деньги и толкуют?.. Ах ты, Господи, царь небесный!..

– Верно так, – ответил Пантелей. – Начало-то ихнего разговора я не слышал – проспал, а очнулся, пришел в себя, слышу – толкуют про золотые пески, что по нашим местам будто бы водятся; Ветлугу поминают. Стуколов высчитывает, какие капиталы они наживут, если примутся за дело. Не то что тысячи, миллионы, говорит, будете иметь... Про какие-то снаряды поминал... Так и говорит: «мыть золото» надо этими снарядами... И про то сказал, что люди к тому делу есть у него на примете, да и сам, говорит, я того дела маленько мерекаю... Смущает хозяина всячески, а хозяин тому и рад – торопит Стуколова, так у него загорелось – сейчас же вынь да положь, сейчас же давай за дело приниматься. Стуколов говорит ему: пока снег не сойдет, к делу приступать нельзя. А потом, слышу, на Ветлугу хозяин собирается... Вот и дела!..

– Ах, дела, дела!.. Ах, какие дела! – охает мать Таифа. – Так-таки и говорят: «Станем фальшивы деньги делать»?

– Напрямик такого слова не сказано, – отвечал Пантелей, – а понимать

надо так – какой же по здешним местам другой золотой песок может быть? Опять же Ветлугу то и дело поминают. Не знаешь разве, чем на Ветлуге народ занимается?

– А чем, Пантелеюшка? – спросила мать Таифа.

– Леса там большущие – такая палестина, что верст по пятидесяти ни жила, ни дорог нету, – разве где тропинку найдешь. По этим по самым лесам землянки ставлены, в одних старцы спасаются, в других мужики мяжку деньгу куют... Вот что значит Ветлуга... А ты думала, там только мочалом да лубом промышляют?

– Ах, дело-то какое, дело-то!.. Матушка царица небесная!.. – причитала мать Таифа.

– То-то и есть, что значит наша-то жадность! – раздумчиво молвил Пантелей. – Чего еще надо ему? Так нет, все мало... Хотел было поговорить ему, боюсь... Скажи ты при случае матушке Манефе, не отговорит ли она его... Думал молвить Аксинье Захаровне, да пожалел – станет убиваться, а зачнет ему говорить, на грех только наведет... Не больно он речи-то ее принимает... Разве матушку не послушает ли?

– Не знаю, Пантелеюшка, – сомнительно покачав головою, отвечала Таифа. – Сказать ей скажу, да вряд ли послушает матушку Патап Максимыч. Ведь он как заберет что в голову, указчики ступай прочь да мимо... А сказать матушке скажу... Как не сказать!..

В тот же день вечером Таифа была у игуменьи. Доложив ей, что присланные припасы приняты по росписи, а ветчина припрятана, она, искоса поглядывая на ключницу Софию, молвила Манефе вполголоса:

– Мне бы словечко вам сказать, матушка.

– Говори, – ответила Манефа.

– С глазу бы на глаз.

– Что за тайности? – не совсем довольным голосом спросила Манефа. – Ступай покаместь вон, Софьюшка, – прибавила она, обращаясь к ключнице.

– Ну, какие у тебя тайности? – спросила игуменья, оставшись вдвоем с Таифой.

– Да насчет Патапа Максимыча, – зачала было Таифа.

– Что такое насчет Патапа Максимыча? – быстро сказала Манефа.

– Не знаю, как и говорить вам, матушка, – продолжала Таифа. – Такое дело, что и придумать нельзя.

– Толком говори... Мямлит, мямлит, понять нельзя!.. – нетерпеливо говорила Манефа.

– Смущают его недобрые люди, на худое дело смущают, – отвечала

мать казначея.

– Сказано, не мямли! – крикнула игуменья и даже ногой топнула. – Кто наушает, на какое дело?

– Фальшивы деньги ковать... – шепотом промолвила мать Таифа.

– С ума сошла! – вся побагровев, вскрикнула Манефа и, строго глядя в глаза казначее, промолвила: – Кто наврал тебе?

– Пантелей, матушка, – опустил голову, смиренно сказала Таифа.

– Пустомеля!.. Стыда во лбу нет!.. Что говорит!.. Он от кого узнал? – в тревоге и горячности, быстро взад и вперед ходя по келье, говорила Манефа.

– Ихний разговор подслушал... – отозвалась мать Таифа.

– Подслушал? Где подслушал?

– На полатях лежал, в подклети у них... Спал, а проснулся и слышит, что Патап Максимыч в боковуше с гостями про анафемское дело разговаривает.

– Ну?

– И толкуют, слышь, они, матушка, как добывать золотые деньги... И снаряды у них припасены уж на то... Да все Ветлугу поминают, все Ветлугу... А на Ветлуге те плутовские деньги только и работают... По тамошним местам самый корень этих монетчиков. К ним-то и собираются ехать. Жалеючи Патапа Максимыча, Пантелей про это мне за великую тайну сказал, чтобы, кроме тебя, матушка, никому я не открывала... Сам чуть не плачет... Молви, говорит, Христа ради, матушке, не отведет ли она братца от такого паскудного дела...

– С кем же были разговоры? – угрюмо спросила Манефа.

– А были при том деле, матушка, трое, – отвечала Таифа, – новый приказчик Патапа Максимыча да Дюков купец, а он прежде в остроге за фальшивые деньги сидел, хоть и неприличон остался.

– Третий кто? – перебила Манефа.

– А третий всему делу заводчик и есть. Привез его Дюков, а Дюков по этим деньгам первый здесь воротила... Стуколов какой-то, от епископа будто прислан...

Подкосились ноги у Манефы, и тяжело опустилась она на лавку. Голова поникла на плечо, закрылись очи, чуть слышно шептала она:

– Господи помилуй!.. Господи помилуй!.. Царица Небесная!.. Что ж это такое?.. В уме мутится... Ах, злодей он, злодей!..

И судорожные рыдания прервали речь. Манефа упала на лавку. Кликнула Таифа ключницу и вместе с нею отнесла на постель бесчувственную игуменью.

Засуетились по кельям... «С матушкой попритчилось!.. Матушка умирает», – передавали одни келейницы другим, и через несколько минут весть облетела всю обитель... Сошлись матери в игуменьину келью, пришла и Марья Гавриловна. Все в слезах, в рыданиях. Фленушка, стоя на коленях у постели и склонив голову к руке Манефы, ровно окаменела...

Софья говорила матерям, что, когда с игуменьей случился припадок, с нею осталась одна Таифа, хотевшая рассказать ей про какое-то тайное дело... Стали спрашивать Таифу. Молчит.

Недели три пролежала в горячке игуменья и все время была без памяти. Не будь в обители Марьи Гавриловны, не быть бы Манефе в живых.

Матери хлопотали вокруг начальницы, каждая предлагала свои лекарства. Одна советовала умыть матушку водой с громовой стрелы, <sup>[125]</sup> другая – напоить ее вином, наперед заморозив в нем живого рака, третья учила – деревянным маслом из лампадки всю ее вымазать, четвертая – накормить овсяным киселем с воском, а пятая уверяла, что нет ничего лучше, как достать живую щуку, разрезать ее вдоль и обложить голову матушке, подпаливая рыбу богоявленской свечой. Потом зачали все в одно слово говорить, что надо беспрерывно в Городец за черным попом посылать или поближе куда-нибудь за старцем каким, потому что всегдашнее желание матушки Манефы было перед кончиной принять великую схиму... Много было суеты, еще больше болтанья и пустых разговоров. Больная осталась бы без помощи, если б Марья Гавриловна от себя не послала в город за лекарем. Лекарь приехал, осмотрел больную, сказал, что опасна. Марья Гавриловна просила лекаря остаться в ските до исхода болезни, но, хоть предлагала за то хорошие деньги, он не остался, потому что был один на целый уезд. Успела, однако, упросить его Марья Гавриловна пробыть в Комарове, пока не привезут другого врача из губернского города. Приехал другой врач и остался в обители, к немалому соблазну келейниц, считавших лечение делом Господу неугодным, а для принявших иночество даже греховным.

Марья Гавриловна на своем настояла. Что ни говорили матери, как ни спорили они, лечение продолжалось. Больше огорчалась, сердилась и даже бранилась с Марьей Гавриловной игуменьина ключница София. Она вздумала было выливать лекарства, приготовленные лекарем, и поить больную каким-то взваром, что, по ее словам, от сорока недугов пользует. А сама меж тем, в надежде на скорую кончину Манефы, к сундукам ее подобралась... За то Марья Гавриловна, при содействии Аркадии,

правившей обителью, выслала вон из кельи Софию и не велела Фленушке пускать ее ни к больной, ни в кладовую... Старания искусного врача, заботливый и умный уход Марьи Гавриловны и Фленушки, а больше всего, хоть надорванное, но крепкое здоровье Манефы подняли ее с одра смертной болезни...

Когда пришла она в сознание и узнала, сколько забот прилагала о ней Марья Гавриловна, горячо поблагодарила ее, но тут же примолвила:

– Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Зачем вы, голубушка, старались поднять меня с одра болезни? Лучше б мне отойти сего света... Ох, тяжело мне жить...

– Полно те, матушка!.. Можно ль так говорить? Жизнь ваша другим нужна... Вот хоть Фленушке, например... – говорила Марья Гавриловна.

– Ах, Фленушка, Фленушка!.. Милое ты мое сокровище, – слабым голосом сказала Манефа, прижимая к груди своей голову девушки. – Как бы знала ты, что у меня на сердце.

И зарыдала.

– Успокойтесь, матушка, это вам вредно, – уговаривала Манефу Марья Гавриловна. – Теперь пуще всего вам надо беречь себя.

Успокоилась ненадолго Манефа, спросила потом:

– От братца нет ли вестей?

– Патап Максимыч уехал, – отвечала Фленушка.

– Куда?

– На Ветлугу... говорят.

– На Ветлугу!.. – взволнованным голосом сказала Манефа. – Один?

– Нет, – молвила Фленушка, – с купцом Дюковым да с тем, что тогда похаживал свои рассказывал...

Побледнела Манефа, вскрикнула и лишилась сознания.

Ей стало хуже. Осмотрев больную и узнав, что она взволновалась от разговоров, врач строго запретил говорить с ней, пока совсем не оправится.

Только к Пасхе встала Манефа с постели. Но здоровье ее с тех пор хизнуло. Вся как-то опустилась, задумчива стала.

Однажды, когда Манефе стало лучше, Фленушка пошла посидеть к Марье Гавриловне. Толковали они о матушке и ее болезни, о том, что хоть теперь она и поправилась, однако ж при такой ее слабости необходим за ней постоянный уход.

– Лекарь говорит, – сказала Марья Гавриловна, – что надо отдалить от матушки всякие заботы, ничем не беспокоить ее... А одной тебе, Фленушка, не под силу день и ночь при ней сидеть... Надо бы еще кого из молодых девиц... Марьюшку разве?

– У Марьюшки свое дело, – отвечала Фленушка. – Без нее клирос станет, нельзя безотлучно ей при матушке быть.

– Право, не придумаю, как бы это уладить, – сказала Марья Гавриловна. – Анафролия да Минодора с Натальей только слава одна... Работницы они хорошие, а куда ж им за больной ходить? Я было свою Таню предлагала матушке – слышать не хочет.

– Вот как бы Настя с Парашей приехали, – молвила Фленушка.

– И в самом деле! – подхватила Марья Гавриловна. – Чего бы лучше? Тут главное, чтоб до матушки, пока не поправится, никаких забот не доводить... А здешних кого к ней ни посади, каждая зачнет сводить речь на дела обительские. Чего бы лучше Настеньки с Парашей... Только отпустит ли их Патап-от Максимыч?.. Не слышала ты, воротился он домой аль еще нет?

– К Страстной ждали, должно быть, дома теперь, – сказала Фленушка.

– Отпустит ли он их, как ты думаешь? – спросила Марья Гавриловна.

– Не знаю, как сказать, – отвечала Фленушка. – Сами станут проситься, не пустит.

– А если матушка попросит? – спросила Марья Гавриловна.

– Наверяд, чтоб отпустил, – отвечала Фленушка.

– Попробовать разве поговорить матушке, что она на то скажет, – согласится, так напиши от нее письмецо к Патапу Максимычу, – молвила Марья Гавриловна.

– Тогда уж наверное не отпустит, – сказала Фленушка. – Не больно он меня жалует. Патап-от Максимыч... Еще скажет, пожалуй, что я от себя это выдумала. Вот как бы вы потрудились, Марья Гавриловна.

– Я-то тут при чем? – возразила Марья Гавриловна. – Для дочерей не сделает, для сестры больной не сделает, а для меня-то с какой же стати?

– А я так полагаю, что для вас одних он только это и сделает, – сказала Фленушка. – Только вы пропишите, что вам самим желательно Настю с Парашей повидать, и попросите, чтоб он к вам отпустил их, а насчет того, что за матушкой станут приглядывать, не поминайте.

– Понять не могу, Фленушка, с чего ты взяла, чтобы Патап Максимыч для меня это сделал. Что я ему? – говорила Марья Гавриловна.

– А вы попробуйте, – ответила Фленушка. – Только напишите, попробуйте.

– Право, не знаю, – раздумывала Марья Гавриловна.

– Да пишите, пишите скорее, – с живостью заговорила Фленушка, ласкаясь и целуя Марью Гавриловну. – Хоть маленько повеселей с ними будет, а то совсем околеешь с тоски. Миленькая Марья Гавриловна,

напишите сейчас же, пожалуйста, напишите... Ведь и вам-то будет повеселее... Ведь и вы извелись от здешней скуки... Голубушка... Марья Гавриловна!

– Чтоб он не осердился? – сказала Марья Гавриловна.

– На вас-то?.. Что вы?.. Что вы? – подхватила Фленушка, махая на Марью Гавриловну обеими руками. – Полноте!.. Как это возможно?.. Да он будет рад-радехонек, сам привезет дочерей да вам еще кланяться станет. Очень уважает вас. Посмотрели бы вы на него, как кручинился, что на именинах-то вас не было... Он вас маленько побаивается...

– Чего ему меня бояться? – засмеялась Марья Гавриловна. – Я не кусаюсь.

– А боится – верно говорю... С вашим братцем, что ли, дела у него, – вот он вас и боится.

– Из чего же тут бояться? – сказала Марья Гавриловна. – Какие у них дела, не знаю... И что мне такое брат? Пустое говоришь, Фленушка.

– Уж я вам говорю, – настаивала Фленушка. – Попробуйте, напишите – сами увидите... Да пожалуйста, Марья Гавриловна, миленькая, душенька, утешьте Настю с Парашей – им-то ведь как хочется у нас побывать – порадуйте их.

Марья Гавриловна согласилась на упрасивание Фленушки и на другой же день обещалась написать к Патапу Максимычу. К тому ж она получила от него два письма, но не успела еще ответить на них в хлопотах за больной Манефой.

Манефа рада была повидать племянниц, но не надеялась, чтобы Патап Максимыч отпустил их к ней в обитель.

– Без того ворчит, будто я племянниц к келейной жизни склоняю, – сказала она. – Пошумел он однова на Настю, а та девка – огонь – сама ему наотрез. Он ей слово, она пяток, да вдруг и брякни отцу такое слово: «Я, дескать, в скиты пойду, иночество надену...» Ну какая она черноризница, сами посудите!.. То ли у ней на уме?.. Попугать отца только вздумала, иночеством ему пригрозила, а он на меня как напустится: «Это, говорит, ты ей такие мысли в уши напела, это, говорит, твое дело...» И уж шумел, так шумел, Марья Гавриловна, что хоть из дому вон беги... И после того не раз мне выговаривал: «У вас, дескать, обычай в скитах повелся: богатеньких племянниц сманивать, так ты, говорит, не надейся, чтоб дочери мои к тебе в черницы пошли, я, говорит, теперь их и близко к кельям не допущу, не то чтобы в скиту им жить...» Так и сказал... Нет, не послушает он меня, Марья Гавриловна, не отпустит девиц ни на малое время... Напрасно и толковать об этом...

– А если б Марья Гавриловна к нему написала?.. К себе бы Настю с Парашей звала? – вмешалась Фленушка.

– Это дело другое, – ответила Манефа. – К Марье Гавриловне как ему дочерей не пустить? Супротив Марьи Гавриловны он не пойдет.

– Я бы написала, пожалуй, матушка, попросила бы Патапа Максимыча, – сказала Марья Гавриловна.

– Напишите в самом деле, сударыня Марья Гавриловна, – стала просить мать Манефа. – Утешьте меня, хоть последний бы разок поглядела я на моих голубушек. И им-то повеселее здесь будет; дома-то они все одни да одни – поневоле одурь возьмет, подруг нет, повеселиться хочется, а не с кем... Здесь Фленушка, Марьюшка... И вы, сударыня, не оставите их своей лаской... Напишите в самом деле, Марья Гавриловна. Уж как я вам за то благодарна буду, уж как благодарна!

Проводив Марью Гавриловну, Фленушка повертелась маленько вокруг Манефиной постели и шмыгнула в свою горницу. Там Марьюшка сидела за пальцами, дошивала подушку по новым узорам.

Подбежала к ней сзади Фленушка и, схватив за плечи, воскликнула:

– Гуляем, Маруха!

И, подперев руки в боки, пошла плясать среди комнаты, припевая:

Я по жердочке иду,  
Я по тоненькой бреду,  
Я по тоненькой, по еловенькой.  
Тонка жердочка погнется,  
Да не сломится.  
Хорошо с милым водиться,  
По лугам с дружкой гулять.

Уж я, девка, разгуляюсь,  
Разгуляюся, пойду  
За новые ворота,  
За новые, кленовые,  
За решетчатые.

– Что ты, что ты? – вскочив из-за пялец, удивлялась головщица.

С начала болезни Манефы Фленушка совсем было другая стала: не только звонкого хохота не было от нее слышно, не улыбалась даже и с утра до ночи с наплаканными глазами ходила.



– Рехнулась, что ль, ты, Фленушка? – спрашивала головщица. – Матушка лежит, а ты гляди-ка что.

– Что матушка!.. Матушке, слава Богу, совсем облегчало, – прыгая, сказала Фленушка. – А у нас праздник-от какой!

– Что такое? – спросила ее Марьюшка.

– С праздником поздравляю, с похмелья умираю, нет ли гривен шести, душу отвести? – кривляясь и кобенясь, кланялась Фленушка головщице и потом снова зачала прыгать и петь.

– Да полно же тебе юродствовать! – говорила головщица. – Толком говори, что такое?

– А вот что: ден через пять аль через неделю в этих самых горницах будут жить:

Две девицы,  
Две сестрицы,  
Девушки подруженьки:  
Настенька с Парашенькой —

напевала Фленушка, вытопывая дробь ногами.

– Полно? – изумилась Марьюшка.

– Верно! – кивнув головой, сказала Фленушка.

– Как так случилось? – спрашивала Марьюшка.

– Да так и случилось, – молвила Фленушка. – Ты всегда, Марьюшка, должна понимать, что, если чего захочет Флена Васильевна, – быть по тому. Слушай – да говори правду, не ломайся... Есть ли вести из Саратова?

– Ну его! Забыла думать, – с досадой ответила Марьюшка.

– Да ты глаза-то на сторону не вороти, делом отвечай... Писал еще аль нет? – спрашивала Фленушка.

– Писать-то писал, да врет все, – отвечала Марьюшка.

– Не все же врет – иной раз, пожалуй, и правдой обмолвится, – сказала Фленушка. – Когда приедет?

– К Троице обещал – да врет, не приедет, – отвечала Марьюшка.

– К Троице!.. Гм!.. Кажись, можно к тому времени обладать все, – раздумывала Фленушка. – Мы твоего Семенушку за бока. Его же мало знают здесь, дело-то и выходит подходящее.

– Куда еще его? – спросила Марьюшка. – Что еще затевать вздумала?

– Да я все про Настю. Сказывала я тебе, что надо ее беспрременно окрутить с Алешкой... Твоего саратовца в поезжане возьмем – кулаки у

него здоровенные... Да мало ль будет хлопот, мало ль к чему пригодится. Мой анафема к тому же времени в здешних местах объявится. Надо всем заодно делать. Как хочешь, уговори своего Семена Петровича. Сказано про шелковы сарафаны, то и помни.

– Не знаю, право, Фленушка. Боязно... – промолвила головщица.

– Кого боязно-то?

– Патапа-то Максимыча. Всем шкуру спустит, – сказала Марьюшка.

– Ничего не сделает, – подхватила Фленушка. – Так подстроим, что пикнуть ему будет нельзя. Сказано: жива быть не хочу, коль этого дела не состряпаю. Значит, так и будет.

– Экая ты бесстрашная какая, Фленушка! – говорила Марьюшка. – Аль грому на тя нет?..

– Может, и есть, да не из той тучи, – сказала Фленушка. – Полно-ка, Марьюшка: удалой долго не думает, то ли, се ли будет, а коль вздумано, так отлынивать нечего. Помни, что смелому горох хлебать, а несмелому и редьки не видать... А в шелковых сарафанах хорошо щеголять?.. А?.. Загуляем, Маруха?.. Отписывай в Саратов: приезжай, мол, скорей.

– Уж какая ты, Фленушка! Как это Господь терпит тебя! Всегда ты на грех меня наведешь, – молвила Марьюшка.

– И греха в том нет никакого, – ответила Фленушка. – Падение – не грех, хоть матушку Таифу спроси. Сколько книг я ни читала, столько от матерей ни слыхала – падение, а не грех... И святые падали, да угодили же Богу. Без того никакому человеку не прожить.

– Ну уж ты!..

– Э! Нечего тут! Гуляй, пока молода, состаришься – и пес на тебя не взлает, – во все горло хохоча, сказала Фленушка и опять заплясала, припевая:

Дьячок меня полюбил  
И звонить позабыл;  
По часовне он прошел,  
Мне на ножку наступил,  
Всю ноженьку раздавил;  
Посулил он мне просфинок решето:  
Мне просфинок-то хочется,  
Да с дьячком гулять не хочется.  
Полюбил меня молоденький попок,  
Посулил мне в полтора рубля платок,  
Мне платочка-то хочется...

Глянула в дверь Анафролия и позвала Фленушку к Манефе. Мигом бросилась та вон из горницы...

– Эка, воструха какая! – идя следом за ней, ворчала Анафролия. – Матушка головушки еще поднять не может, а она, глядь-ка поди, – скачет, аки бес... Ну девка!.. Поискать таких!..

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Осиповке все глядят сумрачно, чем-то все озабочены. У каждого своя дума, у каждого своя кручина.

Аксинья Захаровна в хлопотах с утра до ночи, и хоть старым костям не больно под силу, а день-деньской бродит взад и вперед по дому. Две заботы у ней: первая забота, чтоб Алексей без нужного дела не слонялся по́ дому и отнюдь бы не ходил в верхние горницы, другая забота – не придумает, что делать с братцем любезным... Только успел Патап Максимыч со двора съехать, Волк закурил во всю ивановскую. Нахлебается с утра хлебной слезы и пойдет весь день куролесить: с сестрой бранится, вздорит с работниками, а чуть завидит Алексея, тотчас хоть в драку... И за старый промысел принялся: что плохо лежит, само ему в руку лезет, само в кабак под заклад просится. Согнать со двора хотела его Аксинья Захаровна, нейдет: «Меня-де сам Патап Максимыч к себе жить пустил, я-де ему в Узенях нужен, а ты мне не указчица...» И денег уж Аксинья Захаровна давала ему, уйди только из деревни вон, но и тем не могла избавиться от собинки: пропьянствует на стороне дня три, четыре, да по милым родным и стоскуется – опять к сестре на двор...

Настя и Параша сидят в своих светелках сумрачные, грустные. На что Параша, ко всему безучастная, ленивая толстуха, и ту скука до того одолела, что хоть руки на себя поднимать. За одно дело примется, не клеится, за другое – из рук вон валится: что ни зачнет, тотчас бросит и опять за новое берется. Только и отрады, как завалиться спать...

У Насти другая скорбь, иная назола. Тоскует она по Фленушке, без нее не с кем словом ей перекинуться. Тоскует она, не видя по целым дням Алексея; тоскует, видя его думчивого, угрюмого. Видеться с ним редко удается, наверх ходу ему нет, а если когда и придет, так Аксинья Захаровна за ним по пятам... Тоскует Настя днем, тоскует ночью, мочит подушку горячими слезами... Томят ее думы... что-то с ней будет, какая-то судьба ей выпадет?.. Будет ли она женой Алексея, иль на роду ей написано изныть в одиночестве, сокрушаясь по милом и кляня судьбу свою горе-горькую?..

«Что такое с ним подеялось? – думает и передумывает Настя, сидя в своей светелке. – Что за грусть, за тоска у него на́ сердце? Спросишь – молчит, и ровно хмарой лицо у него вдруг подернется... И такой молчаливый стал, сам не улыбнется... Разлюбить, кажись бы, еще некогда – да и не за́ что... За что же, за что разлюбить меня?.. Все ему отдала

беззаветно, девичьей чести не пожалела, стыда-совести не побоялась, не утратила грозного слова родительского... Думаю, не придумаю... Раскину умом-разумом, разгадать не могу – откуда такая остуда в нем?.. Новой зазнобы не завелось ли у него?..»

И от одной мысли о новой зазнобе у Насти в глазах туманится, сверкают глаза зловещим блеском, а сердце ровно кипятком обливается...

Запала черная дума. Как ни бьется Настасья Патаповна, отогнать ее не может... Небывалая разлучница то и дело мерещится в глазах ее...

У Алексея свои думы. Золотой песок не сходит с ума. «Денег, денег, казны золотой! – думает он про себя. – Богатому везде ширь да гладь, чего захочет, все перед ним само выкладается. Ино дело бедному... Ему только на ум какое дело вспадет, и то страшно покажется, а богатый тещь свое хотенье – золотым молотом он и железны ворота прокует. Тугая мощна не говорит, а чудеса творит – крикни да денежкой брякни, все тебе поклонится, все по-твоему сделается».

Люба Настя Алексею, да с пустым карманом как добыть ее? Хоть и стал он в чести у Патапа Максимыча, а попробуй-ка заикнись ему про дочку любимую, такой задаст поворот, что только охнешь. «У тестя казны закрома полны, а у зятя ни хижи, ни крыши. На свете так не водится, такие свадьбы не ладятся... «Уходом» разве, как Фленушка говорила?.. Так это затея опасная. Не таков человек Патап Максимыч, чтоб такую обиду стерпеть, – не пришибет что собаку, так с тюремным горем заставит спознаться... Золота, золота!.. Чем бы денег ни добыть, а без них нельзя жить!..»

Такие мысли туманили Алексею голову. Тянет его на Ветлугу, там золото в земле, слышь, рассыпано... Греби-загребай, набивай мощну дорогой казной, тогда не лиха беда и посвататься. Другим тогда голосом заговорил бы спесивый тысячник... Не приходят Алексею на ум ни погорелый отец, ни мать, душу свою положившая в сыновьях своих, ни сестры, ни любимый братец Саввушка... Черствое себялюбие завладело Алексеем: гнетет его забота об одном себе, до других ему и нуждушки нет... Раздумывая о богатстве, мечтая: как он развернется и заживет на славу, – не думает и про Настю Алексей... Золото, золото да жажда людского почета заслоняли в думах его образ девушки, в пылу страстной любви беззаветно ему предавшейся.

А если не нароет он на Ветлуге дорогой казны?.. Пропадай тогда жизнь бедовая, доля горькая!.. А если помимо Ветлуги выпадут ему несметные деньги, во всем обилье, житье-бытье богатое?.. И если за такую счастливую долю надо будет покинуть Настасью Патаповну... забыть ее,

другую полюбить?..

Думает-передумывает Алексей думы тяжелые. Алчность богатства, жадная корысть с каждым днем разрастаются в омраченной душе его... И смотрит он на свет Божий, ровно хмара темная. Не слышать от него ни звонких песен, ни прежних веселых речей, не светятся глаза его ясной радостью, не живет игривая улыбка туманного лица его.

С тяжелой тоской на душе, облокотясь на стол и склонив голову, сидел Алексей в своей боковуше. Роятся думы в уме его, наяву грезится желанное житье-бытье богатое.

Вдруг над ним три раза ногой топнули. То был условный знак, придуманный Фленушкой. В тот вечер, как справляли канун именин Аксины Захаровны, она такую уловку придумала.

Отодвинул Алексей оконницу и стал глядеть, как прилетит к нему птичка, про которую говорила тогда Фленушка... Не впервой было Алексею таких птичек ловить...

Из окна Настиной светлицы, приходившейся как раз над Алексеевой боковушей, спустилась на снурке записочка... Окна выходили на огород, занесенный сугробами, заметить некому.

Прочел Алексей записочку. Пишет Настя, что стосковалась она, долго не видя милого, и хочет сейчас сойти к нему. Благо пора выдалась удобная: набродившись с утра, Аксины Захаровна заснула, работницы, глядя на нее, тоже завалились сумерничать... Черкнул Алексей на бумажке одно слово «приходи», подвязал ее на шнурок. Птичка полетела кверху.

Через несколько минут дверь в боковушу растворилась и вошла Настя. Тихой поступью, медленно ступая, подошла она к Алексею, обвила его шею белоснежными руками и, припав к плечу, зарыдала...

– Голубчик ты мой!.. Ненаглядный... – всхлипывая и трепетно прижимаясь к милому, говорила она. – Стосковалась я по тебе, измучилась!.. Не мил стал мне вольный свет!.. Тошнехонько!..

Алексей ласкал Настю, но ласки его были не так горячи, не так страстны и порывисты, как прежде...

– Чтой-то, Алеша? – покачав головой, молвила Настя. – Ровно ты мне и не рад.

– Чтой-то ты вздумала, Настасья Патаповна!.. Как же мне твоему приходу не раду быть? – сухо проговорил Алексей, глядя Настю по головке.

– Настасья Патаповна!.. – с укором прошептала девушка. – Разве я тебе Настасья Патаповна?.. – вскрикнула она.

– Ну, не сердись, не гневайся, моя разлапушка, – с притворной нежностью заговорил Алексей, целуя Настю. – Так с языка сорвалось.

– Разлюбил ты меня!.. Вот что!.. – стиснув зубы и отстраняясь от него, молвила Настя.

– Что ты, что ты?.. Настенька... Милая!.. Подумай, какое слово ты молвила! – говорил Алексей, взяв ее за руку.

– Нечего думать! – нахмуря брови, отрывисто сказала Настя, выдергивая руку. – Вижу я, все вижу... Меня не проведешь! Сердце вещун – оно говорит, что ты...

– Да послушай, – зачал было Алексей.

– Тебе меня слушать!.. Не мне тебя!.. Молчи! – строго сказала Настя, отступив от него и скрестив руки. Глаза ее искрились гневом. – Все вижу, меня не обманешь... Такой ли ты прежде бывал?.. Чем я перед тобой провинилась?.. А?.. Чем?.. Говори... говори же скорее... Что ж, надругаться ты, что ли, вздумал надо мной?.. А?..

– В уме ль ты, Настя?.. С чего ты взяла? – говорил совсем растерявшийся Алексей.

– Молчи, говорят тебе, – топнув ногой, не своим голосом крикнула Настя. – Бессовестный ты человек!.. Думаешь плакаться буду, убиваться?.. Не на такую напал!.. Нипочем сокрушаться не стану... Слышишь – нипочем... Только вот что скажу я тебе, молодец... Коль заведется у тебя другая – разлучнице не жить... Да и тебе не корыстно будет... Помни мое слово!

И, презрительно взглянув на Алексея, выбежала из боковуши.

Как стоял, так и остался Алексей, опустил руки и поникнул головою...

На другой день после размолвки Настасьи с Алексеем воротился из Комарова Пантелей и привез известие о внезапной болезни Манефы. Все переполошились, особенно Аксинья Захаровна. Только выслушала она Пантелея, кликнула канонницу Евпраксею, охая и всхлипывая сказала ей печальную весть, велела зажигать большие свечи и лампы передо всеми иконами в молельной и начинать канон за болящую. Дочерям приказала помогать Евпраксеюшке, а сама, бродя по горницам, раздумывала, какому бы святому вернее службу отправлять ради исцеления матушки Манефы. «Ведь от каждой болезни, – думала она, – своему святому молиться следует: зубы заболят – Антипию, глаза заболят – Лаврентию, оспа прикинется – молись преподобному Конону Исаврийскому, а от винного запойства мученик Вонифатий исцеление подает... А как доподлинно не знаешь болезни, какому угоднику станешь молиться?.. Ну как не тому каноны-то справишь, тогда, пожалуй, и толку не выйдет».

Раз по пяти на каждый час призывала Аксинья Захаровна Пантелея и

переспрашивала его про матушкину болезнь. Но Пантелей и сам не знал хорошенько, чем захворала Манефа, слышал только от матерей, что лежит без памяти, голова как огонь, а сама то и дело вздрагивает.

После долгого совещания с Евпраксией Аксинья Захаровна решила гнать Пантелея на тройке обратно в Комаров и спросить уставницу мать Аркадию, кому в обители за матушку богомольствуют, а с тех пор на всякий случай читать каноны Иоанну Предтече, скорому помощнику от головной боли, да преподобному Марою, целителю трясавичной болезни.

Прибыло у Насти тоски и думы: то Алексей на уме, то Фленушка. «Что с ней-то будет, что будет с Фленушкой, коли помрет тетенька? – думает она, стоя в молельной за канонами. – Черной рясы она не наденет, а белицей в обители будет ей не житье... Заедят, сердечную, матери... Нет, не житье Фленушке в Комарове... Возьмет ли ее казанский жених Самоквасов, еще Бог знает, а до венца куда ей будет голову приклонить?.. У нас бы – чего бы казалось ближе, – да тятенька не примет, не любит он Фленушку... К Груне разве идти?.. Ах ты, бедная моя, бедная Фленушка!.. Хоть минуточку с тобой бы побыть, хоть глазком бы на тебя посмотреть!.. Авось бы вместе печали-то свои мы размыкали, и твое горе и мою беду... Эх, Фленушка, Фленушка!.. Нужно было тебе сводить меня с этим лиходеем...»

И Фленушку-то жаль и у смертного одра больной тетки хочется хоть часок посидеть... «Покаялась бы я во всем тетеньке, – думает Настя, – во всем бы я ей покаялась... Из могилы она бы тайны не выдала, а греху все-таки прощенье я получила бы. Прочитала бы она мне предсмертную прощуху, и спала б у меня с души тоска лютая... Закрыла бы я глаза матушке, отдала бы ей последнее целование... А пуще всего из дому, из дому вон!.. Бежать бы куда-нибудь далекó, далекó – хоть в пучину морскую, хоть в вертепы земные, не видать бы только глазам моим врага-супротивника, не слышать бы ушам моим постылых речей его!.. Вот судьба-то!.. Вот моя доля недобрая!.. «Скоро свыкались, скорее того расходились» – так, кажется, в песне-то поется... И как этот грех случился, ума приложить не могу... Кого винить, на кого жалиться!.. На Фленушкины проказы аль на свой глупый девичий разум?.. Нет, уж такая, видно, судьба мне выпала... Супротив судьбы не пойдешь!..»

И много и долго размышляла Настя про злую судьбу свою, про свою долю несчастную. Стоит в молельной, перебирает рукой шитую бисером и золотом лестовку, а сама все про беду свою думает, все враг Алешка на ум лезет. Гонит Настя прочь докучные мысли про лиходея, не хочет вспоминать про губителя, а он тут как тут...

Воротился Пантелей, сказал, что в обители молебствуют преподобной



Фотинии Самаряныне и что матушка Манефа стала больно плоха – лежит в огневице, день ото дня ей хуже, и матери не чают ей в живых остаться. С негодованием узнала Аксинья Захаровна, что Марья Гавриловна послала за лекарем.

– Бога она не боится!.. Умереть не дает Божьей старице как следует, – роптала она. – В черной рясе да к лекарям лечиться грех-от какой!.. Чего матери-то глядят, зачем дают Марье Гавриловне в обители своевольничать!.. Слыхано ль дело, чтобы старица, да еще игуменья, у лекарей лечилась?.. Перед самой-то смертью праведную душеньку ее опоганить вздумала!.. Ох, злодейка, злодейка ты, Марья Гавриловна... Еще немца, пожалуй, лечить-то привезут – нехристя!.. Ой!.. Тошнехонько и вздумать про такой грех...

И целый день с утра до ночи пробродила Аксинья Захаровна по горницам. Вздыхая, охая и заливаясь слезами, все про лечение матушки Манефы она причитала.

Стала Настя проситься у матери.

– Отпусти ты меня в обитель к тетеньке, – с плачем молила она. – Поглядела б я на нее, сердечную, хоть маленько бы походила за ней... Больно мне жалко ее!

И, рыдая, припала к плечу матери...

– Полно-ка ты, Настенька, полно, моя болезная, – уговаривала ее Аксинья Захаровна, сама едва удерживая рыдания. – Посуди, девонька, – могу ль я отпустить тебя? Отец воротится, а тебя дома нет. Что тогда?.. Аль не знаешь, каков он во гневе бывает?..

– Мамынька, да ведь это не такое дело... Не на гулянье прошусь, не ради каких пустяков поеду... За что ж ему гневаться?.. Тятенька рассудлив, похвалит еще нас с тобой.

– Много ли знаешь ты своего тятеньку!.. – тяжело вздохнув, молвила ей Аксинья Захаровна. – Тридцать годов с ним живу, получше тебя знаю норов его... Ты же его намедни расстроила, молвивши, что хочешь в скиты идти... Да коль я отпущу тебя, так он и не знай чего со мной натворит. Нет, и не думай про езду в Комаров... Что делать?.. И рада бы пустить, да не смею...

– Да право же, мамынька, не будет ничего, – приставала Настя. – Ведь матушка Манефа и мне и тятеньке не чужая... Серчать не станет... Отпусти, Христа ради... Пожалуйста.

– Да полно тебе!.. Сказано нельзя, так и нельзя, – с досадой крикнула, топнув ногой, Аксинья Захаровна. – Приедет отец, просись у него, а мне и не говори и слов понапрасну не трать... Не пущу!

– А как тетенька-то помрет?.. Тогда что?.. Разве не будешь в те поры каяться, что не хотела пустить меня проститься с ней?.. – тростила свое Настя.

– Отвяжешься ли ты от меня, непутная? – в сердцах закричала наконец Акси́нья Захаровна, отталкивая Настю. – Сказано не пуцу, значит и не пуцу!.. Экая нравная девка, экая вольная стала!.. На-ка поди... Нет, голубка, пора тебя к рукам прибрать, уж больно ты высоко голову стала носить... В моленную!.. Становись на канон... Слышишь?.. Тебе говорят!..

С сердцем повернулась Настя от матери, быстро пошла из горницы и хлопнула изо всей мочи дверью.

– Э!.. Жизнь каторжная!.. – пробормотала она, выходя в сени.

– Эка девка-то непутная выросла!.. – оставшись одна, ворчала Акси́нья Захаровна. – Ишь как дверью-то хлопнула... А вот я тебя самое так хлопну... погоди ты у меня!.. Ишь ты!.. И страху нет на нее, и родительской грозы не боится... Отпусти ее в скит без отцовского позволения... Да он голову с меня снимет... А любит же Настасья матушку... Так и разливается плачет и сама ровно не в себе ходит. Ох-ох-ох!.. И сама бы я съездила, да дом-от на кого покинуть?.. Не Алексея же с девками оставить... А их взять в Комаров, тоже беда... Ох, девоньки мои, девоньки!.. Была бы моя воля, отпустила б я вас... Не смею... А матушка-то Манефа!.. Поганят голубушку лекарствами перед смертью-то!..

И горько зарыдала Акси́нья Захаровна, припав к столу головою...

Шли у Насти дни за днями в тоске да в думах.

Словом не с кем перекинуться: сестра по́ходя дремлет, Евпраксеюшка каноны читает, Акси́нья Захаровна день-деньской бродит по горницам, охает, хнычет да ключами побрякивает и все дочерей молиться за тетку заставляет...

О враге-лиходее ни слуху, ни духу... Вспомнит его Настя, сердце так и закипит, так взяла бы его да своими руками и порешила... Не хочется врага на уме держать, а что-то тянет к окну поглядеть, нейдет ли Алексей, и грустно ли смотрит он аль весело.

Не видно Алексея... Никто не поминает про него Настасье Патаповне.

«Да что ж это за враг такой! – думает она. – Ему и горяшка мало, и думать забыл про меня!.. Что ж, мол?.. Подвернулась девчонка неразумная, не умела сберечь себя, сама виновата!.. А наше, мол, дело молодецкое – натешился да и мимо, другую давай!.. Нет, мо́лодец!.. Постой!.. Еще не знаешь меня!.. Покажу я тебе, какова Настасья Патаповна!.. Ввек не забудешь меня... Под солдатскую шапку упрячу, стоит только тятеньке во

всем повиниться... А змее разлучнице, только б узнать, кто она такова... нож в бок – и делу конец... В Сибирь, так в Сибирь, а уж ей, подколенной гадине, на белом свете не жить».

Почти бегаёт взад и вперед по светлице взволнованная девушка, на разные лады обдумывая мщенье небывалой разлучнице. Лицо горит, глаза зловещим пламенем блещут, рукава засучены, руки крепко сжаты, губы трепещут судорогами.

Однажды в сумерки, когда Акси́нья Захаровна, набродившись досыта, приустила и легла в боковуше посумерничать, Настя вышла из душной, прокуренной ладаном моленной в большую горницу и там, сто́я у окна, глядела на догорающую в небе зарю. Было тихо, как в могиле, только из соседней комнаты раздавались мерные удары маятника.

Скрипнула дверь, Настя оглянулась. Перед ней стоял Алексей.

– Чего тебе здесь надо? – строго спросила его Настя, не двигаясь с места и выпрямившись во весь рост.

– К Аксинье Захаровне, – робко проговорил Алексей, глядя в пол и повертывая в руках шапку.

– Спит... Теперь не время, – сказала Настя и повернулась к окну.

– Дело-то такое, Настасья Патаповна, сегодня бы надо было мне доложиться ей, – молвил Алексей, переминаясь у двери.

– Сказано – спит. Чего еще?.. Ступай! – горделиво сказала Настя, не оборачиваясь к Алексею.

Он не уходил. Настя молчала, глядя на зарю, а сердце так и кипит, так и рвется. Силится сдержать вздохи, но грудь, как волна, подымает батистовую сорочку.

Раз двадцать ударил маятник. Оба ни слова, оба недвижны...

Ступил шаг Алексей, другой, третий... Настя быстро обернулась, поднимая голову... Ни слова ни тот, ни другая.

Еще ступил Алексей, приближаясь к Насте... Она протянула руку и, указывая на дверь, твердо, холодно, какими-то медными звуками сказала ему:

– Вон!

Он схватил ее за руку и, припав к ней лицом, навзрыд заплакал.

– Настенька!.. Золотая моя!.. За что гневаешься?.. Пожалей ты меня, горького... Тошнехонько!.. Хоть руки на себя наложить!..

– Тише... тише... мамынька услышит... – шепотом ответила Настя.

И жгучий поцелуй заглушил ее речи.

Страсть мгновенно вспыхнула в сердце девушки... Как в чадугах, бессознательно обвила она «врага-лиходея» белоснежными руками...

Без речей, без объяснений промелькнули сладкие минуты примиренья. Размолвка забыта, любовь в Настином сердце загорелась жарче прежнего.

После недолгого молчанья Алексей, не выпуская Настиной руки, сказал ей робким голосом, запинаясь на каждом слове:

– Про какую разлучницу ты поминала? Кто это наплел про меня?..

– Не поминай, – шептала Настя, тихо склоняясь на грудь «лиходея». – Что поминать?.. Зачем?..

– Да нет, с чего ты взяла? – продолжал Алексей. – Мне в голову не приходило, на разуме не бывало...

– Да перестань же, голубчик!.. Так спросту сказала: ты невеселый такой, думчивый... Мне и вспало на ум...

– То-то и есть: «думчивый, невеселый»! А откуда веселью-то быть, где радостей-то взять? – сказал Алексей.

– Так моя любовь тебе не на радость? – быстро, взглянув на ему в глаза, спросила Настя.

– Не про то говорю, ненаглядная, – продолжал Алексей. – Какой мне больше радости, какого счастья?.. А вспадет как на ум, что впереди будет, сердце кровью так и обольется... Слюбились мы, весело нам теперь, радостно, а какой конец тому будет?.. Вот мои тайные думы, вот отчего невеселый брожу...

– Как какой конец? – молвила удивленная Настя. – Будем муж да жена. Тем и делу конец...

– Легко сказать, Настенька, каково-то сделать? – уныло промолвил Алексей.

– Как люди, так и мы, – ответила Настя. – Нечего о том сокрушаться.

– А родители? – чуть слышно спросил Алексей.

– Чьи?

– Известно, не мои.

– Ты про тятеньку, что ли? – спросила Настя.

– Да...

– Повенчавшись, придем да в ноги ему, – усмехнулась Настя. – Посерчает, поломается, да и смилуется... Старину вспомнит... Ведь сам он мамыньку-то «уходом» свел, сам свадьбу-самокрутку играл...

– Мало ли что старики смолodu творят, а детям не велят?.. – сказал Алексей. – То, золотая моя, дело было давнишнее, дело позабытое... Случись-ка что – вспомнит разве он про себя с Аксиньей Захаровной?..

– Вспомнит! – молвила Настя. – Беспременно вспомнит и простит...

– Не таков человек, – ответил Алексей. – Тут до беды недолго.

– До какой беды?

– До кровавой беды, моя ненаглядная, до смертного убойства, – сказал Алексей. – Горд и кичлив Патап Максимыч... Страшен!.. На погибель мне твой родитель!.. Не снести его душе, чтобы дочь его любимая за нищим голышом была... Быть мне от него убитому!.. Помяни мое слово, Настенька!..

– Пустое городишь, – сухо ответила Настя. – Играют же свадьбы «уходом», не мы первые, не мы, и последние... Да с чего ты взял это, голубчик?.. Тятенька ведь не медведь какой... Да что пустое толковать!.. Дело кончено – раздумывать поздно, – решительно сказала Настя. – Вот тебе кольцо, вот тебе и лента.

Сняла золотой перстень с руки, вырвала из косы ленту и отдала Алексею. Таков обычай перед свадьбами-самокрутками. Это нечто вроде обручения.

Медленно принял Алексей свадебный дар и, как водится, поцеловал невесту.

И поник Алексей головою. Жалкий такой, растерянный стоит перед Настей.

– Это Флене Васильевне с руки про самокрутки-то расписывать, – молвил он, – а нам с тобой не приходится.

Шаг сделала Настя вперед. Мгновенно алым румянцем вспыхнуло лицо ее, чело нахмурилось, глаза загорелись.

– Не любишь ты меня!.. – отрывисто сказала она полушепотом и вырвала из рук Алексея ленту и перстень.

– Настенька!.. Друг ты мой сердечный!.. – умоляющим голосом заговорил Алексей, взяв за руку девушку. – Какое ты слово опять молвила!.. Я-то тебя не люблю?.. Отдай, отдай ленту да колечко, отдай назад, моя ясынька, солнышко мое ненаглядное... Я не люблю?.. Да я за тебя в огонь и в воду пойду...

– В воде глубоко, в огне горячо, – с усмешкой сказала Настасья Патаповна. – Берегись, молодец: потонешь, не то сгоришь.

– Тебе смешки да издевки, а знала бы, что на душе у меня!.. Как бы ведала, отчего боюсь я Патапа Максимыча, отчего денно и ночью страшусь гнева его, не сказала б обиды такой... Погибели боюсь... – зачал было Алексей.

– Знаю, – перебила Настя. – Все знаю, что у парня на уме: и хочется, и колется, и болит, и матушка не велит... Так, что ли? Нечего глазами-то хлопать, – правду сказала.

– Тещь свой обычай, смейся, Настасья Патаповна, а я говорю дело, – переминаясь на месте, сказал Алексей. – Без родительского благословения

мне тебя взять не приходится... А как сунусь к нему свататься?.. Ведь от него погибель... Пришел бы я к нему не голышом, а брякнул бы золотой казной, другие б речи тогда от него услышал...

– А где тебе добыть золотой казны? На большую дорогу, что ли, с кистенем пойдешь аль нечистому душу заложишь? – желчно усмехнулась Настя.

– Оборони Господи об этом и помыслить. Обидно даже от тебя такую речь слышать мне! – ответил Алексей. – Не каторжный я, не беглый варнак. В Бога тоже верую, имею родителей – захочу ль их старость срамить? Вот тебе Николай святитель, ничего такого у меня на уме не бывало... А скажу словечко по тайности, только, смотри, не в пронос: в одно ухо впусти, в другое выпусти. Хочешь слушать тайну речь мою?.. Не промолвишься?

– Не из таковских, чтобы зря болтать, – небрежно ответила Настя.

– Наслышан я, Настенька, что недалеко от наших местов золото есть, – начал Алексей.

– Ну!..

– Выкопать можно его...

– Ну!..

– Столько можно нарыть, что первым богачом будешь, – продолжал Алексей.

– Клад, что ли? – спросила Настя.

– Не клад, а песок золотой в земле рассыпан лежит, – шептал Алексей. – Мне показывали... Стуколов этот показывал, что с Патапом Максимычем поехал... За тем они в Ветлугу поехали... Не проговорись только, Христа ради, не погуби... Вот и думаю я – не пойти ли мне на Ветлугу... Накопавши золота, пришел бы я к Патапу Максимычу свататься...

– В некотором царстве, не в нашем государстве, жил-был мужик, – перебила его Настя, подхватив батистовый передник рукой и подбоченясь ею. – Прогноилась у того мужика на дому кровля, средь избы капель пошла. Напилил мужик драни, вырубил застрехи, конек вытесал – все припас кровлю перекрыть. И вздумалось тут ему ставить каменные палаты. Думает день, думает другой, много годов прошло, а он все думает, откуда денег на палаты достать. Денег не сыскал, палат не построил, дрань да застрехи погнили, а избенка развалилась... Хороша моя сказочка, Алексей Трифоныч?.. Ась?..

И, задорно прищутив горевшие глаза, быстро кивнула Настя головой и птичкой порхнула в боковушу. Алексей опешил. Стоит да глядит, ровно глотком подавился.

Вдруг большая дверь быстро распахнулась. Ввалился пьяный Волк, растерзанный, растрепанный, все лицо в синяках и рубцах с запекшейся кровью, губы разбиты, глаза опухли, сам весь в грязи: по всем статьям кабацкий завсегдатель.

– А! Девушник-ушник!.. – крикнул он Алексею. – И сюда забрался!.. Постой ты у меня, я те отпотчую.

– Молчать, пьяная рожа! – накинулся на него Алексей. – Только слово пикни, до смерти разражу.

– Нечего грозиться-то. Ах ты, анафема!

Алексей хотел было схватить Никифора, но тот извернулся и бросился в боковушу, куда убежала Настя.

В дверях боковуши стояла канонница Евпраксеюшка с пучком восковых свечей.

Залился веселым хохотом Никифор.

– Ай да приказчик!.. Да у тебя, видно, целому скиту спуску нет... Намедни с Фленушкой, теперь с этой толстухой!.. То-то я слышу голоса: твой голос и чей-то девичий... Ха-ха-ха! Прилипчив же ты, парень, к женскому полу!.. На такую рябую рожу и то польстился!.. Ну ничего, ничего, паренек: будь молодцу не укор, всяку дрянь к себе чаль, Бог увидит, хорошеньку пошлет.

– Постой ты у меня, кабацкая затычина!.. Я те упеку в добро место!.. – кричал Алексей. – Я затем и к хозяйке шел, чтоб про новые твои проказы ей доложить... Кто пегу-то кобылу в Кошелевском перелеске зарезал?.. Кто кобылью шкуру в захлыстинском кабаке заложил?.. А?..

– Нешто я? – с наглостью отозвался Никифор.

– А нешто не ты? – наступая на него, закричал Алексей. – Шкура-то у меня, а целовальник налицо... Ах ты, волк этакой, прямо волк!..

Вышла на шум Аксиныя Захаровна. Узнав о новом подвиге любезного брата, согласилась она с Алексеем, что его до приезда Патапа Максимыча на запор следует.

Так и сделали. Запер Алексей нареченного дядюшку во мшенник на хлеб, на воду.

Новые напасти, новые печали с того дня одолели Настю. Не чаяла она, что в возлюбленном ее нет ни удалства молодецкого, ни смелой отваги. Гадала сокола поймать, поймала серу утицу.

Дивом казалось ей, понять не могла, как это она вдруг с Алексеем поладила. В самое то время, как сердце в ней раскипелось, когда гневом так и рвало душу ее, вдруг ни с того ни с сего помирились, ровно допрежь того

и ссоры никакой не бывало... Увидала слезы, услышала рыдания – воском растаяла. Не видывала до той поры она, ни от кого даже не слыхивала, чтоб парни перед девицами плакали, – а этот...

Думала прежде Настя, что Алеша ее ровно сказочный богатырь: и телом силен, и душою могуч, и что на целом свете нет человека ему по плечу... вдруг он плачет, рыдает и, еще ничего не видя, трусит Патапа Максимыча, как старая баба домового... Где же удаль молодецкая, где сила богатырская?.. Видно, у него только обличье соколье, а душа-то воронья...

Упал в Настиных глазах Алексей!.. Жаль ей парня, но жаль как беззащитного ребенка, как калеку старика... Плох он, думает Настя, как же за таким замужем жить?.. Только жизнь волочить да маяться до гробовой доски.

Скучно ей, ждет не дождется отца. Выпросилась бы к больной тетке и там бы в обители развеяла с Фленушкой тоску свою. Опостылел Насте дом родительский.

Видалась она после того с Алексеем. Чуть не каждый день видалась, но эти свиданья не похожи были на первые. Не клеились тайные беседы, не сходили с уст слова задушевные... Сойдутся, раз-другой поцелуются, перекинут несколько слов, глядь, и говорить больше не о чем. И поцелуи не так горячи, и ласки не так страстны, как прежде бывали. Только и осталось приманчивого, что тайна свиданий да опасенье, чтоб кто не застал их на поцелуе. Однажды сошла Настя в подклет к Алексею. Немножко поговорили и замолкли, а когда Алексей, обняв стан Насти, припал к ее плечу, она – зевнула.

Зачинал было Алексей заводить речь, отчего боится он Патапа Максимыча, отчего так много сокрушается о гневе его... Настя слушать не захотела. Так бывало не раз и не два. Алексей больше и говорить о том не начинал.

Но как ни боится он Патапа Максимыча, а все-таки прежнюю думу лелеет, как бы жениться на богатой Насте. У нее в сундуках добра счету нет, а помрет отец, половина всего имения ей достанется... Другой такой невесты ему не сыскать. Краше Настасьи Патаповны тоже ему не найти... Да что краса, что пригожество, не того надо молодцу, не о том его думы, заботы, не в том тайные его помышленья... С женина лица воду не пить, краса приглядчива, а приданные денежки на всю жизнь пригодятся. А богатства Чапуриных не перечесть, – живи не тужи, что ни день, то праздник... Одна беда – сумел девку достать, как жену-то добыть?.. «Родитель-от, Патап-от Максимыч... – думает Алексей, – добр до меня, уж так добр, что не придумаешь, чем угодить мог ему, а все же он погибель



моя... Заикнись ему про Настю, конским хвостом пепел твой разметет... Сохрани, Господи, от лютого человека и помилуй меня!..»

Спать ляжет, во сне такие же сны видятся. Вот сидит он в каменных палатах, все прибрано, и все богато разукрашено... Несметные сокровища, людской почет, дом полная чаша, а под боком жена-красавица, краше ее во всем свете нет... Жить в добре да в красне и во снах хорошо: тешат Алексея золотые грезы, сладко бьется его сердце при виде длинного роя светлых призраков, обступающих его со всех сторон, и вдруг неотвязная мысль о Чапурине, о гибели... Сонные видения мутятся, туманятся, все исчезает, и перед очами Алексея темной марой встает страшный образ разъяренного Патапа Максимыча. Как зарево ночного пожара, пылает грозное лицо его, раскаленными угольями сверкают налитые кровью глаза, по локоть рукава засучены, в руке дубина, а у ног окровавленная, едва дышащая Настя... Кругом убийцы толпится рабочий люд, ожидает хозяйского приказа. Грозный призрак указывает ему на полумертвого от страха Алексея, кричит: «Давай его сюда: жилы вытяну, ремней из спины накрою, в своей крови он у меня захлебнется!..» Толпа кидается на беззащитного, нож блеснул... И с страшным криком просыпается Алексей... Долго не может очнуться и, опомнившись, спешно творит одно за другим крестные знамения...

Чуть не каждую ночь такие тяжелые сны... И западает на мысль Алексею: неспроста такие сны видятся, правду предсказывают... Вспоминает про первое свиданье с Патапом Максимычем, вспоминает, как тогда у него ровно кипятком сердце обдало при взгляде на будущего хозяина, как ему что-то почудилось – не то беззвучный голос, не то мысль незваная, непрошенная... И становится Алексей день ото дня сумрачней, ходит унылый, от людей сторонится, иной раз и по делу какому слова от него не добьются. Заели Лохматого думы да страхи... Где бы смелость взять, откуда б набраться отваги?

«Эх, достать бы мне это ветлужское золото! – думает он. – Другим бы тогда человеком я стал!.. Во всем довольство, обилье, ото всех почет и сам себе господин, никого не боюсь!.. Иль другую бы девицу либо вдовушку подцепить вовремя, чтоб у ней денежки водились свои, не родительские... Тогда... Ну, тогда прости, прощай, Настасья Патаповна, – не поминай нас лихом...»

Раз утром после тяжелых сновидений, в подклете возле своей боковуши сидел Алексей, крепко задумавшись. Подсел к нему старик Пантелей.

– Алексеюшка, – молвил он, – послушай, родной, что скажу я тебе. Не посетуй на меня, старика, не прогневайся; кажись, будто творится с тобой что-то неладное. Всего шесть недель ты у нас живешь, а ведь из тебя другой парень стал... Побывай у своих в Поромове, мать родная не признает тебя... Жалости подобно, как ты извелся... Хворь, что ль, какая тебя одолела?

– Нет, Пантелей Прохорыч, хвори нет у меня никакой. Так что-то... на душе лежит... – отвечал Алексей.

– Дума какая? – продолжал свой допрос Пантелей.

– Ох, Пантелей Прохорыч! – вздохнул Лохматый. – Всех моих дум не передумать. Мало ль заботы мне. Люди мы разоренные, семья большая, родитель-батюшка совсем хизнул с тех пор, как Господь нас горем посетил... Поневоле крылья опустишь, поневоле в лице помутишься и сохнуть зачнешь: забота людей не красит, печаль не цветит.

– Не о чем тебе, Алексеюшка, много заботиться. Патап Максимыч не оставит тебя. Видишь сам, как он возлюбил тебя. Мне даже на удивленье... Больше двадцати годов у них в дому живу, а такое дело впервой вижу... О недостатках не кручинься – не покинет он в нужде ни тебя, ни родителей, – уговаривал Пантелей Алексея.

– Так-то оно так, Пантелей Прохорыч, а все же гребтится мне, – сказал на то Алексей. – Мало ль что может быть впереди: и Патап Максимыч смертный человек, тоже пód Богом ходит... Ну как не станет его, тогда что?.. Опять же, как погляжу я на него, нравом-то больно крутенок он.

– Есть грешок, есть, – подтвердил Пантелей. – Иной раз ни с того ни с сего так разъярится, что хоть святых вон неси... Зато отходчив...

– Как на грех чем не угодишь ему?.. Человек я маленький, робкий... Боюсь я его, Пантелей Прохорыч... Гроза сильного аль богатого нашему брату полсмерти.

– Не говори так, Алексеюшка, – грех!.. – внушительно сказал ему Пантелей. – Коли жить хочешь по-Божьему, так бойся не богатого грозы, а убогого слезы... Сам никого не обидишь, и тебя обидеть не допустит Господь.

– Знаю я это, сызмалу родители тому научили, – молвил Алексей, – а все же грозен и страшен Патап Максимыч мне... Скажу по тайне, Пантелей Прохорыч, ведь я тебя как родного люблю, знаю – худого мне от тебя не будет...

– Что же, что такое? – спросил Пантелей, думая, что Алексей хочет рассказать ему про замыслы Стуколова.

Встал Алексей с лавки и зачал ходить взад и вперед по подклету.

– Тайная дума какая? – допытывался Пантелей. – Может, неладное дело затеяно?

– Худых дел у меня не затеяно, – отвечал Алексей, – а тайных дум, тайных страхов довольно... Что тебе поведаю, – продолжал он, становясь перед Пантелеем, – никто доселе не знает. Не говаривал я про свои тайные страхи ни попу на духу, ни отцу с матерью, ни другу, ни брату, ни родной сестре... Тебе все скажу... Как на ладонке раскрою... Разговори ты меня, Пантелей Прохорыч, научи меня, пособи горю великому. Ты много на свете живешь, много видал, еще больше того от людей слышал... Исцели мою скорбь душевную.

И, опершись руками на плечи Пантелея, опустил Алексей на грудь его пылающую голову.

– Чтой-то, парень? – дивился Пантелей. – Голова так и палит у тебя, а сам причитаешь, ровно баба в родах?.. Никак, слезу ронишь?.. Очумел, что ли, ты, Алексеюшка?.. В портках, чать, ходишь, не в сарафане, как же тебе рюмы-то распускать... А ты рассказывай, размазывай толком, что хотел говорить.

– Видишь ли, Пантелей Прохорыч, – собравшись с силами, начал Алексей свою исповедь, – у отца с матерью был я дитячко моленное-прошенное, первенцом родился, холили они меня, лелеяли, никогда того на ум не впадало мне, ни им, чтоб привелось мне когда в чужих людях жить, не свои щи хлебать, чужим сугревом греться, под чужой крышей спать... И во сне мне такого не грезилось... Посетил Господь, обездолили нас люди недобрые – довелось в чужих людях работы искать, – продолжал Алексей. – Сам посуди, Пантелей Прохорыч, каково было мне, как родитель посылал нас с братишкой на чужие хлеба, к чужим людям в работники! Каково было слышать мне ночные рыдания матушки!.. Она, сердечная, думала, что мы с братом лежим сонные, да всю ночь-ноченскую просидела над нами, тихонько крестила нас своей рученькой, кропила лица наши горячой слезой... Ох, каково было горько тогда... Вздумать не могу!..

И крепко обнял Алексей старика Пантелея.

– Полно... не круши себя, – говорил Пантелей, глядя морщинистой рукой по кудрям Алексея. – Не ропщи... Бог все к добру строит: мы с печальми, он с милостью.

– Не ропщу я на Господа. На него возверзаю печали мои, – сказал, отирая глаза, Алексей. – Но послушай, родной, что дальше-то было... Что было у меня на душе, как пошел я из дому, того рассказать не могу... Свету не видел я – солнышко высоко, а я ровно темной ночью брел... Не помню,

как сюда доволоксся... На уме было – хозяин каков? Дотоле его я не видывал, а слухов много слышал: одни сказывают – добрый-предобрый, другие говорят – нравом крут и лют, как зверь...

– Мало ль промеж людей ходит слухов! Сто лет живи, всех не переслушаешь, – сказал Пантелей.

– Прихожу я в Осиповку, – продолжал Алексей, – Патап Максимыч из токарни идет. Как взглянул я на него, сердце у меня так и захолонуло...

– Грозен показался? – спросил Пантелей.

– Нет, – отвечал Алексей. – Светел ликом и добр. Только ласку да приятство видел я на лице его, а как вскинул он на меня глазами, показались мне его глаза родительскими: такие любовные, такие заботные. Подхожу к нему... И тут... ровно шепнул мне кто-то: «От сего человека погибель твоя». Так и говорит: «От сего человека погибель твоя». Откуда такое извещение – не знаю.

– От сряща беса полуденного, – строго сказал Пантелей. – Его, окаянного, дело, по всему видно. От него и страхи ночные бывают, и вещь, во тьме преходящая, и стрела, летящая во дни... Ты, Алексеюшка, вражьему искушению не поддавайся. Читай двенадцату кафизму, а нет, хоть один псалом «Живый в помощи вышнего», да молись преподобному Нифонту о прогнании лукавых духов... И отступится от тебя бес полуденный... Это он шептал, и теперь он же смущает тебя... Гони его прочь – молись...

– Буду молиться, родной, сегодня ж зачну, – отвечал Алексей. – А не выйдет у меня из головы то извещение, все-таки буду бояться Патапа Максимыча.

– А от страха перед сильным слушай, что пользует, – сказал Пантелей. – «Вихорево гнездо» видал?

– Не знаю, что за «вихорево гнездо» такое, – отвечал Алексей.

– На березе живет, – сказал Пантелей. – Когда вихрь летит да кружит – это ветры небесные меж себя играют... Невегласи, темные люди врут, что вихрь – бесовская свадьба, не верь тем пустым речам... Ветры идут от дуновения уст Божих, какое же место врагу, где играют они во славу Божию... Не смущайся – что сказывать стану, – в том нечисти бесовской ни капли нет... Когда ветры небесные вихрями играют перед лицом Божиим, заигрывают они иной раз и с видимою тварию – с цветами, с травами, с деревьями. Бывает, что, играя с березой, завивают клубом тонкие верхушки ее... Это и есть «вихорево гнездо».

– Видал я на березах такие клубы, не знал только, отколь берутся они, – молвил Алексей.

– Возьми ты это «вихорево гнездо», – продолжал Пантелей, – и носи его на себе не снимаючи. Не убоишься тогда ни сильного, ни богатого, ни князя, ни судии, ни иной власти человеческой... Укрепится сердце твое, не одолеет тебя ни страх ни боязнь... Да смотри, станешь то гнездо с березы брать, станешь на себя вздевать – делай все с крестом да молитвой... Ведь это не ворожба, не колдовство... Читай третий псалом царя Давыда да как дойдешь до слов: «Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя», перекрестись и надевай на шею... Да чтоб никто на тебе «вихорево гнезда» не видал, не то вся сила его пропадет и станешь робеть пуще прежнего. Лучше всего возьми ты самую середку гнезда, зашей во что ни на есть и носи во славу Божию на кресте наузой...<sup>[126]</sup> Носят еще от страха барсучью шерсть в наузе, не делай этого, то не от Бога, а от злого чарованья. Кто барсучью шерсть носит, в того человека дьявол на место робости злобу к людям вселяет. Казаки, что в стары годы по Волге разбоем ходили, все барсучью шерсть на шее носили; оттого и были на кровопролитие немилостивы...

Внимательно слушал Алексей Пантелея и решил с того же дня искать «вихорева гнезда».

Вдруг благодушное выражение лица Пантелея сменилось строгим, озабоченным видом, повернул он речь на другое.

– А скажи-ка ты мне, Алексеюшка, не заметно ль у вас чего недоброго?.. Этот проходимец, что у нас гостил, Стуколов, что ли... Сдается мне, что он каку-нибудь кашу у нас заварил... Куда Патап-от Максимыч поехал с ним?

– В Красну рамень на мельницу, – сказал Алексей.

– Не ври, парень, по глазам вижу, что знаешь про ихнее дело... Ты же намерен и сам шептался с этим проходимцем... Да у тебя в боковуше и Патап Максимыч, от людей таясь, с ним говорил да с этим острожником Дюковым. Не может быть, чтоб не знал ты ихнего дела. Сказывай... Не ко вреду спрашиваю, а всем на пользу.

– Торговое дело, Пантелей Прохорыч. Про торговое дело вели разговоры, – сказал Алексей.

– Да ты, парень, хвостом-то не верти, истинную правду мне сказывай, – подхватил Пантелей... – Торговое дело!.. Мало ль каких торговых дел на свете бывает – за ину торговлю чествуют, за другую плетью шлепают. Есть товары заповедные, есть товары запретные, бывают товары опальные. Боюсь, не подбил бы непутный шатун нашего хозяина на запретное дело... Опять же Дюков тут, а про этого молчанку по народу недобрая слава идет. Без малого год в остроге сидел.

– Не все же виноватые в остроге сидят, – заметил Алексей. – Говорится: «От сумы да от тюрьмы никто не отрекайся»... Оправдали его.

– Так-то оно так, – сказал Пантелей, – а все ж недобрая слава сложилась про него...

– Какая слава? – спросил Алексей.

– Насчет серебреца да золотца... – молвил Пантелей, пристально глядя на Алексея.

– Золота? – вспыхнул Алексей. – Из каких местов?

– Пес их знает, прости Господи, где они поганое дело свое стряпают, на Ветлуге, что ли, – молвил Пантелей.

– На Ветлуге?.. – смутился Алексей. – Да они на Ветлугу и поехали.

– То-то и есть... А давеча говоришь: в Красну рамень... Сам знаю, что они на Ветлуге, а по какому делу?.. По золотому?.. Так, что ли?.. – порывисто спрашивал Пантелей.

– Не наведи только погибели на меня, Пантелей Прохорыч, – отвечал Алексей, побледнев и дрожа всем телом...

– Не на погибель веду, от погибели отвести хочу... Отвести тебя и хозяина, – заговорил Пантелей. – Живу я в здешнем доме, Алексеюшка, двадцать годков с лишком, нет у меня ни роду, ни племени, ни передо мной, ни за мной нет никого – один как перст... Патапа Максимыча и его домашних за своих почитаю, за сродников. Как же не убиваться мне, как сердцем не болеть, когда он в неминуемую беду лезет... Скажи мне правду истинную, не утай ничего, Алексеюшка, авось поможет Господь беду отвести... Говори же, говори, Алексеюшка, словечка не пророню никому.

– Почитаючи тебя заместо отца, за твою ко мне доброту и за пользительные слова твои всю правду, как есть перед Господом, открою тебе, – медленно заговорил вконец смутившийся Алексей, – так точно, по этому самому делу, по золоту то есть, поехали они на Ветлугу.

– Ахти Господи!.. Ох, Владыка милостивый!.. Что ж это будет такое!.. – заохал Пантелей. – И не грех тебе, Алексеюшка, в такое дело входить?.. Тебе бы хозяина побережь... Мне бы хоть, что ли, сказал... Ах ты, Господи, Царь Небесный!.. Так впрямь и на золото поехали?

– Да что ж тут неладного, Пантелей Прохорыч? – спросил Алексей. – В толк не могу я принять, какая беда тут, по-твоему...

– Дело-то какое! – отвечал Пантелей. – Сам дьявол этого шатуна с острожником подослал смущать Патапа Максимыча, на погибель вести его... Ах ты, Господи, Господи!.. Что же наш-то сказал, как зачали они манить его на то дело?

– Сначала не соглашался, потом решился. Выгодное, говорит, дело, –

отвечал Алексей.

– Выгодное дело!.. Выгодное дело!.. – говорил, покачивая головой, старик. – Да за это выгодное дело в прежни годы, при старых царях, горячим оловом горла заливали... Ноне хоша того не делают, а все ж не бархатом спину на площади гладят...

– Что ты, Пантелей Прохорыч?.. Господь с тобой!.. – сказал удивленный Алексей. – Да ты про какое дело разумеешь?

– Известно про какое!.. За что Дюков-от в остроге сидел?.. Увернулся, собачий сын, от Сибири, да, видно, опять за стары промыслы... Опять фальшивы деньги ковать.

– Окстись, Пантелей Прохорыч!.. Чтой-то ты? – воскликнул Алексей. – Каки фальшивы деньги? Поехали они золотой песок досматривать... На Ветлуге, слышь, золото в земле родится... Копать его думают...

– Знаем мы, какое золото на Ветлуге родится, – отвечал Пантелей. – Там, Алексеюшка, все родится: и мягкое золото, и целковики, в подполье работанные, и бумажки-красноярки, своей самодельщины... Издавна на Ветлуге живут тем промыслом... Ох уж мне эти треклятые проходимцы!.. На осине бы им висеть – поди-ка ты, как отуманили они, окаянные, нашего хозяина.

– Сам видел я ветлужский золотой песок – Стуколов показывал. Как есть заправское золото, – сказал Алексей.

– Знаем мы, знаем это золото, – молвил Пантелей. – Из него мягкую деньгу и куют. Ох, этот лодырь <sup>[127]</sup> Стуколов!.. Недаром, только взглянул я ему в рожу-то, сердце у меня повернулось... Вот этот человек так уж истинно на погибель...

Долго убеждал Алексея старик Пантелей и самому отстать от опасного дела и Патапа Максимыча разговаривать.

Не возобновлялся у них разговор об этом, и сердечными, задушевными словами Пантелея убедился Алексей, что затеянное ветлужское дело чем-то не чисто... Про Стуколова, пропадавшего так долго без вести, так они и решили, что не по дальним местам, не по чужим государствам он странствовал, а, должно быть, за фальшивую монету сослан был на каторгу и оттуда бежал.

– Гляди ему в лоб-от, – говорил Пантелей, – не знать ли, как палач его на торгу железными губами поцеловал.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На шестой неделе Великого поста Патап Максимыч домой воротился. Только что послышался поезд саней его, настезь распахнулись ворота широкого двора, и в доме все пришло в движение. Дело было в сумерки. Толстая Матренушка суетливо зажигала свечи в передних горницах; Евпраксеюшка, бросив молебные каноны, кинулась в стряпущую с самоваром; Аксинья Захаровна заметалась из угла в угол, выбежала из светлицы Настя, и, лениво переваливаясь с ноги на ногу, как утка, выплывала полусонная Параша. Чин чином: помолился Патап Максимыч перед иконами и промолвил семейным: «Здравствуйте», предоставив жене и дочерям раздевать его. Аксинья Захаровна кушак развязывала, Настя с Парашей шубу снимали. Раздевшись, стал Патап Максимыч целовать сначала жену, потом дочерей по старшинству. Все по-писаному, по-наученному, по-устáвному.

– Подобрю ли, поздорову ли без меня поживали? – спрашивал он, садясь на диван и предоставив дочерям стаскивать с ног его дорожные валяные сапоги.

– Все слава Богу, – отвечала Аксинья Захаровна. – Ждали мы тебя, ждали и ждать перестали... Придумать не могли, куда запропастился. Откуда теперь?

– Из Городца, – отвечал Патап Максимыч. – Вечор в Городце видел Матвея Корягу... Зазнался в попах... А ты бы, Захаровна, чайку поскорее велела собрать.

– Тотчас, тотчас, Максимыч, – захлопотала она, – мигом поспеет... А вам бы, девки, накрыть покаместь стол-от да посуду поставить бы... Что без дела-то глаза пялить?..

Все принялись за работу.

– Пес его знает, как и в попы-то попал, – продолжал Патап Максимыч. – В Городце ноне мало в Корягу веруют и во все в это австрийское священство... Так я полагаю, что все это московских тузов одна пустая выдумка... Архиереев каких-то, пес их знает, насвятили! Нам бы хоть немудреного попика да беглого, и тем бы довольны остались. А они архиерея!.. Блажь одна – с жиру бесятся... Что нам с архиереями-то делать?.. Святости, что ли, прибудет от них, грешить меньше станем, что ли?.. Как же!.. По нашим местам московская затейка в ход не пойдет... Завелся вот Коряга, полугода не прошло, от часовни ему отказ как шест... у



Войлошниковых теперь на дому службу справляют... Те пока принимают, ну и пусть их... А нам бы в Городецку часовню бегленького... С беглым-то не в пример поваднее... Перво дело – без просыпу пьян: хошь веревку вей из него, хошь щепу щепай... Другое дело – страху в нем больше, послушания... А Коряга и все, слышь, эти австрийские – капли в рот не берут, зато гордыбачить зачали... «У меня-де свой епископ, не вы, говорит, мужики, – он мне указ...» И задали мы Коряге указ: вон из часовни, чтоб духа его не было!.. Ну их к шуту совсем!..

– Как же мы страшную-то да Пасху без попа будем? – унылым голосом спросила у мужа Аксины Захаровна.

– А Евпраксея-то чем не поп?.. Не справит разве? Чем она плоше Коряги?.. Дела своего мастерица, всяку службу не хуже попа свалает... Опять же теперь у нас в дому две подпевалы, – сказал Патап Максимыч, указывая на дочерей. – Вели-ка, Настасья, Алексея ко мне кликнуть. Что нейдет до сей поры?

Настя чуть-чуть вспыхнула. Аксины Захаровна ответила мужу:

– Дома нет его, Максимыч. Давеча говорил: надо ему в Марково да в Березовку зачем-то съездить...

– Ну, ин ладно, – сказал Патап Максимыч и зевнул, сидя в креслах. Дорога притомила его.

А встреча была что-то не похожа на прежние. Не прыгают дочери кругом отца, не заигрывают с ним утешными словами. Аксины Захаровна вздыхает, глядит исподлобья. Сам Патап Максимыч то и дело зеваёт и чаем торопит...

– Матушка у нас захворала, – подгорюнясь, молвила Аксины Захаровна.

– Что? – равнодушно спросил Патап Максимыч.

– Матушка Манефа больнешенька, – повторила Аксины Захаровна.

– Нешто спасенной душе! Не помрет – отдышится! – отозвался Патап Максимыч. – Старого лесу кочерга! Скрипит, трещит, не сломится.

– Нет, Максимыч, не говори, – молвила Аксины Захаровна. – Совсем помирает, лежит без памяти... А Марья-то Гавриловна!.. греховодница эдакая, – промолвила старушка, всхлипывая. – Перед смертью-то старицу поганить вздумала: лекарь в Комарове живет, лечит матушку-то.

– Дело не худое, – молвил Патап Максимыч. – Лекарь больше вашей сестры разумеет... – И, немного помолчав, прибавил: – Спосылать бы туда, что там?

– И то я три раза Пантелея в обитель-то гоняла, – молвила Аксины Захаровна. – На прошлой неделе в последний раз посылала: плоха, говорит,

ровно свеча тает, ни рученькой, ни ноженькой двинуть не может.

– Кто возле нее? – спросил Патап Максимыч.

– Кому быть? – ответила Аксинья Захаровна. – Знамо, дело обительское.

– Что смыслят эти обительские! – с досадой молвил Патап Максимыч. – Дура на дуре, наперед смерти всякого уморят... А эта егоза Фленушка, поди, чать, пляшет да скачет теперь без призора-то... Лекарь разве, да не сидит же он день и ночь у одра болящей.

– Не грехи на Фленушку, Максимыч, – заступилась Аксинья Захаровна. – Девка с печали совсем ума решилась!.. Сам посуди, каково ей будет житье без матушки!.. Куда пойдет? Где голову приклонит?

– Гм-да! – промычал Патап Максимыч.

– Возле матушки больше Марья Гавриловна, – проговорила Аксинья Захаровна. – Всю обитель под ноготь подогнула... Мать Софию из кельи вытурила, ключи отобрала, других стариц к болящей тоже не пускает...

– И умно делает, – решил Патап Максимыч. – Спасибо!.. Хотя она толком позаботилась.

– Я было вздумала, Максимыч... – робко, нерешительно проговорила Аксинья Захаровна.

– Чего еще? – спросил Патап Максимыч, глядя в сторону.

– Да вот Настя пристаёт: отпусти да отпусти ее за матушкой поводиться.

– Ну? – спросил Патап Максимыч, поворотив к жене голову.

– Не посмела, батька, без тебя, – едва пропищала Аксинья Захаровна.

– Еще бы посмела! – молвил Патап Максимыч. – Прасковья, сползи в подклет, долго ль еще самовару-то ждать?

Параша пошла поспешней обыкновенного. Прыти прибыло, видит, что отец не то в сердцах, не то в досаде, аль просто недобрый стих нашел на него.

– Отпусти ты меня, тятенька, – тихо заговорила Настя, подойдя к отцу и наклоня голову на плечо его. – Походила б я за тетенькой и, если будет на то воля Божия, закрыла б ей глаза на вечный покой... Без родных ведь лежит, одна-одинешенька, кругом чужие...

– Подумать надо, – сказал Патап Максимыч, слегка отводя рукой Настю. – Ну вот и самовар! Принеси-ка, Настя, там на окне у меня коньяку бутылка стояла, пуншику выпить с дороги-то...

Выкушал Патап Максимыч чашечку, выкушал другую, третью... Стал веселей, разговорчивей.

– Вот и отогрелся, – молвил он. – Налей-ка еще, Настенька. А знаешь

ли, старуха? Ведь меня на Львов день волки чуть не заели?

– Полно ты!.. – всплеснув руками, вскрикнула Аксинья Захаровна.

– Совсем было поели и лошадей и нас всех, – сказал Патап Максимыч. – Сродясь столь великой стаи не видывал. Лесом ехали, и набралось этого зверья видимо-невидимо, не одна сотня, поди, набежала. Мы на месте стали... Вперед ехать страшно – разорвут... А волки кругом так и рыщут, так и прядают, да сядут перед нами и, глядя на нас, зубами так и щелкают... Думалось, совсем конец пришел...

– Как же отбились-то, как вам Господь помог? – спросила побледневшая от мысли об опасности мужа Аксинья Захаровна.

– Отобьешься тут!.. Как же!.. – возразил Патап Максимыч. – Тут на каждого из нас, может, десятка по два зверья-то было... Стуколову спасибо – надоумил огонь разложить... Обложились кострами. На огонь зверь не идет – боится.

– Дай Бог здоровья Якиму, как бишь его – Прохорыч, что ли, – набожно перекрестясь, сказала Аксинья Захаровна. – Как ему от всякого зла обороны не знать!.. Все страны произошел, всяких делов нагляделся, всего натерпелся.

– Мошенник! – сквозь зубы промолвил Патап Максимыч.

И жена и дочери смолкли, увидя, что он опять нахмурился.

Мало погодя, Аксинья Захаровна спросила его:

– Чем же мошенник-от он? Кажись бы, добрый человек... От писания сведущий, постный, смиренный... Много зол ради веры Христовой претерпел.

– Может, и кнутом дран, только не за Христа, – с досадой молвил Патап Максимыч.

– Как так, Максимыч? – придвигаясь к мужу, спросила Аксинья Захаровна.

– Не твоего ума дело, – отрезал Патап Максимыч. – У меня про Якимку слова никто не могли сказать... Помину чтоб про него не было... Ни дома меж себя, ни в людях никто заикаться не смей...

Никто ни звука... Замолк и Патап Максимыч.

– Да, съели б меня волки, некому бы и гостинцев из городу вам привезти, – через несколько минут ласково молвил Патап Максимыч. – Девки!.. Тащите чемодан, что с медными гвоздями... Живей у меня... Не то осерчаю и гостинцев не дам.

Дочери побежали, хоть это и не больно привычно было обленившейся дома Параше.

– Пора бы девок-то под венец, – молвил Патап Максимыч, оставшись

вдвоем с женой. – У Прасковьи пускай глаза жиром заплыли, не вдруг распознаешь, что в них написано, а погляди-ка на Настю... Мужа так и просит! Поди, чай, спит и видит...

– Да чтой-то с ума, что ли, ты сошел, Максимыч? На родных дочерей что плетет! – вскрикнула Акси́нья Захаровна.

– Житейское дело, Акси́нья Захаровна, – ухмыляясь, молвил Патап Максимыч. – Не клюковный сок, – кровь в девке ходит. Про себя вспомни-ка, какова в ее годы была. Тоже девятнадцатый шел, как со мной сошлась?

– Тьфу! – плюнула чуть не в самого Патапа Максимыча Акси́нья Захаровна. – Бесстыжий!.. Поминать вздумал!..

Патап Максимыч только улыбался.

– А ты слушай-ка, Захаровна, – молвил он, – насчет Настасьи я кое-что вздумал...

– Снежков, что ль, опять?.. Чужим людям жену нагишом казать? – спросила Акси́нья Захаровна.

– Ну его к шуту, твоего Снежкова! – ответил Патап Максимыч.

– Не мой, батюшка, не мой – твое сокровище, твое изобретенье! – скороговоркой затростила Акси́нья Захаровна. – Не вали с больной головы на здоровую!.. Я бы такого скомороха и на глаза себе близко не пустила... Твое, Максимыч, было желанье, твоим гостем гостил.

– Заверещала!.. Молчи, дело хочу говорить, – молвил Патап Максимыч, но, заметив, что дочери тащат чемодан, смолк.

– После, – сказал он жене.

Чемодан вскрыли. Патап Максимыч вынул сверток и, подавая Акси́нье Захаровне, молвил:

– Это тебе, сударыня ты моя Акси́нья Захаровна, для Христова праздника... Да смотри, шей скорей, поторапливайся... Не взденешь этого сарафана в светло воскресенье, и христосоваться не стану. Стой утреню в этом самом сарафани. Вот тебе сказ...

– Куда мне, старухе, такую одежду носить! – молвила обрадованная Акси́нья Захаровна, развертывая кусок толстой, добротной, темно-коричневой шелковой материи... – Мне бы пора уж на саван готовить.

– Не смей помирать!.. – топнув ногой, весело крикнул Чапурин. – Прежде две дюжины таких сарафанов в клочья износи, потом помирай, коли хочешь.

– Уж и две дюжины! – улыбаясь, ответила Акси́нья Захаровна. – Не многонько ль будет, Максимыч?.. Годы мои тоже немалые!..

– А это вам, красны девицы, – говорил Патап Максимыч, подавая дочерям по свертку с шелковыми материями. – А вот еще подарки... Их

теперь только покажу, а дам, как христосоваться станем.

И открыл коробку, где лежали сахарные пасхальные яйца.

Качая головой, Акси́нья Захаровна рассматривала их... Вдруг сердито вскрикнула на мужа:

– Выкинь, выкинь!.. Ах ты, старый греховодник!.. Ах ты, окаянный!.. Выбрось сейчас же, да вымой руки-то!.. Ишь каку погань привез?.. Это что?.. Четвероко́нечный!.. А?.. Не видал?.. Где глаза-то были?.. Чтобы духу его в нашем доме не было... Еретицкими яйцами христосоваться вздумал!.. Разве можно их в моленну внести?.. Выбрось, сейчас же выкинь на двор!.. Эк обмиршился, эк до чего дошел.

Патап Максимыч не возражал. Нельзя. Исстари повелось по вере бабе порядки блюсти. Он только отшучивался и кончил тем, что в мелкие крошки раздробил привезенные подарки.

– Ишь, грозная какая у вас мать-та... – шутливо молвил он дочерям. – Ну, прости, Христа ради, Захаровна, не доглядел... Право слово, не доглядел, – сказал он жене.

– То-то, не доглядел, – ворчала Акси́нья Захаровна. – Ты такого, батька, натащишь, что после семеро попов дом-от не пересвятят... Аль не знаешь про Ки́рьяка преподобного?

– Какого там еще Ки́рьяка? – зевнул Патап Максимыч – надоедать стала ему благочестивая ругань жены.

– Бысть инок Ки́риак, – протяжно и с распевом, по обычаю старообрядских чтецов, зачала Акси́нья Захаровна, – подвигом добрым подвизался, праведен же бе и благоговееен. И восхоте Пресвятая Богородица в келию к преподобному внити, обаче не вниде. Преподобный же Ки́риак паде ниц и моли владычицу, да внидет в келию. Она же отвеща ему: «Не могу, старче, к тебе внити, ноне бо еретическая книга в келии твоей лежит...» Видишь ли, безумный ты этакой!.. От книги от одной не вошла Богородица к Ки́риаку, а ты чего натащил?.. Поди, поди, вымой руки-то!

– Да полно ж тебе! Ведь уж раздробил, чего еще тростить-то? – сказал Патап Максимыч.

– Руки вымой, – настаивала Акси́нья Захаровна. – Сейчас мой... При мне – чтоб я видела!.. Настасья! Принеси отцу руки мыть.

Настя принесла умывальник и полотенце. Нечего делать, пришлось Патапу Максимычу смывать с рук великое свое прегрешенье.

Акси́нья Захаровна, на радости, что выпал на ее долю час воли и власти, хотела было продолжать свои сказанья, но вошел Алексей.

– Здорово, Алексеюшка, – сказал, здороваясь с ним, Патап Максимыч. – Что?.. Как у нас?.. Все ли благополучно?

– Все, слава Богу, Патап Максимыч, – отвечал приказчик. – Посуду докрасили и по сортам, почитай, всю разобрали. Малости теперь не хватает; нарочно для того в Березовку ездил. Завтра обещались все предоставить. К Страстной зашабашим... Вся работа будет сполна.

– С послезавтраго горянщину помаленьку надо в Городец подвозить, – сказал Патап Максимыч. – По всем приметам, нонешний год Волга рано пройдет. Наледь<sup>[128]</sup> коням по брюхо... Кого бы послать с обозом-то?

– Да я, коли угодно, съездил бы, – отвечал Алексей.

– Тебя в ино место надо посылать. Маркела разве?

– Что ж, Маркел работник хороший, усердный. Кажись, ему можно поверить, – ответил Алексей.

– Маркела и пошлем, – решил Патап Максимыч. – Ступайте, однако, вы по местам, – прибавил он, обращаясь к жене и дочерям.

Те вышли.

– Послушай-ка, Алексеюшка, – тихим голосом повел речь Патап Максимыч. – Ты это должен понимать, что я возлюбил тебя и доверие к тебе имею большое. Понимаешь ты это аль нет?

Алексей встал и, низко кланяясь, проговорил:

– Как мне не понимать того, Патап Максимыч? Потому, как Бог, так и вы... И призрели меня и все такое...

Вспомнил он про «погибель» и путался маленько в речах, не зная, куда клонит слова свои Патап Максимыч.

– Садись. Нечего кланяться-то, – молвил хозяин. – Вижу, парень ты смирный, умный, руки золотые. Для того самого доверие и показываю... Понимай ты это и чувствуй, потому что я как есть по любви... Это ты должен чувствовать... Должен ли?.. А?..

– Я, Патап Максимыч, чувствую... Как же мне не чувствовать! Не чурбан же я какой!..

– И чувствуй... Должен чувствовать, что хозяин возлюбил... Понимай... Ну, да теперь не про то хочу разговаривать... Вот что... Только сохрани тебя Господи и помилуй, коли речи мои в люди вынесешь!..

– Помилуйте, Патап Максимыч. Как это возможно?.. – молвил Алексей, робко взглядывая на хозяина.

– Был я на Ветлуге-то, – понизив голос, сказал Патап Максимыч. – Мошенники!..

– Кто-с? – вполголоса спросил Алексей.

– И Стуколов, и Дюков... Все... Виселицы им мало!

– Это так точно, Патап Максимыч... Дюков даже в остроге сидел.

– Знаю, что сидел, – молвил Патап Максимыч. – Это бы не беда:

оправдался, значит, оправился – и дело с концом. А тут на поверку дело-то другое вышло: они, проходимцы, тем золотом в беду нас впутать хотели... Да.

– Это так точно-с. И то я вашего приезде дожидался, чтоб сказать про ихние умыслы, Патап Максимыч. Доподлинно узнал, что на Ветлуге они фальшивы деньги работают.

– Кто сказал? – пристально взглянув на Алексея, спросил Патап Максимыч.

– Пантелей Прохорыч говорил, – отвечал Алексей.

– Пантелей? Он от кого проведал? – спросил Патап Максимыч. Глаза его засверкали.

– Не могу знать, – опустил глаза, отвечал Алексей. – Сами спросите!

– Кликни его! – сказал Патап Максимыч и, вскочив со стула, быстро зашагал взад и вперед по горнице.

«И Алексей знает, и Пантелей знает... этак, пожалуй, в огласку пойдет, – думал он. – А народ ноне непостоянный, разом наплетут... О, чтоб ты в нитку вытянуть, шатун проклятый!.. Напрасно вздумали мы с Сергеем Андреечем выводить их на свежую воду, напрасно и Дюкову деньги я дал. Наплевать бы на них, на все ихние затейки – один бы конец... А приехали б опять, так милости просим мимо ворот щи хлебать!..»

– Здорово, Прохорыч, – сказал он вошедшему с Алексеем Пантелею. – Как живется-можетесь?..

– Пеньшим помаленьку, батюшка Патап Максимыч, – отвечал старик. – Ты подобиру ль, поздорову ли съездил?

– Слава Богу, – отвечал Патап Максимыч. – Садись-ка и ты, чего стоять-то?

Уселись. Патап Максимыч, пристально глядя на Пантелея, спросил:

– Ты что Алексею про Стуколова с Дюковым рассказывал?

– Нехорошие они люди, Патап Максимыч, вот что, – сказал Пантелей. – Алексеюшке молвил и тебе не потаюсь – не стать бы тебе с такими лодырями знаться... Право слово. Как перед Богом, так и перед твоей милостью...

– А ты толком говори, речь-то не заворачивай!.. Зачем они нехорошие люди? Что приметил за ними? – спрашивал Патап Максимыч.

– Самому мне где примечать?.. А по людям говор нехорош ходит, – отвечал Пантелей. – Кого ни спроси, всяк про Дюкова скажет, что век свой на воровских делах стоит.

– На каких же таких воровских делах? – спросил Патап Максимыч.

– Да хоша б насчет фальшивых денег, – отвечал Пантелей. – Ты

думаешь, напрасно он в остроге-то сидел?.. Как же!.. Зачем бы ему каждую неделю на Ветлугу таскаться?.. За какими делами?.. Ветлуга знамо какая сторона: там по лесам кто спасается, а кто денежку печатает...

– Спрашиваю я, кто про это тебе сказывал?.. Какой человек? Стоящий ли? – приставал к Пантелею Патап Максимыч.

– Все говорят, кого ни спроси, – отвечал Пантелей. – По здешним местам еще мало Дюкова знают, а поезжай-ка в город либо в Баки, каждый парнишка на него пальцем тебе укажет и «каторжным» обзовет.

– Гм!.. Что ж ты мне прежде о том не довел? – спросил Патап Максимыч.

– Прежде не довел? – усмехнулся старик. – А как мне было доводить-то тебе?.. Когда гостили они, приступу к тебе не было... Хорошо ведь с тобой калякать, как добрый стих на тебя нападет, а в иное время всяк от тебя норовит подальше... Сам знаешь, каков бываешь... Опять же ты с ними взапертях все сидел. Как же б я до тебя довел?..

– Затвердила сорока Якова! – перервал Пантелея Патап Максимыч. – Про Стуколова что знаешь?

– Мошенник он, либо целый разбойник, вот что я про него знаю. Недаром про Сибирь все расписывает... Не с каторги ль и к нам объявился?.. Погляди-ка на него хорошенько, рожато самая анафемская.

Ничего больше не добился Патап Максимыч. Но его то поразило, что Колышкин с Пантелеем, друг друга не зная, оба в одно слово: что один, то и другой.

Оставшись с глазу на глаз с Алексеем, Патап Максимыч подробно рассказал ему про свои похождения во время поездки: и про Силантья лукерьянского, как тот ему золотой песок продавал, и про Колышкина, как он его испробовал, и про Стуколова с Дюковым, как они разругали Силантья за лишние его слова. Сказал Патап Максимыч и про отца Михаила, прибавив, что мошенники и такого Божьего человека, как видно, хотят оплести.

– Вот что я вздумал, Алексеюшка. Управимся с горянщиной, отпразднуем праздник, пошлю я тебя в путь-дорогу. Поедешь ты спервоначалу в Комаров, там сестра у меня захворала, свезешь письмецо Марье Гавриловне Масляниковой – купеческая вдова там у них проживает. Отдавши ей письмо, поезжай ты на Ветлугу в Красноярский скит, посылочку туда свезешь к отцу Михаилу да поговоришь с ним насчет этого дела... Ты у него сначала умненько повыпытай про Стуколова, старик он простой, расскажет, что знает. А потом и молви ему, что хотя, мол, песок и добротен и Патап-де Максимыч хотя Дюкову деньги и выдал, однако ж,



мол, все-таки сомневается, потому что неладные слухи пошли... А насчет фальшивых денег не сразу говори, сперва умненько словечко закинь да послушай, что старец станет отвечать... Коли в примету будет тебе, что ничего он не ведает, молви: «Жаль, мол, тебя, Патап Максимыч боится, чтоб к ответу тебя не довели. В городе, мол, Зубкова купца в острог за фальшивые деньги посадили, а доставил-де ему те воровские деньги незнаемый молодец, сказался Красноярского скита послушником...» А Стуколова застанешь в скиту, лишнего с ним не говори... Да тебя учить нечего, парень ты смысленый, догадливый... Вот еще что!.. Будучи в скиту, огляди ты все хозяйство отца Михаила, он тебе все покажет, я уж ему наказывал, чтобы все показал... Есть, паренек, чему поучиться... Поучись, Алексеюшка, вперед пригодится... Да и мне, Бог даст, на пользу будет... А воротишься, одну вещь скажу тебе... Ахнешь с радости!.. Ну, да что до поры поминать?.. После...

До праздника с работой управились... Горящину на пристань свезли и погрузили ее в зимовавшие по затонам тихвинки и коломенки. Разделался Патап Максимыч с делами, как ему и не чаялось. И на мельницах работа хорошо сошла, муку тоже до праздника всю погрузили... С Низу письма получены: на суда кладчиков явилось довольно, а пшеницу в Баронске купили по цене сходной. Благодушествует Патап Максимыч, весело встречает великий праздник.

В Велику субботу попросился Алексей домой – в Поромово.

Патап Максимыч слегка насупился, но отпустил его.

– А я было так думал, Алексеюшка, что ты у меня в семье праздник-от Господень встретишь. Ведь я тебя как есть за своего почитаю, – ласково сказал он.

– Тятенька с маменькой беспрерывно наказывали у них на празднике быть. Родительская воля, Патап Максимыч.

– Так оно, так, – молвил Патап Максимыч. – Про то ни слова. «Чти отца твоего и мать твою» – Господне слово!.. Хвалю, что родителей почитаешь... За то Господь наградит тебя счастьем и богатством.

Алексей вздохнул.

– Да, Алексеюшка, вот ноне великие дни. В эти дни праздное слово как молвить?.. – продолжал Патап Максимыч. – По душе скажу: не наградил меня Бог сыном, а если б даровал такого, как ты, денно-нощно благодарил бы я создателя.

Робко взглянул Алексей на Патапа Максимыча, и краска сбежала с лица. Побледнел, как скатерть.

Такой же перед ним стоит, как в тот день, когда Алексей пришел рядиться. Так же светел ликом, таким же добром глаза у него светятся и кажутся Алексею очами родительскими... Так же любовно, так же заботно глядят на него. Но опять слышится Алексею, шепчет кто-то незнакомый: «От сего человека гибель твоя». «Вихорево гнездо» не помогло...

– Что ты?.. Аль неможется? – спросил Патап Максимыч.

– В красильне все утро был, угорел, надо быть, – едва внятно ответил Алексей.

– Эх, парень!.. Как же это ты? – заботливо сказал Патап Максимыч. – Пошел бы да прилег маленько, капусты кочанной к голове-то приложил бы, в уши-то мерзлой клюквы.

– Нет, уж я лучше, если будет ваше позволение, домой побреду; на морозце угар-то выйдет, – сказал Алексей.

– Ну, как хочешь, – отвечал Патап Максимыч. – Да неужто тебя пешком пустить?.. Вели буланку запречь, отъезжай. Да теплей одевайся, теперь весна, снег сходит. Долго ль лихоманку нажить?

– Благодарю покорно, Патап Максимыч, – низко поклонясь, сказал Алексей. – Уж позвольте мне всю святую у тятенки пробыть, – молвил Алексей.

– Всю неделю? – угрюмо спросил Патап Максимыч.

– Уж всю неделю позвольте, – отвечал Алексей.

– Ну, неча делать... Прощай, Алексеюшка, – вздохнув, промолвил Патап Максимыч.

– Счастливо оставаться... – низко кланясь, сказал Алексей.

– Постой маленько, обожди... Я сейчас, – перервал его Патап Максимыч, выходя из горницы.

Алексей стоял, понутив голову. «Как же он ласков, как же милостив, душа так и льнет к нему... А страшно, страшно!..»

Воротился Патап Максимыч. Подойдя к Алексею, сказал:

– Похристосуемся. Завтра ведь не свидимся... Христос воскрес!

– Воистину Христос воскрес! – отвечал Алексей.

Патап Максимыч крепко обнял его и трижды поцеловал, потом дал ему деревянное красное яйцо.

– Будешь дома христосоваться – вскрой – и вспомни про меня, старика.

Слеза блеснула на глазах Патапа Максимыча.

– На празднике-то навести же, – сказал он. – Отцу с матерью кланяйся да молви – приезжали бы к нам попраздновать, познакомились бы мы с Трифоном Михайлычем, потолковали. Умных людей беседу люблю...

Хотел завтра, ради великого дня, объявить тебе кое-что, да, видно, уж после...

Ушел Алексей, а Патап Максимыч сел у стола и опустил голову на руки.

Совсем захлопоталась Аксинья Захаровна. Глаз почти не смыкая после длинного «стоянья» Великой субботы, отправленного в моленной при большом стечении богомольцев, целый день в суетах бегала она по дому. То в стряпущую заглянет, хорошо ль куличи пекутся, то в моленной надо посмотреть, как Евпраксеюшка с Парашей лампы да иконы чистят, крепко ль вставляют в подсвечники ослопные свечи и достаточно ль чистых горшков для горячих углей и росного ладана они приготовили... Из моленной в боковушу к Насе забежит поглядеть, как она с Матренушкой крашены яйца по блюдам раскладывают. С ранней зари по всему дому беготня, суетня ни на минуту не стихала... Даже часы Великой субботы Евпраксеюшка одна прочитала. Аксинья Захаровна только и забежала в моленну послушать паремью с припевом: «Славно бо прославися!..»

Стало смеркаться, все помаленьку успокоилось. Аксинья Захаровна всем была довольна... Везде удача, какой и не чаяла... В часовне иконы и лампы как жар горят, все выметено, прибрано, вычищено, скамьи коврами накрыты, на длинном столе, крытом камчатною скатертью, стоят фарфоровые блюда с красными яйцами, с белоснежною пасхой и пышными куличами; весь пол моленной густо усыпан можжевельником... Одна беда, попа не доспели, придется на такой великий праздник сиротскую службу отправить... В стряпущей тоже все удалось: пироги не подгорели, юха курячья с шафраном сварилась на удивленье, солонина с гусиными полотками под чабром вышла отличная, а индюшку рассольную да рябчиков под лимоны и кума Никитишна не лучше бы, пожалуй, сготовила. Благодушествует хозяйюшка... И пошла было она к себе в боковушу, успокоиться до утрени, но, увидав Патапа Максимыча в раздумье, стала перед ним.

– Ты бы, Максимыч, прилег покуда, – молвила она. – Часок, другой, третий соснул бы до утрени-то.

Патап Максимыч поднял голову. Лицо его было ясно, радостно, а на глазах сверкала слеза. Не то грусть, не то сердечная забота виднелась на крутом высоком челе его.

– Присядь, старуха, посоветовать хочу.

Ни слова не молвив, села Аксинья Захаровна возле мужа.

– Я все об Настеньке, – сказал он. – Что ни толкуй, пора ее под венец.

– Нашел время про скромные дела говорить. Такие ли дни? – ответила Акси́нья Захаровна.

– Не про худо говорю, – молвил Патап Максимыч. – Доброму слову всякий день место... Жениха подыскал...

– Кого еще?

– Да хоть бы Алексея, – молвил Патап Максимыч.

Акси́нья Захаровна всплеснула руками да так и застыла на месте.

– В уме ли ты, Максимыч? – вскрикнула она.

– А ты не верещи, как свинья под ножом... Ей говорят: «советовать хочу», а она верещать!.. – еще громче крикнул Патап Максимыч. – Услышать могут, помешать... – сдержанно прибавил он.

– Да я так, Максимыч... – сробев, ответила Акси́нья Захаровна. – В ум взять не могу!.. Хорошего человека дочь, а за мужика!..

– А сама ты за какого князя выходила? – сказал Патап Максимыч.

– Как же ты его к себе приравнял, Максимыч? – молвила Акси́нья Захаровна. – Ведь он что? Нищий, по наймам ходит...

– Жена богатство принесет, – отвечал Патап Максимыч. – Зачнут хозяйствовать богаче, чем мы с тобой начинали...

Встал Патап Максимыч, к окну подошел. Ночь темная, небо черное, по небу все звезды, звезды – счету им нет. Тихо мерцают, будто играют в бесконечной своей высоте. Задумчиво глядит Патап Максимыч то в темную даль, то в звездное небо. Глубоко вздохнув, обратился к Акси́нье Захаровне:

– Помнишь, как в первый раз мы встречали с тобой великий Христов праздник?.. Такая же ночь была, так же звезды сияли... Небеса веселились, земля радовалась, люди праздновали... А мы с тобой в слезах у гробика стояли...

Прослезилась Акси́нья Захаровна, вспомня давно потерянного первенца.

– Помнишь, каково нам горько было тогда!.. Кажись, и махонькой был, а кручина с ног нас сбила... Теперь такой же бы был!.. Ровесник ему, и звали тоже Алешей... Захаровна!.. Не сам ли Бог посылает нам сынка вместо того?.. А?..

Акси́нья Захаровна молча отерла слезы.

– Парень умный, почтительный, душа добрая. Хороший будет сынок... Будет на кого хозяйство наложить, будет кому и глаза нам закрыть, – продолжал Патап Максимыч.

– Оно конечно, Максимыч... – в нерешительности молвила Акси́нья Захаровна. – Настя-то как?

– Чего ей еще?.. Какого рожна? – вспыхнул Патап Максимыч. –

Погляди-ка на него, каков из себя... Редко сыщешь: и телен, и делен, и лицом казист, и глядит молодцом... Выряди-ка его хорошенько, девки за ним не угонятся... Как Настасье не полюбить такого молодца?.. А смиренство-то какое, послушливость-та!.. Гнилого слова не сходит с языка его... Коли Господь приведет мне Алексея сыном назвать, кто счастливее меня будет?

– Тóропок ты больно, Максимыч, – возразила Акси́нья Захаровна. – Что влезет тебе в голову, то́тчас вынь да положи. Подумать прежде надо, посудить!.. Тогда хоть бы Снежкова привез!.. Славы только наделал, по людям говор пустил, а дело-то какое вышло?.. Ты дома не живешь, ничего не слышишь, а мне куда горько слушать людские-то пересуды... На что ежовска Акулина, десятникова жена, самая ледащая бабенка, и та зубы скалит, и та судачит: «Привозили-де к Настасье Патаповне заморского жениха, не то царевича, не то королевича, а жених-от невесты поглядел, да хвостом и вильнул...» Каково матери такие речи слушать? А?

– Не слушай глупых бабенок – и вся недолга, – равнодушно молвил Патап Максимыч.

– Рада бы не слушать, да молва, что ветер, сама в окна лезет, – отвечала Акси́нья Захаровна. – Намедни без тебя кривая рожа, Пахомиха, из Шишкина притащилась... Новины<sup>[129]</sup> хотела продать... И та подлюха спрашивает: «Котору кралю за купецкого-то сына ладили?» А девицы тут сидят, при них паскуда тако слово молвила... Уж задала же я ей купецкого сына... Вдругорядь не заглянет на двор.

– Охота была! – отозвался Патап Максимыч. – Наплевала бы, да и полно... С дурой чего вязаться? Бабий кадык ничем не загородишь – ни пирогом, ни кулаком.

– Не стерпеть, Максимыч, воля твоя, – возразила Акси́нья Захаровна. – Ведь я мать, сам рассуди... Ни корова теля, ни свинья порося в обиду не дадут... А мне за девок как не стоять?

– Да полно тебе тростить!.. Плюнь!.. Такие ли дни теперь! – уговаривал раскислившуюся жену Патап Максимыч. – Лучше совет советуй... Как твои мысли насчет Настасьи?..

– Как сам знаешь, Максимыч!.. Ты в дому голова, – глубоко вздохнув, промолвила Акси́нья Захаровна.

– Тебе-то Алексей по мысли ли будет?.. – спрашивал он.

– Не все ль едино – по мысли он мне али нет? – опуская голову, молвила Акси́нья Захаровна. – Не мне с ним жить. Настасью спроси.

– И спрошу, – сказал Патап Максимыч. – Я было так думал – утре, как христосоваться станем, огорошить бы их: «Целуйтесь, мол, и во славу

Христову и всласть – вы, мол, жених с невестой...» Да к отцу Алексей-от выпросился. Нельзя не пустить.

– Настасью бы вперед спросить... – молвила Аксинья Захаровна. – Не станет перечить, значит, Божья судьба... Тогда бы идохнуть с кем-нибудь потихоньку Трифону Лохматому – сватов бы засылал. Без того как свадьбу играть?... Не по чину выйдет...

– А ты по какому чину шла за меня? – с усмешкой молвил Патап Максимыч. – Свадьбы-те «уходом» кем уложены?... Я Алексею заганул загадку – поймет...

– Что еще такое? – спросила Аксинья Захаровна.

– Так, малехонько, обиняком ему молвил: «Большое, мол, дело хотел тебе завтра сказать, да, видно, мол, надо повременить... Ахнешь, говорю, с радости...» Двести целковых подарил на праздник – смекнет...

– По моему разуму, не след бы ему, батька, допреж поры говорить, – возразила Аксинья Захаровна.

– С твое не знаю, что ль?... Рылом не вышла учить меня, – вспыхнул Патап Максимыч. – Ступай!.. Для праздника браниться не хочу!.. Что стала?... Подь, говорю, – покойся!..

К светлой заутрене в ярко освещенную моленную Патапа Максимыча столько набралось народа, сколь можно было поместиться в ней. Не кручинилась Аксинья Захаровна, что свибловский поп накроет их на тайной службе... Пантелей караульных по задворкам не ставил... В великую ночь Воскресенья Христова всяк человек на молитве... Придет ли на ум кому мстить в такие часы какому ни есть лютному недругу?..

Чинно, уставно правила пасхальную службу Евпраксеюшка. Стройно пели дочери Патапа Максимыча с другими девицами канон воскресению. Радостно, весело встретили праздник Христов... Но Аксинья Захаровна, стоя у образов в новом шелковом сарафане, с раззолоченной свечой в руке, на каждом ирмосе вздыхала, что не привел Господь справить великую службу с «проезжающим священником»... Вздыхала и, глядя на сиявшую красотой Настю, думала: «Кому-то, кому красота такая достанется? Не купцу богатому, не хозяину палат белокаменных... Доставаться тебе, доченька, убогому нищему, голопятому работнику!..»

Настя глядела не празднично... Исстрадалась она от гнета душевного... И узнала б, что замыслил отец, не больно б тому возрадовалась... Жалок ей стал трусливый Алексей!.. И то приходило на ум: «Уж как загорелись глаза у него, как зачал он сказывать про ветлужское золото... Корыстен!.. Не мою, видно, красоту девичью, а мое приданое возлюбил погубитель!.. Нет, парень, постой, погоди!.. Сумею справиться.

Не хвалиться тебе моей глупостью!.. Ах, Фленушка, Фленушка!.. Бог тебе судья!..»

Праздники прошли. Виду не подал Насте Патап Максимыч, что судьба ее решена. Строго-настрого запрещал и жене говорить про это дочери.

В Фомино воскресенье воротился Алексей. Патап Максимыч пенял ему, что не заглянул на праздниках с родителями.

– Тятенька всю Святую прохворал, – оправдывался Алексей. – Опять же такой одежды нет у него, чтоб гостить у вашей милости. Всю ведь тогда выкрали...

– Нешто ты, парень, думаешь, что наш чин не любит овчин? – добродушно улыбаясь, сказал Патап Максимыч. – Полно-ка ты. Сами-то мы каких великих боярских родов? Все одной глины горшки!.. А думалось мне на досуге душевно покалякать с твоим родителем... Человек, от кого ни послышишь, рассудливый, живет по правде... Чего еще?.. Разум золота краше, правда солнца светлей!.. Об одеже стать ли тут толковать?

Вздохнул Алексей, ни слова в ответ.

– Что? Справляется ль отец-от? – спросил Патап Максимыч.

– Справляется помаленьку вашими милостями, Патап Максимыч, – отвечал Алексей. – Коней справил, токарную поставил... Все вашими милостями.

– Трифон Михайлыч сам завсегда бывал милостив... А милостивому Бог подает, – сказал Патап Максимыч. – А ты справил ли себе что из одежды? – спросил он после недолгого молчания.

– Не справлял, Патап Максимыч, – потупя глаза, ответил Алексей.

– Что ж это ты, парень! – молвил Патап Максимыч. – Я нарочно тебе чуточку в красно яйцо положил, чтоб ты одежей маленько поскрасил себя... Экой недогадливый!

– Тятеньке отдал, – еще больше потупясь, сказал Алексей.

– Что ж так? – спросил Патап Максимыч. – Ты бы шелкову рубаху справил, кафтан бы синего сукна, шапку хорошую.

– Не шелковы рубахи у меня на уме, Патап Максимыч, – скорбно молвил Алексей. – Тут отец убивается, захворал от недостатков, матушка каждую ночь плачет, а я шелкову рубаху вдруг вздену! Не так мы, Патап Максимыч, в прежние годы великий праздник встречали!.. Тоже были люди... А ноне – и гостей угостить не на что и сестрам на улицу не в чем выйти... Не ваши бы милости, разговеться-то нечем бы было.

– Хорошо, хорошо, Алексеюшка, доброе слово ты молвил, – дрогнувшим от умиления голосом сказал Патап Максимыч. – Родителей

покоить – Божью волю творить... Такой человек вовеки не сгинет: «Чтый отца очистит грехи своя».

И крупными шагами зашагал Патап Максимыч по горнице.

– Слушай-ка, что я скажу тебе, – положив руку на плечо Алексея и зорко глядя ему в глаза, молвил Патап Максимыч. – Человек ты молодой, будут у тебя другой отец, другая мать... Их-то станешь ли любить?.. Об них-то станешь ли так же промышлять, будешь ли покоить их и почитать по закону Божьему?..

– Какие ж другие родители? – смутившись, спросил Алексей.

– Человек ты в молодях, женишься – тесть да теща будут, – сказал Патап Максимыч, любовно глядя на Алексея.

Дрогнул Алексей, пополовел лицом. По-прежнему ровно шепнул ему кто на ухо: «От сего человека гибель твоя»... Хочет слово сказать, а язык что брусек.

«Догадался, – думает Патап Максимыч, – обезумел радостью».

– Что ж, Алексеюшка? Ответ на мой спрос? – спрашивал его Патап Максимыч.

С шумом распахнулась дверь. Весь ободранный, всклокоченный и облепленный грязью, влетел пьяный Никифор.

– Вся власть твоя, батюшка Патап Максимыч, – кричал он охрипшим голосом. – Житья не стало от паскудных твоих работников.

– Молчи, непутный! – крикнул на него Патап Максимыч.

– Чего молчать!.. Без того молчал, да не вмоготу уж приходится. Бранятся, ругаются, грязью лукают... Все же я человек!.. – плакался Никифор. – Проходу нет, ребятишки маленькие и те забирают...

– Вишь, до чего дошел!.. – молвил Патап Максимыч. – Сколько раз зарекался? Сколько раз образ со стены снимал? Нейдется!.. Ступай, непутный, в подклет, пропись.

– Яйца, пострелята, катают, я говорю: «Святая прошла, грех яйца катать», – оправдывался Никифор. – Ну и разбросал яйца, а ребятишки грязью.

– Ступай, говорят тебе, ступай пропись!.. – крикнул Патап Максимыч. Тут вбежала Аксиныя Захаровна и свое понесла.

– Закажи ты ему путь от нашего двора, Максимыч! – кричала она. – Чтоб не смел он, беспутный, ноги к нам накладывать!.. Долго ль из-за тебя мне слезы принимать?..

– Ступай, Захаровна, ступай в свое место, – успокаивал жену Патап Максимыч. – Криком тут не помочь.

– Обухом по башке, вот ему, псу, и помочь, – плюнула Аксиныя



Захаровна. – Голову снимаешь с меня, окаянный!.. Жизни моей от тебя не стало!.. Во гроб меня гонишь!.. – задорно кричала она, наступая на брата.

Так и рвется, так и насккивает на него Акси́нья Захаровна. Полымем пышет лицо, разгорается сердце, и порывает старушку костлявыми перстами вцепиться в распухшее багровое лицо родимого братца... А когда-то так любовно она водилась с Микешенькой, когда-то любила его больше всего на свете, когда-то певала ему колыбельные песенки, суля в золоте ходить, людям серебро дарить...

Не отвечая на сестрины слова, Никифор пожимал плечами и разводил руками. Насилу развели его с сестрицей, насилу спровадили в холодный подклет.

Так и не удалось Патапу Максимычу договорить с Алексеем.

«Не судьба, не в добрый час начал, – подумал Патап Максимыч. – Ну, воротится – тогда порадую».

Ранним утром на Радуницу поехал Алексей к отцу Михаилу, а к вечеру того же дня из Комарова гонец пригнал. Привез он Патапу Максимычу письмо Марьи Гавриловны. Приятно было ему то письмо. Богатая вдова пишет так почтительно, с «покорнейшими» и «нижайшими» просьбами – любо-дорого посмотреть. Прочел Патап Максимыч, Акси́нью Захаровну кликнул.

– К утренему дочерей сготовь: к Манефе поедут, – сказал он.

Ушам не поверила Акси́нья Захаровна – рот так нараспашку у ней и остался... О чем думать перестала, заикнуться о чем не смела, сам заговорил про то.

– Не с матушкой ли что случилось, Максимыч? – тревожно спросила она.

– Ничего, – отвечал Патап Максимыч. – Ей лучше, в часовню стала бродить.

– Письмо, что ли? – спросила Акси́нья Захаровна.

– Марья Гавриловна пишет, просит девок в обитель пустить, – сказал Патап Максимыч.

– Что же, пускаешь?

– Велено сряжаться – так чего еще спрашиваешь?.. – отрезал Патап Максимыч. – Марье Гавриловне разве можно отказать? Намедни деньгами ссудила... без просьбы ссудила, и вперед еще сто раз пригодится.

– С кемпустишь? Самой, что ли, мне собираться? – спросила Акси́нья Захаровна.

– Куда тебе по этакой грязи таскаться, – молвил Патап Максимыч. – Обительский работник говорил, возле Кошелева, на вражке, целый день

промаялся.

– С кем же девицам-то ехать? – пригорюнясь, спросила Аксиныя Захаровна. – Не одним же с работником ехать?

– Самому придется, – молвил Патап Максимыч. – Недосужно, а делать нечего... Скоро ворочусь: к вечеру приедем, со светом, домой.

Ровно живой воды хлебнула Настя, когда велели ей сряжаться в Комаров. Откуда смех и песни взялись. Весело бегают, радостно суетится – узнать девки нельзя. Параша – та ничего. Хоть и рада в скит ехать, но таким же увальнем сряжается, каким завсегда обывала ходить.

То суетится Настя, то сядет на место, задумается, и насили могут ее докликаться. То весело защебечет, ровно выпущенная из неволи птичка, то вдруг ни с того ни с сего взор ее затуманится, и на глаза слеза навернется.

Отворила она только что выставленное окно в светлице и жадно впивала свежий воздух. В тот год зима сошла дружно. Хоть Пасха была не из поздних, но к Фоминой снегу нисколько не осталось. Разве где в глубоком овражке белелся да узенькими полосками по лесной окраине лежал. По пригоркам, на солнечном припеке, показалась молодая зелень. Погода хорошая, со восхода до заката солнце светит и греет, в небе ни облачка... Речки и ручьи шумно бурлят, луга затоплены, легкий ветерок рябит широкие воды, и дрожащими золотыми переливами ярко горят они на вешнем солнце.

Как в забытии каком стоит Настя у растворенного окна. Мысли путаются, голова кружится. «Господи! – думает. – Скорей бы вырваться отсюда... Здесь как в могиле!»

А какая тут могила! По деревне стоном стоят голоса... После праздника весенние хлопоты подоспели: кто борону вяжет, кто соху чинит, кто в кузнице сошник либо полицу перековывает – пахота не за горами... Не налюбуются пахари на изумрудную зелень, пробившуюся на озимых полях. «Поднимайся, рожь зеленая, охрани тебя, матушку, небесный царь!.. Уроди, Господи, крещеным людям вдоволь хлебушка!..» – молят мужики.

Бабы да девки тоже хлопочут: гряды в огородах копают, семена на солнце размачивают, вокруг коровенок возятся и ждут не дождутся Егорьева дня, когда на утренней заре святой вербушкой погонят в поле скотинушку, отощалую, истощенную от долгого зимнего холода-голода... Молодежь работает неустанно, а веселья не забывает. Звонкие песни разливаются по деревне. Парни, девки весну окликают:

Весна, весна красная,

Приходи к нам с радостью!

Ребятишки босиком, в одних рубашонках, по-летнему, кишат на улице, бегают по всполью – обедать даже не скоро домой загонишь их... Стоном стоят тоненькие детские голоса... Жмурясь и щурясь, силятся они своими глазенками прямо смотреть на солнышко и, резво прыгая, поют ему весеннюю песню:

Солнышко, ведрышко,  
Выглянь в окошечко,  
Твои детки плачут...  
Солнышко, покажись,  
Красное, нарядись, —  
К тебе гости на двор,  
На пиры пировать,  
Во столы столовать.

Радунца пришла!.. Красная горка!.. Веселье-то какое!..

А Настя ничего не слышит. Стоит у окна грустная, печальная... А как, бывало, прыгала она, как резвилась, встречая весну на Каменном Вражке, за обительской околицей, вместе с Фленушкой, с Марьюшкой и другими девицами Манефиной обители... Сколько громких песен, сколько светлого веселья!.. Вспомнилась обитель, вспомнились подружки-игруньи, вспомнилось и то, что через день будет она опять с ними... Побежала вон из светлицы и чуть с ног не сшибла в сенях Аксинью Захаровну... Она с Парашей и Евпраксеюшкой укладывала там пожитки дочерей.

Досадно стало Аксинье Захаровне.

– Посмотрю я на тебя, Настасья, ровно тебе не мил стал отцовский дом. Чуть не с самого первого дня, как воротилась ты из обители, ходишь, как в воду опущенная, и все ты делаешь рывком да с сердцем... А только молвил отец: «В Комаров ехать» – ног под собой не чуешь... Спасибо, доченька, спасибо!.. Не чаяла от тебя!..

Вспыхнула Настя... Хотела что-то молвить, но сдержала порыв.

– Благодарности ноне от деток не жди, – ворчала Аксинья Захаровна, укладывая чемодан. – Правда молвится, что родительское сердце в детях, а детское в камешке... Хоша бы стен-то постыдилась, срамница!.. Мать по дочери плачет, а дочь по доскам скачет!.. Бесстыжая!.. Гляди, Прасковья, –

мыло-то в левый угол кладу, не запомнят, тут яичное с духами – умываться, тут белое – в баню ходить, а в красненьком ларчике московское – свежи от меня Марье Гавриловне... Да полно беситься-то тебе!.. Что за коза такая взялась?.. Чем бы потужить, что с матерью расстаешься, она на-кось поди... Батистовы рукава с кружевом не каждый день вздевайте... Дорогие ведь, других когда-то еще от отца дождетесь... Подай сюда, Параша, платки-то... Суй в угол... Да тише, дурища, – эх ее ломит!.. Прет, ровно лошадь, прости Господи, – изомнешь ведь... Да что я, стенам, что ли, говорю, Настасья?.. Что сложа руки-то стоишь, что не пособляешь?.. Погоди, погоди, вот мать-то Бог приберет, как-то без меня будете жить?.. Помянешь, не раз помянешь!.. Не знаете вы, каково горько без матери сиротами-то жить!.. Ох, не приведи Господи!.. И деньги будут и достатки – все купишь, а родной матери не купишь... А ты ровней складывай, Прасковья, – не мни!..

Вслушиваясь в речи матери, Настя сознавала справедливость ее попреков... Но как удержаться от веселья, потоком нахлынувшего при мысли, что завтра покинет она родительский дом, где довелось ей изведать столько горя? Одна мысль, что, свидевшись с Фленушкой, она выплачет на ее груди свое горе неизбежное, оживляла бедную девушку... Ведь ей дома ни с кем нельзя говорить про это горе... Не с кем размыкать его... Мимо ушей пропускала она ворчанье матери... Но когда Аксинья Захаровна повела речь о смерти, наболевшее сердце Насти захолонуло – и стало ей жаль доброй, болезной матери. Мысль о сиротстве, об одиночестве, о том, что по смерти матери останется она всеми покинутою, что и любимый ею еще так недавно Алексей тоже покинет ее, эта мысль до глубины взволновала душу Насти... С рыданиями кинулась она на шею Аксинье Захаровне.

– Мамынька!.. Родимая!.. Не говори таких речей, не круши сердца, не томи меня!..

Слезы дочери свеели досаду с сердца доброй Аксиньи Захаровны. Сама заплакала и принялась утешать рыдавшую в ее объятиях Настю.

– Ну, полно, полно же... перестань, девонька... Не слези своих глазынек... Ведь это я так только с досады молвила. Бог милостив, не помру, не пристроивши вас за добрых людей... Молитесь Богу, девоньки, молитесь хорошенько... Он, свет, не оставит вас.

– Мамынька, прости ты меня, глупую, что огорчила тебя, – заговорила Настя, сдерживая судорожные рыдания. – Ах, мамынька, мамынька!.. Тяжело мне на свете жить!.. Как бы знала ты да ведала!..

– Что ты, что ты, Настенька?.. Что за горе?.. Какое у тебя горе?.. Что за

печаль?.. Отколь взялась?.. – тревожно спрашивала Аксинья Захаровна.

– Горе мое, мамынька, великое, беда моя неизбывная!.. Не выплакать того горя до смерти!.. А я-то все одна да одна, не с кем разделить моего горя-беды... Ну и полегчало маленько на сердце... Фленушку увижу, хоть с ней чуточку развею печали мои.

– Разве Фленушка ближе матери? – с тихим, но горьким упреком молвила Аксинья Захаровна.

– Она все знает... – едва слышно простонала Настя, припав к плечу матери.

– Да что это?.. Мать Пресвятая Богородица!.. Угодники преподобные!.. – засуетилась Аксинья Захаровна, чуя недоброе в смутных речах дочери... – Параша, Евпраксеюшка, – ступайте в боковушу, укладывайте тот чемодан... Да ступайте же, Христа ради!.. Увальни!.. Что ты, Настенька?.. Что это?.. Ах ты, Господи, батюшка!.. Про что знает Фленушка?.. Скажи матери-то, девонька!.. Материна любовь все покроеет... Ох, да скажи же, Настенька... Говори, голубка, говори, не мучь ты меня!.. – со слезами молила Аксинья Захаровна.

Настя молчала. Припав к материнской груди, она кропила ее слезами и дрожала всем телом.

– Да скажи ж, говорят тебе... Легче будет, – продолжала уговаривать Аксинья Захаровна, целуя Настю в голову.

– Не целуйте меня, мамынька! – едва слышно промолвила Настя.

– Да вымолви словечко, Христа ради, – жалобно причитала Аксинья Захаровна...

Догадывалась мать, в чем дело, но верить боялась.

– Полюбился, что ль, кто? – скрепя сердце, шепнула наконец она дочери на ухо. – Зазнобушка завелась?.. А?..

Ни слова Настя... Но крепко, крепко сжала мать в своих объятиях.

Поняла Аксинья Захаровна безмолвный ответ. Руки у ней опустились...

Настя к окну отошла... Села на скамью и, облокотясь, закрыла лицо ладонями...

– В скиту, что ли? – спросила Аксинья Захаровна разбитым голосом. Настя покачала головой.

– Где же? – с удивленьем спросила мать.

– Дома, – едва могла прошептать Настя.

– Кто ж такой? Неужель Снежков?

Настя опять покачала головой.

– Ума не приложу, – молвила Аксинья Захаровна.

Старушка совсем растерялась в мыслях... Вспомнился разговор с мужем перед светлой заутреней и спросила:

– Уже не приказчик ли?

Стремительно вскочила Настя и кинулась в землю перед матерью... Дрожащими холодными руками судорожно обвила ее ноги.

– Виновата я!.. – задыхаясь от волнения, вскрикнула она.

– Судьбы Господни! – набожно сказала Акси́нья Захаровна, взглянув на иконы и перекрестясь. – Ты, Господи, все строишь, ими же веси путями!.. Пойдем к отцу, – прибавила она, обращаясь к дочери. – Он рад будет...

– Ни за что!.. Ни за что!.. – вскрикнула Настя, быстро встав на ноги. – Петлю на шею, в колодезь!.. Нет, нет!..

– Опомнись, что говоришь? – уговаривала ее Акси́нья Захаровна. – Отец рад будет... Знаешь, как возлюбил он Алексея...

– Убьет он его!.. Не сказывай тятеньке, не говори... Я не все сказала.

– Не все? – с ужасом вскрикнула Акси́нья Захаровна.

– Родная!.. – чуть слышно шептала Настя у ног матери. – Не на то ты растила меня, не на то меня холила!.. Потеряла я себя!.. Нет чести девичьей!.. Понесла я, мамынька...

Страшное слово, как небесная гроза, сразило бедную мать.

– Настенька!.. – только и могла в ужасе и сердечном трепете произнести несчастная старушка.

Настя не слыхала вопля матери. Как клонится на землю подкошенный беспощадной косой пышный цветок, так бледная, ровно полотно, недвижная, безгласная склонилась Настя к ногам обезумевшей матери...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На Пасхе усопших не поминают. Таков народный обычай, так и церковный устав положил... В великий праздник Воскресенья нет речи о смерти, нет помина о тлении. «Смерти празднуем умерщвление!..» – поют и в церквах и в раскольничьих моленных, а на обительских трапезах и по домам благочестивых людей читаются восторженные слова Златоуста и гремят победные клики апостола Павла: «Где ти, смерте жало? где ти, аде победа?..» Нет смерти, нет и мертвых – все живы в воскресшем Христе.

Но в русском народе, особенно по захолустьям, рядом с христианскими верованиями и строгими обрядами церкви твердо держатся обряды стародавние, заботно берегутся обломки верований в веселых старорусских богов...

Верит народ, что Велик Гром Гремучий каждую весну поднимается от долгого сна и, сев на коней своих – сизые тучи, – хлещет золотой вожжей – палочей молоньей – Мать-Сыру Землю... Мать-земля от того просыпается, молодеет, красит лицо цветами и злаками, пышет силой, здоровьем – жизнь по жилам ее разливается... Все оживает: и поля, и луга, и темные рощи, и дремучие леса... Животворящая небесная стрела будит и мертвых в могиле... Встают они из гробов и, незримые земным очам, носятся среди остающихся в живых милых людей... Слышат гробные жильцы все, видят все – что люди на земле делают, слова только молвить не могут...

Как не встретить, как не угостить дорогих гостей?.. Как не помянуть сродников, вышедших из сырых, темных жальников на свет поднебесный?.. Услышат «окличку» родных, придут на зов, разделят с ними поминальную тризну...

Встают мертвецы в радости; выйдя из жальников, любуются светлым небом, красным солнышком, серебряным месяцем, частыми мелкими звездочками... Радуетя и живое племя, расставляя снеди по могилам для совершения тризны... Оттого и день тот зовется Ра́дуницей.<sup>[130]</sup>

Стукнет Гром Гремучий по́ небу горячим молотом, хлестнет золотой вожжей – и пойдет по земле веселый Яр<sup>[131]</sup> гулять... Ходит Яр-Хмель по ночам, и те ночи «хмелевыми» зовутся. Молодежь в те ночи песни играет, хороводы водит, в горелки бегаёт от вечерней зари до утренней...

Ходит тогда Ярило ночью порой в белом обьяринном<sup>[132]</sup> балахоне, на головушке у него венок из алого мака, в руках спелые колосья всякой яри.<sup>[133]</sup> Где ступит Яр-Хмель – там несеянный яровой хлеб вырастает,

глянет Ярило на чистое поле – лазоревы цветочки на нем запестреют, глянет на темный лес – птички защечечут и песнями громко зальются, на воду глянет – белые рыбки весело в ней заиграют. Только ступит Ярило на землю – соловьи прилетят, помрет Ярило в Иванов день – соловьи смолкнут.

Ходит Ярилушка по темным лесам, бродит Хмелинушка по селам-деревням. Сам собою Яр-Хмель похваляется: «Нет меня, Ярилушки, краше, нет меня, Хмеля, веселее – без меня, веселого, песен не играют, без меня, молодого, свадеб не бывает...»

На кого Ярило воззрится, у того сердце на любовь запросится... По людям ходит Ярило неторопо, без спеха, ходит он, веселый, по сениям, по клетям, по высоким теремам, по светлицам, где красные девицы спят. Тронет во сне молодца золотистым колосом – кровь у молодца разгорается. Тронет Яр-Хмель алым цветком сонную девицу, заночует у ней ретивое, не спится молодой, не ложится, про милого, желанного гребтится... А Ярило стоит над ней да улыбается, сам красну девицу утешает: «Не горюй, красавица, не печалься, не муди своего ретива сердечка – выходи вечерней зарей на мое на Ярилино поле: хороводы водить, плетень заплетать, с дружкой миловаться, под ельничком, березничком сладко целоваться».

Жалует Ярило «хмелевые» ночи, любит высокую рожь да темные перелески. Что там в вечерней тиши говорится, что там теплою ночью творится – знают про то Гром Гремучий, сидя на сизой туче, да Ярило, гуляя по сырой земле.

Таковы народные поверья про восстание мертвых и про веселого бога жизни, весны и любви...

Только минет Святая и смолкнет пасхальный звон, по сельщине-деревенщине «помины» и «оклички» начинаются. В «на́вий день»<sup>[134]</sup> стар и млад спешат на кладбище с мертвецами христосоваться. Отпев церковную панихиду, за старорусскую тризну садятся.

Рассыпается народ по Божьей ниве, зарывает в могилки красные яйца, поливает жальники сыченой брагой, убирает их свежим дерном, раскладывает по жальникам блины, оладьи, пироги, кокурки,<sup>[135]</sup> крашены яйца, пшенички да лапшенники, ставит вино, пиво и брагу... Затем окликают загробных гостей, просят их попить-поесть на поминальной тризне.

Оклички женщинами справляются, мужчинами никогда. Когда вслушиваешься в эти оклички, в эти «жальные причитанья», глубокой



старинной пахнет!.. Те слова десять веков переходят в устах народа из рода в род... Старым богам те песни поются: Грому Гремучему да Матери-Сырой Земле.

Со восточной со сторонушки  
Подымались ветры буйные,  
Расходились тучи черные,  
А на тех ли на тученьках  
Гром Гремучий со молоньями,  
Со молоньями да с палючими...

Ты ударь, Гром Гремучий, огнем полымем,  
Расшиби ты, громова стрела,  
Еще матушку – Мать-Сыру Землю...

Ох ты, матушка, Мать-Сыра Земля,  
Расступись на четыре сторонушки,  
Ты раскройся, гробова доска,  
Распахнитесь, белы саваны,  
Отвалитесь, руки белые,  
От ретивого сердечушка...

Государь ты наш, родной батюшка, —  
Мы пришли на твое житье вековечное,  
Пробудить тебя ото сна от крепкого.  
Мы раскинули тебе скатерти браные,  
Мы поставили тебе яства сахарные,  
Принесли тебе пива пьяного,  
Садись с нами, молви слово сладкое,  
Уж мы сядем супротив тебя,  
Мы не можем на тебя наглядеться,  
Мы не можем с тобой набаяться.

Наплакавшись на «жальных причитаньях», за тризну весело принимаются. Вместо раздирающей душу, хватающей за сердце «оклички», веселый говор раздается по жалникам...

Пошел пир на весь мир – Яр-Хмель на землю ступил.

Другие песни раздаются на кладбищах... Поют про «калинушку с

малинушкой – лазоревый цвет», поют про «кручинушку, крытую белою грудью, запечатанную крепкою думой», поют про то, «как прошли наши вольные веселые дни, да наступили слезовы-горьки времена». Не жарким весельем, тоской горемычной звучат они... Нет, то новые песни, не Ярилины.

Клонится солнце на запад... Пусть их старухи да молодки по домам идут, а батьки да свекры, похмельными головами прильнув к холодным жальникам, спят богатырским сном... Молодцы-удальцы!.. Ярило на поле зовет – Красну Горку справлять, песни играть, хороводы водить, просо сеять, плетень заплетать... Девицы-красавицы!.. Ярило зовет – бегите невеститься...

Шаром-валом катит молодежь с затихшего кладбища на зеленеющие луговины.

Там игры, смехи... Всех обуял Ярый Хмель...

– Красну Горку!.. Плетень заплетать!.. Серу утицу!.. – раздаются веселые голоса.

И громко заливается песня:

Заплетися, плетень, заплетися,  
Ты завейся, труба золотая,  
Завернися, камка хрущатая!..

Ой, мимо двора,  
Мимо широка  
Не утица плыла  
Да не серая,  
Тут шла ли прошла  
Красна девица,  
Из-за Красной Горки,  
Из-за синя моря,  
Из-за чиста поля —  
Утиц выгоняла,  
Лебедей скликала:

«Тига, тига, мои ути,  
Тига, лебеди, домой!..  
А сама я с гуськом,  
Сама с сереньким,  
Нагуляюсь, намилюсь

С мил-сердечным дружкой».

Спряталось за небесный закрóй солнышко, алой тканью раскинулась заря вечерняя, заблистал синий свод яркими, безмолвно сверкающими звездами, а веселые песни льются да льются по полям, по лугам, по темным перелескам... По людям пошел веселый Яр разгуливать!..

Перелески чернеют, пушистыми волнами серебряный туман кроет Мать-Сыру Землю... Грозный Гром Гремучий не кроет небо тучами, со звездной высоты любитесь он на Ярилины гулянки, глядит, как развеселый Яр меж людей увивается...

Холодно стало, но звонкие песни не молкнут – стоном стоят голоса... Дохнёт Яр-Хмель своим жарким, разымчивым дыханьем – кровь у молодежи огнем горит, ключом кипит, на сердце легко, радостно, а песня так и льется – сама собой поется, только знай да слушай. Прочь горе, долой тоска и думы!.. Как солью сытым не быть, так горе тоской не избыть, думами его не размыкать. «Гуляй, душа, веселись!.. Нет слаще веселья, как сердечная радость – любовная сладсть!..» Таково слово Яр-Хмель говорит. Слово то крепко, недвижно стоит оно óт веку дó веку. Где тот день, где тот час, когда прéйдет вековечное животворное Ярилино слово? Пока солнце греет землю, пока дышит живая тварь, не минуть словесам веселого бога...

– В горелки! – кричат голоса.

– В горелки! В огарыши! – раздается со всех сторон.

Начинается известная игра, старая, древняя как мир славянский. Красны девицы со своими серенькими гуськами становятся парами, один из молодцов, по жеребью, всех впереди.

– Горю, горю пень!.. – кричит он.

– Что ты горишь? – спрашивает девушка из задней пары.

– Красной девицы хочу, – отвечает тот.

– Какой?

– Тебя, молодой.

Пара бежит, и молодец ловит подругу.

Старый обычай, еще Нестором описанный: «Схожахусь на игрища, на плясання и ту умыкиваху жены себе, с нею же кто съвещашеся».

Пары редуют, забегают в перелески. Слышится и страстный лепет и звуки поцелуев. Гуляет Яр-Хмель... Чтó творится, чтó говорится – знают лишь темные ночи да яркие звезды.

Стихло на Ярилином поле... Разве какой-нибудь бесталанный, отверженный лебедушками горюн, серенький гусек, до солнечного восхода

сидит одинокий и, наигрывая на балалайке, заливается ухарской песней, сквозь которую слышны и горе, и слезы, и сердечная боль:

Эх! зять ли про тещу да пиво варил,  
Кум про куму брагу ставленую,  
Выпили бражку на Радуницу,  
Ломало же с похмелья до Иванова дня.

На Каменном Вражке по-своему Радуницу справляют. С раннего утра в Манефиной обители в часовню все собрались; все, кроме матушки Вириinei с келарными приспешницами.

Недосужно было добродушной матери-келарю: за́года надо довольную трапéзу учредить: две яствы горячих, две яствы студеньих, пироги да блины, да овсяный кисель с сытой.<sup>[136]</sup> И не ради одних обительских доводилось теперь стряпать ей, а вдвое либо втрое больше обычного. В поминальные дни обительские ворота широко, на весь крещеный мир, распахнуты – приди сильный, приди немощный, приди богатый, приди убогий – всякому за столом место... Сберутся на халтуру<sup>[137]</sup> и сироты и матери с белицами из захудалых обителей, придут и деревенские христороубцы... Кому не охота сродников на чужих харчах помянуть?

Тихо, не спешно передвигая слабыми еще ногами, брела Манефа в часовню. В длинной соборной мантии из черного камлота, отороченной красным снурком, образующим, по толкованию староверов, «Христовы узы», в черной камилавке с креповою наметкой, медленно выступала она... Фленушка с Марьюшкой вели ее под руки. Попадавшие на пути инокини и белицы до земли творили перед нею по два «метания», низко преклонялись и прихожие богомольцы. Едва склоняя голову, величая Манефа, вместо обычной прощи, приветствовала встречных пасхальным приветом: «Христос воскрес!»

Не раз останавливалась она на коротком пути до часовни и радостно сиявшими очами оглядывала окрестность... Сладко было Манефе глядеть на пробудившуюся от зимнего сна природу, набожно возводила она взоры в глубокое синее небо... Свой праздник праздновала она, свое избавление от стоявшей у изголовья смерти... Истово творя крестное знаменье, тихо шептала она, глядя на вешнее небо: «Иже ада пленив и человека воскресив воскресением своим, Христе, сподоби мя чистым сердцем тебе пети и славить».

Через великую силу взобралась она на высокое крутое крыльцо

часовни. На паперти присела на скамейку и маленько вздохнула. Затем вошла в часовню, сотворила уставной семипоклонный начал, замолитвовала начин часов и села на свое игуменское место, преклоняясь на посох, окрашенный празеленью с золотыми разводами...

Отправили часы, Манефа прочла отпуст. Уставщица мать Аркадия среди часовни поставила столик, до самого полу крытый белоснежною полотняною «одеждой» с нашитыми на каждой стороне осьмиконечными крестами из алой шелковой ленты. Казначейка мать Таифа положила на нем икону воскресения, воздвизальный крест, канун,<sup>[138]</sup> блюдо с кутьей, другое с крашеными яйцами. Чинно отпели канон за умерших...

Большого образа соборные старицы, мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталия, мать Лариса, в черных креповых наметках, спущенных до половины лица, и в длинных мантиях, подняли кресты и иконы ради крестного хода в келарню. Уставщица с казначеей взяли поминальные блюда... Впереди двинулись певицы с громогласным пением стихер: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази его». Марьюшка как головщица правого клироса шла впереди; звонкий, чистый ее голос покрывал всю «певчую стаю». Среди крестов, икон и поминальных блюд тихо выступала Манефа, склоняясь на посох... Став на верхней ступени часовенной паперти, выпрямилась она во весь рост и повелительным, давно неслышанным в обители голосом крикнула:

– Стойте, матери.

Крестный ход остановился.

– К матушке Екатерине, – приказала игуменья.

Ход поворотил направо. Там, за деревянной огородью, в небольшой рощице, среди старых и новых могил, возвышались два каменных надгробия. Под одним лежала предшественница Манефы, мать Екатерина, под другим – мать Платонида, в келье которой гордая красавица Матренушка стала смиренной старицей Манефой...

Поклоняясь до земли перед надгробием, Манефа взяла с блюда пасхальное яйцо и, положив его на землю, громко сказала:

– Матушка Екатерина! Христос воскрес!

Потом с таким же приветом положила яйцо на могилу Платониды.

Марьюшка завела ирмос: «Воскресения день...» Певицы стройно подхватили, и громкое пение пасхального канона огласило кладбище. Матери раскладывали яйца на могилки, христосуясь с покойниками. Инокнии, белицы, сироты и прихожие богомольцы рассыпались по кладбищу христосоваться со сродниками, с друзьями, приятелями...

Пропели канон и стихеры. Возгласили «вечную память». С пением

«Христос воскрес» крестный ход двинулся к келарне.

Тем и кончился поминальный обряд на кладбище... Причитать над могилами в скитах не повелось, то эллинское беснование, нечестивое богомерзкое дело, по мнению келейниц. Сам «Стоглав» возбраняет оклички на Радуницу и вопли на жальниках...

В келарне собралась вся обитель. Много пришло сирот, немало явилось матерей и белиц из скудных обителей: и Напольные, и Марфины, и Заречные, и матери Салоники, и погорелые Рассохины – все тут были, все собрались под гостеприимным кровом восставшей от смертного одра Манефы. Хотелось им хоть глазком взглянуть на сердобольную, милостивую матушку, в жизни которой совсем было отчаялись... А больше всего нашло деревенских христоробцев. Из всех окрестных селений собрались они. Пришли бабы, пришли девки, пришли малые ребята – все привалили помянуть покойников за сытной обительской трапезой.

Сев на игуменское кресло, Манефа ударила в кандию, и трапеза пошла по чину, стройно, благоговейно. Обительские и сироты сидели с невозмутимым бесстрашием, пришлые христоробцы изредка потихоньку покашливали, шептались даже меж собою, но строгий взор угощавших стариц мгновенно смирал безвременное их шептанье... Все шло тихо, благообразно, по чину... Но Богу попускающе, врагу же действующе, учинилось велие искушение...

Чтениями на трапезе распоряжается уставщица. На великий пост выдала мать Аркадия из кладовой книгу Лествицу,<sup>[139]</sup> дорогую старообрядцам книгу, печатанную при патриархе Иосифе. До Страстной успели прочесть из нее тридцать степеней монашеского подвига и несколько добавлений, помещенных в конце книги. На Страстной стали Страсти читать, на Пасхе Златоуста. Лествица осталась недочитанною... На Радуницу надо бы матушке Аркадии иную книгу в келарню внести, да за хлопотами ей не удосужилось. Придя в келарню, и вздумала она сбегать за книгой, да на грех ключ от сундука обронила. Нечего делать, пришлось Лествицу дочитывать – самое последнее слово от Патерика Скитского.

Замолитвовала Манефа, и раздалось по келарне мерное чтение рядовой канонницы.

«Поведа нам отец Евстафий, глаголя...»

Спихватилась знавшая наизусть всю Лествицу Манефа, но было уже поздно. Не в ее власти прекратить начатое чтение. То грех незамолимый, непрощаемый, то непомерный соблазн перед своими, тем паче перед прихожими христоробцами. А выкинуть из чтения ни единого слова нельзя. Как сметь святые словеса испразднить?.. Это, по мнению

старообрядцев, значило бы над святыней ругаться, дьявольское дело творить. Ссылаясь на хворь и на слабость, Манефа торопила суетившуюся Виринею скорей кончать трапезу, а каноннице велела читать как можно протяжней. То было на мысли у игуменьи, чтобы чтения не довести до конца. Но у Виринеи столько было наварено, столько было нажарено, людей за столами столько было насажено, что, как медленно ни читала канонница, душеполезное слово было дочитано.

Читает канонница, как Евстафий, накопив денег, восхотел на мзде хиротонисаться пресвитером и того ради пошел из пустыни в великий град Александрию. И бысть на пути Евстафию от беса искушение. Предстал окаянный в странном образе...

«Идуще же ми путем, – читала среди глубокой тишины канонница, – видех мужа, высока ростом и нага до конца, черна видением, гнусна образом, мала главою, тонконога, несложна, бесколenna, грубосоставлена, железнокоготна, черноока, весь зверино подобие имея, баше же женомуж, лицом черн, дебелоустнат, вели... вели... великому...»

Споткнулась канонница. Такие видит речи, что девице на людях зазорно сказать. А пропустить нельзя, сохрани Бог от такого греха!.. В краску бросило бедную, сгорела вся...

– Говорком вели читать, учащала бы... – строго шепнула Манефа уставщице.

Спешно и вполголоса прочитала канонница смутившие ее речения... Матери потупили взоры, белицы тихонько перемигивались, прихожие христолюбцы лукаво улыбались.

«Аз же видево его убояхся, – продолжала, немножко оправясь от смущения, канонница, – знаменах себя крестным знамением».

Из дальнейшего чтения оказалось, что и это не помогло Евстафию.

«Абие бысть, – читала канонница, – аки жена красна и благозрчна...»

Опять споткнулась бедная... Слезы даже на глазах у ней выступили.

– Скорей бы кончала, – угрюмо шептала Манефа, бросая суровые взгляды на Аркадию.

Душеполезное слово кончилось. Потупя глаза и склонив голову, сгоревшая со стыда канонница со всех ног кинулась в боковушу, к матери Виринее. Глубокое молчание настало в келарне. Всем стало как-то не по себе. Чтобы сгладить впечатление, произведенное чтением о видениях Евстафия, Манефа громко кликнула:

– Пойте Пасху, девицы.

И звучные голоса велегласно запели: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази его».

Кончились стихеры, смолкло пение, Манефа уставной отпуст прочла и «прощу» проговорила.

Затем, стоя у игуменского места, твердым голосом сказала:

– Господу изволившу, обыде мя болезнь смертная... Но не хотяй смерти грешнику, да обратится душа к покаянию, он, сый человеколюбец, воздвиг мя от одра болезненного. Исповедуя неизреченное его милосердие, славлю смотрение создателя, пою и величаю Творца жизнедавца, дондеже есмь. Вас же молю, отцы, братие и сестры о Христе Исусе, помяните мя, убогую старицу, во святых молитвах своих, да простит ми согрешения моя вольная и невольная и да устроит сам Спас душевное мое спасение...

И до земли поклонилась Манефа на три стороны. Все бывшие в келарне ответили ей такими же поклонами.

– А в раздачу сиротам на каждый двор по рублю... Каждой сестре, пришедшей в день сей из скудных обителей, по рублю... Прихожим христолюбцам, кто нужду имеет, по рублю... И та раздача не из обительской казны, а от моего недостойнства... Раздавать будет мать Таифа... А ты, матушка Таифа, прими, кроме того, двести рублей в раздачу по нашей святой обители.

– Благодарим покорно, матушка!.. Дай тебе Господи долголетнего здравия и души спасения!.. Много довольны твоей милостью... – загудели голоса.

Двинулась с места Манефа. Перед ней все расступились. Фленушка с Марьюшкой повели игуменью под руки, соборные старицы провожали ее.

Взойдя за крыльцо своей кельи, Манефа присела на скамейку под яркими лучами весеннего солнца. Матери стояли перед ней.

– В огородах просохло? – спросила она казначею.

– Просыхает, матушка, – торопливо ответила Таифа. – В бороздах только меж грядок грязненько... Да день-другой солнышко погрееет, везде сухо будет.

– Молодым гряды копать, старым семена мочить, – распоряжалась Манефа. – Семян достанет?

– Вдосталь будет, матушка, – отвечала Таифа, – всего по милости Божьей достанет.

– Выходи ли? – спрашивала игуменья.

– Выхожие, матушка, выходие, – уверяла мать Таифа. – Все испробовала – хорошо всходят.

– Навоз на гряды возили?

– До праздника еще свезли, на снег еще возили, – ответила Таифа.

– В большом огороде двадцать гряд под свеклу, двадцать под морковь,



пятнадцать под лук саженец, остальные под редьку, – приказывала Манефа.

– Слушаю, матушка, – кланяясь, ответила Таифа.

– За конным двором, в малом огороде, брюкву да огурцы... Капусту, как прежде, на Мокром лужку... Срубы под рассаду готовы?

– Нет еще, матушка, не справлены, – ответила Таифа. – Когда же было? Праздники...

– Завтра справить. Ирины-мученицы в пятницу – рассады сев, – сказала Манефа.

– Будет готово, матушка, все будет исправлено, – успокаивала ее казначея.

– А в четверг апостола Пуда, – продолжала игуменья.

– Вынимай пчел из-под спуда, – с улыбкой подхватила Таифа. – Знаю, матушка, знаю.<sup>[140]</sup>

– То-то, не забудь.

– Как забыть?.. Что ты, матушка?.. Христос с тобой... Можно ль забыть! – зачастила мать казначея.

– Марью Гавриловну спроси, не надо ль ей грядок под цветочки. Если прикажет – белицам вскопать.

– Велю, матушка.

– А тебе, мать Назарета, послушание, – сказала Манефа, обращаясь к одной из степенных стариц, – пригляди за белицами. Пусть их маленько сегодня разгуляются, на всполье сходят...

– Слушаю, матушка, – низко кланяясь, молвила мать Назарета.

– Ронжинских ребят чтобы духу не было, – сказала Манефа, – да мирские песни девицы чтоб не вздумали петь.

– Как это возможно, матушка? – вступилась Назарета и некоторые другие матери. – наших девиц похаять нельзя – девицы степенные, разумные.

– Знаю я их лучше вас, – строго промолвила Манефа. – Чуть не догляди, тотчас бесовские игрища заведут... Плясание пойдет, нечестивое скакание, в долони плескание и всякие богомерзкие коби.<sup>[141]</sup> Нечего рыло-то кривить, – крикнула она на Марью головщицу, заметив, что та переглянулась с Фленушкой. – Телегу нову работную купили? – обратилась Манефа к казначее.

– Евстихей Захарыч из Ключова в поминоков прислал, – ответила Таифа. – Справная телега, колеса дубовые, шины железные в палец толщиной.

– Спаси его Христос, – сказала Манефа. – Молились за благодетеля?

– Как же, матушка, на́ год в синодик записан, – вступилась уставщица.

– А сиву кобылу продать, – решила Манефа. – Вечер Трофим проехал на ней, поглядела я, плоха – чуть ноги волочит.

– Старая лошадушка, еще при матушке Екатерине вкладом дана – много годов-то ей будет, – заметила мать Таифа.

– За что ни стало продать. Вел бы Трофим в четверг на базар, – сказала Манефа. – Кур много ли несется? – спросила она подошедшую Виринею.

– Сорок молодочек, матушка, сорок... – ответила Виринея. – Две заклохтали, хочу на яйца сажать.

– Яиц много?

– Сот семь от праздника осталось, каждый день по сороку прибывает, – сказала Виринея.

– До Петровок станет?

– Хватит, матушка, хватит. Как до Петровок не хватить? – отвечала Виринея.

– Масла, сметаны станет? – продолжала спрашивать игуменья.

– Уповаю на владычицу. Всего станет, матушка, – говорила Виринея. – Не изволь мутить себя заботами, всего при милости Божией хватит. Слава Господу Богу, что поднял тебя... Теперь все ладнехонько у нас пойдет: ведь хозяйюшкин глаз, что твой алмаз. Хозяюшка в дому, что оладышек в меду: ступит – копейка, переступит – другая, а зачнет семенить, и рублем не покрыть. За тобой, матушка, голодом не помрем.

– Ну, уж семенить-то мне, Виринеюшка, не приходится, – улыбнувшись, ответила Манефа на прибаутки добродушной Виринеи. – И стара и хила стала. А ты, матушка, уж пригляди, порадей, Бога ради, не заставь голодать обитель.

– Ах ты, матушка, чтой-то ты вздумала? – утирая выступившие слезы, заговорила добрая Виринея. – Да мы за тобой, как за каменной стеной – была бы только ты здорова, нужды не примем...

– Это как есть истинная правда, матушка, – заговорили соборные старицы, кланяясь в пояс игуменье. – Будешь жива да здорова – мы за тобой сыты будем...

– Подаст Господь пищу на обитель нищу!.. – сквозь слезы улыбаясь, прибавила мать Виринея. – С тобой одна рука в меду, другая в патоке...

– Бог спасет за ласковое слово, матери, – поднимаясь со скамейки, сказала игуменья. – Простите, ради Христа, а я уж к себе пойду.

Матери низко поклонились и стали расходиться. Пошла было и Аркадия, но мать Манефа остановила ее.

– Войди-ка, матушка Аркадия, ко мне на минуточку, – сказала она.

Вошли в келью, помолились на иконы. Утомленная Манефа села, а Фленушке с Марьюшкой велела в свое место идти.

– Ты это что наделала? – грозно спросила Манефа оторопевшую уставщицу.

– Прости, Христа ради, матушка, – робко молвила Аркадия, кланяясь в землю перед Манефой.

– Какое ты чтение на трапезе-то дала?.. А?..

– Прости, Христа ради, – с новым земным поклоном молвила уставщица.

– При чужих-то людях!.. Сблaзны в обители творить?.. А?..

Глаза Манефы так и горели. Всем телом дрожала Аркадия.

– Прости, Христа ради, матушка, – едва слышно оправдывалась она, творя один земной поклон за другим, перед пылавшею гневом игуменьей. – Думала я Пролог вынести аль Ефрема Сирина, да на грех ключ от книжного сундука неведомо куда засунула... Память теряю, матушка, беспамятна становлюсь... Прости, Христа ради – не вмени оплошки моей во грех.

– Не знаешь разве, что слóва об Евстафии не то что при чужих, при своих читать не подобает?.. Сколько раз говорила я тебе, каких статей на трапезе не читать? – начала Манефа Аркадию.

– Говорила, матушка!.. Много раз говорила... Грех такой выпал! – оправдывалась уставщица.

– Где память-то у тебя была?.. Где ум-от был?.. А?.. – продолжала Манефа.

– Прости, Господа ради, матушка, – кланяясь до земли, говорила Аркадия. – Ни впредь, ни после не буду!..

– Еще бы ты и впредь стала такие сблaзны заводить!.. – грозно сказала Манефа. – Нет, ты мне скажи, чем загладить то, что случилось?.. Как из памяти пришлох христолюбцев выбить, что им было читано на трапезе? Вот что скажи.

– Что ж, матушка? Словеса святы, преподобными отцами составлены, – робко промолвила уставщица. – Как им судить?.. Кто посмеет?

Так и вспыхнула Манефа.

– Дура! – вскрикнула она, топнув ногой. – Дожила до старости, а ума накопить не успела... Экое ты слово осмелилась молвить!.. Преподобные, по-твоему, виноваты!.. А?.. Безумная ты, безумная!.. Преподобные в простоте сердца писали, нам с ними не в вёрсту стать!.. Преподобных простота нам, грешным, соблазн... Видела, как девицы-то

перемигивались?.. Видела, как мужики-то поглядывали!.. Бабы да сироты чуть не хихикали... Что теперь скажут, что толковать учнут?.. Кто отженит от них омрачение помыслов?.. Кто?.. В соблазн, как в тину смердящую, вкинуты, в яму бездонную, полну греховных мерзостей... А кто их вкинул?.. Кто вверх?.. Ну-ка, скажи!.. Разошлись теперь по домам, что говорят?.. На людях-то что скажут? «Были, дескать, мы на Радунце в Манефиной обители, слышали поученье от Божественного писания – в кабак не ходи, и там средь пьяных такой срамоты не услышишь...» Вот что скажут по твоей милости... Да... А врагам-то никонианам, как молва до них донесется, какая слава, какое торжество будет!.. Вот, скажут, у них, у раскольников-то, прости Господи, какова чистота – сорóмные слова в поучение читают... Срамница!.. А девкам-то нашим, даже черницам из молодых разве не соблазн было слушать?.. Ах ты, старая, старая!.. Помнишь евангельское слово?.. Лучше камень на шею да в омут головой, чем слово об Евстафии дать на трапéзе читать.

– Прости, Христа ради, матушка, – говорила, кланяясь в ноги, Аркадия. Слезы катились у ней по щекам – отереть не смела.

– Чью должность исправила ты? – приставала к ней Манефа. – Чью?

Аркадия молча рыдала.

– Чье, говорю, дело ты правила?.. Чье?..

– Моя вина, матушка, моя вина... Прими покаяние, прости меня, грешную, – молвила уставщица у ног игуменьи.

– Чье дело творила, спрашиваю?.. – топнула ногою мать Манефа. – Отвечай – чье дело?

– Не разумею учительного твоего слова, матушка... Не умею ответа держать... Прости, ради Христа...

– Дявола!.. Вот чье дело сотворила ты, окаянная! – грозно сказала ей Манефа. – Кто отец соблазнов?.. Кто соблазны чинит на пагубу душам христианским?.. Кто?.. Говори – кто?..

– Дьявол, матушка, – едва слышно проговорила лежавшая у ног игуменьи Аркадия.

– Ему поработала... Врагу Божию послужила... Его волю сотворила.

– Ведаю грех свой великий, исповедую его тебе... Прости, матушка... меня, скудоумную, прости меня, неключимую, – молвила Аркадия.

Долго длилось молчанье. Только звуки маятника стенных часов в большой горнице Манефиной кельи да судорожные всхлипывания и тихие вздохи уставщицы слышны были в келейной тишине.

– Встань, – повелительно сказала Манефа. – Старость твою не стану позорить перед всею обителью... На поклоны в часовне тебя не

поставлю... А вот тебе епитимья: до дня Пятидесятницы – по тысяче поклонов на́ день. Ко мне приходи отмаливать – это тебя же ради, не видали бы. К тому же сама хочу видеть, сколь велико твое послушание... Ступай!

– Матушка, прости, матушка, благослови! – обычно сказала уставщица, творя метания перед игуменьей.

– Прощу и благословлю, коль жива буду, во святой день пятидесятницы... – сказала Манефа.

С поникшей головой вышла Аркадия из кельи игуменьи. Лица на ней не было. Пот градом выступал на лбу и на морщинистых ланитах уставщицы. До костей проняли ее строгие речи игуменьи...

Оставшись одна, прилечь захотела Манефа. Но наслал же и на нее проклятый бес искушение. То вспоминаются ей слова Лествицы, то мерещится образ Стуколова... Не того Стуколова, что видела недавно у Патапа Максимыча, не старого паломника, а белолицего, остроглазого Якимушку, что когда-то, давным-давно, помутил ее сердце девичье, того удалого добра молодца, без которого цветы не цветно́ цвели, деревья не красно́ росли, солнышко в небе сияло не радостно... Молиться, молиться!.. Но нейдет молитва на ум, расшатанный воспоминаньями о суетном мире... Давнишний, забытый, казалось, мир опять заговорил в остывшей крови. Опять шепчет он страстью, опять на греховные думы наводит. Бес, бес! Отмолиться надо, плоть побороть!..

И стала Манефа на поклоны. И клала поклоны до истощения сил.

Не помогло старице... Телом удручилась, душой не очистилась... Столь страшно бывает демонское стреляние, столь велика злоба диавола на облекшихся в куколь незлобия и в одежду иноческого бесстрастия!.. Искушение!.. Ох, это искушение!.. Придет оно – кто в силах отворотить его?.. Царит, владеет людьми искушение!.. Кто против него?..

Но что ж это за искушение, что за бес, взволновавший Манефину кровь? То веселый Яр – его чары... Не заказан ему путь и в кельи монастырские, от его жаркого разымчивого дыханья не спасут ни черный куколь, ни власяница, ни крепкие монастырские затворы, ни даже старые годы...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Часа через полтора после того как матери разошлись по кельям, а белицы с Назаретой ушли погулять за околицу, на конный двор Манефиной обители въехала кибитка с кожаным верхом и наглухо застегнутым фартуком, запряженная парой толстых с глянцевитой шерстью скитских лошадей. Из работницкой «стаи» вышел конюх Дементий и весело приветствовал тщедушного старика, сидевшего на козлах.

– Родион Данилыч! Сколько лет, сколько зим! Матушку, что ль, какую привез?

– Гостя московского, распевалу, – отвечал Родион, слезая с козел и витаясь <sup>[142]</sup> с Дементием. – Спит, – промолвил он, заглянув под фартук. – Умаялся, сердечный...

– Видно, лесные путинки не по московским костям, – заметил Дементий.

– И дорога же, друг! – сказал Родион. – К вам-то ближе еще туда-сюда, а у нас, вокруг Оленева, беда!.. На Колосковской гати совсем завязли... Часа три пробились... Уж я на деревню за народом бегал... Не приведи Господи.

– Знамо, распутица, – промолвил Дементий, почесываясь спиной об угол крыльца...

Родион стал распрягать приусталых коней.

– Что за гость такой? – спросил Дементий.

– А кто его знает? С подаванием, должно быть. В Оленево к нам еще на шестой неделе приехал... А бывал не у всех, у нас в Анфисиной да у матушки Фелицаты... По другим обителям ни ногой.

– Что же так? – спросил Дементий.

– Ихне дело. Как нам узнать? – отвечал Родион. – Петь тоже обучал, у нас все с Анной Сергеевной пел, что при матушке Маргарите живет, а водился больше с Аграфеной, что живет в келарных приспешницах; у Фелицатиных больше с Анной Васильевной.

– Ишь ты! С молоденькими все да с пригожими, – лукаво улыбаясь, заметил Дементий.

– Ихне дело! Нам не узнать, наше дело черное, трудовое, в чисты светлицы ходу нам нет, – проговорил Родион, распрягая лошадей.

– Вестимо, – заметил Дементий, – в Чернухе были?

– Объехали, – сказал Родион. – Ему, слышь, прописано у нас быть да у вас в Комарове. Поедет ли, нет ли в Улангер, наверно тебе сказать не

могу...

– Ох, как в Улангер придется!.. Беда!.. – сказал Дементий. – На Митюшино разве будет везти... Прямо ехать – затонешь.

– Не клянчи, Дементьюшка, – отозвался Родион. – У нас две недели гостил, коль у вас столь же погостит, дорога-то обсохнет.

– Хорошо бы так. Пущай бы подольше ему погостилось, – молвил Дементий. – Он к кому?.. Не знаешь?.. – спросил конюх, немного помолчав. – Из матерей к которой аль к самой матушке Манефе?

– К самой, поди, – отозвался Родион. – Что ему до матерей?.. По игуменьям ездит, московский.

– Наша-то матушка не больно еще оправилась, – сказал Дементий. – Хворала... Думали, не встанет.

– Слышно было про то, – молвил Родион. – Теперь как?

– Обошлась, ничего, – отвечал Дементий. – Лекарь из города наезжал... Лечили... Греха-то что было!..

– А что?

– Да лекарь-от из немцев аль бусурманин какой... У людей великий пост, а он скоромятину, ровно собака, жрет... В обители-то!.. Матери бунт подняли, сквернит, знаешь, им. Печки не давали скоромное-то стряпать. Да тут у нас купчиха живет, Марья Гавриловна, так у ней стряпали... Было, было всякого греха!.. Не сразу отмолят...

– А вылечил-таки? – спросил Родион.

– Еще бы не вылечить! – усмехнувшись, ответил Дементий. – Ведь матери, Родионушка, не наш брат – голь да перетыка... У них – деньгам заговенья нет. А богатых и смерть не сразу берет... Рубль не Бог, а тоже милует.

– И верно так, Дементьюшка, – сказал Родион, – верно... Дай-ка овсеца кóням-то засыпать, – прибавил он, отводя лошадей в конюшню.

– Пойдем, – сказал Дементий и лениво побрел за Родионом.

Меж тем спавший в оленевской кибитке московский певец проснулся. Отворотил он бок кожаного фартука, глядит – место незнакомое, лошади отложены, людей ни души. Живого только и есть что жирная корова, улегшаяся на солнцепеке, да высокий голландский петух, окруженный курами всех возможных пород. Склонив голову набок, скитский горлопан стоял на одной ножке и гордо поглядывал то на одну, то на другую подругу жизни.

Отстегнул приехавший гость фартук, поднялся с груды подушек в ситцевых чехлах и тихонько вылез из кибитки.

Это был невысокого роста, черноволосый, с реденькой бородкой и

быстро бегавшими глазками человек, в синей суконной шубке на хорьковом меху и с новеньким гарусным шарфом на шее – должно быть, подарок какой-нибудь оленевской мастерицы... Певец догадался, что он в Комарове, но где же люди? Не в сонное же царство, не в мертвый заколдованный город приехал.

– Ох, искушение!.. – молвил он серебристым звонким голосом и пошел в работницкую поискать, нет ли хоть там живого человека. Изба была пуста.

– Вот какое положение! – сказал он, выйдя на крыльцо. – Родион пропал... Родионушка! – крикнул он, сколько было мочи.

– Ась, – отозвался тот из конюшни. Приезжий направился на голос.

– Проснулся, Василий Борисыч? – спросил Родион. – А я уж коней отпряг и корму задал... Что, аль со сна-то головушку разломило?

– И то маленько вздремнул!.. Искушение!.. – молвил Василий Борисыч.

– Ну, вздремнуть не вздремнул, а здорово всхрапнул, – заметил, улыбаясь, Родион. – От самой Клопихи носом песни играл – пятнадцать верст...

– Уж и пятнадцать?.. – усомнился Василий Борисыч.

– Говорю тебе, пятнадцать, – сказал Родион. – Хоть людей спроси, – прибавил он, указывая на Дементия.

– До Клопихи точно пятнадцать верст отселева будет... Больше будет – дорога-то ведь здесь не меряная, – подтвердил Дементий.

– И матушку Манефу можно повидать? – спросил его приезжий.

– Не знаю, как тебе сказать, господин купец, – ответил Дементий. – Хворала у нас матушка-то – только что встала. Сегодня же Радуницу справляли – часы стояла, на могилки ходила, в келарне за трапёзой сидела. Притомилась. Поди, чать, теперь отдыхать легла.

– Ох, искушение! – тихонько промолвил Василий Борисыч, покачав головой.

– С Мѳсквы, <sup>[143]</sup> что ль, будете? – спросил Дементий.

– Из Москвы, – ответил гость.

– Та-ак, – протянул Дементий. – Большая, слышь, столиция?

– Побольше вашего скита, – сказал, улыбнувшись, Василий Борисыч.

– Одних церквей сорок сороков!

– Так говорится – на деле-то поменьше будет, – ответил Василий Борисыч.

– И все золотоглавые? – продолжал спрашивать Дементий.

– Есть и золотоглавые, – сказал Василий Борисыч.



– Эка подумаешь! – удивился Дементий. – А Иван Великий высок будет?

– Высок, – сказал Василий Борисыч.

– Диковина! – воскликнул Дементий. – А правда ль, что в Москве сорокам невод?

– Не видать.

– Это Алексей митрополит на сороку заклятие положил, чтоб она в Москву не летала. Птица вор, а на Москве, сказывают, и без того много воров-то.

– Есть, – подтвердил Василий Борисыч.

– Вот и к Макарью на ярманку воры-то больше все из Москвы наезжают, – заметил Дементий. – А правда ль, что у вас хлеб по шести да по семи гривен на серебро живет?

– Случается, – сказал Василий Борисыч.

– То-то и есть: толсто́ звонят, да тонко́ едят... – примолвил Дементий. – У нас по лесам житье-то, видно, приглядней московского будет, даром что воротами в угол живем. По крайности ешь без меры, кусков не считают.

– Вон старица неведомо какая бредет, ее бы про матушку спросить, – молвил Василий Борисыч, показывая на Таифу, подходившую к конному двору.

– Это наша мать казначея, – сказал Дементий. – Ругаться, поди, на конный двор идет!.. Ух, бедовая старица!.. Всяка порошинка у ней на перечете. Одно слово, бедовая!..

Василий Борисыч пошел навстречу Таифе.

– Что вашей милости угодно? – спросила она.

– К матушке Манефе письмо из Москвы привез, да вот еще к матери Назарете от сродницы.

– Матушка Манефа теперь започивала, – ответила Таифа. – Скорбна у нас матушка-то – жизни не чаяли... Разве в сумерки к ней побываете... А мать Назарета в перелесок пошла с девицами. До солнечного заката ей не воротиться.

– Я бы сходил к ней покудова. Чать, недалеко?.. – вострепел Дементий, подхватил Василий Борисыч.

– Как вам будет угодно, – сказала Таифа. – Пожалуй, Дементий укажет дорогу... Да вы обедали ли?.. Не то в келарню милости просим.

– Покорно благодарю, матушка, – ответил Василий Борисыч. – Дорогой закусили – сытехонек. Благословите к матушке Назарете сходить.

– Ин самоварчик не поставит ли? – уговаривала гостя мать казначея. –

Ко мне бы в келью пожаловали, побеседовали бы маленько, а тем временем и матушка Назарета подошла бы и матушка Манефа проснулась бы.

– Мне бы матушку Назарету поскорей повидать, – стоял на своем Василий Борисыч и, как ни упрасивала его казначея посетить ее келью, устоял на своем.

Как истый москвич, не прочь бы он от чашки чаю, пожалуй, и от трапезы не отказался бы, но уж очень загорелось у него поскорей идти к Назарете. Знать ее не знал, в глаза не видывал и, покаместь одна читалка на Рогожском не покучилась ему свезти Назарете письмецо с посылочкой, во снах даже про такую старицу не слыхивал. Но, узнав, что пошла она с девицами на гулянку, ног под собой не слышал Василий Борисыч... Так и тянет его поглядеть на комаровских белиц, как они там в перелеске свою Красну Горку справляют. Искушение!.. Ну да ведь человек не старьей, кровь в жилах не ледяная...

Втащили в работницкую избу поклажу Василья Борисыча. Расшнуровал он чемодан; вынул суконный кафтанчик, чуйку на ваточной подкладке, шапочку новую, и таким молодцом вырядился, что любо-дорого посмотреть. Затем отправился с Дементием за околицу...

Только дошли до Каменного Вражка, как послышались издали молодые веселые голоса и звонкий хохот Фленушки.

Дементий воротился, Василий Борисыч тихонько пошел на голоса.

Звучным, приятным голосом искусно завел он песню про «младую юность».

Горе мне, увы мне во младой во юности!  
Хочется пожить – не знаю, как быти,  
Мысли побивают, к греху привлекают.  
Кому возведу я гибель, мое горе?  
Кого призову я со мной слезно плакать?  
Горе мне, увы мне по юности жити —  
Во младой-то юности мнози борют страсти.  
Плоть моя желает больше согрешати.  
Юность моя, юность, младое ты время,  
Быстро ты стрекаешь, грехи собираешь.  
Где бы и не надо – везде поспеваешь,  
К Богу ты ленива, во греху радива,  
Тебе угрождати – Бога прогневли!..

Смолкли белицы... С усладой любовались они нежным голосом незнаемого певца и жадным слухом ловили каждый звук унылой, но дышавшей страстностью песни. Василий Борисыч продолжал:

Юность моя, юность во мне ощутилась,  
В разум приходила, слезно говорила:  
«Кто добра не хочет, кто худа желает?  
Разве змей соперник, добру ненавистник!  
Сама бы я рада – силы моей мало,  
Сижу на коне я, а конь не обуздан,  
Смирить коня нечем – вожжей в руках нету.  
По горам по хólмам прямо конь стрекает,  
Меня разрывает, ум мой потребляет,  
Вне ума бываю, творю что, не знаю.  
Вижу я погибель, страхом вся объята,  
Не знаю, как быти, как коня смирить...»

Заслушалась и мать Назарета... Заслоня ладонью от солнца глаза, с недоумением разглядывала она подходившего незнакомца.

– Кто б это такой? – говорила она. – Не здешний, не окольный, а наезжих гостей, кажись, во всем Комарове нет... Что за человек?

– Московским глядит, – молвила Фленушка.

– А может, из самого Питера, – подхватила Марья головщица.

– Может, и питерский, – согласилась Фленушка. – А голосок-от каков!.. Как есть соловей.

– Вот бы на клирос в нашу «певчую стаю» такого певца залучить, – закинув бойко голову, молвила молодая пригожая смуглянка с пылавшими страстным огнем очами. Звали ее Устиньей, прозывали Московкой, потому что не один год сряду в Москве у купцов в читалках жила.

– Молчи, срамница!.. Услышать может... – строго заметила ей Назарета.

– Мы бы ему бородку-то выщипали, в сарафан бы его обрядили, – продолжала со смехом Устинья Московка.

– Замолчишь ли, срамница?.. Аль совести не стало в глазах? – ворчала Назарета.

Василий Борисыч меж тем подошел к старице и, низко поклонившись ей, спросил:

– Матушка Назарета не вы ли будете?

– Так точно, – отвечала она. – Что угодно вашей милости?

– Письмецо к вам с Рогожского привез, – сказал он, вынимая из кармана письмо. – Посылочки тоже есть, ужю предоставляю.

– От кого это, батюшка? – недоверчиво спросила Назарета, быстрым взором окидывая девиц, столпившихся вкруг незнакомца...

– От Домны Васильевны, – отвечал Василий Борисыч. – В Антоновской палате в читалках живет.

– От Домнушки! – радостно воскликнула мать Назарета... – Что она, голубушка?.. Как живет-может?..

– Спасается, – ответил Василий Борисыч. – Негасимую у болящих читает – любят ее старушки...

– Ну, слава Богу!.. На утешительном слове благодарю покорно, батюшка, – сказала мать Назарета. – Как имечко-то ваше святое?

– Василий.

– По батюшке?

– Борисов.

– Утешили вы меня, Василий Борисыч. Ведь Домнушка-то по плоти племянница мне доводится – братца покойника дочка... Ведь я тоже московская родом-то.

– Очень приятно, – ответил Василий Борисыч, а черные глазки его так и разбежались по молодым, цветущим здоровьем белицам, со всех сторон окружившим его и мать Назарету.

– К матушке Манефе прибыли? – спросила Назарета.

– Так точно, – отвечал Василий Борисыч, – тоже письма привез.

– От кого, батюшка, письма-то? – продолжала свои расспросы старица.

– От разных, – отвечал он. – От матушки Пульхерии есть письмецо, от Гусевых, от Мартынова Петра Спиридоныча.

– Великий благодетель нам Петр Спиридоныч, дай ему, Господи, доброго здравия и души спасения, – молвила мать Назарета. – День и ночь за него Бога молим. Им только и живем и дышим – много милостей от него видим... А что, девицы, не пора ль нам и ко дворам?.. Покуда матушка Манефа не встала, я бы вот чайком Василья-то Борисыча напоила... Пойдем-ка, умницы, солнышко-то стало низенько...

– Рано еще, матушка!.. Погоди маленько!.. – заголосили белицы.

– Что вы, что вы?.. Как возможно не угостить дорогого гостя? Пойдемте... Будет – погуляли, натешились.

– Да матушка!.. Да еще маленько!.. Да погоди хоть с полчаса.

– Вы для меня, матушка, не беспокойтесь, – вступился Василий Борисыч. – Дайте девицам развеселиться... Они нам споют что-нибудь.

– Такому певцу да лесные песни слушать! – бойко подхватила Фленушка, прищуривая глазки и лукаво взглядывая на Василия Борисыча. – Соловью худых птиц слушать не приходится... От худых птиц худые и песни.

– А у матушки Маргариты в Оленеве про вас не то говорят, – отвечал Василий Борисыч. – Там очень похваляют здешнее пение, говорят, что лучше вашего клира по всем скитам нет...

– Так вы из Оленева пожаловали? – спросила мать Назарета.

– Из Оленева, матушка, – ответил Василий Борисыч. – Там и страстную пробыл и праздник праздновал.

– У кого гостили? В какой обители? – спросила Назарета.

– У Анфисиных больше, с матушкой-то Маргаритой мы давние знакомые – она ведь тоже наша московка... У Фелицатиных тоже гостил.

– Это вам Анна Сергеевна, что ли, наше-то пение славил? – спросила его Марьюшка.

– И Анна Сергеевна хвалила и Аграфена келарная, а из Фелицатиных Анна Васильевна. Все хвалили, – говорил Василий Борисыч.

– Всех-то что самых ни на есть лучших девиц в Оленеве спознали, – лукаво усмехнувшись и быстро вскинув глазами, молвила Фленушка.

– Петь обучал, – улыбнувшись, заметил Василий Борисыч.

– И нас бы поучили!.. – защебетали и Фленушка, и Марьюшка, и Устинья Московка, и другие крылошанки.

– Отчего ж не поучить?.. С великою радостью! – сказал Василий Борисыч. – Только ведь надо прежде голоса попробовать: какие у вас голоса – без того нельзя.

– Пробуйте нас, пробуйте, – приставали белицы.

– Очень бы рад попробовать, – сказал Василий Борисыч. – Матушка Назарета, благословите псалму спеть.

– Пойте во славу Божию, – молвила Назарета, отрываясь на минутку от письма.

– Воскресную надо, девицы... Пасхальную, – сказал Василий Борисыч. – «Велию радость» знаете?

– Знаем, знаем, – защебетали белицы, окружая московского певца.

Высоко, чистым голосом завел он:

Велия радость днесь в мире явися...

Стройно и бойко подхватил девичий хор:

Христос бо воскресе, а смерть умертвися,  
Сущие во гробех живот восприяша!  
Воспоем же, други, песнь радостну ныне —  
Христос бо воскресе от смертныя сени,  
Живот дарова в сем мире человеку!  
Ныне все ликуем,  
Духом торжествуем,  
Простил бо Господь грехи наши. Аминь.

Голоса Василия Борисыча и головщицы Марьюшки покрывали остальные. Далеко по перелескам разносились звуки воскресной псалмы...

— А мирские песенки попеваете, Василий Борисыч? — бочком подвернувшись к московскому гостю, спросила Фленушка.

— Флена Васильевна! — строго крикнула на нее, складывая письмо, Назарета. — Матушке доложу.

— Не пужай, мать Назарета!.. Я ведь не больно из робких, — резко ответила Фленушка и, не смигаячи, с рьяным задором глядела в разгоревшиеся глаза Василия Борисыча.

— Вольница этакая!.. Бесстыдница!.. — ворчала Назарета...

— Что ж, Василий Борисыч?.. Поете мирские? — приставала Фленушка, не обращая внимания на ворчавшую и хлопавшую о полы руками мать Назарету.

— Зачем мирские? — переминаясь на одном месте, сказал Василий Борисыч. — Божественных много, можно и без мирских обойтись...

— А мы думали — вы новеньких песенок нам привезли, — недовольным голосом молвила Фленушка. — У нас есть, да все старые. Очень уж прискучали. Нет ли у вас какого хорошенького «романчика»?

— Беспутная!.. Тебе ль говорят?.. Замолчи, озорная!.. Забыла, что в обители живешь?.. — кричала Назарета.

— Мы не черницы! — громко смеясь, отвечала старице Фленушка. — Ты, что ль, на нас манать-то <sup>[144]</sup> надевала?.. Мы белицы, мирское нам во грех не поставится...

— Все матушке скажу... Погоди у меня, воструха! — ворчала Назарета и решительным голосом приказала белицам домой собираться.

Впереди пошли Василий Борисыч с Назаретою. За ними, рассыпавшись кучками, пересмеиваясь и весело болтая, прыгали шаловливые белицы. Фленушка подзадоривала их запеть мирскую. Но что

сходило с рук игуменьиной любимице и баловнице всей обители, на то другие не дерзали. Только Марьюшка да Устинья Московка не прочь были подтянуть Фленушке, да и то вполголоса.

Фленушка завела плясовую:

Во городе во Казани  
Полтора ста рублей сани.  
Девка ходит по крыльцу,  
Платком машет молодцу.

Веселый, игривый напев нерадостно звучит в устах скитских певиц... То ли дело льющаяся из жаркой взволнованной Яр-Хмелем груди свободная опьяняющая песнь Радуницы, что раздавалась о ту пору на Руси по ее несчетным лугам, полям и перелескам...

Напившись у матери Назареты чаю, Василий Борисыч в сумерки отправился к Манефе.

Положив начал и сотворив метания, Василий Борисыч сказал:

– С письмецом к вам, матушка, от Петра Спиридоныча да от Гусевых... От матушки Пульхерии тоже есть.

– Садиться милости просим, – величаво молвила Манефа, указывая гостю на лавку у стола, на котором уже расставлено было скитское угощенье. Икра, балык и другая соленая, подстрекающая на большую еду снедь поставлена была рядом с финиками, урюком, шепталой, пастилой, мочеными в меду яблоками и всяких сортов орехами.

Василий Борисыч сел, а пока Манефа читала письма, принялся рассматривать убранство кельи. Келья была просторная, чистая – нигде ни порошинки. В переднем углу, в божнице из простого дерева, с алой бархатной пеленой, стояло несколько древних икон высоких писем, а в самой середине образ Корсунской Богородицы старого новгородского пошиба в густо позолоченной ризе сканного дела. Та икона была у Манефы родовая – от дедов и прадедов шла. Перед нею неугасимо теплилась серебряная лампадка с бисерными подвесками. Стены кельи обшиты были ясеневыми досками, поставленными стоймя, гладко выструганными и натертыми воском. Кругом широкие деревянные скамьи с положенными на них мягкими суконными полавошниками. В красном углу под святыми и по двум сторонам стола полавошники были кармазинные,<sup>[145]</sup> остальные василькового цвета. На окнах, убраных белоснежными кисейными

занавесками, обшитыми красною бахромкой, стояли горшки с бальзамином, розанелью, геранью, белокрайкой, чудом в мире и столетним деревом.<sup>[146]</sup> По стенам развешаны были картины в деревянных рамках, не отличавшиеся, впрочем, ни смыслом, ни изяществом. То были московские произведения, изображавшие апокалипсические деяния антихриста, видение святым Макарием беса в тыквах, распятие плоти во образе монаха с замком на устах, хождение Феодоры по мытарствам и другие сказанья византийского склада. И на каждой картине непременно бес сидит... Ни одной, где бы не был намалеван хоть маленький чертенок...

– Так вы и в Белой Кринице побывали!.. Вот как!.. – молвила Манефа, прочитав письма. – Петр Спиридоныч пишет, что вы многое мне на словах перескажете... Рада вас слушать, Василий Борисыч... Побеседуем, а теперь покаместь перед чайком-то... настоечки рюмочку, не то мадерки не прикажете ли?.. Покорно прошу...

Василий Борисыч хватил какой-то девятисильной<sup>[147]</sup> и откромсал добрый ломоть паюсной икры. За девичьими гулянками да за пением Божественных псалм совсем забыл он, что в тот день путем не обедал. К вечеру пронял голод московского посланника. Сделал Василий Борисыч честь донскому балыку, не отказал в ней ветлужским груздям и вятским рыжикам, ни другому, что доброго перед ним гостеприимной игуменьей было наставлено.

– Давно ль из Москвы? – спросила его Манефа.

– Давненько, матушка, я с Москвы-то съехал, – отвечал Василий Борисыч. – Еще на четвертой неделе... Дороги – не приведи Господи! Через Волгу пешком переходили... Страстную и праздники в Оленеве взял.

– У матушки Маргариты? – спросила Манефа.

– У нее, матушка... Еще у матери Фелицаты погостил, – ответил Василий Борисыч. – К австрийскому-то священству склонных обителей в Оленеве только и есть.

– И у нас склонных не много, – заметила Манефа. – Наши да Жженины, Бояркины да Московкины – вот и все... Из захудалых обителей еще кой-какие старицы... А по другим скитам и того нет. В Улángере только мать Юдифа маленько склонна...

– А в Чернухе? – помолчав, спросил Василий Борисыч.

– Разве самое малое число, – ответила Манефа. – А по деревням и слышать не хотят.

– Слепотствуют, – молвил Василий Борисыч. – Народ темный, непонимающий.



– Не слепота, Василий Борисыч, соблазн от австрийского священства больше отводит людей, – сказала Манефа. – Вам, московским, хорошо: вы на свету живете. Не грех бы иной раз и об нас подумать. А вы только совесть маломощных соблазнами мутите.

– Какие же соблазны, матушка?.. Кажись, от Москвы соблазнов никогда не бывало, – возразил Василий Борисыч, зорко посматривая на Манефу.

– По письму Петра Спиридоныча, что про вас пишет, да опять же наслышана будучи про вас от батюшки Ивана Матвеича<sup>[148]</sup> да от матушки Пульхерии, не обинуясь всю правду буду говорить тебе, Василий Борисыч... О чем по нашим палестинам заикнуться не след, и про то скажу, – с заметным волнением заговорила Манефа. Ее голос дрожал негодованьем, но говорила она сдержанно, ни на волос не нарушая обычной величавости. Царицей смотрела.

– Что ж такое, матушка? – тревожно спросил игуменью Василий Борисыч. – Скажите, Господа ради.

– Издали зачну, с чего все дело началось, – сказала Манефа. – По письмам батюшки Ивана Матвеича склонились было мы австрийское священство принять. Много было противностей от слабых совестей, много было и шатости... Трости, ветром колеблемы, здешние люди!.. Но Господу помогающе, склонила я, убогая, обитель нашу к приятию и другие немногие обители, в Оленеве матушку Маргариту, матушку Фелицату, в Улангере матушку Юдифу. И сначала духовно мы ликовали, Василий Борисыч: наконец-то, говорили, явился благодать Божия, спасительная всем человекам... Не нарадовались Господню смотрению... Что же?.. Слышим, на Москве закипели раздоры, одни толкуют: «Неправилен митрополит – обливанец», другие Богом заклинают, что крещен в три погружения... Кому верить? Кого слушать?.. У нас по лесам народ темный, силы Писания не понимает, а новшества страшится, дабы в чем не погрешить. Сколько было молвы, сколько шатости!.. Рассказать невместимо... Я, убогая, говорила тогда: «Потерпите, други любезные, потерпите самое малое время, явит Господь благодать свою, не предайте слуха словесам мятежным...» И по милости Господней удержала...

– Знают на Москве про старания ваши, матушка, – прервал было Василий Борисыч.

– Славы, друг, не ищу... – вспыхнула Манефа. – Что делаю, Господа ради делаю, не ради вашей суетной Москвы.

– Праведное дело, матушка, – вполголоса заметил смешавшийся немного Василий Борисыч.

Величаво, но едва заметно склонила Манефа голову, как бы в знак согласия. Затем, отчеканивая каждое слово, продолжала:

– А скажи по совести, чем нам пособила Москва?..

– Что ж, матушка, кажется, не были оставлены, – промолвил Василий Борисыч.

– Не про деньги речь, – с усмешкой презренья прервала его Манефа. – Про духовное у тебя спрашиваю. Чем поддерживали меня?.. Сбóблазнами?

– Да какими же, матушка, соблазнами? – с робким удивленьем спросил Василий Борисыч.

– Сколько годов душевным голодом томимы были мы без священника?.. Писали, писали на Москву: «Пришлите пастыря» – ни ответа, ни привета... Ну, вот и дождались...

– Отца Михаила? – сказал Василий Борисыч.

– Да, Михайлу Корягу... По нашим местам так его величают, – отвечала Манефа. – Он-от и есть камень соблазна для здешнего христианства.

– Человек начитанный, сказывали, постный, – заметил Василий Борисыч.

– Постный-от он постный, только не пьюще, не ядуще, а пенязи беруще, – с усмешкой молвила Манефа.

– Где ж бессребренника достать, матушка? Сытых глаз что-то ноне не видится, – сказал Василий Борисыч.

– А чин на нем какой положон? – возразила Манефа. – Благодать, друг мой Василий Борисыч, не репа, за деньги ее не стать продавать... Коряга – стяжатель... Пальцем без денег не двинет... Да еще торгуется... Намедни просят его болящего исправить, а он: «Сколько дашь?» Посулили полтину, народ бедный – больше дать не под силу, а Коряга: «За полтину, говорит, я тебе и «Господи, помилуй» не скажу»... Так-то, друг!.. Вот каким пастырем нас Москва наградила... В Апостоле-то что писано про Симона, восхотевша на серебре благодать стяжати?.. А?.. Ну-ка, скажи... Коряга тот же Симон-волхв – потому стяжатель... Таких пастырей нам не надо... Скорей душевным голодом истомимся, чем к такому попу на исправу пойдем.

– Как же, матушка, возможно пробыть без священника!.. – воскликнул Василий Борисыч. – Не в беспоповы ж идти...

– Спасова воля... – твердо сказала Манефа. – Как ему, свету, угодно, так с нами и будет... Сам он спасение наше управит... А Коряге путь к нам заказан... Так и скажи в Москве.

Не отвечал Василий Борисыч.

– Коли на то пошло, я тебе, друг, и побольше скажу, – продолжала Манефа. – Достоверно я знаю, что Коряга на мзде поставлен. А по правилам, такой поп и епископ, что ставил его, извержению подлежат, от общения да отречутся. Так ли, Василий Борисыч?

– Есть такие правила, точно что есть, – отвечал Василий Борисыч. – Двадесять девятое апостольское, четвертого собора двадесятое, на шестом и на седьмом соборах тож подтверждено.

– То-то и есть, – продолжала Манефа. – Как же должно вашего Софрона епископа понимать?.. А?.. Были от меня посланы верные люди по разным местам, и письмами обсылалась... Нехорошие про него слухи, Василий Борисыч, ох, какие нехорошие!.. А Москва его терпит!.. Да как не терпеть?.. Московский избранник!..

– Это, матушка, вы сказали несправедливо, – возразил Василий Борисыч. – Не было Софрону московского избранья. Сам в епископы своей волей втесался... Нашего согласия ему дадено не было... Да ноне в Москве его и принимать перестали.

– С коих пор?.. – быстро спросила Манефа.

– Я все доподлинно вам расскажу, – молвил Василий Борисыч. – Затем и прислан – выслушать извольте.

– Слушаю, друг, слушаю, – медленно проговорила Манефа, облакачиваясь на стол и устремив как уголья горевшие черные глаза на Василья Борисыча.

– Епископа Софрония в миру Степаном Трифонычем звали, Жировым...

– Знаю, – перебила Манефа. – Двор постоялый в Москве держал.

– И беглыми попами торговал, – добавил Василий Борисыч. – Развозил по христианству... Свел он, матушка, в то самое время дружбу с паломником одним... Яким Стуколов прозывается.

Чуть заметно дернуло у Манефы бровь, но подавила она вздох и, спустив на глаза креповую наметку, судорожно сжала губы...

– Этот Стуколов по чужим землям долго странствовал, искавши епископа древнего благочестия. Оттого в Белой Кринице ему ото всех большое доверие было... Вздумал этот Яким Стуколов заодно с Жировым деньги добывать – богатства захотелось, в миллионщики вылезть пожелал. Спервоначалу стали они где-то в Калужской губернии искать золото... Землю купили – заварилось у них дело. Каково было то дело, говорят разное... Господь ведает, что у них меж собой творилось – обман ли какой, на самом ли деле золото сыскали – не могу сказать доподлинно, только Жиров с Стуколовым меж собой были друзья велики... А у Жирова золото

золотом, попы попами, – прежнего промыслу не покидал... В самое то время наши московские соборне уложили особого для Российской державы епископа получить, потому что в Австрии смуты да войны настали. Не ровен час – иерархия в один час могла бы порешиться; опять бы остались без архиерейства... Покаместь на Рогожском судили да рядили, кого послать за архиерейством, Степан Трифоныч, не будь плох, да с черным попиком, <sup>[149]</sup> Егором звали, и махни за границу. «Если, думает, от развоза попов добрые деньги в мошну перепадали, от епископа не в пример больше получить их можно». Ладно, хорошо: взял он у приятеля своего у Стуколова письма и повез Егора в Белу-Криницу в архиереи ставить. Там гостям рады, туда уж успели дохнуть, что московские желают своего епископа, и по письмам Стуколова скорехонько занялись того попа Егора в архиереи поставить... Стали исповедовать, и нашлись за Егором такие грехи, что ему не то чтоб епископом – в попах-то быть не годится... Монастырские власти Степану про то объявили – никак, дескать, невозможно... Степан Трифоныч туда-сюда – не соглашаются. Тогда и говорит ему отец Павел, настоятель тамошний: «Да за чем, говорит, дело стало? Ты, Степан Трифоныч, человек вдовый, в писании горазд, для чего самому тебе архиереем не быть... Яким Прохорыч Стуколов про тебя хорошо описал, а мы ему верим во всем...» Степан рад-радехонек... Не думал, не гадал – хиротония сама на него свалилась... На другой же день постригли его во иночество, Софронием нарекли, в дьяконы поставили, на завтра в попы, послезавтра в епископы. Так его в трое суток и обмотали... На четвертые домой архиерей отправился... Дорогой-то, правда ли, нет ли, Егора в реке утопил... Москва так и ахнула, узнавши каков святитель в ней проявился... А делать нечего: омофор не шуба – с плеч не сбросишь... Толки пошли, пересуды, вражда в обществе, свары да ссоры. Однако ж все помаленьку утишилось. Хочешь не хочешь, к новому владыке ступай.

– Так вот он каков! – едва слышно промолвила Манефа.

– Таков, матушка, таков – поистине говорю, – отвечал Василий Борисыч. – Про это самое доложить вам и велено...

– Хороша Москва!.. Можно чести приписать!.. – с горечью сказала Манефа, поднимая наметку и сурово вскинув глазами на Василья Борисыча. – Пекутся о душах христианских! Соблюдают правую веру!

– Грех такой вышел, матушка, искушение!.. Ничего тут не поделаешь, – разводя руками, чуть слышно проговорил Василий Борисыч и потупил взоры перед горевшими негодованием очами величавой игуменьи.

– Истинно грех вышел, да еще грех-от какой! Горше его нет!.. –

сказала Манефа. – Спасибо вам, московским, спасибо!.. Сами впали в яму и других с собой ввалили... Спасибо!..

Не отвечал Василий Борисыч. Не по себе ему было. Вынув из кармана шелковый платок, молча отирал он обильно выступивший на лбу пот.

– Дальше что? – спросила Манефа после молчания, длившегося несколько минут.

– Святокупец святокупцем и остался, – слегка запинаясь, ответил Василий Борисыч. – Попа поставить – пятьсот целковых, одигон<sup>[150]</sup> – та же цена и выше; с поставленных попов меньше ста рублей в месяц оброку не берет... Завел венечные пошлыны, таковы-де при патриархе Иосифе бывали: пять целковых с венца, три за погребенье, по три с крещения, со всего.

– Прежде торговал попами, теперь благодатью Святого Духа?.. Так, что ли? – язвительно усмехнувшись, спросила Манефа.

– Так... так точно, матушка, – приниженно молвил Василий Борисыч и снова принялся утираться платком.

– Что ж это он у Макарья лавки не возьмет себе?.. Вывеску бы повесил – большую, золотую, размалеванную... Написал бы на ней: «Торговля благодатью Святого Духа, московского купца епископа Софрония».

– Бывал и у Макарья, матушка, – сказал Василий Борисыч.

– Без вывески, должно быть, торговал. Такой что-то не виделось, – с желчной улыбкой ответила Манефа. – Такцию бы ему напечатать – за одигон, мол, пятьсот, за попа пятьсот... Греховодники!..

– Не наша вина, матушка... Не Москва Софрона выбирала, – оправдывался Василий Борисыч. – Аки пес на престол вскочил.

– Это ты из гранографа,<sup>[151]</sup> – усмехнулась Манефа... – Про Гришку Расстригу в гранографе так писано... А ведь, подумать хорошенько, и ваш Степка, хоть не Гришкиной стезей, а в его же пределы идет – к сатане на колени – рядом с Иудой предателем... Соблазны по христианству разносить!.. Шатость по людям пускать!.. Есть ли таким грехам отпущенье?..

– Ох, искушение!.. – глубоко и горько вздохнул Василий Борисыч.

– Хоть не ведали мы про такие дела Софроновы, а веры ему все-таки не было, – после некоторого молчанья проговорила Манефа. – Нет, друг любезный, Василий Борисыч... Дорога Москва, а душ спасенье дороже... Так и было писано Петру Спиридонычу, имели бы нас, отреченных... Не желаем такого священства – не хотим сквернить свои души... Матушка Маргарита в Оленеве что тебе говорила?

– Да те же речи, что и ваши, – отвечал Василий Борисыч.

– Видишь!.. И не будет у нас согласия с Москвой... Не будет!.. Общения не разорвем, а согласия не будет!.. По-старому останемся, как при бегствующих иереях бывало... Как отцы и деды жили, так и мы будем жить... Знать не хотим ваших московских затеек!..

При этих словах вошла келейная девица и, низко поклонясь гостю, доложила игуменье:

– От Патапа Максимыча нарочного пригнали.

– Пантелей? – спросила Манефа.

– Нет, матушка, неведомо какой человек. Молодой еще из себя, рослый такой.

– Знаю, – кивнула ей Манефа. – Кликни.

Келейная девица вышла, и минуты через две явился Алексей. Сотворя уставной начал перед иконами и два метания перед игуменьей, поклонился он гостю и, подавая Манефе письмо, сказал:

– Патап Максимыч приказали кланяться.

Не вставая с места и молча, Манефа низко склонила голову.

– Здоровы ль все? – спросила она. – Садись, гость будешь, – примолвила она.

– Все, слава Богу, здоровы, – отвечал Алексей, садясь на лавку рядом с Васильем Борисычем. – Про вашу болезнь очень скорбели.

– Патап Максимыч в отлучке был? – спросила Манефа.

– Уезжали, на шестой неделе воротились, – отвечал Алексей.

– Как праздник справили? – невозмутимо, ровным голосом продолжала расспросы Манефа.

– Все слава Богу, – отвечал Алексей.

– Ну и слава Богу, – молвила Манефа и, показывая на расставленные закуски, прибавила: – Милости просим, покушай, чем Бог послал...

Алексей выпил, закусил... Чаю подали ему.

– Там кое-что привезено к вашей святыне, матушка... От Патапа Максимыча припасы... Кому прикажете сдать? – спросил Алексей.

– Завтра, – молвила Манефа и ударила в малую кандию, стоявшую возле нее на окошке. Келейная девица вышла из-за перегородки.

– В задних кельях прибрано? – спросила ее Манефа.

– Прибрано, матушка.

– А в светелке над стряпущей?

– И там все как надо быть.

– Московского гостя дорогого в заднюю, – сказала Манефа, – а его, –

прибавила, показывая на Алексея, – в светелку. Вели постели стлать... Пожитки ихние туда перенести. Сейчас же.

Низко поклонившись, вышла келейная девица.

– Ты сюда нарочно аль проездом? – спросила Манефа Алексея.

– В два места Патап Максимыч послали, – отвечал он, – велел вам да Марье Гавриловне письма доставить, а отсель проехать в Урень.

– На Ветлугу? – быстро спросила Манефа, вскинув глазами на Алексея и нахмурия брови.

– На Ветлугу, матушка, – отвечал Алексей.

– Марью Гавриловну видел? – немного помолчав, спросила она.

– Нет еще, матушка.

– Ступай к ней покуда, – сказала Манефа. – Не больно еще поздно, она ж полуночица... Долго ль у нас прогостишь?

– Благословите, матушка, завтра ж пораньше отправиться, – молвил Алексей.

– Как знаешь. Работника послала я в Осиповку, с письмом от Марьи Гавриловны. При тебе приехал?

– Нет, матушка.

– Разъехались. Ступай с Богом. Завтра позову, – сказала Манефа, слегка наклоняя голову.

Положил Алексей исходный нача́л перед иконами, сотворил метания и вышел.

– Помешали нам, – молвила Манефа Василью Борисычу. – Суета!.. Что делать?.. Не пустыня Фивайдская – с миром не развяжешься!.. Что ж еще Петр Спиридоныч наказывал?

– Да насчет того же Софрония, матушка, – отвечал Василий Борисыч. – Узнавши про нечестивые дела его, кладбищенские попечители на первых порах келейно его уговаривали, усовестить желали... И то было неоднократно... Деньги давали, жалованье положили, перестал бы только торговать благодатью да ставил бы в попы людей достойных, по выбору общества. А он и деньги возьмет и беспутных попов наставит... А уследить невозможно – все в разъездах... Время гонительное, всюду розыски – на одном месте пребывать нельзя, а ему то и на руку... Этак, матушка, без малого четыре года с ним маялись... От того от самого и вам доброго священника до сей поры не высылали... Что с самочинником поделаешь?..

– В прежни годы обо всех делах и не столь важных с Рогожского к нам в леса за известие посылали, советовались с нами, а ноне из памяти нас, убогих выкинули, – укоряла Манефа московского посла. – В четыре-то года

можно бы, кажись, избрать время хоть одно письмецо написать...

– Все хотелось, матушка, келейно, по тайности уладить, чтоб молва не пошла... Соблазна тоже боялись, – оправдывался Василий Борисыч. – Хоть малую, а все еще возлагали надежду на Софронову совесть, авось, полагали, устыдится... Наконец, матушка, позвали его в собрание, все вины ему вычитали: и про святокупство, и про клеветы, и про несвойственные сану обolgания, во всем обличили.

– Что ж он? – спросила Манефа.

– А плюнул, матушка, да все собрание гнилыми словами и выругал... – сказал Василий Борисыч. – «Не вам, говорит, мужикам, епископа судить!.. Как сметь, говорит, ноги выше головы стать?.. На меня, говорит, суд только на небеси да в митрополии...» Пригрозили ему жалобой митрополиту и заграничным епископам, а он на то всему собранию анафему.

– Анафему! – с ужасом вскрикнула Манефа.

– Как есть анафему, матушка, – подтвердил Василий Борисыч. – Да потом и говорит: «Теперь поезжайте с жалобой к митрополиту. Вам, отлученным и анафеме преданным, веры не будет». Да, взявши Кормчую, шестое правило второго собора и зачал вычитывать: «Аще которые осуждены или отлучены, сим да не будет позволено обвинять епископа». Наши так и обмерли: делу-то не пособили, а клятву с анафемой доспели!.. Вот те и с праздником!..

– Ах он, разбойник! – вскочив с места, вскрикнула Манефа. Лицо ее так и пылало...

– Истинно так, матушка, – подтвердил Василий Борисыч. – Иначе его и понимать нельзя, как разбойником... Тут, матушка, пошли доноситься об нем слухи один другого хуже... И про попа Егора, что в воду посадил, и про золото, что с паломником Стуколовым под Калугой искал... Золото, как слышно, отводом только было, а они, слышь, поганым ремеслом занимались: фальшивы деньги ковали.

Наклонив голову, Манефа закрыла ее ладонями. Смолк Василий Борисыч.

– Дальше что? – спросила игуменья, подняв голову после минутного молчанья.

Не думал Василий Борисыч, какими ножами резал он сердце Манефы.

– Жалобу к митрополиту послали, – продолжал он, – другого епископа просили, а Софрона извергнуть.

– Ну? – спросила Манефа.

– Согласился владыко-митрополит, – отвечал Василий Борисыч. – Другого епископа перед Великим постом нынешнего года поставил, нарек



его Владимирским, Софрона же ограничил одним Симбирском... Вот и устав новоучрежденной Владимирской архиепископии, – прибавил он, вынимая из кармана тетрадку и подавая ее Манефе.

– Потрудитесь почитать, глаза-то у меня после болезни плохи, мало видят, – сказала Манефа.

Василий Борисыч начал чтение:

– «Владимирский архиепископ подведомственно себе иметь должен все единоверные епархии, ныне существующие и впредь учредиться могущие во всей Российской державе, даже до Персии и Сибири простирающиеся, и на север до Ледовитого моря достигающие. И имеет право во оные епархии поставлять епископов по своему усмотрению с содействием своего наместника».

– Какого ж это наместника? – спросила Манефа.

– А другого-то епископа, матушка, что в Белой-то Кринице, – отвечал Василий Борисыч.

– Софрона! – воскликнула Манефа.

– Нет, матушка... Как возможно... Избави Бог, – сказал Василий Борисыч. – Софрон только при своем месте, в Симбирске, будет действовать – там у него приятели живут: Вандышевы, Мингалевы, Константиновы – пускай его с ними, как знает, так и валандается. А в наместниках иной будет – человек достойный, – а на место Софрона в российские пределы тоже достойный епископ поставлен – Антоний.

– Дальше читай, – молвила Манефа.

– «А по поставлении давать только сведение Бело-Криницкой митрополии», – продолжал Василий Борисыч.

– Это хорошо, – заметила Манефа. – Что, в самом деле, с заграничными невесть какими водиться!.. Свои лучше.

– «Все епископы, подведомственные Владимирской архиепископии, отныне и впредь, по поставлении своем должны по чину, в Чиновнике <sup>[152]</sup> изображенному, исповедание веры и присяжные листы за своим подписом давать прямо архиепископу Владимирскому. В действии же епископы и прочие священники, в России сущие, смотрительного ради случая и доколе обстоит гонение, могут иметь пребывание во всяком граде и месте, где кому будет возможность скрыться от мучительских рук, и имеют право безвозбранно в нуждах христианам помогать и их требы священнические исполнять. Святительские же дела, сиречь поставлять попов и диаконов и прочих клириков и запрещать или извергать, без благословения архиепископа да не дерзают. В своей же епархии каждый епископ полное право имеет распоряжаться и поставлять попов и диаконов и прочих

клириков, по его благоусмотрению, яко господин в своем доме». <sup>[153]</sup>

Долго еще читал Василий Борисыч устав Владимирской архиепископии и, кончив, спросил он Манефу:

– Каких же мыслей будете вы насчет этого, матушка? Узнать ваше мнение велено мне.

Задумалась Манефа. Соображала она.

– А что мать Маргарита? – спросила она.

– Матушка Маргарита склонна, – отвечал Василий Борисыч. – Писать к вам собирается... Ваше-то какое решение будет?

– Что ж... По моему рассуждению, дело не худое... Порочить нельзя, – сказала Манефа. – Дай только Бог, чтоб христианству было на пользу.

– О согласии вашем прикажете в Москву доложить? – спросил Василий Борисыч.

– Обожди, друг, маленько. Скоро дела не хвалят, – ответила Манефа. – Ты вот погости у нас – добрым гостям мы рады всегда, – а тем временем пособуем, тебя позовем на собрание – дело-то и будет в порядке... Не малое дело, подумать да обсудить его надо... Тебе ведь не к спеху? Можешь недельку, другую погостить?

Вспомнил Василий Борисыч про полногрудых, быстроглазых белиц и возрадовался духом от приглашения Манефы.

– Сколько будет угодно вам, матушка, столько под вашим кровом и проживу, – сказал он. – Дело в самом деле таково, что надо об нем подумать да и подумать. А чтоб мне у вас не напрасно жить, благословите в часовне подьячить.

– Разве горазд? – спросила Манефа.

– На том стоим, матушка... Сызмальства обучен, – сказал Василий Борисыч. – На Рогожском службы справлял... Опять же меня и в митрополию-то с уставщиком Жигаревым посылали, потому что службу знаю до тонкости и мог применить, каково правильно там ее справляют... Опять же не в похвальбу насчет пения скажу: в Оленеве у матушки Маргариты да у матушки Фелицаты пению девиц обучал – развод демественный им показал.

– И нашим покажи, Василий Борисыч, – молвила Манефа. – Мы ведь поем попросту, как от старых матерей навыкли, по слуху больше... Не больно много у нас, прости, Христа ради, и таких, чтоб путем и крюки-то разбирали. Ину пору заведут догматик – «Всемирную славу» аль другой какой – один соблазн: кто в лес, кто по дрова... Не то, что у вас, на Рогожском, там пение ангелоподобное... Поучи, родной, поучи, Василий Борисыч, наших-то девиц – много тебе благодарна останусь.

– С великим моим удовольствием, – ответил Василий Борисыч. Черненькие глазки его так и заискрились при мысли, что середь пригоженьких да молоденьких он не одну неделю как сыр в масле будет кататься. «Подольше бы только старицы-то соборовали», – думал он сам про себя.

– Ну, гость дорогой, не пора ль и на покой? – поднимаясь с места, молвила Манефа. – Выкушай посошок... Милости прошу... А там в задней келье ужинать тебе подадут.

Василий Борисыч выкушал посошок и, помолясь иконам, простился с игуменьей.

– Бог простит, Бог благословит, – сказала Манефа, провожая его. – Дай Бог счастливо ночь ночевать. Утре, как встанешь, пожалуй ко мне в келью, чайку вместе изопьем да еще потолкуем про это дело... Дело не малое!.. Не малое дело!..

– Какого еще дела больше того, матушка? – отозвался Василий Борисыч, выходя из кельи.

В сенях со свечой встретила его келейница.

– Пожалуйте, гость дорогой... Вот сюда пожалуйте, – говорила она, проводя Василия Борисыча по внутренним закоулкам игуменьиной «стаи», мимо разных чуланов и боковуш, среди которых непривычному человеку легко было заблудиться.

По уходе Василия Борисыча Манефа перестала сдерживаться. Дала простор и волю чувствам, вызванным речами московского посла... Облокотясь на стол обеими руками и закрыв разгоревшееся лицо, тяжело и прерывисто вздыхала она. Не столько безобразия святопродавца Софрона и соблазны, поднявшиеся в старообрядской среде, мутили душу ее, сколько он, этот когда-то милый сердцу ее человек, потом совершенно забытый, а теперь ставший врагом, злодеем, влекущим людей на погибель... И прежде нередко задумывалась она над словами Таифы, поразившими ее чуть не насмерть, но до сей поры не твердо им верила, все хотелось ей думать, что сказанное казначеей одни пустые сплетни... Теперь конец сомненьям... Он в самом деле лживый, коварный человек, он нечестие свое лживо и лицемерно покрывает обманной личиной святости и духовности... «Ах, Фленушка, Фленушка! – шевелилось в уме Манефы. – Горькая ты моя сиротинушка!.. Благо, что не знаешь, от кого ты на свет родилась!..»

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

От Манефы Алексей пошел было к Марье Гавриловне, но вышедшая из домика ее бойкая быстроглазая пригоженькая девушка, одетая не по-светски, вся в цветном, остановила его.

– Вам кого надобно? – спросила она Алексея.

– Марью Гавриловну, – отвечал он. – Письмо к ней привез...

– От кого письмо? – спросила девушка.

– Из Осиповки, от Патапа Максимыча. Еще посылочка маленькая, – сказал Алексей.

– Обождите маленько, – молвила девушка. – Сегодня Марье Гавриловне что-то не поздоровилось, собиралась пораньше лечь... Уж не разделась ли? Да я тотчас скажу ей. Обождите у воротец манехонько...

Минуты через три девушка воротилась и сказала, чтоб Алексей письмо и посылку отдал ей, а сам бы приходил к Марье Гавриловне завтра поутру.

Побродил Алексей вокруг домика, походил и вокруг часовни. Но уж стемнело, и путем ничего нельзя было разглядеть. Пошел на огонь к игуменской «стае», добраться бы до ночлега да скорей на боковую... Только переступил порог, кто-то схватил его за руку.

– Тебя зачем принесло, пучеглазый? – дернув его за рукав, вполголоса спросила Фленушка.

– Ах, Флена Васильевна! – вскрикнул Алексей. Не заметно было в его голосе, чтоб обрадовался он нечаянной встрече со старой знакомой... – Все ли в добром здоровье?.. – прибавил он, заминаясь.

– Зачем сюда попал? – спрашивала Фленушка, сильнее дергая его за рукав.

– Мимоездом... – отвечал он. – С письмом от Патапа Максимыча.

– Куда едешь?

– Далеко, – отшучивался Алексей.

– Куда, говорят?.. Сказывай, совесть твоя проклятая!.. – продолжала Фленушка.

– Отсель не видать, – молвил Алексей, отстраняясь от Фленушки.

– Сказывая, бесстыжий, куда? – приставала к нему Фленушка.

– Много будешь знать – мало станешь спать, – с усмешкой ответил Алексей. – Про что не сказывают, того не допытывайся.

– Цыган бессовестный!.. От тебя ль такие речи? – сказала Фленушка... – Что Настя?

– Настасья Патаповна ничего. Кажись, здорова, – равнодушно ответил Алексей.

– Да ты, друг ситный, что за разводы вздумал передо мной разводить?.. А?.. – изо всей силы трепля за кафтан Алексея, воскликнула Фленушка. – Сказывай сейчас, бесстыжие твои глаза, что у вас там случилось?

– Ничего не случилось, – отвечал Алексей.

– Меня не проведешь... Вижу я... Дело неладно. Сказывай скорей, долго ль мне с тобой растабарывать?..

– Да ничего не случилось, – сказал Алексей. – Образ, что ли, тебе со стены тащить?..

– Ходишь к ней?

Алексей молчал.

– Да говори же, непутевый... – приставала Фленушка. – Пучеглазый ты этакой, бессовестный!.. Говори скорей, все ль у вас по-прежнему?

Сени осветились – из задней со свечой в руках вышла келейная девица. Фленушка быстро отскочила от Алексея.

– Спрашивает, где ночевать ему приготовлено, – сказала она. – Это от Патапа Максимыча.

– Знаю, – отвечала келейница. – Пойдем, молодец... Сюда вот... А тебе, Флена Васильевна, не пора ль на покой?

– Знаю с твое! – быстро отвернувшись, молвила Фленушка и скорыми частыми шагами пошла в свои горницы. Остановясь на полдороге, обернулась она и громко сказала:

– Я с тобой письмо к Настеньке пошлю. Надо кой-что узнать от нее... Перед отъездом скажись...

В отведенной светелке Алексей плотно поужинал под говор келейной девицы. Рада была она радехонька, что пришлось ей покалякать с новым человеком.

Долго рассказывала она Алексею, как матушка Манефа, воротясь из Осиповки с именин Аксиныи Захаровны, ни с того ни с сего слегла и так тяжело заболела, что с минуты на минуту ожидали ее кончины, – уж теплая вода готова была обмывать тело покойницы. Горько жаловалась на Марью Гавриловну... И лекаря-то выписала поганить нечестивым лекарством святую душеньку, и власть-то забрала в обители непомерную, такую власть, что даже ключницу, мать Софию, из игуменских келий выгнала, не уважа того, что пятнадцать годов она в ключах при матушке ходила, а сама Марья Гавриловна без году неделя в обители живет, да и то особым хозяйством... А после того как выздоровела матушка, должно быть, Марьей же Гавриловной наговорено что-нибудь на мать Софию. Не

пожелала матушка, чтоб она при ней в ключах ходила, и пока не придумала, кому быть в ключах, ее при келье держит.

И это промолвила старая рябая келейная девица с чувством гордости.

Алексей слушал ее краем уха... Думы его были далече.

Не спалось ему на новом месте. Еще не разгорелась заря, как он уж поднялся с жаркой перины и, растворив оконце душной светелки, жадно впивал свежий утренний воздух.

Обитель спала. Только чириканье воробьев, прыгавших по скату крутой часовой крыши, да щебетанье лесных птичек, гнездившихся в кустах и деревьях кладбища, нарушали тишину раннего утра. Голубым паром поднимался туман с зеленеющих полей и бурых, железистой ржавчиной крытых мочажин... С каждой минутой ярче и шире алела заря... Золотистыми перьями раскидывались по ней лучи скрытого еще за небосклоном светила.

Глядит Алексей на стоящий отдельно от обительских строений домик... Вовсе не похож он на другие... Крыт железом, обшит тесом, выкрашен, бемские стекла, медные оконные приборы так и горят на заре... «Так вот в каких хоромах поживает Марья Гавриловна», – думает Алексей, не сводя глаз с красивого свеженького домика...

Поднялась занавесь в домике, молодая женщина, вся в белоснежном платье, стала у окна, устремив взор на разгорающуюся зарю... Вздохнув несколько раз свежим весенним воздухом, зорко оглянулась она и запела вполголоса:

Кручина ты моя, кручинушка великая,  
Никому ты, кручина моя, неизвестна,  
Знает про тебя одно мое сердце,  
Крыта ты, кручинушка, белой моей грудью,  
Запечатана крепкой моей душой.

Дивуется Алексей... Что за красота!.. Что за голос звонкий, душевный!.. И какая может быть у нее кручина?.. Какое у нее может быть горе?

Еще тише запела Марья Гавриловна:

Не слышать тебе, друг милый, моих песен,  
Не узнать тебе про мою кручину,  
Ах! Заной же, заной, сердце ретивое.

– Ах! – тихо вскрикнула она. Песня оборвалась.

Быстро захлопнулось окно... Внутри опустилась шелковая занавеска.

Зевая и лениво всей пятерней почесывая в затылке, из кельи уставщицы Аркадии выползла толстая, рябая, с подслеповатыми гноившимися глазами канонница. Неспешным шагом дошла она до часовой паперти и перед иконой, поставленной над входной дверью, положила семипоклонный начал... Потом медленно потянулась к полке, взяла с нее деревянный молот и ударила в било... Заутреня!

Из-за вершин дальнего темно-сизого леса сверкнул золотистый серп. Он растет, растет, и вот на безоблачный ясный небосклон выкатилось светоносное солнце. Заблестели под его лучами длинные ряды обительских келий и убогие сиротские избенки; переливным огнем загорелись стекла домика Марьи Гавриловны. Ниже и ниже стелется туман... Заря потухла, и только вверху небосклона розовым светом сияют тонкие полосы полупрозрачных перистых облаков... Звончей, веселей щебечут птицы в кустах и на деревьях скитского кладбища... Игривыми, радостными криками по дальним перелескам громко и вольно заливается разноголосая пернатая тварь...

Клеплет рябая в «малое древо», клеплет в «великое», мерно ударяет в железное клепало.<sup>[154]</sup> Издали со всех сторон слышались такие же глухие, но резкие звуки... По всем обителям сзывают на молитву... Смолкли, промчавшись по воздуху, призывные звуки, опять затихло все под утренними лучами солнца... Ярko стелются эти лучи по зеленой луговине и по бурым тропинкам, проторенным от каждой стаи келий к часовне... Веет весной, жизнью, волей...

Ровно черные галицы спешат по тропинкам инокини, собираясь в часовню... Медленна, величава их поступь... Живо, резво обгоняют их по свежей зеленой мураве белицы... Открылись окна в часовне... Слышалось заунывное пение.

Обутрело... Пошел Алексей к Марье Гавриловне. Не красна на молодце одежда, сам собою молодец красен.

Идет двором обительским, черницы на молодца поглядывают; молоды белицы с удалого не сводят глаз. На пригожество Алексея дивуются, сами меж собой таковы речи поговаривают: «Откуда, из каких мест такой молодец появился, чей таков, зачем к нам пожаловал?..»

А он степенным шагом идет себе по двору обительскому... На стороны не озирается, лишь изредка по окнам палючими глазами

вскидывает... И от взглядов его не одно сердце девичье в то ясное утро черной тоской и алчными думами мутилось...

В скитских обителях не знают ни запоров, ни затворов, только на ночь там кельи замыкаются. Поднялся Алексей на разубранное точеными балясинами и раскрашенное в разные цвета крылечко уютного домика Марьи Гавриловны, миновал небольшие сенцы и переднюю и вошел в первую горницу... Райской светлицей она показалась ему. Хорошо в хоромах у Патапа Максимыча прибрано, богато они у него разукрашены, но далеко им до уютного жилья молодой вдовы... И светло и красно в том жилье, чисто и ладно все обряжено, цветам да заморским деревьям счету нет, на полу разостланы ковры пушистые, по окнам в клетках прыгают веселые птички-канареечки, заливаются громкими песнями...

Вспомнил Алексей, как на утренней заре видел он молодую вдову, вспомнил про песню ее кручинную, про звонкий душевный голос и про внезапный переполох ее... И чего так испугалась она?... Его ли заметила?... Иль, завидя звонариху, спешно укрылась от нее с глаз долой? Не разгадать Алексею.

Распахнулись двери створчатые – перед Алексеем во всей красе стала Марья Гавриловна.

В синем шелковом платье, с лазоревым левантиновым платочком на голове, стоит она стройная, высокая, будто молодая сосенка. Глаза опущены, а белое лицо тонким багрецом подернулось... Чем-то неожиданным-негаданным она взволнована: грудь высоко подымается, полуоткрытые алые губки слегка вздрагивают.

Стоит Алексей как вкопанный, не сводит со вдовьей красы своих ясных очей. Чем дольше глядит, тем краше Марья Гавриловна ему кажется.

А у той ровно гири на веки навешены – глаз не может поднять, стоит, опустя взоры летучие, и, ровно девушка-слёточка, ничего на веку своем не выдавшая, перебирает рукой оборочку шелкового передника.

Подал Алексей ей письмо.

– От Патапа Максимыча? – чуть слышно спросила Марья Гавриловна.

– От Патапа Максимыча, – ответил Алексей.

Вскинула глазами вдовушка... Будто маленькие хрусталики, на ресницах ее блеснули чуть заметные слезки. Зарделось лицо пуще прежнего.

– Ответ пришлю с девушкой, – тихо она промолвила. – Иль сами после обеда зайдите.

Забыл Алексей, что надо ему наскоро ехать к отцу Михаилу... Разок бы еще полюбоваться на такую красоту неописанную... Медленным



низким поклоном поклонился он Марье Гавриловне и не то с грустью, не то с робостью промолвил ей:

– Счастливо оставаться!

– До свиданья, – тихо ответила Марья Гавриловна и, слегка наклонив голову, оставила Алексея.

Высоко нес он голову, ровным неспешным шагом ступал, идя к Марье Гавриловне. Потупя взоры, нетвердой поступью, ровно сам не в себе, возвращался в кельи игуменьи. Много женских взоров из келейных окон на пригожего молодца было кинута, весело щебетали промеж себя, глядя на него девицы. Ничего не видал, ничего не слышал Алексей. Одно «до свиданья» раздавалось в ушах его.

– Пил ли чай-то, непутный? – спросила Фленушка, схватив Алексея за рукав, когда в задумчивом молчаньи входил он в сени игуменьиной стаи.

– Ах, Флена Васильевна! – вздрогнув, сказал Алексей...

– Что, бесстыжие твои глаза? – быстро спросила она. – Нечего рожу-то воротить, гляди прямо, коли совести потерял... Чего вздрогнул?.. Сказывай!

– Испугала ты меня, Флена Васильевна! – отозвался Алексей. – Подкралась невзначай – дернула вдруг. Разве можно так человека пугать?..

– Ишь какой ты неженка! – ответила Фленушка. – Самого с коломенску версту вытянуло, а он ровно малый ребенок пугается. Иди ко мне – самовар на столе.

– Благодарю покорно, Флена Васильевна, – сказал Алексей, слегка сторонясь от Фленушки. – Что-то корежит<sup>[155]</sup> меня – увольте.

– Ах ты, пучеглазый этакой, – видно, в тебе совести нет ни на грош! – подхватила Фленушка, крепче держа за рукав Алексея. – Девица чай пить зовет, а он на сторону... Мужлан ты сиволапый!.. Другой бы за честь поставил, а ты, глядь-ка поди!

– Ей-Богу... право, через великую силу брожу, Флена Васильевна, – отговаривался Алексей. – В другой раз со всяким моим удовольствием... А теперь увольте, Господа ради. Голова болит, ног под собой не чую, никак веснянка<sup>[156]</sup> накатывает. Совсем расхилел – мне бы отдохнуть теперь.

– На то ночь была, – подхватила Фленушка.

– Да я, право, Флена Васильевна, – начал было Алексей.

– Нечего тут! – стояла на своем Фленушка. – Ишь сахар медович какой выискался!.. Нет, друг сердечный, отлынь<sup>[157]</sup> здесь не возьмешь. Здесь наша большина – твори волю девичью, не моги супротивничать. Волей нейдешь – силком сволочем... Марьюшка!

Из боковуши выглянула Марья головщица.

– Гляди, каки вежливы гости наехали. Девица зовет чай его пить, приятную беседу с ним хочет вести, а он ровно бык перед убоим – упирается. Хватай под руки бесстыжего – тащи в горницу.

Волей-неволей пришлось Алексею зайти к Фленушке.

– Садись – гость будешь, – с веселым хохотом сказала Фленушка, усаживая Алексея к столу с кипящим самоваром. – Садись рядышком, Марьюшка! Ты, Алексеюшка, при ней не таись, – прибавила она, шутливо поглаживая по голове Алексея. – Это наша певунья Марьюшка, Настина подружка, – она знает, как молодцы по девичьим светлицам пальцы ходят чинить, как они красных девиц в подклеты залучают к себе.

Ни слова в ответ Алексей. Только брови маленько у него посдвинулись.

– Рассказывай про лапушку-сударушку, – молвила Фленушка, подавая Алексею чашку чая. – Что она? Как все идет у вас? По-прежнему ль по-хорошему, аль как по-новому?

– Невдомек мне ваши речи, Флена Васильевна, – сквозь зубы процедил Алексей.

– А ты лисьим-то хвостом не верти, – молвила Фленушка, ударив Алексея по лбу чайной ложечкой. – Сказано, при Марьюшке таиться нечего. Рассказывай же: каково видались, каково расставались. Люблю ведь я, парень, про эти дела слушать – пряником не корми.

– Чего рассказывать-то? – глядя в сторону, молвил Алексей. – Не знаю, чего вам требуется?.. Настасья Патаповна при своем месте, я при своем...

– Наверх ходишь? – резко спросила Фленушка.

– Как наверх не ходить? – не глядя на нее, отвечал Алексей. – Хозяйски дела тоже на руках.

– Ну? – с нетерпением, топнув ногой, молвила Фленушка.

– Значит, каждый день к хозяину хожу, а не случится его дома, к хозяйке, – ответил Алексей.

– Да ты, парень, व्यюном-то не увертывайся, у нас, у девиц – увертка не вывертка, – сказала Фленушка. – Прямо говори: по-прежнему ль с Настенькой любишься?

– Отдохнуть бы мне маленько, – молвил Алексей, покрывая допитую чашку. – Больно что-то недужится – в глазах мутит, головушку совсем разломило.

– Эх ты! – вскрикнула Фленушка. – Ударить бы путем дурака, да жаль кулака.

Опустя голову в пол, глядел Алексей.

– Марьюшка, сливки-то совсем скислись, сбегай, голубка, доспей кипяченых, – молвила Фленушка головщице и подмигнула.

Марьюшка степенно поднялась и неспешно вышла из горницы.

– Часто ль сходитесь? Сказывай, долговязый! – торопливо спросила Фленушка Алексея, когда остались с ним с глазу на глаз.

Алексей как воды в рот набрал. Смотрит в окно, сам ни словечка.

– Да что ж это такое? – воскликнула Фленушка, сверкнув на него очами. – Нешто разохлось?

– Эх, Флена Васильевна! – с тяжким вздохом промолвил Алексей и, облокотясь на подоконник, наклонил на руку голову.

– Что такое?.. Говори, что случилось? – приставала к нему встревоженная Фленушка.

Не отвечал Алексей.

– Да говори же, пес ты этакой!.. – крикнула Фленушка. – Побранились, что ли?.. Аль остуда какая?..

– Не в меру горда стала Настасья Патаповна... – едва слышно проговорил Алексей.

– А что ж ей? – вскрикнула Фленушка. – Ноги твои мыть да воду с них пить?.. Ишь зазнайка какой!.. Обули босого в сапоги – износить не успел, а уж спеси на нем, что сала на свинье,росло!.. Вспомни, – стоишь ли весь ты мизинного ее перстика?.. Да нечего рыла-то воротить – правду говорю.

По-прежнему склонив голову, бессознательно глядел Алексей в окошко... Из него виднелся домик Марьи Гавриловны.

– Не бросить ли вздумал?.. Не вздумал ли избесчестить девичью красоту? – крикнула Фленушка, наступая на Алексея.

– Что ж, Флена Васильевна?.. – с глубоким вздохом промолвил он. – Человек я серый, неученый, как есть неотесанная деревенщина... Ровня ль я Настасье Патаповне?.. Ихней любви, может быть, самые что ни на есть первостатейные купцы аль генералы какие достойны... А я что?

– Так ты срамить ее? – вскочив с места, воскликнула Фленушка. – Думаешь, на простую девку напал?.. Побаловал, да и бросил?! Нет, гусь лапчатый, – шалишь!.. Жива быть не хочу, коль не увижу тебя под красной шапкой. Над Настей насмеешься, над своей головой наплачешься.

Дверь растворилась – и тихо вошла мать Манефа. Помолилась на иконы, промолвила:

– Чай да сахар!

Фленушка сотворила уставные метания, поцеловала у игуменьи руку. Потом Алексей дважды поклонился до земли перед матушкой Манефой.

– А я прибрела на твой уголок поглядеть, – сказала Манефа, садясь на

широкое, обтянутое сафьяном кресло. – А у тебя гости?.. Ну что, друг, виделся с Марьей Гавриловной?

– Виделся, матушка, – ответил Алексей.

– Что ж она сказала тебе? – спросила Манефа.

– Подал письмо от Патапа Максимыча; после обеда велела за ответом прийти, – отвечал Алексей, стоя перед игуменьей.

– Что ж это она вздумала? – молвила Манефа. – Ты ведь отсель на Ветлугу?

– На Ветлугу, – ответил Алексей.

– Поедешь назад – тогда бы могла написать, – сказала Манефа. – Говорил ей ты, что на Ветлугу послан?

– Не сказывал, матушка, – ответил Алексей.

– Тебе бы сказать, – молвила Манефа. – Зачем ей писать безвременно?.. Вечор сказала ли я тебе, что работника нарядила к Патапу Максимычу?

– Сказывали, матушка, – молвил Алексей.

– Не сегодня, так завтра с ответом воротится, – сказала Манефа. – И так я думаю, что сама Аксинья Захаровна с дочерьми приедет ко мне.

Алексей немножко смутился.

– Аксинья Захаровна с неделю места пробудет здесь, она бы и отвезла письмо, – продолжала Манефа. – А тебе, коли наспех послан, чего попустому здесь проживать? Гостя не гоню, а молодому человеку старушечий совет даю: коли послан по хозяйскому делу, на пути не засиживайся, бывает, что дело, часом опозданное, годом не наверстаешь... Поезжай-ка с Богом, а Марье Гавриловне я скажу, что протурила тебя.

– Слушаю, матушка, – подавляя вздох, молвил Алексей.

– Маленько-то повремени, – сказала Манефа. – Без хлеба-соли суща в пути из обители не пускают... Подь в келарню, потрапезуй чем Господь послал, а там дорога тебе скатертью – Бог в помощь, Никола в путь!

Помолился Алексей на иконы и стал творить прощенные поклоны. Манефа, проговоря прощу, молвила:

– На обратном пути милости просим. Не объезжай, друг, нашей обители.

– Что он к тебе с письмом, что ль, от девиц, аль с вестями какими? – спросила Фленушку Манефа, когда Алексей затворил за собой дверь.

– Настенька на словах приказывала, – небрежно выронила слово Фленушка.

– Про что? – спросила Манефа.

– Да там насчет шерстей да бисеру, – сказала Фленушка. – Обещалась

к празднику прислать, да у самой, говорит, нет еще, до сих пор не привезли из городу.

– Подушку-то кончила? – спросила Манефа, оглядывая Фленушкины и Марьюшкины пяльцы.

– Самая малость осталась, – ответила Фленушка. – Денек, другой посидеть, совсем готова будет.

– Кончай да скорее отделявай, из Казани гостям надо быть. С ними отошлю, – сказала Манефа, садясь в кресло.

– А после подушки омофор, что ли, зачинать? – спросила Фленушка. – Коли Настенька с Парашей приедут, с ними да с Марьюшкой как раз вышьем.

– Не надо, – отрезала Манефа.

– Что ж так, матушка?.. Раздумала? – спросила Фленушка. – Целу зиму работой торопила, чтоб омофор скорей зачинать, а теперь вдруг и не надо...

– Не надо, – повторила игуменья.

– Что же благословишь работать? – севши за пяльцы, спросила Фленушка.

– Что хотите, то и шейте, – тихо молвила мать Манефа.

– Так мы тебе в келью к иконам новые пелены вышьем, – подхватила Фленушка, вскинув веселыми глазами на Манефу.

– Ладно, хорошо. Господь вас благословит... шейте с Богом, – молвила игуменья, глядя полными любви глазами на Фленушку. – Ах ты, Фленушка моя, Фленушка! – тихо проговорила она после долгого молчания. – С ума ты нейдешь у меня... Вот по милости Господней поднялась я с одра смертного... Ну а если бы померла, что бы тогда было с тобой?.. Бедная ты моя сиротинка!..

– Полно, матушка! – вскочив из-за пялец и ласкаясь к Манефе, воскликнула Фленушка.

– Из ума у меня не выходишь, – с озабоченным видом продолжала Манефа. – Надо мне хорошенько с тобой посоветовать.

– Да полно ж, матушка, – наклоняясь головой на плечо игуменьи, сквозь слезы молвила Фленушка, – что о том поминать?.. Осталась жива, сохранил Господь... ну и слава Богу. Зачем грустить да печалиться?.. Прошли беды, минули печали, Бога благодарить надо, а не горевать.

– Впервой хворала я смертным недугом, – сказала Манефа, – и все время была без ума, без памяти. Ну как к смерти-то разболеюсь, да тоже не в себе буду... не распоряжусь, как надо?.. Поэтому и хочется мне загодя устроить тебя, Фленушка, чтоб после моей смерти никто тебя не обидел... В мое добро матери могут вступить, ведь по уставу именье инокини в

обитель идет... А что, Фленушка, не надеть ли тебе, голубушка моя, манатью с черной рясой?..

– Что ты, матушка? – тревожно вскрикнула и побледнела Фленушка. – Да у меня и в мыслях этого не бывало, на ум не приходило...

– Хоть и молода, а я бы тебя, отходя сего света, на игуменство благословила. Тогда матери должны будут тебе покориться, – не отвечая на Фленушкины слова, продолжала Манефа... – Все бы мое добро при тебе осталось. Во всем бы ты была моею наследницей.

– Нет, матушка, нет, – взволнованным голосом сказала Фленушка. – Не поминай мне про это... не бывать мне черницей – не могу и не хочу.

– Напрасно, Фленушка, напрасно так говоришь, милая моя, – молвила на то Манефа. – Подумай-ка хорошенько, голубка... Помру – куда пойдешь?..

– В обители век доживу, – отирая глаза, сказала Фленушка. – От твоей могилки куда ж мне идти?

– Белицей, Фленушка, останешься – не ужиться тебе в обители, – заметила Манефа. – Востра ты у меня паче меры. Матери поедом тебя заедят... Не гляди, что теперь лебезят, в глаза тебе смотрят... Только дух из меня вон, тотчас иные станут – увидишь. А когда бы ты постриглась, да я бы тебе игуменство сдала – другое бы вышло дело: из-под воли твоей никто бы не вышел.

– Молода я, матушка, не снести мне иночества, – сказала Фленушка.

– Я моложе тебя иночество приняла, – заметила Манефа, – а помог же Господь – снесла.

– У тебя такое произволение было, а у меня его нет, – решительно сказала Фленушка... – Нет, матушка, воля твоя, ты мне лучше про это и не поминай – в черницах мне не бывать.

Вздыхнула Манефа и, поникнув головой, задумалась.

– Не тороплю тебя, – после недолгого молчанья сказала она, подняв голову. – Время терпит. А ты подумай хорошенько да рассуди. Сказываю: в белицах житья тебе не будет, куда ж ты голову сиротскую свою приклонишь?.. У братца Патапа Максимыча?.. Да не больно он тебя жалует, нравом же крутенок, – живучи у него, много придется слез принимать... Аксиныя же Захаровна хилеть зачала, Настя с Парашей того гляди замуж выйдут... По-моему, уж лучше в Вихорево, к Аграфенушке... Она добрая, жалостливая... А все-таки хоть и Аграфенушку взять, чужой дом не свой, Фленушка. Люди говорят: свой сухарь сытней чужих пирогов... И правда, сущая правда... Святое бы дело обителью тебе хозяйствовать.

– Нет, матушка, не могу, – сдерживая рыданья, ответила Фленушка.

– Мир смущает? – спросила Манефа.

– Где я видела его, мир-от, матушка? – покачивая головой, возразила Фленушка. – Разве что в Осиповке, да когда, бывало, с тобой к Макарью съездишь... Сама знаешь, что я от тебя ни на пядь, – где ж мне мир-то было видеть?

В ее голосе звучали и грусть и укоры судьбе.

– Лукав мир, Фленушка, – степенно молвила Манефа. – Не то что в келью, в пустыни, в земные вертепы он проникает... Много того видим в житиях преподобных отец... Не днем, так ночью во сне человеку козни свои деет!

Молчала Фленушка.

– Ты в мир не захотела ли? Замуж не думаешь ли? – спросила Манефа.

– Как мне замуж идти?... За кого?... – с грустью сказала Фленушка. – Честью из обители под венец не ходят, «уходом» не пойду... Тебя жаль, матушка, тебя огорчить не хочу – оттого и не уйду... «уходом»...

– Ах, Фленушка моя, Фленушка! – вздохнула Манефа и, склонив голову, тихо побрела вон из горницы.

Алексей в келарню прошел. Там, угощая путника, со сверкавшими на маленьких глазках слезами любви и участия, добродушная мать Виринея расспрашивала его про житье-бытье Насти с Парашей под кровом родительским. От души любила их Виринея. Как по покойницам плакала она, когда Патап Максимыч взял дочерей из обители.

– Расскажи ты мне, Алексей Трифоныч, расскажи, родной, как поживают они, мои ластушки, как времечко коротают красавицы мои ненаглядные? – пригорюнясь, спрашивала она гостя, сидевшего за большой сковородкой яичницы-глазуньи. – Как-то они, болезные мои, у батюшки в дому взвеселяются, поминают ли про нашу обитель, про матушек да про своих советных подружек?

– Как же, матушка, не поминать? – ответил Алексей. – Долго ведь жили у вас, нельзя вдруг позабыть.

– Бог их спаси, что помнят нас, – молвила Виринея. – А скажи-ка ты мне, болезный ты мой, такая ль теперь Настенька-то, шустрая да бойкая, как росла у нас в обители? Была она здесь первая любимая затейница, на всякие игры первая забавница. Взвеселяла нас, старух старых, потешала наших девушек, своих милых советных подружек... Соберутся, бывало, мои лебедушки ко мне в келарню зимним вечером, станут шутить разные шуточки, затеют игры девичьи, не насмотришься на них, не налюбишься. Есть ли теперь у них подруги-то, есть ли вокруг них дружные

разговорщицы?

– Нет, матушка, подруг у них не видится, – отвечал Алексей. – С деревенскими девками дружить им не повелось, а ровни поблизости нет.

– Скучно ж им, моим голубонькам, – пригорюнясь, молвила мать Виринея. – Все одни да одни – эдак не взмилеет и белый свет... Женихов на примете нет ли?

Замаялся Алексей, но тотчас оправился и отрывисто ответил:

– Не слышать, матушка.

– Не слышать!.. Что ж так?.. Ну да эти невесты в девках не засидятся – перестарками не останутся, – заметила Виринея. – И из себя красовиты и умом-разумом от Бога не обижены, а приданого, поди, сундуки ломаются. Таких невест в миру нарасхват берут.

Жутко было слушать Алексею несмолкаемые речи словоохотливой Виринеи. Каждое ее слово про Настю мутило душу его... А меж тем иные думы, иные помышленья роились в глубине души его, иные желанья волновали сердце.

Распрощавшись с Виринеей, снабдившей его на дорогу большим кульком с крупитчатым хлебом, пирогами, кокурками, крашеными яйцами и другими снедями, медленными шагами пошел он на конный двор, заложил пару добрых вяток в легкую тележку, уложился и хотел было уж ехать, как ровно неведомая сила потянула его назад. Сам не понимал, куда и зачем идет. Очнулся перед дверью домика Марьи Гавриловны.

«Зайду... скажу, что за письмом... что ехать пора...» – подумал он, не помня приказа Манефина, и с замираньем сердца, робким шагом, взошел на крыльцо.

В горнице встретил он Таню, прислужницу Марьи Гавриловны.

– Что надобно вашей милости? – спросила она у Алексея.

– За письмом... Марья Гавриловна зайти велели, – ответил он вполголоса.

– Обождите маленько. Скажу ей, – молвила девушка, окинув любопытным взором Алексея.

Долго ждал он возвращения Тани. Сердце так и замирало, так и колотилось в груди, в ушах звенело, в голове мутилось... Сам не свой стоял Алексей... Сроду не бывало с ним этого.

Вышла девушка, молвила, что Марья Гавриловна письма не изготовила.

– Ехать пора мне, – сказал он задрожавшим от такой вести голосом. – Матушка Манефа скорей наказывала ехать... Путь не ближний... Лошади заложены.



– Скажу... обождите минуточку, – сказала девушка и скрылась за дверью.

«Выйдет ли она?.. Увижу ль ее? – думал Алексей. – Голову бы отдал на отсечение, только бы на минутку повидать ее».

Таня появилась в дверях и сказала, что письма не будет, а когда он назад через скит поедет, завернул бы к Марье Гавриловне... К тому времени она и ответ напишет и посылочку изготавит.

– Скоро ль назад-то будете? – спросила Таня.

– Не знаю, – мрачно ответил Алексей. – Недели через полторы либо через две.

– Так я и скажу... А вы уж беспременно заезжайте, – с улыбкой молвила Таня. – Далеко ль вам ехать-то?

– Далеконько, – отвечал Алексей. – На Ветлугу, коли слыхали.

– Про Ветлугу-то?.. Слыхала, – сказала она. – Это ведь туда, кажись, за Кёрженцем?

– Да, за Керженцем, – молвил Алексей, жадно глядя на белую, как мрамор, створчатую дверь, за которой, сдавалось ему, стояла Марья Гавриловна.

– Дай Бог счастливого пути, – поклонившись, сказала Алексею Таня. – Прощайте.

– Прощайте! – грустно ответил он, наклоня голову, и с тяжелым вздохом пошел вон из горницы.

Точно по неизвестным местам возвращался Алексей от домика Марьи Гавриловны. Весеннее солнце ярко сияло, подымаясь на полуденную высоту, а ему все казалось в мутном свете... На крыльце келарни стояла мать Вириная, справляя уезжавшему гостю прощальные поклоны, – не видал ее Алексей. Из светелки игуменьиной кельи Фленушка грозила ему кулаком и плюнула вслед, и того не заметил... Оглянуться б ему на шелковые занавески, что висели в среднем окне Марьи Гавриловны, не приметил ли бы он меж ними светлого искрометного глаза, зорко следившего за удалявшимся молодцем?..

Сел Алексей в тележку и, выехав за околицу, с чувством бессильной злобы жарко хлестнул арапником по крутым бедрам откормленных саврасых вятков. Стрелой понеслись кони по гладкой извилистой дорожке, и вскоре густой перелесок скрыл от взоров уезжавшего и часовни, и келейные стаи, и сиротские избенки Каменного Вражка. Удары арапника крепче и крепче раздавались в лесной тиши, тележка так и подпрыгивала по рытвинам и выбоинам. Расходилась рука, раззуделось плечо,

распалилось сердце молодецкое – птицей летит Алексей по лесной дорожке... Того и гляди, что тележка зацепится о пенёк либо корневище... Несдобровать тогда победной голове распаленного новой страстью и смутной надеждой молодца... Больше версты проскакал он сломя голову. Тут маленько отлегло у него от сердца, и громкая тоскливая песня вырвалась из груди:

Ты судьба ль моя, судьбина некорыстная,  
Голова ль ты моя бесталанная!  
Сокрушила ты меня, кручинушка,  
Ты рассыпала печаль по ясным очам.  
Присушила русы кудри ко буйной голове.  
Приневолила шататься по чужой стороне.

Прискучила Настя Алексею. Чувствует, что согнул дерево не по себе. Годами молода, норовом стара... Добыть ее в жены теперь не трудное дело, зато тужить да плакать век свой доведется. Не ему над домом власть держать, ей верховодить над мужем. Во всем надо будет из ее рук смотреть, не сметь выступить из воли ее, завсегда иметь голову с поклоном, язык с приговором, руки с подносом... А это уж последнее дело: не зверь в зверях еж, не птица в птицах нетопырь, не муж в мужьях, кем жена владеет. Лучше в дырявой лодке по морю плавать, чем жить со властной женой...

А Патапа Максимыча пуще огня боится. Хоть добр и ласков до него казался, а из памяти Алексея не выходит таинственный голос, предсказавший ему гибель от руки Патапа Максимыча. Немало думал он про его слова, сказанные накануне светлого воскресения и еще раз, как, отпраздновав Пасху с родителями, в Осиповку на Радуницу он воротился... Тогда же догадался, что Патапу Максимычу взбрело на ум в зятя его взять. Не порадовался, а утратился он тому. «Тут-то и есть погибель моя», – подумал он... Страшна стала ему Настя, чуть не страшней самого Патапа Максимыча – горда очень и власть любит паче меры. А силы в ней много – как раз мужа под нготь подберет. Что ж тут хорошего?.. Житье под бабьим началом хуже неволи, горчей каторги... «Эх, в какую ж я петлю попал, – думает Алексей сам про себя, – ни вон, ни в избу, ни в короб не лезет, ни из короба нейдет. Подсунула тогда нелегкая эту распроклятую Фленушку... А узнает неравно про наши дела Патап Максимыч – тогда что?.. Зверь ведь, не человек, обиды не спустит. А Настасью взять... Нет, легче в омут головой...»

В таком тяжком раздумьи увидел Алексей Марью Гавриловну. Умильным взором и блеском непомеркшей красоты пригрела она изболевшее его сердце... Просияло на темной душе его.

Первые порывы новой страсти выразились скачкой сломя голову по изрытой и перекрещенной корневищами лесной дорожке, затем разрешились громкой горькой песнью. Та песня, сперва шумная, порывистая, полная отчаяния и безнадёжного горя, постепенно стихала и под конец замерла в чуть слышных звуках тихой грусти и любви. Добрые вятки дробной рысцей трусили по дорожке, проторенной по лывине.<sup>[158]</sup> В лесу стояло полное затишье, лист на дереве не дрогнет, ветерок не шевельнет молодую травку, только иволги, снегири и малиновки на разные голоса меж собой перекликаются... Где-то вдаль защелкал соловей... Славный соловей, мало таких за Волгу прилетает... Все-то колена звонко и чисто у него выливаются... Вот «запулькал» он, «заклыкал» стеклянным колокольчиком, раскатился мелкой серебряной «дробью», «запленкал», завел «юлиную-стукотню», громко защелкал и, залившись «дудочкой», смолк.<sup>[159]</sup> А через минуту опять «почин» заводит, опять колена за коленом выводит. Дальше где-то в тущобе еще засвистал соловушко... другой, третий. Не слышит ничего Алексей, ничего не видит он, ни кругом, ни возле... В летáсах,<sup>[160]</sup> как в мареве, является миловидный облик молодой вдовы... видит Алексей стройный стан ее, крытый густыми белоснежными складками утренней одежды, как видел ее на солнечном восходе... А жадная мысль о богатой казне вдовушки тоже не спадает с ума. Помышленье корыстное царит над его думами. Про Настю ни мысли, ни помина... Правду говорила Фленушка, называя Алексея бессовестным. Шутка ее на дело стала похожа.

Хорошей жизни Алексею все хочется, довольства, обилья во всем; будь жена хоть коза, только б с золотыми рогами, да смиренная, покладистая, чтоб не смела выше мужа головы поднимать!.. Хорошая жизнь!.. Ох, эта хорошая жизнь!.. Не то было б тогда!.. Что он теперь?.. Батрак, наймит... Самому бы хозяйствовать, да так, чтобы ворочать тысячами и ото всех людей в почете быть. Не думает про то Алексей, что чем больше почет, тем больше хлопот: ему бы только стать тысячником, а людской почет, мнится ему, сам собой придет незванный, непрощеный. Да вот горе – откуда тысячито взять?.. Золото на Ветлуге вышло обманым делом, про Настю и вздумать страшно... Ну ее совсем и с приданным богатством!.. Эх, как бы со вдовушкой сладиться; богатства у нее, слышно, счету нет, сама надо всем большуха, не глядит из отцовских рук... Дернуть бы свадебкой да скорым

делом подальше с родины, на новые места... Подальше, как можно подальше, куда б не могла достгнуть долгая рука Патапа Максимыча.

Вот что думалось, вот что гребтело измученному душевной истомой Алексею, когда он в каком-то забытии тихонько проезжал по тенистым лесам под щебетанье и веселые клики разнородных пташек.

И вдруг темным мóроком пала ему на ум Настя... Вспомнилось, как вдвоем в подклете посиживали, тайные любовные речи говаривали; вспомнилось, как гордая красавица не снесла пыла страсти – отдалась желанному и душой и телом.

Не раскаянье, не сожаленье шевельнулись на душе его, иная мысль затмила... «Что ж?.. Не мы первые, не мы и последние... Кучился-мучился, доспел и бросил... Не нами заведено, таково дело спокон века стоит. Девка – чужая добыча: не я, так другой бы...» Но, как ни утешал себя Алексей, все-таки страхом подергивало его сердце при мысли: «А как Настасья да расскажет отцу с матерью?..» Вспоминались ему тревожные сны: страшный образ гневного Патапа Максимыча с засученными рукавами и тяжелой дубиной в руках, вспоминались и грозные речи его: «Жилы вытяну, ремней из спины накрою!..» Жмурит глаза Алексей, и мерещится ему сверкающий нож в руках Патапа, слышится вой ватаги работников, ринувшихся по приказу хозяина...

«Вещий тот сон, – думает Алексей. – Да нет, быть того не может, не статочное дело!.. Не вымолвить Настасье отцу с матерью ни единого слова... Без меры горда, не откроет беду свою девичью, не захочет накинуть позора на свою голову...»

Живучи в честной обители Манефы, забыла Марья Гавриловна обиды и муки, претерпенные ею в восемь лет замужества. Во всем простила она покойнику, все его озлобления покрыла забвением. Записала имя его в синодики постепенные и литейные по всем обителям Керженским, Чернораменским. Каждый год справляли по нем уставные поминки: и на день представления и в день тезоименитства покойника, на память преподобного Макария Египетского, поставляла Марья Гавриловна «большие кормы» на трапезе. Но это ради людей, не ради Бога. Богу принесла она жертву сокрушенную и смиренную – все простила покойнику, все, даже разлуку с Евграфом. Каждый Божий день и утром и на сон грядущий усердно молилась она на келейной молитве за мучителя, со слезами молила о прощении прегрешений его, об упокоении души, отошедшей без прóщи, без покаяния. Но, предав забвению многие горькие дни, не могла забыть немногих сладких дней, что выпали на ее долю.

И в могиле любила Евграфа. Несомненно веря, что в награду за земные страдания принял он в небесах венец блаженства, даже обращалась к нему в молитвах. Редкая ночь проходила, чтоб не видала она во сне милого, и каждый день о нем думала... С утра до вечера целые рои воспоминаний проносились в ее памяти. То как будто в ясновиденье представлялась ей широкая зеленеющая казанская луговина меж Кремлем и Кижицами: гудят колокола, шумит, как бурное море, говор многолюдной толпы, но ей слышится один только голос, тихий, ласковый голос, от которого упало и впервые сладко заныло сердце девичье... То перед душевными очами ее предстает темный, густо заросший вишеньем уголок в родительском саду: жужжат пчелки – Божьи угодницы, не внимает она жужжанью их, не видит в слуховом окне чердака зоркой Абрамовны, слышит один страстный лепет наклонившегося Евграфа и, стыдливо опустил глаза, ничего не видит кругом себя... Вспоминается и то Марье Гавриловне, как повеселела она, узнав про сватовство желанного, как вольной птичкой распевала песенки, бегала с утра до ночи по отцовскому садику... А вот и те незабвенные дни, как свиделась она с женихом у Макарья на ярмарке... Жизнь была полна и любви и светлых надежд на долгое счастье с любимым человеком, но пала гроза, и сокрушилось счастье от прихоти старого сластолюбца. Разбилась жизнь, а избранник сердца, желанный, любимый жених, Бог весть, где и как, слег в могилу. Светлорадушным колесом вращается перед душевными очами Марьи Гавриловны ряд светлых воспоминаний о быстро промелькнувшем счастье. И в каждом воспоминании непреступным светом, неземным блеском сияет образ того, кому беззаветно отдала она когда-то молодую душу свою...

Так проходили годы... Закрылись понемногу сердечные раны, забылись страдания, перенесенные от суровости постылого разлучника. Но по мере того как забвенье крыло горечь былого, бледней и туманней представлялся перед нею милый образ. Стало ей как будто обидно, досадно как-то на себя. Реже и реже являлся милый во сне, какая-то тоска, до того неизвестная, разрасталась в ее сердце. Болит, ноет, занывает, ничего не рассказывает... Скучно вдовушке, все надоело, ни на что б она не глядела. Просит чего-то душа, а чего просит – не понимает и сама Марья Гавриловна.

И напала на нее злая кручина, одолела ее сердечная истома. Хочется жить, да не так, как живет, – хочется жить жизнью полной, людям полезной... Хочется на кого-нибудь излить всю свою преданность, всю, всю, до крайнего предела женского самоотверженья... А тут в обители все одно да одно; все вяло, бесцветно... Не любя ей стала скитская жизнь...

Первое время пребывания в тихом пристанище под крылышком доброй матери Манефы принесло Марье Гавриловне несомненную пользу: она сама сознавала, что только обительская жизнь утешала ее сердечные раны и помирила ее с прошедшим. Но когда раны закрылись, когда истерзанной душе возвратилось здоровье, зачем же оставаться в больнице?.. Но куда идти? В Москву ли, где все стало бы поминать ей восьмилетнюю горемычную жизнь, где все отравляло бы дни ее горькими воспоминаниями?.. В Казань ли к брату?.. Но ведь он чуть не совсем забыл ее в слезовые дни ее замужества, стал заботным и ласковым лишь с той поры, как сделалась она вольной вдовой с большим капиталом... Аль за тем ехать к брату, чтоб опять женихи закружились вокруг нее?.. Бог с ними!.. Ведь были же меж них и хорошие люди, но и глядеть не хотелось на них Марье Гавриловне... Как вспомнёт, бывало, Евграфа да сравнит его с подъезжавшими женихами – какими нескладными, непригожими они ей покажутся... Кто изведал сладость полного счастья, не захочется тому отведывать горького...

А душевная тоска растёт да растёт. Что делать, как горю пособить?

Ночью после Радуницы с тоски и раздумья не спалось Марье Гавриловне. На заре встала она с душной постели и, накинув белое батистовое платье, вздумала освежиться воздухом раннего утра, полюбоваться на солнечный восход. Отворила окно, оглянула кругом – ни души не видать, обитель спала ещё. Вперив очи на бледневшую пред восходящим светилом зарю, раздумалась она про тоску свою и, сама не помнит, как это случилось, тихим голосом завела песню про томившую ее кручину. Свободней и свободней, громче и громче вырывались из груди звуки... Ничего кругом не видит она, неподвижно устремив взор на разгоравшийся золотистыми лучами восточный край небосклона и на тонкие полосы перистых облаков, сиявших вверху неба... Вдруг поворотила голову и в окне светелки над игуменьиной кельей увидела... Евграфа...

Вскрикнула Марья Гавриловна, захлопнула окно, опустила занавеску.

«Что это? – думает она. – Обаянье ль какое, мечта ли от сряща беса полуденного?.. Иль виденье, от небесных селений ниспосланное?.. Или впрямь то живой человек?.. Волос в волос – две капли воды!.. Что же это за диво такое!»

Растерялась бедная, не знает, что и придумать... А сердце так и бьётся, так и ноет, тоска так и поднимается в груди.

Долго сидела Марья Гавриловна, облокотясь на подоконник и склоня голову на руку... Сухим лихорадочным блеском глаза горели, щеки пылали,

губы сохли от внутреннего жара... Таня вошла.

– Раненько поднялись, Марья Гавриловна, – сказала она. – Утреню не допели, а вы уж на ногах.

– Не спалось мне что-то сегодня, Таня, – подняв голову, молвила Марья Гавриловна, – да и теперь что-то неможется.

– Что это с вами, сударыня? – с неподдельным участием, даже с испугом молвила Таня. Как к матери родной привязана была к «сударыне» своей девушка, взятая из семьи, удрученной бедностью и осыпанной благодеяниями Марьи Гавриловны.

– Ничего... так... пройдет... – успокаивала ее Марья Гавриловна. – Поставь самовар... Да вот еще что... Не знаешь ли?.. У матушки Манефы есть гости какие на приезде?

– Есть, – отвечала Таня. – Вечор до нас из Москвы какой-то приехал... И прокурат же парень – ни в часовне не молился, ни у матушки не благословился, первым делом к белицам за околицу куролесить да песни петь... Сам из себя маленок да черненек, а девицы сказывают, голос что соловей.

«Не он», – подумала Марья Гавриловна.

– А то еще из Осиповки с припасами к матушке приказчик прислан от Патапа Максимыча... В светелке его ночевать положили...

– В светелке? – вскрикнула Марья Гавриловна.

– В светелке... – подтвердила Таня. – Вот что сюда окнами – в этой... – прибавила она.

– Поди, Таня, поставь самовар, – сказала Марья Гавриловна, медленно проводя по лбу ладонью и потом закрыв ею глаза.

Таня вышла. Марья Гавриловна стала ходить взад и вперед по горнице.

«Тот, тот самый, что Фленушка сказывала, – думала она. – Непременно он... А похож-то как!.. Вылитый голубчик Евграша! Ровно он из могилы встал...»

По-новому сердце забилося... Во что бы то ни стало захотелось поближе взглянуть на красавца... Решила скорей идти к Манефе, чтоб увидеть его. Тотчас принялась одеваться. Надела синее шелковое платье, что особенно шло ей к лицу.

Принесла Таня самовар и подивилась, увидя «сударыню» в нарядном платье.

– Что это вы так оделись? – спросила она, расставляя посуду на чайном столике.

– К матушке Манефе хочу сходить, – отвечала Марья Гавриловна.

– А платье-то зачем такое надели? Сегодня не праздник, – молвила

Таня.

Немножко смешалась Марья Гавриловна, но тотчас поправилась.

– Какая ж ты, Таня, недогадливая! – сказала она. – Как это ты до сих пор не можешь понять, что когда у матушки бывают посторонние люди, особенно из Москвы, так, идучи к ней, надо одеваться нарядней. Все знают про мои недостатки – выдь-ка я к людям растрепой, тотчас осудят, назовут скрягой.

– Да, это так, – тихо проговорила Таня, удивляясь, как это самой ей не пришло в голову.

– А ты сбегай-ка к матушке, узнай, не встала ли она, – сказала Марья Гавриловна.

Вышла Таня, но через минуту воротилась.

– Приказчик от Патапа Максимыча к вам идет, – сказала она, – на крылечко уж взошел.

Опустились руки у Марьи Гавриловны.

– Ступай к себе, – сказала она Тане. – Сейчас выйду... Да покаместь к матушке-то не ходи, после часов к ней пойду.

Таня вышла. Марья Гавриловна старалась принять на себя строгий, сдержанный вид. Проходя мимо зеркала, заглянула в него и поправила на груди ленточку.

Вошла в горницу, где Алексей дожидался, – обомлела... Евграф, с ног до головы Евграф.

Смутилась, опустила глаза... Слова не может сказать... Заговорил Алексей – Евграфов голос, его говор...

Как в тумане каком пробыла Марья Гавриловна, пока стояла перед Алексеем, а вышел он, тяжело опустилась на стул и закрыла руками лицо... Тяжело и сладко ей было. Почувствовала она особое биенье сердца, напоминавшее золотые минуты, проведенные когда-то в уголке садика, поросшего густым вишеньем.

Таня вошла.

– Что это с вами, сударыня? – сказала она. – Больно, видно, неможется – личико-то так и горит... Легли бы в самом деле.

– И то лягу, Таня, – ответила Марья Гавриловна. – Пойдем-ка, разденешь меня... Нет, уж я не пойду к матушке. После, завтра, что ль...

Часа три пролежала Марья Гавриловна. Роями думы носят в ее голове. Про Евграфа вспоминала, но мысль своевольная на Алексея как-то сворачивала.

Вошла Таня, сказала: «Осиповский приказчик за письмом пришел».

Вскочила с постели Марья Гавриловна.



– Одеваться скорей... Скажи, обождал бы маленько... Ах, нет... Скажи, письма, мол, не успела написать... Да ведь я сказала, чтоб он после обеда пришел.

Таня вышла. Тут только вспомнила Марья Гавриловна про письмо Патапа Максимыча. Оно лежало нераспечатанным.

«Ответ надо писать», – подумала она и, взявши письмо, стала читать... Не понимает ничего.

Таня пришла, сказала, что приказчик уезжает, кони заложены, матушка-де Манефа ехать скорей велит.

«По скорости не могу письма написать, никак не могу, – думает Марья Гавриловна. – Как же быть-то, как же быть-то мне?... Повидать бы его хоть минуточку... Скажу Тане... Нет, не могу».

– Скажи ему, Таня, – молвила она, – на обратном бы пути зашел, теперь, мол, некогда мне письма изготовить... Поди скажи... Посылочку, мол, еще припасу...

Таня пошла, а Марья Гавриловна, на босу ногу, в одной сорочке, побежала в горницу, смежную с той, где Алексей дожидался. Тихонько подвинула она дверцу и, припав к щели глазом, смотрела на Алексея, говорившего с Таней.

Он ушел, а Марья Гавриловна, чуть-чуть раздвинув оконные занавески, вслед за ним смотрела. «Он, он – Евграф», – думалось ей.

И когда, завернув за угол келарни, Алексей скрылся из глаз Марьи Гавриловны, закрыв пылающее лицо холодными руками, она разразилась рыданиями...

И надобно же было так случиться, что в те самые часы, когда двойник Евграфа свиделся с Марьей Гавриловной, исстрадавшаяся Настя поведала матери про свое неизбежное горе, про свой позор, которого нельзя спрятать от глаз людских.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Под вечер того дня как Алексей уехал из Комарова, прискакал туда гонец из Осиповки. Писем не привез, на речах подал весть, что Патап Максимыч, по желанью Марьи Гавриловны, снарядил было в путь обеих дочерей, но вдруг с Настасьей Патаповной что-то попритчилось, и теперь лежит она без памяти, не знают, в живых останется ли. Христом Богом велел Патап Максимыч просить Марию Гавриловну – дала бы посланному письмо к городскому лекарю, что вылечил Манефу, звала бы скорей его в Осиповку. Письмо к лекарю было написано, гонец помчался в город.

На другой день скитский работник приехал из Осиповки. Те же вести: лежит как пласт, навряд ли встанет.

Всполошились в обители. Матери и белицы любили Настю, все жалели об ней... Строга и сдержанна мать Манефа, но, узнав о тяжелой болезни племянницы, и та при людях заплакала. Фленушка так и рвалась, так и металась во все стороны. В каком-то исступлении бегала она из кельи в келью, плакала, рыдала, наконец сама слегла... Алексеевы речи навели ее на мысль, что Настина болезнь от него пришла. И кляла себя Фленушка всеми клятвами, что свела Настю с лиходеем бессовестным. У матерей только и речи, что про Настину болезнь, а добрая Виринея походя плакала, и в келарне у ней все пошло не по-прежнему: то рыба переварится, то пироги в уголь перегорят. Сколько лет в келарне хозяйствует, никогда такой беды не случалось.

Только что сведала Манефа про болезнь племянницы, нарядила в часовне соборную службу ради исцеления от телесной скорби рабы Божией девицы Анастасии служить. Повестили о том сиротам и по всем обителям. И был в келарне большой корм, обильная трапеза и велико число прихожих моельщиков. И большая раздача дана сиротам и иным скудным людям, дабы молились о здравии болящей девицы. И по другим обителям Комарова послала Манефа денег на соборные службы и на кормы. Послала даже к Глафириным, к Игнатьевым и к другим пораздорившим с нею из-за австрийского священства. А на расходы Манефа деньги выдавала от имени ктитора обители, брата своего родного по плоти, скитского заступника и во всем оберегателя Патапа Максимыча.

Ни службы по часовням, ни кормы по келарням не помогали Насте. Через каждые два-три дня пересылалась Манефа с Осиповкой, каждый раз одну весть привозили ей: «нет облегчения».

В той самой светлице, куда Фленушка привела Алексея пядь чинить, без чувств, без памяти, неподвижна и бледна лежала Настя. У изголовья больной, погруженная в думы, стояла сестра ее богоданная – сердобольная, вселюбящая Груня. В одном углу сидела убитая горем, потерявшая сознание Акулина Захаровна, возле нее Настина крестная, знаменитая повариха Никитишна. В другом углу – Параша. Окна были растворены, свежесть весны и благовонный запах цветущей черемухи обильно вливались в светлицу. Не слышно было никакого звука, опричь щебетанья птичек в огороде да глухих вздохов больной.

Лежит Настя не шелохнется; приустили резвы ноженьки, притомились белы рученьки, сошел белый свет с ясных очей. Лежит Настя, разметавшись на тесовой кроватушке – скосила ее болезнь трудная... Не дождевая вода в Мать-Сыру Землю уходит, не белы-то снега от вешнего солнышка тают, не красное солнышко за облачком теряется – тает-потухает бездольная девица. Вянет майский цвет, тускнет райский свет – красота ненаглядная кончается.

Недвижно лежит она на постели, ни шепота, ни стоны не слышно. Не будь лицо Настино крыто смертной бледностью, не запади ее очи в темные впадины, не спади алый цвет с полураскрытых уст ее, можно б было думать, что спит она тихим, безмятежным сном.

Патап Максимыч подолгу в светелке не оставался. Войдет, взглянет на дочь любимую, задрожат у него губы, заморгают слезами глаза, и пойдет за дверь, подавляя подступавшие рыдания. Сумрачной осенней ночи бродит он из горницы в горницу, не ест, не пьет, никто слова от него добиться не может... Куда делись горячие вспышки кипучего нрава, куда делась величавая строгость? Косой подкосило его горе, перемогла крепкую волю лютая скорбь сердца отцовского.

Лекарь приехал. Стрелой полетел навстречу к нему Патап Максимыч. С рыданьем кинулся ему в ноги и, охватив колена, восклицал трепетным голосом:

– Батюшка!.. Будь отец родной!.. Вылечи дочку... Тысяч не пожалею... Помоги, ради Создателя... Не умерла бы, не покинула б меня, горького...

– Полноте, Патап Максимыч, перестаньте, – успокаивал его лекарь, отстраняясь от рыдавшего у ног его тысячника. – Вот осмотрим больную, сделаем что нужно... Бог милостив, не всякая болезнь к смерти бывает.

– Голубчик ты мой, Андрей Богданыч... Всего-то девятнадцатый годок!.. Умница-то какая!.. Помоги ты ей, – продолжал мольбы свои Патап Максимыч, ведя в светлицу лекаря.

Андрей Богданыч осмотрел больную. Груня рассказала ему, что знала про болезнь ее от Аксины Захаровны. Сама Аксины Захаровна не могла говорить.

– Что?.. Что, Андрей Богданыч? – с нетерпением спрашивал Патап Максимыч, переходя из светлицы в переднюю горницу. – Можно вылечить?.. А?.. Подыметса? Выздоровеет?..

Молча перебирал Андрей Богданыч в дорожном ящике снадобья.

– Самовар бы поставить да плиту развести, – сказал он.

Патап Максимыч бросился из горницы. Оказалось, что и самовар на столе и плита разведена. В ожидании лекаря Никитишна заранее все приготовила, и ветошек нарезала, и салфетки для нагревания припасла, и лед, и горчишники; плита уж двое суток не гасла, самовар со стола не сходил.

Отобрав нужные снадобья, Андрей Богданыч свесил их и пошел на кухню лекарство варить.

– Да скажи же мне, Христа ради, Андрей Богданыч, пожалей сердце отцовское, – приставал Патап Максимыч.

– Что ж я скажу, Патап Максимыч? – пожав плечами, отозвался лекарь. – Все сделаю, что нужно, а ручаться не могу.

– Помрет? – вскрикнул Патап Максимыч.

Ноги у него подкосились, и грузно опустился он на лавку. Холодный пот выступил на померкшем лице.

Прислуживавшая лекарю Никитишна закрыла рукой глаза и прошептала молитву.

– Молитесь Богу, Патап Максимыч, – сказал Андрей Богданыч. – В его власти и чудеса творить...

– Господи! Господи!.. – закрывая лицо руками и снопом поualeсь на лавку, завопил Патап Максимыч. – Голубонька ты моя!.. Настенька!.. Настя! Светик ты мой!.. Умильная ты моя!

– Да перестаньте же, не убивайте себя, – успокаивал его Андрей Богданыч.

– Распороли бы вы, батюшка, грудь мою да посмотрели на отцовское сердце, – вскочив с лавки, вскричал Патап Максимыч. – Есть ли у вас детки-то?

– Есть, – отвечал лекарь, ставя на плиту кастрюлю с лекарством.

– А теряли ль вы их?

– Нет, благодаря Бога, не терял... – отвечал Андрей Богданыч.

– И не дай вам Господи до такого горя дожить, – сказал Патап Максимыч. – Тут, батюшка, один день десять лет жизни съест... Нет горчей

слез родительских!.. Ах, Настенька... Настенька!.. Улетаешь ты от нас, покидаешь вольный свет!..

И, ровно хмельной, качаясь, вышел из кухни. Постояв несколько в раздумье перед светлицей, робко рукой отворил дверь и взглянул на умирающую.

– Что сказал? – быстро вскинув на него глазами, шепнула Груня.

Патап Максимыч махнул рукой и, чувствуя, что не в силах долее сдерживать рыданий, спешно удалился. Шатаясь, как тень, прошел он в огород и там в дальнем уголке ринулся на свежую, только что поднявшуюся травку. Долго раздавались по огороду отчаянные его вопли, сердечные стоны и громкие рыдания...

Встал Патап Максимыч, в моленную пошел. Там все свечи были зажжены, канонница Евпраксия мерным голосом читала канон за болящую.

– Евпраксеюшка, – молвил Патап Максимыч, – самому мне неумоготу писать, напиши, голубка, письмецо в Городец к Михаилу Петровичу Скорнякову, просит, мол, Патап Максимыч как можно скорее попа прислать, а нет наготове попа, так старца какого... дочку, мол, надо исправить. [\[161\]](#)

В заднем углу стон раздался. Оглянулся Патап Максимыч – а там с лестовкой в руках стоит на молитве Микешка Волк. Слезы ручьями текут по багровому лицу его. С того дня как заболела Настя, перестал он пить и, забившись в уголок моленной, почти не выходил из нее.

– Что ты, Никифор? – грустно спросил его Патап Максимыч.

– Помирает!.. – всхлипывая, молвил Никифор и горько, по-детски заплакал...

Патап Максимыч не отвечал ему.

Лекарства не помогли. По-прежнему Настя в забытии лежит. Дыханье становилось слабей и слабей. Андрей Богданыч стал задумываться.

Только пять дней прошло с приезда лекаря, а Патапа Максимыча узнать нельзя, лицо осунулось, опухшие глаза впали, полуседеющая борода совсем побелела.

На шестой день Андрей Богданыч сказал ему:

– Силы упали, лекарства не действуют.

– Не действуют? – дрожащим голосом молвил Патап Максимыч.

– Последнее средство употреблю, мускуса дам... – продолжал Андрей Богданыч.

– Мускуса? – бессознательно повторил за ним Патап Максимыч, не понимая слова.

– Да, – подтвердил Андрей Богданыч. – От мускуса на короткое время

возвратятся ей силы; тогда дам ей решительное средство... Поможет – хорошо, не поможет – Божья воля.

– Боже, милостив буди мне, грешному, – прошептал Патап Максимыч.

Стояло ясное, теплое весеннее утро. Солнце весело горело в небесной выси, в воздухе царила тишина невозмутимая: листочек на деревце не шелохнется... Тихо в Настиной светлице, тихо во всем доме, тихо и кругом его. Только и слышны щебетанье птичек, прыгавших по кустикам огорода, да лившаяся с поднебесья вольная песня жаворонка.

Легкий, сначала чуть заметный румянец показался на бледных ланитах Насти. Глубже и свободней стала она вздыхать, исхудавшая грудь начала подниматься. Гуще и гуще разыгрывался румянец. И вот больная открыла глаза, сухие, как стекло блестящие.

Оглянув стоявших, улыбнулась Настя ясной улыбкой и голосом тихим, как жужжанье пчелки, сказала:

– Приподнимите меня.

Груня с Никитишной приподняли подушки, больная осталась в полусидячем положении.

Отец с матерью бросились к ожившей дочери, но Андрей Богданыч остановил их.

– Не тревожьте, – сказал он. – Вот лекарство... Дайте скорее с Божьей помощью.

Груня дала лекарство. Приняв его, Настя весело взглянула на нее и молвила:

– Ах, Груня!.. И ты здесь... Крестненькая!.. И ты... Ну вот и хорошо, вот и прекрасно, что все собрались... Благодарствуйте, милые... Тятенька, голубчик, что ты какой?.. Мамынька!.. Родная ты моя!..

– Ясынька ты моя, голубушка, – обливаясь слезами, сказала Аксинья Захаровна. – Что это случилось с тобой?

– Ничего, мамынька, ничего, теперь мне легко... У меня теперь ничего не болит... Ничего...

И светлая, как ясный день, улыбка ни на миг не сходила с уст ее, и с каждым словом живей и живей разгорались глаза ее.

Вдруг слетела улыбка, и глаза стыдливо опустились. Слабо подняла она исхудавшую руку и провела ею по лбу, будто что вспоминая.

– Мамынька, – тихо сказала она, – наклонись ко мне.

Аксинья Захаровна наклонилась.

– Прости ты меня, Господа ради, – жалобно прошептала Настя. – Не жилища я на белом свете, прости меня, родная.

– Что поминать, что поминать? – всхлипывая, тихо молвила Аксинья

Захаровна.

– Тятя сказывала? – шепнула Настя.

– Ох, сказала, дитятко, сказала, родная ты моя, – еще тише промолвила Акси́нья Захаровна.

– Кто еще знает? – спросила Настя.

– Кому знать? Никто больше не знает, – сказала Акси́нья Захаровна.

– Скажи, чтоб не погневались, вышли бы все, а ты останься с тятенькой... – младенческим каким-то голоском пролепетала Настя и закрыла усталые глаза.

Когда вышли все, зорко взглянула она на отца, и слеза сверкнула на ресницах ее.

– Прости меня, тятя... Согрубила я перед тобой...

– Не поминай, Настенька, не поминай, Господь простит... – заливаясь слезами и наклоняясь к дочери, проговорил Патап Максимыч.

– Горько тебе... Обиду какую я сделала!.. – жалобно продолжала Настя.

– Полно, забудь... – молвил Патап Максимыч. – Выздоровливай только... К чему поминать?..

– Поцелуй же меня, тятя, поцелуй, как, бывало, маленькую целовал.

– Ох ты, милая моя, ненаглядное мое сокровище, – едва мог проговорить Патап Максимыч и, припав губами к Насе, навзрыд зарыдал.

– Перестань, тятя, не плачь, голубчик, – с светлой улыбкой говорила Настя. – Исполни мою просьбу... последнюю...

– Говори, родная; что не вымолвишь, все будет по-твоему... – отвечал Патап Максимыч.

– Прости его...

Сверкнул глазами Патап Максимыч. Ни слова в ответ.

– Не можешь? По крайности зла не делай... Господь с ним!..

Молчит Патап Максимыч.

– Тятя, – грустно заговорила Настя, – завтра, как будешь стоять у моего гробика да взглянешь на меня – не жаль тебе будет, что не утешил ты меня в последний час?.. А?

И она тихо заплакала.

– Добрая ты моя!.. Голубица ты моя!.. – сказал до глубины души тронутый Патап Максимыч. – Не сделаю зла... Зачем?.. Господь с ним!..

– Ну, вот и хорошо... вот и прекрасно, – улыбнулась Настя. – Где он?

– Не воротился, – сказал Патап Максимыч.

– Ну и слава Богу... – с горькой улыбкой прошептала Настя. – Господь с ним!.. Теперь, тятя, благослови ты меня на смерть великим своим

родительским благословением... благослови и ты, мамынька!

– Да полно, Настя, тебе ведь лучше... Бог милостив... Он поднимет тебя, – сказал Патап Максимыч.

– Нет, тятя, не надейся... не встать мне, – ответила Настя. – Смерть уж в головах. Благословите ж меня поскорее да других позовите... Со всеми проститься хочу...

Положив уставной семипоклонный начал, Аксинья Захаровна благоговейно подняла из божницы икону Богородицы и подала ее мужу. Тот благословил Настю, потом Аксинья Захаровна... Затем все вошли в светлицу.

– Прости, Параша... прощай, сестрица милая... – обращаясь то к одному, то к другому, говорила Настя тихим, певучим голосом, – не забывай меня... Поедешь к тетеньке, поклонись ей, и Фленушке отдай поклон, и всем, всем... Походи везде, где мы с тобой, бывало, гуляли, цветочки где рвали, веночки плели... Марьюшке голубой сарафан, новый шелковый – пусть поминает меня... Груня, ты моя милая сестрица богоданная... прости, голубушка... помолись за меня, за грешную, твоя молитва чиста... до Бога доходна... Молись же, не забудь меня... Прости, благослови меня на смерть, крестненька, великим своим благословением... Евпраксеюшка... Матренушка, простите...

И всех, всех одарила Настя последним приветом... Светлая, небесная улыбка так и сияла на устах умиравшей... Все работники пришли, все работницы – всякому ласковое слово сказала, каждому что-нибудь отказала на память...

Вдруг кто-то сильными размахами растолкал работный люд, ринулся к кровати и с громким рыданьем упал перед нею.

– Прости, моя радость!.. Прости, святая душа!..

Он поднялся, всплеснул руками и до крови разбился головой о край кровати.

– Дядя, не пей, голубчик, – тихо молвила ему Настя.

– Не буду, лебедушка, не буду, – рыдал Никифор. – Покарай меня Господь, коль забуду зарок, что даю тебе... Молись об мне, окаянном, святая душенька!.. Ах, Настенька, Настенька!.. Не знаешь, каково я любил тебя... А подойти близко боялся. Что ж?.. Пьян завсегда, мерзко ведь тебе было взглянуть на меня... Только издали любовался тобой... Помолись за меня царю небесному, перед его престолом стоячи...

– Полно, дядя, полно... благослови меня, перекрести... – молвила Настя.

– Нет, святая душа, ты меня благослови на хорошую жизнь... С твоим



благословеньем не пропаду, опять человеком стану, – сказал Никифор, становясь на колени перед племянницей.

Она перекрестила дядю.

– Тятенька, миленький, простимся еще разок... – сказала упавшим голосом Настя.

Стоявший в углу Андрей Богданыч шепнул Никитишне, чтоб лишний народ вышел вон... Пока выходили, отец с матерью вдругорядь благословили Настю.

Стал сбегать румянец с лица Настина, веки смежались, дыхание становилось слабее и реже...

– Тише... Кончается, – шепнул Андрей Богданыч Никитишне, а сам потихоньку вышел из светлицы.

Зажгла Никитишна свечи перед иконами и вышла вместе с канонницей... Все переглянулись, догадались... Аксинья Захаровна села у изголовья дочери и, прижавшись к Груне, тихо плакала. Патап Максимыч, скрестив руки, глаз не сводил с лица дочери.

Вошла Никитишна. В одной руке несла стакан с водой, в другой кацею с жаром и ладаном. Стакан поставила на раскрытое окно, было бы в чем ополоснуться душе, как полетит она на небо... Кацеёю трижды покадила Никитишна по́солонь перед иконами, потом над головой Насти. Вошла с книгой канонница Евпраксея и, став у икон, вполголоса стала читать канон «На исход души».

Тише и реже вздыхала Настя... Скоро совсем стихать начала.

В это время откуда ни возьмись малиновка – нежно, уныло завела она свою песенку, звучней и громчей полилась с поднебесья вольная песня жаворонка... Повеял тихий ветерок и слегка шелохнул приподнятые оконные занавеси.

– Молитесь, – оглянув всех, шепнула Никитишна, – ангелы за душой прилетели.

Все в глубоком молчаньи набожно стали креститься.

Никитишна зажгла восковую свечу и, вложив в руку умиравшей, шепнула Параше, чтоб она поддержала ее.

Глубже вздохнула Настя... Еще раз потише... Еще... и дыхание совсем прекратилось.

Никитишна дернула за рукав канонницу. Та перестала читать.

Минут пять продолжалось глубокое молчанье... Только и слышны были заунывное пение на земле малиновки да веселая песня жаворонка, парившего в поднебесье.

Наклонилась Никитишна щекой к хладевшим губам Насти и, обратясь

к Аксинье Захаровне, молвила:

– Отошла.

Поднялась со стула Аксинья Захаровна. Закрыла глаза дочери и, перекрестив ее, тихо промолвила:

– Прощай, доченька милая, меня дожидайся!..

И поднялись по всему дому крики и вопли... Плач заглушил и унылую малиновку и поднебесную песню жаворонка...

Насилу выпроводила всех из светлицы Никитишна. Оставшись с канонницей Евпраксеей да с Матренушкой, стала она готовить Настю «под святые», обмывать, чесать, и опрятывать<sup>[162]</sup> новопреставленную рабу Божию девицу Анастасию.

Никитишна на все руки была мастерица, на всякие дела дошлая источница. Похоронной обрядней тоже умела распорядиться, Евпраксея с Матренушкой были ей на подмогу.

Только что обмыли покойницу, взяла Никитишна у Аксиньи Захаровны ключи от сундуков и вынула, что нужно было для погребенья. Дала девицам кусок тонкого батиста на шитье савана, а первые три стежка заставила сделать самую Аксинью Захаровну. Под венец ли девицу сряжать, во гроб ли класть ее – всякое шитье мать должна зачинать – так повелось на Руси...

Достала Никитишна нового полотна обернуть ноги покойнице, новое недержанное полотенце дать ей в руки, было бы чем отереть с лица пот в день страшного суда Христова. Обмыли, причесали Настю. Чистую сорочку на нее надели, в саван окутали, спеленали новым разрезным полотном и положили в моленной на столе... А на том столе загодя наложили соломы и покрыли ее чистой простыней. Парчи наготове не явилось, зато нашелся кусок голубого веницейского бархата; готовили его в приданое Насте. На тот бархат из золотого позумента нашили большой осьмиконечный крест с копией, с тростию и с подножием и покрыли им тело покойницы. Канонница Евпраксеюшка достала из книжного шкафа моленной бумажный венец старой московской печати с надписанием молитвы «Святый Боже», Аксинья Захаровна положила тот венец на охладевшее чело дочери. Зажгли свечи перед всеми иконами, поставили подсвечники с ослопными свечами вокруг тела, и канонница Евпраксея, окадив образа и покойницу, начала псалтырь читать.

Никитишна сама и мерку для гроба сняла, сама и постель Настину в курятник вынесла, чтоб там ее по три ночи петухи опели... Управившись с этим, она снаружи того окна, в которое вылетела душа покойницы,

привесила чистое полотенце, а стакан с водой с места не тронула. Ведь души покойников шесть недель витают на земле и до самых похорон прилетают на место, где разлучились с телом. И всякий раз душа тут умывается, утирается.

И тем Никитишна распорядилась, чтоб на похоронах как можно больше девиц было. Молодость молодостью что под венец, что в могилу провожается. Для того разослали работников по окольным деревням, ближним и дальним, звать-позывать всех девиц проводить до вековечного жилья Настасью Патаповну... И скитам иным повестили... Ждали гостей из Городца и даже из города – повсюду разосланы были посыльные. А девицам всем дары были заготовлены, которым по платку, которым по переднику, которым по ленте в косу. За Волгой ведется обычай на девичьих похоронах, как на свадьбе, дары раздаривать.

Не забыла Никитишна послать за плакушами.<sup>[163]</sup> Не пришлось отпраздновать Настину свадьбу, надо справлять ее погребение на славу, людям бы на долгое время памятно было оно... Нарядила Никитишна подводу верст за сорок, в село Стародумово, звать-позывать знаменитую «плачѣю» Устинью Клещиху, что по всему Заволжью славилась плачами, причитаньями и свадебными песнями... Золото эта Клещиха была. Свадьбу играют, заведет песню – седые старики вприсядку пойдут, на похоронах «плач заведет» – каменный зарыдает... Кроме Устиньи, еще шесть «вопленниц» позвала Никитишна, чтоб вся похоронная обрядня справлена была чинно и стройно, как отцами, дедами заповедано.

А меж тем на улице перед домом Патапа Максимыча семеро домохозяев сосновые доски тесали, «домовину» из них сколачивали.<sup>[164]</sup> Изготовив, внесли его в сени и обили алым бархатом с позументом, а стружки и обрубки бережно собрали и отдали Никитишне... Она сама снесла их за околицу и там с молитвой пустила по живой воде – в речку кинула. Оборони Господи, если малый какой остаток гроба в огонь угодит, – жарко на том свете покойнику будет... В гроб девушки, как под брачное ложе, ржанных снопов настлали и потом все нутро новым белым полотном обили.

Хороша лежала в гробу Настенька... Строгое, думчивое лицо ее как кипень бело, умильная улыбка недвижно лежит на поблеклых устах, кажется, вот-вот откроет она глаза и осияет всех радостным взором... В гроб пахучей черемухи наклали... Приехала Марья Гавриловна, редких цветов с собой привезла, обложила ими головку усопшей красавицы.

Фленушку Марья Гавриловна с собой привезла. Как увидела она

Настю во гробе, так и ринулась на пол без памяти... Хоть и не знала, отчего приключилась ей смертная болезнь, но чуяла, что на душе ее грех лежит.

Приехала и Марья головщица со всем правым клиросом, мать Вириная, мать Таифа... Еще собралось несколько матерей... Сама Манефа порывалась ехать, хотелось ей проводить на вековечное жилье любимую племянницу, да сил у нее не достало.

Сотня свечей горит в паникадиле и на подсвечниках в моленной Чапурина. Клубами носится голубой кадильный дым росного ладана; тихо, уныло поют певицы плачевные песни погребального канона. В головах гроба в длинной соборной мантии, с лицом, покрытым черным крепом наметки, стоит мать Таифа – она службу правит... Кругом родные и сторонние женщины, все в черных сарафанах, с платками белого полотна на головах... Патап Максимыч у самого гроба стоит, глаз не сводит с покойницы и только порой покачивает головою... Покаместь жива была Настя, терзался он, рыдал, как дитя заливался слезами, теперь никто не слышит его голоса – окаменел.

Допели канон. Дрогнул голос Марьюшки, как завела она запев прощальной песни: *«Приидите, последнее дадим целование...»* Первым прощаться подошел Патап Максимыч. Истово сотворил он три поклона перед иконами, тихо подошел ко гробу, трижды перекрестил покойницу, припал устами к холодному челу ее, отступил и поклонился дочери в землю... Но как встал да взглянул на мертвое лицо ее, затрясся весь и в порыве отчаянья вскрикнул:

– Родная!..

И расшибся бы на месте, если б сильные руки стоявшего сзади Кольшкина не поддерживали его.

Оглянулся Патап Максимыч.

– Сергей Андреич?.. Какими судьбами? – слабым голосом спросил он прискакавшего в Осиповку уж во время отпеванья Кольшкина.

– Узнал, крестный, про горе твое, – молвил он. – Как же не приехать-то?

Горячо обнял его Патап Максимыч, сдерживая рыдания.

– Плачь, а ты, крестный, плачь, не крепись, слез не жалея – легче на сердце будет, – говорил ему Кольшкин... А у самого глаза тоже полнехоньки слез.

После прощанья Аксиныю Захаровну без чувств на руках из моленной вынесли.

Кончились простины. Из дома вынесли гроб на холстах и, поставив на черный «одёр», <sup>[165]</sup> понесли на плечах. До кладбища было версты две,

несли переменяясь, но Никифор как стал к племяннице под правое плечо, так и шел до могилы, никому не уступая места.

Только что вынесли гроб за околицу, вдали запылилась дорога и показалась пара добрых саврасок, заложенных в легкую тележку. Возвращался с Ветлуги Алексей.

Своротил он с дороги, соскочил на землю... Видит гроб, крытый голубым бархатом, видит много людей, и люди все знакомые. В смущении скинул он шапку.

Приближался шедший впереди подросток лет четырнадцати, в черном суконном кафтанчике, с двумя полотенцами, перевязанными крестом через оба плеча. В руках на большой батистовой пелене нес он благословенную икону в золотой ризе, ярко горевшей под лучами полуденного солнца.

– Кого это хоронят? – спросил у него Алексей.

– Настасью Патаповну, – вполголоса ответил мальчик.

Так и остолбенел Алексей... Даже лба перекрестить не догадался.

Как в сонном видении проносятся перед ним смутные образы знакомых и незнакомых людей. Вот двое высокорослых молодцов несут на головах гробовую крышу. Смотрит на нее Алексей... Алый бархат... алый... И вспоминается ему точно такой же алый шелковый платок на Настиной головке, когда она, пышная, цветущая красой и молодостью, резво и весело вбежала к отцу в подклет и, впервые увидев Алексея, потупила звездистые очи... Аленькой гробок, аленькой гробок!.. В таком же алом тафтяном сарафане с пышными белоснежными рукавами одета была Настя, когда он по приказу Патапа Максимыча впервые пришел к ней в светлицу... когда, улыбаясь сквозь слезы, она страстно взглянула ему в очи и в порыве любви кинулась на грудь его... Вот «певчая стая» Манефиных крылошанок, впереди знакомая головщица Марьюшка. Она знает, что покойница любила его, Фленушка ей о том сказывала. Тихо певички поют: *«Христос воскрес их мертвых, смертью на смерть наступи...»* Тут только вспомнил Алексей, что следует перекреститься... А вот четверо несут «одёр» на плечах... В головах твердой поступью идет Никифор... Показалось Алексею, что он злобно взглянул на него... От мерных шагов носильщиков гроб слегка покачивается, и колышется на нем голубой бархатный покров... Сил не стало у Алексея, потупил глаза и низко преклонился перед покойницей...

Вот ведут под руки убитую горем Аксиныю Захаровну... Вот неровными шагами, склонив голову, идет Патап Максимыч... как похудел он, сердечный, как поседел! Вот Параша, Фленушка... Увидя Алексея, она закрыла глаза передником, громко зарыдала и пошатнулась... Кто-то

подхватил ее под руки... Звезды небесные!.. Да это она – Марья Гавриловна!.. Вот взглянула молодая вдова на Алексея, сама зарделась, как маков цвет, и стыдливо опустила искрометные очи... Света не взвидел Алексей, и в глазах, и в уме помутилось... Видит пеструю толпу – мужчины, женщины, дети, много, много народу... Слышит голосистые, за душу тянущие причитанья во пленниц:

Не утай, скажи, касатка моя, ластушка,  
Ты чего, моя касатушка, спужалася?  
Отчего ты в могилушку сряжалася?  
Знаешь, того ты спужалася, моя ластушка,  
Что ноне годочки пошли все слезóвые,  
Молодые людюшки пошли все обманные,  
Холосты ребята пошли нонь бессовестные...

Как ножом по́ сердцу полоснуло Алексея от этих слов старорусского «жáльного плача»... Заговорила в нем совесть, ноги подкосились, и как осиновый лист он затрясся... Мельтешит перед ним длинный поезд кибиток, таратаек, крестьянских телег; шагом едут они за покойницей...

Жалко ему стало ту, за которую так недавно с радостью сложил бы голову... Мутится в уме, двоятся мысли... То покойница вспоминается, то Марья Гавриловна на память идет.

Опомнился Алексей. Вскочил в тележку, во весь опор помчался за похоронным поездом и, догнав, поехал сзади всех... Влекло вперед, хотелось взглянуть на Марию Гавриловну, но гроб не допускал.

– Ефрем, – окликнул он красильщика, ехавшего в задней телеге.

– Чего? – откликнулся тот.

– От чего померла?

– Знамо, от смерти, – ухмыльнувшись, ответил Ефрем.

– Делом говори... – строго прикрикнул Алексей.

– Хворала, болела, ну и померла, – встряхнув головой, молвил Ефрем.

– Долго ль хворала? – спросил Алексей.

– Недели с полторы, не то и боле, – отвечал красильщик. – Лекаря из городу привозили, вечор только уехал... Лечил тоже, да, видно, на роду ей писано помереть... Тут уж, брат, ничего не поделаешь.

– А что за болезнь была? – перебил Ефрема Алексей.

– А кто ее знает, дело хозяйское, – почесав в затылке, молвил красильщик. – Без памяти, слышь, лежала, без языка.

– Без языка? – быстро спросил Алексей.

– Ни словечка, слышь, не вымолвила с самых тех пор, как с нею попритчилось.

– А что ж с ней такое попритчилось? – продолжал свои расспросы Алексей.

– Кто их знает... Дело хозяйское!.. Мы до того не доходим, – сказал Ефрем, но тотчас же добавил: – Болтают по деревне, что собралась она в Комаров ехать, уложились, коней запрягать велели, а она, сердечная, хватъ о пол, ровно громом ее сразило.

«Коли так, все как осенний след запало», – подумал Алексей.

Стал Ефрем рассказывать, что у Патапа Максимыча гостей на похороны наехало видимо-невидимо; что угощение будет богатое; что «строят» столы во всю улицу; что каждому будет по три подноса вина, а пива и браги пей, сколько в душу влезет, что на поминки наварено, настряпано, чего и приесть нельзя; что во всех восемнадцати избах деревни Осиповки бабы блины пекут, чтоб на всех поминальщиков стало горяченьких.

Мимо ушей пропускал Алексей рассказы несмолкавшего Ефрема... Много в те минуты дум у него было передумано.

Погребальные «плачи» веют стариной отдаленной. То древняя обрядня, останки старорусской тризны, при совершении которой близкие к покойнику, особенно женщины, плакали «плачем великим». Повсюду на Руси сохранились эти песни, вылившиеся из пораженной тяжким горем души. По наслуху переходили они в течение веков из одного поколения в другое, несмотря на запрещенья церковных пастырей творить языческие плачи над христианскими телами...

Нигде так не сбереглись эти отголоски старины, как в лесах Заволжья и вообще на Севере, где по недостатку церквей народ меньше, чем в других местностях, подвергся влиянию духовенства. Плачеи и вопленницы – эти истолковательницы чужой печали – прямые преемницы тех вещей жен, что «великими плачами» справляли тризны над нашими предками. Погребальные обряды совершаются ими чинно и стройно, по уставу, изустно передаваемому из рода в род. На богатых похоронах вопленницы справляют плачи в виде драмы: главная «заводит плач», другие, составляя хор, отвечают ей... Особые бывают плачи при выносе покойника из дому, особые во время переноса его на кладбище, особые на только что зарытой могиле, особые за похоронным столом, особые при раздаче даров, если помрет молодая девушка. Одни плачи поются от лица мужа или жены,

другие от лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то к покойнику, то к родным его, то к знакомым и соседям... И на все свой порядок, на все свой устав... Таким образом, одновременно справляется двое похорон: одни церковные, другие древние старорусские, веющие той стариной, когда предки наши еще поклонялись Облаку ходячему, потом Солнцу высокому, потом Грому Гремучему и Матери-Сырой Земле. [\[166\]](#)

Вот за гробом Насти, вслед за родными, идут с поникшими головами семь женщин. Все в синих крашенинных сарафанах с черными рукавами и белыми платками на головах... Впереди выступает главная «плачеха» Устинья Клещикха. Хоронят девушку, оттого в руках у ней зеленая ветка, обернутая в красный платок.

Завела Устинья плач от лица матери, вопленицы хором повторяют каждый стих... Далеко по полю разносятся голосистые причитанья, заглушая тихое пение воскресного тропаря идущими впереди певицами.

На полете летит белая лебедушка,  
На быстром несется касатка-ластушка.  
Ты куда, куда летишь, лебедь белая,  
Ты куда несешься, моя касатушка?..  
Не утай, скажи, дитя мое родное...  
Ты в какой же путь снарядилася.  
Во которую путь-дороженьку,  
В каки гости незнакомые,  
Незнакомые, нежеланные?  
Собралася ты, снарядилася  
На вечное житье, бесконечное.  
Как пчела в меду, у меня ты купалася,  
Как скатной жемчуг на золоте блюде рассыпалася.  
Уж как зарились удалы добры молодцы  
На твою красоту ненаглядную,  
Говорили ж тебе советны милы подруженьки:  
«Уж счастлива ж ты, девица таланная,  
Цветным платьем ты изнавешана,  
Тяжелой работой ты не огружена,  
Бранным словечушком не огрублена».  
Не чаялась я, горюша, не надеялась  
Глядеть на тебя во гробу да в дубовом.  
Уж как встану я, бывало, по раннему по утрушку,  
Потихонечку приду ко твоей ко кроватушке,



Сотворю над тобой молитву Иисову,  
Принакрою тебя соболиным одеяльчиком,  
Я поглажу тебя по молодой по головушке:  
«Да ты спи же, усни, моя бела лебедушка,  
Во своем во прекрасном во девичестве,  
На мягкой на пуховой на перинушке».  
Не утай, скажи, дитяtko мое удáтное,  
Чем, победная горюша, тебя я погневала,  
Коим словом тебе я согрúбила?  
Что не солнышко за облачком потерялося,  
Не светёл месяц за тучку закáтался,  
Не яснá звезда со небушка скатилася —  
Отлетала моя доченька рóдная  
За горушки она да за высокие,  
За те ли за леса да за дремучие,  
За те ли облака да за ходячие,  
Ко красному солнышку на беседушку,  
Ко светлому месяцу на супрядки,  
Ко частым звездушкам в хоровод играть.

Приносили на погост девушку, укрывали белое лицо гробовой доской, опускали ее в могилу глубокую, отдавали Матери-Сырой Земле, засыпали рудожелтым песком.

Стоит у могилки Акси́нья Захаровна, ронит слезы горькие по лицу бледному, не хочется расставаться ей с новосельем милой доченьки... А отец стоит: скрестил руки, склонил голову, сизой тучей скорбь покрыла лицо его... Все родные, подруги, знакомые стоят у могилы, слезами обливаясь... И только что певички келейные пропели «вечную память», Устинья над свежей могилою новый плач завела, обращаясь к покойнице:

Я клянó да свою буйну́ головушку,  
Я корю свое печально скорбно сердечушко!  
Ах, завейте, завейте-тка, ветры буйные,  
Вы развеите, развеите-тка желты пески,  
Что на новой, на свежей на могилушке.  
Расколите, расколите гробову доску,  
Разверните, разверните золоту парчу.  
Разверните, разверните бел тонкой саван,

Размахни ты, моя голубонька, ручки белые,  
Разомкни ты, моя ластушка, очи звездистые,  
Распечатай, моя лебедушка, уста сахарные,  
Посмотри на меня, на горюшу победную,  
Ты промолви-ка мне хоть едино словечушко...  
Я надеялась на тебя крепкой надеждушкой:  
Ростила до хорошего до возрасту,  
Научала уму-разуму  
И всякому рукодельицу.  
Не судил мне Господь с тобой пожить,  
Покидала ты меня, горюшу, раным-ранешенько,  
Миновалась жизнь моя хорошая,  
Наступило горько слезовое времечко...

Один по одному разошлись с погоста. Выпрягли и потом вновь запрягли коней и поехали в деревню. Без этого обряда нельзя с кладбища ехать – не то другую смерть в дом привезешь.

Опустела Настина могилка, все ее покинули, один не покинул. До позднего вечера, обливаясь слезами, пролежал на ней Никифор. Хоть Аксиныя Захаровна и говорила, что остался он на кладбище, чтоб удалиться от искушения, что предстало бы ему на поминальной трапезе, но неправду про брата сказала она. Хоть виду не подавал, хоть ни единым словом никогда никому не высказывал, но с раннего детства Насти горячо он любил ее преданной и беззаветной любовью. Нежданная смерть племянницы так поразила его, что он совсем переродился. Душа-то у него всегда была хороша, губила ее только чара зелена вина.

Дня потом не проходило, чтоб Никифор по несколько часов не просиживал на дорогой могилке. На девятый день пришли на кладбище покойницу помянуть и, как водится, дерном могилу окласть, а она уж обложена и крест поставлен на ней. Пришли на поминки в двадцатый день, могилка вся в цветах.

Проводив за околицу крестницу и предоставив дальнейшую погребальную обрядную Устинье Клещике, Никитишна воротилась в дом Патапа Максимыча и там с помощью работниц и позванных деревенских молодух все привела в порядок... Вымыли и мокрыми тряпицами подтерли полы во всех горницах и в моленной. Тряпицы, веники, весь сор, солому, на которой до положения во гроб лежала покойница, горшок, из которого ее

обмывали, гребень, которым расчесывали ей волосы, все собрала Никитишна, с молитвой вынесла за околицу и бросила там на распутье... После того, умывшись и переодевшись во все чистое, принялась она вместе с приспешницами «помины строить». Во всех горницах накрыли столы и расставили на них канун, кутью и другие поминальные снеди. Вдоль улицы, как во время осенних и троицких «кормов», длинным рядом выстроили столы и покрыли их столешниками.<sup>[167]</sup> На столах явились блюда с кутьей и кануном, деревянные жбаны с сыченой брагой и баклаги с медовой сытой для поминального овсяного киселя.

К возврату с погоста досужая Никитишна успела все обрядить, как следует. Гости как на двор, так и за стол... Устинья Клещикха, взойдя в большую горницу, положила перед святыми три поклона, взяла «с красного стола»<sup>[168]</sup> блюдо с кутьей, сначала поднесла отцу с матерью, потом родным и знакомым. На улице за столами уселось больше двухсот человек мужчин, баб, девок и подростков; там вопленицы тем же порядком всем кутью разносили. Ели ее в молчании, так стародавним обычаем установлено.

После кутьи в горницах родные и почетные гости чай пили, а на улицах всех обносили вином, а непьющих баб, девок и подростков ренским потчевали. Только что сели за стол, плачеи стали под окнами дома... Устинья завела «поминальный плач», обращаясь от лица матери к покойнице с зовом ее на погребальную тризну:

Родимая моя доченька,  
Любимое мое дитятко,  
Настасья свет Патаповна,  
Тебе добро принять пожаловать  
Стакан да пива пьяного,  
Чарочку да зелена вина,  
От меня, от горюши победных.  
С моего ли пива пьяного  
Не болит буйна головушка,  
Не щемит да ретиво сердце;  
Весело да напиватися  
И легко да просыпатися.  
Ты пожалуй, бела лебедушка,  
Хлеба-соли покушати:  
Дубовы столы порасставлены,  
Яства сахарны наношены.

На улице подавали народу поминальные яства в изобилии. Из всех восемнадцати домов деревни вынесли гречневые блины с маслом и сметаной, а блины были мерные, добрые, в каждый блин ломоть завернуть. За блинами угощали народ пирогами-столовиками,<sup>[169]</sup> щами с солониной, лапшой со свининой, пряженцами с яйцами, а в конце стола подан был овсяной кисель с сытой. Вином по трижды обносили, пива и сыченой браги пили, сколько хотели, без угощенья. После киселя покойницу «тризной» помянули: выпили по доброму стакану смеси из пива, меду и ставленной браги.<sup>[170]</sup> В хоромаш за красным столом кушанья были отборные: там и дорогие вина подавали, и мерных стерлядей, и жирных индюков, и разную дичину. Но блины, кисель и тризна, как принадлежности похоронной трапезы, и за красным столом были ставлены.

Только что отобедали, раздача даров началась. Сначала в горницах, заменявшая место сестры, Параша раздала оставшиеся после покойницы наряды Фленушке, Марьюшке, крылошанкам и некоторым деревенским девицам. А затем вместе с отцом, матерью и почетными гостями вышла она на улицу. На десяти больших подносах вынесли за Парашей дары. Устинья стала возле нее, и одна, без вопленниц, пропела к людям «причет»:

Вы ступайте, люди добрые,  
Люди добрые, крещеные,  
Принимайте дары великие,  
А великие да почетные  
От Настасьи свет Патаповны:  
Красны девицы по шириночке,  
Молоды молодки по передничку,  
Молоды молодки по опоясочке.  
Да не будьте вы крикливые,  
Да не будьте вы ломливые,  
А будьте вы милостивы,  
Еще милостивы да жалостливы,  
Жалостливы да приступливы.

Спервоначалу девицы одна за другой подходили к Параше и получали из рук ее: кто платок, кто ситцу на рукава аль на передник. После девиц молодницы подходили, потом холостые парни: их дарили платками, кушаками, опоясками. Не остались без даров ни старики со старухами, ни подростки с малыми ребятами. Всех одарила щедрая рука Патапа

Максими́ча: поминали б дорогую его Настеньку, молились бы Богу за упокой души ее.

А во время раздачи даров Устинья с во пленницами пела:

Не была я, горюша, забытлива, <sup>[171]</sup>  
Не была, победна головушка, беспамятна,  
Поспрошать родное свое детище,  
Как раздать кому ее одеженьку.  
Ведь сотлеют в сундуках платья цветные,  
Потускнеют в скрыне камни самоцветные,  
Забусеет в ларце скатно́й жемчу́г.  
Говорила же мне бела лебедушка,  
Что Настасья свет Патаповна:  
«Я кладу жемчужны поднизи  
И все камни самоцветные  
Ко иконе Пречистой Богородицы,  
Я своей душе кладу на спáсение  
И на вечное поминание.  
А все алы, цветны ленточки  
По душам раздам по красным девушкам,  
Поминали б меня, девицу,  
На веселых своих беседушках.  
Сарафаны свои мелкоскладные  
Я раздам молодым молодушкам,  
Поминали б меня, красну девицу,  
А шелковые платочки атласные  
Раздарю удалым добрым мо́лодцам,  
Пусть-ка носят их по праздникам  
Вокруг шеи молодецкия,  
Поминаючи меня, красну девицу».

А милостыню по нищей братии раздавали шесть недель каждый Божий день. А в Городецкую часовню и по всем обителям Керженским и Чернораменским разосланы были великие подаяния на службы соборные, на свечи негасимые и на большие кормы по трапезам... Хорошо, по всем порядкам, устроил душу своей дочери Патап Максими́ч.

И ходила про то молва великая, и были говоры многие по всему Заволжью и по всем лесам Керженским и Чернораменским. Все похваляли

и возносили Патапа Максимыча за доброе его устроение. Хоть и тысячник, хоть и бархатник, а дочку хороня, справил все по-старому, по-заветному, как отцами-дедами святорусскому люду заповедано.

На кладбище, перед тем как закрывать гробовую крышку, протеснился к могиле Алексей и стал среди окруживших Настю для отдачи последнего поцелуя... Взглянул он на лицо покойницы... Света не взвидел... Злая совесть стоит палача.

Опомнился, когда народ с кладбища пошел, последним в деревню приехал, отдал коней работнику, ушел в подклет и заперся в боковуше... Доносились до него и говор поминальщиков и причитанья вопленниц, но был он ровно в чаду, сообразить ничего не мог.

Уж под вечер, когда разошлись по домам поминальщики, вышел он из боковуши и увидал Пантелея. Склонив голову на руки, сидел старик за столом, погруженный в печальные думы. Удивился он Алексею.

– Отколь взялся, Алексеюшка? – спросил он.

– Приехал вот, – сумрачно ответил Алексей.

– Когда?

– Утром давеча... Во время выносу... Навстречу попалась, – сказал Алексей.

– Вот горе-то какое у нас, Алексеюшка, – молвил, покачав головой, Пантелей. – Нежданно, негаданно – вдруг... Кажется, кому бы и жить, как не ей... Молодехонька была, царство ей небесное, из себя красавица, каких на свете мало живет, все-то ее любили, опять же во всяком довольстве жила, чего душа ни захочет, все перед ней готово... Да, видно, человек гадает по-своему, а Бог решает по-своему.

– Как это случилось, Пантелей Прохорыч? – спросил Алексей. – Давеча толку ни от кого добиться не мог. Что за болезнь такая с нею была, отчего?

– Бог ее знает, что за болезнь, – отвечал Пантелей. – На другой никак день, как ты на Ветлугу уехал, Патап Максимыч стал в Комаров с девицами сряжаться, Марья Гавриловна, купецкая вдова, коли слышал, живет там у матушки Манефы, она звала девиц-то погостить... Покойнице, мнится мне, не по себе что-то было: то развеселая по горницам бегают, песни поет, суется, ехать торопится, то ровно варом ее обдаст, помутится вся из лица, сядет у окна грустная такая, печальная... Там, наверху, в больших сенях Аксиныя Захаровна с покойницей ихни пожитки в чемодан складывала, а Прасковья Патаповна с Евпраксеюшкой в светлице была... Вдруг она, голубушка, ни с того ни с сего пала аки мертвая... По дому забежали,

засуетились, на руках отнесли ее на кровать... И десять денечков лежала она недвижная, и не было от нее ни гласа, ни послушания... Перед смертью только очнулась, и уж как же она, голубушка, прощалась со всеми – камень, кажись, и тот бы растаял. Всякому-то доброе слово промолвила, никого-то не забыла последним своим подареньицем... Все приходили: и работники, и работницы, и с деревни много людей приходило, со всеми прощалась... Один ты, Алексеюшка, не угодил проститься... И только что успела со всеми попрощаться, ровно заснула, голубушка... Тихо возлетела чистая ее душенька ко престолу Царя Небесного... Да, Алексеюшка, видал я много раз, как люди помирают, дожил, как видишь, до седых волос, а такой тихой, блаженной кончины не видывал... Ни на земле зла не оставила, ни за собой людского зла не унесла... Вот хоть бы сегодня взять... Сколько было на поминах народу, а был ли хоть один человек, кто бы лихом ее помянул?.. Правду аль нет говорю?

– Да, – вымолвил Алексей, отирая платком обильный пот, выступивший на лице его.

– При жизни, пожалуй, и у ней завистники бывали, – продолжал Пантелей. – Кто уму-разуму завидовал, кто богатству да почести, кто красоте ее неописанной... Сам знаешь, какова приглядна была.

– Да, – прошептал Алексей.

– Смертью все смирилось, – продолжал Пантелей. – Мир да покой и вечное поминание!.. Смерть все мирит... Когда Господь повелит грешному телу идти в гробную тесноту, лежать в холодке, в темном уголке, под дерновым одеялом, а вольную душеньку выпустит на свой Божий простор – престают тогда все счеты с людьми, что вживе остались... Смерть все кроет, Алексеюшка, все...

– Все? – сказал Алексей, вскинув глазами на Пантелея.

– Все, – внушительно подтвердил Пантелей. – Только людских грехов перед покойником покрыть она не может... Кто какое зло покойнику сделал, тому до покаянья грех не прощен... Ох, Алексеюшка! Нет ничего лютей, как злобу к людям иметь... Каково будет на тот свет-то нести ее!.. Тяжела ноша, ух как тяжела!..

Угрюмо молчал Алексей, слушая речи Пантелея... Конца бы не было рассуждениям старика, не войди в подклет Никитишна. Любил потолковать Пантелей про смерть и последний суд, про райские утехы и адские муки. А тут какой повод-от был!..

– Забегалась я, Пантелеюшка, искавши тебя, – сказала Никитишна. – Ступай кверху, Патап Максимыч зовет.

– Что он? – спросил Пантелей, вставая с лавки.

– Лег... Вовсе, сердечный, примучился... Посылать никак хочет тебя куда-то, – сказала Никитишна. – Ты давно ль приехал? – обратилась она к Алексею.

– Давеча во время похорон, – молвил Алексей.

– Вишь, на какое горе приехал!.. Не чаяли мы, не гадали такого горя... Да что ж я давеча тебя не заприметила? – спросила Никитишна.

– На кладбище-то я был, – молвил Алексей.

– Не про кладбище речь, – сказала Никитишна, – за столами тебя не видала.

– Две ночи не спал я, Дарья Никитишна, притомился очень, – сказал Алексей. – Приехавши, отдохнуть прилег, да грехом и заснул... Разбудить-то было некому.

– Как же это, парень?.. И покойницу не помянул и даров не принял, а еще в доме живешь, – сказала Никитишна. – Поесть не хочешь ли? Иди в стряпушую.

– Нет, Дарья Никитишна, неохота, – ответил Алексей.

– Ну как знаешь, – молвила Никитишна и потом спросила:

– Патапа Максимыча видел?

– Нет еще, – отвечал Алексей... – Не до того, поди, ему теперь.

При этих словах вошел Пантелей и сказал Алексею, что Патап Максимыч его требует.

– Тебя-то куда посылает? – спросила старика Никитишна.

– В Городец да по скитам с сорокоустами, – отвечал Пантелей.

И Пантелей и Никитишна обошлись с Алексеем ласково, ничего не намекнули... Значит, про него во время Настиной болезни особых речей ведено не было... По всему видно, что Настя тайну свою в могилу снесла... Такими мыслями бодрил себя Алексей, идя на зов Патапа Максимыча. А сердце все-таки тревогой замирало.

Патап Максимыч раздетый лежал на кровати, когда Алексей, тихонько отворив дверь, вошел в его горницу. Лицо у Патапа Максимыча осунулось, наплаканные глаза были красны, веки припухли, седины много прибыло в бороде. Лежал истомленный, изнуренный, но брошенный на Алексея взор его гневен был.

– Здорово, Алексей Трифоныч! – сдержанно проговорил он. – Подобрать, поздорову ли съездил?

Алексей поклонился. Надо бы сказать что-нибудь, да речи на ум не шли.

– Пантелей сказывал, что ты еще утром приехал, – молвил Патап Максимыч, устремив пристальный взор на тяжело переводившего дух



Алексея.

– Так точно, – едва слышно проговорил Алексей.

– Вот какие ноне у нас приказчики завелись, – усмехнулся Патап Максимыч. – Приедет с делом, а хозяину и глаз не кажет. Просить его надо, послов посылать...

– Такое время, Патап Максимыч, – запинаясь, ответил смущенный Алексей. – До того ли вам было?.. Не посмел.

– Чего не посмел? – быстро спросил Патап Максимыч.

– Не посмел беспокоить вас, – отвечал Алексей.

– Так ли, полно, парень? – сказал Патап Максимыч. – А я так полагаю, что совестно тебе было на глаза мне показаться... Видно, совести-то малая толика осталась... Не до конца растерял.

Побледнел Алексей. Ни жив ни мертв стоит перед Патапом Максимычем.

– Что молчишь? Аль язык-от в цепи заковало?.. Говори!..

– Не погубите... – простонал Алексей, кинувшись в ноги перед кроватью.

– Губить тебя?.. Не бойся... А знаешь ли, криводушный ты человек, почему тебе зла от меня не будет? – сказал Патап Максимыч, сев на кровать. – Знаешь ли ты это?.. Она, моя голубушка, на исходе души за тебя просила... Да... Не снесла ее душенька позору... Увидала, что от людей его не сокроешь – в могилу пошла... А кто виноват?.. Кто ее погубил?.. А она-то, голубушка, лежа на смертном одре, Христом Богом молила – волосом не трогать тебя.

Заплакал Алексей, припав к ногам Патапа Максимыча.

– Я ль тебя не жалел, я ли не возлюбил тебя, – продолжал Патап Максимыч. – А ты за мое добро да мне же в ребро...

– Согрешил я перед Богом и перед вами, Патап Максимыч, – простонал Алексей.

– А перед ней-то, перед голубушкой-то моей, нешто не грешен? – отирая слезы, сказал Патап Максимыч. – А у меня, у старого дурака, еще на мыслях было в зятя тебя взять, выдать ее за тебя... А ты позором накрыл ее... Да что лежать-то? Встань.

– Глаз не смею поднять, Патап Максимыч, – простонал Алексей.

– Вставай, коли говорят, – сказал Патап Максимыч.

Алексей встал и отер слезы.

– Зла не жди, – стал говорить Патап Максимыч. – Гнев держу – зла не помню... Гнев дело человеческое, злопамятство – дьявольское... Однако знай, что можешь ты меня и на зло навести... – прибавил он после

короткого молчанья. – Слушай... Про Настин грех знаем мы с женой, больше никто. Если ж, оборони Бог, услышу я, что ты покойницей похваляешься, если кому-нибудь проговоришься – на дне морском сыщу тебя... Тогда не жди от меня пощады... Попу станешь каяться – про грех скажи, а имени называть не смей... Слышишь?

– Слушаю, Патап Максимыч, – отвечал Алексей. – Умрет со мной.

– Смотри же, помни, – сказал Патап Максимыч. – Не хочу, чтобы странными речами память ее порочили... Не потерплю ни единого гнилого слова об ней... Пойдет молва – кровавыми слезами наплачешься... Помни мое слово!..

– Буду помнить, Патап Максимыч, – отвечал Алексей, понутив голову.

– Еще тебе сказ, – продолжал Патап Максимыч. – Сам понимаешь, что тебе у меня не житье... Любил я тебя, души в тебе не чаял, в зятя прочил, а теперь отвратилась от тебя душа моя... Сейчас дать тебе расчет нельзя – толки пойдут... Некое время побудь при делах, а тем временем места ищи... Что у меня забрано – прими на помин ее души... Когда отпускать стану тебя – не оставлю... До той поры моей хозяйке глаз не смей показывать!.. Не стерпит твоего виду душа ее... Скажу, что послал тебя за каким ни на есть делом, а ты ступай, куда знаешь.

– Можно войти? – спросил, отворяя дверь, Колышкин.

– Войди, Сергей Андреич... Отчего не войти? – молвил Патап Максимыч.

– Может, у тебя дела какие? – сказал Колышкин.

– Какие теперь дела! – со вздохом молвил Патап Максимыч. – На ум ничего нейдет... Это мой приказчик – посылал его кой-куда, сегодня воротился. Да и слушать не могу его теперь – после.

– А по-моему, теперь-то тебе про дела и поговорить, – заметил Сергей Андреич. – Это бы маленько развеяло печаль твою и на сердце полегчало бы.

– Эх, друг ты мой, Сергей Андреич!.. Моего горя ничем не размыкаешь, – сказал Патап Максимыч.

– Разве говорю я, что разговорами размыкаешь его? Твое горе только годы размыкать могут, – молвил Колышкин. – А надо тебе мыслями перескочить на что на другое... Коли про дела говорить не можешь, расспроси парня, каково съездил, кого видел, что говорил...

– Пожалуй... – неохотно промолвил Патап Максимыч. – Ах да, ведь ты, Сергей Андреич, про это дело знаешь...

– Про какое? – спросил Колышкин.

– А помнишь, я у тебя постом-то был, про золото сказывал?

– Про мышинное-то?.. Помню... Что ж ты молодца-то за ним, что ли, посылал?.. – улыбнувшись, спросил Колышкин.

– Нет, – ответил Патап Максимыч, – тут другое... Сказал ты мне тогда, что Зубкова Максима Алексеича за фальшивы бумажки в острог посадили и что бумажки те Красноярского скита послушник ему продавал.

– Помню, – молвил Колышкин. – Теперь по этому делу пропасть народу навезли – целу фабрику, говорят, нашли.

– Ну, так видишь ли... Игумен-от красноярский, отец Михаил, мне приятель, – сказал Патап Максимыч. – Человек добрый, хороший, да стар стал – добротой да простотой его мошенники, надо полагать, пользуются. Он, сердечный, ничего не знает – молится себе да хозяйствует, а тут под носом у него они воровские дела затевают... Вот и написал я к нему, чтобы он лихих людей оберегался, особенно того проходимца, помнишь, что в Сибири-то на золотых приисках живал?.. Стуколов...

– А сколь давно ты знаешь этого игумна? – спросил Колышкин.

– Да вот тогда, как к тебе ехать, Великим постом, впервой его видел, – молвил Патап Максимыч.

– Скоренько же ты приятелей-то наживаешь, – сказал Колышкин. – А пословица, кажись, говорит, что человека узнать – куль соли с ним съесть.

– Такого старца видно с первого разу, – решил Патап Максимыч. – Душа человек – одно слово... И хозяин домовитый и жизни хорошей человек!.. Нет, Сергей Андреич, я ведь тоже не первый год на свете живу – людей различать могу.

– То-то, смотри, не облапошил бы он тебя, – сказал Колышкин. – Про этот Красноярский скит нехорошая намолвка пошла – бросить бы тебе этого игумна... Ну его совсем!.. Бывает, что одни уста и теплом и холодом дышат, таков, сдается мне, и твой отец Михаил... По нонешнему времени завсегда надо опаску держать – сам знаешь, что от малого опасенья живет великое спасенье... Кинь ты этого игумна – худа не посоветую.

– Полно, Сергей Андреич!.. Что пустое городить-то? – с недовольством возразил Патап Максимыч. – Не таков человек, чтоб его беречись...

– Бережно-недолжно, друг ты мой любезный, – сказал на то Колышкин. – Опасливого коня и зверь не берет, так-то...

Надоели Патапу Максимычу наставленья Колышкина... Обратился он к Алексею.

– Что Якимка-то? В скиту еще аль уехал?

– В встречу попался, – ответил Алексей.

– Куда ехал?

– Пешком шел, не ехал, – сказал Алексей.

– Как пешком? – удивился Патап Максимыч.

– Пешком, – молвил Алексей, – в кандалах.

– В кандала-а-а-х? – вскочив с кровати, вскрикнул от изумленья Патап Максимыч.

– С арестантами гнали, – продолжал Алексей.

– Значит, допрыгался!.. – сказал Патап Максимыч. – Всякие царства произошел, всякие моря переплыл, а доплыл-таки, куда ему следует... Отец-от Михаил знает ли, что Стуколов попался?

– Как не знать! – молвил Алексей. – Сам на одном железном пруте с ним идет... И его в острог... До скита я не доехал, пустой теперь стоит – всех до единого забрали оттуда...

– Господи, Господи!.. – всплеснув руками, вскрикнул Патап Максимыч. – Час от часу не легче!..

– Что?.. Говорил я тебе?.. – молвил Сергей Андреич. – Видишь, каков твой отец Михаил... Вот тебе и душа человек, вот те и богомолец!.. Известное дело – вор завсегда слезлив, плут завсегда богомолен... Письмо-то хозяйское где? – спросил он Алексея.

Вынув из кармана письмо, Алексей подал его Патапу Максимычу.

– Ну, слава Богу, – сказал Колышкин, разорвав письмо на мелкие куски. – Попалось бы грехом, и тебя бы притянули.

– Ума не приложу... Отец Михаил!.. – удивлялся Патап Максимыч. – Сам ты видел, как гнали его? – обратился он к Алексею.

– Рядом с паломником к пруту прикован, – отвечал Алексей. – Я ведь в лицо-то его не знаю, да мне сказали: «Вот этот высокий, ражий, седой – ихний игумен, отец Михаил»; много их тут было, больше пятидесяти человек – молодые и старые. Стуколова сам я признал.

– Как же узнал ты, что в скиту всех забрали? – спросил Патап Максимыч.

– На дороге сказали, – отвечал Алексей. – В Урене узнал... Едучи туда, кой-где по дороге расспрашивал я, как поближе проехать в Красноярский скит, так назад-то теми деревнями ехать поопасился, чтоб не дать подозренья. Окольным путем воротился – восемьдесят верст крюку дал.

– Хвалю!.. – молвил Колышкин, ударив по плечу Алексея. – Догадливый у тебя приказчик, Патап Максимыч. Хват парень!.. Из молодых, да ранний.

– Да, – сквозь зубы процедил Чапурин. – Однако что-то ко сну меня тянет... – сказал он после короткого молчанья.

– И распрекрасное дело, крестный!.. – молвил Колышкин. – Усни-ка в

самом деле, отдохни...

Но когда Колышкин с Алексеем ушли, Патап Максимыч даже не прилег... Долго ходил он взад и вперед по горнице, и много разных дум пронеслось через его седую голову.

Не чаял Алексей так дешево разделаться... С первых слов Патапа Максимыча понял он, что Настя в могилу тайны не унесла... Захолонуло сердце, смертный страх обуял его: «Вот он, вот час моей гибели от сего человека!..» – думалось ему, и с трепетом ждал, что вещий сон станет явью.

И слышит незлобные речи, видит, с какой кротостью переносит этот крутой человек свое горе... Не мстить собирается, благодаянье хочет оказать погубителю своей дочери... Размягчилось сердце Алексево, а как сведал он, что в последние часы своей жизни Настя умолила отца не делать зла своему соблазнителю, такая на него грусть напала, что не мог он слез сдержать и разразился у ног Патапа Максимыча громкими рыданиями. Не вовсе еще очерствел он тогда.

Надо покинуть дом, где его, бедняка-горюна, приютили, где осыпали его благодаяньями, где узнал он радости любви, которую оценить не сумел... Куда деваться?.. Как сказать отцу с матерью, почему оставляет он Патапа Максимыча?.. Опять же легко молвить – «сыщи другое место»... А как сыщешь его?..

Всю ночь провел Алексей в тревожных думах и не мог придумать, что делать ему... О возврате к отцу не помышлял. То дело нестаточное... Где же место сыскать?.. И среди таких дум представлялись его душевным очам то Настя во гробе, то Марья Гавриловна, устремившая взоры на солнечный восход... И каждый раз, как только вспоминалась ему молодая вдова, образ Насти тускнел и потом совсем исчезал... А больше всего волновали Алексея думы про богатство... Денег кучу да людской почет – вот чего ему хочется, вот что кружит ему голову!.. Но как добыть богатство?

Рано утром пошел он по токарням и красильням. В продолжение Настиной болезни Патапу Максимычу было не до горянщины, присмотра за рабочими не было. Оттого и работа пошла из рук вон. Распорядился Алексей как следует, и все закипело. Пробыл в заведениях чуть не до полудня и пошел к Патапу Максимычу. Тот в своей горнице был.

– Что скажешь? – сухо спросил его Чапурин.

– Насчет работы пришел доложить, – молвил Алексей. – Обошел красильни и токарни – большие непорядки, Патап Максимыч.

– Каких порядков ждать, коли больше двух недель призору не было! – заметил Патап Максимыч.

– Ко всем станкам приставил работников, – начал было Алексей.  
– Не до них мне теперь, – перебил его Патап Максимыч. – Делай, как прежде. Дня через два сам за дело примусь.  
– Слушаю, – сказал Алексей.  
– Ступай, – молвил ему Патап Максимыч.  
Алексей вышел.

Возвращаясь в подклет мимо опустелой Настиной светлицы, он невольно остановился. Захотелось взглянуть на горенку, где в первый раз поцеловал он Настю и где, лежа на смертной постели, умоляла она отца не платить злом своему погубителю. Еще утром от кого-то из домашних слышал он, что Аксинья Захаровна в постели лежит. Оттого не боялся попасть ей на глаза и тем нарушить приказ Патапа Максимыча... Необоримая сила тянула Алексея в светлицу... Робкой рукой взялся он за дверную скобу и тихонько растворил дверь.

Только половина светлицы была видна ему. На месте Настиной кровати стоит крытый белой скатертью стол, а на нем в золотых окладах иконы с зажженными перед ними свечами и лампадами. На окне любимые цветочки Настины, возле пядицы с неконченной работой... О! у этих самых пядец, на этом самом месте стоял он когда-то робкий и несмелый, а она, закрыв глаза передником, плакала сладкими слезами первой любви... На этом самом месте впервые она поцеловала его. Тоскливо заныло сердце у Алексея.

«А где стол стоит, тут померла она, – думалось ему, – тут-то в последний час свой молила она за меня». И умилилось сердце его, а на глазах слеза жалости выступила... Добрая мысль его осенила – вздумалось ему на том месте положить семипоклонный начал за упокой Насти.

Несмелой поступью вошел он в светлицу... Оглянулся – склонив на руку голову, у другого окна сидит Марья Гавриловна.

Завидев Алексея, она слабо вскрикнула.

– Испужал я вас? – робко молвил Алексей.

– Ах, нет... я задумалась... а вы... невзначай... – опуская глаза, сказала Марья Гавриловна.

На глазах-то хоть и стыдно, зато душе отрадно... Страстно глядит вдовушка на пригожего молодца... покойного Евграфа на памяти нет.

– Не взыщите... Я не знал... думал, нет никого... Я уйду... – говорил смущенный Алексей и пошел было вон из светлицы.

– Нет... зачем же?... – вставая с места, сдержанно молвила Марья Гавриловна. – Вы мне не помеха.

Молча стоит перед ней Алексей... Наллюбоваться не может... Настя из мыслей вон.

– Заезжали в Комаров? – с наружной холодностью спросила Марья Гавриловна.

– Не заезжал, – ответил Алексей, – надо было другую дорогу взять.

– А опять на Ветлугу поедете? – после короткого молчания спросила Марья Гавриловна.

– Не знаю... Может статься, и вовсе не буду там, – отвечал Алексей.

– И в Комарове не будете?

– Не знаю.

– Здесь, стало быть, останетесь?.. У Патапа Максимыча? – спросила Марья Гавриловна, пристально глядя на Алексея.

– Вряд ли долго у него проживу... Места ищу, – сказал Алексей.

– Какого? – спросила Марья Гавриловна.

– По торговой части... В приказчики, – сказал Алексей. – Да, сказывают, трудно... Пока сам не знаю, как Бог устроит меня.

Не ответила Марья Гавриловна. Опять несколько минут длилось молчанье.

– Приведется быть в Комарове, кельи моей не забудьте, – улыбнувшись слегка, молвила Марья Гавриловна.

– Не премину, – ответил Алексей.

– А насчет места я поразузнаю... Брат у меня в Казани недавно искал приказчика... Его спрошу, – сказала Марья Гавриловна.

– Покорно вас благодарю... Вовек не забуду вас... – начал было Алексей.

– Уж будто и вовек, – лукаво улыбаясь и охорашиваясь, молвила Марья Гавриловна.

– По гроб жизни!.. – горячо вскрикнул Алексей и сделал порывистый шаг к Марье Гавриловне.

– Прощайте покаместь... До свиданья, – сдвинув брови и отстраняясь от Алексея, сказала она. – Недели через две приезжайте в Комаров... К тому времени я от брата ответ получу.

И поспешно вышла из светлицы.

У Алексея из головы вон, что пришел он за Настю молиться... Из млеющих взоров Марьи Гавриловны, из дышавших страстью речей ее понял он, что в этой светлице в другой раз довелось ему присушить сердце женское.

И Марья Гавриловна, и Груня с мужем, и Никитишна с Фленушкой, и

Марьюшка со своим клиросом до девяти<sup>[172]</sup> остались в Осиповке. Оттого у Патапа Максимыча былолюдно, и не так была заметна томительная пустота, что в каждом доме чувствуется после покойника. Женщины все почти время у Аксины Захаровны сидели, а Патап Максимыч, по отъезде Кольшкина, вел беседы с кумом Иваном Григорьичем.

Дня через три после похорон завела Марья Гавриловна разговор с Патапом Максимычем. Напомнила ему про последнее его письмо, где писал он, что собирается о чем-то просить ее.

– Дельце одно у меня затевалось, – сказал Патап Максимыч, – а на почин большой капитал требовался... Хотел было спросить, не согласны ли будете пойти со мной в складчину?

– Какое ж это дело, Патап Максимыч? – спросила Марья Гавриловна.

– Вышло на проверку, что дело-то бросовое. Не стоит об него и рук марать, – сказал Патап Максимыч.

– Не выгодно? – спросила Марья Гавриловна.

– Мало, что не выгодно, – дело опасное... Теперь неохота и поминать про него, – молвил Патап Максимыч.

– Так вам денег теперь не требуется? – спросила Марья Гавриловна.

– Нет, Марья Гавриловна, не требуется, – отвечал Патап Максимыч. – Признаться, думаю сократить дела-то... И стар становлюсь, и утехы моей не стало... Параше с Груней после меня довольно останется... Будет чем отца помянуть... Зачем больше копить?... Один тлен, суета!..

– Вы дело кончаете, а я начинать вздумала. Как вы посоветуете мне, Патап Максимыч? – сказала Марья Гавриловна.

– Что ж такое задумали вы? – спросил Патап Максимыч.

– Да видите ли: есть у меня капитал... лежит он бесплодно, – сказала Марья Гавриловна. – В торги думаю пуститься... Что деньгам даром лежать?

– Дело доброе, – ответил Патап Максимыч. – По какой же части думаете вы дела повести?

– Об этом-то и хотела я с вами посоветоваться. Научите, наставьте на разум.

– Эх, матушка Марья Гавриловна... Какой я учитель теперь? – вздохнул Патап Максимыч. – У самого дело из рук валится.

– Полноте, Патап Максимыч!.. Ведь мы с вами не первый день знакомы. Не знаю разве, как у вас дела идут?.. – говорила Марья Гавриловна. – Вот познакомилась я с этим Сергеем Андреичем. Он прямо говорит, что без вас бы ему непременно пропасть, а как вы его поучили, так дела у него как не надо лучше пошли...



– Сергей Андреич – иная статья, – молвил Патап Максимыч. – Сергей Андреич – мужчина, – сам при деле. А ваше дело, Марья Гавриловна, женское – как вам управиться?

– Возьму приказчика, – сказала Марья Гавриловна.

– Мудреное это дело, – возразил Патап Максимыч. – Ноне верных-то людей мало что-то осталось – всяк норовит в хозяйский кошель лапу запустить.

– Авось найду хорошего, – молвила Марья Гавриловна.

– Может, на ваше счастье и выищется... Земля не клином сошлась, – сказал Патап Максимыч.

– Каким же делом посоветуете заняться мне? – спросила Марья Гавриловна.

– Коли найдете стоящего человека, заводите пароходы, – сказал Патап Максимыч. – По нынешнему времени пароходного дела нет прибыльней. И Сергею Андреичу я тоже пароходами заняться советовал.

– И в самом деле!.. – молвила Марья Гавриловна. – У брата тоже пароходы по Волге бегают – не нахвалятся.

– Дело хорошее, сударыня, хорошее дело... Убытков не бойтесь. Я бы и сам пароходы завел, да куда уж мне теперь?.. Не гожусь я теперь ни на что...

Долго толковала Марья Гавриловна с Патапом Максимычем. Обещал он на первое время свести ее с кладчиками, приискать капитанов, лоцманов и водоливов, но указать человека, кому бы можно было поручить дело, отказался.

Марья Гавриловна не настаивала. Она уже решила приставить к делам Алексея.

Под конец беседы молвила она Патапу Максимычу:

– А насчет тех двадцати тысяч вы не хлопчите, чтобы к сроку отдать их... Слышала я, что деньги в получке будут у вас после Макарья, – тогда и сочтемся. А к Казанской не хлопчите – срок-от помнится на Казанскую, – смотрите же, Патап Максимыч, не хлопчите. Не то рассержусь, поспорюсь...

Патап Максимыч благодарил ее за отсрочку.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На другой либо на третий день по возвращении Марьи Гавриловны из Осиповки зашла к ней мать Манефа вечером посидеть да чайку попить. Про чудную Настину болезнь толковали, погоревали о покойнице и свели речь на Патапа Максимыча.

– Очень он убивается, – сказала Марья Гавриловна, – смотреть даже жалость. Ровно малое дитя плачет – разливается. Ничего, говорит, мне не надо теперь, никакое дело на ум нейдет...

– Что говорить! – молвила на то Манефа. – Как не тужить по этакой дочери!.. Сызмальства росла любимым детищем... Раскипятится, бывало, на что, – уйму нет на него, близко не подходи, в дому все хоронятся, дрожмя дрожат, а она – семилеткой еще была – подбежит к отцу, вскочит к нему на колени да ручонками и зачнет у него на лбу морщины разглаживать. Поглядит на нее и ровно растает, смягчится, разговорчивый станет, веселый... И в дому все оживает, про гнев его да про шум и помину нет... Любимая дочка, любимая!.. – вздохнула Манефа. – Теперь кому его гнев утолять?..

– Добрый человек завсегда с огоньком, – заметила Марья Гавриловна. – А злобного в Патапе Максимыче нет ни капельки.

– Злобы точно что нет, – согласилась Манефа. – Зато своенравен и крут, а разум кичливый имеет и самомнительный. Забьет что в голову – клином не вышибешь... Весь в батюшку-родителя, не тем будь помянут, царство ему небесное... Гордыня, сударыня, – гордыня... За то и наказует Господь...

– Не в примету мне, чтоб горделив аль заносчив он был, – молвила Марья Гавриловна.

– Где ж вам приметить, сударыня? – ответила Манефа. – Во всем-то кураже вы его не видали... Поглядеть бы вам, как сцепится он когда с человеком сильней да именитей его... Чем бы голову держать уклонно, а речь вести покорно, ровно коза кверху глядит... Станет фертом, ноги-то азом распылит!.. Что тут хорошего?..

– По-моему рассужденью, матушка, – сказала на то Марья Гавриловна, – если человек гордится перед слабым да перед бедным – нехорошо, недобрый тот человек... А кто перед сильным да перед богатым высоко голову несет, добрая слава тому.

– Хорошо так судить вам, Марья Гавриловна, как делов у вас нет

никаких... – ответила Манефа. – А у Патапа и торговля, и горянщина, суда на Волге, и вдоволь наемного народу – значит, начальство всегда может привязку ему сделать... Оттого и не след бы ему огрызаться... Опять же в Писании сказано: «Всяка душа власти повинуется»... Чего еще?.. За непокорство не хвалю его, за гордость проклятую, а то, что говорить, – человек добрый. Он ведь, сударыня, – если по правде говорить, – только страх на всех напускает, а сам-от вовсе не страшен, не грозен... Ну а любит, чтоб боялись его... Как вздумает кого настращать, и не знай чего насулит, а потом ничего не сделает... Добро еще, пожалуй, сделает... Вот с начальством – тут уж другое дело...

– Не ладит? – спросила Марья Гавриловна.

– Всяко бывает, – ответила Манефа. – Теперь губернатору знаком, в чести у него, в милости... Малые-то начальники забижать и не смеют... Да ведь губернатор не вечен, смениться может, другой на его место сядет – каков-то еще будет?.. Опять же наше дело взять – обительское. В «губернии»<sup>[173]</sup> все знают, что Патапом скиты держатся, что он первая за нас заступа и по всем нашим делам коренной ходатай... Ну как за гордыню-то его да на все скиты холодком дунут? Куда пойдем?.. Теперь же где ни послышишь – строгости: скиты зорят, моленны печатают, старцев да стариц по дальним местам рассылают. Силен и славен был Иргиз, и с тем покончили. Лаврентьев порешон, в Стародубье<sup>[174]</sup> мало что осталось. И на заводах<sup>[175]</sup> и на Дону – везде утеснение. Здесь покаместь Бог милует, а надолго ли, кто может сказать?.. Пожалуй, и нашему Керженцу близка череда... По теперешнему гонительному времени надо бы Патапу Максимычу со всеми ладить – большое ль начальство, малое ли, – в черный день всякое сгодится... Ох, сударыня Марья Гавриловна, настали дни, Писанием прореченные: «Искупующе время, яко дни зли суть...» Тут не гордостью озлоблять, ублажать надо всякого, поклоняться всякому – были бы милостивы... А он?.. Говорить ему станешь – ругается, просить станешь – хохочет... Намедни, как перед масленой у него гостила я, Христом Богом молила повеселить чем-нибудь исправника, был бы до нас подобрее, а он, прости Господи, ржет себе, ровно кобыла на овес.

– А слыхала я, матушка, Комарову скиту царская грамота дана, чтоб никогда не рушить его? – спросила Марья Гавриловна. – Говорят, такая грамота есть у Игнатьевых.

– Нет такой грамоты, сударыня, – ответила Манефа. – Посулили, да не дали.

– Отчего же так? – спросила Марья Гавриловна.

— А вот как было дело, — начала Манефа рассказывать. — Без малого сто годов тому, когда еще царица Катерина землю держала, приходил в здешние места на Каменный Вражек старец Игнатий. Роду он был боярского, Потемкиных дворян, служил в полках, в походах бывал, с туркой воевал, с пруссаками, а как вышла дворянам вольность не носить государевой службы до смерти, в отставку вышел и стал ради Бога жить... Воспомаянул он тогда роды своя, как в Никоновы гонительные времена деда его смольяне, отец Спиридоний да отец Ефрем, из роду Потемкиных, бегая церковных новин, укрылись в лесах Кёрженских и поставили обитель поблизости скита Шáрпана... И доныне то место, знать, и доселе зовется оно «Смольяны», потому что туда приходили на житье смольяне Потемкины и иных боярских родов и жили тут до Питиримова разоренья. Памятуя их, поревновал отец Игнатий по старой вере, иночество надел и в Комарове обитель завел... Спервоначалу та обитель мужскою была; по блаженной же кончине отца Игнатия старцы врознь разбрелись, а часовня да кельи Игнатьева строения достались сроднице его, тоже дворянского рода, — Иринархой звали... С той поры и зачалась женская обитель Игнатьевых... Вживе еще был отец Игнатий, как сродник его, Потемкиных же роду, у царицы выслужился и стал надо всеми князьями и боярами первым российским боярином. Тем временем прилучилось батюшке отцу Игнатию в Петербурге за сбором быть. Отыскал он тамой<sup>[176]</sup> именитого сродника, побывал у него... Тот ему возрадовался и возлюбил старца Божия... Много беседовал с ним про старую веру и про наши леса Керженские. И говорил тот великий боярин отцу Игнатию: «Склони ты мне, старче, тамошних староверов на новые места идти, которые места я у турка отбил. Житье, говорит, будет там льготное и спокойное. Земли, говорит, и всяких угодьев вдоволь дадут. Лет на двадцать ни податей не надо, ни рекрутчины. Каждому, говорит, староверу казны на проезд и обзаведенье дадут... Церкви себе стройте, монастыри заводите, попов, сколько хотите, держите и живите себе на всей своей воле... И будет, говорит, на те льготы вам от царицы выдана грамота, навеки нерушимая...» Такие милости великий боярин сулил... Батюшка отец Игнатий обещался ему здешний народ приговаривать на новы места идти, и великий боярин Потемкин с тем словом к царице возил его, и она, матушка, с отцом Игнатием разговор держала, про здешнее положение расспрашивала и к руке своей царской старца Божия допустила. Воротясь на Керженец, стал отец Игнатий здешний народ на новые места приговаривать... Охотников объявилось довольно, да спознали по скорости, что великий боярин Потемкин староверам ловушку подстроить хотел... Такие же речи у него со

стародубскими отцами велись. Был в Стародубье тогда инок Никодим, через него то дело происходило. И тот Никодим под власть великороссийских архиереев подписался. Как спознали о том здешние христиане, про новы места и слышать не захотели... А тут по скорости боярин Потемкин помер – тем дело и разошлось... Так, видите ли, сударыня, была та грамота на одном посуле... Народу же, уверения ради, говорится, что лежит такая у Игнатьевых... А ее никогда не бывало.

– Зачем же народ в обмане держать? – резко взглянув на Манефу, спросила Марья Гавриловна.

– Крепче бы в истинной вере стояли, – спокойно ответила игуменья. – Бывает, сударыня, что церковны попы учнут мужикам говорить, а иной раз и сам архиерей приедет да скажет: «Ваша-де вера царю не угодна...» Подумайте, каково это слово!.. Легко ль его вынести?.. А как думают мужики, что лежит у Игнатьевых государева грамота, веры-то у них тем словам и нейдет... Повалятся архиерею в ноги да в голос и заовпят: «Как родители жили, так и нас благословили – оставьте нас на прежнем положении...» А сами себе на уме: «Не обманешь, дескать, нас – не искусишь лестчими словами, знаем, что в старой вере ничего нет царю противного, на то у Игнатьевых и грамота есть...» И дело с концом... А мужикам внушено, чтоб они про ту грамоту зря не болтали, отымут дескать... И теперь любого из них хоть повесь, хоть в землю закопай, умирать станет – про грамоту слова не выронит.

– Стало быть, деревенские-то усердны к скитам? – спросила Марья Гавриловна.

– Усердны! – с горькой усмешкой воскликнула Манефа. – Иуда Христа за сребреники продал, а наши мужики за ведро вина и Христа и веру продадут, а скиты на придачу дадут...

– Отчего ж они так крепко тайну держат? – спросила Марья Гавриловна.

– А им внушено, что в грамоте про ихние земли поминается, чтоб тем землям за ними быть веки вечные, – сказала Манефа. – По здешним местам ни у кого ведь крепостей на землю нет – народ все набеглый. Оттого и дорожат Игнатьевой грамотой...

– По-моему, неладно бы делать так, матушка, – сказала Марья Гавриловна.

– И ложь во спасенье бывает, сударыня, – перебила Манефа. – Народ темный, непостоянный – нельзя без того.

Задумалась Марья Гавриловна.

– Вот теперь Оленевское дело подымается... – молвила Манефа. –

Боюсь я того дела при нонешнем времени.

– Что за Оленевское дело, матушка? – спросила Марья Гавриловна.

– А вот какое дело, – начала Манефа. – Лет пять либо шесть тому назад одну оленевскую старочку на Дону в острог посадили за то, что со сборной книгой ходила. А в книге было прописано: «Сбор-де тот на дом Пресвятой Богородицы честнаго и славнаго ее успения, в обители Нифонтовых, скита Оленева». Ну, известное дело, ходила та старочка безо всякого паспорта, по простоте... До Петербурга дело дошло, и решили там дознаться, что за обитель такая Нифонтова, по закону ль она ставлена, да потому ж дознаться и обо всех скитах Керженских... И то дело шестой год лежит в губернии, и от него беспокойства нам не было, а теперь, слышим, оно подымается... Слышно еще, будто и насчет Шарпана вышел указ... Какой-то злодей, прости Господи, послал доношение: в Шарпанском-де скиту Казанскую икону Пресвятой Богородицы особне чествуют, на ее-де праздники много в Шарпан народу сбирается старообрядцев и церковников. И на тех-де праздниках старицы Шарпанской обители поставляют кормы великие, а во время-де кормов читают народу про чудеса, от той иконы бываемые. И оттого-де многие от церкви отшатились... Правда ли, нет ли, а слухи пошли, будто велено Казанскую из Шарпана взять... Сбудется такое дело – конец Керженцу... Престанет тогда наше житие пространное!..

– Отчего ж скитам настанет конец, коль из Шарпана возьмут икону Казанскую? – спросила Марья Гавриловна.

– Икона та, сударыня, чудотворная, – ответила Манефа. – Стояла она в комнате у царя Алексея Михайловича, когда еще он пребывал в благочестии... От него, великого государя, Соловецкой киновии она вкладом жалована... Когда же соловецкие отцы не восхотели Никоновых новин прияти и укрепились за отеческие законы и церковное предание, тогда в Соловках был инок схимник Арсений, старец чудного и высокого жития, крепкий ревнитель древлего благочестия. По всяя нощи со слезами молился он перед той иконою, прося Бога и Пречистую Богородицу, да избавит святую киновию от разоренья облажащий воев... Нощию же на вселенскую субботу всемирного христиан поминовения, пред неделю мясопустною, бысть тому старцу Арсению чудное видение... Изыде глас от иконы: «Гряди за мною, старче, ничтоже сумняся; и где аз стану – тамо создай обитель во имя мое, и, пока сия икона будет в той обители, древлее благочестие в оной стране процветать будет». И по сем гласе поднялась икона на небеса... В ту же ночь монах некий, Феокист именем, поревновав Иуде Искаротскому, возвестил игемону, ратию святую обитель

обложившему, что в стене монастырской есть пролаз... Царские воины по слову предателя вошли через тот пролаз в обитель и учинили в ней великое кровопролитие... Инока же схимника Арсения Господь от напрасныя смерти соблюл... Когда ж воевода перевез старца Арсения с другими отцами на берег, тогда заступлением Пресвятыя Богородицы избег он руки мучителей и, пришед в лес, узрел Казанскую чудотворную икону по облакам ходящу... Пошел за ней старец, дивясь бывшему чудеси, а деревья перед ним расступаются, болота перед ним осушаются, через реки переходит Арсений яко посуху... И как древле Израиль приведен бысть столпом небесным в землю обетованную, тако и старец Арсений той святою иконою приведен бысть в леса Керженские, Чернораменские. На том месте, где опустилась икона на землю, поставил он обитель Шарпанскую... и та икона поныне в той обители находится. Пока тамо стоит, по тех пор, по гласу Богородицы, наши скиты целы и невредимы... Возьмут икону из Шарпана – всем скитам наступит конец, и место свято запустеет.

– Бог милостив, матушка... – начала было Марья Гавриловна.

– Истину сказали, что Бог милостив, – перебила ее Манефа. – Да мы-то, окаянные, не мало грешны... Стоим ли того, чтоб он нас миловал?.. Смуты везде, споры, свары, озлобления! Христианское ль то дело?.. Хоть бы эту австрийскую квашню взять... Каков человек попал в епископы!.. Стяжатель, благодатью святого духа ровно горохом торгует!... Да еще, вправду ли, нет ли, обносятся слухи, что в душегубстве повинен... За такие ль дела Богу нас миловать?

– Ах, матушка, забыла я сказать вам, – спохватилась Марья Гавриловна, – Патап-то Максимыч сказывал, что тот епископ чуть ли в острог не попал... Красноярский скит знаете?

– Бывать там не бывала и отцов тамошних не ведаю, а про скит как не знать? – ответила Манефа. – Далеко отселева – за Ветлугой, на Усте...

– На прошлой неделе тамошних всех забрали, – продолжала Марья Гавриловна. – На фальшивых, слышь, деньгах попались. Патап Максимыч так полагает, что епископу плохо придется, с красноярскими-де старцами взят его посланник... За какими-то делами в здешни леса его присылал... Стуколов какой-то.

Сверкнули очи Манефы, сдвинулись брови. Легкая дрожь по губам пробежала, и чуть заметная бледность на впалых щеках показалась. Поспешно опустила она на глаза креповую наметку.

Не примечая, как подействовало на игуменью упоминанье про Стуколова, Марья Гавриловна продолжала рассказывать о красноярской

братии.

– Тот Стуколов где-то неподалеку от Красноярского скита искал обманное золото и в том обмане заодно был с епископом. Потому Патап Максимыч и думает, что епископ и по фальшивым деньгам не без участия... Сердитует очень на них... «Пускай бы, говорит, обоих по одному канату за Уральские бугры послали, пускай бы там настоящее государево золото, а не обманное копали...» А игумна Патап Максимыч жалеет и так полагает, что попал он безвинно.

Не ответила Манефа, хоть Марья Гавриловна приостановилась, выжидая ее отзыва.

– И благочестный, говорит про него Патап Максимыч, старец, и души доброй, и хозяин хороший, – продолжала Марья Гавриловна. – Должно быть, обманом под такое дело подвели его...

– Где ж они теперь? – как бы из забытья очнувшись, спросила Манефа.

– В остроге, матушка, – ответила Марья Гавриловна. – Пятьдесят человек, слышь, прогнали... Большая переборка идет.

– Ох, Господи!.. – с тяжелым вздохом молвила игуменья.

И не смогла дольше сдерживать волнения: облокотилась на стол и закрыла ладонью глаза.

– Что с вами, матушка? – озабоченно спросила ее Марья Гавриловна.

Помолчала Манефа и промолвила взволнованным голосом:

– О брате вздумала... Патап на ум пришел... Знался он с отцом-то Михаилом, с тем красноярским игуменом... Постом к нему в гости ездил... с тем... Ну, с тем самым человеком...

И, недоговорив речи, смолкла Манефа.

– Со Стуколовым? – подсказала Марья Гавриловна.

– Опять же на Фоминой неделе Патап посылал с письмом к отцу Михаилу того детину... Как бишь его?.. забываю все... – говорила Манефа.

Марью Гавриловну теперь в краску бросило... у ней речь не вяжется, у ней слова с языка нейдут.

– Вот что в приказчики-то взял к себе... – продолжала Манефа... – Еще к вам на Радуницу с письмом заходил... Алексеем, никак, зовут.

Ни слова Марья Гавриловна. Замолчала и Манефа.

– Ну как братнино-то письмо да в судейские руки попадет! – по малом времени зачала горевать игуменья. – По такому делу всякий клочок в тюрьму волочет, а у приказных людей тогда и праздник, как богато человека к ответу притянут... Как не притянуть им Патапа?.. Матерой осетер не каждый день в ихний невод попадет... При его-то спеси, при его-то гордости!.. Да легче ему дочь, жену схоронить, легче самому живому в



могилу лечь!.. Не пережить Патапу такой беды!..

– Не беспокойтесь, матушка, – утешала Манефу Марья Гавриловна. – При мне, как я в Осиповке была, то письмо в целости назад воротилась.

– Как так? – спросила обрадованная игуменья.

– Тот, что... этот... приказчик-от... не доехал, – отвечала Марья Гавриловна, отворотясь от Манефы и глядя в окошко. – Дорогой проведал, что старцев забрали... Он и воротился.

– Слава тебе, Господи!.. Благодарю создателя!.. – набожно перекрестясь, молвила Манефа. – Эки дела-то!.. Эки дела!.. – продолжала она, покачивая головой. – В обители, во святом месте, взамен молитвы да поста, чем вздумали заниматься!.. Себя топят и других в омут тянут... Всем теперь быть в ответе!.. Всем страдать!..

– Чем же все-то виноваты, матушка? – спросила удивленная речами игуменьи Марья Гавриловна. – Правый за виноватого не ответчик...

– Скитская беда не людская, сударыня... И без вины виноваты останемся, – сказала Манефа. – Давно на нас пасмурным оком глядят, давно обители наши вконец порешить задумали... Худой славы про скиты много напущено... В какой-нибудь захудалой обители человек без виду <sup>[177]</sup> попадет – про все скиты закричат, что беглыми полнехоньки... Согрешит негде девица, и выйдет дело наружу, ровно в набат про все скиты забьют: «Распутство там, разврат непотребный!..» Много напраслины на обители пущено!.. Много... А тут такое дело, как красноярское!.. Того и гляди на всех оно беду обрушит... И все-то одно к одному – и сборная книга оленевская, и шарпанская икона, и красноярское дело... Всех погубят, все скиты, все обители!..

– Да разберут же правду, матушка. Разве можно наказывать невиноватого? – возразила Марья Гавриловна.

– Можно!.. – с жаром сказала Манефа. – По другим местам нельзя, в скитах можно... Давно бы нас разогнали, как иргизских, давно бы весь Керженец запустошили, если бы без бережи жили да не было бы у нас сильных благодетелей... Подай, Господи, им доброго здравия и вечного души спасения!..

Замолчала на короткое время Манефа и опять начала:

– Велик и славен был Иргиз, не нашим Керженским обителям чета, а в чьих руках теперь?.. Давеча спросили вы про царицыну грамоту. Не бывало у нас такой грамоты, а там, на Иргизе, была... Царь Павел Петрович нарочно к иргизским отцам своего генерала присылал – Рунич был по прозванию, с милостивым словом его присылал, три тысячи рублей на монастырское строенье жаловал и грамоту за своей рукой отцу Прохору

дал... А тот отец Прохор сам был велик человек – сам из царского рода...

[\[178\]](#) Слыхали, чай?

– Слыхала, матушка, как не слышать, – отозвалась Марья Гавриловна.

– А как дошло дело, не помогли Иргизу ни царская грамота, ни царская порода отца Прохора, – продолжала Манефа. – Вживе был еще отец-от Прохор, как его строенье, Воскресенский монастырь, порушили; которых старцев в Сибирь, которых на Кавказ разослали, а монастырь отдали тем, что к никонианам преклонились. [\[179\]](#) Это Иргиз... А мы что перед ним?.. Все едино, что комары да малые мушцы. Вздумают порешить – многих разговоров с нами не поведут... И постоять-то здесь за нас некому... На Иргизе, когда монастыри отбирали, хоть народное собрание было, не хотел тогда народ часовен отдавать – водой на морозе из пожарных труб людей-то тогда разгоняли... А здесь что?.. Послушали б вы, сударыня, что соседushки наши любезные толкуют... Прошлым летом у Глафириных нову «стаю» рубили, так ронжински ребята да елфимовские смеются с галками-то: [\[180\]](#) «Строй, говорят, строй хорошенько – келейниц-то скоро разгонят, хоромы те нам достанутся...» Вот что у них на уме!.. Христианами зовутся, сами только и дышат обителями, без нашего хлеба-соли давно бы с голоду перемерли, а вот какие слова говорят!.. Теперь лебезят, кланяются, а случись невзгода – пальцем не двинут, рта не разинут... Не то что скиты – Христа царя небесного за ведро вина продадут!..

– Ну уж это, матушка, кажется, вы на них напрасно, – заступилась Марья Гавриловна.

– Давно живу с ними, сударыня, лучше вас знаю их, лоботрясов, – с досадой прервала ее Манефа. – Из-за чего они древлего благочестия держатся?.. Спасения ради?.. Как же не так!.. Из-за выгоды, из-за одной только мирской, житейской выгоды... Надо правду говорить, – продолжала Манефа, понизив голос, – от людей утаишь, от Бога не спрячешь – ины матери смолodu баловались с ребятами, грешили... Плоть, сударыня, сильна в молодые годы бывает... Слаб человек, не всякому дано плоть побороть... Ну, вот – старые-то дружки давно поженились, семьями обзавелись, а с матерями ладов не рушат... Не в ту силу говорю, чтоб матери в старых грехах с ними пребывали... А ведь и под черной рясой и на старости лет молодая-то любовь помнится...

Смолкла на минуту игуменья и потом сдержанным голосом, отчеканивая каждое слово, продолжала:

– И подати платят за них, и сыновей от солдатчины выкупают, и

деньгами ссужают, и всем... Вот отчего деревенские к старой вере привержены... Не было б им от скитов выгоды, давно бы все до единого в никонианство своротили... Какая тут вера?.. Не о душе, об моще своей радеют... Слабы ноне люди пошли, нет поборников, нет подвижников!.. Забыв Бога, златому тельцу поклоняются!.. Горькие времена, сударыня, горькие!..

– Неужели в самом деле скитам конец наступает? – в сильном раздумье, после долгого молчания, спросила Марья Гавриловна.

– Все к тому идет... – покачав головой, со вздохом ответила Манефа.

– Как же вы тогда, матушка? – озабоченно глядя на игуменью, спросила Марья Гавриловна.

– Признаться сказать, давненько я о том помышляю, – молвила Манефа. – Еще тогда, как на Иргизе зачали монастыри отбирать, решила я сама про себя, что рано ли, поздно ли, а такой же участи не миновать и нам. Ради того кой-чем загодя распорядилась, чтоб перемена врасплох не застала.

– Что ж вы сделали, матушка? – спросила Марья Гавриловна.

– А видите ли, дело в чем, – сказала Манефа, – и на Иргизе, и в Слободах, и в Лаврентьеве всех несогласных принять попов, великороссийскими архиереями благословенных, по своим местам разослали – на родину, значит. Кто где в ревизию записан, там и живи до смерти, по другим местам ездить не смей... Когда до наших скитов черед дойдет – с нами то же сделают... Потому и сама я в купчихи к нашему городку приписалась, и матерей, которы получше да полезней, туда же в мещанки приписала... Когда Керженцу выйдет решение... нашу обитель чуть не всю в один город пошлют. Там и настроим мы домов к одному месту... Может, позволят и здешне строенье туда перевезти... Часовни хоть не будет, а все же будем жить вкупе... Не станет нынешнего пространного жития, что же делать, не так живи, как хочется, а как Господь благословит... И не я одна так распорядилась, во многих обителях и в здешних, и в Оленевских, и в Улангерских то же сделают. Вкупе-то всем жить будет отраднее.

– А мне-то как быть тогда, матушка? – тревожно спросила Марья Гавриловна.

– Вам, сударыня, беспокоиться нечего, ваша статья иная... – сказала Манефа. – Не в обители живете, имени вашего в списках нету... путь вам чистый на все четыре стороны.

– А как меня в Москву вышлют да выезд оттоль запретят?.. Тогда что?.. Жить в Москве для меня смерти горчей – сами знаете, – говорила

взволнованная Марья Гавриловна.

– Не сделают этого, – молвила Манефа.

– Как не сделают? – возразила Марья Гавриловна. – Про Иргиз поминали вы, а в Казани я знаю купчиху одну, Замошникова по́ муже была. Овдовевши, что мое же дело, поехала она на Иргиз погостить. Там в Покровском монастыре игуменья, матушка Надежда, коли слыхали, теткой доводилась ей...

– Знала я матушку Надежду. Как не знать? – молвила Манефа. – Знакомы были, письмами обсылались. И племяненку-то ее знала...

– Году у тетки она не прогостила, как Иргизу вышло решение, – продолжала Марья Гавриловна. – И переправили Замошникову в Казань и запретили ей из Казани отлучаться... А родом она не казанская, из Хвалыни была выдана... За казанским только замужем была, как я за московским... Ну как со мной то же сделают?.. В Москву как сошлют? Подумайте, матушка, каково мне будет тогда?..

Призадумалась Манефа.

– Да, и так может случиться, – сказала она. – Вам бы, сударыня, к нашему же городку в купечество записаться... Если б что и случилось, – вместе бы век дожили... Схоронили бы вы меня, старуху...

– Капитал объявлять надо, – молвила Марья Гавриловна.

– Известно, – подтвердила Манефа.

– А капитал объявлять, надо торговлю вести, – сказала Марья Гавриловна.

– Зачем? – возразила Манефа. – Наш городок махонький, а в нем боле сотни купцов наберется... А много ль, вы думаете, в самом деле из них торгует?.. Четверых не сыщешь, остальные столь великие торговцы, что перед новым годом бьются, бьются, сердечные, по миру даже собирают на гильдию. Кто в долги выходит, кто последнюю одежонку с плеч долой, только б на срок записаться.

– Зачем же это? – с удивленьем спросила Марья Гавриловна. – Остались бы в мещанах, коли нет капитала.

– А от солдатчины-то ухорониться?.. – ответила Манефа. – Рекрутски-то квитанции ноне ведь дóроги стали, да и мало их что-то. А как заплатил гильдию, так и не бойся ни бритого лба, ни красной шапки... Которы сродников много имеют – в складчину гильдию-то выправляют. В одном-то капитале иной раз душ пятьдесят мужских записано: всего тут есть – и купецких сыновей, и купецких братьев, и купецких племянников, и купецких внуков. А коль скоро все из лет выйдут – тогда и гильдию больше не платят, в мещанах остаются... Этак-то не в пример дешевле квитанций

обходится, особенно коли много сродства к одному капиталу приписано.

– Ну, меня-то, пускай, в солдаты не забреют, – усмехнулась Марья Гавриловна. – А коли мне капитал вносить, так уж надо в самом деле торговым делом заняться... Я же по третьей не запишусь.

– Вам надо по первой, – молвила Манефа. – Как же можно в третью с вашим капиталом?

– А в вашем городе по первой-то много ль приписано? – спросила Марья Гавриловна.

– По первой! – усмехнулась Манефа. – И по второй-то сроду никого не бывало. Какой наш город!.. Слава только, что город. Хуже деревни!..

– То-то и есть, – молвила Марья Гавриловна. – Не то что по первой, по второй если припишусь, толков не мало пойдет. А как делов-то не стану вести – на что ж это будет похоже?..

– Какими же вам, Марья Гавриловна, делами заниматься? – сказала на то Манефа. – Дело женское, непривычное... Какие вам дела?

– Да хоть бы на Волге пароходы завести? – подняв голову, с живостью молвила Марья Гавриловна. – Пароходное дело хвалят, у брата тоже бегают пароходы – и большую пользу он от них получает.

– Куда вам с пароходами, сударыня! – возразила Манефа. – И мужчине не всякому такое дело к руке приходится.

– Приказчика найду, – молвила Марья Гавриловна.

– Разве что приказчика, – сказала Манефа. – Только народ-от ноне каков стал!.. Совести нет ни в ком – как раз оберут.

– Эх, матушка, будто на свете уж и не стало хороших людей?.. Попрошу, поищу, авось честный навернется. Бог милостив!.. Патапа Максимыча попрошу... Вот на похоронах познакомилась я с Колышкиным Сергеем Андреичем. Патап же Максимыч ему пароходное дело устроил, а теперь подите-ка вы... По всей Волге гремит имя Колышкина.

– Слыхала про него, – отозвалась Манефа. – Дела у него точно что хорошо идут.

– Благословите-ка, матушка, – молвила Марья Гавриловна.

– На что? – спросила Манефа.

– Капитал объявлять, пароходы заводить, приказчика искать, – сказала Марья Гавриловна, весело глядя на Манефу.

– Суета! – сдержанным, но недовольным голосом молвила игуменья, однако, немного помолчав, прибавила: – Бог благословит на хорошее дело...

– Да ведь сами же вы, матушка, и гильдию платите и купчихой числитесь.

– Мое дело другое, сударыня. Ради христианского покоя это делаю, ради безмятежного жития. Поневоле так поступаю... А вы человек вольный, творите волю свою, якоже хотите... А я было так думала, что нам вместе жить, вместе и помереть... Больно уж привыкла я к вам.

– Что ж? И я возле вас в городе построюсь. Будем неразлучны, – сказала Марья Гавриловна.

– Разве что так, – ответила Манефа. – А лучше бы не дожить до того дня, – грустно прибавила она. – Как вспадет на ум, что раскатают нашу часовню по бревнышкам, разломают наши уютные келейки, сердце так и захолонет... А быть беде, быть!.. Однако ж засиделась я у вас, сударыня, пора и до кельи брести...

И, простившись с Марьей Гавриловной, тихими стопами побрела игуменья к своей «стае».

Из растворенных окон келарни слышались голоса: то московский посол комаровских белиц петь обучал. Завернула в келарню Манефа послушать их.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Василий Борисыч в Манефиной обители как сыр в масле катался. Умильный голосистый певун всем по нраву пришелся, всем угодить успел.

С матерью Манефой и с соборными старицами чуть не каждый день по несколько часов беседовал он от Писания или рассказывал про Белую Криницу, куда ездил в лучшую пору ее, при первом митрополите Амвросии. С матерью Аркадией водил длинные разговоры про уставную службу на Рогожском кладбище и рассказывал ей, как справляется чин архиерейского служенья митрополитом. Мать Назарету утешал разговорами о племяннице ее Домнушке и о порядках, какие заведены в Антоновской палате, где она при старухах в читалках живет. С Таифой беседовал о хозяйственных распорядках; оказалось, что Василий Борисыч и по хозяйству был сведущ. Мать казначея наговориться не могла с таким хорошим гостем... А больше всего дружил он с матушкой Виринеей, выучил ее, как свежие кочны капусты сберегать на зиму, как рябину в меду варить, как огурцы солить, чтоб вплоть до весны оставались зелеными. Раз до того заговорился с ней гораздый на все Василий Борисыч, что даже стал поучать матушку-келаря, как ветчину коптить. Мать Виринея плюнула на такие слова, обозвала московского посланника оболтусом и шибко на него прикрикнула: «Вздурился, что ль, батька? Разве в обители жрут скоромятину?» Это не помешало, однако, добрым отношениям Василия Борисыча к добродушной Виринее; возлюбила она его, как сына, не нарадуется, бывало, как завернет он к ней в келарню о разных разностях побеседовать... Про белиц и поминать нечего – души не чаяли они в Василье Борисыче, все до единой от речей и от песен его были без ума, и одна перед другой старались угодить, чем только могли, залетному соловью... Сам Василий Борисыч из девиц больше с певчими водился. Они и в разговорах поумней других были, и собой пригожее, и руки у них были не мозолистые, не закорузлые, как у рабочих белиц, а нежные, пышные, мягкие. Это с первых же дней скитского житья-бытья спознал Василий Борисыч. А пуще всего заглядывался он на смуглую, румяную, чернобровую Устинью Московку. Еще в Москве видал он ее у знакомых, где Устинья два лета жила в канонницах, «негасимую свечу» стояла... Там еще, где-то на Солодовке, с Устиньей он шашни завел, да не успел до конца добиться – дочитала она свечу и уехала в леса за Волгу...

По просьбе матушки Манефы начал Василий Борисыч оба клироса

«демественному» пению обучать. Пропел с ними стихеры и воззвахи на все городские праздники, принялся за догматики; вдруг занятия его с девицами порасстроились, в Осиповку на похороны надо было им уехать. Покаместь они были там, Василий Борисыч успел побывать в Улангере и уговорить некоторых из тамошних стариц на прием Владимирского архиепископа... Успел Василий Борисыч и попеть с улангерскими певицами, облюбовал и там одну девицу в Юдифиной обители – нежную, беленькую, маленькую ростом Домнушку, но и с ней, как с Устиньей в Москве, дела не успел до конца довести. Гостеприимная Манефина обитель больше всех полюбилась московскому посланнику. Думал недельку пожить в ней, да, заглядевшись на Устинью, решил оставаться, пока из обители вон его не вытурят.

В тот самый вечер, как мать Манефа сидела у Марьи Гавриловны и вела грустные речи о падении, грозящем скитам Керженским, Чернораменским, Василий Борисыч, помазав власы своя елеем, то есть, попросту говоря, деревянным маслом, надев легонький демикотоновый кафтанчик и расчесав реденькую бородку, петушком прилетел в келарню добродушной Виринеи. Завязался у них поучительный разговор о черепокожных, про которых во всех уставах поминается, что не токмо мирским, но и старцам со старицами разрешено их ядение по субботам и неделям святой великой Четырдесятницы. Мать Виринея утверждала, что это об орехах говорится, а Василий Борисыч того мнения держался, что черепокожные – морские плоды, и сослался на одну древлеписьменную книгу, где в самом деле такое объяснение нашлось.

– Так вот оно что, – с удивленьем покачивая головой, говорила мать Виринея, увидя в почитаемой за святую книге такие неудобь понимаемые речи. – Так вот оно что – морские плоды!.. Что ж это за морские плоды такие?.. Научи ты меня, старуху, уму-разуму, ты ведь плавал, поди, по морям-то, когда в митрополию ездил. Она ведь, сказывают, за морем.

– Не за морем, матушка, а токмо поблизости Черного моря, того самого, что в Прологах Евксинским понтом нарицается, – молвил Василий Борисыч.

– Помню, голубчик, помню, – сказала Виринея. – А видел ли ты его, касатик?

– Кого, матушка?

– А этот понт-от... – сказала Виринея. – Ведь это, стало быть, тот, про который на троицкой утрени поют: «В понте покрыв Фараона»?<sup>[181]</sup>

– То другой, матушка, – ответил Василий Борисыч. – Много ведь их, понтов-то, у Господа, – прибавил он.

– Эка премудрость Божия! – с умиленьем сказала Виринея, складывая



на груди руки... – Чего-то, чего на свете нет!.. Так что же, видел ты его, голубчик?.. Понт-от этот?..

– Довелось видеть, матушка, довелось, как в Одессе проездом был, – молвил Василий Борисыч.

– Что ж, родной, этот понт-море, поди, просторное и глубокое? – с любопытством продолжала расспросы свои мать Вириная.

– Просторное, матушка, просторное – краев не видать, – подтвердил Василий Борисыч.

– И глубокое? – спросила Вириная.

– Глубокое, матушка, – дна не достать, – ответил Василий Борисыч.

– Как Волга, значит... – со вздохом молвила Вириная и, облокотившись на стол, положила щеку на руку.

– Какая тут Волга! – усмехнулся Василий Борисыч. – Говорят тебе, дна не достать.

– Премудрости Господней исполнена земля! – набожно молвила Вириная. – Так вот оно, море-то, какое... Просторное и глубокое, в нем же гадов несть числа, – глубоко вздохнув, добавила она словами псалтыря.

– Есть, матушка, и гады есть, – подтвердил Василий Борисыч.

– Какие ж это плоды-то морские, сиречь черепокожные?.. Ты мне, родной, расскажи... Научи, Христа ради... Видал ты их, касатик?.. Отведывал?.. Какие на вкус-то?.. Чудное, право, дело!..

– Морскими плодами, матушка, раковины зовутся, пауки морские да раки... – начал было Василий Борисыч.

– Полно тебе окаянному!.. – закричала Вириная, подняв кверху попавшуюся под руку скалку. – Дуру, что ли, неповитую нашел смеяться-то?.. А?.. Смотри ты у меня, лоботряс этакой!.. Я те благословлю по башке-то!..

Досада взяла Василия Борисыча.

– Ну, матушка, с тобой говорить, что солнышко в мешок ловить, – сказал он. – Как же ты этого понять не можешь!

– Статочно ли дело, чтоб святые отцы такую погань вкушали? – громче прежнего закричала Вириная. – И раков-то есть не подобает, потому что рак – водяной сверчок, а ты и пауков приплел... Эх, Васенька, Васенька! Умный ты человек, а ину пору таких забобонов нагнешь, что и слушать-то тебя грех.

Василий Борисыч плюнул даже с досады. Да, забывшись, плюнул-то на грех не в ту сторону. Взъелась на него Вириная.

– Что плюешься?.. Что?.. Окаянный ты такой! – закричала она на всю келарню, изо всей силы стуча по столу скалкой... – Куда плюнул-то?.. В

кого попал?.. Креста, что ль, на тебе нет?.. Коли вздумал плевать, на левую сторону плюй – на врага, на дьявола, а ты гляди-ка, что!.. На ангела Господня наплевал... Аль не знаешь, что ко всякому человеку ангел от Бога приставлен, а от сатаны бес... Ангел на правом плече сидит, а бес на левом... Так ты и плюй налево, а направо плюнешь – в ангела угодишь... Эх ты, неразумный!.. А еще книги все знаешь, к митрополиту за миром ездил!.. Эх ты!..

– Так что ж, по-вашему, матушка, означают эти черепокожные, сиречь морские плоды? – спросил Василий Борисыч, стараясь замять разговор о плевке, учиненном не по правилам.

– Известно, орехи, – сухо ответила Виринея.

– Как же орехи-то на воде выросли? – спросил Василий Борисыч.

– Божиим повелением, – сказала Виринея.

– Ну, матушка, с тобой говорить, что воду решетом носить, – молвил с досадой Василий Борисыч. – Что в книге-то писано?.. «Морские плоды». Так ли?..

– С толку ты меня сбиваешь, вот что... И говорить с тобой не хочу, – перебила его мать Виринея и, плюнув на левую сторону, где бес сидит, побрела в боковушу.

Между тем как в келарне шел спор о черепокожных и плевках, она наполнилась певицами, проведавшими, что учитель их сидит у Виринеи.

Троицын день наступал. Хотелось Василию Борисычу утешить гостеприимную Манефу добрым осмогласным пением, изрядным демеством за всенощной и за вечерней. Попа нет, на листу лежать не станут,<sup>[182]</sup> зато в часовне такое будет пение, какое, может статься, и на Иргизе не часто слыхивали... За это Василий Борисыч брался, а он дела своего мастер, в грязь лицом себя не ударит.

Уже по несколько раз пропел он с ученицами и воззвахи, и догматик праздника, и весь канон, и великий прокимен вечерни: «*Кто Бог великий!*» Все как по маслу шло, и московский посол наперед радовался успеху, что должен был увенчать труды его... А баловницам певицам меж тем прискучило петь одно «божество», и, не слушая учителя, завели они троицкую псалму... Василий Борисыч поневоле пристал к ним, и вскоре звонкий голосок его покрыл всю певчую стаю... С увлечением пел он, не спуская глаз с разгоревшихся щек миловидной Устиньи Московки:

Источник духовный  
Днесь радости полный,  
Страны всего света, слышьте,

С апостолы примите  
Росу, росу благодати,  
Росу благодати.  
Облак разделяше,  
Языки рождаше,  
Рыбарям огненная,  
Евреям ужасная,  
И всем врагам страшная,  
И всем и всем врагам страшная.

Фленушка все время одаль сидела. Угрюмо взглядывала она на Василья Борисыча и казалась совершенно безучастною к пению. Не то уныние, не то забота туманила лицо ее. Нельзя было узнать теперь всегда игривую, всегда живую баловницу Манефы. Совесть ли докучала ей; над Настиной ли смертью она призадумалась; над советом ли матушки надеть иночество и прибрать к рукам всю обитель; томила ль ее досада, что вот и Троица на дворе, а казанского гостя Петра Степаныча Самоквасова все нет как нет?.. Не разгадаешь... И Марьюшка и Василий Борисыч не раз обращались к ней с шуточками, но Фленушка будто не слыхала речей их. Пасмурными взорами оглядывала она исподлобья певших белиц.

Вдруг, ни с того ни с сего, вскочила она с места, живым огнем сверкнули глаза ее, и, подскочив к Василью Борисычу, изо всей силы хлопнула его по плечу.

– Тошнехонько!.. Мирскую бы!.. Веселую, громкую! – вскрикнула она...

– Ох, искушение! – молвил Василий Борисыч, вздрогнув от полновесного удара.

– Новенькую какую-нибудь, – продолжала Фленушка, не снимая руки с плеча Василья Борисыча. – Тоску нагнали вы своим мычаньем. Слушать даже противно. Да ну же, Василий Борисыч, запевай развеселую!..

– Ох, искушение! – с глубоким вздохом, перебегая глазами по белицам, сказал Василий Борисыч.

– Да начинай же, говорят тебе! – топнув ногой, с досадой закричала на него Фленушка. – Скорей!

Откашлянулся Василий Борисыч и серебристым голосом завел тихонько скитскую песенку:

Не сама-то я, младешенька, во старочки пошла,

Где теперь всю невозможность я в веселости нашла...

Всем телом вздрогнула Фленушка. Бледность облила лицо ее.

– Не надо! – вскричала. – Что за песню выдумал петь!.. Ровно на смех!.. Другую!.. Веселенькую! Да начинай же, Василий Борисыч!

– Какую же, Флена Васильевна? – разводя руками, молвил Василий Борисыч. – Право, не вздумаю вдруг... Разве про тирана? На Иргизе, в Покровском, девицы, бывало, певали ее...

И завел протяжную песню:

Ты, погибель мою строя,  
Тем доволен ли, тиран,  
Что, лишив меня покоя,  
Совершил свой злой обман?

При звуках этой песни добродушная Виринея, забыв досаду на Василь Борисыча, выглянула из боковуши и, остановясь в дверях, пригорюнилась.

– Что ж это за тиран такой? – умильно и с горьким вздохом спросила она у Василья Борисыча, не заметившего ее входа.

– Враг, матушка, диавол, – ответил ей Василий Борисыч. – Кто же, как не он, погибель-то нашу строит?

– Он, родимый ты мой Василий Борисыч, точно что он... – простодушно отвечала Виринея. – У него, окаянного, только и дела, чтоб людей на погибель приводить.

Белицы засмеялись. Мать Виринея накинулась на них:

– Чему зубы-то скалите? Коему ляду<sup>[183]</sup> обрадовались, непутные?.. Их доброму поучают, а они хохочут, бесстыжие, рта не покрываючи... Да уймешься ли ты, Устинья?.. Видно, только смехам в Москве-то и выучилась!.. Уймись, говорю тебе – не то кочергу возьму... Ишь совести-то в вас сколько!.. Чем бы сердцем сокрушаться да душой умиляться, а им только смешки да праздные слова непутные!.. Ох, владычица, царица небесная!.. Какие ноне молодые-то люди пошли!.. Вольница такая, что не приведи Господи!.. Пой, а ты, Васенька, пой, голубчик.

Не успел начать Василий Борисыч, как дверь отворилась и предстала Манефа. Все встали с мест и сотворили перед игуменьей обычные метания... Тишина в келарне водворилась глубокая... Только и слышны

были жужжание мух да ровные удары маятника.

– Ну что? Каково поете? – спросила Манефа.

– Изрядно, матушка, изрядно идет, – ответил Василий Борисыч.

– Что спели?

– Троицку службу, матушка, – степенно ответил Василий Борисыч.

– Спаси ты Христос за твое попечение, – молвила Манефа, слегка наклоня голову перед Василием Борисычем. – По правде сказать, наши девицы не больно горазды, не таковы, как на Иргизе бывали... аль у вас, на Рогожском... Бывал ли ты, Василий Борисыч, на Иргизе у матушки Феофании – подай, Господи, ей царство небесное, – в Успенском монастыре?

– Как не бывать, матушка? Сколько раз! – ответил Василий Борисыч.

– Вот уж истинно ангелоподобное пение там было. Стоишь, бывало, за службой-то – всякую земную печаль отложишь, никакая житейская суета в ум не приходит... Да, велико дело церковное пение!.. Душу к Богу подымлет, сердце от злых помыслов очищает...

– Что ж, матушка, и вашего пения похвалить нельзя – такого мало где услышишь, – сказал Василий Борисыч.

– Какое у нас пение, – молвила Манефа, – в лесах живем, по-лесному и поем.

– Это уж вы напрасно, – вступился Василий Борисыч. – Не в меру своих певиц умаляете!.. Голоса у них чистые, ноту держат твердо, опять же не гнут, как во многих местах у наших христиан повелось...

– А ты, друг, не больно их хваливай, – перебила Манефа. – Окромя Марьюшки да разве вот еще Липы с Грушей,<sup>[184]</sup> и крюки-то не больно горазды разбирать. С голосу больше петь наладились, как Господь дал... Ты, живучи в Москве-то, не научилась ли по ноте петь? – ласково обратилась она к смешливой Устинье.

– Когда было учиться-то мне, матушка? – стыдливо закрывая лицо передником, ответила пригожая канонница. – Все дома да дома сидишь – на Рогожском-то всего только раз службу выстояла.

– Она понятлива, матушка, я ее обучу, – улыбнувшись на Устинью, молвил Василий Борисыч.

Зарделась Устинья пуще прежнего от речей московского посланника.

– Обучай их, Василий Борисыч, всех обучай, которы только тебе в дело годятся, уставь, пожалуйста, у меня в обители доброголасное и умильное пение... А то как поют? Кто в лес, кто по дрова.

– Оченно уж вы строги, матушка, – сказал Василий Борисыч. – Ваши девицы демество даже разумеют, не то что по другим местам... А вот, Бог

даст, доживем до праздника, так за троицкой службой услышите, каково они запоют.

– Троицкая служба трудная, Василий Борисыч, – молвила Манефа, – трудней ее во всем кругу<sup>[185]</sup> нет: и стихеры большие и канон двойной, опять же самогласных<sup>[186]</sup> довольно... Гляди, справишься ли ты, Марьюшка?

– Справится, матушка, беспрременно справится, – ответил за головщицу Василий Борисыч. – И «седальны»<sup>[187]</sup> не говорком будут читаны, – все нараспев пропоет.

– Уж истинно сам Господь принес тебя ко мне, Василий Борисыч, – довольным и благодушным голосом сказала Манефа. – Праздник великий – хочется поблаголепнее да посветлей его отпраздновать... Да вот еще что – пение-то пением, а убор часовни сам по себе... Кликните, девицы, матушку Аркадию да матушку Таифу – шли бы скорей в келарню сюда...

Сотворив поясной поклон перед игуменьей, Устинья чинно вышла из келарни, но только что спустилась с крыльца, так припустила бежать, что только пятки у ней засверкали.

Минут через пять вошла Аркадия, а следом за ней Таифа. Сотворя семипоклонный начал перед иконами и обычные метания перед игуменьей, поклонились они на все стороны и, смиренно поджав руки на груди, стали перед Манефой, ожидая ее приказаний.

– До святой пятидесятницы не долго, часовню надо прибрать по-доброму, – сказала игуменья.

– Все будет сделано, матушка, – с низким поклоном ответила Аркадия. – Как в прежни годы бывало, так и ноне устроим все.

– И полы, и лавки, и подоконники девицам вымыть чисто-начисто, – не слушая уставщицу, продолжала Манефа. – Дресвой бы мыли, да не ленились, скоблили бы хорошенько. Паникадилы да подсвечники мелом вычистить.

– К Пасхе чищены, матушка, – заметила уставщица.

– Оклады на иконах как жар бы горели, – не останавливаясь, продолжала Манефа. – Березок нарубить побольше, да чтоб по-летошнему у тебя осины с рябиной в часовню не было натащено... Горькие деревья, не благословлены. В дом Господен вносить их не подобает... Березки по стенам и перед солеей расставить, пол свежей травой устлать, да чтоб в траве ради благоухания и зоря была, и мята, и кануфер... На солею и перед аналогием ковры постлать новые, большие... Выдай их, Таифушка... Да цветных бы пучков, с чем вечерню стоять, было навязано довольно, всем

бы достало, и своим и прихожим молельщикам, которые придут... В субботу перед всенощной девиц на всполье послать, цветков бы всяких нарвали, а которы цветы Марья Гавриловна пришлет, те к иконам... Местные образа кисеями убрать, лентами да цветами, что будут от Марьи Гавриловны... А тебе, мать Вириная, кормы изготовить большие: две бы яствы рыбных горячих было поставлено да две перемены холодных, пироги пеки пресные с яйцами да с зеленым луком, да лещиков зажарь, да оладьи были бы с медом, левашники с изюмом... А ты, мать Аркадия, попомни, во всех паникадилах новые свечи были бы вставлены, и перед местными и передо всеми... Вечор поглядела я у тебя – в часовне-то в заднем углу паутина космами висит, – чтоб сегодня же ее не было. Катерина твоя за часовней ходит плохо... Скажи ей, на поклоны при всех поставлю, только раз еще замечу... А ну-ка, Василий Борисыч, благо девицы в сборе – послушала бы я, как ты обучаешь их... Спойте-ка *«Радуйся царице!»*.

Василий Борисыч раскрыл минуею цветную, оглянул ставших рядами певиц и запел с ними девятую песнь троицкого канона... Манефа была довольна.

– За такое пение мы тебе за вечерней хороший пучок цветной поднесем, – улыбаясь, молвила она Василью Борисычу. – Из самых редкостных цветков соберем, которы Марья Гавриловна нам пожалует...

– Пучок-от связать бы ему с банный веник, – со смехом вмешалась Фленушка. – Пусть бы его на каждый листок по слезинке положил.

– Прекрати, – строго сказала Манефа. – У Василья Борисыча не столь грехов, чтоб ему целый веник надо было оплакать. [\[188\]](#)

– Верь ты ему! – с усмешкой сказала не унимавшаяся Фленушка. – На глазах преподобен, за глазами от греха не свободен.

– Замолчишь ли ты? – возвысила голос Манефа. – Что за бесстыдница! Не досадуй, Василий Борисыч, на глупые девичьи речи – она ведь у меня шальная.

Василий Борисыч только улыбнулся.

– Искушение! – встряхнув головой, промолвил он потом и, вздохнув, завел с девицами догматик троицкой вечерни.

Заслушалась Манефа пения, просидела в келарне до самой вечерней трапезы. В урочный час Вириная с приспешницами ужину собрала, и Манефа сама сидеть за трапезой пожелала... Когда яства были расставлены, все расселись по местам, а чередная канонница подошла к игуменье за благословением начать от Пролога чтение, Василий Борисыч сказал Манефе:

– Не благословите ли, матушка, вместо чтения спеть что-нибудь?

– Чего спеть? – спросила игуменья.  
– Духовную псалму какую-нибудь, – ответил Василий Борисыч.  
– Не водится, Василий Борисыч, за большой трапезой псалмы не поют, – заметила Манефа.  
– Как не поют, матушка? – возразил Василий Борисыч. – Поют – они ведь Божественного смысла исполнены, пристойно петь их за трапезой.  
– Сколь обитель наша стоит – такого дела у нас не бывало, – сказала Манефа. – Да не бывало и по всему Керженцу.  
– Про Иргиз-от, матушка, давеча мы поминали, – подхватил Василий Борисыч. – А там у отца Силуяна<sup>[189]</sup> в Верхнем Преображенском завсегда по большим праздникам за трапезой духовные псалмы, бывало, поют. На каждый праздник особые псалмы у него положены. И в Лаврентьеве за трапезой псалмы распевали, в Стародубье и доньне поют... Сам не раз слышал, певал даже с отцами...  
– Право, не знаю как, – колебалась Манефа. – Да у меня девицы и псалм-то хороших не знают...  
– А вот я их «Богородичну плачу» на днях обучил, – подхватил Василий Борисыч, – как Пречистая Богородица у креста стояла да плакала. Благословите-ка, матушка, пропеть...  
Нечего было делать, уступила Манефа.  
– Бог благословит, пойте во славу Божию, – сказала она.  
Василий Борисыч с Марьюшкой головщицей, с Устиньей, Липой и Грушей стали впереди столов. К ним подошла Фленушка, и началось пение:

Во святом было во граде,  
Во Ерусалиме,  
На позорном лобном месте  
На горе Голгофе —  
Обесславлен, обещен  
Исус, сыне Божий,  
Весь в кровавых язвах,  
На кресте бысть распят.  
Тут стояла дева мати,  
Плакала, рыдала,  
Сокрушалась и терзалась  
О любезном сыне:  
«Ах ты, сын, моя надежда,  
Исус, сыне Божий,  
Где архангел, кой пророчил,



Что царем ты будешь?  
Я теперь всего лишаясь,  
Я теперь бесчадна —  
Бейся, сердце, сокрушайся,  
Утроба, терзайся».  
Со креста узрев сын Божий,  
Плачущую мати,  
Услыхав ее рыданья,  
Так проглаголал:  
«Не рыдай мене, о мати,  
И отри ток слезный,  
Веселися ты надеждой —  
Я воскресну, царем буду  
Над землей и небом...  
Я тогда тебя прослаблю;  
И со славой вознесу тех,  
Кто тя возвеличит!...»

Смолкли последние звуки «Богородична плача», этой русской самородной «Stabat mater», и в келарне, хоть там был не один десяток женщин, стало тихо, как в могиле. Только бой часового маятника нарушал гробовую тишину... Пение произвело на всех впечатление. Сидя за столами, келейницы умильно поглядывали на Василья Борисыча, многие отирали слезы... Сама мать Манефа была глубоко тронута.

— И откуда такую песню занес ты к нам, Василий Борисыч? — с умилением сказала она. — Слушаешь, не наслушаешься... Будь каменный, и у того душа жалостью растопится... Где, в каких местах научился ты?

— По разным обителям ту песнь поют, матушка... — скромно ответил Василий Борисыч. — И по домам благочестивых христиан поют... Выучился я петь ее в Лаврентьеве, а слышал и в Куренях и в Бело-Кринице. А изводу<sup>[190]</sup> она суздальского. Оттоль, сказывают, из-под Суздаля, разнесли ее по обителям.

— Спасибо, друг, что научил девиц «Плачу Богородичну»... Много духовных песен слыхала я, а столь сладостной, умильной, не слыхивала, — молвила Манефа. — Много ль у тебя таких песен, Василий Борисыч?

— Довольно-таки, матушка, — ответил он. — Сызмальства охоту имел к ним — кои на память выучил, кои списал на бумагу... Да вот искушение!.. тетрадку-то не захватил с собою... А много в ней таких песен.

– Жаль, друг, очень жаль, что нет с тобой той тетради... – молвила Манефа. – Которы на память-то знаешь, перескажи девицам – запишут они их да выучат... Марьюшка, слышишь, что говорю?

– Слушаю, матушка, – с низким поклоном отозвалась головщица.

Кончилась трапеза... Старицы и рабочие белицы разошлись по кельям, Манефа, присев у растворенного окна на лавку, посадила возле себя Василия Борисыча. Мать Таифа, мать Аркадия, мать Назарета, еще три инокини из соборных стариц да вся певчая стая стояла перед ними в глубоком молчаньи, внимательно слушая беседу игуменьи с московским посллом...

Про Иргиз говорили: знаком был он матери Манефе; до игуменства чуть не каждый год туда ездила и гащивала в тамошних женских обителях по месяцу и дольше... Василий Борисыч также коротко знал Иргизские монастыри. Долго он рассуждал с Манефой о благолепии тамошних церквей, о стройном порядке службы, о знаменитых певцах отца Силуяна, о просторном и во всем преизобильном житии тамошних иноков и стариц.

– Как по падении благочестия в старом Риме Царьград вторым Римом стал, так по падении благочестия во святой Афонской горе второй Афон на Иргизе явился, – говорил красноглаголивый Василий Борисыч. – Поистине царство иноков было... Жили они беспечно и во всем изобильно... Что земель от царей было им жаловано, что лугов, лесу, рыбных ловель и всякого другого угодья!.. Житье немцам в той стороне, а иргизским отцам и супротив немцев было привольней...

– А теперь на Иргизе что? – С горьким чувством молвила Манефа. – Не стало красоты церковной, запустели обители!.. Которы разорены, и знаку от них не осталось, которы отданы хромцам на обе плесне!<sup>[191]</sup>

– Мерзость запустения, Данилом пророченная! – проговорил Василий Борисыч.

– За грехи наши, за грехи! – больше и больше оживляясь, говорила Манефа. – Исполнился фиал Господней ярости!

– Последние времена! – пригорюнясь, вздохнула Таифа.

– Да, – сказала Манефа, величаво поднимая голову и пылким взором оглядывая предстоявших. – По всему видно, что близится скончание веков. А мы во грехах, как в тине зловонной, валяемся, заслепили очи, не видим, как пророчества сбываются... Дай-ка сюда Пролог, мать Таифа... Ищи ноемврия шестнадцатое.

Таифа поднесла к Манефе раскрытый Пролог... Указав казначее на строки, она велела их читать громогласно.

– «И рече преподобный Памва ученику своему, – нараспев стала Таифа читать, – се убо глаголю, чадо, яко приидут дние, внегда расказят иноцы книги, загладят отеческая жития и преподобных мужей предания, пишущие тропари и еллинская писания. Сего ради отцы реша: «Не пишите доброю грамотою, в пустыне живущие, словес на кожаных хартиях, хочет бо последний род загладити жития святых отец и писати по своему хотению».

– Разве не исполнилось? – задрожавшим от страстного волненья голосом спросила Манефа, пламенными очами обводя предстоявших. – Не сбылось разве проречение преподобного?..

– Давно сбылось, матушка, еще во дни патриарха Никона, – отозвался Василий Борисыч.

– «Книгу Веру» возьми, читай двести сорок шесть лист, – сказала Манефа.

Таифа стала читать.

– К сему же внидет в люди безверие и ненависть, реть, ротьба,<sup>[192]</sup> пьянство и хищение; измерят времена и закон, и беззаконующий завет наведут с прелестию и осквернят священные применения всех оных святых древних действ, и устыдятся креста Христова на себе носить».

– Разве не видим того? – прожигающим голосом вскрикнула Манефа.

Одна громче другой заголосили келейницы, перебивая друг друга:

– Изменили времена!.. Не от Адама годам счет ведут!

– Начало индикта с Семеня-дня на Васильев поворотили.<sup>[193]</sup> Времен изменение.

– Безблагодатные, новые законы пишут!.. Без патриаршего благословенья!

– Отмечают градской закон Устиньяна-царя<sup>[194]</sup> и иных царей благочестивых!..

– Заместо креста и евангелья идольское зеркало в судах положили!

– А в том зеркале Петр-богоборец писан!

– Господа кресты с шей побросали!

– По купечеству даже крестоборство пошло!

– А все прелесть иноземная – еллинские басни!

– Немцы, все немцы бед на Руси натворили!.. Люторы!.. Кальвины!..

– Житья христианам от немцев не стало.

Распылались изуверством старицы. Злобой загорелись их очи, затрепетали губы, задрожали голоса... Одна, как лед холодная, недвижно сидела Манефа.

– Читай в Кирилловой книге слово в неделю мясопустную, – сказала

она Таифе.

Стала читать она:

– «Такожде святыи Ипполит папа римский глаголет: «Сия заповедахом вам, да разумеете напоследок быти хотящая: болезнь и молву и всех человек еже друг ко другу развращение, и церкви Божии якоже простые храмины будут... И развращения церковная всюду будут... Писания небрегоми будут...»

– Ниже читай: «Басни до конца», – прервала Таифу мать Манефа.

– «Басни до конца во мнящих христианех будут, – читала Таифа. – Тогда восстанут лжепророцы и ложные апостоли, человецы тлетворницы, злотворцы, лжуще друг другу, прелюбодеи, хищницы, лихоимцы, заклинатели, клеветницы, пастырие якоже волцы будут, а священницы лжу возлюбят...»

– Софрон с Корягой! – с желчью вполголоса молвила Василью Борисычу Манефа.

Тот вздохнул и, пожимая плечами, тоже вполголоса молвил:

– Искушение!..

– «Иноцы и черноризцы мирская вожделеют», – продолжала Таифа.

– Яко же нецыи от zde сущих, – прибавляла Манефа, окидывая взорами предстоявших.

Старицы поникли головами. Белицы переглянулись.

– «О! горе, егда будет сие, – читала Таифа, – восплачутся тогда и церкви Божии плачем великим, зане ни приношения, ниже кадило совершится, ниже служба богоугодная; священныи бо церкви: яко овощная хранилища будут, и честное тело и кровь Христова, во днех оных не имать явится, служба угаснет, чтение Писания не услышится, но тьма будет на человецех».

– Прекрати, – повелела Манефа.

Смолкла Таифа и низко склонила голову. Несколько минут длилось общее молчанье, прерываемое глубокими вздохами стариц.

Встала с места Манефа, мрачно поглядела на келейниц, сказала:

– И тому по малом времени подобает быти.

– Подобает, матушка... Вскоре подобает, – глубоко вздохнув, промолвил и Василий Борисыч, вскинув, однако, исподтишка глазами на Устинью, у которой обильные слезы выступили от Таифина чтения и от речей игуменьи...

– Что делается?.. Какие дела совершаются?.. – опираясь на посох, продолжала Манефа. – Оглянитесь... Иргиза нет, Лаврентьева нет, на Ветке пусто, в Стародубье мало что не порушено... Оскудение священного чина

всюду настало – всюду душевный глад... Про Белу-Криницу не поминай мне, Василий Борисыч... сумнительно... Мы одни остаемся, да у казаков еще покаместь держится в мале древнее благочестие... Но ведь казаки люди служилые – как им за веру стоять?..

– Стояли же за веру, матушка, и служилые, – робко ввернула слова Аркадия, слывшая за великую начетчицу.

– Когда?.. – резко спросила ее Манефа, окинув строгим взглядом.

– А стрельцы-то, матушка?.. Благочестивая рать небреемая!.. – смиренно промолвила уставщица, сложив у груди руки, задрожавшие от грозного взгляда игуменьи.

– Пустого не мели, – отрезала Манефа. – За веру стоять стрельцы и в помышленьи не держали... Велел Яким патриарх угостить их на погребке, и пропили они древнее благочестие... Что пустое городить?.. Служилым людям, хоть и казаков взять, – не до веры. Ихнее дело – царская служба, а вера дело духовное – особь статья... Истинная вера монастырями да скитами держится, сиречь духовным чином... Оскудеет священный чин, перестанет иноческое житие – тогда и вере конец... Нами стоит древнее благочестие... А много ль нас останется?.. Подумайте-ка об этом!

– Зачем, матушка, ропотом Бога гневить? – молвил Василий Борисыч. – Живете вы, слава Богу, в здешних лесах тихо, безмятежно, никакого касательства до вас нет...

– Не ропщу, Василий Борисыч, – сдержанно ответила Манефа. – К тому говорю, что пророчества сбываются, скончание веков приближается... Блажен бдяй!.. Вот что... А что сказал про наше житие, так поверь мне, Василий Борисыч, обителям нашим не долго стоять... Близится конец!.. Скоро не останется кивотов спасения... В мале времени не будет в наших лесах хранилищ благочестия... И тогда не закоснит Господь положить конец временам и летам...

Замолчала Манефа... Никто слова ей в ответ... Матери крестились и шептали молитвы.

Минуты через три мать Вириная, отирая обильно выступившие на глазах ее слезы, обратилась к игуменье:

– Намедни, как ты хворала, матушка, ронжински ребята ко мне в келарню старчика приводили. В Поломских лесах, сказывал, спасался, да лес-то вырубать зачали, так он в иное место пробирался... И сказывал тот старчик, что твое же слово: по скорости-де скончание веку будет, антихрист-де давно уж родился, а под Москвой, в Гуслицах, и Господни свидетели уж с полгода ходят – Илья пророк с Енохом праведным.

– Пустяков не плети, Виринаюшка, – перебила ее Манефа. – Знать бы

тебе горшки да плошки, а пустяков не городить. Какие там Илья пророк с Енохом объявились?.. Чего им в Гуслицах делать?.. Фальшивы деньги, что ли?

– Старчик, по всему видно, матушка, жития высокого и дар разума, в пустыни живучи, снискал... Пустого слова не скажет, – зачала было смущенная словами игуменьи Виринея, но Манефа опять перебила ее.

– Тебе бы того старца напоить, накормить и всем упокоить, – сказала она, – а пустых речей с ним не заводить... Да, друг, – немного помолчав, сказала Манефа, обращаясь к Василию Борисычу, – недолго, недолго пожить нам в обителях!.. Запустеет свято место!..

– Полноте, матушка, – молвил Василий Борисыч. – Не сейчас же вдруг. Господь милостив – на ваш век потерпит.

– Не знаешь ты, Василий Борисыч, здешних обстоятельств, потому так и говоришь, – сказала Манефа. – В иное время порасскажу, а теперь время идти на покой... Ишь как стемнело, ровно осенью... Прощайте, матери!.. Прощайте, девицы!

И, слегка склонив голову, пошла из келарни. Фленушка да Марьюшка вели ее под руки. Разошлись по кельям и матери и белицы. Только Устинья Московка в Виринеиной боковуше что-то замешкалась и вышла последнею из всех белиц и стариц.

Когда все разошлись, Василий Борисыч несколько минут дружелюбно побеседовал с Виринеей про гуслицких Илию с Енохом и за великую тайну сказал ей, что, отъезжая из Москвы, сам то же слышал на Рогожском от матери Пульхерии... Этим Виринея была очень утешена... Значит, ее правда, не Манефина, значит, не ложное сказал ей старчик, приведенный ронжинскими ребятами... Распрощался наконец и Василий Борисыч с Виринеей. Последний вышел он из келарни.

На дворе стояла такая темень, что по кельям хоть огни вздувай. После продолжительного зноя под вечер потянуло прохладой с мокрого угла,<sup>[195]</sup> и скоро все небо застлалось тучами... Хоть не много дней оставалось до Петра Солноворота,<sup>[196]</sup> хотя и сходились уже вечерняя заря с утренней, однако ж такая темнота настала, что хоть в осеннюю ночь... Тишь была невозмутимая, лишь вдали в заколосившемся хлебе трещали кузнечики да по лесу раздавались изредка глухие звуки ботал.<sup>[197]</sup> Дождем еще не кропило, но сильно марило,<sup>[198]</sup> душный воздух полон был тепла и благовония. По сторонам часто вспыхивали зарницы...

А в ту пору молодежи не спалось... Душная, беспокойная дремота,

разымчивая негa всех одолевала. Яр-Хмель по людям ходил.

А ходил еще в ту пору по Манефиной обители конюх Дементий. Выпустив лошадей в лес на ночное, проходил он в свою работницкую избу ближним путем – через обитель мимо часовни. Идет возле высокой паперти, слышит под нею страстный шепот и чьи-то млеющие речи... Остановился Дементий и облизнулся... Один голос знакомым ему показался. Прислушался конюх, плюнул и тихими, неслышными шагами пошел в свое место.

– Ай да московский певун! – проворчал он сквозь зубы...

Не доходя конного двора, Дементий остановился. Постоял, постоял и, повернув в сторону, спешными шагами пошел к крайней кельенке сиротского ряда... А жила в той кельенке молодая бабенка, тетка Семениха... А была та Семениха ни девка, ни вдова, ни мужняя жена – мирской человек, – солдатка.

Ходит Ярило по людям, палит страстью, туманит головы. А ноченька выдалась темная, тихая, теплая, душистая... Много жалуеt такие ночи развеселый Яр-Хмель молодец!

## Часть третья



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Весенние гулянки по селам и деревням начинаются с качелей Святой недели и с радуницких хороводов. Они тянутся вплоть до Петрова розговенья. На тех гулянках водят хороводы обрядные, поют песни заветные – то останки старинных праздников, что справляли наши предки во славу своих развеселых богов.

По чистому всполью, по зеленым рощам, по берегам речек всю весну молодежь празднует веселому Яр-Хмелю, богу сердечных утех и любовной сласти... То-то веселья, то-то забав!.. Милованью да затейным играм конца нет...

До солнечного восхода раздаются звонкие песни и топот удалых плясок на тех праздниках... Кроме дней обрядных, лишь только выдастся ясный тихий вечер, молодежь, забыв усталость дневной работы, не помышляя о завтрашнем труде, резво бежит веселой гурьбой на урочное место и дó свету водит там хороводы, громко припевая, как «Вокруг города Царева ходил-гулял царев сын королев», как «В Арзамасе на украше собирались молодушки в един круг», как «Ехал пан от князя пьян» и как «Селезень по реченьке сплавливал, свои сизые крылышки складывал»... Слышатся в тех песнях помины про Дунай-реку, про тихий Дон, про глубокие омуты днепровские, про широкое раздолье Волги-матушки, про московскую реку Смородину... Лебеди белые, соколы ясные, вольная птица журинька, кусты ракитовые, мурава зеленая, цветы лазоревые, духи малиновые, мосты калиновые – одни за другими вспоминаются в тех величавых, сановитых песнях, что могли вылиться только из души русского человека на его безграничных, раздольных, óт моря дó моря раскинувшихся равнинах.

Не успели оглянуться после Радуницы, как реки в берега вошли и наступило пролетье... Еще день-два миновало, и прикатил теплый Микула с кормом.<sup>[199]</sup> Где хлеба довольно в закромах уцелело, там к Микулину дню брагу варят, меда ставят, братчину-микульщину справляют, но таких мест немного. Вешнему Микуле за чарой вина больше празднуют.

В лесах на севере в тот день первый оратай русской земли вспоминался любимый сын Матери-Сырой Земли, богатырь, крестьянством излюбленный, Микула Селянинович, с его сошкой дорогá чёрна дерева, с его гужиками шелкóвыми, с омешиком<sup>[200]</sup> серебряным, с присóшками красна золота.

Микулу больше всего смерд<sup>[201]</sup> чествовал... Ему, поильцу, ему,

милостивому кормильцу, и честнее и чаще справлял он праздники... Ему в почесть бывали пиры-столованья на братчинах-микульщинах.<sup>[202]</sup>

В день Микулы с кормом, после пиров-столований у богатых мужиков, заволжски ребята с лошадьми всю ночь в поле празднуют... Тогда-то в ночной тишине раздаются громкие микульские песни... Ими приветствуют наступающий день именин Матери-Сырой Земли.

Микула свет, с милостью  
Приходи к нам, с радостью,  
С великой благостью!  
Держимся за сошку,  
За кривую ножку...  
Мать-Сыра Земля добра,  
Уроди нам хлеба,  
Лошадушкам овсеца,  
Коровушкам травки!..

Минул праздник Микулы, минули именины Матери-Сырой Земли, с первым сбором целебных зелий и с зилотовыми хороводами.<sup>[203]</sup> Глядь, честной Семик на дворе – завиванье венков, задушные поминки. В тот день под вечер, одни, без молодцев, собираются девушки. Надев зеленые венки на головы, уходят они с песнями на всполье и там под ракитовым кустом стряпают «сборну яичницу», припевая семицкие песни. Завив венки, целуются через них и «кумятся» при звонких веселых песнях:

Покумимся, кума, покумимся,  
Мы семицкою березкой покумимся.  
Ой Дид Ладо! Честному Семику.  
Ой Дид Ладо! Березке моей,  
Еще кумушке да голубушке!  
Покумимся,  
Покумимся,  
Не сваряся, не браняся!  
Ой Дид Ладо! Березка моя!

Тут же и «кукушку крестят». Для того, нагнув две молодые березки, связывают верхушки их платками, полотенцами или лентами и вешают на

них два креста-тельника.<sup>[204]</sup> Под березками расстилают платки, кладут на них сделанную из кукушкиных слезок<sup>[205]</sup> птичку, и, надев на нее крест, попарно девушка с девушкой ходят друг другу навстречу вокруг березок, припевая:

Ты, кукушка ряба,  
Ты кому же кума?  
Покумимся, кумушка,  
Покумимся, голубушка,  
Чтоб жить нам не браниться,  
Чтоб друг с дружкой не свариться.

С тех пор семицкие кумушки живут душа в душу целых три дня, вплоть до Троицы. Случается, однако, что долгий язычок и до этого короткого срока остужает семицкое кумовство... Недаром говорится пословица: «Кукушки кстили, да языка не прикусили».

А через день от честного Семика – «Клечальна суббота»... В тот день рубят березки, в домах и по улицам их расставляют ради Троицы, а вечером после всенощной молодежь ходит к рекам и озерам русалок гонять. Всю семицку неделю, что слывет в народе «зелеными святками», шаловливые водяницы рыщут по полям, катаются по зеленой ржи, качаются на деревьях, залучая неосторожных путников, чтоб защекотать их до смерти и увлечь за собой в подводное царство дедушки Водяного. Всю троицкую ночь с березками в руках молодые парни и девушки резво и весело, с громким смехом, с радостными кликами бегают по полям, гоняя русалок, а на солнечном восходе все вместе купаются в водах, уже безопасных от ухищрений лукавых водяниц... На Троицу у молодежи хороводы, на Троицу развиванье семицких венков, пусканье их на воду и гаданье на них... А у степенных женщин и старушек на тот день свои заботы – идут они на кладбища и цветными пучками, что держали в руках за вечерней, прочищают они глазыньки родителям.<sup>[206]</sup>

И так день за день, неделя за неделей, вплоть до Петрова дня... Что ни день, то веселье, что ни вечер, то «гулянка» с песнями, с играми, с хороводами и гаданьями... Развеселое время!..

В скитах гулянкам места нет... То бесовские коби, твердят старицы белицам, от Бога они отводят, к бесам же на пагубу приводят. То сатанино замышление, враг Божий тем позóрам людей научил, да погубит их в вечной муке, в геенне огненной... Имели скиты влияние на окрестные деревни – и там водят хороводы не так часто, не так обрядно и не так весело, как в других местах России. Молоды ребята больше играют в городки,<sup>[207]</sup> а девицы с молодницами сидят перед ними на завалинах домов и редко-редко сберутся вместе за околицу песенок попеть да походить в хороводах вялой, неспешной поступью... Зато другие за Волгой забавы есть: катанья в ботниках<sup>[208]</sup> по вешним разливам с песнями, а часто и с ружейной пальбой, веселые гулянки по лесам и вечерние посидки на берегах речек... Опричь того, есть еще особый род сходбищ молодежи, только заволжским лесам и свойственный.

В лесах Кéрженских, Чернораменных скиты стоят издавна, почти с самого начала церковного русского раскола. Одни еще по смерти своих основателей обезлюдели; другие уничтожены во время «Питиримова разоренья».<sup>[209]</sup> На местах запустелых скитов остались гробницы старцев и стариц. Некоторые из них почитаются святыми. К этим-то гробницам и сходятся летом в известные дни на поклоненье. Матери-келейницы служат там каноны «За единоумершего» и поставляют прихожим богомольцам привезенную с собой трапезу. Оттого охотников до богомолий на гробницах всегда бывает довольно. Под полами приносят они и штофы с вином, и балалайки, и гудки, и гармоники. Только что кончится трапеза, вблизи гробницы на какой-нибудь поляне иль в перелеске гульба начинается, и при этой гульбе как ни бьются, как ни хлопочут матери-келейницы, а какая-нибудь полногрудая белица уж непременно сбежит к деревенским парням на звуки тульской гармоники.

Такие сборища бывают на могиле старца Арсения, пришедшего из Соловков вслед за шедшей по облакам Шарпанской иконой Богородицы; на могиле старца Ефрема из рода смоленских дворян Потемкиных; на пепле Варлаама, огнем сожженного; на гробницах многоучительной матушки Голиндухи, матери Маргариты одинцовской, отца Никандрия, пустытника Илии, добрым подвигом подвизавшейся матери Фотинии, прозорливой старицы Феклы; а также на урочище «Смольянах», где лежит двенадцать гранитных необделанных камней над двенадцатью попами, не восхотевшими Никоновых новин прияти.<sup>[210]</sup> Но самое главное, самое многолюдное сборище бывает в Духов день на могиле известного в истории раскола старца Софонтия. Его гробница в лесу неподалеку от

деревни Деянова.

Мать Манефа была очень довольна троицкой службой, отправленной в ее часовне. От согласного пения обученных Васильем Борисычем певиц пришла она в такое умиление, что не знала, как и благодарить московского посла. Осталась довольна и убранством часовни, в чем Василий Борисыч также принимал участие. Он расставлял вокруг аналогия цветы, присланные от Марьи Гавриловны, он украшал иконы, он густыми рядами расставлял березки вдоль часовенных стен... Как было удержаться московскому певуну от таких хлопот, когда тут были все пригожие белицы, весь правый клирос Марьюшкин, а в том числе и полногрудая, румяная смуглянка Устинья Московка?..

– Уж как я вами благодарна, <sup>[211]</sup> Василий Борисыч, – говорила Манефа, сидя после службы с московским посланником за чайным столом. – Истинно утешил, друг... Точно будто я на Иргизе стояла!.. Ангелоподобное пение!.. Изрядное осмогласие!.. Дай тебе, Господи, доброго здоровья и души спасения, что обучил ты девиц моих столь красному пению... Уж как я много довольна тобой, Василий Борисыч, уж так много довольна, что рассказать тебе не умею.

– Таких певиц, какие у вас, матушка, подобраны, – обучать дело не мудрое, – с скромным и ласкающим выраженьем в лице ответил Василий Борисыч. – Хороши певицы в Оленеве, а до ваших далеко им...

– Вы это только одни приятные для нас слова говорить хотите, а сами вовсе не то думаете, – с лукавой усмешкой вступилась Фленушка. – Куда нашим девицам до Анны Сергевны, либо до Олимпиады, али до Груни келарной в Анфисиной обители!

– И те певицы хорошие – охаять нельзя, – молвил Василий Борисыч, обращаясь к Манефе. – Зато в певчей стае Анфисиных нет такой согласности, как у вас, матушка.

– Кланяйся, Марьюшка, благодари учителя, – засмеялась Фленушка вошедшей на ту пору головщице. – Тебе честь приписывают, твоему клиросу.

Марья головщица быстро взглянула на Василья Борисыча, едва заметно пересмехнулась с Фленушкой и потупила глаза как ни в чем не бывало.

– Да, надо благодарить учителя, беспрременно надо, – говорила Манефа. – Ты бы вот, Фленушка, бисерну лестовку вынизала Василью-то Борисычу, а ты бы, Марьюшка, подручник ему шерстями да синелью вышила, а тебе бы, Устинья, поясок ему выткать хорошенький.

– Ох!.. Искушение!.. Напрасно это вы, матушка, – молвил Василий

Борисыч.

– За труды, друг, за труды, – сказала Манефа. – Без того нельзя. У нас в лесах не водится, чтоб добрых людей оставлять без благодарности. Уж это как ты себе хочешь, а поминочек от учениц прими, не побрезгуй их малым приношением... Эх, как бы ты у меня, Василий Борисыч, всех бы девиц перепробовал, да которые из них будут способны, ту бы хорошенько и обучил. Вот уж истинно благодеяние ты бы нашей обители сделал!.. Ну, да спасибо и за то, что над этими потрудился. Узрим плоды трудов твоих, навек останемся благодарны.

– Какие ж труды мои, матушка? – с смиренной улыбкой говорил на то Василий Борисыч. – Никаких мне трудов тут не было. Самому приятно было... Не за что мне подарков приносить.

– Со своим уставом в чужой монастырь, Василий Борисыч, не ходят, – отвечала Манефа. – Со вторника за работу, девицы.

– Искушение! – проговорил Василий Борисыч и молча допил простывшую перед ним чашку чая.

– А ты уж, Василий Борисыч, хоть сердись на меня, хоть не сердись, а я тебя из обители скоро не выпущу, – после недолгого молчания сказала Манефа. – По тому делу, по которому послан ты, обсылалась я с матерями, и по той обсылке на Петров день будет у нас собрание. Окроме здешних матерей, Оленевски ко мне приедут, из Улангера тоже, из Шарпана, из других скитов кое-кто. Из Городца обещали быть и с Гор...<sup>[212]</sup> Мы пособорует, а ты при нас побудь – дело-то тебе и будет виднее. На чем положим, с тем в Москву тебя и отпустим.

– Право, не знаю, матушка, что и сказать вам на это, – ответил Василий Борисыч. – Больно бы пора уж мне в Москву-то. Там тоже на Петров день собрание думали делать... Поди, чать, заждались меня. Шутка ли! Больше десяти недель, как из дому выехал.

– Да что у тебя дома-то?.. Малы дети, что ли, плачут? Отчего не погостить?.. Не попусту живешь... Поживи, потрудись, умирения ради покоя христианского, – сказала Манефа.

– Ох, искушение! – со вздохом проговорил Василий Борисыч. – Боюсь, матушка, гнева бы на себя не навести... И то на Вознесенье от Петра Спиридоныча письмо получил – выговаривает и много журит, что долго замешкался... В Москве, отписывает, много дела есть... Сами посудите – могу ли я?

– Завтра же напишу Петру Спиридонычу, – перебила Манефа. – И к Гусевым напишу, и к матушке Пульхерии. Ихнего гнева бояться тебе нечего – весь на себя сниму.

– Искушение!.. – со вздохом молвил Василий Борисыч. – Опасаюсь, матушка, вот как перед истинным Христом, опасаюсь.

– Ин вот что сделаем, – сказала Манефа, – отпишу я Петру Спиридонычу, оставил бы он тебя в скитах до конца собраний и ответил бы мне бесприменно с первой же почтой... Каков ответ получим, таково и сотворим. Велит ехать – часу не задержу, остаться велит – оставайся... Ладно ли так-то будет?

– Нечего делать, – пожав плечами, ответил Василий Борисыч и будто случайно кинул задорный взор на Устинью Московку. А у той во время разговора московского посла с игуменьей лицо не раз багрецом подергивало. Чтобы скрыть смущенье, то и дело наклонялась она над скамьей, поставленной у перегородки, и мешкотно поправляла съехавшие с места полавошники.

– А тем временем мы работы для подаренья Василью Борисычу кончим, – молвила Фленушка.

– А вы на то не надейтесь, работайте без лени да без волокиты, – молвила Манефа. – Не долго спите, не долго лежите, вставайте поране, ложитесь попозже, дело и станет спориться... На ваши работы долгого времени не требуется, недели в полторы можете все исправить, коли лениться не станете... Переходи ты, Устинья, в келью ко мне, у Фленушки в горницах будете вместе работать, а спать тебе в светелке над стряпущей... Чать, не забоишься одна?.. Не то Минодоре велю ложиться с тобой.

Радостью глазки у Василья Борисыча сверкнули. Та светелка рядом была с задней кельей, куда его поместили. Чуть-чуть было он вслух не брякнул своего: «искушение!» А Устинья застенчиво поднесла к губам конец передника и тихо промолвила:

– Чего ж, матушка, бояться во святой обители?

– Скажи матери Ларисе – указала я быть тебе при мне, – сказала Манефа. – Сегодня же перебирайся.

До земли поклонилась Устинья Московка игуменье. Честь великая, всякой белице завидная – у игуменьи под крылышком жить.

– А я бы, матушка, если благословите, сегодня же под вечерок в путь бы снарядился! – молвил Василий Борисыч.

– Куда Бог несет? – спросила Манефа.

– Имею усердие отцу Софонтию поклониться, – ответил Василий Борисыч. – Завтра, говорят, на его гробнице поминовение будет, так мне бы очень желательно там побывать.

– Доброе дело, Василий Борисыч, доброе дело, – одобряла московского посланника Манефа. – Побывай на гробнице, помяни отца

Софонтия, помолись у честных мощей его... Великий был радетель древлего благочестия!.. От уст его богоданная благодать яко светолучная заря на Керженце и по всему христианству воссияла, из рода в род славна́ память его!.. Читывал ли ты житие-то отца Софонтия?

– Не приводилось, матушка, – ответил Василий Борисыч. – Очень оно редкостно... Сколько книг ни прочел, сколько «сборников» да «цветников» на веку своем ни видал, ни в одном Софонтиева жития не попадалось.

– *Сказание о житии и жизни преподобного отца нашего Софонтия и отчасти чудес его* точно что редкостно; мало где найдется его, – молвила Манефа. – Ты послушай-ка, вот я расскажу тебе про него, про нашего керженского угодника, про скитского молитвенника преподобного и богоносного отца нашего Софонтия... Был священноиноком в Соловецкой киновии, крещение имел старое, до патриарха Никона, хиротонию же новую, от новгородского Питирима... Пришел отец Софонтий в здешние страны и поставил невеликий скиток неподалеку от Деянова починка, в лесу. Первый он был в здешних лесах священник новой хиротонии... С него и зачалось «бегствующее» от великороссийской церкви священство... А до пришествия Софонтиева на Керженец, на Смольянах, у бояр Потемкиных да у Салтыкова, жил черный поп Дионисий Шуйский, пребывая в великом подвизе, да Трифилий иерей, пришедый из Вологды, да черный поп Сергей из Ярославля... И те отцы старого рукоположенья соборне прияли отца Софонтия... И жил отец Софонтий в здешних лесах немалое время, право правяще слово истины... Церковные обычаи утвердил, смущения и бури на церковь Божию, от Онуфрия воздвигнутые, утишил, увещающе возмутителей и приводяще им во свидетельство соборные правила... Подвиги же его духовные и труды телеснии кто исповесть?.. И по мнозех подвизех течение сверши – ко Господу отыде... И честные мощи его нетленны и целокупны во благоухании святыни почивают... Великие исцеления подают с верою к ним притекающим... И в том все христиане в наших лесах уверены довольно.

– Сказывали, матушка, про отца Софонтия, что людей он жигал. Правда ли это? – спросил Василий Борисыч.

Нахмурилась Манефа, взглянув на совопросника.

– Не нам судить о том, – строго сказала она. – Нам ли испытывать дела отец преподобных?.. Это с того больше взяли, что отец Софонтий священноинока Варлаама с братиею благословил в келии сгорети... А смутьяны Онуфриева скита в вину ему то поставили, на Ветку жалобны грамоты о том писали, а с Ветки отца Софонтия корили, обличать же не обличали... А хотя бы и вправду людей он жигал?.. Блажен извол, о



Господе!.. Это нынешним слабым людям, прелестию мира смущенным, стало на удивление, а прежним ревнителям древлего благочестия было за всеобдержный обычай... Оттого-то теперешни люди не токмо дивуются, но хулят даже сожжение грешныя плоти небесного ради царствия... Крепости прежней не стало, по бозе ревности нет – оттого и хулят... Не читал разве, что огненное страдание угащает силу огня геенского?..

– Читать-то читал, матушка, – потупясь, ответил Василий Борисыч. – Как не читать?.. А что ж это вы про отца Варлаама помянули? – спросил он Манефу, видимо, желая отклонить разговор на другое... – Про него я что-то не слыхивал.

– Из здешних же отцов был, из керженских, – сказала Манефа. – Жил в пустынной келье с тремя учениками... В Полóмском лесу недалеко от Улангера, на речке на Кóзленце, келья у него была. До сих пор благочестивые люди туда сходятся поклониться святому пеплу Христа ради сожженных... Пришел Варлаам в здешние леса из Соли-Галицкой, а в Соли-Галицкой был он до того приходским попом в никонианской церкви. Познав же истину, покинул тамошний град и паству свою, хотя пустыню лобызати и в предании святоотеческом пребыть. Принят же был от отца Софонтия вторым чином, пострижения иноческого от руки его сподобился и, живя безысходно в келии, все священные действия над приходящими совершал. Много душевным голодом томимых, много спасения жаждущих в пустыню к нему притекало, он же, исправляя<sup>[213]</sup> их, причащал старым запасом,<sup>[214]</sup> что от лет патриарха Иосифа был сохранен. Книг же имел довольно, отовсюду собираше правоверных на книгоучение, утверждая их в древлем благоверии. Уведали о том мирские галицкие начальники и послали ратных людей со всеоружием и огненным боем изыскать отца Варлаама и учеников его... И более шести недель ходили ратные люди по лесам и болотам, ищущи жительства преподобного. Он же, божественным покровом прикровен, избежа рук мучителей... Тогда изыде Варлаам из пустыни и прииде к отцу Софонтию совета ради, что сотворити при таком тесном обстоянии... И много беседоваху преподобные отцы от святого писания и всю ночь пребыли в молитвах и псалмопениях. И благословил пречестный отец Софонтий того пустынножителя Варлаама огненною смертию живот свой скончати, аще приидут к нему ратные люди, лести же их отнюдь не послушати... Тако поучал Варлаама блаженный Софонтий златоструйныма своими усты: «Не бойся, отче Варлааме, сего временного огня, помышляй же о том, како бы вечного избежать... Малое время в земном пламени потерпети, вечного же царствия достигнути!..

Недолго страдати – аки оком мигнуть, как душа из тела выступит... Егда же вступишь во огонь, самого Христа узришь и ангельские силы с ним. Емлют они, ангелы, души из телес горящих и приносят их к самому Христу, царю небесному, а он, свет, их благословляет и силу им божественную подает... Чего бояться огня?.. Гряди с мучениками во блаженный чин, со апостолы в полк, со святители в лик!..» И тако довольно поучи Варлаама и благослови его идти в пустынную келию на сожжение... На утрие же ратные люди обретоша келию и восхотеша яти отца Варлаама со ученики его... Они же, замкнув келию, зажглися... И ужаснулись ратные, видя такое дерзновение... Лестию пытали самовольных Христовых мучеников из запаленной келии вызвать, обещая учинить их во всем свободны... Они же не смутишася... Аки отроцы вавилонстии в печи горячей, тако и они в келии зажженной стояли и среди пламени и жупела псалом воспевали. «Изведи из темницы душу мою, – мене ждут праведницы!..» И тако сгорели телесами... Души же блаженных страстотерпцев, аки злато в горниле очищенное, ангелы Божии взяху и в небеса ко Христу царю понесли... Господь же благослови жертву сию чисту и непорочну...

– Невдалеке от Улангера то место, говорите вы, матушка? – погода немного, спросил Василий Борисыч.

– Лесной тропой вряд ли пять верст наберется, – ответила Манефа. – В том же лесу учительной матери Голиндухи гробница. И к ней богомольцев много приходит.

– Знать то место, где сожглися? – спросил Василий Борисыч.

– Признаку теперь не осталось, ведь больше полутора ста годов после того прошло! – ответила Манефа. – Малая полянка в лесу, старый голубец<sup>[215]</sup> на ней стоит, а возле четыре высоких креста... Вот и все... От жилья удалено, место пусто, чему там быть?.. Лет восемьдесят или больше тому еще находили угольки от сожженной Варлаамовой кельи. А ныне и того нет – все разобрано правоверными... По обителям те Варлаамовы угли сохраняются... И у нас в обители есть таковые угольки... Воду с них болящим даем, и по вере пьющих целения бывают.

– Дивные у вас, матушка, места по лесам, – с умилением молвил Василий Борисыч. – Ваши пустыни, яко книги, проповедуют силу Божию, явленную во святых его угодниках.

– Дивен Бог во святых его!.. – набожно сказала Манефа, опуская очи. – Люди мы, Василий Борисыч, простые, живем не ради славы, а того только испытует, како бы вечное спасение восхитити. Потому бумаге и чернилам повести о наших преподобных не предаем... Токмо в памяти, что в книге, златом начертанной, храним добропобедные подвиги их... Поживи с нами,

испытай пустынные наши места – возвестят они тебе славу Божию, в преподобных отцах явленную... Много святопочитаемых мест по лесам Керженским и Чернораменским... Яко крин, процветала пустыня наша, много в ней благодати было явлено... А теперь всему приходит конец!.. – с тяжелым вздохом прибавила Манефа и поникла головой.

Все молчали.

– Благословите же, матушка, – прервал молчание Василий Борисыч. – После бы трапезы отправился я к отцу Софонтию – утреню там ведь с солнечным восходом začínают... Надо поспеть...

– Поспеешь, друг, поспеешь, – сказала Манефа. – Нешто я тебя пеша пущу?.. Обвечереет, велю подводу сготовить, к свету-то доедешь – ночи теперь светлые!.. На Ларионово поезжай, прямиком... Дорога благá, зато недалеко... Пятнадцать верст, больше не наберется.

– Из вашего послушания, матушка, выйти не могу, – ответил Василий Борисыч. – Может, из обительских кто поедет? – спросил он.

– Как не поехать?.. Поедут, – молвила Манефа. – Завтра увидишь, как у нас память отца Софонтия справляют: сначала утреню соборне поем, потом часы правим и канон за единоумершего... А после соборного канона особные зачнут петь по очереди от каждой обители, из которой приедут старицы... Прежде сама я каждый год к отцу Софонтию езжала, ноне не могу, опять боюсь слечь... Аркадию пошлю, уставщицу, у нее же сродственники в Деянове есть, оно и кстати. И тебе с нею будет где пристать... Успокоишься там после службы-то... Служба будет долгая и ранняя.

– И нас бы, матушка, с Марьюшкой да с Устиньей пустила, – молвила Фленушка, обращаясь к Манефе.

– Без себя не пущу... Бед натворите, – строго ответила Манефа.

– Никаких бед не натворим, – подхватила Фленушка. – Как только отпоем канон, прямо в Деяново.

– И не поминай, – сказала Манефа. – Тут, Василий Борисыч, немало греха и суеты бывает, – прибавила она, обращаясь к московскому гостю. – С раннего утра на гробницу деревенских много найдет, из городу тоже наедут, всего ведь только пять верст дó городу-то... Игрища пойдут, песни, сопели, гудки... Из ружей стрельбу зачнут... А что под вечер творится – о том не леть и глаголати.

– Да ведь мы бы с матушкой Аркадией... – завела было опять Фленушка.

– Углядеть ей за вами!.. Как же!.. – возразила Манефа. – Устиньюшка!

Из-за перегородки выглянула Устинья Московка.

– Молви Дементью, подводы готовил бы к отцу Софонтию ехать, – стала приказывать Манефа. – Гнедка с соловенькой в мою кибитку, сам бы Дементий вез – Василий Борисыч в той кибитке с Аркадией поедет. А сивую с буланой в Никанорину повозку заложить... Править Меркулу – а кому в той повозке сидеть, после скажу... Аркадии накажи, перед солнечным заходом зашла ко мне бы... Виринеюшке молви, канун бы сготовила да путную трапезу человек на десяток... Матери Таифе скажи – поминок сготовила бы деяновскому сроднику Аркадии, обночуют, может статься, у него. Мучки пшеничной полмешка припасла бы, овса четверть да соленой рыбы сколько придется, пряников да орехов ребятишкам, хозяйке новину... Да чтоб Аркадия ладану взять не забыла да свеч. А кацею брала бы из стареньких, нову-то не поломать бы дорогой... Бутыль взяла бы побольше на воду из кладезя, а того бы лучше бочонок недержанный – бутыль-то разбиться может дорогой... Прикажи, чтоб должным порядком все было... Ступай.

Сотворив перед игуменьей метания, вышла Устинья Московка.

– А воротишься от Софонтия, – молвила Манефа Василию Борисычу, – на пепел отца Варлаама съезди да заодно уж и к матери Голиндухе. Сборища там бывают невеликие, соблазной от мирских человек не увидишь – место прикровенное.

В это время отворилась дверь и вошла в келью казначея Таифа. Положив уставной семипоклонный начал и сотворив метания, подала она игуменье письмо и сказала:

– Конон Елфимовский привез. В город ездил, там ему Осмушников Семен Иваныч отдал.

Молча распечатала Манефа письмо, посмотрела в него и молвила:

– От Дрябиных из Питера.

– От Дрябиных? – спросил Василий Борисыч. – Вы и с ними тоже в знакомстве, матушка?

– Благодетели, – ответила Манефа. – Дрябины давно нашей обители знаемы, еще ихни родители с покойницей матушкой Екатериной знакомство водили. Когда нашим старицам в Питере случается бывать, завсегда пристают у Никиты Васильича.

– Ведь они с Громовыми были первыми затейщиками австрийства, – сказал Василий Борисыч.

– Знаю, – ответила Манефа. – Они же ведь и в сродстве меж собой. Дочка Никиты Васильича, Акулина Никитишна, за Громова выдана.

– Так точно, – подтвердил Василий Борисыч.

– По родству у них и дела за едино, – сказала Манефа. – Нам не то

дорого, что Громы с Дрябиными да с вашими москвичами епископство устроили, а то, что к знатым вельможам вхожи и, какие бы по старообрядству дела ни были, все до капельки знают... Самим Громым писать про те дела невозможно, опаску держат, так они все через Дрябиных... Поди, и тут о чем-нибудь извещают... Читай-ка, Фленушка.

Манефа подала ей письмо, и та начала:

– «Пречестной матушке Манефе о еже во Христе с сестрами землекасательное поклонение. При сем просим покорнейше вашу святыню не оставить нас своими молитвами ко Господу, да еже управити путь наш ко спасению и некосно поминати о здравии Никиты, Анны, Илии, Георгия, Александры и Акулины и сродников их, а родителей наших по имеющемуся у вас помяннику беспереводно. Гостила у нас на святой Пасхе старица Милитина из ваших мест, из Фундрикова скита, а сама родом она валдайская. И сказывала нам матушка Милитина, что вам, пречестная матушка Манефа, тяжкая болезнь приключилась, но, Господу помогающе, исцеление получили. И мы со всеми нашими домашними и известными много тому порадовались и благодарили Господа, оздравевшего столь пресветло сияющую во благочестии нашу матушку, крепкую молитвенницу о душах наших. При сем, матушка, с превеликим прискорбием возвещаем вам, что известный вам человек в прошедший вторник находился во едином месте и доподлинно узнал о бурях и напастях, хотящих на все ваши жительства восстати. И та опасность не малая, а отвратить ее ничем не предвидится. Велено по самой скорости шло шле лтики послать, чтоб ониласи и шель памоц разобрать и которы но мешифни не приписаны, тех бы шоп шылсак...». [\[216\]](#)

– Подай, – прервала Манефа. – Сама разберу... О Господи, владыко многомилостивый! – промолвила она с глубоким вздохом, поднимая глаза на иконы. – Разумеешь, друг, тайнописание? – обратилась она к Василью Борисычу.

– Маленько разумею, матушка, – ответил он.

– Понял? – спросила Манефа.

– Понял.

– Чем бы вот с Софронами вожжаться – тут бы руку-то помощи Москва подала, – с жаром сказала Манефа. – Да куда ей! – примолвила она с горькой усмешкой. – Исполнились над вашей Москвой слова пророческие: «Уты, утолсте, ушире и забы Бога создавшего...» Соберешься к Софонтию – зайди ко мне, Василий Борисыч.

Встала Манефа, и матери и белицы все одна по другой в глубоком молчаньи вышли из кельи. Осталась с Игуменьей Фленушка.

Последнею вышла Устинья. За ней петушком Василий Борисыч. Настиг он румяную красотку на завороте у чуланов и щипнул ее сзади.

– Ох!.. чтоб тебя!.. – чуть не вскрикнула Устинья.

В ту самую пору вышла из боковой кельи Марьюшка.

Вздыхнув, Василий Борисыч промолвил вполголоса:

– Искушение!..

Затем приосанился и тихо догматик запел:

– «Всеми-и-ирную славу, от человек прозябшую...»

\* \* \*

Проводя московского посланника, Манефа принялась за перевод тарабарского письма Дрябиных. Грозны были петербургские вести.

Извещал Дрябин, что в комитете министров решено дело о взятой на Дону сборной Оленевской книжке. Велено переписать все обители Оленевского скита и узнать, давно ли стоят они, не построены ли после воспрещения заводить новые скиты, и те, что окажутся недозволенными, уничтожить... Писал Дрябин, что дошло до Петербурга о Шарпанской иконе и о том, что тамошни старицы многих церковников в старую веру обратили... Навели справку в прежних делах, нашли, что Шарпанский скит лет пятнадцать перед тем сгорел дотла, а это было после воспрещения заводить новые скиты. Потому и хотят послать из Петербурга доверенных лиц разузнать о том доподлинно и, если Шарпан ставлен без дозволения, запечатать его, а икону, оглашаемую чудотворной, взять... Уповательно, прибавлял Дрябин, что и по всем другим скитам Керженским и Чернораменским такая же переборка пойдет, дошло-де до петербургских властей, что много у вас живет беглых и беспаспортных... Громы, писал в заключение Дрябин, неотступно просили, кого нужно, хоть на время отвести невзгоду от Керженца... Два обеда ради того делали, за каждым обедом человек по двадцати генералов кормили, да на даче у себя Громы великий праздник для них делали. Всем честили, всем ублажали, однако ж ни в чем успеть не могли – потому что вышел сильный приказ впредь староверам потачки не давать и держать их в строгости... О красноярском деле ни слова – не дошли еще, видно, вести о нем до Питера.

Призадумалась Манефа. Сбывались ее предчувствия... Засуча рукава и закинув руки за спину, молча ходила она ровными, но быстрыми шагами взад и вперед по келье... В глубоком молчаньи сидела у окна Фленушка и глаз не сводила с игуменьи.

– Почтову бумагу достань, – сказала Манефа. – Со слов писать будешь... Здесь садись... Устинья!

Фленушка вышла за бумагой, Устинья явилась в дверях.

– Никого ко мне не пускать ни по коему делу. Недосужно, мол, – сказала ей Манефа...

Низко поклонясь, Устинья спряталась в свою боковушу.

Через минуту она опять выглянула и спросила:

– Обедать не собрать ли?.. В келарне давно уж трапезуют.

– Не до еды, – резко ответила ей Манефа. – Ступай в свое место, не докучай...

Минуты через две Фленушка сидела уж за письмами. Ходя по келье, Манефа сказывала ей, что писать.

Первое письмо в город к тамошнему купцу Строинскому, поверенному по делам Манефы.

«Ради Господа, благодетель Полуехт Семеныч, – писала Фленушка, – похлопочи купчие бы крепости на дома совершить как возможно скорее. Крайний дом к соляным анбарам купи на мое имя, рядом с ним – на Фленушку; остальные три дома на Аркадию, на Таифу да на Виринею. Хоть и дорожиться зачнут Кожевниковы, давай, что запросят, денег не жалея – остались бы только за нами места. За строеньем тоже не гонись – захотят свозить на иное место, пущай их свозят. Отпиши сколь можно скорее, сколько денег потребуется – с кем-нибудь из матерей пришлю. Покучься в суде Алексею Семенычу; дело бы поскорее обделал, дай ему четвертную да еще посули, а я крупчатки ему, опричь того, мешка два пошлю, да икру мне хорошую из Хвалыни прислали, так и ей поделюсь, только бы по скорости дело обладил. Да нет ли еще поблизости от Кожевниковых продажного местечка али дома большого для Марьи Гавриловны. Хочет по вашему городу в купечество приписаться и торги заводить...»

Кончив письмо к Строинскому, Манефа другое стала сказывать – к Патапу Максимычу. Извещала брата о грозящих скитам напастях и о том, что на всякий случай она в городе место под келью покупает... умоляла брата поскорее съездить в «губернию» и там хорошенько да повернее узнать, не пришли ли насчет скитов из Петербурга указы и не ждут ли оттуда больших чиновников по скитским делам. «А хоша, – прибавляла Манефа, – и не совсем еще я от болезни оправилась, однако ж, хоть через великую силу, а на сорочины по Настеньке приеду, и тогда обо всем прочем с тобою посоветую».

В Москву писаны были письма к Петру Спиридонычу, к Гусевым и на Рогожское, к матери Пульхерии. Извещая обо всем, что писали Дрябины, и

о том, какое дело вышло в Красноярском скиту, Манефа просила их в случае неблагополучия принять на некоторое время обительскую святыню, чтоб во время переборки ее не лишиться. «Посылаю я к вам в Москву и до Питера казначею нашу матушку Таифу, а с нею расположилась отправить к вам на похранение четыре иконы высоких строгиновских писем, да икону Одигитрии Богородицы царских изографов, да три креста с мощами, да книг харатейных и старопечатных десятка три либо четыре. А увидясь с матушкой Августой, шарпанской игуменьей, посоветую ей и Казанскую Богородицу к вам же на Москву отправить, доколь не утишится воздвигаемая на наше убожество презельная буря озлоблений и напастей. А то, оборони Господи, лишиться можем столь бесценного сокровища, приизобильно верующим подающего исцеления». Насчет епископа Софрония писала, что, удостоверясь в его стяжаниях и иных недостойных поступках, совершенно его отчуждилась и попов его ставленья отнюдь не принимает, а о владимирском архиепископе будет на Петров день собрание, и со всех скитов съедутся к ней. Что на том собрании уложат, о том не преминет она тотчас же в Москву отписать. Уведомляла и о Василье Борисыче, благодарила за присылку столь дорогого человека и просила не погневаться, если задержит его на Керженце до окончания совещаний о новом архиепископе и о грозящих скитам обстоятельствах.

За письмом к Дрябину долго просидела Фленушка... Все сплошь было писано тарабарской грамотой. Благодаря за неоставление, Манефа умоляла Дрябиных и Громовых постараться отвратить находящую на их пустынное жительство грозную бурю, уведомляла о красноярском деле и о скором собрании стариц из всех обителей на совещание о владимирском архиепископе и о том, что делать, если придут строгие о скитах указы.

Кроме того, были писаны письма во все скиты к игуменьям главных обителей, чтоб на Петров день непременно в Комаров к Манефе съезжались. Будет, дескать, объявление о деле гораздо поважней владимирского архиепископства.

\* \* \*

День к вечеру склонялся, измучилась Фленушка писавши, а Манефа, не чувствуя усталости, бодро ходила взад и вперед по келье, сказывая, что писать. Твердая, неутомимая сила воли виднелась и в сверкающих глазах ее, и в разгоревшихся ланитах, и в крепко сжатых губах. Глядя на нее, трудно было поверить, что эта старица не дольше шести недель назад



лежала в тяжелой смертной болезни и одной ногой в гробу стояла.

Когда Фленушка кончила письма, Манефа внимательно их перечитала и в конце каждого сделала своей рукой приписку. Потом запечатала все, и тогда только, как Фленушка надписала на каждом, к кому и куда письмо посылается, заговорила с ней Манефа, садясь у стола на скамейку:

– Потрудились мы с тобой, Фленушка, ради праздника. Заморила я тебя. Кому Троицын день, а нам с тобой Сочельник... Подь-ка, голубка, потрапéзуй да скажи Устинье, кликнула бы скорее Таифу.

– Я было хотела просить тебя, матушка, – молвила Фленушка, не трогаясь с места.

– Что тебе надо, моя ластушка? – мягким голосом, ласково спросила ее Манефа.

– Отпусти к Софонтию, – умильно взглянув на нее, молвила Фленушка.

– Сказано «не пущу», значит, не о чем и толковать, – нахмурясь, сказала Манефа.

– Каждый год езжали... – потупясь, вполголоса проговорила Фленушка.

– Со мной, – перебила Манефа. – Так и я, бывало, жду не дождусь, кончилась бы служба, да скорей бы с поляны долой... Все глаза, бывало, прогляжу за вами... А матери Аркадии как усмотреть?

Ни словечка не ответила Фленушка. Подошла к столу, отобрала письма к матерям и спросила:

– С Аркадией пошлешь?.. К Софонтию со всех обителей матери съедутся... Зараз бы всем можно было раздать... А с работниками посылать – когда развезут?

– Правда твоя, – молвила Манефа. – Так будет лучше... Не хотелось бы только с Аркадией отправлять. В разговорах лишнего много от своего ума наплетет.

– А надо еще и на словах с матерями говорить? – спросила Фленушка.

– Без того нельзя, – ответила Манефа.

– А про то, что Дрябины пишут, не всем же, чай, матерям сполна сказывать? – продолжала Фленушка.

– До поры до времени можно ль всем про то говорить? – молвила Манефа. – Попробуй-ка Евникее Прудовской сказать, в тот же день всему свету разблаговестит.хлопот после не оберешься.

– А матушке Августе Шарпанской, думаю, надо сказать, – продолжала Фленушка. – Из Оленева матушке Маргарите тоже, я думаю, надо; матушке Фелиците тоже... А еще кому?

– Да больше-то, пожалуй, и некому, – молвила Манефа. – До Петрова дня все дело надо втайне держать, чтоб успеть в городе места подешевле купить. А то, пожалуй, при совершении-то купчей сделают препятствие либо задержку какую. Да и Кожевниковы, как узнают, что готовится нам из обителей выгонка, такую цену заломят, что только ахнешь... Не сумеет этого Аркадии, не сумеет! Очень уж она невоздержна на язык... Опять же у Евники в Прудах Аркадьины сродницы живут – хоть наказывай ей, хоть не наказывай, не утерпит – до капельки все расскажет им, а те Евникее. А Евникее сказать – все едино, что на базаре с барабаном в народ объявить...

– Разве матушку Таифу пошлешь? – сказала Фленушка.

– То-то и есть, что нельзя, – молвила Манефа. – В Москву Таифе надо ехать да в Питер... Завтра же ей отправляться.

– Кого же, коли не Таифу?

– Ума не приложу, – ответила Манефа. – Вот вертись тут одна, как знаешь: обитель большая, а доведется нужное дело, опричь Таифы, и послать некого.

– Пошли меня, матушка... Все управлю, – подхватила Фленушка.

– С ума сошла?.. По тебе ль такое дело? – подняв голову и пристально взглянув на Фленушку, молвила Манефа.

– Попробуй – увидишь, – сказала Фленушка, глядя в упор на Манефу.

– Полно пустяки городить, – проговорила Манефа. – Статочно ли дело тебя посылать?

– Вольно тебе, матушка, думать, что до сих пор я только одними пустяками занимаюсь, – сдержанно и степенно заговорила Фленушка. – Ведь мне уж двадцать пятый в доходе. Из молодых вышла, мало ли, много – своего ума накопила... А кому твои дела больше меня известны?.. Таифа и та меньше знает... Иное дело сама от Таифы таишь, а мне сказываешь... А бывало ль, чтоб я проговорила когда, чтоб из-за моего болтанья неприятность какая вышла тебе?

– Да к чему ты все это говоришь мне? – спрашивала Манефа.

– А к тому говорю, чтоб к Софонтию меня ты послала. Аркадия свое дело будет управлять, а я с матерями что надо переговорю, – решительным голосом сказала Фленушка.

– Набаламутишь, – молвила Манефа.

– Да что я за баламутница в самом деле? – резко ответила Фленушка. – Что в своей обители иной раз посмеюсь, иной раз песню мирскую спою?.. Так это, матушка, дома делается, при своих, не у чужих людей на глазах... Вспомнить бы тебе про себя, как в самой-то тебе молодая кровь еще бродила.

– Замолчи!.. – остановила Манефа Фленушку. – С чего ты взяла такие речи мне говорить?.. А?..

– Стары матери мне сказывали, что была ты у отца с матерью дитя любимое, балованное, что до иночества была ты развеселая – что на уме у тебя только песни да игры бывали... Видно, и я в тебя, матушка, – усмехнувшись, сказала Фленушка.

– Какие матери тебе сказывали?.. Которые?.. – взволнованным голосом спросила Манефа.

– Покойница Платонида говаривала, – ответила Фленушка.

– Нешто помнишь ее? – с испугом спросила Манефа и тяжело перевела дыхание.

– Как же не помнить? Как теперь на нее гляжу, – отвечала Фленушка. – Ведь я уж семилеткой была, как она побыввшилась.

– Что ж Платонида тебе сказывала?.. Что?.. Говори... все, все говори, – дрожащим от волнения голосом говорила Манефа, опуская на глаза камилавку и закрывая все лицо креповой наметкой.

– Мало ли что... Всего не упомнишь, – ответила Фленушка. – Добрые советы давала: «Почитай, говорила, матушку Манефу, как родную мать свою».

– Что-о-о?.. – вскрикнула Манефа, но тотчас же сдержала порыв встревоженного сердца. Обдернув наметку, она склонила голову.

– «Почитай, говорила, ее, как мать родную, – повторила Фленушка. – Тебе, говорила она, во всем свете никого нет ближе матушки Манефы...» Вот что говорила мне Платонида.

– А еще? – глухо прошептала Манефа.

– Не помню, – ответила Фленушка.

Смолкла Манефа, а Фленушка все еще стояла перед ней и молча общипывала листья со стоявшей в углу троицкой березки. Минут с пять длилось молчанье.

– Обедать ступай, – сказала Манефа.

– Не хочется, – обиженным голосом ответила Фленушка, продолжая ощищивать березку.

Взглянула на Фленушку Манефа, а у ней слезы по щекам бегут.

– Устинья! – крикнула игуменья.

Устинья вошла и стала перед нею.

– Кликни Таифу, – молвила ей Манефа, а когда Устинья вышла, обратилась к Фленушке и сказала:

– Сбирайся к Софонтию.

Фленушка промолчала. Нескорой поступью подошла к столу, взяла

письма и спросила:

- Раздать?
- Раздай, – ответила Манефа.
- Марье с Устиньей собраться?
- Хорошо, – молвила Манефа и с нетерпением махнула рукой.

Тихими шагами пошла Фленушка в боковушу. Там у окна сидела грустная, угрюмая Марьюшка. С тоски да со скуки щелкала она каленые орехи.

– Турись, турись, Марюха!.. Наспех сряжайся!.. К Софонтию!.. – попрыгивая перед ней, кричала Фленушка.

– Взбесилась, что ли?.. Аль совсем с ума своротила? – привередливо ответила головщица и с досадой отвернулась от подруги.

– Попадья взбесилась – не я, – захохотала Фленушка, и хоть голодна была для праздника, а пустилась в пляс перед Марьюшкой, прищелкивая пальцами и припевая:

Как у нашего попа  
Староверского  
Взбесилась попадья,  
Вовсе стюшилася!..  
Староверский поп  
Был до девок добр —  
Нет денег ни гроша,  
Зато ряса хороша.  
Он и рясу скидает,  
Красным девкам отдает.

– Да отвяжешься ли ты?.. Господи, как надоела!.. – плаксиво вскрикнула головщица, оттолкнув Фленушку, в порыве причуд вздумавшую ерошить ей голову...

– Не верещи!.. Толком говорю!.. К Софонтию едем, – топнув ногой, крикнула Фленушка. – Вот письма к матерям... Со мной посылает.

Пересмотрела Марьюшка письма и уверилась, что в самом деле велено Фленушке ехать к Софонтию.

– С кем поедешь? – спросила она.

– С тобою да с Устиньей, – ответила Фленушка. – Аркадия поедет, Васеньку прихватим, он нам песенку дорогой споеет.

– За Васенькой давеча я кое-что заметила, – молвила Марьюшка.

– Чего ты заметила? – спросила Фленушка.  
– С Устиньей заигрывает, – сказала головщица.  
– А тебе завидно?  
– Ну его к бесу, чернорылого! – воскликнула Марьюшка. – Нужно мне этакое!.. Захочу, в тысячу раз лучше твоего Васьки найду.  
– А ты, девка, больно-то не зарывайся, – молвила Фленушка. – Чем тебе Василий Борисыч неказист?.. Совсем как есть молодчик – ростом не вышел, зато голосом взял.  
– Лёгко ли дело! – перебила головщица. – Ножки как лутошки, ходит приседает, ровно редьку сажает.  
– С тобою говорить надо поевши, а у меня сегодня, кроме чая, маковой росинки во рту не было, – сказала Фленушка. – Принеси-ка чего-нибудь, а я меж тем в дорогу стану собираться.

\* \* \*

Неподалеку от деревни Деяново, в стороне от большой дороги, стоят два деревянных креста, каждый сажени по полторы вышиной. От этих крестов в глубь леса идет узенькая тропинка. Конного езду тут нет.

Пройдя без малого версту по этой тропе, встретится поляна, поросшая лесными травами. Среди ее ветхий, полусгнивший голубец с тесовой крышей на два ската. Скат, обращенный к северу, от старости почти сплошь порос серо-зеленым ягелем.<sup>[217]</sup> Под нижним венцом голубца много ям, нарытых руками богомольцев, бравших песок ради целения от недугов. Рядом с голубцем возвышаются саженные старые деревянные кресты, а меж ними вросла в землю невысокая часовенка; в ней на полке несколько облинявших образов. В стороне неглубокий колодезь. Вода его тоже слывет в народе целебной. Больше нет ничего на поляне. Лишь крапива напоминает, что когда-то тут было жилье.

Это гробница Софонтия.

Пусто теперь место, где, укрываясь под сенью дремучего леса, когда-то стояла невеликая, но по всему Керженцу, по всему старообрядству славная обитель соловецкого выходца Софонтия... Зимой всю поляну снегом заносит; из сугробов не видать ни гробницы, ни часовенки, только верхушки крестов немного заметны... Летом ходят сюда на поклонение отцу Софонтию, но редко... Большие сборища бывают только на Духов день... Разоренная Питиримом часовня Софонтьева скита ставлена была во имя этого праздника, и, по скитскому обычаю, ежегодно на этот праздник

сбирались к Софонтию прихожие богомольцы, для них поставлялись у него столы с великими кормами и чинились великие учреждения.<sup>[218]</sup> В память того праздника и тех кормов до сих пор ежегодно на Духов день собирается сюда окрестный и дальний народ.

Запустело место, где жил отец Софонтий, куда сходились на соборы не только отцы с Керженца и со всего Чернораменья, но даже из дальних мест, из самой зарубежной Ветки. Запустело место, откуда выходили рьяные проповедники «древлего благочестия» в Прикамские леса, на Уральские бугры и в дальнюю Сибирь... «Кержаками» доньше в тех местах старообрядцев зовут, в память того, что зашли они туда с Керженца, из скитов Софонтьева согласия.

Запустело место, где Софонтий боролся с соседними онуфрианами, чтившими за свято богоборные письма Аввакума о Пресвятой Троице. Запустело место, где Софонтий отстаивал самостоятельность Керженца, не покоряясь зарубежной Ветке... Процвела во дни Софонтия пустыня, им насаженная, и не дожил он до грозного дня, когда, по повелению Питирима, капитан Ржевский послал из Нижнего рассыльщиков по бревнам разнести и часовни и кельи обительские...

Тогда-то свершилось «падение Керженца». Семьдесят семь скитов было разорено рассыльщиками. Голова Александра дьякона скатилась под топором палача в Нижнем Новгороде, несколько старцев сожжено на кострах возле села Пафнутова. И сорок тысяч старообрядцев, не считая женщин, бежало из Керженских лесов за литовский рубеж в подданство короля польского.

Все то было и былью поросло.

\* \* \*

Еще утренняя заря не разгоралась, еще солнышко из-за края небосклона не выглядывало, как на большой дороге у Софонтьевых крестов одна за другой зачали становиться широкие уемистые скитские повозки, запряженные раскормленными донельзя лошадьми и нагруженные пудовыми пуховиками и толстыми матерями.

Это был первый летний сбор келейниц на одном месте... Чинны и степенны были их встречи. По-заученному клали они друг перед другом низкие поклоны, медленно ликовались и невозмутимо спрашивали одна другую «о спасении». Разговоры велись не долгие, все спешили пешком к гробнице Софонтия.

Там по всем полкам часовенки наехавшие матери расставили ярко горевшие золоченые иконы, украшенные жемчугами и самоцветными камнями, повешали под ними бархатные, парчовые и атласные пелены, расставили подсвечники и зажгли в них не одну сотню свеч. Гробницу также покрыли пеленами. Клубы дыма от росного ладана наполняли часовню и голубыми струями вились из нее по свежему утреннему воздуху... Началась служба... Громкое пение нескольких десятков съехавшихся из всех обителей певцов оглашало пустынное место... Уже совсем обутрело, и отправляемая на гробнице служба подходила к концу, когда толпы народа в праздничных нарядах стали мало-помалу сходиться на поляну. Ситцевые и кумачные рубахи деревенских парней и разноцветные сарафаны молодежи и девушек смешались с черными рясами келейниц... Пестрая толпа вскоре сделалась еще разнообразней. Пришли горожане. Все приходившие молились у гробницы, брали песочку, иные отламывали кусочки гнилушек от голубца, а потом шли умываться к целительному кладезю, по преданию, ископанному руками самого Софонтия.

Скитские матери только что кончили службу, загасили в часовенке свечи, сняли образа и пелены и все отнесли к повозкам... Когда пришла на поляну праздничная толпа, и часовня и гробница имели уже обычный свой вид. На поляне скоро стало тесно. Народ разбрелся по лесу.

Сжавшись в кучку, матери держались в сторонке. Рассевшись в тени меж деревьев, поминали они преподобного отца Софонтия привезенными из обителей яствами и приглашали знакомых разделить с ними трапезу. Отказов не было, и вскоре больше полутора человека, разделясь на отдельные кучки, в строгом молчании ели и пили во славу Божию и на помин души отца Софонтия... Деревенские парни и горожане обступили келейниц и, взглядывая на молодых старочек и на пригоженьких белиц, отпускали им разные шуточки.

А вот в стороне от гробницы городской торговец раскинул крытый парусинным шатром подвижной стол с орехами, пряниками, рожками и другими «гостинцами»... С другой стороны Софонтьевой поляны появился такой же стол и такой же парусинный шатер с вареной печенкой, со студенью и другими закусками, с расписными жбанками ядреного квасу и с мягкими, с обоих концов востроносими сайками, печеными на соломе... Рядом юркий целовальник из елатомцев, в красной александрийской рубахе и плисовых штанах, поскрипывая новыми сапогами, расставлял на своем прилавке полштофы и косушки, бутылки с пивом и медом... Веселый говор сменил только что стихшие заубойные стихи. Где-то в лесу

послышалась гармоника, забренчала балалайка. Кто-то залился громкой залихватской песнью, к нему пристали десятки мужских и женских голосов. Раздался выстрел из мушкетона, другой, третий... Матери подобру-поздорову долой с Софонтьевой поляны, где народное гульбище стало разыгрываться нараспашку.

Вплоть до позднего вечера продолжался широкий разгул поклонников Софонтия. Хороводов не было, зато песни не умолкали, а выстрелы из ружей и мушкетонов становились чаще и чаще... По лесу забродили парочки... То в одном, то в другом месте слышались и шелест раздвигаемых ветвей, и хруст валежника, и девичьи вскрикивания, и звонкий веселый хохот... Так кончились Софонтьевы помины.

\* \* \*

Выйдя из лесу на большую дорогу, разложили келейницы свой скарб по повозкам и одна за другою пошли пешком в Деяново. Тут недалеко, всего версты полторы. У каждой матери были в той деревне свои знакомые, с раннего утра ожидавшие Софонтьевых поклонниц. В каждом доме хозяйки, рук не покладаячи, варили рыбные похлебки, пекли пироги и оладьи, стряпали яичницы, пшенники да лапшенники, пшенницы да лапшенницы, кисели черничные, кисели малиновые, кисели брусничные и другие яства праздничного крестьянского обеда... За эти трапезы келейницы щедро расплачивались разными припасами, а иногда и деньгами.

Вот одни за другими идут матери, окруженные белицами... Идут, а сами то и дело по сторонам оглядываются, не улинула ли которая белица в лесную опушку грибы собирать, не подвернулся ли к которой деревенский парень, не завел ли с ней греховодных разговоров. Еще на Софонтьевой поляне только что покончили службы, старицы покрыли свое «иночество»<sup>[219]</sup> широкими черными платками... Но, несмотря на такое «скрытие иночества» под шерстяным платком, всякий узнавал скитницу по ее поступи и по всему наружному виду.

Вот впереди других идет сухопарая невысокого роста старушка с умным лицом и добродушным взором живых голубых глаз. Опираясь на посох, идет она не скоро, но скоро, твердой, легкой поступью и оставляет за собой ряды дорожных скитниц. Бодрую старицу сопровождают четыре инокини, такие же, как и она, постные, такие же степенные. Молодых с ними не было, да очень молодых в их скиту и не держали... То была



шарпанская игуменья, мать Августа, с сестрами. Обогнав ряды келейниц, подошла к ней Фленушка.

– Там на многолюдстве, в большом собрании, не посмела я доложить вам, матушка Августа, про одно дельце, – сказала она. – Матушка Манефа нарóчито послала меня сюда поговорить с вами.

– Говори, что наказано, – молвила Августа строго, но с кроткой на устах улыбкой.

– Пройдемтесь сторонкой, – сказала Фленушка.

– Аль по тайности что? – равнодушно спросила мать Августа.

– По тайности, – ответила Фленушка.

И обе перешли на другую сторону широкой столбовой дороги.

– Эку жару Господь посылает, – молвила Августа, переходя дорогу. – До полдён еще далеко, а гляди-ка, на солнышке-то как припекает... По старым приметам, яровым бы надо хорошо уродиться... Дай-ка, Господи, благое совершение!.. Ну, что же, красавица, какие у тебя до меня тайности? – спросила она Фленушку, когда остались они одаль от других келейниц.

– Письмецо матушка Манефа до вас прислала и на речах кой о чем приказала, – молвила Фленушка, отдавая письмо.

– Не матушкина рука, – взглянув на письмо, сказала Августа и спрятала его под апостольник.

– Не совсем еще оправилась она после болезни-то, – ответила Фленушка. – Самой писать еще не вмоготу... Я с ее слов написала.

– Ты писала? – кротко спросила мать Августа, вскинув глазами на Фленушку.

– С матушкиных слов, – ответила Фленушка. – На конце и ее руки приписка есть. Поглядите.

– Погляжу, – молвила Августа. – Какие же тайности ты мне скажешь?

– Да насчет того, что тут писано... Матушка велела вам на словах объяснить...

– Что ж такое? – спросила Августа.

– Зовет к себе на Петров день, – сказала Фленушка. – Собрание будет у нас в обители. Изю всех скитов съедутся матери.

– По какому это делу?

– Из Москвы насчет епископа прислали посланника...

– Не приемлем, – отрезала Августа. – Из-за этого не стоит стары кости трясти... Не буду.

– Софронию отвержену быть, – продолжала Фленушка.

– Не наше дело, – сказала Августа.

– Нового архиепископа думают поставить – владимирского, – продолжала-таки свое Фленушка.

– Не приемлем, – еще раз отрезала Августа и хотела идти через дорогу к своим старицам.

– Да еще про скит ваш писано, матушка, и мне больше про это поговорить наказано, – молвила Фленушка.

– Что ж такое? – бесстрастно спросила Августа.

– Из Питера письма получены, – сказала Фленушка. – Казанскую у вас хотят отобрать... Насчет вашего скита велено разузнать: не после ли пожара он ставлен...

– Слышала, – равнодушно отозвалась мать Августа.

– На этот счет и велено мне с вами переговорить, – молвила Фленушка. – Дело общее, всем бы надо вместе обсудить его, как и что делать.

– Судить-то нечего, – молвила Августа.

– Как беду отвести, где искать помощи, заступников... – говорила Фленушка.

– Есть у нас и помощь и заступа, – сказала мать Августа. – Других искать не станем.

– Где же ваша заступа? – спросила Фленушка.

– У Царицы Небесной, – твердо ответила Августа. – Покаместь она, матушка, убогого дома нашего не оставила, какую еще нам искать заступницу?... Не на помощь человеческую, на нее надежду возлагаем... Скажи, красавица, матушке Манефе: не погневалась бы, не посердитовала на нас, убогих, а не поеду я к ней на собрание.

– Посоветовались бы, матушка, – молвила Фленушка.

– Нечего мне советоваться, не об чем, – прервала ее Августа. – Одна у меня советница, одна и защитница – царица небесная, Казанска Богородица... Отринуть ее да пойти на совет человеческий – как же я возмогу?... Она, матушка, – стена наша неборимая, она крепкая наша заступница, не поеду я на ваше собрание.

– А как отнимут у вас икону-то? Тогда что заговорите? – резко сказала Фленушка, сбрасывая напущенную на себя скромность.

– Не попустит владычица, – молвила Августа и, низко поклонясь Фленушке, пошла к своим старицам.

– Матушка, – сказала, догоняя ее, Фленушка. – Попомните, что на Петров день у нас праздник в часовне. В прежни годы, бывало, вы к нам на Петров день, мы к вам на Казанскую.

– Благодарим покорно, – с поклоном ответила мать Августа. – Коли

жива да здорова буду, не премину побывать, а уж насчет собрания не погневалась бы матушка Манефа. Наше дело сторона.

И пошла к своим.

Фленушка подошла к оленевским. Высокая смуглая старица со строгим и умным выражением в лице шла рядом с малорослою толстою инокиней, на каждом шагу задыхавшейся от жары и непривычной прогулки пешком. То были оленевские игуменьи: Маргарита и Фелицата, во всем с Манефой единомысленные. Фленушка передала им письма на Софонтьевой поляне и там обо всем нужном переговорила.

– Ну, что сказала мать Августа? – спросила Маргарита у Фленушки, когда та подошла к ней.

– На празднике быть обещалась, а на собрание не хочет идти, – ответила Фленушка.

– Ее дело, как знает, – с досадой молвила Фелицата. – Об епископе, конечно, советоваться ей нечего.

– Не приемлет, так и разговору нет. А насчет скита ихнего что сказала? – спросила Маргарита у Фленушки.

– Надеюсь, говорит, на Владычицу. Она у меня, говорит, и советница и заступница, других не желаю, – ответила Фленушка.

– Экая гордыня-то, экая гордыня!.. – вскрикнула Фелицата. – Чем бы сообща дело обсудить да потом владычицу в Москву свезти аль в другое надежное место припрятать, она – поди-ка что – умнее всех хочет быть.

– Ну, Господь с ней, как знает, так пущай и распоряжается. Не наше дело, Фелицатушка, – успокаивала Маргарита приятельницу.

– Как не наше дело? – горячилась Фелицата. – Как не наше дело? Сама знаешь, что будет, коли отберут из Шарпана владычицу. Тут всех скитов дело касается, не одного Шарпана... Нет – этого нельзя!.. На собрание надо эту гордячку под власть подтянуть, чтобы общего совета слушалась. Так нельзя!..

– А чем ты ее под власть-то подтянешь? – спросила Маргарита. – Не захочет слушать – чем приневолишь?

– Как по общему согласью решим, так должна будет послушать, – сказала Фелицата.

– А плевать ей на общее-то наше согласие, – с усмешкой молвила Маргарита. – Кому пойдешь на нее жалобиться?

– В Москву напишем, – сказала Фелицата.

– А что ей Москва-то? – продолжала Маргарита. – Шарпански и без того ее знать не хотят. Не нам с тобой они чета, Фелицатушка: за сборами не ездят, канонниц по домам не рассылают, никому не угождают, а всех

богаче живут.

В это время скитницы подошли к деревне и стали расходиться по знакомым. Тут Фленушка успела раздать все привезенные письма.

Оленевские с Манефиными в одном доме пристали. Обед, предложенный радушным хозяином, продолжался долго. Конца не было пшеникам да лапшенникам, пшеницам да лапшенницам.

Совсем смерклось, когда старицы велели работникам лошадей запрягать. Оленевские игуменьи уехали, а мать Аркадия долго еще оставалась у гостеприимного сродника... Искали Василья Борисыча... Кто его знает – куда запропастился... Устинью тоже не вдруг сыскать могли. Сказывала, к улангерским матерям повидаться ходила.

Всю дорогу ворчала на нее мать Аркадия. Устинья хохотала, а Василий Борисыч то и дело восклицал:

– Ох, искушение!..

## ГЛАВА ВТОРАЯ

И весна и лето выдались в том году хорошие. Каждый день с утра до вечера яркое солнце горячо нагревало землю, но засухи не было... А не было засухи оттого, что ночи по три на неделе перед утренней зарей небо тучками обкладывалось и частым, крупным, обильным дождем кропило засеянные поля. Такая была благодать, что старые люди, помнившие Пугача и чуму московскую, не знавали такого доброго года. Двумя неделями раньше обыкновенного шли полевые работы: яровой сев кончили до Егорья, льны посеяли и огурцы посадили дня через два после Николы. Про холодные сиверы, про медвяные росы и градобои слухов даже не было.

Не нарадуются православные, любуясь на пышные всходы сочной озими, на яркую зелень поднимающейся яри. О том только и молят, о том только и просят Господа – даровал бы он хлебу совершение, засухой бы не пожег, дождями бы не залил, градом бы не побил надежду крестьянскую.

Каждому радостно, каждому весело на зеленые поля глядеть; но всех радостней, всех отраднее любоваться на них крестьянину деревни Поромовой Трифону Михайлычу Лохматому. Тридцати недель не прошло с той поры, как злые люди его обездолили, четырех месяцев не минуло, как, разоренный пожаром и покражами, скрепя сердце, благословлял он сыновей идти из теплого гнезда родительского на трудовой хлеб под чужими кровлями... И вот благодаря Создателю во всем хозяйстве успел он справиться. И новую токарню сладил, лучше прежней, и лошадок купил, и хорошей одеждой обзавелся, и покраденное дочернее приданое стал помаленьку заменять новокупленным.

«Уж спасибо ж тебе, Алексеюшка! – думает сам про себя Трифон Лохматый, любуясь всходами на надельной полосе своей. – Разумом и досужеством сумел ты полюбиться богатому тысячнику и по скорости поставил на ноги хозяйство наше разоренное... Благослови тебя Господи благостным благословением!.. Дай тебе Господи от сынов своих вдвое видеть утешения супротив того, сколь ты утешил меня на старости лет!»

Только и думы у Трифона, только и речей с женой, что про большего сына Алексеюшку. Фекле Абрамовне ину пору за обиду даже становилось, отчего не часто поминает отец про ее любимчика Саввушку, что пошел ложкарить в Хвостиково. «Чего еще взять-то с него? – с горьким вздохом говорит сама с собой Фекла Абрамовна. – Паренек не совсем на возрасте, а

к Святой неделе тоже десять целковых в дом принес».

Раскидывает Трифон Лохматый умом-разумом: «Отчего это Алексей до такой меры стал угоден спесивому, своеобычному Чапурину?» До сей поры у Трифона никаких дел с Патапом Максимычем не бывало, и видал-то его раз-другой мельком только издали, но от людей знал по наслуху, что хоть он и справедлив, до рабочих людей хоть и милостив, однако ж никого из них до близости с собой не допускает... «Да как и допускать? – продолжает раздумывать Трифон Михайлович. – Водится он с купцами первостатейными, с людьми чиновными, к самому губернатору вхож – в вёрсту ль ему мелкую сошку к себе приближать? Пущай у сына руки золотые, пущай всем знаемо, что другого такого токаря за Волгой нет и не бывало – да ведь потом и руками у белорукого богача в честь не войдешь. Из себя пригляден – так не девка Патап-то Максимыч, не стать ему зариться на красоту молодецкую».

Другое еще темяшится в голове Трифона Лохматого. Четыре месяца пожил Алексей в Осиповке, а совсем стал другой – узнать нельзя. Бывало, в праздничный день на деревне только и слышно его, песню ли спеть, в хороводы ли с девками, в городки ли с ребятами. Алексей везде из первых... А теперь, придя о Пасхе к отцу на побывку, ровно иночество на себя наложил: от игры, от веселья сторонится, хмурый ходит да думчивый. Попытать бы сына, расспросить, отчего стало ему невесело, да не отцовское то дело, не родителю сыну поминать про качели да хороводы и про всякую мирскую суету. Как-то к слову пришлось – жене Трифон наказал, будто мимоходом, шутики ради, с сыном речь повести, зачем-де от потех сторонится, отчего с девками на прежнюю стать не заигрывает. И Фекла не добила толку от Алексея. Сестры от себя принимались у него кой-что выведывать, про чапуринских девиц пытались речь заводить – только цыкнул на них Алексей. Саввушка, по материну наказу, тоже речь начинал – ни слова ему брат не ответил.

Чужим глядел Алексей в дому родительском. Как малое дитя, радовалась Фекла Абрамовна, что и кулич-то еестряпни удался к светлому празднику, и пасха-то вышла сладкая да рассыпчатая, и яйца-то на славу окрасились. Все домашние разделяли радость хозяйкину; один Алексей не взглянул настряпню матери и, сидя за обедом, не похвалил ни жирных щей со свежиной, ни студени с хреном, ни жареного поросенка с белым, как молоко, мясом и с поджаристой кожицей. Горько показалось это старушке, слезы у ней на глазах даже выступили... Для великого-то дня, для праздника – то, которому по Божественной песни всяка тварь радуется!.. Но сдержала слезы Абрамовна, пересилила горе обидное, не нарушила

радости праздника. «Что ж! – тихонько поворчала сама с собой. – Привык к сладкой еде купеческой, навадился сидеть за столами богатыми – невкусна ему кажется хлеб-соль родительская». Но вечером в задней горнице, где ставлена была у Лохматого небольшая моленная, справив уставные поклоны и прочитав положенные молитвы, долго и тоскливо смотрела огорченная мать на лик Пречистой Богородицы. Раздумывая о сыне, не слыхала она, не чуяла, как слезы ручьем потекли по впалым щекам ее.

«Отрезанный ломоть!» – всплыло на ум Абрамовне. И, постояв малое время перед иконами, стала она класть поклон за поклоном о здравии и спасении раба Божия Алексея.

И сам Алексей сознавал, что он отрезанный ломоть от родной семьи. Еще с той поры, как только стал входить в возраст, любил он тешить себя игрой мыслей, по целым, бывало, часам задумывался над вещами несбыточными, над делами несодеянными. Бывало, стоя за токарным станком либо крася олифой горянщину, представляет он себя то сильным, могучим богатырем, то царем небывалого царства, а чаще всего богачом: у него полны сусеки серебра да злата, у него бочки жемчугов и камней многоценных в кладовой стоят. Расходятся, бывало, мысли, разгуляются, как вода вешняя, не зная удержу, и не один час проработает Алексей, не помня себя, времени не замечая, чужих речей не слыша... Но неясны и несвязны были тогда его думы о богатом житье-бытье. Не бывал он еще нигде, кроме своего Поромова да окольных деревушек, не видал, как люди в довольстве да в богатстве живут, как достатками великими красят жизнь свою привольную... Попал в дом тысячника, увидел, как люди в чести да в холе живут, узнал, как богачи деньгами ворочают... Тогда смутные думы стали ясней и понятнее...

И сотворил Алексей в душе своей кумира... И поклонился он тельцу златому... Только теперь у него и думы, только и гаданья, каким бы ни есть способом разбогатеть поскорее и всю жизнь до гробовой доски проводить в веселье, в изобилии и в людском почете.

И тесна и грязна показалась ему изба родительская, мелка денноночная забота отца с матерью о скромном хозяйстве, глупы речи неотесанных деревенских товарищей, неприглядны лица красных девушек... Отрезанный ломоть!..

Когда Патап Максимыч объявил Алексею, что не станет дольше держать его, крепко парень призадумался. Все случилось так быстро, так для него неожиданно. Решение огорченного Чапурина застало Алексея врасплох... Куда деваться?.. Домой идти – силы нет... Не ужиться ему под одной кровлей со стариками – воли, простору, богатой жизни ищет душа

молодецкая... Трудом богатство нажить?.. А сколько годов на это надобно?.. Марья Гавриловна?.. Но Алексею хоть и думалось, а как-то все еще не верилось, чтоб она за крестьянского сына пошла.

\* \* \*

Недели полторы после Настиных похорон приехал к Патапу Максимычу из Городца удельный крестьянин Григорий Филиппов. Запершись в задней горнице, добрый час толковал с ним горемычный тысячник. Кончив разговоры, повел он приезжего по токарням, по красильням, по всему своему заведению.

Затем наказал Пантелею, скликнул бы он рабочих.

– Алексея Трифонова доводится мне в Красну Рамень посылать, – объявил Патап Максимыч стоявшей без шапок толпе работников. – Оттоль ему надо еще кой-куда съездить. Потому с нонешнего дня за работами будет смотреть Григорий Филиппыч... Слушаться его!.. Почитать во всем... У него на руках и расчеты заработков.

– Слушаем, батюшка Патап Максимыч! – в голос отозвались токари и красильщики, искоса поглядывая на нового приказчика.

Понуриив голову, неспешными шагами пошел Патап Максимыч домой. Мимоходом велел Пантелею Алексея к нему позвать да пару саврасых вятков в тележку на железных осях заложить. А сиденье в тележке наказал покрыть персидским ковром, на котором сам выезжал в дальнюю дорогу.

Вошел Алексей в хозяйскую боковушу, положил Богу уставные поклоны, низко поклонился стоявшему у окна хозяину.

– Новый приказчик поряжон, – сухо, не глядя на Алексея, сказал Патап Максимыч.

Молчал Алексей, склонив голову.

– Пора тебе. Ступай с Богом, – молвил угрюмо Чапурин.

– Слушаю, – едва слышно ответил Алексей.

– Для видимости... спервоначалу ехать тебе в Красну Рамень – на мельницы, – сказал Патап Максимыч, глядя в окошко. – Оттоль в город. Дела там тебе нет никакого... Для видимости, значит, только там побывай... Для одного отводу... А из городу путь тебе чистый на все четыре стороны... Всем, кого встретишь, одно говори – нашел, дескать, место не в пример лучше чапуринского... Так всем и сказывай... Слышишь?

– Патап Максимыч... – начал было Алексей.



– А ты молчи да слушай, что люди старей тебя говорят, – перебил Патап Максимыч. – Перво-наперво обещанье держи, единым словом не смей никому заикнуться... Слышишь?

– Слушаю, Патап Максимыч, – полушепотом сказал Алексей.

– Смалчивать будешь – не успокоишься... По гроб жизни тебя не оставлю, – продолжал Патап Максимыч. – Не то что девичьей глупостью где похвалиться, болтнешь чуть что ненароком – не уйдешь от меня. Помни это, заруби себе на носу...

– Буду помнить, Патап Максимыч, – отозвался Алексей глухим, едва слышным голосом.

– То-то. Не мели того, что осталось на памяти, – молвил Патап Максимыч. – А родителю скажи: деньгами он мне ни копейки не должен... Что ни забрано, все тобой заслужено... Бог даст, выпадет случай – сам повидаясь, то же скажу... На празднике-то гостивши, не сказал ли чего отцу с матерью?

– Никому ничего я не говаривал, – упалым голосом отвечал Алексей.

– И не говори!.. Оборони тебя Господи, если кому проговориться смеешь, – строго сказал Патап Максимыч, оборотясь лицом к Алексею. – Это тебе на разживу, – прибавил он, подавая пачку ассигнаций, завернутую в розовую чайную бумагу. – Не злом провожаю... Господь велел добром за зло платить... Получай!

– Патап Максимыч! – вскрикнул было Алексей, не принимая подарка.

– Чего еще? – грозно закричал на него Чапурин, сверкнув глазами.

– Тяжелы ваши милости! – едва переводя дух, проговорил Алексей.

– Молчать! – громче прежнего крикнул Патап Максимыч. – Смеет еще разговаривать... Бери!

Не протянул руки Алексей.

– Да бери же, босопляс ты этакой!.. Бери, коли дают, – топнув ногой, крикнул на него Патап Максимыч. – Ломаться, что ли, передо мной вздумал? Чваниться?.. Так я те задам!.. Бери, не<sup>[220]</sup>путь этакой!..

Дрожмя дрожали руки у Алексея, когда принимал он подарок от Патапа Максимыча. Хоть корыстен был, а эти деньги ровно калено железо ожгли его.

Ни слова не говоря, до земли поклонился он Патапу Максимычу.

– Для че валяешься? – строго молвил ему Патап Максимыч, оборачиваясь к окну. – Только Богу да родителям в ноги следует кланяться – больше никому.

Встал Алексей и замолчал, потупя очи.

– Нужда придет – письмо пиши: помогу, – говорил Патап Максимыч,

глядя в окно. – А сам глаз не смей показывать... Есть ли место на примете?

– Никакого нет, – ответил Алексей.

– В Комарове побывай. Марья Гавриловна Масляникова, что живет у сестры в обители, вздумала торги заводить, пароход покупает. Толкнись к ней – баба добрая... Без приказчика ей нельзя... Скажи: от Патапа, мол, Максимыча прислан.

Вздрыгнул Алексей от речей Чапурина. И слышится, да не верится.

«Как же это так? – думает он. – Отчего же она сама не сказала мне?»

– Ну, с Богом... – после долгого молчания сказал Патап Максимыч, продолжая глядеть в окно. – Отправляйся.

– Патап Максимыч!.. – упалым голосом начал было Алексей.

– Нечего тут!.. Коли сказано «с Богом», так берись за скобку да шасть за косяк... – угрюмо сказал Патап Максимыч, не отворачиваясь от окна. – Пару саврасых с тележкой дарю. На них поезжай...

– Прости ты меня, ради Господа... – зарыдал Алексей, падая к ногам Патапа Максимыча.

– В шею, что ли, толкать? – закричал тот. – Убирайся, покуда цел!

Грустно поднялся Алексей и неспешными шагами вышел из горницы. И тут не обернулся Патап Максимыч.

Но долго по уходе Алексея глядел он в окно. Очей не сводя, мрачно смотрел, как тот сряжался в дорогу, как прощался с Пантелеем и с работниками, как, помолившись Богу на три стороны, низко поклонился покидаемому дому, а выехав за околицу, сдержал саврасок, вылез из тележки, еще раз помолился, еще раз поклонился деревне... Вот тихо рысцой запылil он по излучистой дорожке, что пролегала меж ярко-зеленых полос озими. Вот и скрылся в темном перелеске... Улеглась и пыль, взбитая звонкими копытами дареных лошадок, а Патап Максимыч все стоит у окна, все глядит на перелесок.

Пусто и безлюдно показалось ему в доме, когда воротился он с погоста, похоронив Настю... еще пустей, еще безлюдней показалось ему теперь, по отъезде Алексея... Широкими шагами ходит Патап Максимыч взад и вперед по горнице. Громко стучат каблуки его по крашеному полу, дрожит и звенит в шкапах серебряная и фарфоровая посуда... Тяжкие думы объяли Чапурина... Не выходит из мыслей дочь-покойница, не сходит и обидчик с ума... Рад бы радешенек из мыслей вон его, да крепко засел в голове – ничем оттуда его не выбьешь, не выживешь... Все гребтится Патапу Максимычу: куда-то он денется, каково-то будет ему в чужих людях жить.

«Эх, грому на тя нет! – бранится сам про себя Патап Максимыч. –

Малого времени подождать не мог!.. Что теперь наделал, пустая голова?.. И себе навредил, и ее погубил, и меня обездолил... Ежа бы те за пазуху!»

\* \* \*

Опустилось солнышко за черную полосу темного леса; воротились мужики домой с полевой работы, торопились они засветло отужинать – после Николина дня грешно в избах огонь вздывать. Трифон Лохматый, сидя на лавке возле двери, разболочался, <sup>[221]</sup> Фекла с дочерьми ставила на стол ужину... Вдруг к воротам подкатила пара саврасок.

Выглянула Фекла в окно, всплеснула руками. Бросив столешник, что держала в руках, накрывая стол для ужина, кинулась вон из избы с радостным криком:

– Алексеюшка!

– Кони-то знатные какие, надо быть, хозяйские, – нараспев проговорила Параня, высунувшись до половины из среднего подъемного окна.

– Опять по делам, видно, послан, – проворчал разувавшийся Трифон.

Скрипнули ворота. Алексей въехал на двор и, не заходя в избу, хотел распрягать своих вятков, но мать была уже возле него. Горячо обнимает его, а сама заливается, плачет. Вся семья высыпала на крыльцо встречать дорогого нежданного гостя.

– Куда Бог несет? – спросил Трифон у сына, когда тот перездоровался со всеми.

– Да по разным местам, батюшка, – отвечал Алексей. – Теперь покуда в Красну Рамень на мельницы... оттоль и сам не знаю куда.

– Как так? – удивился Трифон. – Едешь в путь, а куда тот путь, сам не ведаешь.

– На мельницах от хозяина приказ получу... А там, может, и на все лето уеду... На Низ, может, сплыву, – отвечал Алексей, привязывая саврасок обротями к заду тележки.

Фекла всхлипнула.

– Приводится тебе, дитятко, спознавать чужу дальнюю сторону, – на голос причитанья завела было она, но Трифон унял жену.

– Заверещала, ничего не видя! – крикнул он. – Не в саван кутают, не во гроб кладут... Дело хорошее – дальняя сторона уму-разуму учит... Опять же Алехе от хозяйских посылов отрекаться не стать... На край света пошлют, и туда поезжай.

– Чужбина-то ведь больно непотачлива, – горько молвила, утирая слезы, Абрамовна.

Не ответил Трифон старухе.

– Есть ли овес-от в запасе? – обратился он к сыну. – Не то возьми из клетки, задай лошадам, да пойдем ужинать. Знатные кони! – примолвил старик, поглаживая саврасок. – Небось дорого плачены.

Не сказал Алексей, что дорогие лошадки подарены ему Патапом Максимычем.

Хоть заботная Фекла и яичницу-глазунью ради сынка состряпала, хоть и кринку цельного молока на стол поставила, будничная трапеза родительская не по вкусу пришлась Алексею. Ел не в охоту и тем опять прикручинил родную мать. Еще раз вздохнула Фекла Абрамовна, вспомнив, что сердечный ее Алешенька стал совсем отрезанным от семьи ломтем.

Ужин в молчании прошел. По старому завету за трапезой говорить не водится... Грех... И когда встали из-за стола и Богу кресты положили, когда Фекла с дочерьми со стола принялись собирать, обратился Трифон Лохматый к сыну с расспросами.

– Долго ль у нас погостишь? – спросил он.

– Дело у меня, батюшка, спешное, – несмело и тихо ответил Алексей. – Заутре выехать надо.

Сроду впервые сказал перед отцом он неправду. Оттого и голос дрогнул немножко.

– Коли дело наспех, засиживаться нечего. С Богом, – отозвался Трифон.

– Одну только ноченьку и проночуешь, – плаксиво обратилась Фекла Абрамовна к сыну. – И наглядеться-то не дашь на себя!

Не ответил Алексей матери.

– Что у вас там в Осиповке-то приключилось? – перебил Трифон Абрамовну, сядя на лавку и обращаясь к сыну. – Беда, говорят, стряслась над Чапуриными? Дочку схоронили?

– Схоронили, – глухо ответил Алексей.

– Девуца, сказывают, была хорошая, – вступилась Фекла... – Из себя такая, слышь, приглядная, и разумом, говорят, вышла. Мало, слышь, таких девиц на свете бывает.

Ни полслова на то Алексей. Сидит молча супротив отца, опустил на грудь голову...

– Тоскует, поди, Патап-от Максимыч? – спросил старик.

– Тоскует, – сквозь зубы промолвил Алексей, не поднимая головы.

– Как не тосковать? Как не тосковать? – вздыхая, подхватила Фекла

Абрамовна. – До всякого доведись!.. Что корове теля, что свинье поросю, что отцу с матерью рожно дитя – все едино... Мать-то, поди, как убивается.

– Тоскует и мать, – подтвердил Алексей.

– Что же такое случилось с ней? – спросила Фекла Абрамовна. – Много всякого здесь плетут. Всех вестей не переслушаешь.

– Доподлинно не знаю, – ответил Алексей. – Дома меня в ту пору не было, на Ветлугу послан был. Воротился в самы похороны.

– Силом, слышь, замуж сердечную выдать хотели... За купца за какого-то за приезжего, – продолжала Фекла Абрамовна. – А она, слышь, с горя-то да с печали зельем себя опоила, не к ночи будь сказано.

– Ничего такого не было, – ответил Алексей, подняв голову. – Ни за кого выдавать ее не думали, а чтоб сама над собой что сделала – так это пустое вранье.

– Мало ль чего не плетут ваши бабьи языки, – строго промолвил жене Трифон Лохматый. – Не слыша слышат, не видя видят, а вестей напустят, смóтницы, что ни конному, ни пешему их не нагнать, ни царским указом их не поворотить... Пуговицы вам бы на губы-то пришить... Нечего тут!.. Спать ступайте, не мешайте нам про дело толковать.

Поворчав немного под нос, Фекла вышла из избы с дочерьми. Остался Трифон с сыном с глазу на́ глаз.

– Зачем на Ветлугу-то посылали? – спросил Трифон. – Аль и там дела у Чапурина?

– И там были дела, – неохотно сквозь зубы процедил Алексей.

– По мочалу аль по лубу?

– И по мочалу и по лубу, – молвил Алексей, смущаясь от новой лжи, отцу сказанной. Никогда ему даже на ум не впадало говорить отцу неправду или что скрывать от родителей... А теперь вот дошло до чего – что ни слово, то ложь!.. Жутко стало Алексею.

– Аль притомился? – спросил у сына Трифон. – Ишь глаза-то у тебя как слипаются.

– И то приустал, – молвил Алексей. – Целу ноченьку глаз не смыкал.

– Что так?

– Да с вечеру счета с хозяином сводили, – отвечал Алексей. – А там кой-чем распорядиться надобность была. Встал с солнышком – новому приказчику заведение сдавать.

– Как новому приказчику? – быстро спросил удивленный Трифон.

– Заместо меня другого взял Патап Максимыч. Григорья Филиппова, не слыхал ли? Удельный из-под Городца откуда-то.

– А тебя как же? – тревожно спросил отец.

– Меня-то, кажись, по посылкам больше хочет, – смутясь пуще прежнего, сказал Алексей.

– По посылкам! – медленно проговорил Трифон и задумался. – Что же, как рядились вы с ним? Погодно аль по каждой посылке особь?

– Патап Максимыч не обидит, – ответил Алексей.

– Знаю, что не обидит, – заметил Трифон, – а все бы лучше договориться. Знаешь пословицу: «Уговор крепче денег»... Однако ж прежню-то ряду сполна за тобой оставил аль по-новому как?

– Больше положил, – отвечал Алексей.

– Сколько?

– Два ста на серебро выдал вперед до осени, до Покрова, значит. Это на одни харчи... А коль на Низ поплыву, еще выслать обещал, – продолжал Алексей. – По осени полный расчет будет, когда, значит, возворчусь... Опять же у меня деньги его на руках.

– Где ляжешь? На повети? Али в чулане? – спросил Трифон.

– Да я бы в тележке, возле лошадок соснул. На воле-то по теперешнему времени легче, – ответил Алексей.

– В тележке так в тележке... Как знаешь, – согласился Трифон. – А деньги мне подай... На ночь-то схороню, не то всяко может случиться.

Алексей подал пачку, что на прощанье подарил ему Патап Максимыч. Старик молча пересчитал деньги.

– Тысяча! Хозяйских, значит, тут восемьсот. Так ли? – сказал он сыну.

– Так точно, – ответил Алексей.

– Хозяйские деньги завсегда надо особь держать, – молвил Трифон. – Никогда своих денег с чужими не мешай – с толку можешь сбиться. Вот так, – прибавил он, отсчитав восемьсот рублей и завернув их в особую бумажку. – Деньги не малые – по нашему деревенскому счету, по старине то есть, две тысячи восемьсот... Да... Ну а это твои? – спросил он, указывая на восемь четвертных.

– Мои, батюшка, – проговорил Алексей.

И зажгло, защемило в то время у Алексея сердце. Пришло ему на ум, что ровно бы крадет он у отца восемьсот рублей.

– Много ль в дом-от оставишь? – спросил Трифон.

– Сколько велишь, батюшка, столько и оставлю. Я твой, и вся власть надо мною твоя. В угоду будет, и все возьми – противиться не могу, – покорно отвечал Алексей.

– Без тебя знаю, что все могу взять, – сухо ответил Трифон. – Про то говорю: много ль тебе на прожиток до новой получки потребуется. Сколько

потребуется, столько и бери, остальные в дом...

– Да с меня, батюшка, было бы за глаза и пятидесяти целковых, – отвечал Алексей, чувствуя сильное волнение на сердце.

– Ладно, – молвил Трифон. – Пятьдесят так пятьдесят... Полтораста целковых, значит, в дом?

– Так точно, батюшка, – подтвердил Алексей. – Да вот еще что наказывал Патап Максимыч тебе объявить. Скажи, говорит, родителю, что деньгами он мне ни копейки не должен. Что, говорит, ни было вперед забрано – все, говорит, с костей долой.

– Полно ты?! – с радостным удивлением, вскакивая с лавки, воскликнул Трифон.

– Право слово, батюшка. Так и сказал – ни единой копейки родитель твой мне не должен.

Трифон обратился к божнице и положил иконам три земных поклона. Потом, сев на прежнее место, сказал Алексею:

– За такие великие милости должен ты, Алексеюшка, Патапа Максимыча словно отца родного всю жизнь твою почитать. Весь век по гроб жизни твоей моли за него Творца Небесного... Экие милости!.. Экие щедроты неслыханные! И чем, я дивлюсь, Алексеюшка, заслужил ты у него?.. Весь свет обойди – про такие милости нигде не услышишь... Подумай: шутка ли – двести рублей на Пасху подарил, теперь больше семисот долгу простил – ведь это почитай целая тысяча... Дай ему, Господи, доброго здоровья и души спасения!.. Экой человек-от!.. Экой человек!.. Почитай же его, Алексеюшка, почитай своего благодетеля. За добро добром платить надобно. Служи ему честно, верой и правдой... Пошли ему, Господи, всякого добра... Утешь, успокой его, царица небесная, во нынешние слезовые дни родительской печали его!..

И, поднявшись с лавки, опять обратился Трифон к святому углу, опять положил три земных поклона за благодетеля своего Патапа Максимыча.

– Так из этих денег уж брать ли мне теперь? – с довольной улыбкой сказал Трифон, показывая на лежавшие особо восемь двадцатипятирублевых бумажек.

– Вся воля твоя, батюшка, – отозвался Алексей. – Я уж сказал тебе: хочешь, так все возьми.

– Чепухи не мели, когда отец про дело с тобой рассуждает, – строго сказал ему Трифон Михайлыч. – Не обидеть желаю, долг родительский справляю... Потому пустых слов не должен ты говорить... Постой, сам я смекну, сколько денег тебе надо... До Покрова семнадцать недель: десять недель – семьдесят ден, да в семи неделях без одного пятьдесят. Значит,

всего-на́-все сто двадцать ден без одного. По целковому в день на харчи и на все тебе с залишком хватит... Значит, восемьдесят целковых в дом. До Покрова считаю, не до новой получки... Понял?..

И, отложив восемьдесят рублей, Трифон спрятал все деньги в скрытню и запер ее в сундуке.

– Ну, Алексеюшка, – радостно сказал старик. – На эти восемьдесят целковых девкам приданое справим, тогда у нас в дому все по-прежнему станет, ровно бы злодеи нас и не забижали. А все, парень, твоим трудом да разумом... Спасибо, родной, что помог отцу поправиться... Бог и добрые люди тебя за то не оставят, а от меня, старика, вот какая тебе речь пойдет. За то, что я тебя вырастил, за то, что вспоил-вскормил тебя, на ноги поставил тебя, ты мне сполна заплатил... В расчете, значит, с тобой, – прибавил старик, улыбаясь и глядя рукой сыновние кудри.

– Ведь я твой, батюшка, и все твое, – завел было прежнюю песню Алексей, но отец перебил его:

– А ты молчи, да слушай, что отец говорит. На родителя больше ты не работник, копейки с тебя в дом не надо. Свою деньгу наживай, на свой домик копи, Алексеюшка... Таковы твои годы пришли, что пора и закон принять... Прежде было думал я из нашей деревни девку взять за тебя. И на примете, признаться, была, да вижу теперь, что здешние девки не пара тебе... Ищи судьбы на стороне, а мое родительское благословение завсегда с тобой.

– Батюшка, на другое хочу я твоего благословенья просить, – после долгого молчанья робко повел новую речь Алексей. – Живучи у Патапа Максимыча, торговое дело вызнал я, слава Богу, до точности. Счеты ль вести, другое ли что – не хуже другого могу...

– Так что же? – спросил Трифон.

– Поеду теперича я на Волгу, а там на Низ, может статься, сплыву, – продолжал Алексей. – Может, подходящее местечко выпасть, повыгоднее, чем у Патапа Максимыча... Благослови, батюшка, на такое место идти, коль такое найдется.

Нахмурился Трифон.

– Неладное, сынок, затеваешь, – строго сказал он. – Нет тебе на́ это моего благословенья. Какие ты милости от Патапа Максимыча видел?.. Сколь он добр до тебя и милостив!.. А чем ты ему заплатить вздумал?.. Покинуть его, иного места тайком искать?.. И думать не моги! Кто добра не помнит, Бог того забудет.

– Не стал бы я, батюшка, говорить о том, когда б сам Патап Максимыч не советовал мне на стороне хорошего места искать.



– Что ж это такое? Разве ему ты неугоден стал?.. Ненадобен?.. Говори прямо, прогнал, что ли? – резко спросил Трифон у сына.

– Когда бы прогнал, денег бы не дал, долгов не скостил бы, <sup>[222]</sup> – в сильном смущении отвечал отцу Алексей. – Сам видел, батюшка, какую сумму препоручил он мне.

«Ума не приложу», – раздумывал старик Лохматый.

– А если, говорил Патап Максимыч, свое дело вздумаешь зачинать, – продолжал Алексей, – от себя, значит, торговлю заведешь, письмо ко мне, говорит, пиши, на почин ссужу деньгами, сколько ни потребуется.

– В разум не возьму, что за человек этот Патап Максимыч, – молвил Трифон. – Разве ты, парень, корнями обвел его... Не родня ты ему, не сват, не брат... За что же он так радеет о тебе... Что тут за притча такая?

Промолчал Алексей.

– Коли так, Бог тебя благослови, – помолчавши немалое время, сказал Трифон. – Ищи хорошего места. По какой же части ты думаешь?

– Пароходы хвалят теперь, батюшка, – ответил Алексей. – На пароходы думаю поступить... Если б теперича мне приказчиком пароходным определиться – жалованье дадут хорошее, опять же награды каждый год большие... По времени можно и свой пароходишко сколотить...

– Широко, брат, шагаешь – штанов не разорви, – молвил старый Трифон. – Пароход-от завести – не один, поди, десяток тысяч надо иметь про запас. Больно уж высоко ты задумал!..

– Патап Максимыч не оставит, – молвил Алексей.

– Нет, это уж больно жирно будет. Это уж совсем дело несбыточное, – сказал Трифон. – Как возможно, чтобы хоть и Патап Максимыч такими великими деньгами ссудил тебя!.. Не золотые же горы у него!.. Стать ли швырять ему тысячами?.. Этак как раз прошвыряешься... А ты вздоров-то да пустых мыслей в голову не забирай, несодеянными думами ума не разблажай, веди дело толком... На пароходы так на пароходы рядись, а всего бы лучше, когда б Патап Максимыч по своему великодушию небольшим капитальцем тебя не оставил, да ты бы в городе торговлишку какую ни на есть завел... Такое дело не в пример бы надежнее было.

– По времени и за торговлю можно будет приняться... не вдруг. Обглядеться надо наперед, – молвил Алексей.

– Вестимо дело, надо оглядеться, – согласился Трифон. – Твое дело еще темное, свету только что в деревне и видел... на чужой стороне поищи разума, поучись вокруг добрых людей, а там что Бог велит. Когда рожь, тогда и мера.

– Так искать, батюшка, на пароходе местечка-то? Патап Максимыч на пароходы больше советует, – сказал Алексей отцу, выходя с отцом вон из избы.

– Ищи, коли Патап Максимыч советует. Худу не научит, – решил Трифон.

Целу ночь напролет сомкнуть глаз не мог Алексей. Сказанная отцу неправда паче меры возмутила еще не заглохшую совесть его. Но как же было правду говорить!.. Как нарушить данное Патапу Максимычу обещанье? Ведь он прямо наказывал: «Не смей говорить отцу с матерью». Во всем признаться – от Патапа гибель принять...

Путаются у Алексея мысли, ровно в огневице лежит... И Настина внезапная смерть, и предсмертные мольбы ее о своем погубителе, и милости оскорбленного Патапа Максимыча, и коварство лукавой Марьи Гавриловны, что не хотела ему про место сказать, и поверивший обманным речам отец, и темная неизвестность будущего – все это вереницей одно за другим проносится в распаленной голове Алексея и нестерпимыми муками, как тяжелыми камнями, гнетет встревоженную душу его...

На другой день, пообедавши, в путь снарядился. Простины были черствые... Только Фекла Абрамовна прослезилась, благословляя сына на разлуку. Сестры были неприветны; старик сдержан, суров даже несколько.

Решили, если выйдет Алексею хорошее место в дальней стороне, приезжал бы домой проститься, да, кстати, и паспорт года на два выправил.

Недолго, кажется, прогостил Алексей в доме родительском – суток не минуло, а неприветно что-то стало после отъезда его. Старик Трифон и в токарню не пошел, хоть была у него срочная работа. Спозаранок завалился в чулане, и долго слышны были порывистые, тяжкие вздохи его... Фекла Абрамовна в моленной заперлась... Параня с сестрой в огород ушли гряды полоть, и там меж ними ни обычного смеху, ни звонких песен, ни деревенских пересудов... Ровно замерло все в доме Трифона Лохматого.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Справивши дела Патапа Максимыча в Красной Рамени, поехал Алексей в губернский город. С малолетства живучи в родных лесах безвыездно, не выдавши ничего, кроме болот да малых деревушек своего околотка, диву дался он, когда перед глазами его вдруг раскинулись и высокие крутые горы, и красавец город, и синее широкое раздолье матушки Волги.

Стояло ясное утро, когда он, приближаясь к городу, погонял приуставших саврасок. День был воскресный и базарный, оттого народу в праздничных одеждах и шло и ехало в город видимо-невидимо... Кто спешил поторговать, кто шел погулять, а кто и оба дела зараз сделать. Слышал Алексей, что перевоз через Волгу под городом не совсем исправен, что паромов иной раз не хватает, оттого и обгонял он вереницу возов, тяжело нагруженных разною крестьянской кладью и медленно подвигавшихся по песчаной дороге, проложенной середь широкой зеленой поймы. На счастье, подъехал он к берегу как раз в то время, как вернувшиеся с нагорной стороны перевозчики стали принимать на паром «свежих людей»... Зачем так суетился, зачем хлопотал Алексей, зачем перебранивался с перевозчиками и давал им лишнюю полтину, лишь бы скорей переехать, сам того не ведал. Ровно в чаду каком был. Ровно толкало его вон из родного затишья заволжских лесов, ровно тянул его к себе неведомыми руками этот шумный и многолюдный город-красавец, величаво раскинувшийся по высокому нагорному берегу Волги.

Город блистал редкой красотой. Его вид поразил бы и не такого лесника-домоседа, как токарь Алексей. На ту пору в воздухе стояла тишь невозмутимая, и могучая река зеркалом лежала в широком лоне своем. Местами солнечные лучи огненно-золотистой рябью подергивали синие струи и круги, расходившиеся оттуда, где белоперый мартын успевал подхватить себе на завтрак серебристую плотвицу.<sup>[223]</sup> И над этой широкой водной равниной великанами встают и торжественно сияют высокие горы, покрытые густолиственными садами, ярко-зеленым дерном выровненных откосов и белокаменными стенами древнего Кремля, что смелыми уступами слетает с кручи до самого речного берега. Слегка тронутые солнцем громады домов, церкви и башни гордо смотрят с высоты на тысячи разнообразных судов от крохотного ботника до полуверстных коноводок и барж, густо столпившихся у городских пристаней и по всему

плёсу.<sup>[224]</sup>

Огнем горят золоченые церковные главы, кресты, зеркальные стекла дворца и длинного ряда высоких домов, что струной вытянулись по венцу горы. Под ними из темной листвы набережных садов сверкают красноватые битые дорожки, прихотливо сбегаящие вниз по утесам. И над всей этой красотой высоко, в глубокой лазури, царем поднимается утреннее солнце.

Ударили в соборный колокол – густой малиновый<sup>[225]</sup> гул его разлился по необъятному пространству... Еще удар... Еще – и разом на все лады и строи зазвонили с пятидесяти городских колоколен. В окольных селах нагорных и заволжских дружно подхватили соборный благовест, и зычный гул понесся по высоким горам, по крутым откосам, по съездам, по широкой водной равнине, по неоглядной пойме лугового берега. На набережной, вплотную усеянной народом, на лодках и баржах все сняли шапки и крестились широким крестом, взирая на венчавшую чудные горы соборную церковь.

Паром причалил. Тут вконец отуманило Алексея. Сроду не впадало ему в голову, что могло быть где-нибудь такое многолюдство, чтобы мог кипеть такой несмолкаемый шум, такая толкотня и бестолочь. Оглушающий говор рабочего люда, толпами сновавшего по набережной и спиравшегося местами в огромные кучи, крики ломовых извозчиков, сбитенщиков, пирожников и баб-перекупок, резкие звуки перевозимого и разгружаемого железа, уханье крючников, вытаскивающих из барж разную кладь, песни загулявших бурлаков, резкие свистки пароходов – весь этот содом в тупик поставил не бывалого во многолюдных городах парня. Оглядевшись, стал он расспрашивать встречного и поперечного, как бы проехать ему на постоялый двор. Но, заметя в Алексее новичка, одни несли ему всякий вздор, какой только лез в их похмельную голову, другие звали в кабак, поздравить с приездом, третьи ни с того ни с сего до упаду хохотали над неловким деревенским парнем, угощая его доморощенными шутками, не всегда безобидными, которыми под веселый час да на людях любит русский человек угостить новичка. У баб спросил Алексей про постоялый двор – а те хватают его за кафтан и норовят всучить ему студни с хреном, либо вареных рубцов, либо отслужившие срок солдатские штаны и затасканную кацавейку; другие, что помоложе, улыбаются масляной улыбкой и, подмигивая, зовут в харчевню для праздника повеселиться. Подвернулись и лошадиные барышники, один, видимо, цыган, другой забубенный барин в военном сюртуке с сиплым голосом, должно быть, спившийся с кругу поручик, и двое мещан-кулаков в красных рубахах и

синих поддевах. Не слушая Алексея, что кони его не продажные, они смотрят им в зубы, гладят, подхлестывают, мнут бока, оглядывают копыта и зовут парня в трактир покончить дело, которого тот и начинать не думал. То и дело ощупывая тайник<sup>[226]</sup> и оглядывая своих вятков, насилу отделался Алексей от незваных покупателей, и то лишь с помощью пригрозившего им городского. Пуще отца родного возрадовался Алексей знакомому мужичку, что великим постом ряжен был Патапом Максимычем по последнему пути свезти остаток горянщины на Городецкую пристань.

– Дядя Елистрат!.. Земляк!.. – крикнул он ему, не выпуская из рук повода коренной савраски. – Яви Божескую милость – подь сюда.

Медленным шагом подошел к нему дядя Елистрат и спервоначалу не признал Алексея.

– Меня, что ль, кликал, молодец? – спросил он.

– Аль не узнал меня, дядя Елистрат? – заискивающим голосом заговорил Алексей. – Ведь ты постом посуду возил из Осиповки? Чапуринскую, Патапа Максимыча?

– Мы-ста возили. Да ты кто ж такой будешь? – спросил Елистрат.

– А приказчик-от ихний, Алексей-от Трифонов. Помнишь?.. Аль запамятовал?

– И впрямь дело, ты! – молвил Елистрат. – Ну, паря, подобрел же ты и прикраснел. В жизнь бы не узнать... как есть купец-молодец.

– Какой купец! – отозвался Алексей. – Далеко еще до купцов-то.

– Всякие, молодец, бывают купцы, – засмеялся дядя Елистрат. – По здешним местам есть такие купцы, что продают одни рубцы, да сено с хреном, да еще суконны пироги с навозом... Ты не из таковских... Первостатейным глядишь.

Стоявшие кругом громко захохотали. Дядя Елистрат как собака на них накинудся. Человек бывалый и к тому ж не робкого десятка.

– Чего галдеть-то, дуй вас горой!.. Коему лешему возрадовались? – задорно крикнул он, засучивая на всякий случай правый рукав. – Земляки сошлись промеж себя покалякать, а вы – лопнуть бы вам – в чужое дело поганое свое рыло суете!.. О!.. Рябую б собаку вам на дуван...<sup>[227]</sup> Провалиться бы вам, чертям этаким!.. Подступись только кто – рыло на сторону!..

Смекнули шутники, что дядя Елистрат человек опытный. Подобрूपоздорову один за другим в сторонку.

– Научи ты меня Христа ради, земляк, как мне отселева до постоянного двора добратсья? В городу отродясь не бывал, ничего-то не знаю, никого-то

знакомых нет – очутился ровно в лесу неизвестном, – умолял Алексей дядю Елистрата.

– На постоянный тебе? – сказал дядя Елистрат, ухватясь рукою за край Алексеевой тележки. – А ты вот бери отселева прямо... Все прямо, вдоль по набережной... Переулок там увидишь налево, налево и ступай. Там улица будет, на улице базар; ты ее мимо... Слышь?.. Мимо базара под самую, значит, гору, тут тебе всякий мальчишка постоянный двор укажет. А не то поедем заодно, я те и путь укажу и все, что тебе надобно, мигом устрою.

И, не дождавшись ответа, взобрался дядя Елистрат на тележку и развалился на персидском ковре, покрывавшем сиденье.

– Пошел! – крикнул он присевшему сбоку облучка Алексею. – Прямо пошел!.. Эй вы, калина с малиной, красна смородина!

Запрыгала тележка по булыжной мостовой, вдоль и вкось изрытой промоинами и рытвинами, и вскоре земляки добрались до постоянного двора. Не мог отказаться Алексей от докучного дяди Елистрата, не рад был, что и связался с ним. Хоть ни на пристани, ни на базаре ничего он не покупал, ничего и не продал, однако дядя Елистрат считал нужным сорвать с Алексея магарыч, спрыснуть, значит, счастливый приезд его в город. Делать нечего, должен был Алексей угощать земляка, указавшего путь-дорогу к постоянному двору. Чутьем ли пронюхал, по другому ль чему смекнул дядя Елистрат, что чапуринский приказчик при деньгах, и повел он его не в кабак, не в белую харчевню, а в стоявшую поблизости богатую гостиницу, куда его в смуром кафтане едва-едва пропустили.

В глазах зарябило у Алексея, робость какая-то на него напала, когда, взобравшись по широкой лестнице, вошел он с дядей Елистратом в просторные светлые комнаты гостиницы, по случаю праздника и базарного дня переполненные торговым людом. Горницы Патапа Максимыча, бывшие до тех пор Алексею за диковину, в сравнении с этими показались темными клевухами. Покои двухсаженной вышины, оклеенные пестрыми, хоть и сильно загрязненными обоями, бронзовые люстры с подвесными хрусталями, зеркала хоть и тускловатые, но возвышавшиеся чуть не до потолка, триповые, хоть и закопченные занавеси на окнах, золоченые карнизы, расписной потолок – все это непривычному Алексею казалось такою роскошью, таким богатством, что в его голове тотчас же сверкнула мысль: «Эх, поладить бы мне тогда с покойницей Настей, повести бы дело не как у нас с нею случилось, в таких бы точно хоромах я жил...» Все дивом казалось Алексею: и огромный буфетный шкаф у входа, со множеством полок, уставленных бутылками и хрустальными графинами с

разноцветными водками, и блестящие медные тазы по сажени в поперечнике, наполненные кусками льду и трепетавшими еще стерлядями, и множество столиков, покрытых грязноватыми и вечно мокрыми салфетками, вокруг которых чинно восседали за чаем степенные «гости», одетые наполовину в сюртуки, наполовину в разные сибирки, кафтанчики, чупаны и поддевки. Дивуется небывалый новичок низким поклонам, что ему, человеку заезжему, незнакомому, отвечают стоящие за буфетом дородные приказчики и сам сановитый хозяин с дорогими перстнями на пальцах и с золотой медалью на застегнутой наглухо бархатной жилетке. Дивится пестрой толпе бойких, разбитных половых, что в белых миткалёвых рубахах кучкой стоят у большого стола середь комнаты и, зорко оглядывая «гостей», расправляют свои бороды или помахивают концами перекинутых через плеча полотенец. При входе Алексея с дядей Елистратом они засуетились, и один, ровно оторвавшись от кучки товарищей, немилосердно передергивая плечами и размахивая руками, подвел «новых гостей» к порожнему столику, разостлал перед ними чистую салфетку и, подпершись о бок локтем, шепеляво спросил, наклоня русую голову:

– Чем потчевать прикажете?

– Перво-наперво сberi ты нам, молодёц, четыре пары чаю, да смотри у меня, чтобы чай был самолучший – цветочный... Графинчик поставь, – примолвил дядя Елистрат.

– Какой в угодность вашей милости будет? Рябиновой? Листовки? Померанцевой? Аль, может быть, всероссийского производства желаете?

Дядя Елистрат пожелал всероссийского производства, и минуты через три ловкий любимовец, <sup>[228]</sup> ровно с цепи сорвавшись, летел уж к своим гостям. Одной рукой подняв выше головы поднос с чашками и двумя чайниками, в другой нес он маленький подносик с графинчиком очищенной и двумя объемистыми рюмками. Ловко бросив подносы один за другим на столик, отошел он к среднему столу и там, подбоченьясь фёртом, стал пристально разглядывать Алексея с Елистратом.

Алексей в гостиницу пошел неохотно. Если бы дядя Елистрат чуть не силком затащил его, ни за что бы на свете не переступил он порога ее. С раннего детства наслушался он от отца с матерью и от степенных мужиков своей деревни, что все эти трактиры и харчевни заведены молодым людям на пагубу, что там с утра до ночи идет безобразное пьянство и буйный разгул, что там всякого, кто ни войдет туда, тотчас обокрадут и обопьют, а иной раз и отколотят ни за что ни прѣ что, а так, здорово живешь. Старухи келейницы, жившие в доме у его родителей для обученья ребятишек



грамоте, называли трактиры корчемницами, по действию диаволу поставленными от слуг антихриста ради уловления душ христианских. Вообще посещение таких заведений Алексей почитал делом позорным, и беспокойно было у него на сердце, когда уселся он с дядей Елистратом за отведенный услужливым половым столик. Но вот окидывает он глазами – сидят все люди почтенные, ведут речи степенные, гнилого слова не сходит с их языка: о торговых делах говорят, о ценах на перевозку кладей, о волжских мелях и перекатах. Неподалеку двое, сидя за селянкой, ладят дело о поставке пшена из Сызрани до Рыбной; один собеседник богатый судохозяин, другой кладчик десятков тысяч четвертей зернового хлеба. С другого бока сидят за чаем старик с двумя помоложе, разговор идет у них об отправке к Калужской пристани только что купленной им на пермских ладьях соли. Там идет речь о Телячьем Броде и Харчевинском перекате, <sup>[229]</sup> там о ценах на харчи в верховых городах, там о починке поломанной встречным пароходом коноводки, а там еще подальше расспрашивают какого-то армянина, много ль в Астрахани чихирю заготовлено для отправки к Макарью. Разговоры все деловые, путные. Прислушиваясь к ним, Алексей смотрит бодрее, на душе у него становится спокойней, пожалуй, хоть и «спасибо» сказать дяде Елистрату, что привел его в такое место, где умные люди бывают, где многому хорошему можно научиться.

Покончили лесовики с чаем; графинчик всероссийского целиком остался за дядей Елистратом. Здоров был на питье – каким сел, таким и встал: хоть в одном бы глазе.

– А что, земляк, не перекусить ли нам чего по малости? – спросил он Алексея, вздумав сладко поесть да хорошенько выпить за даровщинку.

– По мне, пожалуй, – согласился Алексей. – Теперь же время обедать.

Дядя Елистрат постучал ложечкой о полоскательную чашку, и, оторвавшись от среднего стола, лётком подбежал половой.

– Сбери-ка, молодец, к сторонке посуду-то, – сказал ему дядя Елистрат, – да вели обрядить нам московскую селянку, да чтоб было поперчистой да покислей. Капусты-то не жалели бы.

– С какой рыбкой селяночку вашей милости потребуется? – с умильной улыбкой, шепеляво, тоненьким голоском спросил любимовец.

– Известно с какой!.. – с важностью ответил дядя Елистрат. – Со стерлядью да со свежей осетриной... Да чтоб стерлядь-то живая была, не снулая – слышишь?.. А для верности подь-ко сюда, земляк, – сказал он, обращаясь к Алексею, – выберем сами стерлядку-то, да пометим ее, чтоб эти собачьи дети надуть нас не вздумали.

И, подойдя к медному тазу с рыбой, выбрал добрую стерлядь вершков



одиннадцати и пометил рыбу, ударив ее раза два ножом по голове, да кстати пырнул и в бок острием.

– Так-то вернее будет, – примолвил дядя Елистрат. – Теперь не могут подменить – разом могу подлог приметить. Здесь ведь народец-то ой-ой! – прибавил он, наклоняясь к Алексею. – Небывалого, вот хоть тебя, к примеру, взять, оплетут как пить дать – мигнуть не успеешь. Им ведь только лясы точить да людей морочить. Любого возьми – из плута скроен, мошенником подбит!.. Народ отпетый!..

– Напрасно, ваше степенство, обижать так изволите, – ловко помахивая салфеткой и лукаво усмехаясь, вступился любимовец. – Мы не из таковских. Опять же хозяин этого очень не любит, требует, чтобы все было с настоящей, значит, верностью... За всякое время во всем готовы гостя уважить со всяким нашим почтением. На том стоим-с!..

– Знаем мы вашего брата, знаем!.. – отшучивался дядя Елистрат. – Из Любима города сам-от будешь?

– Так точно-с, любимовские, – задорно тряхнув кудрями, с лукавой ужимкой ответил половой.

– Значит – «Не учи козу, сама стянет с возу, а рука пречиста все причистит». <sup>[230]</sup> Так, что ли, молодец? – продолжал свои шутки дядя Елистрат.

– А сами-то из каких местов будете? – развязно и с презрительной отчасти усмешкой спросил половой.

– Мы, брат, из хорошей стороны – из-за Волги, – ответил Елистрат.

– Значит – «Заволжска кокура, бурлацкая ложка, теплый валеный товар»... Еще что вашей милости потребуется? – ввернул в ответ любимовец, подбоченясь и еще задорней тряхнув светло-русыми, настоящими ярославскими кудрями.

– Ах ты, бабий сын, речистый какой пострел! – весело молвил дядя Елистрат, хлопнув по плечу любимовца. – Щей подай, друг ты мой сердечный, да смотри в оба, чтобы щи-то были из самолучшей говядины... Подовые пироги ко щам – с лучком, с мачком, с перечком... Понимаешь?.. Сами бы в рот лезли... Слышишь?.. У них знатные щи варят – язык проглотить, – продолжал дядя Елистрат, обращаясь к Алексею. – Еще-то чего пожеем, земляк?

– По мне все едино, заказывай, коли начал, – ответил Алексей.

– Гуся разве с капустой?.. А коль охота, так и жареного поросенка с кашей мигом спроворят. Здесь, брат, окромя птичьего молока, все есть, что душе твоей ни захочется... Так али нет говорю, молодец? – прибавил он половому, снова хлопнув его по плечу дружески, изо всей мочи.

– Все будет в самой скорой готовности, что вашей милости ни потребуется, – бойко подхватил любимовец, отстороняясь, однако, от назойливых ласк наянливого дяди Елистрата.

– Разве еще селянку заказать? Из почек? – спросил Алексея знакомый с трактирными кушаньями дядя Елистрат.

– Пожалуй, – равнодушно ответил Алексей.

– Валяй! – крикнул Елистрат половому. – Да чтоб у меня все живой рукой поспело – тотчас!.. Стрижена девка косы б не успела заплесть!.. Вот как!..

– Значит: щей, да селяночку московскую, да селяночку из почек, да пирогов подовых, да гуся с капустой, да поросенка жареного, – скороговоркой перебирал половой, считая по пальцам. – Из сладкого чего вашей милости потребуется?

– Девки, что ли, к тебе есть-то пришли? – захохотал дядя Елистрат. – Сладким вздумал потчевать!.. Эх ты, голова с мозгом!.. А еще любимовец-невыдавец!.. Заместо девичья-то кушанья мадерцы нам бутылочку поставь, а рюмки-то подай «хозяйские»: пошире да поглубже. Проворь же, а ты, разлюбезный молодёц, проворь поскорее.

Алексею обед понравился, пришлась по вкусу и мадера ярославского произведения из всякой всячины знаменитых виноделов братьев Соболевых.<sup>[231]</sup> Но как ни голоден, как ни охоч был дядя Елистрат до чужих обедов, всего заказанного одолеть не смог. Гусь остался почти нетронутым. Дядя Елистрат по горло сыт, но глаза еще голодны, и потому, нимало сумняся, вынул из-за пазухи синий бумажный платок и, завязав в него гуся, сунул в карман – полакомиться сладким кусом на сон грядущий.

Половые пересмеялись.

– Кармашки-то не извольте засалить, – сказал один из них, по-видимому, на́больший, опираясь на средний стол закинутыми назад руками.

– Не крадено беру, плаченное... Что зубы-то скалишь?.. Аль самому захотелось? – огрызнулся на него дядя Елистрат, запуская в карман и остатки поросенка.

– Мы не собачьей породы – объедками нашего брата не удивишь, – презрительно отозвался на́больший и ровным медленным шагом отошел в сторону.

– Ерихоны, дуй вас горой!.. Перекосило б вас с угла на угол, – бранился дядя Елистрат, кладя в карманы оставшиеся куски белого и пеклеванного хлеба и пару соленых огурцов... – Ну, земляк, – обратился он к Алексею, потягиваясь и распуская опояску, – за хлеб, за соль, за щи

спляшем, за пироги песенку споем!.. Пора, значит, всхрапнуть маленько. Стало брюхо что гора, дай Бог добрость до двора.

Алексей не отвечал. В самую ту минуту из соседней комнаты разлились стройные звуки органа, только что привезенного из Москвы и что-то очень дорого стоившего... Орган был на редкость... Чтобы послушать его, нередко в ту гостиницу езжали такого даже сорта люди, что высидеть час-другой середь черного народу считают за Бог знать какое бесчестье. Сама губернаторша, как дошли до нее слухи «о дивном оркестрионе», возгорела желанием насладиться его звуками и по этому случаю пригласила к себе на вечер чуть не полгорода. Оказалось, однако, что, несмотря на все старания полицеймейстера и городского головы, музыкальное диво в губернаторский дом перевезти было невозможно. Тогда было отдано приказанье хозяину в такой-то день в гостиницу никого не пускать, комнаты накурить парижскими духами, прибрать подальше со столов мокрые салфетки, сготовить уху из аршинных стерлядей, разварить трехпудового осетра, припасти икры белужьей, икры стерляжьей, икры прямо из осетра, самых лучших донских балыков, пригласить клубного повара для приготовления самых тонких блюд из хозяйских, разумеется, припасов и заморозить дюжины четыре не кашинского и не архиерейского, [\[232\]](#) а настоящего шампанского. Насчет плодов не велено беспокоиться: губернский предводитель из своих подгородных теплиц обещался пожертвовать и персики, и сливы, и абрикосы, и что-то еще в этом роде. Хозяин гостиницы, разумеется, остался в накладе, зато удостоился чести принимать у себя «самолучшую публику», что ее ни было в городе, и с сердечным умилением, ровно ко святым мощам, благоговейно приложиться толстыми губами к мякотьной, крошечной, благоуханной ручке ее превосходительства. Хоть не раз после такого счастья чесал он там, где в часы невзгоды любит чесать себя русский человек, однако был услажден не только целованием ручки у губернаторши, но и размашистыми ласками полицеймейстера. Полковник, похлопав купчину по плечу, с шутливой речью и юркой развязностью гвардейского штаб-офицера ткнул его пальцем в объемистый живот и обещался на днях же заехать к нему на дом и поиграть в трынку и посоветоваться насчет предстоявшего выбора в городские головы. В заключение полицеймейстер объявил, что добровольного пожертвования на детский приют с хозяина гостиницы в нынешнем году не потребуется и не пришлют ему от губернаторши толстой пачки билетов на концерт в пользу дамского благотворительного общества. Обрадованный купец, кланяясь в пояс, благодарил за такие великие милости. Угощение бояр и закрытие на целый день гостиницы сполна

окупались обещанными льготами, избавляя от пожертвований, ежегодно делаемых российским купечеством добровольно, то есть наступая на горло.

Ровными, согласными волнами льются величавые звуки «Жизни за царя». Непривычному, неразвитому слуху непонятна вся прелесть художественной музыки, недоступно наслаждение потрясающими чувствами и возвышающими дух созвучиями; но вечно юная, вечно прекрасная музыка Глинки обаятельно действует на русского человека, стоит он на высоте развития или живи полудикарем в каком-нибудь безвестном захолустьи. Будь он самый грубый, животный человек, но если в душе его не замерло народное чувство, если в нем не перестало биться русское сердце, звуки Глинки навеют на него тихий восторг и на думные очи вызовут даже невольную сладкую слезу, и эту слезу, как заветное сокровище, не покажет он ни другу-приятелю, ни отцу с матерью, а разве той одной, к кому стремятся добрые помыслы любящей души... В этих звуках так много заветного, так много святого скрыто для русского человека. Слышатся в них и глухой, перекатный шум родных лесов, и тихий всплеск родных волн, и веселые звуки весенних хороводов, и последний замирающий лепет родителя, дающего детям предсмертное благословение, и сладкий шепот впервые любимой девушки, и нежный голос матери, когда, бывало, погруженная в думу о судьбе своего младенца, заведет она тихую, унылую песенку над безмятежной его колыбелью... И тут же, рядом с заунывною, веками выстраданною песней, вдруг грянет громогласное, торжественное, к самому небу парящее величание русской хлеб-соли и белого царя православного.

Не алая заря по небу разгорается, не тихая роса на сыру-землю опускается – горит, пылает лицо белое, молодецкое, сверкает на очах слеза незванная.

И взгрустнулось от той музыки Алексею... Настеньку вспомнул, красоту ее неописанную, речи ее тихие, любовные, ласки ее нежные, судьбу ее вспомнил горькую... Хоть бы в Волгу головой, так в ту же пору.

Облокотясь на стол, закрыл он глаза ладонью, а дядя Елистрат, постукивая пальцами по столу, исподтишка взглядывал на земляка и лукаво усмехался.

– Захмелел, – молвил он. – Пойдем-ка, Алексей Трифоныч... Пора на боковую... Так-то не в пример лучше – теперича это будет тебе полезно.

На этих словах кончилась музыка. Алексей ровно ото сна очнулся... Размашисто потрянул он кудрями и, ни словом, ни взглядом не ответив дяде Елистрату, спешной походкой направился к буфету, бросил хозяину

гостиницы бумажку и, не считая сдачи, побежал вон из гостиницы.

\* \* \*

Ден через пять огляделся Алексей в городе и маленько привык к тамошней жизни. До смерти надоел ему охочий до чужих обедов дядя Елистрат, но Алексей скоро отделался от его наянливости. Сказал земляку, что едет домой, а сам с постоялого двора перебрался в самую ту гостиницу, где обедал в день приезда и где впервые отроду услышал чудные звуки органа, вызвавшие слезовую память о Насте и беззаветной любви ее, – звуки, заставившие его помимо воли заглянуть в глубину души своей и устыдиться черноты ее и грязи.

Но такое доброе настроение скоро миновало. Куда ни пойдет Алексей, где ни вздумает прислушаться к людским толкам, везде одни и те же речи: деньги, барыши, выгодные сделки. Всяк хвалится прибылью, пуще смертного греха боится убыли, а несправедливой наживы ни один человек в грех не ставит.

Вот сидит Алексей за чаем на том самом месте, где намеренно обедал с дядей Елистратом. Орган играет по-прежнему, но звуки его летят мимо ушей Алексеевых, досаждают даже ему, мешая прислушиваться к чужим разговорам. А разговоры заманчивые, толкуют про пользы да выгоды, про то рассказывают, как люди в немногие годы наживаются. Про откупа говорят, про золотые промыслы, про казенные подряды, про займы и ловкие банкротства, даже про разбои и перевод поддельных бумажек. И никто из собеседников не порицает людей, разжившихся грехом да неправдой, всяк дивится ловкости их, находчивости, уменью деньги сколотить да концы схоронить...

Слышит один день такие разговоры, слышит другой – и пуще прежнего забродили у него в голове думы о богатстве, привольной жизни и людском почете со всех сторон... Но как достичь такого богатства?.. Как добыть его скоро, сейчас же?.. Откупа, золотые прииски, казенны подряды не с руки Алексею: ими начинать, надо большие деньги иметь в руках. Отчего бы, пожалуй, и банкротом не объявиться, нахватавши побольше займов, да какой же дурак незнакомому человеку поверит хоть самые малые деньги?.. Насчет разбоев и «красноярок»<sup>[233]</sup> страшно. Был еще Алексей малым ребенком, как однажды двое пьянчуг мужиков из их деревни вздумали при безденежьи ради выпивки на счет проезжавшей с ярмарки дьяконицы поживиться... И через год с небольшим привезли под

караулом в Поромово обоих воров да плечистого, краснолицего мужика, в красной рубаше, с зверским лицом. И как же крошил он мясо на спинах пьянчуг... Поминать даже страшно!.. Не забыл Алексей и лязга кандалов на Стуколове и на всей честной красноярской братии... Нет, страшно!.. Мимо!.. Мимо!..

Но что же делать, за что приняться?.. Не жить же в городе без толку, тратя деньги по-пустому?

Опять и опять вспоминает Алексей слова Патапа Максимыча про Марью Гавриловну... «Вздумала торги заводить, вздумала пароходы покупать – приказчика ищет». Тогда смутили его эти слова, не выходили они и теперь из памяти. Отчего ж Марья Гавриловна сама не сказала про то, когда встретилась с ним в светлице Настиной?.. Брату в Казань писать обещалась, не найдется ли у него подходящего места, а про свои намеренья хоть бы заикнулась. Значит, другой есть у ней на примете... Отчего же так испугалась она, когда Алексей вошел в светлицу, отчего зарделась и глаза опустила, а потом так порывисто вздыхала, так умильно улыбалась, так любовно на него глядела?.. Видно, это только баловство одно было – дай, мол, потешусь над парнем, пуцай забирает себе невесть чего в голову.

Так порешил Алексей: «В Комаров не ездить, Марью Гавриловну из мыслей вон...» Ну ее! Пропадай она со всем лукавством своим.

Каждый вечер до полночи бродил Алексей взад и вперед по своему «номеру». Об одном думы раскидывает – как бы разбогатеть поскорей, достичь житья-бытья привольного. «Эх, как бы эта гора была да золотая, – думал он сам про себя, глядя на кручу,<sup>[234]</sup> поднимавшуюся перед его окнами, – раскопал бы ее своими руками, вынул бы из земли несметное богатство, зажил бы всем на славу и удивленье!.. Поклонился б мне тогда народ православный, а я бы житем своим утешался, построил бы каменные палаты, с утра до ночи у меня пиры бы пировали, честь мою и богатство прославляли!..» Эх! мало ли чего не придумает бедный человек, жаждущий довольства и привольной жизни!..

И на пристани, и в гостинице, и на хлебной бирже прислушивается Алексей, не зайдет ли речь про какое местечко. Кой у кого даже выпрашивал, но все понапрасну. Сказывали про места, да не такие, какого хотелось бы. Да и на те с ветру людей не брали, больше все по знакомству либо за известной порукой. А его ни единая душа по всему городу не знает, ровно за тридевять земель от родной стороны он заехал. Нет доброхотов – всяк за себя, и не то что чужанина, земляка – и того всяк норовит под свой ноготь гнуть.

Не с кем словом перекинуться, не с кем по душе побеседовать – народ

все черствый, недобрый, неприветный. У каждого только и думы, что своя выгода... Тяжело приходилось горемычному Алексею.

И вспомнил он рассказы келейниц, учивших его грамоте, про этот город, про эти каменные стены и про заклатье, святым мужем на них наложѳнное. Еще в тѳ пору, как русская земля была под татарами, ради народного умиренья проходил в орду басурманскую святитель Христов Алексей, митрополит Московский. Проходил чудотворец свой путь не во славе, не в почести, не в своем святительском величии, а в смиренном образе бедного странного человека... Подошел святитель к городу, перевозчики его не приняли, перевезти через реку не восхотели, видя, что с такого убогого человека взять им нечего, и невидимо мирским очам на речные струи быстрые распростер чудотворец свою мантию. И на той мантии переплыл на другую сторону. А там на берегу бабы белье моют; попросил у них свят муж милостинки, они его вальками избили до крови... Подошел свят муж к горе набережной, в небеси гром возгремел, и пала на ту гору молонья палючая, и из той горы водный источник струю пустил светлую. У того родника чудотворного укрухом черствого хлеба святитель потрапезовал, богоданною водицею увлажнил пересохшие уста свои. И прозвалась та гора «Гремячею», и тот источник до сего дня из нее течет... Хоть и видели злые люди Божье знамение, но и тут свята мужа не могли познать, не честью согнали его со источника и много над ним в безумии своем глумилися. Искал святитель ночлега, ночь ночевать, ходил от дому до дому – нигде его не приняли. И тогда возмутилась святая душа – воззрев на каменные стены кремлевские, таково заклатье изрек: «Город каменный – люди железные!»

«И до сих пор, видно, здесь люди железные, – бродило в уме Алексеевом. – Дивно ль, что мне, человеку странному, захожему, не видать от них ни привета, ни милости, не услышать слова ласкового, когда Христова святителя встретили они злобой и бесчестьем?» И взгрустнулось ему по родным лесам, встосковалась душа по тихой жизни за Волгою. Уныл и пуст показался ему шумный, многолюдный город.

– Какими это судьбами? Давно ль в наших палестинах? – широко разводя руками, вскрикнул Сергей Андреич Колышкин, завидя Алексея на набережной.

– Другá неделя пошла, – снимая картуз, ответил ему Алексей.

– Что ж ты, парень, до сей поры ко мне не заглянешь? Ах ты, лоботряс этакой!.. Ну что крестный?.. Здоров ли?.. Перестает ли тосковать помаленьку?.. Аль все по-прежнему?

– Давно уж не видал я его, – ответил Алексей. – Четверта неделя, как

выехал я из Осиповки.

– Где ж побывал?

– Да в Красну Рамень хозяин посылал на мельницы, оттоль вот сюда приехал.

– Из Красной-то Рамени крупчатку, что ль, куда ставите? – спросил Колышкин.

– Нешто, – подтвердил Алексей.

– По-моему, не надо бы торопиться – выждать бы хорошей цены, – заметил Сергей Андреич. – Теперь на муку цены шибко пошли под гору, ставят чуть не в убыток... В Казани, слышь, чересчур много намололи... Там, брат, паровые мельницы заводить теперь стали... Вот бы Патапу-то Максимычу в Красной Рамени паровую поставить. Не в пример бы спорей дело-то у него пошло. Полтиной бы на рубль больше в карман приходилось.

– Известно, – согласился Алексей.

– Говорил я ему намерении, – продолжал Колышкин, – да в печалих мои слова мимо ушей он пустил.

Промолчал Алексей.

– Однако покаместь прощай, – молвил Сергей Андреич, хлопнув по плечу Алексея. – У меня сегодня пароход отваливает... Некогда... Заходи ко мне – покалякаем. Дом-от мой знаешь?

– Нет, не знаю, – отвечал Алексей.

– А у Ильи пророка. Вон в полугоре-то церковь видишь: золочена глава, – говорил Сергей Андреич, указывая рукой на старинную одноглавую церковь. – Поднимись в гору-то, спроси дом Колышкина – всякий укажет. На правой стороне, каменный двухэтажный... На углу.

– Слушаю, Сергей Андреич, беспременно побываю, – отвечал Алексей, кланяясь Колышкину.

Сергей Андреич пошел было дальше по набережной, но шагах в пятнадцати от Алексея встретил полного, краснолицего, не старого еще человека, пышущего здоровьем и довольством. Одет он был в свежий, как с иголки, летний наряд из желтоватой бумажной ткани, на голове у него была широкая соломенная шляпа, на шее белоснежная косынка. Борода тщательно выбрита, зато отпущены длинные русые шелковистые бакенбарды. Встретя его, Колышкин остановился.

Слушает Алексей разговор их... Ни слова не может понять. Говорили по-английски.

«Надо быть, не русский, – подумал Алексей. – Вот, подумаешь, совсем чужой человек к нам заехал, а матушка русская земля до усов его кормит...



А кровному своему ни места, ни дела!.. Ишь, какво спесиво на людей он посматривает... Ишь, как перед нехристом народ шапки-то ломит!.. Эх ты, Русь православная! Заморянину – родная мать, своим детушкам – злая мачеха!..»

И в досаде, тихими стопами, опустя голову, побрел он в гостиницу.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На другой день, только что отпели вечерню, пошел Алексей искать дом Сергея Андреича. Отыскать его было не трудно. Только что поднялся он к Ильинской церкви и у первого встречного спросил про дом Колышкина, ему тотчас его указали. Дом большой, каменный, в два яруса, с зеркальными стеклами в окнах, густо уставленных цветами, с резными дубовыми дверями подъезда. Сквозь высокую чугунную решетку, заменявшую забор, виднелся широкий чистый двор с ярко-зеленым дерном, убитыми толченым кирпичом дорожками и небольшим водометом. Среди двора важно расхаживала красивая птица, распустив широкий хвост, блестящий на солнце золотыми и зелеными переливчатыми перьями. Сроду не выдавший павлинов, как чуду, дивился, глядя на него, Алексей. Дивуется, а сам на хоромы Сергея Андреича взглядывает да заветную думу свою думает: «Разжиться бы вволю, точь-в-точь такие палаты построил бы!»

Несмелыми шагами, озираясь на стороны, взошел Алексей на крыльцо колышкинского дома, взялся за дверную ручку – хватать, ан дверь на запоре... Как быть?... Спросить некого – на дворе, кроме павлина, ни единой души. Заглянул за угол дома, а там такое же крыльцо, такая же дверь, и тоже запертая. В окошко бы по-деревенскому стукнуть – высоко, не достанешь... «Крепко же в городе живут, – подумал Алексей, – видно, здесь людям не верь да запирай покрепче дверь, не то мигом обчистят». И, долго не думавши, по лесному обычаю стал изо всей силы дубасить в дверь кулаками, крича в истошный голос:

– Эй вы, крещеные!.. Отомкните хоромы-то!

Дверь отворилась, в ней показался здоровенный человек, бритый, в немецком платье, у картуза околыш обшит золотым галуном... Сробел Алексей. «Должно быть, чиновный, – подумал он, – пожалуй, больше станového. Ишь ты, шапка-то какая!.. Золотом обшита!.. Большого, надо быть, чину!..»

– Взбесился, что ли, ты? – накинудся здоровяк на Алексея. – Чего в дверь-то колотишь!.. Не видишь разве колокольчика?

Понять не может Алексей, про какой колокольчик он толкует ему.

– Не взыщите Христа ради, ваше благородие, – испуганным голосом сказал Алексей, снимая шапку и отвешивая низкие поклоны. – Наше дело деревенское. Мне и теперь не в примету, где тут колокольчик висит...

– Вот колокольчик, в него звонить следует, – внушительно указывая на ручку, сказал человек с галуном.

Все-таки не может понять его слов Алексей. «Какой же это колокольчик?» – думает он, глядя на повешенную у двери бронзовую ручку.

– Кого тебе? – спросил его здоровяк.

– Да вчера Сергей Андреич к себе наказывал побывать... Колышкин Сергей Андреич, – отвечал Алексей. – Домом-то не опознал ли я, ваше благородие? – прибавил он, униженно кланяясь. – А постучался, вот те Христос, безо всякого умыслу, единственно по своей крестьянской простоте... Люди мы, значит, небывалые, городских порядков не знаем...

– Здесь Сергей Андреич живет, – помягче прежнего ответил картуз с галуном. – Как про тебя доложить?

– Алексей, мол, Трифонов зашел... Из-за Волги, дескать... Что у Чапурина, у Патапа Максимыча, в приказчиках жил, – все еще несмелым голосом, стоя без шапки и переминаясь с ноги на ногу, отвечал Алексей.

– Пойдемте, – еще мягче молвил тот и повел Алексея в хоромы.

Глазам не верил Алексей, проходя через комнаты Колышкина... Во сне никогда не видывал он такого убранства. Беломраморные стены ровно зеркала стоят, – глядись в них и охорашивайся... Пол – тоже зеркало, ступить страшно, как на льду поскользнешься, того гляди... Цветы цветут, каких вздумать нельзя... В коврах ноги, ровно в сыпучем песке, грузнут... Так прекрасно, так хорошо, что хоть в царстве небесном так в ту же бы пору.

Вошел Алексей в комнату, где хозяин сидел с тем самым англичанином, что встретился ему накануне на пристани. Сидят, развалясь, на широком диване, сами сигары курят.

– Здорово, Алексей Трофимыч... Али Трифоныч?... Как, бишь, тебя? – ласково протягивая Лохматому жилистую руку, радушно встретил его Сергей Андреич. – Садись – гость будешь. Да ты к нам прилаживайся... Сюда на диван... Места хватит... Авось не подеремся!..

Не смел Алексей сесть на диван, крытый бархатом, но с приветливой улыбкой взял Колышкин его за руку и, подтащив к дивану, чуть не силком посадил его промеж себя и англичанина.

– Так как же тебя звать-позвать?... Трифоныч аль Трофимыч будешь? – спрашивал Колышкин все еще торопевшего Алексея.

– Трифонов, – отвечал тот.

– Познакомьтесь, – молвил Сергей Андреич англичанину. – Помните друга моего, благодетеля, Патапа Максимыча Чапурина, из-за Волги?

Англичанин молча кивнул головой, не выпуская изо рта сигары.

– Это его приказчик, Алексей Трифоныч, – продолжал Колышкин. – А это, – сказал он, обращаясь к Алексею, – господин Кноп, директор то есть, по-вашему говоря, – на́больший по здешнему пароходному обществу. Восемь пароходов у него под началом бегают... Андрей Иванычем по-русски зовем его.

– Рад вашему знакомству, – привстав с места и подавая Алексею руку, отчетливо и довольно чисто по-русски сказал Андрей Иваныч.

– Чем же дорогого гостя мне потчевать? Ведь этим треклятым зельем поганиться с нами не станешь? – молвил Сергей Андреич, показывая на ящик с сигарами. – Чайком разве побаловаться?.. Недаром же нас, нижегородов, водохлебами зовут... Эй! – крикнул он, хлопнув три раза в ладоши.

Дверь неслышно растворилась, и вошел тот самый человек, что показался Алексею чином больше станового.

– Чаю вели подать, – приказал ему Колышкин и, обращаясь к Кнопу, сказал:

– Вот намерен вы спрашивали меня, Андрей Иваныч, про «старую веру». Хотя я сам старовером родился, да из отцовского дома еще малым ребенком взят. Оттого и не знаю ничего, ничего почти и не помню. Есть охота, так вот Алексея Трифоныча спросите, человек он книжный, коренной старовер, к тому ж из-за Волги, из тех самых лесов Керженских, где теперь старая вера вот уж двести лет крепче, чем по другим местам, держится.

– А! – обрадовался Андрей Иваныч. – Очень буду обязан вам, господин Трифоныч, если вы преподадите мне о русской старой вере.

– Ты, голубчик Алексей Трифоныч, Андрея Иваныча не опасайся, – внушительно сказал Колышкин. – Не к допросу тебя приводит. Сору из избы он не вынесет. Это он так из одного любопытства. Охотник, видишь ты, до всего этакое: любит расспрашивать, как у нас на Руси народ живет... Если он и в книжку с твоих слов записывать станет, не сомневайся... Это он для себя только, из одного, значит, любопытства... Сказывай ему, что знаешь, будь с Андрей Иванычем душа нараспашку, сердце на ладонке...

– Мне что же-с? – смешался было Алексей. – Отчего ж не сказать, что знаю. Кажись, худого в том ничего не предвидится. Не знаю только, что будет угодно спрашивать ихней милости. Хотя я и грамотен, да не начетчик какой, от божественного писания говорить не могу.

– Будьте столь дóбры, господин Трифоныч, преподавать мне, какая заключается разность вашей старой веры от государственной церкви?

И русскими словами говорит Андрей Иванович, а не понять Алексею. С недоумением взглянул он на Колышкина.

– Андрею Ивановичу хочется узнать, в чем состоит старая вера, чем она рознится от нашей, от никонианства, говоря по-вашему? – пояснил Сергей Андреич. – Чем она, значит, отлична от нашей?

– Да, то есть какие существуют правила вашей русской старой веры? Из чего состоят сии правила? – подтвердил Андрей Иванович.

– Значит, то есть на чем наша старая вера держится, в чем то есть она состоит... – догадался наконец Алексей. – Известно, в чем: перво-наперво в два пёрста молиться, второе дело – в церкву не ходить, третье – табаку не курить и не нюхать... Чего бишь еще?.. Да... бороды, значит, не скоблить, усов не подстригать... В немецком платье тоже ходить не годится... Ну, да насчет этого по нынешнему времени много из нашего сословия баловаться зачали, особливо женский пол.

– О! Любезный мой господин Трифоныч, – с едва заметным нетерпением перебил его англичанин. – Вы мне рассказываете обряды, но я желаю знать правила вашей русской старой веры... Правила... Понимаете?

– Правила! как не понимать!.. Это понимать завсегда можем!.. – невпопад догадался Алексей. – У мирских правила не полагаются... Это у старцев только да у стариц... У монахов, чтобы понятнее вам доложить, да у монахинь. Так и зовется у них «келейное правило». Нашему брату его, пожалуй, и не снесть... Великим постом земных поклонов сот по восьми на день этого правила закатывают, а на Марьино стояние<sup>[235]</sup> – так без малого целу тысячу. У нас ведь по старой-то вере келейницы – ой-ой! – как здоровы на молитву-то. Ина сот пять поклонов отломает по лестовке и глазом даже не поморщится.

– Это вы, господин Трифоныч, также рассказываете обряды старой веры, – толковал свое англичанин, – а я желаю знать правила веры, то есть ее каноны.

– А! Значит, насчет «правильных канонов», – бойко подхватил Алексей. – Накануне больших праздников да накануне воскресеньев после вечереи они бывают. Только и правильных канонов в миру не полагается – по кельям читают их да в Городецкой часовне.

– Каноны, я вам говорю, господин Трифоныч, каноны, – с невозмутимым спокойствием добивался от Алексея толкового ответа любознательный британец. – Какие суть каноны русской старой веры, я желаю от вас узнать... Каноны... Понимаете вы меня...

– Каноны!.. Как не понимать!.. – ответил Алексей. – Мало ли их у нас, канонов-то... Сразу-то всех и келейница не всякая вспомнит... На каждый

праздник свой канон полагается, на Рождество ли Христово, на Троицу ли, на Успенье ли – всякому празднику свой... А то есть еще канон за единоумершего, канон за творящих милостыню... Да мало ли их... Все-то каноны разве одна матушка Манефа по нашим местам знает, и то навряд... куда такую пропасть на памяти держать!.. По книгам их читают...

Тут уж ровно ничего не понял Андрей Иванович. Глядит на Алексея во все глаза, а сам не знает, что и спрашивать... Колышкин молчит, покуривая сигару, и слегка улыбается.

– В русской старой вере многие секты есть? – еще раз попробовал спросить у Алексея Андрей Иванович, видя, что о правилах и канонах толку от него не добиться.

– Это так точно, – отвечал Алексей. – Много их, всяких этих сект, значит... Вот хоть бы наши места взять: первая у нас вера по беглому священству, значит, по Городецкой часовне, покрещеванцы тоже бывают, есть по спасову согласию, поморские... Да мало ли всех!.. Не сосчитаешь... Ведь и пословица есть такая: «Что мужик – то вера, что баба – то устав».

– Какая заключается разница сих вер? – настойчиво спрашивал Андрей Иванович.

– А такая и разница, что не едят вместе да не молятся... Значит, не сообщаются ни в ястии, ни в питии, и на молитву вместе не сходятся, молятся, значит, каждый со своими. В том вся и разница, – сказал Алексей.

– Между вашими верами споры бывают? – продолжал расспрашивать англичанин.

– Для чего спорить? – отозвался Алексей. – Чего нам делить-то? Споры да ссоры – неладное дело. В миру да в ладу не в пример согласнее жить. Зачем споры? Значит, кто в чем родился, тот того и держись. Вот и вся недолга. Да и спорить-то не из-за чего. Язык только чесать, толку ведь никакого из того не выйдет – баловство одно, а больше ничего. Для чего спорить?

– Для того, чтоб убедить противника, чтоб он свою веру оставил и к вам превратился, – внушительно сказал Андрей Иванович.

– Есть из чего хлопотать! – с усмешкой отозвался Алексей. – Да это, по нашему разумению, самое нестоящее дело... Одно слово – плюнуть. Каждый человек должен родительску веру по гроб жизни сдержать. В чем, значит, родился, того и держись. Как родители, значит, жили, так и нас благословили... Потому и надо жить по родительскому благословию. Вера-то ведь не штаны. Штаны изнаются, так на новы сменишь, а веру как менять?.. Нельзя!

Едва заметно Андрей Иванович улыбнулся.

– Ой! Алексей Трифоныч! – захохотал между тем Колышкин, откидываясь назад на диване. – Уморишь ты меня, пострел этакой, со смеху!.. Ишь к чему веру-то применил!.. Ну, парень, заноза же ты, как я посмотрю!.. Услыхали б тебя келейные матери – ух! задали бы трезвону!.. Право!.. Ах, озорник ты этакой!.. Ха-ха-ха!.. Вера не штаны!.. Ха-ха-ха!..

Колышкин так и катался со смеху... Громкий хохот его гудел по высоким хоромам. Андрей Иванович с едва заметным удивлением посматривал на Сергея Андреича.

– Неправду разве говорю? – быстро вскинув глазами на Сергея Андреича, молвил Алексей. – Если б я таперича, например, своему Богу не верен был, разве бы кто мог поверить мне хоть на один грош?.. Сами бы вы, Сергей Андреич, из первых не поверили...

– Следовательно, из русской старой веры никто никогда в другие секты не переходит? – спросил еще Алексея Андрей Иванович.

– Всякого народа на свете есть, – ответил Алексей. – Может стать, иной и переходит. Так ведь что ж это и за народ?.. Самый, значит, последний... Вся цена тому человеку пятак, да и тот ломаный.

– Удивительный народ! – обратился британец к Сергею Андреичу, вставая с дивана и взяв соломенную свою шляпу.

Так ничего насчет старой веры и не добился он от Алексея. Поговорив еще немного с Сергеем Андреичем насчет каких-то кладей, Андрей Иванович ушел, ласково простясь с «господином Трифонычем» и высказав сожаление, что он не совсем правильно изъясняется по-русски, отчего, вероятно, и понять вопросы его Алексею было затруднительно.

– Ну что же ты поделяваешь, Алексей Трифоныч? – спросил Колышкин, садясь возле Алексея по уходе Андрея Ивановича.

– Да как вам сказать, Сергей Андреич, – потупляясь, ответил Алексей. – Без дела, можно сказать, безо всякого... Сиднем сию... И концов тому сидению не вижу.

– Как это так?

– Заехал я сюда, Сергей Андреич, по своему делу. Счастья попытать хочется... Местечко по приказчиьей части ищу, – сказал Алексей.

– Отошел разве от Патапа-то Максимыча? – сухо спросил его Колышкин.

– Отошел-с, – вскинув бровями, ответил Алексей.

Слегка нахмурился Сергей Андреич и с видом досады быстро взглянул на Алексея. Тот сразу догадался, что нехорошее про него подумал Колышкин, и продолжал:

– Не то чтобы по какому неудовольствию али противности отошел я, Сергей Андреич, а единственно, можно сказать, по той причине, что самому Патапу Максимычу так вздумалось. «Ты, говорит, человек молодой, нечего, говорит, тебе киснуть в наших лесах, выплывай, говорит, на большую воду, ищи себе место лучше... А я, говорит, тебя ни в чем не оставлю. Если, говорит, торговлю какую вздумаешь завести, пиши – я, говорит, тебе всякое вспоможение капиталом, значит, сделаю...»

– Не врешь ли? – пристально взглянув прямо в глаза Алексею, молвил Кольшшин. – Ты, парень, сказывай мне, как попу на духу, ни в чем не таись... Может статья, пригожусь... Сам бы, пожалуй, к хорошему месту тотчас же тебя и пристроил, потому что вижу – голова ты с мозгом, никакое дело из рук у тебя не валится, это я от самого Патапа Максимыча не один раз слышал, – только сам посуди, умная голова, могу ли я для тебя это сделать, коли у вас что-нибудь вышло с Патапом Максимычем? Крестному остуды сделать не захочу... Ни за что на свете.

– Ничего промеж нас не выходило, Сергей Андреич, никакого то есть художества по моей поверенности не было. Хоть самого Патапа Максимыча извольте спросить – и он то же скажет, – отвечал на те речи Алексей, избегая зорко смотревших на него испытующих глаз Сергея Андреича.

– Признаться сказать, понять не могу, как это вздумалось Патапу Максимычу отпустить тебя, когда он столько дорожил тобой, – ходя взад и вперед по комнате, говорил Сергей Андреич. – Великим постом заезжал он ко мне не на долгое время, – помнишь, как он на Ветлугу с теми плутами ездил. В ту пору он тобой нахвалиться не мог... Так говорил: «С этим человеком по гроб жизни своей не расстанусь». Как же у вас после того на вон-тараты пошло?... Скажи по правде, не накуролесил ли ты чего?

Смутился немножко Алексей и промолчал. Опять нахмурил брови Сергей Андреич.

– Если там у вас какая бедушка стряслась, наперед тебе сказываю – не помощник я тебе и не заступник, – продолжал он. – Супротив Патапа Максимыча ни в каком разе я не пойду... А место есть. Хорошее место. И жалованья достаточно и всего прочего, да не в этом главное дело, а вот в чем: прослужишь ты на этом месте год, и, если по твоему усердию и уменью в том году довольно прибыли будет, опричь жалованья, тебе пай дадут... Еще больше прибыли – другой пай... А кроме того, кредит открыт, если б свое дело задумал. Только наперед говорю – не списавшись с Патапом Максимычем, того места я тебе не предоставляю. Как он присоветует, так делу и быть... Хочешь, сегодня же нарочного пошлю в



Осиповку?

– Сделайте такое ваше одолжение, Сергей Андреич, – ответил Алексей, низко кланяясь. – А где, осмелюсь спросить, такое местечко находится?

– Не больно далече отсюда, – сказал Сергей Андреич. – У меня на пароходах. Возьму тебя, Алексей Трифоныч, со всяким моим удовольствием, если только Патап Максимыч отпишет, что расстался с тобой добрым порядком. А без его решения принять тебя на службу мне нельзя... Сам знаешь, он ведь мне заместо отца... Вот и попрошу я по этому делу его родительского благословенья, навеки нерушимого, – добродушно подсмеялся Колышкин.

Стали говорить об условиях. Видит Алексей, что место в самом деле хорошо. Разбогатеть сразу нельзя, а в люди выйти можно. Особенно паи его соблазняли. До тех пор, что значат паи, он не слыхивал.

– Ты где пристал? – прощаясь с Алексеем, спросил Колышкин.

– У Бубнова в номерах, в гостинице, – отвечал Алексей.

– Знаю, – молвил Сергей Андреич. – Так мы вот как сделаем, Алексей Трифоныч: воротится нарочный и по письму Патапа Максимыча взять тебя будет можно, спысываю я за тобой. А если что не так, пришлю сказать, что места у меня нет. Понял?

– Понимаю, Сергей Андреич, – отозвался Алексей и отправился в гостиницу.

\* \* \*

На другой день пошел Алексей по набережной. Надобности не было никакой, но до того залегла у него тоска на сердце, до того завладела им тревога душевная, полная боязни, опасенья и горестных воспоминаний, что не сиделось ему в одиночестве, а поминутно тянуло на многолюдство... К полудню время близилось, на пристани кипело сильное движение: одни пароходы приставали, другие в путь снаряжались. Резкий, раздирающий уши свист паровиков, звяканье якорных цепей и громкие, разноголосные и разноязычные крики людей ни на миг не умолкали. И река и набережная полны были оглушающего гула разнородных звуков, ясных и несвязных. Облокотясь на перила, стоял Алексей, безучастно глядя на реку и заворачивавшие по ней пароходы, на незнакомые лица приезжавших и отъезжавших, на груды товаров, загромождавших палубы, на суету рабочих, опускавших якоря и захлестывавших причальные концы <sup>[236]</sup> за

столбики, поставленные на дощатых мостках, устроенных для подхода к судам. Рядом с ним, облокотясь на надолбы и навалившись широкой грудью на поручни перил и от нечего делать поплеывая в воду, стояло несколько незнакомых ему людей, судя по одеже, торговцев средней руки. Лениво перекидывались они отрывистыми словами и делали замечания, большей частью ругательные, насчет того или другого парохода. Слушал Алексей речи их, но не внимал им.

Пароходы меж тем один за другим причаливали. Других на это утро не ждали... Но вот вдали за широкой песчаной отмелью, из-за угла выдавшейся в реку и стоящей красно-бурой стеною горы, задымился еще пароход. Алексеевы соседи тотчас на него взáрились.

– Еще бежит, – молвил молодой парень, приглядываясь вдаль и защищая ладонью глаза от солнечного света.

– И впрямь еще пароход, – отозвался стоявший плечо о плечо с Алексеем пожилой человек в широком синем сюртуке и в мягкой валеной шляпе. – Что запоздал? Аль закусывал на Телячьем Броду?<sup>[237]</sup>

– Закусил песком на Телячьем, да, видно, еще отдохнуть вздумал в Собачьей Дыре,<sup>[238]</sup> – подхватил со стороны какой-то чернорабочий в пропитанной дегтем и салом рубахе, с расстегнутым воротом и с коричневой от загара грудью.

– Чьему бы это быть? – молвил пожилой человек в валеной шляпе, пристально глядя на вышедший в середину плёса буксирный пароход, тянувший огромную баржу, заваленную чуть не до самой ра́йны<sup>[239]</sup> высокими белыми бунтами какой-то, надо быть, легковесной клади.

– Молявинский, – подхватил молодой парень. – Бела труба с красным перехватом.<sup>[240]</sup> Надо быть, «Воевода».

– «Воевода» вechор пробежал, – заметил стоявший одаль торговец.

– Так «Соболю» надо быть, – сказал пожилой купец в синем сюртуке. – Так и есть – «Соболь», – прибавил он, вглядываясь в приближавшийся пароход. – Бунты большие – хлопок, значит. Из Самары бежит.

– Скоренько же выбежал, – заметил молодой парень. – Мы из Самары отваливали, он только что грузиться začínал.

– Ходкий пароход. Изо всех молявинских первый ходок, – сказал пожилой купец, стоявший рядом с Алексеем.

– Чтой-то вздумалось Молявиным продать такое сокровище? – вставил стоявший одаль широкоплечий торговец в широком пальто оливкового цвета, с толстой суковатой можжевеловой палкой-козьмодемьянкой.<sup>[241]</sup>

– Разве продали? – спросил у него Алексеев сосед.

– Продали... Как же. На прошлой неделе за пятьдесят тысяч продали. И денежки чистоганом получили, без рассрочек, – ответил тот. – Теперь «Соболь» последний раз от Молявиных бежит... Как разгрузится – к новой хозяйке поступит. Сдавать его здесь будут.

– Кому продан-то? – спросил Алексеев сосед, снимая валеную шляпу и пестрым бумажным платком отирая пот, обильно выступивший на лысой лоснящейся голове его.

– В Казани продавали, – ответил торговец с можжевеловой палкой, подходя ближе к Алексееву соседу. – Про Залетова Антипа Гаврилыча не слышали ль?

– Знаем маленько Антипу Гаврилыча, – сказал Алексеев сосед. – С покойными родителями хлеб-соль важивали.

– Сестра ихняя «Соболь»-от купила. Масляникова Марья Гавриловна, – молвил торговец с палкой.

Ровно оттолкнуло от перил Алексея. Изумленно взглянул он на торговца. Тот был немолодых лет и степенной наружности, с здоровым румянцем в лице и полуседыми кудрявыми волосами.

– Вправду Марья Гавриловна «Соболя» купила? – спросил его Алексей.

– Врать, что ли, я тебе стану? – сурово отозвался румяный торговец, едва взглянув на Алексея. – Коли говорю «купила» – значит, купила. Пустых речей болтать не люблю... – И, обратясь к Алексееву соседу, сказал: – На той неделе в четверг Молявин Василий Игнатьич в Казани находился. При мне у маклера с Залетовым был... При мне и условие писано. Антип-от Гаврилыч, значит, по сестриной доверенности.

– Та-ак, – протянул купец в валеной шляпе. – Та-ак-с. И деньги, значит, чистоганом?

– Двадцать тысяч тут же вручил, не говоря худого слова, – ответил торговец. – Задатку, значит. Достальные здесь после сдачи договорился получить чистоганом враз. Так и условие писано – на семидневный срок.

– Кто ж принимать-то здесь будет? Не самой же Масляниковой. Ее дело бабье, ничего в этом разе понимать она не может, – заметила валеная шляпа.

– Уж этого я доложить не могу, – ответил румяный торговец. – Поминал в ту пору Антип Гаврилыч Молявину: сестра-де хотела приказчика выслать, а другое дело: не знаю, как они распорядятся. Да ведь и то надо сказать – принять пароход по описи не больно хитрое дело. Опять же Молявины с Залетовыми никак сродни приходятся – свояки, что ли...

– Свояки, на родных сестрах женились, – подтвердил кто-то из толпы.  
– Так «Соболь»-от теперича, значит, масляниковский. Вот оно что! – промолвил купец в валеной шляпе. – Знатный пароход!.. Знатный!.. Таких по Волге не много. Давно ли плавает?

– Всего три воды, <sup>[242]</sup> четверта пошла.

Меж тем «Соболь» величаво выбежал к пристани. Медленно описав широкий круг перед набережной, поворотил он корму против течения и бросил якоря. Бывшие на пароходе пассажиры торопливо стали сходить на берег и рассыпались по набережной. Палуба немного очистилась, и Алексей, взойдя на нее, спросил одного из рабочих, где ихний капитан. Тот указал ему на молодого человека, по-видимому, из татинцовских лоцманов, <sup>[243]</sup> в широком коричневом пальто, из-под которого выглядывали вздетая навыпуск рубашка красной александрийки и смазанные конопляным маслом кимряцкие личные сапоги по колена. <sup>[244]</sup>

– Почтенный! Чьих хозяев ваш пароход? – обратился к нему Алексей.

– Братьев Молявиных, – отрывисто ответил капитан.

– Продали, слышь, его Молявины-то?

– Ну, продали так продали. Тебе до того какое дело? – с недовольной ужимкой сказал капитан.

– Кому продали-то? – спросил еще Алексей.

– Масляниковой купчихе. Разгрузимся, сдавать станем, – отходя от Алексея, отозвался капитан.

– Самой сдавать-то?

– Куда ей самой! Не бабье дело, – с самодовольной улыбкой ответил капитан. – Приказчик должен от нее приехать. Семь ден будем ждать его, неделю значит, потом неустойка пойдет... Да тебе что?

– Нет, я так... – проговорил Алексей, снял картуз, поклонился капитану и быстрым шагом сошел на берег.

«Теперь все дело как на ладони, – думал он, крупными шагами идя вдоль набережной. – Тешилась, значит, ведьма треклятая, одурачить меня думала... Коли б в самом деле на мыслях у нее в те поры про меня было, не стала бы у брата места сулить, сказала бы, что сама задумала пароход покупать... А я-то, дурак, ровно ошалел тогда!.. Вся теперь надежда на Сергея Андреича».

И закипела злость в душе Алексеевой. Злость на Марию Гавриловну, так недавно еще царившую над его думами, над его помыслами. Но, злобясь на коварную вдову, только вспомнит про очи ее соколиные, про брови ее соболиные, про высокую грудь лебединую, про стан высокий да

стройный, что твоя сосенка, так и осыплет его мурашками, трепетно забьется горячее сердце, замрет – и незваные слезы на глаза запросятся.

Перестал Алексей с того часу слоняться по набережной. Глаза бы его не глядели на проклятого «Соболя». Не видать бы ему парохода Марьи Гавриловны!..

Через три дня воротился нарочный, посланный Колышкиным. Сергей Андреич послал за Алексеем. Тот не замедлил.

Теперь уж знал он, как звонят в колокольчик. Человек с галуном на картузе встретил его не по-прежнему. Заискивал он в Алексея, старался угодить ему, говорил почтительно. Добрым знаком счел Алексей такое обращение колышкинской прислуги. Должно быть, добрый ответ получен от Патапа Максимыча.

– Здравствуй, Алексей Трифоныч! Все ль подобра-поздорову? – весело и радушно встретил его Сергей Андреич. – Ну, брат, – продолжал он, садясь к письменному столу рядом с Алексеем, – ума приложить не могу, что такое крестный творит. Полезного человека прочь от себя, а на место его принимает в дом самопервейшую по здешним местам бестию!.. Знаю я Григорья Филиппова! В Сибири б ему место, а не в чéстном дому. Не рехнулся ли с печали-то Патап Максимыч? Ведь этот Гришка трех хозяев на своем веку обворовал, к четвертому теперь подъезжает... Непременно надо писать крестному – остерегся бы, поопасился... И какой плут всучил ему такое сокровище!.. Досада даже берет... Завтра же буду писать.

– На мой-то счет, Сергей Андреич, какой ответ получен? – спросил Алексей.

– На твой счет? – с доброй улыбкой отозвался Колышкин. – На твой счет, Алексей Трифоныч, крестный такой ответ написал, что не всякий отец про сына родного такой напишет. Да вот письмо. Читай сам, а я сейчас ворочусь, надо приказанье в конторе отдать.

И, подав Алексею письмо, вышел из комнаты.

Читает Алексей знакомые крупные, полууставные почти буквы. Патап Максимыч ровно перед ним стоит... Как наяву видит он его душевными очами.

«А что пишешь ты насчет Алексея Лохматого, что просится к тебе на место, и ты его прими безо всякого сумленья. Недолго у меня жил, а много себя показал, и я бы, кажись, во веки веков с ним не расстался. Теперь на его месте Григорий Филиппыч, что у Зарубиных в приказчиках жил. Человек бывалый, знающий, а дня не проходит, чтоб не поминал я Алексеюшку. Яви Божескую милость, Сергей Андреич, устрой парня как можно в наилучшем виде – сам после «спасибо» мне скажешь. Христом

Богом прошу тебя, любезный мой крестничек, держи ты его в приближении, не как других служащих. А я отвечаю тебе за Алексея Лохматого всем моим капиталом. Сколько мне доверяешь, столь и ему поверь. Христом Богом прошу – полюби Алексеюшку и всячески жалуй его – поверь Богу, он тебе заслужит. Прежде было думал я предоставить ему место у Марьи Гавриловны Масляниковой, котору ты у меня в Осиповке видел. Она у Молявиных пароход купила, «Соболь» прозывается, восемьдесят сил, буксирный, плавал всего только три воды, строен в Сóромове у Бенардаки.<sup>[245]</sup> Окромя того, думает Марья Гавриловна и другие торги заводить. Капитал у нее значительный после мужа достался. Нарочно спрашивал я письмом Марью Гавриловну, не пожелает ли к тому делу приставить известного мне надежного человека, да такого, что я бы ручаться готов со всяким моим удовольствием; да тут вышла неудача. Ответила Марья Гавриловна, что такой человек у нее готов... После того полагал я в Самару писать да в Хвалынь к приятелям – слышал, что у них на пароходах есть места, а вышло, что у тебя к тому времени очистилось место. Сделай милость, любезный друг мой Сергей Андреич, успокой ты меня, старика, устрой Алексея сколь можно лучше. Какую милость к нему явишь, те милости твои я к себе причту. Положи ты ему жалованье хорошее, и харчи и содержание хорошее дай, не как другим прочим, яви такую милость. А буде случится Алексею какая надобность, дай ему, пожалуйста, денег, сколько ему нужно, и тотчас ко мне отпиши, заплачу немедля со всяким моим удовольствием...»

Инда руки опустились у Алексея, когда дочитал он письмо Патапа Максимыча. «Что за человек, что за милостивец! – думает он. – И впрямь не всякий отец об сыне так печется, как он обо мне... И это после того... после такой обиды!...»

И вдруг он дрогнул. По-прежнему неведомый тайный голос шептал ему: «От сего человека гибель твоя!»

В то время воротился из конторы Сергей Андреич.

– Прочитал? – спросил он Алексея.

– Прочитал, – в смущеньи ответил Алексей, отдавая письмо.

– Как полюбил-то он тебя, просто на удивленье! – сказал Колышкин. –

Уж мне-то вспало на ум, не прочит ли за тебя он дочку.

Зарделся Алексей, едва мог проговорить:

– Помилуйте, Сергей Андреич! Да разве это возможно?

– У него все возможно. Таков уж норы у крестного, – сказал Сергей Андреич. – Что в голову залезло, клином не выбьешь... Конечно, по достаткам его, особенно же теперь, когда одна дочь осталась, любой

первостатейный готов за сына ее посватать, да крестному это все наплевать. Забрело на мысли – шабаш. Право, не в зятя ли он тебя прочит? – прибавил Колышкин с радушным смехом, хлопнув рукой по плечу Алексея.

– Как это возможно? – говорил тот.

– Смотри, чтоб не вышло по-моему, – усмехнувшись, продолжал Сергей Андреич. – Не то как же это рассудить? Сам в человеке души не чает, дорожит им, хлопочет ровно о сыне, а от себя на сторону пускает... Вот, дескать, я его на годок из дому-то спущу, сплетен бы каких насчет девки не вышло, а там и оженю... право, не так ли?.. Да ты сам просился от него?

– Сам, – глухо промолвил Алексей.

– Что ж тебе вздумалось? – спросил Сергей Андреич. – Ведь тебе не житье было – масленица. Чем не понравилось?

– Что ж, Сергей Андреич, – смущенным голосом промолвил Алексей. – Известное дело: рыба ищет, где глубже, человек, где лучше.

Пристально посмотрел на него Колышкин, сморщил немного брови и прошелся раза два-три по комнате.

– Ну так должность твоя вот какая будет, – начал он, продолжая ходить по комнате и от времени до времени взглядывая на Алексея.

Подробно объяснил он, в чем будут состоять Алексеевы обязанности. Жалованья положил столько же, сколько получал он у Патапа Максимыча. На харчи особо, на квартиру, на разъезды тоже особую плату назначил. Всякий новичок в торговом деле от таких выгодных условий запрыгал бы с радости; Алексей поблагодарил, как водится, но в душе остался недоволен. Не того хотелось ему... Богатства скорей да людского почета!.. Богатства!.. Сейчас же!.. Вынь да положь – хоть по щучьему веленью, как в сказке сказывают...

Кончили тем, что через неделю, когда придет из Астрахани колышкинский пароход «Успех», разгрузится и возьмет свежую кладь до Рыбинска, Алексей поедет на нем при клади и тем временем ознакомится с пароходным делом. Затем было обещано ему место капитана на другом пароходе Колышкина.

Сергей Андреич спросил у него паспорт. Алексей вынул из кармана и подал.

– Ну, брат, этот паспорт нам не с руки, – взглянув на него, сказал Колышкин. – Трехмесячный, и сроку только две недели остается. Тебе надо годовой хоть выправить, а еще того лучше года на три.

– Слушаю, Сергей Андреич, – отвечал Алексей.

– Медлить некогда, сегодня ж отправляйся домой и торопись с паспортом. Годовой надо будет в казначействе брать, в уездный город, значит, ехать, в удельном-то приказе, пожалуй, не выдадут. Похлопочи, чтоб скорее. Денег не жалеи; где придется колеса подмазать – подмажь, только поскорее ворочайся. Через десять ден надо тебе беспрерменно здесь быть – пароход не ждет... Денег на дорогу не надо ль?

– Нет, – отозвался Алексей. – Благодарю покорно, деньги найдутся... Так я сегодня же отправлюсь.

– С Богом. Увидишь Патапа Максимыча, поклонись ему да молви про Гришку Филиппова – не больно бы ему доверялся. Сергей Андреич, мол, говорит, что это плут преестественный.

Под вечер, переправясь через Волгу, поскакал Алексей на своих саврасках в Поромово.



## ГЛАВА ПЯТАЯ

С поля на поле от деревни Поромовой, возле самого болота Долгого, на маленьком пригорке стоит село Песочное. Опричь поповских домов, в том селе всего семь дворов, да одадь от них большой дом городской постройки. Обшит он тесом, выкрашен желтой охрой; крыша на четыре ската, окна растворчатые, крыльцо на самой середке. Сажень в пятнадцати от того дома другой такой же, только поменьше. Заборы решетчатые; дворы не крытые. Тотчас видно, что строенье казенное: почтовая станция либо волостное правление, а не то пересыльный этап. И в самом деле в большом доме помещался удельный приказ, а в том, что поменьше, — училище, небогатое, впрочем, учениками.

В головах Песоченского приказа сидел Михайло Васильич Скорняков, тот самый, что на именинах Аксиньи Захаровны втянулся было в затеянное Стуколовым ветлужское дело. Жил он верстах в десяти от Песочного, в приказ приезжал только по самым важным делам. Всем заправлял писарь, молодой парень из удельных же крестьян. Обыкновенно должность писаря в удельных приказах справлялась мелкими чиновниками; крестьяне редко на нее попадали. Одним из таких был Карп Алексеич Морковкин, писарь Песоченского удельного приказа.

Родом он был из-за Волги, но какого села, какой деревни, один Господь ведает.

Повыше Балахны, на высоких глинистых горах Кирилловых да на горе Оползне, вытянувшись вдоль левого берега Волги, стоит село Городец. Кругом его много слобод и деревушек. Они с Городцом воедино слились. Исстари там ребятишек много подкидывают. Из подкидышей целой губернии половина на долю Городца приходится. Хоть поется в бурлацкой песне:

В Городце на горе  
По три девки на дворе, —

но нельзя думать, чтобы всех этих подкидышей приносили городецкие красавицы. Мудрено и то подумать, чтоб келейницам керженским, чернораменским обязан был Городец таким множеством найденьшей. Иная тому причина: издавна повелось верст из-за сотни и больше свозить в то

село незаконных детей. Случалось, что бедные крепостные законных детей в Городце подкидывали, чтобы вольными они выросли.

Найденыша обыкновенно несли в удельный приказ, а там сдавали на воспитанье желающему принять ребенка. Очередь даже велась меж крестьянами; воспитанье подкидышей стало у них чем-то вроде повинности. Чужих детей принимали крестьяне с великой радостью, из-за них даже свары и ссоры бывали – и тому взять хочется, и другому охота. Такую страсть до чужих детей надо тем объяснить, что по возрасту они взамен родных детей в рекруты сдавались. В лесах за Волгой таких приемышей зовут «захребетниками».<sup>[246]</sup>

В один летний день нашли подкидыша не в урочном месте – в овраге. Благо, что у игравших в лапту ребятишек мяч туда залетел. Спустившись в овраг, нашли они там маленького захребетника... Пришли десятские из приказа, ребенка взяли, окрестили, и как найден был он 26 мая, то и нарекли его Карпом, по имени святого того дня. Во рту раба Божия Карпа соску с жеваной морковью нашли – оттого прозвали его Морковкиным.

Время стояло глухое. Больше половины городецких хозяев в Верх на расшивах ушло либо уплыло на сплав с горянщиной. К тому ж незадолго перед тем пол-Городца выгорело, и не нашлось в самом селе Карпушке приемных родителей. Подвернулся староста с десятским из деревни Поромовой. Малым делом потолковали они меж себя и выпросили у городчан Карпушку себе в захребетники. Вспало на ум поромовским: рекрутов по теперешним временам требуют часто – воспойм, вскормим целым миром найденыша; как вырастет он, да загудит над землей царский колокол,<sup>[247]</sup> тотчас сдадим его в рекруты. С таким добрым намереньем и свез староста Карпа Морковкина в деревню Поромову. Того старосту звали Алексеем, оттого поромовскому мирскому захребетнику вышло полное прозвище: Карп Алексеев Морковкин.

Семибатькин сын, семиматерное детище росло себе да росло в деревне Поромовой... Годы шли; оглянуться не успели, мальчишка уж в разум начал входить... В сиротстве жить – только слезы лить... Будь Карпушка одного хозяина захребетником, не плохое бы житье было ему: поили б, кормили его, как сына родного, привязались бы к нему названные отец с матерью, как к детищу рождённому. Зачастую в русском простонародье бывает, что приемыш зауряд с родным сыном идет, наследство даже с ним равное по смерти богоданных родителей получает. Но Карпушка был захребетником целой деревни, оттого и выпало ему на долю горькое горе – слезовая доля.

– Христос с ним – пущай растет, – говаривали мужики поромовские, – в годы войдет, в солдаты пойдет – плакать по нем будет некому.

И крепко-накрепко наказывали бабам поберегать парнишку, приглядеть иной раз, чтоб грехом не окривел аль зубов передних ему не вышибли... Тогда беда непоправимая – за́даром пропадут хлеб-соль и мирское о сироте попечение – нельзя будет в рекруты сдать.

И быть бы Карпушке солдатушкой, шагать бы по белу свету с ранцем за плечами, без алтына в кармане, всю бы жизнь чиститься не вычиститься, учиться не выучиться, но на сиротскую долю иная судьба выпала... Сбылось на мирском захребетнике вековечное слово: «Сирый да вдовый плачут, а за сирым да вдовым сам Бог стоит».

Выходил от начальства строгий-престрогий указ: отдавать с каждой волости по стольку-то человек в «грамоту». Сельских школ тогда еще не было, оттого и велено было ребятишек в губернский город везти. Там заводилось первое в ту пору удельное училище.

По селам бабы воют, по деревням голосят; по всем по дворам ребятишки ревут, ровно во всяком доме по покойнику. Каждой матери боязно, не отняли б у нее сынишка любимого в ученье заглазное. Замучат там болезного, заморят на чужой стороне, всего-то натерпится, со всяким-то горем спознается!.. Не ученье страшно – страшна чужедальняя сторона непотачливая, житье-бытье под казенной кровлею, кусок хлеба, не матерью печенный, щи, не в родительской печи сваренные.

В Поромове бабы не выли, мужики не задумывались – у них мирской захребетник рос. Чего еще ждать Карпушкина возраста? Кто еще знает его, может, искалечится либо с голоду повадится по чужим клетям ходить да под суд угодит... Тогда миру изъян, в солдаты таких не бреют... Лучше до греха теперь же за мир в ученье его отдать: жив останется, и ученый наших рук не минует... Мир в барышах еще будет: без хлопот тогда примут Карпушку в рекруты, потому что начальство грамотным не в пример приятнее лбы забривает... И то еще льстило мужикам поромовским, что, отдавши Карпушку в училище, справят они повинность за целую волость Песоченскую... И тут барыши: коль не деньгами, так подводами другие деревни Карпушкину сдачу заверстают... Хлеб-соль, на мирского захребетника потраченный таким побытом, в деревню воротится, еще прибыток кой-какой миру при расчете окажется... Так судили-рядили мужики деревни Поромовой, и все двенадцать дворов в один голос решили сдать Карпушку в училище – пусть его учится да мучится, а родные ребятки на печке лежат.

И свезли в губернский город мирского захребетника и сдали его, куда

следовало. Стал Карпушка учиться – грамота парнишке далась, ученье на лад пошло. Да так оно на лад пошло, что через год какой-нибудь стал Морковкин что ни на есть первым учеником: без запинки читает, пишет, ровно бисер нижет, на счетах кладет и на бумаге всякие числа высчитывает – одно слово, стал с неба звезды хватать. Пали про то вести в деревню Поромову, и бабы решили, что Карпушке надо быть роду боярского, оттого и даются ему науки боярские – значит, так уж это у него от рождения, кровь, значит, такая в нем. И проводывали и наведывались, от кого бы Карпушке на свет Божий родиться – мекали на дворянского заседателя, на винного пристава, не обошли и протопопа, но дела решить не могли. Две кумы навеки из-за Карпушки тогда перессорились: одна крестилась и божилась, что он боярского отродья, а другая образ со стены тащила, что ихний захребетник непременно роду поповского. Спорили бабы, спорили, да на людях друг про дружку и ну подноготную всю выкладывать. А затем уж известно – повойники долой да в косы.

Годы идут, Карпушка учится да учится. Однажды песоченский удельный голова (не Михайло Васильевич, а другой, что до него в головах сидел), воротясь из города, так говорил на волостном сходе, при всем честном народе:

– Будучи в городе, по приказу господина управляющего, сидел я в училище: пытали там ребят, кто чему обучался. Такое собрание тут было, что ни вздумать ни взгадать: архиерей с архимандритом, губернатор с высокими чинами, барыни разряженные, – посмотреть, так дорого дашь!.. И читали там, вычитывали, каково каждый паренек обучается, а которые ребята отучились, тем аттестаты раздавали на большой бумаге за красной печатью, за подписом самого господина управляющего. И наш Карп Алексеев Морковкин, мирской захребетник деревни Поромовой, такой же аттестат принял из рук самого господина губернатора. А выдан Морковкину тот похвальный аттестат за то, что во всех тамошних науках он превзошел да, кроме того, малевать, собачий сын, наострился. Господин управляющий малеванье его мне показывал: «Вот, говорит, это вашего, песоченского!..» Голу девку с самострелом да с собакой намалевал: [\[248\]](#) стоит ровно вживе – глядеть даже зазорно. И ту девку в Питер послали – в департамент, потому, значит, что очень хорошо потрафил. А после того как я на дому у господина управляющего был, изволил его высокородие такой приказ мне сказать: Карпа Морковкина на родину отпускаем – было б ему от вас всякое устроенье. А как родных у него нет – в зятя не пожелает ли кто?.. А покаместь, говорит, пушай его в приказе живет – писарю помогает. Так вот, православные, не пожелает ли кто Карпа Морковкина в

зятя себе? Парню двадцать с годом, от начальства взыскан, наукам обучен, по малом времени сюда его вышлют. Так не пожелает ли кто?

Никто не пожелал принять в зятя захребетника. То еще на уме у всех было: живучи столько лет в казенном училище, Карпушка совсем обмирщился, своротил, значит, в церковники, попал в великороссийскую. Как же взять такого в семью, неуклонно в древнем благочестии пребывающую?.. Пришлось Морковкину проживать при удельном приказе.

Науке обучился, а от крестьянства отстал. Казенный грамотей – не пахарь, соха с приказным пером в ладу не живут, борона Карпушке не к руке, пахать тоже умения нет, мастерства никакого не знает... Выйдя раз на жнитво за девками погоняться, пожать было вздумал, так мизинец чуть не прочь отхватил. На что сенокос – по работе само последнее дело – и тут Карпушка не годится. Гадают мужики: «Хоть и грамотен, а опричь что в солдаты, никуда не годится, – такая уж, видно, судьба ему». «И в самом деле, православные, – решил голова, – не голых же девок ему малевать, сдадим за мир в рекруты – пуцай служит Богу и великому государю: ученые люди царю надобны – пожертвуем царскому величеству своим мирским захребетником...»

Новый управляющий на ту пору в уделну контору поступил. А был он не такого сорта, как прежний. Прежний-от под старость подходил, а все ветрогоном жил, все бы ему в городе с барынями, а по деревням с девками возжаться. Тем барыням, что из себя попригляднее были, из удельных магазинов весь хлеб роздал, а друзей-приятелей деньгами из мирских сумм снабжал. Мужиков подначальных не знал, да и знать не хотел. Был начальник задорный – мужики и на судьбище к нему не ходили, потому что одно пустое дело из того выходило. «Ты ему резонт, <sup>[249]</sup> а он тя в рыло», – говаривали мужики.

Новый управляющий не из таковских был: понимал мужика вдоль и поперек, всяко крестьянское дело и деревенские обычаи ведал, ровно сам в крестьянской избе родился. Объезжая приказы, увидел он в Песочном Морковкина, поговорил с ним, заставил ведомость какую-то составить, бумагу написать и похвалил. Видя, что Морковкин бобыль, и слыша, что мужики норовят его в солдаты отдать, управляющий велел ему в контору явиться. Там Карпушка пробыл года с четыре, в приказных делах наторел, и все ему стало с руки: просьбу ль написать, дело ль в котору надо сторону своротить – на всякое художество собаку съел. Открылось в Песоченском приказе место писаря. Карпушку туда.

И стал Карпушка не Карпушка, а Карп Алексеич. Удельного голову в руки забрал, старшин за бороды стал потряхивать. У него вся волость: ходи

как лить по дну, а воды замутить не могли.

Разжился Карп Алексеич, ровно купец городской: раз по пяти на дню чай пивал, простым вином брезговал, давай ему кизлярки да на закуску зернистой икры с калачом. Не то что становой, сам исправник у Карпа Алексеича гащивал, но из крестьян хорошие люди знать его не хотели. Голова Михайло Васильич поневоле в добрых ладах с Морковкиным жил, но крепко тяготился, когда писарь наезжал к нему в дом погостить-побеседовать. Патап Максимыч к каждому празднику посылал ему барашка в бумажке: нельзя – сам удельный, но дружбы с Морковкиным не заводил и к себе в дом его ногой не пускал. И рядовому крестьянству и тысячникам всем равно насолил Карп Алексеич...

Не дай Бог свинье рога, а мужику барство. Нелегко крестьянам начальство бритое, не в пример тяжелей – бородатое. То больше обидно стало песоченскому обществу, что не наезжий писарь аль не чиновник какой над ними властвует, а свое отродье, тот самый Карпушка, что недавно в Поромовой с поросятами в грязи валялся.

А каково было старикам поромовским, вскормившим Карпушку в мирских захребетниках?.. Каково было им без шапок на морозе стоять перед Карпом Алексеичем, кланяться ему до сырой земли, прочить да молить, чтоб над ними помилосердствовал?

«Знать бы да ведать, – меж собой говорили они, – не сдавать бы в науку овражного найденыша!.. Кормить бы, поить его, окаянного, что свинью на убой, до самых тех пор, как пришлось бы сдавать его в рекруты. Не ломался б над нами теперь, не нес бы высоко поганой головы своей. Отогрели змею за пазухой! А все бабы! Они в ту пору завывали невесть с чего...»

И доставались бабам колотухи здоровенные... Доставались и тем, что в те поры, как сдавали Карпушку в ученье, и бабами еще не были. Не разбирать же стать, когда мужичьему кулаку расходиться вздумается. Пуцай бабье меж собой разбираются: которая из них правая, которая виноватая.

Наехавши писарем, не замедлил Карп Алексеич побывать в деревне Поромовой. Поромовские – известно: и «Голубчик ты наш!», и «Родной-то ты воскормленник наш!», и «Вот какого Бог привел выкормить!». Тот ему дядей, другой сватом называется. В прежнее время Карпушку хворостиной со двора, а теперь – «Желанный ты наш, разлюбезненький». Сватьев не оберется, свояков не огребется, а женского кумовства до Москвы не перевешаешь. Но, невзирая на ласки поромовцев, не по-родственному обошелся Морковкин со своими поильцами-кормильцами.

Помнил он ребячество, помнил, как изо дня в день держали его впроголодь, а водили в обносках, что от ветхости с плеч родных детей сваливались. Помнил он щипки, рывки и потасовки ребятишек. Бывало, Боже сохрани ответить тем же – драчуны разревутся, пожалуются, и мирского захребетника за ушко да на солнышко, да выпорют еще вдобавок без милосердия. Не было в Поромове мужика, который бы хоть раз в неделю не нарвал вихров захребетнику. А пуще всего бабы памятны были Карпу Алексеичу: то и дело колотили они парнишку и за дело и без дела. Да все зря, чем ни попало: скалкой так скалкой, ухватом так ухватом, а не то и поленом, коли под руку угодило.

Попил, поел, погостил у поромовских Карп Алексеич, да вместо спасибо за хлеб за соль назавтра велел мужикам с поклоном в приказ приходить.

– По гривне с души, – сказал он. – По иным деревням у меня пятак положон, а вы люди свои: с вас и гривна не обидна. Надо бы побольше, да уж так и быть, хлеб-соль вашу поминаючи, больше гривны на первый раз не приму.

Делать нечего – писарь велик человек, все у него в руках, а руки на то и привешены, чтобы посулы да подносы от людей принимать. Поклонились гривной с души воскормленнику... Что делать? Поневоле к полю, коли лесу нет... Взял деньги Морковкин – не поморщился да, издеваясь, примолвил старосте:

– Не даю потачки своим, чтоб страху задати чужим.

Гривной с души поромовские от бед и обид не избыли. К мужикам по другим деревням Карп Алексеич не в пример был милостивей: огласки тоже перед начальством побаивался, оттого и брал с них как следует. А «своим» спуска не давал: в Поромовой у него бывало всяко лыко в строку.

Жаловаться в конторе пробовали – вышло хуже.

А жаловаться по мирскому решению ходил Трифон Михайлыч Лохматый. Правду сказать, он не то чтоб настоящим ходоком от миру был, чтоб нарочно в город посылали его с жалобой, на это он ни за что бы в свете не пошел. Было у него на ту пору свое дело в городе, так уж кстати было и просьбу снести. Управляющий жалобу выслушал, очень на писаря прогневался и послал доверенного чиновника по всем деревням Песоченской волости разведать, вправду ль на него Лохматый жаловался. Чиновник тот человек был ловкий, слыл добросовестным и бескорыстным, а исподтишка любил лапку в чужой карман запустить... До мужиков неповаден был и злобен, даром что Доброхотовым прозывался. Коли знает, бывало, что начальство про дела его сведать может, – за правду горой, и

мужика в обиду не даст; а коль можно втихомолку попользоваться – на руку охулки не положит. А пуще всего брал языком. Кто по другим ведомствам служит, все у него воры да мошенники, один он свят человек. Ловко начальство надувал и веру к себе получил от него большую. Что ни скажет, бывало, Доброхотов управляющему, так тому делу и быть. С Морковкиным спознался, когда тот еще в конторе служил. Приехав в Песочное, три дня и три ночи угощался он у писаря: день сам-друг чайничают, ночь в две пары с солдатками бражничают. После трех ден гульбы стал Доброхотов мужиков созывать да про писаря Морковкина расспрашивать. Всех деревень крестьяне сказали, что очень им довольны, никаких обид от него не видали. Недовольных только и нашлось, что двенадцать хозяев деревни Поромовой. А как им поверить, коли тысячи других в полной мере одобряют писаря. Управляющий добрый нагоняй задал поромовским. Больше всех досталось Лохматому. Тем дело и покончилось.

Карп Алексеич узнал от приятеля, кто на него челобитчиком был. Только что уехал Доброхотов, злобно закусил он губу и, не таясь стоявших поблизости людей, громко вымолвил:

– Помни ты это, Трифон Лохматый, а я про тебя не забуду.

Но Трифон Лохматый по правде жил да по истине, придраться к нему было мудрено. Как ни хитрил, какие ямы писарь под ним ни подкапывал, подцепить никак не мог. Еще пуще оттого зло разобрало Морковкина.

– Ладно же, – говорит, – ладно, не отвертись ты у меня, Трифон Лохматый... Дойму не мытьем, так катаньем!..

И с того часа положил на него вражду и лютую злобу.

\* \* \*

Хоть велик был человек Карп Алексеич, хоть велики стали достатки его, но не хватало ему по деревенскому свычаю-обычаю настоящей силы-важности, потому что человек был молодой, да к тому ж неженатый. Известно, что семейному всегда ото всех больше почету, особенно если ему над другими начальство дано...

Пора бы и Морковкину семьей заводиться, да жениться-то по окольности не на ком: крестьянскую девку взять не хочется, купецкая дочь не пойдет за мирского захребетника, на солдатке жениться зазорно, на мещанке накладно, на поповне спаси Господи и помилуй!.. А недобро жить одному: одна головня и в поле гаснет, а две положи – закурятся. Нельзя Карпу Алексеичу век свой холостым переколачиваться, беспреренно надо



ему помощницу: ведь холостому помогай Боже, а женатому хозяйка поможет... Да и что за жизнь неженатому?.. Одному и у каши неспоро, одному и топиться скучно идти. Во своем одиночестве завелся Морковкин кумушками, и было их у него вдоволь, но что ни толкуй, дело то греховное, зазорное... не в пример лучше совершить закон по Божьей заповеди.

Стосковался безродный, безженный Карп Алексеев сын. Теплы в приказе хоромы казенные, дров на них не жалеют, топят на деньги мирские. Есть-пить Морковкину слава те Господи – иным дворянам только по великим праздникам поесть так приходится: рому, кизлярки, всяких водок от челобитных приносов хоть полы подымай, чаю-сахару хоть коням вместо овса засыпай, других всяких запасов ни счету, ни меры нет... Да с кем греться теплом, с кем над сладким кусом порадоваться, с кем распивать даровые напитки приносные?.. «Эх, – чаще да чаще стал подумывать сам с собой Карп Алексеич, – кого бы одеть в шелки-бархаты, кого б изукрасить дорогими нарядами, кого б в люди показать: глядите, мол, православные, какова красавица за меня выдана, каково краснó она у меня изукрашена!.. Сторонись, сиволапые! Зарься, гляди, честнóй народ, каково убранство на моей на хозяйюшке!»

Как у старого дó смерти душа не вынута, так у молода до свадьбы сердце не запечатано, оттого повсюду Морковкин искал-поискивал ответного сердца девичья. Весной ли, бывало, как девки за околицей зачнут хороводы водить да песни играть, по осени ль как на супрядках они собираются, о Пасхе ли на качелях, о Святках ли на игрищах, о Масленой на ледяных горах, что ставились ребятами по крутым спускам, прямо над прорубями, – Карп Алексеич тут как тут... Но сиротство-одиночество на роду ему было писано. С пáрнями девки заигрывают: кого в затылок кулаком, кого ладонью вдоль спины изо всей мочи, кому жбан квасу нá голову, коли вздумает девичьи разговоры под окнами подслушивать, – Карпу Алексеичу ни привет, ни ответа: молча поклонятся писарю девки низким поклоном, сами не улыбнутся писарю и тотчас и в сторону. Как с великим человеком шутки шутить! Пожалуй, прогневается... И на супрядках место ему не у голбца, где деревенски ребята стоят, а место поповское – в переднем, почетном углу под иконами. И речи ведут к нему не шутливые, говорят слова все покорные, потчуют Карпа Алексеича на девичьих супрядках, ровно попа на поминах родительских. К хороводу подойдет, парни прочь идут, а девкам без них скучно, и ругают они писаря ругательски, но сторожась, втихомолку: «Принес-де леший Карпушку-захребетника!» Прозвище горького детства осталось за ним; при нем никто бы не посмел того слова вымолвить, но заглазно все величали его мирским

захребетником да овражным найденышем. Как ни старался он угождать девкам в хоровах и на супрядках, какого ни приносил им угощения – не помогали гостинцы: не льнули девки к писарю, задаром только харчился он... На что поповичи, и тем девки были доступнее, чем бесталанному Карпу Алексеичу.

Беда, горе великое на людях жить одинокому, но та беда еще полбеда. Вот горе неизбывное, вот беда непоправимая, как откинешься от добрых людей да, отчаливши от берега, к другому не причалишь! Хуже каторги такая жизнь!.. Такова довелась она Карпу Алексеичу.

А меж тем старики да молодые люди женатые, глядя на писаря в беседах девичьих, то и дело над ним издеваются. «Вишь какого, – судят промеж себя, – даровали нам начальника: ему бы возле подола сидеть, а не земски дела вершать. И девки-то плохи у нас, непутные: подпалили бы когда на супрядках захребетнику бороду, осрамили б его, окаянного... Да и парни-то не лучше девчонок: намяли б ему хорошенько бока-то, как идет темной ночью домой с девичьих супрядок. Право слово, так».

Одна девка посмелей была. То Паранька поромовская, большая дочь Трифона Михайлыча. Не таковская уродилась, чтобы трусить кого, девка бывалая, самому исправнику не дуется в ус. Такая с начальством была смелая, такая бойкая, что по всему околотку звали ее «губернаторшей». Стала Паранька ради смеху с Карпушкой заигрывать, не то чтоб любовно, а лишь бы на смех поднять его. Подруги корить да стыдить девку зачали:

– Срамница ты этакая!.. С кем заигрывать вздумала!.. От парней рыло воротить, а к мироеду на шею мечешься... Эх ты!.. А еще губернаторша!

– Да ведь я так, девы, ради одного смеху, – оправдывалась Паранька Лохматая.

– То-то для смеху!.. – бранили ее девки. – Намедни захребетник зачал с тобой говорить, а у тебя и глаза запрыгали, и в горле перехватило, и голос стал ровно надтреснутый... Смотри, Паранька, не осрамись... То попомни, что коль у вас с писарем до греха дойдет, тебе одна дорога – в кельи идти... То разумеешь, что девку, мирским захребетником обцелованную, не то что хороший парень, последний кабацкий пропойца за себя не возьмет... Да и от нас подальше убирайся тогда. Не водиться девицам с Карпушкиной полюбовницей... Помни это, Паранька, помни, не забывай...

– Ну вас тут! Стану я взаправду думать о писаре!.. – крикнет да захохочет, бывало, девкам в ответ Паранька Лохматая. – Да по мне, Карпушка хоть на ноже торчи... Ишь чем попрекать меня вздумали!

– То-то, губернаторша, смотри! – говорили девки, веря словам ее. В голову никому прийти не могло, чтоб, опричь солдаток, вздумал кто гулять

с мирским захребетником.

А Паранька меж тем с писарем заигрывала да заигрывала... И стало ей приходить в голову: «А ведь не плохое дело в писарихи попасть. Пила б я тогда чай до отвалу, самоваров по семи на день! Ела бы пряники да коврижки городецкие, сколь душа примет. Ежедень бы ходила в ситцевых сарафанах, а по праздникам бы в шелки наряжалась!.. Рубашки-то были бы у меня миткалевые, а передники, каких и на скитских белицах нет».

Зачал и Карп Алексеич на Параньку глаза распускать, одинокому человеку ласковое девичье слово всегда душу воротит вверх дном. Но жениться на Параньке и на мысли ему не впадало... То на уме Карп Алексеич держал: «Сплету лапоть без кочедыка, возьму девку без попа, в жены не годится – в кумушки бредет». И повел свое дело.

Стали девки замечать, что дело не на смех у них становится. Говорят Параньке:

– Что ты, дура отятая?.. Куда ты с бешеной головой своей лезешь?.. Надует тебя захребетник, как пить даст!.. Даром только ославишься!..

А «губернаторша» как цыкнет им на ответ, да одной подруге еще примолвила:

– Не тебя стригут, так ты и молчи.

Дошли слухи до родителей. Не верил отец, чтоб писарь с Паранькой венцом порешил, но поверила тому Фекла Абрамовна.

Проведав про дочкины проказы, старый Трифон указал ей на плеть, а писарю при случае обещался виски поправить.

– Да я, – говорит, – скорей детище свое в куль да в воду, чем за мирского захребетника замуж отдам!.. В нашем роду бесчестных людей не бывало, нам с Карпушкой родниться не стать.

Заглянул однава Трифон в овин – писарь с Паранькой обнимаются. Схватил старик цеп, да и ну молотить.

После того у писаря три дня и три ночи голова болела, а на правую ногу три недели прихрамывал... Паранька в люди не казалась: под глазами синяки, а что на спине, то рубашкой крыто – не видать... Не сказал Трифон Фекле Абрамовне, отчего у дочери синяки на лице появились, не поведала и Паранька матери, отчего у ней спинушку всю разломило... Ничего-то не знала, не ведала добродушная Фекла Абрамовна.

«Постой же ты у меня, – кряхтя и охая, думал Карп Алексеич. – Все припомню, все: и жалобы твои и побои!.. Узнаешь меня, косматая борода!.. Дай только на ноги подняться!..»

Да справившись, выбрал ночку потемнее и пошел сам один в деревню Поромову, прямо к лохматовской токарне. Стояла она на речке, в поле, от

деревни одаль. Осень была сухая. Подобрался захребетник к токарне, запалил охапку сушеной лучины да и сунул ее со склянкой скипидара через окно в грудку стружек. Разом занялась токарня... Не переводя духу, во все лопатки пустился бежать Карп Алексеич домой, через поле, через кочки, через болота... А было то дело накануне постного праздника Воздвиженья Креста Господня.

На Покров у Лохматого лошадей угнали, на Казанскую в клетки все до нитки обворовали. Тут Карп Алексеич был неповинен. В том разве вина его состояла, что перед тем незадолго двух воров в приказ приводили, и писарь, как водится, обругав их, примолвил десятскому:

– Вот дураки-то!.. К кому забрались!.. Как куры в ощип и попали... Это не Трифон Лохматый, у того и кони не в призоре, да и в клеть хоть на тройке въезжай.

Воры были удельные, обокрали удельного. Удельный приказ, не доводя дело до суда, распорядился по-домашнему: воров выпорол и отпустил... И вспомянули воры слово писарево, и очистили догола старика Лохматого.

Спалив токарню, сам же писарь, как ни в чем не бывало, подговаривал Трифона подать становому объявление. «Как зачнется следствие, – думал он, – запутаю Лохматого бумагами, так оплету, что овина да жалоб и на том свете не забудет». Спознал Морковкин, что Трифон не хочет судиться, что ему мужики «спасибо» за то говорят.

«Деньгами спутать!..» – подумал он и шепнул своей сударушке:

– Молви, лебедка, матери: пуцай, мол, тятка-то на нову токарню денег у меня перехватит. Для тебя, моя разлапушка, рад я радехонек жизнью решиться, не то чтобы деньгами твоему родителю помочь... Деньги что?.. Плевое дело; а мне как вам не пособить?.. Поговори матери-то, Паранюшка... И сам бы снес я, сколько надо, Трифону Михайлычу, да знаешь, что меня он не жалует... Молви, а ты молви матери-то, она у вас добрая, я от всего своего усердия.

– Поговорю, Карпушенька, беспрерывно поговорю... – отвечала на те речи Паранька. – И спасибо ж тебе, соколик мой!.. А и что это у нас за тятенька! Не родитель детям, а злой лиходей... Ровно я ему не родная дочь, ровно я ему наемная работница!.. Не жалеет он меня ни насколько! И за что это он невзлюбил тебя?

– Не кручинься, моя ягодка, не горюй, яблочко наливчатое, – отвечал Морковкин, обнимая свою разлапушку. – Бог милостив: будет праздник и на нашей улице... А Трифона Михайлыча, нужды нет, что меня не жалует, уважить я завсегда готов... Что ни есть нажитого, все, до последней

копейки, рад ему отдать... Так и скажи Фекле Абрамовне.

– Скажу, соколик мой, беспременно скажу, – страстно отвечала Паранька, ласкаясь к писарю. – Только уж не знаю, как тятка-то...

– А что?

– Загубил он мою молодость!.. – утирая рукавом слезы, зарыдала Паранька. – Не дает воли сердечушку, не велит любиться с желанным моим!..

– Да ведь любимся же, Паранюшка, – утешал ее захребетник. – Не гневи Бога, не кори отца.

– Любится-то мы любимся, голубчик мой, – сказала Паранька, – да все ж под страхом, под боязнью. А мне вольной любви хочется! Передо всеми бы людьми добрыми не зазорно было обнять тебя, не украдкой бы говорить с тобой речи любовные, не краснеть да не зариться со стыда перед подругами...

– Бог милостив, Паранюшка, придет час воли Божией, – говорил Карп Алексеич. – А матери ты поговори, про что я наказывал.

– Ох ты, добрый мой!.. Ох ты, радошный! – полными белыми руками обвивая шею писаря и жарко целуя его, говорила Параня. – Тятка зло тебе мыслит, а ты ему добром хочешь платить... Какой же ты славный, Карпушенька!

И жарко целовала Параня полюбовника, и сладко миловала его, и крупные слезинки, что жемчужинки, выкатались из ясных очей ее.

А под вечер все рассказала матери: про гульбу свою с Морковкиным, про надежду писарихой быть, жить-поживать в холе, в почете, в великом богатстве... И про то рассказала Фекле Абрамовне, что в овине приключилось по осени, и про то молвила, что сулит Морковкин денег на токарню дать и на все на прочее, сколько понадобится... Фекла Абрамовна разревелась-расплакалась, не нашла слов на похвалу Карпу Алексеичу и долго и строптиво ворчала на своего старого... Потому-то и пыталась она подъехать к сожителю со словами советными, попросил бы он денег у писаря, но не принял Трифон советов жениных, не восхотел поклониться мирскому захребетнику: послал Алексея к Патапу Максимычу, Саввушку ложкарить в Хвостиково.

За великую досаду стало это Морковкину. «Уж как ты там себя не вывертывай, – говорил он сам про себя, – а доеду я тебя, Трифон Михайлович, попомню овин да жалобы!» А сударушке иное расписывал:

– Бога не боится родитель твой – в чужи люди сыновей послал! Саввушку-то жалко мне очень – паренек-от еще не выровнялся, пожалуй, и силенки у него не хватит на работу подряженную. Много, пожалуй,

придется и побой принять, коль попадется к хозяину немилостивому. Чем сыновей-то в кабалу отдавать, у меня бы денег позаймовал. Не потерпит ему Господь за обиды родным сыновьям.

Паранька плакала, передавала писаревы слова матери и чуть не каждый Божий день приводила ее в слезы разговорами о тяжелой работе в чужих людях Алексея да Саввушки.

– Не говори ты, Паранюшка, не надрывай моего сердечушка! – тосковала и рыдала Фекла Абрамовна, слушая речи дочерние. – Сама знаю я, девонька, какова чужедальняя сторонущка: горем она сеяна, слезами поливана, тоскою покрывана, печалью горбжена, – причитала она, сидя на лавке и качаясь станом взад и вперед.

Когда пали слухи, что Алексей у Патапа Максимыча хорошо пристроился, что осиповский тысячник премного его жалует, сделал даже своим приказчиком, мирской захребетник задумался. Слышит от людей, что Трифон Лохматый нову токарню выстроил, лошадей купил и всем прочим по хозяйству справляется. Раза по два на неделе бегают к нему Паранька, говорит, что деньги на расходы Алексей приносил... Разобрало зло писаря пуще прежнего.

Говорит удельному голове Михайле Васильичу:

– Давно мне хотелось сказать вам насчет Алексея Лохматого, что живет у Чапурина в Осиповке.

– Что ж такое? – спросил у него Михайло Васильич.

– У отца у его токарню по осени спалили, а потом обокрали беднягу.

– Знаю, – отвечал голова. – Кругом разорили. А хозяин исправный был!

– Теперича, Михайло Васильич, – продолжал Морковкин, – Трифон Лохматый нову токарню ставит, не в пример лучше прежней, и пару коней купил – лошади доброезжие, не малых денег стоят, опять же из пожитков, что было покрадено, живой рукой справляет.

– Что же? Слава Богу, что пособляет доброму человеку справляться, – молвил на те речи Михайло Васильич.

– Все это, на плохой конец, четырех сот целковых стоит, – сказал Морковкин.

– Стоит. Как по нынешним ценам не стоить! – подтвердил голова.

– А у Лохматого больших денег никогда не важивалось, – продолжал писарь. – Которы и были, те покрадены. Откуда ж взялись они? Не с неба ж свалились, не клад же дался ему.

– Известно, – поддакнул Михайло Васильич.

– Я доподлинно от самых верных людей узнал, – продолжал Карп

Алексеич, – что деньги большой сын приносит из Осиповки... Живет у Чапурина без году неделя, когда ему такие деньги заработать?.. Тут, надо быть, другое есть.

– Что ж такое?

– Да не стянул ли он деньги-то? – сказал писарь. – Не мешало бы хорошенько приструнить его... Чтобы после не было никаких неприятностей.

– Не может быть того, чтоб Трифонов сын воровскими делами стал заниматься, – молвил Михайло Васильич. – Я у Патапа Максимыча намерен на хозяйкиных именинах гостил. Хорошие люди все собрались... Тогда впервые и видел я Алексея Лохматого. С нами обедал и ужинал. В приближеньи его Патап Максимыч держит и доверье к нему имеет большое. Потому и не может того быть, чтоб Алексей Лохматый на такие дела пошел. А впрочем, повижусь на днях с Патапом Максимычем, спрошу у него...

Не того хотелось Карпу Алексеичу. Думалось ему уговорить Михайлу Васильича отписать в удельну контору о сдаче Лохматого в рекруты за порочное поведение.

Прошло сколько-то времени – говорит голова Морковкину: виделся-де он с Патапом Максимычем, и Патап-де Максимыч ему сказывал, что он деньги давал взаймы Трифону Лохматому, а коль понадобится, говорит, так и вдвое и втрое дам ему, а сыном его Алексеем так доволен Патап Максимыч, как больше нельзя... «А вот это на его же, Алексея Лохматого, счет», – примолвил Михайло Васильич, вынимая из кармана рекрутску квитанцию.

Остолбенел мирской захребетник – не то ему чаялось... А меж тем голова велел записать, где следует, квитанцию, что идет она за семью Лохматого и что теперь та семья от рекрутства свободна...

Ту квитанцию голова получил от Патапа Максимыча.

О Святой под качелями Паранька шепнула возлюбленному, что брат вместо красного яичка много денег принес. Теми словами она любовника своего прикручинила. Чуть не задохся со злости Карп Алексеич.

«Рано ли, поздно ли, попадешься ты мне! – думал он. – Погоди, гусь лапчатый, не отморозить бы тебе красны ноженьки! Быть тебе, сорванцу, под красной шапкой – такое дельце состряпаю, что не поможет тебе и рекрутска квитанция».

Злоба к отцу перешла на сына. Чуть ли еще не сильнее была.

А Паранька, только что наступила весна, то и дело в Песочное.

Приелась девка Карпу Алексеичу, иной красоты захотелось...

Воззрился на меньшую дочь Лохматого, Натальюшку.

Однажды, когда на горячие милованья голубки Паранюшки неохотно отвечал соколик Карпушенька, девка навзрыд разрыдалась и стала укорять полюбовника, что он вконец загубил жизнь ее горе горькую, объявила, что стала не праздная.

Безответно осталось сердце захребетника. «Чтобы черт тебя побрал и с отродьем твоим!..» – подумал он и хмарю тучей нахмурился.

– Хочешь не хочешь, Карпушенька, а надо скорее дело венцом порешить, – умоляла писаря Прасковья Трифоновна.

– Знаю, – грозно отвечал захребетник. – Да как же статья тому? Старик-от согласия не даст.

– Уходом, Карпушенька, – подхватила Паранька. – Тебе же с руки: великороссийская под боком, поп Сушила приятель тебе – свенчает как раз.

– Так-то оно так, – промычал под нос себе Карп Алексеич и крепко задумался.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Петра Солноворота<sup>[250]</sup> – конец весны, начало лету. Своротило солнышко на зиму, красно лето на жары пошло. Останные посеы гречихи покончены, на самых запоздалых капустниках рассада посажена, на последнюю рассадину горшок опрокинут, дикарь<sup>[251]</sup> навален и белый плат разостлан с приговорами: «Уродись ты, капуста, гола горшком, туга камешком, бела полотняным платком».

По утренней росе, в одних рубахах, опоясавшись шерстяными опоясками, досужие хозяйки ходят, бродят по огородам. Зорко высматривают они, не зажелтел ли где в приземистой огуречной травке золотистый новичок – первенький цветочек. И только что завидит которая желанного гостя, тотчас красную нитку из опояски вон, и с молитвой царю Константину и матери Олене наклоняется над грядкой, и тою ниткой перевязывает выглянувший на свет Божий цветочек. А сама заговор шепнет: «Как густо мой пояс вязался, так бы густо вязались мои огурцы, не было б меж них пустоцвету!...»

В деревнях, что подальше в захолустьях, на Тиховы дни иное старинное действо справляют. О ту пору сорные травы меж сеянной и саженой огородины разрастаются, пора девичьей работы подходит – гряды полоть. Но перед тем по старому завету надо «гряды обегать». Собираются красны девицы гурьбою и в глухую полночь обегают гряды веселой вереницей. А сами все до единой в чем мать на свет родила. От того обеганья ни червь на гряды не нападет, ни лютые медвяные росы, ни солнышком овощи не припечет, ни дождиком их не зальет.

Не установлено урочного дня грядному обеганью – никому не узнать, в какую ночь станут девицы свое действо справлять. Не скажут они ни брату, ни снохе, ни малым ребятам, ни родителям. И без того немало забот, чтоб девичье действо обошлось без помехи, чтоб не было ему какого ни на есть порушенья. Но в каком тайном совете дело свое девицы ни держат, парни, лукавый их знает как, бесприменно узнают – и ночью, как действо зачнется, они тут как тут. Еще с вечера в копани по загородью пострелы запрячутся, либо залягут в крапиву – жги-пали, окаянная, только б глазком взглянуть на красоту девичью, как ее Господь Бог без покрова создал... Хоть действо бывает и полночью, да на Тиховы дни заря с зарей сходится, какой горячий молодецкий взор в те белые ночи не разглядит голеньких красоточек?.. А потом, как сойдутся на всполье хороводы водить, либо песни играть, иной

бахвал захохочет, да еще зазорную речь поведет. «У тебя, – скажет, – Степанида Марковна, возле спины-то сбоку родинка»... И сгорит со стыда Степанида Марковна, обзовет недобрым словом бесстыжего, а тому, что с гуся вода: стоит ухмыляется да при всем честном народе еще брякнет, пожалуй, во все горло: «Сам своими глазами видел – хошь образ со стены!.. Вот и Егорку спроси, да и Ванька с Петрайкой солгать не дадут – и они тоже видели...» Батюшки светы!.. Снял долой с плеч головушку!.. Совсем осрамил! А что с нахальником сделаешь?

Стали замолкать соловьи, стали стихать и другие голосистые пташки. Не слышать больше звонкого, переливистого их щебетанья. Иные певуны с иными песнями сменили их: только что закатится солнышко, в озимях перепела затюкают, в дымящемся белом туманом болоте дергач<sup>[252]</sup> закричит, да на разные лады заведут любовные песни лягушки... Полетела пчела – божья угодница – на расцветшие луга и поляны, за обножью.<sup>[253]</sup> Отколь ни возьмись, комариная сила, и напал на скотину овод; по лугам и перелескам во все стороны заметалась скотина, забегала, задрал хвосты, словно бешеная. Межипарье<sup>[254]</sup> пришло, вывезли мужики на паровые поля, сколько у кого накопилось, навозу, двойчатыми железными вилами бабы по всей полосе раскидали его, чтоб лежал ровненько – уродил хлеба полненько... Конец первой страде.<sup>[255]</sup> Не за горами и вторая; а вторая страда горше первой. Известно дело: на первую страду выльешь поту жбан, на вторую полный чан. Травы налились, зацвели, раздушились... Недалеко косовица – зеленый покос, не за горами и жнитво, озимая пахота, сев. Выволакивают мужики заброшенные по задворкам после яровой пахоты сохи и косули, вынимают из клетей серпы да косы. Тут не без хлопот; косы надо наклепать, серпы назубрить, брусницы<sup>[256]</sup> варом облить да песком усыпать. Брусницу сладить – дело неважное, и подросток сможет, но клепка кос и зубрение серпов не всякому зипуну к рукаву подойдет. Тут нужны сметка в голове да провор в руке; без уменья колоти молотком по заклепкам сколько хочешь, одна пустая маята выйдет, пожалуй, еще порча...

Но вот стук-бряк по улице косами да серпами. С конца деревни до другого веселые крики несутся...

– А!.. Старый знакомый!.. Масляно рыло!.. Краснобайный язык!.. Добро пожаловать, милости просим!

Это булыня.<sup>[257]</sup> Вот идет он возле подводы, а сам подпрыгивает, косами да серпами побрякивает, затейными прибаутками народ смешит. У него на возу и косы-литовки, и косы-горбуши,<sup>[258]</sup> и серпы немецкие, а

захочешь, так найдутся и топоры из самого Пучежа... Брякнет булыня косою о косу, звякнет серпом о серп – не успеешь Богородицу прочитать, цела деревня от мала до велика кругом воза стоит. Краснобай от клепки кос, от зубренья серпов мужиков отговаривает – берите, мол, новые, не в пример дешевле обойдутся. И денег добрый человек не берет – по осени, говорит, приеду, бабы льном заплатят, хошь мыканным, хошь немыканным, хошь изгрёбным,<sup>[259]</sup> как им в ту пору будет сподручнее. Мне ведь, говорит, все едино, что сланец, что моченец, что плаун, что долгунец<sup>[260]</sup> – всякий Демид в мой кошель угодит.

И в тот же день во всяком дому появляются новые серпы и новые косы. Летошних нет, на придачу булыне пошли. А по осени «масляно рыло» возьмет свое. Деньгами гроша не получит, зато льном да пряжей туго-натуго нагрузит воза, да еще в каждой деревне его отцом-благодетелем назовут, да не то что хлеб-соль – пшенники, лапшенники, пшенницы, лапшенницы на стол ему поставят... Появятся и оладьи, и пряженцы, и курочка с насести, и косушка вина ради почести булыни и знакомства с ним напередки.

А лет через десять, глядишь, тот булыня в купцы выписался, фабрику завел, каменный дом себе склал. А лесным бабам заволжанкам того и невдомек, что булынин-от дом из ихнего льна строен, ихней новиной<sup>[261]</sup> покрыт, ихними тальками<sup>[262]</sup> огорожен.

Межипарье – развеселая пора деревенской молодежи; веселей той поры во все лето нет. Работы мало, что ни вечер, то на всполье хороводы, либо песни, либо ласы, балясы да смехи на улице у завалин... А тут, глядишь, и земляника в мураве заалела, и черника вызрела, и тройчатая костяника, – пошел и сизый гонобобель.<sup>[263]</sup> Вслед за ягодами из земли грибы полезли, ровно прет их оттуда чем-нибудь. Первым явился щеголек масляник на низеньком корешке в широкой бурой шляпке с желтоватым подбоем,<sup>[264]</sup> а за ним из летошной полусгнившей листвы полезли долгоногие березовики и сине-алые сыроежки, одним крайком стали высовываться и белые грибы. Радуются девки грибкам-первачкám, промеж себя уговор держат, как бы целой деревней по грибы идти, как бы нажарить их в темном перелеске, самым досыта наестся и парней накормить, коли придут на грибовные девичьи гулянки. Прийти бы только долговязым!.. Вволю бы девки над ними натешились, до крови нарвали бы уши пострелам на нову новинку.<sup>[265]</sup> Для того больше грибовны девичьи гулянки и затеваются... Маслом надо да сметаной раздобыться, благо Пасха была поздняя – грибы наперед Всех Святых уродились,<sup>[266]</sup> значит,

не грешно первачков на новинку и скоромных поестъ. Но матери ворчливы, не то что масла, кислого молока у них не выпросишь; дрожат хозяйки надо всяким молочным скопом в летнюю пору. Ну, да ради грибковых гулянок авось и поп во грех не поставит, если та аль другая красotka с погребца у матери кое-что и спроворит. Уговорились девки; с раннего утра в каждой избе хлопотливо снуют они вокруг матерей у печей, помогая стряпать наспех – скорей бы отобедать да в лес с кузовками... Рассыпались девки по лесу, хрустят под их ногами сухие прутья, хлещут древесные сучья и ветки, раздвигаемые руками деревенских красавиц. Клики не смолкают, ауканьям конца нет, стоном стоят по лесу звонкие голоса. Пришли и парни. Они без плетух, без туесов – их дело не грибы собирать, а красным девкам помогать. Только что в лес – хохот, визги. Верны девки старому завету: с кем зимой на супрядках, с тем летом на грибах да на ягодках. А все парочками. Понабравши грибов, парни огни развели, девки в глиняных плошках принялись грибы жарить. Ложек парни не захватили, девки кормят каждая своего со своей ложки. А кормя, норовят, чтобы парень, ошпарив язык, глаза выпучил и слова не мог бы промолвить. А тут ложкой его по лбу да за уши драть, не забыл бы новой новинки... Что смеху тут, что веселья!.. А под вечер каждый с зазнобушкой в кустики... И тут чуткому уху доводится слышать, как звонко да смачно деревенская молодежь целуется... Ох, грибы-грибочки! темные лесочки!.. Кто вас позабудет, кто про вас не вспомнит?

Жила-была в лесу бабушка Маланья, древняя старуха. Сколько от роду годов, люди не знали, сама позабыла... Языком чуть ворочает, а попу каждый год кается, что давным-давненько, во дни молодые, в годы золотые, когда щеки были алы, а очи звездисты, пошла она в лес по грибочки да нашла девичью беду непоправную... «Бабушка, – говорит ей поп, – много раз ты в этом каялася: прощена ты Господом от веку до веку». – «Батюшка, – отвечает старушка, – как же мне, грешнице, хоть еще разок не покаяться! Сладкое ведь сладко и вспомнить».

Эх, грибы-грибочки, темные лесочки!.. Кто вас смолodu не забывал, кто на старости не вспоминал?.. Человек человеческим живет, пока душа из тела не вынута.

\* \* \*

Лишь за три часа до полуночи спряталось солнышко в черной полосе темного леса. Вплоть до полуночи и за полночь светлынь на небе стояла –

то белою ночью заря с зарей сходились. Трифон Лохматый с Феклой Абрамовной чем Бог послал потрапезовали, но только вдвоем, ровно новобрачные: сыновья в людях, дочери по грибы ушли, с полдён в лесу застряли.

Поворчал на девок Трифон, но не больно серчал... Нечего думой про девок раскидывать, не медведь их заел, не волк зарезал – придут, воротятся. Одно гребтело Лохматому: так ли, не так ли, а Карпушке быть в лесу. «Уж коли дело на то пошло, – думает он про Параньку, – так пусть бы с кем хотела, только б не с мироедом...» Подумал так Трифон Михайлыч, махнул рукой и спать собрался.

Брякнули бубенчики на улице, заржали кони у ворот Лохматого. Подкатила ко двору пара лихих саврасок Алексеевых.

– Алексеюшка! – радостно вскрикнула Фекла Абрамовна и, семеня старыми ногами, бросилась отворять дорогому гостю ворота.

– Где был-побывал? Откудова Бог несет? – спрашивал Трифон Лохматый, здороваясь с сыном.

– В городе был, батюшка, места искал, – ответил Алексей.

– Что же? – спросил отец.

– Доброе местечко мне выпало, – сказал Алексей, – приехал твое благословенье принять.

– Что ж за место такое? – с любопытством спрашивал у сына Трифон.

– Хорошее местечко, батюшка, – отвечал Алексей. – Только надо трехгодовой пачпорт выправить.

– Для че долгой такой?

– В дальни места придется отъехать, – молвил Алексей. – На долгое время...

– В дальнюю сторонушку!.. На три-то годика!.. – всплеснув руками, зарыдала Фекла Абрамовна и, поникши головой, тяжело опустилась на скамейку. – Покидаешь ты нас, дитятко!.. Покидаешь отца с матерью!.. Покидаешь родиму сторонушку!..

– Завыла! – сурово молвил Трифон Михайлыч. – Убирайся, не мешай про дела разговаривать.

Утирая рукавом слезы и едва сдерживая рыдания, побрела Абрамовна в заднюю горницу вылить материнскую скорбь перед святыми иконами. Отец с сыном остались один на один.

– Какое ж то место? – спросил Алексея Трифон Лохматый.

– У Кольшкина место, батюшка, у Сергея Андреича, – отвечал Алексей. – Приятель Патапу Максимычу будет... Пароходы у него по Волге бегают... На одном пароходе мне место сулит – всем заправлять, чтоб,

значит, все было на моем отчете.

– По силам ли будет тебе такое дело? – молвил Трифон.

– Сладим, батюшка, – молодецки тряхнув кудрями, ответил отцу Алексей. – Хитрость не великая, приглядывался я на пристани довольно.

– Мелей на Волге много, перекатов, а ты человек не бывалый. Долго ль тут до греха?.. – заметил отец.

– То лоцманово дело, батюшка, – сказал Алексей. – Ему знать мели-перекаты, мое дело за порядком смотреть да все оберегать, кладь ли, людей ли... Опять же хозяйские деньги на руки, за нагрузкой смотреть, за выгрузкой.

– То-то смотри! Коим грехом не оплошай, – молвил Трифон.

– Бог милостив, батюшка, управимся, – с уверенностью сказал Алексей.

– На три года, говоришь, пачпорт? – спросил Трифон Михайлыч.

– Так точно, батюшка.

– А скоро ль надобно?

– Да через неделю беспрременно надо на пароход поспеть. К тому времени с Низу он выбежит: приму кладь, да тем же часом в Рыбную.

– Ой, Алексеюшка, в неделю с пачпортом тебе не управиться. Задержки не вышло бы какой, – сказал Трифон Михайлыч.

– Какая же задержка? – спросил Алексей. – Подати уплочены, на очереди не состою, ни в чем худом не замечен... Чего еще?

– Не подати, не очередь, не худое что, другое может задержать тебя, – сказал Трифон. – Аль забыл, кто делами-то в приказе ворочает?

– Как забыть? – усмехнувшись, ответил Алексей.

– То-то и есть, – молвил Трифон. – Изо всей волости нашу деревню пуще всех он не жалует. А из поромовских боле всего злобы у него на меня...

– Да что ж он сделает? – горячо заговорил Алексей. – Разве может он не дать пачпорта?.. Не об двух головах!.. И над ним тоже начальство есть!

– Эх, молодозелено! – сказал сыну Трифон Лохматый. – Не разумеешь разве, что может он проволочить недели три, четыре?.. Вот про что говорю.

– Так я в город, – подхватил Алексей. – В казначействе выправлю.

– Так тебе и выдали!.. Держи карман!.. Казначей без удельного приказа не даст! – сказал Трифон Лохматый. – Нет, парень, без Карпушки тебе не обойтись... В его руках!..

Озадачили Алексея отцовы речи. Руки опустил и нос повесил.

– Как же быть-то? – спросил он отца упалым голосом.

– А вот как, – сказал Трифон. – Утре пораньше поезжай ты к Патапу

Максими́чу, покланя́йся ему хороше́нко, чтоб уде́льному голове словечко закинул, чтоб голова беспре́менно велел Карпушке бумагу для казначея тебе выдать. А в приказе пачпорта не бери... Карпушка такую статью, пожалуй, вlepит, что в первом же городе в острог угодишь... На такие дела его взять!

К Патапу Макси́мичу!.. В Осиповку!.. Легко молвить, мудрено сделать... Заказан путь, не велено на глаза показываться. Сказать про то родителю нельзя, смолчать тоже нельзя... Что же делать?.. Опять, видно, грех на грех накладывать, опять обманные речи отцу говорить... Что же?.. Теперь уж не так боязно – попривык.

– Ладно, – пробормотал Алексей, – съезжу. А все-таки наперед к Морковкину попытаюсь, – прибавил он.

– Попытайся, пожалуй, – молвил Трифон. – Только помяни мое слово, без Патапа Макси́мича тебе не обойтись.

– Увидим, – сказал Алексей, решаясь в случае неудачи ехать не в Осиповку, а прямо к голове. Благо по ветлужскому делу человек знакомый.

– Смотри только, Алексеюшка, с Карпушкой-то не больно зарывайся! – молвил Трифон. – У него ведь всяко лыко в строку. Чуть обмолвишься, разом к ответу... А ведь он рад-радехонек всех нас в ложке воды утопить... Памятлив, собака!

– Что Паранька-то? – после недолгого молчанья спросил Алексей.

– Гуляет, – насупив брови, сквозь зубы процедил Трифон, а сам, поднявшись с лавки и отодвинув оконницу, высунул на волю седую свою голову.

– Ни слуху, ни гулу, ни шороху, – молвил, отходя от окошка. – Кочетáм полночь пора опевать, а их нет да нет... И пес их знает, куда до сих пор занесло непутных!..

– Гулянки, что ль, какие? – спросил Алексей.

– По грибы пошли, – молвил Трифон. – Как только отобедали, со всей деревни девки взбузыкались. А нашим как отстать?.. Умчались, подымая хвосты... А Карпушка беспре́менно уж там... Караулит, леший его задери...

– Не посмеет, – слегка тряхнув кудрями, молвил Алексей. – Не дадут ребята спуску, коли сунется на игрище.

– Да он игрища́-то и в глаза не увидит, – сказал Трифон Михайлыч. – Лес-от велик, места найдется... Да что лес!.. На что им лес!.. Паранька в Песочно повадилась бегать. Совсем девка с похвей сбилась... Ославилась хуже последней солдатки!.. На честной родительский дом позор накинула – ворота ведь дегтем мазали, Алексеюшка!.. После этого как Параньке замуж

идти?.. Ни честью, ни уходом никто не возьмет. И Наталье-то по милости ее терпеть приходится... Уж чего не приняла от меня Паранька, уж как не учил ее!.. Печки одной на ней не бывало!.. А ей и горяшка нет, отлежится, отдышится, да опять за свои дела. Потеряла девка совесть, забыла, какой у человека и стыд бывает!.. Ох-охó– хохó!..

И жжет и рвет у Алексея сердце. Злоба его разбирает, не на Карпушку, на сестру. Не жаль ему сестры, самого себя жаль... «Бог даст, в люди выду, – думает он, – вздумаю жену из хорошего дома брать, а тут скажут – сестра у него гулящая!.. Срам, позор!.. Сбыть бы куда ее, запереть бы в четырех стенах!..»

– В кельи ее, батюшка! – молвил он. – Черна ряса все покрывает.

– И то думаю, – ответил Трифон Михайлыч. – Только ведь ноне и по келейницам эта слабость пошла. В такой бы скит ее, где бы накрепко хвост-от пришили... А где такого взять?

– В Шарпане, сказывают, строго келейниц-то держат, – заметил Алексей.

– В Шарпане точно будет построже. И черной работы больше, дурить-то некогда... Да примет ли еще мать Августа наше чадушко? Вот что... – сказал Трифон.

– Попытай... – молвил Алексей.

– И то надо будет, – отозвался Трифон. – То маленько обидно, что работницей в дому меньше станет: много еще Паранька родительского хлеба не отработала. Хоть бы годок, другой еще пожила. Мать-то хилеть зачала, недомогает... Твое дело отделенное, Савелью до хозяйки долга песня, а без бабы какое хозяйство в дому!.. На старости лет останешься, пожалуй, один, как перст – без уходу, без обиходу.

– Бог милостив, батюшка; Наталья останется, – утешал отца Алексей.

– И на нее плоха, парень, надежда, – вздохнул Трифон. – Глядя на сестру, туда же смотрит.

– В Шарпан Параньку, в Шарпан, батюшка... – настаивал Алексей.

– Эка память-то у меня стала! – хватился Трифон. – Про скиты заговорили, только тут вспомянул... Из Комарова была присылка к тебе... Купчиха там московская проживает...

Алой зарницей вспыхнуло лицо Алексея, огнем сверкнули черные очи... Духу перевести не может.

– В пятницу от Манефиных работник на субботний базар в Городец проезжал, с ним Масляникова купчиха, что в Комарове живет, наказывала тебе побывать у нее – место-де какое-то вышло, – продолжал Трифон, не замечая смущения сына.



Вдруг послышались на улице веселый шум и звонкий смех... Затренькала балалайка, задребезжала гармоника, бойко затянул «запевало», вторя ему, пристали «голосá»: один заливался, другой на концах выносил... Им подхватили «подголоски», и звучной, плавной волной полилась расстанная песня возвращавшейся с «грибовной гулянки» молодежи:<sup>[267]</sup>

Веселая голова,  
Не ходи мимо сада,  
Дороженьки не тори,  
Худой славы не клади.

Пробудились на печах от уличной песни старые старухи, торопливо крестились спросонок и творили молитву. Ворчали отцы, кипятились матери. Одна за другой отодвигались в избах оконницы и высовывались из них заспанные головы хозяек в одних повойниках. Голосистые матери резкой бранью осыпали далеко за полночь загулявших дочерей. Парни хохотали и громче прежнего пели:

Мил дорожку проторил,  
Худу славу наложил,  
Отцу с матерью бесчестье,  
Роду-племени покор.

Не сразу угомонилась и разбрелась по дворам молодежь. Долго брэнчала балалайка, долго на один нескончаемый лад наигрывала песню гармоника. По избам слышались брань матерей и визгливые крики девчонок, смиряемых родителями. Наконец все стихло, и сонное царство настало в деревне Поромовой.

Паранька одна воротилась. Кошкой крадучись, неслышными стопами пробралась она по мосту<sup>[268]</sup> к чулану, где у нее с сестрой постель стояла. Как на грех скрипнула половица. Трифон услышал и крикнул дочь.

Ни жива ни мертва переступила порог Паранька.

– Наталья где? – грозно спросил ее отец.

– Дома, надо быть... – дрожа от страха, ответила она.

– Кликни ее сюда, – молвил Трифон.

Паранька ни с места.

– Да я не знаю... Она, видно, отстала...

И, еще ничего не видя, заревела.

– Я те задам: «отстала!» – зарычал старик и, схватив с поллицы плетъ, стал учить дочку уму-разуму.

Выскочила Фекла Абрамовна... Плач, крики, вопли!.. Опершись о стол рукою, молча, недвижно стоял Алексей... Ничего он не видел, ничего не слышал – одно на уме: «Марья Гавриловна зовет».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поднявшись с постели только ко второму уповодку,<sup>[269]</sup> Карп Алексеич Морковкин, в бухарском стеганом и густо засаленном халате, доканчивал в своей горнице другой самовар, нимало не заботясь, что в приказе с раннего утра ждет его до десятка крестьян. Покончив с чаем, принялся писарь за штофик кизлярки да за печеные яйца с тертым калачом на отрубях, известным под названием «муромского». И калач, и яйца, и кизлярка, разумеется, были не покупные: за стыд считал мирской захребетник покупать что-нибудь из съестного. По его рассуждению, как поп от алтаря, так писарь от приказа должен быть сыт.

Позавтракал Карп Алексеич и лениво поднялся с места, хотел идти принимать от мужиков приносы и краем уха слушать ихние просьбы... Вдруг с шумом и бряканьем бубенчиков подкатила к крыльцу тележка. Выглянул писарь в окно, увидел Алексея.

Стал середь горницы Карп Алексеич. «Алешку Лохматого дьявол принес, – подумал он. – Наташка не проболталась ли?.. Ишь каким барином!.. На Чапуринских!.. Ну, да ведь я не больно испужался: чуть что – десятских, да в темную...»

Храбрится, а у самого поджилки трясутся, мурашками спину так и осыпает, только что вспомнит про здоровенный кулак и непомерную силу Алексея.

«Повременю, скоро не выйду... Пуцай подождет – прохладится... Пусть его помнит, что писарь – начальство».

И опять принялся за кизлярку да за муромский калач с печеными яйцами. Напусти, дескать, Господи, смелости!

Добрые полчаса прошли... Наконец мимо кланявшихся чуть не до земли мужиков прошел Карп Алексеич в присутствие и там развалился на креслах головы.

– Пускать мужиков поодиночке, – приказал он ставшему у двери десятскому.

Десятский впустил Алексея.

– Черед соблюдать! – крикнул писарь. – Другие ждут спозаранок, этот последним явился.

– Да мне бы всего на пару слов, – зачал было Алексей.

– Черед наблюдать! – пуще прежнего крикнул десятскому Карп Алексеич.

Алексей вышел.

Надивиться не могут мужики, отчего это писарь никого не обрывает, каждого нужду выслушивает терпеливо, ласково переспрашивает, толкует даже о делах посторонних. А это все было сделано ради того, чтоб Алексею подольше дожидаться. Знай, дескать, что я тебе начальство, чувствуй это.

Наконец все мужики были отпущены, но писарь все-таки не вдруг допустил до себя Алексея. Больно уж хотелось ему поломаться. Взял какие-то бумаги, глядит в них, перелистывает, дело, дескать, делаю, мешать мне теперь никто не мог, а ты, друг любезный, постой, подожди, переминайся с ноги на ногу... И то у Морковкина на уме было: не вышло б передраги за то, что накануне сманил он к себе Наталью с грибовой гулянки... Сидит, ломает голову – какая б нужда Алешку в приказ привела.

Настал час воли писаря, допустили Алексея в присутствие. Перед тем как позвать его, Морковкин встал с кресел и, оборотясь спиной к дверям, стал читать предписания удельного начальства, в рамках за стеклом по стенам развешанные. Не оглядываясь на Алексея, писарь сердито спросил:

– Зачем?

– За пачпортом.

– За каким?

– За трехгодовым. Трехгодовой пачпорт мне нужен, потому что, отъезжая, значит, по пароходной части в разные города и селения Российской Империи... – начал было Алексей, но писарь прервал его словом:

– Нельзя!

– А отчего бы это нельзя? – подбоченясь и выставя правую ногу вперед, задорно спросил Алексей.

Не оглядываясь, писарь ответил:

– Бланок таких в приказе нет... Писать не на чем... Недель шесть подожди – к ярмарке вышлют.

– Могу из казначейства выправить. Бумагу бы только мне, – твердым голосом молвил Алексей.

– Нет такой бумаги.

– А почем б это? – шагнув вперед, спросил Алексей.

– Рекрутский набор будет зимой, – прошипел, не оглядываясь, Морковкин.

– Что мне набор? – молвил Алексей. – За меня квитанция есть.

– А подати?

– Заплочены, а надо, так еще за три года вперед внесу.

– Ишь тысячник какой! – с злобной усмешкой сказал писарь. – За три

года вперед!.. Да откуда у тебя такие деньги?

– Это уж мое дело... Мне бумагу в казначейство надо. Вот что... – молвил Алексей.

– Сказано – нельзя, – возвысив голос, проговорил писарь. – Справки надо собрать, впрямь ли квитанция представлена, подати уплочены ли, под судом не состоишь ли, к следствию какому не прикосновен ли, взысканий на тебя не поступало ль, жалоб, долговых претензий... Этого сделать скоро нельзя.

– А много на то времени потребуется? – спросил Алексей.

– Месяца два либо три, не то и больше, – ответил Карп Алексеич.

Стиснув зубы и хмуря брови, еще шагнул Алексей. Хотел завернуть крепкое словцо Морковкину, но сдержал порыв, опомнился и молвил:

– Счастливо оставаться.

Быстрыми шагами пошел вон из приказа.

Так и не видел лица стоявшего спиной к дверям Морковкина. А тот и по уходе Алексея долго еще разглядывал висевшее на стене предписание.

\* \* \*

Прямо из приказа покати́л Алексей в Клюкино к удельному голове Скорнякову. Приехав в ту пору, как, восстав от послеобеденного сна, Михайло Васильич с хозяйшкой своей Ариной Васильевной и с детками засел за ведерный самовар чайком побаловаться, душеньку распарить.

Скорняков был не из последних тысячников по Заволжью. Хотя далеко было ему до Патапа Максимыча, однако ж достатки имел хорошие и жил в полном изобилии и довольстве.

Дом у него стоял большой, пятистенный, о двух ярусах, с боковушами и светлицами; убран не так богато, как Чапуринский, однако ж походил на городской купеческий дом средней руки. В передней горнице стояла русская печь, но была отделена филенчатой перегородкой, доходившей до потолка и обитой, как и стены, недорогими обоями. Лавок в тех горницах вдоль стен не было; стояли диван и кресла карельской березы, обитые черной волосянкой, плетеные стулья и два ломберных стола, крытых бумажными салфетками с вытканными изображениями города Ярославля. Возле огромной божницы красного дерева со стеклами, наполненной иконами в золоченых ризах, булавками приколоты были к обоям картины московской работы. Они изображали райских птиц Сирина, Алконаста и Гамаюна, беса, изувешанного тыквами, перед Макарием Египетским,

Иоанна Новгородского, едущего на бесе верхом в Иерусалим к заутрене, и бесов, пляшущих с преподобным Исакием. Ни одна картина духовного содержания для народа без дьявола у нас не обходится – хоть маленький бесенок, хоть в уголке где-нибудь, а непременно сидит на каждой картине. По другим стенам Скорняковского дома красовались картины мирские – Хозрев Мирза, взятие Анапы, похождения Малек Аделя. Над ними висели клетки с жирными перепелами. Охотник был до перепелов Михайло Васильич, любил пронзительные их крики и не обращал вниманья на ворчанье Арины Васильевны, уверявшей встречного и поперечного, что от этих окаянных пичуг ни днем, ни ночью покоя нет. Каждый год, только наступят Петровки, Михайло Васильич каждый день раза по три ходит на поля поглядеть, не носится ль над озимью тенетник, не толчется ли над нею мошка – хорош ли, значит, будет улов перепелиный. Хоть не больно пристало к важному, сановитому виду Михайлы Васильича, к заиндевевающим кудрям его и почетной должности, но целые ночи, бывало, пролеживал он в озимях, приманивая дудочкой любимых пташек под раскинутые сети. Нефедов день <sup>[270]</sup> для Скорнякова был самым большим праздником в году, чуть ли не больше самого светлого воскресенья. Какая ни случись в тот день погода, какие ни будь дела в приказе, непременно пролежит он в поле с солнечного заката до раннего утра, поднимая перепелов на дудочки.

Радужно встретил Михайло Васильич Алексея. Не видал он его с тех самых пор, как в его боковуше, в нижнем жилье дома Патапа Максимыча, судили-рядили они про золото на Ветлуге. Был Михайло Васильич в Осиповке на похоронах Насти, но тогда, кроме Колышкина и Марьи Гавриловны, ни с кем из гостей Алексей не видался. Знал Скорняков и про то, что опять куда-то уехал Алексей из Осиповки, что в дому у Патапа Максимыча больше жить он не будет и что все это вышло не от каких-либо худых дел его, а оттого, что Патап Максимыч, будучи им очень доволен и радея о нем как о сыне, что-то такое больно хорошее на стороне для него замышляет... Не за много ден ездил Скорняков в Осиповку, и Патап Максимыч Христом Богом просил его не оставить Алексея, если ему как удельному крестьянину до него какая ни на есть нужда доведется.

– Добро пожаловать!.. Милости просим!.. – радушно проговорил Михайло Васильич Алексею, когда тот, помолившись иконам, кланялся ему, Арине Васильевне и всему семейству. – Значит, добрый человек – прямо к чаю!.. – промолвил голова. – Зла, значит, не мыслит.

– Какие же у меня могут быть злые мысли?.. Помилуйте, ваше степенство, – сказал Алексей.

– Да это я так. К слову молвится, – смеялся Михайло Васильич. – Садись-ка, гостем будешь.

Рад Алексей и ласковой встрече и доброму привету. Присел к столу, принялся за чай с дуносными сайками, печеными на соломе.

– Ну что?.. Дела как?.. Много ли золота накопил на Ветлуге? – добродушно смеясь, спросил у него Михайло Васильич.

– Самим, ваше степенство, известно, какое оно золото вышло, – улыбнувшись, сказал Алексей.

– Знаю, парень, знаю... Патап Максимыч все до тонкости мне рассказывал, – молвил Михайло Васильич. – А ты умно тогда сделал, что оглобли-то поворотил. Не ровен час, голубчик, попал бы в скит, и тебе бы тогда, пожалуй, да и нам с тобой на калачи досталось... Ты смотри про это дело никому не сказывай... Покаместь суд не кончился, нишкни да помалкивай.

– Помилуйте, ваше степенство, возможно ль про такие дела без пути разговаривать? Слава Богу – не махонький, могу понимать, – ответил Алексей.

– То-то, поберегайся. Береженого и Бог бережет, – заметил Скорняков. – Эко, подумаешь, дело-то, – продолжал он. – Каким ведь преподобным тот проходимец прикинулся... Помнишь, про Иерусалим-от как рассказывал – хоть в книгу пиши... Как есть свят муж – только пеленой обтереть, да и в рай пустить!.. А на поверку вышло, что борода-то у него апостольская, да и усок-от дьявольский... Много, сказывают, народу они запутали... У нас из волости двоих в острог запрятали, тот же Стуколов оговорил... Вот те и преподобные!.. Вот те и святые отцы, шут бы их побрал!.. Давно ль Патапа Максимыча видел?

– Давненько, ваше степенство. Чуть не с месяц времени будет, – ответил Алексей. – Отхожу ведь я от него.

– Сказывал он, сказывал, – молвил Михайло Васильич. – Возлюбил же он тебя, парень!.. Уж так возлюбил, что просто всем на удивленье... Ты теперь в Осиповку, что ли?.. Послезавтра и я туда же всем домом. Сорочины по Настасье Патаповне будут...

– Не угодить мне туда, – потупив глаза, ответил Алексей. – Спешное дельце есть, ваше степенство. Я до вашей милости, – продолжал он, встав со стула и низко кланяясь.

– Что тебе?.. Какое твое дело?.. – чинно и немножко строго спросил голова.

– Да так как я теперича, значит, место себе получил по пароходной части и надобно мне в дальнюю отлучку на долгое время, так мне бы

трехгодовы́й пачпорт надо получить, – начал Алексей.

– Что ж? Получай с Богом, – перебил Михайло Васильич. – Рекрутской очереди ведь нет за тобой?

– Нет.

– Подати уплочены?

– Сполна уплочены, ваше степенство. А понадобится, готов хоть за год, хоть за два, хоть за три вперед внести, – сказал Алексей.

– Так явись в приказ, – молвил Михайло Васильич.

– Был я в приказе-то, ваше степенство, писарь не выдает.

– Отчего? – быстро вскинув глазами, спросил голова.

– Какие-то находит препятствия. Говорит: «Взысканий на тебя нет ли, да не под судом ли, али не под следствием ли каким».

– Гм! – промычал Михайло Васильич. – А взыскания-то есть?

– Никаких нет, ваше степенство, да никогда и не бывало, – ответил Алексей. – А насчет того, чтобы к суду, тоже ничего не знаю... Не проведаль ли разве Карп Алексеич, что я тогда по вашему приказу на Ветлугу ездил?... А как теперича тут дело завязалось, так не на этот ли он счет намекает...

– Гм! – опять промычал Михайло Васильич и притом почесал в затылке.

– Теперь, говорит, в приказе трехгодовых бланок нет... – продолжал с лукавой покорностью Алексей. – Об удостовереньи кучился Карпу Алексеичу, сам было думал в город съездить, чтоб пачпорт в казначействе выправить – и того не дает. Раньше, говорит, трех месяцев не получишь.

– Так что же?

– Да мне долго ждать никак невозможно, ваше степенство, на той неделе надо беспрерывно на пароходе в Рыбинск бежать... К сроку не поспею – места лишиться могу... Явите божескую милость, ваше степенство, прикажите выдать удостоверение, я бы тем же часом в город за пачпортом... – с низкими поклонами просил Алексей Михайлу Васильича.

Ловко попал он, кинув словцо, что не на поездку ли к отцу Михаилу намекал ему писарь... Призадумался Михайло Васильич... Забота о самом себе побуждала его скорее спровадить в дальние места Алексея, чтобы он где-нибудь поблизости не проболтался, не накликать бы беды на всех затевавших тогда копать золото на Ветлуге. Хоть большой беды, пожалуй, тут и не вышло бы, а все же бы под суд упрятали... А суд людям на радость дан... Будь чист, как стекло, будь светел, как солнце праведное, а ступил в суд ногой, полезай в мошну рукой: судейский карман, что утиный зоб – и корму не разбирает и сытости не знает... Да то еще не беда, что на деньгу пошла; вот беда, коль судья холодным ветерком на тебя дунет... Он ведь



что плотник: что захочет, то и вырубит, а закон у него, что дышло – куда захочет, туда и поворотит!

«Как ни быть, а Лохматого в дальни места надобно сбыть, – думал Михайло Васильич. – Какие б заминки писарь ни делал, пуцу. Покаместь дело идет, лучше, как подальше будет от нас».

– Выдам бумагу, – сказал он Алексею. – По ней в городе пачпорт тотчас выправишь. Только, парень, надо обождать маленько.

– А много ли ждать-то, ваше степенство? – смиренно спросил Алексей.

– Да не ближе недели, – сказал голова.

– Нельзя ли поскорей, ваше степенство? Этак мне на пароход не попасть, места лишиться могу, – просил Алексей.

– Экой ты прыткий какой! – молвил Михайло Васильич. – Тебе бы вынь да положь, все бы на скорую ручку – комком да в кучку... Эдак, брат, не водится... Сам считай: послезавтра надо на сорочины, Патап Максимыч раньше трех ден не отпустит, вот тебе с нонешним да с завтрашним днем пять ден, а тут воскресенье – приказ, значит, на запоре, это шесть ден, в понедельник Нефедов день, тут уж, брат, совсем невозможно.

– Отчего же так, ваше степенство, осмелюсь спросить? – робко спросил Алексей.

– А слышь, птички-то распевают!.. Слышь, как потюкивают! – сказал Михайло Васильич, любуясь на оглушавших Алексея перепелов. – Это, брат, не то, что у Патапа Максимыча заморские канарейки – от них писк только один... Это птица расейская, значит, наша кровная... Слышь, горло-то как дерет!.. Послушать любо-дорого сердцу!.. В понедельник ихний праздник – Нефедов день!.. Всю ночь в озимях пролежу, днем завалюсь отдыхать... Нет, про понедельник нечего и поминать... Во вторник приходи... Через неделю, значит.

– Завтра нельзя ли, ваше степенство? – с низким поклоном умолял Алексей.

– Завтра, брат, тоже никак невозможно, потому что завтра весь день стану отдыхать, – сказал Михайло Васильич. – Давеча перед обедом по полю я ходил – тенетнику над озимью видимо-невидимо, и мошка толчется, – улов будет богатый... Нет, завтра нельзя... Разве записку снесешь к Карпу Алексеичу, чтоб, значит, беспрременно выдал тебе бумагу.

– Да разве может он без вашей подписи выдать? И казначей без вашей руки не поверит, – молвил Алексей.

– И то правда, – согласился голова, – без нашей, значит, подписи поверить казначею никак невозможно... Тенетнику-то давеча что летало!.. – задумался он. – Опять же мошка!.. Такого дня во все лето не

бывало! Нет уж, как ни верти, придется до той недели обождать, – решительно сказал Алексею. – И рад бы радехонек... Со всяким бы моим удовольствием, да сам видишь, какое дело подошло...

– Нечего делать, – вздохнул Алексей. – Не судьба, видно, получить то место, надобно оставаться дома.

– Зачем, зачем? – тревожно перебил его Михайло Васильич. – Нет, Алексеюшко, ты поезжай, поезжай, друг любезный, беспрерывно поезжай... Что тебе дома-то киснуть?.. Чужая сторона и ума в голове и денег в кармане прибавит.

– Справедливы ваши речи, Михайло Васильич, – сказал Алексей. – Сам теперь знаю про то... Много ли, кажется, поездил – только в город, да еще тогда по вашему приказу к отцу Михаилу, а и тут, можно сказать, что глаза раскрыл.

– То-то и есть, – молвил Михайло Васильич. – Нет, как можно тебе оставаться?.. Поезжай, беспрерывно поезжай.

– На пароход-от не ужоу, ваше степенство... Через неделю ему отваливать, – сказал Алексей и, немного помолчав, стал перед святыми иконами уставные поклоны творить. – Прощенья просим, ваше степенство. Счастливо оставаться, – вымолвил он и, низко поклонясь Михайле Васильичу, пошел вон из горницы.

Пока Алексей справлял семипоклонный начал, голова раздумывал: «Остаться ему не годится... Узнает Морковкин про Ветлугу, разом его приплетет... А этот на следствии покажет, что я посылал... Съездить, видно, завтра в приказ да выдать бумагу-то... А тенетник-от!.. А мошки-то!.. Приспичило же пострела в такое нужное время!..»

– Погоди, погоди, – громко сказал голова Алексею, когда тот взялся за дверную скобу. – Так уж и быть, ради милого дружка и сережка из ушка!.. Ради Патапа Максимыча по-твоему сделаю, завтра поутру побывай в приказе – приеду, обделаю... А уж это я тебе скажу все едино, что ты у меня от сердца кусок отрываешь... Тенетнику-то что, мошки-то!.. Улов-от на заре какой будет!..

На другой день рано поутру Алексей был уже в приказе, Михайло Васильич раньше его приехал туда... Не утерпел голова, залег-таки в озими и до солнечного восхода накрыв без одного сорок перепелов, повез их не домой, а в приказ. Надивиться не мог Карп Алексеич, увидев, что вслед за начальством десятские тащат в приказ пять больших корзин, укрытых сетями, с прыгающими там перепелами. Еще больше удивился он, когда Михайло Васильич настойчиво приказал ему писать в казначейство бумагу о выдаче трех годового паспорта Алексею. Долго спорил Морковкин, но

голова крепко стоял на своем. Когда же Карп Алексеич наотрез отказался писать ту бумагу, Михайло Васильич позвал приказного мальчика, велел ему написать удостоверение, подписал и своими руками казенную печать приложил.

Когда Алексей явился в приказ, дело было уже сделано и бумага ему тотчас выдана. Ступай, значит, на все на четыре стороны.

– Ишь раскозырялся!.. – злясь и лютуя, ворчал Морковкин, стоя на крыльце, когда удельный голова поехал в одну, а Лохматый в другую сторону. – Ишь раскозырялся, посконная борода!.. Постой-погоди ты у меня!.. Я те нос-от утру!.. Станешь у меня своевольничать, будешь делать не по-моему!.. Слетишь с места, мошенник ты этакой, слетишь!..

И, воротясь в свою горницу, усердно принялся за кизлярку, раскидывая умом, как бы насолить голове.

И придумал послать в удельную контору донос на Михайла Васильича.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Все други-приятели съехались к Патапу Максимычу на Настины сорочины. Приехал кум Иван Григорыч с Груней и с детками, приехал Михайло Васильич с Ариной Васильевной, кое-кто из Городца, кое-кто из городу. Из Комарова на пяти тройках жирных келейных лошадей матери и белицы прикатали. Сама матушка Манефа пожаловала, очень желательно было ей помянуть племянницу – не привел Господь в землю ее опустить, так хоть в сорочины над ее могилкой поминальную службу справить. А чтоб справить ту службу благолепнее, захватила она с собой уставщицу мать Аркадию да соборных стариц, мать Назарету да мать Ларису, и Марьюшку головщицу со всем правым клиросом... Фленушку тоже привезла и новую келейницу свою Устинью Московку... Прихватила и гостя обительского Василья Борисыча. Много звал Патап Максимыч на поминки Марью Гавриловну – не поехала – пуще да пуще в ту пору ей нездоровилось.

Без мала за неделю привезли в Осиповку Дарью Никитишну поминальны столы уряжать. Приходилось теперь знаменитой заволжской поварихе иное дело обделывать, не то, что было на именинах, и не то, что было на похоронах. Не ждали к Патапу Максимычу ни Снежковых, ни других гостей, которым бы надо было городские столы уряжать, уставлять их яствами затейными, дорогими напитками заморскими; нужно теперь Никитишне учредить трапезу по старине, как от дедов, от прадедов поминальные тризны справлять заповедано. А время такое подошло, что мирским надо стряпать рыбное, а келейным сухоядение. Шли Петровки – голодный пост... Никитишна лицом себя в грязь не ударила – столы на славу учредила. Ста два окрестных крестьян на поминки сошлось, для них еще с вечера на улице столы были поставлены.

И для крестьян, и для почетных гостей кутьи наварили, блинов напекли, киселя наготовили... Кутья на всех одна была, из пшена сорочинского с изюмом да с сахаром; блины в семи печах пеклись, чтобы всем достались горяченькие: в почетны столы пекли на ореховом масле, в уличные – на маковом, мирским с икрой да со сметками, скитским с луком да с солеными груздями. Кисели готовила Никитишна разные: почетным гостям – пшеничные с миндальным молоком, на улицу – овсяные с медовой сытой. Стерляжья уха на красный стол сварилась жирная, янтарная; тертые растегаи вышли диковинные... Опрочь того, сготовила Никитишна

ботвинье борщевое с донским балыком да со свежей осетриной, двухаршинные сочные кулебяки, пироги подовые с молоками да с вязигой, пироги длинные с тельным из щуки, пироги вислые с семгой да с гречневой кашей, судаки под лимоны, белужью тешку с хреном да с огурцами, окуней в рассоле, жареных лещей с карасями, оладьи с медом, левашники с малиновым вареньем... А келейницам похлебка была из тебеки<sup>[271]</sup> со свежими грибами, борщ с ушками, вареники с капустой, тертый горох, каравай с груздями, пироги с зеленым луком, да хворосты и оладьи, дыни в патоке и много другой постной яствы.

Ранним утром, еще летнее солнце в полдерево стояло, все пошли-поехали на кладбище. А там Настина могилка свежим изумрудным дерном покрыта и цветики на ней алеют. А кругом земля выровнена, утоптана, белоснежным речным песком усыпана. Первыми на кладбище пришли Матренушка с канонницей Евпраксеей, принесли они кутью, кацею с горячими углями да восковые свечи.

И видели они, что возле Настиной могилки, понунив голову и роняя слезы, сидит дядя Никифор. То был уж не вечно пьяный, буйный, оборванный Микешка Волк, но тихий, молчаливый горюн, каждый Божий день молившийся и плакавший над племянницыной могилой. Исхудал он, пожелтел, голову седина пробивать стала, но глаза у него были не прежние мутные – умом, тоской, благодушьем светились. Когда вокруг могилы стали набираться званые и незваные поминальщики, тихо отошел он в сторонку.

Чинно, стройно, благолепно справили службу. Положив семипоклонный начал и поклонясь до земли перед могилой, Манефа надела соборную мантию, выпрямилась во весь рост и, при общем молчаньи, величаво проговорила:

– За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас.

И запели «канон за единоумершую». Далеко по свежему утреннему воздуху разносились стройные голоса певчей стаи, налаженной Васильем Борисычем и управляемой Марьей головщицей. Тишь стояла невозмутимая; дым ладана прямым столбом вился кверху, пламя на свечах не колебалось. Ни говором людей, ни шумом деревьев не нарушалось заунывное пенье, лишь порой всхлипывала Аксинья Захаровна да звонко заливались жаворонки в сияющем поднебесье.

Патап Максимыч все время стоял возле Манефы, поникнув головою. Раза два левым рукавом отер он слезу... Все глядели на украшенную цветами могилу, никто не взглядывал по сторонам; только Василий

Борисыч жадно и страстно впился глазами в стоявшую возле матери Парашу, вполголоса подпевая: «Надгробное рыдание творяще и поюще песнь ангельскую<sup>[272]</sup>». «Ох, искушение, – думал сам про себя. – Эка девица-то сдобная да матерая!.. Грудь-то копна копной!..» Инда губы зачесались у посла московского, так бы взял и расцеловал в пух и прах Прасковью Патаповну!.. Отвел глаза – Устинья Московка, сдвинув брови, палючие искры мечет из гневных очей.

– Искушение! – прошептал Василий Борисыч, вздохнул и громко подтянул аллилуию.

По отпуске, прикинув лицом к дочерниной могиле, зарыдала Аксинья Захаровна; завела было голосом и Параша, да как-то не вышло у ней причитанья, она и замолкла... Приехавшая без зова на поминки знаменитая плачей Устинья Клещиха с двумя вопленницами завела поминальный плач, пока поминальщики ели кутью на могиле.

Уж ты слышишь ли, мое милое дитяtko,  
Моя белая лебедушка?  
Уж ты видишь ли из могилушки  
Свою матушку рóдную?  
Дождалась ты меня, горегорькую,  
Собралась я к тебе в гости скорешенько,  
Не на кóнях я к тебе приехала —  
Прибежала на своих резвых ноженьках.  
Мои скорые ноженьки не тянутся,  
Белы рученьки не вздымаются,  
Очи ясные не глядят на белый свет!..  
И мне нету ласкового словечушка,  
И мне нету теплого заветерья!  
Не ясён день без красного солнышка,  
Не весело жить без милой доченьки!..  
Что сумнилася моя головушка,  
Что сумнилася-сокрушилася?  
С кем раздумать мне думу крепкую,  
С кем размыкать мне горе горькое,  
От кого услышать слово ласковое?  
О том голова моя посумнилася,  
Посумнилася, победная, сокрушилася,  
Что шатаюсь я на свете, победна головушка,  
Середь добрых людей, как травинушка,

Как травинушка-сиротинушка.  
Что же ты, моя белая лебедушка,  
Что же спишь ты, не просыпаешься?  
Сокрепила ты свое сердечушко  
Крепче камня горячего,  
И нигде-то я тебя, голубушку, не увижу,  
Голосочка твоего звонкого не услышу!

Пропели вопленицы плачи, раздала Никитишна нищей братии «задушевные поминки»,<sup>[273]</sup> и стали с кладбища расходиться. Долго стоял Патап Максимыч над дочерней могилой, грустно качая головой, не слыша и не видя подходивших к нему. Пошел домой из последних. Один, одаль других, не надевая шапки и грустно поникнув серебристой головою, шел он тихими стопами.

Последним на кладбище остался Никифор. Подошел он к Настинной могиле, стал перед ней на колена, склонил голову на землю. Стали слышны глухие, перерывчатые его рыдания.

– Святая душенька, молись за меня, за грешника! – говорил он, целуя могилу и орошая ее горячими слезами.

Встал и медленными шагами пошел к речке, что протекала возле погоста. Зачерпнул ведра, принес к могиле и полил зеленый дерн и любимые покойницей алые цветики, пышно распустившие теперь нежные пахучие свои головки на ее могилке... Опять сходил на речку, принес ведра белоснежного кремнистого песку берегового и, посыпав им кругом могилы, тихо побрел задами в деревню.

Где твои буйные крики, где твои бесстыдные песни, пьяный задор и наглая ругань?.. Тише воды, ниже травы стал Никифор... Памятуя Настю, принял он смирение, возложил на себя кротость и стал другим человеком.

Совсем обутрело, когда воротились с кладбища в деревню. Работники, деревенские мужики, бабы, девки и подростки гурьбой привалили к уличным столам и суетливо, но без шума, безо всяких разговоров, заняли места в ожиданьи чары зелена вина, кутьи, блинов, киселя и иного поминального брашна. Мать Аркадия, две старицы и плачея Устинья Клешиха выносили четыре больших блюда и стали разносить на них кутью по народу. Каждый чинно брал ложку, крестился и поминал покойницу сладкою кутьею. Искусная в Писании уставщица мать Аркадия, став посреди народа, громко начала поучать людей, что такое кутья означает.

– Кутья благоверная – святым воня благоуханная, – истово говорила

она, – святии бо не пият, не едят, только вонею и благоуханием сыти суть. Благочестно, со страхом вкушайте сию святыню, поминая новопреставленную рабу Божию девицу Анастасию. Добре держит святая церковь в čtyредесятый день по преставлении кутию поставляти и над нею память по усопших творити. Того ради уставлено в сороковой день память о мертвом творити, что в сей день душа, преидя мытарства злых миродержателей, воздушных мытареначальников, истязателей и обличителей земных дел ея, святыми ангелами ко престолу Господню приводима бывает. И тогда или оправдана бывает и освободится от сонмов нечистых духов, или же осуждена и заключена в оковы, и вóзьмется демонами, да не узрит славы Божией. Сие есть первый суд, предварение Страшного суда Христова. Помолитесь же, православные, о душе новопреставленной девицы Анастасии, да упразднится прегрешений ея рукописание, да простятся грехи ея вольные и невольные и да внидет она в радость Господа своего. Аминь.

С умилением слушал народ красноглаголивую келейницу. Старушки всхлипывали, другие только вздыхали, все стояли безмолвно. Только беспокойный народ – ребятишки, держась ручонками за матерние подолы, пересмеивались меж собой во время проповеди, иные даже перебранивались, но вскоре унимались под невидимыми миру родительскими кулаками.

Вином обносить стали. Обносили старик Пантелей да новый приказчик Григорий Филиппыч. Они ж непьющих баб и девок ренским потчевали. Вынесли постные блины со сметками. Принялся за них народ со крестом да с молитвой, с пожеланьем покойнице небесного царства. Подали щи с головизной, на вторую перемену ставили свекольник с коренной рыбой, а на третью – пироги с гречневой кашей и соминой, да смачную яичную кашу с маковым маслом, в конце стола овсяный кисель с сытёй медовой. А вином, как всегда водилось у Патапа Максимыча, обносили по трижды, а пиво и сыченая брага в деревянных жбанах на столах стояли – сколько кто хочет, столько и пей.

Крестясь и поминаючи покойницу, низкими поклонами поблагодарив хозяев, тихо народ разошелся. Чапуринские стряпухи убрали посуду, работники столы и скамьи на двор унесли; улица опустела... По сеням, по клетям да по сенницам улеглись мужики и бабы деревни Осиповки поспать-отдохнуть после сытного обеда. Девки с ребятишками – в лес по грибы да по ягоды. Пришлые поминальщики, направляясь к своим деревням, разбрелись по разным дорогам.

А хозяева и гости, воротясь с кладбища в дом Патапа Максимыча,



отправились прямо в моленну. Там передо всеми иконами горели пудовые ослопные<sup>[274]</sup> свечи, а в середине стоял крытый черным бархатом с серебряными галунами аналогий, на нем фарфоровое блюдо с узорочно разукрашенною цукатами кутьею. Облачаясь в соборную мантию, Манефа стала перед нею и замолитвовала. Пропели литию. Игуменья отведала кутьи, поминая покойницу, и, взяв блюдо на руки, обратилась к предстоящим. Один за другим подходили к ней и вкушали кутю...

Напившись чаю, за столы садились. В бывшей Настиной светлице села Манефа с соборными старицами, плачя Устинья Клещиха с вопленницами да еще кое-кто из певчих девиц, в том числе, по приказу игуменьи, новая ее наперсница Устинья Московка. Мирские гости расселись за столы, расставленные по передним горницам. Там рыбными яствами угощал их Патап Максимыч, а в Настиной светлице села с постниками Аксинья Захаровна и угощала их уставным сухоядением.

И кляла же тот обед Устинья Московка. Первое дело: свежей рыбки хотелось покушать ей, а главное, Василий Борисыч там сел, да там же и Прасковья Патаповна. Подметив на кладбище, как поглядывал на нее Василий Борисыч, дала Устинья волю пылкому, ревнивому сердцу... Если б можно было, взяла бы да и съела девичьего подлипалу... Горячая девка была!..

За поминальным обедом беседы не ведутся: пьют, едят во славу Божию в строгом молчаньи. Лишь изредка удельный голова вполголоса перекидывался отрывистыми словами с Иваном Григорьичем, да Фленушка шептала что-то на ухо Параше, лукаво поглядывая на Василья Борисыча. Кое-что и она подметила на кладбище и еще ране того, в Комарове во время дорожных сборов, кой-что про Парашу московскому послу рассказала.

В конце обеда, после поминального киселя, встали гости из-за трапезы и опять пошли в моленную. Там вместо аналогия стоял большой стол, крытый браной камчатной скатертью, а на нем ставлена была фарфоровая миса с тризной и пустые стаканы по числу гостей. Надев соборную мантию, Манефа замолитвовала, а девицы зауспокойную стихеру шестого гласа запели: «Создателю и творче, зиждителю и избавителю ослаби, отпусти, Христе Боже». А пели демеством. Василий Борисыч нарочно девиц той стихере обучил, собираясь ехать в Осиповку на сорочины. Про эту стихеру на Керженце в лесах до тех пор не слыхивали.<sup>[275]</sup> Всем она очень понравилась, и все много благодарили Василья Борисыча, что такую хорошую стихеру вывез из Москвы на Керженец... А во время пения той стихеры Никитишна серебряным ковшом тризну по стаканам разливала. И

пили во славу Божию, крестясь и поминая за упокой рабу Божию девицу Анастасию.

Тем сорочины и кончились.

\* \* \*

Из моленной после трапезы отдохнуть разошлись. Фленушка да Марьюшка вместе с Парашей заперлись в ее светлице. Порывалась туда Устинья Московка, но мать Манефа ее не пустила. Ревностью пылая и в досаде на неудачи, больше получаса растирала канонница ноги хворой игуменьи, сильно приуставшей после длинных служб и длинного обеда.

Успокоив, сколь могла, матушку и укрыв ее на постели одеялом, пошла было гневная Устинья в Парашину светлицу, но, проходя сенями, взглянула в окошко и увидела, что на бревнах в огороде сидит Василий Борисыч... Закипело ретивое... Себя не помня, мигом слетела она с крутой лестницы и, забыв, что скитской девице не след середь бела дня, да еще в мирском доме, видеться один на один с молодым человеком, стрелой промчалась двором и вихрем налетела на Василья Борисыча.

– Ты что?.. Ты что это вздумал?.. – задыхаясь и едва переводя дух, визгливо кричала она на него. – Куда, пес этакой, на кого бесстыжие глаза свои запускал?.. А?..

Озадаченный внезапным появлением Устиньи, как полотно побледнел Василий Борисыч и, поднявшись с места, дрожавшим от страха голосом едва мог промолвить:

– Ох, искушение!

– Куда ты, стоя на кладбище, подлые зенки свои пялил? – неистово лютуя, кричала Устинья. – На кого глядел?.. А?..

– Да что ты?.. Что ты кричишь?.. В уме ли? – вполголоса стал было уговаривать ревнивую канонницу Василий Борисыч. – Опомнись!.. Могут услышать...

– Пуцай их слышат!.. – пуще прежнего лютовала Устинья. – Наплевать мне! Хоть все сюда сходишь! Себя погублю, зато уж и тебя осрамлю, беспутного, осрамлю, осрамлю!.. Будешь меня помнить!.. Вытолкают по шеям!.. Всем скажу, что к хозяйской дочери примазаться хочешь!.. Чапурин не свой брат – на эти дела хуже черта... Свернет тебе голову, как куренку!.. Воротишься в Москву с поротой спиной!.. Я те докажу!.. Думал, на дуру напал?.. Нет, брат, шалишь, мамонишь!.. Снял с меня голову, так и я с тебя сниму!.. Изменщик ты мерзкий!.. Я ль тебя не любила?.. Я ли тебя...

И грянулась оземь в рыданиях.

Василий Борисыч вконец растерялся, стоит как вкопанный, придумать не может, что делать ему... Убежать – содому, окаянная, на весь дом, на всю деревню наделает, перебудит всех... остаться – придет кто-нибудь, из окошка увидит.

– Ох, искушение!.. Настал час испытаний! – схватив себя за виски, говорил он и снова принялся уговаривать то рыдавшую, то надрывающуюся от хохота Устинью.

– Образумься!.. Устиньюшка!.. Опомнись!.. – говорил он, боясь наклониться к ней, боясь и прочь отойти. – С ума, что ли, сошла?.. Стыд-от где у тебя?.. Совесть-та где?..

Устинья продолжала рыдать и, наконец, завопила в источный голос:

– Погубитель ты мой!.. Злодей ты этакой!.. Забыла твоя совесть, чем обещался ты мне?.. Ох, погубила я с тобой свою головоньку!..

– Искушение!.. – теребя в отчаянии виски, потихоньку восклицал Василий Борисыч. – Да уймись же, окаянная, уймись, Устиньюшка, пожалуйста, уймись, говорю тебе, моя миленькая!.. Слушай... а ты слушай же!.. – обрадовавшись блеснувшей в уме его мысли, сказал он, наклоняясь к Устинье и боязливо поглядывая на окошки. – Видишь, лесок – близенько... Пойдем туда – там обо всем потолкуем... Ох ты, Господи, Господи!.. Вот искушение-то!.. Ох, дуй ты горой! Ну, пойдем же, моя ягодка, мое яблочко наливчатое, пойдем, – тут недалече!

Медленно поднялась Устинья, глянула на всполье, на ближний перелесок и, отирая наплаканные глаза миткалевым рукавом, плаксиво сказала:

– Пойдем.

– Вместе идти не годится. Народу много – увидят, – посвободнее вздохнув, молвил Василий Борисыч. – Ступай ты вперед, Устиньюшка, я за тобой.

– Врешь, меня, голубчик, не надуешь! – перебила Устинья. – Спровадить хочешь, самому бы к своей крале лытнуть...

– Ну, ин я вперед, – сказал Василий Борисыч.

– А ты в лесу-то схоронишься, да обходом к ней, еретице, – возразила Устинья. – Нет, любезный, меня на бобах не проведешь... Вместе пойдем.

– Вот положение!.. – осторожно вскрикнул Василий Борисыч. – Ох, искушение!

И стал он клясться и божиться Устинье всеми клятвами, что не уйдет, не укроется, станет у ней на виду дожидаться ее в опушке перелеска.

Согласилась Устинья, и, весь дрожа от страха, Василий Борисыч

спешил впритруску к перелеску. Ходок был плохой, на́ ноги слабый – одышка беднягу берет, а нечего делать, прибавляет да прибавляет шаг – поскорей бы укрыться от людских взоров. Трусит, идет побегом, а сам горькую думу раздумывает: «Попутал же меня бес окаянный!.. Связало ж меня с безумной баламотницей!.. Ишь, чертовка, как привязалась!.. Вот они, последствия-то какие!.. Не придумаешь, как подобру-поздорову отделаться от окаянной! Ох, искушение!.. А ведь глаз-то какой зоркий у шельмы! Словно прочла на уме!.. Нагрянула беда, что ни дай, ни вынеси! Ну, как в Москву донесется!.. Гусевы, Мартыновы, Досужевы, матушка Пульхерья... Уставщик-от, мол, наш, книжник-от, девственник-от, постник!.. Ох, искушение!..»

А Устинья следом за ним. Мерными шагами, ходко спешит она к перелеску, огнем пышет лицо, искрами брызжут глаза, губы от гнева и ревности так и подергивают. «Коль не мне, никому за тобой не быть!.. Крови твоей напьюсь, а другой не отдам!.. А эту разлучницу, эту змею подколодную!.. Корнями ее обвести, зельем опить, ножом зарезать!..»

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Часа через два по возвращении Василия Борисыча из лесу с Устиньей в передних горницах Патапа Максимыча гости за чаем сидели. Ни матери Манефы, ни соборных стариц, ни Аксиньи Захаровны, на шаг не отходившей от золовки игуменьи, не было тут. Как ни старалась Устинья Московка попасть в передние горницы, где возлюбленный ее, чего доброго, опять, пожалуй, на хозяйскую дочь глаза пялить начнет, – никак не могла: Манефа приказала ей быть при себе неотлучно... Куда как досадно, куда как горько было это ревнивой каноннице.

Гости из Городца и городские гости уехали – за пуншами только четверо сидело: сам хозяин, кум Иван Григорьич, удельный голова да Василий Борисыч. Рядом в боковуше, за чайным столом, заправляемым Никитишной, сидели Параша, Груня, Фленушка да Марьюшка. У мужчин повелась беседа говорливая; в женской горнице в молчанки играли: Никитишна хлопотала за самоваром, Груня к мужским разговорам молча прислушивалась, Параша дремала, Марьюшка с Фленушкой меж собой перешептывались да тихонько посмеивались.

– Так как же ты, гость дорогой, в Неметчину-то ездил?.. Много, чай, поди, было с тобой всяких приключеньев? – говорил Патап Максимыч Василию Борисычу. А тот сидел во образе смирения, учащал воздыхания, имел голову наклонну, сердце покорно, очи долу обращены.

– Много было всяких приключений, – отвечал он тихим, сладеньким голоском своим.

– Много трудов принял?

– Всего было достаточно, – глубоко вздохнув, ответил Василий Борисыч. – Особенно прискорбно было, как ночью кордон мы проходили.

– Город, что ли, какой? – спросил кум Иван Григорьич.

– Какое город! – возразил смиренно Василий Борисыч. – По-нашему сказать – граница, рубеж, а по тамошним местам кордоном зовут.

– Что ж такое тут приключилось? – спросил Патап Максимыч.

– Пропуски там крепки, за нашими смотрят строго, у нас же и заграничных пачпортов не было, поехали на Божию волю... И набрались же мы тогда страха иудейска, – ответил Василий Борисыч.

– Расскажи, сделай милость. Очень любопытно узнать ваши похождения, – сказал Патап Максимыч.

И начал Василий Борисыч свой «проскинитарий».<sup>[276]</sup>

– Прибыли мы к кордону на самый канун Лазарева воскресенья. Пасха в том году была ранняя, а по тем местам еще на середокрестной рёки прошли, на пятой травка по полям зеленела. Из Москвы поехали – мороз был прежестокий, метель, вьюга, а недели через полторы, как добрались до кордона, весна там давно началась...

– Мудреное дело! – удивился Иван Григорьич.

– Такие уж теплые земли Господь своею премудростью создал, – наставительно молвил Василий Борисыч и, не дожидаясь ответа, продолжал проскинитарий: – Приехали мы в одну деревню, Грозенцы прозывается, версты три от кордона-то будет. Там христолюбец некий проживает, по нашему состоит согласу. То у него и ремесло, что беглых, беспаспортных да нашего брата паломника тайком за кордон переправлять, а оттуда разны товары мимо таможен возить – без пошлины, значит. И в том первые пособники ему жидаы... Переправляют нашего брата не кучей, а в одиночку, и завсегда в ночное время, чтобы, значит, таможенный объезд кого не приметил. Если ж увидят, дело плохое – тотчас музыку тебе на ноги<sup>[277]</sup> да по образу пешего хождения назад в Россию. В одну ночь товарища, с которым я за границу поехал, перевели благополучно, на другую ночь за мною пришли... Ох, искушение!.. Перерядили меня, раба Божия, хохлом и повезли в другу деревню, а от той деревни четыре версты до кордона не будет... В самую полночь меня повели... Идем по задворкам, крадучись тихими стопами, яко тати... Искушение, да и только!.. И страх же напал на меня!.. Не приведи Господи никому такого страха принять!.. Дрожу, ровно в лихоманке, сам в шубе, а по всем суставам мороз так и бегают, на сердце ровно камень навалило – так и замирает. Пошел было, как обычно хожу, а проводник в самое ухо мне шепчет: «Тише на землю ступай, услышат...» Господи, Боже мой, и по земле-то надо с опаской ходить!.. Огонь, вижу, близехонько светится, двухсот шагов, кажись, не будет... «Деревня, что ли?» – спрашиваю. «Молчи, – шепчет проводник, – это кордон и есть, тут караульня объездчиков, сторожка...» Оглянулся в другую сторону, и там огонек!.. «Ложись, – говорит проводник, – ползи за мной на четвереньках...» Пополз я ни жив, ни мертв, сам молитву творю, а дух у меня так и занимает... А лютые псы и с той и с другой караулки лают, перекликаются, окаянные, меж собою. Думаю себе: «Бросятся, треклятые, тут мне и конец...» Поползли мы к канаве... Сажень ширины, полнехонька воды... «Это что?» – спрашиваю. «Молчи, – шепчет проводник, – это самый кордон и есть, здесь вот Россия, за канавой Неметчина... Полезай за мной, да воду-то не больно бултыхай – услышат...» Ох, искушение!.. Вот, думаю, смерть-то моя пришла!.. Вода-то студеная, канава-то глубокая, чуть

не по самое горло... Говорю: «Простудиться боюсь – не полезу в канаву...» А проводник изругал меня ругательски, да все шепотком на самое ухо: «Лодку, говорит, что ль, для тебя, лешего, припасти?.. Аль мост наводить?.. Ишь неженка!.. Лезь – не сахарный, не растаешь...» А собаки шибче да шибче... Господи, думаю, не нас ли почуяли?.. Ну, тут слава тебе, Господи!.. Потерпел Создатель грехам, не предал меня явной гибели... Кладочка тоненькая проводнику под ноги попалась, положил он ее через канаву, и с шестом в руке, что в деревне мне дали, сух перешел на немецкую сторону... Перейдя кордон, опять на четвереньки, опять ползком... С полверсты так ползли... А потом стало посмелее: пошли на ногах, а пройдя с версту, видим – пара лошадей с телегой стоит, нас дожидаются... Тут уж мы поехали безо всякой опаски и добрались до места живы, здоровы, ничем невредимы...

– Да, нечего сказать, приключения! – заметил Патап Максимыч. – И вот подумаешь – охота пуще неволи, – лезет же человек на такие страсти... И не боится.

– Во хмелю больше переходят, – отозвался Василий Борисыч. – Товарищ мой, Жигарев, рогожский уставщик, так его переправляли, на ногах не стоял. Ровно куль, по земле его волочили... А в канаве чуть не утопили... И меня перед выходом из деревни водкой потчевали. «Лучше, – говорят, – как память-то у тебя отшибет – по крайности будет не страшно...» Ну, да я повоздержался.

– А на месте-то свободно проживали? – спросил удельный голова.

– Нельзя сказать, чтоб совсем свободно. И там пришлось в переделе быть, – сказал Василий Борисыч.

– В каком же это переделе? – спросил Патап Максимыч.

– И там полиция есть, – ответил Василий Борисыч. – От нее, от этой самой немецкой полиции, мы едва не пострадали.

– Как же это случилось? Расскажи, пожалуйста: очень занятно про твои немецкие похождения слушать... – сказал Патап Максимыч.

– А вот как дело было, – начал Василий Борисыч. – Дня через три после того, как приняли нас в монастыре, сидим мы в келарне, беседуем с тамошними отцами. Вдруг входит отец Павел, что митрополита сыскал, лица на нем нет... «Беда, – говорит, – ищут вас, мандатор гайдуков прислал, стоят у крыльца, ни на шаг не отходят». А мандатор по-ихнему как бы у нас становой, а гайдуки как бы сотские, только страшнее... Я так и присел, ну, думаю, приспел час воли Божией – сейчас музыку на ноги да в Москву... Жигарев посмелей меня был, да и пьян же к тому, даром что страстная, по́лы в зубы, да, не говоря худого слова, мах в окошко... Только

крякнул спрыгнувши да, поднявшись, не больно чтоб шибко в монастырский сад пошел... А сад у них большущий да густой – не скоро в том саду человека отыщешь... А у меня смелости нет, с места не могу сдвинуться, ноги как плети, как есть совсем их подкосило... Поглядел в окно – от земли высоко – убьешься... Прыгнуть, как Жигарев, пьяному только можно, потому что Господь, по своему милосердию, ко всякому пьяному, если только он благочестно в святой вере пребывает, ангела для сохранности и оберегания приставляет... Вот и стою я, ровно к смерти приговорен: в ушах шумит, в глазах зелень, пальцем не могу двинуть – вот что страх-от значит... Не приведи Господи!.. «Что, – говорю, – делать-то буду?» А сам плачу, слово-то насилу вымолвить мог... Отец Павел ублажает. «Поколь гайдуки, – говорит, – не взошли, надевай клобук да камилавку, подумают – здешний инок, не узнают...» – «А после-то как же, – спрашиваю я отца Павла, дрожа от страха, – ведь иночество-то, – говорю, – не снимают, после этого надо будет постричься...» – «Что ж? – отвечает отец Павел. – За этим дело не станет, завтра ж облечем тебя в ангельский образ...» Что тут делать?.. А у меня никогда и на мыслях не было, чтоб в иночестве жизнь провождать... А делать нечего, одно выбирай: музыку на ноги либо клобук на голову... А гайдуки уж в сенях. Шумят там, отцы уговаривают их, а они силой в келарню-то рвутся... Решился... Ну, думаю: «Буди, Господи, воля твоя...» И уж за камилавку совсем было взялся, да вспомнилось отцу келарю – дай Бог ему доброго здоровья и душу спасти, – вспомнилось ему, что из келарного чулана сделана у них лазейка в сад... Меня туда; а лазеечка-то узенькая, хоть из себя я и сухощав, а насилу меня пропихали, весь кафтанец ободрали, и рукам досталось и лицу... Только что они, Господи их спаси, меня пропихали, гайдуки, слышу, в келарне – обыскивают... Я в сад... Забьюсь, думаю, куда подальше, в самую чащу. Пошел, хочу в кусты схорониться, ан кусты-то терновник – руки-то в кровь... «Куда идти?..» – думаю да по сторонам озираюсь... Глядь, а тут развалющий анбаришка стоит, и оттуда кто-то осторожным, тихим голосом меня призывает, по имени кличет... Смотрю, ан это Жигарев, мой товарищ: и хмель у него соскочил... Забрался я к нему... «Вот, брат, – говорю ему, – какие последствия-то, а еще в Москве толковали, что здесь свобода...» – «Да, да, – говорит Жигарев, – надо подобру-поздорову отсюда поскорей восвояси, а главная причина, больно я зашибся, окно-то, дуй его горой, высокое, а под окном дьявол их угораздил кирпичей навалить...» С час времени просидели мы в анбаришке, глядим, кто-то через забор лезет... Батюшки светы!.. Гайдуки, должно быть, сад обыскивать... Пришипились мы – ни гугу, а я ни жив ни



мертв... А это был от отца Павла паренек по нас послан. Отвел он нас версты за две от монастыря... Совсем уж стемнело, как иноки за нами пришли, уехали, говорят, гайдуки. Ну а потом все было спокойно.

– Как же так? – спросил Патап Максимыч.

– Известно как, – ответил Василий Борисыч. – Червончики да карбованцы и в Неметчине свое дело делают. Вы думаете, в чужих-то краях взятки не берут? Почти все наших лупят... Да... Только слава одна, что немцы честный народ, а по правде сказать, хуже наших становых... Право слово... Перед Богом – не лгу.

– Все, видно, под одним солнышком ходим – по всем, видно, странам кривда правду передолила, – заметил кум Иван Григорыч.

– Именно так, – со вздохом подтвердил Василий Борисыч.

– Так за этим страхом ты, гость дорогой, совсем было в преподобные угодил, – смеялся Патап Максимыч. – Вот дела так дела!.. А не хотелось? – примолвил он, подмигнув Василью Борисычу и прищурясь на левый глаз.

– Призвания свыше на то не имею, – смиренно склонив голову, с покорностью ответил Василий Борисыч.

– И хорошо, по-моему, что не имеешь того призвания, – сказал Патап Максимыч. – Что это за иночество, что это за келейное наше старчество?.. Одно пустое дело... Послушай только, чего не плетут у нас на Керженце старцы да келейницы... В Оленевском скиту старица была, не то Минодора, не то Нимфодора – шут ее знает, – та все проповедовала, что Господь всякого человека монашеского ради жития создал... И многие ее вранье слушали да сдуру-то еще похваливали... Могла ли этакое слово дурица Нимфодора сказать, когда сам Господь повелел людям плодиться и множиться... Так ли?.. Ведь повелел?

– Это точно... Сказано в Писании, – ответил Василий Борисыч, – однако в том же Писании и житие иноческое похваляется, ангельский бо чин есть... Земные ангелы, небесные человеки!.. Только известно: не всякому дано – могил вместити да вместит.

– Да... Вот краснаярский игумен есть, отец Михаил... Он, брат, вместил... Да еще как вместил-то!.. В крепкий дом на казенну квартиру попал, – с усмешкой молвил московскому уставщику Патап Максимыч.

– Испытаниями, горестями, озлоблениями же и лишениями преисполнено житие иноческое, – смиренно проговорил Василий Борисыч.

– Одно пустое дело!.. – стоял на своем Патап Максимыч. – Захочешь спастись, и в миру спасешься – живи только по добру да по правде.

Не отвечал Василий Борисыч.

– Чего ведь не придумают! – продолжал Патап Максимыч. – Человеку

от беды неминуемой надо спастись, и для того стоит ему только клобук да манатю на себя вздеть... Так нет, не смей, не моги, не то в старцах на всю жизнь оставайся... В каком это Писании сказано?.. А?.. Ну-ка, покажи – в каком?

– Можно и отбыть в таком разе иночество, – уклоняясь от прямого ответа, молвил Василий Борисыч.

– Как же так? – спросил Патап Максимыч.

– Повелено иноческую одежду сожечь на том человеке, – сказал Василий Борисыч. – Когда на нем сгорит она, тогда и он свободен от иночества... Так положено...

– Положено, положено! – слегка горячась и громчей прежнего заговорил Патап Максимыч. – Где оно положено?.. Кто положил?..

– Святые отцы, – молвил Василий Борисыч.

– Все на святых отцов взваливают!.. Чего им, сердечным, и на ум не впадало, все валят на них, – еще громче заговорил Патап Максимыч. – Нет, коли делом говорить, покажи ты мне, в каком именно писании про это сказано?.. Не то что без пути-то попусту язык о зубы точить?

Стихнул Василий Борисыч перед вспыхнувшим тысячником, решился не говорить ни слова. Только вздыхает да псалом на утление гневных сердец про себя говорит: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его».

– Это, Патап Максимыч, он правду говорит, – вступился удельный голова. – Намедни у нас точно такое дело было.

– Что-о-о?.. Иночество на живом человеке жгли?.. – засмеялся Патап Максимыч. – Ай да голова!.. Ишь чем у них в приказе забавляются!.. Ха-ха-ха!.. Карпушка, что ли, поджигал?.. Ха-ха-ха!..

– А ты выслушай да потом и гогочи... Попусту смеяться не след... Беса значит это тешить – кого хочешь спроси, – с малой досадой на приятеля ответил Михайло Васильич. – Слушай, как дело было. В летошнем году разных деревень девки на Китеж Богу молиться ходили. Было на том богомолье келейных матерей сколько-то и скитских белиц. С вечера, известное дело: читали, молились, к утру приустили и над озером в роще вповалку спать легли... Тут, надо думать, которая-нибудь из келейных с озорства ли, со злобы ли, аль на смех, шут ее знает, возьми да на девицу одну деревенскую, на сонную-то, иночество и возложи – манатейку, значит, на шею-то ей. Проснулась девка да и взвыла. Она, видишь, была просватана, конца Петровок дожидали свадьбу-то играть... Как быть! И замуж охота, и манатейки-то скинуть нельзя!.. А келейницы ей в один голос: «Чудо сотворилось! Это уж такое тебе знамение от Бога!.. Ты,

говорят, сама рассуди, на каком месте это с тобой свершилось – ведь у самого невидимого града, у самого Великого Китежа... Слышала, какой с вечера «Летописец»-от читали?.. Есть, видишь ты, в том невидимом граде Китеже честные монастыри, чудные старцы и старицы... Сколь много веры надо иметь, сколь много духовных подвигов соделать, чтобы воочию узреть тех богоносных незримых отец и матерей? А к тебе блаженные сами пришли, сами на тебя иночество надели. Кто, как не они, свято-блаженные? Сама посуди? Это Божие дело – Господь тебя призывает, правый путь к вечному блаженству сам тебе указывает». Да такими словесами девку с толку и сбили: и замуж-то ей хочется и в праведницы охота... Кончилось тем, что девка в скиты ушла... А женихов отец меж тем издержался, к свадьбе готовясь, в долги вошел, с невестиных родителей стал у нас в приказе убытки править... Так вот какое дело было, а ты уж сейчас: иночество на живом человеке жгли.

– Мошенницы! – отозвался Патап Максимыч. – Спросить было сестрицу мою родимую, – прибавил он, усмехаясь, – не из ихней ли обители белицы сонную девку в ангельский чин снарядили!.. От них станется... Дошлые девки в Комарове живут!.. На всякие пакости готовы!..

Как выскочит Фленушка, хотела за своих вступиться, но Патап Максимыч так поглядел на нее, что та, ровно язык отморозивши, прижала хвост да смиренным делом назад... Зато оправившийся от смущенья Василий Борисыч возревновал ревностью. Смиренно поникнув головою, тихим медоточным гласом обратился он к хозяину:

– В отеческом писании немало есть сказаний о знамениях и чудесах, коими Господь привлекает человек от суетного мира в тихое пристанище равноангельского жития. В «Патериках» и «Прологах» много тому примеров видим.

– Полно-ка ты, Василий Борисыч, со своими «Патериками» и «Прологами». Ведь это книги не божественные... Такие ж люди писали, как и мы с тобой, грешные... Читывал я эти книги – знаю их... Чего-то, чего там не напутано, – сказал Патап Максимыч и потом радушно примолвил: – Ты вот лучше пуншику еще пропусти!.. Никитишна! Сготовь Василью Борисычу хорошенького!

– Не следует такие речи говорить, Патап Максимыч. Грех великий!.. – заметил ему Василий Борисыч.

– Про пуншик-от не следует разговаривать? Аль насчет наших преподобных столпов древнего благочестия? – смеялся Патап Максимыч. – Насчет пунша смеяться не годится, потому пойло доброе, а над пустосвятами при веселой беседе потешиться греха нет, ни великого, ни

малого... Не про книги тебе говорю, не над книгами смеюсь, над старцами да над старицами... Пустосвяты они, дармоеды, больше ничего!.. Слухи пошли, что начальство хочет скиты порешить... Хорошее, по-моему, дело... Греха меньше будет – надо правду говорить... Кто в скитах живет?.. Те, что ли, про которых в твоих «Патериках» писано?.. Постники?.. Подвижники?.. Земные ангелы?.. Держи карман!.. Обойди ты все здешни скиты да прихвати и Стародубские слободы, Рогожское на придачу возьми, найди ты мне старицу меньше девяти пудов весу, меньше десяти вершков в отрубе... Десятка не наберешь!.. Вот каковы у них пост да воздержание!..

– Ох, искушение! – глубоко вздохнув, вполголоса сказал Василий Борисыч.

– Сызмальства середь скитов живу, – продолжал Патап Максимыч, – сколько на своем веку перезнал я этих иноков да инокинь, ни единой путной души не видывал. Нашел было хорошего старца, просто тебе сказать – свят человек, – и тот мошенником оказался. Красноярского игумна, отца Михаила, знавал?

– Личного знакомства иметь не доводилось, – ответил Василий Борисыч, – а слышать про отца Михаила слышал.

– Служба у него, любезный ты мой, такая, какой у вас и на Рогожском нет... Во всем порядок, на хозяйство его монастырское любо-дорого посмотреть... А уж баня, я тебе скажу, братец, какая!.. Липовая, парятся с мятой да с калуфером!.. На каменку квас... А чистота, чистота!.. И дух такой легкий да вольный!.. Век бы парился – не напарился!.. Царям только и мыться в такой бане, сроду такой не видывал, – с жаром продолжал Патап Максимыч. – А сам-от отец Михаил инок благочестивый, учительный, по всем здешним скитам нет такого, да и не бывало. Просто как есть свят человек, не здесь, кажись, ему место, а в блаженном раю возле самого Авраама... Что ж на поверку вышло?.. Воровскими делами занимался, фальшивы деньги работал... Вот те и праведник!.. А баня знатная!.. Что хорошо, то хорошо, надо правду говорить!..

– И сатана светоносного ангела образ приемлет, егда восхощет в сети своя слабого человека уловить, – молвил Василий Борисыч.

– Это что ж ты хочешь сказать?.. Думаешь, в отца Михаила сатана сам уселся?.. Так, что ли?.. – захохотал Патап Максимыч.

– К тому говорю, что дьявольскому искушению ни числа, ни меры нет, – ответил Василий Борисыч. – Захотелось врагу соблазнить вас, Патап Максимыч, навести вас на худые мысли об иноческом житии, и навел на красноярского игумна.

– Сам к нему поехал... Что понапрасну на черта клепать! – засмеялся

Патап Максимыч. – Своя охота была... Да не про то я тебе говорю, а то сказываю, что иночество самое пустое дело. Работать лень, трудом хлеба добывать не охота, ну и лезут в скиты дармоедничают... Вот оно и все твое хваленое иночество!.. Да!..

– Вражее смущение!.. – проговорил Василий Борисыч. – Это лукавый вас на такие мысли наводит... Бороться с ним подобает, не поддаваться дьявольскому искушению...

– Толкуй себе!.. Послушать тебя все едино, что наших керженских келейниц: все бес творит, а мы, вишь, святые, блаженные, завсегда ни при чем. Везде один он, окаянный, во всем виноват... Бедненький!.. – молвил Патап Максимыч.

– Этого я не говорил, Патап Максимыч, – возразил Василий Борисыч. – Как же можно сказать, что бес все делает?.. Добра никогда он творити не может и правды такожде... Где зло, где неправда, там уж, конечно, дело не наше, его.

– Ну, Василий Борисыч, – засмеялся Патап Максимыч, – я бы тебя в игуменьи поставил... Право... Вон у меня есть сестрица родимая: ни дать, ни взять твои же речи... Послушать ее – так что в обителях худого ни случится – во всем один бес виноват. Сопьется старица – бес споил, загуляет с кем – он же, проворуется – тот же бес в ответе... Благо ответчик от завсегда наготове, свалить-то есть на кого... А слышал ли ты, друг любезный, какое у нас, годов двадцать тому назад, в Комаровском скиту чудо содеялось?.. Как один пречестный инок беса в окошко махнул да чуть до смерти его не зашиб?..

– Не доводилось, – ответил Василий Борисыч.

– Как так?.. Столько времени у моей сестрицы гостишь, а про такие чудеса не слыхивал? – шутливо удивился Патап Максимыч. – Про отца Исакия, иже в Комарове беса посрами, знаешь?

– Нет, не знаю...

– Ну, так ты, Василий Борисыч, ничего, любезный мой, не знаешь... Ничего, как есть ничего, – продолжал Патап Максимыч. – Дивиться, впрочем, тут нечему: про такие чудеса наши старицы приезжим рассказывать не охотницы. Хочешь – расскажу тебе повесть душеполезну? «Спасибо» скажешь – можно в тетрадь написать поучения ради.

– Расскажите, коли такое есть ваше желание, – безучастно ответил Василий Борисыч, зная наперед, что услышит про такое чудо, какого ни в одном «Патерике» не отыщется.

– В Комарове, – начал с лукавой важностью в первый еще раз после Настиной смерти расшутившийся Патап Максимыч, – в Комарове теперь

женски только обители. А прежде и мужские были. Вкупе-то знаешь, веселей души спасать!.. Ионина обитель была там, часовня и теперь стоит. Спасался в ней старец искусен, житием сияя, яко светило, – преподобный отец Исакий... Подвизался богоугодно, дара пророчества сподобился – значит, стал прозорливцем... Много к нему народу ходило: охоч ведь народ-от будущу судьбу узнавать. Приношения, как водится, бывали: тем и держалась обитель. Прославился всюду Исакий – во всю землю произыде слава его... Ну, тут известное дело – бес... Позавидовал преподобному, приступил к нему и начал мечтаниями смущати, сонные видения представлять. Старец же посрамлял его ежечасно... Видит бес, что одному ему с Исакием не сладить, – пошел в свое место, сатану привел, чертенят наплодил, дьявола в кумовья позвал да всем собором и давай нападать на отца Исакия... Знал и я Исакия-то – ростом был с коломенску версту, собой детина рыжий, здоровенный, лицом чист да гладок, языком речист да сладок; женский пол от него с ума сходил – да не то чтоб одни молодые, старухи – и те за Исакием гонялись. Спроси-ка при случае Аркадию либо Таифу... А был он лет сорока, не больше. Строил дьявольский собор ему козни и навел на Исакия искушение – лестовка на руке, а девки на уме. Рядышком с Иониной обителью матушки Александры обитель стоит – Игнатьевых прозывается. Девоч множество, все на подбор – одна другой краше. Старец их прочь не гонял... Жил таким образом преподобный года три либо четыре, намолвки не наводил, бес ли его покрывал, сам ли умел концы хоронить – доподлинно сказать не могу. Приехала из Ярославля к матери Александре сродница – девица молодая, купеческого роду, хороших родителей дочь, воспитана по-доброму, в чистоте и страхе Господне, из себя такая красавица, что на редкость. Воззрился на нее преподобный, а бесовский-от собор и ну его под бок и ну разжигать. «Хоть голову на плаху, – помышляет Исакий, – хоть душу во ад, а без того мне не быть, чтобы с той девицей покороче не познакомиться». Старая приятельница нашлась: мать Асклепидота помогла преподобному. Наговорила гостейке турус на колесах: святой-де у нас в шабрах живет, благочестивый, учительный, постник, великий дар прозорливости имеет – всю судьбу твою как на ладонке выложит... Девице, известно – умок-от легок, что весенний ледок, – захотелось судьбу проведать, где, дескать, мой суженый, в какую сторону буду выдана, каково будет житье замужем. Согласилась – пошли. Тут-то чудо и сотворилось...

– Какое? – спросил Василий Борисыч.

– А вот какое, – допив стакан пуншу, продолжал Патап Максимыч. – Предста преподобному бес во образе жены и нача его смущати; он же

отвеща ему глаголя: «Отыди от меня, сатано!» Бес же нимало не уязвися, дерзостно прельщая преподобного. Тогда отец Исакий поревнова, взял беса и изрину его из оконца... И товарищ твой крикнул, Василий Борисыч, как с высокого-то окна в Белой Кринице прыгнул, а девичье тело понежней Жигаревского будет... Насмерть расшиблась...

– Искушение!.. – шепотом прибавил Василий Борисыч.

– До начальства дело дошло: скрыть нельзя... – продолжал Патап Максимыч... – Еще умрет, пожалуй, тогда всем беда, опять же родитель из Ярославля приехал, всех на ноги поднял... суд да дело... Так ведь и в суде-то преподобный на своем стоял: «Я, – говорит, – полагал, что это бес, он ведь всегда во образе жены иноков смущает. Я было, – говорит, – крестным знамением его – неймется, заклинаниями – не внемлет. Ну тогда со дерзновением махнул его из окна... Вот, – говорит, – и вся моя вина...» Ты про этикие чудеса в книгах-то читал ли?

– Искушение! – только и мог ответить Василий Борисыч на слова Патапа Максимыча.

– Поплатился Исакий за искушение, – прибавил Патап Максимыч. – Первым делом – в острог, второе – чуть в Сибирь не угодил, а третье горше первых двух – со всеми деньгами, что за пророчество набрал, расстался... И обитель с той поры запустела.

– Искушение! – еще раз вздохнул Василий Борисыч.

– Нет, ты мне вот что скажи, Василий Борисыч, – продолжал Патап Максимыч, – какое насчет этого чуда будет твое рассуждение?.. Может, к отцу-то Исакию и на самом деле бес во образе ярославской девицы являлся?.. Может такое дело стать аль не может?.. Как, по-твоему?

– Конечно, может, – ответил Василий Борисыч.

– Можно, значит, беса и в окошко? – усмехнулся Патап Максимыч.

– Можно! – отрывисто и с сердцем молвил Василий Борисыч.

– И ребра переломать?

– Можно.

– Значит, исправник да суд понимали неладно, обидели, значит, Исакия понапрасну, – засмеялся Патап Максимыч, и богатырский хохот его впервые после Настиной кончины громкими раскатами по горницам раздался. Смеялись и кум Иван Григорыч с Михайлом Васильичем, смеялась и женская половина гостей. Груня одна не смеялась, да еще рьяный поборник древлего благочестия Василий Борисыч... Под шумок довольно громко он вскрикивал:

– Маловеры!.. Слепотствующие!.. Ох, искушение!..

Под общее веселье пуще прежнего расходился Патап Максимыч.

– Это новы дела у Иониных, – сказал он, – а слышал ли ты, Василий Борисыч, про старые?.. Не про старца Иону говорю тебе – тот жил давно, памятков про него, опричь чудотворной ели, никаких не осталось... А надо думать, что был свят человек, потому что богомольцы ту ель теперь до половины прогрызли... чудодействует, вишь, от зубной скорби, лучше самого Антипия помогает... Да не об ели хочу поведать тебе, а про слезы, печали и великие сокрушенья бывшего игумна той обители, отца – как бишь его? – Филофея никак... Батюшко родитель мой знавал этого Филофея, частенько, бывало, про его слезы рассказывал... Не знаешь про те слезы?.. Слушай!.. Ионина обитель в те поры первую обителью по всему Керженцу была, ионинский игумен был ровно архиерей надо всеми скитами, и мужскими и женскими... А это оттого, что отовсюду христолюбцы деньги на раздачу по скитам к Иониным присылали, вот как теперь к сестрице моей любезной присылают. Оттого она теперь у них и за патриарха... Право!.. Спроси хоть ее самое!.. А тогда, по той же причине, все ихнее житие было у ионинского игумна в руках. Поступил к ним Филофей не то из Москвы, не то из Слобод, одно слово – не здешний... Ладно, хорошо... Приезжает он во свою честную обитель... Глядят, старец постный, строгого жития, как есть подвижник, от юности жены не позна, живучи где-то в затворе... Казначей был у Иониных-то, отец Парфений... Всех прежних игумнов в руках держал, слабостям их помогая. И стал он примечать, на какую бы удочку этого осетра изловить... Замечает старец Парфений: как только про женски обители речь поведется, у отца Филофея глаза так и запрыгают... Казначей себе на ус, говорит ему: «Отче святой, в горницах у тебя грязненько, не благословишь ли полы подмыть?» Тот благословляет... А Парфений: «При прежних, говорит, игумнах девицы полы подмывали, для того и очередь меж ними водилась. Благослови, отче святой, в женские обители наряд нарядить». Игумен так и замахал руками: «Не хочу, значит: не благословляю...» А Парфений ему: «Без того нельзя, отче святой, грязи нарастет паче меры, а полы подмывать дело не мужское, ни один по́слушник за то не возьмется. Да к тому ж белицы в мужских кельях полы подмывают спокон веку, с самого, значит, Никонова гоненья. А стары обычаи преставлять не годится – ропот и смущение могут быть большие, молва по́ людям пойдет – в Иониной-де обители новшества возлюбили – в старине, значит, не крепки. Подумай об этом, старче Божий, ты человек новый, наших обычаев не знаешь». Нечего делать, согласился игумен, но только что девицы с шайками в келью, он в боковушу да на запор. «Эту комнатку, – Парфений молвил, – после когда-нибудь...» Зачали девицы полы подмывать, а игумен на келейну молитву стал... Тут, известно



дело – бес... «Погляди да погляди, дескать, в замочну дырочку...» Послушался беса отец Филофей, приник к дырочке, взглянул – да гла́за оторвать и не может. Белицы-то все молодые, подолы-то у всех подоткнуты. Сроду Филофей таких видов не видал... Поборол, однако, врага, отошел óт двери, прямо к иконам... Молится с воздыханиями, со слезами, сердцем сокрушенным, уничиженным, даровал бы ему Господь силу и крепость противу демонского стреляния... А бес-от его распаляет – помолится, помолится старец, да и к дырочке... Приходит наутре другого дня Парфений, говорит игумну: «Ну вот, отче святой, теперь у тебя в кельях-то и чистенько, а в боковуше как есть свиной хлев, не благословишь ли и там подмыть?» – «Как знаешь», – ответил игумен, а сам за лестовку да за умную молитву.<sup>[278]</sup> «Боковуша не величка, – молвил Парфений, – достаточно будет и одной...» Отвечает игумен: «Как знаешь». – «Так я по́д вечер наряжу, святой отче...» А игумен опять то же слово: «Как знаешь!..» На другой день поутру опять к нему отец Парфений приходит, глядит, а игумен так и рыдает, так и разливается-плачет... Парфений его утешать: «Что ж, говорит, отче святой, – ведь это не грех, а токмо падение, и святые отцы падали, да угодили же Богу покаянием... Чего тут плакать-то?.. До тебя игумны бывали, и с теми то же бывало... Не ты, отче, первый, не ты и последний!..» А отец Филофей на ответ ему: «Дурак ты, дурак, отец Парфений!.. О том разве плачу?.. О том сокрушаюсь?.. До шестого десятка я дожил... не знал...»

– Искушение! – опустя очи, воскликнул Василий Борисыч. А самому завидно.

Долго шла меж приятелей веселая беседа... Много про Керженски скиты рассказывал Патап Максимыч, под конец так разговорился, что женский пол одна за другой вон да вон. Первая Груня, дольше всех Фленушка оставалась. Василий Борисыч часто говорил привычное слово «искушение!», но в душе и на уме бродило у него иное, и охотно он слушал, как Патап Максимыч на старости лет расходилсЯ.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Правду говорил удельный голова Алексею: раньше трех ден Патап Максимыч гостей не пустил. И кум Иван Григорыч с Груней, и Михайло Васильич с Ариной Васильевной, и матушка Манефа с келейницами, и московский посол Василий Борисыч волей-неволей гостили у него три дня и три ночи.

– Тому делу нельзя быть, чтоб раньше трех ден гостей отпустить... Сорочкины что именины – до троих суток роспуску нет, – говорил Патап Максимыч на неотступные просьбы тосковавшего по перепелам Михайла Васильича.

– Уехали ж городецкие, отпустил ты и городских гостей, – молил голова гостеприимного своевольника, – яви Божескую милость, отпусти меня с Ариной Васильевной.

– Гость гостю рознь – иного хоть брось, а с другим рад бы век свековать, – отвечал на те слова Патап Максимыч. – С двора съехали гости дешевые, а вы мои дорогие – ложись, помирай, а раньше трех ден отпуска нет.

– Поверь же Богу, Патап Максимыч, – вздумал продолжать удельный голова. – Нужные дела по приказу есть, непременно надо мне домой поспешать.

– Пустых речей говорить тебе не приходится, – отрезал тысячник. – Не со вчерашнего дня хлеб-соль водим. Знаешь мой обычай – задурят гости да вздумают супротив хозяйского хотенья со двора долой, найдется у меня запор на ворота... И рад бы полетел, да крылья подпешены.<sup>[279]</sup> Попусту разговаривать нечего: сиди да гости, а насчет отъезда из головы выкинь.

И должны были гости покориться воле Патапа Максимыча. Было бы напрасным трудом спорить с ним. Не родился тот на свет, кто бы переспорил его.

И томился тоской Михайло Васильич, поглядывая на плававшие в воздухе длинные пряди тенетника и на стоявшие густыми столбами над хлебом и покосами толкунцы.<sup>[280]</sup> Тянуло его к сетям да к дудочкам – хоть бы разок полежать в озимях до Нефедова дня... Да что поделаешь с своеобразным приятелем? Хоть волком вой, а гости до трех ден у Чапурина.

Иной выливает горе слезами, другой топит его в зеленом вине, Патап Максимыч думал размыкать печаль в веселой беседе с приятелями. Не было к нему ближе людей Ивана Григорыча с Михайлой Васильичем – то

были други верные, приятели изведанные, познал их Чапурин и в горе и в радостях, и в счастье и в печалях. И хотелось ему с ними развеять мрачные думы, душу свою хотелось ему отвести... Новый знакомец тоже по нраву пришелся... Но Василий Борисыч человек молодой, к тому ж за скиты и за всяко духовное дело стоит через меру, оттого и тешился над ним Патап Максимыч, оттого и поддразнивал его затейными рассказами про житье-бытье старцев и келейниц лесов Чернораменских.

Шутит Чапурин веселые шутки, трунит над Васильем Борисычем; добродушное лицо его сияет сердечною радостью... Но нет-нет, а вдруг отколь ни возмись – налетит хмара темная, потускнеет ясный взор отца горемычного, замлеет говорливый язык, и смолкнет Патап Максимыч, вспоминая красотку свою ненаглядную, покойницу Настю-голубушку, и слеза, что хрусталь, засверкает на ресницах его... Смолкнут и други-приятели, глядя на хозяина, потупят очи речистые, зная, чем повеяло на душу Патапа Максимыча... По недолгом времени ровно ото сна воспрянет он; опять за шутки, опять за издевки над Васильем Борисычем. Про скиты речь поведет, про Белую Криницу, зачнет путем, сведет на смеховое дело, пойдет балагурить насчет беглого священства да австрийского архиерейства, насчет келейного жития, уставов, поверий, скитских преданий... Патап Максимыч был истый великорус: набожник, ревностный к вере отцов богомольник, но великий суеслов; а как расходится да разгуляется, и от кощунства не прочь... Сидя в соседней боковуше, в ужас приходила мать Аркадия, слыша, как потешался он над Васильем Борисычем... В душевном смятении вполголоса читала она псалом царя Давида: «Рече безумец в сердце своем».

Василий Борисыч в споры. Нельзя же московскому послу оставаться без ответа, слушая такие речи; нельзя не показать ревности по древнему благочестию. Но с Патапом Максимычем спорить не то что с другим – много надо иметь и ума и уменья, чтоб свое защитить и ему поновить. Другой слов бы не нашел для разговоров с Чапуриным, но Василий Борисыч на обхожденье с такими людьми был ловок, умел к каждому подладиться и всякое дело обработать по-своему... Оставшись подростком по смерти сначала зажиточных, потом разорившихся родителей, круглый безродный сирота, обширной начитанностью, знаньем церковного устава и пения обратил он на себя внимание рогожских попов, уставщиков и попечителей часовни... И в самом деле он великий начетчик, старинные книги как свои пять пальцев знал; имея же острую память, многое из них целыми страницами читал наизусть, так, бывало, и режет... Но, читая старые книги, и новыми он не брезговал, не открещивался от них, как

другие староверы, напротив, любил их читать и подчас хорошее слово из них в речь свою вставить. Сильные своим влияньем тузы московского старообрядства дорожили такими людьми и уважали Василья Борисыча за острый ум и обширные познания... Не раз изведав ловкость его, стали посылать его в разные места по духовным делам, и, куда, бывало, ни пошлют, всюду он порученье исполнит на славу. Это ему, бедному человеку, не только хороший хлеб давало, но даже доставило возможность купить в Сыромятниках<sup>[281]</sup> хорошенький домик и сколотить себе небольшой капиталец. Большое богатство мог бы скопить, да страстишка в нем завелась – карты возлюбил... Ни тринка, ни горка, ни новоявленная макао не везли Василью Борисычу... А как был он по пословице «несчастлив в игре, да счастлив в любви», так и на это счастье деньги понадобились и, бывало, из кармана, как по вешней воде, уплывали... А все-таки в довольстве жил, бедовать ему не доводилось... Главное – с людьми уживаться умел... То затейник, то балагур, то скромник и строгий постник, то бабий прихвостень и девичий угодник, был он себе на уме: с кем ни повстречается, ко всякому в душу без оглобелъ въедет, с кем беседу ни зачнет, всякого на свою сторону поворотит...

С первого взгляда он насквозь узнал Патапа Максимыча, понял, что это за человек, и разом сумел к нему подладиться. Заметил, что не жалуется он потаковников, а любит с умным, знающим встречником<sup>[282]</sup> поспорить, охотно пускался с ним в споры, но спорил так, чтоб и ему угодить и себя не унижить. Послушает, бывало, мать Манефа либо которая из келейниц, как ведет он речи с Патапом Максимычем, сердцем умиляется, нарадоваться не может... А Патап Максимыч тоже рад и доволен. Ласково поглядывает на Василья Борисыча, самодовольно улыбается, а сам про себя думает: «Вот так человек!.. Из молодых да ранний – на все горазд: и себя огородить и старшему поноворить! Опять же и книжен. Таких начетчиков мало мне встречать доводилось. По всему старообрядству таких раз-два, обчелся».

Но не все же шутить да балагурить – надоест. Досыта натешившись над скитами и над старою верой, на иное Патап Максимыч беседу свел. С Иваном Григорычем да с удельным головой пошли у него разговоры про торги да промыслы. Василий Борисыч и тут лицом в грязь себя не ударил. Увидел Патап Максимыч, что и по торговому делу он был столько же сведущ, как и в книжном писаньи. Исходив много стран, многое видел на веку своем Василий Борисыч, все держал на памяти и обо всем мог иметь свое суждение. Московские фабрики, ржевские прядильни, гуслицкие ткачи, холуйские богомазы, офени-коробейники, ростовские огородники,

шуйские шубники, вичужские салфетки, сапожники-кимряки, пряничники-вязьмичи вдоль и поперек были ему известны. Куда ни заносила Василья Борисыча непоседная жизнь, везде дружился он с зажиточными старообрядцами. А те по многим местам держат в руках и торговлю и промышленность. Оттого ему и сподручно было так хорошо изведать торговое дело.

Когда повелись толковые, деловые разговоры, Василий Борисыч в какой-нибудь час времени рассказал много такого, чего ни Патапу Максимычу, ни куму Ивану Григорычу, ни удельному голове Михайле Васильичу и на ум до того не впадало.

Про то разговорились, как живется-можетя русскому человеку на нашей привольной земле. Михайло Васильич, дальше губернского города сроду нигде не бывавший, жаловался, что в лесах за Волгой земли холодные, неродимые, пашни и покосы скудные, хлебные недороды частые, по словам его выходило, что крестьянину-заволжанину житье не житье, а одна тяга; не то чтобы деньги копить, подати исправно нечем платить.

— А промысла, — жаловался он, — что спокон века здешний народ поили-кормили, решатся один за другим. На что ни оглянись, все под гору катится, все другими перебито. На что славна была по всем местам наша горянщина, и ту изобидели: крещане<sup>[283]</sup> у токарей, юрьевцы да кологривцы у ложкарей отбивают работу. В прежние годы из нашей Чищи<sup>[284]</sup> валенок да шляпа на весь крещеный мир шли, а теперь катальщики чуть не с голоду мрут... Угораздило крещеных у немца картуз перенять!.. От саратовских колонистов тот картуз по Руси пошел и дедовску шляпу в корень извел... Прежде в Чище для каждой стороны особую шляпу работали: куда шпилék, куда верховку, куда кашник,<sup>[285]</sup> а теперь, почитай, и валять-то разучились... Хизнула шляпа, остались сапоги с валенками, и те Кинешма с Решмой перебивают, а за Кинешмой да Решмой калязинцы.<sup>[286]</sup> Красную Рамень взять: прежде на всю Россию весовые коромысла работали, теперь и этот промысел стал подходить... Нет, плохое житье стало по нашим лесам!..

— Гневить Бога вам нечего, — возразил Василий Борисыч. — Посмотрели бы вы, как по другим-то местам люди живут, не стали б хаить да хулить свою сторону...

— Сторона наша плохая, хлеба недороды, иной год до Рождества своего хлеба не хватит, — возразил удельный голова.

— А посмотреть бы вам, Михайло Васильич, каково народ по тем местам живет, где целу зиму на гумне стоят скирды немолоченные, — сказал

на то Василий Борисыч. – По вашим лесам последний бедняк человеком живет, а в степных хлебородных местах и достаточный хозяин заодно со свиньями да с овцами.

– Уж ты наскажешь! Только послушать! – сказал Михайло Васильич. – Как же возможно с овцами да со свиньями жить?..

– Не во гнев твоей милости будь: того и в посмешных песнях не поют и в сказках не сказывают.

– В сказках не сказывают и в песнях не поют, – молвил Василий Борисыч, – а на деле оно так. Посмотрели б вы на крестьянина в хлебных безлесных губерниях... Он домосед, знает только курные свои избенки. И если б его на ковре-самолете сюда, в ваши леса перенести да поставить не у вас, Патап Максимыч, в дому, а у любого рядового крестьянина, он бы подумал, что к царю во дворец попал.

– Ну уж и к царю! – самодовольно улыбнувшись, молвил Патап Максимыч.

– Истинную правду вам сказываю, – решительно ответил Василий Борисыч. – Посмотрели б вы на тамошний народ, посравнили б его со здешним, сами бы то же сказали... Здесь любо-дорого посмотреть на крестьянина, у самого последнего бедняка изба большая, крепкая, просторная, на боку не лежит, ветром ее не продувает, зимой она не промерзает, крыта дранью, топится по-белому, дров пали сколько хочешь; у каждого хозяина чисто, опрятно, и все прибрано по-хорошему... А там избенка малая, низкая, курная, углы морозом пробиты, несет из них, а печку навозом либо соломой топят... Пол-от в избе земляной, стены да потолок что твой уголь. Вместе с людьми и овцы с ягнятами, и свинья с поросятами, и всякая домашняя птица... Корову в избе же доят и корму ей там задают...

– Быть того не может! – вскрикнул удельный голова. – В жизнь свою не поверю, чтоб корова в избе жила и всякая скотина и птица.

– Побывайте в степях, посмотрите, – молвил Василий Борисыч. – Да... Вот что я вам, Михайло Васильич, скажу, – продолжал он, возвыся голос, – когда Христос сошел на землю и принял на себя знак рабий, восхотел он, Владыко, бедность и нищету освятить. Того ради избрал для своего рождества самое бедное место, какое было тогда на земле. И родился Царь Небесный в тесном грязном вертепе среди скотов бессловесных... Поди теперь в наши степи – что ни дом, то вертеп Вифлеемский.

– Отчего ж это так? – в недоумении спросил Михайло Васильич.

– Оттого, что земля там родима, оттого, что хлеба там вдоволь, – с улыбкой ответил московский посол.

– Понять не могу, – разводя врозь руками, молвил Михайло Васильич. – Хлеб всему голова: есть хлеб – все есть; нет – ложись, помирай.

– Не всегда и не везде так бывает, – сказал Василий Борисыч. – Если ж в тех хлебородных местах три, четыре года сряду большие урожаи случатся, тогда уж совсем народу беда.

– Как так? – спросил Патап Максимыч. Удивился и он речам Василья Борисыча.

– Да очень просто, – ответил Василий Борисыч. – Промыслу нет никакого, одно землепашество... Хлеба-то вволю, а мужику одним хлебом ни изжить, и на то и на другое деньги ему надобны: и соли купить, и дегтю, и топор, и заступ, и серпы, и косы, да мало ль еще чего... У церковников попу надо дать, как с праздным придет, за исповедь, за свадьбы, за кстины, [287] за похороны; винца тоже к празднику надо, а там подати, оброки, разные сборы, и все на чистоган. А чистогана, опричь как хлебом, достать нечем. А хлеб-от вези на базар, верст за двадцать, за тридцать. Сколько тут надо прохарчить, сколько времени эти поездки возьмут, а дороги-то осенью, да и летом, коли много дождей, не приведи Господи! В черноземето, как его разведет, телега по ступицу грузнет, лошаденка насилу тащит ее... Чтó тут маяты, чтó убыток!.. Хорошо вон теперь железны дороги почали строить, степняку от них житье не в пример лучше прежнего будет, да не ко всякой ведь деревне чугунку подведут... Хорошо еще, коли хлеб в цене; тогда и примет мужик маяты, а все-таки управится, и деньги у него в мошне будут. А как большие-то урожаи да каждый-то год, да как цена-то на хлебушек упадет!.. По хлебным местам такая намолвка идет: «Перерод хуже недороду».

– Поди вон оно дело-то какое! – удивился Михайло Васильич.

– А лесу ни прутá, – продолжал Василий Борисыч. – Избы чуть не из лутошек, по местам и битые из глины в чести, топливо – солома, бурьян да кизяк... [288] Здесь, в лесах, летом все в сапогах, зимой в валенках, там и лето и зиму в одних родных лапотках, да еще не в лычных, а в веревочных. По здешним местам мясное-то у мужика не переводится, да и рыбы довольно – Волга под боком, а в хлебных местах свежину только в светло воскресенье едят да разве еще в храмовые праздники...

– Чуднóе дело!.. – дивился Михайло Васильич.

– По вашим местам – щи с наваром, крыты жиром, что их не видать, а в хлебных местах – щи хоть кнутом хлещи – пузырь не вскочит... – продолжал Василий Борисыч. – Рыбного тоже нисколько, речонки там

мелкие, маловодные, опричь пескаря да головля, ничего в них не водится. Бывает коренная, да везена та рыба из дальних мест и оттого дорогá... Где уж крестьянину деньги на нее изводить – разве поесть немножко на Масленице, чтоб только закон справить... Хлеба – ешь не хочу, брага не переводится, а хоть сыты живут, да всласть не едят, не то что по вашим местам. Вот каковы они хлебны-то места, Михайло Васильич!

– Мудрены дела твои, Господи! – молвил удельный голова и задумался. И, малое время помолчав, спросил он Василия Борисыча:

– Перепелов, поди, чай, сколько в хлебе-то!

– Этого добра вдоволь, – ответил Василий Борисыч, – тьма-тьмущая!

– Голосисты? – спросил голова.

– Беда! – молвил Василий Борисыч.

– Эка благодать!.. – вздохнул Михайло Васильич. – Сотнями, чать, кроют...

– Оно и выходит, что хлеба много – лесу нет, лесу много – хлеба нету, – вставил в беседу речь свою кум Иван Григорыч.

– Не в лесе, Иван Григорыч, сила, а в промыслах, – сказал ему на то Василий Борисыч. – Будь по хлебным местам, как здесь, промысла, умирать бы не надо...

– Отчего ж не заводят? Кажись бы, не хитрое дело? – спросил Иван Григорыч.

– Оттого и не заводят, что хлебные места, – ответил Василий Борисыч. – Промысла от бесхлебья пошли, бесхлебье их породило... В разных странах доводилось мне быть: чуть не всю Россию объехал, в Сибири только не бывал да на Кавказе, в Австрийском царстве с Белокриницкими отцами до самой Вены доезжал, в Молдове был, в Туретчине, Гробу Господню поклонялся, в Египетскую страну во славный град Александрию ездил... И везде, где ни бывал, видел одно: чем лучше земля, чем больше ее благодатью Господь наделил, тем хуже народу живется. Смотришь, бывало, не надивуешься: родит земля всякого овоща и хлеба обильно, вино и маслины и разные плоды, о каких здесь и не слыхивали, а народ беден... Отчего?.. Промыслу нет никакого... Земля-то щедра, всегда родит вдоволь, уход за ней не великий, человек-от и обленился; только б ему на боку лежать, промысла ему и на ум не приходят. А как у нас на святой Руси холод да голод пристукнут, рад бы полениться, да некогда... И выходит: где земля хуже, там человек досужей, а от досужества все: и достатки и богатство...

– А ведь это так, это он дело рассказывает, – кивнул Патап Максимыч куму Ивану Григорычу. – Говорится же ведь, что всяко добро от Божьего



ума да от человеческого труда.

– Да, – подтвердил Василий Борисыч. – Все трудом да потом люди от земли взяли... Первая заповедь от Господа дана была человеку: «В поте лица снеси хлеб твой»... И вот каково благ, каково премудр Отец-от Небесный: во гневе на Адама то слово сказал, а сколь добра от того гневного слова людям пришло... И наказуя, милует род человеческий!..

– Известно... На то он и Бог, – молвил удельный голова.

– А скажи-ка ты мне, Василий Борисыч, как по твоему замечанию... Можно по хлебным местам промысла развести али нельзя?.. – спросил у него Патап Максимыч.

– Можно-то можно, люди бы только нашлись, – ответил Василий Борисыч. – Самому крестьянству на промыслы сразу подняться нельзя... Начинать ново дело русский человек не охотник, надо ему ко всякому делу допрежь приглядеться.

– Как же завести-то их? – спросил Патап Максимыч.

– А вот как, – ответил Василий Борисыч. – Человеку с достатком приглядеться к какому ни на есть месту, узнать, какое дело сподручнее там завести, да, приглядевшись, и начинать с Божьей помощью. Год пройдет, два пройдут, может статься, и больше... А как приглядятся мужики к работе да увидят, что дело-то выгодно, тогда не учи их – сами возьмутся... Всякий промысел так зачинался.

– Фабрику, значит, поставить либо завод какой? – сказал Патап Максимыч.

– Нет, – возразил Василий Борисыч. – Нет, нет, оборони Боже!.. Пуцай их по городам разводят... Фабричный человек – урви ухо,<sup>[289]</sup> гнилая душа, а мужик – что куколь: сверху сер, а внутри бел... Грешное дело фабриками его на разврат приводить... Да и то сказать, что на фабриках-то крестьянскими мозолями один хозяин сыт. А друго дело то, что фабрика у нас без немца не стоит, а от этой саранчи крещеному человеку надо подальше.

– Самое истинное дело, – согласился Патап Максимыч.

– Ты ему воли на вершок, а он, глядь, и всем завлодел, – вставил свое слово Михайло Васильич.

– Не фабрики, кустарей по какому ни на есть промыслу разводить – вот что надо, – сказал Василий Борисыч. – И пример с них мужики скорее возьмут, и веры в тот промысел будет побольше... Да вот, к примеру, хоть Вичугу<sup>[290]</sup> взять, от здешних лесов не больно далеко, и там земля неродима... До французского года<sup>[291]</sup> ни одного ткача в той стороне не

бывало, а теперь по трем уездам у мужиков только и дела, что скатерти да салфетки ткать. И фабрики большие завелись, да речь не об них... По иным деревням, что ни дом, то стан... Заобихожий<sup>[292]</sup> круглый год за работой; тяглецы, как не в поле, тоже за станом стоят. И что денег тем мастерством добывают!.. Как живут!.. А как дело-то зачиналось?.. Выискался смышленный человек с хорошим достатком, нашего согласия был, по древлему благочестию, Коноваловым прозывался, завел небольшое ткацкое заведение, с легкой его руки дело и пошло да пошло... И разбогател народ и живет теперь лучше здешнего... Да мало ли таких мест по России... А везде доброе дело одним зачиналось!.. Побольше бы Коноваловых у нас было – хорошо бы народу жилось.

– Да, – промолвил Патап Максимыч и крепко задумался.

И когда расходились гости на сон грядущий, не сказал он никому ни единого слова, но молча трижды расцеловался с Васильем Борисычем.

А уйдя в боковушу, долго ходил взад и вперед, закинув руки за спину.

«Слышал и я про Коновалова, – думал он сам про себя. – Добром поминают его по всему околотку, по всем ближним и дальним местам... Можно про такого человека сказать: «Сеял добро, посыпал добром, жал добро, оделял добром, и стало его имя честно и памятно в род и род». Голодного накорми, слабому пособи, неразумного научи, как добро наживать трудом праведным, нет тех дел святее перед Господом и перед людьми... От людей вечный помин, от Господа грехов отпущенье... И в Писании сказано: «блажен»... Что каменны палаты в Петербурге?.. Что железны дороги да расчистка волжских перекатов – коноваловское дело превыше всего... И капитала много меньше потребуется... Смогу!.. А смышлен этот Василий Борисыч!.. Из себя маленек, годами молоденек, а разумом и старого за пояс заткнет... Сынка бы такого разумного!.. Не привел Господь!.. Что делать?.. На волю Божью не подашь просьбу... А этот лучше того долговязого!.. Острый разум!.. И угораздило же его в бабы дела ввязаться!.. Кельи да старицы, уставы да архиереи!.. Все едино, что вздень сарафан да с девками в хороводы... Последнее дело!..»

\* \* \*

Утром третьего дня сорочин Патап Максимыч опять с гостями беседовал. В ожиданьи обеда Никитишна в передней горнице закуску им сготовила: икры зернистой, балыка донского, сельдей переславских и

вяленой рознежской<sup>[293]</sup> стерляди поставила. Хрустальные с разноцветными водками графины длинным рядом стояли на столе за тарелками.

– Дивлюсь я тебе, Василий Борисыч, – говорил ему Патап Максимыч. – Сколько у тебя на всякое дело уменья, столь много у тебя обо всем знанья, а век свой корпишь над крюковыми книгами,<sup>[294]</sup> над келейными уставами да шатаешься по белу свету с рогожскими порученностями. При твоём остром разуме не с келейницами возиться, а торги бы торговать, деньгу наживать и тем же временем бедному народу добром послужить.

– Всякому человеку от Бога свое дело положено, – молвил Василий Борисыч. – Чему обучен, чему навык, тому делу и должен служить. Да и можно ль мне в торговлю пуститься? Ни привычки, ни сноровки.

– Так говорить не моги, – перебил его Патап Максимыч. – Мы, старые люди, видим подальше тебя, больше тебя разумеем. Птичка ты невеличка, да ноготок у тебя востер. По малом времени в люди бы вышел, тысячником бы стал, богачом.

– Что есть, и того довольно с меня, – молвил Василий Борисыч. – Не в богатстве сила, в довольстве... Я, слава Богу, доволен.

– Доволен! – усмехнулся Патап Максимыч. – И лягушка довольна, пока болото не пересохло... А ты человек, да еще разумный. Что в Писании-то сказано о неверном рабе, что данный от Бога талант закопал? Помнишь?

– Дело-то опасно, – немного подумав, молвил Василий Борисыч. – Батюшка родитель был у меня тоже человек торговый, дела большие вел. Был расчетлив и бережлив, опытен и сметлив... А подошел черный день, смешались прибыль с убылью, и пошли беда за бедой. В два года в доме-то стало хоть шаром покати... А мне куда перед ним? Что я супротив его знаю?.. Нет, Патап Максимыч, не с руки мне торговое дело.

– Напрасно так рассуждаешь, – возразил Патап Максимыч. – Добра тебе желаячи, прошу и советую: развяжись ты с этими делами, наплюй на своих архиереев да на наших келейниц... Ну их к шуту!.. На такие дела без тебя много найдется... Повел бы торги – и себе добро и другим польза.

– Нет, Патап Максимыч! – молвил Василий Борисыч. – Такой уж несмелый я человек – всего опасаюсь, всего боюсь, опять же привычка... А привычка не истопка,<sup>[295]</sup> с ноги не сбросишь... Боюсь, Патап Максимыч, оченно мне боязно за непривычное дело приняться...

– Волка бояться – от белки бежать, – сказал Патап Максимыч. – Не ты

первый, не ты будешь и последний... Знаешь пословицу: «Смелому горох хлебать, робкому пустых щей не видать»? Бояться надо отпетому дураку да непостоянному человеку, а ты не из таковых. У тебя дело из рук не вывалится... Вот хоть бы вечер про Коновалова помянул... Что б тебе, делом занявшись, другим Коноваловым стать?.. Сколько б тысяч народу за тебя день и ночь Богу молили!..

– Такого дела мне не снести, – молвил Василий Борисыч.

– Отчего? – спросил Чапурин.

– Не к лицу пироги разбирать, коли хлеба нет, – молвил Василий Борисыч. – Торги да промыслы заводить, надо достатки иметь, а у меня, – прибавил он, усмехаясь, – две полы, обе голы, да и те не свои – подаренные.

– Нет капитала, в долю бы шел, – сказал Патап Максимыч. – Такого, как ты, всякий с радостью примет.

– В супрядках не пряжа, в складчине не торг, – отозвался Василий Борисыч.

– Это так точно, – с довольной улыбкой подтвердил Чапурин. – Сам тех мыслей держусь. Складчина последнее дело... Нет того лучше, как всякий Тит за себя стоит... А эти нонешни акции, да компании, да еще пес их знает какие там немецкие штуки – всем им одна цена: наплевать.

– Значит, ты и артели порочишь? – вступился удельный голова.

– Кто их порочит! – с досадой возразил Патап Максимыч. – Артель порочить нельзя, артель та же братчина, заведение доброе; там все друг по друге, голова в голову, оттого и работа в артели спора... Я про нынешни компании помянул, их не хвалю... Тут нажива только тому, кто дело к рукам умеет прибрать... А другим пайщикам обида одна... Нет, я так советую тебе, Василий Борисыч, шел бы ты в долю к какому ни на есть богатому да хорошему человеку: его бы деньги, твое умение... Говорил ты намерен, что по разным городам у тебя большое знакомство... Неужто не сыщется, кто бы тебе деньгами пособил?..

– Как не сыскаться, – молвил Василий Борисыч. – Есть доброхотов довольно.

– Что ж ты?

– Просить охоты нет, – сказал Василий Борисыч.

– А ты попробуй – без просьбы нельзя же: дитя не плачет, мать не разумеет, – молвил Патап Максимыч. – Ну-ка, попробуй...

– Не могу я просить, Патап Максимыч, язык не поворотится.

Плюнул с досадой Чапурин.

– Сами, что ли, деньги-то тебе в карман влезут? – крикнул он,

выпрямясь во весь рост. – Сорока, что ли, тебе их на хвосте принесет?.. Мямля ты этакой, рохля!.. Мог бы на весь свет загреметь, а ему по скитам шляться да с девками по крюкам петть!.. Бить-то тебя некому!

– Искушение! – с глубоким вздохом, полупшепотом промолвил Василий Борисыч.

– Добро ему кажут, на широку дорогу хотят его вывести, а он, ровно кобыла с норовом, ни туда, ни сюда, – шумел Патап Максимыч... – Сказывай, непуть этакой, много ль денег требуется на развод промыслов где-нибудь поблизости?.. Ну хоть на Горах, [\[296\]](#) что ли?

– Ох, искушение! – глубже прежнего вздохнул Василий Борисыч. Сроду не случалось бывать ему в таком переделе...

А Патап Максимыч так зашагал по горнице, что стоявшая на горках посуда зазвенела... Вдруг стал он перед Васильем Борисычем и взял его за плечи.

– Получай деньги, Васильюшка, – сказал ему. – Брось, голубчик, своих чернохвостых келейниц да посконных архиереев, наплюй им в рожи-то!.. Васильюшка, любезный ты мой, удружи!.. Богом тебя прошу, сделай по-моему!.. Утешь старика!.. Возлюбил я тебя...

– Нет уж, увольте, Патап Максимыч, – собравшись с духом, молвил Василий Борисыч. – Не надо – не могу я ваших денег принять...

– Дурак! – крикнул вскипевший гневом Чапурин и порывисто вышел из горницы, хлопнув дверью, так что окна зазвенели.

– Что ж ты тревожишь его? – говорил Василью Борисычу кум Иван Григорыч. – Видишь, как расходился!.. Для че упорствуешь?.. Не перечь... покорись, возьми деньги.

– Не к рукам мне его деньги, – ответил Василий Борисыч. – Какой я купец, какой торговец?.. Опять же не к тому я готовил себя.

– Про то не думай, – внушительно сказал ему удельный голова. – Патап Максимыч лучше тебя знает, годишься ты в торговое дело али нет?.. Ему виднее... Он, брат, маху не даст, каждого человека видит насквозь... И тебе бы, Василий Борисыч, ему не супротивничать, от счастья своего не отказываться.

– Ох, искушение! – руками даже всплеснул Василий Борисыч. А самому бежать бы – так в пору.

– Нет, уж ты не прекословь, Василий Борисыч, – продолжал уговаривать его Иван Григорыч. – Потешь старика, пожалей – добра ведь желает тебе.

– Да толком же я говорю: не могу того сделать, – чуть не со слезами ответил Василий Борисыч. – Заводить торговое дело никогда у меня на уме

не бывало, во снах даже не снилось... Помилуйте!..

– Экой ты человек неуклончивый! – хлопнув о полы руками, воскликнул Иван Григорьич. – Вот уж поистине: в короб нейдет, из короба не лезет и короба не отдает... Дивное дело!.. Право, дивное дело!..

– Старого человека надо уважить, – молвил Михайло Васильич. – Из-за чего ты в самом деле расстроил его?.. Ну и впрямь, что за охота тебе с келейницами хороводиться?.. Какая прибыль?.. Одно пустое дело!..

Под эти слова дверь быстро распахнулась, и Патап Максимыч вошел в горницу. Лицо его пылало, пот крупными каплями выступал на высоком челе, но сам он несколько стих против прежнего.

– Слушай, – сказал он, подойдя к Василью Борисычу и положив ему руки на плечи. – Чего торгов боишься? Думаешь, не сладишь?.. Так, что ли?

– Так точно, – ответил Василий Борисыч.

– Ладно, хорошо... будь по-твоему, – сказал Патап Максимыч, не снимая рук с плеч Василья Борисыча. – Ну, слушай теперь: сам я дело завожу, сам хочу промысла на Горах разводить – ты только знаньем своим помогай!

– Каково ж мое знание, Патап Максимыч? Помилуйте, Господа ради!.. – возразил было Василий Борисыч.

– Лучше тебя знаю, каково твое знанье, – прервал его Патап Максимыч. – Помогай же мне, ступай в приказчики...

– Ох, искушение! – вздохнул Василий Борисыч.

– Да ну его к шуту, твое «искушение». Заладил, что сорока Якова, надоед даже... Идешь в приказчики?

Молчит Василий Борисыч, мутится взор его под горячими взглядами Патапа Максимыча.

– Житье на всем готовом, жалованья – сколько запросишь. Дело вести без учета, без отчету, все как сыну родному доверю... Что же?.. Чего молчишь?.. Аль язык отсох!.. Говори, отвечай! – сильно тряся за плечи Василья Борисыча, говорил Патап Максимыч.

– Не знаю, что отвечать, – тихо промолвил Василий Борисыч. А у самого на уме: «Спаси от бед раба своего, Богородица!»

– Толком спрашиваю, толком и ответ давай! – чуть не на весь дом крикнул Патап Максимыч.

– Дайте сроку... – едва проговорил Василий Борисыч.

– Много ли?

– Недель шесть... – сказал Василий Борисыч.

– Долго... – молвил Патап Максимыч.

– Меньше нельзя. Чужие дела в руках, зря их бросить нельзя, – ответил Василий Борисыч.

– Дело сказал, – молвил Патап Максимыч. – А все бы маненько убавить надо...

– Никак невозможно, Патап Максимыч, – решительно сказал Василий Борисыч.

– Ну, была не была, – согласился Чапурин. – Шесть недель так шесть недель. Будь по-твоему... Только смотри же у меня, не надуй...

– Помилуйте!.. Как это возможно!.. – А сам на уме: «Только б выбратся подобру-поздорову».

– Ладно, хорошо, – сказал Патап Максимыч. И, обняв Василья Борисыча, трижды поцеловал его со щеки на щеку.

– Никитишна! – крикнул он, маленько отворив сенную дверь.

Кума-повариха вошла в горницу.

– Ставь-ка нам, кумушка, смолёну, головку холодненькую, – молвил ей повеселевший Патап Максимыч.

Кумушка скоро воротилась, неся на железном тагильском подносе бутылку шампанского с четырьмя хрустальными стаканчиками.

– С новым приказчиком! – поздравлял Чапурина удельный голова.

– С новым торгом! – подхватил кум Иван Григорыч.

И скорым делом бутылку покончили.

Василий Борисыч пил, но крепко задумался.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Обедать сели. То был последний обед сорочин.

Пол-обеда не прошло, забренчали на дворе бубенчики, колокольчик стал позвякивать: то Михайле Васильичу стоечных лошадей запрягали. Не терпелось ему. Из-за стола прямо в тарантас, и во весь опор, как ездят только исправники, покатиł он в Ключино, чтобы с вечера на перепелов в озимях залечь... Только свалит жар, собирался ехать кум Иван Григорьич с Груней; а с солнечным закатом хотела отправляться и Манефа со старицами, белицами и с Васильем Борисычем. Патап Максимыч не на долгое время и Парашу в Комаров отпустил, позволял даже ей с матерями съездить в леса на богомолье и в ночь на Владимирскую<sup>[297]</sup> невидимому граду Китежу поклониться... Денька через три хотела выехать из Осиповки и Акси́нья Захаровна. Ехать думала наперед к Груне, а повременя, как только Манефа из Ша́рпана с Казанской воротится, к ней в обитель. Одному Патапу Максимычу не сидеть дома, и он собрался в Красную Рамень на мельницы, а оттоль в город.

За обедом развеселый Патап Максимыч объявил во всеуслышанье, что к первому Спасу<sup>[298]</sup> будет у него новый приказчик и что с ним он новые торгoвы дела на Горах заведет. И, сказав, показал на Василья Борисыча.

Молнией сверкнули черные очи Манефы... Переглянулись белицы и старицы, с недоуменьем взглянула на мужа Акси́нья Захаровна, вздохнула и покорно опустила глаза... Ни с того ни с сего зарделась Прасковья Патаповна, а бойкая разудалая Фленушка, взглянув на нее, а потом на склонившегося над тарелкой Василья Борисыча, улыбнулась лукавой улыбкой... На этот раз Устинья Московка за тем же столом обедала, сидела рядом с игуменьей. Ровно громом оглушили ее слова Патапа Максимыча, багрецом подернулись щеки, побледнели алые губы, заблестели очи искрами палючими, и слезинки, что росинки, засверкали на длинных ресницах ревнивой канонницы. Никто ни слова, ни звука... И любо было Патапу Максимычу, что всех огорошил вестью неожиданною. Повел разговоры:

– По нонешним временам человеку с достатком и стыд и грех на печи сложа руки сидеть... Не по-старому жить приходится, не в кубышку деньги копить да зарывать ее в подполье либо под углом избы... Ход да простор возлюбили ноне денежки... К тому ж и Господь повелел, себя помня, ближнего не забывать... Теперь, по милости Божией, по околотку сотня-



другая людей вокруг меня кормится, и я возымел такое желание, чтобы, нажитого трудами капитала не умаляя, сколь можно больше народу работой кормить, довольство бы по бедным людям пошло и добрая жизнь... Благословил бы только Господь...

– Господь повелел богатому нищей братье именье раздать и по нем идти, – истово и учительно, но резко сказала Манефа, приосанясь и величаво взглянув на брата.

– Ту заповедь и держу в помышленьи, – молвил он.

– «Нищие всегда имате с собою», рек Господь, – продолжала игуменья, обливая брата сдержанным, но строгим взглядом. – Чем их на Горах-то искать, вокруг бы себя оглянулся... Посмотрел бы, по близности нет ли кого взыскать милостями... Недалёко ходить, найдутся люди, что постом и молитвой низведут на тебя и на весь дом твой Божие благословение, умолят о вечном спасении души твоей и всех присных твоих.

– Никак на своих чернохвостниц мекаешь? – насмешливо молвил Патап Максимыч. – Нет, матушка, шалишь-мамонишь – с жиру взбеситесь!.. Копейки не дам!

– Вольному воля! – понизив голос, ответила Манефа. – Господь призрит на нища и убога – проживем и без твоих милостей.

– Ну и живите, только других не корите, – молвил Патап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорьичу и удельному голове, прибавил: – Эка, подумаешь, бездонная кадка эти келейницы!.. Засыпь их кормом поверх головы, одно вопят: «Мало, еще подавай!»

– Не суесловь, безумный! – возвысила голос Манефа. – Забыл, что всяко праздное слово на последнем суде взыщется?

– Много ж тебе с твоими келейницами ответов-то придется давать тогда, – усмехнулся Патап Максимыч. – Ведь у вашей сестры, что ни слово, то вранье либо сплетня какая.

– Безумное слово, нечестивая речь!.. – вспыхнула мать Манефа, но тотчас же стихла. Не слышать ее голоса больше.

И, не внимая усердным потчеваньям Аксины Захаровны, не вкушала она от сладких брашен, сготовленных Никитишной. Глядя на свою матушку, и старицы с белицами воздержались от ястия и пития, хоть и было это им за великую досаду. Только Фленушка с Марьюшкой, как не их дело, кушали во славу Божию... Устинья Московка не ела, рвалось и кипело у ней на сердце, мутился разум. Чужая недоброе, глаз не спускала она с Василья Борисыча и зорко стерегла, не взглянет ли он на хозяйскую дочь... Но он сидел, ровно к смерти приговоренный... Молчит, потупя очи, и тоже ни единой яствы не касается... Собравшись с духом, спросила у

мужа Аксины Захаровна, что за дела вздумал он на Горах заводить. Не ответил Патап Максимыч. Не взглянул даже на сожительницу.

Проводили удельного голову, проводили и Груню с Иваном Григорьевичем. Манефа спешно в путь снаряжается. Узелкам, коробкам, укладочкам да сундучкам у келейниц ни конца, ни счета: у каждой старицы, у каждой белицы свой дорожный обиход. Опричь перин да подушек, надо весь скарб собрать и в повозки покласть... А тут подоспели Парашины сборы. В один чемодан всего не убрать, другой прихватили... Одного платья что брала... Платки левантиновые, две шали турецкие, лент в косу десятка два, передники всякие, рукава, сарафанов дюжины полторы: ситцевые для прохлады, шерстяные для обиходу, шелковые для наряду в часовню аль при гостях надеть... Нельзя же Параше без дорогих нарядов – не простая девица в скиты едет, – одна-единственная дочка Патапа Максимыча.

Сидя в бывшей Настиной светлице, молча глядела Манефа, как Фленушка с Устиньей Московкой укладывали пожитки ее в чемоданы. Вдруг распахнулась дверь из сеней и вошел Патап Максимыч, одетый по-домашнему: в широкой рубаше из алого канауса, опоясанный шелковым поясом, вытканым в подарок отцу покойницей Настей. Поглядел он на укладыванье, поглядел на Манефу, почесал слегка голову и молвил сестре:

– Ну ты, спасена душа, подь-ка ко мне в боковушу...

И медленно вышел вон из светлицы.

Еще того медленней поднялась с места Манефа, не промолвив ни слова, неспешною поступью пошла она вслед за братом.

– Садись и ты... Чего стоять-то?.. Не вырастешь, – сказал вошедший в боковушу игумень сидевший за столом и раскладывающий по пачкам деньги Патап Максимыч.

Села напротив брата Манефа. Оба ни слова.

– Сколько здесь с тобой стариц? – спросил он.

– Уставщица мать Аркадия, да мать... – начала было Манефа.

– Счетом сказывай, – прервал Патап Максимыч.

– Три, – сказала Манефа.

– Белиц?

– Двенадцать, Фленушка тринадцатая.

– Чертова дюжина! – усмехнулся Патап Максимыч, отсчитывая деньги. – Сколько теперь у тебя в обители всего-навсего стариц и сколько белиц?

– Тридцать четыре старицы, без одной пятьдесят белиц, – отвечала Манефа.

– Сколько во всем Комарове вас живет? Огулом сказывай, – спрашивал Патап Максимыч, отсчитывая новую пачку.

– Лицевых <sup>[299]</sup> семьсот двадцать пять да двести не писанных, – отвечала Манефа.

– Беглых, попросту сказать. Что мало? – усмехнулся Патап Максимыч.

– Всякая с пачпортом, только что в списках не значится. У родных гостят, – молвила матушка Манефа.

– Знаем, как они у вас у родных-то гостят!.. – опять усмехнулся Патап Максимыч и, отложив другую пачку, спросил сестру: – Много ль обителей по другим скитам?

– В Улангере двенадцать, в Оленеве... – начала было Манефа.

– Чохом говори, – прервал ее брат.

– Дай срок смекнуть, – молвила Манефа и, посчитав, сказала: – Пятьдесят обителей.

Патап Максимыч опять стал деньги считать. Оба молчали. Затем, подвигая к сестре пачку за пачкой, стал говорить:

– Старицам, что здесь с тобой, по синей, белицам по зеленой, эту красну особо Фленушке дай, да без огласки, смотри... В твою обитель по зеленой на старицу, по полутора целковых на белицу. А эта красная на твоих обительских трудников... Вот тебе еще пятьсот целковых в раздачу на Комаровские обители. С лишком по полтине серебра на душу придется, раздавай как знаешь, в кою обитель больше, в кою меньше, тебе лучше знать... Это на комаровских сирот, а это на другие скиты, по десяти целковых на обитель, – продолжал Патап Максимыч. – Куда больше, куда меньше, твое дело... Да смотри, Настасью бы поминать не ленились... Припасов кой-каких завтра тебе с работником пришлю... А вот сто рублей на Прасковьины гостины. Ей не говори, что дал... А это тебе, – прибавил Патап Максимыч, придвигая пять сотенных к Манефе.

– Благодарю покорно, – молвила игуменья, встав и низко поклонившись брату. – Дай-ка мне бумажку да перышко, запишу куда назначил. Не то забуду. После болезни памятью что-то стала я хуже.

Не говоря ни слова, придвинул Чапурин к сестре бумагу, перо и чернильницу, а сам начал мерить горницу крупными шагами.

Манефа медленно записывала раздачу.

Кончив запись, подняла она голову и молвила брату:

– Можно с тобой путем потолковать, Патапушка?

– Говори, – отрезал Патап Максимыч и, не взглянув на сестру, продолжал ходить взад и вперед по горнице.

– На саму на Троицу недобрые вести дошли до нас, – начала

Манефа. – Пишут Дрябины из Питера: беда грозит.

– Решать думают? – молвил Патап Максимыч.

– Так пишут благодетели, – подтвердила Манефа. – Шлют, слышь, из Питера самых набольших чиновников, станут-де они Оленевски обители переписывать, не строены ль которы после воспрещенья. И которы найдут новыми, те тут же и порешат – запечатают...

– А найдется таких? – спросил Патап Максимыч.

– Как не найтись! – ответила Манефа. – Воспрещенью-то теперь боле тридцати годов, а как пол-Оленева выгорело – и пятнадцати не будет... Новых-то, после пожару ставленных, обителей чуть не половина... Шарпан тоже велено осмотреть, он тоже весь новый, тоже после пожара строен. Казанску владычицу из Шарпана-то велено, слышь, отобрать... И по всем-де скитам такая же будет переборка, а которы не лицевые, тех, слышь, всех по своим местам, откуда пришли, разошлют...

– Слышал и я про то. И мне писали... Дело не ладное... Опять же на грех под это самое время отец-то Михаил с вором Стуколовым подвернулись.

Потупила очи Манефа и торопливо опустила на них креповую наметку.

– Видно, куда ни кинь, везде клин, – продолжал Патап Максимыч, подойдя к окну и зорко приглядываясь к черневшей вдали опушке леса. – Такие строгости, каких не бывало!.. А все сами виноваты. Жили бы смирененько, никто бы вас не тронул... А то вздумали церковников к себе залучать да беспаспортных, архиерея выдумали, с чужестранными царствами сноситься зачали. Вот и попали в перекрестную, что нидохнуть, ни глотнуть... С одной стороны – вы-то уж больно пространно жить захотели, а с другой – начальство-то, ровно муха его укусила.

– Съездить бы тебе, Патапушка, к губернатору, попросить бы от него милостей... – молвила брату Манефа.

– Ничего тут губернатор не поделает, – ответил Патап Максимыч. – Был у меня с ним насчет вас разговор. Со всяким бы, говорит, моим удовольствием, да не могу: власти, говорит, такой не имею... Известно, хоть и губернатор, а тоже под начальством живет, и его по головке не погладят, коль не сделает того, что сверху ему приказано.

– Может, потянул бы в нашу пользу, коли бы ты-то хорошенько ему поклонялся, – молвила Манефа.

– Да как же ему в вашу-то пользу тянуть, когда самому за то ответ придется давать? – сказал Патап Максимыч. – Когда можно было – в просьбах мне не отказывал.

– Ох, Владычица, Царица Небесная! – вздохнула игуменья.

– И про то пытал я у губернатора, – продолжал Патап Максимыч, – нельзя ли вам как-нибудь с теми чиновниками повидеться, чтобы, знаешь, видели не видали, слышали не слыхали... И думать, говорит, про то нечего, не такие люди.

– Полно, Патапушка, все одного кустика ветки, всех одним дождичком мочит, одним солнышком греет, – сказала Манефа. – Может, и с ними лъзя по-доброму да по-хорошему сладиться. Я бы, кажись, в одной свитке осталась, со всех бы икон ризы сняла, только бы на старом месте дали век свой дожить... Другие матери тоже ничего бы не пожалели!.. Опять же и благодетели нашлись бы, они б не оставили...

– Пустое городишь, – прервал ее Чапурин. – Не исправник в гости собирается, не становой станет кельи твои осматривать. То вспомни: куда эти питерские чиновники ни приезжали, везде после них часовни и скиты зорили... Иргиз возьми, Лаврентьев монастырь, Стародубские слободы... Тут как ни верти, а дошел, видно, черед и до здешних местов... Что же ты, как распорядилась на всякий случай?

– Да я казначею мать Таифу на другой же день в Москву и в Питер послала, – отвечала Манефа. – Дрябину Никите Васильичу писала с ней, чтобы Громы всеи мерами постарались отвести бурю, покланялись бы хорошенько высшим властям; Громы ко всем вельможам ведь вхожи, с министрами хлеб-соль водят.

– Ничего тут и Громы не поделают. Не такое время, – молвил Патап Максимыч.

– Ох, уж и Никита-то Васильич твои же речи мне отписывает, – горько вздохнула Манефа. – И он пишет, что много старания Громы прилагали, два раза обедами самых набольших генералов кормили, праздник особенный на даче им делали, а ни в чем успеха не получили. Все, говорят, для вас рады сделать, а насчет этого дела и не просите, такой, дескать, строгий о староверах указ вышел, что теперь никакой министр не посмеет ни самой малой ослабы попустить...

– Вот видишь, – молвил Патап Максимыч. – Незачем было тебе и Таифу гонять... В Москву-то что с ней наказывала?

– А послала я с ней в Москву главную нашу святыню: пять икон древних, три креста с мощами, десятка четыре книг, которы поредкостней.

– Чем такую даль ехать, ко мне бы могла свезти, и у меня б сохранны были, – сказал Патап Максимыч.

– Думала я про то, Патапушка, думала, родной. Чего бы ближе, как не к тебе, да вот чего, признаться, поустрашилась. Как пойдут, думаю, у нас

переборы да обыски, хоть и узнают, что святыня в Москву отправлена, все-таки ее не досягнут – Москва-то велика, кому отдана святыня, знаем только я да матушка Таифа, да вот тебе еще на смертный случай поведаю: Гусевым. А чтоб к тебе свезти, того поопáсилась: люди узнают, совсем ведь скрыть этого невозможно; ну, как, думаю, грехом, питерские-то чиновники от какой-нибудь болтуни про то сведают, так, чего доброго, пожалуй, и к тебе нагрянут с обыском... Сам посуди...

– Что дело, то дело. Распорядки твои хороши, – молвил Патап Максимыч. – А насчет себя как располагаешь, коли разгонят вас?

Манефа не отвечала.

– Хоть мы с тобой век бранимся, а угол тебе у брата всегда готов, – сказал Патап Максимыч. – Бери заднюю, и моленная в твоей, значит, будет власти, поколь особого дома на задах тебе не поставлю. Егозу свою привози, Фленушку-то... Еще кого знаешь, человек с пяток прихвати. Авось сыты будете.

– Много благодарна за твои милости, Патапушка, – ответила Манефа. – Только уж я, не поставь во гнев, на этот счет маленько не так распорядилась. В Иргизе и по другим местам, где начальство обители разоряло, всех тамо живших рассылали по тем местам, где по ревизии они приписаны и из тех мест всем им выезд на всю останную жизнь был заказан. Как было там, так, надо полагать, и у нас будет. А ведь я, и Фленушка, и другие кой-кто из обители к нашему городку приписаны. Ходу, значит, нам из него до смерти не будет... Потому и приискала я в городе местечко дворовое и располагаю там строиться... Кожевниковых дом, чать, знаешь, крайний к соляным амбарам, его покупаю, да по соседству еще четыре местечка желательнo прикупить: на имя Фленушки одно, на имя матери Таифы другое, третье Виринеюшке, а четвертое матери Аркадии.

– Значит, ты в городе новый скит расплодишь? – усмехнулся Патап Максимыч.

– Ну, уж ты, батька, и скит!.. Чего не скажет! – тоже улыбнувшись, молвила Манефа. – Сиротское дело, Патапушка, по-сиротски и будем жить... А ты уж на-ка поди: скит!

– Ну, заводись, заводись, стройся, – сказал Патап Максимыч. – Дозволят, чай, скитско-то строенье в город свезти?

– По другим местам дозволяли, – ответила Манефа.

– Стало быть, только место купить да плотникам за работу?

– Только, – подтвердила Манефа.

– Что за места-то просят? – спросил Патап Максимыч.

– Да за все-то пять местов больше тысячи целковых.

– Счетом сказывай.

– Да тысячу двести, – сказала Манефа.

– Получай – вот тебе тысяча двести, – сказал Патап Максимыч, подвигая к сестре деньги. – За Настю только хорошенько молитесь... Это вам от нее, голубушки... Молитесь же!.. Да скорей покупай; места-те, знаю их, хорошие места, земли довольно. А строиться зачнешь – молви. Плотникам я же, ради Настасьи, заплачу... Только старый уговор не забудь: ни единому человеку не смей говорить, что деньги от меня получаешь.

– Помню, родной, помню... – молвила Манефа, пряча деньги в карман.

– Ну, теперь делу шабáш, ступай укладывайся, – сказал Патап Максимыч. – Да смотри у меня за Прасковьей-то в оба, больно-то баловаться ей не давай. Девка тихоня, спать бы ей только, да на то полагаться нельзя – девичий разум, что храмина непокровенна, со всякой стороны ветру место найдется... Девка молодая, кровь-то играет – от греха, значит, на вершок, потому за ней и гляди... В лесах на богомолье пущай побывает, пущай и в Китеж съездит, только чтоб, oprичь стариц, никого с ней не было, из молодцов то есть.

– Василий Борисыч со старицами в леса да на Китеж располагал съездить, – молвила Манефа.

– Этот ничего... – сказал Патап Максимыч. – Василий Борисыч человек иной стати. Его опасаться нечего. Чтобы московских скосырей да казанских хахалей тут не было – вот про что говорю. Они к тебе больно часто наезжают...

– Благодетели... – молвила Манефа.

– То-то благодетели!.. Чтобы духу их не было, пока Прасковья у тебя гостит, – строго сказал Патап Максимыч.

– Будь спокоен, Патапушка, будь спокоен, ухраню, уберегу, – уверяла его Манефа. – Да вот еще что хотела я у тебя спросить... Не прими только за обиду слово мое, а по моему рассуждению, грех бы тебе от Господней-то церкви людей отбивать.

– Это кого? – спросил Патап Максимыч.

– Да хоть бы того же Василья Борисыча. Служит он всему нашему обществу со многим усердием; где какое дело случится, все он да он, всегда его да его куда надо посылают. Сама матушка Пульхерия пишет, что нет у них другого человека ни из старых, ни из молодых... А ты его сманиваешь... Грех чинить обиду Христовой церкви, Патапушка!.. Знаешь ли, к кому церковный-от насильник причитается?..

– К кому? – слегка улыбнувшись, спросил Патап Максимыч.

– А вот к кому – слушай, – молвила Манефа и медленно, немного нараспев прочитала: – «Аще кто хитростию преобидети восхощет церкви Божии: аще грады, или села, или лугове, или озера, или торжища, или одрины, или люди купленные в дома церковные, или виноград, или садове, вся какова суть от церковных притяжаний...»

Манефа приостановилась.

– Что стала? Дочитывай, – молвил Патап Максимыч. Не впервой доходилось ему слушать читаемые сестрой статьи из устава или Стоглава.

– «...первее: еже Святые Троица милости, егда предстанем страшному судищу, да не узрит, – продолжала Манефа, смотря в упор на Патапа Максимыча, – второе же: да отпадет таковой христианския части, яко же Иуда от дванадесятого числа апостол; к сему же и клятву да примет святых и богоносных отец».

– Значит, по-твоему, Василий-от Борисыч – купленный раб? – с усмешкой молвил Патап Максимыч. – Кто ж его покупал?

– У тебя, Патапушка, все смехи да шутики. Без издевок ты ни на час... Ты ему дело, а он шутики да баламутки, – сказала Манефа.

– А ты, спасёна душа, не отлынивай, держи ответ на то, про что спрашивают. Это ведь ты из Стоглава мне вычитала, знаем и мы тоже маненько книжно-то писанье... Там про купленных людей говорится... Сказывай же про ряду: кто купил Василья Борисыча, у кого и какая цена за него была дадена? – продолжал шутить Патап Максимыч.

– В Стоглаве не про одних купленных в церковны дома людей говорится... Тамо сказано: «...и вся какова суть от церковных притяжаний», – сдержанно, но с досадой молвила Манефа.

– Притяжание-то что означает? – спросил Патап Максимыч. – То же, что стяжание, имущество, значит... Так разве он не человек, по-твоему, а имущество, вот как этот стол, аль эта рубаха, аль кони да коровы, не то деньги?.. Крещёный человек может разве притяжением быть?.. Не дело толкуешь, спáсенница.

– С тобой, батька, не сговоришь. У тебя уж нрав такой, – молвила Манефа. – А что, отбивая Василья Борисыча от церкви, чинишь ей обиду – в том сумленья не имей. Дашь ответ пред Господом!.. Увидишь!..

– Ладно, хорошо. Это уж мое дело, – сказал Патап Максимыч. – Авось отмолимся, вас же найму грехи-то замаливать.

– Суеслов! – недовольным голосом сказала Манефа, вставая со стула. – Я уж пойду, надо собираться, ехать пора. Благодарим покорно, – примолвила она, низко поклонясь брату, и с этим словом тихо вышла из боковуши.



Оставшись один, долго взад и вперед ходил Патап Максимыч. «Ишь какое слово молвила, – думал он. – Церковное притяжание!.. Чего только эти келейницы не вздумают!.. Человека к скоту аль к вещи какой бездушной применила!.. А губа не дура – понимает, каков он есть человек... Дорожит... Жаль отпустить... На Москве-то как взбесятся!.. Тото начитают мне!.. И в самом деле, пожалуй, к церковным татям причтут!.. Да ну их совсем!.. Не детей крестить... Что мне Москва?.. Плевать!.. А с Васильем таких делов наделаем, что всем за удивление станет!.. На Горах новы промыслы разведем, Божьему народу хлеб-соль дадим!.. Дóвеку не забудут Патапа Чапурина!.. Какие же бы промысла-то завести?.. Приглядеться надо, говорит, что будет сподручнее... Ну, да это его дело... Выдумывай!.. А умен, пес на него лай!.. Вот сынок-от будет как сынок!.. Не Алешке чета... А что-то он, сердечный?..»

\* \* \*

Жар свалил. По вечерней прохладе двинулись келейные гости из Осиповки. В восьми повозках ехали. В каждой по две, в иной и по три келейницы сидело: всех впереди мать Манефа с Васильем Борисычем, за ними Параша с Фленушкой, потом Марьюшка головщица с уставщицей Аркадией, потом другие матери и белицы, сзади всех мать Лариса с Устиньей. Неразговорчива была с девицами и к тому же сонлива мать Лариса, а Устинья молчала со злости и досады на то, что едет в скит Прасковья Патаповна, что поедет она на богомолье с Васильем Борисычем и что мать Манефа, пожалуй, с ними ее не отпустит.

Зато в двух передних повозках разговоры велись несмолкаемые. Фленушка всю дорогу тараторила, и все больше про Василья Борисыча. Любила поспать Прасковья Патаповна, но теперь всю дорогу глаз не свела – любы показались ей Фленушкины разговоры. И много житейского тут узнала она, много такого, чего прежде и во сне ей не грезилось.

Мать Манефа всю дорогу с Васильем Борисычем пробеседовала. Говорили больше про намеренье Патапа Максимыча взять его к себе в приказчики.

– Что ж, Василий Борисыч? Неужто и в самом деле покинешь ты дело Божие? – спрашивала его Манефа.

– И сам еще не знаю, матушка, – ответил Василий Борисыч. – Силом вырвал он из меня слово... Допрежь того никогда и в ум мне не прихаживало, чтоб торговым делом займаться... Так пристал, так

пристал, что сам не знаю, как согласие дал... Ровно в тумане в ту пору я был.

– Он хоть кого отуманит. Его на то взять, – молвила Манефа. – Любого заговорит, и не хочешь, согласие дашь. Такой уж человек, Господь с ним... Какие ж твои мысли насчет этого, Василий Борисыч? – поправляясь на пуховике, сказала Манефа.

– Не могу еще теперь ничего сказать, – ответил Василий Борисыч. – Шесть недель – время... Успею обдумать.

– Конечно, шесть недель достаточно, – сказала Манефа. – А по теперешним-то твоим мыслям куда больше склоняешься?

– Не знаю, как вам доложить, матушка, – уклончиво отозвался Василий Борисыч. – И Патапа-то Максимыча оскорбить не желательно, потому что человек он добрый, хоть и востёр на язык бывает, да и московских не хочется в досаду ввести – Петра Спиридоныча, Гусевых, Мартыновых... А уж от матушки Пульхерии что достанется, так и вздумать нельзя!..

– Ты людей поминаешь, о Боге-то хоть маленько подумай, – сказала Манефа. – Перед Богом-то право ли поступишь, ежели церковны дела покинешь?.. Вот о чем вспомяни: о душевном своем спасении, а Гусевы да Мартыновы что?.. Сила не в них.

– Очень уж вы меня возвышаете, матушка, паче меры о моих кой-каких церковных послугах заключаете, – после недолгого молчания ответил Василий Борисыч. – На эти дела много людей смышленей да поумней меня найдется.

– Этого не говори. Нам виднее, – сказала Манефа. – За смиренные речи хвалю, а все-таки помяну, что уничижение бывает паче гордости.

– Ох, искушение! – воскликнул Василий Борисыч.

– Вот хоть теперешнюю твою порученность взять. Наперед говорить не стану – принимать нового владыку аль не принимать – в Петров день на собрании соборный ответ дадим тебе... А теперь вот о чем хочу я спросить у тебя, Василий Борисыч, назови ты мне хоть единого человека, который бы лучше тебя мог это дело устроить? Кто лучше тебя может церковный мир водворить, смятения, несогласия утишить, всякого на истинный путь направить? Наперечет знаю всех рогожских уставщиков и других книжных людей тоже знаю. По именам называть не стану, осуждать не годится, а прямо тебе скажу, что вряд ли можно кому такое дело препоручить. Иной книжен и начитан, да слабостью одержим – испивает. Другой разумен и дело церковное, пожалуй, не хуже твоего сумеет обделать, да утроба несытая, за хорошие деньги не токмо церковь, самого Христа продаст... У

иною ветер в голове – ради женской красоты и себя и дело забудет... А иной нравом не годится: либо высокоумен и спесив не в меру, либо крут и на язык невожатан... Правду аль нет говорю, Василий Борисыч?

– Ох, искушение! – молвил он. – Не смущайте вы меня, матушка... Неужто и в самом деле свет клином сошелся, неужто во всех наших обществах только и есть один я пригодный человек? Найдется, матушка, много лучше меня.

– Да где они, где? – с жаром возразила Манефа. – Укажи, назови хоть одного. Нынче, друг мой Василий Борисыч, ревностных-то по бозе людей мало – шатость по народу пошла... Не Богу, мамоне всяк больше служит, не о душе, о кармане больше радуют... Воистину, как древле Израиль в Синайской пустыне – «Сотвориша тельца из злата литого и рекоша: сей есть Бог».

Не отвечал Василий Борисыч на Манефины речи. А она, помолчав, продолжала:

– И что ты станешь делать у Патапа? Промысла на Горах, говорит он, хочу разводить... А какие промысла – сам не знает. Нравом-то он у нас больно упрям, заберет что в голову, дубиной не вышибешь. И что ему больше перечить, то хуже. Вот так и теперь... Вздумал что-то несодеянное, да, не обсудивши дела, ну людей смущать, от Божьего дела их отвлекать... Я, Василий Борисыч, от мира хоша и отреклась, но близких по плоти, грешница, не забываю. Потому, о пользах брата радуя, всякого успеха ему желаю и всегда о том Бога молю... А ежели он ради житейских стяжаний вздумал теперь нужных церкви людей к себе переманивать, тут я ему не споспешница и не молитвенница... Потому и советую тебе и Богом тебя прошу: не прельщайся ты его словами, не ломай совести – пребудь верен делу, тебе данному, не променяй церкви Божией на Патапа... О душе подумай, Василий Борисыч, о вечном спасении.

– Все это, матушка, я очень хорошо и сам могу понимать, – сказал Василий Борисыч. – Чего лучше того, как Господу служить? Но ведь я, матушка, высоко о себе не полагаю и никак не могу вменить в правду ваших обо мне слов, будто я церкви уж так надобен, что без меня и обойтись нельзя... Это вы только по своей доброте говорите... А Патапа Максимыча оскорбить мне тоже нежелательно, хоть и он обо мне тоже уж больно высоко задумал, чего я и не стою... А по душе признаться, откровенно вам доложить, матушка, и боязно мне огорчать-то его... Не оставит он втуне, если поперек его воли пойдешь, а я человек маленький, к тому же несмелый, меня обидеть не то что Патап Максимыч, всякий может.

– Нечего тебе бояться, – возразила Манефа. – Сегодня здесь, завтра

уехал. Где он тебя возьмет?

– Э, матушка! – молвил Василий Борисыч. – У Патапа Максимыча рука долга, на дне моря достанет.

– Да ведь ты не беззаступен! – сказала Манефа. – Гусевы, Мартыновы, Досужевы в обиду не дадут.

– Не дадут! – горько улыбнувшись, молвил Василий Борисыч. – Мало вы знаете их, матушка, московских-то наших тузов!.. Как мы с Жигаревым из Белой-то Криницы приехали, что они тогда?.. Какую заступу оказали?.. Век того не забуду...

– А что такое? – спросила Манефа.

– Да вот что, – начал свой рассказ Василий Борисыч. – В самое то время, как мы ездили за границу, проживал в Москве Белокриницкого монастыря настоятель – отец архимандрит Геронтий. За сбором в Россию был послан, деньги на построенье соборного храма, утварь всякую церковную, облачения, иконы древние собирал от христороушцев для митрополии... Проведали о нем, и велено было взять его, как только из Москвы со всем своим сбором выедет... А мы едем себе обратно, ничего не ведаем и совершенно спокойны... В Туле узнали, что Геронтий под караулом, а по Москве строгие розыски идут насчет переписки с митрополией... Слышим, старообрядцы все в тревоге... Мы, конечно, испугались, думали не ехать в Москву, а наперед написать да спроситься, что делать... Послали письмо, ответу не дождались, а на словах посланный от тех, что нас посылали, сказал: «Делайте, что хотите, – мы вас никуда не посылали, знать вас не знаем, ведать не ведаем». Вот оно каково, матушка!.. Подумали мы, подумали – что делать, что предпринять?.. И положились во всем на Божию волю: что будет, то и будь, – поехали. А подъезжая, в сторону взяли на Кожухово и, не заехавши в Москву, прямо на Рогожское. Сдали миро и другую святыню, что привезли, да в город. К тому придем, к другому, кто нас посылал-то, а они сторонятся, ровно чуму мы с собой завезли. «Нашли, говорят, время, когда воротиться! До вас ли теперь. Не смейте, говорят, и к домам нашим близко подходить, мы вас никогда не знали и никуда не посылали!» Так вот они каковы, заступники-то!.. Вот какова надежда на них, матушка!..

Негодование разлилось по лицу Манефы. Молчала она. Нечего было сказать на слова Василья Борисыча. Он продолжал:

– Когда мирно да тихо, когда от правительства ослáба – высоко тогда они мостятся, рукой не достать, глазом не вскинуть: «Мы-ста да мы-ста!.. Мы общество!.. Первостатейные!..» А чуть понахмурилось – совсем иные станут: подберут брызжи, подожмут хвосты и глядят, что волк на псарне...

И тогда у них только о самих себе забота – их бы только чем не тронули, о другом и заботы нет; все тони, все гори – пальцем не двинут... Эх, матушка, мало вы их знаете!.. Петр апостол трижды от Христа отрекся, а наши-то столпы, наши-то адаманты благочестия раз по тридцати на дню от веры во время невзгод отрекаются... Да и не токмо во время невзгод, завсегда то же делают... Знакомство с господами имеют, жизнь проводят по-ихнему. Спросят господа: «Зачем-де вы, люди разумные, в старой своей вере пребываете?» Отречься нельзя; всяк знает, чего держатся, что ж они делают?.. Смеются над древним-то благочестием, глупостью да бабьими враками его обзывают. «Мы-де потому старой веры держимся, что это нашим торговым делам полезно...» А другой и то молвит: «Давно бы-де оставил я эти глупости, да нельзя, покамест старики живы – дяди там какие али тетки. Наследства-де могут лишить...» Вот как они поговаривают... А ведь это, матушка, сторицею хуже, чем Петровски Христа отречься страха ради иудейска...

– Неужто вправду ты говоришь, Василий Борисыч? – взволнованным голосом спросила Манефа.

– Как перед Богом, матушка, – ответил он. – Что мне? Из-за чего мне клепать на них?.. Мне бы хвалить да защищать их надо; так и делаю везде, а с вами, матушка, я по всей откровенности – душа моя перед вами, как перед Богом, раскрыта. Потому вижу я в вас великую по вере ревность и многие добродетели... Мало теперь, матушка, людей, с кем бы и потужить-то было об этом, с кем бы и поскорбеть о падении благочестия... Вы уж простите меня Христа ради, что я разговорами своими, кажись, вас припечалил.

– О Господи долготерпеливый и многомилостивый! – вздохнула Манефа.

– Вы думаете, матушка, что, устроая церковные эти дела, вот хоть насчет архиерейства, что ли, или насчет другого чего, из ревности по вере они так поступают? – продолжал Василий Борисыч. – Нисколько, матушка, о том они и не думают... Большие деньги изводят, много на себя хлопот принимают из одного только славолубия, из-за одной суетной и тщетной славы. Чтобы, значит, перед людьми повиситься... Не вера им дорога, а хвала и почести. Из-за них только и ревнуют... Ваше же слово молвлю: мамоне служат, златому тельцу поклоняются... Про них и в Писании сказано: «Бог их – чрево».

Скорбные думы о падении благочестия в тех людях, которых жившая в лесах Манефа считала незыблемыми столпами старой веры и крепкими адамантами, до глубины всколебали ее душу... Не говорила она больше

ничего Василью Борисычу насчет поступления его в приказчики к Патапу Максимычу. Ни отговаривала, ни уговаривала. Замолчала она; не заговаривал и Василий Борисыч... Молча доехали в самую полночь до Комарова. «И что это, что это с нами будет? – думала Манефа, выйдя из повозки и взглянув на черневшую в ночном сумраке часовню. – Извне беды, бури и напасти; внутри нестроение, раздоры и крайнее падение веры!.. О Господи!.. Ты единая надежда в печалях и озлоблениях... устрой вся во славу имени своего, устрой, Господи, не человеческим мудрованием, но ими же веси путями».

Потом, прощаясь с Васильем Борисычем у входа в свою келью, тихонько шепнула ему:

– Ты, Василий Борисыч, никому не говори, про что мы с тобой беседовали... Зачем смущать?

– Вполне понимаю, матушка, – отвечал он также шепотом. – Как можно?.. Слава Богу, не маленький.

– То-то, смотри поостерегись, – молвила Манефа и, пожелав гостю спокойного сна, низко ему поклонилась и отправилась в келью...

Было уж поздно, не пожелала игуменья говорить ни с кем из встречных ее стариц. Всех отослала до утра. Хотела ей что-то сказать мать Вириная, но Манефа махнула рукой, примолвив: «После, после». И Вириная покорно пошла в келарню.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда Марья Гавриловна воротилась с Настиных похорон, Таня узнать не могла «своей сударыни». Такая стала она мрачная, такая молчаливая. Передрогло сердце у Тани. «Что за печаль, – она думала, – откуда горе взялось?.. Не по Насте же сокрушаться да тоской убиваться... Иное что запало ей на душу».

Две недели прошло... Грустная, ко всему безучастная Марья Гавриловна вдруг оживилась, захлопотала, и что ни день, то делалась суетливее. За то дело хватится, за другое примется, – ни того, ни другого не доделает. То битый час сидит у окна и молча глядит на дорогу, то из угла в угол метаться начнет, либо без всякой видимой причины порывистыми рыданиями зарыдает. Путного слова не может Таня добиться – попусту гоняет ее Марья Гавриловна туда и сюда, приказывает с нетерпением, отсылает с досадой... Спросит о чем ее Таня – промолчит, ровно не слыхала, либо даст ответ невпопад. По ночам вздыхает, тоскует; станет поутру Таня постель оправлять, думка<sup>[300]</sup> хоть выжми – мокрехонька вся. И каждый день хуже да хуже – тает Марья Гавриловна, ровно свеча на огне. «Лихие люди изурочили!»<sup>[301]</sup> – думает Таня, не зная, чем иным растолковать необычные поступки и странные речи Марьи Гавриловны. – Либо притку<sup>[302]</sup> по ветру на нее пустили, либо след ее из земли вынули». Как тому горю пособить, кому сурочить<sup>[303]</sup> с «сударыни» злую бóлесть, лиходеями напущённую?

Слыхала Таня, что по соседству с Каменным Вражком в деревне Елфимове живет знахарка – тетка Егориха и что пользуется она от урочных<sup>[304]</sup> скорбей, от призора очес<sup>[305]</sup> и от всяких иных, злою ворожбой напускаемых на людей, недугов. Заговор ли отчинить, порчу ли снять, кумоху<sup>[306]</sup> ль отогнать, при резах, порубах кровь остановить, другое ль знахарство, какое понадобится, – все деревенские тетке Егорихе кучатся и всегда от нее пользу видят... Но в честных обителях скита Комаровского знахарку не жаловали. Матери келейницы распускали про Егориху славу нехорошую – она-де с нечистой силой знается, решилась-де креста и молитвы и душу свою самому сатане предала. От кобей и волхвований Егорихи честные старицы святыми молитвами скит ограждали, а белицам строго-настрога наказывали не то что говорить с нею, не глядеть даже на кудесницу, угрожая за ослушание помстою<sup>[307]</sup> от Господа... При каждом

упоминанье имени знахарки, крестясь и на левую сторону отплевываясь, старицы одна речистей другой чудные дела про нее рассказывали... Говорили, что водится Егориха и с лесною, и с водяною, и с полевою нечистью, знаетса со всею силой преисподнею, черным вороном летает под облаки, щукой-рыбою в водах плавает, серой волчицей по полям рыскает... От нее, еретицы, улетают птицы в высь поднебесную, от нее уходит рыба в яры-омуты, от нее звери бегут в трущобы непроходные... Раз, сидя в келарне на посидках у матери Вириinei, уставщица Аркадия при Тане рассказывала, что сама она своими глазами видела, как к Егорихе летун<sup>[308]</sup> прилетал... «Осенью было дело, – говорила она, – только что кочета полночь опели,<sup>[309]</sup> засидевшись у Глафириных, шла я до своей обители и в небе летуна заприметила... Красён, что каленый уголь, не меньше доброго гуся величиной; тихо колыхаясь, плыл он по воздушьям и над самой трубой Егорихиной кельи рассыпался кровяными мелкими искрами...» Кривая мать Измарагда, из обители Глафириных, однажды зашедшая со своими белицами к Манефиным на беседу, с клятвой уверяла, что раз подстерегла Егориху, как она в горшке ненастье стряпала... «Сидя на берегу речки у самого мельничного омута, – рассказывала Измарагда, – колдунья в воду пустые горшки грузила; оттого сряду пять недель дожди лили неуёмные, сиверки дули холодные и в тот год весь хлеб пропал – не воротили на семена...» А еще однажды при Тане же приходила в келарню из обители Рассохиных вечно растрепанная, вечно дрожащая, с камилавкой на боку, мать Меропея... Та клялась всеми угодниками, что видела, как ранним утром в день Благовещенья черти Егориху, ровно шубу в Петровки, проветривали: подняли ведьму на воздуши и долгое время держали вниз головою, срам даже смотреть было. Хотя мать Меропея паче меры любила слезу иерусалимскую,<sup>[310]</sup> однако и черницы и белицы поверили ее рассказам... И мало ль чего не судачили по скитам про елфимовскую знахарку... И молоко-то она из чужих коров выдаивает, и спорынью-то из хлеба выкатывает, и грозы-то и бури нагоняет, и град-от и мóлость<sup>[311]</sup> напускает, и на людей-то порчу посылает... «Правда, иной раз и снимает она болести, – прибавляли матери, – но тут же на иных людей переводит... А на кого озлобится, оборотит того в зверя либо в птицу какую... Егориха молода овдовела и в прежни годы с пареньком любила. Жил он у язвицких ямщиков в работниках, а сам был дальний, с Гор, из-за Кудьмы. Подарила ему Егориха конька да кобылку, и стал он от себя хозяйствовать, на своих лошадаках ямскую гоньбу гонять... И гонял он на тех лошадушках три года с тремя месяцами... Что же вышло? Ездил парень на родном



батюшке да на родной матушке...» Озлобилась за что-то Егориха на родителей своего полубовника да в лошадей их на три года с тремя месяцами и оборотила... «Что стоит такой ведьме над человеком пагубу стрясти, – толковали келейницы, – коли месяц с неба красть умеет, а солнышко круторогим месяцем ставить».

Не то про Егориху по селам и деревням говорили. Там добрая слава ходила про нее, там ее любили и честили великим почетом. Ото всяких болезней она пользовала травами и кореньями, снимала порчу заговорами и все с крестом да молитвою. Опять же за то любили ее, что была она некорыстная – за лечбу ли, за другое ли что подарят ее, возьмет с благодарностью, а сама ни за что на свете не попросит. Знали про нее и то, что много тайной милостыни раздает она, много творит добра потаенного... Слушая, что толкуют скитские матери про добрую знахарку, не в шутку по деревням на них сердитовали. «Поглядели б они, пустобайки чернохвостые, – говорили мужики деревенские, – поглядели б, как наши ребятишки любят Егориху, а в младенце душа ангельская, к бесовской нечисти разве можно ей лнуть?»

Родом будучи дальняя, живучи безысходно в обители, не слыхала Таня, какие речи в миру ведутся про Егориху, а страшных рассказов от обительских стариц вдоволь наслушалась. Келья елфимовской знахарки представлялась ей бесовским вертепом, исполненным всяких страхов и злых чарований, а сама знахарка горбатою, безобразною старухой с кошачьими глазами, свиными клыками и совиным носом. То думалось Тане – сидит Егориха на змеиной коже, варит в кипящем котле разных гадов, машет над ними чародейной ширинкой и кличет на помощь бесов преисподней... То представлялось ей, как Егориха верхом на помеле быстрее стрелы несется по воздуху, как в глухую полночь копает на кладбище могилы, а оттуда в лес бежит и там, ровно кур да гусей, – змей подкожных на кормежку скликает... Каких страхов про знахарку на обительских беседах Таня не наслушалась!.. Каких чудес не насаждали ей болтливые келейницы!..

Думает Таня: «Кроме тетки Егорихи, таких людей, кто б умел притку сурочить, поблизости нет... Как же быть?.. Молвить Марье Гавриловне, позвала бы к себе знахарку?.. Не захочет с ведьмой хороводиться.<sup>[312]</sup> Да и то взять – приведешь ее сюда, после, пожалуй, с нечистью не развяжешься... Ну как приманишь к себе бесовскую силу?.. Ну как летун прилетит да рассыплется по нашим горницам огненными искрами?.. Ну как по ночам вокруг домика демоны зачнут на сходку собираться да треклятые

свои мечтания<sup>[313]</sup> заведут: гóлки и клики, бесстыдные скаканья, неистовые свисты, и топоты ножные, и вой, и гудение, и мерзкое в долони плескание?.. Обороны, Господи, и помилуй от такой напасти... Читают же канонницы за трапезой, что самим угодникам Божиим такие напасти от нечисти бывали, как же нам-то, грешным, от нее устоять?.. Опять же тетке Егорихе в обитель и ходу нет: увидят матери, кочергами да ухватами из скита ее вытурят... Разве самой тихими стопами, по тайности, сходить в Елфимово да попросить тетку Егориху порчу заглазно снять, да страшно и подумать к ней в келью войти... И подступить близко к ведьмину жилью страшно – неравно наступишь на какую-нибудь нашептанную щепку, либо перешагнешь через заговоренную ямку, не то сухой листочек либо соломинку ветром свет с колдуньиной кровли – как раз злая притка накатит на тебя».

От одной мысли идти к Егорихе Тане всю спину мурашками осыпало.

А Марье Гавриловне с каждым днем хуже да хуже. От еды, от питья ее отвадило, от сна отбило, а думка каждую ночь мокрехонька... Беззаветная, горячая любовь к своей «сударыне» не дает Тане покою ни днем, ни ночью. «Перемогу страхи-ужасы, – подумала она, – на себя грех сойму, на свою голову сворочу силу демонскую, а не дам хилеть да болеть моей милой сударыне. Пойду в Елфимово – что будет, то и будь».

Раз до вторых кочетóв не спала Марья Гавриловна, ночь ноченскую провздыхала да проплакала... До зари не смыкала глаз Таня, сидя на корточках у двери спальни горницы и прислушиваясь ко вздохам и рыданиям дорогой своей «сударыни». Растопилось сердце преданной девушки жалостью, и только что забылась дремотой Марья Гавриловна, поспешно надела она на босу ногу выступки,<sup>[314]</sup> вздела на плечи стеганый капотец, повязала голову шерстяной косыночкой и, не переводя духа, бегом побежала в Елфимово.

Манефина обитель на краю Комарова стоит, до Елфимова от нее версты не будет. Скорехонько долетела резвоногая Таня, благо обитель спала еще и никто ее не приметил. Все обошлось ладно, да вот какая беда приключилась: Елфимово деревушка хоть и маленькая, двенадцати дворов в ней не наберется, да не вестно было Тане доподлинно, в каком дворе искать знахарку, под коим окном стукнуться к тетке Егорихе... А на улице ни души – рань глубокая, еще нé звали кочета нá небо солнышка, не чирикали воробьи подзастрешные,<sup>[315]</sup> не мычали под навесами коровушки, а псы сторожковые, зá ночь дóсыта налаявшись, свернулись в клубки и спали на заре под крыльцами... Кого спросить, кому покуриться?.. «Экая я

глупая, экая неразумная, – бранит себя Таня, в раздумье стоя на елфимовской улице, – не спознала наперед, в каком доме искать ее!..»

Тут завидела Таня, что идет к ней навстречу с другого конца деревни высокая, статная женщина, далеко еще не старая, в темно-синем крашенинном сарафане с оловянными пуговками, в ситцевых рукавах, с пестрым бумажным платком на голове и лычным пестером<sup>[316]</sup> за плечами. Бодрым ходом подвигается она к Тане. Поравнявшись, окинула девушку пытливым, но добрым и ласковым взором и с приветной улыбкой ей молвила:

– Путь тебе чистый, красавица!

Таня поклонилась, но ни слова не ответила на привет незнакомой женщины.

– Отколь будешь, девица? – спросила ее та женщина.

– Из Комарова, тетушка, – робко ответила Таня, доверчиво глядя в добрые голубые глаза приветливой незнакомки.

– Что раненько таково?.. Куда идешь-пробираешься? Дело пытаешь аль от дела лытаешь? – спросила она.

– По своему делу, – ответила Таня.

– Девица, вижу, ты хорошая, – молвила та женщина, глядя с любовью на Таню. – Не тебе б по зарям ходить, молоды ребята здесь бессовестные, старые люди обидливые – как раз того наплетут на девичью голову, что после не открестишься, не отмолишься.

– Знахарка у вас на деревне живет, – стыдливо краснея, молвила Таня. – Я было к ней...

– К тетке Егорихе? – улыбнулась встречная женщина.

– Да... – молвила Таня, опуская очи наземь.

– Какое ж дело твое, девонька?.. Ведь я сама и есть знахарка Егориха.

Слова не может вымолвить Таня... Так вот она!.. Какая ж она добрая, приветная да пригожая!.. Доверчиво смотрит Таня в ее правдой и любовью горевшие очи, и любо ей слышать мягкий, нежный, задушевный голос знахарки... Ровно обаяньем каким с первых же слов Егорихи возникло в душе Тани безотчетное к ней доверие, беспричинная любовь и ничем не оборимое влечение.

– Какое ж у тебя до меня дело, красавица? – спросила тетка Егориха.

– Не мое дело, – ответила Таня, – а моей «сударыни». Благодетельница моя, мать родная, может, слыхала ты про купчиху Масляникову, про Марью Гавриловну, что живет в Манефиной обители?..

– Слыхала, девонька, слыхала, – молвила знахарка. – Много доброго про нее слыхала я. Кроткая, сказывают, сердобольная, много горя на долю

ее выпало, а сердце у ней не загрузело... И честно хранит вдовью участь... Все знаю, лебедушка... Николи не видывала в глаза твоей Марьи Гавриловны, а знаю, что вдовица она добрая, хорошая.

– Ангел Божий – вот она какова, тетушка, – с глубоким чувством любви порывисто молвила Таня.

– И ты, по всему вижу, девушка добрая, хорошая, – сказала знахарка. – Хороших людей только хорошие любят.

– Больнехонька она, тетушка, напущено на нее... – начала было Таня.

– Погоди, погоди маленько, красавица, – все по ряду расскажешь, – сказала Егориха, взглянув на разгоравшуюся в небе зарю. – Видишь, солнышко близится, скоро народ подыматься учнет – нехорошо, как тебя на деревне увидят, парни у нас бедовые... Не ровён случай – со стороны кто увидит тебя – нехорошая слава пойдет... Дойдут напрасные речи до Марьи Гавриловны, она оскорбится на тебя... пойдём-ка мы с тобой на всполье, да там походя, спустимся в Каменный Вражек... Сегодня на Тихов день <sup>[317]</sup> тиха, добра Мать-Сыра Земля... И солнышко сегодня тихо течет по небу... И певчие птички с нынешнего дня затихают... Свет тихий святыя славы Господней сегодня сияет!.. От него все травы полным соком наливаются и вплоть до Иванова дня в целебном соку стоят... Нельзя упустить сегодняшней росы утренней. На Тиховой росе – надо травы рвать, корни копать, цветы собирать... Пойдем... Ходючи со мной, порасскажешь про болезнь Марьи Гавриловны.

Сердце замерло у Тани, страсть напала на нее... «Зелье собирать, коренья копать!.. Колдунье помогать!» – шевельнулось у ней на уме, но Егориха ровно прочла, что у нее по мыслям прошло.

– Именем Христовым да именем пресвятой Богородицы те травы собираются... – сказала она. – Сорви травку без имени Божьего – не будет от нее пользы человекам... Ты не верь тому, красавица, что келейницы про Господне создание рассказывают... По-ихнему – и табак трава, не Богом сотворенная, а дьяволом, и дорогой травой <sup>[318]</sup> лечиться не следует потому-де, что, когда Господь по земле ходил, все травы перед ним преклонились, не поклонилась одна дорогая трава... И гулёна, <sup>[319]</sup> по-ихнему, содомское яблоко, и чай от Бога отчаивает, и кофий строит ков на Христа... Много пустого плетут ваши старицы...

Таня молчала, с удивлением слушая речи знахарки.

– Над старыми книгами век свой корпят, – продолжала та, – а не знают, ни что творят, ни что говорят... Верь мне, красавица, нет на сырой земле ни единой былинки, которая бы на пользу человекам не была создана. Во

всякой травке, во всяком цветочке великая милость Господня положена... Исполнена земля дивности его, а любви к человекам у него, света, меры нет... Мы ль не грешим, мы ли злобой да кривдой не живем?.. А он, милосердный, все терпит, все любовью своей покрывает...

Отлегло у Тани от сердца. С простодушной доверчивостью спросила она:

– Так взаправду ты, тетенька, с крестом да с молитвой свое дело творишь?

– А то как же? – ответила знахарка. – Без креста, без молитвы ступить нельзя!.. Когда травы собираешь, корни копаешь – от Господа дары принимаешь... Он сам тут невидимо перед тобой стоит и ангелам велит помогать тебе... Велика тайна в том деле, красавица!.. Тут не суетное и ложное – доброе, полезное творится, – Богу во славу, Божьему народу во здравие, от лютых скорбей во спасение.

– А как же я боялась тебя, тетушка!.. – промолвила Таня.

– Еще б не бояться!.. В скиту живешь, – улыбнулась Егориха. – Поди, там про меня и не знай чего в уши тебе ни напели. С бесами-де водится, с демонами... Так, что ли?

– Что говорить, тетенька!.. Всякого было насаказано, – ответила Таня, оправляя на голове косынку.

– Бог с ними! – незлобно и тихо промолвила знахарка. – А ты вот что знай, вот что ведай, красавица: есть тайны добрые, есть тайны темные. Добрые от Бога, темные от врага идут. Тайную Божию силу ничто отменить не может, а темную силу вражью Господней силой побороть можно... Есть знахари, что темной силой орудуют, и то человеку на вред и погибель... А кого умудрил Господь свою тайную силу познать иль хоть самую малицу силы той, – тому человеку легко отделать <sup>[320]</sup> вред, лихим знахарством напущенный... Темная сила от имени Божия трепещет, от силы его, как дым, исчезает... И кого умудрит Господь уразуметь тайную силу его, тот видит ее и в зорях алых, и в радуге семицветной, и в красном солнышке, и в ясном месяце, и в каждом деревце, в каждой травке, в каждом камешке... Везде, во всем разлита тайная Божия сила...

– И тебя умудрил Господь? – умильно спросила Таня, с любовью глядя в светлые очи знахарки.

– Умудрил, красавица, хоть на малость самую, а умудрил, – с благоговеньем ответила Егориха. – И за тот великий дар денно и ночью благодарю я Создателя... Все-таки иной раз доведется хворому, недужному пользу принести, все-таки иной за тебя Богу помолится... Однако прибавим шагу, туманы вздымаются, роса умывает лицо Матери-Сырой Земли...

Гляди, какие полотенца по небу несутся. Утираться ими Матери-Сырой Земле... Видишь? – прибавила она, указывая на утренние перистые облака, что розовыми полосами с золотистыми краями подернули небесную глубь. – Рассказывай теперь про Марью Гавриловну... что такое приключилось с ней? – молвила Егориха, когда подошли они к Каменному Вражку.

Таня рассказала, как умела. Внимательно слушала ее знахарка и, когда девушка кончила, так заговорила:

– На самое бы надо взглянуть, да ходу мне в вашу обитель нет... Ну – не беда: дам я тебе корешков да травок, зашей ты их в какую ни на есть одежду Марьи Гавриловны, да чтоб она про то не знала, не ведала... Всего бы лучше в рубаху да поближе к вороту... А станешь те травы вшивать, сорок раз «Богородицу» читай. Без того не будет пользы... Ну вот и пришли...

Вынула знахарка косарь из пестера и, обратясь на рдеющий зарею восток, велела Тане стать рядом с собою... Положила не взошедшему еще солнцу три поклона великие да четыре поклона малые и стала одну за другой молитвы читать... Слушает Таня – молитвы все знакомые, церковные: «Достойно», «Верую», «Богородица», «Помилуй мя, Боже». А прочитав те молитвы, подняла знахарка глаза к нему и вполголоса особым напевом стала иную молитву творить... Такой молитвы Таня не слыхивала. То была «вещба» – тайное, крепкое слово.

– «Встану я, раба Божия Наталья, помолясь-благословясь, пойду во чисто поле под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные облаки. Стану я, рабица Божия, во чистом поле на ровном месте, что на том ли на престоле на Господнем... облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу положу венец-солнце красное, подпояшусь светлыми зорями, обтычусь частыми звездами, что острыми стрелами... Небо, ты, небо!.. Ты, небо, видишь!.. Ты, небо, слышишь!.. Праведное солнце! Благослови корни копати, цветы урвати, травы сбирати!.. А на что их сбираю, было б на то пригодно!.. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь».

Потом пала ниц на землю. Тут на иной лад, иным напевом завела она мольбу к Матери-Сырой Земле:

Ох ты, гой еси, Сыра Земля!  
Мати нам еси родная,  
Всех еси ты породила,  
Воспоила, вскормила

И угодьем наделила...  
Для людей – своих детей —  
Зелий еси породила  
И злак всякий напоила,  
Польгой<sup>[321]</sup> беса отгоняти  
И в болезнях помогати, —  
Повели с себя урвати  
Зелий, снадобьев, угодьев  
Ради польги на живот.

И, встав, поклонилась трижды на восток... И со словами: «Господи, благослови» – стала косарем копать коренья и класть их в лычный пестер. И, принимаясь за рытье каждого корня, «Господи, благослови» говорила, а копая – «Богородицу» читала.

Слушает Таня, сама дивуется. «Что за речи такие, что за молитвы судные? – думает она про себя. – А нет в тех молитвах никакой супротивности, ни единого черного слова знахарка не промолвила. Божьим словом зачала, святым амином закончила».

То были вещие слова, с которыми наши предки в мольбах обращались к Небу ходячему, к Солнцу высокому, к Матери-Сырой Земле... Как ни старалась церковность истребить эти остатки языческой обрядности, затмить в народной памяти все, что касалось древней веры, – все-таки много обломков ее доселе хранится в нашем простонародье. Святочные гаданья, коляда, хороводы, свадебные песни, плачи во пленниц, заговоры, заклятья – все это остатки языческой обрядности, а слова, при них употребляемые, – обломки молитв, которыми когда-то молились наши предки своим старорусским Богам. Но ни в каких песнях так полно и так цельно не сохранились слова стародавних молитв, как в таинственных заговорах и заклинаньях. Составляя предмет знания немногих, цельней и сохранней переходили они из рода в род... Русский народ, будучи в делах веры сильно привержен к букве и обряду, сохраняет твердое убеждение, что молитва ли церковная, заговор ли знахарский действует лишь тогда, если в них не опущено и не изменено ни единого слова и если все прочтено или пропето на известный лад исстари установленным напевом. Оттого в заговорах и в заклятьях и дошли до нас сохранно древние молитвы предков, воссылавшиеся ими излюбленным, родным Богам своим. Со временем в иных заговорах появились обращения к христианским святым и к византийским бесам, о которых понятия не имели старорусские



поклонники Грома Гремучего и Матери-Сырой Земли. Святых включали в заговоры, чтоб не смущать совести верующих, а под незнакомыми язычникам бесами народ, по наставлениям церковных пастырей, стал понимать древних Богов своих. Несмотря на такие искажения, слова заговоров доселе веют стариной отдаленной... В них уцелела обрядность, чтимая давними нашими предками...

– Гляди, красавица, – говорила Тане знахарка, копая один корень руками. – Вот сильная трава... Ростом она с локоть, растет кусточком, цветок у ней, вишь, какой багровый, а корень-от, гляди, крест-накрест... Железом этот корень копать не годится, руками надо брать... Это Петров крест, <sup>[322]</sup> охраняет он от нечистой силы... Возьми.

Таня взяла корешок. Знахарка продолжала сбор трав и рытье корней... Тихо и плавно нагибалась она стройный стан свой, наклоняясь к земле... Сорвет ли травку, возьмет ли цветочек, выроет ли корень – тихо и величаво поднимает его кверху и очами, горящими огнем восторга, ясно глядит на алую зарю, разливавшуюся по небосклону. Горят ее щеки, высоко подымается грудь, и вся она дрожит в священном трепете... Высоко подняв руку и потрясая сорванною травой в воздухе, восторженно восклицает:

– Небо, ты видишь!.. Небо, ты слышишь!.. Праведное солнце, благослови!

Набрав несколько трав, знахарка стала подавать их одну за другою Тане... А подавая, так говорила:

– Вот Адамова глава, <sup>[323]</sup> полезна ото всякой болезни, ото всякого зла, отделяет порчу, отгоняет темную силу... Бери... А вот плакун-трава. <sup>[324]</sup> Эта трава всем травам мати. Когда жиды Христа распинали, пречистую кровь его проливали, тогда пресвятая Богородица по сыне слезы ронила на Матушку на Сыру Землю... И от тех слез зарождалась плакун-трава... От плакун-травы бесы и колдуны плачут, смиряет она силу вражью, рушит злое чародейство, сгоняет с человека уроки и притку... Бери... А это чертогон-трава, <sup>[325]</sup> гонит бесов, порчу, колдунами напущенную, сурочивает, всякие болезни целит и девичью зазнобу унимает... Бери... А вот и беленький одолень <sup>[326]</sup> нашелся, – сказала знахарка, ступая в болотце, по которому пестрели ярко-желтые купавки и полевые одолени. – Чуешь, каков благоуханный цвет!.. Одолеет он всякую силу нечистую!.. Мать-Сыра Земля со живой водой тот цветок породили – оттого равна у него сила на водяницу и на поляницу. <sup>[327]</sup> Возьми цветик, красавица... А вот и прострел-трава. <sup>[328]</sup> Когда сатана был еще светлым ангелом и в гордыне своей восстал на Творца-Создателя, Михайло архангел согнал его с неба высокого



на сыру землю. Сатана со своими демонами за прострел-траву спрятался, а Михайло архангел кинул в него громову стрелу. Прострелила стрела ту траву сверху донизу, от того прострела разбежались демоны и с самим сатаной провалились в преисподнюю... И с той самой поры бесовская сила боится прострел-травы и бежит от нее на двенадцать верст. Избавляет прострел-травы от призора очес, от урочных скорбей, от порчи, от притки и ото всякого бесовского наважденья... Бери... А вот и седьмая трава, нам надобная, – это царь-травы.<sup>[329]</sup> Как громовые стрелы небесные гонят темных бесов в преисподнюю, так и царь-травы могучей своей силою далеко прогоняет силу нечистую... Вот и все семь трав, что пригодны к утолению скорби Марьи Гавриловны... Отломи от каждой по кусочку – да не забудь – с молитвой и, перекрестясь, зашей, как я сказывала... Дня через три прибеги сюда на Каменный Вражек сказать, будет ли какая перемена у Марьи Гавриловны. Не будет – ино другим тогда пособлю... А теперь беги скорей, красавица, – солнышко на восходе, келейницы ваши скоро проснутся, увидеть тебя могут, смотницы...<sup>[330]</sup> Ваши матери нанести небыль на девушку в грех не поставят... Беги, девонька, проворней беги!.. Христос с тобою!..

Простясь со знахаркой, бегом пустилась Таня по поляне, направляясь к Манефиной обители... Но когда бежала она мимо часовни, рябая звонариха Катерина колотила уж в свои била и клепалы, сзывая келейниц к заутрене.

Не целят корни и травы Марью Гавриловну, нет ни малого от них облегченья. Не раз бегала Таня на Каменный Вражек, не раз приносила новые снадобья от знахарки и клала их под постель Марьи Гавриловны либо в воду, что приносила умываться ей... Пользы не виделось.

Что ж за недуг такой Марье Гавриловне приключился?.. Что за немощ такая на нее накинута?

Через две недели наказывала она Алексею в Комаров побывать. Прошло четыре, а его нет как нет... Оттого и беспокойные думы с утра до ночи, оттого и суетня хлопотливая, оттого и думка каждое утро мокра.

Не огни горят горячие, не котлы кипят кипучие, горит-кипит победное сердце молодой вдовы... От взоров палючих, от сладкого голоса, ото всей красоты молодецкой распалились у ней ум и сердце, ясные очи, белое тело и горячая кровь... Досыта бы на милого наглядеться, досыта бы на желанного насмотреться!.. Обнять бы его белыми руками, прижать бы его к горячему сердцу, растопить бы алые уста жарким поцелуем!..

Про Евграфа помину нет... Ровно она его не знавала, ровно его на свете никогда не бывало...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Натерпелась Марья Гавриловна. До смерти истомилось бедное сердце ее в безотрадной неизвестности, в мрачных тяжелых думах и в тревогах, день и ночь мутивших ее душу. Ровно в тесном затворе посхимленная старица, сидит она безвыходно в уютном своем домике. В часовню даже по праздникам перестала ходить, людей не видит и знать не хочет, что за порогом ее домика делается. Заходили было к ней иной раз Фленушка с Марьюшкой время скоротать, но безответною оставалась на веселые разговоры их Марья Гавриловна, безучастно слушала келейное их празднословье.

– Заспесивилась наша краля, зачванилась, – топнув с досады ногой, молвила Фленушка, выходя однажды с Марьюшкой из домика Марьи Гавриловны. – Битый час сидели у ней, хоть бы единое словечко выронила... В торги, слышь, пускается, каменны палаты закладывать собирается, куда с нашей сестрой ей водиться!.. А мне наплевать – ноги моей не будет у грубиянки; и ты не ходи к ней, Марьюшка.

Не раз заглядывала к Марье Гавриловне и матушка Манефа. Но и с ней не вязалась беседа у молодой вдовы. Сколько раз искушенная житейскими опытами игуменья пыталась вызвать ее на искреннее, откровенное признание в сокровенных думах и затаенных чувствах, всегда холодна, всегда безответна оставалась Марья Гавриловна. Сердечная скорбь ее тайной повита и семью печатями запечатана.

«Мир обуял, – решила Манефа. – Прелесть тщетного жития смущает бедную, мятежные мысли обуревают душу ее».

Но какие мысли, о ком, о чем, – не могла придумать игуменья.

И с Таней, душой и телом преданной своей «сударыне», и с той ни слова Марья Гавриловна... Одна переживает печали, одна переносит горе сердечное.

Где прежняя ласка приветная, куда кануло беззаботное веселье и тихий, невозмутимый покой души, отдохнувшей от бывшего горя, забывшей старые сердечные раны? Все как ветром свеяло.

Перед отъездом Манефы на сорочины в Осиповку Марья Гавриловна получила от брата письмо. Уведомлял он о покупке «Соболя», писал, что надо как можно скорее принимать его да, набрав клади, отправлять к Верху. Но про того, кого ради куплен тот пароход, ни слуху ни духу: Алексей словно в воду канул. Обещал побывать в Комарове через две недели, –

пятая в исходе, а его нет как нет... Стороной узнала Марья Гавриловна, что отошел от Патапа Максимыча и уехал в город, но воротился ль оттуда или дальше куда отправился, разведать не могла.

Сидит под окном да тоскует, недвижно сидит, устремив слезные очи на черную полосу леса, и слышит разговор какого-то проезжего крестьянина с обительским конюхом Дементьем о дороге в Городец, на какие деревни надобно ехать. Дементий в числе деревушек помянул Поромово.

«Чего еще лучше? – подумала Марья Гавриловна. – Авось воротился из города, авось у отца теперь с матерью... Накажу тому мужичку побывать в Поромовой, разузнать о нем». Вздумано – сделано. Наказала Марья Гавриловна проезжему крестьянину, непременно бы повидал он Алексея Лохматого, сказал бы ему, что место на пароходе для него готово, чтоб, не медля ни минуты, ехал в Комаров. Два рубля серебром обещала, если тот крестьянин на возвратном пути ей ответ привезет. Писать хотела, но сил не достало и стыдно как-то было...

Дён через пять посланный воротился за сулеными рублями. Сказал, что Алексея в Поромовой нет, поехал-де в город, а где теперь, не знают. Что наказывала, все сказал старику Лохматому, а тот обещал, как только воротится сын, тотчас его в Комаров прислать.

Пуще прежнего налегла тоска на победное сердце молодой вдовы.

Еще прошло с неделю времени. Собралась мать Манефа в Осиповку на сорочины. Накануне отъезда вечером зашла она посидеть к Марье Гавриловне.

– Ну что, сударыня, облегчило ли вас хоть маленько? – спрашивала Манефа, садясь на диван возле Марьи Гавриловны.

– Плохо мое здоровье, матушка, – отвечала вдовушка, облокотясь на стол и медленно склоняя на руку бледное лицо свое.

– Надивиться не могу я вашей болезни, сударыня, – молвила Манефа. – Кажись, и лежать не лежите, и боли, как сказываете, нет никакой, а ровно свечка вы таете; жалость даже смотреть, на себя не похожи стали...

– Болезнь не красит человека, – отозвалась Марья Гавриловна.

– Ин за лекарем бы послали, сударыня, а то что же хорошего этак маяться, – сказала игуменья.

– Послать за ним не пошлю, – ответила Марья Гавриловна, – а не будет легче, сама поеду в город лечиться. Мне же и по делам надо туда. Брат пишет – в Казани у Молявиных пароход мне купил. Теперь он уж к нашему городу выбежал, – принимать надо.

Нахмурилась Манефа.

– Не дешево, поди, заплатили? – холодно спросила она.

– Пятьдесят тысяч, – сказала Марья Гавриловна.

– Пятьдесят тысяч! Не малые деньги, не малые... Много добра на такие деньги можно сделать, – проговорила Манефа.

– Пароход ходкий, совсем еще новенький, только четвертую воду бегают. Тех денег стоит, – молвила Марья Гавриловна.

– Суета!.. – строго, но сдержанно сказала Манефа и, немного подумав, прибавила: – Стало быть, вы покинете, сударыня, нашу святую обитель? В город жить переедете?

– Ни на что еще я не решилась, матушка, сама еще не знаю, что и как будет... Известно дело, хозяйский глаз тут надобится. Рано ли, поздно ли, а придется к пристани поближе на житье переехать. Ну, да это еще не скоро. Не сразу устроишься. Домик надо в городе купить, а прежде всего сыскать хорошего приказчика, – говорила Марья Гавриловна.

– Не нашли еще? – спросила Манефа.

– Нет еще, – слегка вздохнув, ответила Марья Гавриловна.

– Скоро ль к такому делу хорошего человека приищешь! – молвила Манефа. – Тут надо человека верного, неизменного, чтоб был все едино, что сама хозяйка. Такого не вдруг найдешь.

– Надолго ли, матушка, отправляетесь? – спросила Марья Гавриловна, видимо желая свести разговор на что-нибудь другое.

– Прежде пяти дён вряд ли воротимся, – ответила Манефа. – Патап Максимыч скоро гостей отпускать не любит... В понедельник, надо думать, будем домой не то во вторник.

– Кланяйтесь Патапу Максимычу, – молвила Марья Гавриловна. – Скажите: всей бы душой рада была у него побывать, да вот здоровье-то мое какое. Аксинье Захаровне поклонитесь, матушка, Параше...

– Будем кланяться, – чинно, с легким поклоном, вполголоса ответила Манефа. – Чем бы, чем бы, кажется, вам не житье здесь, сударыня Марья Гавриловна, – прибавила она, вставая с дивана и быстрым взглядом окидывая комнату. – И тихо, и уютно, и всякое довольство во всем. Суеты восхотели, житейских треволнений!.. Не пришлось бы в миру вам успокаиваться!.. Не пришлось бы слезно поминать про здешнее тихое пристанище, под кровом святых обителей. Лукав ведь мир-от – прельстит человека, заманит в свои сети, а потом и посмеется ему, поругается...

– Матушка! Сами же вы говорили, что обительская жизнь стала непрочна. По скорости, говорите, скиты совсем порешат.

– Если общий жребий Господнею волей свершится, рядом бы с нами в уездном городке построились, – сказала Манефа. – И тогда бы у нас было

все по-прежнему, никакой бы перемены не случилось. Намедни и сами вы, сударыня, так говорили, а теперь вот уж возле пристани поселиться возжелали, в губернском городе.

– Дело-то, матушка, такое вышло, что поневоле должна я поблизости от пристани жить, – отозвалась Марья Гавриловна. – Сами знаете, что издали за хозяйством нельзя наблюдать, каких хороших людей ни найми.

– Конечно, – сдержанным голосом сказала Манефа.

– Заглазное хозяйство – не хозяйство, – продолжала Марья Гавриловна. – Что лучше хозяйского глаза?.. Говорится же: «Свой глаз – алмаз, а чужой – стекло».

– Что сказать супротив этого?.. Что сказать... – как бы нехотя молвила игуменья и, холодно простившись с Марьей Гавриловной, медленными шагами направилась к своей келье.

\* \* \*

Уехала Манефа в Осиповку, и в обители стало тихо и пусто. Не суетятся матери вокруг игуменьиной «стаи» в ожиданье Манефиных распоряжков по хозяйству, не раздаются веселых криков Фленушки; все почти молодые белицы на сорочины уехали, остались пожилые старицы да с утра до ночи копавшиеся в огороде чернорабочие трудницы. Хоть Марье Гавриловне давно уже постыла обитель и на думках ее было не обительское, однако ж и ей стало скучней и грустней против прежнего, когда вокруг нее все затихло.

Склонялся день к вечеру; красным шаром стояло солнце над окраиной неба, обрамленной черной полосой лесов; улеглась пыль, в воздухе засвежело, со всех сторон понеслось благоуханье цветов и смолистый запах ели, пихты и можжевельника; стихло щебетанье птичек, и звончей стал доноситься из отдаленья говор людей, возвращавшихся с полевых работ.

Сидя у раскрытого окна, Марья Гавриловна чутким ухом прислушивается к отдаленному шуму подъезжавшей к Каменному Вражку тележки... Не деревенский стук... По сухой дороге резко постукивают окованные толстыми шинами колеса, ровно и плавно шумят железные оси, колокольчика нет. Значит, не начальство, не крестьянин... Захолонуло сердце у Марьи Гавриловны при мысли – не Алексей ли это наконец... Но вот шум ближе и ближе... Подъезжают прямо к Манефиной обители... Видит Марья Гавриловна, как пара саврасок подкатила тележку к конному двору, как остановилась она у работницкой «стаи»... Слезает с тележки

кто-то высокий, из себя такой статный... При надвинувшихся на небо сумерках не может разглядеть Марья Гавриловна в лицо приезжего, но сердце ей подсказывает, что это гость давно жданный, давно желанный... Алым бархатом подернулись бледные щеки молодой вдовы, и ровно скошенная травка поникла она на месте. Встать не может, пальцем двинуть нет силы.

А ровная, твердая поступь ближе и ближе звучит в вечерней тиши... Ничего не видит Марья Гавриловна, в глазах разостлался зеленый туман, словно с угару. Только и слышит мерные шаги, и каждый шаг ровно кипятком обдаёт её наболевшее сердце.

Таня к ней подошла.

– Какой-то человек вас спрашивает, – сказала она.

– Что? – едва могла промолвить Марья Гавриловна.

– Тот самый, что в Радуницу приезжал, – ответила Таня, удивленными глазами глядя на свою «сударыню».

Ни словечка Марья Гавриловна.

– Позвать аль сказать, в другое бы время побывал? – не слыша отзыва Марьи Гавриловны, молвила Таня.

– Позвать?.. Да, позови... Нет, нет, постой, погоди, Таня, – говорила Марья Гавриловна. А сама не понимала, что говорила.

Широко раскрытыми глазами глядела на нее изумленная Таня. Сообразить не могла, что за новое диво содеялось над ее «сударыней»...

– А не то... поди, Таня... позови сюда... – дрожащим от волнения голосом сказала Марья Гавриловна. – Да ставь самовар поскорей...

И когда Таня, думчиво склонив голову, вышла из горницы, Марья Гавриловна бессознательно повернулась к зеркалу и наскоро поправила волосы и шелковый голубой платок, накинутый на голову.

Медленно, но широко распахнулась дверь, и в горницу вошел Алексей. Чин чин, прежде всего сотворил он уставные поклоны перед иконами, а потом, молодецки встряхнув кудрями, степенно отдал поклон как маков цвет зардевшейся хозяйке. Сдержанно ответила она ему малым поклоном.

– Посылали за мной? – тихо проговорил он, вертя в руках шляпу и опустив глаза в землю.

– Ждала я вас... долго ждала... дожидаться не могла... Теперь пароход...

И не могла закончить трепетно перерывчатой речи.

Ступил Алексей шаг, ступил другой, приближаясь к Марье Гавриловне... Вскинул черными, палючими очами на дрожавшую от сердечной истомы красавицу... И она взглянула... Не светлые алмазы

самоцветные, а крупные слезинки нежданной радости и неудержимой страсти засверкали под темными ее ресницами... Взоры встретились...

Ни слова, ни восклицанья...

Не гибкая повилика<sup>[331]</sup> бело-розовые цветики вокруг зеленого дуба обвивает, не хмелинушка вокруг тычиночки вьется – обвивает белоснежными руками красавица желанного гостя... И млеет и дрожит она в сладкой истоме.

Долго сидели вдвоем, до вторых петухов сидели. Времени много, мало разговора. Друг на дружку любят, друг на дружку наглядеться не могут.

Багряцом заалел восточный закрой неба: тут только опомнились. Пора расставаться.

И когда на прощанье горячими устами прильнул Алексей к сиявшему счастьем лицу Марьи Гавриловны, он тихо промолвил ей:

– Не тайком бы, не крадучись целовать мне тебя, моя милая, дорогая моя! Не зазорно бы при всем народе обнять тебя...

– Как же это сделать? – едва слышно проговорила Марья Гавриловна, поникая головой в объятья Алексея.

– Жениться, – молвил он. Хотел еще что-то сказать, но не может сойти на уста крылатое слово.

Крепче прежнего прижалась к нему Марья Гавриловна, тише прежнего она промолвила:

– Женимся!..

Ой, леса, лесочки, хмелевые ночки!.. Видишь ты, синее звездистое небо, как Яр-Хмель-молодец по Матушке-Сырой Земле гуляет, на совет да на любовь молодых людей сближает?.. Видишь ты, небо, все ты слышишь, все: и страстный шепот, и тайные, млеющие речи... Щедро, ничего не жалея, жизнью и счастьем льешь ты на землю, жизнью-любовью ты льешь... Праведное солнце!.. Ты корень, источник жизни, взойди, взгляни, благослови!..

И вырезался из-за черной, как бы оцетинившейся, лесной окраины золотистый луч солнышка и облил ярким светом, как снег, белое платье красавицы и заиграл переливчатыми цветами на синем кафтане и шелковой алой рубахе Алексея.

– Прощай!

– Прощай!

А на пороге еще обнялись. И долго озаряло их высоко поднявшееся из-за леса солнце.

На другой день Марья Гавриловна решила как можно скорей перебраться с Алексеем на житье в город. Покаместь он будет вести хозяйство на «Соболе», Марья Гавриловна станет готовить теплое гнездышко для житья с возлюбленным, купит домик, устроит его как следует, а там, по осени, когда и дом будет готов, и пароходство кончится – веселым пирком да за свадебку... Уехать из Комарова чем скорей, тем лучше... Благо матери Манефы нет в обители, а то советам, разговорам не было б ни конца ни края. Сбить Марью Гавриловну, отговорить ее от задуманной перемены в жизни игуменья не успела бы, но без неприятностей, без неудовольствий дело не обошлось бы. А Марья Гавриловна не забывала добра, что сделала ей Манефа во дни житейских невзгод, твердо помнила, что старушка внесла мир в истерзанную ее душу, умела заживить сердечные ее раны. Нет, лучше, не в пример лучше будет, если, не дождавшись матушкина возврата, покинет она обитель. После, когда дело будет кончено, повидается она с Манефой, все расскажет ей, все объяснит и, конечно, помирится с доброю и горячо любимую старицей.

Тотчас же поехал Алексей в соседний городок нанимать извозчиков для поездки Марьи Гавриловны и для вывоза из скита ее пожитков. Только что укатил он на своих саврасках, Марья Гавриловна, веселая, игривая, ровно из мертвых вставшая, велела Тане запереть изнутри домик и, пылая радостью, сказала ей:

– Давай, Таня, укладываться; завтра мы едем.

С места не могла двинуться Таня, слова промолвить не могла: так удивили ее неожиданные речи Марьи Гавриловны.

– В городе станем жить, в большом каменном доме, – говорила ей Марья Гавриловна, принимаясь за укладыванье. – Весело будет нам, Таня, народу там много, будем кататься в коляске на хороших лошадях, по реке на пароходе поедem кататься... Видала ль ты пароходы-то?.. Да нет, где тебе видать!.. Вот увидишь, Таня, у меня теперь свой пароход и свой дом будет. Весело будем жить, Танюшка, весело.

– А как же матушка-то? – молвила Таня.

– Что ж матушка!.. Матушке своя жизнь, нам другая... Не век же в кельях жить, этак не увидишь, как и молодость пройдет... Пропустить ее не долго, а в другой раз молода не будешь... Пожить хочется, Таня, пожить!..

И ни с того ни с сего бросилась целовать ее. Смеется, как дитя,



веселится, а у самой слезы на глазах. Надивиться не может Таня внезапной перемене своей «сударыни».

– Видела?.. Это жених мой, Таня!.. Только ты покаместь об этом никому не рассказывай... никому, никому на свете... Придет Покров – повенчаемся, в городе будем жить. Ты у меня заместо дочери будешь, жениха тебе сыщем славного. Наградим тебя, всем наградим... Дом тебе выстрою, обзаведенье все... Барыней заживешь, в шелках-бархатах станешь ходить... во всяком довольстве будешь жить... Смотри же, не рассказывай, никому не рассказывай!

Ровно красные дни девичьей жизни воротились к Марье Гавриловне. Как, бывало, в Казани в родительском садике вольной пташкой весело порхала она, распевая звонко любимые песенки, так и теперь, ожившая для счастья, расцветшая для новой жизни, резвится и веселится Марья Гавриловна. Десяти лет как не бывало.

Все поклали в сундуки – и одежду, и посуду, и другие вещи: мебель только да цветы остались. Уложившись, успокоилась Марья Гавриловна, и не то утомилась она непривычною работою, не то на душу темное облачко налетело, вдруг опустилась и взгрустнула.

Заботно и нежно спросила у ней Таня, с чего вдруг она припечалилась.

– Дорогая ты моя Тánюшка, – молвила на то Марья Гавриловна. – Жизнь пережить – не поле перейти; счастье с несчастьем, что ведро с ненастьем, живут переменчиво. Над судьбою своею призадумалась я: зачастую ведь случается, Танюшка, что где чается радостно, там встретится горестно... Спознала я, будучи замужем, какая есть на свете жизнь – горегорькая... Как знать, что впереди?.. Как судьбу узнать?

– Можно узнать, – живо подхватила Таня. – Рядом со скитом живет такая женщина...

И рассказала она Марье Гавриловне про елфимовскую знахарку, про добрую тетку Егориху, нелюбимую келейницами, а всеми окольными крестьянами почитаемую благодетельницей.

Суеверный страх объял душу Марьи Гавриловны, когда узнала она, что Таня, сведя знакомство с колдуньей, клала ей под подушку зелья и давала умываться водой с волшебных корней, нарытых знахаркой.

– Ах, Таня, Таня, что ты наделала!.. – упрекала она любимицу, закрывая лицо руками.

– Да вы не бойтесь, сударыня Марья Гавриловна, – отвечала ей Таня. – Она ведь предобрая и все с молитвой делает. Шагу без молитвы не ступит. Корни роет – «Богородицу» читает, травы собирает – «Помилуй мя, Боже». И все, все по-Божественному, вражьего нет тут нисколько... Со злобы

плетут на нее келейницы; обойдите деревни, любого спросите, всяк скажет, что за елфимовскую Наталью денно и ночью все Бога молят. Много пользы народу она делает. А уж какая разумная, какая добрая, и рассказать того невозможно.

Много рассказывала Таня про елфимовскую знахарку, так хвалила кротость ее и доброхотство, с каким великую пользу чинит она людям безо всякой корысти. Суеверный страх покинул Марью Гавриловну, захотелось ей узнать от Егорихи, какая будет ей судьба в новом замужестве. Но в скит знахарку позвать невозможно; келейницы и близко не подпустят. Надо самой идти. Таня взялась устроить свиданье с Егорихой.

На другой день по отъезде Алексея, перед самыми вечернями, вышла Марья Гавриловна с Таней на Каменный Вражек. Оттуда резвоногая девушка летом слетала в Елфимово и по скорости воротилась оттуда с Егорихой.

– Здравствуй, Марья Гавриловна! Здравствуй, сердобольная вдовушка! – с низким поклоном весело молвила знахарка, подходя к сидевшей на луговине Марье Гавриловне. – Много про тебя наслышана, а Бог привел напоследях только с тобой видеться.

– Душой рада с тобой видеться, Наталья, извини, что не знаю, как величать по отчеству. Не привел Господь прежде ознакомиться, но с хорошим человеком знакомство николи не поздно свести.

– На ласковом слове спасибо, сударыня, – снова кланяясь Марье Гавриловне, молвила тетка Егориха.

Таня была девочка догадливая, отходила в сторонку и пускалась вдоль Вражка цветочки рвать.

Разговорилась Марья Гавриловна со знахаркой... И не может надивиться, отчего это с первого взгляда почувствовала к ней такое доверие, какого ни к кому до того не имела, такую любовь задушевную, такую близость, какой ни к кому, кроме одного, никогда не чувствовала... Ровно мать родная воротилась с того света и воркует теперь над дочерней головкой, познавшей много горя, мало радостей. Всей душой, всем сердцем открылась знахарке Марья Гавриловна и услышала не сухие поученья, как от матери Манефы, а слова живого участия, освежившие взволнованную душу молодой вдовы. Все, все рассказала ей про себя Марья Гавриловна.

– Какова-то будет судьба моя?.. Чего ожидать мне в новом замужестве? – склонив голову, спросила она.

– Чего ж ты желаешь? Чтоб я твою судьбу рассказала? Чтоб тебе как на ладонке выложила все, что впереди тебя ждет? – кротко улыбаясь, спросила у Марьи Гавриловны знахарка.

– Да, тетушка, да... Не утай, что ведаешь... Скажи, будет ли доля моя счастлива? – отвечала вдова.

– Полно, сударыня. Полно, Марья Гавриловна. Кроме Бога, будущего не знает никто, – величаво подняв голову, сказала Егориха. – Всякий вещун, коего б духа пророчество его ни было, – ложь есть перед людьми и перед Богом. Скажет ли кто тебе, что чарами или тайными вещими словами может узнать судьбу человека, – не верь... Скажет ли, что по звездам узнает ее, аль по руке, али по сну, аль по иному чему, – не верь... Скажут тебе про святошу какого-либо, про юрода, что знает он будущее, – не верь... Те же басни, что от колдуна, что от святоши. Будущего знать людям не дано. И в том Божия любовь к людям, великая премудрость его. Что бы за жизнь человеку была, если б он знал наперед всю свою жизнь до гробовой доски? Не было б тогда на земле ни надежды, ни радостей, жил бы человек как скотина бессловесная.

– Другим открываешь же ты, что будет с ними, – молвила Марья Гавриловна.

– Никому я никогда не пророчила, – кротко ответила знахарка. – Советы даю, пророчицей не бывала. Правда, простому человеку мало добрый совет подать, надо, чтоб он его исполнял как следует... Тут иной раз приходится и наговорить, и нашептать, и пригрозить неведомою силой, если он не исполнит совета. Что станешь делать? Народ темный, пока темными еще путями надо вести его.

– Что же мне скажешь, какой мне совет дашь? – спросила Марья Гавриловна.

– В смирении стяжи душу свою, – отвечала елфимовская знахарка. – Смирись передо всем и перед всеми. В том смирение счастье человека. Умей понять мой совет да хорошенько его исполнить. Делай добро, у тебя на то достатков довольно: бедного, сирого не забудь, голодного накорми, о больном попечалуйся. И делай все, не вознось, а смирясь, не в свое превозношение, а во славу имени Божия. А выпадет доля терпеть – носи золото – не изнашивай, терпи горяшко – не сказывай... Вот и все, больше сказать тебе нечего... Вот разве что еще: какой бы тебе грешный человек в жизни ни встретился, не суди о грехах его, не разузнавай об них, а смирись и в смирении думай, что нет на земле человека грешнее тебя. Грех, что болезнь, иной раз и против воли в человека входит; грехи осуждать все едино, что над болезнями смеяться. Только злomu человеку сродно чужие грехи осуждать, сам Господь не осуждает их, а прощает... Осуждает грехи только дьявол и все ему послужившие.

Долго беседовала Марья Гавриловна, сидя в Каменном Вражке с

елфимовской знахаркой. И так было ясно и отрадно на душе у ней; ввек бы, кажется, не рассталась она с теткой Егорихой.

И когда, прощаясь, Марья Гавриловна денег хотела ей дать, та не взяла.

– По милости Господней всем я довольна, – сказала она. – Малое, слава Богу, есть, большего не надо. А вот что: поедешь ты завтра через деревню Поляну, спроси там Артемья Силантьева, изба с самого краю на выезде... Третьего дня коровенку свели у него, четверо ребятишек мал мала меньше – пить-есть хотят... Без коровки голодают, а новую купить у Артемья недостатков нет... Помоги бедным людям Христа ради, сударыня.

И низко-пренизко поклонилась колдунья Марье Гавриловне.

И легко и светло было на душе Марьи Гавриловны, когда под пытливыми, но невидимыми ей взорами обительских матерей и белиц возвращалась она из Каменного Вражка в уютный свой домик. Миром и радостной надеждой сияла она и много жалела, что поздно узнала елфимовскую знахарку. Под яркими лучами заходившего солнца мрачна и печальна казалась ей обитель Манефина.

На другой день воротился Алексей, и Марья Гавриловна оставила Комаров без тяжких дум, без сожалений. Когда выехала она со своим возлюбленным из скита, ей вздохнулось легко и показалось, будто из какого-то глухого подземелья, из какой-то темной темницы свободною и счастливою выпорхнула она на ясный, радостный мир Божий.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Если девичье сердце затрепещет первою любовью в ранней молодости, чистую душу ее она возведет до блаженства... Счастьем, радостью она засияет, светлым, прекрасным вольный свет ей покажется: и солнце будто ярче горит, и небо ясней, лучезарней, и воздух теплей, благовонней, и цветы краше цветут, и вольные птички поют веселее, и все люди кажутся добрее и лучше... Бегать бы да беззаботно резвиться, а если бы крылья – лететь бы, лететь в синее небо, подняться б выше облака ходячего, выше тучи гремучей, к солнышку красному, к месяцу ясному, к частым звездочкам рассыпчатым... Та святая любовь ангелом Божиим израя приносится, и, глядя на нее, радуются блаженные жители неба... И такую любовь испытала Марья Гавриловна, когда просватана была за Евграфа.

Иного рода бывает любовь... Проведет женщина молодые годы в напрасных ожиданиях, сердце у ней очерствеет, и станут ему недоступны чувства блаженства первой любви... Если ж она полюбит в ту пору такого человека, что хоть на два либо на три года моложе ее, тогда любовь для нее не радость сердечная, вместо любви жгучий пламень по телу разливается... И тот пламень не светлое чувство души, но буйная страсть, неудержно влекущая женщину в объятия того, кого она полюбила... И отдается она той страсти безрассудно и беззаветно... Ни сожаленья о минувшем, ни опасений за будущее!.. Ум засыпает, думы туманами кроются, на очи ровно завеса спускается, вся жизнь замирает, остается живым одно обуянное пылом страстности сердце. Сердцем той женщине видится, сердцем ей слышится, постылет ей вольный свет, ни на что б она, кроме милого, не смотрела, ничего бы она, кроме любовных его речей, не слыхала... Со всякою срастью душевная скорбь неразлучна... И такую страсть, такую скорбь познала Марья Гавриловна, полюбив Алексея.

Не дай ей Бог познать третью любовь. Бывает, что женщина на переходе от зрелого возраста к старости полюбит молодого. Тогда закипает в ней страсть безумная, нет на свете ничего мучительней, ничего неистовей страсти той... Не сердечная тоска идет с ней об руку, а лютая ненависть, черная злоба ко всему на свете, особливо к красивым и молодым женщинам... Говорят: первая любовь от Бога, другая от людей, а третья от ангела, что с рожками да с хвостиками пишут.

И в девицах, и замужем, и в Манефиной обители Марья Гавриловна

жила затворницей. Посторонних людей, особенно мужчин, она никогда почти не видала. Только и встречала кой-кого у брата в Казани, у Патапа Максимыча в Осиповке да у матушки Манефы, когда приезжали к ней богатые, именитые «благодетели». Заехав в шумный незнакомый город, она как в лесу очутилась... И напала на нее робость, и стало ей стыдно на чужих людей смотреть... На кого ни взглянет, все ей кажется, что смеются над нею: «Вот, мол, вдовушка так вдовушка, подцепила молодчика, да и живет с ним без стыда, без совести...» Заговорят ли погромче в соседних комнатах гостиницы, раздастся ли там веселый смех, все ей думается, что про нее пересуды идут, над нею люди смеются... Измучилась...

Сказала Алексею, что в гостинице она жить не станет, завтра же переедет на квартиру и останется в ней, пока не приищется дом для покупки... Алексей спорить не стал.

На другой день нанял он особый домик, на краю города, в глухом, немощем и поросшем травой переулке... На то было непременно желание Марьи Гавриловны... Переезжая, потребовала она, чтоб Алексей оставался в гостинице и навещал ее только днем... Поморщился тот, но спорить не стал.

Домик, где поселилась Марья Гавриловна, был построен на венце высокой, стоймя над Волгой стоящей горе. С трех сторон окружает его садик, вишеньем глухо заросший, из окон видны и могучая река и пестрая даль Заволжья... По синим струям взад и вперед птицами летят пароходы, оставляя за собой полосы черного дыма вверху, белые ленты пены кипучей внизу... Не стоя белоснежных лебедей плавно несется по водным зыбям, широко раскинув свои полотняные крылья, – стройные расшивы по Волге бегут и еле двигаются черепашьям ходом неуклюжие коноводки, таща за собой целые города огромных ладей... А там, за темно-синими струями реки, за желтыми песками мелей и лугового берега, привольно раскинулась необозримая даль, крытая зелеными пожнями, сверкающими на солнце озерами, заводами, полóями<sup>[332]</sup> и черными рядами больших двужилых бревенчатых изб в многочисленных заволжских деревушках... А под самым закроем небосклона синее и будто трепещет в сухом тумане полоса лесов, в глуши которых Марья Гавриловна отдохнула от великой душевной скорби и зажила сердечные раны под тихим, безмятежным покровом Манефы.

По целым часам безмолвно, недвижно стоит у окна Марья Гавриловна, вперив грустные очи в заречную даль... Ничего тогда не слышит она, ничего не понимает, что ей говорят, нередко на темных ресницах искрятся тайные, тихие слезы... О чем же те думы, о чем же те слезы?.. Жалеет ли

она покинутую пристань, тоскует ли по матерям Каменного Вражка, или мутится душа ее черными думами при мысли, что ожидает ее в неизвестном будущем?.. Нет...

Видна из окон другая река многоводная. Ровно исполинской щетиной, устье ее покрыто мачтами разнovidных судов, тесно расставленных от одного берега до другого. Льет та река свои мутно-желтые воды в синее лоно матушки Волги... За той за рекой другое заречье. Обширней оно лесного Заволжья, веселей, оживленней... Ровной, гладкой низиной расстилается оно к солнечному закату. Вдали меж пологих берегов блещет на солнце верховая Волга, над нею, мешаясь с дымом береговых фабрик и бегущих к Рыбинску пароходов, клубится дым Балахонского усолья... Искрятся и сверкают озера, сияют белые церкви обширных селений, пламенем пышут стальные заводы, синеют дальние леса, перерезанные надвое вытянутой, как струнка, каменной дорогой; левей, по краю небосклона, высится увенчанный дубовыми рощами хребет красно-бурых с белоснежными алебастровыми прослоями гор, что тянется вдоль прихотливо извивающейся Оки... По сыпучему песку лугового берега, насупротив города, раскинулся длинный, непрерывный ряд слобод, и в них, среди обширных деревенских строений, гордо высятся двух- и трехэтажные каменные дома. На стрелке<sup>[333]</sup> целый город огромных некрашенных кирпичных зданий, среди которых стройно поднимаются верхи церквей и часовен, минареты мечетей, китайские киоски, восточные караван-сарай. То – Макарий.

Сюда, на этот пестрый своеобразный город, обращены слезливые взоры Марьи Гавриловны... По целым часам не сводит она глаз с ярмарочных строений – чего-то все ищет.

Середь множества однообразных построек хочется ей отыскать китаечный ряд, а в нем бывшую отцовскую лавку... Но с тех пор как Гаврил Маркелыч Залетов ездил торговать к Макарию, ярмарка не один раз сгорала дотла, и на месте китаечного ряда давно уж был построен трехэтажный каменный дом, назначенный для гостиниц и трактиров... Исчезла уютная лавочка, исчезли и тесные над нею горенки, где Марья Гавриловна узнала на малое время сладость земного блаженства... Там, просватанная за Евграфа, немного дней провела она в сладкой беседе с милым избранником непорочного сердца.

И вот она опять невеста!.. Опять по целым часам беседует с новым избранником сердца!.. Но те беседы уж не прежние, не те, что велись с покойником Евграфом. Толкуют про «Соболя», толкуют про устройство хозяйства, про то, как получше да посходнее дом купить, как бы Алексею

скорей в купцы записаться... Не цвести по два раза в лето цветочкам, не знаять Марье Гавриловне прежней любви.

Чаще и чаще вспоминает она про Евграфа и молится за него Богу усердней. Задумчивей прежнего стала она, беспричинная тоска туманит сердце ее.

Но только послышится звонкий голос Алексея, только завидит она его, горячий, страстный трепет пробежит по всему ее телу, память о промелькнувшем счастье с Евграфом исчезнет внезапно, как сон... Не наглядится на нового друга, не наслушается сладких речей его, все забывает, его только видит, его только слышит... Ноет, изнывает в мучительно-страстной истоме победное сердце Марьи Гавриловны, в жарких объятьях, в страстных поцелуях изливает она кипучую любовь на нового друга.

Но лишь только уйдет Алексей, опять за прежние думы, опять за воспоминанья о былом блаженстве. И светлый образ Евграфа опять во всей красе восстает тогда пред душевными ее очами.

Нет тихой радости, нет сердечной улады – одна тоска, одна печаль плакучая!..

Дивится не надивуется на свою «сударыню» Таня... «Замуж волей-охотой идет, а сама с утра до ночи плачет... Неспроста это, тут дело не чисто – враг лиходея напустил «притку присуху»... Не властна, видно, была сурочить ее тетка Егориха... Враг лиходея сильнее ее...»

«Кто же тот лиходея? – спрашивает себя Таня... – Никто, как он, некому быть, окромя Алексея. Он присушил, он вражьем колдовством приворожил к себе Марью Гавриловну...» И вспоминает Таня все, что прежде слыхала от людей про любовную присуху, приворотные корешки и другие волшебные чары. «Когда он, недобрый, впервые был у нас в Комарове, когда он без зову, без спросу вошел к нам в домик, меня на ту пору не было дома. Не иначе, что подкинул он тогда под порог наговоренное воронье перо... Не иначе, что у него тогда на кресте было навязано заколдованное ласточкино гнездо... Супротив тех волхвований не устоять ни девице, ни вдовице, ни мужней жене: памяти лишится, разума лишится, во всем подчинится воле того человека, пока сам он не сурочит с нее чарованья... Верно, этот враг-лиходея с нечистою силой в дружбе, в совете живет!.. Может статься, в глухую полночь в нетопленной бане в молоке от черной коровы варил он лягушку да черную кошку!.. Может быть, выварил из них приворотные грабельки. Тронь теми грабельками девицу, вдовицу или мужнюю жену, закипит у ней ретивое сердце, загорится алая кровь, распалится белое тело, и станет ей тот человек



красней солнца, ясней месяца, милей отца с матерью, милей роду-племени, милей свету вольного. Молиться от него не отмолишься, чураться не отчураться, век свой будешь ему рабой безответной. Ни жить, ни быть, ни есть, ни пить без того человека нельзя... Как рыбе без воды, как телу без души, так и женщине без того человека... От лихого чарованья на нее, бедную, ветры буйные со всех концов наносят тоску тоскучую, сухоту плакучую, и ту тоску и ту сухоту ни едой заесть, ни питьем запить, ни сном заспать, ни думами развеять, ни молитвой прогнать... Так вот и Марья Гавриловна!.. Ворожила тетка Егориха, и на корни шептала, и на травы наговаривала, с уголька умывала, переполох выливала, а ни малой пользы не вышло из того... не сильна была ведовством своим сурочить с Марьи Гавриловны притку-присуху любовную!..»

Чем же избавить «сударыню» от тех лихих чарований, чем отрезвить ее душу, чем разум оздравить?.. Не в силах Таня придумать... Глядя на тоскующую Марью Гавриловну, беззаветно преданная ей девушка забывает свою печаль, не помнит своей кручины... «В шелках, в бархатах станешь ходить, будешь мне вместо родной дочери, весело заживем – в колясках станем ездить, на пароходах по Волге кататься...» – говорила ей «сударыня» перед отъездом из Комарова, а вот теперь день-деньской словечка с ней не перекинет... Скука, тоска, печаль великая!.. Но не сетует, не досадует Таня на Марью Гавриловну, во всем корит, во всем винит одного Алексея... И пуще огня боится его... «Долго ль в самом деле, – думет Таня, – такому кудеснику, такому чаровнику заморозить сердце бедной девушки, лишить меня покоя, наслать на сердце тоску лютую, неизбывную... А как взглянешь на него – залюбуешься!.. Что за красота молодецкая, что за поступь удалая, богатырская!..»

И страшат и прельщают бедную Таню быстрые палючие взоры черных очей Алексея.

\* \* \*

По приезде в город Алексею прежде всего надо было «Соболя» принять. На другой же день отправился он на пристань. Было уже за полдень, ото всех пристаней пароходы давно отвалили, наступило обеденное время рабочих, и они разбрелись по береговым харчевням; набережная совсем почти опустела. Не заметно на ней обычной суеты, не слышно ни песен, ни громких кликов, ни зычного гомона рабочего люда. Величаво поднимая кверху легкую мачту с тонкими райнами и широкую

белую трубу с красным перехватом посередке, сиротой стоял опустелый «Соболь»: ни на палубе его, ни на баржах не было ни одного тюка, ни одного человека... Галки расселись и по райнам, и по устью дымогарной трубы, а на носу парохода беззаботно уселся белоснежный мартын с красноперым окунем в клюве. Мерно плещется о бока и колеса пустого парохода легкий прибой волжской волны. На сходнях стоит тот самый капитан, что так неприветно обошелся с Алексеем, когда тот неделю две перед тем впервые увидел «Соболя». Стоит капитан и, должно быть, от скуки и безделья щелкает кедровы орехи... Глаз не сводя, смотрит он в даль по Волге, глядит, как из-за бледно-желтой, заматавшей чуть не половину реки косы легко и свободно выплывают один за другим низовые пароходы, увлекая за собой длинные, легкие, уемистые баржи.

Узнал Алексей капитана, подошел к нему. Важности напустил на себя – я, дескать, все едино, что хозяин.

– Это «Соболь»? – спросил он.

– «Соболь», – сквозь зубы ответил капитан, не взглянув путем на Алексея, не повернувшись даже к нему.

– Марьи Гавриловны Масляниковой? – снова спросил Алексей.

– Ее, – нехотя молвил капитан и по-прежнему глаз не сводил с подбегавших пароходов.

– К сдаче готов? – продолжал спрашивать Алексей.

– Пятнадцать дён попусту проживаем, – сказал капитан, искоса взглянув на Алексея, но и тут не вздумал ему поклониться.

– Как попусту? – спросил Алексей.

– Пароходной хозяйки нет, дуй ее горой... Поверенных не шлет, – время только даром проводим.

– Я приму, – сказал Алексей.

Капитан не смутился. Повернулся к Алексею и, продолжая щелкать орехи, внимательно оглядел его с головы до пяток.

– Доверенность?.. – протягивая руку, спросил он.

– Какая?

– Впервой, должно быть, на пристани-то? – усмехнулся капитан. – Пароход не дров поленница – без доверенности как его сдашь? Доверенность от хозяйки нужна, от купчихи, значит, от Масляниковой...

И пристальней прежнего стал приглядываться к выплывавшим из-за песчаной косы пароходам и по-прежнему принялся щелкать кедровые орехи.

Закипела досада в Алексее. «Сгоню его беспременно! – думает он. – Ишь какого барина гнет из себя, сиволапый!.. Слова путем не хочет

промолвить!...» Повернулся и пошел вдоль по набережной. Десяти шагов не прошел, как капитан ему крикнул вдогонку:

– Эй, почтенный!.. В молодцах, что ли, служишь у хозяйки-то?

Взорвало Алексея, обидно стало... «В молодцах»!..

– Тебе что? – грубо спросил он капитана, не повернувшись.

– Коль в молодцах у нее, так молви – приемкой бы не медлила! – на всю пристань орал капитан. – Я ей не караульщик!.. Мне на другом пароходе место готово... Лишусь по ее милости места, убытки взыщу... Скажи от меня ей, чернохвостнице: здесь, мол, не скиты, потачки не дадут... Так и скажи ей – тысячью, мол, рублей не отделаешься... Я ей щетинку-то всучу...

Куда как хотелось Алексею вернуться к пароходу и притузить капитана... Но воздержался – главное, полиции боялся.

Взял извозчика и к маклеру... Пробыл у него больше часа. У Патапа Максимыча негде было ему деловым порядкам научиться... Обещав хорошую плату, расспросил маклера, как пишут доверенности, как покупают и продают дома, пароходы, как в купцы приписываются, да уж кстати спросил и о том, нет ли у него на примете хорошего капитана на «Соболь».

Приехавши к Марье Гавриловне, таких страхов наговорил, что та совсем растерялась.

– Был я на «Соболе», – озабоченно и беспокойно сказал он. – Не больно там ладно.

– Что такое? – встревожилась Марья Гавриловна.

– Завтрашнего числа надо его бесприменно принять, – сказал Алексей, – не то много придется платить неустойки, да еще за простой... Судом грозит капитан, убытки взыскивать хочет...

– Сегодня же прими, голубчик, теперь еще не поздно, успеешь, – молвила Марья Гавриловна.

– Без доверенности не сдадут... Не дров поленица, – сказал Алексей, кстати ввернув слова капитана.

– Я тотчас ее напишу, – сказала Марья Гавриловна.

– Скоро блины пекут да сказки сказывают, – молвил Алексей. – Чтоб ее написать как следует, две либо три недели надо. Нарочно к маклеру ездил, советовался... говорит то же самое... Скоро этого дела сделать никак невозможно, а если три недели еще пропустить, так этих проклятых неустоек да простоев столько накопится, что, пожалуй, и пароход-от не будут стоить того... И нужно же было братцу твоему любезному неустойку вписать!.. И без нее обошлось бы. А уж если без неустойки нельзя, так

писал бы по крайности небольшую... Теперь вот поди и валандайся тут по его милости...

– Что же нам делать, Алешенька?.. Что ж делать, голубчик ты мой? – почти со слезами говорила Марья Гавриловна, припав лицом к плечу возлюбленного.

– Сам не знаю, что делать, – холодно ответил Алексей. – Ума приложить не могу... Маклер, правда, советует... Да этого нельзя... Этого никак невозможно!.. Большие тогда надо убытки принять...

– Что такое? – спросила Марья Гавриловна.

– Да что!.. Пустое дело, – молвил Алексей. – Не стоит поминать.

– Да скажи, голубчик, скажи, милый ты мой, – крепко обнимая Алексея, спрашивала Марья Гавриловна.

– Продать советует, – сквозь зубы сказал он.

– Не хотелось бы мне продавать парохода, – грустно промолвила Марья Гавриловна. – Все говорят, что пустить хороший пароход на Волгу – дело самое выгодное... Прибыльней того дела по теперешним временам, говорят, не придумаешь. В Казани у брата ото всех так слыхала, и Патап Максимыч то же сказывал, и Сергей Андреич Кольшкин.

– Конечно, выгодно, – сказал Алексей. – Да вот эти окаянные неустойки, что братец твой в условие ввернул!.. Опять же прости... Благодаря братца, он так устроил.

Не ответила Марья Гавриловна. После недолгого молчания Алексей продолжал:

– Маклер говорит, покупщики завтра же найдутся, только уж денег тех не дадут, сколько за «Соболя» плачено было. За половину продать, так слава Богу, он говорит.

– Господи!.. Да что ж это такое?.. – всхлипнула Марья Гавриловна... – Ведь это разоренье!..

– Сам то же думаю, – молвил Алексей.

И, встав с места, подошел к окну и, закусив нижнюю губу, стал по стеклу барабанить.

– Что ж нам делать?.. Что ж нам делать-то?.. – тосковала Марья Гавриловна. – Алеша, хоть мы с тобой пока и не венчаны, а все ж ведь ты голова... Подумай, помоги – твое ведь... Где мне, глупой бабенке, знать да делать такие дела?.. Где мне было им научиться?..

И, зарыдав, обняла Алексея и поникла на груди его головою.

– Еще маклер советовал, – сказал он. – Только не знаю как. По-моему, это совсем уж неподходящее дело.

– Что, что такое? – спрашивала Марья Гавриловна.

– Да нет!.. Пустяки – не статочное дело... Говорить не стоит, – сказал Алексей.

– Да скажи, голубчик мой, скажи ради Господа!.. Что не сказать?.. Ради Творца небесного!.. Да пожалуйста, Алешенька!.. – молила его Марья Гавриловна.

Переминается Алексей, не сказывает, а Марья Гавриловна пуще молит, пуще просит его, нежной рукой разглаживая хмурое чело жениха. Заговорил он, наконец, будто с большой неохотой:

– Продать его скорей надежному человеку... Пусть бы он заплатил неустойки, что по сей день накопилось, да, очистив пароход от долгов, воротил его тебе...

– За чем же дело стало? – быстро спросила Марья Гавриловна.

– А где такого человека найдешь? – спросил Алексей. – Нынче всяк за свой карман. Подпиши-ка ему крепость-то, он тебе поклон да и вон... Разве вот что: посылай в Казань эстафету, зови брата... Пусть его купит... Свои люди – сочтется.

Задумалась Марья Гавриловна... И, немного подумав, тихо сказала:

– Не пошлю я за братом, Алешенька. Бог знает, что у него на разуме... Может, и грешу... А сдается мне, что он на мои достатки смотрит завидно... Теперь, поди, еще завиднее будет: прежде хоть думал, что не сам, так дети наследство от меня получают... Нет, не продам ему «Соболя».

– Больше некому, – промолвил Алексей. – Стало быть, пропадать пароходу?

– Зачем же пропадать? – весело сказала Марья Гавриловна. – А ты-то на что, голубчик?.. Кто ж мне ближе тебя?.. Для тебя же ведь его и покупала... Завтра же на себя переписывай... Ведь я твоя и все, что ни есть у меня, твое... Все твое, голубчик, все... – страстно целуя Алексея, говорила она.

– Ладно ль будет так-то? – промолвил он. – Люди ведь злы, наскажут и невесть чего!..

– Что нам до людей?.. – в страстном порыве вскрикнула Марья Гавриловна. – Делай скорей... Завтра же... А чтоб людям поменьше пришлось про нас толковать, сделаем вот что: говорено было венчаться осенью, повенчаемся теперь же... Ищи попа. Петровки пройдут – будем муж и жена.

Обнял Алексей Марью Гавриловну и стал горячо ее целовать.

– Либо в Москву, либо в Казань надо ехать. – сказал он. – Другого попа поблизости нет.

– Ни за что не поеду в Москву... – вскрикнула Марья Гавриловна. –

Ни за что на свете, ни за что!..

Вспомнить она не могла про Москву, где провела печальные годы замужества.

– Так в Казань, – молвил Алексей.

– И в Казань не поеду, – решительно сказала Марья Гавриловна. – Там брат, там много родных и знакомых. Пойдут разговоры, пойдут пересуды... Нет, нет, не хочу, не поеду в Казань.

– Как же быть? – молвил Алексей... – Про Городец я проводывал, так раньше Воздвиженья там не будет попа – теперь, слышь, в разъездах... Где же венчаться-то?

– В церкви, – спокойно ответила Марья Гавриловна.

– Как в церкви?.. В какой?.. – с удивленьем спросил ее Алексей.

– Да вон хоть в этой, – указала Марья Гавриловна в окно на церковный верх, возвышавшийся над домами.

– Да это великороссийская!.. – сказал Алексей.

– А тебе немецкую, что ли, надо? – улыбнулась Марья Гавриловна.

– Грех ведь, Марья Гавриловна, – раздумчиво сказал Алексей.

– Не слыхал разве, что по нужде и закону применение бывает? – спросила Марья Гавриловна.

– Да оно конечно... Только, знаешь, как-то все думается... Грех-от, кажется, больно велик, – колебался Алексей... – Пожалуй, еще не простой грех, пожалуй, из непощенных!.. Погодим лучше до Воздвиженья, как поп в Городец воротится.

– Не стану я ждать, – с живостью сказала Марья Гавриловна. – Тяжела мне такая жизнь – долго ее не вынесешь... Что я теперь стала?.. Сам посуди... Ни в тех ни в сех, от берега отстала, к другому не пристала, совестно даже на людей глаза поднять... Нет, Алеша, нет; ты уж не раздумывай... Не хочешь в великороссийской, в духовской<sup>[334]</sup> повенчаемся... Там обведут нас по́солонь, Исайю петь не станут, чашу растопчешь, молитвы поп прочитает те ж самые, что и в часовне.<sup>[335]</sup>

– Так-то оно так, да все как-то, знаешь, оно... – продолжал колебаться Алексей.

– Что еще? – быстро взглянув на него, спросила Марья Гавриловна.

– Да я все насчет греха-то... Прощеный ли? – говорил Алексей. – Однажды я с церковником в бане парился, так и за это отец Афанасий на духу-то началил-началил меня, на поклоны даже поставил... А ведь это – сама посуди, – ведь это не баня!

– Полно-ка, голубчик, по времени исправимся, – перебила его Марья

Гавриловна. – Ну поставит поп на поклоны... Эка важность!.. Как-нибудь да отмолимся.

– Делать, видно, нечего, в духовской так в духовской, – после долгого раздумья сказал Алексей.

– Оно ж и покрепче будет, – улыбаясь и обнимая Алексея, молвила Марья Гавриловна. – В духовской-то обвенчаемся, так венец не в пример будет крепче... Тогда уж ты меня как лапоть с ноги не сбросишь...

– Что ты, что ты?.. Эко слово какое сказала!.. – заговорил Алексей.

– А кто тебя знает!.. Я состареюсь, а ты еще в поре будешь... Как знать, что будет?.. – сказала Марья Гавриловна.

– Полно ты, полно!.. Эк, что выдумала!.. Придет же такое в голову!.. Да о чем же плакать-то?.. Что и в самом деле?.. Ну как не стыдно?.. – уговаривал Алексей Марью Гавриловну, а она, крепко прижавшись к плечу его, так и заливалась слезами.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С помощью маклера Алексей Трифоныч живой рукой переписал «Соболя» на свое имя, но в купцы записаться тотчас было нельзя. Надо было для того получить увольнение из удела, а в этом голова Михайло Васильевич не властен, придется дело вести до Петербурга. Внес, впрочем, гильдию и стал крестьянином, торгующим по свидетельству первого рода... Не купец, а почти что то же.

Новый купец и владелец парохода явился на пристань. Когда Алексей проходил по набережной, на него только что пальцами не указывали. Идет и слышит, как ведут про него пересуды...

– Ишь ты! Лыком шит, совсем как есть деревенщина, а тоже пароходчик.

– А ведь надо дело говорить – что ни на есть первый по Волге ходок.

– Кто?

– Да «Соболь»-от.

– «Соболь»-от? Да... А поди вон кому достался.

– Мужик, как есть мужик... А в купцы тоже лезет...

– При таких достатках сапоги дегтем мазаны!

– В длиннополый-то сибирке да в первую гильдию!

– Откудова это такие деньги взялись у него?

– Известно, не с неба свалились.

– Знамо, не с неба, да ведь пятьдесят тысяч на полу не подымешь.

– Может, дешевле ему обошлось.

– Как так?

– Масляничиха-то, рассказывают, старуха, а он, гляди, какой здоровенный... Понял, какова коммерция-то?

– Понял.

– Грому-то на них нет!

– Тьфу ты пропасть!.. Не нашла она чище сиволапого... Да за такой пароход и не мужик бы со всяким усердием.

– Так уж, видно, пришлось... Да ну их ко псам!

Все слышит Алексей. Злоба всю душу в нем повернула, так бы и положил в лоск всех до единого.

Подошел к «Соболю». Капитан стоит у руля и молча вдаль смотрит. На палубе ни души. Сказывает про себя Алексей капитану, что он новый хозяин. Не торопясь, сошел капитан с рубки, не снимая картуза, подошел к



Алексею и сухо спросил:

- Бумаги?
- Какие?
- Документы.

Вынул Алексей нужные бумаги, капитан внимательно пересмотрел их.

– Верно, – сказал он, возвращая бумаги, и тотчас отворотился.

– Принять желаю, – с досадой сказал Алексей. – Сейчас же, сию минуту чтоб сдача была.

– Примай, – не оборачиваясь, небрежно ответил капитан.

– Сдавай! – крикнул ему Алексей, сделав три шага вперед.

– А ты больно-то не ори – печенка лопнет... Горлом, брат, здесь не возьмешь, сами орать-то здоровы – нас не перекричишь... – с нахальством сказал ему капитан.

Против «Соболя» на набережной собралась толпа праздного люда. Всякому в охоту послушать перебранку нового хозяина со старым капитаном.

– Своего требую!.. Пароход мой – ты должен его сдать, – горячился Алексей.

Капитан подпер бока руками и, склонясь немножко на сторону, ровным голосом, но с усмешкой сказал Алексею, подмигивая стоявшим на набережной:

– Пароходы покупаешь, а порядков не знаешь... Горе ты, не пароходчик!.. Как же я тебе стану сдавать без свидетелей?.. Опять же, где полиция, где водяной смотритель?.. Эх, ты!.. Не пароходы тебе покупать, навоз бы лучше из деревни на поля вывозил...

Толпа громко захохотала.

– Он на «Соболе»-то навоз возить зачнет!

– Кладь добрая!

– Пóставка хорошая!.. Почем с пуда-то?..

– Ах, дуй вас горой!

Видит Алексей, делать нечего, – опять к маклеру за советом. Осыпаемый насмешками, едва пробрался он сквозь набравшуюся толпу. Когда сел на извозчика, толпа ухнула враз и захохотала. Со злобы и досады слезы даже выступили у Алексея. Приехав к маклеру, рассказал ему все, не промолчал ни про нахальство капитана, ни про насмешки толпы. Маклер научил его, как принимать пароход, и посоветовал пригласить для приемки знающего человека, который бы обладал делом как следует. Алексей согласился, маклер указал ему человека.

– А насчет того, что на пристани собачатся, тут уж делать нечего, надо

потерпеть, – сказал маклер. – По времени все обойдется, а на первый раз надо потерпеть. Главное дело, не горячитесь, делайте дело, будто не слышите их. Погломнят, погломнят – разойдутся... А приемку начинайте под вечер, часу в пятом либо в шестом, – тогда на пристани мало народу бывает, а иной день и вовсе нет никого... Да еще бы я вам советовал, коль не во гнев будет вам меня выслушать...

– Что такое? – спросил Алексей.

– Да видите ли что, Алексей Трифоныч, – протяжно и внушительно стал говорить ему маклер. – Теперь вы в купцы еще не записаны, однако ж, заплативши гильдию, все-таки на линии купца стоите... Вам бы одежду-то сменить... По-крестьянскому ходить теперь вам не приходится... Наденьте-ка хороший сюртук, да лаковые сапоги, да модную шляпу либо фуражку – совсем другое уважение к вам будет...

– Что ж? Я с моим удовольствием, – сказал Алексей.

– Вот вам билетец, – сказал маклер, подавая Алексею карточку. – С этим билетцем поезжайте вы к портному, у него готового платья завсегда припасено вдоволь. Да выбирайте не сами, во всем на него положитесь... Главное, чтобы пестрого на вас ничего не было, все чтобы черное, а рубашка белая полотняная, и каждый день чистую вздевайте... Постойте-ка, я портному-то записку напишу.

Алексей поблагодарил за совет.

– Да вот что еще, Алексей Трифоныч. Вам бы и речь-то маленько поизменить, чтоб от вас деревней-то не больно припахивало, – с добродушной улыбкой сказал маклер. – А то вот вы все на ó говорите – праздному человеку аль какому гулящему это и на руку... Тотчас зачнут судачить да пересмеивать... Вам бы модных словец поучить, чтоб разговаривать политичнее.

Покраснел Алексей. Сознавал, что высокó залетел, что новая жизнь не под силу ему приходится, но сознаться в том перед маклером было стыдно.

– Не умею, – чуть слышно, сквозь зубы промолвил он.

– Учиться надо, Алексей Трифоныч, – ответил маклер. – Наука не больно хитрая... В трактиры почаще ходите, в те, куда хорошие купцы собираются, слушайте, как они меж себя разговаривают, да помаленьку и перенимайте... А еще лучше, в коммерческий клуб ходите... Хотите, я вас гостем туда запишу?..

– Что ж это такое? – спросил Алексей. – Трактир, что ли, какой?..

– Нет, не трактир, – улыбаясь, сказал ему маклер. – Это такое место, куда по вечерам собираются купцы меж собой побеседовать и повеселиться. Самые первостатейные там бывают и господа тоже. В карты играют...

Умеете ли в карты-то?

– Игрывал, – отозвался Алексей.

– В какие игры? – спросил маклер.

– В хлюсты, в носки... В три листика еще, – ответил Алексей.

– Ну, эти игры там не годятся, про них и не поминайте – не то как раз осмеют... – сказал маклер. – Другие надобно знать... Да я обучу вас по времени... А теперь – прежде всего оденьтесь как следует, на руки перчатки наденьте в обтяжку, да чтоб завсегда перчатки были чистые... Под скобку тоже вам ходить не приходится... Прежде портного – зайдите вы к цирюльнику, там обстригут вас, причешут.

\* \* \*

Алексей все сделал по совету маклера, и, когда завитой, раздушенный, распомаженный, одетый по моде вошел он к Марье Гавриловне, Таня так и шарахнулась в сторону, а Марья Гавриловна руками закрыла лицо.

– Этак будет политичнее, – сказал Алексей, повертываясь и охорашиваясь перед зеркалом.

– Чтой-то тебе, Алешенька, вздумалось так вырядиться?.. – жалобно проговорила Марья Гавриловна. – Нешто этак-то лучше?

– По той самой причине, что так как я теперича на линии купца, так нельзя же мне по-мужицки ходить... – с неумелой развязностью сердито молвил Алексей.

– Да я так сказала, проста, – ответила Марья Гавриловна. – Мне только смешно глядеть-то на тебя на этакого, – с улыбкой прибавила она.

– И вовсе тут ничего смешного нет, – нахмурясь, сказал Алексей. – Все хорошие люди так ходят... А я обсевок, что ли, какой?.. Для че и мне полированным человеком не быть?..

В новом платье Алексей успел побывать в трактире и послушать там, как купцы говорят. Перенял кой-каких мудреных словец.

Заметив досаду Алексея, Марья Гавриловна тотчас же стала его уверять, что для нее он во всяком наряде хорош и, если ему нравится так ходить, воле его перечить не станет она.

– Не в одеже дело, милый ты мой, а в душе, – сказала она, ласкаясь к нему. – Люби только меня, не разлюбивай, во всем другом делай, как знаешь.

И нежно его поцеловала.

– Дом есть на примете, – сказал через несколько минут Алексей. –

Маклер указал. Посмотрел я – хороший дом.

– А ценой? – спросила Марья Гавриловна.

– Ценой-то дорогонек, зато уж и хорош же, – сказал Алексей. – Каменный, двухэтажный, на хорошей улице, по лицу тринадцать окошек, на дворе флигеля большие, каменные... Можно будет их внаймы отдавать. Службы тоже все каменные, места пропасть, сад...

– Цена-то как? Цену скажи? – спрашивала Марья Гавриловна.

– Сорок тысяч целковых в первом слове, – сказал Алексей. – Тысячи три либо четыре спустят. Опять же и в доме все на хорошую руку: стулья всякие, столы, зеркала, на полах ковры – одно слово, богатенький...

– Что? – спросила Марья Гавриловна.

– Богатенький, говорю, – с ужимкой ответил Алексей.

– Что это за богатенькая такая? – переспросила Марья Гавриловна.

– Животы, значит, всякие, достатки в самом лучшем виде, – сказал Алексей.

– Дорогонько-то оно дорогонько, – помолчав, молвила Марья Гавриловна. – А ежели все в хорошем виде, так денег нечего жалеть. На дом денег не жаль. Говорится же: что продано, то прожито, что куплено, то нажито...

– Это точно, – согласился Алексей. – Дом стоящий. Опрочь того, что сами будем жить, флигеля, амбары, кладовые пустим внаймы – доход будет знатный... Только ведь и тут хлопоты... Надо будет тебе по присутственным местам ходить, в гражданской палате...

– Ну, этого уж не будет! – ровно восторженувшись, молвила Марья Гавриловна. – Ни за что на свете! Пока не обвенчаны, шагу на улицу не ступлю, глаз не покажу никому... Тяжело ведь мне, Алешенька, – припадая на плечо к милому, тихо, со слезами она примолвила. – Сам посуди, как мы живем с тобой!.. Ведь эта жизнь совсем истомила меня... Может, ни единой ноченьки не провожу без слез... Стыдно на людей-то смотреть.

– Чего же тут стыдного? – сухо спросил Алексей.

– Да как же?.. Разве хорошо мы делаем? – жалобно заговорила Марья Гавриловна. – И перед Богом-то грех великий, и перед людьми-то стыдным-стыдненьким... Нет, уж ты меня лучше не уговаривай. Пока венцом греха не покроем, не буду я на людей глядеть... Оттого и желаю скорей обвенчаться... Богом прошу тебя, голубчик... Не томи ты меня, не сокрушай в горькой печали моей!..

И, горько зарыдав, закрыла лицо руками и тяжело опустилась на кресло.

– О чем же это ты?.. Милая!.. – уговаривал ее Алексей. – Что ж это ты

в самом деле?.. Как не стыдно!.. Полно, голубонька, перестань, моя ясынька!.. Ну, пожалуй. Для тебя я на все согласен... Хоть в самый же Петров день обвенчаемся... Только как же это будет у нас?.. Здесь, стало быть, придется, в этих горенках свадьбу-то играть?

– Как можно в этих горенках? – подняв заплаканные глаза на Алексея, сказала Марья Гавриловна. – При наших-то достатках да в этих клетушках!.. Полно ты, полно!.. А дом-от!.. Купим до того времени... Неделя остается... Бог даст, управимся.

– Да ведь сказал же я тебе, что без того дома нельзя купить, чтоб самой тебе в гражданской палате в книге не расписаться, – сказал Алексей. – А если до венца с людьми видеться не хочешь, как же это сделать-то?

– На свое имя купи, – молвила Марья Гавриловна.

– Разве что так... – раздумчиво молвил Алексей. – Только знаешь ли?.. Пароход на твои деньги, теперь дом... Наскажут и не знай чего... Ведь все знают, что у меня ни кола, ни двора, за душой ни гроша... Опять же и самому мне как-то совестно... Как же это? Деньги твои, а дом будет мой?..

– А сам-от ты разве не мой? – с ясной улыбкой, обняв Алексея, сказала Марья Гавриловна. – Разве мужу с женой можно делиться?.. И в писании сказано: «Оба в плоть едину»... Что твое – мое, что мое – твое. По моему рассуждению так, не знаю, как по твоему.

– Да оно конечно, – закусив губу, молвил Алексей. – Оно конечно... Только, право, боязно мне, чтоб сама ты после чего не подумала... Вот, дескать: еще не женился, а деньги уж высасывает.

– Полно ты, нехороший этакой, полно вздор-от молоть! – вскрикнула Марья Гавриловна, хлопнув слегка Алексея по лбу рукой. – Эк что вздумал!.. Придет же такое в голову!.. Бесстыдник!.. А знаешь ли что, Алеша? – сказала она, любуясь на жениха. – Как этак-то ты вырядился, ты ведь еще краше стал... Пригоженький, хорошенький!.. – приговаривала она, гладя Алексея по голове.

Когда Алексей выходил от Марьи Гавриловны, в сенях столкнулся с Таней. Та отступила и покраснелась как маков цвет.

И Алексей на минуту остановился, жадно взглянул на пышущее красотой лицо девушки и, опустя голову, пошел со двора.

«Экая девчонка-то! – думал он. – Красотка!.. И молоденькая еще!.. А Марья Гавриловна говорит: «Состареюсь, а ты еще в поре будешь!..» Гм!.. А ведь оно и так!.. Пароход пятьдесят, дом сорок – значит, теперь у нас собственного капитала девяносто тысяч!.. Важно!..»

А Марья Гавриловна, простясь с Алексеем, подошла к окну, и взор ее невольно устремился за Оку... Опять Евграф вспомнился... Опять печаль

туманом подернула лицо ее...

\* \* \*

Дня через два после того к дому Сергея Андреича Кольшкина подъехала извозничья коляска, запряженная парой добрых коней. В ней сидел высокий молодой человек в новеньком с иголки пальто и в круглой шелковой шляпе. Если б коляска заехала в деревню Поромову да остановилась перед избой Трифона Лохматого, не узнать бы ему родного детища.

Хотя с непривычки и не совсем ловко вышел Алексей из коляски, но бойким шагом подошел к подъезду и дернул изо всей силы бронзовую ручку колокольчика. Тотчас же человек с галуном на картузе широко распахнул перед ним двери.

– У себя ли Сергей Андреич? – важно подняв голову, спросил Алексей.

– Принимают, – отрывисто ответил придверник, зорко оглядывая Алексея и вспоминая, как недели две перед тем он, одетый попросту, робко спрашивал у него про Сергея Андреича.

– Что принимает?.. Кладь, что ли, какую? – спросил Алексей.

– Какую кладь?.. – с усмешкой сказал тот. – Гостей принимают аль кто по надобности придет. – И, отступив в сторону от двери, примолвил: – Наверх пожалуйста.

Алексей скинул пальто. Был он в коротеньком сюртуке, в лаковых сапожках, белье из тонкого голландского полотна было чисто, как лебяжий пух, но все сидело на нем как-то нескладно, все шло к лесному добру молодцу ровно к корове седло, особенно прическа с пробором до затылка, заменившая темно-русые выющиеся кудри, что когда-то наяву и во сне мерещились многим, очень многим деревенским красным девицам.

Сердито смотрел картуз с галуном на Алексея, когда тот поднимался по широкой лестнице, покрытой ковром, обставленной цветами и зеленью. «Ишь привалило косолапому! – бормотал придверник. – А наш брат бейся, служи, служи, а на поверку в одном кармане клоп на аркане, а в другом блоха на цепи...»

– Для че на ковер-то харкнули?.. – крикнул он с досады Алексею. – Плевательницы на то по углам ставлены... Аль не видишь?.. Здесь не изба деревенская аль не кабак какой...

Смутился Алексей, но не подал вида. Смело, мерными шагами вошел он в покои Сергея Андреича.

– Ишь как расфуфырился! – продолжал ворчать картуз с галуном. – Псу не дядя, свинье не брат!.. Вот оно деньги-то что означают...

На ту пору у Колышкина из посторонних никого не было. Как только сказали ему о приходе Алексея, тотчас велел он позвать его, чтоб с глазу на глаз пожуричь хорошенько: «Так, дескать, добрые люди не делают, столь долго ждать себя не заставляют...» А затем объявить, что «Успех» не мог его дожидаться, убежал с кладью до Рыбинска, но это не беда: для любимца Патапа Максимыча у него на другом пароходе место готово, хоть тем же днем поступай.

Но только что взглянул Колышкин на вошедшего Алексея, так и покатился со смеху, схватившись за живот обеими руками.

– Леший ты этакой!.. Кто это тебя таким шутком обрядил?.. Святки, что ли, пришли?.. Да тебе бы, пострелу, уж и хвост вертенем<sup>[336]</sup> прицепить!.. Уморил, пострел!.. – судорожно вскрикивал Колышкин, когда понемножку стали у него перемежаться стремительные порывы веселого, добродушного смеха.

Смешался озадаченный неожиданной встречей Алексей Трифоныч, слова не может найти в ответ Сергею Андреичу. Обидно... А он-то думал, что Колышкин, увидавши его таким щеголем, ахнет от удивленья и зачнет хвалить его за перемену одежды.

Маленько успокоившись, стал Сергей Андреич спрашивать Алексея, с чего это вздумалось ему так вырядиться... Неловко вертя в руках шляпу и поднимая кверху брови, заговорил Алексей:

– По тому самому, Сергей Андреич, что так как я теперь, будучи при таких, значит, обстоятельствах, что совсем на другую линию вышел, по тому самому должен быть по всему в окурате...

Расхохотался Колышкин пуще прежнего.

– А говорить-то не по-людски у кого научился?.. На линии! В окурате!.. У какого шута таких слов нахватал?.. – от смеха едва мог промолвить он.

– По образованности, значит, – изо всей силы тараща кверху брови, сказал Алексей. – По тому самому, Сергей Андреич, что так как ноничи я собственным своим пароходом орудую, так и должно мне говорить политичнее, чтобы как есть быть человеком полированным.

– Да ты что?.. Очумел, что ли, за Волгой-то?.. – спрашивал Сергей Андреич уж без шуток.

– Зачем чуметь, Сергей Андреич, помилуйте!.. Это даже совсем неблагородно чуметь!.. – отвечал Алексей. – Ежели я допрежь сего и находился в низком звании, в крестьянском, значит, был сыном токаря, так

опять же теперича, имея намерение по первой гильдии в купечество, а покаместь внес в здешнюю городскую думу гильдию и получил оттоль свидетельство по первому роду...

– Да ты говори толком... С неба, что ль, тебе деньги-то свалились аль в самом деле золотые россыпи на Ветлуге нашел? – с нетерпением спрашивал Колышкин Алексея.

– Деньги не вода – с неба не капают, сами про то лучше меня знаете, Сергей Андреич, а золото на Ветлуге облыжное... Такими делами мы заниматься не желаем, – с ужимками, поводя по потолку глазами, сказал Алексей.

– Откуда ж у тебя деньги?.. И свой пароход и по первой гильдии?

– По тому самому, Сергей Андреич, что имею, значит, намерение законным браком, – отвечал Алексей.

«Так и есть, – крестный дочь за него выдает!.. – мелькнуло в голове Колышкина. – Эх, Патап Максимыч, Патап Максимыч, убил же ты бобра, любезный друг! На поверку-то парень дрянь выходит, как кажется».

– Крестный в зятя берет? – спросил Алексея.

– Никак нет-с... – отвечал Лохматый. – Потому что, сами извольте обсудить, Сергей Андреич: хорошая девица Прасковья Патаповна, по всему хорошая, и художеств за ней никаких не предвидится, однако ж, живучи завсегда в деревне и не выдавши политичного обхождения, она теперича будет мне не по линии... Опять же, если взять и насчет капитала – Прасковья Патаповна вся как есть в родительской власти... Ежели б ее, к примеру сказать, взять за себя, беспрременно пришлось бы из тестиних рук смотреть... Что ж тут хорошего... А теперича по крайности у меня все в своих собственных.

– Где ж такую невесту сосватал? С такими деньгами сот на пять верст кругом они все на перече, – спрашивал Сергей Андреич.

Крякнул, отер тихонько лицо раздушенным батистовым платком Алексей Трифоныч и, подняв брови, спросил у Колышкина:

– Пароход «Соболь», что малявинский был, изволите знать?

– Ну? – торопил его Колышкин.

– Намедни того самого «Соболя» на мое имя переписали. Невеста, значит, подарила... – тихо, с расстановками проговорил Алексей.

– Врешь!.. – вскочив с места, вскричал удивленный Колышкин.

– Зачем врать, Сергей Андреич? Это будет неблагородно-с! – пяля изо всей силы кверху брови, сказал Алексей. – У маклера извольте спросить, у Олисова, вот тут под горой, изволите, чать, знать... А сегодняшнего числа каменный дом невеста на мое имя покупает... Наследников купца



Рыкалова не знаете ли?.. Вот тут, маненько повыше вас – по Ильинке-то, к Сергию если поворотить.

– Рыкалова дом сорок тысяч стоит, – сказал, ушам не веря, Колышкин.

– Маненько не потрафили, – ответил Алексей с таким спокойствием, будто говорил о рублевой покупке. – Тридцать семь тысяч заплачено, купчая наша.

– Это Масляникова-то!.. Марья-то Гавриловна!.. – говорил Сергей Андреич и, заложив руки за спину, широкими шагами стал ходить взад и вперед по комнате, покачивая головою.

– Так точно-с, она самая невеста наша и есть... – отвечал между тем Алексей.

– Удивительно!.. Непостижимо!.. – сквозь зубы говорил Колышкин.

– А опричь дома и парохода у нас еще тысяч на сто, а пожалуй, и побольше капиталу наберется, – продолжал Алексей Трифонович, охорашиваясь перед зеркалом. – И притом же весь капитал не в долгах аль в оборотах каких... как есть до последней копейки в наличии.

– Ну, друг любезный, поздравляю, поздравляю! – сказал Сергей Андреич, остановясь перед Алексеем. – Соболя добыл и черно-бурую лису поймал!.. Молодцом!.. Да как же это?.. Ведь она в монастыре жила, постригаться, кажись, хотела? – спросил он.

– Зачем же ей постригаться, Сергей Андреич?.. Зачем молодые годы в келье терять?.. – сказал Алексей. – Тоже во плоти, пожить хочется... А в кельях что?.. Сами рассудите.

– Однако она ведь постарше тебя годами-то будет?.. – молвил Колышкин.

– Маненечко, самое пустое дело – годиков на пять либо на шесть, – сказал Алексей.

– Однако ж!..

– Это все единственно, Сергей Андреич... Был бы совет да любовь, а годы что?.. Последнее дело!.. – говорил Алексей. И, маленько помолчав, прибавил: – На свадьбу милости просим, не оставьте своим расположением.

– Благодарю покорно, – сухо ответил Сергей Андреич. – Когда свадьба-то?

– Думали после Покрова, да теперь приняли намерение – в самый Петров день, – сказал Алексей.

– Что заторопились? – спросил Колышкин.

– Да видите ли, Сергей Андреич, спервоначалу-то думали было мы после навигации обвенчаться, уставивши, значит, «Соболя» на зимовку... –

отвечал Алексей. – Имели намеренье в Москву, чтобы там на Рогожском венчаться. Одначе на поверку вышло, что такой вояж нам не с руки, потому что Марья Гавриловна очень Москву не жалует, нежелательно, значит, ей туда ехать. Родства там много после первого ихнего супружества, а ей на брачной радости прошлых бед вспоминать неохота... И я с своей стороны имею также намеренье, чтобы здесь в городе в церкви повенчаться, в духовской, значит... Потому, изволите знать, церковное венчанье не в пример крепче староверского... Но ровён случай!.. Тогда, знаете, насчет капиталу аль наследства, известное дело!.. У ней брат есть, племянники... Опять же нам желательно венчаться на публике, не крадучись, – так-то оккуратнее выйдет.

– Как же это так?.. Из скитов да к нам?.. В церковь то есть? – спросил Кольшкин.

– В благословенную, значит, имеем намерение, в духовскую... – отозвался Алексей.

– Что ж? Дело хорошее, – молвил Сергей Андреич.

– Тут главная причина, Сергей Андреич, не в том-с, – сказал Алексей. – Тут самопервейшая статья насчет благоприобретенного и всего-с... Церковный-от поп как свенчает, так уж на всю жизнь до гробовой доски будет крепко... А часовенный поп, хоть и все по уставу справит, одначе венец все-таки выйдет с изъянцем.

– Как с изъянцем? – спросил Сергей Андреич.

– Да как же-с? Венчают-то у нас не очень прочно, – сказал Алексей. – Может статься, не случилось ли вам Мокеевых знать, Петра Лаврентьевича сыновей?..

– Слыхал, – отозвался Кольшкин. – Расшивы у них?

– И расшивы есть, и пряжей торгуют, люди капитальные, – отвечал Алексей. – А вот часовенны-то венцы и у того брата и у другого как есть распаялись... Непрочно, стало быть, их по старой-то вере ковали, – с усмешкой прибавил Алексей.

– Как так? – спросил Кольшкин.

– Большой-от брат Симеон Петрович брал жену в Плесу, из хорошей семьи, хоть и не больно богатой, – продолжал Алексей. – Венчались в селе Иванове у староверского попа и прожили времени с год, ребеночка прижили, и все меж ними, кажись бы, согласно было и любовно... Да на грех поехал Симеон Петрович с пряжей в Москву, дорогой и заболел. Городок есть небольшой, Киржач прозывается, там лежал в хворости-то... Купец знакомый больного-то его в дом к себе взял, ходили за ним, лечили, оздравел Симеон Петрович... И приглянись тут ему того купца дочка, а

купец-от богатеющий – фабрика у него, а дочь единственная. Как у них там было, не знаю, только что Симеон Петрович повенчался с ней, а повенчался-то в великороссийской... Приехал домой, одну жену в дом ведет, другая его с ребеночком встречает... Туда, сюда... Обе реветь, а он молодой-то жене и говорит, успокаивает, знаете, ее: «Эта, говорит, бабенка в стряпках у меня живет. Греха, мол, таить не стану, было дело, а теперь ее со двора долой...» Это первую-то... Первый-от тесть, что из Плесу, дело вздумал зачинать, однако же вышло по суду, чтоб Симеону Петровичу жить со второй, потому что первый-от венец нигде не писан... Первая жена к родителям воротилась – и стала ни девка, ни вдова, ни мужняя жена... А Симеон Петрович в Киржач на житье переехал. Тесть-от помер, теперь у него фабрика знатнеющая, капиталы большущие... Наши-те отлучили его как следует: ни в ястии за трапезой, ни в молитве с ним не сообщаться... А плевать ему на ихнее отлученье-то!.. Ему что?.. Церковником стал. А с другим братом-с Мокеевым, с Никитой Петровичем, и того хуже вышло...

– Что ж такое? – спросил Сергей Андреич.

– Тоже по-нашему венчался, – продолжал Алексей. – Брал невесту богатую, шла за него поневоле... У ней, после дознались, допрежь венца в полюбовниках был отцовский приказчик – сирота, голь перекатная, ни за ним, ни перед ним как есть ничего... Когда выдавали ее, понятное дело, он слова пикнуть не смел... А из петли тогда вынули, пожелал было удавиться... Года полтора молодые-то прожили, сыночка Бог дал, тут у жены родитель-от и помри... Капиталы, значит, стали ее. Только что помер родитель, она из мужнина дома в отцовский, да, принявши наследство, с полюбовником-то в великороссийскую... Повенчались. Никита Петрович туда-сюда, и жалобные просьбы подавал и все, а жена одно толкует: «Жила, говорит, я у тебя в полюбовниках и, восчувствовавши свой великий грех, законным браком теперь сочеталась. Докажи, говорит, записями, где я с тобой была венчана...» А какие тут записи?.. Так за вторым мужем ее и закрепили... А Никита Петрович до сей поры без жены: закон помнит, брак честен не рушит... Молит, просит – ребеночка-то хоть бы ему отдали... Так и его не отдают... Вот какие обстоятельства бывают, Сергей Андреич... Можно ль после того у часовенных венчаться, сами посудите...

– Так то оно так, – сказал Сергей Андреич. – Только, как угодно, а тут что-то неладно...

– Чего ж неладного-то? – возразил Алексей. – Закон.

– Закон-от законом, да совесть-то где? – жмурясь, промолвил Кольшкин.

– Законом-то крепче, Сергей Андреич, – ответил Алексей. – Что

хорошего, коли уйдет жена с деньгами!.. Капиталы тут главная причина... Это примите в расчет!..

– Капиталы! – молвил Колышкин. – Ну, Алексей Трифоныч, из молодых ты, да ранний.

– Каков есть, Сергей Андреич... Весь тут перед вами, – пожав плечами, ответил Алексей.

– Да, да, – промолвил Колышкин.

Прошло минут с пять; один молчит, другой ни слова. Что делать, Алексей не придумает – вон ли идти, на диван ли садиться, новый ли разговор зачинать, или, стоя на месте, выжидать, что будет дальше... А Сергей Андреич все по комнате ходит, хмурия так недавно еще сиявшее весельем лицо.

– Патап Максимыч знает? – спросил он, не глядя на Алексея.

– Никак нет-с, до сей поры еще неизвестны, – отвечал Алексей.

– А родители? Отец с матерью?

– Тоже не сделано еще к ним повещенья, – комкая шляпу в руках, сказал Алексей.

– Не мешало бы и благословенья попросить, – сквозь зубы процедил Колышкин.

– Мы с батюшкой теперича в расчете, – молвил Алексей, встряхнув по старой привычке кудрями, которых уж не было.

– Как в расчете? – став перед Алексеем, спросил удивленный Колышкин.

– Дочиста рассчитались... За то, что вспоил-вскормил меня, я сполна чистогангом заплатил ему, – сказал Алексей, подняв голову.

Ровно мразью подернуло лицо Сергея Андреича, когда услышал он от Алексея такие речи.

– Получивши деньги, родитель-батюшка сам мне сказал: «В расчете, говорит, мы с тобой, на родителей больше ты не работник. Ни единой копейки, говорит, в дом с тебя больше не надо...»

– Не про деньги говорю, про родительское благословенье, – горячо заговорил Сергей Андреич. – Аль забыл, что благословенье отчее домы чад утверждает, аль не помнишь, коль хулен оставивый отца и на сколь проклят от Господа раздражаяй мать свою?.. Нехорошо, Алексей Трифоныч, – нехорошо!.. Бог покарает тебя!.. Мое дело сторона, а стерпеть не могу, говорю тебе по любви, по правде: нехорошо делаешь, больно нехорошо.

Смутился Алексей, но не очень. Бойко ответил он Сергею Андреичу:

– Батюшка-родитель наперед благословенье дали мне... Ищи, говорит, своей судьбы сам, а мое благословенье завсегда тебе готово, – сказал

Алексей.

– Да ведь он не за тридевять земель. Станет времени и благословенье получить, и свадьбу сыграть, – молвил Сергей Андреич.

– Не управиться! – ответил Алексей. – Потому что уж очень много хлопот... Сами посудите, Сергей Андреич: и пароход отправить, и дом к свадьбе прибрать как следует... Нельзя же-с... Надо опять, чтобы все было в близире, чтобы все, значит, самый первый сорт... А к родителям что же-с?.. К родителям во всякое время можно спсылать.

Передернуло Сергея Андреича. Говорит Алексею:

– Стало быть, место у меня на пароходе вам больше не требуется?

– Помилуйте!.. – самодовольно улыбаясь, ответил Алексей. – Когда теперича у нас у самих, можно сказать, первеющий по всей Волге пароход...

– Ну, очень рад, что у вас «первеющий» пароход... Желаю доброго здоровья и всякого успеха... До приятного свиданья!.. – сказал Сергей Андреич, остановясь у входной двери с заложенными за спину руками.

– Наше вам наиглубочайшее! – молвил Алексей, напрасно протягивая руку. – А уж насчет свадьбы-то попомните, Сергей Андреич... Пожалуйте-с... Угощение будет такое-с, что только ах: напитки заморские, кушанья первый сорт... от кондитера-с... Да мы к вам билетец пришлем, золотом слова напечатать желаем... Да-с...

И опять позабыв, что кудри у него были да сплыли, удалски тряхнул головой и пошел от Сергея Андреича.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Поутру на другой день, как Манефа воротилась с Настиных сорочин, сидела она за самоваром с Васильем Борисычем, с Парашей и Фленушкой. Было уж довольно поздно, а в домике Марьи Гавриловны окна не отворялись. Заметив это, подивилась Манефа и спросила, что б это значило.

– Да ведь она вечер съехала, матушка, – молвила добродушная Вириная, вошедшая под это слово в келью игуменьи.

– Как съехала?.. Куда?.. – быстро спросила удивленная Манефа.

– Не могу этого доложить тебе, матушка, не знаем, куда съехала, – отвечала мать Вириная. – Никому не сказала, куда поехала и надолго ль.

– Что у вас тут без меня за чудеса творились? – вспыхнула Манефа и, встав с места, засучила рукава и скорыми шагами стала ходить по келье.

– Уж и подлинно чудеса, матушка... Святы твои слова – «чудеса»!.. Да уж такие чудеса, что волосы дыбом... Все, матушка, диву дались и наши, и по другим обителям... Хоть она и важного роду, хоть и богатая, а, кажись бы, непригоже ей было так уезжать... Не была в счету сестер обительских, а все ж в честной обители житие провождала. Нехорошо, нехорошо она это сделала – надо б и стыда хоть маленько иметь, – пересыпала свою речь добродушная мать Вириная.

– Да что ты тарахтишь, старая? – с сердцем молвила, остановясь перед ней, Манефа. – Вертит языком, что веретеном, вяжет, путает, мотает, плутает – понять невозможно. Сказывай толком: по́ ряду все говори.

– Ну, вот видишь ли, матушка, – начала Вириная. – Хворала ведь она, на волю не выходила, мы ее, почитай, недели с три и в глаза не видывали, какая есть Марья Гавриловна. А на другой день после твоего отъезда оздоровела она, матушка, все болести как рукой сняло, веселая такая стала да проворная, ходит, а сама попрыгивает: песни мирские даже пела. Вот грех-то какой!..

– Быть того не может, – удивилась Манефа.

– Уехали-то вы, матушка, поутру, а вечером того же дня гость к ней наехал, весь вечер сидел с ней, солнышко взошло, как пошел от нее. Поутру опять долго сидел у ней и обедал, а после обеда куда-то уехал. И как только уехал, стала Марья Гавриловна в дорогу сряжаться, пожитки укладывать... Сундуков-то что, сундуков-то!.. Боле дюжины. Теперь в домике, опричь столов да стульев, нет ничего, все свезла...

– Да куда ж, куда, я тебя спрашиваю? – с нетерпением спрашивала Манефа.

– Сказывала я тебе, матушка, что не знаю, и теперь та же речь, что не знаю... Через два дня тот гость опять приезжал, лошади с ним, тройка и тарантас, туда сами сели, Танюшу с собой посадили, а имение сложили на подводы. На пяти подводах повезли, матушка.

– Что ж это за гость такой?.. Кто он, откуда?.. Брат ее, что ли?.. Залетов?.. – сыпала вопросами мать Манефа.

– Какое брат, матушка!.. Помнишь на Радуницу от Патапа Максимыча приказчик наезжал, еще ночевал у тебя в светелке... Алексеем зовут... Он самый и приезжал...

Всех озадачил рассказ Виринеи... Хотела что-то сказать Манефа, но слова не сошли с языка... Фленушка с Парашей меж собой переглядывались. Один Василий Борисыч оставался, по-видимому, спокоен и равнодушен.

– Ах ты, Господи, Господи!.. – всплеснув руками, воскликнула, наконец, игуменья.

– С ним с самым и съехала... С собой вместе в тарантас посадила и его и Танюшу тоже... – свое твердила мать Виринея. – И уж такая она, матушка, на последях-то была развеселая, такая умильная, что вот сколько уж времени прожила у нас, а такую я ее не видывала... Ровно козочка какая, так и попрыгивает, да турит все, турит Танюшу-то укладываться! А уезжая, всех одарила, старицам по зелененькой, а белицам которой рубль, которой два, опять же платьев что раздала своих... Никого не забыла... Только вот чего еще не сказала я тебе, матушка. Вот это так уж истинно чудо чудное... Дело-то, как видится, делалось у них неспроста.

– Что такое? – спросила Манефа.

– А на другой день после того, как гость-от от нее уехал, за конями-то, знаешь, глядим мы, пошла она, этак перед самыми вечернями, разгуляться за околицу... Танюшу взяла с собой... Сидим мы этак у келарни на крылечке с матушкой Евсталией да с матушкой Филаретой, смотрим на нее, глядь, а она в Каменный Вражек; мы к околице, переговариваем меж собой, куда, дескать, это она пошла. И что же, матушка?.. К Елфимову. Мы подале пошли, в кусточках сели, смотрим, что тут у них будет. Видим – Танюша в Елфимово таково скоро пошла, бегом, почитай, побежала, а Марья Гавриловна во Вражке-то присела... Прошло времени этак с полчаса, а пожалуй и боле, глядим, идет Танюша, да не одна, матушка... Вот грех-от какой!.. Вот оно, матушка, какое дело-то вышло... С кем связалась-то!.. Господи, твоя воля!

– Да с кем же? Не томи, сказывай скорее, – с горячим нетерпением спрашивала Виринаю Манефа.

– С колдуньей, матушка... С Егорихой!.. – сказала Вириная и, перекрестясь, примолвила: – Прости, Господи, моя согрешения!..

– С колдуньей! – как полотно побледнев, прошептала Манефа. – От часу не легче!.. Что ж это такое!.. Что с ней содеялось?..

– Сели они, матушка, во Вражке, спервоначалу все трое, потом Танюша пошла в сторону... Марья-то Гавриловна вдвоем с Егорихой осталась... И что-то все толковали, да таково горячо, горячо, матушка... Больше часу сидели они да разговаривали... Посидят, посидят да походят во Вражке-то, потом опять сядут... А на расставанье, матушка, целовалась Марья-то Гавриловна с ней, с колдуньей-то. И Танюша целовалась... Поганились, матушка, поганились – не солгу, сама своими глазами видела... Вот и матушку Евсталию спроси, и Филаретушку, не дадут солгать... Вот какие дела-то у нас без тебя были!.. Вот какие дела!.. До чего дошла, подумаешь!.. Чего тут дивить, что с молодым парнем сбежала, чего дивить?.. Видимо дело, что вражья сила тут действовала... Она, окаянная, треклятая эта Егориха!.. Никто больше, как она!

– Ну, хорошо, – после долгого молчанья молвила Манефа. – Ступай с Богом, Виринаюшка... Допивайте чай-от, девицы, да Василия Борисыча, гостя нашего дорогого, хорошенько потчуйте, а я пойду... Ах ты, Господи, Господи!.. Какие дела-то, какие дела-то!..

\* \* \*

Через день после того, с солнышком вместе, поднялась обитель Манефина. Еще с вечера конюх Дементий с двумя обительскими трудниками подкатил к крыльцу игуменьиной стаи три уемистые повозки с волчками и запонами из таевоchnой циновки.<sup>[337]</sup> Собравшиеся в путь богомолки суетливо укладывали в них пожитки и припасенные матушкой Вириной съестные запасы. Дементий с работниками мазал колеса.

Больше всего Фленушка хлопотала. Радехонька была она поездке. «Вдоволь нагуляемся, вдоволь натешимся, – радостно она думала, – ворчи, сколько хочешь, мать Никанора, бранись, сколько угодно, мать Аркадия, а мы возьмем свое». Прасковья Патаповна, совсем снарядившись, не хлопотала вкруг повозок, а, сидя, дремала в теткиной келье. Не хлопотал и Василий Борисыч. Одевшись по-дорожному, стоял он возле окна, из которого на сборы глядела Манефа.



– Леса горят, – сказала игуменья, глядя на серо-желтое, туманное небо, по которому без лучей, без блеска выплывало багровое солнце. Гарью еще не пахло, но в свежем утреннем воздухе стояла духота и какая-то тяжесть.

– Далёко, – молвил Дементий, оглядев со всех сторон тусклый небосклон. – Дыму ниотколь не видно... Верст за сто горит, не то и больше.

– То-то смотрите – в огонь не угодите, – пристально озирая окаймленный черной полосой леса край небосклона, сказала конюху Манефа.

– Бог милостив, матушка... Зачем в огонь?.. – отозвался Дементий.

– Лесной пожар хóдок. Не оставить ли до другого времени вашего богомолья? – сказала игуменья, обращаясь к Аркадии.

Не ответила Аркадия, промолчала и мать Никанора, слова не сказали и Дементий с работниками... Только пристальней прежнего стали они поглядывать на закрой неба, <sup>[338]</sup> не увидят ли где хоть тоненькую струйку дыма... Нет, нигде не видно... А в воздухе тишь невозмутимая: пух вылетел из перины, когда грохнули ее белицы в повозку, и пушинки не летят в сторону, а тихо, плавно опускаются книзу. И по ветру нельзя опознать, откуда и куда несется пожар.

«А что, как матушка Манефа, убоясь пожара, да не пустит нас в леса, отложит богомолье до другого времени?» – подумала Фленушка и от той думы прикручинилась. Ластясь к игуменье, вкрадчиво она молвила:

– Не бойся, матушка. Далёко горит, нас не захватит. Часу не пройдет после выезда, как будем мы на Фотиньиной гробнице, от нее до могилки матушки Голиндухи рукой подать, а тут и кельи Улáнгерские. Вечерен не отпоют, будем в Улáнгере.

– За нынешний-от день я не боюсь, – молвила Манефа, – а что будет после, если пó лесу огонь разойдется да в нашу сторону пойдет?

– Справим завтра каноны над пеплом отца Варлаама, над могилками отца Илии и матушки Феклы, – продолжала Фленушка. – От Улáнгера эти места под боком. А послезавтра поглядим, что будет. Опасно станет в лесу – в Улáнгере останемся, не будет опасности, через Полóмы на почтовую дорогу выедем – а там уж вплоть до Китежа нет сплошных лесов, бояться нечего.

– Как, по твоему рассуждению, мать Аркадия? Пускать ли вас? – обратилась Манефа к уставщице.

– Вся власть твоя, матушка, – ответила она. – Как твое произволение будет.

– Не быть бы беды от огня, вот чего опасаюсь, – сказала Манефа.

– Коли что, так в Улáнгере подождем огненного утишенья. Разве что ко

Владимирской в Китеж-от не поспеем. А то бы, кажись, ничего.

– Так с Богом! Поднимайтесь в путь, Господь вас храни, – решила игуменья. – Смотри же, Аркадьюшка, все Расскажи матушке Юдифи, что я тебе наказывала, не забудь чего. Да чтобы со всеми ихними матерями беспременно на Петров день к нам пожаловала... Слышишь?

– Слушаю, матушка, слушаю: все передам, все до капельки, – сказала уставщица.

– Ну вот, Василий Борисыч, и посмотришь ты на наши места богомольные, помолишься, – обращаясь к нему, сказала Манефа. – Теперь время тихое, по лесам великих сборищ не бывает, кроме что на Владимирскую на Китеже. Там великое собрание будет. Что в Духов день у Софонтия, что на Владимирскую на озере Светлояре у Китежа, больше тех собраний нет. Да и там не то уж теперь, что в прежние годы. Прежде, бывало, народ-от тысячами собирается, а теперь и две сотни сойдется, так на редкость. Иссякает ревность по вере, люди суету возлюбили, плотям стали угождать, мамоне служить... последни времена!..

Не отозвался на речи Манефы Василий Борисыч.

– Хоть твое дело взять, – продолжала она после недолгого молчанья. – Богу служил, церковных ради нужд труды на себя принимал, а теперь и тебя суета обуяла.

– Как же так, матушка? – спросил Василий Борисыч.

– Да разве по торговле аль по фабрике в приказчиках жить – Богу значит служить? – с грустной улыбкой молвила игуменья.

– Еще не решено, буду аль не буду я служить у Патапа Максимыча, – ответил Василий Борисыч. – А и то сказать, матушка, разве, будучи при мирских делах, в церкви Божией люди не служат? Много тому видим примеров – Рахмановых взять, Громовых. Разве не послужили Господу?

– Так-то оно так, Василий Борисыч, – молвила Манефа. – Но ведь сам ты не хуже моего знаешь, что насчет этого в писании сказано: «Честен сосуд сребрян, честней того сосуд позлащенный». А премудрый приточник [\[339\]](#) что говорит? «Мужа тихо любит Господь, суету же дел его скончает...» Подумай-ка об этом...

– Подумаю, матушка, подумаю, и не один еще раз с вами посоветуюсь, – сказал на то Василий Борисыч. – До сроку времени еще много.

Привели шестерик коней жирных, раскормленных донельзя, лоснится и блестит на них гладкая шерсть, ровно маслом вымазал их Дементий. Скитницы лошадям овса не жалеют, при малой работе на хорошем корму толстеют кони и жиреют не хуже своих хозяек. По паре в каждую повозку

заложили, матери и белицы уселись на грузные пуховики и подушки. В передней повозке тщедушный Василий Борисыч с толстой уставщицей Аркадией сел. Хотела она тут же усадить и мать Никанору, но двух матерей с московским послом повозка вместить не могла; села мать Никанора с Прасковьей Патаповной в другую. В третью повозку Марьюшка с Фленушкой сели.

С благословеньем Манефы и с пожеланьями доброго пути ото всех обительских стариц двинулись из обители повозки и переехали одна за другою Каменный Вражек, направляясь к окружавшему Комаровский скит лесу.

Забившись с головой в постелю и слыша стук съезжавших с обительского двора повозок, безотрадно заливалась слезами и глухо рыдала московская канонница Устинья. Как ни просила, как ни молила она, Манефа не сжалилась на слезу ее, не пустила на богомолье... Ключом кипело пылкое сердце пригожей канонницы, когда на сорочинах не на ее глазах Василий Борисыч с Парашей за одним столом сидел. Разума теперь решалась при одном помышленье, что целу неделю ее погубитель с нею станет по лесам разъезжать... Эх, власть бы да воля!.. Дала бы себя знать Устинья Московка!.. Плохо пришлось бы московскому гостю, да несдобровать бы и Прасковье Патаповне.

Только что въехали в лес, Фленушке вспало на ум до гробницы Фотиньи пешком пройтись. Много не думавши, вылезла она с Марьюшкой из повозки и, подойдя к другой, стала с собою звать Парашу. Ленива была на ходьбу Прасковья Патаповна, но все ж ей казалось не в пример веселей идти с подругами возле дороги, чем лежать на пуховиках с храпевшей во всю ивановскую матерью Никанорой. Подозвали девицы и Василия Борисыча; и он покинул толстую уставщицу, начавшую было нескончаемые расспросы о том, как в Белой Кринице за митрополичьей службой справляют полиелеи.

И матери Аркадии, и матери Никаноре неохота была с мягкими перинами расставаться; то ли дело лежать да дремать, чем шагать по засоренному валежником лесу, либо по тоненьким, полусгнившим кладкам перебираться через мочажины и топкие болотца. Строго-настрога девицам старицы наказали не отходить далеко от дороги, быть на виду и на слуху, и принялись дремать в ехавших шагом повозках.

Все деревья в полном соку, все травы цветут, благоухают. Куда ни оглянись, все цветы, цветы и цветы. Вон там, меж чернолесья, выдалась небольшая сухая полянка – ровно камчатными скатертями укрыта она: то кашка, медуница и пахучий донник<sup>[340]</sup> в цвету стоят; бортевы пчелы,

шмели, осы и шершни<sup>[341]</sup> тучами носятся над ними, громко жужжа на разные голоса. Там желтеет зверобой, синеют темно-голубые бубенчики и середь яркой изумрудной зелени белеет благовонная купёна<sup>[342]</sup> и алеют зрелые ягоды костяники. Перистые ярко-зеленые ветки папоротника густой бахромой виснут над сонными лесными ручьями, полными чистой, студеной, но от смолистых корней окрашенной в бурый цвет водою...

Стоном стоят лесные голоса, без умолку трещат в высокой сочной траве кузнечики и кобылки, выются над цветами жучки и разнообразные козявки, воркуют серо-сизые с зеленой шейкой вяхири и красногрудые ветютни, как в трубу трубят черная желна, стучат по деревьям дятлы, пищат рябчики, уныло перекликаются либо кошкой взвизгивают желтенькие иволги, трещат сойки, жалобно кукуют кукушки и на разные голоса весело щебечут свиристели, малиновки, лесные жаворонки и другие мелкие пташки.<sup>[343]</sup> И все эти звуки сливаются в один стройный гул, полный жизни и удовольствия жизнию.

– Всякое дыхание хвалит Господа, – с умилением молвил Василий Борисыч, прислушиваясь к лесным голосам.

– Птички распевают, и вся недолга, – отозвалась Фленушка. Ей леса были не в диковину.

Матери в повозках молчали.

Вот выдалась прогалинка. Будто розовыми шелковыми тканями покрыта она. То сон-трава<sup>[344]</sup> подняла кверху цветы свои. Окраины дороги также сон-травой усыпаны. Бессознательно сорвал один цветок Василий Борисыч. Он прилип к его пальцам.

– Брось, брось! Что ты делаешь, Василий Борисыч?.. Брось, говорят тебе... Не след трогать сию траву, грех! – закричала из повозки мать Аркадия.

– Что ж за грех в том, матушка? – спросил уставщицу Василий Борисыч, кидая сорванный цветок.

– А забыл, что в Печерском патерике про него пишется? Про сей самый цветок, именуемый «лепок»? Это он самый «лепок» и есть, – говорила мать Аркадия. – Видишь, к пальцам прилип!.. Вымой руки-то скорей, вымой... Хоть из колдобинки зачерпни водицы, вымой только скорее.

Сплеснул Василий Борисыч руки из мутной колдобины и, вытирая их ручником, поданным Аркадией, молвил:

– Что ж про эти цветы в патерике писано?.. Не припомнится что-то, матушка...

– Не могу и я теперь доподлинно сказать тебе, в патерике ли то писано, у Нестора ли в летописце. Домой воротимся, укажу, – учительно сказала Аркадия. – А писано вот что: «Во святей Киевской Печерской обители преподобных Антония и Феодосия бе старец, именем Матвей. И бе той старец прозорлив. Единою стоящу ему в церкви на месте своем, возвед очи своя, позре по братии, иже стоят поюще по обема странама. И видя обходяща их беса во образе ляха в луде<sup>[345]</sup> и носяща в приполе цветки, иже глаголется «лепок». И обходя возле братии, взимая из лона лепок вержаще на кого любо: аще прилепляшесь кому цветок в поющих от братии, и той мало постояв и расслаблен бываше умом, исходяше из церкви, шед в келию и спа; аще ли вержаше на другого и не прильняше к нему цветок, стояше крепок в пеньи, дондеже отпояху утреню».<sup>[346]</sup> Вот это тот самый бесовский цветок и есть. По народу «сонулей» зовут его, «дремой», потому что на сон наводит, а по-книжному имя ему «цвет лепок». Не довлеет к нему прикасаться, понеже вражия сила в нем.

– У нас на деревне сказывают, что охотник один осенью по́ лесу ходил, – начала Марьюшка головщица. – Ходит он по лесу, видит, медведь землю дерет. Выдрал медведь корешок от которой-то травы и зачал его лизать. Лизал, лизал, да ровно хмельной и стал, насилу отошел от места. Охотник возьми тот корешок, да и ну сам лизать его по-медвежьему. Полизал, охмелел и залез в пустую берлогу. Да в ней до Василия Парийского,<sup>[347]</sup> когда медведь из берлоги выходит, и проспал. Проснулся, ан корешок у него в руках. Стали по тому корешку обыскивать, от какого он зелья, и дошли, что тот корень – сон-трава, вот эта самая.

Не ответил никто на слова Марьи головщицы. Все промолчали, идучи друг за дружкой по узкой тропинке. Подошла Фленушка к Василию Борисычу и тихонько сказала:

– А захочет молодец судьбу свою узнать, пожелает он увидеть во сне свою суженую – подложить ему под подушку липкий цветочек этой травы. Всю судьбу узнает во снах, увидит и суженую... Не сорвать ли про тебя, Василий Борисыч?.. Так уж и быть, даром что бесовский цвет, ради тебя согрешу, сорву.

– Не для чего мне судьбу узнавать, – не глядя на Фленушку, ответил Василий Борисыч.

– Однако ж... – заговорила было Фленушка.

Но громкий голос Аркадии покрыл ее полусшепот:

– И в раи Господне росло древо смерти, и ходил змей, в него же вселился диавол. Диво ли, что теперь на нашей трудной земле и древа, и

травы, и скоты, и звери, и всякие гады ползущие не от Бога, а от врага, не славу Божию исповедуют, а вражеским козням на человеческую погубу служат? Писанием умудренному уму подобает познати каждой вещи извещение – к добру она или к худу. В том и премудрость. И нам, малым и скудоумным, не вместити бы тоя премудрости, аще бы не святых отец писания просвещали нас... Так ли говорю, Василий Борисыч?.. Да полно ты, толчея!.. Чего без пути толчешься, когда люди умней тебя говорят! – прикрикнула она на Фленушку, а Фленушка, подсмеиваясь над ее речами, слегка дергала за кафтан Василья Борисыча.

– Премудрости Господни исполнена земля, – отозвался Василий Борисыч. – Всяка жива тварь на службу человеку, и всяк злак на пользу его.

– Да полно ли вам? – брюзгливо молвила ему причудливая Фленушка. – И в обители книжное пуще горькой редьки надоело, а вы с ним и на гулянке. Пуцай ее с Никанорой разводит узоры. Попросту давайте говорить. В кои-то веки на волю да на простор вырвались, а вы и тут с патериком!.. Бога-то побоялись бы!

– Это я так, Флена Васильевна, – сказал Василий Борисыч, отходя немного в сторону за кусты. – Нельзя же – старшие... А ведь бы, кажись, отсюда не вышел. Очень уж хорошо.

– Надоело бы, – подхватила Фленушка и, быстро обратясь к Марьюшке, вскрикнула, указывая ей рукой в перелесок: – Глянь-ко!.. Костяники-то, костяники-то что!.. Видимо-невидимо!..

Любила ту ягоду Марьюшка: не ответя ни слова, кинулась она в сторону и, нагнувшись, принялась собирать алую костянику. Василий Борисыч шел сзади телег, нагруженных матерями. С одного бока бойко идет развеселая Фленушка, с другого павой выплывает Прасковья Патаповна.

– Куда уж вам в лесах пребывать! – игриво продолжала Фленушка. – Разом бы надоело.

– Никакому человеку такая красота надоесть не может, – отозвался Василий Борисыч. – Нельзя в таком месте соскучиться: и дышится вольнее, а на душе такой мир, такое спокойствие.

– Что ж нейдете пустынножить, коли так леса полюбились вам? – лукаво улыбаясь, молвила Фленушка. – Вон там, подальше отсюда, в Полеме, старцы отшельники век свой в лесу живут, с утра до ночи слушают, как птички распевают. И вам бы к ним, Василий Борисыч.

– Что ж? – ответил он. – Добрая жизнь, богоугодная!.. Благой извол о Господе оставить мир и пребывать в пустыне. Все святые похваляют житие пустынное... Только не всяк может подъять такую жизнь.

– Да, не всяк может, – думчиво молвила Фленушка, а потом, как бы вострепенувшись, прибавила: – Не про нас с вами такая жизнь, Василий Борисыч! На это мы с вами не сгодились.

– Отчего ж так? – улыбаясь, спросил Василий Борисыч.

– А оттого, – с лукавой усмешкой ответила Фленушка, – что Божье у нас на языке, а мирское на уме... Правду ль сказала?.. А?.. – прибавила она и весело захохотала.

– Не знаю, что на это сказать... Не пробовал в пустыне жить, – молвил Василий Борисыч.

– И не пробуйте, – с притворной скромностью, опустив глаза, ответила Фленушка. – Разве вдвоем... чтобы не очень скучно было... – примолвила она, улыбаясь.

– Вдвоем-то, конечно, повеселее, – сказал Василий Борисыч, тоже улыбнувшись. – По крайности есть с кем слово перемолвить.

– Конечно, – согласилась Фленушка. – Живучи вдвоем, друг на дружку взглянешь да улыбнешься, а живучи в одиночестве, на себя глядя, только всплачешься... Ты, Параша, как о том думаешь?

– Не знаю, – вяло ответила Прасковья Патаповна.

– Уж будто никогда о том и не думала?.. И на мысли никогда о том не впадало?.. – стала приставать к ней Фленушка.

– Не помню, – молвила Параша, порывисто отвернувшись от подруги, сама, взглянув на Василия Борисыча, ни с того ни с сего заалела, как та костяника, что сбирала Марья головщица.

– Ай, батюшки светы!.. Ягод-то что, ягод-то!.. – вскрикнула Фленушка и живо бросилась в сторону, оставя Парашу вдвоем с Васильем Борисычем.

Того в жар кинуло. Повозки с сонными матерями уехали вперед, Фленушка с Марьюшкой, сбирая ягоды, скрылись в лесной чаще. Никого кругом, а он с глазу на глаз с приглянувшейся ему пышкой-девицей.

Слова не вяжутся. Куда сколь речист на беседах Василий Борисыч – жемчугом тогда у него слова катятся, льются, как река, а тут, оставшись с глазу на глаз с молодой пригожей девицей, слов не доищется, ровно стена, молчит... Подкосились ноженьки, опустились рученьки, весь как на иглах... Да, и высок каблучок, да подломился на бочок.

Соберется с духом, наберется смелости, скажет словечко про птичку ль, в стороне порхнувшую, про цветы ли, дивно распустившие яркие лепестки свои, про белоствольную ли высокую березу, широко развесившую свои ветви, иль про зеленую стройную елочку, но только и слышит от Парашы: «да» да «нет». Рдеют полные свежие ланиты девушки, не может поднять она светлых очей, не может взглянуть на путевого



товарища... А у него глаза горят полымем, блещут искрами.

«Ох, искушение – думает, негодуя на себя, Василий Борисыч. – С Устиньей в два слова обо всем перемолвил, а с этой прильпе язык к гортани моей!»

А сам, идя рядышком с Прасковьей Патаповной, понемножку да потихоньку к ней близится... Та краснеет, сторонится... К такому месту подошли, что некуда сторониться – густо разрослись тут кусты можжевельника. Василий Борисыч будто невзначай коснулся руки Парашиной. Она дрогнула, но руки не отняла... И как же заныло, как сладко защемило сердце девушки, когда он взял ее за руку...

Идут, молчат... Слегка пожимает Василий Борисыч руку Параши... Высоко у нее поднимается грудь, и дыхание ее горячо, и не может она взглянуть на Василия Борисыча... Но вот и сама пожала ему руку... Василий Борисыч остановился, и сам после не мог надивиться, откуда смелость взялась у него – обвил рукою стан девушки, глянул ей в очи и припал к алым устами дрожащими от страсти губами...

Эх, леса-лесочки, алые цветочки! Век бы тут гуляти, алы цветы рвати, крепко обниматься, сладко целоваться!..

– Поладили, – шепнула Фленушка головщице, осторожно выглядывая из-за кустов можжевельника на Василья Борисыча с Парашей...

– Что тут хорошего-то? – брюзгливо отозвалась Марьюшка.

– Одной, что ли, тебе с саратовцем целоваться? – досадливо молвила ей Фленушка. – Всяка душа сладенького хочет. Не обсевок в поле и Параша.

– Так-то оно так, – сказала Марьюшка, – а как матушка узнает, тогда что будет?

– Будет так будет, а не будет, так что-нибудь да будет, – отрезала Фленушка и громко запела удалую песню:

Курёвушка, кулева<sup>[348]</sup>  
Закурила, замела.  
Закутила-замутила  
Все дорожки, все пути:  
Нельзя к милому пройти!  
Я пойду стороной,  
С милым свижуся,  
Поздороваясь:  
«Здравствуй, миленький дружок,  
Ко мне в гости гости



Да подольше сиди:  
С стороны люди глядят,  
Меня, девушку, бранят.  
Уж как нынешние люди  
Догадливые.  
Догадливые, переводливые!  
Ни кутят, ни мутят,  
С тобой, милый, разлучат».

Не слушая Фленушкиной песни, за опушкой леса по другую сторону дороги, шли рука в руку Василий Борисыч с Парашей... Шли молча, ни тот ни другая ни слова... Но очи обоих были речисты...

Половину пути прошли. Подошли к парочке Фленушка с Марьюшкой. Тут с дороги поворот, лесная тропа до могилки матушки Фотиньи пойдет узенькая, в повозках тут не проехать. Разбудили от крепкого сна уставщицу да старицу Никанору и, оставя лошадей с работниками на дороге, вшестером пошли ко «святому месту» по кладкам, лежавшим на сырой болотистой земле. Гуськом надо было идти. Впереди выступала мать Никанора, за нею уставщица Аркадия, потом Марьюшка, Фленушка и Параша. За Парашей, всех позади, шел Василий Борисыч. Кладки были узенькие, местами отставали одна от другой на четверть и больше. На руку было это Василью Борисычу. Никто назад не оглядывался, каждая себе под ноги смотрела.

Учительная мать Аркадия меж тем громогласно читала наизусть поучение о прелести и суете мира сего.

Далеко раздавалась по лесу громкая, протяжная речь ее:

– «Жития нашего время яко вода на борзе течет, дние лет наших яко дым в воздухе развеваются, вmale являются и вскоре погибают. Мнози борются страсти со всяким человеком и колеблют душами. Яко же волны морские – житейские сласти, и похоти, и желания восстают на душе... О человеке! Что твориши несмысленне, погубляеши время свое спасительное, непрестанно весь век живота твоего, телу своему угождая? Что хочеши?..»

Гнилая кладка подломилась, и проповедница стремглав полетела в болото. Грузно шлепнулась она в грязь, поросшую осокой и белоусом. [\[349\]](#) Насилу вытащили ее Никанора с Марьюшкой.

Не стерпела Фленушка: во всю мочь расхохоталась над карабкавшейся в грязи уставщицей. И досталось же ей за то от Аркадии. Иное зачала

поучение, щедро пересыпая бранными словами.

– Чему заржала, окаянная? – визгливо шумела она, отряхая жидкую грязь, со всех сторон облепившую иноческое ее одеянье. – Тряслось бы над тобой да висло, беспутная!.. Чирей бы те в ухо да камень бы в брюхо!.. Чем бы пожалеть старуху, а она зубы скалит, пересмеивает... Чтоб тебя пополам да в чéрепья!.. И угораздила меня нелегкая с этакой шалопутницей на богомолье идти!.. Гулянки у тебя на уме только да смехи, о молитве и думать забыла... Околеть бы тебе без свечей, без ладану, без гроба, без савану!.. Искуши меня, Господи, до макова зернышка, коль не расскажу я про все твои проказы матушке!.. Задаст она тебе, задаст, взъерепенит бесстыжую, вскочит косы-то!.. Погоди ты у меня, погоди!..

А Фленушка пуще да пуще хохочет над старицей. Втихомолку и Марьюшка с Парашей посмеиваются и Василий Борисыч; улыбается и степенная, чинная мать Никанора. И как было удержаться от смеха, глядя на толстую, покрасневшую с досады уставщицу, всю в грязи, с камилавкой набок, с апостольником чуть не задом наперед. Фленушка не из таковых была, чтоб уступить Аркадии. Чем та больше горячилась, тем громче она хохотала и больше ее к брани подзадоривала.

И Бог знает, чем бы это кончилось, если б шедшие гуськом богомольцы не дошли, наконец, до маленькой полянки, середь которой стоял почерневший от дождей и ветхости, ягелем поросший гóлубец. То была гробница добрым подвигом подвизавшейся матери Фотиньи.

\* \* \*

До Питиримова разоренья на этом месте стояла женская обитель старицы Фотиньи Нижегородки. Вблизи от нее, с версту либо меньше, другая обитель стояла старицы Голиндухи. Много в ту пору на Керженце и в лесах Чернораменских учительных и доброго жития стариц бывало. Строгою жизнью, добрыми подвигами славились игуменьи Шарпанских обителей Марья да Федосья да начальная старица Елховского скита мать Иринарха. Великою начитанностью, острым разумом и учительным словом во все концы старообрядства гремела начальная старица Капитолина Ярославка, диаконова толка, да старица Анисья Козьмодемьянка. С самим Питиримом они препирались и крепкими адамантами древнего благочестия почитались; но не было такой постницы, не было такой подвижницы, как начальная старица Фотинья; и не было такой учительной и начитанной игуменьи, как мать Голиндуха. К Фотинье с разных сторон сходились

старообрядцы поучиться добрым порядкам и подвижничеству, у Голиндухи соборы даже собирались. Однажды на Тихонов день<sup>[350]</sup> многие старцы и старицы, именитые люди и духовного чина к матери Голиндухе в обитель сходились разбирать поподробну «спорные письма» протопопы Аввакума и обрели в них несогласных речей со святыми отец писанием много, за то и согласились отложить те письма. И настало оттого разделение керженских старообрядцев на Софонтиево и Онуфриево согласия. И по времени те, что Софонтьева толка держались, во многих спорах Онуфриевых одолели, и тому одолению много послужили мать Фотинья да мать Голиндуха. Оттого и память их доныне на Керженце честно хранится, оттого на места разоренных скитов, на ихние могилы и ходят Богу молиться, поминны творить по крепким ревнительницам старообрядства.

На Фотиньиной полянке стихли и брань уставщицы, и Фленушкин хохот. Положив семипоклонный начал, замолитвовала Аркадия канон за умерших. Отпели канон над могилой Фотиньи и помянули ее взятыми из Виринеиной келарни кутьей да холодными блинами.

Отправив службу по Фотинье, богомольцы пошли дальше в лес по тоненьким кладкам. Тут стоячее болото было жиже, промеж зеленой осоки и пышных ярко-желтых купавок<sup>[351]</sup> сверкали глубокие лужи, как пеной подернутые железною ржавчиной. Между ними попадались «вадьи» и «окна»; угодишь туда – нет спасенья: пиши к родным, творили бы поминки... Опасливей прежнего идут гуськом друг за дружкой богомольцы, боясь, чтоб опять кому не попасть в болото, как сулил Господь попасть уставщице. Сухая полянка матери Голиндухи была гораздо обширней, чем у Фотиньи; почти сплошь была она крыта ярким зелено-бурым мохом, и на нем росло множество несозрелой еще брусники.

И над Голиндухиной могилкой справили обычную службу и над нею пропели канон и кутьей да блинами помин сотворили. Дальше гуськом по тонким кладкам пошли и вышли на дорогу, где их ожидали терзаемые оводом кони.

– Подите-ка вы наперед, – молвила мать Аркадия конюху Дементью и работникам, – а я тем временем переменю одежду. Ишь грех какой! Как изгряднулась!

Осталась Аркадия с Никанорой да с Марьюшкой головщицей. Давай перины поднимать да узлы развязывать. Достала уставщица чистое белье и запасное верхнее платье. Переодевшись, села в переднюю повозку, а Никанора с Марьюшкой в задние две поместились, и так поехали одна за другой догонять ушедших вперед. Скоро нагнали и по-прежнему

разместились. Место возле дороги было посуше; девицы с Васильем Борисычем по-прежнему пошли друг за дружкой по лесной опушке, по-прежнему отдалился московский посол с Парашей, по-прежнему вел ее за белую руку, по-прежнему прижимал ее к сердцу и срывал с губ Параша горячие поцелуи. Ни он ни она ни слова... К чему слова, зачем длинные речи?.. И без того знают, что полюбили друг друга. Не любит русский человек про любовь разговоры водить – молчком все больше...

\* \* \*

Багровое солнце, плывя в серо-желтом тумане, давно уж с полдён опустилось, когда путники наши добрались до Улангера. Чищенина<sup>[352]</sup> была тут обширная и сплошь покрыта выколосившимся и налившимся уже хлебом. Среди чищенины, со всех сторон окаймленной зеленевшими пожнями, по белоснежному кварцевому песку струилась светлая речка Кóзленец. По одну ее сторону стоял скит Улангерский с десятью обителями, по другую Фундриковский – там было две обители.

Еще до Питиримова разоренья стоял на Козленце небольшой скиток Фундриков, место было затишное, укромное, разоренье не коснулось того скита. Гораздо позже, вскоре после чумного года и пугачевщины, разрослось здесь скитское население – появились новые обители и за речкой супротив Фундрикова. То был Улангер.

До того улангерские келейницы жили верст за сто оттоле в лесах Унженских; там у них был скит большой и богатый. Тем по старообрядству он славился, что немало в нем живало дворянок: чухломских, галицких, пошехонских. В старые годы предки тех «бар», как зовут их в народе, бывали на службах великих государей, верстаны были поместьями и жалованы ими в вотчину. Внуки их, правнуки, засев в лесах, завалившись в болотах, всегда «в нетях бывали», не являясь на государеву службу. Оттого жалованных земель у них не прибывало, а каждого из бар Господь благословлял чадородьем не меньше плодущего рода – попов да дьяконов. Именья дробились, и बारे вконец обедняли. Случалось, что у семи дворян бывала одна крепостная душа и два либо три загона дрянной земли. Жили они беднее крестьян, а чванства и родовой спеси было столько, что с каждого хватило бы на дюжину богатых вельмож. Работать им нельзя, потому что «баре», а служить тоже нельзя, потому что очень уж неотесаны, да и грамоте редкий из них учился. От крестьян отличались только запонкой на рубаше да кружившим ихние головы званием «барина». Народ

не уважал бар, смеялся над тунеядцами и сложил про них две меткие поговорки: «бара – по грошу пара» да «семь дворянок на одной кобыле верхом едут». Такие-то баре, вдовы барыни и боярышни наполняли старообрядские скиты, находившиеся от них поблизости. Таков был и Старый Улангер.

Долго там проживали они. Скит Улангерский прославился, дорожили им московские и других городов старообрядцы. «Знайте, дескать, что и меж нас есть родовые дворяне благородные», и щедрой рукой сыпали в Улангер подаяния. И жизнь в том скиту была безопасней и привольнее, чем по другим, – и попы и полиция не так смело к нему подступали.

С умилением и гордостью рассказывают скитницы про Старый Улангер. Житие, говорят, было там просторное, широкое, небоязное, порядки добрые, строгие, и помногу беглых попов в том скиту пребывало. И колокольный звон, и крестные ходы вокруг скита и по окольным полям, и свободное отправление погребения с громогласным пением и целым строем попов во всем чину своем – все это бывало в захолустном, забившемся в дремучие леса Улангере и придавало ему блеск и славу по всему старообрядству. И неведомо отчего прогневался Господь на Улангерские обители: в пору необычную, на самое Богоявление нашла грозовая туча, и молния ударила в главную скитскую часовню. Поднялся вихрь и раскидал полымя по всему скиту; часа через два ничего от него не осталось. Со страха и ужаса по всем сторонам разбежались улангерские матери.

Летом галицкая боярыня Акулина Степановна из рода Свечиных, с племянницей своей Федосьей Федоровной Сухониной, собрала во един круг разбежавшихся матушек, пошла с ними вкупе на иное место и на речке на Козленце, супротив старого скита Фундрикова, ставила обитель Спаса Милостивого. По малом времени собрались сюда и другие скитские жители, и ставлено было на Козленце двенадцать обителей, десять женских, две мужские. Дворянского рода белицы и старицы до последнего времени не переводились в Улангере, и хоть этот скит далеко не был так богат, как Комаровский, Оленевский или Шарпанский, но славу имел большую, потому что в нем постоянно привитали бедные дворянки чухломские, галицкие и пошехонские. И каких сказок про них не рассказывали: и близки-то они ко двору, и имеют-то среди царских вельмож близких родственников, и есть-то у них жалованные грамоты, и теми-де грамотами на веки вечные обеспечена неприкосновенность скита Улангерского.

И что было с пошехонскими, галицкими и чухломскими «барами», то

сталось и с потомками их, улангерскими келейницами. Сколько было у них бедноты и наготы в сравнении с другими скитами, рассказать того невозможно, а спеси боярской в сотню раз было больше того. Как можно посылать по городам за сборами, как можно канонниц в Москву отправлять? Сама Москва должна двинуться на речку Козленец поклониться скиту дворянскому! Знать никого не хотят – ходят ребром, глядят козырем. На что нам богатство, была бы спесь, была бы перед нами пыль, люди бы перед нами сторонились... Оттого и забеднел скит Улангерский.

В последнее время перестали дворянской славой кичиться в Улангерских обителях. Дворянок осталось там мало; да и те были без зубов, с печи не слезали, доживая на ней долгий век свой. Но старая спесь не совсем вымерла в Улангере – не со многими обителями других скитов тамошние матери знакомство и хлеб-соль водили. Обитель Манефина в славе была и в почете, оттого знались с нею и дорожили знакомством улангерские матери, особенно игуменья самой большой обители, мать Юдифа, из ярославского купеческого рода. К ней-то и въехали усталые донельзя комаровские богомольцы.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Девушка, что ловчая птица. Трудно сокола выносить, а перевабишь, [353] сам на руку станет летать. Недотрогой-царевной глядела Прасковья Патаповна, выезжая из Комарова, а когда добрались богомольцы до Улангера да разместились по кельям и светлицам Юдифиной обители, красна девица встосковалась: «Где-то радость моя?.. Что-то он, миленький дружок, поделывает?..»

И Василью Борисычу не сидится на месте. Радехонька была мать Юдифа знакомому уж ей московскому уставщику. Еще когда певчая стая Манефиной обители ездила в Осиповку хоронить Настю, Василий Борисыч, оставаясь в Комарове без дела, побывал у матери Юдифы и много старался склонить ее к признанию владимирского архиепископа.

Усадила Юдифа Василья Борисыча в почетный угол, угощает его и чаем и сластями, заводит с ним речи про австрийских архиереев. Но московскому послу не до посольства. Не архиерей у него на уме, а белые атласные плечи; не владыку Антония он на памяти держит, про то сладко вспоминает, как, гуляя по лесочку рука об руку с Прасковьей Патаповной, горячо обнимал ее, целовал в уста алые и в пухлые, мягкие щеки. И дивится словоохотливая Юдифа его молчанию; отчего это, думает она, то и дело в речах он путается, невпопад на вопросы отвечает? Узнав, что Василий Борисыч, ради богомольного подвига, почти всю дорогу пешком прошел – «устал, родименький, притомился, – подумала, – от великих богомольных трудов расстроило его, сердечного».

– Отдохнуть бы вам с дорожки-то, гость дорогой, – молвила Юдифа Василью Борисычу. – После трапезы отдохнуть не вздумается ли?

И кликнув белицу Домнушку, игуменья велела ей постлать поскорее гостю постель в соседней светелке, что была над кельей игуменьиной.

А Домнушка девица молоденькая, собою маленька, личиком беленька, очи соколы, брови собопы, глаза с поволокой, роток о позевотой, а девичья краса – русая коса лежит на спине до шелкова пояса. Веселая такая была да нежная, а сама чиста, как голубица. Когда впервые Василий Борисыч в Улангере был, облюбовал он эту девицу и почаству с ней втихомолку заигрывал. Обрадовалась теперь Домнушка гостю нежданному, а он ровно и не знает ее; даже не поздоровался. И зарделось с досады белое личико Домнушки, заискрились слезинкой очи звездистые, не того ждала – не того она надеялась, живучи в одиночестве, помышляя каждый день о

Василье Борисыче.

Только что Юдифа из кельи вон, на место ее Фленушка.

– Ну что? – спросила она, изо всей мочи хлопнув по плечу погруженного в думу Василья Борисыча.

Тот даже присел от нечаянного удара разудалой девицы.

– Ох, искушение! – вскрикнул он и, едва переводя дух, примолвил: – Совсем исполо́били вы меня, Флена Васильевна! Можно разве этак пугать человека?.. Мало ль что с перепугу может случиться? Медведь и покрепче меня, да и с тем с испугу-то что бывает?

– Ишь незамайка какой!.. – лукаво усмехаясь, молвила Фленушка. – Где таково, Василий Борисыч, изнежничались? В светлой светлице, аль в чистом поле, али в лесочке, срывая цветочки?

– Не знаю, как понимать ваши речи, Флена Васильевна, – сказал Василий Борисыч, будто не понимая ее намеков.

– Речисты уж больно стали вы, Василий Борисыч. С ваших столичных речей, может статься, нам, лесным дурам, плакать придется, – продолжала Фленушка.

– Да что это вы нынче притчами все говорите? Вы бы прямо. Понятнее, – сказал Василий Борисыч.

– Те мои и речи, что птицу кормом, а девушку льстивыми речами обманывают, – с коварной усмешкой молвила Фленушка.

Василий Борисыч ни слова в ответ.

– Сгубили вы ее своими речами, – продолжала Фленушка.

«Ох, искушение!» – подумал Василий Борисыч. Да тут же и вспало ему на ум: «Про какие же речи она говорит? Мы ведь все время единого слова не перемолвили».

– Сидит, разливается-плачет, – молвила Фленушка. – Хоть пошли бы да утешили, покаместь у наших стариц с Юдифой тарабары идут.

– Ох, искушение! – вполголоса сказал Василий Борисыч.

– Нечего таиться-то, – сказала Фленушка, положив ему на плечо руку. – Мы с Парашей душа в душу, она все рассказала...

– Ах, Флена Васильевна!.. Флена Васильевна!.. – только и мог, краснея и глубоко вздыхая, промолвить Василий Борисыч.

– Вот что: теперь, пожалуй, лучше не ходите к ней, – сказала Фленушка, – очень уж людно здесь, да опять же на нас, на приезжих, много глаз глядят... Вечерком лучше, после заката, – на всполье тогда выходите. Как сюда въезжали, видели крест большой в землю вкопан стоит? От того креста дорожка вдоль речки к перелеску пошла, по ней идите... Да смотрите, чур не обмануть. Беспременно приходите.



Ни слова Василий Борисыч, одно заветное шепчет он слово: «Ох, искушение!»

– Что ж нашей царевне-королевне велите сказать? – настойчиво спросила Фленушка. – Придете аль нет в лесочке вечером тоску-горе размыкать?.. Придете аль нет?

– Приду, – смущаясь, едва слышно проговорил Василий Борисыч.

– Ну, ладно... Да вы не бойтесь. Ловкой рукой все обрядим... Сама настороже стану, – лукаво усмехнувшись, бойко и резво проговорила Фленушка.

– Ох, искушение! – опуская голову, молвил Василий Борисыч.

– Погляжу я на вас, – с задорной улыбкой сказала ему Фленушка, – настоящий вы скосырь московский!.. Мастер девушек с ума сводить... Что-то Устюша теперь?.. Ну, да ведь я не за тем, чтоб ее поминать... прощайте, не обманите же... Только что после ужина матери по кельям разбредутся, тотчас к большому кресту да тропой в перелесок... Смотрите ж.

И, как резвая касатка, вон из кельи порхнула.

А вовсе не Парашины речи-желанья Василью Борисычу она говорила. Высмотрев украдкой, что было в лесочке, вздумалось Фленушке и эту парочку устроить. Очень любила такие дела, и давно ей хотелось не свою, так чужую свадьбу уходом сыграть. По расчетам ее, дело теперь выпадало подходящее: влез по́ пояс Василий Борисыч – полезет по горло; влезет по горло – по уши лезь; по́ уши окунется – маковку в воду... Того хочет Флена Васильевна, такова ее девичья воля.

\* \* \*

По случаю приезда московского посла и комаровских матерей в Юдифиной обители было большое собрание. Сошлись старицы изо всех обителей.

Досыта наговорились они. Успокоясь от сердечной тревоги, много говорил с ними Василий Борисыч. Толковали об архиерействе, улангерские старицы не были склонны к Белокриницкой иерархии, сомневались в ее чистоте, ересей сокровенных боялись, больше всего смущало их, не обливанец ли грек Амвросий. Если обливанец – все его архиерейство и священство безблагодатно, и, кроме душевной гибели, от него ожидать ничего невозможно. Василий Борисыч Бога в свидетели приводил, что сам своими глазами видал, как в Эносе, на родине митрополита, греки детей в три погруженья крестят, что там про обливанство слуху нет и весьма им

гнушаются, как богомерзкой латинской прелестью. От книг доказывал, что хоть у греков вера от басурманского насилия и стала пестра, но в крещении они нимало не погрешили. Еще больше было речи об опасности, грозившей скитам Керженским и Чернораменским. Юдифа и другая улангерская игуменья, мать Минодора, получили из Петербурга от благодетелей такие ж недобрые вести, как и Манефа. Толковали, вздыхали, охали и тем порешили, что где гроза, там и ведро. Господь не без милости – пронесет мимо грозную тучу и бедных сирот учинит беспечальны: надо во всем на его святую волю положиться. И то порешили, чтоб на Петров день старицы из Улангерских обителей ехали к матушке Манефе соборовать, что надо делать, что предпринять при таких тревожных вестях.

Солнце меж тем багровело больше и больше, серо-желтый туман застилал лазурь небесного свода и с каждым часом больше и больше темнел. И на земле затуманились дальние предметы: перелесок и фундрикские строения ровно в дымку закутались. Гарью запахло – значит, пожар разгорался не на шутку, но где, близко ль, далеко ль, не знает никто. Во время лесных пожаров сухой туман и запах гари распространяется иногда на сотни верст от горелого места. Оттого в Улангере и были спокойны – никто не тревожился. «Горит где-то далёко, до нас не дойдет, – говорили келейницы, – а хотя б и дошло, так нам не беда – Улангер не лесная деревушка, чищенина большая, до келий огню не добраться».

Еще далёко не дойдя до края небосклона, солнце скрыло лучи и померкло, опускаясь в непроглядную полосу сухого тумана. Нет вечерней зари, прямо без зари ночью небо покрылось. Повеяло холодком, столь отрадным после зноя длинного июньского дня. Над речкой, на пожнях и болотах стали расстилаться влажные туманы. От гари лесного пожара не белыми они кажутся, а какими-то сероватыми. Бывшие у Юдифы на соборе матери, распрощавшись с комаровскими гостями, разошлись по обителям. Везде покончили работы, совершили вечернюю трапезу и разошлись по кельям на боковую.

Фленушка уговорила двух знакомых ей девиц Юдифиной обители вместе пойти погулять по вечернему холодку. Те охотно согласились. Сказали Домне, та не пошла, тем отговорилась, что голова у ней разболелась, а в самом деле разболелось у нее сердце. На что ж это в самом деле похоже? В первый раз приезжал – заигрывал, еще побывать обещался, гостинцев привезти, и вдруг ни с того ни с сего – взглядом подарить не хочет... А она ль об нем не думала, она ль не надеялась?.. И очень печалилась нежная Домнушка, но втайне печаль свою сохраняла... Пошли

разгуляться Фленушка с Парашей да с Марьюшкой, были с ними две Юдифины девицы: развеселая, разудалая, быстроногая смуглянка Дуня да голосистая чернобровка Варя, головщица правого клироса. Только что вышли на всполье да отошли от келий подале, тотчас за мирские песни, а сами все ближе да ближе к перелеску.

Василий Борисыч из обители вышел, и неспешными шагами идет он к большому кресту. Подошел, остановился, положил перед крестом семипоклонный начал, ровно перед добрым делом... От креста по узкой тропинке к темному лесочку пошел. Фленушка заметила гостя, только что выбрался он на всполье, голос ему подала. Подошел к девицам Василий Борисыч.

В малиновом шелковом сарафане с палевым передником и с белым платочком на голове сидела на траве, окруженная подругами, Параша. Как и всегда, была неразговорчива, но незаметно было в ней ни былой лени, ни прежней сонливости. Пошла ли б она поздней порой в поле, покинула бы разве мягкий пуховик, если б не случилось с ней в тот день, чего отродясь еще не случалось. Узнала горячие объятья, испытала сладость поцелуев и ровно переродилась; взор стал смышленнее, лицо думчивее, движенья быстрее. Если б Фленушка с Марьюшкой и ничего не подсмотрели в лесу, они, как опытные девицы, сразу бы, взглянув на Парашу, догадались, отчего такая перемена с ней стала. Любовь, что огонь либо что кашель: от людей не скроешь.

Фленушка с девицами, ведя затейные разговоры, ушли в глубь лесочка. Увидела Параша, что осталась одна, а Василий Борисыч стоит перед нею... голова у ней закружилась, сердце так и упало... Убежать бы скорей, да с места не встается... Остаться и боязно и стыдно... Однако осталась.

Василий Борисыч возле нее на травку сел и молча взял за руку. Параша ни слова.

Крепко он обнял ее и стал целовать... Ни слова Параша... Отстраняется от поцелуев, но не отталкивает разгоревшегося страстью московского гостя.

И все молчат... А хмелевая ночь темней да темней, а в дышащем истомой и негой воздухе тише да тише. Ни звуков, ни голосов – все стихло, заснуло... Стопами неслышными безмолвно, невидимо развеселый Ярило ступает по Матери-Сырой Земле, тихонько веет он яровыми колосьями и алыми цветами, распаляет-разжигает кровь молодую, туманит головы, сладкое забытие наводит...

Обнял Василий Борисыч Парашу – молчит... Прильнул распаленными устами к ее устами – молчит..

Реет над ними Ярило, кроет любовь их серебристым своим балахоном... Радостно улыбаясь, осыпает их цветами весны, цветами любви, цветами жизни...

Заготовила было Фленушка сон-траву подложить под подушку Василью Борисычу – пусть бы приснился ему вещий сон, пусть бы узнал он судьбу свою, увидел бы во сне свою суженую... Бросила липкий цветок – не надо... Наяву все узнано, не во сне все угадано...

\* \* \*

На другой день путники отправились на прах сожженного страдальца Варлаама. Пристали к ним старицы и белицы улангерские... И все женский пол, из мужчин только Василий Борисыч да еще доживавший свой век в обветшалой мужской обители старец Иосиф.

Тот Иосиф был старожил улангерский. Старше его по жительству в ските никого не было, кроме древней матери Ксенофонты, впавшей в детство и уж больше пяти годов не слезавшей с печки, да матери Клеопатры Ерахтурки, чтимой всем Керженцем, всем Чернораменьем за преклонную старость, за непомерную ревность по вере, за что пять раз в остроге сидела и много ради древнего благочестия нужд и скорбей претерпела. И мать Ксенофонта, и мать Клеопатра Ерахтурка еще с боярыней Акулиной Степановной из Старого Улангера на речку Козленец переехали. Старец Иосиф был из чухломских бар, дворянского рода Горталовых, за ним в Чухломском уезде три ревизские души состояло, две души умерло, третья вместе с барином в обители проживала и над барином своим начальствовала, потому что инок Галактион, по мирскому Егорка Данилов, крепостной господина Горталова крестьянин, игуменствовал в обедневшей и совсем почти запустевшей мужской Улангерской обители, а старец Иосиф Горталов был при нем рядовым иноком. Хоть пострижен был отец Иосиф, хоть отрекся от мира сего, однако ж барской спеси осталось довольно в нем.

– Егорка, подлец! Чтой-то ты вздумал? Как ты смеешь? – крикнет, бывало, Иосиф на своего игумна, когда тот сделает что-нибудь несогласное с желаньем своего барина.

– Я тебе не Егорка, – строго ответит игумен. – Твой Егорка был да сплыл, аз же, многогрешный, – смиренный игумен честной обители Покрова пресвятыя Богородицы – инок Галактион. И он тебе приказывает: стань, непотребный раб, на поклоны, сотвори сто великих поклонов, да

триста метаний, да пятьсот малых.

И смиряется старец Иосиф, и кладет поклон за поклоном, метанье за метаньем, творя волю крепостного своего игумна. И, ведая таковое смирение старца Иосифа, его похваляли.

Так про него говорили: «Отец Иосиф сын великоблагороден, земных чести и славы отрекся, убогого монастыря во убогой келийце благодарственно нищету и скудость терпит, паче же всего христоподражательным смирением себя украшает».

А в прежние годы, в годы светлой, кипучей молодости, ходок был отец Иосиф. Памятуют о том старушки, теперь черным куколом крытые, апостольником украшенные, иночеством венчанные. Дó смерти не выйдет из их памяти, как молодыми белицами они во честных обителях житие проводжали. То-то был затейник, то-то был любезник молодой чернец – барин Иосиф! Дворянский род много ему помогал. Падки бывали до дворянского рода скитские девицы – всякой облагородиться было лестно. Пролетели года один за другим, старостью поник инок Иосиф. За старину тогда принялся, много книг прочитал, много ученья изведal. Имея быстрый ум и острую память, как книга знал старину, а чего не знал, то вымыслом умел разукрасить. Оттого и желательно было каждому заезжему в Улангер человеку старца того послушать, и сам отец Иосиф любил провести час-другой в беседе с хорошим человеком. Только Москву и тузов ее он не терпел. Не жаловал еще комаровскую уставщицу Аркадию. Какие-то старые счеты с той старицей у него были...

Идет Иосиф всех впереди, рядом с ним Василий Борисыч. Слушает московский посол преподобные речи, не вспоминая про греховную ночь. Фленушка с бледной, истомленной Парашей и свежей, как яблочко наливное, Марьей головщицей следом за ними идут. Люди хоть не дальние, а все-таки заезжие, любопытно и им сказаний Иосифа про улангерскую старину послушать.

– Идем мы благочестно на прах отца Варлаама, – говорил Иосиф. – Добре и нам ныне подвиги его вспомнати. Доблестно пострада воин Христов за правую древлеотеческую веру; себе самого и добрых учеников своих сожжению предавшие, да лестию не обольстят рабов Христовых злые антихриста послы... Ангелы Божии в небесах возликовали, егда воню благоухания сожигаемых обоняли и песнь преподобных во временном сего мира огне слышали. «Изведи из темницы душу мою, мене ждут праведницы» – вот что пели во пламени Христовы исповедники. Таковы по здешним местам в стары годы люди живали, таковы преславные дела здесь бывали. Ныне не то, не те времена!

– Да, – вздохнул Василий Борисыч.

– Ныне не то, – продолжал Иосиф, покачивая седую головой, покрытую старой, побуревшей от времени камилавкой. – Ныне слабость по людям пошла. Измалодушествовались не токмо мирские, но и те, что ангельский образ приять сподобилися. Повсюду враг Божий плевелы свои обильно сеет, повсюду в сети свои, окаянный, христианские души уловляет. Плача и воздыханий достойно наше время! Иссахла вера, померкла добродетель, не стало истинных рабов Христовых! Обаче Божия благодать и в нынешние последние времена не оскудевает, паче же преизбыточествует. У вас на Москве промеж пузатых лицемеров, ангчую одежду на волчьи тела вздевших, про здешние чудеса, поди, чай, и не слыхивали, а мы, прости, своими очами их зрели... Что́ ваша Москва? Широко́ живет, высоко плюет, до Божьего ей нет дела... Вавилон треклятый!..

– Напрасно, старче Божий, такое о Москве рассуждение держите, – вступился московский посол. – Земля грехами преисполнена, Москва на ней же стоит. Праведников, подобных прежним отцам, не видим, обаче ревности по древлему благочестию не лишены. Прилежания к старой вере в московском обчестве довольно. О том по всем странам премного известно.

– Не говори, друг любезный, про вашу прославленную Москву, – горячо сказал Иосиф. – Знаю ее вдоль и поперек. Испокон веку деревенщине была она не любовна... Как в стары годы, так и ныне. Москва что доска – спать широко, да кругом метет... Уты, утолсте, ушире и забы Бога, создателя своего. Не в Москве древнее благочестие – по далеким захолустьям, середь бедного, простого народа... Это так... так... Ты еще молод, Василий Борисыч, не спорь со старым человеком хорошего роду. Супротив старого царского дворянина спорить тебе, мальцу, не доводится. Помни мое слово, не супротивься.

Смолчал Василий Борисыч. Помолчал немного и старец Иосиф, затем такую речь повел:

– От веку до веку не видать и не знать Москве столь великого подвижника, такового по святоотеческой вере поборника, каков во дни наши среди нас просиял. Многотерпеливый муж и многострадальный, добрая ревности и спасительного жития, ревностно и благопокорно среди братии служаще, молитвенного и целомудренного пребывания образ был всем хотящим спастися...

– Кто ж это такой? – спросил Василий Борисыч.

– Тезоименит преподобному страдалцу, ему же грядем поклониться, –

ответил Иосиф. – Варлаам ангельское имя ему, мирское же Василий Перепелкин, родом из Медыни, хорошего роду старых дворян.

– Расскажите о нем, пожалуйста, отче святой, – сказал Василий Борисыч.

Быстро, но важно взглянув на московского посла, Иосиф торопливо поправил кафтырь и камилавку, съехавшие набок, и стал говорить:

– Когда настал французский год, дивный отец, не стерпя зрети озлоблений иноплеменных, удалился. И шед бегая в пустыню, в здешние леса за Волгу пришел. Прежде поблизости Старого Макарья имел пребыванье в лесах Каменских, Дорогученских, Ветлужских,<sup>[354]</sup> и только в молитвах и посте подвизался, что сподобился общения со невидимыми грешному миру святыми отцами Нестиарской обители.<sup>[355]</sup>

– Что за обитель? Что за невидимые святые? Не слыхивал я, грешный, про них... – с живым любопытством спрашивал Иосифа Василий Борисыч.

– О Москва, Москва! Высокоумные, прегордые московские люди! – с усмешкой презренья воскликнул старец Иосиф. – Великими мнят себе быти, дивного же Божия смотрения не разумеют. Окаменели сердца, померкли очи, слуху глухота дадеса!.. И дивиться нечему – Нестиар не фабрика, не завод, не торговая лавка, а Божие место, праведным уготованное!.. Какое ж до него дело московским толстопузам?..

– Богом прославленных мест на земле – что звезд на небе, – сказал замолчавшему Иосифу Василий Борисыч. – Все такие места одному человеку изведать не можно, а тебе бы, старче, незнающему сказать, неведущего научить, а не Москву бранить. Тут московские люди ни в чем не повинны.

Не ответил Иосиф, но, недолго помолчав, быстро обратился к Василию Борисычу:

– Васильсурск знаешь?

– Как не знать? – живо отвечал Василий Борисыч.

– Задолго до Никоновой порухи было на Руси ляхолетье... – начал рассказ свой старец Иосиф. – Гришка Расстрига на православное царство Литву да ляхов навел. Города, села пожигали, церкви рушили, святые иконы на щепы кололи, всякой святыне ругались. Поднялась заодно с ними некрещеная сила: мордва, черемиса, татаре. Подошла та окаянная сила к Васильсурску. Ратных людей было там мало. Васильгородцы, не чая спасенья, преплывали обонпол Волгу и в лесах от огня и меча укрывались. Ратные же люди вышли из града на врагов, нимало победы не чая, мученический венец прияти желая. Но простер Господь десницу свою, и

пред малым числом благоверных воев врознь побежали орды не знающих Бога. Взятая в полон черемиса поведала васильгородцам: оттого-де они побежали, что перед ними на белом коне явился страшный видом чернец и пламенным копием их, врагов имени Христова, поражал немилостиво. Когда ж полоняники восхотели святого крещения и были приведены в васильгородскую церковь, возрев на икону преподобного отца Варлаама Хутынского, познали старца, пламенным копием их поразивша. Слыша таковое Божие о граде смотрение, васильгородцы Богу хвалу приносили, преподобному Варлааму пели молебны, и все радости были исполнены спасения ради своего града от иноплемennых. По мале же времени многие от них в вере пошатнулись, престали к церкви Божией ходити, поучения от священного чина принимать, и едва сорок человек осталось во граде помнивших Господа и не забывших Бога и святой его веры. И ради того сорока не попустил до времени Господь тому граду погибнуть... Настал праздник Господень, Преполовеньев день. В церковь только те сорок человек пришли, иные ж в бесчинных игрищах и в мирской суете пребывали. И когда по скончании божественной службы благочестивые крестным ходом пошли на Волгу воду святить, двинулась за ними и церковь Божия, пред нею же икона преподобного Варлаама Хутынского шествовала, никем не носима. Когда же пришли ко берегу, Волга-река расступалася, как широкие врата растворялася, принимала в свое лоно людей благочестных, и шедшую за крестным ходом церковь, и по воздушям ходящую святую икону преподобного Варлаама. И всемогущего Бога силою те люди и церковь пренесены за Волгу, в леса, на озеро Нестиар. И до сих пор тамо живут они невидимые в обители невидимой. Все одно, что на Китеже.

– Дивен Бог во святых его, – подняв глаза к небу, с умилением проговорил Василий Борисыч. Поклонясь Иосифу, он промолвил: – Благодарен остаюсь на добром поученье.

– То-то! Благодарен остаюсь! – ворчал отец Иосиф. – У вас на Москве, да и по другим странам, где такие Богом хранимые сокровенные места? Да нельзя и быть им у вас!.. Кто у вас на Москве по старой вере остался? Толстосумы, торгаши, продажной совести купцы! Всем завладели окаянные мытари, завладели и церковью Божьей... Нечего рожу-то косить – правду сказываю... Мзда, неправедные нажитки ослепили!.. Забыв Бога и любовь, им повеленную, всякого норовят обсчитать, рабочего обидеть, своему брату долгов не заплатить. Тот у них за человека не почтен, кто хоть раз на веку по гривне за рубль не платил... подлецы!.. Вот каковы ваши московские столпы старой веры, вот каковы адаманты благочестия!.. А все



отчего? Оттого, что в старой вере нашей братья столбовых дворян никого не осталось. Я чуть ли не последний... А без дворян ни земное царство государское, ни благодатное царство, сиречь церковь святая, стояти не могут... Это верно. Вспомни-ка, кто были древние святые отцы? Все хороших дворянских родов. Москву возьми: святитель Петр из волынских бояр, Алексей митрополит из роду Плещеевых, святитель Филипп из роду Колычевых, Сергей преподобный из радонежских дворян. А теперь кто? Худородные. Спроси у моего Егорки, игумна нашего, отца Галактиона, значит, спроси его – то же скажет, хоть сам и раб и худороден. Ты, Василий Борисыч, много начитан, значит, силу писания разумеешь, и то, стало быть, ведаешь, что означает стих, поемый на Богоявление Господне.

И запел дрожащим от старости голосом Иосиф: «Глас Господень на водах вопиет глаголя: приидите, примите вси духа премудрости, духа разума, духа страха Божия...» Скажи-ка, что это означает? – спросил он у Василия Борисыча.

– Да как сказать... – замялся Василий Борисыч...

Иосиф продолжал:

– То означает, что от Господа три жребия человеком дано: Симов жребий – Богу служить, Иафетов жребий – власть держати, Хамов жребий – страх имети. Оттого и поется, чтобы даровал Господь Симу, сиречь духовному чину, премудрость на поучение людей, Иафету, сиречь дворянству, от него же и царский корень изыде, – послал духа разума людьми править, в разумении всяких вещей превыше всех стояти, а Хаму, сиречь черному народу, мужикам, мещанам и вашему брату, купцу, послал бы Господь дух страха Божия на повиновение Симову жребию и Иафетову. Раби есте... Мы, Симов и Иафетов жребий, раби Божии, а вы, Хамов жребий, первее раби Божии, а потом раби наши, то есть Симовы и Иафетовы. Вот как по Божьему-то. А ныне не то, ныне песья нога выше головы стала... Разве это Божье устроенье?.. Не от Бога, от диавола сие... Да ты не хмурься, Василий Борисыч, – дело говорю, по писанию сказываю.

– Ты послушай только его, Василий Борисыч, – молвила мать Аркадия. – Он ведь у нас блажной, не того еще наскажет тебе.

– А ты, Хамова внучка, молчи! Пока не спрашивают, рот разевать не моги, – кинул грозное слово ненавистной Аркадии старец Иосиф. – Не твоего ума дело.

– Лёгко ли что! – ответила Аркадия. – Сам-то хуже всякого Хама. Хоть бы камилавку-то получше на башку свою дурацкую вздел, а то, гляди-ка, какая. Поди, чать, мыши гнездо в ней завели... А еще дворянин, барин...

– Дам я тебе мыши!.. Велика ты птица: мать знала, отца не видывала,

вот какого ты роду... А еще уставщица!.. – горячился Иосиф.

– Как я свистну тебя по дворянской-то башке, так забудешь у меня роды разбирать! – крикнула Аркадия, замахнувшись дорожным подожком.

– А я как велю рабу моему Егорке на поклоны тебя поставить... Он ведь духовный отец тебе, – проворчал Иосиф.

– Так он и послушал тебя! – вскрикнула Аркадия. – Еще смеешь ты своего игумна Егоркой да рабом своим обзывать!.. Барин!.. Барин!.. Какой ты барин!.. Из тех, что по два десятка на одной кобыленке ездят.

– А ты ври, да не завирайся, и в бедности должна уважать чин боярства, – с важностью молвил отец Иосиф.

– Давно, батюшка, знаю, что на тебе два чина: дурак да дурачина, – подхватила Аркадия.

Все засмеялись, улыбнулся даже Василий Борисыч.

И дошло бы у честного отца со смиренной инокиней до рукопашной, если бы в разгаре брани не дошли они до праха сожженного Варлаама.

На небольшой полянке, среди частого елового леса, стоял высокий деревянный крест с прибитым в середине медным распятым. Здесь, по преданию, стояла келья отца Варлаама, здесь он сожег себя со ученики своими. Придя на место и положив перед крестом обычный семипоклонный начал, богомольцы стали по чину, и мать Аркадия, заметив, что отец Иосиф намеревается начать канон, поспешила «замолитвовать». Не хотела и тут ему уступить, хоть по скитским обычаям первенство следовало Иосифу, как старцу.

Запели канон за единоумершего. Отец Иосиф сначала молчал, потом пристал к поющим.

После канона прощались. Попрощалась и Аркадия с Иосифом. Брани как не бывало.

Возвращались другою дорогой. Шли темным дремучим лесом по узким тропинкам, по сгнившим наполовину кладкам. На могилах пустынного Или и прозорливой матери Феклы пели каноны. Смирившаяся Аркадия не препятствовала Иосифу «править службу». Галицкий дворянин был очень этим доволен.

От гробницы матери Феклы рукой подать до Улангера. Торопились поспеть к трапезе и потому прибавили шаг. Василий Борисыч обратился к отцу Иосифу:

– Что ж не dokonчили вы про отца Варлаама?

– Про отца Варлаама? Что про него рассказывать тебе? Не в пользу ведь будет, – молвил брюзгливо Иосиф.

– Да нет, вы уж, пожалуйста, расскажите, – просил старца Василий

Борисыч.

– Что ж рассказать-то? Старость, дряхлость пришла, стало не под силу в пустыне жить. К нам в обитель пришел, пятнадцать зим у нас пребывал. На летнее время, с Пасхи до Покрова, иной год и до Казанской, в леса удалялся, а где там подвизался, никто не ведал. Безмолвие на себя возложил, в последние десять лет никто от него слова не слыхивал. И на правиле стоя в молчании, когда молился, губами даже не шевелил.

– В вашей обители старец Варлаам и жизнь свою скончал? – спросил Василий Борисыч у замолчавшего отца Иосифа.

– Взяли его. Без пачпорта проживал – взяли... – продолжал Иосиф. – Три года в темнице сидел. Злодейства не ведый, яко злодей, разбойничества ниже помысливый, яко разбойник томлен бысть во узилище. И ни единого слова мучителям не молвил. Все члены его сокрушили множеством лютых мучений. Но аще и раны нанесоша и томление темничное умножиша, не возмогоша крепкого столпа поколебати, ниже ослабити. Не возмogli и ласканиями к своей воле преклонити; ни единого слова на судилище не молвил. И по дозле времени отослали его в монастырь к Старому Макарью на безысходное житие за крепким караулом. Во узах тамо пребывал преподобный Варлаам два лета. И по сем великое чудо над доблим рабом своим Господь показал. Яко Петр из вериг, невидимо изыде из заточения и ангелом Божиим проведен бысть в обитель невидимых святых на озере Нестиаре. Тамо и ныне со оными блаженными пребывает и пребудет тамо до скончания века. Аминь...

Когда богомольцы, выйдя из леса, взглянули на небо, оно было как пеплом покрыто. Солнце едва было видимо. Запах гарью стоял.

– Рымские горят, – сказал конюх Дементий, встретив своих матерей. – Завтра того и гляди в Полому огонь проберется. [\[356\]](#)

– Как же на Китеж-от нам ехать, Дементьюшка, коли в Полому огонь проберется? – спросила Аркадия. – Сгорим, пожалуй. Не лучше ль домой воротиться?

– Коли седни после трапезы тотчас поедем, успеем безо всякой опаски проехать; а если до завтра здесь прогостите, будет верней домой поспешать.

За трапезой Аркадия настаивала, чтоб ехать домой, но Фленушка, опираясь на слова Дементья, непременно хотела сейчас же ехать, чтоб миновать Поломский лес, пока до него огонь не дошел. К ней пристали другие, Василий Борисыч тоже. Аркадия уступила. Точас после трапезы комаровские богомольцы распростились с гостеприимной Юдифой.

Только что стало опускаться с полдён едва видное сквозь дымную мглу

солнце, комаровские богомолы, оставив Улангер, направили поезд сквозь Поломские леса к невидимому граду Китежу. Больше двадцати верст надо было проехать сплошным дремучим лесом до берегов Керженца. Дальше начинались жилые места, окруженные обширными пашнями и чащобами; там бы уже совершенно было безопасно от лесного пожара. А покаместь дорога шла узкая, извилистая, чуть не на каждом шагу пересекалась она корневищами. С обеих сторон сумрачными великанами высились громадные ели и лиственницы, меж них во все стороны разросся густой, непроходимый чапыжник.<sup>[357]</sup> Узкая полоса дневного света тянулась над вершинами непроглядной лесной чащи, и хоть далеко еще было до вечера, а в лесу было уж темно, как в осенние сумерки.

Конюх Дементий с Аркадией и Васильем Борисычем ехал впереди поезда, он не жалел лошадей. То и дело стегал их по непривычным к сильным ударам бедрам. Другие возчики от Дементья не оставали. Жирные, выхоленные келейные кони, сроду не знавшие скорой езды, мчались во весь опор. Проскакали полдороги. Верст одиннадцать либо двенадцать оставалось до реки Керженца. Вдруг влево от дороги послышался в отдаленье необычный, несмолкаемый треск... С каждой минутой он возрастал, обдавая странников ужасом... Свист и визг разносились по лесу. Зашумело в вершинах елей и лиственниц: то стада белок, спасаясь от огня, перелетали с дерева на дерево. Почувяв недоброе, лошади закусали удила и помчались сломя голову; запрыгали повозки по толстым корневищам: того и гляди, либо ось пополам, либо все на боку.

— Огонь идет! — вскрикнул Дементий. И отчаянный крик его едва слышен был за страшным шумом огненного урагана.

Все крестились, творили молитвы. Матери, белицы плакали навзрыд. Бледный как полотно Василий Борисыч всем телом дрожал.

Вдруг смолистым дымом пахнуло, и по узкой световой полосе, что высилась над дорогой, как громадные огненные птицы, стаями понеслись горящие лапы,<sup>[358]</sup> осыпая дождем искр поезд келейниц. Вой урагана превратился в один оглушающий, нескончаемый раскат грома. Ему вторили как бы пушечные выстрелы, стоны падавших деревьев, вой спасавшихся от гибели волков, отчаянный рев медведей. Вот перерезало дорогу быстро промчавшееся по чапыжнику стадо запыхавшихся лосей... Вот над деревьями, тяжело размахивая утомленными крыльями, быстрее вихря пронеслись лесные птицы... Багрово-синими, как бы кровавыми волнами за клубился над лесом дым... Палящий, огнедышащий ветер понесся низом меж деревьями, расстилая над землей удушающий смрад... Вдруг между

вершинами деревьев блеснула огненная змейка, за ней другая, третья, и мигом все верхи елей и лиственниц подернулись пламенным покровом... Брызнула из деревьев смола, и со всех сторон полились из них огненные струйки.

Вдруг передняя пара лошадей круто поворотила направо и во весь опор помчалась по прогалинке, извивавшейся среди чапыжника. За передней парой кинулись остальные.

– Куда ты, куда ты, Дементьюшка? – схватясь за плеча конюха и привстав в повозке, благим матом закричала Аркадия.

– Кони лучше нашего знают куда, – молвил Дементий, опуская вожжи.

И, сняв шляпу, стал креститься.

– Слава те, Господи! Слава тебе, царю небесному!.. – говорил он.

Не прошло трех минут, как лошади из пылающего леса вынесли погибавших в обширное моховое болото.

## Часть четвертая

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот сказанье наших праотцев о том, как бог Ярило возлюбил Мать-Сыру Землю и как она породила всех земнородных.

Лежала Мать-Сыра Земля во мраке и стуже. Мертва была – ни света, ни тепла, ни звуков, никакого движенья.

И сказал вечно юный, вечно радостный светлый Яр: «Взглянем сквозь тьму кромешную на Мать-Сыру Землю, хороша ль, пригожа ль она, придется ль по мысли нам?»

И пламень взора светлого Яра в одно мановенье пронизал неизмеримые слои мрака, что лежали над спавшей землею. И где Ярилин взор прорезал тьму, тамо воссияло солнце красное.

И полились через солнце жаркие волны лучезарного Ярилина света. Мать-Сыра Земля ото сна пробуждалась и в юной красе, как невеста на брачном ложе, раскинулась... Жадно пила она золотые лучи живоносного света, и от того света палящая жизнь и томящая нега разлились по недрам ее.

Несутся в солнечных лучах сладкие речи бога любви, вечно юного бога Ярилы: «Ох ты гой еси, Мать-Сыра Земля! Полюби меня, бога светлого, за любовь за твою я украшу тебя синими морями, желтыми песками, зеленой муравой, цветами алыми, лазоревыми; родишь от меня милых детушек число несметное...»

Любы Земле Ярилины речи, возлюбила она бога светлого и от жарких его поцелуев разукрасилась злаками, цветами, темными лесами, синими морями, голубыми реками, серебристыми озерáми. Пила она жаркие поцелуи Ярилины, и из недр ее вылетали поднебесные птицы, из вертепов выбегали лесные и полевые звери, в реках и морях заплывали рыбы, в воздухе затолклись мелкие мушки да мошки... И все жило, все любило, и все пело хвалебные песни: отцу – Яриле, матери – Сырой Земле.

И вновь из красного солнца любовные речи Ярилы несутся: «Ох ты гой еси, Мать-Сыра Земля! Разукрасил я тебя красотой, родила ты милых детушек число несметное, полюби меня пуще прежнего, родишь от меня детище любимое».

Любы были те речи Матери-Сырой Земле, жадно пила она живоносные лучи и породила человека... И когда вышел он из недр земных, ударил его Ярило по голове золотой вожжой – ярой молнией. И от той молоньи ум в человеке зародился. Здравствовал Ярило любимого

земнородного сына небесными грома́ми, потоками молний. И от тех громов, от той молнии вся живая тварь в ужасе вострепелась: разлетелись поднебесные птицы, попрятались в пещеры дубравные звери, один человек поднял к небу разумную голову и на речь отца громовую отвечал вещим словом, речью крылатою... И, услыша то слово и узрев царя своего и владыку, все древа, все цветы и злаки перед ним преклонились, звери, птицы и всяка живая тварь ему подчинилась.

Ликовала Мать-Сыра Земля в счастье, в радости, чаяла, что Ярилиной любви ни конца ни края нет... Но по малом времени красно солнышко стало низиться, светлые дни укоротились, дунули ветры холодные, замолкли птицы певчие, завyli звери дубравные, и вздрогнул от стужи царь и владыка всей твари дышащей и не дышащей...

Затуманилась Мать-Сыра Земля и с горя-печали оросила поблекшее лицо свое слезами горькими – дождями дробными.

Плачется Мать-Сыра Земля: «О ветре-ветрило!.. Зачем дышишь на меня постылою стужей?.. Око Ярило – красное солнышко!.. Зачем греешь и светишь ты не по-прежнему?.. Разлюбил меня Ярило-бог – лишиться мне красоты своей, погибать моим детушкам, и опять мне во мраке и стуже лежать!.. И зачем узнавала я свет, зачем узнавала жизнь и любовь?.. Зачем спознавалась с лучами ясными, с поцелуями бога Ярилы горячими?..»

Безмолвен Ярило.

«Не себя мне жаль, – плачется Мать-Сыра Земля, сжимаясь от холода, – скорбит сердце матери по милым по детушкам».

Говорит Ярило: «Ты не плачь, не тоскуй, Мать-Сыра Земля, покидаю тебя ненадолго. Не покинуть тебя навре́мя – сгореть тебе дотла под моими поцелуями. Храня тебя и детей наших, убавлю я навре́мя тепла и света, опадут на деревьях листья, завянут травы и злаки, оденешься ты снеговым покровом, будешь спать-почивать до моего приходу... Придет время, пошлю к тебе вестницу – Весну Красну, следом за Весною я сам приду».

Плачется Мать-Сыра Земля: «Не жалеешь ты, Ярило, меня, бедную, не жалеешь, светлый Боже, детей своих!.. Пожалей хоть любимое детище, что на речи твои громовые отвечал тебе вещим словом, речью крылатою... И наг он и слаб – сгнуть ему прежде всех, когда лишишь нас тепла и света...»

Брызнул Ярило на камни молоньей, облил палючим взором деревья дубравные. И сказал Матери-Сырой Земле: «Вот я разлил огонь по камням и деревьям. Я сам в том огне. Своим умом-разумом человек дойдет, как из дерева и камня свет и тепло брать. Тот огонь – дар мой любимому сыну.



Всей живой твари будет на страх и ужас, ему одному на службу».

И отошел от земли бог Ярило... Понеслись ветры буйные, застилали темными тучами око Ярилино – красное солнышко, нанесли снега белые, ровно в саван окутали в них Мать-Сыру Землю. Все застыло, все заснуло, не спал, не дремал один человек – у него был великий дар отца Ярилы, а с ним и свет и тепло...

Так мыслили старорусские люди о смене лета зимою и о начале огня.

Оттого наши праотцы и сожигали умерших: заснувшего смертным сном Ярилина сына отдавали живущему в огне отцу. А после стали отдавать мертвецов их матери – опуская в лоно ее.

Оттого наши предки и чествовали великими праздниками дарование Ярилой огня человеку. Праздники те совершались в долгие летние дни, когда солнце, укорачивая ход, начинает расставаться с землею. В память дара, что даровал бог света, жгут купальские огни. Что Купало, что Ярило – все едино, одного бога звания.

И доньше в Иванову ночь пылают на Руси купальские огни, и доньше по полям и перелескам слышатся веселые песни:

Купала на Ивана!  
Где Купала ночевала?  
Купала на Ивана!  
Купала на Ивана!  
Ночевала у Ивана!

Накануне Аграфены Купальницы, за день до Ивана Купалы,<sup>[359]</sup> с солнечным восходом по домам суета поднимается. Запасливые домовитые хозяйки, старые и молодые, советуются, в каком месте какие целебные травы в купальские ночи брать: где череду от золотухи, где шалфей от горловой скорби, где мать-мачеху, где зверобой, ромашку и девясил... А ведуны да знахарки об иных травах мыслят: им бы сыскать радужный, златоогненный цвет перелет-травы, что светлым мотыльком порхает по лесу в Иванову ночь; им бы выкопать корень ревенки, что стонет и ревет на купальской заре, им бы через серебряную гривну сорвать чудный цвет архилина да набрать тирлич-травы, той самой, что ведьмы рвут в Иванову ночь на Лысой горе; им бы добыть спрыг-траву да огненного цвета папоротника.<sup>[360]</sup>

Добро тому, кто добудет чудные зелья: с перелетом всю жизнь будет счастлив, с защитым в ладанку корешком ревенки не утонет, с архилином

не бойся ни злого человека, ни злого духа, сок тирлича́ отвратит гнев сильных людей и возведет обладателя своего на верх богатства, почестей и славы; перед прыг-травой замки и запоры падают, а чудный цвет папоротника принесет счастье, довольство и здоровье, сокрытые клады откроет, власть над духами даст.

Молодежь об иных травах, об иных цветах той порой думает. Собираются девицы во един круг и с песнями идут вереницей из деревни собирать иван-да-марью, любовную траву и любисток.<sup>[361]</sup> Теми цветами накануне Аграфены Купальницы в бане им париться, «чтобы тело молодилось, добрым молодцам любилось». А пол, лавки, полки в бане на то время густым-густехонько надо устлать травой купальницей.<sup>[362]</sup> После бани сходятся девицы к одной из подруг. С пахучими венками из любистка на головах, с веселыми песнями, с криками, со смехом толкут они где-нибудь на огороде ячмень на обетную кашу, а набравшиеся туда парни заигрывают каждый со своей зазновой... На другой день варят обетную кашу и едят ее у речки аль у озера, бережно блюдя, чтобы каши не осталось ни маковой росинки. Съедят кашу, за другие исстари уставленные обряды принимаются: парни возят девок на передних тележных колесах, громко распевая купальскую песнь:

Иван да Марья  
В реке купались:  
Где Иван купался,  
Берег колыхался,  
Где Марья купалась,  
Трава расстилалась.

Купала на Ивана!  
Купался Иван  
Да в воду упал.  
Купала на Ивана.

Под вечер купанье: в одном яру плавают девушки с венками из любистка на головах, в другом – молодые парни... Но иной молодец, что посмелее, как почнет отмахивать руками по сажени, глядь, и попал в девичий яр, за ним другой, третий... Что смеху, что крику!.. Таково обрядное купанье на день Аграфены Купальницы.

Надвинулись сумерки, наступает Иванова ночь... Рыбаки сказывают,

что в ту ночь вода подергивается серебристым блеском, а бывалые люди говорят, что в лесах тогда деревья с места на место переходят и шумом ветвей меж собою беседы ведут... Сорви в ту ночь огненный цвет папоротника, поймешь язык всякого дерева и всякой травы, понятны станут тебе разговоры зверей и речи домашних животных... Тот «цвет-огонь» – дар Ярилы... То – «царь-огонь»!..

Немного часов остается до полночи, когда на одно мановенье тот чудный цветок распускается. Только что наступит полночь, из середины широколистного папоротника поднимается цветочная почка, шевелится она, двигается, ровно живая, и вдруг с страшным треском разрывается, и тут является огненный цвет... Незримая рука тотчас срывает его... То «цвет-огонь», дарованный богом Ярилой первому человеку... То – «царь-огонь»...

Страшно подходить к чудесному цветку, редко кто решится идти за ним в Иванову ночь. Такой смельчак разве в несколько десятков лет выищется, да и тот не добром кончает... Духи мрака, духи холода, духи смерти, искони враждебные Солнцу-Яриле, жадно стерегут от людей его дар. Они срывают цвет-огонь, они напускают ужасы, страсти и напасти на смельчака, что пойдет за ним в заветную Иванову ночь... Они увлекают его за собой в страну мрака и смерти, где уж не властен отец Ярило... Страшно поклоняться Яриле в лесу перед таинственным цветом-огнем, зато весело и радостно чествовать светлого Яра купальскими огнями.

Наперед набрав шиповнику, крапивы и других колючих и жгучих растений, кроют ими давно заготовленные кучи хвороста и сухих сучьев. И лишь только за небесным закроем спрячется солнышко, лишь только зачнет гаснуть заря вечерняя, начинают во славу Яра живой огонь «взгнетать»... Для того в сухой березовой плахе пререзывают круглое отверстие и плотно пригоняют к нему сухое же березовое, очищенное от коры, круглое полено... Его трением в отверстии плахи вытирают огонь... И то дело одних стариков... И когда старики взгнетают живой огонь, другие люди безмолвно и недвижно стоят вокруг священнодействия, ожидая в благоговейном страхе чудного явления «Божьего посла» – «царя-огня»...

Потом обливаются старики, «творя Божие дело»... Впившись глазами в отверстие плахи, стоит возле них по-праздничному разодетая, венком из цветов увенчанная, перворожденная своей матерью, девочка-подросток с сухой лучиной в высоко поднятой руке.<sup>[363]</sup> Разгорелось детское личико, смотрит она, не смигнет, сама дыханья не переводит, но не дрожит поднятая к небесам ручонка... Безмолвно, набожно глядит толпа на работу старцев... В вечерней тиши только и слышны шурк сухого дерева,

молитвенные вздохи старушек да шептанье христианских молитв... Но вот задымилось в отверстии плахи, вот вспыхнул огонек, и просиявшая восторгом девочка в строгом молчанье бережно подносит к нему лучину... Снисшел Божий посол!.. Явился «царь-огонь»!.. Загорелся в кострах великий дар живоносного бога!.. Радостным крикам, веселому гомону, громким песням ни конца ни края.

В густой влажной траве светятся Ивановы червяки, <sup>[364]</sup> ровно зеленым полымем они переливаются; в заливной, сочной пожне сверкает мышинный огонь, <sup>[365]</sup> тускнеет заря на небе, ярко разгораются купальские костры, обливая красноватым светом темные перелески и отражаясь в сонных водах алыми столбами... Вся молодежь перед кострами – девушки в венках из любистка и красного мака, иные с травяными поясами; у всех молодцев цветы на шляпах... Крепко схватившись за руки, прыгают они через огонь попарно: не разойдутся руки во время прыжка – быть паре, быть мужем-женой, разойдутся – свадьбы не жди... До утра кипит веселье молодежи вокруг купальских костров, а на заре, когда в лесу от нечистых духов больше не страшно, расходятся, кто по перелескам, кто по овражкам.

И тихо осеняет их радостный Ярило спелыми колосьями и алыми цветами. В свежем утреннем воздухе, там, высоко, в голубом небе, среди легких перистых облаков, тихо веет над Матерью Сырой Землей белоснежная, серебристая объяр Ярилиной ризы, и с недоступной высоты обильно льются светлые потоки любви и жизни.

\* \* \*

Теперь в лесах за Волгой купальских костров не жгут. Не празднуют светлому богу Яриле. Вконец истребился старорусский обряд.

На скитских праздниках, на келейных сборищах за трапезами, куда сходится народ во множестве, боголюбивые старцы и пречестные матери истово и учительно читают из святочтимого стоглава об Иванове дне: «Сходятся мужи и жены и девицы на ночное плещевание и бесстыдный говор, на бесовские песни и плясания и на богомерзкие дела... И те еллинские прелести отречены и прокляты...»

И от грозного слова «прокляты» содрогаются ядущие и пьющие.

«Такова святых отец заповедь, таково благочестивого царя Иоанна Васильевича повеление!..» – возглашают народу келейные учителя... И возглашают они такие словеса не год и не два, а с тех пор, как зачинались в

лесах за Волгой скиты Керженские, Чернораменские! И вот теперь, через двести лет после их основания, в тех лесах про Ярилу помину нет, хоть повсюду кругом и хранится память о нем и чествуется она огнями купальскими.<sup>[366]</sup>

А поблизости Керженца, недалёко от Ветлуги-реки, есть такое место, где во времена стародавние бывали великие народные сходбища... сходилась туда народ справлять великие празднества Светлому Яру... На обширной плоской, безлесной равнине возвышается раздвоенный холм, поросший столетними дубами. Двумя мысами вдаётся он в обширное глубокое озеро. Воды озера никогда не мутятся; что ни бросишь в них – не принимают, на другой же день брошенное волной на берег выкинет. И то озеро по имени старорусского бога Светлым Яром зовется.<sup>[367]</sup>

Когда на той равнине и по ближним от нее местам зачиналось людское население, не знает никто. Но там зачастую находят каменные молоты, каменные топоры и кремневые наконечники стрел, – стало быть, жили тут люди еще тогда, когда не знали ни меди, ни железа.<sup>[368]</sup> Сказывают, что на холмах у Светлого Яра город стоял, Китежем прозывался. Город ли то Кидиш, что во дни стародавние от «поганой рати» спасен был Ильей Муромцем, славный ли город Пóкидыш, куда ездил богатырь Суровец Суздалец гостить-пировать у ласкового князя Михайлы Ефимонтьевича, не отсюда ль ветлужский князь Никита Байборода чинил набеги на земли московские, пробираясь лесами до Соли Галицкой, – молчат преданья.<sup>[369]</sup> Одно только помнит народ, что в старину на холмах Светлого Яра на день Аграфены Купальницы языческие требища справлялись и что на тех холмах стоял когда-то град Китеж... И поныне, сказывают, стоит тот град, но видим бывает только очам праведников.

Не стало языческих требищ, град Китеж сокрылся, а на холмах Светлого Яра по-прежнему великие сходбища народа бывали... Собирались сюда русские люди старые свои праздники праздновать, чествовать светлого бога Ярилу. В «Навий день», на Радуницу, справляли здесь «оклички» покойников; здесь водили ночные хороводы Красной Горки; здесь величали Микулу Селяниновича, а на другой день его праздника справляли именины Сырой Земли и водили хороводы Зилотовы: здесь в светлых струях Светлого Яра крестили кукушек, кумились, завивали семицкие венки; здесь справлялись Зеленые Святки и с торжеством зажигались купальские костры в честь отходящего от земли бога жизни и света, великого Яра...

Поревновали скитские старцы и келейные матери... «К чему, –

заговорили они, – сии ночные плещевания, чего ради крещеный народ бесится, в бубны и сопели тешит диавола, сквернит Господни праздники струнным гудением, бесовскими песнями, долоней плесканием, Иродиادیным плясанием?.. Зачем на те сатанинские сходбища жены и девы приходят?.. Зачем в их бесстыдных плясках главами кивание, хребтами вихляние, ногами скакание и топтание, устами неприязнен клич и скверные песни?.. На тех бесовских сходбищах мужем и отроком шатание, женам и девам падение!.. Не подобает тако творити!.. Богу противно, святыми отцами проклято!..»

И огласили Светлый Яр и холмы над ним «святыми местами»... Тут, сказали они, стоит невидимый град Божиих святых, град Великий Китеж... Но не можем мы, грешные, зреть красоты его, понеже сквернится место делами бесовскими...

И стали боголюбивые старцы и пречестные матери во дни, старым празднествам уреченные, являться на Светлый Яр с книгами, с крестами, с иконами... Стали на берегах озера читать псалтырь и петь каноны, составили Китежский «Летописец» и стали читать его народу, приходившему справлять Ярилины праздники. И на тех келейных сходбищах иные огни затеплились – в ночь на день Аграфены Купальницы стали подвешивать к дубам лампы, лепить восковые свечи, по сучьям иконы развешивать...

Поклонники бога Ярилы с поборниками келейных отцов, матерей иногда вступали в рукопашную, и тогда у озера бывали бои смертные, кровопролитие великое... Но старцы и старицы не унывали, с каждым годом их поборников становилось больше, Ярилиных меньше... И по времени шумные празднества веселого Яра уступили место молчаливым сходбищам на поклонение невидимому граду.

Двести лет прошло от начала скитов; спросить про Ярилу у окольных людей, спросить про царь-огонь, спросить про купальские костры – никто и не слыхивал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Почти совсем уж стемнело, когда комаровские поклонницы подъезжали к Светлому Яру. Холмы невидимого града видны издалёка. Лишь завидела их мать Аркадия, тотчас велела Дементью стать. Вышли из повозок, сотворили уставной семипоклонный начёл невидимому граду и до земли поклонились чудному озеру, отражавшему розовые переливы догоравшей вечерней зари...

– Пешком надо – место бо свято есть, – сказала уставщица Василью Борисычу.

Пошли в строгом, глубоком молчании... В воздухе тишь невозмутимая. Гуще и гуще надвигается черный покров ночи на небо, ярче и ярче сверкают на холмах зажженные свечи, тусклей отражает в себе недвижимое, будто из стекла вылитое, озеро, темно-синий небосклон, розовые полосы зари и поникшие ветвями в воду береговые вербы... Все дышит таинственностью, все кажется ровно очарованным... Крестьясь и творя молитву, взошли комаровские путницы на холм... Народу видимо-невидимо. Сошлись поклониться граду Китежу и ближние и дальние, старые и молодые, мужчины и женщины. Женщин гораздо больше мужчин. Келейные матери и белицы были почти из всех обитателей, иноков мало, и то все такие, что зовутся «перехожими».<sup>[370]</sup> Людей много, но громких речей не слышать... И каноны поют, и книги читают, и меж собой говорят все потихоньку, чуть не шепотом... По роще будто пчелиный рой жужжит...

Изобрали комаровские богомолицы местечко у раскидистого дуба, мрачно черневшего в высоте густолиственной вершиной. Вынула Аркадия из дорожного пещера икону Владимирской богордицы в густо позлащенной ризе с самоцветными камнями, повесила ее на сучке, прилепила к дубу несколько восковых свечек и с молитвой затеплила их. И она и мать Никанора, обе в полном иночестве, в длинных соборных мантиях с креповыми наметками на камилавах, стали перед иконой и, положив начёл, вполголоса стали петь утреню.

– Комаровские приехали!.. От Манефиных!.. – зашептали в многочисленных кучках, рассыпанных по обоим холмам. Пяти минут не прошло, как Манефины окружены были густой толпой богомольцев.

Отойдя в сторону, пошел Василий Борисыч по роще бродить. Любопытно было ему посмотреть, что на Китеже делается, любопытно



послушать, какое писание читают грамотеи жадно слушавшему их люду...

Видит: ста два богомольцев кучками рассыпались по роще и по берегу озера. Наполовину деревьев увешано иконами, облеплено горящими свечами... Здесь псалтырь читают, там канон Богородице поют, <sup>[371]</sup> подалее утрению справляют... И везде вполголоса.

Видит Василий Борисыч, у подошвы холма на самом берегу озера, стоит человек с двадцать народу: мужчины и женщины. Мужчины без шапок. Среди кружка высокий худощавый старик с длинной, белой как лунь бородой и совсем голым черепом. Держа тетрадку, унылым, гнусливым голосом читает он нараспев. Двое молодых стоят по сторонам и светят ему зажженными восковыми свечами... Подошел поближе Василий Борисыч, слышит, читает он о благоверном князе Георгии, положившем живот за Христову веру и за Русскую землю в битве с Батыем при Сити-реке. Называет старик благоверного князя Георгия внуком равноапостольного Владимира, читает, как ездил он по Русской земле и по всем городам, ставил соборы Успенские: в Новгороде, в Москве, в Ростове и Муроме.

– Ох, искушение!.. Вот чепухи-то нагородили!.. – едва слышным голосом промолвил Василий Борисыч и тотчас заметил, что слушатели стали кидать на него недобрые взгляды.

– «И бысть попущением Божиим, грех ради наших, – протяжно читает старик, – прииде нечестивый и безбожный царь Батый на Русь воевать; грады и веси разоряше, огнем их пожигаше, людие мечу предаваше, младенцев ножом закалаше, и бысть плач великий!..»

Две старушки всплакнули, две другие навзрыд зарыдали.

– «Благоверный же князь Георгий, слышав сия, плакаше горьким плачем и, помоляся Господу и пречистой Богородице, собра вои своя, поиде противу нечестивого царя Батыя... И бысть сеча велия и кровопролитие многое. Тогда у благоверного князя Георгия бысть воев мало и побеже от нечестивого царя вниз по Волге в Малый Китеж...»

Охают и стонут старушки, слезы так и текут по морщинистым ланитам их. Уныло поникнув головами, молчат мужчины. Старик примолвил:

– Малый Китеж теперь Городцом именуется, вот что на Волге, повыше Балахны, пониже Катунок стоит... А здесь на озере Светлом Яре Большой Китеж – оба строенья благоверного князя Георгия.

Не стерпелось Василью Борисычу. Досадно стало великому начетчику слушать басни, что неизвестные писатели наплели в Китежском «Летописце»... Обратился к стоявшему рядом старику почтенной наружности, судя по одежде, заезжему купцу.



– В старых книгах не то говорится, – довольно громко промолвил он. – Князя Георгия в том бою на реке Сити убили... Как же ему, мертвому, было вниз по Волге бежать?

Сурово вскинул глазами купец на Василия Борисыча... Не сказав ни полслова, молча отвернулся он... Старушки заахали, а один красивый, такой видный из себя парень в красной рубахе и синей суконной чуйке, крепко стиснув плечо Василия Борисыча, вскрикнул:

– Да ты кто таков будешь?.. Откудова?.. Как смеешь смущать божественное чтение?

Глянул Василий Борисыч – у парня лицо скривилось, побагровело, глаза огнем пышут, кулак пудовый.

– Ох, искушение!.. – пискнул Василий Борисыч, дрожа со страху и бледнея.

– Прекрати, – повелительно молвил читавший старик, и парень, пустив Василия Борисыча, смиренно склонил голову.

– А тебе бы, господин честной, слушать святое писание в молчании и страхе Божиим... Святые отцы лучше тебя знали, что писали, – учительно проговорил старик оторопелому Василию Борисычу и продолжал чтение: – «И много брася, благоверный князь Георгий с нечестивым царем Батыем, не пущая его во град... Егда же бысть ночь, изыде тайно из Малого Китежа на озеро Светлый Яр в Большой Китеж. На утрие же восста нечестивый царь и взя Малый Китеж и всех во граде том поруби и нача мучити некоего человека града того Гришку Кутерьму и той, не могий мук терпети, поведя ему путь ко озеру Светлому Яру, иде же благоверный князь Георгий скрыся. И прииде нечестивый царь Батый ко озеру и взя град Большой Китеж и уби благоверного князя Георгия...»

Пуще прежнего заплакали старухи, закрыла платком лицо и вся трепетно задрожала от сдерживаемых рыданий нарядно одетая молодая красивая женщина, стоявшая почти возле Василия Борисыча. Вздыхали и творили молитвы мужчины.

Возвысив голос, громко и протяжней прежнего стал читать старик:

– «И после того разорения запустеша грады те и лесом порасте вся земля Заузольская, и с того времени невидим бысть град Большой Китеж, и пребудет он невидим до последних времен. Сию убо книгу «Летописец» написали мы по сте летех после нечестивого и безбожного царя Батыя, уложили собором и предали святей Божией церкви на уверение всем православным христианам, хотящим прочитати или послушати, а не поругатися сему Божественному писанию. Аще ли же который человек поругается или посмеется сему писанию, да весть таковой, что не нам

поругается, но Богу самому и пресвятей Богородице. Слава иже в троице славимому Богу, соблюдающему и хранящему место сие ради блаженного пребывания невидимым святым своим во веки веков. Аминь».

Все стали креститься и потом, благодаря за чтение, низко-пренизко поклонились старику.

Усильно сдерживавшая во время чтения рыдания свои, молодая женщина подошла к стоявшему рядом с Васильем Борисычем купцу и, отирая наплаканные глаза, тихим и нежным голосом молвила:

– Пойдем, тятенька, в иное место. Еще чего-нибудь послушаем.

Взглянул Василий Борисыч и загляделся... Такой красавицы сроду не видывал... Что Устинья, что Прасковья Патаповна!..

Следом за ними пошел. Чтоб завести знакомство с купцом, говорит ему:

– А куда как много тут несправедливого и со старыми книгами несогласного.

– Тебе бы, господин честной, лучше уйти, не то – в самом деле – боками поплатишься... Здесь это бывает, – сурово ответил купец.

– Однако ж, – зачал было Василий Борисыч, украдкой взглядывая на красавицу.

– Тебе, господин честной, своя дорога, а нам своя, – сухо промолвил купец и повернул с дочерью в сторону.

Почесал в затылке Василий Борисыч, постоял маленько на месте и пошел вдоль по берегу.

Видит, в углубленье меж холмов, под ветвистым дубом, сидит человек с десяток мужчин и женщин: не поют, не читают, а о чем-то тихонько беседу ведут. Возле них небольшой костер сушника́ горит. Тускло горит он, курится – дымится, и нет веселья вокруг... то не купальский костер.

Подошел Василий Борисыч, снял шапку, низенько поклонился и молвил:

– Мир честной беседе.

– Просим милости на беседу, – приветно ответили ему и раздвинулись, давая место пришедшему собеседнику.

Сел Василий Борисыч.

– Так видишь ли, – продолжал свою речь седенький, маленький, добродушный с виду старичок в изношенном заплатанном кафтанишке из понитку, облокотясь на лежавшую возле него дорожную котомку, – видишь ли: на этом самом месте, где сидим, – городские ворота... Отселева направо вдоль озера сто сажень городу и налево сто сажень городу, а в ширину мера городу полтора́ста сажень. А кругом всего города рвы копаны и валы

насыпаны, а на валах дубовые стены с башнями... Вот мы, грешные, слепыми-то очами ровнехонько ничего не видим, а они тут, все тут, здесь, вот на этом на самом месте... На правом холму собор Воздвиженья честного креста, а рядом Благовещенский, а на левом холму Успенский собор, а меж соборов все дома – у бояр каменны палаты, иных чинов у людей деревянны хоромы из кондового негниющего леса... Вот мы, грехами ослепленные, деревья только видим, а праведный, очи имея отверсты, все видит; и град, и церкви, и монастыри, и боярские каменны палаты.

– Премудрости Господни! – глубоко вздохнула старушка в темно-синем сарафане с набойчатыми рукавами, покрытая черным платком вроспуск. – А ведь сказывают, видят же иные люди ту святыню Божию.

– Как не видать, бабушка, видят, – ответил старик. – Не всякому только дано.

– Как же бы, батюшка, такую благодать получить?.. Как бы узреть невидимый град да сокровенных-то Божьих святых повидать?.. Хоть бы глазком взглянуть на них, родимый ты мой, посмотреть бы на Божьи-то чудеса.

– А ты, раба Христова, послушай, что прочитаю, тогда и узнаешь, какими способами невидимый град Китеж возможно узрети... – молвил старик и, вынув из-за пазухи ветхую тетрадку, стал читать по ней:

– «Аще ли какой человек обещается идти в той град Китеж, и неложно от усердия своего постится начнет, и пойдет во град, и обещается тако: аще голодом умерети, аще ины страхи претерпети, аще и смертию умерети, не изыти из него, и такового человека приведет Господь силою своею в невидимый град Китеж и узрит он той град не гаданием, но смертными очима, и спасет Бог того человека, и стопы его изочтены и записаны ангелами Господними в книзе животней».

– Вот оно как, старушка Божия!.. – примолвил старичок. – Вот каким людям дается Божественная благодать невидимый град видети и в нем со блаженными пребывати.

– Ох, Господи Иисусе Христе, сыне Божий!.. Пресвятая владычица Богородица!.. Илья пророк!.. Никола милостивый!.. – умиленно взывала старушка, не зная, про что бы еще спросить у грамотея.

– А ты вот слушай-ка еще, – молвил он ей, перевернув в тетрадке два-три листочка: – «Аще кто нераздвоенным умом и несумненною верою обещается и пойдет к невидимому граду тому, не поведав ни отцу с матерью, ни сестрам с братьями, ни всему своему роду-племени, – таковому человеку откроет Господь и град Китеж, и святых, в нем

пребывающих».

– Ну а если кто не снесет? – после недолгого общего молчания спросил у старика-грамотея пожилой крестьянин, по-видимому дальний, перед тем внимательно слушавший чтение.

– И про таковых в «Летописце» помянуто, – молвил грамотей и продолжал: – «Аще же кто пойдет, обаче мыслити начнет семо и овамо, или, пойдя, славити начнет о желании своем, и таковому Господь закрывает невидимый град: покажет его лесом или пустым местом... И ничто же таковой человек получит себе, токмо труд его все пропадет. И будет ему соблазн, и понос, и укор, и от Бога казнь примет zde и в будущем веке... Осуждение примет и тьму кромешную всяк человек, иже такому святому месту поругается. Понеже на конец века сего Господь чудо яви – невидимым сотвори град Китеж и покры его десницею своею, да в нем пребывающие не узрят скорби и печали от зверя антихриста... Кому же применится человек, поругавшийся чудеси тому, и кому будет он службу приносить?.. Воистину самому диаволу применится и всеяроственному зверю антихристу послужит, с ними же в геенне огненной пребудет в нескончаемые веки!..»

– Ох, Господи, владыко милостивый!.. Вот оно – грехи-то, грехи-то наши тяжкие!.. Ой, тяжкие, не замоленные!.. Не замоленные, не прощенные!.. – со слезами стала причитать старушка...

И другие после того чтения вздыхали с сокрушенным сердцем и слезами.

И на долгое время было молчание... Задумался и Василий Борисыч...

– У нас из волости мужичок ходил в Китеж-от, – сказал молодой парень, сидевший возле костра.

– Что же? – разом спросило его несколько голосов.

– Не попал, – молвил парень, расшвыривая плохо горевший костер.

– Как же дело-то было? – спрашивали парня...

И тот, присев у костра, спросил, обводя глазами собеседников:

– Про Красноярский скит слышали?

– Как не слышать про Красноярский скит! – одни отвечали ему.

– Еще бы не знать Красноярского скита, – отозвались другие.

– Ноне там всех заковали: и старцев и бельцов, всех в город угнали, – кто-то сказал...

– Он самый и есть, – молвил парень. – Игумен у них отец Михаил.

– И отца Михаила довольно знаем, – заговорили одни.

– И его, сердечного, посадили! – всхлипнула старушка.

– Учительный старец, благочестивый, – заметил старик грамотей.

- Баня у него знатная! – отозвался один из собеседников.
- Свят человек перед господом, – вздохнула старушка.
- За фальшивы бумажки сидит, – сказал кто-то.

Только что смолкли голоса, парень стал продолжать:

– Был в нашей волости мужичок, Перфилом звать, Григорьич по батюшке... человек тихий и кроткий, жил по Боге, не то чтоб от него кому обида какая али бы что – ни-ни... Все, бывало, над книгами сидит, все над книгами... И начитал он в тех книгах про этот самый Китеж... Стал в путь собираться, домашние спрашивают: «Куда, дедушка?..» Молчит, никому не рассказывает, вот как сейчас было читано, чтоб, значит, никому не поведать... Приходит в Красноярский скит, к отцу Михаилу... На духу спрашивает его по тайности, как идти ему к невидимому граду. Отец Михаил наставляет: «Перво-наперво, говорит, ступай ты на Волгу в Городец. Тот Городец, по писанию, Малый Китеж выходит. Оттоль идти на полунощник, все на полунощник, ни направо, ни налево не моги своротить. Перейдешь реку Узолу, перейдешь Санду-реку, а третью Санахту, перейдешь ты и Керженец – то путь, коим князь Георгий к Большому Китежу шел. А за Керженцем в лесах «тропа Батыева». Иди той дорогой, пролагай путь ко спасению... Будут тебе искушения и от вражия силы страхования: бури и дожди, хлад и зной, змеи и лютые звери, но ты на страхи не взирай, иди себе тропой Батыевой, пролагая путь ко спасению, не сворачивай ни на десно, ни на шуе...» Благословил Перфила Григорьича отец Михаил; пошел тот.

Остановился парень, будто к чему-то прислушаться... Ничего не слышать; только по роще, как шум отдаленных потоков, тихие речи людские звучат...

– Пошел Перфил Григорьич в Вознесенье, привезли перед Покровом, – продолжал рассказчик. – Привезли – узнать нельзя, лица на нем нет, оборванный весь, кафтанишка висит клочьями, рубаха с плеч валится, сапоги без подошв, сам весь рваный да перебитый: синяк на синяке, рубец на рубце. Лева рука перешибена, спина драная... Сам еле дышит, насилу в избу втащили. Встречают домашние Перфила Григорьича, и рады ему, и плачут над ним... «Дедушка, – говорят, – где, родной, побывал?.. Какой злодей тебя, болезного, так избидел?..» А Перфил Григорьич молчит, ни сыновьям, ни невесткам слова не молвит про свои похождения... Обмыли его, одели, напоили, накормили, в баню сводили, на ноги поставить не могли... Похворал зиму-то, в понедельник на Святой Богу душу отдал... Твердый был старик... По нынешним годам молодых таких немного... Сорок восемь медведей на веку уложил...

- Где ж его, сердечного, так гораздо употчевали? Не во граде же

Китеже? – спрашивают парня.

– Не во граде, а возле него, – отвечал рассказчик. – Долго пытали у Перфила Григорьича, рассказал бы про свои похождения, молчит, головой крутит, лишь за три недели до смерти все рассказал.

– Что ж рассказывал он? – спрашивают собеседники, теснее сдвигаясь вокруг парня.

– Вот что сказывал он. «Пошел, – говорит, – я в Городец, оттуда в Заузоле, перешел четыре реки, отцом игумном заповеданные, обрел и тропу Батыеву, пошел по ней. А та тропа давным-давно запущенная, нет по ней ни езду конного, ни пути пешеходного, не зарастает ни лесом, ни кустарником, и много на ней лежит гнилого буреломнику... Трудно было Перфилу Григорьичу перелезть через тот буреломник, высокими горами поперек тропы он навален, однако, трудов не жалея, напастей не страшась, помаленьку вперед подвигался... Оборвался весь, ободрало его сучьями-то, не то что одежду, тело все ободрало, но он, Бога ради, все претерпел, надеясь в невидимом граде со блаженными в райском веселье пребыть... По ночам от бесов были ему страхованья, но крестом и молитвой он себя от них ограждал... Шел тропой Батыевой три дня, по ночам лазил спать на деревья, чтоб сонного зверь не заел... И как вылез Перфил Григорьич из буреломника, видит: луговина зеленая, глазом ее не окинешь, – трава свежая, сочная, цветиков серед той травы множество, видимо-невидимо... Кулички всякие по той полянке бегают, счету им нет: бегают, комариков ловят да мошек... Возблагодарил Господа Перфил Григорьич, что вывел его на столь прекрасном месте малый отдых после великих трудов принять... Ступил шаг по поляне, ступил другой... Вдруг со всех сторон кругом его вода из земли кверху брызнула, а ноги у Перфила Григорьича так и тянет вглубь, так и тянет... Насилу выдрался... И как вынес его Бог, тогда только догадался он, что попал в чарусу... Слышать про чарусы слыхивал, а видеть их до той поры ему не доводилось... «Что ж за диво такое? – думает он. – Тропа вышла прямо на чарусу, надо где-нибудь обходу быть, пойти поискать...» И пошел назад в лес и стал обходить чарусу... А навстречу ему медведь, он от него... Медведь не погнался, не тронул его... Но, бегая от зверя, Батыеву тропу потерял. Опознаться не по чему – леса дремучие, деревья частые, ни солнышка днем, ни звезд по ночам не видать. Где полунощник, где обедник, где верховик, – не разберешь. И, сбившись с пути, шесть недель проплутал он по лесам... Хлеба-то нет, малиной да костяником кормился, корни рыл для еды. Оборвался весь об валежник-от, избился, изодрался, ногу сломал. И тут бы смерть ему приключилась, да некий старец пустынный увидел его и в землянке своей успокоил...

Вылежал у него Перфил Григорьич невступно шесть недель. От отца Михаила к тому старцу трудник пришел, хлеба принес на пропитанье, свечей, ладану на молитву – он вывел из лесов Перфила Григорьича... А как свиделся Перфил Григорьич с отцом Михаилом да рассказал ему про свои похождения, отец Михаил и говорит: «Дурак ты, дурак, Перфил Григорьич, чаруса-то и был невидимый град, а медведь – отец-вратарь; тебе б у него благословиться, тут бы тебе град Китеж и открылся... Завсегда так бывает, – кому чарусой, кому речным омутом невидимый град покажется, а кому горой, а на гору ни ходу, ни лазу».

– Ишь ты дела-то какие!.. Поди угадай тут не зная-то!.. – молвил один крестьянин, когда парень, кончив рассказ, принялся подбрасывать сушник в потухавший костер.

– Из наших местов, из-за Ветлуги, паренек в пастухи здесь на Люнде нанимался, – после некоторого молчанья начал тот старичок, что читал «Летописца». – Заблудился ли он, такое ли уж ему от Господа было поущение, только сам он не знает, какими судьбами попал в тот невидимый град. На краю града, сказывал паренек, стоит монастырь, вошел он туда, сидят старцы, трапезуют, дело-то по́д вечер было... Посадили старцы пастушонка, дали ему укрух хлеба, и тот хлеб таково вкусен да сладок ему показался, что ломтик-другой утаил, спрятал за пазуху, значит. После трапéзы один-от старец повел того паренька по монастырям и церквам, весь град ему показал... А живут в том граде мужи и жены, и не токмо в иночестве, но и в разных чинах, всяк у своего дела. И, показав град и дома, сказал тот старец пареньку: «Не своею волею, не своим обеща́ньем пришел ты в безмятежное наше жилище, потому и нельзя тебе с нами пребыть, изволь идти в мир». И указал дорогу... Вышел в мир паренек, стал рассказывать, где был и что видел... Не верят ему, и он во уверение хотел показать хлеб, за трапезой у старцев утаенный... И явился не хлеб, а гнилушка... Потом тот паренек и обеща́нья давал и волей хотел идти в невидимый град, но как ни искал дороги, а не нашел.

– Господи! Хотя бы часок один в том граде пребыть, посмотреть бы, как живут там блаженные-то... Чать, тоже хозяйствуют?.. Прядут бабы-то там?.. Коровушки-то есть у них?.. – сердечно вздыхая, спрашивала у людей старушка в синем сарафане и черном платке.

– Иная там жизнь, не то что наша, – отозвался старичок грамотей. – Там тишина и покой, веселие и радость... Духовная радость, не телесная... Хочешь, грамотку почитаю про то, как живут в невидимом граде?.. Из Китежа прислана.

– Почитай, кормилец, открой очи, научи меня, темную, – молила

старушка.

И другие стали просить грамотея прочитать китежскую грамотку про житье-бытье блаженных святых.

Вынул тетрадку старичок и, не разворачивая, стал говорить:

– Недалеко́ от Городца в одной деревне жил некий христоробец... Благочестив, богобоязнен, труды его были велики и праведны, жил ото всех людей в любви и почете. И было у того христоробца единое чадо, единый сын, при младости на погляденье, при старости на сбережение, при смертном часу на помин души. Вырастало то чадо в страхе Божиим, поучалось заповедями Господними, со седьмого годочка грамоте научено от родителей – Божественному писанию, евангельскому толкованию. Достиг же тот отрок возраста, что пора и закон принять, с честною девицей браком честным сочетаться. Искали ему родители невесту и нашли девицу доброличну и разумну, единую дочь у отца, а отец был великий тысячник, много достатков имел и был почтен ото всех людей... Не восхотел сын жениться, восхотел Богу молиться, со младых лет Господу трудиться... Родители тому не внимали, гостей на свадьбу созывали, сына своего с той девицей венчали... И когда наутре надо было молодых поднимать, новобрачного не нашли – неведомо куда сокрылся... Во слезах родители пребывают, а пуще их жена молодая... Стали пропавшего за упокой поминать, стала молода жена по муже псалтырь читать... И прошло в тех слезах и молитвах три годочка, на четвертом году от пропавшего сына из Китежа грамотка приходит... Вот она!

И поднял высоко тетрадку...

Все привстали, молчат, благоговейно на нее смотрят... По малом молчанье стал грамотей читать велегласно:

– «Пишу аз к вам, родители, о сем, что хотите меня поминати и друга моего советного заставляете псалтырь по мне говорить. И вы от сего престаньте, аз бо жив еще есмь, егда же приидет смерть, тогда вам ведомость пришло; ныне же сего не творите. Аз живу в земном царстве, в невидимом граде Китеже со святыми отцы, в месте злачне и покойне. Поистине, родители мои, здесь царство земное – покой и тишина, веселие и радость; а святии отца, с ними же аз пребываю, процветоша аки крины сельные и яко финики и яко кипарисы. И от уст их непрестанная молитва ко отцу небесному, яко фимиам благоуханный, яко кадило избранное, яко миро добровонное. И егда ночь приидет, тогда от уст молитва бывает видима: яко столпы пламенные со искрами огненными к небу поднимается... В то время книги честь или писати можно без свечного сияния... Возлюбили они Бога всем сердцем своим и всею душою и всем



помышлением, потому и Бог возлюбил их, яко мати любимое чадо. И хранит их Господь и покрывает невидимою дланию, и живут они невидимы в невидимом граде. Вы же обо мне сокрушения не имейте и в мертвых не вменяйте...»

Вздыхали богомольцы, умилялись и много благодарили старичка, что потрудился он ради Бога, прочел на поученье людям грамотку из невидимого града.

– Да, вот оно что значит праведна-то молитва! – заметил тот парень, что про Перфила Григорьича рассказывал. – Огненными столбами в небо-то ходит!.. Вот тут и поди!..

– Да ты пазори-то видел ли когда? – спросил у него грамотей.

– Как не видать! Не диковина, – отозвался парень.

– Не диковина, а чудное Божие дело, – сказал на то грамотей. – Те столбы, что в небе «багрецами наливаются», сходятся и расходятся, не другое что, как праведных молитва... Кто таковы те праведники, в коем месте молятся, нам, грешным, знать не дано, но в поучение людям, ради спасения душ наших, всякому дано телесными очами зрети, как праведная молитва к Богу восходит...

– Дивен Бог во святых своих! – величаво приподнимаясь с земли, проговорил молчавший дотолѣ инок, еще не старьй, из себя дородный, здоровьй, как кровь с молоком. Низко нахлобучив камилавку черным кафтырем, обшитым красными шнурками, и медленно перебирая лестовку, творил он шепотом молитву. Затем, поклонясь собеседникам, пошел вдоль берега. Василий Борисыч за ним.

– Отче святый! Из какого будете монастыря? – спросил он, равняясь с иноком.

– Аз, многогрешный, из преходящих, – ответил ему старец.

– Из преходящих! – молвил Василий Борисыч. – Значит, никоего монастыря?

– Никоего, родименький, – сказал тот. – Где день, где ночь проживаем у христоробцев... Странствуем – града настоящего не имея, грядущего взыская.

– А как имя ваше ангельское?

– Варсонофий грешный, – ответил преходящий инок, надвигая камилавку на самые брови.

– Места-то какие здесь чудные! – молвил Василий Борисыч, стараясь завести беседу.

– И земля и небеса исполнены Господней премудрости... На всяком месте владычество его, – сказал Варсонофий.

– Так-то оно так, отче; однако ж не все места Господь равно прославляет... А здесь столько дивного, столько чудесного!.. – говорил Василий Борисыч.

– Место свято, что про то говорить. Поискать таких местов, не скоро найдешь; одно слово – Китеж... – сказал Варсонофий.

– Вы впервой здесь, честный отче? – спросил Василий Борисыч.

– Каждый год... Мы ведь преходящие, где люди, тут и мы, – ответил Варсонофий. – Вот отсель к Петрову дню в Комаров надо, на Казанску в Шарпан, на Илью пророка в Оленево, на Смоленску в Чернуху, а тут уж к Макарию на ярмарку.

– Так весь год и путешествуете? – спросил его Василий Борисыч.

– В странстве жизнь провождаем, – ответил Варсонофий. – Зимним делом больше по деревням, у жилых христовлюбцев, а летом во странстве, потому – не холодно... Ведь и Господь на земле-то во странстве тоже пребывал, оттого и нам, грешным, странство подобает... Опять же теперь последни времена от козней антихриста подобает хранить себя – в горы бегати и в пустыни, в вертепы и пропасти земные.

– В Комарове-то в какой обители пристанете? – спросил Василий Борисыч.

– У Манефиных. Нигде, как у Манефиных, – быстро ответил Варсонофий. – Столы большие, трапеза довольная, рыба отменная... По этой части лучше Манефиных по всему Керженцу нет... У отца Михаила в Красноярском тоже хорошо, да вот в несчастье попал... Сергей-от преподобный, значит, ухнул.

– Как ухнул? – с удивлением спросил Василий Борисыч.

– Так же и ухнул – пропал, значит, – ответил Варсонофий. – У отца-то Михаила в Сергиев день <sup>[372]</sup> храм... Завсегда большие кормы бывали. А теперь, значит, мимо.

Подошел Варсонофий с Васильем Борисычем к кучке народа. Целая артель расположилась на ночевую у самого озера, по указанью приведшего ее старика с огромной котомкой за плечами и с кожаной лестовкой в руке. Были тут и мужчины и женщины.

– Тут вот ложитесь, тут, на этом самом месте, – говорил им старик.

– Ладно ль так-то будет, бабушка?.. Услышим ли, родной?.. Мне бы хоть не самой, а вот племяненке услыхать – грамотная ведь... – хныкала пожилая худощавая женщина, держа за рукав курносую девку с широко расплывшимся лицом и заспанными глазами.

– Ложись, тетка, ложись во славу Божию, – торопил ее старик. – Говорят тебе, лучше этого места нет... Под самыми колоколами... Вон,

гляди кверху-то, тут Вздвиженский собор, а тут Благовещенский... Услышишь...

– А баюкать-то будут нас? – спрашивала она.

– А ты знай ложись, праздных речей не умножай... Станешь умножать, ни на сколько благодати не получишь, – уговаривал ее старик. – Да ухом-то прямо к земле, прямо... Ничего не подкладывай, слышишь?

– Слышу, дедушка, слышу, родной... Слышь, Дарёнка, голым ухом к земле-то приткнись, ничего не клади под голову.

– Ложитесь, а вы ложитесь, православные, – нараспев заговорил старик. – Ложитесь, рабы Христовы, ото всего своего усердия... Аще кто усердия много имеет, много и узрит, аще же несть усердия, тщетен труд, – ничего тот человек не узрит, ничего не услышит...

– Чтó ж надо делать-то, родимый, чтоб сподобиться здешней благодати? – спросил у старика кто-то из артели.

– Первое дело – усердие, – стал говорить старик. – Лежи и бди, сон да не снидет на вежди твоя... И в безмолвии пребывайте, православные: чтó бы кто ни услышал, чтó бы кто ни увидел – слагай в сердце своем, никому же повеждь. Станет усердного святой брег Светлого Яра качать, аки младенца в зыбке, твори мысленно молитву Иисусову и ни словом, ни воздыханием не моги о том ближним поведать... И егда приидет час блаженным утрению во граде Китеже пети, услышите звон серебряных колоколов... Густой звон, малиновый – век слушай, не наслушаешься... А лежи недвижно и безмолвно, ничто же земное в себе помышляя... Заря в небе заниматься зачнет – гляди на озеро, – узришь золотые кресты, церковные главы... Лежи со усердием, двинуть перстом не моги, дыханье в себе удержи... И тогда в озере, ровно в зеркале, узришь весь невидимый град: церкви, монастыри и градские стены, княжеские палаты и боярские хоромы с высокими теремами и дома разных чинов людей... А по улицам, увидишь, Алконаст райская птица ходит и дивные единороги, а у градских ворот львы и ручные драконы вместо стражи стоят...

– Не пожертвуете ли, православные, на свечи, на ладан благоверному князю Георгию, преподобным отцам сего града Китежа, – раздался густой, несколько осиплый голос над расположившимися по берегу озера слушать ночной звон китежских колоколов. Оглянулся Василий Борисыч – отец Варсонофий.

– Ступай, отче, ступай к своему месту, не тревожь православных, – торопливо заговорил укладывавший богомолиц старик.

– На свечи, на ладан... – вздумал было продолжать Варсонофий, но старик сильной рукой схватил его за рукав и, потащив в сторону, грозно

сказал:

– Свою артель набери, подлец ты этакой, да у ней и проси... Эх, навыкли вы, шатуны, в чужие дела нос-от свой рваный совать!.. Гляди-кась!..

– Да ты не больно того, – заворчал Варсонофий.

– Сказано: прочь поди... Чего еще? – крикнул старик. – Что камилавку-то хlobучишь?.. Метку, что ли, хоронишь?

– Я те дам метку! – огрызнулся Варсонофий, но поспешными шагами пошел прочь от старика.

– Что ноне этих шатунов развелось, не приведи Господи!.. – молвил старик, когда Варсонофий удалился. – И не боятся ведь – смелость-то какая!

– Чего ж бояться отцу Варсонофью? – спросил Василий Борисыч.

– Какой он отец?.. Какой Варсонофий?.. – отозвался старик. – По нашей стороне он у всех на примете. Волей иночество вздел, шапки бы не скидать, не видно бы было, что его на площади палач железом в лоб целовал.

– Полно ты! – удивились прилегшие послушать звона китежских колоколов.

– Чего полно? Не вру... Знамо, с каторги беглый, – сказал старик. – За фальшивы бумажки сослан был, в третий раз теперь бегают... Ну, да Бог с ним – лежите, братие, со усердием, ничего же земное в себе помышляя.

\* \* \*

Когда Василий Борисыч воротился к комаровским спутникам, они допевали светильны.<sup>[373]</sup> Утрене скоро конец...

Оглянулся Василий Борисыч – купец, что неласково обошелся с ним на берегу, стоит теперь за матерью Аркадией, а дочь его среди белиц между Фленушкой и Парашей. Значит, знакомы.

Взглянул Василий Борисыч на Парашу, посмотрел и на купеческую дочку... во сто крат пригожей, во сто крат приглядней... Чистая, нежная, не поражала она с первого взгляда красотой своей неописанной, но когда Василий Борисыч всмотрелся в ее высокое, белоснежное чело, в ее продолговатое молочного цвета лицо, светло-русые волосы, жемчужные зубы и чудным светом сиявшие синие глаза, – ровно подстреленный голубь затрепетало слабое его сердечко. Грубым, неотесанным чурбаном показалась ему дремавшая рядом с красавицей Прасковья Патаповна.

Не укрылись от взоров Фленушки страстные взгляды Василия Борисыча. Только что отпели утрению, поскочила к нему и шепнула:

– Кот и видит молоко, да у кота рыло коротко...

Встрепенулс Василий Борисыч, вспыхнул.

Меж тем Аркадия с Никанорой, сняв соборные мантии, вступили в беседу с отцом белокурой красавицы; а она с Парашей и Фленушкой стала разговаривать.

– Матушка Манефа как в своем здоровье? – спрашивал купец Аркадию. – Слышали, что очень хворала.

– Совсем было побывшилась, Марко Данилыч, с часу на час смертного конца ожидали... Ну, да услышал-таки Господь грешные наши молитвы – поднял матушку, оздравела, – сладким голоском отвечала Аркадия.

– Теперь-то как она?.. Вполне ли здравствует? – спросил Марко Данилыч.

– Како уж вполне, – молвила Аркадия. – И годы-то уж не молодые, и болезни, печали да огорчения. Вот племяненку схоронила, Патапа Максимыча дочку.

– Слышали, матушка, слышали и немало потужили, – сказал Марко Данилыч. – Дунюшка у меня долгое время глаз осушить не могла. Подруги ведь, вместе в вашей обители росли, вместе обучались.

– Здравствуй, Дунюшка, здравствуй, моя красавица, – молвила Аркадия, обращаясь к дочери Марка Данилыча.

И трижды поликовалась с ней.

– Выросла-то как, пригожая какая из себя стала, – любовалась на Авдотью Марковну мать Аркадия. – Господь судьбы не посылает ли? – примолвила она, обращаясь к отцу.

Зарделось белоснежное личико Авдотьи Марковны, потупила она умом и кротостью сиявшие очи.

– Раненько бы еще, матушка, помышлять о том, – сухо отозвался Марко Данилыч. – Не перестарок, погодит... Я ж человек одинокий... Конечно, Дарья Сергеевна за всеми порядками по́ дому смотрит, однако же Дуня у меня настоящая хозяйка... В люди, на сторону, ни за что ее не отдам, да и сама не захочет покинуть меня, старого... Так ли, Дунюшка?

Пуще прежнего покраснелась белокурая красавица, опустила глазки, и на ресницах ее сверкнули слезинки.

Глаз не может отвести от ее красоты Василий Борисыч, а Фленушка, нахмутив брови, так и впиалась в него глазами.

Обратилась к нему Аркадия, попрекнула:

– А вы, Василий Борисыч, и помолиться-то с нами не пожелали...

Оленевских, должно быть, нашли.

– Нет, матушка, – отвечал Василий Борисыч, – по роще побродил маленько, желательно было на здешнее богомолье посмотреть.

– И на бережку были? – спросила Аркадия.

– Был и на берегу, матушка, летописцев здешних послушал... Искушение!.. – с усмешкой махнув рукой, промолвил Василий Борисыч.

– Вместе никак летописца-то слушали, – сказал Марко Данилыч. – Только господину не очень что-то понравилось здешнее чтение, – вполголоса прибавил он, обращая к Аркадии.

Заметив, что отец заговорил с Васильем Борисычем, белокурая красавица спокойным, ясным взором осияла его... И ровно в чем провинился перед нею Василий Борисыч. Смешался и очи потупил.

– Что ж это так, Василий Борисыч? Чем же вам здешние летописцы так не понравились? – спросила мать Аркадия.

– Много несправедливого, матушка, с древним писанием несогласного... И в Житиях, и в Прологах, и в Степенной совсем не то сказано, – довольно громко ответил Василий Борисыч.

Руками замахала мать Аркадия.

– Потихоньку, потихоньку, Василий Борисыч!.. – тревожно заговорила она вполголоса.

– Вот теперь сами изволите слышать, матушка, – полушепотом молвил Марко Данилыч. – Можно разве здесь в эту ночь такие слова говорить?.. Да еще при всем народе, как давеча?.. Вам бы, матушка, поначалить ихнюю милость, а то сами изволите знать, что здесь недолго до беды... – прибавил он.

– Нет уж, Марко Данилыч, Василья Борисыча не мне стать началить, – повысив несколько голос, ответила уставщица. – Другого такого начетчика по всему христианству нет...

Удивился Марко Данилыч, слушая такие речи Аркадии.

– А из каких мест будете? – спросил он Василья Борисыча.

– Московский, – отвечал тот.

– При каких делах находитесь?

– На Рогожском в уставщиках, – скромно ответил Василий Борисыч.

– Пойдите!.. Да не сродни ли вы будете Мартынову Петру Спиридонычу? – спросил Марко Данилыч.

– Так точно, в родстве состоим, – молвил Василий Борисыч.

– Так уж не вы ли с Жигаревым за границу ездили? В Белу Криницу? – спросил Марко Данилыч.

– Он самый, он самый и есть, – подхватила мать Аркадия.

– Наше вам наиглубочайшее!.. – молвил Марко Данилыч, снимая картуз и низко кланяясь Василию Борисычу. – Хоша лично ознакомиться до сей поры не доводилось, однако ж много про вас наслышан... Просим покорно знакомым быть: первой гильдии купец Марко Данилов Смолокуров.

– Очень рад вашему знакомству, – сказал Василий Борисыч, подавая руку Смолокурову. – Сами-то вы из здешних местов будете?.. С Ветлуги?

– На Горах проживаем, Василий Борисыч, на Горах, – сказал Марко Данилыч. – Здесь, на Ветлуге, в гостях с дочкой были, да вот и на Китеже вздумалось помолиться...

– У Воскресенья, что ли, гостили, Марко Данилыч? – спросила Аркадия.

– Так точно, матушка, – ответил Смолокуров. – У Лещова у Нефеда Тихоныча – третьего дня именинник он был. Мы у него каждый год почти на именинах гостим. Сродник тоже приходится.

– Знаю, что в сродстве, – молвила Аркадия. – А отсюда куда свой путь располагаете?

– В Лысково, матушка, в Лысково, да и ко дворам, – сказал Марко Данилыч. – И то загостились, а ярманка на дворе... Дела!..

– Вам бы к Петрову-то дню нашу обитель посетить, Марко Данилыч, – с низкими поклонами стала звать его мать Аркадия. – Праздник ведь у нас, храм... Опять же и собрание будет... И Дунюшка бы повидалась с подругами... Приезжайте-ка, право, Марко Данилыч... Что вам стоит? До ярманки еще без малого месяц – управитесь... Давно же и не гостили у нас... А уж как бы матушку-то обрадовали... Очень бы утешили ее.

– Право, не знаю, как вам сказать, матушка, – колебался Марко Данилыч. – Делов-то очень много накопилось... Не знаю, управлюсь ли.

– Да уж денек-другой важности не составит, – приставала к Смолокурову Аркадия. – Да ведь через наши-то места и ехать вам будет способнее... На Дорогучу поедете, и дальше будет, и дорога самая неспособная.

– Так-то оно так, – молвил Марко Данилыч, – да, право, много делов-то набралось, матушка... Вот теперича хоть по рыбной части взять – восемь баржей из Астрахани вышли на другой день Всех святых, а до сих пор об них никакого нет известия, не знаю, все ли там благополучно.

«Восемь баржей с рыбой!.. Да от него миллионом пахнет!» – подумал Василий Борисыч и с удвоенным умилением посмотрел на белокурую дочку Марко Данилыча.

– Э! Марко Данилыч! С Божьей помощью во всем успеете: и с делами

управитесь, и с нами поспразднуете, – продолжала упрашивать мать Аркадия. – Мы, убогие, молиться будем, даровал бы Господь вашим делам поспешение... Не откажите, сударь, пожалуйста... Проси тятеньку-то, Дунюшка, погостила бы ты у нас маленечко, с подругами повидалась бы.

Слегка улыбнувшись, ясно и думчиво вскинула ясными очами на отца Авдотья Марковна, но ни словечка не выронила.

– Что, Дуня?.. Как думаешь?.. – весело спросил ее Смолокуров.

В немногих словах много звучало любви. Души не чаял Смолокуров в дочери. Она и теперь отцу ни слова не вымолвила, скромной улыбкой, веселым покорным взором дала ответ.

– Хочется? – сказал, улыбаясь Марко Данилыч.

Улыбнулись алые губки и синие очи красавицы. Слегка кивнула она русой головкой на речь родительскую.

– Нечего делать! По-твоему быть... Хотя ночку-другую не придется поспать, а чтоб Дунюшку потешить, чего не сделаешь?.. Ну поедем, поедем к матушке Манефе, на старое твоё пепелище, где тебя, мою голубушку, уму-разуму учили, – прибавил Смолокуров, ласково глядя дочь по головке.

– Благодарим покорно на согласии, – низко поклонилась ему мать Аркадия.

Рада была уставщица, наперед знала она, что похвалит ее Манефа за то, что зазвала на обительский праздник столь богатого и чивого «благодетеля»... Ста два целковых беспрременно выпадет от него на честную обитель, да с которой-нибудь из восьми баржей достанется на ее долю добрый запас белуги и осетрины, икры и вязиги, балыков и молоко с жирами и всяких иных рыбных снедей. Щедр на подаяния в прежнее время бывал Смолокуров.

– А вы у матушки Манефы будете на празднике? – обратился он к Василию Борисычу.

– Ради Василья Борисыча и собрание-то у нас назначено, – поспешила ответить мать Аркадия. – Его ведь к нам из Москвы по духовным делам прислали. Из всех обителей съедутся с ним соборовать...

– Что за дела? – спросил Смолокуров.

– Да насчет епископства, – небрежно ответил Василий Борисыч.

– Надо съездить, надо, – отозвался Смолокуров. – Кстати, там у матушки Манефы и насчет Китежского «Летописца» мы с вами потолкуем... А здесь нельзя... Потому ревнители... А вы еще давеча у озера-то... Ай-ай-ай!.. Здесь в эту ночь насчет этого опасно... Оборони, Господи, лишнее слово громко сказать... Ревнители!..

– Да что ж это за ревнители такие? – спросил Василий Борисыч.



– Да вот хоть бы тот же парень, что давеча вас ухватил, – тихонько ответил ему Марко Данилыч. – Давно его знаю – Васька Пыжов, в ямщиках прежде на станции жил, да с чего-то спился, ну и стал ревнителем.

– Как же это так? – с любопытством спросил Василий Борисыч.

– Очень просто, – улыбаясь, но опять-таки полупшепотом, ответил Смолокуров. – Сегодня сами видели, каков ревнитель Васька Пыжов, а послезавтра, только что минёт китежское богомолье, ихнего брата, ревнителй, целая орава сюда привалит... Гульба пойдет у них, солдаток набредет, на гармониях пойдут, на балалайках, вина разливанное море... И тот же Васька Пыжов, ходя пьяный, по роще станет невидимых святых нехорошими словами окликать... Много таких.

– Да отчего ж это так? – дивился Василий Борисыч.

– Так уж повелось, – молвил Смолокуров.

Меж тем людской гомон в роще стих совершенно. Костры догорели, ветерком, потянувшим под утро, слегка зарябило гладь озера... Одна за другой гасли на деревьях догорающие свечи. На востоке заря занималась.

– Не пойти ль и нам к бережку? – молвила Аркадия, обращаясь к Марку Данилычу. – Китежских церквей не приведет ли Господь увидеть, звону колокольного не услышим ли?..

– Нам с Дуней к Лещовым пора, – сказал Смолокуров. – Они всем семейством здесь... Ну, да пока маленько-то по пути будет... Пойдемте.

\* \* \*

Пошли к берегу... Тропинки, проложенные по роще в разных направлениях, не ширóки – пришлось идти попарно. Впереди пошел Марко Данилыч с Аркадией, за ними мать Никанора с Марьюшкой, потом Прасковья Патаповна с Дуней, сзади всех Василий Борисыч с Фленушкой. Быстро оглянувшись, схватила она его за руку и шепнула:

– Отстанем маленько.

– Ох, искушение! – прошептал Василий Борисыч, однако ж убавил шаг. Фленушка сказала ему:

– Ты это чтó вздумал?

– А что?

– Вертеться еще, непутный!.. Насквозь тебя вижу, сквалдырника! – горячо, но едва слышно молвила Фленушка.

Вздохнул Василий Борисыч:

– Ох, искушение!

– Нечего тут с дурацким твоим «искушением»... С чего это вздумал ты на чужих девок бесстыжие глаза пялить?.. А?.. Забыл перелесок?.. Не помнишь улангерского гулянья? Слушай же, смиренник, что говорить стану. Удалось беспутному склонить дерево не по плечу... Дурацким твоим счастьем да девичьей нашей глупостью стало то дело. Ну, стало так стало – прошлого не воротишь... Хныкать нечего, да мы и не хнычем... Помни только, бесстыжие твои глаза, что Параша не Устинье Московке чета... Помни, говорю, помни, бесшабашная твоя голова!.. За Парашину обиду шкурой ответишь, головой поплатишься!.. Помни, что она единственная дочь у Патапа Максимыча...

– Да помилуйте, Флена Васильевна, что ж это вы на меня так накинулись... Я человек не смелый, можно ль такие страхи мне говорить? – зачал было растерявшийся Василий Борисыч, но Фленушка не дала ему продолжать.

– Молчи да слушай, что тебе говорят, – сказала она полупшепотом, – да смотри – речи мои на нос себе заруби. Вздумаешь подъезжать к Смолокуровой – Марку Данилычу скажу, он тебя не хуже Чапурина отпотчует.

– Да помилуйте, Флена Васильевна! – опять зачал было Василий Борисыч. Фленушка опять перебила.

– Пикнуть не смей, когда я говорю, – облив его гневным взором, сказала она. – От Параша вздумаешь вильнуть, все расскажу Патапу Максимычу... Себя не пожалею, а все расскажу... Места на свете не будет тебе... Со дна моря он достанет обидчика и так отплатит, так отплатит, что даже сказать нельзя...

– Господи помилуй! Господи помилуй!.. – вздыхал оробевший Василий Борисыч. При одном воспоминанье, что может сделать с ним Патап Максимыч, то в жар, то в озноб кидало его.

– До мясоеда неделя, – не слушая воздыханий его, продолжала Фленушка. – После Петрова дня тотчас надо вас окрутить...

– Как? – дрогнув всем телом и побледнев, спросил Василий Борисыч.

– Не твое дело, как, – ответила Фленушка. – Слушай!.. Будет мать Августа в Шáрпан звать на Казанскую, не езд... Обещайся, а после хворым прикинься... Матушка Манефа в Шáрпан поедет, и только она со двора, мы тебя в церковь.

– Как в церковь?.. В какую? – едва мог промолвить Василий Борисыч.

– В Свибловскую, – ответила Фленушка. – Свиблово село знаешь?

– В великороссийскую-то? – прошептал рогожский уставщик.

– А в какую ж ты думал? – усмехнулась Фленушка. – В Городецкую

небось часовню... аль к австрийскому попу к Коряге?.. Нет, друг любезный, венчаться, так уж венчаться покрепче, чтоб у Параши венец с головы потом не слетел.

– Да помилуйте, Флена Васильевна, – молящим голосом заговорил Василий Борисыч. – Как же это возможно?.. Вдруг в никонианскую!..

– Да ты хоть то себе в толк возьми, безумный, что дело-то ведь спешное... Сыщешь ли, нет ли попа в Городце, старуха надвое сказала... Разъезжает он, отец-от Афанасий... Да и сыщешь, так без согласия Патапа Максимыча Парашу венчать он не станет. Чапурин-от ведь попечителем у них в часовне... Ты это пойми... Да не в том главная причина: ты вот какой слабый на женский-от пол, чуть завидел пригожую девку, тотчас и к ней... Этак, пожалуй, и жену бросишь... В нашем староверском венчанье для бессовестного человека крепости нет, нашего венчанья на суд не поставишь... А как церковный-от поп вокруг наложив тебя обведет, так уж вертись не вертись, а живи с женой до гробовой доски... Правду аль нет говорю, сам рассуди!..

– Да как же это в никонианскую-то? – жалобно и трепетно заговорил Василий Борисыч. – Мне!.. Сраму-то что будет на Москве!.. Помилуйте, Флена Васильевна!.. Ведь я Рогожским живу – хлеба лишиться могу.

Слезы даже выступили на глазах у Василья Борисыча.

– Парашина богатства тебе не прожить, – холодно молвила Фленушка.

– А Патап-от Максимыч!.. – тоскливо проговорил московский посол.

– От венца прямо в Осиповку да бух ему в ноги, – молвила Фленушка. – Завсегда так бывает, когда самокрутки играют... Маленько повоюет – стерпи... Ударит, пнет тебя в зубы ногой – смолчи... повоюет и смиляется... Дочь ведь – своя кровь. Опять же полюбил он тебя...

– Так не лучше ль сказаться ему, да по чести все сделать, – вымолвил Василий Борисыч, но Фленушка так и вскинулась на него:

– Думать не смей!.. В помышление не смей держать! Уходом надо... Слышишь: уходом – самокруткой!.. Жива быть не хочу, коль уходом тебя не свенчаю.

– Повременить бы хоть, Флена Васильевна.

– Слышать не хочу... Говорить мне этого не смей, – резко ответила Фленушка. – А зачнешь на Дуньку Смолокурову пялить глаза – от того ль родителя, от другого ли плетей ожидай... Слышишь?..

В это время передняя пара, дойдя до расстанного места, остановилась. Остановились и другие. Комаровские богомолицы распрощались со Смолокуровым, и Марко Данилыч на прощанье еще раз уверил мать Аркадию, что на Петров день он непременно приедет в Комаров. А как

только придут на место баржи, пришлет матушке Манефе рыбного запаса. Ласково простился он и с Васильем Борисычем... С улыбкой и добрым взглядом простилась со всеми Авдотья Марковна, приветливо поклонилась и Василью Борисычу, но тот стоял, как в землю вкопанный, не догадался даже картуза снять да поклониться... Очень уж зорко смотрела на него в то время Фленушка.

Подошли комаровские к берегу, выбрали местечко, где не так много было народу.

– Не прилечь ли? – молвила Аркадия. – Может, и звона послушать Господь приведет.

Радехонька Параша... Давно ее клонит ко сну... Разостлали по земле шерстяные платки, улеглись. В самой середке положили Парашу, к бокам ее тесно прижались Фленушка с Марьюшкой, по краям легли старицы... Прислонясь к ветвистому дубу, сумрачен, тих и безмолвен стоял Василий Борисыч, не сводя грустных взоров с подернувшейся рябью поверхности Светлого Яра...

«Вот искушение-то! – думал он сам про себя. – Хоть удрать бы куда!..»

Не привел Господь комаровским келейницам слушать малинового звона колоколов китежских, не привел Бог в лоне озера увидеть им невидимый град... Не привел Бог и Василья Борисыча додуматься, как бы подобру-поздорову выбраться из омута, куда затянуло его привольное житье-бытье с красивыми молодыми девицами лесов Керженских, Чернораменских.

Оттого, по словам матери Аркадии, не удостоились комаровские келейницы принять благодати, что суета обуяла их, праздные, многомятежные мысли умы сколебали.

Почему ни до какого способа не мог додуматься бедный Василий Борисыч, почему у него все утро мысли путались, а думы туманились – понять он не мог... «Видно, уж такое пришло искушение!..» – додумался он наконец. Жутко ему. Сколько ни живет на свете, не приходилось в таком переделе быть... Что́ страх австрийского мандатора, что́ горести-беды, которыми встретила его Москва по возвращенье из чужих краев!.. Скитские девки солоней пришли и австрийской полиции, и предательской трусости рогожских столпов... Страшно вздумать про Патапа Максимыча, да не сладко и Марка Данилыча помянуть. «Эти лесные медведи «политичного» обращения не ведают – у них бы все по зубам да в рыло... – думает Василий Борисыч. – Ох, эта страсть!.. Ох, это искушение!.. До чего может она довести человека!.. Над целомудренным девственником, над первым начетчиком какая-нибудь девчонка смеется, в

церковь тянет, плети сулит!.. И выхода нет, ничего не придумаешь, – куда ни кинь, везде клин... А как ни вертись – грозы не миновать; жениться беда, не жениться беда... Хоть сквозь землю – так впору».

«Однако ж свадьбу-самокрутку сыграть все-таки лучше, – начинает додумываться Василий Борисыч, – все-таки выйдешь целее... Фленушка говорит: «Повоюет маленько...» Маленько!.. Кулачище-то страсть!.. Так оставить – убьет, жениться, да еще в церкви, – сраму-то что!.. Как тогда в Москву глаза показать?.. Иудой обзовут, отступником, предателем!.. Матушка-то Пульхерия!.. Батюшка-то Иван Матвеич!.. Сродники!.. Знакомые!.. Как оплеванный станешь... Ах ты, Господи!.. Угораздило ж меня!.. Вот он, враг-от, вот где оно, искушение-то!.. А тут еще Устюшка!.. Осрамит, как пить даст, окаянная!.. Эх, то ли дело в Оленеве, то ли было дело у матушки Маргариты... Блины пекла любушка Грушенька, а в келарне нас двое... Наклонится голубонька перед печкой, сковородник в руках... Стоишь рядом, заглянешь через плечи-то сверху под ворот... Искушение!.. Ну, известно, – тут бес... И ничего!.. Блинки поели и все позабыли... И никаких разговоров – ровно ничего не бывало... А у матери Манефы, куда ни сунься, везде на беду наскочишь!.. Ох, грехи, грехи!.. Ох, грехи наши тяжкие!»

И ни словечка ни с кем не вымолвил он на обратном пути в Комаров. Когда расселись по повозкам, мать Аркадия вздумала было завести с ним разговор про Китежского «Летописца», но Василий Борисыч сказал, что он обдумывает, как и что ему в Петров день на собрание говорить... Замолчала Аркадия, не взглядывала даже на спутника. «Пусть его, батюшка, думает, пусть его сбирается с мыслями всеобщего ради умирения древлеправославных христиан!..»

И от нечего делать раскидывала Аркадия умом-разумом – сколько бы икры, сколько осетрины надо бы было прислать в обитель Марку Данилычу... И про вязигу думала, и про белужью тёшку, и про все передумала дорогой мать Аркадия.

И меж тем миловидный образ белокурой красавицы неотступно мерещился Василью Борисычу... Ровно въявь глядит на него Дуня Смолокурова и веселым взором ясных очей пронизывает его душу... «Эх ты, красота, красота ненаглядная... – думает Василий Борисыч. – Жизни мало за один поцелуй отдать, а тут изволь с противной Парашкой вожжаться!.. Дерево!.. Дубина!.. И в перелеске была ровно мертвая – только пыхтит!..»

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На Каменном Вражке в ските Комарове, рядом с Манефиной обителью, Бояркиных обитель стояла. Была мала и скудна, но, не выходя из повелений Манефы, держалась не хуже других. Иногородние благодетели деньги и запасы Манефе присылали, и при каждой раздаче на долю послушной игуменьи Бояркиных, матери Таисѣи, больше других доставалось. Такие же милости выдали от Манефы еще три-четыре во всем покорные ей обители.

А в старые годы велика, славна и богата была обитель Бояркиных... Но слава ее давно позабыта, давно погорели богатства ее. Лет через пять после французского года случился великий пожар на Каменном Вражке. Зачался у Бояркиных. Дело было ночное; матери и белицы в одних срачицах едва успели повыскакать из пылавших строений, только и помог милосердный Господь вынести из часовни келейный «синодик» строительницы обители да две иконы: храмовую Тихвинской Богородицы да образ Спаса с алою орденской лентой на венце его. Та лента звалась «лопухинской». Много про нее ходило рассказов, и в тех рассказах давняя правда с новыми вымыслами мешалась.

В «синодике» после святейших патриархов и благочестивых царей вписаны были старинные знатные роды: Лопухиных, Головиных, князей Ромодановских, Троекуровых, Голицыных, Куракиных. А первое всех писан род князей Болховских. И под тем родом такие слова приписаны были: «...и сродников их: царей и великих князей Петра и Петра всея Великия и Малыя и Белыя России, царицы Евдокии во иночестве Елены, царевича Алексия и царевны Наталии... Не постави им сый человеколюбче во осуждение забвения древлеотеческих преданий».

За эту приписку тот «синодик», по соборному уложению комаровских матерей, от всеобдержного чтения был отставлен, «поне за отступивших от правыя веры ни пения, ни свечи, ни просфоры, ни даже поминовения, по уставу святых отец, не положено...». Но славы ради и почести святых обители изволися Комаровскому собору хранить тот «синодик» на память грядущим родам. Вот-де каковы бывали старые жители лесов Керженских: сродники светлым царским родам. И от того «синодика» больше чем от лопухинской ленты разносилось между керженскими и чернораменскими жителями баснословных рассказов и новоизмышленных преданий. Каковы ж были те рассказы и те предания – прейдем молчанием... Всего писанного

на Керженце и всего там говоренного ни в книги списать, ни словом рассказать никому человеку нельзя.

На самом деле тот «синодик» и та лопухинская лента на Керженец вот как попали.

Во дни Петра Первого проживала на Москве круглая сирота, княжна Болховская. Много у той княжны-сироты было знатных сродников, много было у ней богатых свойственников. Взросла княжна в доме княгини Троекуровой, родной сестры суздальской заточенницы царицы Евдокии... От той княгини Троекуровой и старой вере княжна научилась... Когда ж по розыску о царевиче Алексее Петровиче княгиню Троекурову за дерзостные словеса в монастырь на безысходное житие послали, несмысленную еще отроковицу княжну Болховскую приютил сродник ее, Степан Васильич Лопухин. Тогда он только что женился на первой петербургской красавице, Наталье Федоровне Балк. Не по воле своей, по царскому приказу браком он сочетался.

В наполненных заморскими благоуханьями передних комнатах лопухинских палат пиры бывали частые, гремела нововводная музыка, и молодая хозяйка в немецких танцах блистала красотой и ловкостью среди многочисленных поклонников, русских и иноземцев... А в одной из задних уютных горниц, пропитанной запахом воска, деревянного масла и ладана, с кожаной лестовкой в руке стаивала в это время на молитве молодая княжка Болховская, тщательно скрывая от людей свое двуперстие... Опасно было: за старообрядское перстосложение тогда нещадному розыску все подвергались... И то Феофан с Питиримом подозревали княжну в расколе; удаление ее от указных ассамблей и роскошных домашних пиров они ставили ей в вину и в укор... То-де противление власти монаршей и «знатное согласие к раскольщикам, непрестанно на государя и государство зло мыслящим...» Сведal о том Степан Лопухин, оберег свою сродницу. Самому царю сказал, что недугом она одержима, к тому ж и разумом не цела, сроду была малоумна, с детских лет маломысленна... Не по силам становилась и княжне петербургская жизнь, после долгих и слезных просьб отпустил ее Лопухин на безмятежное житие в подмосковное свое имение, Гуслицкую волость. <sup>[374]</sup>

Без малого двадцать лет выжила там княжна Болховская. Жила затворницей с десятком других неимущих девиц из дворянских родов. Из домика своего никуда не выходила, а к ней бывали вхожи только раскольничьи старцы да старицы... Меж тем Лопухины блистали в Петербурге. Чтил Степана Васильича Петр Второй как близкого родственника, чтили его и две Анны, императрица и правительница...

Настало царство Елисаветино, и над родом Лопухиных гроза разразилась... Узнав о беде на них, старообрядцев, поскакала княжна в Петербург... Войдя в дом дяди, узнала, что жена, его сын и дочь под стражей сидят... И радовался и слезы лил Степан Васильич при встрече с княжной. Все его покинули, все от него бегали, как от чумного, одна она из дальних мест явилась утешать его... «Вдругорядь опала наш род постигает! – сказал княжне Лопухин. – Скройся, куда знаешь; ведаю, что в Гуслицах ты с раскольщиками зналась, теперь до всего доберутся и тебя запытают... Слышно, за тобой уже послано...» И навеки простился с княжной опальный сродник и дал ей на сохранение родовой образ нерукотворного Спаса да александровскую ленту, что надета была на него самим императором-племянником Петром Вторым. Много червонцев, еще больше драгоценных вещей отдал княжне Лопухин... И те вещи погорели в пожаре, что был в Комарове лет через пять после французского года.

Простилась с дядей княжна Болховская, одинокою пошла из опального дома. Старообрядцы скрыли ее. Прожила она у них в Питере недели с четыре и дождалась начала индикта седьм тысяч двести пятьдесят второго новолетия, что супротив царского указу раскольники тихонько справляли по-старинному, на Семен-день. И на тот самый день<sup>[375]</sup> палачи на площади резали языки у Степана Васильича с сыном и били их кнутом; резали язык и первой петербургской красавице Наталье Федоровне и, взвалив ее на плечи дюжего мужика, полосовали кнутом нежное, всенародно обнаженное тело...<sup>[376]</sup>

Сжалось и льдом застыло обливавшееся дотоле жгучей кровью сердце княжны Болховской, иссушенной постом, истомленной молитвами... Скрытая в народной толпе, всем телом дрожала она и, взирая на муки сродников, тихо шептала: «Святии мученицы, добре страдавшие, молитесь ко Господу!...» Старообрядцы чуть живую увезли княжну из Питера... Пробираясь околицами, добралась она до лесов Керженских, Чернораменных, и здесь на Каменном Вражке была встречена своим «малым стадом» – теми девицами, что жили с ней в Гуслицах. Наперед вывезли их оттуда раскольники... На лопухинские деньги ставила княжна Болховская обитель. И прозвали ее «обителью Бояркиных», потому что первые насельницы в ней все боярышни были... Построила княжна и часовню, внесла в нее икону Спаса с лопухинской лентой. Тот образ и та лента до самого упразднения скитов в обители Бояркиных сохранялись.<sup>[377]</sup> Таково было начало обители Бояркиных.

Годовой праздник у Бояркиных на Тихвинскую бывал.<sup>[378]</sup> По



скитскому заведению на тот день в моленной великая служба бывала, а в келарне праздничные кормы ставились. С раннего утра больше половины матерей и белиц из Манефиной обители ушли к соседям праздновать, но, как ни упрашивала мать Таисея самое Манефу не забыть прежней любви, в такой великий день посетить их обитель, она не пошла, ссылаясь на усталость и нездоровье... То была отговорка. Ни за что бы в свете не огорчила она покорную, во всем согласную, во всяких случаях безответную соседку игуменью, если б у самой на душе мало-мальски было спокойнее... Казать на великом собрание людей душевное беспокойство не подобает – басен не пошло бы каких в народе.

Оставшись одна, заложила Манефа руки за спину и в мрачной думе твердыми, мерными шагами стала ходить взад и вперед по келье... Промчавшийся пожар по лесу ее беспокоил. Что-то ее богомольщицы?.. Успели ль избежать огненной смерти?.. Пробрались ли вовремя к озеру Светлояру?.. Если в Улангере остались – давно бы пора воротиться... Стало быть, оттоль поехали чрез Полому... Не о том Манефа заботится, не о том сокрушается, что придется перед Москвой ответ держать, зачем допустила жившего под ее кровом рогожского посла погибнуть в пламени; не гнева Патапа Максимыча страшится, не горький, истомный плач безнадежного отчаяния Аксины Захаровны смущает ее – болит она сердцем, сокрушается по Фленушке... Хоть греховным делом, а под своим же сердцем носила – чувство матери все заглушает... Но никто не заметил бы, что за думы волнуют Манефу, – глаза горят, но лицо бесстрастно и величаво спокойно...

Изнемогла... Опершись руками об оконные косяки, приникла к стеклу головой.

И вот по узенькой дорожке, что пролегает к скиту из Елфимова, облитые ярким сияньем поднимавшегося к полудню солнца, осторожно спускаются в Каменный Вражек повозка, другая, третья... Не разглядеть старым очам Манефы, кто сидит в тех повозках, но сердце матери шепчет: «Жива!..»

И, медленно подойдя в Божнице, берет Манефа висевшую с края икон лестовку и чинно творит семипоклонный начал.

\* \* \*

Поднявшись из Каменного Вражка, богомольный поезд проезжал мимо Бояркиных. Там на дворе стояла густая толпа разодетых по-

праздничному богомольцев. Моленная была невелика, не могла вместить всех пришедших поспрашивать. Часы уже кончились, допевали молебный канон Богородице... Работные белицы то и дело сновали между моленной и келарней и крыли скатертями расставленные по двору столы для прихожих богомольцев. Тесна у Таисеи была и келарня; незнатных гостей и всех незваных кормили на воле, благо погода была подходящая.

Когда возвращавшиеся из невидимого града Китежа поклонницы поравнялись с обителью Бояркиных, у вереи ворот стояло двое богомольцев. По всему видно, что были те гости дальние. Один статный такой из себя, черный волос, румянец во всю щеку, ходит ребром, глядит козырем, удаль, беззаботность на лице писаны, глаза только вслух не говорят: «валяй, не гляди, что будет впереди», одет, стрижен совсем «по-немецкому». Другой смуглый, невысокого роста, плечистый, коренастый, в ситцевой рубахе-косоворотке и в черном суконном кафтанчике старообрядского покроя. Стрижен в скобку. Когда Манефины повозки поравнялись с воротами, оба, сняв шапки, весело стали кланяться, но всех веселей, всех приветливей отдали они поклоны сидевшим в задней повозке Фленушке с Марьюшкой. И та и другая с радости так и вспрыгнули. Не выдержала Фленушка, вскрикнула:

– Давно ль пожаловали?

– Вчерашнего числа, – молвил одетый по-немецкому, лукаво прищурив глаза. – Вы здоровенько ли съездили?

– Слава Богу, слава Богу! – весело, как весенняя птичка, защебетала Фленушка. Больше она не могла говорить, повозки поехали к Манефиной обители, а молодцы остались у ворот Бояркиных.

В невозмутимом покое чинно, обрядно встретила Манефа возвратившихся богомолиц. Одна за другой подходили к ней благословляться: в первых Аркадия, потом Никанора, за ними Фленушка с Марьюшкой, за ними Параша. После того мужской пол благословлялся и опять-таки по чину, по ряду и в очередь: сперва Василий Борисыч, потом конюх Дементий, за ним двое обительских трудников, правивших конями... Творя перед игуменьей по два метанья со словами: «Матушка, прости! Матушка, благослови!», каждый выслушивал уставной ответ Манефы: «Бог простит! Бог благословит!...» Ни слова больше... стройно, по чину, обрядную встречу справляла.

И когда совершился обряд, подбежавшие работные белицы испросили у матушки благословенья поклажу из повозок принять. Благословив, молча и бесстрастно глядела Манефа, как выгружали они перины и другие пожитки на келейное крыльцо; когда ж Дементий поворотил порожные

повозки на конный двор, игуменья, холодным взглядом окинув приехавших, молвила:

– В келью войдите. – И, увидя Устинью Московку, сказала: – Поставь самовар.

Канонница заревом вспыхнула... Недобрым взглядом облила она московского посланника, вскинула злобными глазами на Прасковью Патаповну и, склонив покорно голову, пошла по приказу игуменьи.

\* \* \*

Полна людей Манефина келья. Кроме приехавших с богомолья, собрались туда обительские старицы и те из белиц, что не ходили на праздник к Бояркиным. Отправляясь на конный двор, конюх Дементий возле келарни встретил добродушную мать Вириною и молвил ей словечко-другое о пожаре в Поломском лесу. Мигом облетела та весть всю обитель. Оттого матери с девицами и спешили одна за другой в келью Манефы. Всякой лестно было послушать рассказы о «чудесном происхожденьи», всякой желательно было узнать, как Господь сохранил обительских путниц от огненной смерти. Прежде всех прибежала сама Вириная. Окинув приезжих глазами, всплеснула руками и вскрикнула:

– Отроки вавилонстии!.. Росодательну убо печь содела вам ангел!..

– Знать бы тебе пироги да печку, – нахмурясь слегка, молвила ей Манефа и, мало помолчав, повелела Аркадии по ряду рассказывать про бывшие с ними в пути приключения.

Уставщица начала с пожару, Манефа воспретила ей продолжать.

– По ряду сказывай, с того часу зачинай, как из дому отправились, – строго молвила ей.

И зачала мать Аркадия рассказывать, как молились они на гробницах Фотиньи и Голиндухи, как приехали в Улангер, какие там были собранья и что говорилось на этих собраниях... А меж тем бывшие в келье чай пили: Устинье пришлось еще три самовара поставить... И когда дошла мать Аркадия до того, как скакали они по кочкам и корневищам в пылавшем лесу, Манефа, кинув мимолетный взгляд на Фленушку, опустила на глаза креповую наметку и по-прежнему осталась недвижимой. Только сложенные на коленях руки ее порой вздрагивали. И только тогда подняла она наметку, когда мать Аркадия довела речь до встречи со Смолокуровым и возвестила об его обещанье приехать на праздник и невольно прислать астраханских рыбных запасов.

– Спаси его Христос, – молвила Манефа. – Мать Виринея, изготовить Марку Данилычу Таифину келью; хорошенько в ней прибери.

Когда ж Аркадия, кончив рассказ, сотворила перед сидевшей игуменьей обычные метанья, та сказала:

– Слава Господу Богу и пречистой владычице Богородице, что было у вас все по-хорошему... Устали, поди, с дороги-то? – прибавила она, приветно улыбнувшись. – Ступайте, матери, с Богом, девицы, отдохните, спокойтесь, Господь да будет над вами. Подите.

Стали одна за другой благословляться: сперва Аркадия, потом Никанора, за ними Виринея и другие старицы, потом белицы. И, благословясь одна за другой, выходили из кельи. Остались Параша с Фленушкой и Марьюшкой да Василий Борисыч с Устиньей Московкой.

Думается Марьюшке, с ума нейдет у Фленушки, как бы скорей повидаться с молодцами, что стояли у въездных ворот Бояркиных. Огнем горит, ключом кипит ревнивое сердце Устиньи, украдкой кидает она палючие взоры на притомившегося с дороги Василья Борисыча и на дремавшую в уголке Парашу.

– Ну, что, Василий Борисыч, как показалось тебе в наших лесах? – спросила Манефа. – Понравилось ли тебе на Китеже?

– Очень занятно, матушка. С любопытством поглядел я на ваши места богомольные, – степенно ответил Василий Борисыч.

– Не ладно только, что в огонь-от чуть было не угодили... Эка беда какая! – молвила Манефа.

– Да, матушка, едино Божие милосердие сохранило нас от гибели, – отозвался Василий Борисыч. – Грешный человек, совсем в жизни отчаялся. «Восскорбех печалию моей и смутихся... Сердце мое смутися во мне, страх смерти нападе на мя, болезнь и трепет прииде на мя... но к Богу воззвах, и Господь услыша мя». Все, матушка, этот самый – пятьдесят четвертый псалом я читал... И услышал Господь грешный вопль мой!..

– Его святая десница!.. – вздохнула Манефа, благостно взглянув на иконы.

– В Улангере какво совещались? – мало повременя, спросила она. – Как там полагают, на чем думают дело решить?

– Очень заметно в них, матушка, желание признать архиепископа и заимствоваться от него священством, – молвил Василий Борисыч.

– Мать Юдифа во всем со мной согласна, а за ней и все Улангерски обители пойдут, – сказала Манефа. – А коли сказать тебе, друг мой, откровенно, сама-то я сильно еще колеблюсь... Ни на что решиться не могу... Ум раздвоенный, а дело великое!.. Колеблюсь!.. Себя-то бы вечно

не погубить, да и других бы в напасть не ввести.

– Если, матушка, желаете со всеми в согласии пребыть, неотменно надо нам духовную власть архиепископа признать. Не одни московские его принимают, а повсюду, где только есть наши христиане, – сказал Василий Борисыч.

– Этого, друг мой, не говори. Далеко не повсюду, – возразила Манефа. – Который народ посрее, тот об австрийских и слышать не хочет, новшеств страшится... И в самом деле, как подумаешь: ни мало ни много двести лет не было епископского чина, и вдруг ни с того ни с сего архиереи явились... Сумнительно народу-то, Василий Борисыч... Боятся, опасаются... Души бы не погубить, спасенья не лишиться бы!..

– На простой народ нечего глядеть, матушка, – возвысил голос Василий Борисыч. – Простой народ всегда за большаками идет... И в писании сказано: «овчее стадо» – паства, значит. А овцы как? Куда передний баран, туда и все сломя голову...

– То-то и есть, Василий Борисыч, что они не захотят, да и мы не пожелаем головы своим ломать, – нахмурилась, сказала Манефа.

– Это я к слову только сказал, – немного смутившись, ответил Василий Борисыч. – То хочу доложить, что, если по здешним скитам признают архиепископа, все христиане следом за вами пойдут... Всегда так бывало. В высоких делах как серому люду иметь рассуждение?.. Куда его поведешь, туда он и пойдет.

– Ну, это еще Бог знает, так ли, – молвила Манефа. – Это у вас на Москве так думают... Живучи век в больших городах, где вам знать, что такое простой захолустный народ?.. Трость ветром колеблема! Вот они что!.. Опять же и время такое настало, что христиане не только у вас на Москве, но и в наших лесах о своих выгодах стали больше думать, чем о Господе, о спасенье души ровно бы и помышлять забыли... А все от вас идет! Все от вас: из Москвы, из Питера, из больших городов. Нажили богатства, возгордились, забыли Бога, создавшего вас, да и бедных людей в соблазн завели... Иссекает вера, любезный мой Василий Борисыч, по своим похотям стали люди ходить, страх Божий забыли. Поистине, последние времена!.. Ну, да об этом, Бог приведет, еще потолкуем, а теперь не отдохнуть ли тебе? Не то поспрашивать не желаешь ли? У Бояркиных праздник сегодня.

– Нет уж, благословите, матушка, мне отдохнуть маленько, – ответил Василий Борисыч. – Встали раненько, с ночлега поехали с солнышком вместе, а дороги-то у вас, спаси, Господи, и помилуй.

– Лесные дороги, Василий Борисыч. Какие есть, не взыщи, – молвила

Манефа. – А отдохнуть в самом деле тебе не мешает... Подь-ка, любезный, покойся!

Вышел из кельи Василий Борисыч, следом за ним Параша и Марьюшка с Устиньей Московкой. Фленушка одна осталась с Манефой.

– Ах, Фленушка, Фленушка! Как же я без тебя исстрадалась!.. – с жаром и нежною лаской заговорила Манефа, гладя ее по голове. – Чуяло мое сердце, что у вас недоброе что-то идет!.. И когда разгорелся пожар, чего-то, чего я не передумала, глядя на дымные небеса... Радость ты моя!.. Кажется, если б что случилось, дня не пережила бы... Измучилась, исстрадалась я до смерти.

– Слава Богу, матушка, все живы-здоровы, – беззаботно молвила Фленушка, целуя руку Манефы.

– Ах, Фленушка! – с сердечным умилением нежно и ласково продолжала игуменья. – Чего я в то время про тебя не передумала!.. Дорога ведь ты сердцу моему, Фленушка!.. Ох, как дорога ты – и помыслить не можешь того!..

И ровно оборвала речь. Смолкла. И мало погодя сдержанно заговорила:

– О судьбе твоей все думаю... Недолго мне, Фленушка, на свете жить. Помру, что будет с тобой?.. Душа мутится, дух замирает, только об этом подумаю. Всякий тебя обидит, никакой у тебя заступы не будет... Горько будет тебе в злобе мира, во всех суетах его... – Так, взволнованным голосом, склонив голову на плечо Фленушки, говорила Манефа.

– Полно-ка, матушка, не круши себя, – сквозь слезы отвечала ей Фленушка. – Все Господь устроит по святой воле своей. Сама ж ты учила меня во всем полагаться на святую волю его... Не томись же, матушка, не печаль себя. Господь милостив. Он все устроит...

– Думала ль ты, Фленушка, про что я намерен тебе говорила?.. Помнишь, весной-то, как от болезни только что справилась?.. Надумалась ли хоть сколько-нибудь? – глубоко вздохнув, спросила Манефа.

– Про постриг-от, – немного помолчав, отозвалась Фленушка.

– Да, – подтвердила Манефа.

Молчала Фленушка.

– Утешь ты меня, успокой, моя милая, дорогая ты моя Фленушка! – молящим голосом говорила Манефа. – Спокойно б я тогда померла, все бы добро к тебе перешло, без страха б за тебя, без печали закрыла очи на смертном одре, без земных бы забот предстала пред Создателя...

Искрились слезы в глазах старицы.

Задумалась Фленушка, села на лавку, склонила голову.

– Пожалей ты меня, успокой ради Господа! – продолжала Манефа. – Дай отраду концу последних дней моих... Фленушка, Фленушка!.. Знала б ты да ведала, каково дорога ты мне!

– Разве не вижу я любви твоей ко мне, матушка? Аль забыла я твои благодеяния? – со слезами ответила ей Фленушка. – Матушка, матушка!.. Как перед истинным Богом скажу я тебе: одна ты у меня на свете, одну тебя люблю всей душой моей, всем моим помышлением... Без тебя, матушка, мне и жизнь не в жизнь – станешь умирать и меня с собой бери.

– Не раздирай сердца моего!.. – молила Манефа. – Пожалей меня, бедную, успокой, согласись... Я бы тотчас благословила тебя на игуменство... При жизни бы своей, сейчас бы полной хозяйкой тебя поставила.

Судорожно рыдала Фленушка, и тихо текли слезы по впалым ланитам Манефы... «Сказать ли ей тайну? – думала она, глядя на Фленушку. – Нет, нет!.. Зачем теперь про свой позор говорить?.. Перед смертью откроюсь... А про него не скажу, чтоб не знала она, что отец у нее, может, каторжник был... Нет, не скажу!..»

– Матушка! – подняв голову, твердым голосом сказала Фленушка.

– Что?

– Дай мне сроку два месяца... Два месяца только... Дай хорошенько одуматься... Дело не простое... Великое дело!.. Дай сроку, матушка... – и зарыдала, припав головой к Манефиной груди.

– Ну хорошо, хорошо... – успокоивала ее Манефа. – Дело терпит, не к спеху... Да полно же, Фленушка!.. К чему убиваться?.. Полно... поди приляг у меня в боковушке.

– Через два месяца скажу я тебе, в силах ли буду исполнить желание твое, – вставая с места, сказала Фленушка. – Не мое то желание – твое... А снесу ль я иночество, сама не знаю... Теперь к себе пойду... запрусь, подумаю. Не пущай никого ко мне, матушка... Скажи, что с дороги устала аль что сделалась я нездорова.

Истово, обрядно перекрестила ее Манефа, говоря твердым голосом:

– Во имя отца и сына и святого духа!.. Подь, радость моя, успокойся.

Ровно былинка под ветром шатаясь, пошла вон из кельи Фленушка. Слезным взором посмотрела на нее Манефа и, заперши изнутри келью, стала на молитву.

Долго молилась она. Потом, взяв бумагу, стала писать.

Кончив писанье, несколько раз прочитала бумагу и, медленно сложив ее, взяла с Божницы келейную икону Корсунской Богородицы. Сзади той иконы был едва заметный «тайничок». Такие тайнички на затыле икон

нередки у старообрядцев; в них хранят они запáсные дары на смертный случай. Тайничок Корсунской иконы был пуст... И положила туда Манефа бумагу, что написала, и, задвинув тайник крышечкой, поставила икону на место.

После того еще больше часу стояла она перед Корсунской Богородицей на молитве.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чин чином справили свой праздник Бояркины. Постороннего народа за столами на широком дворе и почетных гостей в тесной келарне было немало. Всем учрежденье за трапезой было довольное. Все обошлось хорошо, уставно и в должном порядке. И когда по окончании обеда остались в келарне только свои, утомленная хлопотами мать Таисея, присев на лавочке, радостно перекрестилась и молвила:

– Слава те, Господи!.. Привела владычица матушка царица небесная праздник великий свой спраздновать!

И матери и белицы низко поклонились игуменье. Казначея мать Ираида за всех за них молвила:

– Твоими, матушка, стараньями, твоим попеченьем!.. Не от уст, от сердец наших прими благодаренье.

– Спаси Христос, матери; спасибо, девицы... Всех на добром слове благодарю покорно, – с малым поклоном ответила Таисея, встала и пошла из келарни. Сойдя с крыльца, увидала она молодых людей, что кланялись с Манефиными богомольцами...

– Не прогневайтесь, гости дорогие, на нашем убогом угощенье, – с низким поклоном сказала им Таисея. – Не взыщите Бога ради на наших недостатках... Много гостям рады, да немного запасливы.

– Чтой-то вы, матушка?.. Помилуйте! – молвил удалец, что был одет по-немецкому. – Очень довольны остались на вашей ласке и угощенье.

– За любовь благодарим покорно, Петр Степаныч, за доброе ваше слово, – с полным поклоном сказала мать Таисея. – Да вот что, мои дорогие, за хлопотами да за службой путем-то я с вами еще не побеседовала, письма-то едва прочитать удосужилась... Не зайдете ль ко мне в келью чайку испить – потолковали б о делах-то...

– Со всяким нашим удовольствием, – ответил Петр Степаныч. – Пойдем, – прибавил он, обращаясь к товарищу.

– Пожалуй, – равнодушно отозвался тот.

– Мы сейчас, матушка. На минуточку только к себе зайдем, – сказал Петр Степаныч.

– Будем ждать, будем вас ждать, гости мои дорогие, – сказала Таисея и, подозвав Ираиду, велела ей идти за ней в келью.

Келейка Таисеи была маленькая, но уютная. Не было в ней ни такого простора, ни убранства, как у матери Манефы, но так же все было опрятно

и чисто. Отдав приказ маленькой, толстененькой келейнице Варварушке самовар кипятить, а на особый стол поставить разных заедок: пряников, фиников, черносливу и орехов, мать Таисея сама пошла в боковушу и вынесла оттуда графинчик с водкой, настоящей плававшими в нем лимонными корками, и бутылку постных сливок, то есть ямайского рома ярославской работы.

– Ну, матушка Ираида, – садясь на лавку, сказала она своей казначее, – послушай-ка меня, надо нам с тобой посоветовать. Вечор некогда было и сегодня тож. Гости-то наши письма ко мне привезли: Тимофей Гордеич Самоквасов читалку просит прислать, старичок-от у них преставился, дедушка-то... Слыхала, чай, что в подвале-то жил, в затворе спасался.

– Так, – думчиво молвила мать казначея.

– А Панкова приказчик, Семен Петрович, из Саратова от своего хозяина, от Ермолая Васильича, такое ж письмо привез, – продолжала Таисея. – Дочка у Панкова побывшилась, надо и к ним на «годовую» девицу послать. Как посоветуешь, Ираидушка?

– А мой совет, матушка, будет такой, – немного подумавши, молвила мать Ираида. – Оленушка в Хвалыне живет у Строиловых, на другой день Казанской выйдет ей срок – годовщина. Сплыть бы ей до Саратова, там ведь близехонько, тем же бы днем на пароходе поспела.

– И мне про Олену на ум приходило, – молвила мать Таисея, – да матушки Арсении жаль, два годочка не видалась с племяненькой-то.

– И третий потерпит, – сказала казначея. – Оленушка девица еще молодая, в обитель взята с малолетства, совсем как есть нагишом, надо ж ей обительскую хлеб-соль отработать. На покое-то жить, кажись бы, раненько.

– Так-то оно так, Ираидушка, да матушка-то Арсения плакаться будет, больно уж любит она Оленушку-то, – говорила мать Таисея.

– И поплачет, не велика беда, – молвила Ираида. – То дело не ее, обительское. Должна покориться. Когда насчет этого соборне станешь советовать?

– Да хоть завтра бы, что ли, – ответила мать Таисея.

– Завтра так завтра, – молвила казначея. – Матери все в один голос на Олену укажут... Уж как ни быть, а в Саратов ей ехать. Мать Арсения что хошь говори, не послушают.

– Вестимо не послушают, тоже ведь доход, – согласилась мать Таисея. – Да мне-то уж больно жаль старицу... Шутка ли в самом деле, два года не видалась, да еще и третий не свидятся... До всякого доведись, Ираидушка...

– Что ж делать-то, матушка? Наша обитель не людная, опричь Оленушки, и послать-то некого. Разве Варварушку? – кивнув головой на дверь, куда только что вышла келейница, молвила Ираида.

– Как можно Варвару? – тревожно заговорила игуменья. – Нет, уж вы, пожалуйста, про нее и не поминайте... Мне-то как же без Варварушки быть?.. И за мной ходить, и на клиросе в головщицах, и письма какие случатся, все она да она... Без Варвары я как без рук... Коли так, так уж лучше Катерину пошлем: плакальщиц по ней не будет.

– Пухнет вся, матушка, ноги стали что бревна, – возразила Ираида. – По моему замечанью, до весны вряд ли она и протянет... А что хорошего больную послать да немощную?.. От благодетелей остуда, да и ей неведомо... За псалтырем-то день-ночь стоять и здоровый с непривычки как раз свалится... Как возможно, нездоровых читалок в такие люди посылать?..

– И то правда, – согласилась Таисея. – Так как же? – обратилась она к Ираиде после короткого раздумья.

– Мои речи все те же будут, матушка, – ответила казначея. – Опричь Оленушки, некого... Сама видишь, сама знаешь.

– Ин быть по-твоему, – решила игуменья. – А матушку Арсению за долгое расставанье с племянницей маленько повеселю: сарафан сошью да шубу справлю. Лисий мех-от, что прошлого года Полуехт Семеныч от Макарья привез, пожертвую на шубку ей. Самой мне не щеголять на старости лет, а матушку Арсению лисья-то шубка потешит... А кого же в Казань-то послать?

– В Казань послать, матушка, некого, – решительно сказала казначея.

– Да... Точно что некого, – вздохнув и покачав головой, молвила игуменья.

– Разве Варварушку? – проговорила Ираида.

– Я уж сказала тебе! – вспыхнула мать Таисея.

– Обители бы польза, матушка, – молвила казначея. – Самоквасовы люди богатые, а грехи у покойника были великие... Смолоду, говорят, разбои держал, суда на Волге грабил... Такую душу вымолить не вокруг пальца ниткой обвести... На деньги Самоквасовы скупиться не станут.

– А нам-то, по-твоему, без пеня быть? – с жаром возразила Таисея. – Без Варвары на клиросе как запоют?.. Кто в лес, кто по дрова?.. Сама знаешь, сколь было соблазна, когда хворала она... А я-то для вас и гроша, должно быть, не стою?.. А кем обитель вся держится?.. У кого на вас есть знакомые благодетели?.. Через кого кормы, и доходы, и запасы?.. Слава Богу, тридцать годов игуменствую – голодные при мне не сидели... Не

меня ль уж к Самоквасовым-то в читалки послать? – с усмешкой она примолвила.

– Напрасно прогневаться изволила, матушка, – с низким поклоном сказала Ираида. – Я только так сказала, к слову пришлось... Твоя во всем воля! Как тебе рассудится, так на собрание мы и положим.

– Другую читалку у Манефы возьму, – после недолгого раздумья молвила Таисея. – У них девиц много, пошлет одну и нас не обидит... Третью долю вклады, не то и всю половину отдаст... Сегодня ж к ней побреду.

\* \* \*

Под эти слова в келью вошли молодой Самоквасов с приказчиком Панкова, Семеном Петровичем.

– Садитесь, гости дорогие, – ласково приветила их Таисея, когда, чинно сотворив перед иконами семипоклонный уставной начál, отдали они по два метанья игуменье.

Сели. Варварушка стала чай разливать. Под святыми сидит Таисея, по сторонам стола казанец да саратовец, вдали, в уголке, у самой у двери, мать Ираида.

– Ну вот и дедушку, Петр Степаныч, схоронили!.. – жалобным голосом начала Таисея, обращаясь к Самоквасову. – Да вам-то он никак прадедушкой доводился?

– Так точно, – тряхнув головой, отвечал Петр Степаныч.

– Пожил, слава Богу, довольно, – молвила игуменья. – Много ль годов было сердечному?

– Больше ста годов, матушка, – ответил Самоквасов.

– Уж и больше ста годов? – промолвила Таисея.

– Сами извольте считать, – сказал Самоквасов. – О ту пору, как Пугачев Казань зорил, жена у дедушки без вести пропала; дедушка наш настоящий, Гордей Михайлыч, после матери тогда по другому годочку остался.

– Да, да, – качая головой, согласилась мать Таисея. – Подымался Пугач на десятом году после того, как Иргиз зачался, а Иргиз восемьдесят годов стоял, да вот уже его разоренью пятнадцатый год пошел. Значит, теперь Пугачу восемьдесят пять лет, да если прадедушке твоему о ту пору хоть двадцать лет от роду было, так всего жития его выйдет сто пять годов... Да... По нынешним временам мало таких долговечных людей... Что ж, как

он перед кончиной-то?.. Прощался ли с вами?.. Дóпустил ли родных до себя?

– Как же, матушка, со всеми простился, – ответил Петр Степаныч. – И со сродниками, и с приказчиками, и со всеми другими домашними, которые на ту пору тут прилучились. Всех к себе велел позвать и каждого благословлял, а как кого зовут, дядюшка подсказывал ему. Чуть не всех он тут впервые увидел... Меня хоть взять – перед Рождеством двадцать седьмой мне пошел, а прадедушку чуть-чуть помню, когда еще он в затворот не уходил.

– Годов двадцать в затворе-то, говорят, пребывал? – спросила мать Таисея.

– Двадцать два года ровнехонько, – подтвердил Самоквасов. – Изю дня в день двадцать два года... И как в большой пожар у нас дом горел, как ни пытались мы тогда из подвала его вывести – не пошел... «Пущай, – говорит, – за мои грехи живой сгорю, а из затвора не выйду». Ну, подвал-от со сводами, окна с железными ставнями – вживе остался, не погорел...

– Дивный подвиг принял на себя на склоне дней, – молвила мать Таисея. – И что за грехи такие были на нем? Надо думать, какие особные, что такими трудами надо было ему их замаливать?..

Не ответил Самоквасов. Немного повременя, мать Таисея продолжала:

– Многое люди болтают, да всех людских речей не переслушать: молва что волна – расходится шумно, а утишится – и нет ничего.

– Нет, матушка, про нашего дедушку молва правду рассказывает, – молвил Самоквасов. – Теперь он уж перед самим Господом держит ответ, земного суда над ним уж не будет, стало быть, можно про дела его говорить без опаски. Разбои держивал, матушка, разбойничал... Много было смолоду бито-граблено, напokon души надо было грехи заглаживать. Перед смертью передо всеми каялся, все про себя рассказал и завещал: его поминаючи, молиться за упокой еще двадцати восьми душ, им убиенных; семерых поименно, а остальных так велел помянуть: «Их же имена ты, Господи, веси».

– Как же это он на такие дела пошел? – с напускным удивлением спросила мать Таисея.

– А вот что рассказывал он перед смертью, – зачал молодой Самоквасов. – Когда Пугач Казань спалил и всю ее ограбил, жена у прадедушки тогда пропала... Двое суток искал он ее между мертвецами, что лежали по домам и по улицам, искал и не нашел. А сынка – это дедушку, покойника Гордея Михайлыча, – у одного суконщика нашел. И тот суконщик ему сказывал, что пугачевцы на его глазах молодую женщину

с ребенком схватили. Ребеночка наземь швырнули, ее в табор свой увели. Пригожа из себя прабабушка была... Отдал дедушка сыночка своей сроднице, а сам пугачевцев пошел догонять. И, догнавши, пошел к ним на службу и ходил с ними до самых до тех пор, как воровские таборы их разогнали, однако ж жены отыскать он не мог. Кого ни спросит: никто не знает, не ведает... А когда Пугачеву пришел конец, дедушка бежал на Иргиз. Там в Филаретовом скиту собралось пугачевцев человек двадцать... Старцы в скиту опасались держать их, деваться им некуда, и пошел дедушка с товарищами на Волгу гулять... Две косные снарядили, стали встречным судам «сарынь на кичку» покрикивать... И был у них дедушка за атамана, и держали они разбой больше двадцати годов... Меж тем товарищи перевелись: кого убили, кто потонул, к дедушке старость подошла, кинул он Волгу, в Казани явился... Отыскал сына, женил его, торговлю завел... Денег и всякого богатства с Волги-то много привез... Счастье ему повалило, барыши наживал он большие, да с сыном родным Господь не дал ладов... Одинова вгорячах так его колонул, что тот через сутки во гробе лежал... Осталось у прадедушки двое внучат малолетних: дядя Тимофей Гордеич да родитель мой, один по-третьему, другой по второму годочку. На́ ноги поднял их дедушка, поженил, а сам по святым местам Богу молиться пошел: в Киеве был, в Соловках, в Царьграде. В старом Иерусалиме у гроба Господня больше году он выжил... И воротясь домой, от мира отрекся, власяницу надел и вериги, пост и молчанье на себя положил. Двадцать два года не видал Божьего свету, не выходил из темного подвала. Однако только дядю Тимофея Гордеича и допускал до себя. А капитал до самой до смерти на свое имя велел объявлять... И все пребывал на молитве... И всем было на удивленье, как при такой жизни он мог больше ста лет прожить.

– Таковую дней долготу даровал ему Господь, чтоб успел замолить он кровавые грехи свои, – набожно сказала мать Таисея. – Говорили по народу, что покойный твой прадедушка, хоть и был муж кровей, но от юности святую милостыню возлюбил и, будучи в разбое и после того живучи в Казани, не переставал ее творить.

– Это правда, матушка, – подтвердил Петр Степаныч. – У нас в семье, как помню себя, завсегда говорили, что никого из бедных людей волосом он не обидел и как, бывало, ни встретит нищего аль убогого, всегда подаст милостыню и накажет за рабу Божию Анну молиться – это мою прабабушку так звали – да за раба Божия Гордея убиенного – это дедушку нашего, сына-то своего, что вгорячах грешным делом уколошил... говорят еще у нас в семье, что и в разбой-от пошел он с горя по жене, с великого

озлобления на неведомых людей, что ее загубили.

– Так я думаю, любезный мой Петр Степаныч, что ради милостыни и даровал ему Господь лет умножение и крепость сил на кончине дней подъять столь великий подвиг, – сказала мать Таисея. – Не восхотел праведный судия погубить душу грешника, дал ему напokon веку довольное время постом, молитвой и грешныя плоти измождением загладить грехи свои тяжкие... Очистил раб Божий Михаил душу свою и вас всех, весь род свой и племя от Божия гнева избавил... Сказано ведь, друг, в писании-то: «Мужу кровей мстит Господь до седьмого колена...» Великим подвигом покаяния отвел он от потомков своих фиал ярости Господней. Потому и должно вам не забывать его в молитвах, должно творить за него неоскудную милостыню... Много ль дядюшка на раздачу-то прислал?

– Восемьсот рублей на серебро, – отвечал Петр Степаныч.

– Матушке Манефе отдать велел или сам ты станешь делить? – спросила Таисея, зорко взглянув на Самоквасова.

– Матушке Манефе велено деньги отдать, а у тебя читалку просить, – сказал Петр Степаныч.

– Ну, вот насчет читалки-то и не знаю, как быть, – со вздохом ответила мать Таисея. – Всей бы душой рада, да послать-то некого, ни единой свободной девицы теперь нет у меня... К Ермолаю Васильичу отправить могу, – обратилась она к саратовцу. – В ваших местах одна наша девица «годовую» кончает, после Казанской отделается и прямо к Ермолаю Васильичу проедет... А другой нет... Как на грех, такие у меня дела подошли, что некого послать, да и только... Не погневался бы дядюшка-то... Что станешь делать?.. Как говорится: «Из репки девки не вырежешь, коль на девок урожаю нет...» Освободится одна, в Романове дочитывает, да не скоро кончит, недели через две после Покрова...

– Нам как можно скорей надо, матушка... Сами извольте посудить, можно ль при таких грехах псалтырю медлить... Дядюшка наказывал тотчас бы отправить канонницу, – сказал Самоквасов.

– Надо будет матушку Манефу просить, у нее девицы три либо четыре без дела сидят, – сказала Таисея. – Виделся с матушкой-то?

– Нет еще. Сегодня перед вечером собираюсь сходить, – отвечал Самоквасов.

– Сходи, голубчик, сходи, поклоняйся и ты ей, покуйся, она добрая, не откажет, – сказала Таисея. – И я посоветуюсь с ней. Вместе, пожалуй, пойдем.

– И мне бы тоже надобно к матушке Манефе побывать, – сказал

саратовский приказчик.

– С письмом? – спросила мать Таисея.

– Так точно; тоже с денежным вложением на раздачу, – ответил Семен Петрович.

– Много ль привез? – вскинув на него глазами, спросила Таисея.

– Да четыреста пятьдесят на серебро, – ответил приказчик.

– Спаси Христос Ермолая Васильича!.. Дай ему Господи многолетнего здоровья и души спасения, не забывает нас, сирых, убогих, – молвила мать Таисея. – А уж молиться будем хорошо. Все как следует справим: и каноны и псалтырь безо всякого упущенья... У нас, други милые, на этот счет без обману... Не то что по другим местам... Вот, не в осужденье сказать, хоть на Рогожском в Москве. Нахватают, нахватают отовсюду поминовений, да и не могут справиться... Сила не берет... За одним канонем десятка по два покойников поминают либо по три, а денежки за каждого порознь... А у нас по лесам так не делается. У нас по каждому покойничку особ канон за единоумершего; никогда самого малого упущения не бывает. К тому ж поминаем не келейно, а соборне. Хвалить себя не доводится, да и промолчать нельзя. Всем ведомо, что Керженские обители на том и стоят, что заказы благодетелей как следует справляют, по чину... Не даром, други любезные, денежки получаем... В чем другом, яко человецы согрешаем, а насчет поминовений перед Богом ответа не дадим... У нас это по соловецкому уставу справляется... Матушка Ираида, подай-ка устав.

Вынула мать Ираида из-под божницы четвертую рукописную книгу в черном кожаном переплете и, сыскав место, положила ее на стол перед игуменьей.

Стала мать Таисея читать:

– «Егда кто из обительских преставится, и аще не останется после него своего имени...» Не то раскрыла Ираидушка... Не в том месте, – с досадой молвила Таисея. – Сыщи про мирских человеков преставльшихся, – прибавила она, подавая Ираиде книгу.

– Да напрасно изволите беспокоиться, матушка, – сказал Самоквасов. – По всем городам известно, что нигде так хорошо не молятся, как у нас на Керженце.

Испугался купчик немалой книги. «Как угораздит мать Таисею читать ее до конца! – подумал и перемигнулся с саратовцем: – Ты, мол, не засиживайся; только я шелохнусь, ты за шапку да вон, пора, дескать, нам».

Меж тем Ираида подала книгу игуменье и указала место перстом... Зачала Таисея:

– «Аще не житель обители, но мирской человек преставится и будет от



сродников его подаяние на честную обитель ради поминаения души его, тогда все подаяние емлют вкладом в казну обительскую и за то поминают его по единому году за каждый рубль в «Литейнике»; а буде соберется всего вклада пятьдесят рублей, того поминают в «Литейнике» вовеки; а буде соберется вклада на сто рублей, того поминают окроме «Литейника» и в «Сенанике» вовеки же. А кто что прикажет по себе, сиречь чтобы погребение по нем отпеть, и то в казну обительскую, а братии корм и утешение по рассмотрению, а что на раздачу по рукам, то...»

– Нам уж пора, матушка, – повернувшись на месте, молвил Самоквасов, а Семен Петрович за шапку и с места.

– Послушать бы вам, гости дорогие, каким чином у нас поминаения-то справляются, – молвила мать Таисея. – Вы бы, Петр Степаныч, дядюшке своему рассказали, вы бы, Семен Петрович, Ермолаю Васильичу доложили. Слушайте-ка: «А за канун и за кутию...»

Но Самоквасов с саратовцем, положив начал перед иконами, поклонились Таисее и промолвили:

– Матушка, прости, матушка, благослови.

Делать нечего: благословила и простилась мать Таисея.

А куда как хотелось ей дочитать из устава статью о поминаниях, чтобы ведали гости, как в скитах по покойникам молятся, и после бы всем говорили: «Не напрасно-де христолюбцы на Керженец посылают подаяния».

– Эк ее раскозыряло, старую!.. – молвил, усмехаясь, Семен Петрович Самоквасову. – Совсем было зачитала нас.

– Матерям по ихнему делу иначе нельзя, – отозвался Самоквасов. – Ведь это ихний хлеб. Как же не зазывать покупателей?.. Все едино, что у нас в гостином дворе: «Что изволите покупать? Пожалуйте-с! У тех не берите, у тех товар гнилой, подмоченный, жизни рады не будете!.. У нас тафты, атласы, сукно, канифасы, из панталон чего не прикажете ли?»

– Ну, ты уж пойдешь! – молвил Семен Петрович. – Эк, язык-от!

– Разве не дело?.. – хохотал Самоквасов. – Ей-Богу, та же лавка! «На Рогожском не подавайте, там товар гнилой, подмоченный, а у нас тафты, атласы...» Айда<sup>[379]</sup> к нашим?

– Айда! – улыбнувшись, ответил Семен Петрович.

– Маленько обождем, немножко по скиту пошляемся... Пуцдай наши мамочки натерпятся, – молвил Самоквасов и, заломив шапку, завел вполголоса лихую песню:

Тень-тень, перетень,

Выше города плетень!..  
За плетнем-то на горе —  
По три девки на дворе!..  
Девки моются, подмываются —  
Дружков милых дожидаются.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Только что Манефа после молитвы и недолгого отдыха вышла из боковуши в большую келью, как вошла к ней мать Таисея с аршинною кулебякой на подносе. Следом за ней приезжие гости Петр Степаныч Самоквасов да приказчик купца Панкова Семен Петрович вошли.

Поставив на стол кулебяку, сотворила мать Таисея семипоклонный устáвный начал. А с ней творили тот обряд и приезжие гости. Игуменьи друг дружке поклонились и меж собой поликовались.

– С праздником тебя поздравляю, – молвила Манефа.

– Благодарим покорно, матушка, – сладеньким, заискивающим голоском, с низкими поклонами стала говорить мать Таисея. – От лица всея нашей обители приношу тебе великую нашу благодарность. Да уж позволь и попенять, за что не удостоила убогих своим посещеньем... Равно ангела Божия, мы тебя ждали... Живем, кажется, по соседству, пребываем завсегда в любви и совете, а на такой великий праздник не захотела к нам пожаловать.

– Невмоготу было, матушка, истинно невриготу, – сдержанно и величаво ответила Манефа. – Поверь слову моему, мать Таисея, не в силах была добрести до тебя... Через великую силу и по келье брожу... А сколько еще хлопот к послезавтраму!.. И то с ума нейдет, о чем будем мы на Петров день соборовать... И о том гребтится, матушка, хорошенько бы гостей-то угостить, упокоить бы... А Таифушки нет, в отлучке... Без нее как без рук... Да тут и беспокойство было еще – наши-то богомолки ведь чуть не сгорели в лесу.

– Полно ты! – тревожно вскрикнула и руками всплеснула мать Таисея, хоть и знала уж во всей подробности похождения китежских поклонниц... Порядок и уважение к Манефе требовали, чтоб она на первый раз прикинулась, что ничего не знает.

– Совсем было их огнем охватило, – сказала Манефа. – Болотце, слава Богу, попалось, кони туда повернули. Без того пропали бы, живьем бы сгорели...

– Вот дела-то!.. Вот дела-то какие!.. – качая головой, печаловалась мать Таисея и, опомнившись, быстро схватила поднос с кулебякой и, подавая его с поклоном Манефе, умильным голосом проговорила: – Не побрезгуй убогим приношеньем – не привел Господь видеть тебя за трапезой, дозволь хоть келейно пирожком тебе поклониться... Покушай

нашего хлеба-соли во здравие.

– Напрасно, матушка, беспокоилась, право, напрасно, – сказала Манефа, однако взяла из рук Таисеи поднос и поставила его на стол.

Только тут обратилась она к стоявшим у дверей Самоквасову и саратовскому приказчику.

– Здравствуйте! Как вас Господь милует?.. – величаво, едва склонив голову, спросила она.

Не отвечая на вопрос игуменьи, оба, один за другим, подошли к ней и, сотворив по два метания, простились и благословились.

– Садитесь, гости дорогие, – сказала Манефа, обращаясь к Таисее и к приезжим гостям, а сама села с краю стола на лавке.

– Как твои поживают? – спросила Манефа Самоквасова. – Дядюшка Тимофей Гордеич здоров ли?.. Тетушка, сестрицы?

– Здравствуют вашими святыми молитвами, – ответил Петр Степаных. – А прадедущка Михайла Сампсоныч приказал долго жить.

– Скончался?

– Шестнадцатого сего июня месяца, – подтвердил Самоквасов.

– Царство ему небесное! – молвила Манефа и, встав с места, обратилась к иконам и положила перед ними начал за новопреставленного. Вместе с нею и мать Таисея и оба гостя начал сотворили.

– Довольно по земле постраниствовал, – молвила Манефа, садясь на место. – Сто годов прожил, коли не больше.

– Сто пять лет, матушка, – молвил Самоквасов.

– Сто пять лет! – задумалась Манефа. – А из затвора не вышел?

– Не вышел, матушка, – сказал Самоквасов. – Как жил двадцать два года в подвале, так и при смерти не вышел из него. Ни вериг, ни власяницы не скинул, помер на обычном ложе своем...

– На кирпичном полу с булыжником в изголовье? – отозвалась Манефа.

– Так точно, матушка, – подтвердил Самоквасов.

– Дивные дела строит царь небесный по своему промыслительному изволению!.. – набожно проговорила Манефа. – Двадцать два года при такой старости и в толиких трудах пребыть!.. Очевидна десница вышнего, иже не хочет смерти грешника, но всечасно ожидает, да обратится душа к покаянию... Исправился ли он, как следует?

– Исправился, матушка, – отвечал Самоквасов. – Попа привозили... Поп теперь новый у нас в Казани завелся, австрийским епископом наслан, отцом Софронием.

– Софронием!.. – с улыбкой презренья тихо промолвила Манефа. – Что

ж?... При нашем тесном обстоянии, в теперешнее гонительное время на смертный час и Софронов поп пригодится... Когда время не терпит, всякому можно человека исправить... Не поставит того во грех Господь милосердый... Видел ли дедушку перед смертью-то?

– Как же, матушка. Всех к нему в подвал приводили, – отвечал Самоквасов. – Со всеми прощался, всех благословил и при всех попу в грехах своих каялся... Велики грехи его, матушка!..

– Знаю, – молвила Манефа. – А то еще больше знаю, что нет грехов, которых бы не покрыло Божие милосердие. Один только грех не прощен у создателя – аще кто отступит от святых и непорочных веры отец наших и отвергнет древнее благочестие. Тому греху несть прощения ни в сем веке, ни в будущем... А дедушка твой до конца пребыл во благочестии... То ему во оправдание пред Господом... Аще по искушению диавола и впал в пучину греховную, но до конца дней в правоверии нимало не погрешил, потому и сподобится он грехов отпущения... Опять же и милостыня его не безмолвна перед небесным судиею... После толиких трудов, после толиких дивных подвигов сый человеколюбец покроет тяжкие его прегрешения и устроит душу его в месте покаяния... Велики грехи, велико и покаяние... А как велико царя небесного милосердие, того нам и помыслить нельзя... Не сумнися, Петр Степаныч, устроит Господь душу твоего прадедушки.

– Мне-то что же-с? – равнодушно промолвил Самоквасов. – Я ведь прадедушку вовсе почти и не знал, перед концом только свиделся. А вот письмецо от дяденьки Тимофея Гордеича. Извольте получить.

Манефа взяла письмо и при общем молчанье его прочитала.

– Про раздачу пишет Тимофей Гордеич, восемьсот рублей высылают, – молвила она, дочитавши письмо.

Самоквасов вынул бумажник и, отсчитав деньги, молча положил их на стол перед Манефой. Тихо, не торопясь, пересчитала их игуменья, каждую бумажку посмотрела на свет и, уверившись, что деньги настоящие, неподдельные, сунула их в карман и с легким поклоном сказала Самоквасову:

– Все будет исполнено... Завтра ж каноны зачнем... Послезавтра Петров день, его пропустим, потому что праздник у нас в часовне. В такие дни по уставу поминовений не полагается... Еще про кормы дядюшка твой пишет.

– Завтрашнего числа придут, – отвечал Самоквасов. – Подводчики обещались бесприменно накануне Петрова дня доставить... Вот и расписка... Муки крупчатой дядюшка шлет, рыбы малосольной, свечей, ладану...

– Знаю, – сказала Манефа. – В письме прописано.

– За сим счастливо оставаться, – поднимаясь с места, сказал Петр Степаныч.

– Повремени, сударь, – молвила Манефа. – Без хлеба-соли из кельи гостей не пускают. Чайку хоть испей... – и, растворив дверь, кликнула Устинью Московку.

– Сбери чаю, – сказала ей. – Да Парашу с Фленушкой кликни. Василий Борисыч где?

– А пес его знает, – с досадой ответила келейница.

– Устинья! – строго сказала ей Манефа. – Это что за новости?

Молча вышла из кельи Устинья. Нахмурилась Манефа, но ни слова не промолвила.

– Твой черед, Семен Петрович, – сказала она, обращаясь к приказчику Панкова. – Ермолай Васильич здоров ли, Татьяна Андреевна с детками?

– Сами-то, слава Богу, здоровы, – ответил Семен Петрович. – Дочку только схоронили.

– Которую? – быстро вскинув глазами, спросила Манефа.

– Среднюю, Авдотью Ермолаевну, – сказал Семен Петрович и, подавая письмо, примолвил: – А на раздачу четыреста пятьдесят рублей на серебро вашей милости прислали.

Не принимая письма, встала Манефа перед иконами и со всеми бывшими в келье стала творить семипоклонный начал за упокой новопреставленной рабы Божией девицы Евдокии. И когда кончила обряд, взяла у Семена Петровича письмо, прочитала его, переглядела на свет вложенные деньги и, кивнув головой саратовскому приказчику, молвила.

– Все будет исправлено. Да что время напрасно терять? После чаю сегодня ж отпоем по первому канону: вначале за Михаила единоумершего, потом за девицу Евдокию. Кликни матушку Аркадию, – промолвила Устинья, принесшей в келью чайный прибор. – А Фленушку с Парашей звала?

– Сказывала, – угрюмо ответила Устинья и вышла, хлопнув за собой дверь.

Посмотрела на дверь Манефа и сильнее прежнего нахмурилась.

Фленушка с Парашей в келью вошли, Марья головщица за ними.

Чинно девицы гостям поклонились; приезжие отдали им по поклону. Ровно впервой отроду видятся.

Вскинул очами на матерей Самоквасов: Манефа письмо перечитывает, Таисея в окошко глядит. И весело подмигнул он Фленушке, а приказчик саратовский Марьюшке улыбнулся. Не то дремала, не то с устали глаз не

поднимала Параша. Не к Фленушке, к ней обратился Самоквасов:

– Как вы в своем здоровье, Прасковья Патаповна? Тятенька с мамынькой все ль подобру-поздорову?

– Слава Богу, все здоровы, – молвила Параша.

– А сестрицу-то схоронили? – спросил Самоквасов.

– Схоронили.

– Такая молодая, прекрасная девица была!.. – вздохнул Петр Степаныч. – Кому бы и жить, как не ей? – А сам так воззрился на Фленушку, что та хоть не робкого десятка, а встала и, взяв со стола кулебяку, понесла ее в боковушу.

– Все, кажись, было к ее удовольствию, – продолжал Самоквасов. – И красота, и молодость, и достатки хорошие. Ей ли бы не жить?

– Божия воля, – вяло отозвалась Параша, и вдруг глаза ее оживились. Тихохонько, легонькой походочкой в келью вошел Василий Борисыч, следом за ним ввалилась мать уставщица.

– Садиться милости просим, Василий Борисыч, – молвила Манефа. – А вот к нам еще гости пожаловали. Не наслышан ли про казанских купцов Самоквасовых?

– Как не слышать, матушка?.. Люди известные! – ответил московский посол. – С Тимофеем Гордеичем мы даже очень знакомы. Он в Рогожском на собраниях бывал в ту пору, как насчет архиерейства соборовали!

– Племянничек будет ему – Петр Степаныч, – молвила Манефа, указывая на Самоквасова.

Петр Степаныч и Василий Борисыч подали друг другу руки, «повитались», говоря по-старинному.

– А этот молодец от саратовского купца, от Ермолая Васильича Панкова. В приказчиках живет у него, – продолжала Манефа, указывая на Семена Петровича.

– Здорово, Семенушка!.. Давно не видались!.. Что?.. Не признал?.. – весело обратился к саратовцу Василий Борисыч.

– Аль допрежде были знакомы? – спросила Манефа.

– Еще бы, – ответил Василий Борисыч и, обратясь к саратовцу, молвил: – Все еще не можешь признать?.. А кого ты из воды-то вытащил, как я на салазках с горы в прорубь попал?..

– Васенька!.. Да неужли это ты?.. Ах ты, Господи! – вскрикнул саратовец.

И друзья детства горячо обнялись и поцеловали друг друга. И отошли к сторонке и стали расспрашивать друг друга про житейские обстоятельства.

– Ну вот и знакомство сыскали, – слегка улыбнувшись, молвила Самоквасову Манефа.

И, наклонясь к нему, вполголоса, указывая взором на Василья Борисыча, промолвила:

– Золото человек, опора древлему благочестию, первый начетчик, рогожский посланник по всем городам.

– Слышал про него, – сказал Самоквасов. – Тот, что в Белу Криницу за миром ездил?

– Он самый, – подтвердила Манефа. И, быстро обратясь к уставщице: – Вот что, мать Аркадия, – сказала она, – после чаю надобно два канона исправить. Соборне будем служить. Прикажи клепать в великое древо и в малое... пуцай Катерина и в клепало ударит, вся бы обитель в собрание была... Сбирай оба клироса, Марьюшка, петь по статиям, на катавасиях<sup>[380]</sup> середь часовни обоим клиросам сходиться... Мать Аркадия, во всех бы паникадилах свечи горели. Меду у Виринеи на свежий канун спроси.<sup>[381]</sup>

– Слушаю, матушка, – молвила уставщица и, положив три поклона перед иконами, степенно вышла из кельи. За ней пошла и головщица.

\* \* \*

Когда в Манефиной часовне отпели соборную службу по новопреставленном рабе Божиим Михаиле и затем нерасходно зачали другой канон за девицу Евдокию, Петр Степаныч Самоквасов не счел нужным молиться за упокой неведомой ему девицы и, заметив, что Фленушки нигде не видно, вздумал иным делом на досуге заняться... Сойдя с паперти, он остановился, окидывая глазами давно знакомые обительские строения. И видит, что в одном окошечке игуменьиной стаи кто-то махнул беленьким платочком. Вгляделся – Фленушка. Неспешным шагом пошел он на зов.

– Что ты, бесстыжий? Отчего запропастился?.. Ждали на Троицу, приехал к Петрову!.. Непуть ты этакой!..

Таковыми словами встретила Фленушка своего казанца, когда тот вошел в ее горницу.

– Нельзя было, Флена Васильевна, – оправдывался Самоквасов. – Дедушка скончался, никак нельзя было раньше приехать.

– Нельзя, нельзя! – передразнила его Фленушка. – Бить-то тебя некому!.. Женись-ка вот на мне, так я тебе волосы-то повыдергаю да и



глаза-то бесстыжие исцарапаю... Женись в самом деле, Петинька!.. – шаловливо прибавила она нежным голосом. – Уж я ли б над тобой не потешилась?

– Ты все по-прежнему, – с горьким упреком промолвил Самоквасов. – Право, не знаешь, с какой стороны и подступиться к тебе... И к себе тянешь, и тотчас остуду даешь! Не поймешь тебя, Фленушка!.. Который год этак с тобой валандаемся?

– А тебе бы так: облюбовал девку, да и тащи к попу?.. Нет, брат, не на таковску попал... Не такова уродилась я, – звонко захохотала Фленушка.

– По-твоему, хорошо этак томить человека?.. Водишь ты меня третий год... Сама рассуди, хорошо ль это делаешь?.. – страстно дрожащим голосом проговорил Самоквасов.

– Да чего тебе от меня надобно? – смеясь и лукаво щуря глаза, спросила Фленушка.

– Сама знаешь чего!.. Не впервой говорить!.. – молящим голосом сказал Самоквасов. – Искушила ты меня, Фленушка!.. Жизни стал не рад!.. Чего тебе еще?.. Теперь же и колода у меня свалилась – прадед покончился, – теперь у меня свой капитал; из дядиных рук больше не буду смотреть... Согласись же? Фленушка!.. Дорогая моя!.. Ненаглядное мое солнышко!..

Так говорил Самоквасов, ловя руку Фленушки. А она, быстро отдернув ее, строго и внушительно сказала Петру Степанычу:

– Некогда мне теперь с тобой толковать – много надо говорить, а матушка того и гляди придет из часовни... Вечером там будь!.. Знаешь?.. Саратовца приводи... Марьюшка, молви ему, тоже придет.

И, взглянув в окно, увидала, что с высокой часовой паперти медленно спускается Манефа, а за ней идут матери и белицы, Василий Борисыч и саратовский приказчик. Быстро повернулась Фленушка к Самоквасову и крикнула:

– Убирайся скорей от греха!

– Поцелуй прежде, – молвил он, обнимая Фленушку.

– Я те поцелую ладонью в ухо!.. – вскрикнула она, вывертываясь. – Ишь какой лакомый!.. Убирайся, говорят тебе!.. Матушка идет.

И вытолкнула друга милого в шею из своей горницы.

\* \* \*

Матери с белицами по своим местам разошлись, саратовца Василий

Борисыч в свою светлицу увел. В келью с Манефой Аркадия да мать Таисея вошли.

– С просьбой до тебя я, матушка, с доукой моей великою!.. – умильно, покорно, чуть не со слезами начала мать Таисея.

– Рада служить, чем могу, – ласково, но сдержанно ответила Манефа. – Что в моей мочи, всем тебе, матушка, готова служить.

– Самоквасовы да Панковы исстари благодетели нашей обители, – продолжала Таисея. – И молодцы ихние ко мне завсегда въезжают, завсегда у меня гостят... Сама знаю, матушка, что им хоть бы вот у тебя и лучше бы было и спокойнее, да уж ихние старики, дай им Господи доброго здравия и души спасения, по своему милосердию к нашему убожеству, велят им у меня останавливаться. Все-таки, матушка, перепадает кое-что на бедность на нашу... Теперича, матушка, оба эти благодетеля, Самоквасов Тимофей Гордеич и Панков Ермолай Васильич, ровно сговорились, читалок на «годовую» просят по ихним покойникам.

– Знаю, – ответила Манефа, – и мне про то они отписывают... Что ж?.. Слава Богу. Рада за тебя, мать Таисея. Сотенки четыре, не то и вся полтысяча перепадет; люди они богатые.

– Да вот беда-то моя, матушка, послать-то некого, – жалобно продолжала мать Таисея. – В Саратов еще можно Оленушку справить, в Хвалынске она у Седовых дочитывает... недели через полторы опростается и сплывет к Ермолаю Васильичу. А в Казань-то некого, да и полно. И очень опасаюсь я, матушка, не прогневать бы мне Тимофея Гордеича, остуды бы от старинного благодетеля не принять... Сама знаешь, какой привередливый он да уросливый.<sup>[382]</sup> Пожалуй, еще вскинет на ум, что не хотела угодить ему, не постаралась просьбы его выполнить... Помогите Христа ради, матушка, пособи в великом горе моем, заставь за себя вечно Бога молить... Сама рассуди, каково будет мне остудить такого христороубца... Надо правду говорить, не твои бы, во-первых, милости да не самоквасовские, нашей бы обители пропадом пропадать. Вами, матушка, вашими благодеяниями только и держимся.

– Как же помочь-то тебе? – молвила Манефа. – Нешто свою девицу при твоём письме в Казань послать?

– Яви Божескую милость, матушка, заставь за себя вечно Бога молить, – встав с лавки и низко кланяясь, сказала Таисея.

– Да ты не кланяйся, дело соседское, – молвила Манефа. – Опять же твоя обитель с нашей, сколько ни помню, всегда заодно, всегда мы с тобой в любви да в совете... Как тебе не помочь?.. Только не знаю, послать-то кого.

– Мало ль девиц у тебя, матушка?.. – возразила Таисея.

– Мало ль их у меня; да какую можно в Казань послать, таких-то нет, – сказала Манефа. – Ведь это не в Баки аль не в Урень<sup>[383]</sup> к сиволапым мужикам читалку отправить. Самоквасовы люди видные. Опять же в большом городе живут, чуть ли не первые купцы по Казани... Захотели бы простенькую канонницу взять, с Татарского мосту из Коровинской<sup>[384]</sup> взяли бы. Надо послать к ним умелую, чтобы в грязь лицом не ударила, не осрамила бы нашего Керженца... А таких теперь нет у меня ни единой... Какие были – все разосланы.

– Да хоть не больно бы мудрящую, – жалобно молила Таисея.

– Нельзя, матушка, – перебила Манефа. – Никак нельзя плохую послать к Самоквасовым. Девиц у меня теперь хоть и много, да ихнее дело гряды копать да воду носить. Таких нельзя к Самоквасовым.

– Ах ты, Господи, Господи! – пуще прежнего горевала Таисея. – Что тут делать?.. Матушка!.. Подумай – ведь это чуть не четвертая доля всего нашего доходу!.. Надо будет совсем разориться!.. Помилуй ты нас, матушка, помилосердуй ради царя небесного... Как Бог, так и ты.

И с этими словами игуменья славной в старые годы княжеской обители повалилась со слезами в ноги Манефе Чапуриной.

– Встань, матушка, встань, – строго и внушительно молвила ей Манефа. – Не пригожее дело затеяла... Мы с тобой во едином чину... Как же тебе великим обычаем мне поклоняться?.. Преданию противно, мать Таисея.

– Не я поклоняюсь, нужда кланяется, – поднимаясь, сказала в слезах мать Таисея. – Пособи ты мне... Ради царя небесного пособи беде нашей, матушка!..

– Сядь, покойся. Дай срок, подумаю, – молвила Манефа.

– Торопит больно Тимофей-то Гордеич... Крепко-накрепко наказывает, нимало б я не медлила, тотчас бы читалку к нему отправляла... Ума не приложу... Яви милость, матушка!.. Вели скорее, – сдерживая рыдания, униженно молила Таисея.

– Спокойся, – сказала Манефа, – покойся теперь. Завтрашнего дня ответ тебе дам... Часы<sup>[385]</sup> отправишь, ко мне забреди. А послезавтра праздник у нас и собрание – милости просим попраздновать: со всеми матерями приходи и белицы чтоб все приходили... А на завтра вышли ко мне, матушка, трудниц своих с пяток – в келарне бы полы подмыли да кой-где по кельям у стариц... Свои-то в разгоне по случаю праздника, все за работами... Так уж ты мне пособи.

– Слушаю, матушка, беспременно пришло, – отирая глаза свернутым в клубок синим бумажным платком, с низким поклоном ответила Таисея. – Как часы отправим, так и пришло.

– А как же у нас насчет ряды будет? – вдруг спросила Манефа. – Канонницу сыщу, коли Бог поможет. А как же насчет ряды-то?

– Все во власти твоей, матушка, – униженно молвила Таисея.

– Обижать не стану и своего не упущу, – сказала Манефа. – Как было тогда, как Глафиру покойницу за твою обитель в Кострому я отпускала, так и теперича быть: отправка твоя, обратный путь твой же... Из зажилого половина тебе, половина на нашу обитель... Шубу тебе справлять, сарафаны, передники, рубахи мои... Насчет обуви пополам... А что подарков девице от Самоквасовых будет, то ей, – в эти дела я не вступаюсь. Согласна ли так?

– Согласна, матушка, девицу только приищи Господа ради, – сказала Таисея. – Угодить надо, сама посуди!..

– Ладно, ладно, будет исправлено, – отвечала Манефа. – Заходи же завтра после часов – будет готово... Я уж придумала...

Радостно блеснули большие голубые, добротой сиявшие и когда-то во время оно многих молодцев сокрушавшие очи Таисеи. Улыбка озарила сморщенное, померкшее от лет крохотное личико игуменьи. Низко поклонясь Манефе, сказала она ясным голосом:

– Ожила ты меня, матушка... Бог воздаст тебе, родная, за любовь твою...

И чин чином совершили игуменьи прощение: простились друг у друга, благословились и поликовались. А провожая соседку, Манефа на келейном пороге напомнила ей:

– Пришли же, не забудь, трудниц-то. Да пораньше бы приходили... Дресвы на мытье полов у меня, кажись, мало, с собой бы захватили. Да окошки еще надо помыть, лестницы... Матушка Аркадия все им укажет... Прощай, мать Таисея. Спаси тебя Христос, царь небесный!..

И, проводивши соседку, Манефа обратилась к своей уставщице:

– Похлопочи Бога ради, Аркадьюшка, чтобы праздник нам справить во всем хорошенько. Совсем я эти дни без рук была – Таифы нет, тебя нет, Марьюшки нет, ни по часовне, ни по хозяйству никакого дела поручить некому... Уж мы все больше с Виринеюшкой хлопотали, насчет трапезы... Слава Богу, по этой части все, кажется, управили. И сытно будет и довольно всего... Что-то из города работник долго не едет – за вином вечер послала его да за ренским... Шутка ль, что народу наберется... А пива и браги две сорокоуши без тебя слили – надо думать, достанет... Бог

милостив, перед людьми не ославимся... Пущай дальние и ближние гости поглядят на наше строительство, посмотрят, какво умеем хозяйствовать... Это все управлено, а насчет часовни да службы твое дело, мать Аркадия!.. Уж ты, пожалуйста, похлопочи, постарайся!.. Вечор белицы часовню подмыли, подсвечники, паникадила мелом почистили и ризы на иконах... Да верчены больно, пожалуй, чего не доглядели – так ты догляди, исправь что надобно... А ослóпные свечи из Таифиной кельи возьми... Чтоб на вечерне, и на утрени, и в самый праздник за часами каждый раз новые свечи зажигались... А за огарками приглядывай, сама своими руками собирай да ко мне приноси, не то наши баловницы половину на причуды свои растащут... А местные иконы кисеями да лентами убрать – как на Пасху да на Троицу... А петь знаменным напевом... Завтра надо будет Василью Борисычу покучиться, попел бы с девицами-то маленько.

– А на поклон котору икону апостолов ставить? Часовенну? Аль свою келейную выдашь? – спросила Аркадия.

– Келейную выдам, пригляднее будет, – молвила Манефа. – С Фленушкой завтра пришлю, только уж ты побереги ее ради Господа, жемчуг-от не осыпался бы, древня уж больно икона-то... Ну, управляйся же, матушка, с Богом. Пособи тебе Господи. Покуда прощай, а пойдешь – кликни ко мне Виринею.

Сотворив уставные метанья и благословясь у игуменьи, мать Аркадия вышла.

Немного спустя поспешно и весело влетела в келью мать Виринея.

– Едут, матушка, едут! – с обычным простодушием проворно она закричала.

– А тебе бы, мать, лоб-от прежде окстить да прощу принять от игуменьи, а потом бы уж о чем надо и доложиться, – строго молвила Манефа, сверкнув на нее гневными очами. – Не молоденькая, не первый год живешь в обители... Можно разве устав порушать?.. Можно разве преставлять старые обычаи?.. Дела много теперь у тебя, а то постояла б ты у меня на поклонах... Да знай наперед: праздник минет, нарушения чина я не забуду – поклоны за тобой!.. Для молодых нет того лучше примера, как старых матерей за провинности строго начинать.

Выслушав гневное слово игуменьи, мать Виринея все сотворила по чину: начал положила и с земными поклонами простилась у игуменьи и благословилась. И когда обряд как следует отправила, Манефа спросила ее:

– Кто ж там едет?

– Романушка с вином из городу едет, – ответила Виринея, – Каменный Вражек проехал.

– Чему старая обрадовалась! – с упреком и легкой усмешкой сказала Манефа. – Я уж думала, не из гостей ли кто... Вот одолжили бы!.. Спозаранок-то... Теперь пока не до них.

– А едет с ним, матушка, неведомо какой человек, – продолжала Вириная. – Слепа стала, вдаль не доглядела... А кто-то чужой на возу сидит.

– Кому ж это быть? – равнодушно молвила Манефа и начала хозяйские расспросы. – Много ль пирогов напекла? – спросила она Виринаю.

– Двенадцать с тельным,<sup>[386]</sup> девять с вязигой да с малосольной белужиной, с молóками да с жирами, – ответила Вириная.

– Маловато!.. Коль и завтра столь же спечешь, вряд ли на всех пришлых христоробцев после вина на закуску достанет.

– Хватит, матушка, не тысячи же их нагрянут, – успокаивала игуменью мать Вириная.

– Погляди, чтó навалит!.. – усмехнулась Манефа. – Охочи до сладкого куса, оравой нагрянут... Как можно больше пеки пирогов.

– Власть твоя, матушка, а печку не раздвинешь... Больше того нельзя напечи, – разводя руками и слегка склоняя голову, ответила мать Вириная.

– Спосылай завтра приспешницу к Бояркиным, пущай у них пироги допекают. К Рассохиным тоже пошли, только бы там в оба глядели – народ продувной, – разом припасы растащут. У Жжениных завтра на холодное рыбу варить, а в самый день праздника сазанов да лещей с яйцами жарить... Хворосты<sup>[387]</sup> можно бы завтра дома испечь... Успеешь?

– Успею, матушка, Бог милостив, управлюсь, – сказала мать Вириная.

– Знатные гости на празднике будут, надо, чтоб все по-хорошему было: Смолокуров Марко Данилыч с Дунюшкой приедет, Патап Максимыч обещался, Самоквасов племянник здесь... Опять же матери со всех обитателей наедут – согласные и несогласные... Угощение тут первое дело, надо, чтоб видели все наше строительство, все бы хозяйственность нашу ценили... Варенцов много ли?

– Тридцать два варенца, матушка. По моему расчету на почетны столы за глаза хватит, – сказала мать Вириная. – Пришлым столы на дворе, чай, будут?.. Не обносить же их варенцами.

– Известно дело, – согласилась Манефа. – Не по ихним губам сладки кушанья... Им в перву перемену свекольник с коренной рыбой. Изведи смолокуровские пересеки, что прошлым годом прислал. Что рыба-то?.. Не попортилась?

– Доспела, матушка, совсем доспела, пованивает, – молвила Вириная.

– Как же быть-то? – призадумалась Манефа.

– А ничего, матушка, сварим, – отозвалась опытная мать Виринея. – Сопрут да после еще не нахвалятся... Любит ведь у нас мужичок доспелую рыбку, она ему слаще непорченной...

– Опять же надо и погреб очистить, – заметила Манефа. – Марко Данилыч шлет новы кормы... Скорми в самом деле старенькое-то без остали...

– Сазан там еще соленый от прошлого года остался, чуть ли полпересека не наберется. Больно дух пустил, матушка, – молвила Виринея.

– И его скорми, – решила Манефа. – Надо ж погреб очистить. На втору перемену его на двор и подай.

– Слушаю, матушка, – сказала Виринея. – А из горячего что на двор-от прикажешь?

– Похлебку с картофелем да со свеклой, рыбешки какой ни на есть подбавь, головизны, – приказывала Манефа. – Скоро новый овощ поспеет, старый тоже пора изводить.

– Изведем, матушка, не беспокойся, – молвила Виринея. – Бог милостив, все изведем. А из мисинного<sup>[388]</sup> что на двор укажешь?

– Разве оладьи с медом да пряженцы с яйцами?.. Яиц-то довольно у нас? – спросила Манефа.

– Вдоволь, матушка, вдоволь. Этого добра очень даже довольно, – отвечала Виринея.

– Так спеки пряженцы на двор-от, – решила Манефа. – Да яйца-то хорошенько разглядывай на огонь... Которы залежались – на двор, а свеженькие в келарню почетным гостям... Стерляди что?.. Играют?

– Троичка уснула, матушка, к завтраму, пожалуй, еще две уснут.

– Эх ты, старая!.. Не смогла уберечь!.. Воду бы чаще меняла, – недовольным голосом проговорила Манефа.

– Как воду не менять, матушка? Слава Богу, не впервые. По три да по четыре раза на день меняла. Сама знаешь, какова у нас водица-то... Болотная, иловая, как в ней такой рыбине жить?.. – оправдывалась Виринея.

– Угораздило Федора Андреича таково рано стерлядей прислать! – молвила Манефа. – А тот пяток? Большие-то, что на развар готовлены?.. Плавают?

– Живы, матушка, живы-живехоньки, одна только что-то задумалась, – сказала Виринея.

– Поблюди их, Виринеюшка, ледку, что ли, дай да в ледовую воду

сажай... А из середних стерлядей большим гостям чтоб уха вышла хорошая. Из налимов-то печенки ты бы вынула да на лед.

– Сделано, матушка, сделано. Не беспокойся, уха выйдет знатная, – сказала Виринея.

– Постарайся, Виринеюшка, ради Господа постарайся... Сама ведаешь, какой день станем праздновать... Опять же собрание и почетные гости... Постарайся ради почести нашей обители... У Аркадьюшки по службе все будет как следует, не осрами и ты нас, пожалуйста... Трапезными учреждениями слава обители перед людьми высится больше, чем Божественной службой... Так уж ты постарайся, покажи гостям наше домоводство... Слава бы про нашу обитель чем не умалилась. Потерьки бы какой нашей чести не случилось!..

– Постараюсь, матушка, – ответила Виринея. – Не впервой!.. Только бы мне на подмогу двух-трех девиц еще надобно, – промолвила она.

– Возьми кого знаешь, хоть всех бери – дело твое, – сказала Манефа. – Да началь их хорошенько, чтоб не очень ротозейничали. Не то, до меня не доведя, в погреб на лед озорниц сажай... Ну, прощай, Виринеюшка, не держу тебя, ступай к своим делам, управляйся с Богом, помогай тебе Господи!

Положила Виринея семипоклонный начал, сотворила метанья, простилась, благословилась и пошла вон из кельи игуменьиной.

\* \* \*

Вошла мать Манефа в свою боковушу, взяла с полочки молоток и три раза ударила им по стене. Та стена отделяла ее жилье от Фленушкиных горниц. Не замедлила Фленушка явиться на условный зов игуменьи.

– Меня стучала, матушка? – спросила она.

– Тебя, – сказала Манефа. – Садись-ка... Надо мне с тобой посоветовать.

Села Фленушка. Степенный, думчивый вид на себя приняла. Не узнать первую заводчицу на всякие вольности, не узнать шаловливую баловницу строгой игуменьи, не узнать разудалую белицу, от нее же во святой обители чуть не каждый день сыр-бор загорается.

– Мать Таисея девицу на «годовую» просит, – сказала Манефа. – Самоквасов да Панков читалок требуют... А послать в Казань от Бояркиных некого... Хочется мне успокоить Таисеюшку – старица добрая, во всем с нами согласная. Опять же и покорна всегда, что ни велишь,



безответно все делает... Думаю нашу белицу в Казань послать за Бояркиных. Да вот не могу придумать, кого бы... Умелую надо, хорошую, устав бы знала и всякую службу исправить могла, к тому ж не вертячка была бы, умела бы жить в хорошем доме... Толстопятую деревенщину к Самоквасовым отправить нельзя. Надо, чтоб и за псалтырью горазда была, и ходила бы чистенько, и за столом бы, что ли, аль на беседе умела разговоры водить, не клала бы глупыми речами покура на нашу обитель... Кого присоветуешь?..

– Мало разве девиц у нас, матушка? – молвила Фленушка. – Поле не клином сошлось... Есть бы, кажется, из кого выбрать.

– Слышала, какую надо? – сказала Манефа. – У Самоквасовых дом первостатейный, опять же они наши благодетели, худую послать к ним никак невозможно. Хоть посылка будет от Бояркиных, а все-таки Самоквасовы будут знать, что канонница послана из нашей обители.

– Кажется, как бы не найти, – молвила Фленушка.

– Анафролию послать, так ей до весны у братца по Насте псалтырь стоять, – раздумывала мать Манефа. – Серафима, грешным делом, в последнее время запивать стала, к Рассохиным повадилась, с матушкой Досифеей чуть не каждый Божий день куликают... Дарью, так в Шуе у Легостевых тетка на ладан дышит, а к ним, опричь Дарьи, послать некого, сродница им... У Татьяны ветер в голове – эту никак невозможно, как раз осрамит обитель. Там сыновья, да племянник, да приказчики молодые, а Татьянушка, не в осуждение будь сказано, слабенька на этот счет... Пожалуй, навеки положит остуду от Тимофея Гордеича... Евдокеюшку послать – Виринеюшки жаль: восемь годов она сряду в читалках жила, много пользы принесла обители, и матушке Виринее я святое обещанье дала, что на дальнюю службу племянницу ее больше не потребую... и что там ни будь, а старого друга, добрую мою старушку, мать Виринею, не оскорблю... Другие плохи больно, и устава не знают, и читать даже не бойки... Не послать – Таисею обидеть, а Бояркины мне во всем правая рука. Опять же покорны во всем – как хочу, так у них и начальствую... Плохенькую послать – на обитель не то что от одних Самоквасовых, ото всей Казани сраму принять... Кого ж послать?.. Как ты думаешь?

– Разве матушку Софию? – чуть слышно проговорила Фленушка.

– Ее не пошлю, – решительно сказала Манефа. – Из кельи ее устранила, ключи отобрала. Сама знаешь, что не зря таково поступила... Теперь, коли в чужие люди ее послать, совсем, значит, на смертную злобу ее навестить... Опять же и то, в непорядки пустилась на старости лет... Как вы на Китеж ездили, так накурилась, что водой отливали... Нет, Софию нельзя,

осрамит в чужих людях нашу обитель вконец... Язык же бритва...

– Так ин Марьюшку? – лукаво кинула словечко свое хитрая Фленушка.

– В уме ль ты, Фленушка?.. – с жаром возразила Манефа. – Точно не знаешь, что пение Марьей только у нас и держится?.. Отпусти я ее, такое пойдет козлогласование, что зажми уши да бегом из часовни... А наша обитель пением и уставной службой славится... Нет, Марью нельзя, и думать о том нечего...

– Разве Устинью? – как бы опять невзначай бросила словечко Фленушка.

– Привыкла я к ней, Фленушка, невдолге ходит за мной, а уж так я к ней приобыкла, так приобыкла, что без нее мне очень будет трудно, – понизив голос, сказала Манефа. – За мной-то кому же ходить?.. А Софью опять в ключи не возьму... Нет, нет, ни за какие блага!... Опротивела!.. Не видать бы мне скаредных глаз ее...

– По-моему, кроме Устиньи, выбрать некого, – молвила Фленушка.

Промолчала Манефа.

– Живала она в хороших людях, в Москве, – слово за словом роняла Фленушка. – Лучше ее никто из наших девиц купеческих порядков не знает... За тобой ходить, говоришь, некому – так я-то у тебя на что?.. От кого лучше уход увидишь?.. Я бы всей душой рада была... Иной раз чем бы и не угодила, ты бы своею любовью покрыла.

– Куда тебе!.. Какая ты уходчица? – ясным взором глядя на Фленушку, тихо проговорила Манефа. – Не сладить тебе!.. В неделю стоскуешься... Стара ведь я, опять же болезни мои... Нет, куда уж тебе справиться?

– За тобой-то ходить стоскуюсь я, матушка? – с живостью воскликнула Фленушка, и слезы, искренние слезы послышались в ее голосе. – За что ж ты меня таково обижаешь?.. Да я ради тебя не то что спокой, жизнь готова отдать... Ах, матушка, матушка!.. Не знаешь ты, что одна только ты завсегда во всех моих помышлениях... Тебя не станет – во гроб мне ложиться!..

И крупные слезы выступили из горевших очей Фленушки, и, порывисто рыдая, припала она пылающим лицом к плечу Манефы.

– Полно, а ты полно, Фленушка!.. Полно, моя дорогая!.. – взволнованным донельзя голосом уговаривала ее сама до слез растроганная Манефа. – Ну что это тебе запало в головоньку!.. Верю, моя ластушка, верю, голубушка, что любишь меня... А мне-то как не любить тебя!.. Ох, Фленушка, Фленушка!.. Знала бы ты да ведала!..

И спохватившись, что молвила лишнее, сдержанным голосом прибавила:

– Как бы знала ты, каково мне на твои слезы глядеть!.. Ни день, ни ночь с ума ты у меня нейдешь!.. Что в самом деле с тобой станется, как вживе не будет меня!..

Сильней и сильней рыдала Фленушка на плече Манефы, крепче и крепче прижимала к себе игуменья ее голову.

– Ин вот как сделаем, – подумавши немного, ласково и тихо сказала Манефа. – Ходи в самом деле за мной, а Устинью в Казань пошлем... Она же дурь с чего-то стала на себя напускать... Покаместь вы Богу молиться ездили, девка совсем обезумела, что ни скажешь ей, либо не слышит, либо ответит неподходящее... Грубить даже стала... Давеча перед тобой какое слово смела сказать!.. Да еще, выходя из кельи, дверью хлопнула... Совсем избаловалась!.. Только уж я к тебе, Фленушка, хочешь не хочешь, помощницу приставлю. Одной тебе со мной не управиться... Ты же привыкла поздно вставать, а я ранняя птичка, летом с солнышком, зимой со вторыми кочетами встаю.

– Кого же? Марьюшку? – быстро вскинув смеющимися глазами, спросила Фленушка.

– Нет... келейничать и клиросом править Марью успех не возьмет, – сказала Манефа. – Попрошу Виринееюшку, отдала бы мне в келейницы свою Евдокею. Ты в ключах будешь, а она в келье прибирать да за мной ходить.

– И самое бы хорошее дело, матушка, – улыбаясь не то лукаво, не то весело, молвила Фленушка. – Эка подумаешь, каким тебя Господь разумом-то одарил!.. Какая ты по домоводству-то искусная!.. Любую из матерей возьми – целу бы неделю продумала, как бы уладить, а ты, гляди-ка, матушка, только вздумала, и как раз делу свершение!.. Дивиться надо тебе!..

– Так вот что, – слегка улыбнувшись, перебила Манефа. – Так делу быть: Евдокею ко мне в келью, Устинью в дорогу... На другой день праздника мы ее и отправим.

– С Петром Степанычем, что ли, пошлешь? – глядя в окошко, спросила игуменью Фленушка.

– Одну надо будет отправить, – ответила Манефа. – Дементий до́ городу довезет и там на пароход ее посадит... А Петру Степанычу отсюда в Рыбинск надобно... Да и как с ним одну девицу послать? Нельзя, осудить могут... Хоть ничего и не случится, а все-таки слава на обитель пойдет... Да вот еще что, сбри-ка ты все работы, какие у вас есть наготове: бисерные, канвовые, золотошвейные... Надо Самоквасовым выбрать и Панкову, да вот еще Марко Данилыч с дочкой приедут, их тоже

надо будет дарить... Да покаместь ни Устинье, ни другому кому не сказывай, про что мы с тобой говорили... Отведя праздник, вдруг распорядимся – меньше бы разговоров было да пересудов.

Скромно вышла Фленушка из Манефиной кельи, степенно прошла по сенным переходам. Но только что завернула за угол, как припустит что есть мочи и лётom влетела в свою горницу. Там у окна, пригорюнясь, сидела Марья головщица.

Подперла Фленушка бок левой рукой, звонко защелкала пальцами правой и пошла плясать перед Марьюшкой, весело припевая:

Таки выпросила  
Таки выпросила!

Ой ты, любчик, голубчик ты мой,  
Ты сухой ли, немазанный мой,  
Полюби-ка меня, девушку!  
Хочешь любишь, хочешь нет —  
Ни копейки денег нет!

Таки выпросила,  
Таки выпросила!

И, схватив Марьюшку за плечи, стала ее тормошить что есть мочи.  
– Устюшку в Казань! – вскрикнула она. – Не будет помехи!..  
Состряпаем свадьбу уходом!..

– Взбеленилась, что ль, ты, бешеная?.. – сказала головщица. –  
Услышать ведь могут!

– А пусть их слышат! Наплевать! – крикнула Фленушка.

И, подсев к Марьюшке, стала шептать ей на ухо:

– Наших-то кстати сюда принесло... Я их за бока... Завтра ж пусть едут к попу уговариваться... Нам с тобой в скиту век свековать – так хоть на чужую свадебку полюбуемся!.. Аль не свенчать ли заодно и тебя с черномазым саратовцем?

– Полно городить-то! – с кислой улыбкой промолвила Марьюшка и отвернулась к окну.

– А ты полно губу-то кверху драть!.. Слушай, да ни гугу – слова не вырони... – говорила Фленушка. – Устинью на другой день праздника в Казань. Васенька в Шарпан не поедет – велим захворать ему, Параша тоже

дома останется... Только матушка со двора, мы их к попу... Пируй, Маруха!..

Загуляем, закурим,  
Запируем, закутим!

– Задаст вам пиры Патап-от Максимыч! – ворчала Марьюшка. – У него запляшешь!

– А плевать мне на твоего Патапа!.. – вскрикнула Фленушка, и страстной отвагой заискрились глаза ее. – Хоть голову с плеч, только б себя потешить!.. Что в самом деле?.. Живешь тут, живешь, киснешь, что опара в квашне... Удали места нет!.. Разгуляться не над чем!.. Самой счастья ввек не достанется, на чужое хочу поглядеть!.. Эх, Марьюшка, Марьюшка, не кровь в тебе ходит, сыворотка!..

– А матушка-то что скажет? – холодно промолвила головщица. – Ведь Параша-то племянница ей, поближе нас с тобой.

– Поближе!.. Да, поближе!.. – задумалась Фленушка. – Точно!.. Огорчит это матушку!..

И замолкла Фленушка... Села у стола и, опершись на него локтем, склонила голову.

– То-то, Флена Васильевна, – молвила Марьюшка. – Скоря-то ты скоро, ровно блоха скачешь, а тут и язычок прикусила... Подумай-ка, что будет тогда, как матушка про твои проказы проведает... А?

– А ничего! – с места вскочив, залихватски вскрикнула Фленушка. – Зачем ей знать?.. Не мы в ответе!.. Не мы к попу поедem, не мы и в церковь повезем!.. А сегодня вечером туда!.. Знаешь?.. Наши приедут...

Раздались в стене три удара молотком.

– Матушка! – вскрикнула Фленушка и стремглав кинулась из горницы.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Фленушка вошла в игуменьину келью, Манефа сидела с письмом в руках. Другое, распечатанное, лежало на столе.

– На-ка, Фленушка, садись да читай, голубка, – сказала Манефа, подавая ей письмо. – От Таифушки из Питера. Да пишет, ровно бисером нижет, мне не по глазам.

Взяла письмо Фленушка.

– Осмушников Семен Иваныч из городу прислал, – продолжала Манефа. – Романушка к празднику за вином туда ездил, так с ним Семен-от Иваныч нарочно ко мне прислал... Письмо страховое... Таифушка особо писала Семену Иванычу, чтоб то письмо сколь возможно скорее с верным человеком до меня дослать. Полагаю, что письмо не пустяшное... Таифушка зря ничего не делает... Читай-ка...

Фленушка стала читать:

– «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Радостей райских и преблаженныя жизни в горних искательнице, святопочивших, славных и добропобедных...»

– Прекрати, – молвила Манефа. – Прокинь похвалы... С дела начинай.

Фленушка долго искала конца «похвалам», произнося иные вполголоса:

– «Опасной хранительнице... ангельских сил... незыблемому адаманту... пречестной матушке...»

Манефа слегка хмурилась, но ничем другим не изъявила нетерпенья, что сильно овладело ею... Не в обычае выражать его хоть бы и самому близкому человеку...

А Фленушка все ищет конца «похвалам»... Насилу в самом конце первой страницы добралась до дела.

– «И приехавши в царствующий и первопрестольный град Москву, не доезжая заставы, пристала я, матушка, у известного вам христолюбца Сергея Митрофаныча, а от него, нимало не медля, отправилась на Рогожское и у матушки Пульхерии удостоилась быть... Зело вам, матушка, она кланяется и весьма советует принять владимирского архиепископа. А он уж и поставлен от митрополита. Был прежде казначеем на Преображенском Андрей Ларивоныч, по прозванию Шутов, ленточного цеха цеховой, а ныне Божию милостию архиепископ Антоний владимирский и всея России...»

– На Преображенском!.. Беспоповец!.. – сумрачно промолвила Манефа и потом, едва заметно усмехнувшись, процедила сквозь зубы: – «Всея России»... Ровно святейший патриарх!.. Ох, затейщики московские!..

Заметив, что Фленушка приостановилась, Манефа сухо ей молвила:

– Вычитывай дальше, вычитывай!..

Фленушка продолжала:

– «А была я, матушка, у пречестного отца Иоанна Матвеевича, и он, скорбен сын и кончине близясь, таковое ж заповедал: прияти власть духовную преосвященного архиепископа Антония...»

– Преосвященного! – чуть слышно промолвила Манефа. – Дальше читай, – громко сказала она.

– «И по всем хорошим и богатым домам его весьма похваляют, и всей Москве то архипастырство приятно. А насчет нашей святыни, что ты мне препоручила, – всю ее в Москве до безмятежных времен на хранение предала: строгановских писем иконы да книг, филаретовский «Требник», «Маргарит» острожский, «Апостол» московский первопечатный...»

– Читай, кому отдала. Перечень после прочтешь, – сказала Манефа.

– «Петру Спиридонычу, – прокинув несколько строк, продолжала Фленушка, – а кресты с мощами Одигитрию, остальные книги печатные и харатейные, пятнадцать счетом, Гусевым. И говорили они, что почли бы за великое Божие благословение, если б из Шарпана на гонительное время к ним Казанску владычицу прислали, пуще бы зеницы стали беречь ее и жизни скорее лишились, чем на такое многоценное сокровище еретическому глазу на один миг дали взглянуть. А еще уведомляю вас, матушка, что по всей Москве древлеправославные христиане весьма прискорбны остаются при находящих на жительство наше напастех и весьма опасны разорения старинных наших святых мест... А приехавши в Питер, прямо к Дмитриеву каретнику прошла. Живет от машины неподалеку, и в тот же день вместе с ним к Дрябиным ездила, а вчерашний день, в пятницу сиречь, к Грозовым на дачу ездила... И сведала я от них, матушка, для нашего жительства вести бесполезные – вышло строгое приказанье: все наши обители порешить беспременно. И теперь в нашу пользу никто ничего сказать не может, ни за какие миллионы. Василий Федулыч Грозов так и сказал: «Если б, говорит, таковых, как я, пятьдесят тысяч человек все свои имения отдали, чтоб тому делу препятствовать, и то бы, говорит, ничего не поделали». А указ, сказывали, вышел такой же, как по Иргизу был: всех по ревизии к скитам не приписанных выслать по ихним местам и оттоль не выпускать никуда до скончанья их веку... Часовни и моленные велено порушить, а хозяйства отнюдь не нарушать.

Значит, и кельи и все имущество, какое в них, – вольны будем взять с собой, кому куда следует по закону. Потому и думаю я, матушка, что не довлеет нам зело сокрушаться: наше при нас же остается... За сим, припадая к честным стопам вашим и прося святых молитв пред Господом...»

– Конец, что ли? – спросила Манефа.

– Конец, – ответила Фленушка.

– Прекрати, – сказала Манефа. Быстро встала с места, выпрямила стан и, закинув назад руки, начала ходить взад и вперед по келье.

– Возьми бумагу, – сказала Фленушке.

Та вышла и воротилась с бумагой. Стала Манефа ей сказывать, что писать.

К Таифе писано, чтоб в Петербурге не засиживалась, кончала б дела скорее и ехала домой, чтоб быть в обители, когда указ будет объявлен. «Сама знаю, – писала Фленушка со слов Манефы, – что от выгонки хозяйству ни малой расстройки не будет потому больше, что один от благодетелей пожаловал тысячу двести целковых на покупку в городе четырех дворовых мест. На мимошедшей неделе Полуехт Семеныч места совсем приторговал, и я дён через десять поеду в город купчие крепости совершать. А если позволено будет строенье перевезти в город, то за перевозку и плотникам за работу тот же благодетель заплатить обещался. Стало, большого убытку нам не будет, пространной жизни только лишимся: часовенной службы не станет, и канонниц нельзя будет по городам рассылать... Делать нечего... келейно Господу помолимся, убытку от того не будет, а еще свечей да ладану изойдет меньше, а в канонницы для рассылок можно будет свежих набрать, которы в списке не значатся; тем вольней ход, куда хочешь... Выгонка та меня нимало не смущает, одно только жаль – с местом расставаться... Сколько годов на нем жили: и горести и радости видели, к каждой травоньке привыкли, думали тут и жизнь скончать... Сама посуди, мать Таифа, каково мне будет, когда придется отсель уезжать?.. При моем-то хилом здоровье, при моих-то недугах!.. Бога ради, матушка, все покидай, приезжай только скорее... Немало у нас в обители и верных людей и надежных, да умных маловато, а домовитых да по хозяйству искусных, oprичь тебя, кого назвать?.. В столь прискорбное время без тебя как без рук буду!.. Ради Господа и пресвятой владычицы Богородицы приезжай поскорее... А у Громовых да у Дрябиных покучься хорошенько, пособили бы нам ради выгонки, а мы вечные их богомолицы...»



Под вечер, только что солнышко спряталось за окраину леса, что чернеет по закраю неба вокруг Комарова, только что поляны возле перелесков белыми волнами вечернего тумана подернулись, Фленушка с Марьюшкой, осторожно выйдя за околицу и сторожко озираясь во все стороны, тихо спустились в Каменный Вражек. Там уж сидели казанец с саратовцем.

– Что?.. Соловушков слушать?.. – весело молвила Фленушка, и беззаботно-веселый смех ее звонко раздался по Вражку. – Опоздали, молодцы, смолкли соловушки, Петров день на дворе... Послушать песенок хотите, слушайте, как лягушки квакают... Чу!.. как дергач трещит...

– Девичьи речи слаще птичьего щебета! Веселей соловьиного пения голосок ненаглядной красотки! – с улыбкой промолвил молодой Самоквасов, идя навстречу к ней.

– Наскажешь турус на колесах!.. Только послушай тебя!.. – с небрежной улыбкой ответила Фленушка.

– Верное слово! – воскликнул на то Самоквасов, ровным, медленным шагом отходя с Фленушкой к близнему перелеску.

– Так я и поверила! – отворачиваясь от него, с лукавой улыбкой молвила Фленушка. – И думать-то, чай, про меня позабыл!

– Что ты?.. Что ты, Фленушка!.. Какое ты слово сказала!.. Ножом ровно резанула!.. Хороша встреча после целого года, неча сказать!.. – неpritворно волнуясь, говорил Самоквасов.

– Нечего Лазаря-то петь!.. – перебила его Фленушка. – Как есть настоящий казанский сирота!.. Нет, друг любезный, меня не разжалобишь!.. Насквозь вижу бесстыжую твою душу! Все твои мысли у меня на ладони!.. Отчего долго не ехал?.. Зачем вестей не присылал?

– Дела такие подошли, – ответил Петр Степаныч. – Только что вскрылась Волга – в Астрахань дядя послал; воротился, дедушка помер.

– Наперед, беспутный, знаю все твои отговорки, – промолвила Фленушка.

Под эти слова вошли они в перелесок. Там укрылись в молодом частом ельнике да в кудрявых кустах можжевельных. Остановилась Фленушка, вспыхнули очи, заискрились, заревом покрылись щеки, и улыбка в лице просияла. Закинув слегка голову, широко распахнула руками и тихо промолвила:

– Здравствуй теперь!

Ринулся молодец на высокую грудь... и долго и горячо сжимали они друг друга в объятьях... Долгий поцелуй ровно спаял распаленные страстью уста.

Сели на лужок меж кустами. Самоквасов держал Фленушку за руку. Оба молчали.

– А где ж колечко-то? – спросил он, оглядывая Фленушкины пальцы.

– В сундуке, – равнодушно она отвечала.

– На то разве дарено, чтоб в сундуке ему лежать? – укорил ее Самоквасов.

– Ай, ай, парень! – ото всей души расхохоталась Фленушка. – Немного ж у тебя под шапкой мозгу-то... Да!.. Где ж это видано, где это слыхано, чтоб скитски девицы перстни да кольца на пальцах носили?..

– А для че не носить? – возразил Петр Степаныч. – Чаще бы взглядывала, чаще б дружка вспоминала.

– Ловок ты, парень! – задушевным смехом хохотала Фленушка. – Забыл, что мы Христовы невесты?.. Как же твое подаренье мне на руку вздеть?.. Проходу не будет... Матушку тем огорчу.

– Эка важность! – усмехнулся Петр Степаныч.

– Нет, брат, шалишь! – немного брови нахмутив, молвила Фленушка. – Семеро будь таких, и тогда из-за вас не вздумаю огорчать свою матушку.

– А много ль нас у тебя! – громко смеясь, спросил Самоквасов. – Ну-ка, скажи, не утай.

– Много будешь знать, скоро состаришься, – закинув голову и прищулив насмешливо глаза, ответила Фленушка.

– Ну, скажи по правде... Чего тут?.. Да скажи же!.. – приставал Самоквасов.

– Сто, – отрезала Фленушка.

– Что больно много?

– Что за много? У вашего брата и больше бывает, – смеялась Фленушка.

– Так мы мужчины, – сказал ей Петр Семеныч.

– А мы девки! – усмехнулась Фленушка, смело глядя в глаза Самоквасову.

– Ну, уж девка!.. Зелье ты, а не девка!.. – проговорил он, страстно глядя на Фленушку.

– Какова уродилась! – охорашиваясь, молвила Фленушка. – Вся перед тобой, какая есть... Гляди!..

Молча любовался молодой купчик на миловидную Фленушку и, обвив ее стан рукою, сказал:

– Да реши ж, наконец, золотая!.. Зачем томишь меня?.. Который год?..

– Чего еще вздумал? – спросила, усмехаясь, Фленушка.

– Слушай, – продолжал Самоквасов. – Дедушка помер. Капитал был на его имя... Теперь конец... Хочет не хочет дядя, делись... Мне половина.

– Мне-то зачем ты это расписываешь?.. – спросила Фленушка. – Мне-то какое дело? Не я с твоим дядей стану делить тебя.

– Ровно не знает, про что говорю! – с досадой промолвил Самоквасов. – Третий год прошу и молю я тебя: выходи за меня... Ну, прежде, конечно, дедушка жив, из дядиных рук я смотрел... Теперь шабаш, сам себе голова, сам себе вольный казак!.. Что захочу, то и делаю!..

– И я что хочу, то и делаю, – весело усмехнувшись, ответила Фленушка.

– За чем же дело стало?.. Повенчаемся! – подхватил Самоквасов.

– Сто дедов помри у тебя, будь ты не то что вольный казак, будь ты принцем каким, царем, королем, и тогда за тебя не пойду, – сказала Фленушка. – Не видать тебе, Петр Степаныч, меня, как ушей своих.

– Отчего ж так? – взволнованным голосом спросил Самоквасов.

– Да так вот, не хочу, да и полно, – сказала Фленушка.

– Делом говори. Чего отлынивать-то?.. Честью прошу... – говорил Петр Степаныч.

– Из скитов замуж честью не ходят, – сказала Фленушка. – Девишник-от нам у матушки в келье, что ли, справлять? А горной пир<sup>[389]</sup> в келарне?.. Образумься, Петр Степаныч... Получивши наследство, никак ты совсем ошалел.

– Мы бы уходом!.. – промолвил Самоквасов.

– Не огорчу тем матушку. Это в гроб уложит ее, – сказала Фленушка и встала с луговины.

– Не надивлюсь я тебе, Фленушка, не пойму тебя, – поднимаясь за ней, сказал Самоквасов. – Ну, а как матушка-то помрет?.. Тогда что?.. А она ведь не долгая на земле жилица... Тогда что будет с тобой?.. Тогда куда денешься?

– Отстань!.. Не досаждай! – вскрикнула Фленушка. – И без тебя тошнехонько!..

Затуманилось чело ее, заискрились очи, и порывистое, тяжелое дыханье стало вздымать высокую грудь.

– Повенчавшись, при месте была бы, – продолжал Самоквасов. – Никто бы тебя не обидел, у всех бы в почете была... А без матушки заедят тебя в обители, выгонят, в одной рубашке пустят... Я уж слышал кой-что... Мутить только не хочу... Опять же везде говорят, что вашим скитам скоро

конец...

– Замолчишь ли, непутный?.. – вскрикнула Фленушка, и в голосе ее задрожали слезы отчаянья...

– Подумай хорошенько!.. – после немалого молчания сказал Самоквасов. – Теперь не прежнее время, «голопятым тысячником» теперь меня не назовешь, теперь мы сами с капиталом.

– Обсчитает тебя дядя-то, – небрежно кинула слово Фленушка.

– Известно, обсчитает!.. – спокойно, с уверенностью ответил Самоквасов. – Как же не обсчитывать? До всякого доведись!.. Только как он, собачий сын, там ни обсчитывай, а меньше ста тысяч целковых на мою долю выдать ему не придется...

– Полно-ка ты, Петруша, – молвила Фленушка. – Широко не шагай, высоко не заглядывай!.. Даст дядя тысчонки две-три, с тем и отъедешь.

– Нет, брат, шалишь!.. – воскликнул Самоквасов. – Сами с усами, на кривой теперь меня не объедешь!.. Именья-то и капиталу после дедушки больше чем на четыреста тысяч целковых... Если дядя вместо половины четверть только отдаст, вот уж тебе и сто тысяч... А меньше мириться мне никак не следует... А не захочет дядя миром покончить со мной, суд на то есть... Мне и долги и торговые книги известны, могу усчитать... Ох! Да я бы и меньше у дяди-то взял, только б ты, Фленушка, пошла за меня!.. Слушай! – прибавил он решительно. – Не пойдешь за меня, сопьюсь, обопьюсь, под забором как собака околею.

– Полно молоть-то!.. – небрежно отозвалась Фленушка. – Выдумает же ведь!

– Без тебя мне не жизнь, одна маета!.. Что ж? Решай скорей, – схватив Фленушку за руку, с горячим порывом сказал Самоквасов.

Вдруг ровно туманом подернулось игривое личико Фленушки. Задумчивые глаза ее грустно остановились на горевшем страстью лице Самоквасова.

– Эх, Петруша, ты, Петруша, мой глупенькой!.. – Печально вздохнув, она молвила: – И меня-то не знаешь, и себя не понимаешь... Какой ты мне муж!

– А чем же не муж?.. Какого еще тебе черта?.. – возразил Самоквасов.

– Не муж, – грустно сказала Фленушка. – Муж должен быть голова над женой, а тебе надо мной головой в жизнь не бывать...

– Как бы не так! – засмеялся Самоквасов. – А ну-ка, попробуй, выдь за меня, – увидишь, каков буду...

– Увидать-то нечего!.. – с усмешкой молвила Фленушка.

– В ежовы бы взял!.. – продолжал шутить Петр Степаныч.

– Еще бы кто кого!.. – слегка прищулив глазки, молвила Фленушка.

– Говорят тебе, попробуй, – продолжал он и крепко схватил стан Фленушки.

– Отвяжешься ли? – крикнула она и быстрым поворотом ловко вывернулась из-под руки Самоквасова...

– Эк, чтоб тебя! – с досадой он вскрикнул. – Ровно налим выскользнула.

– А ты паренек недогадливый!.. Не умеешь водиться с девицами, – весело и звонко захохотала Фленушка. – У нас, у девок, обычай такой: сама не захочет – ее не замай, рукам воли не давай... Так-то, друг сердечный!.. А ты этого, видно, не знал?.. А?..

– Да полно тебе шутить да баловаться, – с досадой сказал Самоквасов. – Чем бы дело говорить, она с проказами.

– Ну, так и быть, давай про дело толковать, – подхватила Фленушка и, опустившись на траву, промолвила: – Сядь-ка рядком, потолкуем ладком.

Сели. Фленушка в землю глаза опустила, помолчала немного.

– Долго ль в наших местах прогостишь? – спросила его.

– Как погостится, – ответил Самоквасов. – Гостины живут по привету... Сколь меня приветишь, столь и прогощу.

– Полторы либо две недели можешь прожить?.. – спросила Фленушка.

– Отчего не прожить? Это все в нашей воле, – сказал Петр Степаныч.

– А саратовец? – спросила Фленушка.

– А куда его без меня леший потянет? – молвил Самоквасов. – Теперь ему из моей воли выйти нельзя. Что велю, то и сделает, – сказал Самоквасов.

– Сказку плетешь аль правду говоришь?.. – спросила Фленушка.

– Чего врать-то?.. Не из чего, – отозвался Самоквасов. – Только отделись, Сеньку в приказчики... У нас уж с ним слажено, оттого из воли моей теперь он выйти и не может...

Помолчали немного.

С лукавой улыбкой, слегка прищурясь и зорко глядя на Самоквасова, молвила Фленушка:

– А больно хочется жениться на мне?

– Господи! – привскочил даже Петр Степаныч. – Да из-за чего ж я третье-то лето бьюсь-колочусь?.. Из-за чего столько маеты от тебя принимаю?..

И схватил было Фленушку за руку.

– Постой, погоди, – сказала она, выдергивая руки. – Прежде надо про дело толковать... Уходом придется свадьбу играть?

– Вестимо уходом... Сама же сказала, что из скитов честью девицы не выходят, – ответил Самоквасов.

– А венчался ли ты когда уходом-то? – спросила Фленушка.

– Эка шальная! – весело, во всю мочь захохотал Самоквасов. – Все-то проказы у ней на уме!.. Да что я?.. Татарин, что ли, какой?.. С одной обвенчавшись, к другой сватаюсь?..

– Не про то тебе говорят, – перебила Фленушка. – Не случилось ли в дружках на свадьбах уходом бывать аль в поезжанах?

– Не доводилось, – ответил Петр Степаныч.

– Надо попробовать, – молвила Фленушка. – Тут ведь удалство нужно. А не то и невесту у тебя отобьют, и бокам на придачу достанется...

– Вестимо, – согласился Самоквасов.

– Перед тем как меня из обители красть, надо тебе поучиться, – сказала Фленушка. – Я бы поглядела, сколь в тебе удали есть...

– Да чем же мне ее показать? Манефу, что ль, выкрасть да с городецким попом повенчать, – громко засмеялся Самоквасов.

– Не смей матушку в шутки мешать... – строго, с досадой молвила Фленушка. – Не смей, говорю тебе.

– Так сама укажи, кого повенчать, – подхватил Самоквасов. – Таисею?.. Изволь... Повенчаем и Таисею... Только сыщи жениха!.. Денег теперь со мной много, любого попа закуплю... Столько отсыплю, что на родной сестре кого хочешь свенчает.

– Ладно, – молвила Фленушка, кинув на Самоквасова томный взгляд из хитрых прищуренных глаз. – Изволь, укажу тебе парочку.

– Барашка да ярочку? – перебил Петр Степаныч, подвигаясь поближе к Фленушке.

– А ты молчи, дело говорю, – сказала она, отстраняя от себя Самоквасова. – Укажу, кого повенчать, погляжу на твою удаль... И если возьмешь удалством, повенчаешь их, бери меня тогда, хоть на другой же день бери...

– Вправду? – радостно вскрикнул Самоквасов. – Вправду говоришь?.. Не обманешь?..

– Зачем обманывать?.. Что сказано, то свято, – лукаво улыбнувшись, молвила Фленушка.

– Коли так... коли так... – в страстном порыве говорил Петр Степаныч. – Слушай, Фленушка!.. Да за это не то чтоб свенчать кого, черта за рога поймаю... Что хошь приказывай, все исполню, чего ни захочешь.

– А ну-ка побожись, – молвила Фленушка.

– Да лопни глаза мои!.. Да сквозь землю мне, в татарары

провалиться!.. Да чтоб не взвидеть мне свету Божьего!.. – стал божиться Самоквасов.

– Ну ладно, хорошо, – сказала Фленушка. – Побожись теперь в том, что никому ни единым словом не промолвишься, про что стану говорить тебе...

– Да иссуши меня Господи до макова зернышка!.. Да чтоб мне с места не сойти!.. – заклинался Самоквасов.

– Ладно, ладно, верю... – прервала его Фленушка. – Слушай теперь... Завтра поезжай к попу Сушиле в Свиблово... Задари его, денег не жалея, что ни запросит, давай... Семену скажи, был бы с тобой заедино...

– Да кого же венчать-то? – спросил Самоквасов.

– А видел давеча Василья Борисыча у матушки?.. Из Москвы прислан, – молвила Фленушка.

– Видел. Ледящий такой, – небрежно сказал Самоквасов.

– Какой бы там ни был, дело не твое... – перебила Фленушка. – Его надо свенчать... Слышишь?.. И как можно скорее.

– Пожалуй!.. А с кем? – спросил Самоквасов.

– Девушка есть в обители... – зачала Фленушка. – Хорошая девушка, отецкая дочь... Родители богатые, сама-то молодехонька, да будь промеж нас сказано, не больно бойка разумом, недалежного ума... Намедни, как мы ездили к невидимому Китежу, успел он как-то хитростный...

– Кто? – живо перебил Самоквасов.

– Да все он же, Василий Борисыч, – молвила Фленушка.

– Ах он, плюгавый!.. Вот гром-от не из тучи!.. – весело захохотал Самоквасов. – Да ничего... ничего... Теперь смекаю... Венцом, значит, надо покрыть?.. Ничего!.. Покроем... Это мы всегда можем!..

– Слушай же да покудова смалчивай, – молвила Фленушка. – Та девушка – Параша Чапурина.

– Полно ты! – удивился Самоквасов. – Эх какую кралою подцепил!.. А она-то!.. Водой не замутишь, а поди-ка ты что!

– Со всякой грех может случиться, – скромно опустив глаза, молвила Фленушка. – Когда у тебя будет все готово, мое дело невесту собрать... Сдам ее тебе с рук на руки, доделывай сам... А насчет жениха надо быть тебе похитрее. Блудлив он, что кошка, труслив он, что заяц. Трусит, Патап Максимыч по-свойски бы с ним не расправился... И сдается мне, что хочет он отсель лытуна задать.<sup>[390]</sup> Так уж ты с Семеном пригляди его... Завтра в Свиблово ты один к попу-то поезжай, а Семен пусть его караулит... Да уговаривал бы его венчаться, не то, мол, Патап-от Максимыч с живого шкуру сдерет... Они ж с Семеном старые знакомцы – ему-то, может,

поверит...

– А ведь и в самом деле, Чапурин потачки не даст, – молвил Самоквасов.

– Известно, не даст, – согласилась Фленушка. – От него не уйдешь... Вы хорошенько жениха-то пугайте, обвенчаешься, мол, не в пример дешевле разделаешься. Ну, мол, побьет тебя маленько Чапурин, поколотит... Без этого уж нельзя, а потом, мол, и гнев на милость положит.

– Ладно, – сказал Самоквасов, – все в наилучшем виде с Сенькой устроим. Только хочешь не хочешь, задаток давай, – прибавил он, обнимая Фленушку.

– Какого еще тебе задатка? – вырываясь, воскликнула Фленушка.

– Хоть разок поцелуй хорошенько, – говорил Петр Степаныч, стараясь обнять Фленушку. – Тебя не убудет, а мне радости прибудет.

– Да отвяжись ты, непутный!.. – с лукавой усмешкой отталкивая локтем Самоквасова, промолвила Фленушка. – Забыл, какие дни-то теперь?.. Петров пост еще не кончился.

– Целоваться в уста николи нет поста, – перебил Самоквасов и, схватив Фленушку, промолвил: – Ну, взгляни глазком – сделай с праздничком!..

– Ну, ладно, ладно, выпусти только... Ой, леший!.. – вдруг она вскрикнула. – Черт этакой!.. Щипаться еще выдумал!.. Я теогрею!.. Отвяжись, говорят!

– Хочешь не хочешь, а целоваться надо... Без того и к попу не поеду, – приставал Самоквасов.

– Ну, постой... Пусти, а ты... Сама поцелую, – молвила Фленушка.

И когда он выпустил из объятий Фленушку, она взяла его руками за уши и, слегка притянув к себе, холодно поцеловала.

– Не так, не так! – во всю мочь гаркнул Самоквасов и, схватив Фленушку за голову, изо всей силы прижал ее губы к своим.

– Да отвяжись!.. Леший ты этакой!.. Ай!.. – на весь перелесок кричала Фленушка, но крики ее заглушались нескончаемыми поцелуями Самоквасова.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не стучит, не гремит, ни копытом говорит, безмолвно, беззвучно по синему небу стрелой каленой несется олень златорогий...<sup>[391]</sup> Без огня он горит, без крыльев летит, на какую тварь ни взглянет, тварь возрадуется... Тот олень златорогий – око и образ светлого бога Ярилы – красное солнце...

Бежит олень, летит златорогий, серебряным копытом хочет в воду ступить. И станет от того вода студена, и пойдет солнце на зиму, а лето на жары.

Шумит в лесах, трещит в кустах, бренчит по траве-мураве звонкокопытный олень. Солнечным лучом, что ременным бичом, гонит его светоносный Ярило из темного бора на светлую поляну ради людского моляну...<sup>[392]</sup> Брать его руками, колоть его ножами и на братчине на петровщине людям есть благодарно моленый кус.<sup>[393]</sup>

Затем литит по небу олень златорогий, затем хочет серебряным копытом воду студить, что настал день прощанья светлого бога Ярилы с Матерью Сырой Землей и со всеми земнородными чадами их... Каждые сутки тот олень по небесной тропе с востока на запад бежит, но только два раза в году он играет... В те дни восходящее солнце то покажется из-за края небесного, то опять за ним спрячется, то вздынет кверху, то книзу опустится, то заблещет цветами алыми, белыми, лазоревыми, то воссияет во всей славе своей так, что никакому глазу глядеть на него невозможно. Дважды в году так солнце играет: в день прихода Ярилы, на Пасхе, да в день отхода его на Петров день.<sup>[394]</sup>

Затем из темного бора гонит Ярило лесного оленя, было бы людям чем справить день расставанья светлого бога с землей, день отхода его на немалое время в область мрака и стужи. Есть того оленя людям на моляне, поминать отходящего бога на пиру, на братчине, на братчине на петровщине.<sup>[395]</sup>

А с восточной стороны, с моря-океана, с острова Буяна, со того ли со камня со Алатыря, тихими стопами, земли не касаясь, идет-выступает Петр-Золотые-Ключи... Теми ключами небесные двери он отмыкает, теми дверями угодных людей в небо пускает. Идет Петр-Павел,<sup>[396]</sup> в одной руке ключи золотые, в другой трава петров крест, что гонит нечистую силу в тартарары.

Петров день наступает: летняя братчина, братчина-петровщина. По

сельщине-деревенщине пир горой.

Накануне Петрова дня по селам возня, по деревням суетня. Конец петровке-голодовке – молёного барашка в лоб!..<sup>[397]</sup> Давай, бабы, творогу, сметаны, простокваши, топленого молока!.. Стары люди за верное сказывают, что прежде петровок и в за́водях не было; вы, бабы, скопидомок, тот пост у Господа вымолили; вы, бабы, жалобились: без летнего-де поста ни масла, ни другого молочного запастись нельзя, все-де молоко мужики с ребятишками выхлебают... Ну вот, по вашему умолению и мы держим пост – давай же на разговенье все напасенное!.. Жарь, пеки да вари, пойдет у нас пир на весь Божий мир!.. Пост провалил, до зеленого покосу напразднуемся... Не жалей на брагу хлеба, солоду – зажелтели поля, колосья клонятся, нового богáтья<sup>[398]</sup> недолго ждать!..

Таков на Петров день бабам дается приказ от отцов да от свекоров, и накануне праздников зачинается вокруг печей возня-суетня. Дела по горло, а иной хозяйушке вдвое того: есть зять молодой – готовь ему, теща, петровский сыр, есть детки богоданные – пеки тоболки,<sup>[399]</sup> неси их крестникам на рóзговенье, отплачивай за пряники, что приносили тебе на поклон в прощено воскресенье вечером.<sup>[400]</sup>

У молодежи накануне Петрова дня свои хлопоты: последняя «хмелевая ночка» подходит, завтра надо Кострому<sup>[401]</sup> хоронить... Еще пройдет день, лета макушка придет, начнется страда, летним гулянкам конец... Вечером, только закатится солнце и сумрак начнет по земле расстилаться, девушки с молодницами, звонко песни играя, выходят гурьбой за околицу, каждая охапку соломы тащит. Выбрав укромное место, раскладывают костры и при свете их вяжут Кострому из соломы. Одевши ее в нарядный сарафан недавно вышедшей замуж молодницы и убравши цветами, молча, без шуток, без смеха кладут на́ доску возле воды... Тут молодцы приходят, начинаются песни, хороводы. Всю ночь напролет молодежь веселится, а когда зачнет утренняя заря разгораться, приходят на игрище люди пожилые, даже старики: посмотреть-поглядеть, как солнышко красное станет играть.

Тухнут костры на земле, гаснут звезды на небе... Бледнеют на своде небесном ночные покровы, светлей и светлей на восточном краю небосклона. Рой мелких перистых облаков усыпал поднебесье, лучи невидимого еще солнца зажгли их разноцветными огнями. С каждой минутой ярче и ярче горят облака, блещут золотом, сверкают пурпуром, переливаются алыми волнами... Разлились светлые потоки по всему небесному раздолью... Окропляется свежей росой, изумрудами блещет

травы муравая, алмазами сверкают росы на листьях древесных. Раскрывают цветы лепестки свои, и в утренней прохладе со всех сторон льются благовонные воздушные токи... Близко, близко небесный олень златорогий.

Ведут хоровод и звонкою песнью зовут небесное светило:

Не стучит, не гремит,  
Ни копытом говорит,  
Каленой стрелой летит  
Молодой олень!

Ты, Дунай ли, мой Дунай!  
Дон Иванович Дунай!  
Молодой олень!

\* \* \*

У оленя-то копыта  
Серебряные.  
У оленя-то рога  
Красна золота!

Ты, Дунай ли, мой Дунай!  
Дон Иванович Дунай!  
Молодой олень!

\* \* \*

Ты, олень ли мой, олень,  
Ты, Алешенька!  
Ты куда-куда бежишь,  
Куда путь держишь?

Ты, Дунай ли, мой Дунай!  
Дон Иванович Дунай!  
Молодой олень!

Я бегу ли, побегу  
Ко студеной ко воде,  
Мне копытцом ступить,  
Ключеву воду студить!

Ты, Дунай ли, мой Дунай!  
Дон Иванович Дунай!  
Молодой олень!

И, кончив песню, резво бегут на пригорки.

С непокрытыми головами, опершись на посох, там уж стоят старики. Умильно склонив головы на правые руки, рядом с ними старушки. Глаз не сводят седые с восточного края небес, набожно ждут того часа, как солнышко в небе станет играть...

Густыми толпами стариков молодежь обступила. Все тихо, безмолвно. Только и слышны сердечные вздохи старушек да шелест листвы древесной, слегка колыхаемой свежим зоревым [\[402\]](#) ветерком... Раскаленным золотом сверкнул край солнца, и радостный крик громко по всполью раздался.

Солнце взыграло, грянула громкая песня:

Ой, Дид Ладо!.. На кургане  
Соловей гнездо свивает,  
А иволга развивает!..  
Хоть ты вей, хотя не вей, соловей, —  
Не бывать твоему гнезду совитому,  
Не бывать твоим деткам вывозатым, [\[403\]](#)  
Не летать твоим деткам по дубраве,  
Не клевать твоим деткам белотурой пшеницы!  
Ой, Дид Ладо! Пшеницы!..

Поднялось солнце в полдерева, все пошли по домам с ночного гулянья. Впереди толпа ребятишек, как в барабаны, колотят в лукошки, и громкое их

грохотанье далеко разносится в тиши раннего утра. За ними девушки с молодыцами несут на доске Кострому. Мужчины за ними поодаль идут. Подобье умершего Ярилы медленно проносят по деревне под звуки тихой заунывной песни. То «первые похороны».

Там, где братчина, обедают тотчас после ранней обедни. Щи с бараниной, ватрушки, бараний бок с кашей – обычные яства на петровском обеде. Пообедавши, мужчины старые и молодые спешат на братчину на петровщину. На деревенском выгоне ставят столы и раскладывают на них жареную баранину, ватрушки и пироги с бараньим сердцем,<sup>[404]</sup> ставят жбаны с пивом, сваренным на складчину, да вино зеленое, покупное на общие деньги. На братчине только свои. «На пиры на братчины незваны пити не ездят», – сказано лет за пятьсот и побольше того. Начинают с вина, пьют без шапок, чинно, степенно. Каждый наперед перекрестится и такую молитву молвит вполголоса:

– Батюшки Петр-Павел! Заткни в небе дыру, замкни тучи-оболоки, не лей дождем!.. Подай, Господи, зеленый покос убрать подобру-поздорову!

Под конец пированья, когда пьяное веселье всех разберет, – затренькают балалайки, запищат гармоники, волынки загудят... Иной раз сергач приведет лесного боярина Михайлу Иваныча Топтыгина, с козой, с барабаном,<sup>[405]</sup> и пойдет у братчиков шумная потеха над зверем. Коли много вина, напоят косолапого дóпьяна. А уж если очень развеселятся, становятся стенка на стенку и заводят потешный кулачный бой.

Таково веселье на братчинах спокон веку водилось... «Как все на пиру напивались, как все на пиру наедались, и все на пиру пьяны-веселы, все на пиру порасхвастаются, который хвастает добрым конем, который хвастает золотой казной, разумный хвалится отцом с матерью, а безумный похвастает молодой женой... А и будет день ко вечеру, от малого до старого начинают робята бороться, а в ином кругу на кулачки биться... От той борьбы от ребячия, от того боя кулачного начинается драка великая».<sup>[406]</sup>

Меж тем девицы да молодницы перед солнечным закатом с громкими песнями из деревни в чистое поле несут Кострому... Молодые парни неженатые, заслышав те песни, покидают братчину, идут следом за красными девицами, за чужемужними молодницами.

Кладут Кострому на доске на прежнем месте, становятся вокруг нее хороводом и печальными песнями отпевают Ярилу:

Помер наш батюшка, помер!  
Помер родимый наш, помер!

Клали его во гробочек,  
Зарывали его во песочек!  
«Встань, батюшка, встань,  
Встань, родимый, вздынься!»  
Нет ни привету, нет ни ответу —  
Лежит во гробочке.  
Во желтѳм песочке.

Помер наш батюшка, помер!  
Помер родимый наш, помер!

\* \* \*

Приходили к батюшке четыре старушки,  
Приносили батюшке четыре ватрушки:  
«Встань, батюшка, встань,  
Встань, родимый, вздынься!»  
Нет ни привету, нет ни ответу —  
Лежит во гробочке,  
В желтом песочке.

Помер наш батюшка, помер!  
Помер родимый наш, помер!

\* \* \*

Приходили к батюшке четыре молодки,  
Приносили к батюшке четыре сочовки: [\[407\]](#)  
«Встань, батюшка, встань,  
Встань, родимый, вздынься!»  
Нет ни привету, нет ни ответу —  
Лежит во гробочке,  
Во желтом песочке.

Помер наш батюшка, помер!

Помер родимый наш, помер!

\* \* \*

Приходили к батюшке четыре девчонки,  
Приносили батюшке четыре печенки:  
«Встань, батюшка, встань,  
Встань, родимый, вздынься!»  
Ждем твою привету, ждем твою ответу,  
Встань из гробочка,  
Вздынься из песочка!

Ожил наш батюшка, ожил,  
Вздынулся родимый наш, встал!

И другие песни поются над соломенной Костромой...

С тоскливым плачем, с горькими причитаньями, с барабанным грохотом в лукошки, со звоном печных заслонок и сковород несут Кострому к речке, раздевают и, растрепав солому, пускают на воду. Пока вода не унесет все до последней соломинки, молодежь стоит у берега, и долго слышится унылая песня:

Помер наш батюшка, помер!  
Помер родимый наш, помер!..

А потом начинаются хороводы и веселые игры. В «селезня» играют, в «воробушка», в «оленьюшку», в «заиньку», «просо сеют», «мак растут», «лен засевают» – и все с песнями... Здесь бренчит балалайка, там заливается пастуший рожок, дальше гудят гудки и гармоники. Бойкие молодцы пляшут в кругу хороводном, пляшут рядами, пляшут один за другими, вертятся, кружатся иль молодыми ногами частую дробь выбивают. Удаляю пышут их загорелые лица. Красные девицы, дружно сплетая руками, неспешно ведут хоровод, весело в лад припевая. Матери, тетки и все пожилые одаль стоят, весело смотрят на деток, любуясь стройными играми их, юность свою вспоминая.

Клонится к западу солнце, луч за лучом погашая. Алое тонкое облако под ним разостлалось. Шире и шире оно расстилается, тонет в нем солнце, и сумрак на небо восходит, черным покровом лес и поля одевая... Ночь, последняя ночь хмелевая!

Матери, тетки ушли, увели с собой ребятишек, отцы и мужья пиво да брагу кончают, с грустью, с печалью на сердце всех поздней с поля ушли молодницы, нельзя до утра им гулять, надобно пьяного мужа встречать... Осталась одна холостежь.

До солнечного восхода она веселится. Ясно горят звезды в глубоком темно-синем небе, бледным светом тихо мерцает «Моисеева дорога»,<sup>[408]</sup> по краям небосклона то и дело играют зарницы, кричат во ржи горластые перепела, трещит дерчаг у речки, и в последний раз уныло кукует рябая кукушка. Пришла лета макушка, вещунье больше не куковать... Сошла весна со неба, красно лето на небо вступает, хочет жарами землю облить.

Ни конца ни краю играм и песням... А в ракиновых кустиках в укромных перелесках тихий шепот, страстный, млеющий лепет, отрывистый смех, робкое моление, замирающие голоса и звучные поцелуи... Последняя ночь хмелевая!.. В последний раз светлый Ярило простирает свою серебристую ризу, в последний раз осеняет он игривую молодежь золотыми колосьями и алыми цветами мака: «Кошуйтесь,<sup>[409]</sup> детки, в ладу да в миру, а кто полюбит кого, люби до века, не откидывайся!..» Таково прощальное слово Ярилы...

Встало солнце над лесом, облило лучами землю поднебесную... Конец весне, дошла до людей страда-сухота... Не разгибать людям спины вплоть до поздней глубокой осени...

\* \* \*

Теперь на Керженце не помнят Ярилы, не хоронят Костромы, забыли про братчины. Скитская обрядность все до конца извела.

Скитникам, келейницам всего трудней было справиться с братчинами. Не слушались их увещаний мужики деревенские... Как сметь дедовский обычай перставлять! Как отказаться от молёного куса, от браги сыченой, от мирского хмельного пива! Испокон веку, из рода в род ведутся те братчины, деды, прадеды их заповедали, заветное слово их крепко... На пиру, на братчине не только пьют да гуляют, не только песни играют да бьются в кулачки, здесь мир рядит, братчина судит: что тут положено, тому так и



быть. На мирское решение, что сказано на братчине, нет суда. Мир да братчину один Бог судит.

Хитры были, догадливы келейные матери. В те самые дни, как народ справлял братчины, они завели по обителям годовые праздники. После торжественной службы стали угощать званных и незванных, гости охотно сходились праздновать на даровщину. То же пиво, то же вино, та же брага сыченая, те же ватрушки, пироги и сочовки, и все даровое. Молёного барашка нет, а зато рыбы – ешь не хочу. А рыба такая, что серому люду не всегда удастся и поглядеть на такую... Годы за годами – братчин по Керженцу не стало.

Когда начиналась обитель Манефина, там на извод братчины-петровщины на Петров день годовой праздник уставили. С той поры каждый год на этот день много сходились в обитель званных гостей и незванных богомольцев. Не одни старообрядцы на том празднике бывали, много приходило и церковников. Матери не спрашивали, кто да откуда, а садись и кушай. И люб показался тот обычай деревенскому люду...

На обительских праздниках не хвастали гости по-старинному, не хвалились ни добрым конем, ни казной золотой, ни отцом с матерью, ни женой молодой, не заводили кулачных боев, не слушали гудцов-скоморохов. Матери за трапезой читали им от писания и кляли-проклинали мирские потехи, что от Бога отводят, к бесом же на пагубу приводят. Не судила, не рядила за скитскою трапезой братчина – свой суд матери сказывали: «Кто Бога боится, тот в церковь не ходит, с попами, с дьяками хлеб-соль не водит...» И те суды-поученья, сладким кусом да пьяным пойлом приправленные, немало людей от церквей отлучали. И за то бывал гнев от властей на скиты и обители.

Накануне Петрова дня в Манефиной часовне и великое повечерие и правильные каноны справлены были чинно, уставно, торжественно. На своем игуменском месте, в длинной соборной мантии, с деревянным посохом в руке, ровно каменная, недвижимо стояла Манефа и в положенное время твердым голосом творила возгласы. Впереди стройными рядами стояли матери, за ними белицы, позади прихожие богомольцы – мужчины или женского пола особо. Сам Василий Борисыч в ряду богомольцев стал, нельзя было ему на клирос к девицам пойти – постороннего народу много, соблазна бы не было, устав не позволяет того. Рядом с московским послом Семен Петрович стоял. С утра, по приказу Самоквасова, ни на шаг не отступал он от старинного друга-приятеля, не отступал от него и в то время, как он, по просьбе Манефы, в келарне с белицами демеством распевал.

Допевали «воззвахи».<sup>[410]</sup> Руководимые искусной головщицей, звучные голоса «певчей стаи» стройно носились в высокой часовне. С умилением, в строгом молчанье, предстоявшие слушали сладкогласное пение – вдруг зазвенел колокольчик... Либо исправник, либо становой, другому некому быть. Никто из самых важных гостей не въедет на обительский двор с колокольцами во время часовенной службы. Белицы и матери стали тревожно переглядываться, но ни одна двинуться с места не смела. Манефа стояла невозмутимо, будто ничего не слыхала... Кой-кто из стоявших у дверей богомольцев вышли из часовни посмотреть, кто приехал.

Немного спустя, с важностью в походке и взоре, вошел удельный голова Михайло Васильич Скорняков в жалованном кафтане с золотыми галунами. На полшага отступя, следом за ним шла головиха Арина Висильевна. На Нефедов день Михайлу Васильичу вдвойне посчастливилось: за ночь столько перепелов наловил, что сроду не помнил такой удачи; и только что успел отдохнуть после бессонной ночи, от управляющего нарочный на двор. Привез из конторы бумагу, надпись на ней «самонужнейшее». Стал читать, в глазах зарябило, екнуло сердце; сам управляющий пишет: часу не медля, спешно бы ехал он в город, а зачем – ни полслова... Неспокойно поехал Михайло Васильич, и туда и сюда кидая умом, что за «оказия» вышла... Не доброго чаял... Слышал он стороной, что писарь Карпушка Морковкин донос послал на него, верно, позвали по этому делу. Арина Васильевна, только что муж со двора, на молитву... Пятнадцать кафизм прочитала, акафистов два, наутро пост на себя наложила – макова зернышка в рот не брала, весь почти день промолилась. Карп Алексеич Морковкин, сидя в приказе, с радости рюмка за рюмкой кизлярку тянул и кой-кому из крестьян похвалялся: «Шабаш, Скорняков!.. Знаю, зачем его вызвали – с места долой!..» Так был уверен в успехе доноса. Дня через два воротился Михайло Васильич в жалованном кафтане с бумагой: ехать Морковкину в другой удельный приказ, верст слишком за двести, и там не писарем, а только помощником писаря быть. Никто еще не видал Скорнякова в новом кафтане; показаться честному народу в почетной одежде больно хотелось ему... И вот вспомнил он, что у Патапа Максимыча на сорочинах Манефа на праздник звала, тотчас срядился, даром что телятник летал и мошки над рожью толклись, обильный улов перепелов обещая. А с колокольчиком выехал... как же иначе? Разве он не начальство, разве не на стоечных<sup>[411]</sup> лошадях в Комаров он приехал?

Прихожие богомольцы перед ним на две стороны расступились.

Прошел Михайло Васильич в самый перед. Приняв поданный ему белицей подручник, чинно сотворил семипоклонный начál и низко всем поклонился, с важностью глядя на бывших в часовне. А глаза так и говорят: «Глядите, православные, в каку одежду я вырядился!.. Царское жалованье!..»

И все на него смотрели с почтеньем, все мысленно радовались: «Вот-де и наших царь награждает!» Одна Манефа не взглянула на кафтан с галунами. Но, когда после службы Михайло Васильич с хозяйкой посетил ее келью, слов не нашла игуменья, благодаря столь почетного гостя за нежданное посещение. На сорочинах звала его ради одной прилики, зная наперед, что голова не приедет... И не приехал бы, если б не захотелось ему показаться людям в жалованном кафтане.

Сидели за чаем, когда Смолокуров с дочкой приехал. С великим почетом встретила их мать Манефа. Не успела высказать всех благодарностей, новые гости на двор: Патап Максимыч с Аксиньей Захаровной, Иван Григорьич с Груней, гости желанные, притом не наверное жданные. Радозна была Манефа, видя такое собрание почетных гостей. Патап Максимыч знаменитую повариху куму Дарью Никитишну с собой привез. Тотчас вступила она в управление келарней. Мать Виринея охотно, без всякой досады ей подчинилась, и на новый лад пошла-закипела стряпня.

А по малом времени раскормленные, жирные кони легкой рысцой стали подвозить в Комаров уемистые повозки, нагруженные пуховиками и подушками, на них возлежали тучные матери и дебелие девицы-келейницы. Двадцать четыре одних игумений съехалось, пять старцев из мужских обителей, соборным матерям и белицам не было счету. По всему Керженцу, по всем скитам нет обители обширней Манефиной, нет просторнее келий ее, но и в них не могли поместиться все наехавшие Петру-Павлу поспраздновать. По другим обителям иные пристали, пристали и в сиротских домах. Прямо к Манефе въезжали лишь те, что были почетней да знакомее ей.

Первою приехала маленькая, сухощавая, но бодрая старушка мать Августа, Шарпанского скита игуменья. Хоть на богомолье у отца Софонтия, говоря с Фленушкой, и отказалась она приехать, но Манефа письмами умолила ее непременно пожаловать на праздник. Из молодых не было с ней никого. Строгая шарпанская игуменья по многим опытам знала, что нигде лютый бес так хитро не раскидывает сетей ради греховного людей уловленья, нигде так сильно не искушает келейных белиц и молодых инокинь, как на великих собраниях. Бороня от греха младое стадо свое,

никогда не брала она девиц на праздники и другие скитские сборища. Не было в шарпанской повозке ни мягких перин, ни пуховых подушек, да и повозка-то была старая, неприглядная. Старенька была и одежда на игуменье, нищей казалась она. И было то не от скудости, но ради смирения. Все знали, что в Шарпане достатки хорошие, но исстари ведется обычай одеждой не краситься, трапезой не славиться, отнюдь не вести пространныго жития. И такому смирению всюду должную честь воздавали... Славна была мать Манефа, надо всеми игуменьями высилась, но лишь только возвестили ей о приезде Августы, тотчас из кельи вон и, сойдя с крыльца, своими руками помогла старице выйти из повозки. А на ступенях крыльца и в сенях чинно рядами стояли Манефины старицы и белицы, в глубоком молчанье Августе низкие поклоны отдавая. Узнав, что у Манефы мирские гости, не восхотела шарпанская игуменья идти к ним, прямо прошла в приготовленную для нее светлицу и, отказавшись от угощенья, заперлась и на келейное правило стала.

Следом за Августой из Оленева приехала мать Маргарита, Анфисиной обители игуменья. Славна была не только по лесам Керженским, Чернораменским, но по всему христианству древлего благочестия. Знали умную, учительную мать Маргариту по всему Поволжью от Романова до Иргиза, чтима была старица в слободах Стародубских, на Дону, на Кубани, на Тереке, высоко было имя ее в Москве на Рогожском, в Питере в Королевской часовне.<sup>[412]</sup> Будучи сама купеческого рода, умела Маргарита с купцами и чиновными людьми знакомство вести, знала, как занятную для них беседу вести. Домовитость ее и учительность также всюду были известны, и слава Анфисиной игуменьи немногим умалена была супротив славы Манефы. Осанистая, смуглая, худощавая мать Маргарита степенно, но величаво вошла в келью. За ней две белицы. Одна статная, стройная, ровно молодое деревце, довольством, здоровьем сияет лицо, добром и весельем искрятся очи, с виду холодная, будто бесстрастная, пылкое сердце, горячую кровь носит в себе. С малиновым шелковым платочком на голове, в пышных батистовых рукавах, в широком кисейном, испещренном мелкими яркими цветочками переднике, царицей вступила она. То была Маргаритина любимица, вскормленница ее, Анна Сергеевна. Несмысленным младенцем взяла ее мать Маргарита у дальнего сродника, прежде богатого, потом до суммы разоренного торговым несчастьем. Любовалась и гордилась воспитанницей мать Маргарита, жизни не чаяла в ней, от себя ни на шаг не пускала... Другую белицу Грушенькой звали – ту для услуг взяла с собой Маргарита. Приспешницей в келарне служила, и Василий Борисыч, когда гостил у Анфисиных, любил в келарню ходить, когда чернобровая Груша

блины там пекла.

С Маргаритой приехала из Оленева другая игуменья, мать Фелицата. Ростом мала, дородством взяла, ровно копна в человеческую кожу защита. Тучны келейницы на Керженце, но другой Фелицаты и там не бывало. В широкую повозку рядом с нею едва боком усестся могла сухая, как вобла, костлявая, как тарань, <sup>[413]</sup> рябая белица Марина, что при ней ходила в ключах. Двух стариц в особой кибитке везла за собой Фелицата: маленькую юркую мать Фелониду, суетливую, живую старушку с необычной памятью. Чуть не все старообрядское писание знала она наизусть, и, в случае спора, стоило ей только книгу взять в руки, тотчас где надо раскроет, тотчас укажет перстом на спорное место. Другая старица мать Севастьяна была черненький волос, звонкий голос, густые брови, что медведи над глазами лежат, а глаза-то косые, смотрят в кучку, а глядят врозь. Умом и речью поворотливой славилась, в спорах от писаний сильна: редкий начетчик супротив Севастьяны мог устоять. Любила Фелицата поспорить и в споре верх одержать, но в ответах была нескорá, оттого и брала с собой книжных матерей, было бы кем поддержать себя на соборе.

Улангерская мать Юдифа приехала, трех белиц с собой привезла: нежную красавицу Домну, голосистую чернобровку Варю, веселую, быстроногую Дуню. Не в собрание сидеть, не про скитские дела советовать, к Фленушке в гости на праздник девицы приехали, очень звала она их, когда у Юдифы гостила. Ради собора много матерей Юдифа с собой привезла из бедных улангерских обителей. Девяностолетнюю мать Клеопатру Ерахтурку, <sup>[414]</sup> пять раз была под судом, пять раз в остроге сидела, пять раз подписку давала не сворачивать никого от церкви в раскол и несчетно раз ее нарушала. На увещаньях в консистории раз двадцать бывала, но Никоновым новшествами не покорялась, твердо в древнем благочестии пребывая. Узами, темницами болезненно искушалась; скорби, нужды, страдания радостно претерпела, вечного царства в горнем Иерусалиме взыскала. Все чтили добропобедную старицу, всячески ее ублажали. Не книжна, не словесна была Клеопатра, но на скитских соборах первоседение ей предоставляли. Мать Феозву из Минодориной обители Юдифа с собой привезла; острая разумом, сведуща в царских законах была, не токмо в тех, что в Кормчей печатаны, но и в нынешних всеобдержных. Дело какое случится в судах, по землям аль по каким-нибудь тяжбам, медной полушки приказным никогда не давала, сама все писала, и не было ни разу, чтоб она по суду своего не получала. В сенат даже просьбы писывала, сам уездный судья ей говорил: «Тебе бы, мать Феозва, не в скиту

богомольничать, а в суде б за зеркалом сидеть!» Юдифа привезла дворянского рода старца Иосифа и его крепостного игумна Галактиона. Иосифу ради такого случая новую камилавку с кафтырем справили, новую рясу пошили. Чухломской дворянин тем очень доволен остался. Из Чернушинского скита мать Павлина с сестрами о Христе приехала. Не книжная была, но рассудливая, споры и вражду умирала, к согласному житию всех приводила, оттого и слыла миротворицей.

Из малых скитов старицы с белицами тоже наехали: из Быстрёны, из Ворошилова, из Прудовского, Федосеевского, из Кошелева, из Митюшенского, из Малиновского, Одинцовского, Крутовражского и Гордеевского.

Не все приезжали прямо к Манефе, только избранные да много знакомых. Во всех Комаровских обителях, во всех сиротских домах пристало гостей видимо-невидимо.

С вечера из ближних и дальних деревень христороубцы на праздник сошлись. Держали опочив вокруг часовни на широком дворе обительском... Ложе – трава муравая, одеяло – темная ночь, браный полог – звездистое небо.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Стоном стоят голоса на широком дворе Манефиной обители. Собрáлось на праздник народу многое множество. Часы отошли. С пением обоих клиросов шествует из часовни Манефа в соборной мантии. Медленно она выступает, за нею черный строй матерей, одних игумений двадцать четыре, стариц до сотни. Идут из часовни в келарню. За ними белицы, потом званные на трапезу почетные гости. Всех гостей не может келарня вместить, иные старицы и почти все белицы, кроме певчих, по кельям разошлись; там тоже столы приготовлены были. Фленушка с гостями прошла в свои горницы. С нею Параша Чапурина, Дуня Смолокурова, Анна Сергеевна с Грушенькой оленевские, Домнушка, Дуняша, Варя улангерские. Аграфена Петровна, молодая жена Ивана Григорьича, с ними ж пошла. Смерть хотелось попасть в их беседу Василью Борисычу, но с ними идти было ему никак невозможно – московскому послу за трапезой почетным гостем сидеть, не с красотками беседовать, нужные речи с игуменьями да старицами вести. Никого из мужчин во Фленушкиных горницах не было, сидел-трапезовал круг девичий, замужняя одна замешалась: богоданная дочка Патапа Максимыча, Аграфена Петровна.

От часовни до келарни по обеим сторонам дорожки, что во многие годы протоптана стопами богомольных и трапезолюбивых келейниц, по зеленой траве-мураве ставлены были козлы, а на них кладены тесины, крытые холстами и уставленные жбанами с квасом и пивом, великими укрухами ржаного и пшеничного хлеба и деревянными кружкáми.<sup>[415]</sup> На каждом кружке по куску пирога, у каждого кружка по прихожему богомольцу стоит. Мужики и бабы, парни и девки, подростки-ребятишки ждут не дождутся конца службы и начала угощенья. Все деревенские... Меж ними один только старец в старой запыленной одежде, в нахлобученной на самые брови камилавке. Не пошел он в келарню, как сказал, смирения ради. То бродячий старец Варсонофий, что встретился Василью Борисычу ночью на Китеже.

Только прошел ход матерей и почетных гостей, пришлые христороубцы с шумом и гамом садились вдоль столов на скамьи. Конюх Дементий с трудниками разносили деревянные стаканчики, а христороубцы, широко осенив себя крестным знаменiem, пили из них зеленó вино во славу Божию, а сдобными пирогами с рыбной начинкой закусывали. Потом

трудники, под надзором пяти матерей, ставили на столы одну перемену кушаний за другою, потчевали гостей брагой сыченой, пивом похмельным. И усердные богомольцы все дочиста поели, потребили весь залежалый в Манефиных погребах рыбный запас и много за то благодарствовали... Пьяней всех Варсонофий был: ради иноческого чина ни один из трудников не отказал ему в лишнем стакане. Оттого «перехожий» честной отец после трапезы не пошел с матерями о скитских делах соборовать, выпросился у Дементия на сенницу и там завалился спать-почивать после дела похмельного.

Чинно и стройна была трапеза, в келарне уготованная. Почетный стол в переднем краю стоял. С правой стороны Манефы сели игуменья, жена головы и Аксинья Захаровна, с левой Василий Борисыч, старец Иосиф, крепостной игумен его Галактион, другие старцы, за ними Смолокуров, Патап Максимыч, удельный голова, кум Иван Григорыч, Самоквасов, саратовский приказчик, купцы из ближнего городка и какой-то пароходчик с Городецкой пристани. За другими столами старицы с белицами по степеням чинно сидели. Марья головщица с «певчею стаею» пропела тропарь первоверховным апостолам, затем надо было «прощу» говорить. За столом старцы были, при них по скитскому обычаю жене ни прощ, ни иного начального дела творить не подобало. В часовне за часами Манефа Галактиону предложила «за молитвы» возглашать, дневное Евангелие читать и отпусты говорить, а в келарне барину того игумна, отцу Иосифу, предоставила прощ творить... И доволен же был чухломской дворянин возданною ему честью; заслезились старые очи его от избытка чувств... Ударила Манефа в кандию, Марьюшка, стоя за налоем, начала чтение «похвалы апостолам», а Вириная распорядилась ставкою на столы кушанья. И все ели и все пили благодушествуя, в великом смирении и в строгом молчании.

И никто не сидел так степенно, никто не держал себя так чинно истово, ни на чьем лице не было видно такого смирения, как у Василия Борисыча: очи долу, головой поникши, сам недвижим и бесстрастен... А у самого на уме: «Девицы красавицы стаей лебединой пируют у Фленушки, льются речи звонкие, шутками да смехами речь переливается, горят щечки девушек, блестят очи ясные, высокие груди, что волны, тихо и мерно колышутся...» И сколь было б ему радостно в беседе девичьей, столь же скучно, невесело было сидеть в трапезе обительской!

На почетный стол становили кушанья, что искусной рукой Дарья Никитишна сготовила, на другие столы становились яства попроще, стряпни Виринаиной. На почетный стол подавали дорогие вина заморские,



на другие столы квасы ставленные, брагу сыченую, пиво мартовское домашнего варева. Патап Максимыч, зная, что будут на празднике Смолокуров, удельный голова и кум Иван Григорьич, захватил с собой по дороге не одну дюжину шампанского, но мать Манефа отказала ему наотрез потчевать тем вином гостей на трапезе. «Отобедавши, в келье что хошь твори, а на трапезе людей не блазни, – сказала она. – Того не повелось, чтобы эту заморскую кипучку в обителях пить». Патап Максимыч спорить не стал, потому что тут же вспало ему на ум устроить вечером пирушку в опустелом домике Марьи Гавриловны, где пристал он с кумом Иваном Григорьичем да с удельным головой... «Ладно, хорошо, – сказал он сестре, – только соснем после обеда, тотчас за дело примемся. У тебя пойдет собор, а у нас содом. Ужину сготовь хорошую, чаю, рому, закуску подай, чтоб все было в порядке, как следует. Да посуды побольше – неравно бить зачнем!»

Кончилась трапеза, чинно пошли из келарни. Едва показалась на крыльце мать Манефа, пришлые богомольцы стали ей кланяться, и далеко разносились сотни голосов, благодаривших гостеприимную игуменью и желавших ей со всей обителью доброго здравия и вечного спасения. Остановившись на верхней ступени, едва наклоняла голову величая Манефа и приказала конюху Дементию поднести мужичкам «посошок»<sup>[416]</sup> в путь-дорогу, а мать Назарету послала на луг за околицей оделять баб, девок и ребятишек пряниками, орехами и другими сладостями. И толпа, как волна, с шумом и говором хлынула со двора обители... Вскоре по всем сторонам вокруг скита раздались громкие песни и, постепенно стихая, замерли в отдаленье: то прихожие христороубцы расходились по деревням с богомолья.

\* \* \*

Через час после обеда собор начался. Среди келарни ставлен был большой стол, крытый красным кумачом. На нем положили служебное евангелие в окладе, с одной стороны его на покрытом пеленою блюде большой серебряный крест, с другой – кормчую книгу. Десятка полтора других книг в старинных, почерневших от времени переплетах положены были по разным местам стола.

Манефа на этот раз чухломскому дворянину указала на первое место. И старец Иосиф чуть не задрожал от радости: никогда и во сне не грезилося ему столь великого почета. Справа от него поместились Василий

Борисыч и старцы, слева Манефа и другие игумены. Соборные и рядовые старицы разных обителей стали у лавок вдоль стен.

Справили семипоклонный начál, старец Иосиф замолитвовал, мать Манефа поаминила...<sup>[417]</sup> Все по своим местам сели.

Начал Василий Борисыч. Встал, перекрестился, на все стороны поклонился и начал читать нараспев послание на Керженец от московского общества старообрядцев:

– «Преподобным отцам и пречестным матерям, подвигом добрым вечного ради спасения подвизающимся, сущим во святых обителях Керженских и Чернораменских, иде же православие сияет, яко светило.

Во-первых, пожелав вам душевного спасения, вкупе же и телесного здравия, а во иноческих трудах благопоспешения, в скорбях же утешения и достижения преподобных отец небесного лика, посылаем мы от великих духовных лиц, господина митрополита кир Кирилла и от наместника святыя митрополии Белокриницкия кир Онуфрия, епископа браиловского, мир и Божие благословение...»

– Не приемлем! – в заднем конце стола громко заговорили кривая Измарагда, игуменья обители Глафириных, и дородная мать Евтропия из обители Игнатьевых. К ним еще несколько стариц пристало. Иные стали даже отплевываться.

– Прекрати, – шепнула Манефа чухломскому дворянину.

Иосиф ударил в кандию.

– Чего загалдели? – крикнул он на всю келарню. – На базар, что ли, сошлись?.. Слушай до конца!.. Нишкни!.. Шутовки этикие, прости Господи!..

– Перестань, отче, перестань! – дергая его за рукав, с досадой шептала Манефа. – Можно разве на соборе такие слова говорить?

Василий Борисыч продолжал:

– «...А от нас грешных и грубых земное поклонение. Ведомо вам, что в мимошедшем седьмь тысяч триста пятьдесят седьмом году, ианнуария в третий день, на память святого пророка Малахии, господин митрополит всех древлеправославных христиан по долгу своего пастырства, помощь желая сотворить всем в Российской державе пребывающим древлеправославным христианам, столь изнемогшим в проявлении духовных чинов, по совету всего освященного собора, рукоположил во епископа на Симбирскую епархию господина Софрония, и для общей пользы смотрительно препоручил ему на время правление и прочих мест в России, на что и снабдил его своею святительскою грамотою. И в той грамоте прописано епископу Софронию, как скоро услышит он в пределах

России благодатию Божиею еще от митрополии посланного другого епископа, абие положить себе запрещение от тех мест епархии, какие другому епископу определены будут... Но грех ради наших оный Софроний отрыгнул от сокровища сердца своего не точию сопротивление и презрение данному им при поставлении обещанию во всем повиноватися митрополиту, но даже клеветы и напрасные оболгания несвойственные епископскому сану износить не усрамися. К тому же, быв в высшем духовном чину, не токмо не устыдился ради своея корысти вступати в торги, но и разными бесчестными и презрительными занятиями собирал себе тленное богатство, даже освященные им церковные вещи, как-то: антиминсы, одиконы и прочие продавал. Тогда верховный наш архипастырь господин митрополит Кирилл, видя такового открывающегося святей церкви врага, послал ему на сорока шести листах обличение неправильных и незаконных его действий, моля и увещая не творить в церкви раздоров и повелительно призывая его в митрополию на личный суд. Но от Софрония не бе ни гласу, ни послушания, и тогда господин митрополит, тщетно и долготерпеливо ожидая к себе Софрониева прибытия, прислал на него конечное решение по девятнадцатому правилу Карфагенского собора и в своей святительской грамоте сице написал: «Аще же преслушаешь сего предписания и будешь кривить пронырством своим по твоему обычаю, и сие наше приказание преобидишь, то отселе сею грамотою нашею отрешаем тя и соборне извергаем из архиерейского сана и всякого священнодействия лишаем и оставляем простым и бездейственным иноком Софронием».<sup>[418]</sup> Тогда ради церковного устройства, по прошению древлеправославных христиан в царствующем граде Москве и по иным градам и весям Российския державы пребывающих, господин митрополит Кирилл, по совету всего освященного собора, рукоположил во архиепископы богоспасаемого града Владимира и всея России кир Антония, и сему Антонию архиепископу благословил поставити себе в помощь еще двух епископов, а по надобности и более, донося о каждом поставлении митрополиту. Возвещая вам, преподобные отцы и пречестные матери, о таком Божием произволении, велегласно в радости и Божественном веселии глаголем: «Явися благодать Божия спасительная всем человеком!...» – и с тем вместе просим, молим и братолюбно советуем прияти преосвященного архиепископа кир Антония и ему во всех духовных делах повиноватися. Прекращая же сие писание, молим Верховного пастыреначальника, да подаст владыке нашему Антонию силу, крепость и разумение во еже право правити слово божественныя истины. Аще же между вас есть некие сумнящиеся и яко жидове глаголющие: «От Назарета

может ли что добро быти?» – таковые ныне да восчувствуют Божие промышление и да воскликнут с нами едиными усты и единым сердцем: «Кто Бог велик, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса. Бог наш на небеси и на земли вся елика восхоте сотвори!» А если пожелает кто поподробну излюбопытствовать, того ради посылаем подателя сего послания Василия Борисыча, мужа учительна, разумна, знающа силу божественных писаний и самолично зревшего доброе устройство заграничныя святыя митрополии и все чины и службы в ней соблюдаемые. Аще восхощете о чем подлинно знати, той наш посланный вся по ряду уста ко устах вам глаголет».

Кончил Василий Борисыч, встал с места и с поклоном вручил рогожское послание председавшему старцу Иосифу, а тот, не вставая с места, подал его матери Манефе. Тихий говор пошел по келарне.

– Мы не согласны, – возвысила голос кривая мать Измарагда. – Не подобает православным христианам австрийского благословения принимати, ни службы их, ни крещения, ни даже молиться с ними, ниже в дому их пребывати... То – часть антихристов полка.

Измарагдину речь поддержали несогласные старицы. И было таких довольное число.

– А покажите, матушка, от писания, – с важностью обратился к Измарагде Василий Борисыч, – в чем Богом устроенная иерархия, юже вы укорительно нарицаете «австрийскою», неправильна.

– Чего тут доказывать?.. – с запальчивостью вскрикнула Измарагда. – Первый-от ваш архиерей из греков?.. Значит, от смущенныя никонианския церкви, обливанец?..

– Несправедливо говорите, матушка, – сказал Василий Борисыч. – Хоть греки и во многом от правыя веры отступили, но истинное крещение в три погружения сохранили, и крещение их несть еретическое; церковию по соборным и святоотеческим правилам приято быть может.

– Обливанцы они! Обливанцы! Все едино что хохлы аль белорусцы!.. – в истошный голос кричала мать Измарагда. – А святейший Филарет патриарх повелел белорусцев совершенно крестити...

– Обливанцы! Обливанцы! – кричала Евтропия обители Игнатьевых, Митродора из Напольной обители, Иринарха, игуменья скита Ворошиловского, мать Нонна, игуменья скита Гордеевского.

– Много есть тому свидетелей, что речи ваши неправильны, – старался перекрычать их Василий Борисыч. – Многие из наших христиан древлего благочестия нарочито многотрудный путь в греки и во Египет предпринимали и во святем граде Иерусалиме были и повсюду видели у греков истинное трехпогружательное крещение. Нарочито и во град Енос

ездили, иде же приятый митрополит Амвросий рождение имел, и тамо младенцев крестят совершенно, в три погружения.

– Сами, государь мой, о том письма получали! – закричала мать Евтропия. – Из зарубежных христиан и у нас знакомцы есть. За Дунаем-то не больно приняли вашего Абросима: «Не хотим, дескать, обливанщины, не оскверним души наши!..»

– Это одна клевета и неразумие! – возразил Василий Борисыч. – По должном испытании Задунайские приняли возрожденную иерархию, смирились. И у них теперь поставленный господином митрополитом архиепископ Аркадий, что прежде был настоятелем в Лаврентьевском монастыре в Ветковских пределах.

– А коли ты посланником прислан, так басен-то не плети!.. – резко сказала Василию Борисычу мать Нонна, игуменья гордеевская, кидая на него гневные взоры. – Не малым ребятам сказки рассказываешь!.. Послуха поставь, очевидца, да святым писанием слова его укрепи!.. Вот что!..

– Я вам по́слух, я вам очевидец!.. – степенно проговорил Василий Борисыч. – Богу споспешествующу обтек аз многогрешный греческие области, в Цареграде был, во святем граде Иерусалиме Живописному Гробу поклонялся и повсюду самолично видел, что у греков трехпогружательное крещение всеобдержно и нет между ними латинского обливанья. Свидетель мне Бог.

– Лгет!<sup>[419]</sup> – вскричала Измарагда, за ней Митродора, Нонна и другие старицы.

И такой шум поднялся на соборе, что мать Манефа шепнула Иосифу:

– Прекрати бесчиние!.. Да помягче смотри, укорительными словами не обзывай.

Чухломской дворянин ударил в кандию и во всю мочь крикнул:

– Молчать!..

– Сбесился, что ли, батька? – шепотом строго молвила ему Манефа. – Я ль тебе не говорила?

– А как же, по-твоему, потомку светлых боярских родов со смердами говорить! – отвечал родословный старец.

– Ох, уж ты, боярин!.. На грех посадила я тебя на первое место, – молвила Манефа и подала знак, что хочет сама говорить.

Все смолкли. Она начала:

– Что в греках крещение непогрешимо, тому много свидетельств в греческих книгах имеется, и не один Василий Борисыч, много тому самовидцев. И мы тому верим несумненно... Но не о том предлежит нам соборовать... При великом оскудении священного чина, когда все мы

душевным голодом были томимы, московские и иных городов христиане великими трудами и премногим иждивением возрастили мало что не на двести лет увядший цвет благоучрежденной иерархии... Поначалу неуместимо было слово о таком событии, но по долгом рассуждении и по многих изысканиях в книгах святоотеческих, некие от здешних обителей удостоверились во истине явившейся зарубежной митрополии с духовною радостию прияли рукоположенного во епископы Софрония и поставленных от него пресвитеров. Но по мале времени тот Софроний явился злохудожен и отрыгнул мерзости небоязненного пред Божиим судом своего сердца. Стяжатель оказался и таковых же стяжателей в попы наставил, как и в наших местах известного всем вам Михайлу Корягу... Тогда смутилось сердце наше и отчуждились мы от Софрония и от попов его. Теперь же на него и судом митрополита осуждение со извержением их архиерейского чина последовало, на место же его новый епископ поставлен. И теперь вам должно по святым правилам осмотрительно обсудить и соборно положить, прияти или не прияти нового епископа... Как кто присоветует?

Помолчали немного. Мать Полихрония, Малиновского скита игуменья, первая разрешила молчание.

– А кто таков тот нарицаемый архиепископ Антоний? – спросила она у Василия Борисыча. – Поведай нам о жизни его с самого рождения.

– Рождение имел от старообрядцев, – отвечал Василий Борисыч, – и крещение имел правильное.

– Не одни правочерные старообрядцами зовутся, – сказала на то мать Полихрония. – Есть старообрядцы-покрещеванцы, священства не приемлющие, есть старообрядцы от великороссийской церкви таинства приемлющие, каковы спасова согласия, есть и иные.

– Бывал прежде в Федосеевском согласии, – нехотя ответил Василий Борисыч.

– И казначеем на Преображенском кладбище бывал? – спросила Полихрония.

– Так точно, – потупя глаза, сказал Василий Борисыч.

– А давно ль из беспоповской ереси в ограду правая церковь вошел?.. Задолго ль до принятия епископского чина присоединился?.. – спросила Полихрония.

Смутила она Василья Борисыча. «Ох, искушение!» – шептал он и, собравшись с духом, сказал:

– Неза́долго.

– Пишут нам, только за́ год, – проговорила Полихрония. – Вот у меня о том памятка.

И, вынув записку, стала читать:

– «Февруария десятого, семь тысяч триста шестидесятого года, на память святого священномученика Харалампия, Антоний, инок из беспоповцев, вновь законным чином пострижен бысть в совершенного инок. Октября первого семь тысяч триста шестьдесят первого года, на праздник Покрова пресвятыя Богородицы, митрополитом Кириллом поставлен во диаконы. Декабря шестого того же года, на память иже во святых отца нашего Николы мир Ликийского чудотворца, тем же митрополитом Кириллом произведен во священники. Третьего февруария того же года, на память святых и праведных Симеона богоприимца и Анны пророчицы, тем же митрополитом Кириллом произведен во архиепископа владимирского и всея России».

– Верна ль моя памятка, Василь Борисыч? – спросила Полихрония.

– Все так точно, – ответил Василий Борисыч.

– А что на этот счет гласят правила апостольские, и первого собора, и Лаодикийского, и седьмого вселенского собора? – спросила Полихрония.

Василий Борисыч только под нос молвил себе: «Ох, искушение!»

– По тем правилам, – не дожидаясь ответа, продолжала Полихрония, – от язычников, рекше и от зловерных, недавно пришедшего в скором времени несть праведно производить во епископы, да не возгордевся в сеть впадет диаволу... А сей Антоний без единыя седмицы токмо год пребывал во благочестии... Притом же по тем правилам во епископы такие люди поставляемы быть должны, которые с давнего времени испытаны в слове, вере и в житии, сообразном правому слову. Так ли?

– Так точно, – должен был признаться Василий Борисыч.

– Теперь скажи нам, правильно ли было поставление Антония? – спросила Полихрония, окинув торжественным взором собрание. – Достоит ли прияти его епископом?

Озадаченный Василий Борисыч не вдруг ответил. «Ох, искушение!» – говорил он про себя, пощипывая бородку. Однако нашелся.

– Зачем же ты, матушка, не все апостольско-то правило вычитала? – тихо и скромно он молвил. – Тебе бы уж все прочитать... Там хотя и сказано, что не подобает неиспытанному в вере учителем других быть, однако ж прибавлено: «Разве токмо по благодати Божией сие устроится...» А благодать, матушка, по сто двадцать пятому правилу Карфагенского, не токмо подает знание, что подобает творить, но и любовь в человека вдыхает да возможет исполнить то, что познает. Так и господин митрополит... Он при своем поставлении получил Божественную благодать, а же всегда немощная исцеляющи и недостаточная исполняющи,

и по сей благодати мог назначить Антония архиепископом, мог по любви и исполнить то, что познал, сиречь возвести познанного в чин епископский...

Высказав такое хитросплетение, которого ни сам и никто из бывших в келарне хорошенько не поняли, и видя замолкшую совопросницу, Василий Борисыч победным взором окинул собрание. Матери друг с дружкой шептались.

Но Полихрония, немного помедлив, вынула из кармана другую записочку и сказала:

– А вот мне другую прописочку насчет этих делов зарубежные благодетели прислали. Что на нее скажешь?.. Когда поставили Антония, в то самое время купец один из Одессы привез в Белу Криницу мещанина Семена Антипыча Говядина, в иночестве отец Спиридоний. И на шестой день по поставлении Антония митрополит Кирилл произвел того Спиридония во диаконы, потом через день во пресвиторы, в наутре семнадцатого февраля, во вторник недели о блудном сыне, на память святого великомученика Феодора Тирона, совершил его епископом града Новозыбкова, таково поспешно произведя через все священные степени. А через шесть токмо дней по поставлении от всякого священнодействия запретил, понеже при вступлении во священный сан тот Спиридоний утаил, что был в Малиноостровском монастыре<sup>[420]</sup> иноком у единоверцев и тамо, отрекшись древлего благочестия, волею давал никонианам подписку в отступлении от правоверия. И за то по суду низложен и, яко недостойный, всякого священнодействия лишен... Правду ль я прочитала, Василий Борисыч?..

– Ну так что же? Ошибка была, больше ничего, – сильно смутившись, ответил московский посланник.

– Благодать не ошибается, Василий Борисыч, – сказала на то Полихрония. – А если тут ошибка была, так не было ли ошибки и за шесть дней до того, когда поставляли Антония?

Искусно после того поворотил Василий Борисыч рассуждения матерей на то, еретики ли беспоповцы, или токмо в душепагубном мудровании пребывают... Пошел спор по всей келарне. Забыли про Антония, забыли и про московское послание. Больше часа проспорили, во всех книгах справлялись, книг с десятков еще из кладовой притащили, но никак не могли решить, еретики ли нет беспоповцы. А Василий Борисыч сидит себе да помалкивает и чуть-чуть ухмыляется, сам про себя думая: «Вот какую косточку бросил я им».

Охрипли матери, которы были позадорнее, устали все до единой. Во время шумного, горячего спора келейниц Манефа воспретила Иосифу их



унимать. Знала, каковы бывают споры скитские, знала, что надо дать время дóсыта накричаться соборующим, и, когда утомятся, тогда только приниматься за настоящее дело.

Смолкли крикливые споры. Изредка, ровно остаток пронесшейся бури, забурчит иная старица на несогласную с нею соседку. Тогда Манефа приказала чухломскому дворянину ударить в кандию. Когда смолкли все, сказала она:

– Подобаает нам, отцы, матери, общим советом решить, принять или не принимать священников, коих поставит новый архиепископ. Изверженного ныне Софрония попов в неких обителях принимали, во иные же не прияли. На чем же теперь утвердимся? Немало думала я о таком великом деле, немало и с матерями советовалась. Належащая нужда утолити душевный глад и конечное оскудение бегствующего священства указуют нам прияти священство, тем архиепископом поставленное, да не впадем в душепагубное беспоповство, сомнения же, многих обуревающие, насчет правильности новоявленной иерархии и насчет поспешного поставления архиепископа владимирского опасения возбуждают, да не погубим поспешностию души своя. Так ли говорю, отцы, матери?

– Так точно, так точно!.. Истинны слова твои, матушка!.. – закричали все бывшие в келарне, кроме одного Василья Борисыча. С досады теребил он бородку и говорил про себя: «Ох, искушение!»

– И потому вот каков совет мой, отцы, матери, – продолжала Манефа. – Обождем некое время... Посмотрим, каково новопоставленный архиепископ поведет себя, испытуем подробно и насчет правильности самого начала зарубежной митрополии, сами пошлем верных людей в греки, чтоб совершенно испытать, каков чин у них соблюдается при крещении младенцев. И тогда, ежели все окажется в пользу того, что нам московские христиане с любовью предлагают, примем и мы поставленных владимирским архиепископом попов. Если же узнаем достоверно, что источник зарубежной митрополии нечист или что тот архиепископ недостойн принятого им чина, тогда станем слезно молиться милостивому Спасу: сам да спасает нас, сам да научит, какими путями спасти наши души... А до того времени общения с московскими христианами не разрывать и находиться с ними по-прежнему в любви и согласии, также и прочих городов с нашими христианами, которые примут Антония, пребывать в единении... Вот мои мысли, отцы, матери... Что скажете, какое положите решение?

Все в один голос согласились с Манефой, и все славили мудрое ее решение... Василий Борисыч недоволен остался... И то было ему обидно,

что посольство не удалось, и то, что не поверили ему на слово о крещении в греках.

– Другое желаю еще предложить вам, отцы, матери, – сказала Манефа. – Великие беды угрожают нашему обстоянию. Грех ради наших презельная буря хочет погубить жительство наше и всех нас распудить, яко овец, пастыря неимущих. Получила я письма от благодетелей из Питера, извещают: начальство-де хочет все наши скиты разорить... И тому делу не миновать. И быть разорению вскоре, в нынешнем же году.

Оханья и глубокие воздыханья раздались по келарне. Иные матери зарыдали, две либо три причитать зачали.

– И к нам о том же пишут, – сказала Маргарита оленевская.

– И мы имеем горестное известие! – воскликнула мать Юдифа улангерская.

– И нам известно налегающее горе!.. И мы письма получили!.. И мы слышали!.. – заговорили разных скитов игуменьи. Одна Августа шарпанская молчала, ровно дело до нее не касалось.

– От самых достоверных людей наша казначея, матушка Таифа, узнала, что у нас такая же выгонка будет, как на Иргизе была, – продолжала Манефа. – Кои приписаны к скитам по ревизии, те останутся, а кои не приписаны, тех по своим местам разошлют, а из тех мест им по самую кончину не будет ни выхода, ни выезду. А кельи и что есть в них какого имущества позволят нам с собой перевезть... А часовни и моленные нарушат...

Новые вздохи, новые сетованья... Плач и рыданья слышнее...

– И вот вздумала я предложить вам, отцы, матери, на соборное обсуждение: как поступить при таких обстоятельствах?

– Матушка Манефа!.. Матушка Маргарита!.. Матушка Юдифа!.. Вы люди сильные, могучие, у вас в Питере великие благодетели, а мы бедные, убогие, никто нас не знает, и мы никого не знаем, – завопила крохотная старушка мать Агния, игуменья небогатого скита Крутовражского. – Отпишите скорей ко своим благодетелям. Они все высшее начальство знают, в дружбе с ним, в совете... Отпишите им, матушки, пособили бы нам, умилиствовали бы начальство-то.

О том же молили Прудовские, Ворошиловские, Федосеевские и Быстренские, о том же молили игуменьи и старицы бедных обителей Каменного Вражка: Напольные, Заречные, Россохины, Салоникинины. И, встав с мест, припадали к ногам Манефы, Маргариты и Юдифы.

– Полноте, полноте, матери!.. Полноте, перестаньте!.. Вам ли нам кланяться?.. Мы с вами во едином чину!.. – громким голосом сказала

Манефа. – Неужто думаете, что мы об этом прежде не подумали?.. Все сделано, матери, обо всем было писано, и на все наши письма один ответ, что никак обителей наших отстоять невозможно. Строгий-престрогий вышел указ, никакие вельможи переделать его не могут... Если б хоть малая какая надежда была, стали бы мы разве беспокоить вас, стали бы разве вас в слезы вводить? Кончается, отцы, матери, житие наше пространное, предлежит путь тесный и всяких лишений исполненный...

– Матушка Евтропия, у вас грамота царицы Екатерины в обители находится, что дана была старцу Игнатию. По той жалованной царской грамоте всем, дескать, нашим скитам довеку стоять нерушимо, – молвила Быстренского скита игуменья, дебелая, пухлая старицы с багровым лицом и с черными усиками, мать Харитина. – Представьте ее по начальству, сотворите нас беспечальны.

– Нет никакой у нас грамоты, – горько вздохнула Евтропия. – Если и была, видно, в пожар погорела.

– У вас, матушка, в Анфисиной обители, сказывают, есть нерушимая грамота от лет царя Алексея Михайловича, – сказала Ворошиловского скита игуменья, длинная как коломенская верста, мать Христодула, матери Маргарите оленевской. – Ваша-то первая игуменья из роду Колычовых была, сродница по плоти святителю Филиппу митрополиту. Ей великий государь даровал, слышь, нерушимую грамоту.

– Нет у нас грамоты, – ответила Маргарита. – После матушки Анфисы Колычовой только и осталось, что иконы храмовые да рукописные святцы, а рука в них святителя Филиппа.

– Матушка Таисея, – обратилась игуменья обители Заречных на Каменном Вражке, толстая, подслеповатая мать Феоктиста, к игуменье обители Бояркиных, – у вас после княжны Болховской не осталось ли каких записей?

– Если и были, все до нас пригорели, – ответила мать Таисея. – Да едва ли и были, княжна-то сама под опалой была.

– Господи! Где ж искать нам помощи? – вскрикнула Быстренская и залилась горькими слезами.

– Чему быть, тому не миновать, – молвила Манефа. – Не то что наши лесные обители, крепкие города рассыпаются, как песок морской, если есть на то воля Господа... А тут видима святая воля его, потому что сердце цареве в руке Божией... Значит, Господу угодно пременить житие наше, если царь решил нашим скитам больше не быть... Плакаться на волю Господню не след... Великий грех!.. И что можем сделать в нашем деле?.. Когда плотину прорвет, перстом ее не заткнешь... И потому, отцы, матери,

не время нам плакаться; надо подумать, как лучше встретить беду неизбежную, как лучше устроиться на новом нашем положении.

– Ох, матушка! В таком горе будь семи пядей во лбу, ничего полезного не выдумаешь... Погибать так уж, видно, погибать, – зарыдала мать Есфирь, игуменья Напольной обители.

– Ложись да помирай, вот и все!.. – со слезами подтвердила игуменья бедного скита Кошелевского, приземистая, тучная, вечно с подвязанными зубами, мать Сосипатра.

– Когда большим кораблям невогноту супротив водного стремления плиты, куда уж нам, мелким лодочкам?.. Тони, да и все тут... – промолвила мать Улия, игуменья бедной обители Салоникеиных.

– И откуда на нас такое напастование? – задыхаясь на каждом слове, заговорила тучная мать Фелицата оленевская. – Что мы кому сделали?.. Чем помешали кому?.. Жили, кажись, потихоньку, никого не обидели... Что за строгости такие пошли?

– Клеветы какие-нибудь! – заметила Маргарита оленевская. – Обнес кто-нибудь по злобе пред высшим начальством. Матушка Феозва, ты в законах сильна, научи уму-разуму, нельзя ли просьбицу какую подать, чтоб избыть нам того разоренья?

– Нет, матушка Маргарита, нет, – отвечала опытная во всяких делах, в самый сенат писавшая просьбы Феозва. – Не такое дело, никакими просьбами тут не пособишь. Царско уложение что Божье веленье – супротив его не пойдешь... Терпеть надо, матушка, терпеть! На то власть Создателя! Господь сам терпел и нам повелел...

– От верных людей я слышала, что насылка прежде всего будет в Оленево, – начала Манефа. – Сборщиц чьих-то оленевских на Дону взяли, сборные книги забрали у них... В тех книгах переписаны все Оленевские обители... А начальству ведомо, что Оленев много лет после воспрещенья ставить новы обители весь почти погорел. И стало подозрительно, нет ли из прописанных в тех книжках обителей против закона построенных... Оттого и пойдут спервоначалу розыски в Оленеве, и которы обители явятся ставлены после воспрещенья, те тотчас нарушат, а после того по всему Керженцу и по всей Черной Рамени станут разыскивать, нет ли где новостроенных обителей... И если найдут хоть одну новую обитель, тогда всем объявят решение, каково было в Иргизе... А еще, матушка Августа, – прибавила Манефа, обращаясь к шарпанской игуменье, – верные известия получила я из Питера, что собираются у тебя Казанску владычицу отобрать...

– Это они ради того, что, видно, узнали о чудеси, бывшем от той

иконы иноку Арсению, – чуть слышно, слабым голосом проговорила сидевшая возле Манефы и молчавшая дотоле дряхлая мать Клеопатра Ера́хтурка. – Проведали нечестивые, что глас от той иконы бысть: «Дотоле древнее благочестие будет сиять на Керженце, яко светило, пока сия икона не будет внесена в смущенную никонианскую церковь...» Не поверю никому, чтоб наши скиты разорить могли. А возьмут из Шарпана владычицу, тогда, по слову писания, жди разоренья... Как же не сбыться чудному тому провещению?

– Тебе бы, матушка Августа, до поры до времени владычицу-то куда-нибудь в надежное место отправить, – молвила Фелицата оленевская. – В Москву бы, что ли, свезла... Дело общее, до всех доводится... Ради всеобщего спокойя пошли-ка ты ее подальше куда, икону-то... Возьмут в великороссийскую... всем беда, всем разоренье.

– Вечор от Таифушки письмо получила я, – сказала Манефа. – Пишет, что в Москве и Гусевы, и Мартыновы, и другие значительные наши христиане с радостью готовы принять на опасное время сие многоценное сокровище. И мой бы совет тебе, матушка Августа, отвезти владычицу поскорее в Москву...

Не успела Манефа кончить, как все старцы, игуменья и старицы приступили к Августе и в один голос стали умолять ее увезти икону в Москву как можно скорее.

– Ни единый час не изнесу ее из моленной, – тихо, но с твердой решимостью сказала мать Августа. – Больше ста семидесяти годов стоит она на одном месте. Ни при старых матерях, ни при мне ее не трогивали, опричь пожарного случая. Не порушу завета первоначальника шарпанского отца Арсения. Он заповедовал не износить иконы из храма ни под каким видом. У нас на то запись руки его...

– Да, ведь дело такое, матушка, – едва переводя дух от волненья, сказала толстая Фелицата. – Слышала, отобрать хотят ее у тебя?

– Слышала, – спокойно ответила Августа. – Давно слышала... И мы тоже имеем благодетелей, и к нам тоже пишут.

– То подумай, мать Августа, – продолжала Фелицата, – чтоб нам от твоего упрямства всем не погибнуть... Не видишь разве, что общим советом всех скитов и обителей соборне приговорили мы вывезти твою владычицы в надежное место. Значит, ты и должна исполнять общую волю.

– Опричь воли Господней, пречистыя его матери и святых отец наших, ничьей воли над собой я не знаю, – с холодным спокойствием ответила Августа и низко склонила голову.

– Да что ж это такое? – одна другой громче заговорили матери. – И

себя губит, и нас всех хочет погубить!.. Не об одном Шарпане глас бысть старцу Арсению, обо всех скитах Керженских... Не сбережешь нерадением такого сокровища, всем нам пропадать!.. Где это слыхано, собору не покоряться?.. Сколько скиты ни стоят, такого непослушанья никогда не бывало!

Ни слова не ответила Августа. Сидит, опустя голову, молчит, как стена.

И что старицы ни говорили ей, осталась непреклонною. Наконец сказала:

– Что вы знаете о чудеси, бывшем от иконы владычицы?.. Какой глас бысть старцу Арсению от богородичной иконы?

– Всем известно, какой! – закричала Фелицата: – «Возьмут икону из Шарпана, поставят в никонианскую церковь, тогда всем нашим скитам конец...»

– То-то и есть, что не так было сказано, – ответила Августа. – На-ка, матушка Фелицата, прочитай, что пишется в сказании. А сказание-то, сама видишь, древнее, руки самого преподобного старца Арсения.

И, подав Фелицате невеликую рукописную тетрадку, показала ей место.

Стала читать Фелицата:

– «И будучи в тонком сне, слыша Арсений глас от тоя святыя иконы: «Гряди за мною ничтоже сумняся и, где аз стану, тамо поставь обитель, и пока сия икона моя будет в той обители, дотолѣ древлеѣе благочестіе процветать в ней будет...»

– Так видишь ли, матушка Фелицата, и все вы, честные отцы и матери, – сказала мать Августа. – Про то, что всем скитам конец настанет, егда нашу святую икону в никонианскую церковь внесут, ни единым словом в подлинном сказании не помянуто, а сказано: «Пока сия икона моя будет в той обители, дотолѣ древлеѣе благочестіе процветать в ней будет...» Где ж тут общее дело нашли вы?.. С чего же взяли, что от нашей иконы зависит судьба всех скитов и обителей?.. Видите словеса... До нас до одних пророчество, бывшее преподобному Арсению, относится, мы одни и повинны соблюдать сокровище наше яко зеницу ока и отнюдь не выносить его из обители. А придет час воли Божией, возьмут владычицу, восплачем, взрыдаем, но воле Божией покоримся безропотно... Сый человеколюбец все ко спасению людей строил ими же знает путями... Не довлеет нам, скудельным сосудам, испытывать неисповедимые судьбы его... Буди святая воля его!..

Все изумились, слушая Августу. Сказание из рук в руки переходило, все читали и все удивлялись, что не так в нем сказано, как молва говорила и

как все матери сколько лет всем рассказывали.

– Как же это так? – пораженная внезапным удивлением, вполголоса ворчала мать Фелицата. Тщетно обращалась она к привезенным из Оленева помощницам. Ни острая памятью мать Фелонида, ни знаменитая по всему Керженцу начетчица мать Севастьяна не могли, как прежде зачастую бывало, выручить задорную, споры любившую игуменью свою... Молча глядели они в старинную тетрадь и, не видя слов пророческих, тихо качали головами и думали про себя, не новое ль чудо содеялось, не действием ли каким сокровенным исчезли из сказанья известные всем словеса.

Все в один голос решили: не износить матери Августе из своего скита чудотворной иконы.

И когда речи о Шарпанской Богородице были покончены, Августа всех бывших на собрание звала на праздник Казанской к ней в Шарпан, чтоб там соборне отпеть перед тою иконой молебный канон о сохранении в безмятежном мире обителей Керженских и Чернораменских. И все согласились, даже мать Фелицата, не любившая строгую подвижную Августу.

После того еще многое время длился собор матерей... Отцы были тут ни при чем, сидели для счета, всякое дело старицы делали.

Встала с места Манефа, стала советовать, чтоб те, кои к ближнему городку по ревизии приписаны, теперь же перевозили туда кельи и строились там по-обительски... Мало было согласных на то, все надеялись на Божию милость, авось-де пронесется мимо грозная туча, авось-де не доживем до «керженской выгонки».

Тут девяностолетняя мать Клеопатра Ера́хтурка, сидя на месте, слабым старческим голосом стала увещать матерей все претерпеть за правую веру, но места святого волей своей не покинуть.

– Все претерпите, – чуть слышно она говорила. – Все примите в веселье и радости: скорби и нужды, жажду и глад, раны и хлад... Божиим судьбам смиренно покоритесь... но волей своей с места святого шагу ступить не можете!.. И егда объявят нам царский указ, будьте безмолвны, но вон из скитов не идите... Ни муки земные, ни страх лютой смерти да не возмогут отлучить вас от места святого... Вспомните, сколь великий блистающий полк преподобных здесь пребывал в твердом храненье древних уставов!.. Вспомните, сколь много молитв с сих мест вознеслось к престолу царя небесного!.. Теми молитвами место святится... Кто дерзнет малодушия ради покинуть его?

– Что же делать нам, матушка?.. Что же делать при таком обстоянье? – говорили ей матери.

Древнюю старицу те словеса не смутили. Вспыхнули жизнью потухшие очи, бледным румянцем покрылись впалые щеки, стрелой выпрямился согбенный под бременем старости стан Клеопатры, встала она и, высоко подняв костлявую руку с двуперстным крестом, дрожавшим голосом покрыла все голоса:

– Вспомнать бы вам, отцы, матери, вспомнать бы вам лета древние и старых преподобных отец!.. Почитать бы вам письма Аввакума священномученика, иже с самим волком Никоном мужески брань сотворил... Вельми похваляет он самовольное сожжение за Христа и за древнее благочестие... Сам сый в Пустозерске сожженный, благословляет он великим благословением себя и обители свои сожигать, да не будем яты врагом нечестивым!.. Тако глаголет: «Блажен извод сей о Господе!.. Самовольнии мученицы Христови!..»

– Как же это, матушка? – там и сям слышались тревожные голоса матерей. Устрашила их речь Клеопатры Ера́хтурки.

– Видя налегающую силу злого нечестия, – продолжала древняя старица, – по многим местам христиане огню себя предавали, из пламени со ангелы в небеса к самому Христу восходили... Недалеко от нас, от Улангера, всем ведомо достопоклоняемое место, иде же преподобный Варлаам со ученики огненной смерти сам себя предал... И его, как нас теперь, хотели места святого лишить... Не восхотел блаженный покориться, не восхотел изыти из келии, огнем венчался... Поревнуйте, отцы, матери, доблему сему Варлааму!.. Паче прежнего освятите места сии пеплом своим!.. Внидите огненным путем в райские светлицы!.. Сожегши грешные тела, водворите праведные души своя во обителях Бога вышнего, от начала веков любящим его уготованных!..

Жесто́ко было слово Клеопатры Ерахтурки. Согласных не нашлось. Кому охота заживо жариться?.. Но никто не смел прекословить: очень уж велика была ревность древней старицы. Только тихий шепот, чуть слышный ропот волной по собору промчался.

– Не заградит маловерие уста моя!.. Пою Богу, дондеже есмь!.. – громким голосом вскричала Клеопатра и огненным взором обвела собрание.

И все меж собой тревожно переглянулись, и у всех на устах замерли крылатые речи.

– Чего страшитесь? – продолжала Клеопатра. – О несмысленные!.. Обуяли вас прелести многомятежного мира!.. Огня ли временного страшитесь, о вечном пламени не помышляя?.. Не убойтесь!.. Земную муку претерпевши, световидных венцов в небесах удостоитесь... Дерзайте во



славу Божию, не устрашайтесь!.. Временный огонь токмо греховное тело разрушает, душу же от вечного пламени спасает!.. Телесную муку не долго терпеть!.. Миг един, и ангелы души ваши к самому Христу вознесут... Дерзайте убо, правовернии!.. Поревнуйте древним отцам-страстотерпцам!.. Тем посрамите врага видимого, тем победите и врага невидимого, иже есть человекоубийца искони!..

Никто ни слова, ровно все умерли. Нет отказа, нет и согласия.

И смолкла Клеопатра Ера́хтурка, тихо опустила на место и, накрыв глаза креповой наметкой, низко склонила древнюю голову.

Стало темнеть, когда разошелся собор. Ничем он не кончился, ни по единой статье ничего не решили.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

А за Каменным Вражком, средь укромных пролесков, на зеленом лугу, той порой красны девицы свой собор учинили. Вздумалось им в вечерней прохладе походить, погулять, позабавляться. Не стоя белых лебедей по синему морю плывет, не стадо величавых пав по чисту полю выступает: чинно, степенно, пара за парой, идет вереница красавиц. Фленушка об руку с Анной Сергеевной всех впереди. Следом за ней, рядом с Парашей, идет Смолокурова Дуня. Всех богаче одеты они: в шелковых косоклинных саянах,<sup>[421]</sup> в белоснежных батистовых сорочках, в кисейных рукавах с кружевами, на шее жемчуга, алмазные серьги в ушах. Но белей и свежей кисеи и батиста миловидное личико Дуни, самокатного жемчуга краше перловые зубы, камней самоцветных светлее синие очи... За ними идут оленевские и улангерские гости, Марья головщица, богоданная дочка Чапуриных Аграфена Петровна и не знавшая еще о скорой поездке в Казань пылкая, ревнивая Устинья Московка... За ними Аксиныя Захаровна с женой головы и с довольной удавшимся на славу обедом славной заволжской поварихой Дарьей Никитишной. Мужчин никого. Скитских матерей тоже с девицами нет.

Не только игры либо песен, громкого смеха не слышно. Затеиница всяких проказ, шаловливая Фленушка тихо, медленно шла, глаза опустив, чуть не схимницей смотрит она. Нельзя разгуляться, нельзя распотешиться: Аксиныя Захаровна тут и жена головы. Но больше всего резвым затеям ее Аграфена Петровна мешала. Всегда живая, веселая, довольная, ничем невозмутимая, всюду вносила она тихую радость и чинный порядок, малейшее нарушение пристойности было на глазах ее невозможно. Никто б не вынес кроткого взгляда ее и немого укора.

Разостлали платки по росистой лужайке, сели в кружок. Марьюшка с Устиньей Московкой подали Фленушке большие узлы, и стала она подруг оделять городецкими пряниками, московскими леденцами, финиками, орехами, изюмом, винными ягодами. Появились кузовки с сочной благовонной земляникой и темно-сизой черникой. Весело, как весенние птички, щебечут девицы, сидя за сладостями, и под призором Аксиныи Захаровны да жены Михайла Васильича коротают тихий вечер в скромной, чинной беседе. Про обновы промеж себя говорят, про вышиванья и другие работы... Нет разговоров затейных.

Темным покровом ночная мгла над землей разостлалась, по закроям

небесного свода зарницы зорят. Переливчатым блеском сверкают частые звезды: горят Стожары,<sup>[422]</sup> широко над севером раскинулся ярко мерцающий Воз,<sup>[423]</sup> белыми прогалинами с края до края небес сияет Моисеева дорога. Пали на землю жемчужные росы, пыль прилегла, с болот холодком потянуло. Только тогда воротились в обитель с пролесья девицы. Невесть как досадно Фленушке было, что ей неудача такая пришла – нельзя разгуляться, нельзя раскуражиться. Молча, брови нахмурив, она возвращалась домой.

Клял судьбу свою Василий Борисыч. Там на лужайке целая дюжина девиц собралась одна другой краше... Там Смолокурова Дуня; урывкой только взглянуть ему удалось на нее, когда за часами в часовне стояла... Сидя в почетном конце за столом, видя сонм матерей перед собою, о пролесье на всполье все думал московский посол: «Туда бы на вольный простор, туда бы к красавицам в круг!.. На их красоту любоваться, от них бы слушать сладкие речи!.. А тут сиди, как гвоздь в стене, тронуться с места не смей, слушай, как черные галицы переливают из пустого в порожнее!..»

Память о женской красоте смутила рогожского посла, оттого и речи на соборе были нескладны. Посмотреть бы московским столпам на надежду свою, поглядеть бы на витию, что всех умел убеждать, всех заставлял с собой соглашаться!.. Кто знает?.. Не будь в Комарове такого съезда девиц светлооких, на Керженце, пожалуй, и признали б духовную власть владыки Антония...

Только что зачал собор расходиться, Василий Борисыч торопко вон из келарни... Хочет бежать по знакомой тропе за Каменный Вражек, но тут на беду наткнулся. Только сравнялся с домиком Марьи Гавриловны, видит – в шелковой красной рубаше сидит у окна развеселый Чапурин.

– Эй! Василий Борисыч! – окликнул его. – Что, накалякался там с матерями?.. Поди, чай, во рту пересмякло... Шагай к нам, мы тебе горло-то смочим...

– Ох, искушение! – молвил под нос себе Василий Борисыч... Нечего делать, надобно на зов идти, не судьба в Петров день на девиц любоваться.

\* \* \*

В горницах Марьи Гавриловны шумно идет пированье. Кипит самовар, по столам и по окнам с пуншем стаканы стоят. Патап Максимыч с

Смолокуровым, удельный голова с кумом Иваном Григорьичем, купцы, что из города в гости к Манефе приехали, пароходчик из Городца частенько усы в тех стаканах помачивают... Так справляют они древнюю, но забытую братчину-петровщину на том самом месте, где скитская обрядность ее вконец загубила, самую память об ней разнесла, как ветер осенний сухую листву разносит...

Был в той беседе и Самоквасов с нареченным приказчиком. Был он в тот день именинник и накануне нарочно посылал работника в город захватить там побольше «холодненького».<sup>[424]</sup>

Белый день идет к вечеру, честной пир идет навеселе. На приволье, в радости, гости прохлаждаются, за стаканами меж собой беседу ведут... Больше всех говорит, каждым словом смешит подгулявший маленький Чапурин. Речи любимые, разговоры забавные про житье-бытье скитское, про дела черниц молодых, белиц удалых, про ихних дружков-полюбовников. Задушевым смехом, веселым хохотом беседа каждый рассказ его покрывает.

Пированье было в полном разгаре, когда стал расходиться собор. Завидел Патап Максимыч московского посланника, зовет его на беседу.

Вошел Василий Борисыч, Богу помолился, беседе поклонился, сел за стол возле самого Патапа Максимыча.

– Ну что? – спросил его Смолокуров. – Что уложили, на чем порешили?

– Да, можно сказать, ничем, – с досадой ответил Василий Борисыч. – Какой это собор?.. Просто содом!.. Толков много, а толку в заводах нет.

– Ха-ха-ха-ха!.. – так и покатился со смеху Патап Максимыч. – О чем же толковали матери келейницы, сухопары сидидомницы?

– Одна врала, другая не разобрала, третья все переврала, вот и весь тут собор, – с пущей досадой промолвил Василий Борисыч.

– Дело твое, значит, не выгорело? – усмехнувшись, спросил его Патап Максимыч.

– Да разве можно с этим народом какое ни на есть дело сделать? – сказал московский посланник. – О чем ни зачни, ни ползет, ни лезет, ни вон нейдет.

– Еще бы! – одобрительно кивнул головой Патап Максимыч. – Захотел у бабья толку. Скорей от козла молока, чем толку от бабы дождешься... Да ты, Васенька, не горюй, не печалься!.. На-ка вот лучше выпей!.. Я так рад, что тебе неудача... Значит, в Москву теперь глаз не кажи...

– Ох, уж не говорите, Патап Максимыч!.. – почесывая затылок, молвил Василий Борисыч. – Хоть живой в гроб ложись, – вот каково мне

приходится.

– Зачем до смерти в гроб ложиться? – сказал Патап Максимыч. – Ты вот что, наплюй на Москву-то, не ездь туда... Чего не видал?.. Оставайся лучше у нас, зачнем поскорей на Горах дела делать... Помнишь, про что говорили?

– Уж, право, не знаю, что и сказать вам, – в досаде, взволнованным голосом молвил Василий Борисыч. – Вот уж впрямь, что ни вон, ни в избу, ни со двора, ни на двор. Поневоле затылок зачешешь.

– Нечего раздумывать, не о чем кручиниться, – весело молвил Чапурин. – Говорил я тебе, желаючи добра, советовал: плюнь на эти пустошные дела, развяжись с архиереями да с келейницами... Какого проку нашел в них?.. С твоим ли разумом, с твоим ли умением валандаться в этих делах?.. Эх, зажили бы мы с тобой!.. Ты еще не знаешь, что на ум мне пришло!..

– Ох, искушенье! – глубоко вздохнул Василий Борисыч.

– Опять заводит свое «искушенье»! – с досадой промолвил Чапурин. – Эк оно у тебя к языку-то крепко прилипло... А ты перво-наперво пей!..

И подал ему стакан пуншу.

– Нет, уж увольте меня, Патап Максимыч, – сказал Василий Борисыч, отодвигая стакан.

– Нет, брат, шалишь! У нас так не водится, – отозвался Чапурин. – Попал в стаю, так лай не лай, а хвостом виляй; попал в хмельную беседу, пей не пей, а вино в горло лей... Слышал?

– Ох, искушенье!! – робко промолвил Василий Борисыч, а сам озирается, нельзя ли куда подобру-поздорову дать стрекача.

– Пей же, говорят!.. Пей, других не задерживай!.. – крикнул Патап Максимыч.

– Да мне от этого стакана с места не подняться, – молящим голосом проговорил московский посол.

– Врешь!.. Это бывает после девятого, – со смехом сказал Патап Максимыч. – Аль не знаешь счету чарам похмельным?.. Знаешь, что ли?

– Нет, не знаю, – ответил Василий Борисыч.

– А еще славят, что всю старину как собаку съел! – воскликнул Чапурин. – Слушай, что деды-прадеды наши говаривали: первую пить – здраву быть, вторую пить – ум веселить, утроить – ум устроить, четвертую пить – неискусну быть, пятую пить – пьяным быть, чара шестая – пойдет мысль иная, седьмую пить – безумну быть, к осьмой приплести – рук не отвести, за девяту приняться – с места не подняться, а выпить чарок с десять – так тут тебя и взбесит.

Дружно все захохотали, и Василий Борисыч волей-неволей опорожнил стакан.

– Послушай-ка, что я скажу тебе, – молвил Патап Максимыч, подсев к нему рядом. – Помнишь, как мы с тобой уговаривались? Сроку месяц еще остается, а теперь тянуть, кажется, нечего? Решай теперь же, да и все тут... Плюнь на попов, на дьяков и на всех твоих архиереев...

– Нельзя, Патап Максимыч, – ответил Василий Борисыч. – Как же, не отдавши отчета, дело я брошу?.. У меня не одна в руках эта порученность, деньги тоже дадены. Как же мне без отчета не сдать? Сами посудите!

– Ин вот что, – подхватил Патап Максимыч. – Завтра ж в Москву отправляйся. Развяжись там скорей с доверителями, да тотчас ворочай оглобли назад... То-то запируем!.. Ты не знаешь еще, что я вздумал!.. Больно уж ты полюбился мне!..

– Так скоро нельзя, – ответил Василий Борисыч. – У меня еще здесь по скитам кой-какие дела не управлены; надо их покончить.

– Сказано: наплюй! – сгоряча крикнул Чапурин, хватив по столу увесистым кулаком. – Какие еще тут дела!.. Вздор один, пустяки!

Смолк Василий Борисыч, а сам про себя подумывает: «Ничего не видя, ровно медведь на дыбах заревел; что ж будет, как про все он узнает?.. Ох, Господи, Господи!.. Возвратихся на страсть, егда ўнзе ми терн, беззаконие познах и греха моего не покрых!..»

– Ну, об этом мы еще с тобой на досуге потолкуем, а теперь нечего пир-беседу мутить... Пей-ка, попей-ка – на дне-то копейка, выпьешь на пять алтын, да и свалишься, ровно мертвый, под тын!.. Эй, други милые, приятели советные: Марко Данилыч, Михайло Васильич, кум, именинник и вся честна беседа! Наливай вина да и пей до дна!.. Здравствуйте, рюмочки, здорово, стаканчики!.. Ну, разом все!.. Вдруг!..

И дружно выпили все по стакану пунша.

Тут выходил наперед, удалым молодцом становился, перед беседою низко поклонился и такие слова сказал Самоквасов:

– Не обессудьте, господа честные, глупой моей речи не осудите, что млад человек неискусен смеет пред вашим лицом говорить.

– Что ж за речь твоя будет? – опершись ладонью на стол и немного набок склонясь, с довольной улыбкой спросил у него Патап Максимыч.

– Так как я сегодня, значит, именинник, так позвольте «холодненьким» вас угостить, – сказал Петр Степаныч.

– Умные речи приятно и слушать, – молвил Чапурин. – Хоть по старому обычаю в чужой монастырь с своим уставом не ходят, а на пир с своим пирогом не вступают, да ради твоих именин можно заповедь ту и

нарушить... Потчуй, именинник, знай только, что этого добра и у нас припасено довольно!

– Эй! – крикнул Петр Степаныч саратовцу. – Тащи кульки, вынимай бутылки, откупоривай!.. Порожните стаканы, честные господа, не во что наливать.

– Ну, видно, нам эту ночь не ночевать, а всю напролет пировать, – сказал Смолокуров, опрастывая свой стакан.

– Что ж? – подхватил Патап Максимыч. – Лишь бы вино со разумом ладило, а то отчего ж не прогулять и до утра?

– Истинно так, – подтвердила беседа, кроме Василья Борисыча.

Когда саратовец разлил «холодненькое», Самоквасов собеседникам каждому порознь поклонился и каждого просил выпить за его здоровье. Хотели было попросту поздравить именинника, Патап Максимыч не допустил.

– Стой! – крикнул он. – Не так! Здравствовать по старине!.. Как деды пивали, как прадеды певали, так и нам пить да петь!.. Чарочку!..

И грянула во святой обители старинная застольная песнь величальная:

Чарочка моя  
Серебряная,  
На золотом блюде  
Поставленная!

Кому чару пить,  
Кому выпивать?

Пить чару —  
Свету ли Петру,  
Выпивать —  
Степановичу!

На здоровье, на здоровье!  
На здоровье, на здоровье!..

Крестились по кельям матери, слыша соромную песню в стенах монастырских. Иные шептали псалом «Живый в помощи вышнего!..».

Именинник выпил стакан свой. Громче прежнего грянула песня:

Еще дай Боже, еще дай Боже!  
Еще дай Боже, еще дай Боже!

Здравствовати,  
Здравствовати!  
Господину, господарю,  
Господину, господарю  
Нашему,  
Нашему!

Дорогому, дорогому,  
Дорогому, дорогому  
Имениннику,  
Имениннику!  
Свет Петру ли, свет Петру ли,  
Свет Петру ли, свет Петру ли

Степановичу,  
Степановичу!

Еще дай Боже, еще дай Боже!  
Еще дай Боже, еще дай Боже!

Многая, многая,  
Многая лета!  
Многая лета!

И, пропев, в пояс кланялись все имениннику, целовали его трижды в уста и, выпив вино, опрокидывали пустые стаканы на макушках. Патап Максимыч свой стакан грянул оземь. За ним вся беседа.

– Эй, кто там! – зычным голосом крикнул Чапурин. – Беги к Манефе за стаканами да молви ей, спасеннице: «Гости, мол, пьют да посуду бьют, а кому-де то не мило, того мы и в рыло!..» Больше бы посуды присылала – рука, мол, у братца расходилась!.. Знай наших, понимай своих!..

Новую посуду принесли, и с добрым запасом ее принесли. Знала Манефа привычки Патапа Максимыча, когда с приятелями отвести он душу весельем захочет.

Снова саратовец заполнил шампанским стаканы. Патапу Максимычу



«Чарочку» беседа запела. Пели и здоровались Марку Данилычу, Михайле Васильичу, Ивану Григорыичу и всем гостям по очереди. И за всякого пили и за всякого посуду били, много вина и на пол лили. И не одной дюжины стаканов у Манефы как не бывало.

Разгоралась заря по́ небу, из-за небесного закроя солнышко стало выглядывать... Патап Максимыч крикнул охмелевшей беседе:

– Шабаш, ребята!.. Допивай последышки!.. Да с песенкой!.. Не с мирской песней, – с обительскою, для того, что пируем в обители.

И громко завел «келейную». И все ему подтянули:

За святыми воротами  
Черничка гуляла,

Ай люли, ай люли!  
Молода́ плясала!

Как сказали той черничке,  
Что поп Матвей идет,

Ай люли, ай люли!  
Что поп Матвей идет!

Черничка так и пляшет,  
Молодая так и скачет.

Ай люли, ай люли!  
Молодая скачет!

Как сказали той черничке:  
Мать игумения идет,

Ай люли, ай люли!  
Мать игумения идет!

Черничка испужалась,  
Молодая оробела.

Ай люли, ай люли!  
Молодая оробела!

Куда ей деваться,  
Куда схорониться?

Ай люли, ай люли!  
Куда схорониться?

Али удавиться,  
Али утопиться?

Ай люли, ай люли!  
Али утопиться?

Красное солнышко высоко над лесом поднялось, когда разошлась подгулявшая беседа, и в домике Марьи Гавриловны послышался богатырский храп Патапа Максимыча, Ивана Григорьича и удельного головы. Трубным гласом разносился он из растворенных окон по обители.

Так почетные гости Манефины справили летнюю братчину, братчину-петровщину...

Беспокойно и тревожно провели ту ночь матери приезжие и матери обительские. То и дело просыпались они от громкого смеха, от веселых криков и заздравных песен подгулявших «благодетелей». Осеняя себя крестным знамением, читали они третий псалом Давида царя: «Господи, что ся умножиша стужающие ми?»

Маргарита оленивская да Юдифа улангерская в одной келье с Манефой ночевали и всю ночь глаз не могли сомкнуть...

– Что это у них за содом такой! – ворчала Маргарита. – Эк заревели, оглашенные!.. Ровно стадо медведей!.. Бога не боятся во святой обители столь бесстыдно безобразничать.

– Чего дивить на них, матушка?.. – отозвалась Юдифа. – Люди богатые, а богатому везде простор да своя воля... Убогому – как велят, богатому – как, дескать, сами изволим.

– Что делать, матушки! – с горьким вздохом сказала Манефа. – Таков уж уродился у меня братец родимый! Что ни вздумал, никто не моги поперечить... Расходится – не подходи!..

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Солнце к полдням подымалось, когда Патап Максимыч с Марком Данилычем, с удельным головой и с кумом Иваном Григорьичем в домике Марьи Гавриловны спали еще непробудным сном... Хорошо справили они в скиту, не по скитскому обычаю, братчину-петровщину.

Наезжие отцы, матери, отстояв часы и отпев молебный канон двенадцати апостолам, <sup>[425]</sup> плотно на дорожку пообедали и потом каждый к своим местам отправились. Остались в Комарове Юдифа улангерская да мать Маргарита оленевская со своими девицами. Хотели до третьего дня погостить у Манефы, да Маргарите того не удалось.

Только что гости долой со двора, из ближнего городка нарочный прискакал. Послан был он Полуехтом Семенычем с присланным по почте письмом для немедленной передачи Манефе. Было письмо из губернского города и было надписано на нем: «По самому нужному делу».

После часов и ранней трапезы Манефа, проводив приезжих гостей, сидела за самоваром с матерями Юдифой и Маргаритой, с Аксиньей Захаровной, с женой головы Ариной Васильевной и с заволжской поварихой Никитишной. Девицы, а с ними и Аграфена Петровна пили чай в горницах Фленушки. Не успели выпить матери по первой чашке, как приехал тот нарочный. Вошел он в келью, отдал письмо в руки самой Манефы – так было ему приказано, – получил от нее сколько-то денег и пошел на конный двор обедать. Манефа ушла в боковушу и там наедине прочитала письмо.

Если келейные матери в пору процветанья скитов, посредством таких «благодетелей», как Злобины, Сапожниковы, Зотовы, а после них Громы и Дрябины, могли из самых высших мест узнавать обо всех делах, до них касающихся, немудрено, что у них были проложены торные пути к столам губернских мест, где производились дела о раскольниках. Дарили они за правду, дарили за неправду, кому надо серебрили руки, чтоб помягче писали, кому надо золотом глаза порошили, чтоб кое-чего они не видели... На белом свете, опричь Бога, ничего нет сильнее туго набитой мошны. Истинник <sup>[426]</sup> не угодник, а тоже чудотворец... Выложь денежки, в камне дыру провертят; возьми золотой молоток, и железные ворота он прокует. Не диво, сунув нужному человеку барашка в бумажке, его к себе приручить. Золото хоть и веско, а тянет кверху, на воде даже всплывает оно, и где всплывает, там правда тонет. И в грех не ставили матери подкупать

нужных людей... По-своему толковали они слова апостола: «Искупающе время яко дние зли суть».<sup>[427]</sup> Совершенно были они уверены, что в злое, «гонительное время» сам Бог повелевает покупать за деньги милости власть имущих. И покупали... Оттого и жили на полной свободе, в широком просторе, ровно орел в поднебесье, ровно щука в воде.

Письмо было из губернаторской канцелярии. Нужный и осторожный правитель ее через третьи сутки уведомлял щедрую Манефу, что для осмотра Оленевских обителей едет из Петербурга особый чиновник, в генеральском чине, с большими полномочиями, и что к такому человеку апостольских повелений применять нельзя... В конце письма сказано, чтоб страшного гостя ждали на днях.

– Матушка Маргарита! – крикнула Манефа, не выходя из боковуши. – Пожалуй-ка сюда на словечко.

Вошла Маргарита. Манефа подала ей письмо.

– Читай-ка, матушка, – молвила. – Напасти-то какие по грехам нашим!

Пробежав письмо, всплеснула руками Маргарита и вскрикнула. Хоть давно знала, что грозного гостя скитам не миновать; но когда опасность еще далека, она не страшна так, как в то время, когда перед лицом прямо станет... Как громом оглушило Маргариту. Смертная бледность разлилась по лицу, подкосились старые ноги многоумной игуменьи, и в бесчувственном изнеможенье тяжело опустилась она на скамейку... На ее крик пришла Юдифа и, узнав, в чем дело, заохала; Аксинья Захаровна с Ариной Васильевной прибежали, и те навзрыд зарыдали; одна Манефа осталась невозмутимою. Ни слезинки не выронила, не вырвалось из груди ее ни единого восклицания.

– Власть Господня!.. – строго и холодно молвила. – Плачем да слезами делу не пособить, себя только расстроить. Лучше на Бога положиться: вовремя он наказует, вовремя и милует... Не гневите, родные, царя небесного ропотом и отчаяньем!.. Грех!..

– Матушка!.. Каково же слышать-то это!.. – голосом безнадежности, заливаясь горькими слезами и ломая руки, вскрикнула Маргарита оленевская.

– Весть жданная, давно чаянная, не врасплох нас застала она, – молвила Манефа.

– Так, матушка, так, – проговорила Маргарита, – ведь все мы знаем, что должны помереть, все смерти чаем, а пока она не предстала, нимало ее не страшимся, а как приспееет смертный час, всяк человек в ужас придет. То же самое и это...

– Все же надо спокойнее быть, – заметила Манефа. – Без малодушия

гостя надо встречать, без суеты, без боязни... Твоя-то обитель после пожара ставлена?

– После, матушка, после, – ответила Маргарита.

– Вот совет мой тебе, – сказала Манефа, – поезжай поскорее домой... Хотя не водится отъездом гостей торопить, да дело такое, что медлить тебе не годится, да и мне не след тебя удерживать... Приедешь домой, тотчас святыню, которая в моленной поредкостней, в город вези. Отдай кому знаешь на похраненье. Я б на твоём месте весь деисус<sup>[428]</sup> вывезла. Хороших писем он у вас, древний... А на место его плохоньких бы образишков наставила. Не замай их печатает. Книги, особенно харатейные да старописьменные, все без остатку в город свези. Псалтыри оставь да часовники, да и то новой единоверческой печати. Пуще всего почаевские переводы<sup>[429]</sup> убирай, запретными их почитают. Письма, какие есть, подальше припрячь... Кто его знает, может, и обыски делать зачнет.

– И впрямь, матушка! Распоряжусь по твоему совету. Время-то есть, – молвила Маргарита. – Сию же минуту поеду, сегодня же за ночь из моленной все выберу, а завтра чуть свет сама к Полуехту Семенычу свезу... За полезный совет благодарю покорно, – прибавила она, низко поклонившись Манефе.

– Поезжай с Богом, матушка, поезжай, – сказала Манефа. – Управляйся с Божьей помощью, авось успеешь... И другим матерям посоветуй! Да потише бы дело вели, не огласилось бы. Не то до всего докопаются. Зря станете делать, недолго и сторонних в ответ привести. Не всем советуй, надёжным только... Главное дело, было б шито да крыто... А как царица небесная поможет тебе управиться, отпиши поподробнее.

В четверть часа собралась Маргарита. Горько было столь поспешно уезжать и Анне Сергеевне, и кормившей горячими блинами Василья Борисыча Грушеньке. Но делать нечего, надо проститься с утешами, надобно ехать на плач да на горе.

В горенке у Фленушки самовар на столе. Кругом самовара семь девиц сидит. Дуня Смолокурова, Параша Чапурина, три белицы улангерские, сама Фленушка с Марьюшкой. Идут у них разговоры веселые про жите-бытье обительское, про гулянки с парнями за околицами, про гостей – молодых «благодетелей», – приезжавших в скиты из разных городов. Всех веселей, всех речистей была Фленушка. На затейные рассказы – что на всякие проказы ее взять. Что ни скажет, девицы со смеху так и покатыются. Как ни скромна, как ни стыдлива была Авдотья Марковна, и у той от рассказов Фленушкиных нежное личико оживлялось, краска играла на свежих

ланитах, и нежная, веселая улыбка с румяных губ не сходила. Как ни вяла, как ни сонлива Параша Чапурина, и та громко хохотала, махая Фленушке платком и приговаривая:

– Да ну тебя!.. Перестань!.. Уморишь!..

Вдруг под общий смех опрометью влетела Устинья Московка. Лицо бледное, головной платок набок, сама растрепанная, глаза красные, слезы в три ручья... С визгом и воплем подбежала к кровати, ринулась на постель и разразилась рыданиями... Все обступили ее, с участием расспрашивали, но, уткнувши голову в подушку, она ничему не внимала... Догадалась Фленушка, с чего Устинья убивается, но не сказала ни слова, хоть не меньше других вокруг нее суетилась.

Через несколько времени отлегло нá сердце у канонницы. Подняла она голову, села на постель, мутным взором окинула стоявших девиц и, сложив на коленях руки, стала причитать в истошный голос:

– Каково-то мне горько в сиротстве жить, каково-то мне жить сиротой беззаступною!.. Натерпеться мне, сироте, всякой всячины: и холоду, и голоду, и горя-обида великия!.. Зародила ты меня, матушка, нá горе, наделила меня участью горькою, что живу-то я, сиротинушка, во злой во неволюшке, со чужими людьми со безжалостными!..

– Да что такое?.. Что такое случилось с тобой? – участливо спрашивали ее девицы улангерские, Параша и Дуня Смолокурова. Не говорили ничего Фленушка с Марьюшкой.

– Посылают меня бедную в Казань на целый год, разлучают с местом любимым! – на тот же голос причитаний громко плакалась Устинья Московка.

– Чего ж убиваться-то? – весело молвила ей быстроногая Дуня улангерская. – Пошли-ка меня матушка Юдифа к хорошим людям нá год в канонницы, да я бы, кажется, с радости земли под собой не взвидела, запрыгала б, заплясала, а ты, бесстыдница, выть...

– Хорошо тебе, Авдотьюшка, эдак разговаривать, – жалобно, но с досадой ответила ей Устинья. – Суди Бог того, кто обидел меня!.. Да не обрадуется она горькой обиде моей... Обижена сиротская слеза даром нá землю не капает; капнет слеза моя горькая горючѣй смолой на голову лиходейки-обидчицы!

– Да кто ж обидел тебя? Кого клянешь, на кого жалуешься? – усмехнувшись, спросила Устинью Фленушка.

Досадно ей было, что она нарушила веселую беседу девичью.

– Знаю я, матушка... знаю, Флена Васильевна!.. Все знаю!.. – накинулась на нее Устинья. – Меня, сударыня, не проведешь. Сердце-то

вещун: чует, от кого добро, от кого худо, – продолжала она, злобно косясь на Парашу. – Да нет, погоди, прежде времени не радуйся!.. Не на радость будет отъезд моей обидчице!.. Пришла пора и мне свою песенку спеть!.. Доводится и мне провести свою борозду!.. Так-то, сударыня!..

– Да что ты? Очумела аль совсем рассудком рехнулась? – крепко нахмурившись, с сердцем сказала ей Фленушка. – Вбежала, ровно бешена собака, смутила веселую нашу беседу да еще невесть какие слова говорит! Образумься, непутная, уйми свое глупое сердце!..

– Не тебя корят, так и молчи! – на всю горницу закричала Устинья Московка. – Знаю я, знаю, кому понадобилось из обители меня спехом услать!.. Знаю!.. Нечего ухмыляться-то, Прасковья Патаповна!.. Что богатого отца дочь, так думаешь, что перед тобой все молчать должны... Нет, сударыня, не на такую напала!.. Обожжешься!..

А Параша смотрит на нее широко раскрытыми глазами и понять не может, с чего она на нее такой поклеп понесла.

– Что ты, Устиньюшка! – молвила. – Окстись! Ничего я не знаю, не ведаю, ни до каких ваших обительских делов не дохожу...

Вскочила с кровати Устинья, затопала ногами и закричала в истошный голос.

– Узнаешь ты меня, змея подколодная!.. Весь век будешь помнить меня!.. Сейчас же пойду, про все доложу Аксинье Захаровне. Пуцай порадует, пуцай полюбуется на свою дочку-скромницу!.. Пуцай узнает, какими делами на богомольях она занимается.

Вспыхнула Параша, зарделась как маков цвет. Вспало ей на мысли, что Устинья от кого-нибудь выведала про ночное гулянье в Улангере и о нем грозит рассказать Аксинье Захаровне. «Что будет тогда? – думает Параша в сильной тревоге. – Пропадать моей головушке! Хоть заживо в гроб ложись!.. Житья не будет, заколотят тятенька с мамынькой до полусмерти».

– Что ты? Христос с тобой! – упавшим от страха голосом чуть слышно проговорила она Устинье, и горькие слезы задрожали на ресницах ее.

Дрожа от злости и ревности, выдвинулась вперед Устинья. Еще минута, и осрамила бы она Парашу словами, побила бы, может статься, и руками. Фленушка стала меж них.

– Что ты здесь?.. Бунт подымать?.. – строго, холодно, величаво сказала она Устинье, и в речи ее речь Манефы послышалась. – Вон!.. Духа твоего чтоб здесь не было!.. Не то сейчас позову матушку – насидишься в погребке либо на цепи в келарне!<sup>[430]</sup> Ступай отсель до греха!

– Не запугаешь меня, потаковница! Ничем не запугаешь!.. – кричала Устинья. – За самой за тобой знаю кой-что... Допреже тебя дойду я до

матушка – все про все доложу ей... Запоешь тогда у меня другим голосом.

– Ах ты, бесстыжая! – проворчала Фленушка.

Она только побледнела. Других признаков гнева, что кипел в ее сердце от дерзких намеков обезумевшей с ревности канонницы, не видно.

– Марья! – холодно сказала она головщице. – Сходи к матушке, позови сюда.

Марьюшка вышла.

– Не больно-то я испугалась! – во все горло продолжала кричать Устинья Московка. – Сама обо всем доложу... Себя не пожалею, а все расскажу... Останетесь довольны!.. Будете меня поминать!.. Не забудете!..

Двери шумно распахнулись, и на пороге явилась Манефа. Строго и гневно было лицо ее, из-под нахмуренных бровей раскаленными угольками сверкали черные глаза.

– Это что? – ровным, невозмутимым голосом повелительно сказала она. – Свары заводить?... Сейчас к Бояркиным!.. Кони готовы – ступай!

– Матушка... да я... – зачала было Устинья, но Манефа, отступя от порога в сторону, рукой показала ей дорогу и одно только слово промолвила:

– С Богом!

Стихла Устинья, поникла головой и поклонилась игуменье в ноги, говоря обычные слова прощанья:

– Матушка, прости, матушка, благослови!

– Бог простит, Бог благословит! – бесстрастно отвечала Манефа и, пропустив мимо себя Устинью, подошла к Дуне Смолокуровой и ласково молвила ей:

– Не погневись, Дунюшка, что шальная дура буйство при тебе завела. Этакая, прости Господи, вольница!.. Вот уж вольница-то!.. Ну, забавляйтесь, девицы, забавляйтесь, а я пойду – там у меня свои гости сидят... А ты, Фленушка, хорошенько подружек-то потчуй – варенья бы там, что ли, достала, орешков...

И вышла из горницы.

Через час из обители Бояркиных, на тамошних лошадях поехала Устинья Московка. Как ни старалась она хоть на минуточку свидеться с Васильем Борисычем – не удалось.

Пять верст езды, лежа в кибитке, Устинья рвалась и металась. Другие пять верст, ровно мертвая, без памяти лежала. Остальную дорогу опомнилась, но ни слова ни с кем не сказала.



Ни словом сказать, ни пером описать того счастья, той радости, что почувствовал Василий Борисыч, узнав от пришедшего из обители Бояркиных Семена Петровича об отъезде взбалмошной Устиньи. Ровно гора с плеч свалилась. Очень боялся он, чтоб ревнивая до сумасбродства канонница, не жалея ни себя, ни его, под злой час не брякнула кому-нибудь о тайных их свиданиях. Накануне Петрова дня улучила времечко Устинья, поймала Василья Борисыча где-то за околицей и осыпала его попреками за то, что с Парашей ездил на Китеж. От укоров ее сильно смутился Василий Борисыч и в ответ ни единого слова не мог вымолвить и тем уверил Устинью, что во время богомольной поездки у них что-то было. Пригрозила она, что себя не пожалеет, а всю подноготную расскажет и матушке Манефе, и Патапу Максимычу, и Аксинье Захаровне, и по всей обители разблаговестит про шашни его с Прасковьей Патаповной... И очень опасался того московский посланник – ни днем, ни ночью не было покоя на сердце его.

«С одной ноги колода долой, – думал Василий Борисыч, выслушав радостное известие. – Приведи-ка, Господи, с другой как-нибудь... Чапурин – медведь, как есть медведь. Все боятся его, на кого гневным оком ни взглянет, всяк дробьма дрожит... На что мать Манефа – ума палата, старица властная, и свои и чужие все перед ней преклоняются, а и та не посмела воспретить ему бесчинства, что затеял вечор во святей обители... И грозён и страшон, все в один голос так говорят. И никуда от него не уйдешь: долга рука – везде достанет... Ох, искушение!.. Попутал же меня окаянный с этой копной связаться! Как есть дерево... Ох, не то, совсем не то, что Дунюшка Смолокурова!.. Ох, искушение!.. Как цветущая яблонь пред лесными деревьями, так она пред другими девицами: очи голубиные, волосы – янтарные волны, уста – червленые ленты, розовый шипок – ланиты ее... Уязвлен аз, грешный, любовью! Ох, искушение!.. А она-то, моя ненаглядная – вертоград для меня заключен, источник радостей для меня запечатлен!.. Кому повем печаль мою?.. Ох ты, горе мое, горе великое!.. А узнает Чапурин про гулянки в Улангере?.. Живой тогда в гроб ложись!.. Мало что жизни лишит, измучит всего, истязать начнет... Ох, Господи, Господи! Изми мя из рук врагов моих!.. К себе зовет!.. Ох, искушение!.. Пойду ли к нему на погибель?.. Угораздило ж меня с этой Парашкой связаться!.. Пропадай она совсем, окаянная!.. Не видать бы ее глазам моим!.. На беду навела, на погибель... Ох, искушение!..»

Так размышлял Василий Борисыч, спешным шагом ходя взад и вперед по светлице, а Семен Петрович той порой у окна сидел. Глядя на работных белиц, что, подоткнув подолы, подмывали затоптанную накануне прихожими богомольцами паперть часовни, облюбовал было он здоровенные, ровно из слоновой кости выточенные, ноги одной молодой трудницы. Остамел совсем... Глаз отвести не может. «Не то что Марьюшка, – думает. – Того же сорта, да много поваляжнее!» Но обернулась лицом поломойка: корявая, скошенный лоб, нос расплылся, красные веки, рот до ушей... Отошел от окна саратовец, плюнул.

– Что задумался? – хлопнул он по плечу Василья Борисыча. – В каких царствах, в каких государствах вольными мыслями летаешь?

– Мало ль о чем мне думать доводится? – угрюмо ответил Василий Борисыч. – Вечор бабий собор не выгорел; приеду в Москву, скажут: «Ездил не по что, привез ничего!» Неприятности, остуда!.. Вот каково мое положение!.. Поневоле задумаешься... Ох, искушение!

– Не ври, Васютка, не ври! Меня, друг любезный, на бобах не проведешь. Кой-что сами знаем, а больше того смекаем... Не об Москве задумался, не там твои мысли летают, не московской остуды, другого боишься... Все по глазам твоим вижу, все, – с лукавой улыбкой говорил ему Семен Петрович.

– Лазил, что ли, ко мне в ум-от? – нехотя улыбаясь, спросил у него Василий Борисыч.

– Лазить не лазил, а знаю, что у тебя на уме, – молвил саратовец.

– Экой прозорливец какой выискался! – пошутил Василий Борисыч.

– Да ты не смейся. В самом деле я прозорливец, – молвил Семен Петрович. – Хочешь скажу, что будет с тобой?

– Ишь пророк какой! – отшучивался Василий Борисыч.

– Пророк не пророк, а отгадчик, – молвил саратовец. – Хочешь аль нет? Сейчас могу сказать, что поскорости будет с тобой.

– Что ж такое будет со мной?

– Быть тебе, Васенька, битому, быть тебе, голубчик, колоченному, – с усмешкой сказал Семен Петрович. – О том, как бить тебя станут, ты теперь и задумался... Правду аль нет говорю?.. Ну-ка, скажи, только смотри, уговор пуще денег, не вертись, не отлынивай, сказывай всю правду... Что у тебя на мыслях лежит? Побоев боишься?.. Трусишь?.. Так ли?..

Смутился Василий Борисыч, молвил про себя: «Ох, искушение!» Но не успел еще слова сказать, как саратовец молвил:

– А битому быть от Патапа Максимыча.

Побледнел Василий Борисыч, смутился, хотел что-то сказать, раскрыл

рот, да так и остался. Не сходят слова с языка.

– А битому быть за Прасковью Патаповну, – усмехаясь, продолжал Семен Петрович.

Не ответил московский посланник. Совсем у него на уме помутилось. Думает и не может придумать, откуда саратовец его тайну узнал...

– А что, Васенька? Хорошо с девицами на Китеж ездить? – прищурил глаз, с усмешкой спросил Семен Петрович.

Тот завертелся на стуле, кругом стал оглядываться, ровно что потерял.

– А весело, через болото по кладкам идучи, середь бела дня целоваться с девицами?

Впился глазами в саратовца Василий Борисыч, от изумленья слова не может сказать.

– Весело в Улангере ночью в лесочке гулять? – сказал, наконец, Семен Петрович, хлопнув по плечу приятеля.

– Ох, искушение! – только и мог промолвить обомлевший Василий Борисыч.

– Что скажешь?.. Умею пророчить?.. Узнал, что на мыслях?.. – продолжал саратовец.

– Да с чего ты взял?.. Сорока, что ль, на хвосте вести тебе принесла?.. – после недолгого молчания сказал Василий Борисыч.

– Не сорока на хвосте принесла, верные люди сказали, – молвил Семен Петрович. – Нечего таиться, Васенька! Сам видишь, что знаю твои похождения. Лучше сознайся, да вдвоем по-приятельски посудим-порядим, как поздоровей из беды тебе вылезть. Ум хорошо, а два лучше того.

– Да нет, нет... – заговорил вконец растерявшийся московский посланник. – Ты прежде скажи – как это?..

И не договорил.

– Ну что: «как это»? – спросил саратовец.

– Да как это?.. Ох, искушение!.. Да что ж это в самом деле?.. Скажи на милость, кто говорил?.. Скажи, Семенушка, пожалуйста скажи...

– Кто бы ни говорил, – молвил Семен Петрович. – Не в том сила, кто про твои похождения мне сказывал, а в том, как пособить, что посоветовать, как бы полегче из беды выпутаться. Вот что. Патап-от Чапуurin зверь зверем. Дойдут до него слухи, что с тобой он поделает?

– Медведь! – со вздохом и сердечным содроганьем промолвил Василий Борисыч.

– Истинно так, – подхватил саратовец. – А знаешь, как медведь в лесу дуги гнет? Гнет – не парит, переломит – не тужит. Так и он. Ты не смотри, что ласков он до тебя, не гляди, что возлюбил тебя. Разведает про дочку,

мигнуть не успеешь – на другой салтык поворотит. Тогда держись только.

– Ох, искушение! – в сильной тревоге вздохнул Василий Борисыч.

– Знаешь что, Васенька? – сказал ему Семен Петрович. – По моему рассуждению, лучше б тебе как можно скорей повенчаться с Прасковьей Патаповной... Ей-Богу!.. Вот бы покаместь я не уехал да Самоквасов Петр Степаныч здесь... Валяй, Васютка, женись!.. Мы бы тебе помогли самокрутку сыграть... Живой бы рукой все обладили... После бы век не знал, как и благодарить нас... Право, подумай-ка, Васенька!

– Потчевали уж меня этим, – чуть слышно промолвил Василий Борисыч.

– А коли потчевали, так нечего и раздумывать, – сказал саратовец. – Благо же пост отошел, венчаться можно... Что попусту время тянуть?.. Давай-ка примемся за дело. Право, мы с Петром Степанычем разом бы тебя окружили. А после с богатой женой стал бы жить-поживать, да нас поминать. Не всякому, друг любезный, такое дерево удается склонить!.. То подумай, что одна дочь у отца. А денег-то у него да всякого имения, что у любого нашего московского туза. По времени все твое будет. Живи тогда во всякое свое удовольствие!

– Ох, Семенушка, и подумать-то страшно, – дрожащим голосом, чуть не со слезами промолвил Василий Борисыч. – Нешто, ты думаешь, спустит он, хоша и женюсь на Прасковье? Он ее, поди, за первостатейного какого-нибудь прочит... Все дело испорчу ему, замыслы нарушу... Живого в землю закопает. Сам говоришь, что зверь, медведь...

– Ну, в землю-то он тебя не закопает, – усмехнулся Семен Петрович. – Побить побьет – без этого нельзя, а после все-таки смилуется, потому что ведь одна у него дочь-то. Пожалее тоже! Своя кровь, свое рожденье! Да и тебя, как видно, он возлюбил...

– Нет, этого, Семенушка, не говори! – сказал Василий Борисыч. – От Чапурина милости ждать мне нельзя. Ведь он как расходится да учнет лютовать, себя, говорят, не помнит... А кулачище-то какой!.. Силища-то какая!.. А мне-то много ли надо?.. Сразу решит. Рукой махнет – мокренько от меня останется.

– А ты не больно пужайся. Тут, брат, чем больше робеть, тем хуже. Такое тут дело, Васенька, что как сробел, так и пропал, – продолжал Семен Петрович. – Одно то возьми, что, когда грех венцом покроешь, тебе на калачи от тестя хоть и достанется, да все же не столько, как если узнает он про ваши лесные гулянки... Тут уж пощады не жди – насмерть забьет. И не уйдешь тогда от него – и в Москве тебя сыщет и в Питере, – где хочешь сыщет. Ему что?.. Человек богатый – что задумал, то и сделал... Мой бы

совет, Васенька, скорей валять самокрутку... Что в самом деле?.. Невеста молодая, из себя красива, а богатства-то сколько?.. Клад тебе в руки дается – бери не зевай. Дурак будешь, коли не возьмешь...

– Боязно, – тоскливо отозвался Василий Борисыч.

– Полно пустое городить! Слушать даже тошно тебя, ей-Богу, – продолжал Семен Петрович. – Слушай: побоев тебе не миновать, без них не обойдешься. Но ведь и побои побоям рознь: от одних побоев синяки только бывают, от других смерть... Каких желаешь?.. Расчет, братец, верный: либо биту быть, либо смерть принять... Побои побоят да перестанут, а до смерти уложит – не встанешь. А хоша и не забьет тебя до смерти, так разве лучше, как пустит калекой век доживать?.. Подумай, рассуди – человек ты умный... Скажи, дело ль я говорю?

– Ох, уж, право, не знаю, что мне и думать, – жалобно промолвил Василий Борисыч. – Дело-то, как ни поверни, со всех сторон никуда не годится... Попутал меня окаянный!.. Да и то скажу я тебе, Семенушка, по душе скажу, как старинному другу, надежному приятелю, только уж не выдай ты меня...

– Охота пустяки-то говорить! «Не выдай»! Жид, что ли, я, Иуда-предатель?.. Кажись, не первый день знакомы? – сказал Семен Петрович. – Говори, коли начал. Зачинай, дружище, зачинай – раскошеливайся!

– Не по душе она мне, Семенушка, – молвил Василий Борисыч.

– Кто?

– Да Прасковья-то.

– Скоренько ж, брат, откидываться вздумал, – лукаво усмехнулся саратовец. – Неделя-то прошла ли?

– Сам не знаю, как это случилось, – сказал Василий Борисыч. – Лукавый подвел! И теперь так она мне опротивела, так опротивела, что, как только вспомню про нее, тошнехонько станет!.. Как же после того век-то с ней вековать?.. Подумай, что за жизнь у нас будет?.. Маята одна.

– Про это надо бы, Васенька, прежде было подумать, допреж улангерского лесочка. А теперь, как дело уж сделано, на увертки поздно идти, – молвил Семен Петрович. – Нет, дружище, дело твое теперь вот какое: либо женись да принимай от тестя небольшие побои, либо брось и на погибель иди, смертного часа жди.

– Ох, Господи, Господи! – тосковал Василий Борисыч, хватая себя за волосы.

– Нечего пожиматься-то, – подхватил саратовец. – Жениться – горе, не жениться – вдвое. Решайся, раздумывать нечего. Долго думать – тому же быть... Состряпать, что ли, самокрутку?.. Уж я постарался бы!

– Убегу я, Семенушка! – после недолгого молчания молвил Василий Борисыч.

– Куда? – спросил Семен Петрович. – От Чапурина, брат, не ухоронишься, со дна морского достанет.

– Я бы за рубеж, к некрасовцам, – вполголоса сказал Василий Борисыч. – Там у меня много знакомцев – не выдадут. Долга рука у Чапурина, а туда не дохватит.

– А по-моему, разве только на том свете от него ты укроешься, – молвил Семен Петрович. – У тебя за рубежом знакомцы, а у него деньги в кармане. Что перетянет?.. А?.. За границу уедешь?.. Да ведь граница-то не железной стеной огорожена. Сыщет тебя Чапурин и там. Не забудет дочернего позора, не помрет без того, чтоб не заплатить тебе за ее бесчестье...

– А может, не узнает, – промолвил Василий Борисыч.

– Не узнает?.. Как же?.. Разве такие дела остаются в тайне? – сказал Семен Петрович. – Рано ли, поздно ли – беспременно в огласку войдет... Несть тайны, яже не открытается!.. Узнал же вот я, по времени также и другие узнают. Оглянуться не успеешь, как ваше дело до Патапа дойдет. Только доброе молчит, а худое лукавый молвой по народу несет... А нешто сама Прасковья станет молчать, как ты от нее откинешься?.. А?.. Не покается разве отцу с матерью? Тогда, брат, еще хуже будет...

– Ох, искушение!.. Право, не знаю, что и делать! – с отчаяньем молвил Василий Борисыч.

– Велеть нам с Петром Степанычем самокрутку ладить скорей, вот что надобно делать, – подхватил Семен Петрович. – Мы с ним зараз. Шапки с головы ухватить не успеешь, как будешь повенчан... Что же?.. Решай!..

– Подумать надо, – молвил Василий Борисыч и крепко задумался. Дуня Смолокурова с ума не сходила. «Неужель придется навеки расстаться с ней?» – думал московский посол.

– Ах ты, Господи! – вскрикнул с досады Семен Петрович. – Ну, чего тут думать-то?.. Чего передумывать?.. За пазуху, что ли, голову-то спрячешь, как Чапурин ухватит тебя?.. Ну, Василий Борисыч, умный бы ты был человек, кабы не дурак!.. Вот уж истинно: ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса!.. Ты ему дело, а он чепуху, ты ему вдоль, а он поперек!.. Вот уж как есть ни санá, ни манá...<sup>[431]</sup> Так леший же поberi тебя, не хочу и вступаться... Пуцай с тебя Чапурин шкуру с живого сдерет. Вспомнянешь меня под его кулаками, вспокаешься, что не хотел слушать меня.

– Ну, уж ты и осерчал! – жалобным голосом проговорил Василий Борисыч. – Сказать ничего нельзя!.. Право... Чем бы посоветовать,

потужить со мной, а он браниться!.. А еще приятель...

– Да как же на тебя не сердать-то? – с досадой ответил Семен Петрович. – Все дело ему как на ладонке кажут, а он: «Подумаю!..» Нечего думать-то, коли цел хочешь быть. Венчайся, и делу конец!.. Экая мямля, прости Господи!.. Эдакий чурбан!.. Вот уж настоящий пень лесной!.. Право!

– Тебе бы только ругаться! – еще жалобней проговорил Василий Борисыч.

– Не стоишь разве?.. – перебил саратовец. – Драть тебя надо, коли сам своей пользы не видишь. Все тебе рассказано, все тебе доказано; сам понимаешь, что одно спасенье тебе – жениться скорей. Не женишься – пиши письма к родным, за упокой поминали бы...

– Ин вот что, – начал было Василий Борисыч, но вдруг остановился и задумался.

После короткого раздумья, с живостью схватив Семена Петровича за руку, молвил он:

– Пойдем на всполье, Семенушка, за Каменный Вражек. Там на вольном воздухе дельней потолкуем. А здесь ты вон на всю обитель кричишь – услышать могут... Пойдем!

– Пожалуй, пойдем, – небрежно молвил саратовец. – Только, признаться, не жду, чтоб и там вышел какой толк из наших с тобой разговоров. Потому – дурак, пользы своей не понимаешь.

Пошли, но только поравнялись с домиком Марьи Гавриловны, как глядевший из окна Патап Максимыч стал их к себе закликать:

– Ну что?.. В голове не трещит ли?.. Заходите к нам чайничать!

Пытался было Василий Борисыч отговориться недосугами, но Патап Максимыч так решительно сказал ему, чтоб тотчас же шел к нему, что смущенный московский посланник послушаться не посмел. Как провинившийся перед хозяином пес, поджав хвост и понутив морду, робко и послушно идет на повелительный зов, так Василий Борисыч пошел в домик Марьи Гавриловны на зов Патапа Максимыча.

Саратовец не пошел. Он направил путь свой в обитель Бояркиных к будущему хозяину.

\* \* \*

Четверо за чаем сидело, когда в уютные горенки Марьи Гавриловны вступил совсем упавший духом Василий Борисыч. Кроме Патапа

Максими́ча, были тут Марко Данилыч, Михайло Васильич да кум Иван Григорыич. Вчерашнего похмелья на них и следов не осталось. Чинно, степенно сидели они, дельные речи вели – о торговых делах толковали. Про волжские низовья, про астраханские рыбные промыслы шла у них речь. Марко Данилыч был знатоком этого дела. Был он один из главных поволжских рыбных торговцев.

– Садись-ка, Василий Борисыч, да слушай, – сказал Патап Максимыч, когда тот, помолясь Богу и отдав каждому из сидевших по особому поклону, молча подсел к самовару.

– Поэтому выходит, что вся, значит, тамошняя рыбная часть нашими местами держится? – сказал Иван Григорыич Марку Данилычу.

– От большого возьми до малого, все здешнее. Все здешним народом работается, – говорил Смолокуров. – Лодки ли взять, все до единой в Черноречье<sup>[432]</sup> рублены: и морские, и кусовые, и ловецкие, и живодные, рёюшки с бударками и косные.<sup>[433]</sup> Что за зиму их ни нарубят, все по весне на Низ плавают!.. Проволочная удá из Безводного, ко́ванцы на кусовые самолосы тоже в здешних местах по Волге куют; дель на ставные сети и на плавные из Ягодного; бечева – горбатовская, лоцманá из Татинца да из Кадниц,<sup>[434]</sup> ловцы тоже все почти из наших местов, да и промышленников взять, так здешних-то – больше половины. Исстари так повелось. Еще в те поры, как ловили рыбу «безданно, безъявочно», на рыбных промыслах ватаги<sup>[435]</sup> бывали все нижегородские... И когда московские пошлины на рыбу старыми царями были положены, собирали их у Старого Макарья, для того что все промышленники вокруг того места проживали.<sup>[436]</sup> Самим низовцам без нашего брата ввек бы с рыбой не управиться... Говорят же, что в стары годы, когда нашего брата на Низу еще не было, астраханцы вместо белой рыбицы кобылятину в Новгород слали... Значит, рыбы от кобылы отличить не могли. И до сих пор астраханцев тем дразнят. И не любят же они того присловья!

Захохотал Патап Максимыч.

– Употчевали, значит, постников калмыцкой маханиной,<sup>[437]</sup> – говорил он.

– Теперича на рыбных ватагах саратовцы в силу пошли, отбивают у нас рыбную часть, – продолжал Смолокуров. – Потому-то всякому здешнему тысячнику и советовал бы я этим делом заняться, поднять бы да поддержать дедовские промысла, не отдавать их саратовцам... да и выгодно. Что вы, Патап Максимыч, на́ это скажете?

– Нельзя мне по разным делам разбиваться, Марко Данилыч, – ответил



Чапурин, – и без того у меня их немало, дай Бог и с теми управиться! Нет уж, зачем же мне лишнюю обузу брать на себя.

– Хоть для пробы ма́ленько дельце завели бы, небольшую бы ватажку на откуп взяли, – продолжал Смолокуров. – После за совет мне спасибо сказали бы. Лиха беда начать, а там все как по маслу пойдет. Право, подумайте – барыши хорошие, дело вести можно.

– Хозяйский глаз для того нужен, Марко Данилыч, – молвил Чапурин. – Самому в такую даль ехать мне не приходится, а верного человека не предвидится. Знающего ведь надо.

– Конечно, знающего, – ответил Смолокуров. – Без знающих людей рыбного дела нельзя вести. Главное, верных людей надо; их «разъездными» в косных по снятым водам рассылают наблюдать за ловцами... У нас, я вам скажу, дело вот как ведется. Снявши воды, ловцам их сдаем. Искать ловцов не надо, сами нагрянут, знай, выбирай, кому отдать. Народ бедный, кормиться тоже надо, а к другим промыслам непривычен. И как много их сойдется, сдача пойдет наперебой. Один перед другим проценты набавляет.

– Как проценты набавляет? – спросил Чапурин.

– А вот как, – стал объяснять Смолокуров. – Пишется «ловецкий контракт», без того нельзя: ряда не досада, а уговорец – нашему брату кормилец. Выговаривают, чтоб ловцы всю рыбу, что ни наловят, сдавали съемщику со скидкой десяти аль двенадцати копеек с рубля. А как пойдет у них наперебой, по двадцати да по двадцати по пяти копеек они и скидывают. Нашему брату барыш в руки и лезет...

– Понимаю теперь! – молвил Патап Максимыч.

– А кроме того, икра да вязига хозяину даром, – продолжал Марко Данилыч. – Тут-то вот ловкие разъездные и нужны, потому что ловцы – народ вор. Из плута кроены, мошенником подбиты, с ними не зевай, во всяко время ухо остро держи.

– А что? – спросил кум Иван Григорыч.

– Да вот, к примеру, сказать, как они, окаянные, раз меня самого провели, – продолжал Марко Данилыч. – Еду я в косной, навстречу другая, гляжу – наши. Разъездной, как водится, тотчас в лодку, щупом везде пробует – нет ничего. А тут баба с ребеночком, кричит сердечный, так и заливается, есть хочет, а у матери-то молока, видно, мало. Пододвигает она к себе кринку, разъездной было за нее, а баба таково жалобно говорит: «Молочко маленькому в кринке-то». Разъездной не внимлет, хочет кринку раскрыть. Жалко мне стало ребеночка, не велел трогать. Что ж... сударь мой? После узнаю – в кринке-то икра была.

Захохотал во все горло Патап Максимыч, засмеялись и его

собеседники.

– Ловка же бабенка, – молвил удельный голова. – Говорится же пословица: «Хитра, мудра баба казанская, похитрей ее астраханская»...

– Да это что? – смеялся Смолокуров. – Другая баба еще вороватей перехитрила меня. Вхожу раз на косную – тоже баба с ловцами была. Сидит, грудью младенца кормит, укачивает его. Разъездной к ней: одеялишко-то на ребенке раскрыть хочет. «Бога ты не боишься, – так тихо да покорно, чуть не со слезами говорит ему бабенка, – младенчик-от у меня хворенький, только что закачала его – потревожишь бедненького». Велел я бабу в покое оставить... А после слышу, каки-то ловцы диковинную стерлядь продали, фунтов в двадцать весом, от пера до глаза больше полутора аршин. Редкостная рыбина, в кои-то веки такая попадет... Что же ты думаешь? Самую ту рыбину та бабенка у груди-то и держала... Вот тут и поди с ними!

– Ловкий народец! – молвил Патап Максимыч. – На какие, однако, хитрости ловцы-то у вас поднимаются.

– Всех ихних мошенничеств ни пересказать, ни переписать, – сказал Смолокуров.

– А думается мне, – сказал Патап Максимыч, – что меньше от них плутовства-то было бы, когда бы ряду повыгодней для них писали. Сами посудите, много ль ловцу при таких порядках останется? Лодка-то ведь в лето сот на семь целковых рыбы наловит?.. Так ли?

– Так точно, – ответил Смолокуров.

– А велика ль на лодке артель?

– По-нашему, то есть «ватага», – молвил Марко Данилыч. – Какова лодка... По пяти, по шести работников, и больше.

– Ну, положим теперь, что заработают они семьсот рублей на серебро, – продолжал Патап Максимыч. – Скинь двадцать пять процентов, пятьсот двадцать пять рублей остается, по восьмидесяти по семи с полтиной на брата... Не великие деньги, Марко Данилыч. И подати заплати, и семью прокорми, и оденься, и обуйся, да ведь и снасти то, поди, ихние...

– Ихние, – подтвердил Смолокуров.

– Так вы и разочтите, много ль ему, сердечному, останется, – сказал Патап Максимыч. – Дивить ли после того, что у вас бабы стерлядей грудью кормят да в кринках икру заместо молока возят. Плуты они, мошенники!.. Так ли, Марко Данилыч? Не навик к плутовству, нужда доводит. Как ловцу по чести жить? И честь ведь не в честь, коли нечего есть! Нет, Марко Данилыч, не пушусь я в ваши промыслы. Бог с ними!

– Напрасно, – проговорил Смолокуров. – Барыши хорошие, лучше, чем от горянщины.

– Зато мои токари да красильщики Богу на меня не пожалуются, – молвил, нахмурясь, Чапурин. – Больших барышей мне не надо. Будет с меня и маленьких. На рубль полтора наживать не хочу... Грех!

– Да кто ж на рубль полтора наживает? – вспыхнул Смолокуров. – А что, если вы за ловцов заступаетесь, так посмотрел бы я на вас, когда б у самих у вас рыбные промыслы были!.. Опять же и то сказать, не нами началось, не нами и кончится.

– Ну и будь по-вашему, а рыбой промышлять мы не согласны, – сказал Патап Максимыч. – И своими делами довольны.

Замолчал Смолокуров. Маленько обиделся он словами Патапа Максимыча.

– Ну что, Василий Борисыч. Как же наше-то дело пойдет? – обратился Патап Максимыч к посланнику, чтобы только покончить про рыбны промысла.

– Чтó наши дела? – мрачно отозвался Василий Борисыч. – Мои-то дела что сажа бела.

– Это ты про скитские да про архиерейские?.. – молвил Патап Максимыч. – Что мне до них... Про наши с тобою говорю.

Молчал Василий Борисыч.

– Поезжай-ка в Москву поскорее, управляйся там да поспешай обратно. Прямо в Осиповку приезжай, – сказал Патап Максимыч, кладя руку на плечо Василья Борисыча.

«А что, и в самом деле? – сверкнуло в уме московского посланника. – Сам посылает. Не скажет после, что бежал, его испугавшись. Уехать до беды, в самом деле!»

– Я бы, пожалуй, не прочь хоть сейчас отселе, – сказал он Чапуруину. – Чего еще ждать?.. Матушка Манефа не хотела вечор меня поддержать. Ну и Бог с ней!.. А после этого здесь делать мне нечего.

– Рад слушать умные речи, – молвил Патап Максимыч, дружески хлопнув по плечу Василья Борисыча, и веселая улыбка озарила лицо его. – Когда ж в путь-дорогу?

– По мне хоть сейчас, – махнув рукой, сказал Василий Борисыч.

И вспади тут на память ему и Груня оленевская, со сковородником в руках за блинами в Маргаритиной келарне, и нежная Домнушка, которую сам оттолкнул от себя, и Устинья Московка, и Параша, и надо всеми ними в недоступной высоте восставал в его воспоминаниях светлый, чистый образ Дуни Смолокуровой с ее нежной, чарующей улыбкой, с ее глубокими,

думчивыми очами!.. И жаль стало Василью Борисычу лесов керженских, чернораменских, где жилось ему так привольно и весело.

– Я отсюда сегодня же, – молвил Патап Максимыч, – вечером по холодку поеду. Значит, здесь простимся. Так ты уж, пожалуйста, Василий Борисыч, не медли ни отъездом, ни возвратом. Что бы тебе завтра же отсюда бы выехать?..

– Постараюсь, Патап Максимыч, всячески постараюсь, – торопливо ответил московский посланник, а у самого на уме: «И от него схоронюсь, и свадьбы избуду... Пособи, Господи, от всех передряг подобру-поздорову отделаться!»

– Главное дело, назад скорее. Великое дело есть до тебя... Удивлю, обрадую... Хотел теперь же сказать, да лучше обожду, как воротишься, – прищурив глаза и весело улыбаясь, говорил Патап Максимыч.

А сам на уме: «И тому не хотел я сказать, как на Ветлугу его посылал, и вон какое дело вышло... Не было б и теперь чего?.. Не сказать ли уж лучше до отъезда?.. Да нет, нет!.. Тот был сорвиголова, а этот смиренник, тихоня, водой его не замутишь... Лучше после... Опять же как-то и не приходится самому дочь сватать... Обиняком бы как-нибудь. Подошлю-ка я к нему Никитишну!.. Да успеем еще!.. Это дело не волк – в лес не уйдет!»

– Денег на дорогу не надо ли? – спросил он у Василья Борисыча, вызвав его потихоньку в другую горницу домика.

– Своих достаточно, – ответил Василий Борисыч, смутясь от его предложения.

– То-то, ты не ломайся. Нужны, так говори, – сказал Патап Максимыч. – Чиниться со мной теперь нечего.

Пуще прежнего смутился Василий Борисыч. Не знает, что говорить, не знает, как и отделаться от Чапурина. Совесть заговорила. «Вон ведь добрый какой! – думает он. – Зачем же я так оскорбил его, зачем так смертно обидел?.. Подтолкнул лукавый!.. Ох, искушение!»

Распрощался с ним Патап Максимыч. Ровно сына родного трижды перекрестил, крепко обнял и крепко расцеловал. Слезы даже у старика сверкнули.

– Храни тебя Господь!.. Бог на дорогу, Никола в путь! – сказал Чапурин оторопевшему Василью Борисычу. – Ворочайся, голубчик, скорее... Не томи!.. Пожалуйста, поскорее!..

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После того как Манефа спроводила Устинью Московку из Фленушкиных горниц, веселье не вдруг воротилось в девичью беседу. Всем было как-то не по себе, особенно Дуне. Непривычна была она к тому, что видела и слышала. Когда девочкой росла она в Манефиной обители, ничего подобного она не видела, и немало дивилась теперь, отчего это завелись в обители такие девицы.

По скорости пришла на беседу Аграфена Петровна с развеселой, говорливой Дарьей Никитишной.

– Ну что, красны девицы? Чем время коротаете? – весело спрашивала Никитишна. – Чем забавляетесь, про какие дела речь-беседу ведете?

– Да так, – ответила Фленушка. – Особым ничем не занимаемся... Переливаем себе из пустого в порожнее.

– А вы бы песенку спели, – сказала Никитишна. – Мирскую нельзя, так псалму бы. Ты, Марьюшка, что так сидишь?.. Чего не поешь?.. Мастерца ты псалмы-то петь... Опять же и ты, Варюшка, знаю, голубка, что у матушки Юдифы пение тобой держится... Пойте-ка, девицы!.. Не то сказочку какую рассказали бы... Это, чать, за грех в обителях не ставят? Аль и сказочку-то грешно сказать?

– Не водится, – молвила Фленушка.

– Ну, не водится так не водится, – продолжала Никитишна. – Да постой, Фленушка, постой!.. Ты у меня не таранти! Что сбиваешь старуху? Разве здесь одни обительские девицы? Есть и мирские. Сем-ка спрошусь я у матушки, не дозволит ли сказку вам рассказать.

И вышла и, воротясь вскоре, молвила:

– Позволила... Слушайте!

Тесным кругом окружили Никитишну девушки. Одна Аграфена Петровна одадь осталась. Села у открытого окна к пяльцам Фленушки и принялась вышивать бисером.

Зачала Никитишна:

– В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, а у царя сын Иван-царевич, из себя красавец, умный и славный; про него песни пели, сказки сказывали, красным девицам он во снах снился. Вздумалось Ивану-царевичу по белу свету поездить, людей посмотреть, себя показать, и пошел к батюшке царю просить родительского благословенья, государского соизволения – ехать по белу свету

странствовать, людей смотреть, себя казать. И дал ему царь свое благословенье и позволение, и поехал Иван-царевич в путь-дорогу. Ездил он, ездил по разным царствам, по разным государствам – скоро сказка сказывается, не скоро дело делается – и приехал в чужедальное государство. В том государстве, за темными лесами, за зелеными лугами, за быстрыми реками, за крутыми берегами, в чистом поле, на широком раздолье, белокаменны палаты стоят, а во тех палатах, в высоком терему, у косящата окна, три девицы, три сестрицы, три красавицы сидят, промеж себя разговаривают. Иван-царевич коня осадил, стал прислушиваться. Старшая сестра говорит: «Когда б на мне Иван-царевич женился, напярла б я пряжи тонкие, наткала полотна белого, сшила бы царевичу рубашку, какой на свете досель не было». Средняя сестра говорит: «Когда б на мне Иван-царевич женился, выткала б я ему кафтан становой чиста серебра, красна золота, и сиял бы тот кафтан как жар-птица». А меньшая сестра говорит: «Я ни ткать, ни прясть не горазда, а когда б на мне Иван-царевич женился, народила б я ему сынов-соколов: во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам часты звезды, по локоть руки в красном золоте, по колена ноги в чистом серебре...»

– Знаем, знаем что дальше будет! – в один голос закричали девицы.

– Чур, сказку не перебивать, а кто перебьет, тому змея в горло заползет, – с притворной досадой молвила Никитишна и так продолжала: – Иван-царевич с девицами не опознался, им не показался, поехал домой. Приходит к царю-батюшке, молит, просит родительского благословенья, государственного позволенья – закон свершить, честен брак принять, на меньшей девице-сестрице жениться. И дал ему царь-батюшка родительское свое благословенье, государственное позволение – закон свершить, честен брак принять, с меньшей девицей-сестрицей побратиться...

– Да знаем же мы эту сказку, все знаем! – в один голос опять закричали девицы.

И опять нахмурилась Никитишна, опять сказала с притворной досадой:

– Сказка от начала начинается, до конца читается, в середине не перебивается. Слушайте, красны девицы, что дальше было!

– Да знаем мы, всю до конца ее знаем! – веселыми криками перебивали девицы Никитишну. – Ну Иван-царевич женился, жена народила ему сыновей, сестры позавидовали, щенятами их подменили, царевну в бочку посадили, бочку засмолили, по морю пустили...

– А коль знаете, так сами сказывайте, а я буду слушать, – молвила Никитишна.

– Да мы не умеем, – говорили ей.

– Не умеете про царевен, про королевен, так про себя поведите речь, – улыбаясь, сказала Никитишна.

– Как же так про себя? – спросила Фленушка.

– А вот как, – молвила Никитишна. – Вы, девицы, хоть не родные сестрицы, зато все красавицы. И вас не три, а целых семь вокруг меня сидит – Груню в счет не кладу, отстала от стаи девичьей, стала мужней женой, своя у ней заботушка... Вот и сидите вы теперь девицы, в высоком терему, у косяцата окна, а под тем окном Иван-царевич на коне сидит... Так, что ли?

Засмеялись девицы.

– Поглядеть в самом деле, не сидит ли у кельи Иван-царевич на сивке, на бурке, на вещей каурке... – сказала чернобровая Варя улангерская.

Проходя мимо открытого окна, Фленушка заглянула в него... Как в темную ночь сверкнет на один миг молния, а потом все, и небо, и земля, погрузится в непроглядный мрак, так неуловимым пламенем вспыхнули глаза у Фленушки, когда она посмотрела в окно... Миг один – и, подсевши к столу, стала она холодна и степенна, и никто из девиц не заметил мимолетного ее оживления. Дума, крепкая, мрачная дума легла на высоком челе, мерно и трепетно грудь поднималась. Молчала Фленушка.

– Сто лет во все окна глаза прогляди, никакого царевича здесь не увидишь, – брюзгливо промолвила Марьюшка в ответ на слова Вари улангерской.

– Ну его к Богу, Ивана-царевича, – добродушно улыбаясь, сказала девицам Дарья Никитишна. – Пусть его ездит под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми звездами. Сказывай, девицы, по ряду одна за другой, как бы каждая из вас с мужем жила, как бы стала ему угождать, как бы жизнь свою с ним повела?

– Что это вы, Дарья Никитишна! – усмехнувшись, молвила Варя, головщица улангерская. – Аль забыли, что мы Христовы невесты? В кельях живем, какие женихи к нам посватаются?

– К примеру, милая, молвится! – возразила Никитишна. – А и то сказать: здесь не одни девицы обительские; есть и такие, что, поди, зачастую про женихов с подушкой беседуют... Дунюшка, Параша, правду аль нет говорю? – усмехнувшись, прибавила она. – Нуте-ка, девицы, начинайте... Да смотри у меня, говорите правду, без хитростей. Котора что́ думает, без утайки, как на ладонке передо всеми думы свои выкладывай... А я, старуха, вас послушаю, да после того каждой правду-матку скажу, которая из вас будет лучше всех. Начинай, Варюшка, – обратилась она к

бойкой, веселой, голосистой чернобровке улангерской, малым чем уступавшей по красоте Дуне Смолокуровой, по демественному пению Марьюшке головщице.

Долго чинилась Варя, не сразу ответа добилась от нее Никитишна. Стыдно было ей первой говорить... Облокотясь на стол, склоня хорошенькую головку на руку и закрывая пол-лица пышным миткалевым рукавом, долго и много она отнекивалась. Наконец общие просьбы девиц и неотступные убеждения Никитишны развязали Варе язык.

– Когда б судьба моя не такая была, когда б не в кельях, а в миру я жила, волею замуж я не пошла бы, – так, подняв голову, начала говорить чернобровая смуглянка, и яркий багрянец разлился по лицу ее. – Дивлюсь я девицам, что охотой замуж выходят! Чтó за неволя менять девичью волю на замужнюю долю? А если б по родительскому приказу была я замуж выдана, мужа бы я почитала, во всем бы воле его покорялась, всем бы ему угождала. Жирные щи бы он бы хлебал, кашу ел бы крутую, рассыпчатую, блины, пряженцы каждое утро пекла бы ему, все бы на нем я зашила, все бы ему зачинила, в доме добрый порядок во всем повела.

– Ладно, Варюшка, хорошо ты сказала, красавица, – молвила Дарья Никитишна. – Хорошо... Добрая из тебя вышла б хозяйка, если б судьба велела тебе замужем быть. Твоя очередь, Дуня, – обратилась она к развеселой, болтливой Дуняше улангерской.

– Сама бы волей своей замуж и не пошла, как и Варя, – так зачала Дуняша, и глаза у ней загорелись, брызнув огнем искрометным. – А если б супротив воли выдали замуж меня, мужа бы я под свой салтык подвела. Ни ткать я, ни пряхсть не горазда, стряпать, варить не умею, горазда была бы я песенки петь. Была б у меня нá муже рубашка изорванная, одежда б у него незаплатанная, ел бы не пышно, ложился бы спать натошак. Зато веселехонько жизнь бы наша пошла: с ранной зари муж за гудок, я бы за песенки. То-то пошло бы житье развеселое!

Все засмеялись, даже стыдливая Дуня Смолокурова. Сама Аграфена Петровна улыбнулась на затейные речи Дуняшины.

– Король-девка! – вскрикнула Дарья Никитишна. – Только знаешь, что скажу я тебе нá это, Дунюшка? Живучи с такою женой, муж-то не вытерпел бы, не гудок, а плетъ в руки взял бы – запела б песню другим голосом, как раз-другой обошел бы он тебя дубовым корешком.

– Встарь таки дела бывали, что жен мужья бивали, а теперь сплошь да рядом живет, что жена мужа бьет, особенно как пьяненький пód руку попадет, – подхватила Дуняша.

Так и покатались все со смеху.



– Ах ты, шальная!.. Ах ты, озорная!.. – сама смеясь, говорила Дарья Никитишна. – Ухарь-девка, неча сказать! Хорошо, Дуняша, что в Христовы невесты угодила: замуж пошла бы, и на печи была бы бита, и о печь бита, разве только ночью не была бы бита... От такой жены мужу одно: либо шею в петлю, либо в омут головой.

– А туда ему и дорога! – махнув рукой, шаловливо засмеялась Дуняша.

И пуще прежнего все захохотали. А Дуняша им:

– Так уж и быть, пусть бы его уж побился, только бы сам утопился.

– Безумная!.. Что говоришь-то?.. Экое слово ты молвила! – вскрикнула Дарья Никитишна.

– А как же, по-твоему? – сказала Дуняша и бойким, задорным взором обвела всю беседу. – Нечто лучше, как муж жену бьет, а сам топиться нейдет?..

Громкий хохот покрыл затейную речь.

– Ну, понесла!.. Пошла городить!.. Будет с тебя, довольно!.. Других надо слушать, не ты одна в нашей беседе, – молвила Дарья Никитишна. – За тобой черед, – обратилась она к сидевшей рядом с Дуняшей маленькой беленькой Домнушке.

Заревом вспыхнуло миловидное личико нежной Домнушки, зарделось оно, ровно маков цвет. Заискрились умные очи, и ровно застыли, смежились дотоле весело смеявшиеся уста. Молчала она.

– Говори же. Что беседу задерживать? – молвила ей Дарья Никитишна. – Все говорят, все должны говорить, не тебе же одной в молчанки играть.

Собралась с духом Домнушка. Стыдясь и потупя глаза, стала она говорить:

– Не была б я самовольная, жила бы покорливо, почитала бы мужа, как крест на голове, и все по хозяйству справляла б, как следует... А попался б на горе-несчастье непутный какой и заел бы век мой, зла ему не помыслила б, слова супротивного ему не молвила бы... А не стало бы силы терпеть, сама б на себя руки я наложила.

Смолкла, и все замолчали. Ни слова не молвила Дарья Никитишна, не сказала, каково показалось ей задушевное слово маленькой Домнушки.

– Марьюшка, тебе говорить, – обратилась она к головщице.

Ровно осенняя ночь, нахмурила Марьюшка брови и мрачно на беседу взглянула. С недовольным видом брюзгливую речь повела:

– Не нам бы, несчастным, не нам, бесталанным, про брачное дело, про мирское житье разговоры водить. Мы, скитские белицы, все едино что отпетые, только в землю не закопанные мертвецы... Нет у меня ни роду, ни

племени, не видела я родной матушки, про отца и не слыхивала... Бессчастливая, безродная, подневольная!.. А была б я дочь отецкая, да жила б я в миру у хороших родителей, не выдали б они меня замуж, разве сама бы охотой пошла. А вздумали б выдавать меня за постылого, нелюбимого – камень на шею да в воду бы кинулась. Кто полюбился, за того охотой пошла бы, а не стали б отдавать, убежала бы с ним, самокруткой свенчалась, поймали бы – петлю на шею. А любимого мужа всячески б стала беречь я и холить. И была бы ему я верна, не осрамила б его головы, не нанесла бы позора ни на род, ни на племя его... Да что пустое говорить!.. Дело нестаточное!

Все промолчали. Сказала Никитишна Фленушке:

– Твой черед.

Начала Фленушка:

– Мне про мужа гадать не приходится – сызмальства живу я в обители. С раннего детства спозналась я с жизнью келейною. Не знаю, что и сказать тебе, Дарья Никитишна.

– Что на разуме лежит, то по правде, без утайки и сказывай, – молвила Никитишна.

– То-то и есть, что с разумом собраться не могу... Вздору, пожалуй, наплету, – сказала Фленушка.

– Не у попа на исправе, не на дух пришла исповедываться, – заметила Дарья Никитишна. – Не для ради дела, ради забавы беседу ведем. И вздору наплетешь, денег с тебя за то не возьмем. А ты сказывай, не отлынивай, остальных не задерживай, черед за тобой.

– Не таковская я, чтоб отлынивать, – с живостью, высоко подняв голову и гордо оглядев круг девичий, молвила Фленушка. – Ничего не потаю, все по правде выскажу, все по истине. Слушайте!

И, закинув голову, еще раз окинула вызывающим взором беседу и так начала:

– Захотела б я замуж идти – вышла б и отсюда, могла бы бежать из обители. Дело не хитрое, к тому же бывалое. Мало разве белиц из скитов замуж бегают?.. Что ж?.. Таиться не стану – не раз бродило в голове, как бы с добрым молодцем самокрутку сыграть... Да не хочу... Матушку не хочу оскорбить – вот что. А впрочем, и дело-то пустое, хлопот не стоит...

– Ай-ай, Фленушка! – головой покачала Никитишна. – Уж ты наскажешь, послушай только тебя.

Скитские девицы с усмешкой друг с дружкой переглянулись. Наземь опустила светлые взоры Авдотья Марковна, и стыдливый румянец облил нежное ее личико. Подняв голову от пялец, строгим, пытливым взглядом

поглядела на Фленушку Аграфена Петровна, но не сказала ни слова.

– Муж жене должен быть голова, господин, а мне такого ни в жизнь не стерпеть, – не глядя ни на кого, продолжала речь свою Фленушка. – Захотел бы кто взять меня – иди, голубчик, под мой салтык, свою волю под лавку брось, пляши, дурень, под мою дудочку. Власти над собой не потерплю – сама власти хочу... Воли, отваги душа моя просит, да негде ей разгуляться!.. Ровно в каменной темнице, в тесной келье сиди!..

– Полно, Фленушка!.. Опомнись, что говоришь! – молвила Дарья Никитишна.

Но не слушала слов ее Фленушка и так продолжала:

– И кому б такая блажь вспала в голову, чтоб меня взять за себя?.. Не бывать мне кроткой, послушной женой – была б я сварливая, злая, неугодливая!.. На малый час не было б от меня мужу покою!.. Служи мне, как извечный кабальный, ни шаг из воли моей выйти не смей, все по-моему делай! А вздумал бы наперекор, на все бы пошла. Жизни не пожалела б, а уж не дала бы единого часа над собой верховодить!..

– Ну что ты в самом деле плетешь на себя? Зачем небылицы на себя наваливать? – пыталась уговаривать ее Никитишна.

Не сдержат табуна диких коней, когда мчится он по широкой степи, не сдержат в чистом поле буйного ветра, не сдержат и ярого потока речей, что ливнем полились с дрожащих, распаленных уст Фленушки. Брызжут очи пламенем, заревом пышет лицо, часто и высоко поднимается пышная грудь под тонкой белоснежной сорочкой.

– Слушай, беседа, что я говорю! – громко воскликнула Фленушка в ответ на уговоры Никитишны и так продолжала: – Сердце у меня, девицы, неуклончивое, никому покориться оно не захочет – такая уж я на свет уродилась. Мужа лады со мной не возьмут. Так уж лучше мне в девках свой век вековать, лучше в келье до гроба прожить, чем чужую жизнь заедать и самой на мученье идти... А может, кто из вас подумает: «Это-де она только хвастает, попусту только похваляется», так слушайте, что стану вам говорить: захотела б я замуж, сегодня ж могла бы уходом уйти. Не слово сказать, глазом мигнуть – жених хоть сейчас передо мной, как лист пред травой. Молод, разумен, богат и удал, а с лица – мало таких красавцев земля родила. И любит меня беззаветно – слово скажу, в огонь и в воду пойдет...

– Безумная!.. Окстись... Какие ты слова говоришь?.. – с негодованием воскликнула Никитишна.

– Ты на речь навела, а я речь завела, теперь тебе слушать, а речь твоя впереди, – отрезала Фленушка. – В свахи, что ли, пошла, Дарья

Никитишна?.. Так посватай меня!.. Ну-ка, попробуй сыщи такого, чтобы смог меня покорить, сделал бы из меня жену боязливую, покорную да послушную... Ну-ка, попробуй!.. Не трудись напрасно, Никитишна! Весь свет обойди, такого не сыщешь! Нет по мне человека, таков на белом свету и не раживался!.. Наврала на себя я, девицы, что могла б хоть сегодня же свадьбу уходом сыграть. Есть такой, да нет его здесь. Хоть не за морем, за океаном, не за синими реками, не за высокими горами, а где-то далеко, сама не знаю я, где... А была б у нас сказка теперь, а не дело, – продолжала Фленушка взволнованным голосом и отчеканивая каждое слово, – был бы мой молодец в самом деле Иваном-царевичем, что на сивке, на бурке, на вещей каурке, в шапке-невидимке подъехал к нам под окно, я бы сказала ему, всю бы правду свою ему выпела: «Ты не жди, Иван-царевич, от меня доброй доли, поезжай, Иван-царевич, по белому свету, поищи себе, царевич, жены по мысли, а я для тебя не сгодились, не такая я уродилась. Ищи себе другую, ищи девицу, смирную, тихую, покорную, проживешь с нею век припеваючи...» А когда б Иван-царевич сюда пришел, показала б я ему на тебя, Авдотья Марковна. Ты – водой не замути. Тому ли, другому ли будешь ты женой богоданною, сама будешь счастлива и муж твой счастлив будет. Таково мое слово, девицы, и слово мое крепко!

И когда кончила Фленушка, все молчали. Ни слова не сказала и Дарья Никитишна. Мало повременя, молвила она Прасковье Патаповне:

– Тебе, Параша, теперь говорить.

Долго не отвечала Параша, как бы сбираясь с мыслями, наконец промолвила:

– А я бы день-деньской отдыхала.

– Что-о-о? – спросила Никитишна, глядя с удивлением на Прасковью Патаповну.

– Отдыхала бы, говорю, – ответила Параша. – Спала бы, дремала, не то бы и так полежала.

И сладко зевнула, закрывшись платочком.

– А в доме хоть трава не расти? – слегка покачав головой, спросила Никитишна.

– Зачем же? – сказала Параша. – По дому дела работницы справляли бы... Неужто самой?..

– А с мужем-то как бы жила? – оставив работу и устремив пытливый взор на Парашу, спросила Аграфена Петровна.

Покраснела Параша и, закрывая лицо батистовым рукавом рубашки, сказала ей:

– Стыдно сказать, сестрица...

Все засмеялись, кроме Аграфены Петровны и Дуни Смолокуровой. Одна с укором поглядела на Парашу и, молча покачав головой, опять принялась за вышиванье, другая, опустив голову и потупив глаза, молча, спокойно сидела.

– Чему смеяться-то? – быстро подняв голову и обводя беседу удивленными глазами, громко сказала Параша. – Известно, что бы делала, чай бы с мужем пила, обедала бы с ним, гуляла. Он бы из городу гостинцы привозил, платками да платьями дарил меня. Еще-то чего?

Не сказав ни слова Параше, обратилась Никитишна в Дуне Смолокуровой:

– За тобой черед, Дунюшка. Изволь раскрыть мысли, как другие девицы их раскрывали.

Подняла белокурую головку Дуня, ясным взором, тихо и спокойно обвела круг девушек и стала говорить нежным, певучим своим голоском. Чистосердечная искренность в каждом слове звучала, и вся Дуня добром и правдой сияла.

– Замуж пойду за того, кого люблю... Батюшка-родитель воли с меня не снимает. Неволей меня не отдаст. Кого по мысли найду, за того и пойду, и буду любить его довеку, до последнего вздоха, – одна сыра земля остудит любовь мою... И он будет любить меня, за иного я не пойду. А разлюбит, покинет, на другую сменяет – суди его Бог, а жена мужу не судья. И хотя б разлюбил он меня, никому бы я не пожаловилась, все бы горе в себе затаила, никто бы про то не узнал... А что буду делать я замужем, как стану с мужем жить – того я не знаю. Знаю одно: где муж да жена в любви да совете, по добру да по правде живут, в той семье сам Господь живет. Он и научит меня, как поступать...

Еще не кончила Дуня Смолокурова, как переставшая вышивать и с любовью во взоре глядевшая на говорившую девушку Аграфена Петровна, слышав легкий шорох снаружи, выглянула в окно.

– А у нас под окном и в самом деле Иван-царевич сидел на заваленке, – сказала она, улыбаясь.

Бросились к окнам. По обительскому двору, закинув руки за спину и думчиво склонив голову, тихими шагами удалялся от Манефиной кельи Петр Степаныч Самоквасов.

\* \* \*

Мать Юдифа вздумала побывать у знакомых игумений Комаровского

скита. Кликнула Варю, Дуняшу и Домнушку, с ними пошла. Аксинья Захаровна тоже вздумала посетить матерей, живших у Боярковых и Жжениных, и взяла с собой Парашу. Марьюшку позвала по какому-то часовенному делу уставщица Аркадия, Фленушку – мать Манефа. Остались в горницах Аграфена Петровна с Дуней Смолокуровой.

– Хорошо говорила ты, Авдотья Марковна, – нежно целуя ее, молвила Аграфена Петровна. – Жаль, что этот Самоквасов помешал договорить тебе мысли свои. Хорошие мысли, Дунюшка, добрые!.. Будешь людям мила, будешь Богу угодна; коль всегда такой себя соблюдешь, Бог не оставит, счастья пошлет.

Тихой радостью вспыхнула Дуня, нежный румянец по снежным ланитам потоком разлился. Дóроги были ей похвалы Аграфены Петровны. С детства любила ее, как родную сестру, в возраст придя, стала ее всей душой уважать и каждое слово ее высоко ценила. Не сказала ни слова в ответ, но, быстро с места поднявшись, живо, стремительно бросилась к Груне и, крепко руками обвив ее шею, молча прильнула к устам ее маленьким аленьким ротиком.

Нацеловавшись с Дуней, Аграфена Петровна рукой обвила ее стан и тихо спросила:

– Давеча ты говорила, что Марко Данилыч воли с тебя не снимает... Заходили разве у вас речи про женихов и замужество?

– Заходили, – спокойно ответила Дуня. – Великим постом на мои именины, как я с батюшкой поутру поздоровалась, подарил он мне платье шелковое, серьги алмазные, жемчугу, шубку соболью. Поговорили мы, уйти я хотела, а он говорит: «Обожди, Дуня, надо мне с тобой словечко сказать, давно этого я дня дожидался». Посадил он меня с собой рядышком, сафьянную коробочку из стола вынул и подал мне: «Вот, говорит, тут кольцо обручальное, отдай его, кому знаешь; только смотри, помни отцовский завет – чтоб это кольцо не распаялось, то есть чтоб с мужем тебе довеку жить в любви и совете, как мы с покойницей твоей матерью жили». И тут покатались у него слезы, и долго не мог он сказать мне ни слова. Я тоже заплакала... «С небесных высот она смотрит на нас, слышит голубушка, что мы теперь с тобой говорим... Не во власти ее голосок свой умильный подать, но, живучи с ней, не слыхивал я от нее никогда супротивного слова. Что мои мысли, что ее мысли завсегда бывали одни. И теперь, что стану тебе говорить, знай и верь, что это и мать твоя тебе говорит. Так и понимай мои речи». И опять залился слезами, и опять заплакала я. Обнял меня батюшка крепко и над головой моей выплакался. «Слушай же, – зачал опять, – сегодня восемнадцать лет тебе минуло –

совсем невеста стала, хоть сейчас под венец. Доселе про эти дела я с тобой не говаривал – мала была, неразумна, полного смысла в головушке еще не было. А теперь, как восемнадцать исполнилось, девятнадцатый пошел – пришла тебе пора своим разумом жить. Слушай же, Дуня: ни мать твою, ни меня родители венцом не неволили. И я неволить тебя не стану... Дал я тебе кольцо обручальное, отдай его волей тому, кто полюбится. А прежде чем отдать, со мной посоветуй – отец я тебе, кровь ты моя – худо не присоветую, а на ум молодую волю, пожалуй, добром наведу. Запрета тебе не кладу никакого – выбирай мужа по мысли, но без совету со мной колечка никому не давай». После того у нас речи о том не бывало.

– Добрый он у тебя, добрый и рассудительный, – молвила Аграфена Петровна. – Что ж, Дуня, придумала ль, кому колечко отдать? – прибавила она с ясной улыбкой.

– Нет еще, не придумала, – с детской простотой ответила Дуня.

– Никто не приглянулся? – продолжала Аграфена Петровна.

– Нет еще, покаместь никто, – улыбнулась Дуня такой улыбкой, что за эту улыбку любой молодец в огонь и в воду пошел бы.

– Не ищи, Дуня, красоты, не ищи ни богатства, ни знатности, – сказала ей Аграфена Петровна, – ума ищи, а пуще всего добрую душу имел бы, да был бы человек правдивый. Где добро да правда, там и любовь неизменна, а в любви неизменной все счастье людей.

– Сама тех же мыслей держусь, – молвила Дуня. – Что красота! С лица ведь не воду пить. Богатства, слава Богу, и своего за глаза будет; да и что богатство? Сама не видела, а люди говорят, что через золото слезы текут... Но как человека-то узнать – добрый ли он, любит ли правду? Женихи-то ведь, слышь, лукавы живут – тихим, кротким, рассудливым всякий покажется, а после венца станет иным. Вот что мне боязно...

– Богу молись, – сказала на то Аграфена Петровна. – Ты вот как делай, Дуняша. Если кто тебе по мысли придется и вздумаешь ты за него замуж идти – не давай сначала тем мыслям в себе укрепиться, стань на молитву и Богу усердней молись, молись со слезами, сотворил бы Господь над тобой святую волю свою. И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю Господню, иди тогда безо всякого сомнения за того человека, – счастье найдешь с ним. Если ж душа у тебя после молитвы не будет спокойна и сердце станет мутиться, выкинь из мыслей того человека, старайся не видеть его и больше Богу молись – избавил бы тебя от мыслей мятежных, устроил бы судьбу твою, как святой его воле угодно.

– Стану так делать, – тихо, чуть слышно молвила Дуня, глядя с

любовью на Аграфену Петровну. – Вот и теперь, как поговорила с тобой, стало у меня на душе и светло и радостно, мысли улеглись, и на сердце стало спокойней...

– А что?.. Мысли-то, видно, бродили? – с кроткой улыбкой тихо спросила ее Аграфена Петровна.

– Немножко... Чуть-чуть, – опустив глаза, прошептала Дуня.

– Чего ж таиться? Мне-то ведь можно сказать, – молвила Аграфена Петровна, пристально взглянув на покрасневшую Дуню.

– Да нет... не стоит про то говорить... Так, одни пустые мысли... с ветру, – молвила Дуня и, припав к лицу Аграфены Петровны, поцелуями покрыла его. – Зачем это давеча Фленушка про меня помянула?.. – тихо прошептала она.

– Молись, Дуня, молись! – говорила, лаская ее, Аграфена Петровна.

\* \* \*

Когда Фленушка вошла в келью Манефы, та показала ей на стол, где уже лежала бумага и стояла чернильница. Манефа сказала:

– Пока гости ходят по обителям, напиши-ка нужные письма. Садись. К матушке Таифе пиши наперед.

Покуда Фленушка писала обычное начало письма, Манефа стояла у окна и глядела вдаль. Глубокая дума лежала на угрюмом и грустном челе величавой игуменьи.

– Кончила, – вполголоса молвила Фленушка, подымая от письма голову.

– Пиши, – приказала Манефа и стала ходить по келье, сказывая: – «Обительский праздник святых, славных и всехвальных, верховных апостол Петра и Павла, по милости Божией и за молитвы пресвятыя Богородицы и всех святых, провели мы благополучно. Гостей было довольно, из всех скитов приезжали, одних игумений было двадцать четыре, я сама двадцать пятая. После трапезы было в келарне собрание: советовали насчет архиепископа да насчет належащих нам по скорости напастей, сиречь выгонки из скитов, о чем самые верные получены известия. Об архиепископе единогласно все согласились до поры до времени обождать принятием, понеже человек неизвестен и в правой вере учинился не в давнем времени, а до того был в беспоповых, от чего и подает немалое сомнение насчет крепости в вере. Зело опасно, не осталось ли в нем кваса фарисейска, сиречь беспопового духа. И тебе бы, мать



Таифа, ради всеобщего покоя порадеть – будучи на Москве, поподробну осведомись об оном Антонии, чего ради перешел из беспоповской секты в нашу истинную веру, не ради ли архиерейския почести, или каких иных житейских корыстей. И справедливы ли слухи, яко бы он до беспоповства пребывал в великороссийской и после того на Преображенском кладбище перекрещивался. Если сие справедливо, то немалую вину он к сомнению подает, меняя одну веру на другую и ругаясь святому крещению его повторением. Опять же сказывают, яко бы он двоеженец: сначала-де в великороссийской принял браковенчание, а потом, овдовев, будучи уже в беспоповых, жил немалое время с другою, нарицаемою своею женою. Когда же и сие справедливо, то никак невозможно прияти его: по апостолу бо подобает епископу быти единыя жены мужу, а двоеженцы ни в какой духовный чин, не токмо не превысокую степень архиерейства, поставлены быть не должны. Насчет же предстоящей выгонки из скитов, хотя и предлагала я бывшим на собрании, которые к нашему городу приписаны, теперь же, не дожидаясь выгонки, перевезти туда кельи, однако согласных на то не явилось. Но хотя согласных со мною и не было, однако же я от своего намерения не отступлю и после Ильина дня расположила кельи ломать и перевозиться. Потому прошу тебя, матушка, и ради Бога умоляю, поспеши ты своим прибытием – без тебя не знаю, как к чему и приступить. Святыня, которую раздала ты по Москве, пускай остается у христороубцев впредь до утишения наших обстоятельств... А так как Василий Борисыч в скором времени возвращается в Москву и по всей чаянности станет укорять нас, что не хотели послушать его уговоров и принять того Антония, о чем он всеусердно старался, так ты и в Питере и будучи в Москве предвари и всем благодетелям нашим возвести, что не приняли мы того Антония не ради упорства и желая с ними раздора, но токмо осмотрительного ради случая; общения же ни с кем не разрываем и по-прежнему желаем пребывать в согласии и в единении веры. Потому, сама ты посуди, матушка, если мы теперь при нынешних наших обстоятельствах и по случаю выгонки из святых обителей, при тесном нашем обстоянии, да еще лишимся помощи наших благодетелей, то и жить чем, не знаем. И потому, слезно молю тебя, потолковее со всеми поговори, чтоб они гнева своего на нас не держали за временное наше, а не всегдашнее, несогласие, но, снисходя к нам, убогим, при таких налегающих на нас бедах, помогли бы своим вспоможением, сколько им Господь на сердце положит. А говорить бы тебе им пожалостнее и сколь возможно поумильнее, дабы в сердцах своих восчувствовали к нам, сиротам, сострадание – настоит-де теперь великая нужда помочи нам, убогим, за мир христианский Бога молящим. За

сим, прекратя сие писание...» Обычно дописывай, – молвила Манефа, – шли прощение и благословение.

Кончила Фленушка, и Манефа, перекрестясь, подписала письмо, а потом сказала:

– К Полуехту Семенычу пиши.

Полуехту Семенычу было писано, чтоб закупил он кирпичи да изразцов для печей, а если нет готового кирпича, заказал бы скорей на заводе, а купчую бы крепость на все дома и на все дворовые места писал на ее одно Манефино имя, а совершать купчие она приедет в город сама после Казанской на возвратном пути из Шарпана.

– Так-то будет вернее, да и мне спокойней, – молвила Манефа, подписав письмо. – Помру, все тебе достанется, если на мое имя купчие совершим...

Ничего не ответила Фленушка.

– Опять я к тебе с прежними советами, с теми же просьбами, – начала Манефа, садясь возле Фленушки. – Послушайся ты меня, Христа ради, прими святое иночество. Успокоилась бы я на последних днях моих, тотчас бы благословила тебя на игуменство, и все бы тогда было твое... Вспомнить не могу, как ты после меня в белицах останешься – обидят тебя, в нуждах, в недостатках станешь век доживать беззащитною... Послушайся меня, Фленушка, ради самого Создателя, послушайся...

– Ах, матушка, матушка! – вскрикнула Фленушка и вдруг смолкла, задумалась.

– Для тебя же прошу, для твоей же пользы, – продолжала Манефа. – Исполнишь мое желание, довеку проживешь в довольстве и почете, не слушаешь – горька будет участь твоя. Ты уж не махонькая, разум есть в голове: обсуди, обдумай все хорошенько... Ну скажи по чистой совести, отчего не хочешь ты меня послушаться, отчего не хочешь принять иночество?

– Не снести мне, матушка!.. Молода еще я – не могу за себя поручиться, – взволнованным голосом ответила Фленушка, и тревожные слезы посыпались в упавшем ее голосе.

– Ну хорошо, не снесешь, – полушепотом сказала ей Манефа. – Что ж из того?.. Тайно соделанное тайно и судится; падение же очищается слезами и покаянием... Гласного соблазну только бы не было... А то, – вздохнув, прибавила Манефа, – все мы люди, все человеки, все во грехах, яко в блате, валяемся... Един Бог без греха...

– Ах! Не знаю, что и сказать тебе, матушка! – с отчаянием во взоре и с порывистым движеньем молвила Фленушка.

– Одумайся, сберись с мыслями! Говори, что у тебя на уме, – сказала Манефа.

Не ответила Фленушка.

– Слушай, – вдруг пораженная новой, не приходившей дотоле ей мыслью, сказала Манефа. – Не хочешь ли в мир уйти?

Зарыдала Фленушка и припала головой к плечу игуменьи.

– По мысли кого не нашла ли? – шептала ей Манефа.

– Не разрывай ты сердца моего, матушка!.. – едва слышно промолвила Фленушка.

– Господи, Господи!.. Вот не ждала-то я, не чаяла, – встав с места, всплеснула руками Манефа и обратила слезящий взор свой к иконам.

Наклонив голову и закрыв лицо руками, безмолвно сидела у стола Фленушка. Горько она рыдала.

Манефа тоже села. Она была в сильном волнении. Сильная краска выступила на смугло-желтом лице.

– Ни укора, ни попрека от меня не услышишь, – сдерживая порывы волнения, она говорила. – Скажи только всю истинную правду... Все, говори все, ничего не утай... Во всем покайся... все прощу, все покрою материнской любовью!

– Матушка!.. Поверь ты мне!.. Как перед Богом скажу, – рыдая и ломая руки, говорила Фленушка. – Молода еще – кровь во мне ходит. Душно в обители, простору хочет душа, воли!

– Счастье не в воле, а в доле, – тихо и нежно сказала Манефа. – Неволья только крушит, а воля человека губит... Да и на что же ты ропщешь? Не в темнице живешь, за затворами да запорами?.. Разве нет тебе воли во всем?.. Говори скорей, не томи меня, всю правду скажи. Слюбилась, что ли, с кем?

Подняла Фленушка на Манефу светлый, искренний взор и сказала:

– Видит Бог, что телом чиста я, как сейчас из купели.

– А душой? – спросила Манефа.

– Мутится душа, сердце горит, разрывается... Воли мне хочется!.. – в сильном волнении говорила Фленушка. – Не совладать мне с собой, матушка!..

– Полюбила, что ли, кого?.. – чуть слышно спросила ее Манефа, опуская на глаза креповую наметку.

Замолкла Фленушка. Долго не было от нее ответа, градом текли горькие слезы по бледному лицу девушки, и слышны были судорожные, перерывчатые рыдания.

– Нет, матушка, нет!.. Теперь никого не люблю... Нет, не люблю больше никого... – твердым голосом, но от сильного волнения перерывая

почти на каждом слове речь свою, проговорила Фленушка. – Будь спокойна, матушка!.. Знаю... ты боишься, не сбежала бы я... не ушла бы уходом... Самокруткой не повенчалась бы... Не бойся!.. Позора на тебя и на обитель твою не накинута!.. Не бойся, матушка, не бойся!.. Не будет того, никогда не будет!.. Никогда, никогда!.. Бог тебе свидетель!.. Не беспокой же себя... не тревожься!..

– Ах, Фленушка, Фленушка! – вскрикнула Манефа, горячо прижав к груди своей голову девушки. И слезы, давно не струившиеся из очей старицы, окропили бледное лицо Фленушки.

– Ты плачешь, матушка!.. – сквозь слезы лепетала, прижимаясь к Манефе, Фленушка. – Вот какая я злая, вот какая я нехорошая!.. Огорчила матушку, до слез довела... Прости меня, глупую!.. Прости, неразумную!.. Полно же, матушка, полно!.. Утоли сердце, успокой себя... Не стану больше глупых речей заводить, никогда из воли твоей я не выйду... Вечно буду в твоём послушанье. Что ни прикажешь, все сделаю по-твоему...

– Фленушка!... Знаю, милая, знаю, сердечный друг, каково трудно в молодые годы сердцем владеть, – с тихой грустью и глубоким вздохом сказала Манефа. – Откройся же мне, расскажи свои мысли, поведай о думах своих. Вместе обсудим, как лучше сделать, – самой тебе легче будет, увидишь... Поведай же мне, голубка, тайные думы свои... Дорога ведь ты мне, милая моя, ненаглядная!.. Никого на свете нет к тебе ближе меня. Кому ж тебе, как не мне, довериться?

– Повремени, матушка, – отирая слезы, молвила Фленушка. – Потерпи немножко. Скоро, скоро все расскажу. Все, все. А теперь... Вон матушка Юдифа идет, – прибавила она, взглянув в окошко. – Как при ней говорить... Погоди немножко, всю душу раскрою тебе...

И, поцеловав руку Манефы, тихо пошла вон из кельи. Молча глядела игуменья на уходившую Фленушку, и когда через несколько минут в келью вошла Юдифа, величавое лицо Манефы было бесстрастно. Душевного волнения ни малейших следов на нем не осталось.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Простившись с Патапом Максимычем, Василий Борисыч к Манефе пошел. Он не видался еще с нею после собора.

– Ну, что порасскажете, любезный мой Василий Борисыч? – слегка улыбнувшись, спросила его игуменья после обычного начала и метаний. – Хорошо ль отдохнули после вчерашних трудов?

– После вчерашних не скоро отдохнешь, матушка!

– Про то поминаешь, что до солнышка-то? – усмехнулась Манефа.

– Нет, матушка, не с того похмелья у меня голова болит... Вы вчор меня употчевали, – с укором сказал ей Василий Борисыч.

– Про обед говоришь?

– Не про обед, а про то, что после обеда-то было, – сказал московский посол. – Про собрание говорю, матушка, про собрание... Таково вы меня угостили, что не знаю теперь, как в Москву и глаза показать.

– Что ж делать, любезный Василий Борисыч? – вспыхнула немного Манефа. – Сам был очевидцем, сам был и послухом. Слышал, как матери приняли ваше московское послание. У всякого свой ум в голове, Василий Борисыч, у всякого свое хотенье... Всех под свой салтык не подведешь... Так-то!

– Захотели б вы, матушка, все могли бы обделать, – сказал Василий Борисыч. – Они вас во всем слушаются. Это малому даже ребенку видно. Приняли же совет ваш. Что вы сказали, то и уложили.

– А ты думаешь, так бы и послушались, если б я стала возносить вашего Антония?.. Как же!.. – говорила Манефа. – Нет, Василий Борисыч, не знаешь ты наших соборов, да и людей-то здешних мало, как вижу я, знаешь. Не то что по такому великому делу, какого двести лет не бывало, по пустяшным делам, по хозяйству либо по раздаче присылок без большого шума у нас никогда не бывает. Тут, сударь, у всякой пташки свои замашки, у каждой птички свой голосок. Ум на ум не приходится, да и друг дружке покориться не хочется. Глафириных аль Игнатьевых взять, либо Нонну Гордеевскую. У них на разуме: «Кто-де как хочет, а я как изволю». С такими советницами какое дело поделаешь? Грех один. И за то спасибо скажи, что наотрез не отказали тебе.

– Да разве это не отказ? – недовольным голосом сказал Василий Борисыч.

– Не отказ, – ответила Манефа. – Тебе сказали: «Повремени –

подумаем». Как же ты хочешь, чтоб в таком великом деле сразу согласились? То размысли, любезный Василий Борисыч: жили мы, почитай, двести годов с бегствующими попами, еще деды и прадеды наши привыкли к беглому священству. Вот мы и век доживаем, а того же сызмальства держались. И вдруг завелись свои архиереи, свои попы, своя иерархия!.. До кого ни доведись, всяк призадумается. Не испытавши доподлинно, кто согласится принять?.. Дело душевное, великое дело!.. Ведь если что не так в вашем архиерействе окажется – навеки души-то погубим, если, хорошенько не испытавши, примем, по приказу москвичей, епископа. Когда затевали это дело, спросились ли они нас?.. Известили ль кого из наших хоть малым писанием?.. Ну-ка, скажи.

– Как же, матушка, не спросились? – возразил Василий Борисыч. – На московском соборе от вас было двое послов: старец Илия улангерский да отец Пафнутий, керженского Благовещенского монастыря строитель и настоятель.

– Несодетанные речи говоришь ты, Василий Борисыч, – молвила Манефа. – Отец-то Илия без малого двадцать лет помер, да и отцу Пафнутию больше десяти годов, как представился, – молвила Манефа.

– Про тот собор говорю я, матушка, что на Рогожском кладбище был в седьмь тысяч триста сороковом году,<sup>[438]</sup> на другой год после первой холеры, – сказал Василий Борисыч. – Тогда ото всех обителей Керженских и Чернораменских предъявлено было согласие искать архиерейство и утвердить владычный стол в коем-либо зарубежном граде.

– Что б уж тебе, Василий Борисыч, про Ноев ковчег вспомнать, – усмехнулась Манефа. – Тому делу, что сказываешь, двадцать лет минуло. Неужто во столько времени ваши московские не могли изобрать времени, чтоб о столь великом деле во всей подробности известными сделать нас?.. Сами же вы, сиречь Рогожского кладбища попечители, покойницу матушку Екатерину, мою предместницу, извещали, что деяние московского собора триста сорокового года яко не бывшее вменили. Цела у нас та московская грамота – хочешь, сейчас перед тобой выложу? После того как вновь затеяли дело, отчего ж не потребовали нашего согласия?.. Василий Борисыч! Керженец в нашем христианстве что-нибудь да значит – не деревушка какая, не городишко захолустный! Можно бы, кажется, было почтить наши святые места хоть бы самым кратким писанием. Не безвестные мы какие! Керженца имя двести годов высоко по всему христианству держалось, – как бы, кажись, его позабыть?

– Не посетуйте, матушка, что скажу я вам, – молвил Василий Борисыч. – Не забвение славного Керженца, не презрение ко святым

здешним обителям было виною того, что к вам в нужное время из Москвы не писали. Невозможно было тогда не хранить крепкой тайны происходившего. Малейшее неосторожное слово все зачинание могло бы разрушить. И теперь нет ослабы христианству, а тогда не в пример грознее было. Вот отчего, матушка, до поры до времени то дело в тайне у нас и держали.

– Не к тому я молвила, чтобы жалобы тебе приносить, – сказала Манефа. – Московскими благодетелями мы очень довольны. Дай им, Господи, доброго здравия и душам спасения!.. К тому говорю я, Василий Борисыч, что невозможно было вчера от здешних матерей требовать, чтоб они, ничего не видя, так тебе вдруг и согласились на принятие архиепископа... Он же, как сам говоришь, в недавнем лишь времени к истинной вере от беспопового суемудрия обратился. А мы к тому слышали еще, о чем вчера на собрание я промолчала, якобы твой Антоний еще прежде беспоповства пребывал в великороссийской церкви, а потом перекрещеванцем стал и якобы был двоеженец. По правилам, в столь сомнительных случаях подобает все испытати подробно... Как же нас укорять, что мы испытать желаем, да не впадем в сеть ловчу?.. Сам посуди. А общения с приемлющими его не разрываем, держим только себя опасно.

– Очень неприятно это будет в Москве, – молвил Василий Борисыч.

– Мы, государь мой, не Москве, а Господу Богу работаем, – с важностью сказала Манефа. – Не человеческой хвалы, спасения душ наших взыскуем. Не остуды московских тузов страшимся, а вечного от Господа осуждения... Вот что скажи на Москве, Василий Борисыч!

– Однако ж, матушка... – начал было Василий Борисыч, но одумался, не договорил.

– Что «однако ж»? Договаривай, коли начал, – спокойно сказала Манефа.

– Нет, я так... – смешался московский посол.

– Договаривай, договаривай, – настаивала Манефа. – Ведь мы не насчет гулянок с Патапом беседуем, о деле великой важности толкуем... скажи, что хотел говорить?

– Я бы хотел сказать, что и батюшке Ивану Матвеичу, и матушке Пульхерии, и Мартыновым, и Гусевым, и всем главным лицам нашего общества ваше решение станет за великую обиду. Они старались, они ради всего христианства хлопотали, а вы, матушка, ровно бы ни во что не поставили ихних стараний, не почтили достойно ихних трудов, забот и даже опасности, которой от светского правительства столько они раз себя подвергали.

– А!.. Вот что!.. – с желчной раздражительностью вскрикнула Манефа. – Им бы хотелось, чтоб мы по их приказу стадом баранов, сломя голову метнулись, куда им угодно?.. Нет, Василий Борисыч, на Керженце этого никогда не бывало, да никогда и не будет... Тельцу златому не поклонимся!.. Мы люди лесные, простые, московских обычаев не ведаем. У вас на Москве повелось, что в духовные дела миряне вступают, – мы того не допустим. Так и скажи им, Василий Борисыч!.. Не нам мирских богачей слушаться, по духовному делу они должны нас послушать... Они Христовой церковью, как лавками либо конторами своими, вздумали править... Этого мы не потерпим. Хотя б общенье пришлось разорвать, хотя б ото всех благодетелей оставлены были, хоть бы нам с голоду пришлось помирать, Божией церкви не продадим.

– Жестоки слова ваши, матушка, – молвил сильно смущенный Василий Борисыч. – Не поскорбите на меня, а доложу я вам, что такое ваше мнение насчет попечителей и старейших членов нашего общества весьма несправедливо... Позвольте разъяснить все дело, как оно было доселе и как теперь идет.

– Будем слушать, – холодно промолвила Манефа, сложив руки на коленях и склонив голову.

Начал Василий Борисыч:

– Когда воспрещено было нашим христианам при молитвенных храмах дозволенных попов содержать, тогда по малом времени всюду настало «великое оскудение священства». Великая духовная нужда налегла повсеместно, и многие древлеблагочестивые христиане, не имея освящающих и будучи лишены церковных таин, в беспоповское суемудрие впадали, иные ж «сумленных попов» принимали – беглых солдат, либо других шатунов каких. Великое от того нестроение было, и не столько в Москве, сколько по местам отдаленным, хоть бы ваше место, к примеру, взять. В Москве на Рогожском кладбище доживали свой век последние дозволенные попы, и оттого нам нужды такой еще не настояло, какая вас постигла. Тогда, не о себе заботясь, а больше всего о вас, иногородных, болезнующих и сострадающих словесным овцам, пастыря неимущим, первостатейные из нашего общества: Рахмановы, Соколовы, Свешниковы и многие иные, не чести ради или какого превозношения, но единственно христианского ради братолюбия и ради славы церкви Христовой, подъяли на себя великий и опасный труд – восстановить позябший от двухсотлетнего мрака корень освящения, сиречь архипастырство учредить и церковь Христову полным чином иерархии украсить... По благословию батюшки Ивана Матвеича и многих нарочито прибывших



тогда в Москву отцов: Силуяна иргизского, Симеона Лаврентьева монастыря с Ветки, Рафаила Покровского монастыря, Сергия и Ипполита Никольского монастыря из слобод Стародубских, отцов Илии и Пафнутия керженских и с общего совета присланных ото всех старообрядских обществ совещателей, единогласно приговорили и, конечно, уложили: искать епископа, да проистечет от него навеки неиссякаемый источник освящения. В Питер дали знать о том, и там первостатейные лица нашего согласия стали тому делу весьма усердны: Громы, Дрябины, Боровков и другие. Когда же милостию Божиею тому делу начало было положено и приисканы люди для искания архиерея во иных державах, то дело в великой тайне оставили, опасаясь могущих возникнуть препон, каковые впоследствии и оказались. И дело то происходило немалое время, и лишь только через двенадцать лет после первого Рогожского собора в зарубежной Белой Кринице водворился митрополит всех древлеправославных христиан кир Амвросий, от него же корень епископства произыде... Не то чтобы призвать вас и других христиан, по отдаленным местам живущих, к исканию архиерейства было невозможно, но паче таить обо всем надлежало, да не разрушено было бы наше предприятие в самом начале. И теперь, по устроении священной иерархии, первостатейные наши лица всячески стараются и не щадят никаких иждивений на процветание за рубежом освященного чина, труды подъемлют, мирских властей прещения на себя навлекают, многим скорбям и нуждам себя подвергают ни чего ради иного, но единственно славы ради Божией, ради утверждения святой церкви и ради успокоения всех древлеправославных христиан древлего благочестия, столь долгое время томимых голодом, не имея божественных трапезы и крови Христовой.

— Кончил? — спросила Манефа, когда Василий Борисыч приостановился.

— Что ж, матушка, разве неправду говорю? — молвил он ей в ответ.

— Правда не речиста, Василий Борисыч, много слов на нее не надо, а ты сколь наговорил? — улыбнулась Манефа. — Что усердствовали московские, за то им честь и великая благодарность. А что властвовать задумали, паче меры захотели выситься над нами, то им в стыд, во срам, в позор и поношение!.. Гордыня обуяла их, Божиим делом стали кичиться и тщеславно в заслугу себе поставлять, что Господь их руками устроил... Нет, Василий Борисыч, приедешь в Москву, скажи всем: «Беден, мол, и немощен старый Керженец, и дни его сочтены, но и при тесном обстоянии своем мирским людям он по духовному делу не подчинится». Вспомнили бы словеса Григория Богослова: «Почто твориши себя пастырем, будучи

овцою, почто делаешися главою, будучи ногою?» Скажи им, что мы свято храним правила вселенских соборов и святых отец, а в шестьдесят четвертом правиле шестого собора что сказано? «Не подобает мирянину брати на себя учительское достоинство, но повиноватися преданному от Господа чину». А что есть преданный от Господа чин? Первее – чин освященный: епископы, пресвитеры, диаконы, за сим чин иноческий, тоже освященный... Так аль нет?.. Освященный ведь?.. Стало быть, не нас учить, не нами властительски повелевать московским мирским людям довлеет, а от нас поучаться, нам повиноваться... Сам ты тверд в писании, лучше других знаешь. Правду аль нет говорю?.. И тебе бы, Василий Борисыч, не повеления мирян пребывающим в иноческом чину передавать, не грозить бы нам, убогим, их остудой, а их бы поучать от божественного писания, да покорятся освященным и да повинуются святей Божией церкви...

– Матушка! Да какие ж от наших московских бывали к вам повеления?.. Какое властительство?.. Помилуйте! – оправдывался Василий Борисыч. – Вам только предлагают церковного ради мира и христианского общения принять архиепископа, а власти никакой над вами иметь не желают. То дело духовных чинов. Примете архиепископа – его дело будет...

– Сумнителен, – молвила Манефа. – И прежде я не раз говорила тебе, что насчет этого дела мы пока еще ни на что не решились, колеблемся... По времени увидим, что за человек ваш хваленый Антоний. А не увидим, так услышим об его действиях. Чего доброго, такой же еще будет, что Софрон. Таких нам не надо.

– Какой же ответ будет от вас? Что прикажете на Москве доложить? – после долгого молчания спросил Василий Борисыч.

– А то и ответ: желают-де повременить. Да и сама к Петру Спиридонычу письмецо с тобой пошлю, подробно опишу все наши обстоятельства и все наши сомнения. Когда думаешь отправляться?

– Да по мне чем скорее, тем лучше, – ответил Василий Борисыч.

– В Шарпан не поедешь?

– Что мне там делать? Дело мое на Керженце кончено, – сухо, недовольным голосом ответил московский посланник.

– Богородице помолился бы, чудной иконе ее поклонился бы, поглядел бы на дивную нашу святыню, – молвила Манефа. – Опять же и матушка Августа очень звала тебя – старица почтенная, уважить бы ее надо. Собрание же будет большое – еще бы потолковал с матерями. А впрочем, как знаешь: свой ум в голове.

– Нечего мне больше толковать с матерями, все было протолковано, – сказал Василий Борисыч.

– Все бы лучше съездить, а то, пожалуй, зачнут говорить: со злом-де на́ сердце поехал от нас, – сказала Манефа. – Мой бы совет съездить, а там мы бы и держать тебя больше не стали. А впрочем, как знаешь, мне тебя не учить.

– Не знаю, что сказать вам на́ это матушка, – отвечал Василий Борисыч. – Вот теперь хоть насчет бы Москвы – как приеду туда, как покажусь? Поедом заедят. Жизни не рад станешь. А ведь я человек подначальный.

Молчала Манефа.

– Разве уж к Патапу Максимычу в самом деле в приказчики идти? – молвил Василий Борисыч, думая кольнуть тем Манефу.

– Твое дело, – сухо промолвила она, глядя в окошко.

Опять замолчали.

– Счастливо оставаться, матушка, – сказал наконец Василий Борисыч. – Прости, матушка, благослови.

И по чину сотворил уставные метания.

– Бог простит, Бог благословит, – проговорила прóщу Манефа, и Василий Борисыч медленно вышел из кельи.

\* \* \*

Жалко стало Василью Борисычу, что на прощанье маленько поразладил он с матерью Манефой. Полюбил он умную, рассудливую старицу и во время житья в Комарове искренно к ней привязался... И вдруг на последних-то днях завелась ссора не ссоры, а немалая остуда.

Обошел он знакомую обитель по всем закоулкам, на окна больше посматривал, не увидит ли где ненаглядную Дуню Смолокурову. Не удастся ль хоть глазком на нее взглянуть. Но никого, кроме Марьи головщицы, не встретил. Говорит ей Василий Борисыч:

– Домой собираюсь, Марьюшка. Прощайте, не поминайте лихом. А не попеть ли нам на прощанье?.. Скликай девиц.

– Что мало погостил?.. Аль соскучился? – спросила Марьюшка.

– Пора и честь знать, не век же гостить, – ответил Василий Борисыч.

– А я думала, что вам от нас и повороту не будет, – вскинув на него лукавыми глазками, с легкой усмешкой промолвила Марьюшка.

– Почему ж так? – спросил Василий Борисыч.

– Так уж я догадалась, – молвила Марьюшка.

– Да с чего ж догадалась-то?.. С чего? – приставал Василий Борисыч.

– Да уж так! У меня свои приметы есть, – улыбаясь, молвила Марьюшка.

– Какие приметы?

Но сколько ни приставал Василий Борисыч, ничего больше ему не сказала.

«Ох, искушение!.. Не заметила ль и она чего в Улангере», – подумал про себя Василий Борисыч.

«Поскорей надо Фленушке про это сказать», – подумала Марья головщица.

– Ступайте в келарню, Василий Борисыч! Давайте в самом деле споем что-нибудь... Может статься, в остатный разок, – сказала Марьюшка. – Мигом скликну девиц.

Василий Борисыч в келарню пошел, Марьюшка к Фленушке в горницу.

\* \* \*

Пластом лежала на постели Фленушка. В лице ни кровинки, губы посинели, глаза горят необычным блеском, высокий лоб, ровно бисером, усеян мелкими каплями холодного пота. Недвижный, утомленный взор устремлен на икону, что стояла в угольной божнице.

«Все ли слышал, все ли мои речи выслушал ты, друг мой сердечный, Иван-царевич?.. Наговорила я и невесть чего... Только б остуде быть в тебе!.. Только покинул бы ты меня, горькую, забыл бы про меня, бесталанную!.. А уж как бы я любила тебя, как бы жалела, берегла тебя!.. День бы деньской и ночью во сне об одном о тебе бы я думала, во всем бы угождала другу милому, другу моему советному... Нельзя!.. Матушка!.. Во гроб ее сложишь!.. Я же бедная, а он богач – из его рук пришлось бы смотреть, его милостями жить... Да и что ему за жена келейница? Стыдно б ему было и в люди меня показать!.. Живи, мой сердечный, живи, живи с другой в счастье, в радости... Не загублю я жизни твоей... Вот бы ему в самом деле Дуня Смолокурова!.. Ох, милый ты, милый, сердечный ты мой!.. Матушка опять говорила про иночество... Пропадай моя жизнь!..» – так думала сама с собой Фленушка, недвижно, почти бездыханно лежа на постеле.

Вдруг влетела в горницу Марья головщица.

– Что ты, Марьюшка? – слабым голосом спросила ее Фленушка.

– Я было к тебе... Да чтой-то с тобой?.. Аль неможется? – спрашивала головщица.

– И то неможется, – ответила Фленушка, тихо поднимаясь с постели. – Голова что-то болит.

– А я было с весточкой, – прищулив глаза и слегка мотнув головой, молвила Марьюшка.

– Что такое? – встав с постели и сев у окна, возле пялец, спросила Фленушка.

– Ехать собирается, – сказала Марьюшка.

– Кто?

– Василий Борисыч.

Вскочила Фленушка с места. Мигом исчезла бледность в лице ее.

– Кто сказал? – быстро спросила она.

– Сам говорил, – молвила Марьюшка. – Певчую стаю в келарню собирает, в останний раз хочет с нами пропеть... В келарню пошел, а я к тебе побежала – сказать...

– Врет! – топнув ногой, вскрикнула Фленушка и быстрыми шагами стала ходить взад и вперед по горнице. – Не уехать ему!.. Не пущу!.. Жива быть не хочу, а уж он не уедет!.. На Казанскую быть ему венчану... Смерти верней!..

– Да как же ты остановишь его?.. Не подначальный он нам, захочет уехать – уедет, – говорила Марьюшка.

– Так ли, этак ли, а его не пущу... Придумаю!.. Ступай, Марьюшка, собирай девиц, пойте, да пойте как можно подольше... Слышишь?.. До сумерек пойте... А я уж устрою... Во что бы ни стало устрою!..

Вышла из горницы Марьюшка, а Фленушка по-прежнему взад да вперед по горнице быстро ходила... «Надо Параше здесь остаться». Так она придумала.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вчерашний именинник, Петр Степаныч Самоквасов, после шумной пирушки спал долго и крепко. Проспал бы он до полден, да солнце мешало. Заглянуло в окошко большой светлицы Бояркиных, облило горячими лучами лицо черствого именинника<sup>[439]</sup> и так стало припекать его, что, вскочив как сумасшедший и смутным взором окидывая светлицу, не сразу понял, где он. Во рту пересохло, голова как чугунная, в глазах зелень какая-то. Вспомнил, что важно справил свои именины. Взглянул на часы – стали, плюнул, выбранился, стал одеваться. Едва успел кончить, в светлицу вошла мать Таисея с чайным прибором на тагильском подносе, за ней толстая дебелая Варварушка, с боку на бок переваливаясь, несла кипящий самовар.

– С добрым утром поздравляю, с черствыми именинами! – с лукавой усмешкой сказала игуменья, ставя на стол поднос с чашками.

Петр Степаныч чин чином: сотворив два метания, простился, благословился.

– Никак вечер до солнышка вплоть? – по-прежнему улыбаясь, спросила мать Таисея.

– Было дело, матушка, – отрезал Самоквасов. – Признаться сказать, не помню, как и до светлицы доволокся... Шибко зашибли!

– Ах вы, греховодники, греховодники! – шутливо говорила игуменья. – Выдумают же такие дела во святой обители чинить! Что ни стоят скиты, а такого дела ни у нас, ни по другим местам не бывало... Матушка-то Манефа, поди-ка, чать, как разгневалась...

– Что мы у нее посуды переколотили! – махнув рукой, усмехнулся Самоквасов.

– Посуда-то чем провинилась? Ах вы, озорники, озорники! Ну, да уж не диви бы на вас, молодых, старики-то, старики-то туда же! Чем бы унимать молодых, а они сами! – говорила мать Таисея.

– И зачинщиками-то они были... мы бы разве посмели? – сказал Петр Степаныч.

– Так я и думала, – молвила Таисея. – А всем затеям корень, поди, чай, Патап Максимыч. Буен во хмелю-то. Бедовый! Чуть что не по нем, только держись.

– Он, матушка, все и затевал. И Марко Данилыч тоже, и голова Михайло Васильич, – отвечал Самоквасов. – А мы, что же? Молокососы перед ними... а другое слово сказать, не отставать же нам от старших.

Нельзя! Непочтительно будет. Старших почитать велено, во всем слушаться... Ну, мы и слушались.

– Вестимо, их вина, – сказала Таисея. – Как молодым старших учить, как супротив их идти? Ни в больших, ни в малых, ни в путных, ни в беспутных делах так не ведется... Выкушай-ка, сударь Петр Степаныч, – прибавила она, подавая Самоквасову чашку чаю. – А не то опохмелиться не желаете ли? Я бы настоячки принесла сорокатравчатой, хорошая настоячка, да рыжечков солененьких либо кисленького чего, бруснички, что ли, аль моченых яблочков. Очень пользительно после перепоя-то. Одобряют...

– Нет уж, матушка, лучше не стану. А то, чего доброго: похмеляться зачнешь, да опять запьешь, – молвил, усмехаясь, Самоквасов. – Мы уж лучше ужю на простилах со стариками.

– Нешто седни отъезжают? – с любопытством спросила мать Таисея.

– Вечером собираются, – ответил Петр Степаныч. – Опять у вас по скиту тишь да гладь пойдет, опять безмятежное житие зачнется. Спасайтесь тогда себе, матушки, на здоровье. От нашего брата, от буяна, помехи вам больше не будет, – шутливо прибавил он.

– Какое наше спáсение! – смиренно вздохнула мать Таисея. – Во грехах родились, во грехах и скончаемся... Еще чашечку!.. Грехи-то, грехи наши, сударь Петр Степаныч!.. Грехи-то наши великие!.. Как-то будет их нести перед страшного судию, неумытного?.. Как-то будет за них ответ-то держать!.. Ох ты, Господи, Господи!.. Царь ты наш небесный, Боже милостивый!... Так и Марко Данилыч седни же едет?

– Сегодня хотел, – отвечал Самоквасов.

– И с дочкой?

– Должно быть, и с дочкой.

– Гм! А мы чаяли, что Дунюшка-то маленько погостит у матушки Манефы, на старом-то на своем пепелище. Здесь ведь росла, здесь и обучалась, – говорила мать Таисея. – Впервые после того навестила наш Комаров... Видел, какая красавица?.. Вот бы тебе невеста, Петр Степаныч, – прибавила, немного помолчав, мать Таисея. – Право!.. Гляди-ка, краля какая! Пышная, здоровая, кровь с молоком. А нрава тихого, кроткая, разумная такая да рассудливая... Опять же одна дочь у отца, а капиталы у него великие. К твоему-то богатству да ее-то бы...

– Никак, матушка, в свахи пошла? – засмеялся Самоквасов. – В какие идешь? В жениховы, в погуби-красу али в пуховые?<sup>[440]</sup>

– К слову пришлось, сударь ты мой Петр Степаныч, к слову пришлось, потому и сказала, – умильно проговорила мать Таисея. – А в заправские свахи как чернице идти?.. Только вас почитаючи и вашего дядюшку

Тимофея Гордеича, наших великих благодетелей, я по глупому своему разуму так полагаю, что, ищи ты, сударь мой, аль не ищи себе хорошей невесты по всему свету вольному, навряд такую найдешь, как Дуняша Смолокурова. Правду тебе сказываю. Девица по всему распрекрасная, кого хочешь спроси... Право, женись-ка на ней, Петр Степаныч! Не вспокаешься!

– Не в примету мне что-то она, – небрежно молвил Самоквасов и неправду сказал.

В часовне всю службу издали на нее зарился и после того не раз взглядывал на красавицу. Думал даже: «Не Фленушке чета, сортом повыше!» Но не заговори про Дуню мать Таисея, так бы это мимо мыслей его и пролетело, но теперь вздумалось ему хорошенько рассмотреть посуленную игуменьей невесту, а если выпадет случай, так попытать у ней ума-разума да приглядеться, какова повадка у красавицы.

– А как же насчет читалки-то? – спросил Петр Степаныч, желая свести Таисею на иной разговор.

– Дело слажено, – ответила мать Таисея, – готова, сударь мой, готова, седни же отправляется. Так матушка Манефа решила... На отпратку деньжонок бы надо, Петр Степаныч. Покучиться хоть у ней же, у матушки Манефы. Она завсегда при деньгах, а мы, убогие, на Тихвинскую-то больно поиздержались.

– Сколько надо? – спросил Самоквасов, раскрывая бумажник.

– Да рубликов бы десятка полтора али два, а если милость будет, так и побольше. Надо справить девицу по-хорошему. Каков дом, такова и обрядня, <sup>[441]</sup> а она вишь в какой дом-от поступает, – прищурясь и с сладкой улыбкой глядя на туго набитый бумажник Петра Степаныча, говорила мать Таисея. Так блудный, балованный кот смотрит на лакомый, запретный кус, с мягким мурлыканьем хóдя тихонько вокруг и щуря чуть видные глазки.

– Извольте получить, – сказал Самоквасов, положив на стол три красенькие и пододвинув их рукой к игуменье.

Быстро с места поднявшись и деньги приняв, отвесила низкий-пренизкий поклон мать Таисея.

– Благодарим покорно, родимый ты мой Петр Степаныч, – заговорила она сладеньким голосом. – Благодарим покорно за ваше неоставление. Дай вам, Господи, доброго здравия и души спасения. Вóвеки не забудем вашей любви, завсегда пребудем вашими перед Господом молитвенницами.

– Сегодня пошлете девицу-то? – спросил Петр Степаныч.

– Сегодня ж отправим, – ответила мать Таисея. – Я уж обо всем переговорила с матушкой Манефой. Маленько жар свалит, мы ее и



отправим. Завтра поутру сядет на пароход, а послезавтра и в Казани будет. Письмо еще надо вот приготовить и все, что нужно ей на дорогу. Больно спешно уж отправляем-то ее. Уж так спешно, так спешно, что не знаю, как и управимся...

– Кого отправляете? – спросил Самоквасов.

– А Устинью Московку, коли знаете у Манефиных, – отвечала мать Таисея. – Хорошая девица, искусная, завсегда в хороших домах живала, всякие порядки может наблюдать. Годов никак с пять в Москве у купцов выжила, очень довольны ею оставались. Худую к таким благодетелям, как вы, не пошлем, знаем, какую девицу к каким людям послать. И держит вокруг себя чистенько, и в беседе когда случится речистая, а насчет рукоделья ее тоже взять. А уж насчет псалтыря нечего и говорить – мало бывает таких читалок. Останетесь довольны, заверяю вас, Петр Степаныч, что останетесь довольны... Так и дяденьке отпишите: хорошую, мол, девицу мать Таисея в читалки к нам посылает.

– Бойка, никак, она? – заметил Самоквасов.

– Бойка, сударь, точно что бойка, потому что молода, не упрыгалась. Оттого и бойконька, – сказала мать Таисея. – Это уж завсегда так, до чего ни доведись... Возьми хоть телушку молоденькую – и та не постоит на месте, все бы ей прыгать да скакать, хвост подымя. А оттого, что молода!.. Так и человека взять, сударь ты мой, Петр Степаныч, молодость-то ведь на крыльях, старость только на печи!.. О-хо-хо-хо-хо!.. А вам бы насчет Устиньи, батюшка, не сумлеваться – отведет свое дело, как следует... Потому девушка строгая, ни до какого баловства еще не доходила, никаким мотыжничеством не занималась, а насчет каких глупостей – ни-ни. А молода, так это не беда – молодая-то сносливей да работнее. Старую послать не хитрое б дело, нашлось бы таких и в нашей обители, не стала б я чужим кланяться, да вам-то несподручно было бы с ней. Старому человеку надобен покой, потому что стары-то кости болят, поют, а в старой крови и сугреву нет. Где старухе годовую свечу выстоять. На всяку работу, каку ни возьми, Петр Степаныч, кто помоложе, тот рублем подороже. Так-то, сударь мой, так-то, родной!

– Да я ничего, я только так... К слову пришлось, – молвил Самоквасов. – По мне ничего, что бойка – на молодую-то да на бойкую и поглядеть веселее, а старуха что? Только тоску на весь дом наведет.

– Ой ты, ба́ловник, ба́ловник! – усмехнулась мать Таисея. – Не любишь старух-то, все бы тебе молодых! Эй, вправду, пора бы тебе хорошую женушку взять, ты же, кажись, мотоват, а мотоват да не женат, себе же в наклад. Женишься, так на жену-то глядячи, улыбнешься, а

холостым живучи, на себя только одного глядя, всплачешься.

– А воля-то молодецкая, матушка? Разве не жалко с ней расставаться? – бойко, уда́ло сказал Петр Степаныч.

– Холостая воля – злая доля, – молвила Таисея. – Сам Господь сказал: «Не добро жити человеку единому». Стало быть, всякому человеку и надобно святой Божий закон исполнить...

– А тебя, матушка, взять и всех ваших матерей и белиц... Не исполнили же ведь вы закону, не пошли замуж, – весело усмехаясь, подхватил Самоквасов.

– Наше дело, Петр Степаныч, особое, – важно и степенно молвила мать Таисея. – Мы хоша духом и маломощны, хоша как свиньи и валяемся в тине греховной, обаче ангельский образ носим на себе – иночество... А ангелы-то Господни, сам ты не хуже нашего знаешь, не женятся, не посягают... Иноческий чин к примеру не приводи – про мирское с тобой разговариваю, про житейское...

– А может, и я постриг приму, может, и я кафтырь с камилавкой надену? – шутливо промолвил Самоквасов.

– Ох ты, инок! – засмеялась мать Таисея. – Хорош будешь, неча сказать!.. Люди за службу, а ты за те стихеры, что вечор с Патапом Максимычем пел.

– Остепенюсь! Не нарадуешься тогда, на такого инока гляючи, – с громким смехом молвил Петр Степаныч.

– А ты лучше женись, да остепенись, дело-то будет вернее, – сказала на то Таисея. – Всякому человеку свой предел. А на иноческое дело ты не сгодился. Глянь-ко в зеркальце-то, посмотри-ка на свое обличье. Щеки-то удалю пышут, глаза-то горят – не кафтырь с камилавкой, девичья краса у тебя на уме.

– Да ты, матушка, в разуме-то у меня глядела, что ли? – с веселой усмешкой промолвил Петр Степаныч.

– Глядеть, сударь, я в твоём разуме не глядела, – ответила мать Таисея, – а по глазам твои мысли узнала. До старости, сударик мой, дожила, много на своем веку людей перевидала. Поживи-ка с мое да пожуй с мое, так и сам научишься, как человеческие мысли на лице да в глазах ровно по книге читать... А вправду бы жениться тебе, Петр Степаныч... Что зря-то болтаться?.. Чем бы в самом деле не невеста тебе хоть та же Дуня Смолокурова? Сызмальства знаю ее, у нас выросла; тихая росла да уважливая; сыздетства по всему хороша была, а уж умная-то какая да покорная, добрая-то какая да милостивая!.. Право слово!.. Бывало, родитель гостинцев к празднику ей пришлет, со всеми-то она, белая

голубушка, поделится, никого-то не забудет, себе, почитай, ничего не покинет, все подружкам раздаст. А как стала она подрастать, упростила родителя привозить ей с ярмарки ситчику, холстиночки, платочков недорогих и всех-то, бывало, бедных сирот обделит. Да все ведь по тайности, чтоб люди не знали... Много за нее молельщиков перед Господом было... Хорошая девица, хорошая!.. Таких только поискать!

Пришел Семен Петрович. Встал он задолго прежде названного хозяина и успел уж провести Василья Борисыча. Нашел его в целости: спал таким крепким сном, что хоть в гроб клади.

Мать Таисея, еще раз поблагодаривши Самоквасова за три красненькие, пошла хлопотать по отправки Устиньи Московки.

– Что, Сеня?.. Трещит в голове? – спросил Самоквасов.

– Совсем разломило, – ответил Семен Петрович. – Похмелье хуже лихоманки. Беда!.. С ног даже бьет.

– Не полечиться ли? – молвил Петр Степаныч, доставая из чемодана баклажку.

– Можно, – весело улыбнувшись и потирая руками, сказал Семен Петрович.

– Таисея потчевала меня сорокатравчатой... Дурака нашла, стану я пить ихнюю дрянь, как в баклажке есть еще померанцевая, – смеялся Петр Степаныч, наливая стаканчики.

Опохмелились. Немного погодя, еще пропустили померанцевой.

– Чаю не хочешь ли? – спросил Самоквасов.

– Чай мне не по нутру, было бы вино поутру, – отшутился Семен Петрович. – Разве с постными сливками?

Постных сливочек из дорожного погребца достали и выпили по хорошему пуншику. Оправясь тем от похмелья, пошли из светлицы вон: Семен Петрович караулить Василья Борисыча, Самоквасов от нечего делать по честным обителям шататься да на красных девушек глазеть.

Побывал у Глафириных, побывал и у Жжениных, побеседовал с матерями, побалясничал с белицами. Надоело. Вспало на ум провести товарищей вчерашней погулки. Проходя к домику Марьи Гавриловны мимо Манефиной «стаи», услышал он громкий смех и веселый говор девиц в горницах Фленушки, остановился и присел под растворенным окном на завалинке.

Слушает – Никитишна сказку про Ивана-царевича рассказывает. Слышит, как затеяла она, чтоб каждая девица по очереди рассказывала, как бы стала с мужем жить. Слышит, какие речи говорят девицы улангерские, слышит и Фленушку.

В жар его бросило, крупными каплями пот на лбу выступил... И наедине резко говаривала с ним Фленушка насчет замужества, но таких речей не доводилось ему слышать от нее. «Так вот какова ты! – думает он сам про себя. – Да от такой жены прямо в петлю головой!.. А хороша, шут ее поberi – и красива, и умна, и ловка!.. Эх, Фленушка, Фленушка!.. Корнями, что ли, обвела ты меня, заколдовала, что ли, злодейка, красотой своей! И рад бы не думать про нее, да думается!.. Да не врешь ли ты, Фленушка?.. Из удали, из озорства не хвастала ли ты перед подругами?.. Да нет. Ведь и мне, хоть не теми словами, а то же в последний раз говорила. За шутку принимал, а выходит, то не шутка была... Ах, Фленушка, Фленушка!»

И в раздумье не слышал он, что сказала Прасковья Патаповна.

Нежный, тихий говор, журчанью светлого ключа подобный, певучие звуки нежной девичьей речи вывели Самоквасова из забытья. С душевной усладой слушал он Дуню Смолокурову, и каждое слово ее крепко в душе у него залегло.

«Вот так девушка!» – подумал он. И вспомнились слова Таисеи.

Замеченный Аграфеной Петровной, быстро вскочил Самоквасов с завалины и еще быстрее пошел, но не в домик Марьи Гавриловны, где уже раздавались веселые голоса проснувшихся гостей, а за скитскую околицу. Сойдя в Каменный Вражек, ушел он в перелесок. Там в тени кустов раскинулся на сочной благовонной траве и долго, глаз не сводя, смотрел на глубокое синее небо, что в безмятежном покое лучезарным сводом высилось над землею. Его мысли вились вокруг Фленушки да Дуни Смолокуровой.

\* \* \*

– Скучно тебе, моя милая, – говорила Аграфена Петровна Дуне Смолокуровой. – Все девицы разошлись, кто по гостям, кто по делам. Не пойти ль и нам на травке полежать, цветочков порвать?

С охотой согласилась Дуня, и обе, знакомой тропинкой спустившись в Каменный Вражек, пошли в перелесок. Выбрали там уютное место, по сочной траве платки разостлали и сели.

– Посмотрю на тебя я, Дунюшка, какая ты стала неразговорчивая, – так начала Аграфена Петровна. – А давно ль, кажется, как жили мы здесь у тетушки, с утра до ночи ты соловьем заливалась... Скажи по душе, по правде скажи мне по истинной, отчего такая перемена стала с тобой?

Отчего, моя милая, на слова ты скупа стала?

– В те поры, как жила я у матушки Манефы, была я дитя неразумное, – отвечала Груне Авдотья Марковна. – Одно ребячье было на уме, да и смысл-то ребячий был. А теперь, – со светлой улыбкой она промолвила, – теперь уж вышла я из подростков. Не чужими, своими глазами на свет Божий гляжу...

– Что ж? – спросила Аграфена Петровна, когда Дуня вдруг оборвала речь. – Неужто белый свет успел надокучить тебе?

Помолчала Дуня и, припав лицом к плечу Аграфены Петровны, сказала:

– А вспомни-ка, что ты мне в ту пору часто говаривала. «В море туманы, в мире обманы» – таковы были речи твои. Не могла я тогда вместить твоих слов, а теперь каждый день тебя поминаю. Да, истину ты говорила мне: одни обманы на свете, правды в людях нет. Все на кривде: в торговом ли деле, в домашнем или в другом каком. А на языке у каждого правда – всяк ее хвалит, да не всяк хранит, всяк ее ищет, а никто не творит. Претит душе моей неправда. Тяжело видеть, что вижу. А помочь ни силы нет, ни уменья. Зачнешь говорить, на смех подымут, ну и молчишь... Оттого малословна и стала я. Никому про то я не говаривала, тебе одной открылась. Пробовала тятеньке сказать – смеется. «Ты еще молода, – говорит, – поживешь подольше, уходишься».

Призадумалась Аграфена Петровна.

– Мир во зле лежит, и всяк человек есть ложь, – она молвила. – Что делать, Дунюшка? Не нами началось, милая, не нами и кончится. Надо терпеть. Такова уж людская судьба! Дело говорил тебе Марко Данилыч, что ты молоденька еще, не уходилась. Молодой-то умок, Дунюшка, что молодая брага – бродит. Погоди, поживешь на свете, притерпишься.

– Что это за жизнь? И зачем родились мы на свет? – тихим голосом плакалась Дуня.

– Власть Господня на то, – строго промолвила Аграфена Петровна. – Не нам судить о том, что небесный отец положил во власти своей и печатью тайны от нас запечатал! Грех великий испытывать Создателя!

– Знаю это, знаю, сердечная моя, милая, – припадая к плечу Аграфены Петровны, говорила Дуня. – Да что ж делать-то мне? Нехотя согресишь. Тошненько в такой жизни!.. Измаялась я!

– Вот что скажу я тебе, Дунюшка, – улыбаясь светлой улыбкой, молвила Аграфена Петровна. – Знаю, отчего такие мысли бродят у тебя, отчего тошно тебе на свет вольный глядеть... Знаю и лекарство, чем исцелить тебя.

– Чем? – быстро откинувшись от плеча Аграфены Петровны, спросила Дуня.

– То колечко, что Марко Данилыч тебе подарил, надо отдать поскорее, – с улыбкой, полной любви, сказала Аграфена Петровна.

Спрятала Дуня запылавшее личико на груди ее. Ни слова сама.

– Скажи по правде, не утай от меня, – продолжала Аграфена Петровна, нежно целуя девушку в наклоненную головку. – Есть на примете кто?

– Ведь я же сказала тебе... Стану разве скрываться? Перед тобой раскрыта душа моя, – чистым, ясным взором глядя в очи Аграфены Петровны, молвила Дуня. – Были на минуту пустые мысли, да их теперь нет, и не стоит про них поминать...

– Молись же Богу, чтоб он скорей послал тебе человека, – сказала Аграфена Петровна. – С ним опять, как в детстве бывало, и светел и радостен вольный свет тебе покажется, а людская неправда не станет мутить твою душу. В том одном человеке вместится весь мир для тебя, и, если будет он жить по добру да по правде, успокоится сердце твое, и больше прежнего возлюбишь ты добро и правду. Молись и ищи человека. Пришла пора твоя.

– Мудрены твои речи, Грунюшка, не понять мне их. Но ты любишь меня, а ложь никогда с языка твоего не сходила. Верю тебе, верю, моя добрая, милая Грунюшка! – говорила Дуня, осыпая поцелуями Аграфену Петровну.

– Молись же! – молвила ей Аграфена Петровна.

– Буду молиться, – ответила Дуня. – И вот что... придется по мысли мне человек, без совета твоего за него не пойду... Ты больше меня знаешь людей, поглядишь на него и скажешь – таков ли он, какого мне надо... Скажешь?.. Скажешь, Грунюшка?.. Посоветуешь?..

– Ну, ладно, ладно, – с ясной улыбкой молвила Аграфена Петровна. – Пиши, нарочно приеду, а на свадьбе, пожалуй, и в свахи пойду.

– Не в свахи, а вместо матери, – перервала ее Дуня. – Не привел Господь матушке меня вырастить. Не помню ее, по другому годочку осталась. А от тебя, Грунюшка, столь много добра я видела, столько много хороших советов давала ты мне, что я на тебя как на мать родную гляжу. Нет, уж если Бог велит, ты вместо матери будь.

– Ладно, хорошо, – с горячим поцелуем ответила Аграфена Петровна. – А вот что, Дунюшка, как до свадьбы-то нас с тобой до костей перемочит?.. А?.. – сказала она, взглянув на небо. – За разговорами нам не в примету, что тучка набежала... Чу, гремит!.. Побежим-ка скорей, чтоб гроза не застала...

И быстрым шагом пошли из лесочка.

\* \* \*

Выпала же Петру Степанычу на черствые именины такая доля: целый день с утра до вечера Иваном-царевичем быть. Невзначай подслушав сокровенные речи девиц белоликих, ненароком узнал и тайные думы той, о которой стал призадумываться.

Фленушкины речи всеми сидевшими с нею приняты были за сущую правду. На завалине сидя, от слова до слова слышал их Самоквасов. Но как было угадать ему, что Фленушка нарочно взводит на себя небывальщину, заметя его под окном, с хитрою мыслью в нем любовь остудить? Ровно осенняя ночь, стало темно у него на душе. Но как иногда яркий солнечный луч проникает меж туч черно-сизых, так и теперь перед очами его омраченной души девственной прелести полный величаво вставал светозарный образ Дуни, и разумные, скромные речи ее слово за слово впадали на память ему и, ровно целебный бальзам, капля за каплей в разбитое сердце лились...

На завалине сидя, в первый раз услышал он голос ее, и этот нежный певучий голосок показался ему будто знакомым. Где-то, когда-то слышал он его и теперь узнавал в нем что-то родное. Наяву ли где слышал, во сне ли – того он не помнит. Сходны ли звуки его с голосом матери, ласкавшей его в колыбели, или с пением ангелов, виденных им во сне во дни невинного раннего детства, не может решить Петр Степаныч.

Буря в душе закипела, когда Фленушкины речи коснулись слуха его, и вдруг будто ангел мирный, небесный крылом благодатным ту бурю покрыл... Дуни слова тихий покой на его разъяренную душу навяли.

Полон дум придя в перелесок, долго лежал на траве благовонной, долго смотрел он на вечно прекрасную, никогда ненаглядную лазурь небосклона. Мысли менялись, роились. То с болью в сердце вспоминал обманную Фленушку, то чистую сердцем, скромную нравом Дуняшу...

Вдруг шорох в траве и шелест кустов. Кто-то идет в перелесок. Радостью облило сердце его, когда опознал он голоса. Аграфена Петровна с Дуней сели от него недалеко, он притаился в кустах, лежал недвижим и безмолвен и от слова до слова выслушал весь разговор... И когда, грозы испугавшись, они удалились, Петр Степаныч долго еще лежал на траве... Ливня лил дождь, шумно клонились вершины высокоствольных деревьев, оглушительный треск и раскаты громовых ударов не умолкали на небе,

золотые, зубчатые молнии то и дело вспыхивали в низко нависших над землею тучах, а он недвижимо лежал на месте, с которого только что Дуня сошла, не слыша ни рева бури, ни грома, ни шума деревьев, не чувствуя ливня, не видя ярко блещущих молний...

Быстро промчалась гроза, солнце вновь засияло в безоблачной тверди небесной, деревья, кусты и трава оживились, замолкшие птички громко запели в листве древесной, а Петр Степаныч все лежал на мокрой траве в перелеске, вспоминая каждое слово пленительной Дуни.



## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Гости один за другим разъезжались... Прежде всех в дорогу пустился удельный голова с Ариной Васильевной. Спешил он пораньше добраться домой, чтоб на ночь залечь во ржах на любимую перепелиную охоту. Поспешно уехал и Марко Данилыч с дочерью. Поехал не прямо домой: ожидая с Низовья рыбного каравана, решил встретить его на пристани, кстати же в городе были у него и другие дела.

Пока на прощанье пили чай у Манефы, Самоквасов сидел у окна рядом с Марко Данилычем и угодничал перед ним, стараясь ему полюбиться. В том он успел. Еще поутру Марко Данилыч, говоря с Патапом Максимычем, много хвалил вчерашнего именинника. Теперь Самоквасов свел разговор с Смолокуровым на дела свои, рассказал, сколько у них всего капитала, сколько по смерти затворника-прадеда надо ему получить, помянул про свое намеренье вести от себя торговлю по рыбной части и просил не оставить его добрым советом. Рад был Марко Данилыч и подробно стал объяснять ему рыбное дело. Внимательно слушал его Самоквасов, впиваясь глазами в красавицу дочку, что сидела напротив отца, рядом с Аграфеной Петровной.

Видя, как почтительно, с каким уваженьем ведет себя перед Марком Данилычем Самоквасов, замечая, что и родитель говорит с ним ласково и с такой любовью, что редко с кем он говаривал так, Дуня почаще стала заглядывать на Петра Степаныча, прислушиваясь к речам его. Слышит – он говорит про наследство.

– Я один, как перст, а у дяди куча детей, ему деньги нужнее. Одна голова не бедна, а бедна, так одна. С меня и четверти дедова имения достаточно, пусть другая четверть двоюродным сестрам пойдет. Девушки они хорошие, добрые. Мне одному всего не изжить.

«Он добрый», – подумала Дуня и с удвоенным вниманьем слушала его речи.

– Что не дело, то не дело, – молвил в ответ Петру Степанычу Смолокуров. – Деньгами зря не сорят... Самому пригодятся... Не век одиноким вы проживете, и вам пора-время придет...

Говоря о рыбном промысле, Марко Данилыч, как и поутру, заметил, что с астраханскими рабочими надобно ухо держать востро.

– Мошенник народ, – сказал он. – Много уменья, много терпенья надобно с ними иметь! С одной стороны – народ плут, только и норовит

обмануть хозяина, с другой стороны – урезный пьяница. Страхом да строгостью только и можно его в руках держать. И не бей ты астраханского вора дубьем, бей его лучше рублем – вычеты постанови, да после того не спускай ему самой последней копейки; всяко лыко в строку пускай. И на того не гляди, что смиренником смотрит. Как только зазнался который, прижми его при расчете.

– Простите вы меня, Марко Данилыч, – вспыхнув немного, сказал Самоквасов. – Откуда же правде в народе быть, когда мы станем неправдой его обижать?

– Поживете, сударь мой, Петр Степаныч, с мое, узнаете ихнюю правду! Вор народ, одно слово вор... Страху не стало, всякий сам себе в нос подувает, – сказал Смолокуров, отирая лоб от крупного пота после пятой или шестой чашки чая.

«И добрый и за правду стоит!» – блеснуло в голове Дуни, и склонилась она к плечу Аграфены Петровны и что-то тихонько сказала ей; ясной улыбкой улыбнулась Аграфена Петровна и пристально поглядела на Петра Степаныча.

Речь зашла о прадеде Самоквасова. По спросу Марка Данилыча рассказал Петр Степаныч, что знал про него, как был он атаманом разбойников, а потом строгим постником и как двадцать годов не выходил на свет Божий из затвора.

– Мутит мне душу это наследство, – промолвил он, кончая рассказ. – Как подумаешь, что взято оно с разбоем, полито кровью, боязно станет его получать...

– Да ведь это было давно, – молвил Марко Данилыч. – Восемьдесят лет, коли не больше, – восемь давностей, значит, прошло.

– У Бога давностей нет, – сказал Петр Степаныч. – Люди забыли – Господь помнит... Если б мне ведать, кого дедушка грабил, отыскал бы я внуков-правнуков тех, что им граблены были, и долю мою отдал бы им до копейки.

Ласкающим взором взглянула на Самоквасова Дуня, вспыхнув от родительских слов.

– Напрасно, – сказал Смолокуров. – На деньгах меток нет... Хоть и знаемы были б наследники, отдавать им не след.

– Про то говорю я, Марко Данилыч, как по Божьей правде надо бы сделать, а вестимо теперь некому их мне отдавать... Поневоле владей, – сказал Петр Степаныч.

Довольное время и после того вели они разговоры о разных делах. И Петр Степаныч Смолокурову очень понравился.

Приветным, ласковым поклоном простилась Дуня с Петром Степанычем. Марко Данилыч звал его в гости и сказал, что, будучи в Казани, непременно у них побывает.

Нежно простилась Дуня с девицами, но крепче всех обнимала, всех горячей целовала Аграфену Петровну. На людях прощались, нельзя было по сердцу, по душе в последний разок перемолвиться им, но две слезинки на ресницах Дуни красней речей говорили, о чем она думала на прощанье.

Меж тем Василий Борисыч в келарне с девицами распевал. Увидев, что с обительского двора съезжает кибитка Марка Данилыча, на половине перервал он «Всемирную славу» и кинулся стремглав на крыльцо, но едва успел поклониться и мельком взглянуть на уезжавшую Дуню. Смолокуров отдал ему степенный поклон и громко крикнул прощальное слово. Она не взглянула. Как вкопанный стал на месте Василий Борисыч. Давно из виду скрылась кибитка, а он все глядел вслед улетевшей красотке...

\* \* \*

Вечерком по холодку Патап Максимыч с Аксиньей Захаровной и кум Иван Григорыч с Груней по домам поехали. Перед тем Манефа, вняв неотступным просьбам Фленушки, упросила брата оставить Парашу погостить у нее еще хоть с недельку, покаместь он с Аксиньей Захаровной будет гостить у головы, спрыскивать его позументы. Патап Максимыч долго не соглашался, но потом позволил дочери остаться в Комарове, с тем, однако, чтоб Манефа ее ни под каким видом в Шарпан с собой не брала.

– Спáсенница, что ли, она разъезжать-то по вашим праздникам! – говорил он сестре. – Слава Богу, девка не стрижена, не стать ей по вашим бабьим соборам шататься... Здесь дело другое, у тетки в гостиных, а в Шарпане незачем быть.

Согласилась Манефа. Параша осталась.

Перед самым отъездом Патап Максимыч вышел из Манефиной кельи поискать Василья Борисыча. Нашел его в светелке. Мрачен и грустен сидел московский посол; стоя перед ним, помалкивал Семен Петрович.

– Напелся ли с девками-то?.. Без мала целый день голосил... Как это у тебя горла-то не перехватит? – сказал Чапурин, войдя в светелку и подсаживаясь к столику.

– Сегодня не очень много пели, – ответил Василий Борисыч. – Надо ж на прощанье попеть... Хоть матушка Манефа меня и обидела, а все-таки я, поминаючи, каково ласково она приняла меня и всячески у себя в

обители упокоила, готов послужить ей, чем только могу.

– Аль побранились? – с усмешкой спросил Патап Максимыч.

– Браниться не бранились, а вчерашнее очень мне оскорбительно, – ответил московский посол. – Сами посудите, Патап Максимыч, ведь я на матушку Манефу, как на каменную стену, надеялся. Сколько времени она делом тянула и все время в надежде держала меня. Я и в Москву в таком роде писал. А как пришло время, матушка и в сторону. В дураки меня посадила.

– А ты про одни дрожжи не поминай трожды. Про то говорено и вчера и сегодня. Сказано: плюнь, и вся недолга, – говорил Патап Максимыч. – Я к тебе проститься зашел, жар посвалил, ехать пора... Смотри ж у меня, ворочай скорей, пора на Горах дела начинать... Да еще одно дельце есть у меня на уме... Ну, да это еще как Господь даст... Когда в путь?

Зорко глянул Семен Петрович на Василия Борисыча, ожидая, что-то ответит он. Василий Борисыч сказал:

– Медлить не стану, как исправлюсь, так и поеду.

– А ты бы завтра, – молвил Патап Максимыч.

– Завтра исправлюсь, завтра и поеду. Нечего мешкать. Как знают матери, так пущай и делают. Мое дело теперь сторона, – ответил Василий Борисыч.

– Говорить нельзя с тобой! – с нетерпением вскрикнул Чапурин. – Через каждое слово либо посконный архиерей, либо чернохвостая скитница!.. Не поминай ты мне этих делов!.. Терпеть не могу!

– Ох, искушение!.. – чуть слышно проговорил Василий Борисыч. И громко промолвил: – Когда разделаюсь, тогда и поминать не стану, а теперь нельзя умолчать, потому что еще при том деле стою.

– Конечно, так, да слушать-то больно противно, – сказал Патап Максимыч. – Ден через пять в город я буду. Ежели к тому времени подъедешь, побывай у меня. К Сергею Андреичу Колышкину зайди, к парходчику, дом у него на горке у Ильи пророка – запиши для памяти. Он тебе скажет, где меня отыскать.

– Очень хорошо, Патап Максимыч, – сказал московский посол и записал в памятную книжку, где Колышкин живет.

– Ну, ин прощаться давай, ехать пора, – вставая со стула, сказал Чапурин. – Ох, ехать бы тебе со мной, Васенька, у меня же в кибитке и место есть. Прасковью здесь покидаю, а кибитка у меня на троих. Мы бы с тобой у Михайлы Васильича погостили, с позументами хорошенько б поздравили его, в Городец бы съездили, там бы я останну горящину сплавил, а ты бы присмотрелся к тому делу, на краснораменски мельницы

свозил бы тебя, а оттудова в город. Пожили б там денек-другой, а там и в Москву с Богом. Сбирайся, поедем вместе.

– Не успеть мне так скоро собраться, Патап Максимыч. Тоже надо с матерями проститься, – молвил Василий Борисыч.

– Плюнь!.. Стоят они того, чтобы с ними попрощаться!.. Право бы, вместе поехали! То-то бы весело было!

– Нельзя не проститься, – молвил Василий Борисыч. – Не водится так, сами посудите.

– Ну, быть по-твоему, делай, как знаешь, – сказал Чапурин. – А в городу у Колышкина понаведайся... Для того больше и зашел я к тебе... Ну, прощай!.. А не то пойдем вместе к Манефе.

– Не знаю как, – замялся Василий Борисыч.

– Чего не знаешь?.. Идти-то как?.. А ты переставляй ноги-то одну за другой – дойдешь бесприменно – хмельной не дойдешь, а трезвый ничего... – засмеялся Патап Максимыч. – Ну, пойдем же. Чего еще тут?

Не больно хотелось Василию Борисычу после утренней размолвки идти к Манефе, но волей-неволей пошел за Патапом Максимычем.

Без хлеба, без соли не проводины – без чаю, без закуски Манефа гостей со двора не пустила. Сидя у ней в келье, про разные дела толковали, а больше всего про Оленевское. Мать Юдифа с Аксиньей Захаровной горевали, Манефа молчала, Патап Максимыч подсмеивался.

– Вот запрыгают-то!.. – трунил он, обращаясь к Василию Борисычу. – Ровно мыши в подполье забегают, когда ежа к ним пустишь! Поедем, Василий Борисыч, смотреть на эту комедь. У Макарья за деньги, братец мой, такой не покажут, а мы с тобой даром насмотримся.

Не ответил Василий Борисыч.

– Полно тебе греховодничать-то! – плаксиво вступилась Аксинья Захаровна. – Людям беда, разоренье, ему одни смехи! Бога ты не боишься, Максимыч.

– Ты уж пойдешь!.. Нельзя и шутку сшутить!.. – едва нахмурясь, молвил с малой досадой Чапурин. – В ихнем горе-беде, Бог даст, пособим, а что смешно, над тем не грех посмеяться.

– Попомни хоть то, над чем зубы-то скалишь? – продолжала мужа началить Аксинья Захаровна. – Домы Божии, святые обители хотят разорить, а ему шутки да смехи... Образумься!.. Побойся Бога-то!.. До того обмиршился, что ничем не лучше татарина стал... Нечего рыло-то воротить, правду говорю. О душе-то хоть маленько подумал бы. Да.

– Авось как-нибудь да спасемся, – продолжал свои шутки Патап Максимыч. – Все скиты, что их ни есть, найму за себя молить, лет на

десять вперед грехи отмолят... Так, что ли, спáсенница? – обратился он к сестре.

– Праздные слова говоришь, а всякое праздное слово на последнем суде с человека взыщется, – сухо молвила Манефа.

– Без тебя знаю, нечего учить-то меня! – подхватил Патап Максимыч. – А ты вот что скажи: когда вы пустяшных каких-нибудь грехов целым собором замолить не сумеете, за что же вам деньги-то давать? Значит, все едино, что псу их под хвост, что вам на каноны...

– Да ты ума рехнулся! – быстро вскочив и подступая к мужу, закричала во весь голос Акси́нья Захаровна. – Смотри у меня!..

– Заершилась! – шутливо молвил Патап Максимыч, отстраняясь от жены. – Слова нельзя сказать, тотчас заартачится!.. Ну, коли ты заступаешься за спасенниц, говори без бабьих уверток – доходны их молитвы до Бога аль недоходны? Стоит им деньги давать али нет?

Плюнула Акси́нья Захаровна чуть не прямо в лицо Патапу Максимычу, отвернувшись и смолкла.

Покамест Чапурин с женой перебранивался, Василий Борисыч молча глядел на Парашу... «Голубушка Дуня, как сон, улетела, – думал он сам про себя. – Не удалось и подступиться к ней... И Груня уехала – разорят Оленево, прости-прощай блинчики горяченькие!.. И Устинью в Казань по воде унесло... Одна Прасковья... Аль уж остаться денька на четыре?.. Аль уж проститься с ней хорошенько?.. Она же сегодня пригожая!.. Что ж?.. Что раз, что десять, один ответ».

\* \* \*

Проводив Патапа Максимыча и кума Ивана Григорыча, Фленушка с Парашей ушли в свою горницу. Василий Борисыч с глазу на глаз с Манефой остался. Стал он подъезжать к ней с речами угодливыми, стараясь смягчить утреннюю размолвку.

Так он начал:

– Какое горестное известие получили вы, матушка!.. Про Оленево-то!.. Признаться вам по всей откровенности, до сегодня не очень-то верилось мне, чтоб могло последовать такое распоряжение! Лет полтора-два стоят скиты Керженские, и вдруг ни с того ни с сего вздумали их разорять! Не может этого быть, думал я. А теперь, когда получили вы такое известие, приходится верить.

– Да, Василий Борисыч, – вздохнула Манефа. – Дожили мы до падения

Керженца.

– И ныне, как подумаю я о таких ваших обстоятельствах, – продолжал московский посланник, – согласен я с вами, матушка, что не время теперь вам думать об архиепископе. Пронесется гроза – другое дело, а теперь точно нельзя. За австрийской иерархией наблюдают строго, а если узнают, что вы соглашаетесь, пожалуй, еще хуже чего бы не вышло.

– То-то и есть, Василий Борисыч. А я-то что же тебе говорила? – молвила Манефа.

– Надивиться не могу вашей мудрости, матушка, – подхватил московский посол. – Какая у вас во всем прозорливость, какое во всех делах благоразумие! Поистине, паче всех человек одарил вас Господь дарами своей премудрости...

– Полно лишнее-то говорить, Василий Борисыч, не люблю, как льстивые речи мне говорят, – молвила Манефа. – А тому я рада, что сам ты уверился, в какой мы теперь невозможности владыку принять. Приедешь в Москву, там возвести: не таковы, мол, теперь на Керженце обстоятельства, а только-то гонительное время минет, тогда по скитам и решатся принять. А меж тем испытают, мол, через верных людей об Антонии. Боятся, мол, не вышел бы из него другой Софрон святокупец. Тем-де сумнителен тот Антоний, что веры частенько менял, опасаются, дескать, не осталось ли в нем беспопового духа, да к тому ж, мол, ходят слухи, что он двоежен... Разрешатся наши сомнения, примем его, не разрешатся – на Спасову волю останемся... Пусть он, сый человеколюбец, сам управит наши души... Так и скажи на Москве, Василий Борисыч. А на меня не посетуй, что давеча крутенько сказала... Прости Христа ради!

И низко поклонилась Василию Борисычу. А он тотчас ей два метания по чину сотворил, обычно приговаривая:

– Матушка, прости, матушка, благослови!

– Бог простит, Бог благословит! – сотворила прощу игуменья. И опять оба сели за стол и продолжали беседу.

– Когда в Москву-то думаешь ехать? – спросила Манефа.

– Поскорей бы надо, матушка, – ответил Василий Борисыч. – Что попусту-то здесь проживать? Да и то я подумываю, – не навлечь бы мне на вас какого подозренья от петербургских чиновников... Им ведь, матушка, все известно, про все они сведомы; знают и то, что я в Белу Криницу к первому митрополиту ездил... Как бы из-за меня не заподозрили вас.

– За себя нимало не опасуюсь я, – молвила спокойно Манефа. – Мало ль кто ко мне наезжает в обитель – всему начальству известно, что у меня всегда большой съезд живет. Имею отвод, по торговому, мол, делу

приезжают. Не даром же плачу гильдию. И бумаги такие есть у меня, доверенности от купцов разных городов... Коснулись бы тебя – ответ у нас готов: приезжал, дескать, из Москвы от Мартыновых по торговле красным товаром. И документы показала бы.

– А насчет других скитов, матушка? – сказал Василий Борисыч. – Я ведь гостил и в Оленеве и в Улангере два раза был. А по тем скитам в купечестве матери не пишутся. Там-то какой ответ про меня дадут?..

– Изо всех игумений точно что только у меня одной гильдейское свидетельство и другие бумаги торговые есть, – ответила Манефа. – И ты, друг мой, не рассказывай, каких ради причин выправляю я гильдию. Сам понимаешь, что такое дело надо в тайне хранить.

Помолчал Василий Борисыч и молвил:

– А еще уговаривали меня на Казанскую в Шарпан ехать.

– Пожалуй, что лучше не ездить, – подумав, сказала Манефа. – Хоть в том письме, что сегодня пришло, про Шарпан не помянуто, однако ж допрежь того из Петербурга мне было писано, что тому генералу и Шарпан велено осмотреть и казанскую икону отобрать, если докажется, что к ней церковники на поклонение сходятся. И сама бы я не поехала, да нельзя. Матушка Августа была у нас на празднике, нельзя к ней не съездить.

– Нельзя вам не ехать, – согласился Василий Борисыч. – Стало быть, так мы и сделаем: вы в Шарпан, а я в Москву.

– У меня-то погости, у меня опасаться тебе нечего, – сказала Манефа. – Лучше, как бы ты остался, пока это дело кончится. Насчет петербургского-то говорю. Что там будет, как нас решат, теперь никому не известно, а если бы ты остался у нас, после бы, как очевидец, все рассказал на Москве. В письмах всего не опишешь.

– Пора уж мне, матушка, – возразил Василий Борисыч, – и без того четыре почти месяца у вас проживаю.

– Как знаешь, держать тебя не властно, – сказала Манефа. – А лучше б тебе это время у нас прожить. По крайности меня-то дождись, пока ворочусь из Шарпана. Там все будут, и Оленевские и других скитов, расскажут, что у них делается. С этими вестями и поехал бы в Москву.

Василий Борисыч согласился остаться в Комарове до возвращения Манефы из Шарпана.

\* \* \*

Тихий прохладный вечер настал. Потускла высота небесная, и



бледным светом заискрились в ней звездочки. На небе ни облачка, на земле ни людских голосов, ни птичьего щебета, только легкий, чуть слышный ветерок лениво шевелит листьями черемух, рябин и берез, густо разросшихся в углу Манефиной обители, за часовней, на кладбище и возле него. После промчавшейся грозы стало прохладно, но в то же время и душно. Запах скошенного сена и ночных цветов благовонными волнами разливался в воздухе и наполнял его сладостной истомой. Торжественно безмолвствует недосыгаемая лазурь небесной тверди, и сладострастной негой дышит тихая ночь на земле.

Из кельи Манефы Василий Борисыч вышел на крылечко подышать чистым воздухом. Благоуханною свежестью пахнуло ему в лицо, жадно впивал он прохладу. Это не удушливый воздух Манефиной кельи, пропитанный благочестивым запахом росного ладана, деревянного масла и восковых свеч. В светелке, где жил московский посол, воздух почти был такой же.

Ни о чем не думая, ни о чем не помышляя, сам после не помнил, как сошел Василий Борисыч с игуменьина крыльца. Тихонько, чуть слышно, останавливаясь на каждом шагу, прошел он к часовне и сел на широких ступенях паперти. Все уже спало в обители, лишь в работницкой избе на конном дворе светился огонек да в келейных стаях там и сям мерцали лампадки. То обительские трудники, убрав коней и задав им корму, сидели за ужином, да благочестивые матери, стоя перед иконами, справляли келейное правило.

Слышится Василию Борисычу за часовней тихий говор, но не может ни смысла речей понять, ни узнать говоривших по голосу. Что голоса женские, это расслышал, и невольно его на них потянуло. Тихонько обошел он часовню, приблизился к чаще рябин и черемух. Узнал голоса: Фленушки с Парашей. Но ни слова расслышать не может, не может понять, о чем говорят.

– Ох, искушение! – молвил он сам про себя.

Взволновалась кровь, защемило у Василья Борисыча сердце, в голове ровно угар стал. И вспомнился ему Улангер, вспомнилась ночь в перелеске. Ночь тогда была такая же, как и теперь, – тихая, прохладная, благовонная ночь. И пожалел Василий Борисыч о той ночи и с любовью вспомнил немые, холодные ласки Прасковьи Патаповны.

И неслышными стопами подошел он к девушкам... Не заприметили они сначала его, но, когда он перед ними как из земли вырос, обе тихонько вскрикнули.

– Можно разве так девиц пугать? – молвила Фленушка. – В самую

полночь да возле кладбища!

– Невдогад мне было, Флена Васильевна. Простите великодушно, – молвил Василий Борисыч. – Услыхал ваши голоса, захотелось маленько ночным делом побеседовать.

– Так вам и поверили! – возразила Фленушка, отодвигаясь от Параши и давая возле нее место Василью Борисычу. – Не беседу с нами хотелось вам беседовать, захотелось подслушать, о чем меж собой девицы говорят по тайности. Знаем вы вас!

– И на ум не впадало мне, Флена Васильевна, – уверял Василий Борисыч, но Фленушка верить ему не хотела.

Подсел на лужке возле Параши Василий Борисыч. Фленушка за темнотой не видала, – а и увидела, так в сторонку бы отвернулась, – как Василий Борисыч взял Парашу за руку и страстно пожал ее. Параша тем же ему ответила.

Фленушка одна говорит. Тарантит, ровно сойка, <sup>[442]</sup> бьет языком, ровно шерстобит струной. Василий Борисыч с Парашей помалкивают. А ночь темней и темней надвигается, а в воздухе свежей и свежей.

– Холодно что-то! – оборвав рассказ, молвила Фленушка. – Сем-ка пойду да надену платок шерстяной. И тебе, Параша, захвачу. Вы подождите, я тотчас.

И убежала. А Василий Борисыч один под ночным покровом с Парашей остался.

Не казалось им холодно, хоть с каждой минутой ночь сильнее свежела.

Воротилась Фленушка с Парашиным платком не тотчас, как обещала, а через добрые полчаса.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Накануне Казанской мать Манефа с уставщицей Аркадией и с двумя соборными старицами в Шарпан поехала. Старшею в обители осталась мать Вириная, игуменскую келью Манефа на Фленушку покинула, но для виду, не остались бы молодые девицы без призора старших, соборную старицу Никанору благословила у себя домовничать.

За день до отъезда Манефы Петр Степаныч Самоквасов ездил в ближний городок за каким-то делом. Как ни пыталась любопытная мать Таисея, что за дела у него там объявились, не могла от гостя толку добиться. Перед тем как ехать ему, он, запершись в светелке, долго о чем-то толковал с Семеном Петровичем. Очень хотелось матушке Таисее подслушать их разговор, притаилась сбоку светлицы, но, сколько ни прикладывалась ухом к стене, ничего не могла расслышать. Только и слышен был раздававшийся по временам громкий, закатыстый хохот Петра Степаныча. Когда он садился в тележку, Таисея не вытерпела, снова полюбопытствовала, заботливо спрашивая, за какими делами так спешно он снарядился, но не дождалась ответа. Спросила, когда ожидать гостя обратно. «Завтра к вечеру буду», – он отвечал.

Только что съехал с двора Самоквасов, Семен Петрович в Манефину обитель пошел и там весь день не разлучался с Васильем Борисычем, шагу не отступая от него.

\* \* \*

Под вечер, накануне Манефина отъезда, в ее келье сидели за чаем, поджидая Василья Борисыча. Фленушка сказала Манефе:

– Ладно ль будет, матушка, Василий-то Борисыч без вас один с нами останется?

– А что? – спросила Манефа.

– Знаете, что за народ вокруг нас живет, – молвила Фленушка. – Чего не наплетут... Мне-то наплевать, ко мне не пристанет, а вот насчет Параша. Патап-от Максимыч не стал бы гневаться.

– И впрямь, Фленушка, – сказала Манефа. – Хоть ничего худого от того случиться не может, а насчет братца, подлинно, что это ему не гораздо покажется... Жалуется он Василья Борисыча, однако ж на это надеяться

нечего... Как же бы нам это уладить?.. День-то пускай бы он и с вами сидел, ночевать-то куда бы?.. Разве в Таифину келью али в домик Марьи Гавриловны.

– Пожалуй, хоть к Марье Гавриловне, там же перед гостинами Патапа Максимыча все припасено для мужского ночлега, – молвила Фленушка.

– И хорошее дело, – согласилась Манефа. – Так и скажу ему. Человек он разумный, не поскорбит, сам поймет, что на эти дни ему в светелке у нас проживать не годится.

– А еще бы лучше на это время ему куда-нибудь в другую обитель перейти, – заметила Фленушка. – Тогда смотницы что ни благовести – веры не будет им. И насчет Патапа Максимыча было бы не в пример спокойнее.

– Так-то оно так, – сказала Манефа. – Да как же это сделать? Не к Рассохиным же его... Больно уж там пьяно – матушка-то Досифея с Петрова дня опять закурила... Разговелась, сердечная!.. Невозможно к ней Василья Борисыча!.. Оскорбится.

– Зачем к Рассохиным? Опречь Рассохиных, место найдется, – молвила Фленушка.

– Где найдется? – возразила Манефа. – Ведь его надо в хорошую обитель пристроить, не там, где гульба да пьянство, а на ужине, опречь хлеба куска, и на стол ничего не кладут...

– К Бояркиным, – подхватила Фленушка. – Матушка же Таисея в Шарпан не поедет. Чего лучше?.. И она бы с радостью, и ему б не в обиду...

– Места нет у Таисеюшки. У них всего-навсе одна светелка, и в той гости теперь, – сказала Манефа.

– Эти дни можно там и Василью Борисычу жить, – ответила Фленушка. – Самоквасов куда-то уехал, один Семен Петрович остался, а он Василью Борисычу дружок. В тягость один другому не будут.

– Куда Петр-то Степаныч отправился? – спросила Манефа. – И не сказался ведь, не простился... Экой какой!.. А мне до него еще дельце есть, да и письмо бы надобно с ним отослать.

– На четыре дня, слышь, уехал, – молвила Фленушка. – В город никак. Вдруг, говорят, собрался, известье какое-то получил, наспех срядился.

– Так ин в самом деле молвлю я Василью Борисычу, – сказала Манефа. – Да что это он нейдет чай-то пить... Евдокеюшка, сбегай, голубка, к Бояркиным, позови Таисею: матушка, мол, Манефа чай пить зовет. Скорей приходила бы.

– Так-то дело и впрямь будет складнее, – говорила Манефа по уходе новой ключницы. – А то и впрямь наплетут, чего и во сне не приснится.

Спасибо, Фленушка, что меня надоумила.

Во все время разговора Манефы с Фленушкой Параша молчала, но с необычной ей живостью поглядывала то на ту, то на другую. Марьюшка сидела, опустила глаза и скромно перебирая руками передник. Потом села у растворенного окна, высунулась в него до пояса и лукаво сама с собой усмехалась, слушая обманные речи Фленушки.

Василий Борисыч пришел, Семена Петровича привел. После немалых и долгих извинений объявила ему Манефа, что с Фленушкой она придумала, и Василий Борисыч нимало не оскорбился, сказал даже, не лучше ли ему совсем на эти дни из Комарова уехать; но Манефа уговорила его остаться до ее возвращения. Маленько она опасалась, чтоб Василий Борисыч, заехавши в город, не свиделся там с Патапом Максимычем да по его уговорам не угнал бы тотчас в Москву. Тогда ищи его, как же ему тогда рассказать, что будет на Шарпанском празднике.

Таисея не замедлила приходом. С радостью приняла она слова Манефы и уж кланялась, кланялась Василью Борисычу, поскорей бы осчастливил ее обитель своим посещением. Принять под свой кров столь знаменитого гостя считала она великою честью. По усиленным просьбам Василий Борисыч согласился тотчас же к ней перебраться.

– Прискорбно, не поверишь, как прискорбно мне, дорогой ты мой Василий Борисыч, – говорила ему Манефа. – Ровно я гоню тебя вон из обители, ровно у меня и места ради друга не стало. Не поскорби, родной, сам видишь, каково наше положение. Языки-то людские, ой-ой, как злы!.. Иная со скуки да от нечего делать того наплетет, что после только ахнешь. Ни с того ни с сего насудачат... При соли хлебнется, к слову молвится, а тут и пошла писать...

– Не беспокойтесь, матушка, – уговаривал Манефу Василий Борисыч. – Дело к порядку ведется, к лучшему... Могу ль подумать я, что из вашей обители меня выгоняют?.. Помилуйте!.. Ни с чем даже несообразно, и мне очень удивительно, что вы об этом беспокоитесь. Я, с своей стороны, очень рад маленько погостить у матушки Таисеи.

– Очень благодарна вами, Василий Борисыч, – встав с места и низко поклонясь московскому посланнику, сказала мать Таисея.

– Смотри же, матушка Таисея, – пошутила Манефа, – ты у меня голодом не помори Василья-то Борисыча. Не объест тебя, не бойся – он у нас, ровно курочка, помаленьку вкушает... Послаще корми его... До блинков охоч наш гость дорогой, почаще блинками его угощай. Малинкой корми, до малинки тоже охоч... В чем недостача, ко мне присылай – я накажу Виринею.

– Полноте, матушка. Хоша обитель наша не из богатых, одначе для такого гостя у самих найдется чем потчевать, – молвила мать Таисея. – А какие блинki-то любите вы? – обратилась она к Василью Борисычу. – Гречневые аль пшеничные, красные то есть?

– Э, матушка, чем ни накормите, всем буду сыт, я ведь не из прихотливых. Это напрасно матушка Манефа так говорит, – молвил Василий Борисыч. И при вспоминанье о блинах вспала ему на память полногрудая Груня оленевская, что умела услаждать его своими пухленькими, горяченькими блинками.

– Да нет, отчего же? – сладко улыбаясь, говорила мать Таисея. – Нет, уж вы скажите мне, гость дорогой.

– Да не беспокойтесь, матушка, – возразил Василий Борисыч. – Ох, искушение!.. Я уж, сказать по правде, и не рад... Много вам беспокойства от меня будет.

– Какое ж беспокойство, Василий Борисыч? – продолжала Таисея. – Никакого от вас беспокойства не может нам быть. Такой гость – обители почесть... Мы всей душой рады.

И много еще приветных слов наговорила ему мать Таисея, сидя за чаем.

\* \* \*

Поехала в Шарпан Манефа. Все провожали ее, чин чином прощались. Прощалась и Фленушка; бывшие при том прощанье, расходясь по кельям, не могли надивиться, с чего это Фленушка так расплакалась – ровно не на три дня, а на тот свет провожала игуменью.

Постояла на крылечке игуменьиной стаи Фленушка, грустно поглядела вслед за кибитками, потихоньку съезжавшими со двора обительского, и, склоня голову, пошла в свою горницу. Там постояла она у окна, грустно и бессознательно обрывая листья холеных ею цветочков. Потом вдруг выпрямилась во весь рост, подойдя к двери, отворила ее и громким голосом крикнула:

– Марьюшка!

Мигом явилась головщица.

– Ну что? – быстро спросила у ней Фленушка.

– Да ничего, – брюзгливо ответила Марьюшка.

– Саратовец где?

– А пес его знает, – огрызнулась головщица. – Пришита, что ль, я к

нему? Где-нибудь с Васькой шатается. К нему приставлен...

– Оба провожали матушку. Куда же теперь пошли? Поговорить надо, – молвила Фленушка.

– Ты все про то? – сквозь зубы процедила Марьюшка.

– Нешто покинуть? – с живостью вскрикнула Фленушка.

– По-моему, лучше бы кинуть. Ну их совсем! – молвила головщица.

– Столько времени ждала я этого дня, да вдруг ни с того ни с сего и покину... Эка ты вздумала! – сказала Фленушка.

Пробурчала что-то головщица и села к окну.

– Так ты на попятный? – вскочив со стула, вскрикнула Фленушка. – Про шелковы сарафаны забыла?.. Про свое обещанье не помнишь?

– Ничего не забыла я ни на капелечку, а только боязно мне, – молвила Марьюшка. – Ты особь статья, тебе все с рук сойдет, матушка не выдаст, хоша бы и Патапу Максимычу... А мне-то где заступу искать, под чью властную руку укрыться?..

– И тебя не выдаст матушка, – молвила Фленушка. – Поначáлит, без того нельзя, да тем и кончит дело... А сарафан хоть сейчас получай. Вот он сготовлен.

И вынесла из боковуши шелковый Парашин сарафан, всего раз надеванный, и, подавая его Марьюшке, с усмешкой примолвила:

– Невестины дары принимай.

Глаз не сводила с подарка головщица, но не брала его.

– Принимай, не ломайся, – сказала Фленушка, суя сарафан Марьюшке на руки.

– Ох уж, право, не знаю, что и делать мне, – колебалась головщица. – И сарафан-от вишь светлый какой, голубой... Где надену его, куда в таком покажусь?.. Нешто у нас в мирские цвета рядятся?..

– Придет твое время, и в цветном будешь ходить, – молвила Фленушка. – Что саратовец-от!.. Какие у вас с ним речи!

– Ну его ко псам, окаянного!.. – огрызнулась Марьюшка, – Тошнехонько с проклятым! Ни то ни се, ни туда ни сюда... И не поймешь от него ничего... Толкует, до того года, слышь, надо оставить... Когда-де у Самоквасова в приказчиках буду жить – тогда-де, а теперича старых хозяев опасается... Да врет все, непутный, отводит... А ты убивайся!.. Все они бессовестные!.. Над девицей надсмеяться им нипочем... Все едино, что квасу стакан выпить.

– Не горюй! – хлопнув по голому плечу головщицы, молвила Фленушка. – Только б поступить ему к Петрушке непутному, быть тебе на то лето за Сенькой замужем... Поручой я... Это пойми... Чего я захочу –

тому быть... Знаешь сама.

– А у самой с Самоквасовым третье лето ни тпру ни ну, – молвила с усмешкой Марьюшка.

– Не вороши!.. Не твоего ума дело! – заревом вспыхнув, воскликнула Фленушка. – Наше дело иное... Тебе не понять!..

– Мудрено что-то больно, Флена Васильевна, – промолвила головщица.

– А коль мудрено, так и речей не заводи, – сказала Фленушка и вдруг, ровно туча, нахмурилась, закинула за спину руки и стала тяжелыми шагами взад и вперед расхаживать по горнице. Глаза у нее так и горели.

– Что ж теперь делать? – после долгого молчанья спросила головщица.

Ровно ото сна пробудилась Фленушка. Стала на месте, провела рукой по лицу и, подсев к столу, молвила:

– Невесту собирать, наряды и все добро ее в чемоданы класть... Самое позову, без нее нельзя... Петрушка вечер за делами поехал: в Свиблово по па повестить, в Язвицы лошадей нанять, в город на первые дни молодым квартиру сготовить. Завтра поутру воротится. Пообедавши с женихом да с твоим непутным саратовцем, в Ронжино навстречу ямщикам он поедет. Приданое туда отвезут, этой же ночью надо его передать... Мало погодя с Парашей на Каменный Вражек пойдем. Тут ее у нас отобьют неведомые люди... Смекаешь?.. Мы с тобой теми ж стопами домой... В набат ударим, содом поднимем – ухватили, мол, Парашу люди незнаемые. Рожи-де в саже, шапки нахлобучены – не смогли признать, кто такие... Смекаешь?

– Смекаю, – кивнув головой, сказала головщица.

– Ловко ль придумано? – после недолгого молчания спросила Фленушка.

– Ловко-то ловко, Флена Васильевна, да не было б нам за то колотушек? – молвила Марьюшка. – Да что колотушки? Беда еще не велика. Хуже бы не было...

– Ничего не будет, не проведуют. Увидишь!.. Что я задумала, тому так и быть... – с страстным порывом молвила Фленушка.

– Надо бы старицу какую, при ней чтоб отбили. Больше веры будет тогда. А то заподозрят, пожалуй, – говорила Марьюшка.

– Дело!.. – с живостью воскликнула Фленушка. – Спасибо, Маруха, за добрый совет. Так и сварганим... Только уж нашим ребятам тогда в самом деле сажей придется рожи-то мазать.

– Пущай их намажутся, – молвила в сердцах головщица.

– Можно будет двух либо трех стариц прибрать: матушку Виринею, Ларису, из девок кое-кого... Побольше бы только нас было. Чем больше,



тем лучше, – сказала Фленушка.

– Правда, – сказала Марьюшка, – больше народу, меньше ответу.

Уладив дело с головщицей, позвала Фленушка Парашу.

– Ну, невеста наша распрекрасная! Давай приданое складывать, – молвила она, выдвигая середь горницы чемоданы.

Во все лицо улыбнулась Параша, вздохнула раза два и сказала:

– Боязно ему.

– Кому? – спросила Фленушка.

– Да Василью-то Борисычу, – ответила Параша. – Сейчас говорила с ним через огорожу Бояркиной обители. Очень опасается.

– Дурак!.. – молвила Фленушка.

И стала укладывать пожитки Парашины.

– Деньги есть при себе? – спросила она Парашу.

– Есть.

– Много ль?

– Не больно чтоб много, двадцати рублей не найдется, – ответила Параша.

– Давай сюда, – молвила Фленушка. – Завтра надо в работницкой перепоить всех до отвалу... В погоню не годились бы.

Параша подала деньги.

Все прибрали, уложили, чемоданы замкнули, затянули. Подавая ключи Параше, Фленушка вскрикнула:

– Из ума вон!.. Невесту-то величать позабыли!.. Без того не складно будет, не по чину, не по обряду. Подтягивай, Маруха!

Не шелкóва ниточка ко стенке льнет —

Свет Борисыч Патаповну ко сердцу жмет:

– Ой, скажи ты мне, скажи, Парасковьюшка,

Не утай, мой свет Патаповна:

Кто тебе больше всех óт роду мил?

– А и мил-то мне милешенек рóдной батюшка.

Помилей того рóдна матушка.

– А и это, Прасковьюшка, не правда твоя,

Не правда твоя, не истинная.

Ой, скажи ты мне, скажи, Парасковьюшка,

Не утай, мой свет Патаповна:

Кто тебе всех на свете милей?

– Я скажу, молодёнька, всю правду свою,

Всю правду, правду свою, всю-то истинную:

Нет на свете милей мне света Васильюшка,  
Нет на вольном свету приглядней Борисыча.

– Ай, батюшки! Совсем позабыла!.. – вскрикнула Фленушка, внезапно прервав песню. – Спишь все, – обратилась она к задремавшей под унылую свадебную песню Параше. – Смотри, дева, не проспи царства небесного!.. А еще невеста!.. Срам даже смотреть-то на тебя!

– Тебе что? – вяло спросила Параша.

– Дело надо делать... Несколь времени осталось! – с досадой прикрикнула на нее Фленушка. – Кольцо с лентой из косы отдала ему?

– Не давала, – ответила Параша.

– Как же так? Нельзя без того... Надо обряд соблюсти. Спокон веку на самокрутках так водится, – говорила Фленушка. – По-настоящему надо, чтоб он силой у тебя их отнял... Да куда ему, вахлаку? Пентюх, как есть пентюх. Противно даже смотреть на непутного.

– Отдам, коли надо, – лениво промолвила Параша. – Седни же отдам... Гулять-то во Вражек пойдем?

– После венца нагуляешься, – резко ответила Фленушка. – Не до гульбы теперь, без того хлопот по горло... Наверх ступай, в светелку, Ваську пришлю туда... Да не долго валандайтесь – могут приметить, и то Никанора суетиться зачала... Молви, Маруха, саратовцу – напоил бы опять ее хорошенько.

– Так я наверх пойду, – процедила сквозь зубы Параша и пошла из горницы.

Только что вышла она, Фленушка глянула в окошко, Василий Борисыч с саратовцем через обительский двор идут.

– Беги к ним, Марьюшка, – торопко сказала она головщице. – Сеньке насчет Никаноры молви, – поил бы, а Ваську ко мне.

Пошла головщица из горницы, вскоре Василий Борисыч пришел.

– Что, непутный?.. Шатаешься, разгуливаешь?.. А того нисколько не понимаешь, что тут из-за тебя беспокойство? – такими словами встретила московского посланника Фленушка.

– Ох, искушение!.. – глубоко вздохнул Василий Борисыч, отирая платком распотевшее лицо, и сел на диван.

– Ну, что скажешь? – став перед ним и закинув за спину руки, спросила Фленушка.

– Не знаю, что и сказать вам, Флена Васильевна, – жалобно ответил Василий Борисыч. – В такое вы меня привели положение, что даже и

подумать страшно...

– Что ж, ты на попятный, что ли? – скрестив руки на груди и глядя в упор на Василья Борисыча, вскрикнула Фленушка. – Назад ворочать?.. Нет, брат, шалишь!.. От меня не вывернешься!..

– Ох, искушение!.. – едва слышно промолвил совсем растерявшийся Василий Борисыч.

– Отлынивать? – громче прежнего крикнула на него Фленушка.

– Да нет, – робко отвечал Василий Борисыч. – Нет. Куда уж тут отлынивать... Попал в мережу, так чего уж тут разговаривать!.. Не выпрыгнешь... А все-таки боязно, Флена Васильевна.

– Речи о том чтобы не было. Слышишь? – повелительно крикнула Фленушка. – Не то знаешь Самоквасова? Справится... Ребер, пожалуй, недосчитаешься!..

Вздохнул Василий Борисыч.

– Наверх ступай, невеста ждет. Возьми у нее кольцо да ленту из косы. Силой-то посмеешь ли взять?

– Как же это возможно, Флена Васильевна? Вдруг силой!.. – робко проговорил Василий Борисыч.

– Ну, ступай, ступай! – крикнула Фленушка и протолкала вон из горницы оторопевшего московского посланника. Он не отвечал, вздыхал только да говорил свое:

– Искушение!

Петр Степаныч совсем разошелся с Фленушкой. Еще на другой день после черствых именин, когда привелось ему и днем и вечером подслушивать речи девичьи, улучил он времечко тайком поговорить с нею. Самоквасов был прямой человек, да и Фленушка не того десятка, чтоб издалека да обходцем можно было к ней подъезжать с намеками. Свиделись они середь бела дня в рощице, что подле кладбища росла. Встретились ненароком.

Стал Самоквасов перед Фленушкой, сам подбоченился и с усмешкой промолвил ей:

– А вчерашний день каких див я наслушался!

– А ты лишнего-то не мели, нечего нам с тобой канителиться.<sup>[443]</sup> Не сказывай обиняком, режь правду прямым, – смело глядя в глаза Самоквасову, с задором промолвила Фленушка.

– Вечор, как Дарья Никитишна сказки вам сказывала, я у тебя под окном сидел, – молвил Петр Степаныч.

– Знаю, – спокойно промолвила Фленушка.

– А когда свои речи вела, знала ли ты, что я недалеко? – спросил

Самоквасов.

– Нет, не знала.

– Значит, не то чтобы в посмеях, от настоящего сердца, от души своей говорила?

– От всего моего сердца, ото всей души те слова говорила я, – ответила Фленушка.

– Значит, что же?

– Сам разбирай.

Призадумался Петр Степаныч. Оба примолкли.

– Не чаял этого, не думал, – сказал он наконец.

– Никогда не таила от тебя я мыслей своих, – тихо, с едва заметной грустью молвила Фленушка. – Всегда говорила, что в мужья ты мне не годишься... Разве не сказывала я тебе, что буду женой злой, неугодливой? Нешто не говорила, что такова уж я на свет уродилась, что никогда не бывать мне кроткой, покорной женой? Нешто не говорила, что у нас с тобой будет один конец – либо сама петлю на шею, либо тебе отравы дам?..

– Бахвалилась, [\[444\]](#) – сказал Самоквасов.

– Не из таковых я, не бахвалка, – прервала его Фленушка. – Прямое дело говорила. Вольно было не слушать речей моих.

– Зачем же столько времени ты проводила меня? – с жаром спросил ее Петр Степаныч.

– Чем же я проводила тебя? – вскинув пылающими глазами на Самоквасова, спросила Фленушка.

– Как же? Обнимала, целовала, в перелеске под кустиком до утренней зори, бывало, вместе с тобой мы просиживали, тайные любовные речи говаривали... – с укором говорил ей Петр Степаныч.

– Со скуки, – пожав плечами, холодно молвила Фленушка.

– Так как же?.. Расставаться?.. – подумав немного, сказал Самоквасов.

– Самое лучшее дело, – молвила Фленушка. – Каждому свой путь-дорога, друг другу в тягость не будем... Побáловались – шабаш... Ищи себе невесту хорошую... А я!.. Ну, прощай!..

– Не чаял я того!.. – в раздумье сказал Самоквасов.

– Мало ль чего мы не чаем, мало ль чего мы не ждем?.. – грустно молвила Фленушка. – Над людьми судьба, Петр Степаныч... Супротив судьбы ничего не поделаешь.

– Прощай, Флена Васильевна, – тихо проговорил Самоквасов и хотел идти.

– Прощай, – едва слышно промолвила Фленушка, вся покраснев и низко склонив голову.

И не сделал он пяти шагов, как, закинув назад голову, громким, смеющимся голосом Фленушка ему крикнула:

– Стой, Петя, погоди!.. Обещанья не забудь!..

– Какого обещанья? – спросил Самоквасов.

– Забыл? – с усмешкой молвила Фленушка. – Короткая же, парень, у тебя память-то.

– Да ты про что? – в недоумение спрашивал ее Петр Степаныч.

– А насчет Василья-то Борисыча, – сказала Фленушка.

– Окрутить-то?.. Не бойсь, окрутим. Сказано – сделано. От своих слов я не отретчик.

– Ладно.

И разошлись. Бойко прошел Самоквасов в обитель Бояркиных, весело прошла по двору Фленушка, но, придя в горницу, заперлась на ключ и, кинувшись ничком в постелю, горько зарыдала.

И то было еще до отъезда Манефы на праздник в Шарпанский скит.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Среди болот, среди лесов, в сторону от проселка, что ведет из Комарова в Осиновку, на песчаной горке, что желтеет над маловодной, но омутистой речкой, стоит село Свиблово. Селом только пишется, на самом-то деле «погост». [\[445\]](#)

Возле ветхого бревенчатого мостика, перекинутого через речку, ветшает бедная деревянная церковь. Высокая, обширная паперть, вдоль северной стены крытые переходы, церковные подклеты, маленькие, высоко прорубленные окна, полусгнившая деревянная черепица на покачнувшейся главе, склонившаяся набок колокольня с выросшей на ней рябинкой, обильно поросшая ягелем крыша – все говорит, что не первое столетие стоит свибловская церковь, но никому в голову еще не приходило хоть маленько поправить ее. Кругом бедное могилами, но обильное сеном кладбище. В стороне, вдоль конца горки, три домика; между ними «сады», где, кроме объединенной червями черемухи да пары рябин, иных деревьев не росло. Гряды с луком, с редькой, с морковью и с другими овощами тянулись по «садам», и на каждой грядке красовались яркие цветы маку и высоко поднимавшие золотые свои шапки подсолнечники... Ближний к церкви домик был просторней и приглядней двух остальных: по лицу пять окон с подъемными рамами и зелеными ставнями, крылечко выведено на улицу, крыша на четыре ската, к углам ее для стока воды прилажены крылатые змеи из старой проржавевшей жести. В окнах миткалевые занавески и горшки с бальзамином, капуцином и стручковым перцем. В том домике с толпой чад и домочадцев жил-поживал свибловский батюшка, отец Родион Харисаменов. В других домиках волочили горемычную жизнь свою дьячок Игнатий да пономарь Ипатий, оба страстные голубятники, постоянно враждовавшие из-за какого-нибудь турмана либо из-за чернокрылого чистяка. Кроме того, в церковной караулке сторожем жил одинокий старый солдат. Поповы ребята Груздком его прозвали, так это прозвание за ним и осталось.

Родитель отца Родиона звался Свиньиным и с законной гордостью говаривал, что он старинного дворянского рода, что предки его литовские выходцы, у царей и великих князей на разных службах бывали. Ссылался на печатную родословную книгу, показывал родовые бумаги, и в речах его правда была. Но владыка рассудил иначе. Когда Родиона Свиньина сдали в семинарию, он рек: «Не подобает служителю алтаря именование столь

гносного животного носить», и родословного Свинына перекрестил в Харисаменова, прозвание очень хорошее по-гречески, но которого русский простой человек с морозу, пожалуй не выговорит, а если и выговорит, то непременно скажет: «харя самая», что не раз и случалось с отцом Родионом. Когда отец Родион прибыл на паству, паства его невзлюбила, не по мыслям пришелся он ей. Народ прозвал его Сушилой и вот почему. По кладбищу много травы росло, и отец Родион решил: «Это сено мое, Игнатью с Ипатьем вступаться в сию часть не подобает». И по четыре стога хорошего лугового сена с кладбища каждое лето накашивал. Иной раз сено, бывало, раскидают, а набежит тучка, отец Родион тотчас в церковь его. Там и сушит... Оттого и прозвали его Сушилой.

Про Свиблово говорят: стоит на горке, хлеба ни корки, звону много, поест нечего. В приходе без малого тысяча душ, но, опричь погощан, <sup>[446]</sup> и на светлу заутреню больше двадцати человек в церковь никогда не сходилась. Почти сплошь да наголо всё раскольники. Не в обиду б то было ни попу, ни причетникам, если б влекущий племя от литовского выходца умел с ними делишки поглаже вести.

Почти все раскольники были «записные». Деды их, прадеды церкви чуждались, в старые годы платили двойные оклады. С таких попу взятки гладки, доходов не жди, отрезан ломоть. Разве ину пору можно такого доносцем пугнуть, устроил-де в доме публичну моленну, совращает-де в раскол православных, но это не всегда удастся. Зато «не записные» попу суций клад. Только б их не тревожили, только б у них на дому треб не справляли, вдвое, втрое больше дадут, чем самый усердный церковник за исправление треб. Барин мог бы Сушило век свой прожить, да гордость его обуяла, думал о себе, что умней самого архиерея, и от каждого требовал, чтоб десницу его лобызали. Оттого и невзлюбили его прихожане. По-ихнему руку у попа целовать – все едино что старой веры отречься. А доносить – отец Родион доносил на них редко: знал, что его же карману невыгодно будет. Если и доносил, всегда по велению свыше. Консисторским да благочинному тоже пить-есть надо, не ангелы во плоти, не манной небесной питаются. Бывало, долго нет от Сушилы доносов, внушают ему отчески: «Надо тебе, отец Родион, доносить почаще, ведь начальству известно, что раскольников в твоём приходе достаточно; не станешь доносить, в потворстве и небрежении ко святой церкви заподозрят, не успеешь оглянуться, как раз под суд угодишь». И посылал отец Родион «репорты» – нечего делать – своя рубашка к телу ближе. А это умножало остуду прихожан. Оттого Сушило и жил небогато. А семья, что ни год, прибавлялась – многочислием Господь благословил. Сначала ничего, Божье

благословенье под силу приходилось Сушиле, росли себе да росли ребятишки, что грибы после дождика, но, когда пришло время сыновей учить в семинарии, а дочерям женихов искать, стал он супротив прежнего не в пример притязательней. На «записных» даже стал доносить. Раза два удалось: попа похвалили, скуфью обещали, но цену заломили невместную...

И в скуфье пощеголять охота, и сыновей на квартире получше устроить, и дочерей замуж повыдать, а концов с концами не может свести. Нужда человека до чего не доводит?

Богаче Чапурина во всем приходе никого не было, а он хоть «записной», но жил с церковным попом в ладах и никогда не оставлял его. То крупчатки мешок с Краснораменской мельницы придет, то рыбки либо другого чего, иной раз и денег даст. Об одном только каждый раз просил Сушилу Патап Максимыч: «Не ходи ты, батюшка, ко мне на дом, не смущай ты мою старуху. Что делать? Баба так баба и есть: волос долог, ум короток, больно не жалует вашего брата... Да никому еще, пожалуйста, не сказывай, что от меня получаешь, жизни буду не рад, как жена взбеленится: «Опоганил, дескать, дом наш честной, неверным попом своим...» Что делать, отче?.. Баба!.. Ты уж не поскорби». Так, бывало, говорит Патап Максимыч, и поп Сушило ничего, только ухмыляется да бородку пощипывает либо ястребиный свой носик с красными прожилками пальчиком потирает.

Не Аксиныи Захаровны Чапурин боялся, а того, чтоб не разнеслась по народу молва, что он церковному попу помогает. Завопят староверы, по торговле доверия могут лишить... Бывали примеры!

Аксинья Захаровна, Бог ее знает какими судьбами, каждый раз узнавала, что Патап Максимыч попу гостинец послал.

– Бога не боишься, – зачнет, бывало, ворчать. – Совсем измиршился!.. Как у тебя рука не отсохла!.. Никакими молитвами этого греха не замолишь... Как попу-еретику подавать!.. По писанию все едино, что отступить от правых веры.

– И поп человек, – ответит, бывало, Патап Максимыч, – и он пить да есть тоже хочет. У него же, бедного, семьица поди-ка какая! Всякого напой, накорми, всякого обуи да одень, а где ему, сердечному, взять? Что за грех ближнему на бедность подать? По-моему, нет тут греха никакого.

– Какой он тебе ближний? – вскрикнет, бывало, Аксинья Захаровна. – Поп смущенная церкви – все одно что идольский жрец!.. Хоть у матушки Манефы спроси.

– Нечего мне у Манефы расспрашивать, а ты, коли хочешь, спроси ее,



отчего, мол, это в житиях-то написано, что святые отцы даже сарацинам в их бедах помогали?.. Что, мол, те сарацины, Бога не знающие, святей, что ли, свибловского-то попа были?

Плюнет Аксинья Захаровна, тотчас из горницы вон и хлопнет дверью что есть мочи. А Патап Максимыч только улыбнется.

Когда захотелось Сушиле скуфьи, а пуще того гребтелось, как бы домашние нужды покрыть, повстречал он на пути Патапа Максимыча.

– Мир-дорога! – приветливо крикнул ему Чапурин.

– Здравствуйте, сударь Патап Максимыч, – ответил Сушило, снимая побуревшую от времени и запыленную в дороге широкополую шляпу.

– С ярмарки, что ль? – Чапурин спросил.

– Какая нам ярмарка? Не такие карманы, чтоб по ярмаркам нам разъезжать, – ответил Сушило.

– Зачем же в город-от ездил?

– Ребят в семинарию свез. Да в консисторию требовали, – сказал поп Сушило.

– Что за требованье?.. Аль бедушка какая стряслась?.. – с участием спросил у него Патап Максимыч.

– Голову за вашего брата намыли, – промолвил Сушило.

– Как так за нашего брата? – с удивленьем спросил Патап Максимыч.

– Да так же, – ответил Сушило. – Говорят, уж больно много вам потачки даю. Раскольникам-де потворствуешь... Времена пошли теперь строгие: чуть что, вашего брата тотчас под караул.

– А ты не больно пугай, не то, пожалуй, и струшу, – шутливо молвил Патап Максимыч. – Говори-ка лучше делом.

– Делом и говорю, – высокомерно ответил Сушило. – Слыхал, чай, что не вашему брату, лесному мужику, чета, московских первостатейных по дальним городам разослали: Гучкова, Стрелкова, Егора Кузьмина.

– Не нашего согласу, – нахмурился, промолвил Патап Максимыч. – Они беспоповы.

– Все едино, одного помету слепые щенята, – язвительно сказал поп Сушило.

Взорвало Патапа Максимыча. «Как сметь попу щенком меня обзывать!..» Но сдержался. Чего доброго?.. Еще клязузу подымет, суд наведет. Слова не вымолвил в ответ, велел работнику ехать скорее.

Сушило крикнул:

– А ведь у тебя в задней-то моленна!

– Так что же?

– А в моленной скитницы службу справляют.

– Ну справляют. Так что же?  
– Беглы попы наезжают.  
– Не тебя ли позвать? – усмехнулся Патап Максимыч. – Не беспокойся, брат, не позову.

– К тому говорю, что ты теперича, значит, в моих руках! – крикнул поп. – Сейчас могу в консисторию донести. Потянут к суду, напрыгаешься.

– Да ты с чего это взял? К чему речь-то свою клонишь? – в порыве гнева, едва сдерживаясь, чтоб бранного слова не молвить, вскричал Патап Максимыч.

– А к тому моя речь, – вполголоса молвил Сушило, подойдя к Патапу Максимычу, чтоб работник его не слышал. – К тому моя речь, что ежели хочешь в покое остаться, пятьюстами целковых снабди... Тебе это плевое дело, а мне большая подмога. Не то завтра же «репорт» на тебя отправлю.

Попроси Сушило у Патапа Максимыча честью, расскажи ему про свои нужды, он бы, пожалуй, и дал, но тут взбеленился, выругался и зычным голосом крикнул работнику:

– Уезжай от греха поскорей!.. Ну, живо!..

А поп остался середь дороги и, глядя на пыль, поднявшуюся из-под колес чапуринской тележки, злобно промолвил:

– Помни ты это, Патапка Чапурин, а я не забуду!..

И не забыл. Написал «репорт», что в деревне Осиповке у торгующего по свидетельству первого рода крестьянина Патапа Чапурина имеется «публичная» моленна, а по слухам якобы-де в оной находятся престол и полотняная церковь, а раскольничье-де служение совершают жительницы разных скитов и наезжающий по временам из Городца беглый поп. Консистория начала дело, и хоть оно ничем не кончилось, однако ж немало принесло Патапу Максимычу досад, хлопот и расходов. А пуще всего Акинья Захаровна. Не сказал ей муж ни про донос, ни про следствие, от сторонних людей все проведала и с злорадной усмешкой стала приставать к Патапу Максимычу: «Ну что?.. Не моя ль правда вышла?.. Вот те и ближний!.. Вот тебе и приятель!.. Попомнил неверный поп твои милости?.. А?..»

И с той поры, как ни случится, бывало, Патапу Максимычу встретиться с попом Сушилой, тотчас от него отворотится и даже начнет отплевываться, а Сушило каждый раз вслед ему крикнет, бывало: «Праздник такой-то на дворе, гостей жди: с понятами приеду, накрою на службе в моленной...» И про эти угрозы от людей стороной узнавала Акинья Захаровна и каждый раз, как в моленную люди сойдутся, строго-настрого наказывала старику Пантелею ставить на задах усадьбы

караульных, чтоб неверный поп в самом деле службу врасплох не накрыл.

Прошел год, опять настала ярмарка, опять на дороге встретился с попом Патап Максимыч. Поп из города, Чапурин в город.

– На ярмарку, что ли? – крикнул Сушило.

– На ярмарку, – сухо ответил Чапурин.

– Купи моей матушке попадье гарнитуровый сарафан да парчовый холодильник. Не купишь, так прижму, что вспокаешься, – сказал Сушило.

– Не жирно ли будет? Да и твоей ли чумазой попадье в шелках ходить? – усмехнулся Патап Максимыч и поехал своей дорогой.

– Помни это слово, а я его не забуду!.. – кричал ему вслед Сушило. – Бархаты, соболи станешь дарить, да уж я не приму. Станешь руки ломать, станешь ногти кусать, да будет уж поздно!..

Какие ни писал Сушило «репорты», ничего не поделал с Чапуриным. И оттого злоба стала разбирать его пуще. Слышать не мог он имени Патапа Максимыча. И замышлял донять его не мытьем, так катаньем.

\* \* \*

Солнце с полден своротило, когда запылилась дорожка, ведущая к Свиблову. Тихо в погосте: Сушило после обеда отдыхал, дьячок Игнатий да понамарь Ипатий гоняли голубей; поповы, дьячковы и пономаревы дети по грибы ушли, один Груздок сидел возле мостика, ловя в мутном омуте гольцов на удочку. Заслышав шум подъезжавшей тележки, поднял он голову и, увидев молодого человека, одетого по-немецкому, диву дался.

«Кто бы такой? – думал сам про себя рыболов. – Приказный из городу, так ехал бы с ямщиком, да у него и борода была бы не бритая, господ по здешним местам не водится, – разве попович невесту смотреть к батюшке едет?.. Так где ему взять таких лошадей?»

– Эй ты, любезный! – крикнул Самоквасов, осаживая лошадей.

Пристально поглядел на него Груздок и сердито пробормотал что-то под нос. Был он суров и сумрачен нравом. Одичав на безлюдье, не любил вдаваться с посторонними в разговоры.

– Подь-ка поближе сюда! – крикнул ему Самоквасов.

– Сам облегчишь, видишь, за делом сижу, – грубо ответил Груздок.

– Лошадей оставить нельзя, и к тебе подьехать нельзя. Ишь какой кособогор! – сказал Самоквасов.

– Так мимо да прочь, – огрызнулся Груздок.

– Водку пьешь? – вскричал Самоквасов.

– Эва! – с улыбкой отозвался Груздок, и лицо его просияло.  
– А «Ерофеич»?  
– Толкуй еще!  
– А ром? – продолжал подзадоривать мрачного сторожа Самоквасов.  
– А ты подноси, чего спрашивать-то?.. – молвил Груздок и, бросив на песок лёсы и уды, скорым шагом подошел к тележке.

Самоквасов вынул из-под подушки оплетенную баклажку, отвинтил серебряный стаканчик, покрывавший пробку, и, налив его водкой, поднес ухмылявшемуся караульщику.

– Знатно! – крикнул Груздок. – Давно такой не пивал!.. С запахом!..  
– Померанцевая, – подтвердил Самоквасов, подавая Груздку ватрушку на закуску. – Ты здешний, что ли?

– Никак нет, ваше благородие. Черниговского графа Дибича Забалканского пехотного полка отставной рядовой, – вытянувшись по-военному, отвечал караульщик.

– Что ж здесь поделяваешь? – спросил Самоквасов.  
– По бедности, значит, моей при здешней церкви в караульщиках, – отвечал Груздок.

– Что у вас батюшка-то, каков?  
– Не можем знать, ваше благородие, – отрезал караульщик.  
– Да ты благородием-то меня не чествуй... Я из купечества... Так как же батюшка-то?... Каков?.. – спрашивал Самоквасов, наливая другой стаканчик померанцевой.

– Со всячинкой, ваше степенство, – улыбаясь, ответил Груздок. – Известно дело, что поп, что кот, не поворча, и куска не съест.

– А деньги любит?  
– Эх, милый человек! Как же попу деньги не любить, коли они его самого любят? Родись, крестись, женись, помирай – за все деньги попу подавай, – со смехом сказал Груздок, хлопнувши на лоб другой стаканчик померанцевой.

– А по сколько за свадьбу берет? – спросил Самоквасов.  
– Ихнее дело, не наше, – закусывая поданной ватрушкой, ответил Груздок.

– А ну-ка, служивый, испробуй ромку теперь, – сказал Самоквасов, доставая другую баклажку. – Так по сколько ж батька-то у вас за венчанье берет?

– С кого как, – отвечал караульщик. – С богатого побольше, с бедного поменьше... Опять же как венчать, против солнца – цена, по́солонь – другая, вдвое дороже.

– Хорош ли? – спросил Самоквасов у Груздка, когда тот выпил стаканчик рому.

– Важнецкий! – с удовольствием ответил караульщик. – С самой Венгерской кампании такого пивать не доводилось. Благодарим покорно, господин купец, имени, отчества вашего не знаю.

– Это у тебя что за бутылка лежит? – спросил Самоквасов.

– Да вот рыбешки на похлебку к празднику-то хочу наловить, так в бутылке червяки положены, – сказал Груздок.

– Опоражнивай!.. На завтрашний праздник ромку отолью, – сказал Самоквасов.

С радости бегом за бутылкой пустился Груздок, думая, должно быть, купчик в здешнем приходе жениться затеял!

– А уходом батяка венчает? – спросил Самоквасов, переливая в бутылку ром.

– Ни-ни! – замотал головою Груздок. – И не подумает. Опасается тоже. Ведь ихнего брата за это больно щуняют. На каких родителей навернется. За самокрутки-то иной раз попам и косы режут. Бывает...

– А покалякать с ним на этот счет можно? – спросил Самоквасов.

– Отчего же не покалякать?.. Это завсегда можно, – отвечал Груздок.

– Слушай, – сказал Самоквасов. – Вот тебе на праздник зеленуха. [\[447\]](#)

А удастся мне дело сварганить, красна за мной... Говори, с какой стороны ловчее подъехать к попу?

Глазам не верил Груздок, получив трешницу. [\[448\]](#) Зараз столько денег в руках у него давно не бывало. Да десять целковых еще впереди обещают!.. Уж он кланялся, кланялся, благодарил, даже прослезился. И потом сказал:

– Уж, право, не знаю, что присоветовать. Опаслив у нас батюшка-то! Вот разве что: дочь у него засиделась, двадцать пятый на Олену пошел. Лет пять женихи наезжают, дело-то все у них не клеится. В приданом не могут сойтись. Опречь там салопа, платьев, самовара, двести целковых деньгами просят, а поп больше сотни не может дать.

– Сто рублей, значит, надо ему? – сказал Самоквасов.

– Сразу не надо давать. С четвертухи [\[449\]](#) зачинайте, – сказал караульщик. – А как сладитесь, деньги ему наперед, без того не станет и венчать. Для верности за руки бы надо кому отдать, чтоб не надул, да некому здесь. Ты вот как: бумажки-то пополам, одну половину ему наперед, другу когда повенчает. Так-то будет верней.

Отец Родион был, однако ж, не так сговорчив, как ожидал Самоквасов. Не соблазнила его и сотня целковых. Стал на своем: «не могу», да и только. Самоквасов сказал наконец, чтоб Сушило сам назначил, сколько надо ему. Тот же ответ. Боялся Сушило, не с подвохом ли парень подъехал. Случается, бывает.

– С кем же, позвольте полюбопытствовать, имеете вы намерение в брак вступить? – спросил он наконец.

– Да не сам я, батюшка, – отвечал Самоквасов. – Я тут только так, с боку припека, в дружках, что ли, при этом деле.

– Кто ж таков жених-от? – любопытствовал Сушило.

– Московский один, заезжий... – отозвался Самоквасов.

– А какого, осмелюсь спросить, звания? – продолжал свои расспросы отец Харисаменов.

– А шут его знает, – сказал Самоквасов, – не то из купцов, не то мещанин... Так, плюгавенький, взглянуть не на что... Василий Борисов.

– Так-с... – поглаживая бородку, молвил Сушило. – Ну, а уж если позволите спросить, невеста-то чьих будет?

– А тут неподалеку от вас Чапурин есть Патап Максимыч. Дочка его.

– Чапурин!.. – с места вскочил поп Сушило. – Да что ж вы мне давно не сказали?.. Что ж мы с вами попусту столько времени толкуем?.. Позвольте покороче познакомиться! – прибавил он, пожимая руку Самоквасова. – Да ведь это такой подлец, я вам доложу, такой подлец, что другого свет не производил... Чайку не прикажете ли?.. Эй, матушка!.. Афимья Саввишна!.. Чайку поскорей сберите для гостя дорогого... Когда же венчать-то?..

– Да через недельку, батюшка, либо ден этак через десять, я вас накануне повестил бы, – отвечал Самоквасов.

А сам надивиться не может, что за притча с несговорчивым попом случилась.

– Уж как же вы утешили меня своим посещением! Уж как утешили-то! – продолжал изливаться в восторге Сушило. – Вот уж для праздника-то гость дорогой!.. Обвенчаем, родной мой, обвенчаем, только привозите!.. Патапка-то, Патапка-то!.. Вот потеха-то будет!.. Дочь за мещанином, да еще плюгавый, говорите.

– Плюгавый, батюшка, даже очень плюгавый, – подтвердил Самоквасов. – Такой, я вам скажу, плюгавый, что я, признаться сказать, и не рад, что ввязался в это дело...

– А, нет, не говорите!.. Не говорите этого!.. – сказал отец Родион. – В добром деле не должно раскаиваться... Нет, уж вы их привозите... Уж

сделайте такое ваше одолжение!.. Параскевой, кажись, невесту-то звать. Старшая-то Анастасия была, да померла у пса смердящего!..

– Так точно, батюшка... А как же у нас насчет уговора будет?.. Сто рублей? – спросил Самоквасов.

– Пятьдесят бы надо накинуть... Как хотите, а надо накинуть, – отвечал Сушило. – Если б не Патапке насолить, чести поверьте, ни за какие бы миллионы... Я так полагаю, что и двести целковых не грешно за такое браковенчание получить... Сами посудите, ответственность... А он хоть и мужик, да силен, прах его побери!.. С губернатором даже знается, со всякими властями!.. Это вы поймите!.. Поймите, на что иду!.. Не грех и триста целковеньких дать...

Самоквасов поспешил согласиться. «Не то, чего доброго, – подумал он, – разговорится поп да в тысячу въедет...»

Чаю напились, три сотенных пополам, и после многих обниманий и целований расстались.

Это было накануне Петрова дня.

\* \* \*

Петр Степаныч был на все лады молодец. За что ни возьмется, дело у него горит, кипит, само делается. С пылом, с отвагой схватился он за блажную затею Фленушки повенчать московского посланника с сонной, вялой Парашей. Не то чтоб думал он на расставанье угодить покидавшей его Фленушке аль устроить судьбу Параши, окрутив ее с Васильем Борисычем, а так – разгуляться захотелось, удалю потешиться. Не опасался он гнева Патапа Максимыча, не боялся, что оскорбит Манефу и в ужас приведет всю обитель Бояркиных. То забавляло его, какую тревогу поднимут в Москве на Рогожском, по всем скитам, по всему старообрядству, когда узнают, что великий, учительный начетчик, ревностный поборник «древлего благочестия», строгим житием и постничеством прославленный, обвенчался в никонианской церкви, да и невесту-то из скита выкрал. Воображал Самоквасов, как всполохнется мать Пульхерия, как засуетится рогожский святитель – поп Иван Матвеевич, как известие о свадьбе Василья Борисыча ошеломит столпов старообрядства, адамантов благочестия... Нарочно решился наскоро ехать в Москву любоваться потехой. А середь молодежи что смеху-то будет, шумного, беззаветного веселья!.. Для того одного стоит десяток посланников обвенчать!.. Главное дело, хохоту что будет, хохоту!..

За два дня до Казанской Самоквасов поскакал во весь опор в Язвицы к ямщикам. День был воскресный, в праздничных красных рубахах ямщики играли в городки середь улицы. Подошел Петр Степаныч, поглядел на них и, заметив молодого парня, что казался всех удалей, заговорил с ним:

– Лошадок бы надо.

Ямщики побросали палки и мигом столпились вокруг Самоквасова.

– Сколько требуется?

– Куда везти?

– В тарантасе, что ль? – в несколько голосов закричали они.

– Со всеми, братцы, не сговоришь, а мешкать мне не доводится, – молвил им Самоквасов. – Дело со всеми, а толковать буду с одним. Как тебя звать? – спросил он, обращаясь к тому, что показался ему всех удалей.

– Зовут зовуткой, величают серой уткой, – с хохотом в несколько голосов закричали ямщики, не думая отходить от Самоквасова.

– Кабак есть? – спросил Петр Степаныч.

– Как не быть кабаку? Станция без кабака разве бывает? Эх ты, недогадливый!.. – смеялись ямщики.

Вынул Самоквасов целковый и молвил, отдавая его ямщикам:

– Угощайтесь покуда. После дело до всех дойдет, а до того с ним потолкую.

– Благодарим покорно! – во всю мочь закричали ямщики. – Смекаем, что требуется! Нам не впервой... Уважим, почтенный, как следует все обработаем!

И пошли вдоль по улице.

– Как же звать-то тебя? – спросил Самоквасов, отойдя с удалым ямщиком в сторонку.

– Федор Афанасьев буду, – молвил тот, молодецки потряхнув светло-русыми кудрями.

– Лошадок к середине треба мне, Федор Афанасьич, – молвил ему Петр Степаныч. – Тройку в тарантасе, две не то три тройки в телегах.

– Можно, – сказал удалой ямщик.

– Да парней бы молодых, что поздоровей да поудалей, человек с десяток, – продолжал Петр Степаныч.

– И это можно, – молвил ямщик. – Крадено, значит, везти? – прибавил он, плутовски улыбаясь.

– Есть немножко около того, – тоже усмехаясь, молвил Петр Степаныч.

– Коли крадено живое – с великой радостью, а не живой товар, так милости просим от нас подальше, – сказал Федор Афанасьев.

– Живое, живое, – подхватил Самоквасов. – Мы не воры, не



разбойники, красных девушек полюбовники.

– Девку, значит, надо выкрасть? – лукаво подмигнув, молвил Федор.

– Есть тот грех, – усмехнувшись, сказал Петр Степаныч.

– Никакого тут нет греха, – сказал ямщик. – Все едино, что из тюрьмы кого высвободить аль отбить от разбойников. Сам я после Макарья тоже хочу девку красть.

– Так как же? – спросил Петр Степаныч.

– Будь покоен, почтенный, все это в наших руках, завсегда это можем, – отвечал Федор. – Восьэтто<sup>[450]</sup> мы одним днем две самокрутки спроворили... Четыре тройки говоришь?.. Можно... Парней десяток?.. И это можно... Велику ль погоню-то ждешь?.. Кольев не припасти ли, аль одним кулаком расправимся?

– Зачем колья, – сказал Самоквасов. – Коль и будет погоня, так не великая... Да и то разве бабы одни, – прибавил он усмехаясь.

– Стало быть, из скитов крадешь?.. Старочку?.. Молодец, паря! – хлопнув по плечу Самоквасова, весело молвил ямщик. – Я бы их всех перекрал – что им по кельям-то без мужьев сидеть?.. Поди, каждой замуж-от охота.

– Вестимо, – сказал Самоквасов. – Так как же у нас насчет ряды-то будет?

– По три целковых на брата даешь? – спросил Федор.

– Дам, – ответил Петр Степаныч.

– Ладно. Угощенье какое?

– На ведро водки деньгами дам – угощайтесь сами, как знаете, – молвил Самоквасов.

– Ведра будет маловато, два поставь. Заслужим, – сказал ямщик.

– Ну, два так два. Идет, – согласился Петр Степаныч.

– А на закуску? – опять спросил Федор.

– Тоже деньгами выдам, – сказал Петр Степаныч. – Трех целковых будет?

– Положь пятишницу, – почесывая затылок, молвил ямщик.

– Идет... А за ко́ней что?

– Езда-то куда? – спросил Федор.

– Отсель к Ронжину выехать... – начал было Самоквасов.

– Из Комарова, стало быть, крадешь, – усмехнулся ямщик.

– Оттоль в Свиблово.

– К попу Сушиле. Знатный поп, самый на эвти дела подходящий. Наши ребята с самокрутками все к нему. Денег только не жалея, – а то хоть с родной сестрой окрутит.

– Из Свиблова в город, – продолжал Петр Степаныч.

– Десять да десять – двадцать, да еще двадцать одна – сорок одна верста всей-то езды. Подставы будут нужны. Сорок верст по такой жаре не ускачешь, – сказал Федор.

– Подставы так подставы, – молвил Петр Степаныч. – Сколько ж за все?

– Десять человек по три целковых – тридцать, – стал считать Федор, – два ведра – десять, на закуску пятишницу – значит, всего сорок пять, за коней пятьдесят. Клади сотенну кругом, тем и делу шабаш.

– Пять-то целковых зачем присчитал? – молвил Петр Степаныч.

– Наспех делается, почтенный, нельзя, – ответил ему Федор. – Плáтами не станешь поезжан оделять? Невестиных даров тоже не будет?.. Положь за дары-то пятишницу.

– Ну, ладно. Получай задаток, – молвил Петр Степаныч Федору и подал ему четвертную.

– Ты к тем не ходи, – сказал Федор. – Я уж сам тебе все обделаю. Будь спокоен... Когда выезжать-то?

– Коль не пришлю повестку в отмену, в среду после полден часа через три быть вам у Ронжина, – отвечал Самоквасов.

– Слушаем, – молвил ямщик. – Все в исправности будет. Нам не впервой.

Самоквасов дальше поехал, а в Язвицком кабаке далеко за полночь ямщики пили и пели, гуляли, кричали на все голоса.

В городе Петр Степанович не так легко и скоро управился, как в Язвицах. Здесь надо было ему приискать квартиру, где б молодые после венца прожили несколько дней до того, как поехать в Осиповку за родительским прощением. В том захолустном городке гостиниц сроду не бывало, а постоялый двор всего-навсего один только был, наезд бывал туда только в базарные дни. На том дворе Петр Степаныч пристал, видит, молодых тут нельзя приютить – больно уж бойко и во всем несуразно: все одно что кабак... По домам пошел квартиры искать – нет ни единой.

Проходил Самоквасов по городку вплоть до́ вечера и уж думал на другой день квартиры искать в деревнях подгородных, но ему и тут удалой ямщик пригодился. Только вышел он поутру на улицу, Федор Афанасьич тут как тут – усталых, взмыленных коней проваживает... Окликал его Петр Степаныч.

– А, почтенный!.. Ты уж и здесь, – весело отозвался ямщик. – А меня, чтоб его пополам да в черепья, пес его знает, барин какой-то сюда потревожил... Казенна подорожная, да еще «из курьерских...». Вишь,

коней-то загнал как, собака, – не отдышатся, сердечные... А мы только что разгулялись было, зачали про ваше здоровье пить, а его шайтан тут и принеси... Очередь-то моя – что станешь делать?.. Поехал.

– Слушай-ка, парень, вечер сказывал ты, что эти самокрутки дело вам за обычай, – молвил ему Самоквасов.

– Без нашего брата тут нельзя... – отвечал Федор. – Потому, ускакать надо. Мне вот у тебя на двадцатой свадьбе доведется быть... Завсегда удавалось, раз только не успели угнать. И колотили же нас тогда... ой-ой! Три недели валялся, насилу отдох. До сих пор знатко осталось, – промолвил он, показывая на широкий рубец на правой скуле... – Отбили, ареды!..

– А не случилось тебе после венца молодых сюда в город возить? – спросил Самоквасов.

– Как не случилось – случилось!.. Сколько раз... – отвечал Федор.

– Видишь ли что, Федор Афанасьич, – сказал Самоквасов, – человек я заезжий, знакомцев у меня здесь нету... Вечор бился, бился, искал, искал квартиры, где бы пожить молодым. Весь город исходил – собачьей конуры и той не нашел.

– У Феклиста Митрича нешто не был? – спросил у него ямщик.

– У какого Феклиста Дмитрича?

– Погребок у него, вином виноградным торгует, – сказал ямщик, – лавочка тоже есть, бела харчевня. К нему с девьем когда хошь, и в полночь и за полночь.

– Ну нет, Федор Афанасьич, это, друг любезный, не годится. Не шатущие приедут, не в кабаке им жить, – сказал Петр Степаныч.

– Зачем в кабаке? – возразил ямщик. – Только не жалей целкачей, так Феклист Митрич сам-от в подклет переберется, а верхни горницы тебе предоставит. А горницы у него важные!.. Во всех не бывал, хвастать не стану, а говорят, почище да приборней городнических будут.

– Где ж его отыскать? – спросил Самоквасов.

– А ты обожди здесь маленько, я только коням овсеца задам. Покамест жуют, мы с тобой дело-то и обладим. Мне не впервой к нему молодых-то привозить, – сказал Федор Афанасьич.

– Постой, погоди, – молвил ему вслед Петр Степаныч, – какой он веры, Феклист-от Митрич? Какого, значит, согласу?

– А тебе что? – обернувшись, спросил ямщик.

– Да ведь если он по ихней, по скитской значит, так, пожалуй, не пустит, – молвил Петр Степаныч.

– Феклист-от Митрич не пустит?.. Эва!.. – засмеялся ямщик. – Он,

брат, у нас всякой веры... Когда котора выгоднее, такую на ту пору и держит. В одни святы денежки верует. Повесь на стенку сотенну бумажку – больше чем Николе намолится ей.

Убрав лошадей, ямщик повел Петра Степаныча к Феклисту Митричу. Тот сразу согласился уступить все верхнее жилье дома. Понравилось оно Петру Степанычу – как есть купецкий дом средней руки. Ни горок с серебром и ценным фарфором, ни триповых диванов, как у Патапа Максимыча, не было, а все-таки не зазорно было Прасковье Патаповне вступить в такой дом после венчанья. Зато уж и содрал же Феклист Митрич щетинку с Самоквасова. Что ни разъезжал по городам, нигде таких цен за постой он не плачивал. Однако ж не торговался, хоть и почесал в затылке, подумавши, что свадебка-то ему, пожалуй, за тысячу въедет. Да что тысяча, коль охота молодцу покуражиться. «Главное дело, матушка Пульхерия да батюшка Иван Матвеич!.. Рожи-то какие корчить зачнут!..»

– Так вы уж, пожалуйста, Феклист Митрич, постарайтесь, чтобы все как следует было, – молвил Самоквасов ему на прощанье.

– Не извольте, почтеннейший господин, напрасно беспокоиться. Слава Богу, эти дела нам не впервые, – дробной скороговоркой зачастил Феклист Митрич. – Летошний год Сущев, купец из Нижнего Воскресенья, – рыжий такой, не изволите ли знать, да толстый, – тоже скитскую девицу из Оленева крал, тоже у нас проживанье имели, всем остались довольны. Свечки будут стеариновые, по всем горницам зажжем; двуспальну постель кисейными пологамы украсим, можно будет и коврики постлатъ. Чайна посуда и для обеда отменная: не понравится кушанье из нашей харчевни, можем из трактира повара взять; вина первый сорт – от Соболева. И все по самым сходным ценам будет предоставлено вашему почтению.

Сладились. Отдал Феклисту Петр Степаныч задаток, простился с удалым ямщиком и рысцой покатыл к попу в Свиблово.

\* \* \*

Сушило встретил Петра Степаныча не по-прежнему. Когда Самоквасов подъезжал к погосту, поп, влекущий племя свое от литовских бояр, в белой холстиновой рубахе, босиком, но в широкополой шляпе, косил по своему кладбищу сено. Ловко размахивал он косою, гораздо ловчее, чем работавший в другом углу кладбища Груздок. Услыхав грохот тележки на мостике, Сушило перестал косить, приставил правую руку зонтиком над глазами и пристально стал вглядываться в проезжего. Узнав с нетерпением

ожидаемого гостя, швырнул он косу и крикнул сторожу:

– Докашивай, Груздок, докашивай, да в оба гляди, от Игнатья аль от Ипатя ребятенки опять бы не стали корзинами наше сено таскать. Чуть что, первого за вихор да ко мне на расправу.

И бегом побежал к дому отец Харисаменов, сверкая голыми пятками. Став в калитке, окликнул он лихо подкатившего Петра Степаныча:

– Милости просим, гость дорогой, милости просим! В горницу пожалуйте, а я сейчас оболюсь.

Поставив лошадок у поповских ворот, Самоквасов вошел в дом. Горница была пуста, но за перегородкой слышалась возня одевавшегося отца Родиона, припевавшего вполголоса: «Ангельские силы на гробе твоём и стрегущие омертвеша».

Через несколько минут вышел из-за перегородки Сушило в желто-зеленой нанковой рясе и даже распущенными из пучка и расчесанными волосами. Хоть архиерею напоказ.

Поклонился Самоквасов отцу Родиону, а тот, подавая ему руку, запросто, с усмешкой промолвил:

– Благословения не приемлете?

– Нет, батюшка, и мы тоже старинки держимся, – улыбаясь, ответил Петр Степаныч.

– Ну, как знаете... А нехорошо, нехорошо, – вдруг приняв на себя строгий вид, заговорил отец Харисаменов. – Без церкви спастись невозможно. Потому сказано: «Аще все достояние свое нищим расточишь, аще весь живот свой в посте и молитве пребудеши, церкви же чуждаться будеши – никак души свою пользуеши».

– Мы, батюшка, так уж сызмальства, – сказал Самоквасов. – Как родители жили, так и нас благословили.

– Ну, ваше дело, ваше дело, – мягким голосом проговорил Сушило. – Я ведь так только... к слову... Так подобает мне, потому пастырский долг, обязанность благовременно и безвременно поучать и увещевать всяка человека, святых Божией церкви чуждающегося. Садитесь милости просим, гость дорогой... А я еще третьего дня вас поджидал... Акимья Саввишна!.. Матушка!.. Аль не слышите?.. Чайку скорей сберите да на закусочку кой-что сготовьте... Ну, как наши дела, почтеннейший Петр Степаныч?... Когда венчать-то?.. Пора бы уж, пора – мои половинки по вашим соскучились, – со смехом прибавил отец Родион.

– Да послезавтра бы, в среду, если можно, батюшка, – ответил Самоквасов.

– Можно, все можно. Отчего ж нельзя? – ласково и нежно заговорил

Сушило, поглаживая бородку. – Чем скорей, тем лучше: и для нас способнее, и для вас приятнее. Отзвонил да с колокольни долой, как у нас говорится. Хе-хе-хе!..

– Так к которому же часу привезти их, батюшка? – спросил Петр Самоквасов.

– Попозже-то лучше бы. Не столь видно, – сказал Сушило. – Хотя при нашем храме стороннего народа, опричь церковного клира, никого не живет, однако ж все-таки лучше, как попозднее-то приедете. В сумерки этак, в сумерки постарайтесь... Потому, ежели днем венчать, так, увидевши ваш поезд, из деревень вылезут свадьбу глядеть. А в таком деле, как наше, чем меньше очевидцев, тем безопаснее и спокойнее... Погоню за собой чаете?

– Нет, батюшка, вряд ли будет погоня, – отвечал Петр Степаныч.

– А ежели Патапка проведает? – возразил Сушило. – Двадцать деревень может поднять, целу армию выставит. С ним связаться беда – медведь, как есть медведь.

– В город, батюшка, уехал, дела там какие-то у него, с неделю, слышь, в отлучке пробудет, – сказал Самоквасов. – И матери дома нет – в Вихорево, коли знаете, к Заплатиным гостить поехала.

– С дочерью, с нашей то есть невестой? – любопытствовал отец Родион.

– Невеста-то у тетки в Комарове, – молвил Петр Степаныч.

– У Манефы, – полушепотом подхватил Сушило. – Ехидная старица, злочинная!.. На одну бы осину с братцем-то... А разве вы полагаете, почтеннейший Петр Степаныч, что ежели паче чаяния злочинная Манефа узнает, так не нарядит она погони?.. Какую еще нарядит-то!.. Денег жалеть не станет, все окольные деревни собьет... Поопасьтесь на всякий случай.

– Будьте покойны, батюшка, – сказал Самоквасов. – Ни Манефы послезавтра в Комарове не будет, ни других начальных стариц – все в Шарпан уедут.

– Да, ведь послезавтра восьмое число: явление Казанския чудотворныя иконы... Праздник у них в Шарпане-то, кормы народу, – злобно говорил отец Родион. – Ох, куда сколь много вреда святей церкви теми кормами они чинят... И как это им дозволяется!.. Сколько этими кормами от церкви людей отлучили... Зловредные, изо всех скитниц самые зловредные эти шарпанские!.. И как это вы отлично хорошо устроили, – переменил свою речь Сушило.

– Что такое? – спросил Петр Степаныч.

– А как же? Отец в отлучке, мать в отлучке, тетка в отлучке, сама

невеста не в своем доме, и призора нет за ней никакого, – говорил отец Родион. – Отменно хорошо дельце оборудовали, ей-Богу, отменно... А на всякий случай, ради отбоя погони, люди-то будут ли у вас?

– Как же, батюшка, без того нельзя, – отвечал Самоквасов. – Десять молодцов здоровенных – не больно к ним подступятся...

– Ну вот и прекрасно, – молвил Сушило. – Преотменно, я вам доложу. Без отбойных людей в таких делах никак невозможно. Потому что тут погонщики бывают аки звери. Пьяны к тому ж завсегда. Таковую иной раз свалку подымут, что того и гляди смертоубийства не было бы... А вы не беспокойтесь, только поспевайте скорее, дорогой бы только вас не угнали, а здесь уже все в порядке будет. Дверь в церковь у нас дубовая, толстая, опричь нутряного ключа, железной полосой замыкается, окна высоко, к тому ж с железными решетками да с болтами... Столь крепко запремся, что никакими силами нас не возьмут... Хе-хе-хе!.. Нарочно для таких случаев и сделано, опять же для опасности от воровских людей. Жителей-от у нас, как видите, опричь меня да причетников, нет никого, а кругом народ вор, как раз могут церковь подломать... На́ это взять их, мошенников!

– Батюшка, уж вы, пожалуйста, жениха-то с невестой по́солонь обведите, – вкрадчивым голосом сказал попу Петр Степаныч.

– По́солонь, посолонь!.. – пощипывая бородку, думчиво говорил отец Родион. – Неладно будет, государь мой, не по чину.

– Уж сделайте такое ваше одолжение... Не откажите... Да уж и теплоту-то в стеклянном стакане подайте... Уж сделайте милость.

– Значит, по-вашему: стакан жениху в церкви о пол бить да ногой черепки топтать... – сказал Сушило. – Бесчинно и нелепо, государь мой!.. Вы этак, пожалуй, захотите, чтоб после венца невесте в церкви и косу расплетали и гребень в медовой сыте мочили, да тем гребнем волоса ей расчесывали.

– Вот ведь, батюшка, вы все знаете, как у нас по-старинному делается, – улыбнулся Самоквасов.

– Еще бы не знать! Сколько годов с вашим братом вожусь, со здешними, значит, расколыщиками. Все ваши обычаи до тонкости знаю, – молвил отец Родион.

– Так уж вы так и сделайте, батюшка, коли все знаете. Очень бы нас тем одолжили. А мы будем вам за то особенно благодарны.

– Да не все ль для вас едино: так ли, этак ли их повенчаю. Тут главная причина, в обыскную книгу было бы вписано, – сказал Сушило.

– Нет, уж вы сделайте такое ваше одолжение, – продолжал Петр Степаныч. – Я вам за́ это сейчас же четвертную, не надрываючи, –

уговаривал его Петр Степаныч.

– Ох, уж, право, какие вы! – с глубоким вздохом молвил отец Родион. – И не рад, что связался! Только уж как хотите, а одной четвертной будет маловато... А будет с невестой какая молодница, голову-то бы ей в церкви расчесать да повойник вздеть?

– Нет, батюшка, во всем поезде женского полу, опричь невесты, не будет у нас, – сказал Самоквасов.

– Так как же это будет? – воскликнул Сушило. – Не мужчине ж волоса-то ей расчесывать. Впрочем, об этом не пекитесь. Тут неподалеку для таких делов есть у нас мастерица. Ее пригласим; это уж мое дело, насчет этого вам беспокоиться нечего.

– Очень будем вам благодарны, батюшка, – сказал Петр Степаныч. – Так какая же будет у нас ряда? – сказал он потом.

– Сами сочтите, – ответил отец Родион. – За пóсолонь четвертная, за стакан другая, за расплетанье косы третья, молоднице четвертая. Сотенная, значит.

– Как же это, батюшка, за косу-то вдвойне вы кладете? – спросил Самоквасов. – За расплетанье косы четвертная, да молоднице другая?

– Одна, значит, мне за дозволение совершить во храме бесчинный обряд, церковными правилами не заповеданный, а другая молоднице за труды, – спокойно и даже внушительно сказал поп Сушило.

Как не бился Петр Степаныч, копейки не мог выторговать. Уперся поп Сушило на сотне рублей, и ничем его нельзя было сдвинуть. Заплатил Самоквасов, напился у попа чаю, закусил маленько и тихой рысцой покатыл к Каменному Вражку.



## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Спрыснув золотые галуны удельного головы и знаменитого перепелятника, веселый и вполне довольный собой и другими, Патап Максимыч заехал в деревню Вихореву, оставил там у Груни Аксиныю Захаровну, а сам денька на два отправился в губернский город. Приехал туда под вечер, пристал у «крестника», у Сергея Андреича.

Колышкин повел его в тенистый сад и там в тесовой беседке, поставленной на самом венце кручи,<sup>[451]</sup> уселся с «крестным» за самовар. После обычных расспросов про домашних, после отданных от Аксиныи Захаровны поклонов спросил Патап Максимыч Колышкина:

– А что мой Алексеюшка? У тебя, что ли, он?

Сергей Андреич только посвистал вместо ответа.

– Чего свищешь? По-человечьи говори, не по-птичьи, – с досадой молвил Патап Максимыч.

– Рукой не достанешь его... Куда нам такого внаймах держать!.. – сказал Сергей Андреич.

– Как так? – удивился Чапурин.

– Маленько повыше меня, на Ильинке – Рыкаловский дом знаешь?

– Как не знать? – молвил Патап Максимыч.

– А вон на пристани, третий пароход от краю, бела труба с красным перехватом. Видишь?

– Ну?

– И дом Рыкаловский и пароход с белой трубой теперь Алексея Трифоныча Лохматого. И он теперь уж не Лохматый, а Лохматов прозывается. По первой гильдии... Вот как... – сказал Колышкин.

Не нашел Чапурин слов на ответ. Озадачили его слова Сергея Андреича.

– Да это на плохой конец сотня тысяч! – молвил он после короткого молчания.

– Девяносто, – сказал Сергей Андреич, закуривая сигарету. – Маленько не угадал.

– Откуда ж такие у него деньги? С неба свалились, с горы ли скатились? – воскликнул в изумление Патап Максимыч.

– И с неба не свалились, и с горы не скатились – жена принесла, – молвил Колышкин.

– Как жена?.. Какая жена?.. – воскликнул, вскочив со скамьи, Патап

Максимиыч.

– Какие жены бывают... Вечор повенчались... – куря равнодушно сигару, ответил Колышкин.

– На ком, на ком? – горя нетерпением, спрашивал Патап Максимиыч.

– Ну-ка, вот угадай!.. Из ваших местов, из-за Волги невесту брал, да еще из скитов... Разумеешь? – молвил Колышкин.

– Знаю теперь, догадался! – вскрикнул Патап Максимиыч. – Дура баба, дура!.. На Петров день у сестры мы гостили, там узнали, что она тайком из скита с ним поехала... Неужели пошла за него?

– Пошла, – ответил Сергей Андреич.

– Дурища! – вполголоса промолвил Чапурин.

– Верно твое слово, – подтвердил Колышкин. – Надивиться не могу, как это решилась она... Баба не в молодях, а ему немного за двадцать перевалило; лет через десять – она старуха, а он в полной поре... Видала от первого мужа цветочки, от другого ягодок не увидеть ли... И увидит, бесприменно увидит... Еще женихом какое он дельце обработал – чуть не половину ее капитала за собой закрепил... и дом и пароход – все на его имя. Завладеет и деньгами, что в ларце у жены покаместь остались... Всем по скорости завладеет... Тогда и свищи себе в кулак, Марья Гавриловна, гляди из мужниных рук... Воли-то нет над ней, поучить-то некому, дурь-то выбить из пустой головы.

– Как же это он таково скоро? – молвил Патап Максимиыч, не глядя на Колышкина.

– Такие дела всегда наспех делаются, – сказал Сергей Андреич. – Баба молодая, кровь-то, видно, еще горяча, а он из себя молодец... Полюбился... А тут бес... И пришлось скорей грех венцом покрывать... Не она первая, не она последняя... А ловок вскормленник твой... метил недолго, попал хорошо.

– Да, ловок, – вздохнул Патап Максимиыч, и яркая краска облила думное лицо его.

– Билет на свадьбу присылал, да я не поехал, – молвил Сергей Андреич. – Ну его к Богу. Не люблю таких.

Не ответил Патап Максимиыч. Про Настю ему вспомнилось.

– Шельмец! – порывисто с места вскочив, вскрикнул он и стал ходить по беседке взад и вперед.

– Раскусил-таки! – усмехнулся Колышкин. – Да, молодец!.. Из молодых, да ранний!.. Я, признать, радехонек, что ты вовремя с ним распутался... Ненадежный парень – рано ли, поздно ли в шапку тебе наклал бы... И спит и видит скоро наживу... Ради ее отца с матерью не

помилует... Неладный человек!

– Не в примету мне было то, – обмахиваясь платком, промолвил Патап Максимыч. Пот градом струился по покрасневшемуся лицу его.

– А я так приметил, даром что меньше твоего знаю пройдоху... – сказал на то Колышкин. – Намедни пожаловал... был у меня. Парой в коляске, в модной одеже, завит, раздушен, закорузные руки в перчатках. Так и помер я со смеху... Важный, ровно вельможа! Руки в боки, глаза в потолки – умора! И послушал бы ты, крестный, как теперь он разговаривает, как про родителей рассуждает... Мерзавец, одно слово – мерзавец!

– Что ж про родителей-то? – спросил Патап Максимыч.

– Спрашиваю его: будут ли на свадьбу, повестил ли их? «Некогда, – говорит, – мне за ними рассылать, оченно, дескать, много и без них хлопот».

– Дела, дела! – глубоко вздохнул Патап Максимыч, садясь на стул перед Колышкиным.

– Да, крестный, дела, что сажа бела, – молвил Сергей Андреич.

– Повидаться мне с ней надо б, с Марьей-то Гавриловной, – подумав, сказал Патап Максимыч. – Дельце есть до нее... За тем больше и в Комаров к сестре ездил, чаял ее там увидеть.

– Что за дельце такое? – спросил Колышкин.

– Торговое, – сухо ответил Чапурин.

– Что ж?.. Сходи поздравь с законным браком. Законный как есть – в духовской венчались, в единоверческой, – сказал Сергей Андреич.

– Да ведь они оба нашего согласу, – удивился Патап Максимыч.

– Духовско-то венчанье, слышь, покрепче вашего, – улыбнулся Колышкин. – Насчет наследства спокойнее, а то неравно помрет, так после нее все брату достанется. Так и сказал. Боится, видишь, чтобы Залетовы не вступились в имение, не заявили бы после ее смерти, что не было венчанья, как следует.

– Не сделает этого Залетов, – молвил Патап Максимыч. – Знаю я Антипу Гаврилыча: до денег жаден, а на такое дело не пойдет.

– Сам я знаю Залетова, сам то же думаю, а вот Алексей Трифоныч Лохматов не таких, видно, мыслей держится, – ответил Колышкин.

– Не чаял от него таких дел, не чаял, – качая головой, говорил Патап Максимыч.

После того приятели спокойно толковали про торговые дела, про пароходство, клади и поставки. И длилась у них беседа до ужина.

– Где спать-то велишь? – спросил Патап Максимыч, выходя с хозяином

после ужина из беседки.

– Все приготовлено. Успокою дорогого гостя!.. В кои-то веки пожаловал!.. – говорил Сергей Андреич.

– Ты бы мне здесь в беседке велел постлать... На вольном воздухе легче, не душно, – сказал Патап Максимыч.

– Чтой-то ты, крестный? – возразил Сергей Андреич. – Возможно ль тебе у меня не в дому ночевать!.. На всех хватит места. Хочешь, спальню свою уступлю? Нам с женой другое место найдется.

– Нет, уж ты вели мне постеленку в беседке постлать... На воле-то крепче поспится, – настаивал Патап Максимыч.

– На заре-то холодно будет – озябнешь, – молвил Сергей Андреич.

– Наше дело мужицкое – авось не замерзнем, – усмехнулся Патап Максимыч и настоял, чтобы ночлег был сготовлен ему в беседке.

Полночь небо крыла, слабо звезды мерцали в синей высоте небосклона. Тихо было в воздухе, еще не остывшем от зноя долгого жаркого дня, но свежей отрадной прохладой с речного простора тянуло... Всюду царил бесшумный, беззвучный покой. Но не было покоя на сердце Чапурина. Не спалось ему в беседке... Душно... Совсем раздетый, до самого солнышка простоял он на круче, неустанно смотря в темную заречную даль родных заволжских лесов.

«Так вот он каков объявился!.. Корыстник!.. Падок на деньги, жаден к богатству!.. А я-то как о нем рассуждал, – так сам с собой раздумывал Патап Максимыч. – Стало быть, и покойницу-то из-за корысти губил он!.. Не познала тайных замыслов его, голубонька; мороком обвел злодей, отуманил ее... Не красы девичьей, а денег моих добивался!.. Теперь это солнца ясней... А я ль не любил его, я ли о нем не старался!.. От родного отца откинулся, как же бы тестя-то стал почитать?.. Э!.. Пропадай он совсем!.. И пропадет, как капустный червяк пропадет!.. Неправедна корысть впрок не пойдет... А выскользнул из рук!.. Сам стал богат: теперь ни угрозой, ни лаской, ни дарами, ни долгами рта ему не завяжешь... Обесславит ее во гробу, накроет позором мою голову!.. Ох, Господи, Господи!.. От него все станется... Чует мое сердце!»

Долго раздумывал Чапурин, как бы властной рукой наложить молчанье на уста разбогатевшего Алексея, но, как ни раскидывал умом, ничего придумать не мог. Стало его заботить и дело с Марьей Гавриловной. За год перед тем взял он у нее двадцать тысяч рублей по векселю, срок платежа наступал, а денег в сборе нет. Взявши зимой не по силам подряд, извел он залежные деньги, а за поставку уплату надо получать у Макарья... О долге прежде ему не гребтелось, не думал Чапурин о сроке, знал, что Марья

Гавриловна не то что полтора месяца, целый год подождет. Бывши на Настиных похоронах, сама закинула такое слово Патапу Максимычу. Оттого и денег он не припас, оттого и хотелось потолковать с Марьей Гавриловной насчет отсрочки. А срок послезавтра.

«Она вся теперь в его власти, – ходя по венцу горы, думал Чапурин. – Вдруг он не захочет?.. Вдруг ко взысканью представит?.. Разве мало видел от меня милостей?.. Не камень же в самом деле!..»

Утром Патап Максимыч, не повидавшись с Сергеем Андреичем, в Рыкаловский дом пошел. Затуманилось в глазах, тоской заныло гордое сердце кичливого тысячника, когда вспало ему на ум, что будто на поклон он идет к своему токарю... Полугода не прошло с того, как, подав щедрую милостыню, вырвал из нищеты его семью, а самого приблизил к себе ровно сродника. Позором честной семьи за добро заплатил, но и после того не оскудела рука Патапа Максимыча. И вот теперь, когда, по словам Колышкина, Алексей во всю ширь развернулся и во всей наготе выказал жадную, корыстную душу свою, высокомерному Чапурину доводится идти к нему ровно на поклон, просить, может быть, кланяться... Сроду не случалось ему такого униженья, никогда не была так оскорблена его спесь, его надменность самим собой... Но все-таки надеялся он на Марью Гавриловну. Она добрая, отсрочит, сама же обещала отсрочку, сама говорила, чтоб он не хлопотал, не сбирал денег на расплату в срок.

Не надивится Патап Максимыч, глядя на богато разубранные комнаты Алексея Трифоныча. Бронза, зеркала, ковры, бархаты, цветы – ничем не хуже колышкинских. И все так ново, так свежо, так ярко, все так и бьет в глаза... И это дом поромовского токаря, дом погорельца, что прошлой зимой нанимался к нему в работники!.. Ночи темней сумрачные взоры Чапурина.

\* \* \*

Самого Алексея не было дома, на пароход уехал, в тот день надо было ему отваливать. Марья Гавриловна, только что повестили ее про Патапа Максимыча, тотчас вышла к нему из внутренних горниц.

В пышном нарядном платье, но бледная, задумчивая, с поникшей головой, неслышными стопами медленно вышла она по мягким пушистым коврам и стала перед Патапом Максимычем. Подняла голову, вспыхнула заревом, опустила глаза.

– С законным браком, сударыня Марья Гавриловна, – тихо и

сдержанно, но сильно взволнованным голосом проговорил Патап Максимыч.

– Покорно вас благодарю, – чуть слышно отвечала она. – Садитесь милости просим.

Сели. Речи нейдут на уста ни тому, ни другой. Помолчав, Чапурин сказал:

– А я вечер только приехал. Знать бы наперед, на свадьбу поспешил бы.

– Покорно вас благодарю, – сдерживая, сколько доставало силы, волнение, тихо ответила ему Марья Гавриловна.

– Скоренько поспешили, – после нового молчанья промолвил Патап Максимыч.

– Власть Божия, Патап Максимыч, судьба! – сказала Марья Гавриловна.

– Вестимо, – молвил Патап Максимыч. – Что на роду человеку написано, от того никому не уйти. Сказано: сужена-ряжена ни пешу обойти, ни конному объехать!..

– Аксинья Захаровна как в своем здоровье, Параша? – догадалась наконец спросить Марья Гавриловна.

– Живут помаленьку, – отвечал Патап Максимыч. – Хозяйку в Вихореве у Груни покинул, Прасковья гостит в Комарове.

– Матушка Манефа здорова ль? – совсем склонив голову, едва переводя дух, чуть слышно спросила Марья Гавриловна.

– Пеншит помаленьку. Старого леса кочерга!.. Хворает, болеет, а сотню лет наверняк проскрипит, – слегка улыбнувшись, промолвил Чапурин.

Еще что-то хотела сказать Марья Гавриловна, но не вылетело из уст ее крылатого слова.

– На Петров день у Манефы гостили мы, – зачал опять Патап Максимыч. – Не обессудьте, Марья Гавриловна, в вашем домике приставали: я, да кум Иван Григорьевич, удельный голова, да Марка Данилыч Смолокуров, – не изволите ли знать?

– Слыхала про Марка Данилыча, – молвила Марья Гавриловна. – Сказывают, человек хороший.

Опять настало молчанье. С духом сбирался Патап Максимыч.

– А я с просьбицей к вам, Марья Гавриловна, – зачал он наконец и замялся на первых словах.

– С какой, Патап Максимыч? – с ясным взором и доброй улыбкой спросила Марья Гавриловна.

– Да вот насчет того векселя... Послезавтра срок. Как были вы у нас на

Настинных похоронах, сами тогда сказали, что согласны отсрочить... Мне бы всего месяца на полтора. Надеюсь на ваше слово, денег я не сготовил. Безо всяких затруднений можно бы было и больше той суммы перехватить, да видите – теперь вдруг подошло... Тогда при моей скорби-печали, сами знаете, до того ли мне было, чтоб векселя переписывать... А теперь уж сделайте такую вашу милость, не откажите, пожалуйста. Все векселя, что даны мне за горянщину, писаны до спуска флагов у Макарья, значит по двадцать пятое августа. Уж сделайте такую милость, Марья Гавриловна, перепишите векселек-от на два месяца, по девятое, значит, сентября.

– С великим моим удовольствием, – ответила Марья Гавриловна. – Не извольте беспокоиться, Патап Максимыч... Так точно, сама я тогда говорила вам, чтоб вы не хлопотали об уплате на срок... Вот Алексей Трифоныч сейчас приедет; доложу ему, что надо завтра непременно тот вексель переписать.

– А сами-то вы? – спросил Патап Максимыч.

– Сами вы муж, сами семьи голова, Патап Максимыч, – улыбнувшись, промолвила Марья Гавриловна. – По себе посудите – стать ли замужней женщине в такие дела помимо мужа входить?... У меня все ему сдано... Посидите маленько, не поскучайте со мной, он скоро воротится. Пароход сегодня в Верху отправляет – хлопоты.

Колóm повернуло сердце у Патапа Максимыча. Приходится поклониться Алексею. «Не во сне ль это?» – думает высокомерный, спесивый тысячник, и багровый румянец обливает лицо его, кулаки сами собой стиснулись, а черные глаза так и засверкали искрами. «И угораздило ж ее за такого талагая<sup>[452]</sup> замуж идти!.. Ему кланяться!.. Алешке Лохматову!.. Да пропадай он совсем!.. В позор разорюсь, а не поклонюсь ему!.. Ох дура, дура!.. Погоди, матушка, погоди – облупит он тебя, как липочку, да, кажись, немного уж осталось и обдирать-то тебя!..»

Вдруг по всему дому звон раздался. Давно ль не умел Алексей сладить со звонком на крыльце у Кольшкина, а теперь сам приделал звонки к подъезду «благоприобретенного» дома и каждый раз звонил так усердно, как разве только деревенски ребятишки звонят о Пасхе на сельских колокольнях.

– Приехал, – молвила Марья Гавриловна, и как-то неловко стало ей перед Патапом Максимычем. Слегка засуетилась она.

Бойко, щёпетко<sup>[453]</sup> вошел Алексей. Щеголем был разодет, словно на картинке писан. Поставив шляпу на стол и небрежно бросив перчатки, с неуклюжей развязностью подошел он к Патапу Максимычу. Как ни

сумрачен, как ни взволнован был Чапурин, а еле-еле не захохотал, взглянув на своего токаря, что вырядился барином.

– Наше вам наиглубочайшее! – закатывая под лоб глаза, нескладно повертываясь и протягивая руку Патапу Максимычу, с ужимкой сказал Алексей. – Оченно ради, почтеннейший господин Чапурин, что удостоили нас своей визитой!

Нехотя подал Патап Максимыч ему руку, еще раз с головы до ног оглядел Алексея, слегка покачал головой, но сдержался – слова не молвил. Одно вертелось на уме: «Наряд-от вздел боярский, да салтык-от остался крестьянский; надень свинье золотой ошейник, все-таки будет свинья».

– Садитесь милости просим, почтеннейший господин Чапурин, – говорил Алексей, указывая на диван Патапу Максимычу. – А ты, Марья Гавриловна, угощенья поставь: чаю, кофею, «чиколату». Чтобы все живой рукой было! Закуску вели сготовить, разных водок поставь, ликеров, рому, коньяку, иностранных вин, которые получше. Почтенного гостя надо в аккурат угостить, потому что сами его хлеб-соль едали.

– Спасибо на памяти про нашу хлеб-соль, – сухо промолвил Патап Максимыч. – Не беспокойте себя понапрасну, Марья Гавриловна. Ни чаю, ни кофею, ни закусывать мне теперь неохота... И за то благодарен, что хлеб-соль моя не забыта.

– Помилуйте, почтеннейший господин Чапурин, как же возможно вашу хлеб-соль нам позабыть? – молвил Алексей. – Хоша в те времена и в крестьянстве я числился, никакого аванжау за собой не имел, однако ж забыть того не могу... Справляй, справляй, а ты, Марья Гавриловна... Не можно того, чтоб не угостить господина Чапурина. Сами у него угощались, и я и ты.

– Пожалуйте, Патап Максимыч, не побрезгуйте нашим угощением. Мы ото всей души, – сказала Марья Гавриловна и вышла.

И Патапу Максимычу и Алексею было как-то неловко, тягостно. Еще тягостней показалось им, когда они остались с глазу на глаз. Молчали, поглядывая друг на друга.

– Пароход сейчас отправил, – заговорил наконец Алексей. –хлопот по горло. Известное дело – коммерция!.. Насилу отделался.

– К Верху побег?.. – чтобы что-нибудь сказать, спросил Патап Максимыч.

– Как есть в аккурат, угадали: в Рыбну, – ответил Алексей.

– С кладью?

– Неужто погоним пустой?.. Не расчет-с!.. На одних дровах обожжешься!.. – с усмешкой промолвил Лохматов. – Две баржи при



«Соболе» побежали: с хлебом одна, другая со спиртом. Фрахты ноне сходные.

– Чего? – спросил Патап Максимыч.

– Фрахты, говорю, ноне сходные. Двенадцать копеек с пуда... Оно, правда, на срок, с неустойкой.

– Фрахты! Вот оно что! Цены, значит, а я, признаться, сразу-то не понял, – слегка усмехнувшись, проговорил Патап Максимыч.

Не укрылась мимолетная усмешка от Алексеева взора. Ровно ужалила она его. И вскипело у него яростью сердце на того человека, на которого прежде взглянуть не смел, от кого гибели ждал...

– Пожалуйста, Патап Максимыч, – входя в гостиную, приветливо молвила Марья Гавриловна. – Захотелось мне в своих горницах вас угостить. Милости просим!..

Нахмурился Лохматов, кинул на жену недружелюбный взор, однако встал и пошел вслед за ней и за Патапом Максимычем.

– Ты бы, Марья Гавриловна, амбреем велела покурить, – сказал он, подняв нос и нюхая изо всей силы воздух. – Не то кожей, не то дегтем воняет... Отчего бы это?

Вздрогнул и побагровел весь Патап Максимыч. Отправляясь к молодым, надел он новые сапоги. На них-то теперь с язвительной усмешкой поглядывал Алексей, от них пахло. Не будь послезавтра срок векселю, сумел бы ответить Чапурин, но теперь делать нечего – скрепя сердце молчал.

Усердно потчевала гостя Марья Гавриловна. Но и лянсин,<sup>[454]</sup> какого не бывало на пирах у самого Патапа Максимыча, и заморские водки, и тонкие дорогие вина, и роскошные закуски не шли в горло до глубины души оскорбленного тысячника... И кто ж оскорбляет, кто принижает его?.. Алешка Лохматый, что недавно не смел глаз на него поднять. А тот, как ни в чем не бывало, распивает себе «чиколат», уплетает сухари да разные печенья.

– Самый интересный этот напиток «чиколат», – бросил он небрежно слово Чапурину. – Как есть деликатес! Попробуйте, почтеннейший!.. Отменный вкус, я вам доложу... Самый наилучший – а-ла ваниль... У вас его, кажись, не варят?.. Попробуйте...

– Чем Бог послал, тем и питаемся, – сдержанно, но злобно промолвил Чапурин.

– Да вы попробуйте. Грешного в эвтом «чиколате» нет ничего. Могу поручиться, – надменно говорил Алексей. – Марья Гавриловна, подлей-ка еще. Да сама-то что не пьешь?.. Не опоганишься... Чать, здесь не скиты.

Скусный напиток, как есть а-ла мод. В первую статью.

– Не хочется, Алексей Трифонович, – краснея, ответила Марья Гавриловна.

– А ты, глупая бабенка, губ-то не вороти, протведай!.. – резко сказал Алексей и затем громко крикнул: – Чилаек!

Вошел слуга. Одет был он точь-в-точь, как люди Колышкина.

– Шенпанского! – сказал Алексей и развалился на диване. – Надо вам, почтеннейший господин Чапурин, проздравить нас, молодых... Стаканы подай, а Марье Гавриловне махонький бокальчик! – во все горло кричал он вслед уходившему человеку.

В каждом слове, в каждом движении Алексея и виделось и слышалось непомерное чванство своим скороспелым богатством. Заносчивость и тщательно скрывааемый прежде задорный и свирепый нрав поромовского токаря теперь весь вышел наружу. Глазам и ушам не верил Чапурин, оскорбленная гордость клочкотала в его сердце... Так бы вот и раскрыл его!.. Но нельзя – вексель!.. И сдержал себя Патап Максимыч, слова противного не молвил он Алексею.

На прощанье обратился не к нему, а к Марье Гавриловне:

– Так как же, сударыня Марья Гавриловна, насчет того векселька мы с вами покончим?.. Срок послезавтра, а вот перед Богом, денег теперь у меня в сборе нет... Все это время крепко на ваше слово надеялся, что на два месяца отсрочку дадите.

– Я, Патап Максимыч, от своего слова не отретчица, – быстрый взор кидая на мужа, молвила Марья Гавриловна. – И рада б радехонька, да вот теперь уж как он решит... Теперь уж я из его воли выйти никак не могу. Сами знаете, Патап Максимыч, что такое муж означает – супротив воли Алексея Трифоновича сделать теперь ничего не могу.

– Да ведь сами же вы, Марья Гавриловна, тогда, у покойницы Насти на похоронах, о том разговор завели... Я не просил. Знай я вашу перемену, не стал бы просить да кланяться...

– Так точно, Патап Максимыч. Это как есть настоящая правда, что я тогда сама разговор завела, – низко склоняя голову, молвила Марья Гавриловна. – Так ведь тогда была я сама себе голова, а теперь воли моей не стало, теперь сама под мужниной волей...

– А может статья, Марья-то Гавриловна такое обещанье вам только для того дала, чтоб не очень вас расстраивать, потому что в печали тогда находились, схоронивши Настасью Патаповну, – насмешливо улыбаясь, с наглостью сказал Алексей.

Вспыхнул Чапурин. Зло его взяло... «Смеет, разбойник, имя ее

поминать!..» Пламенным взглядом окинул он Алексея, сжал кулаки и чуть слышным, задышающимся голосом промолвил:

– Не мне б слушать такие речи, не тебе б их говорить!..

Дерзко, надменно взглянул Алексей, но смутился, не стерпел, потупил глаза перед гневным взглядом Чапурина.

– Да вы не беспокойтесь, Патап Максимыч, – робко вступилась Марья Гавриловна. – Бог даст, все как следует уладится. Алексей Трифонович все к вашему удовольствию сделает.

– Аль забыла, что к ярманке надо все долги нам собрать? – грубо и резко сказал Алексей, обращаясь к жене. – Про что вечер после ужина с тобой толковали?.. Эка память-то у тебя!.. Удивляться даже надобно!.. Теперь отсрочки не то что на два месяца, на два дня нельзя давать... Самим на обороты деньги нужны...

Ни саврасок не помнил, ни христосованья, ни того, что было меж ними на последнем прощанье в Осиповке.

Но Патап Максимыч ничего не забыл... Едва держась на ногах, молча поклонился он хозяйке и, не взглянув на хозяина, пошел вон из дому.

Воротясь к Колышкину, Чапурин прошел прямо в беседку. Не хотелось ему на людей глядеть. Но рядом с беседкой возился в цветниках Сергей Андреич.

– Что, крестный, не весел, голову повесил? – крикнул он, не покидая мотыги.

Не ответил Патап Максимыч. Разъярился уж очень, слова не мог сказать...

Разговорил-таки его Сергей Андреич. Мало-помалу рассказал Патап Максимыч и про вексель, и про подарки, сделанные им Алексею, про все рассказал, кроме тайного позора Насти покойницы.

– Вешать мало таких!.. – вспыхнув от гнева, вскрикнул Колышкин. – А она-то, она-то! Эх, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Бить-то тебя, голубушка, некому!.. Понятно, зачем деньги ему в наличности нужны – году не пройдет, оберет он ее до последней рубашки, а там и пустит богачку по миру... Помяни мое слово... А каков хитрец-от!.. И мне ведь спервоначалу складным человеком казался... Поди ты с ним!.. Правду говорят: не спеши волчонка хвалить, дай зубам у серого вырасти... Плюнь на него, крестный. Забудь, что есть на свете такой человек.

– До смертного часу не забыть мне его!.. Посрамитель он мой!..

Колышкин думал, что Патап Максимыч насчет векселя говорит. Потому и сказал:

– Какой же он тебе посрамитель? Времени хоть немного, а, Бог даст,

управимся... А ему посрамление будет... И на пристани и на бирже всем, всем расскажу, каков он есть человек, можно ль к нему хоть на самую малость доверия иметь. Все расскажу: и про саврасок, и про то, как долги его со счетов скинуты, и сколько любил ты его, сколько жаловал при бедности... На грош ему не будет веры... Всучу щетинку, кредита лишу!

– Не делай так, Сергей Андреич... Зачем?.. Не вороши!.. – все про Настю думая и пуще всякого зла опасаясь бесстыдных речей Алексея, молвил Чапурин. – Ну его!.. Раз деньги на подряд мне понадобились... Денег надо было не мало... Пошел я в гостинный... поклонился купечеству – разом шапку накидали... Авось и теперь не забыли... Пойду!..

И пошел было.

– Стой, крестный, не спеши. Поспешишь – насмешишь, – молвил Сергей Андреич, удерживая его за руку. – Подожди до утра – сегодня ли, завтра ли деньги собрать, все едино: платеж-от послезавтра еще... Много ль при тебе денег теперь?

– Трех тысяч не будет... Если сейчас же в Городец да в Красну Рамень послать, столько ж еще б набралось, – молвил Патап Максимыч.

– У меня... кой-что в кассе найдется... Вот что, крестный: до завтра из дому ни шагу!.. Слышишь?.. И до себя никого не допускай – дома, мол, нет. А теперь обедать давай – здесь, на вольном воздухе, пожую сам-друг...

– Хлопотать надо мне, Сергей Андреич, – промолвил Чапурин.

– Я буду хлопотать, а ты сиди дома, точи веретёна, – перебил Колышкин. – И хозяйке моей не кажись – вишь какой ты расстроенный! Не надо таким в люди казаться... То дело, Бог даст, обойдется и ввек не помянется, а увидят тебя этаким, толки зачнутся да пересуды, наплетут и невесть чего – и, что ние придумают, ввек того не забудут... Сиди же дома, крестный... Слышишь?...

– Ладно, – упалым голосом, жалобно промолвил Патап Максимыч и молча стал смотреть на реку.

После обеда Сергей Андреич куда-то надолго уехал.

Поздно вечером он воротился. Патап Максимыч сидел на приступках беседки, подпершись локтями и закрыв лицо ладонями.

– Ну что, крестный? – весело спросил его Сергей Андреич.

– Ничего, думал все... – уныло проговорил Патап Максимыч.

– Про что ж так невесело раздумывал? Неужто все про Алешку непутного? – спросил Колышкин.

– О слове писания размышлял я, Сергей Андреич, – садясь на скамейку, ответил: – «Овым подобает расти, овым же мálитися...» Так оно и выходит... Каков я был до сего человек!.. Возносился паче меры, на

всякого смотрел свысока... И смирил меня Господь за треклятую гордость... Не от сильного-могучего, не от знатного, от властного – от своего страдника-работника, от наймиста<sup>[455]</sup> принял я поношение, потерпел унижение!.. Слётыш, материно молоко на губах не обсохло, а клони перед ним седую голову... Ему расти, мне же малиться!.. Что ж? Господня воля!.. Благо ми, яко смирил мя еси, Господи!.. Да это что? Трын-трава!.. Знал бы ты сердце мое, Сергей Андреич, ведал бы думы мои сокровенные!.. – порывисто вскрикнул Чапурин и чуть не выдал заветной тайны своей...

– Да что это, крестный, с тобою? Приди в себя, образумься!.. – молвил изумленный Сергей Андреич.

А изумился от того, что заметил слезу на седой бороде Патапа Максимыча. В другой только раз видел он слезы крестного. Впервые видел их на Настиных похоронах.

– Спокойся, крестный!.. Перестань!.. – уговаривал его Колышкин. – На что это похоже?..

– Ты что?.. – вскочив со скамьи и быстро подняв голову, вскрикнул Патап Максимыч. – Думаешь, вот, дескать, какой кряж свалился?.. От векселя думаешь?.. Не помышляй того, Сергей Андреич... Эх, друг мой сердечный, – промолвил он грустно, опуская голову и опять садясь на скамейку. – Как Волги шапкой не вычерпаешь, так и слез моих уговорами не высушишь!.. Один бы уж, что ли, конец – смерть бы, что ли, Господь послал!..

Долго с сердечной любовью разговаривал его Колышкин, уверяя, что деньги завтра будут готовы, но это не успокоило Патапа Максимыча... Настина тайна в руках страдника – вот что до самого дна мутило душу его, вот что горем его сокрушало... Не пригроишь теперь богачу, как грозил дотоль нищему.

– Нет, уж ты, Бога ради, освободи меня, Сергей Андреич, – сказал наконец Патап Максимыч. – Изнемог я... Дай одному с печалью остаться, подь отсель, оставь меня одного... Дай надуматься... А какой я допрежь сего столп был неколебимый... Помнишь?.. Никого не боялся, ничего не страшился!.. Шатнуло горе, свихнуло!.. Глядя на меня, поучайся, Сергей Андреич, познай, как человеку подобает малиться... Божий закон!.. Господне определение!..

– Эх, крестный, крестный!.. Да стоит ли Алешка Лохматов такого горя-уныния? – с сердечным участием молвил Сергей Андреич. – Зачем безнадежишь себя?.. Бог не без милости. Дело не пропащее... Уладим, Бог даст... А тебе бы в самом деле хорошо одному побыть... Прощай... Утро

вечера мудренее... Помнишь, как ребятишкам бабы сказки сказывают? И я скажу тебе, что в сказках говорится: «Что тебе от меня будет сделано, то будет не служба, а службишка, спи-почивай до утра – утро вечера мудренее».

И неспешным шагом пошел из сада вон.

Не берет сон Патапа Максимыча. Сидит на скамье, у самого края кручи, что отвесной стеной стоит над нижним городом и рекою... Другая ночь безо сна!.. Не доводилось прежде испытывать такой бессонницы Патапу Максимычу... Далеко было за полночь, заря занялась над горами, погасли огни пароходов, говор и гомон зачался на реках и на набережных, когда, удрученный горем, сломленный в своей гордости, ушел Чапурин в беседку... Запер он дверь изнутри, опустил в окна занавеси, вынул из чемодана образ Спаса нерукотворного, поставил его на столике и затеплил восковую свечу... Солнце давно уж играло золотистыми лучами по синеватой переливчатой ряби, что подернула широкое лоно Волги, и по желтым струям Оки, давно раздавались голоса на судах, на пристани и на улицах людного города, а Патап Максимыч все стоял на келейной молитве, все еще клал земные поклоны перед ликом Спаса милостивого.

Молитва успокоила взволнованную душу, поклоны утомили тело, он прилег... И пришел благодатный сон и держал его почти до полудня.

Только проснулся Патап Максимыч, с радостным видом Колышкин в беседку вошел.

– Здравствуй, крестный!.. Здоров ли, родной? – весело спросил он Чапурина.

– Заспался грехом, не обессудь, – промолвил Патап Максимыч, зевая. – Всю ночь напролет на волос не уснул. К ранним обедням звонили, как я задремал... Полдни никак?.. Эх я!.. Сроду того не бывало.

– А вот говорится пословица: «Долго спать – с долгом вставать». К тебе она не подходит, – улыбаясь, молвил Колышкин.

– Как не подходит? Ко мне-то больше всего и подходит, – возразил Чапурин.

– Ан нет, – сказал на то Сергей Андреич. – Сряжайся скорей, ступай к разбойнику... Вот деньги. Ни в Красну Рамень, ни в Городец посылать не надо, и твои три тысячи пускай при тебе остаются... Получай двадцать тысяч.

И положил перед ним пачки бумажек.

– Спешу к Алешке-то, покаместь на биржу не отъехал, – торопил Сергей Андреич Чапурина. – Брякнет, пожалуй, там: завтра, мол, вексель на Чапурина подаю ко взысканью. Тогда хоть и расплатишься, а говор да слава

пойдут... Скорее, крестный, скорей!..

– Деньги-то откуда? – хмурясь, спросил у Колышкина Патап Максимыч.

– Мои, – тот отвечал. – Тебе какое дело – откуда?..

– Твои? Сам вчор говорил, что ты не при деньгах, – молвил Чапурин.

– Торговое дело! Седни при гроше, завтра в барыше, – улыбаясь, ответил Сергей Андреич.

– Да я, право, не знаю... – колебался Чапурин.

– Ты что это вздумал?.. – горячо заговорил Сергей Андреич. – Сочти-ка, много ль раз ты из петли меня вынимал, сколько от тебя я видел добра? Без тебя давно бы нищим я был. Алешка, что ль, я, чтоб не помнить добра?.. Неси скорей – долг платежом красён.

И как не упирался Патап Максимыч, заставил его взять деньги и спешить к Марье Гавриловне.

Алексей Трифоныч на пристань собирался, когда пришел Патап Максимыч. Вышла к нему Марья Гавриловна, бледная, смущенная, с покрасневшими глазами – не то плакала, не то ночь не спала.

– С добрым утром, сударыня Марья Гавриловна, – сдержанно молвил Чапурин.

– Благодарю покорно, Патап Максимыч, – каким-то упалым, грустным голосом проговорила она. – Садиться милости просим.

– Сидеть некогда мне, сударыня... Не гостинцы гостить, по делу пришел. Принесите-ка мой векселек, а я денежки вам сполна отсчитаю.

– Что это вы так много беспокоитесь, Патап Максимыч? Напрасно это... – перебирая в руках носовой платок, молвила Марья Гавриловна и с чего-то вся покраснела.

– Как же, матушка, не беспокоиться? Завтра ведь десятое число – срок. Не заплачу сегодня, завтра толки пойдут. А вы сами знаете, каково это торговому человеку, – говорил Патап Максимыч. – Нет, уж сделайте такое ваше одолжение, не задерживайте – на пристань идти пора.

– Обождите маленько, Патап Максимыч, – подавляя тяжелый вздох, молвила Марья Гавриловна. – Вексель у мужа – сейчас принесу.

И потупя глаза, медленной походкой вышла она из комнаты. Оставшись один, в думы Чапурин вдался. «Вексель у мужа!.. И все у него – все капиталы, – думал он. – Эх, Марья Гавриловна!.. Недели не прошло со свадьбы, а глаза-то уж наплаканы!.. Слава те, Господи, что не досталась ему Настя голубушка!.. В какую было пропасть задумал я кинуть ее!.. Но Господь знает, что делает... Раннюю кончину сердечной послал, избавил от тяжелой доли, от мужа лиходея... Несть ни конца, ни предела премудрости

твоей, Господи!.. Жалко голубушку, жаль мою ластовку, а раздумаешь – воздашь хвалу Создателю... Людскую нашу дурость кроет его святая премудрость... Не зачал бы только злодей плести на покойницу... Голову сверну!.. Хлещи меня палач на площади!.. На каторгу пойду, а только заикнись он у меня, только рот разинь – простись с вольным светом!.. А насчет долгов – заклятье даю... не под силу подрядов не бирывать, ни у кого больших денег не займовать!.. Ни у кого: ни у Сергея Андреича, ни у кума Ивана Григорьевича, зятя Бог даст – у того не возьму... Проучили!.. А что-то зятек мой надуманный не едет... С келейницами хороводится!.. О, чтоб их!.. А покончив дело, все-таки надо к губернатору побывать – насчет скитов поразведать».

Влетел Алексей Трифоныч, разряженный в пух и прах. За ним робкой поступью выступала скорбная Марья Гавриловна. Вексель был в руках Алексея.

– Наше вам наиглубочайшее, почтеннейший господин Чапурин! Честь имею вам кланяться, – сказал он свысока Патапу Максимычу.

Научился Лохматый модным словам от маклера Олисова да в купеческом клубе, где в тринку стал шибко поигрывать. Много новых речей заучил; за Волгой таких и не слыхивал.

– Денежки привезли? Милости просим садиться – денежкам завсегда мы ради, – кобенясь и потирая руки, проговорил Алексей Трифоныч.

Не взглянув на него, Патап Максимыч положил деньги на стол и сказал безмолвной Марье Гавриловне:

– Считите!..

Считать стал Алексей. Каждую бумажку на свет разглядывал.

– Может, от отца Михаила которы получали, – язвительно улыбнувшись, промолвил он. – Ихнее дело кончается, – прибавил он как бы мимоходом, – всех ваших приятелей в каторгу.

Вскочил с кресел Патап Максимыч... Но сдержался, одумался, слова не вымолвил... И после того не раз дивился, как достало ему силы сдержаться.

– Верно-с, – кончив перечет, сказал Алексей. И, надорвав вексель, подал Патапу Максимычу.

Молча поклонился Чапурин Марье Гавриловне и, не взглянув на Лохматого, пошел вон.

Алексей за ним.

– По чести надо рассчитаться, почтеннейший Патап Максимыч, – сказал он ему. – Процентом на вексель мы не причли-с... Двенадцать годовых, сами знаете, меньше не водится. А что от вас я лишком получил,



лошаденок в тот же счет ставлю – по мѳему счету ровно столько же стоит. Значит, мы с вами в полном расчете.

И протянул было руку Патапу Максимычу.

Но тот задыхающимся голосом шепотом сказал ему:

– Бог с тобой!.. Только помни уговор... Скажешь неподобное слово про покойницу – живу не быть тебе!..

И быстрыми шагами пошел вон из дому.

– Будьте покойны, почтеннейший господин Чапурин... Насчет женщин, тем паче девиц, худые речи говорить неблагородно. Это мы сами чувствуем-с, – говорил Алексей Трифоныч вслед уходившему Патапу Максимычу.

Пошел назад, и бывалый внутренний голос опять прозвучал: «От сего человека погибель твоя!..»

«Грозен сон, да милостив Бог», – подумал Алексей и, завидя проходившую Таню, шаловливо обхватил гибкий, стройный стан ее.

– Да отстаньте же! – с лукавой усмешкой молвила Таня, ловко увертываясь от Алексея. – Марье Гавриловне скажу!..

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На Казанскую в Манефиной обители матери и белицы часы отстояли и пошли в келарню за трапезу. Петр Степаныч тоже в келарню зашел и, подав Виринее сколько-то денег, попросил ее, чтоб всех обительских медом сыченным или ренским вином «учредили» и чтоб приняли то за здоровье раба Божия Прокофья.

– Это мне двоюродный братец, – сказал Самоквасов. – Сегодня он именинник.

– Так точно, сударь Петр Степаныч, – добродушно сказала на то Виринея. – Сегодня совершаем память праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца. Так впрямь братца-то вашего двоюродного Прокофьем зовут? А, кажись, у Тимофея Гордеича, у твоего дяденьки, сына Прокофья не было?..

– Он мне по матушке покойнице двоюродным доводится, – сказал Петр Степаныч и ни капельки не покраснел, даром что никакого брата Прокофья сроду у него не бывало.

– Благодарим покорно, сударь Петр Степаныч. Благодарите, матери: Петр Степаныч на сегодняшнюю нашу трапезу особое учреждение поставляет. Помяните за здоровье братца его двоюродного Прокопия, – проговорила Виринея, обращаясь к сидевшим за столами.

– Благодарим вас покорно, Петр Степаныч, – встав со скамей и низко кланяясь Самоквасову, в один голос проговорили старицы и белицы.

– А теперь, матушка, – тихонько сказал Самоквасов Виринее, – так как вы остались в обители старшею, благословите уж и трудничков-то на работном дворе угостить.

– Бог благословит, – с довольством улыбаясь, ответила мать Виринея. – Экой ты добрый какой, – прибавила она, глядя рукой по плечу Петра Степаныча.

Угостились трудники Манефины, угостились и трудники Бояркины, чувствуя небывалого именинника. Пили чашу мертвую, непробудную, к вину приходили на двух, уходили на всех четырех. До утра ровно неживые лежали и наутре как слепые щенята бродили.

Успокоив трудников, за дело принялся Петр Степаныч. Уложив в тележку свои пожитки и Парашины чемоданы, поехал он из обители. Прощаясь с Таисеей, сказал, что едет в губернский город на неделю, а может, и больше. Заехав за перелесок, поворотил он в сторону и поставил

лошадей в кустах. Вскоре подошел к нему Семен Петрович с Васильем Борисычем.

На Василье Борисыче лица не было. Безгласен, чуть не бездыханен, медленными шагами подвигался он к Самоквасову, идя об руку с саратовским приятелем. Поблекшие и посиневшие губы его трепетно шептали: «Исчезоша яко дым дние моя... от гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясоти пустынному, бых яко вран ночный на нырищи...» Бежать бы, но сильна, крепка рука саратовца – не увёрнешься, да и бежать-то уж некогда.

– Ну, жених, садись скорее, – торопливо сказал ему Петр Степаныч. – Скорей, скорей!

– Ох, искушение!.. – жалобно вздохнул Василий Борисыч. – Хоть повременили бы маленько, с духом бы, что ли, дали собраться.

– Нечего тут растабарывать. Сажай его, Семен Петрович! – крикнул Самоквасов. – Да не привязать ли кушаком руки к задку-то? Неравно выскочит...

– У меня не выскочит, – молвил саратовец, усаживая Василия Борисыча в самоквасовскую тележку, а сам садясь с ним рядом.

И кони во весь опор помчали легкую тележку вдоль по гладкой дорожке.

Немного прошло времени, вдали показались язвицкие тройки. Впереди ехал в тарантасе удалой Федор. На телегах сидело десять молодцов, все в одинаких красных рубахах. Подъехав к Самоквасову, они было загорланили.

– Тише! Услышать могут, – остановил их Петр Степаныч. – Давай шапку да рубаху, – молвил он Федору.

Вынул Федор из-под сиденья красну кумачову рубаху, такую же точно, какие были на ямщиках. Скинув верхнее платье, Самоквасов надел.

– Шапки! – сказал он.

Вытащили из телег зимние мерлушчатые шапки, нахлобучили их себе на головы. Такая же шапка и Самоквасову на долю досталась. Лица завязали платками и пошли в перелесок... У лошадей осталось двое.

Через четверть часа вдали визг и женские крики слышались. Громче всех слышался хриплый голос матери Никаноры:

– Матушки, украли!.. Владычица, украли!..

Затрещали кусты можжевеловые под ногами десятка удалых молодцов. Бегом бегут к лошадям, на руках у них с ног до головы большими платками укрытая Прасковья Патаповна. Не кричала она, только охала.

Посадили ее в тарантас, Самоквасов на облучок вскочил. «Айда!» –

зычным голосом крикнул он ямщикам. Тарантас полетел по дороге к Свиблову, за ним телега с поезжанами в красных рубахах и в зимних шапках.

Кто на дороге ни встретится, всяк остановится, с любопытством посмотрит на поезд и проводит его глазами, поколь из виду не скроется.

– Девку выкрали! – спокойно промолвит прохожий и пойдет своим путем, не думая больше о встрече. Дело обычное. Кто в лесах за Волгой свадеб уходом не видывал?..

Собираясь гулять на Каменный Вражек, чтоб потешить дорогую гостью обительскую, Фленушка созвала много белиц. Были свои, от Жжениных были, от Бояркиных. Мать Никанора с ними пошла да еще мать Лариса.

Ягоды собирали, цветы на поляне рвали и, когда на траве засырело, большие платки разостлали и расселись на них. Фленушка так и рассыпалась шутками да прибаутками, кажется, никогда еще такой веселой она не бывала. Повеселели белицы, хохотали до упаду от затейливых рассказов Флены Васильевны, улыбались даже строгие, степенные матери. Одна Марьюшка сидела нахмурившись да Параша не то дремала, не то задумалась. Увивалась за ней Никанора, ласкалась Лариса, но богатая дочка тысячника только улыбалась им, но не сказала ни слова.

За веселым хохотом ни матери, ни белицы не слыхали, что возле лужайки, где сидели они, вдруг захрустели в перелеске сухие сучья валежника, зашуршали раздвигаемые кусты можжевельника и молодой осиновою поросли.

Выскочили из леса десять парней в красных рубахах и нахлобученных на самые глаза шапках, с лицами, завязанными платками. Взвизгнули девицы, градом брызнули во все стороны, заголосили матери, пуще всех кричала и суежилась Флена Васильевна.

Петр Степаныч стрелой подбежал к Параше и обхватил ее поперек. Удальцы схватили брошенные на лужайке платки, мигом окутали в них невесту, схватили ее на руки и помчались в перелесок. Оглянуться не успели матери с белицами, как сгилла, пропала Параша, отецкая дочь...

Чуть не полпути проскакал свадебный поезд, пока белицы да матери, после долгих криков, задорной перебранки, отчаянных оханий и причитаний, добрались, наконец, до обители. Как завидела рябая звонариха Катерина часовню, благим матом к ней кинулась и, взбежав на паперть, изо всей мочи принялась колотить в «било» и «великое древо», в «малое древо» и в железное «клепало» и колотила в них без толку, как попало. Так в скитах тревогу бьют. Весь Комаров переполошился, думали – горит у

Манефиных, сбежались белицы и старицы из всех обителей, иные на всякий случай с ведрами прибежали, но с ужасом узнали, что иная беда приключилась: матери от Игнатьевых и других несогласных с Манефой обителей сначала с злорадством приняли весть, но тотчас одумались и крепко прикручинились. Знали, какова сила у Патапа Максимыча, знали, что им одним скиты держатся, знали и то, что не на одну сестрину, а на все обители теперь он разлутуется. А при грозных обстоятельствах, скопившихся над скитом, это было хуже всего на свете. И принялись чужие матери немилосердно ругать матерей Манефиных, Никанору с Ларисой особенно, что не могли ухоронить Прасковьи Патаповны. Те даже не оправдывались: присели на ступеньках келарии и горько плакали, причитая:

– Пропали теперича наши головушки!.. Погинули наши победные!.. Уж и как-то нам вину сказать?.. Уж и как-то нам ответ держать?

Фленушка с Марьюшкой ушли в свои горницы, а другие белицы, что ходили гулять с Прасковьей Патаповной, на дворе стояли и тоже плакали. Пуще всех редела, всех голосистей причитала Варвара, головница Бояркиных, ключница матери Таисеи. Она одна из Бояркиных ходила гулять к перелеску, и когда мать Таисея узнала, что случилось, не разобрав дела, кинулась на свою любимицу и так отхлестала ее по щекам, что у той все лицо раздуло.

Догадалась наконец мать Виринея.

– Погоню, матери! – закричала она. – Погоню скорей разослать по всем сторонам. Изловить их, разбойников!..

Бросились к работной избе – трудники все до единого без задних ног лежат; бросились к Бояркиным, там ни от кого из мужчин ни гласу, ни послушания: побежали к Игнатьевым, к Глафириным, там все пьяным-пьянехонько. Чрез Таисеина конюха ухитрился Петр Степанович во всем Комарове мужчин спойть.

Рябая звонариха поголосит-поголосит да опять за свою работу – в набат колотить. Заслышав тревогу, прибежали мужики, бабы из Ронжина, из Елфимова и других недалних деревень.

Чуть не в ноги кланяются им матери, Христом-Богом молят, денег сулят, вином потчуют, скачите только, родимые, во все стороны, отбейте у неведомых воров Прасковью Патаповну.

– Поздненько хватились, матери, – говорят мужики.

Ни от вин, ни от денег они бы не прочь, да время больно опоздано, ни на каких скакунах теперь воров не догнать.

– Еще солнышко-то не село, говорите вы, матушка? – спрашивал

Никанору ронжинский парень ростом в косую сажень, с красным лицом и со страшными кулачищами. Очень подмывало его в погоню скакать. Хотя отбить не отобьют, по крайности можно будет подраться, потешиться.

– Нет еще, родной, не село в ту пору, выше дерева стояло, – хныкая, ответила ему Никанора.

– Не догонишь, – досадливо молвил ронжинский силач. – Теперь больше десяти верст, поди, ускакали.

– Да что нам?.. Какое дело?.. – ввернул свое слово хилый мужичонко елфимовский. – Не нашу девку выкрали. Охота в чужом пиру похмелье примать!

– А ты молчи, коли Бог убил, – огрызнулся на него ронжинский парень. – Известно, не тебе в погоню гнать – тебя любя девка щелчком пришибет.

Мужики захохотали. Елфимовец озлился, и пошла у них перебранка, чуть до драки не дошло.

Без мала до самой полночи толковало сходбище на обширном дворе Манефиной обители. Судили-рядили, кто бы такой мог выкрасть Прасковью Патаповну. На того думали, на другого, о московском после в голову никому не могло прийти. Вспомнили, однако, про него. Мать Вириная первая хватилась благоприятеля.

– А что-то не видать Василья Борисыча? – молвила она. – У тебя, что ли, он, матушка Таисея?.. Что не придет?.. Совет бы полезный нам дал.

Всхлипывая и придерживая рукой левую щеку, сказала на то побитая своей игуменьей Варварушка:

– Да они давеча тотчас после трапезы в город уехали, все трое: он, Петр Степанович и Семен Петрович. Сказывали: завтра-де к вечеру воротимся.

– Петр Степаныч один со двора съехал, он в город на неделю отъехал... – сурово молвила ей мать Таисея.

– Василий Борисыч с Семеном Петровичем пешком пошли, говорили, что маленько пройтись им охота, до ронжинского поля хотели идти, а там к Петру Степановичу в тележку сесть да всем вместе ехать.

– Видел я певуна-то вашего. Встречу попали за нашим полем, туда к Клопихе, – сказал один из ронжинских мужиков. – С ним не то один, не то двое сидело, не упомяну что-то, сколь их было тут...

– Ну, они и есть, – молвила мать Таисея. – А ведь не сказался... Эко, право, какой.

Всю ночь не спалось матерям и белицам в Манефиной обители. Как-то будут ответ держать перед матушкой, как-то ведаться с Патапом

Максими́чем? Под утро с Никанорой бред даже сделался, в горячке слегла... А мать Лариса стала было перед святыми иконами на келейное правило, но ум мятется, тревожные помыслы обуревают старицу... Вздумала успокоиться, вынула из шкафчика бутылочку, да так нагрузилась сердечная, что, думая да передумывая, как достанется ей от Манефы, а пуще того от Патапа Максими́ча, решила удавиться. Хорошо что за перегородкой евангельская дочь ее, рябая звонариха Катерина, была. Услышав необычную возню, заглянула она задверь и увидела, что мать евангельская петлю себе на шею накинула... Вытащила ее звонариха и повалила на постель, как чурбан какой. Мать Лариса заснула, и долго вокруг кельи ее раздавался такой богатырский храп, каким один только Патап Максими́ч умел храпеть.

Фленушка тоже всю ночь не спала. Запершись на крюк, всю ночь просидела она на постели и горько, горько проплакала, держа в руках золотое колечко. То было подаренье Петра Степаныча.

\* \* \*

Совсем уж смерклось, когда свадебный поезд примчался в Свиблово. Взымленные от быстрой езды лошади въехали прямо к попу во двор. Сушило в новой суконной рясе, с вышитым шерстями поясом, радостно и весело встретил приехавших. Близится час, когда его никуда не годные половинки претворятся в давно желанный капитал, и он по хозяйству во всем исправится, дочку замуж выдаст, семинаристам своим хорошие квартиры в городе наймет. Дай только Бог благополучно покончить все, помехи бы грехом не случилось.

– Вот и жених наш, Василий Борисыч, московский купец, – сказал Самоквасов Сушиле, подводя к нему до полузабвенья смущенного Васи́лья Бори́сыча.

Отец Родион поднял было руку на благословение, но спросил жениха:

– Приемлете?

Ровно от раскрытой пасти ядовитой змеи отпрянул от попа Василий Бори́сыч.

– Нет, батюшка, нет! Не надо, не надо!.. Не приемлем! – вскричал он.

– Как вам угодно, – холодно, но с язвительной усмешкой молвил Сушило. – Садиться милости просим.

Сел Василий Бори́сыч. Рядом с ним Семен Петрович... У него в последние дни в привычку вошло крепко держать жениха за руку – грехом

не убежал бы.

Пока Самоквасов из красной рубахи переодевался в свое платье, пока невеста, с помощью попадьи, ее большой дочери и нанятой Сушилой молодницы, одевалась в шелковое платье, отец Родион позвал дьячка Игнатя да пономаря Ипатя и стал писать обыск о повенчании московского купца Василия Борисыча с дочерью государственного крестьянина девицей Параскевой Патаповой, дочерью Чапуриной.

Сильно дрожала рука у бедного жениха, когда подписывался он под обыском. Подписавши, тяжело вздохнул Василий Борисыч и громко промолвил заветное свое:

– Ох, искушение!

Вышла радостью сиявшая, в пух и прах разряженная невеста. Нимало не смущаясь, подписалась она в книге. После нее подписались Самоквасов с Семеном Петровичем, как свидетели, затем поп Сушило, дьячок Игнатий да пономарь Ипатий.

– Кажись бы, этим можно было и покончить, – тихонько промолвил Василий Борисыч. – Записано – стало быть крепко...

– Нет, брат, шалишь!.. – прошептал ему Самоквасов. – Пил до усов, пей до ушей... Не любовницу берешь, жену венчанную...

– Ох, искушение! – промолвил Василий Борисыч и сидел словно к смерти приговоренный, а Прасковья Патаповна весело ему улыбалась.

Но ему было не до веселых взоров невесты. «Вздерет он меня, тестюшка-то!.. Беспременно вздерет!..» – думал он сам про себя.

– Что ж? Не пора ль и во храм Божий? – сказал наконец отец Родион.

– Пойдемте, батюшка, – ответил Петр Степаныч.

Вперед пошел Сушило, за ним Семен Петрович тащил жениха, потом Самоквасов невесту вел. Сзади шла матушка попадья Афимья Саввишна с большой дочерью да с молодницей, державшей повойник в руке, сзади всех вереница поповых, дьячковых и пономаревых детей и лихие ямщики язвицкие. Когда вошли в церковь, Груздок закладывал гвозди в болты окон, продетые сквозь косяки, а дьячок Игнатий с пономарем Ипатием свечи зажигали. Когда все вошли, Груздок, разодетый по-праздничному, в старом мундире с тремя медалями, запер изнутри церковную дверь и заложил ее железной полосой.

Началось венчанье. Все было исполнено по условию: ходили посолонь и притом только «святити мученицы» пели, жених с невестой пили из стеклянного стакана, Василий Борисыч звонко разбил его о пол и растоптал, после венчанья молодница в притворе расплела Прасковье Патаповне косу, расчесала ее смоченным в медовой сыте гребнем и, убрав



по-бабьему, шелковый повойник надела на молодую. Про повойник Самоквасов с Сушилой забыли, попадья мужа надоумила и сшила его из какого-то остаточка шелковой материи, чуть ли не Патапа Максимыча подаренья. И за то от Самоквасова не осталась без должной благодарности.

Чай у попа пили, что уж он от себя, сверх уговора, пожертвовал. Петр Степаныч вытащил из тележки две либо три бутылки шампанского, пить за здоровье новобрачных. При этом сначала расплетавшая косу молодница, потом матушка попадья, а за ними и сам отец Родион с причтом «Горько!..» покрикивали, заставляя Василия Борисыча с молодой женой целоваться. Груздку дали шампанского, но он выплюнул и попросил «расейского». Дали ему «расейского», дали и язвицким молодцам по стакану, но, как ни просили они больше, Петр Степаныч им наотрез отказал, потому что еще до города надо было ехать. Попадья с большой дочерью блюдо студени с хреном на стол поставили, поросенка жареного, сладкий пирог с малиной. Все это, как говорили они, от своего усердия. Петр Степаныч отдал попу оторванные половинки, роздал всем щедрые подарки, и при громких кликах подгулявшего Груздка: «Счастливого пути!..» – поезд на отдохнувших лошадях, с лихими песнями ямщиков, помчался во весь опор в город.

\* \* \*

Было уже за полночь, когда молодые подъехали к освещенному дому Феклиста Митрича. Перед домом стояла небольшая толпа разного люда. Увидав необычное освещение дома и зная, что у Феклиста Митрича нет ни именин, ни крестин, ни сговора, тотчас смекнули, что богатая «самокрутка» где-то сыгралась. И долго стояли они у ворот, хоть глазком бы взглянуть на молодую княгиню, какова из себя, и на князя молодого, кто он таков.

Какими-то судьбами Феклист Митрич проведал, что за человек дом у него нанимал. То главное проведал он, что ему чуть не миллион наследства достался и что этакой-то богач где-то у них в захолустье уходом невесту берет. «Что за притча такая, – думал Феклист. – Такому человеку да воровски жениться! Какой отец дочери своей за него не отдаст? Я бы с радостью любую тотчас!» Как человек ловкий, бывалый, догадливый, смекнул он: «Из скитов, стало быть, жену себе выхватил».

И крайне удивился, узнав, что казанский богач при той свадьбе только за дружку был.

Все было сделано Феклистом Митричем, чтоб достойно принять

гостей. Зная бедность городка, Самоквасов и не думал, чтобы так хорошо устроил он молодых на первых порах... Какой ужин подал Феклист Митрич! Иностранных вин ярославской выделки наставил сколько на стол! Петр Степаныч, чтоб за свадебным столом было полуднее, и Феклиста с женой ужинать посадил. За столом сидели все веселы, только Василий Борисыч подчас хмурился, а когда в ответ на громкие крики о горьком вине принуждаем был целоваться, чуть касался губ Прасковьи Патаповны и каждый раз, тяжело вздыхая, шептал:

– Ох, искушение!

А в раскрытые от духоты окна неслись громкие песни язвицких поезжан, угощавшихся в огороде Феклиста Митрича. Величали они новобрачного:

Посидим-ка мы,  
Покутим-ка мы —  
У Василия попьем,  
У Борисыча кутнем!  
Право, есть у кого,  
Право, есть у чего!  
А ты, чарочка-каток,  
Лейся прямо в роток,  
В один тоненький глоток,  
Чарочка моя, да серебряная!..

А как встали из-за стола и справили уставные поклоны перед иконами, Самоквасов тотчас схватил припасенную на всякий случай Феклистом гитару, ударил в струны и запел удалую. К нему пристали саратовец и Феклист с хозяйкой:

Как по погребу бочоночек катается.  
А Василий-то князь над женой надругается:  
– Ты, Прасковьюшка, разуй, ты, Патаповна, разуй!  
– Я и рада бы разуть, да не знаю, как тя звать, —  
Поломалася княгиня, покобенилася.  
Одну ножку разула – Васильюшкой назвала,  
А другую-то разула – Борисычем.

Ай, стелется, вьется

По лугам мурава,  
Василий жену целует,  
Борисыч жену милует:  
– Душа ль моя, Парашенька,  
Сердце мое, Патаповна,  
Роди мне сыночка,  
Сыночка да дочку.  
Роди сына во меня,  
А доченьку во себя.  
Учи сына грамоте,  
Дочку прясть, да ткать,  
Да шелками вышивать  
Шемаханскими!..

Ой ты, княгиня, княгинюшка,  
Молодая ты наша молодушка!..  
Хороша тебе находка —  
Куныи шубы,  
Соболи пухи,  
С поволоками глаза,  
Со киваньем голова,

Золоты кокошники,  
Серебряны серьги,  
Дочери отецки,  
Жены молодецки!

Бросив гитару саратовцу, сильной рукой ухватил Самоквасов Василья Борисыча и пошел с ним плясать, заливаясь ухарской песней:

Ой вы, ветры-ветерочки,  
Вы не дуйте на лесочки,  
На желтые на песочки,  
На крутые бережочки!..

Хочешь не хочешь – пляши, Василий Борисыч!.. Посмотреть бы теперь Рогожскому собору на учительного совопросника, поглядеть бы столпам

древлего благочестия на посланника по духовным делам.

\* \* \*

На другой день поутру Петр Степаныч с нареченным приказником позавтракал у молодых и, распроставшись, отправился восвояси. В Комаров не заехал.

Проводя приятелей, Василий Борисыч духом упал, напала на него тоска со всего света вольного, не глядел бы он ни на что. Ласки оживившейся Параши были несносны ему.

– Полно, – тихо говорил он, отстраняя подсевшую было к нему на колени жену. – Тут главная причина – хорошенько надо обдумать, на что решиться теперь. В Осиповку-то как покажем глаза? А тебе только бы целоваться... Мало, что ли, еще?

– О чем думать-то? – отвечала недовольная холодностью мужа Параша. – Найдем лошадей да и поедem. Тятеньке надо сегодня домой приехать.

– Хорошо сказала, ровно размазала, – молвил Василий Борисыч. – Ехать не хитро, приехать мудрено. Встреча-то какова нам будет? О том и посудила бы!

– Известно какая – бранить зачнут, началить. Нельзя ж без того, а потом и простят, – равнодушно говорила Прасковья Патаповна.

– Дó смерти заколотит! – отчаянно вскрикнул Василий Борисыч. – Вот положение-то!..

– Ну уж и дó смерти!.. Чать, не чужие, – возразила Параша.

– Много ты знаешь! – проворчал Василий Борисыч. – Кулачище-то каков у родителя?.. А?.. Пробовала?..

– Нет, не пробовала.

– Ну, так попробуешь.

И в душевном смятенье стал ходить он по горницам; то на одном кресле посидит, то на другом, то к окну подойдет и глядит на безлюдную улицу, то перед печкой остановится и зачнет медные душники разглядывать... А сам то и дело всем телом вздрагивает...

– Седни, что ли, поедem? – после долгого молчанья спросила Прасковья Патаповна.

– Успеешь, матушка. Не на радость едем, успеешь отцовскими-то побоями наладомиться, – молвил с досадой Василий Борисыч и велел жене идти в свою комнату, тем отзываясь, что надо ему с Феклистом Митричем

поговорить.

«Ах ты Господи, Господи! – думал московский посол, стоя у окна и глядя на безлюдную улицу пустынного городка. – Вот до чего довели!.. Им хорошо!.. Заварили кашу, да и в сторону... Хоть бы эту шальную Фленушку взять, либо Самоквасова с Семеном Петровичем... Им бы только потешиться... А тут вот и вывертывайся, как знаешь... С хозяином посоветуюсь; человек он, кажется, не глупый, опять же ум хорошо, а два лучше того...»

И вдруг видит: из-за угла выходят на улицу две женщины, обе в черных сарафанах, обе крыты большими черными платками в роспуск... «Батюшки светы! Мать Манефа с Аркадией».

Так и отбросило Василия Борисыча от окошка.

– Как же вы, сударь Василий Борисыч, насчет обеда распорядиться желаете? – весело спросил его вошедший в ту минуту Феклист Митрич. Радостным довольством сиял он после щедрой расплаты Самоквасова.

– Мать Манефу комаровскую знаете? – быстро спросил его Василий Борисыч.

– Как не знать матушку Манефу? Первая по всем скитам старица. Тетенька теперича вам никак будет, – ответил Феклист Митрич.

– Она? – показывая в окно, растерянным голосом спросил Василий Борисыч.

– Она самая, а с ней Аркадия, ихняя уставщица. Давеча с утра в город они приехали – из Шарпана, должно быть, с праздника, – говорил Феклист Митрич.

– Не сюда ли? – тревожным голосом промолвил Василий Борисыч.

– Пойдет она к нам! – усмехнулся виноторговец. – На ее глаза хуже нашего брата на всем свете нет никого... Вином-де торгует, всякие-де у него сходбища!.. Да что ж вы так беспокоитесь?

– Нет, я так – ничего, – бодрясь, сколько мог, отвечал Василий Борисыч. – Чудно только мне, зачем это они в город-от заехали – там ведь где-то прямой путь из Шарпана есть.

– С раннего утра по судам хлопочут, – отвечал Феклист Митрич. – Дома тетенька-то ваша покупает – чуть не целу улицу, туда на вскрай города, к соляным анбарам, коли знаете. Купчие совершает.

– А! Точно, слышал и я от матушки Манефы, что хочет здесь дома покупать, – примолвил Василий Борисыч.

– Да-с. Вот хоша тетенька ваша и осуждает нас за нашу торговлю, а ихняя-то коммерция, видно, посходней нашей будет, – с усмешкой сказал Феклист Митрич. – По чести вам доложить, четвертый год собираюсь

крышу на доме перекрыть, да не могу с деньгами сколотиться, а они целыми улицами дома покупают. Ой, куда много денег по скитам-то лежит, а у вашей тетеньки больше всех!

– Не знаете ли, покончила она с этими делами?.. Сегодня поедет аль еще здесь останется? – перебивая словоохотливого хозяина, спросил нетерпеливо Василий Борисыч.

– Где сегодня уехать! Как возможно! – ответил Феклист Митрич. – Хоша у нее по судам все подмазано, а секретарь Алексей Сергеич по ее желанью сделает все, чего она ни захочет, только в один день совершить купчую все-таки нельзя же... Завтра, не то и послезавтра здесь пробудут. Повидаться, что ли, желательно?.. Так она у Полуехта Семеныча пристаёт – вон наискосок-от домик стоит...

– Нет, я не про то, Феклист Митрич, – прервал его Василий Борисыч. – А вот что: как бы это тарантасик да лошадок сготовить – в Осиповку. На рассвете бы выехать нам, к полудням на место поспеть бы...

– Можно, – сказал Феклист Митрич. – Значит, тятеньке с маменькой в ножки.

– Так уж вы, пожалуйста, устройте.

– Будьте спокойны. Все будет, как следует... А насчет обеда какое же будет ваше рассуждение?

Целый день не то что из дому, к окну близко не подходил Василий Борисыч и жене не велел подходить... Очень боялся, чтоб грехом не увидала их Манефа... Оттого и в Осиповку ехать заторопился... «Один конец! – подумал он. – Рано ли, поздно ли, надо же будет ответ держать... Была не была! Поедем!» И на другой день, на рассвете, поехали.

\* \* \*

Вечером, в то самое время, как Василий Борисыч с Парашей хоронились у Феклиста Митрича от Манефы, в Осиповку приехала Аксинья Захаровна с Груней да с кумом Иваном Григорьичем. Они ее провожали. Аксинья Захаровна утомилась от поездок и просила Груню съездить на другой день в Комаров за Парашей. Вздумала Груня ехать за богоданной сестрицей в маленькой тележке Ивана Григорьича, оттого с вечера Аксинья Захаровна и послала на телеге в Манефину обитель старика Пантелея привезти оттоль пожитки Парашины.

Ужинать садиться хотели, как сам Патап Максимыч подъехал. Очень удивился он, застав жену дома, да еще с дорогими гостями, а то было он,

исправив в Осиповке кой-какие дела, думал поутру ехать в Комаров, а оттуда с дочерью в Вихорево за Аксиньей Захаровной.

– А я у молодых гостил, – начал Патап Максимыч, садясь за стол.

– У каких это, батюшка, молодых? – с любопытством спросила Аксинья Захаровна.

– У Марьи Гавриловны, – усмехнувшись, промолвил Патап Максимыч.

– Как? – в один голос вскричали все, и Аксинья Захаровна, и кум Иван Григорьевич. Груня, пораженная изумлением, выпрямилась и пытливо смотрела в очи Патапу Максимычу.

– Замуж на этой неделе вышла, – опять усмехнулся Патап Максимыч. – Свадьба только, кажись, не больно вышла веселая, на третий день после венчанья виделся я с Марьей Гавриловной – глаза-то уж наплаканы...

– Ай, срам-от, срам-от какой!.. Из святой обители да вдруг замуж!.. За кого ж это понесло ее, сердечную?.. – жалобно говорила Аксинья Захаровна.

– За нашего... Все его знаете, только вряд ли догадаетесь, – продолжал усмехаться Патап Максимыч.

– Да за кого, за кого? – приставали к нему.

– За Алешку Лохматого... ой, бишь, за купца первой гильдии Алексея Трифоныча Лохматова... – сказал Патап Максимыч.

Ушам никто не верил. Не скоро слов найти могли на ответ Патапу Максимычу.

– Как же это? – совсем растерявшись, спрашивала Аксинья Захаровна. – Как же это случилось у них?

– Как водится, – отвечал Патап Максимыч. – Как гостили мы у Манефы, так слышали, что она чуть не тайком из Комарова с ним уехала; думал я тогда, что Алешка, как надо быть приказчику, за хозяйкой приезжал... А вышло на иную статью – просто выкрал он Марью Гавриловну у нашей чернохвостницы, самокрутку, значит, сработал... То-то возрадуется наша богомолица!.. Таких молитв начитает им, что ни в каком «часовнике», ни в каком псалтыре не найдешь... Вот взбеленится-то!.. Ха-ха-ха!

И по горницам Патапа Максимыча раздался веселый звонкий хохот хозяина.

– Ах она, бесстыдная!.. Ах она, безумная!.. Гляжось, какое дело сделала!.. Убила ведь она матушку Манефу!.. Без ножа зарезала! При ее-то хилом здоровьице, да вдруг такое горе!.. – горько воскликнула Аксинья Захаровна, и слезы показались в глазах ее.

– Да, точно что горе, немалое горе! – насмешливо говорил Патап Максимыч. – Думала вдовьими деньжонками попользоваться. Умрет, мол, у меня в обители, все капиталы ее достанутся!.. Не выгорело!.. Ха-ха-ха!

– Полно-ка, батька, смеяться-то! – попрекнула мужа Аксинья Захаровна. – Дó смеху ли тут!.. Эка напасть-то какая, эка напасть!... Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Можно ль было чаять того?.. Накажет ее Господь, не пошлет счастья...

– Что правда, то правда, – молвил Патап Максимыч. – Счастья Бог ей не пошлет... И теперь муженек-от чуть не половину имения на себя переписал, остальным распоряжается, не спросясь ее... Горька была доля Марьи Гавриловны за первым мужем, от нового, пожалуй, хуже достанется. Тот по крайности богатство ей дал, а этот, году не пройдет, оберет ее до ниточки... И ништо!.. Вздоров не делай!.. Сама виновата!.. Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет. А из него вышел самый негодящий человек.

И подробно рассказал про свои похождения у бывшего токаря, а теперь первогильдейца Лохматова.

– Поди вот, влезь человеку в душу-то! – сказал он, кончив рассказ. – Думал я, другого такого парня на свете-то нет: кроткий, тихий, умный, богобоязный!.. Ан вон каков оказался!.. Истинно говорят: надо с человеком куль соли съесть, тогда разве узнаешь, каков он есть!.. Я ль его не любил, я ли не награждал его!.. И заплатил же он мне!.. Заплатил!..

– Заплатил!.. – едва проговорила Аксинья Захаровна, вспомнив про Настину долю, и залилась неудержимыми, горькими слезами.

Подивились тем слезам и Груня, и кум Иван Григорьевич – не ведали они настоящей причины Настинной смерти. Знали про то отец с матерью только.

\* \* \*

Рано поутру, только что солнышко встало, во весь опор прискакал старик Пантелей. Кибитка была пуста.

Войдя в подклет, увидал Патапа Максимыча, разбирал он по сортам горянщину.

– Здравствуй, Пантелеюшка! Скоренько же, родной, воротился... А вот и я до домов приехал, да в добрый час и за работу.

Мялся Пантелей на месте, не знает, что говорить, не знает, и делать что.

– Да что с тобой, Пантелеюшка? – спрашивал его Патап Максимыч. –



На тебе лица совсем нет... Али неможется?..

– Я-то здоров, батюшка Патап Максимыч, – на каждом слове запинаясь и всем телом вздрагивая, начал Пантелей. – Только у нас-то не больно здорово, батюшка.

– Что такое? – бросив посуду и обращаясь к Пантелею, воскликнул Патап Максимыч. Пламенем загорелись под нахмуренными бровями глаза его.

– Ох, уж не знаю, как и доложить твоей милости... – слово за словом тянул оробевший старик Пантелей.

– Не мямлить!.. – повелительно, зычным голосом крикнул Патап Максимыч, схватив за рукав Пантелея...

– Я тут, кормилец, ни в чем не причинен... Только что узнал сейчас, – чуть слышно проговорил Пантелей.

– Не мямлить же! – пуще прежнего крикнул Патап Максимыч и так дернул за рукав Пантелея, что тот едва на ногах устоял.

– Прасковья-то Патаповна... – начал было старик, но слова не сошли с языка его.

– Говори... – благим матом закричал Патап Максимыч. – Померла, что ли?.. – почти прошептал он, закрывая лицо руками.

– Украли, батюшка!.. Третьего дня из обители выкрали!.. – проговорил Пантелей.

– Кто такой?.. Что за человек?.. Откудова?.. – сам себя не помня, кричал Патап Максимыч и, схватив лежавший на лавке весовой коромысел, взмахнул им. – Всех перебью!.. Всех до единого!.. Сказывай, кто такие?..

– Неведомо какие люди, батюшка, – говорил Пантелей. – Десять... человек... в красных рубахах... рожи-то, слышь, у всех позавешаны.

– Лошадей!.. В погоню!.. Я им задам!.. – вне себя от бешенства кричал Патап Максимыч и с коромыслом в руке взбежал в верхние горницы.

По всему дому суматоха поднялась страшная. Аксинья Захаровна, как только услышала страшную весть, так и покатилась без чувств на землю. Уложили ее и долго оттирали Груня с работницей Матренушкой.

– Лошадей!.. Погоню!.. – перебегая из горницы в горницу и взмахивая железным коромыслом, неистово кричал Патап Максимыч. – Лошадей седлать!.. Всех работников на конь!.. Во все деревни послать!.. Сбить весь народ!..

Напрасно уговаривал его кум Иван Григорыч, напрасно уверял его, что теперь уже поздно, что никакие погони теперь не догонят, что лучше успокоиться и потом хорошенько обдумать, как и где искать следов выкраденной Параши..

Долго воевал Патап Максимыч, наконец, утомленный, убитый горем, пластом упал на кровать и зарыдал страшными рыданиями.

Больше часа прошло до тех пор, как маленько он успокоился. Встал с кровати и, шатаясь, как после болезни, добрел до окна, растворил его и жадно стал глотать свежий воздух. Кум Иван Григорьич рядом с ним сел и молчал.

Тяжело вздыхал ослабевший Патап Максимыч, глядя распаленными глазами в конец деревни... Вдруг оживился, вскочил и до половины высунулся из окошка...

– Она! – крикнул он не своим голосом.

Иван Григорьич к другому окну бросился – видит, шажком въезжает в деревню тарантас, и в нем Параша сидит. Рядом с ней кто-то, но так он сжегился в глубине тарантаса, что лица совсем не было видно.

– Тащить ко мне... Я им задам!.. – задыхающимся голосом на весь дом закричал Патап Максимыч. Глаза кровью налились; засучив рукава рубахи, схватил он коромысел и, дрожа всем телом, пошел навстречу приехавшим.

Проходя к дверям, еще раз взглянул в окно... Глазам не верится – Василий Борисыч!..

– Э!.. Шут гороховый! – вскрикнул Чапурин добрым мягким голосом. – Упредил, леший ты этакий!..

И ясная улыбка разлилась по лицу его.

Бросил коромысел, но подошел к шкапу и достал оттуда шелковую плетку, которой, бывало, учил дочерей, как маленькие росли они.

Робкими шагами вступили в горницу новобрачные и, не говоря ни слова, повалились к ногам Патапа Максимыча.

– Прости нас, тятенька, Христа ради!.. Как Бог, так и ты, – заголосила наконец Параша, обнимая у отца ноги.

Василий Борисыч только всхлипывал. Он уже не помнил себя и только шептал стих на умягчение злых сердец: «Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его!»

– Прочь! – оттолкнув ногой Парашу, громко закричал Патап Максимыч. – Прочь!.. Убирайтесь!.. С глаз моих долой!.. Знать вас не хочу!.. Духу чтоб вашего не было!..

Грозны и громки были крики его, но злобой не звучали. Обряд справлял Патап Максимыч.

– Тятенька!.. Прости, Христа ради! – со слезами молила Параша.

– Я те дам Христа ради!.. – кричал Патап Максимыч. – Уходом вздумали!.. Самокруткой!.. Вот тебе, вот тебе!.. – и усердно зачал плеткой хлестать то дочь, то зятя любезного.

Аксинья Захаровна прибрела, Груня за ней. Как увидела Аксинья Захаровна Парашу с Васильем Борисычем, так и всплеснула руками.

– Головоньку с плеч снесли! Без ножа вы, злодеи... меня зарезали!.. Погубители вы мои!.. Срам такой на дом честной навели!.. На то ль я растила тебя, паскудная, на то ль я кормила-поила тебя!... Взростила я, бедная, змею подколодную, вспоила, вскормила свою погубительницу!

– Мамынька!.. Прости меня, окаянную, благослови свое детище!.. – голосила Прасковья Патаповна у ног матери, но и та ее отталкивала, а Патап Максимыч по-прежнему плеткой работал.

– Я те прощусь!.. Я те благословлю! – кричал он. Наконец устал кричать, устал и плеткой хлестать.

– Простить, что ли, уж их, старуха? – с ясной улыбкой обратился он к Аксинье Захаровне.

– Как знаешь, кормилец, – жалобно промолвила Аксинья Захаровна. – Ты в дому голова – как ты, так и я...

– Ну, так и быть... Прощать так прощать, миловать так миловать!.. Вставайте!.. Бог вас простит, – стегнув в последний раз зятя с дочерью, сказал Патап Максимыч и бросил в сторону плетку.

Груня подбежала к божнице, взяла две иконы, одну подала Патапу Максимычу, другую Аксинье Захаровне.

Чин чином благословили новобрачных родители, потом расцеловались с ними. Перецеловались молодые и с Груней, и с кумом Иваном Григорычем. Скоро набралось людей полна горница. Радостно все поздравляли молодых с законным браком, хозяев поздравляли с зятем любезным.

– Подводу!.. – во все горло крикнул Патап Максимыч. – Наспех гони, Пантелей, за Никитишной!.. Свадебный стол!.. По дороге припасов на кормы мужикам закупи.

И пошло пированье в дому у Патапа Максимыча, и пошли у него столы почетные. Соезжалось на свадьбу гостей множество. Пировали те гости неделю целую, мало показалось Патапу Максимычу, другой прихватили половину. И сколь ни бывало пиров и столов по заволжским лесам, про такие, что были на свадьбе Василья Борисыча, слыхом никто не слышал, никто даже во снах не видал. Во всю ширь разгулялся старый тысячник и на старости лет согрешил – плясать пошел на радостях.

**Абие** – тотчас.

**Авсень (иначе Овсень, Усень, Таусень)** – припев в старых обрядовых русских песнях, приуроченных к Новому году.

**Адамант** – драгоценный камень, алмаз.

**Азям** – верхний кафтан в виде халата.

**Амбрей (искаженное амбра)** – душистое вещество (духи).

**Аналогий (аналой)** – столик с наклонной столешницей для икон и священных книг.

**Апостольник** – у монахов покрывало на шею и грудь.

**Архиепископия** – церковный округ.

**Бдяй** – бодрствующий.

**Белец, белица** – скитник, скитница, не принявшие монашества.

**Божедом** – кладбищенский сторож, могильщик.

**Брашно** – кушанье.

**Бурмицкое зерно** – крупный жемчуг.

**Вадья** – небольшое озерко, колодец в болоте.

**Варовенный** – веревочный.

**Великая схима** – последняя степень монашества, предписывающая монаху самые строгие правила отречения от мира.

**Великое повечерие** – вечерняя церковная служба.

**Верховка** – низенькая поярковая шляпа.

**Веси** – знаешь.

**Весь** – село, деревня.

**Влатятся** – колебаться, метаться.

**Внити, вниде** – войти, вошел.

**Вои** – войско, воины.

**Волосник** – повойник, иногда стеганный наголовок, надеваемый крестьянскими женщинами под платок.

**Восхитити** – похищать, уносить.

**Всеобдержное чтение** – общеупотребительное чтение.

**Вскуе** – (правильнее: вскую) – зачем, для чего.

**Вязки** – гибкие лесины, служащие для связи полозьев у саней.

**Гарнитуровый** – шелковый.

**Галка** – шум, крик, гвалт.

**Головицк, головщица** – глава хора в монастыре или скиту, обычно являлся запевалой.

**Горка** – картежная игра.

**Дебелостнат** – толстогуб.

**Деньнедельный** – воскресенье.

**Десно**– радостно, приятно.

**Десятильник**патриарший – сборщик пошлин (десятины) с церквей и монастырей в пользу патриарха.

**Довлети**– удовлетворить.

**Долони**– ладони.

**Доменный**сок – шлак.

**Дорадоровый**– золотой.

**Дрючковый**лес – березовый лес, идущий на дрючки – жерди, слег.

**Епанча**– верхняя одежда без рукавов в виде плаща.

**Жилá**– жилье, жилище.

**Жупель**– горящая сера, горящая смола, смрад.

**Забобоны**– вздор, пустяки.

**Забусеть**– посереть, потемнеть.

**Закоснить**– замедлить, замешкать.

**Зимушний**– бывший в прошлую зиму; зимушняя зима – прошлогодняя зима.

**Злохудожный**– злоковарный, злохитрый.

**Игемон**– начальник, вождь, руководитель.

**Иерусалим**горный, небесный – церковное название рая.

**Извод**– редакция рукописного текста, отличающаяся от других списков этого памятника особенностями языка.

**Извол**– желание, воля.

**Иночество**– головной убор старообрядческих монахинь; камилавка (шапка), наметка и апостольник.

**Калита**– сума.

**Калужинка**– лужа, стоячая вода.

**Камка**– цветная шелковая ткань с узорами и разводами.

**Кануфер**(калуфер) – душистое растение, употребляемое как пряность.

**Касатая**ложка – деревянная ложка с изогнутым черенком.

**Кафтырь**– особое покрывало у старообрядческих монахов, надевается поверх камилавки (шапки).

**Кафизма**– каждый из двенадцати разделов псалтыря.

**Киновия**– монастырь.

**Кир**– титул высших духовных лиц.

**Киса**– кожаный или суконный дорожный мешок, стягивающийся шнурами.

**Клир**– церковный притч, а также церковный хор.

**Клобук**– головной убор монахов, цилиндрической формы с висящим покрывалом.

**Кованцы**– большие рыболовные крюки для ловли крупных рыб.

**Коломенка**– речное судно типа барки.

**Косуля**– тяжелая соха с одним лемехом, с отрезом и отвалом (палицею).

**Кочедык**– инструмент для плетения лаптей.

**Кошт**– расходы на содержание.

**Крестовая** ложка – деревянная ложка с вырезанным на головке черенка двуперстным сложением.

**Ктитор**– церковный староста.

**Куколь**– черное покрывало, надеваемое монахами и монахинями на голову.

**Кумышка**– брага.

**Курмыш**– ряд изб, одна сторона улицы.

**Латины**– название западных христиан в церковных книгах Московской Руси, сохранившееся у старообрядцев.

**Лестовка** – старообрядческие четки, состояли из ременной или шелковой основы с нанизанными на нее шариками, служили монахам для напоминания о непрестанной молитве.

**Ликоваться**– прикладываться щеками, здороваясь друг с другом.

**Лития**– церковная служба.

**Малое** древо – небольшое било: доска и колотушка для подачи различных сигналов (в монастырях – созыв монахов).

**Мамонить**– соблазнять, прельщать.

**Матка**– компас.

**Межеумок**– ложка средней величины, простая, широкая.

**Мокрый** угол – северо-западная сторона.

**Мотовило**– приспособление для намотки пряжи с веретена.

**Мужкровей** – разбойник, убийца.

**Мшава**– моховое болото.

**Мшенник**– клеть или амбар, законопаченный мохом.

**Налеп**а– восковые свечи, наклепленные одна на другую.

**Нелеть** – нельзя.

**Небрегоми**– пренебрегаемы.

**Невеглас**– несведущий, неученый, невежда.

**Неключимый**– негодный, горемычный.

**Неумытный**– неподкупный, неліцеприятный.

**Нырище**– развалины башни или здания.

**Обаче**– однако, впрочем.

**Обонпол**– по другую сторону чего-либо, например реки.

**Обыде**– нашла.

**Одри́на**– жилое строение, изба.

**Омофор**– часть епископского облачения, надеваемая на плечи.

**Остаметь**– осто́лбенеть, опешить.

**Отятой**– отверженный, отъявленный негодяй.

**Отпуст**– заключительная молитва по окончании церковной службы.

**Певчая**стая – скитский хор.

**Пенязи**– деньги.

**Плесна**– ступня.

**Повалушка**– общая спальня.

**Покучиться**– попросить, поклоняться.

**Полиелей**– церковный праздник, во время которого на всенощной зажигались свечи в паникадилах.

**Полотьснeг** – особое святочное гаданье.

**Пониток**– домотканое сукно.

**Попенные**– деньги, выплаченные в казну за вырубку леса (начислялись по количеству пней от срубленных деревьев).

**Пополоветь**– побледнеть.

**Послух**– свидетель, очевидец.

**По́солонь**– движение по солнцу – с востока на запад.

**Прещение**– запрещение, угроза.

**Приличиться**– быть изобличенным.

**Припол**– пола одежды.

**Прокимен**– стих из псалтыря, поется во время церковной службы.

**Проща**– молитва об отпущении грехов.

**Расказити**– исказить, испортить.

**Распудить**– распугать, разогнать.

**Сбойна**– жмыхи.

**Сбу́рить**– кинуть, сбыть с рук.

**Святокупец**– купивший духовный сан.

**Середокрестная**неделя – четвертая неделя великого поста.

**Сице**– так.

**Скосырь**– ухарь, хват, щеголь.

**Снеси**– ешь.

**Соборне**– сообща.

**Соборные**старицы – старшие монахини в скиту, входившие в состав «собора», то есть совета при игуменье.

**Соглас**, или согласие, – секта старообрядчества.

**Солея**– возвышенное место в церкви под клиросами и перед алтарем.

**Сорочинское** пшено – рис.

**Сорочины**– поминовение умерших в сороковой день после смерти.

**Стая**– в скитах несколько изб под одной крышей, соединенных меж собой сенями и крытыми переходами.

**Степенная** старица – инокиня в скиту, имеющая какое-либо должностное звание (келарь, казначея и т. д.).

**Стомах**– желудок.

**Стужающие**– теснящие, докучающие.

**Супрядки**– сбор женщин, девушек на совместное пряденье, обычно носивший характер вечеринок.

**Сырная** неделя – масленица.

**Тезоименит**– тезка.

**Тельное**– кушанье из рыбы, очищенной от костей.

**Томпаковый**– сделанный из томпака (сплава меди с цинком).

**Точию**– только.

**Трудник**, трудница – работающие в скитах бесплатно – по обету.

**Тябло**– полка для икон, ярус или ряд в иконостасе.

**Убо**– итак, следовательно, стало быть, посему.

**Укрух**– ломоть.

**Унзе**– вонзился.

**Утыти**– разжиреть, потучнеть.

**Учуг**– перегородка через реку с ловушками для рыбы.

**Хиротония**– обряд посвящения в сан священнослужителей.

**Холодник**– женское верхнее платье.

**Чапуруха**– большая чарка.

**Чивый** – щедрый.

**Шадровитый**– рябой.

**Шуе**– влево.

**Шунять**– бранить, журить, унимать.



## Примечания

Крестьяне Галицкого и других уездов Костромской губернии. (Все примечания, данные в сносках, принадлежат автору. – *Ред.*)

«Горами» зовут правую сторону Волги.

Горянщиной называется крупный щепной товар: обручи, дуги, лопаты, оглобли и т. п.

4

Двадцатипятирублевый кредитный билет.

Белою называется баня с дымовою трубой, а не курная, которую зовут обыкновенно черною.

«Помочью», иначе «толокой», называется угощение за работу. Хозяин, желающий какое-нибудь дело справить разом в один день, созывает к себе соседей на работу и ставит за нее сытный обед с пивом и вином. «Помочане» работают и утром и после обеда и в один день управляются с делом. На «помочи» сзывают большей частью крестьяне недостаточные, у которых в семье мало рабочих. Люди богатые, тысячники, не делают «помочей». У сельских попов полевые работы все больше «толокой» справляются.

Дубец – розга.



Петухи.

Известный московский любитель покушать, проевший несколько тысяч душ крестьян.

Ботало – вроде деревянного колокола, а глухарь, или бухарь, – металлический полый шар, в который до заклепки кладут камешек. Это вроде большого бубенчика.

Этих чиновников (теперь должность комиссаров упразднена) обыкновенно звали «конокрадами». Что в Заволжье конокрадство, дотоле неслыханное, началось с учреждения этой должности, вовсе для того края ненужной (в сороковых годах), это положительный факт.

Курильная свечка.

По левому берегу Волги тянется безлесная полоса верст в 20–25 шириной. Здесь в старину был лес; остатки пней местами сохранились, но он давно или вырублен, или истреблен пожарами и буреломами. Эта полоса зовется *чищею*. *Раменью* называется окраина лесов, прилегающих к чище. *Красная рамень* – окраина леса хвойного: сосны, ели, лиственницы; *черная рамень* – окраина лиственного леса. Есть за Волгой местности, которым свойственны названия Красной рамени и Черной рамени, как собственные имена. Таким образом, например, в Семеновском уезде Нижегородской губернии есть большие населенные пространства, носящие названия Красной и Черной Раменей.

Суковатка – семи-восьмигодовая елка, у которой облуплена кора и окорочены сучья, в виде рогулек. Суковатку ставят в сугроб комлем кверху и на рогульки развешивают валенки.

Кантаурово – село на реке Линде, за Волгой, верстах в двадцати от Нижнего Новгорода, один из центров валеночного промысла. По имени этого села всех вообще заволжских катальщиков, приготавливающих шляпы и валеную обувь, нередко зовут кантауровцами.



Городская больница в Нижнем называется «Мартыновскою»; кладбище городское называется «у Петра и Павла», по церкви, там находящейся.

Метание – слово греческое, вошедшее в русский церковный обиход, особенно соблюдается старообрядцами. Это малый земной поклон. Для исполнения его становятся на колени, кланяются, но не челом до земли, а только руками касаясь положенного впереди подручника, а за неимением его – полы своего платья, по полу постланной.

У старообрядцев монахи и монахини, иногда даже христосуясь на Пасхе, не целуются ни между собой, ни с посторонними. Монахи с мужчинами, монахини с женщинами только «ликуются», то есть щеками прикладываются к щекам другого. Монахам также строго запрещено «ликоваться» с мальчиками и с молодыми людьми, у которых еще ус не пробился.

Черный креп, что накидывается поверх шапочки (иночество), спускается вроспуск по плечам и спине, закрывая лоб черницы.

Архипелаг.

Лоп-Нор, на островах которого и по берегам, говорят, живет несколько забеглых раскольников.

Ак-су – что значит по-русски *белая вода*.

Новый, недавний пришелец.



Бабушка Гугниха уральскими (прежде яицкими) казаками считается их родоначальницей. После багренья рыбы и на всяких иных пирах первую чару там пьют за бабушку Гугниху.

Убить.

Истинное происшествие. Кочуев, которому принадлежит первая мысль об устройении Белокриницкой иерархии, вместе с братьями Жировыми, купцом Заказновым и племянником своим Александром Кочуевым искали золото в Калужской губернии. Для этого в 1849 году купили у г. Поливанова 50 десятин земли и, чтобы не огласить цели покупки, говорили, что думают устроить химический завод. Заказнов привез в Петербург непромытый песок, говоря, что он взят на купленной у Поливанова земле. По свидетельству пробирера Гронмейера, в пуде непромытого песка с глиной найдено было  $6 \frac{1}{4}$  долей золота и 25 долей серебра.

Исповедаться.

Изгородь или прясла, отделяющие лес от поля. Ее городят в лесных местах, чтобы пасущийся скот не забрел на хлеб.

За Волгой, на дорогах, в полях и лесах, особенно на перекрестках, стоят высокие, сажени в полторы или две, осьмиконечные кресты, иногда по несколько рядом. Есть обычай тайно от всех срубить крест и ночью поставить его на перекрестке. Кто перед тем крестом помолится, того молитва пойдет за срубившего крест.

*Так за Волгой называют лосей.*

День 18 февраля (память святого Льва, папы римского) в заволжском простонародье зовется львиным днем. Это по тамошнему поверью праздник звериного царя, его именины. На свои именины лев все разрешает своим подданным. К этому дню волки свадьбы свои пригоняют.



То есть северо-восток. В Заволжье так зовут стороны света и ветры: сивер – N, полуночник – NO, восток – O, обедник – SO, полдень – S, верховник или летник – SW, закат – W, осенник – NW.

Филин.

Горящие ветви хвойного леса; во время лесных пожаров они переносятся ветром на огромные расстояния.

Болотные растения: багун – *andromeda*; звездоплавка – *callitorice*; мозгуша – *geranium sylvaticum*; лютик – *aconitum*; белоус – *nardis stricta*.

Болотные растения из породы ненюфаров (numphea).

Болотные огни.

Строка – oestris. Иные смешивают строку со слепнями и паутами (tabanus), с которыми имеет она наружное сходство. Но строка совсем другое насекомое, она водится в лесах и залетает в соседние поля только в таком случае, если там пасется скот. Одни строки не летают, но всегда в рое слепней.

*Ходить в лес на работу, деревья ронить.*



*Когда деревья в соку, то есть весна и лето.*

Чегень – еловое бревно от шести до двенадцати сажен длины, идет на забойку в учугах на каспийских и нижневолжских рыбных промыслах; копань, или кокора, – лесина с частью корня, образующая угольник, идет на стройку судов, на застрехи кровель крестьянских домов и на санные полозья. На санные полозья идут и не корневые копани, а гнутые лежины.

*Чурка, приготовленная для токарной выделки деревянной посуды и ложек.*

Осенний Никита – 5 сентября, весенний – 3 апреля.

Слепая медяница – из породы ящериц (*anguis fragilis*) медянистого цвета, почти без ног и совершенно безвредна. Но есть змея медянка, та ядовита. Лесной народ смешивает эти две породы.

Октября 4-го, св. Иерофия, епископа афинского, известного в народе под именем Ерофея-Офени.

Апреля 12-го.

Картофель.



Марта 1-го – Евдокии-плющихи.

Дымволлок, или дымник, – отверстие в потолке или в стене черной избы для выхода дыма.

Кожух – печь без трубы, какая обыкновенно бывает в черной курной избе.

Переметная скамья – не прикрепленная к стене, та, что сбоку приставляется к столу во время обеда.

Волость на реке Керженце.

Созвездие Большой медведицы.

Часть дерева между корнем и стволом или комлем.

Говядина.



Дынничек – каша из тебеки (тыквы) с просом, сваренная на молоке и сильно подрумяненная на сковороде.

Проворный, сметливый, разумный.

Курган, кунган (правильнее кумган) – заимствованный у татар медный или жестяной кувшин с носком, ручкой и крышкой.

Корчик, или корец, – особого вида ковш для черпанья воды, кваса, для питья сусла и браги. Корцы бывают металлические (железные), деревянные, а больше корец делается из древесного луба, в виде стакана.

Оптовые лесопромышленники из Лыскова. Их не любят лесники за обманы и обиды.

Волочок, или волчок, – верх повозки или кибитки, обитый циновкой.

Пазори – северное сияние. Слово «северное сияние» народ не знает. Это слово деланное, искусственное, придуманное в кабинете, едва ли не Ломоносовым, а ему, как холмогорцу, не могло быть чуждым настоящее русское слово «пазори». Северное сияние – буквальный перевод немецкого Nordlicht. У нас каждый переход столь обычного на Руси небесного явления означает особым метким словом. Так начало пазорей, когда на северной стороне неба начинает как бы разливаться бледный белый свет, подобный Млечному Пути, зовется *отбелью* или *белью*. Следующий затем переход, когда отбель, сначала принимая розовый оттенок, потом постепенно багровеет, называется зорями (*зори*, *зорники*). После зорей начинают обыкновенно раскидываться по небу млечные полосы. Это называют *лучами*. Если явление продолжается, *лучи* багровеют и постепенно превращаются в яркие, красные и других цветов радуги *столбы*. Эти столбы краснеют более и более, что называется *багрецы наливаются*. Столбы сходятся и расходятся – об этом говорится: *столбы играют*. Когда сильно играющие столбы сопровождаются перекатным треском и как бы громом – это называется *сполохами*. Если во время северного сияния зори или столбы мерцают, то есть делаются то светлей, то бледней, тогда говорится: «зори или столбы *дышат*». Наши лесники, равно как и поморы, обращающиеся с компасом, давным-давно знают, что «на пазорях *матка дурит*», то есть магнитная стрелка делает отклонения. Случается, что небо заволочено тучами, стоит непогода, либо метель метет, и вдруг «матка *задурит*». Лесники тогда знают, что на небе пазори заиграли, но за тучами их не видать. Замечательно, что как у поморов, так и у лесников нет поверья, будто северное сияние предвещает войну или мор. Свойство магнитной стрелки и влияние на нее северного сияния они называют «тайной Божьей силой».

Трубка, большею частью корневая, выложенная внутри жестью, на коротеньком деревянном чубучке.



Смотник, смотница – то же, что сплетник, а также человек, всякий вздор говорящий.

После дранья мочала, луба и бересты.

В Ветлужском крае город Ветлугу до сих пор зовут Верхним Воскресеньем, как назывался он до 1778 года, когда был обращен в уездный город. Нижнее Воскресенье – большое село на Ветлуге в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. Иначе – Воскресное. Это два главных торговых пункта по Ветлуге.

Раменскими лесники зовут жителей Черной и Красной рамени.

Суйм, или суем (однородно со словом сонм и сейм), – мирской сход, совещанье о делах.

Хвилеватая – мокрая, дождливая и вьюжная.

В Поволжском крае так зовут фальшивые ассигнации.

Сутырить, сутырничать – спорить, вздорить, придираться, а также кляузничать. Сутырь – бестолковый спор.



Зепь – кожаная, иногда холшовая, мошна привесная, а если носится за пазухой, то прикрепленная к зипуну тесемкой или ремешком. В зепи держат деньги и паспорт.

Конаться – жребий метать.

След на пути от лыж.

Путик – прямая длинная городьба из прясел. По обоим концам путика вырывают ямы и прикрывают их хвостом либо еловыми лапами. Лось или олень, подойдя к путику, никогда не перескочит через него, но непременно пойдет вдоль, ища прохода. Таким образом зверь и попадет в яму.

Осилье – затяжной узел, куда птица попадает ногой. Пленка – то же, но узел делается из свитого вдвое или втрое конского волоса. Осилья или пленки ставятся по одной на колышках либо на лубочке, на который посыпается приманка.

Вещба – тайное слово и тайный обряд, употребляемые при заговорах, рытье кладов, ворожбе и т. п.

Притул, или притулье, – приют, убежище, кров; происходит от глагола «притулять», имеющего три значения: прислонить или приставить, прикрыть или приютить.

Юркино, Богомолово, Лысково – села на правом, возвышенном берегу Волги. Против них впадает в Волгу с левой стороны Керженец. Эту реку местные жители зовут иногда Лево́й Керженкой, то есть впадающей в Волгу с левой стороны. В песнях тоже придается ей название левой. Замечательно, что по-мордовски *керже*, *кержень* значит левый. В глубокую старину по всему Поволжью от Оки до Суры жила мордва. От нее и пошло название Керженца.



Замоина – лежащее в русле под песком затонувшее дерево; карша, или карча, – то же самое, но поверх песка.

Лесные реки, впадающие в Ветлугу.

Взято буквально из записей кладов.

Иверень – осколок, черепок, небольшая отбитая часть от какой-нибудь вещи.

Отщербить – отбить, отломить, говоря о посуде и вообще о хрупкой вещи.

То есть на правой стороне Волги.

Соседи.

Деревня в версте от Воскресенья на Ветлуге, где ловят лучших стерлядей.



Нерето – рыболовный снаряд, сплетенный из сети на обручах в виде воронки.

Тот, что баклуши делает. Баклуши – чурки для токарной выделки ложек и деревянной посуды.

Усма – выделанная кожа, усменный – кожаный.

Белужью зернистую икру лучшего сорта, до железных дорог, отвозили в Москву и другие места на почтовых тройках тотчас после посола. Оттого и звали ее «троечной».

Обувь.

Калуфер, или кануфер – *balsamita vulgaris*; чабер – *satureia hortensis*;  
донник – *melilotus officinalis*.

Бурак, сделанный из бересты, с тугою деревянною крышкою.

Вехотка – пучок расчесанного мочала. Суконка – лоскут сукна или байки, которым мылятся.



Крупный булыжник в банной каменке; мелкий зовется «конопляником».

Поляника, или княженика – *rubus arcticus*; облепиха – *hipporhoe rhamnoides*, растет только за Уральскими горами.

Фальшивые ассигнации.

Так фальшивомонетки зовут настоящие ассигнации, по родовой фамилии государя.

Засыпкой на горных заводах зовется рабочий, что в доменную печь «товар» (уголь, флюс, руду и толченый доменный сок) засыпает.

Кержачить – в Пермской губернии значит раскольничать, кержак – раскольник. Это слово произошло оттого, что первые раскольники, поселившиеся на Урале (в дачах Демидовских заводов) в первых годах XVIII века, пришли с Керженца.

Запольными хороводами зовутся те, что бывают вне завода (селения при заводах зовут заводами же). Запольем зовется на Урале недалнее поле.

Домна – большая чугуноплавильная печь. Вагранкой называется малая чугунолитейная печь.



Колодезь для добывания руд.

Обоз (транспорт) с золотом, серебром и другими драгоценными камнями, отправляемый раза по два в год.

В Тагиле (Верхотурского уезда) делают железные подносы и сундуки из кедрового дерева, обивают железом или жостью, раскрашивают яркими красками и кроют прочным лаком. Эти произведения зовутся «тагильским делом».

Так на востоке Европейской России и в Сибири зовут выходцев из разных губерний, поселившихся в обширных, не изведанных еще лесах. Они живут не только в разбросанных по лесу зимницах и кельях, но иногда целыми деревеньками, не зная ни ревизий, ни податей и никаких повинностей.

Селения на Ветлуге, в Варнавинском уезде Костромской губернии.

В бане.

Митрополит Геронтий в восьмидесятых годах XV столетия.

Шарпанский скит существовал сто семьдесят лет и окончательно уничтожен в 1853 году. В 1718 году в нем было 7 монахов и 44 монахини. В последнее время мужской обители в нем уже не было, но женщин жило больше сотни. Это был один из самых богатых и самых строгих скитов. Икона Казанской Богородицы, почитаемая старообрядцами чудотворною, находится с 1849 года в мужском керженском Благовещенском единоверческом монастыре.



Александр, первый епископ вятский, бежал в 1674 году в Вычегодские леса.

В Улангерском скиту, Семеновского уезда, лет тридцать тому назад жил раскольниковый инок отец Иов, у которого в том же Семеновском уезде, а также в Чухломском, были имения с крепостными крестьянами. Этот старик (Иона Михайлович Сухонин) был родственником Свечиной, едва ли не племянник ее. В Улангере, до самой высылки из скитов посторонних лиц (то есть не приписанных к скиту по ревизии), жили две дворянки, одна еще молоденькая, дочь прапорщика, другая старуха, которую местные старообрядцы таинственно величали «дамою двора его императорского величества». Дама эта действительно по мужу принадлежала к разряду придворных, но была вдова гоф-фурьера.

В 1853 году.

Береста, ряд которой кладут между двумя рядами теса, для прочности крыши, чтоб не скоро гнила. В городах запрещено употреблять скалу на крыши в предупреждение пожаров, но по деревням она до сих пор в большом употреблении.

1771 год.

Шартас и Уктус – большие скиты поблизости Екатеринбурга. Висимские леса, где много было скитов, – недалеко от Нижнетагильского завода.

Дробница – металлическая бляха со священными изображениями, служила в старину украшением богослужебных облачений, пелен, образных окладов, архиерейских шапок и пр. Обронным делом называлось в старину такое металлическое производство какой-либо утвари, когда посредством глубокой резьбы получались выпуклые рельефные изображения. Сканое, или филиграновое, дело объясняется самым названием от слова «скать», то есть сучить; «сканье» – сученье, «сканый» – сученый. В сканом деле обыкновенно свивали или скручивали вместе две металлические проволоки, из чего потом составляли разные узоры в сетку. Сканым делом называлась вообще всякая сквозная сетчатая работа. Сканое дело – самая изящная работа из всех старинных русских металлических работ. Басменным делом называлась выбивка фигур и узоров на тонких плющенных металлических листах. Цата – полукруглая или сердцевидная металлическая подвеска у икон под ликом, прикрепленная к краям венца. Рясно – ожерелье или подвески, подниси.

Пятистенной избой, пятистенным домом зовут строение, состоящее из двух срубов.



Кандия – медная чашка, служащая в монастырских трапезах колокольчиком. Звоном ее назначают начало и конец трапезы, перемену блюд и пр. В нее ударяет старшее лицо, присутствующее за трапезой. Кацея, или ручная кадильница, – род жаровенки с крестом на кровле и длинною рукояткою. Она делается из двух чаш, соединяющихся у рукоятки посредством вертлюга. Ладанница – металлическая коробка на ножках с шатровою крышечкой. В ней хранится ладан.

Бакалдою называется пристань на Волге, близ Казани.

На смотринах при крестных ходах и старообрядцы принимают участие. В своих часовнях и моленных не могут они устраивать смотрин «страха ради иудейска», то есть, попросту говоря, страха ради полиции, не допускающей больших раскольничьих соборщ. А смотреть невест надо – без того нельзя обойтись. И вспомянули ревнители древнего благочестия изреченные лет полтораста тому назад словеса своего «страдальца», протопопа Аввакума Петровича, разрешившего поклоняться чудотворным иконам, хранимым никонианами, но не иначе как на открытом месте, например, на крестных ходах, а отнюдь не под церковными сводами.

Швейцарией в Казани называется загородное место, где устроены дачи горожан. Швейцарий две – Немецкая и Русская.

Трынка – карточная игра, в старину была из «подкаретных» (кучера под каретами игравали), но впоследствии очень полюбилась купечеству, особенно московскому. Задорная игра.

Песок, скипевшийся от удара молнии. Вода, в которую он пущен, считается в простонародье целебною.

На́уза, иногда оберег – привеска к тельному кресту, амулет.

Лодырь – шатающийся плут, бездельник.



Вешняя вода поверх речного льда.

Новина – каток крестьянского холста в три стены, то есть в 30 аршин длины.

Жа́льник – могила, собственно, бугор земли, насыпанной над нею. Окличка – обращение к мертвым на кладбищах, зов. Об окличках, бывающих на кладбищах в Радуницу, говорится в «Стоглаве» (25-й царский вопрос в главе 42-й). Ра́дуница – в южных губерниях понедельник, в средних и северных – вторник Фоминой недели, когда совершается и церковное поминовение по умершим. В уставах поминовения усопших в этот день не положено, но церковь хотела освятить радуницкую тризну своими священнодействиями, чтоб в народной памяти загладить языческое ее происхождение...

Словом Яр означалась весна, а также зооморфическое божество жизни и плодородия, иначе Ярило. Оно же именуется Купалой (от старого слова купить – в смысле совокупить). Местами зовут его «Яр-Хмель» – отсюда «хмелевые ночи», то есть весенние хороводы и другие игры молодежи, продолжающиеся до утренней зари. Радуница, Красна Горка, Русальная неделя, Бисериха, Земля-именинница (10 мая), Семик, Зеленые святки, Девята пятница, Ярило Кострома, Клечалы, Кукушки, Купало, хороводы: радуницкие, русальные, никольщина, зилотовы, семицкие, троицкие, всесвятские, пятницкие, ивановские или купальские – все это ряд праздников одному и тому же Яриле, или Купале. На Радуницу празднуют его приход, на Купалу – похороны, причем в некоторых местах хоронят соломенную куклу, называемую Ярилой, Костромой, Кострубом и пр. От Фоминой недели до Иванова дня (Иван Купало 24 июня) продолжаются «хмелевые ночи», и это самое веселое время деревенской молодежи. В больших городах и селах к названным праздникам приурочены народные гулянья, называемые «полями» – Семиково поле, Ярилино поле и т. п. Каждое происходит на особом месте, где, быть может, во время оно совершались языческие праздники Яриле.

Объярь— волнистая шелковая материя (муар) с серебряными струями, иногда с золотыми.

Яровой хлеб: пшеница, ячмень, овес, греча, просо и другие.

«Навий день», а в Малороссии «мертвецкий вельк день» – другое название Радуницы... Нав, навье – мертвец.

Пшеничный хлебец с запеченным в нем яйцом.



**136**

Сыта – разварной с водой, но не бродивший, мед.

Халтура (в иных местах хаптура – от глагола хапать – брать с жадностью) – даровая еда на похоронах и поминках. Халтурой также называется денежный подарок архиерею или другому священнослужителю за отправление заказной церковной службы.

Канун – мед, поставленный на стол при отправлении панихиды.

Лествица, печатанная при патриархе Иосифе в Москве 1647 года.

Ирине-мученице празднуют 16 апреля; народ называет этот день «Арины-рассадицы», «Арины сей капусту на рассадниках» (в срубках).  
Апреля 15-го – «апостол Пуда – доставай пчел из-под спуда».

Волхование, погань, скверность.

Витаться – здороваться, подавая друг другу руку.

За Волгой во многих местностях говорят Мѳсква твердым «ѳ».



Манатья(мантия), иначе иночество – черная пелеринка, иногда отороченная красным снурком, которую носят старообрядские иноки и инокини. Скинуть ее хоть на минуту считается грехом, а кто наденет ее хоть шутя, тот уже постригся.

Кармазинный цвет – ярко-алый.

Бальзамин – *balsamina*. Розанель, герань и белокрайка – разные виды *pelargonium*. Чудо в мире – *mirabilis*. Столетнее дерево, иначе алоэ – один из видов кактуса.

Девятисильною зовут настойку на траве девясила.

Беглый поп, по фамилии Ястребов, живший на Рогожском кладбище и пользовавшийся уважением старообрядцев.

Черный поп – иеромонах.

Одигон – путевый престол, переносный антиминс, на котором во всяком месте можно совершать литургию.

Хронограф



Так называется книга, в которой изложены правила архиерейских священнодействий.

Дословно из устава Владимирской (старообрядской) архиепископии, доставленного 4 февраля 1853 года в Белой Кринице.

Колокола в скитах запрещены. Вместо колокольного звона там сзывали к богослужению «билами» и «клепалами», употреблявшимися в старину повсеместно. По большей части у каждой часовни бывало по одному билу, больше трех никогда. «Малое дерево» делается из сухого ясеневое дерева, аршина в полтора длины, вершка в два ширины и в два пальца толщины; по краям его по два или по три отверстия. «Малое дерево» висит на веревках, иногда скрученных из толстых струн. «Великое дерево» отличается от «малого» только размером, оно в два с половиной аршина или в сажень длины, в пол-аршина ширины и вершка в полтора толщины. В малое било колотят одним деревянным (иногда железным) молотом, в большое – двумя. «Железное клепало» – чугунная доска, такая же, что употребляется ночными караульщиками. По нем бьют железным молотком или большим гвоздем (троетесным). Сначала в било ударяют медленно, потом скорей и громче, с повышением и понижением звуков и разными переливами, что зависит от более или менее сильного удара молотом. «Деревянный звон», как называли его в скитах, гармоничен, особенно издали и если производит его опытная рука... В скитах дорожили искусными «звонарихами», умевшими владеть такими незатейливыми инструментами.

Гнетет лихорадочным ознобом.

Веснянка – весенняя лихорадка. Осенью зовут эту болезнь «подосенницей».

Отлынь – от глагола отлынивать – уклоняться с ложью, из лени.

Лывина – лес, растущий по сырому месту или болоту.

Всех колен соловьиного пения до двенадцати, а у курских соловьев еще больше. Каждое колено имеет свое название.



*Лета́сы – мечты, грезы наяву, иллюзия.*

Исповедать.

Одевать.

Плакуши, плачеи, вопленницы – женщины, которые по найму причитают и поют древние «плачи» на похоронах, на поминках и на свадьбах.

Делают гроб непременно на улице, обыкновенно родственники умершего и непременно в нечетном числе. За неимением родных, делают гроб домохозяева той деревни, где умер покойник.

Носилки, на которых носят покойников. За Волгой, особенно между старообрядцами, носить покойников до кладбища на холстах или же возить на лошадях почитается грехом.

В глубокой древности наши предки поклонялись ходячему небу или ходячему облаку – это *Сварог*. Потом стали поклоняться солнцу – это *Дажбог*, и, наконец, грому – это *Перун*, или *Гром Гремучий*. То же самое было и у древних эллинов: сначала поклонение Урану (небо), потом Кроносу (время, которое показывается ходом солнца) и, наконец, Зевсу (грому). Что у эллинов Кивилла – то у нас Мать-Сыра Земля.

Скатерть.



Главный стол, приготовленный для почетных гостей.

Круглый пирог из сочных, с начинкой из молочных блинов и репы.

Эту смесь, в которую прибавляется также и виноградное вино, зовут «тризной», а также «чашей». Поповское или семинарское ее название – «пивомедие».

То есть забывчива.

Поминки в девятый день после кончины.

Губернский город.

Иргизские скиты были в нынешнем Никольском уезде Самарской губернии; Лаврентьев монастырь в Гомельском уезде – Могилевской, Стародубские слободы в Новозыбковском уезде – Черниговской губернии.

Демидовские заводы – на Урале.



Там.

Без паспорта.

Прохор, игумен Нижневоскресенского Иргизского монастыря, лицо весьма загадочное. Он пришел на Иргиз, будучи еще молодым человеком, в восьмидесятых годах прошлого столетия и умер в тридцатых нынешнего. Обладал огромным богатством, находился в близких и каких-то таинственных сношениях с некоторыми вельможами Екатерины, Павла и Александра I. К нему-то император Павел Петрович в 1797 году присылал Рунича. Про него между старообрядцами ходили слухи, будто он сын грузинского царя, другие называли его даже сыном императрицы Екатерины II. В самом же деле Прохор был сын богатого купца Калмыкова. Отношения к нему императора Павла объясняются тем, что Прохор ссужал его значительными суммами, когда Павел Петрович был еще великим князем.

Единоверцам.

В заволжских лесах местных плотников нет, они приходят из окрестностей Галича, отчего и зовутся «галками».

Так в дониконовских книгах. Ныне поется: «*Понтом покрыв*».

За великой вечерней в Троицын день три молитвы, читаемые священником, старообрядцы слушают не стоя на коленях, как это делается в православных церквах, а лежа ниц, причем подкладывают под лицо цветы или березовые ветки. Это называется «лежать на листу».

Ляд – тунядец, в некоторых местностях – нечистый дух, в верховьях Волги – хлыст, принадлежащий к ереси Божьих людей.



Липа – уменьшительное Олимпиады, Груша – Агриппины, или, по просторечию, Аграфены.

*Круг (церковный) – устав службы на весь год*

Самогласен – церковная песнь, имеющая свой особый напев.

Особые церковные песни за всенощными, во время пения которых  
позволяется сидеть.

У старообрядцев, а также и в среде приволжского простонародья, держится поверье, что во время троицкой вечерни надо столько плакать о грехах своих, чтобы на каждый листочек, на каждый лепесток цветов, что держат в руках, капнуло хоть по одной слезинке. Эти слезы в скитах зовутся «росой благодати». Об этой-то «росе благодати» говорили там и в троицкой псалме поется.

Силуян – игумен Верхнего Преображенского монастыря в Иргизе, сдавший его единоверцам в 1842 году.

Курени, или Куреневский – раскольничий скит в Юго-Западном крае. Извод – редакция, а также место происхождения или указание на место происхождения.

Так раскольники зовут единоверцев.



Реть – ссора, вражда. Ротьба – клятва, а также заклятье, вроде «лопни мои глаза», «провалиться мне на сем месте» и пр.

Семень-день (Симеона Столпника) – 1 сентября; Васильев день – 1 января. Речь идет о введении январского года вместо прежнего сентябрьского.

Юстиниан Великий – император византийский. Некоторые из законов его в Кормчей книге помещены под названием «градского» (то есть гражданского) закона.

Мокрым углом зовут северо-западную часть небосклона, откуда большей частью приносятся дожди.

Июня 12-го.

Ботало – глухой звонок, привешиваемый лошадям и коровам на шею, когда пускают их в ночное по лесам. За Волгой пастухов нет, скот пасется один, по раменям, для того и привязывают ему ботало. Каждый хозяин знает звук своего ботала и по этому звуку скоро отыскивает беспастушную свою скотину.

Марит – стоит духота, обыкновенно бывающая после долгого зноя, перед грозой.

*9 мая, когда поля совсем покрываются травой – кормом для скота.*



Оме́жь – сошник, лемех – часть сохи. Присо́шек то же, что полица – железная лопаточка у сохи, служащая для отвалу земли.

Крестьянин, земледелец.

Как почитанье Грома Гремучего при введении христианства перенесли у нас на почитанье Ильи Громовника, а почитанье Волóса, скотьего бога, – на святого Власия, так и чествованье оратая Микулы Селяниныча перевели на христианского святого – Николая Чудотворца. Оттого-то на Руси всего больше Николе Милостивому и празднуют. Весенний праздник Николаю Чудотворцу, которого нет у греков, заимствован был русскими у латинян, чтоб приурочить его к празднику Матери-Сырой Земли, что любит «Микулу и род его». Празднество Микуле совпадало с именинами Матери-Земли. И до сих пор два народных праздника рядом сходятся: первый день «Микулы с кормом» (9 мая), другой день (10 мая) «именины Матери-Сырой Земли».

Зилотовы хороводы справляются в день, когда «Земля именинница», 10 мая. В тот день церковь празднует апостолу Симону Зилоту. Оттого хороводы и зовутся зилотовыми.

Тельник – крест, носимый на шее.

**205**

Растение *Orchis maculata*.

Пучками цветов или березками обметають они могилы. Это и называется «прочищать глаза у родителей».

Городки, иначе чушки, рюхи – игра. Ставят ряд чурок и сбивают их издали палками.



Маленькая лодка, выдолбленная из одного дерева.

Питирим – архиепископ Нижегородский (1719–1738), известный своими действиями против раскола в заволжских лесах.

Гробница Арсения находится в лесу, недалеко от уничтоженного в 1853 году Шарпанского скита, близ деревни Ларионова. Могила Ефрема Потемкина – в тех же местах, близ деревни Зименок. Место, где сгорел Варлаам, показывают в Полóмском лесу, вблизи скитов Улангера и Фундрикова. Могилу Голиндухи, современницы Софонтия и противницы Онуфрия (в последних годах XVII и в начале XVIII столетия), указывают в лесу, между скитами Комаровым и Улангером. Мать Маргарита одинцовская схоронена близ бывшего скита Одинцовского, в лесу, недалеко от деревни Астафьевой; отец Никандрый – неподалеку от села Пафнутова и деревни Песочной. Пустынник Илия и мать Фекла – в лесу, близ Фундрикова скита; мать Фотиния – в лесу, неподалеку от гробницы Голиндухиной. «Смольяны» – место скита, основанного дворянами, выходцами: из Смоленска Потемкиными, из Москвы – Салтыковым, из Пошехонья – Токмачевым и другими, находятся в лесу, близ Шарпана и деревни Малого Зиновьева. Все эти места в Семеновском уезде Нижегородской губернии.

В лесах за Волгой говорят: «благодарен вами», вместо «благодарю вас» и т. п.

То есть с правого берега Волги.

Исповедуя.

Запасные дары.

Могильный памятник, состоящий из деревянного сруба с кровлей на два ската и с крестом на ее середине. Прежде в лесных сторонах ставили их и на кладбищах; теперь они запрещены.



Это так называемая «тарабарская грамота», бывшая в употреблении еще в XVII веке и ранее. Некогда она служила дипломатической шифровкой, теперь употребляется только старообрядцами в их тайной переписке. Пишутся согласные буквы русской азбуки в таком порядке:

б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, щ, ш, ч, ц, х, ф, т, с, р, п

и употребляют *б* вместо *щ*, *щ* вместо *б* и т. д. По этой тайнописи в письме к Манефе было написано: «Велено по самой скорости во все скиты послать, чтобы их описать и весь народ разобрать, и которы по ревизии не приписаны, тех бы вон выслать». Кроме этой, самой употребительной тайнописи, у старообрядцев есть еще несколько других.

Ягель – лишай, растение, близкое ко мхам, *Lichen pulmonaris*.

Угощение.

Так называется весь головной убор старообрядских инокинь: камилавка, наметка и апостольник.

Непутный человек, иногда бес.

Раздевался.

Скостил – сложил с костей долой (на счетах), то же, что похерил, уничтожил, сквитал.

Мартыном, или мартышкой, на средней Волге зовут птицу-рыболова, чайку. Плотвица – небольшая рыбка, *Syrpinus idus*.



Плѣс, или плесо, – колено реки между двух изгибов, также часть ее от одного изгиба до другого, видимая с одного места часть реки.

Малиновым зовут приятный, стройный звон колоколов или колокольчиков.

Тайник – бумажник с деньгами.

Дуван – дележ добычи.

В трактирах приволжских городов и в обеих столицах половыми служат преимущественно уроженцы Любимского уезда Ярославской губернии.

Большие мели на Волге.

Шуточная поговорка про любимовцев.

В разных городах из русского чихиря делают иностранные вина в огромном количестве. Особенно замечательны были такие производства братьев Соболевых в Ярославле, Зазыкина и Терликова в городе Кашине.



Архиерейским называли в прежнее время шипучее вино, приготовляемое наподобие шампанского из астраханского и кизлярского чихиря в нанимаемых виноторговцами Макарьевской ярмарки погребах архиерейского дома в Нижнем Новгороде.

Фальшивые кредитные билеты.

**234**

Отвесная, стоймя стоящая гора.

Марьино стояние, или стояние Марии Египетской, бывает вечером в четверг на пятой неделе великого поста. Тогда читается великий канон св. Андрея Критского, и во время его у старообрядцев и единоверцев полагается 952 земных поклона.

Тонкий канат, которым причаливают суда к пристани.

Мель, известная под названием Телячьего Брода.

Собачья Дыра – местность на Волге, находящаяся неподалеку от Телячьего Брода, тоже неблагоприятная для судоходства.

Ра́йна – иначе рея – поперечное дерево на мачте, к нему привязывается нижний край паруса.



На Волге у пароходов одного хозяина или одной компании дымогарные трубы окрашиваются условными красками. Оттого издали можно узнать, кому принадлежит пароход.

Лучшие можжевеловые палки делаются около города Козьмодемьянска и зовутся козьмодемьянками.

То есть три года.

Татинец – село на Волге близ устья Керженца. Лучшие волжские лоцманá большою частью из крестьян этого села.

Так называемые личные сапоги, употребляемые преимущественно простонародьем, шьются большей частью в селе Кимрах, находящемся на Волге в Тверской губернии. Личные сапоги шьются мездрою внутрь, а той стороной, где была шерсть, – вверх. Они смазываются маслом или дегтем.

Пароходный завод близ Нижнего, на Волге, возле дер. Сóромовой.

Захребетниками в былое время звали еще людей, купленных крестьянами на имя своего помещика. Они исправляли за своих хозяев барщину и работали на них.

То есть объявлен будет рекрутский набор.



Диана.

Французское *raison*, попавшее из помещичьих хором в крестьянские избы.

**250**

Июня 12-го.

Гранитный камень. В лесах за Волгой немало таких гранитных валунов.

Болотная птица *Rallus crex*, иначе коростель.

Обножь, иначе взяток, колошки, поноска, понос – добыча, которую пчела собирает за один вылет.

Межипарье – пора между весенними и летними полевыми работами от конца посевов до начала сенокоса.

Страда – рабочее время в полях. Первая, или малая, страда бывает весною (пахота и сев ярового поля). Она гораздо легче второй, или большой, страды, бывающей в июле и августе. Тут и сенокос, и жнитво, и пахота, и засев озимых полей.



Брусница, или брусовец, – дощечка, в виде маленькой лопаты, облитая варом (сосновая, еловая, пихтовая и всякого другого хвойного дерева смола, очищенная и сгущенная варкой, а потом посыпанная песком, который крепко пристает к вару). Брусница употребляется для точенья кос и горбуш.

Бродячий по деревням скупщик, преимущественно льна, всегда большой руки плут и балясник. Оттого ему и прозвище «масляно рыло, краснобайный язык». Лен скупает булыня по осени и зимой, а летом торгует косами и серпами. Он большей частью отдает их в долг, что крестьянам на руку, оттого что летом у них – пора не денежная. Осенью, забирая лен, булыня охулки на руку не кладет – процентов двести придется ему за отдачу в долг серпов и кос.

Литовка – русская большая коса, с прямым косьем (рукояткой).  
Горбуша – малая коса, с коротким и кривым косьем.

Изгрёбной лен, или просто изгребь, – грубые льняные волокна, остающиеся от вычески отмятого и оттрепанного щеткою льна. Из него делают рядно – самый грубый холст, идущий на мешки, на покрышки возов и т. п.

Лен-сланец – первый сбор волокна, моченец – второй, плаун – волокно короткое, мягкое и тонкое, долгунец – длинные, но жесткие волокна.

**261**

Кусок холста в тридцать аршин.

Талька – моток ниток, состоящий из 20 пасем, а пасьма – из 15 чисменок, в чисменке четыре нитки (кругом), каждая по четыре аршина. Таким образом, в тальке 4800 аршин пряжи. Такой счет ведется в Нижегородском и Костромском Заволжье, в Вятской губернии и вообще на севере. По другим местам другой счет пряжи ведут; около Москвы, например в Калужской и в Тульской губерниях, в тальке считают 20 пасем, каждая на 10 чисменок в четыре нитки, то есть 3200 аршин в тальке.

Костяника, или каменика, – *Rubus saxatilis*, у нее всегда по три ягодки вместе. Гонобобель, по другим местам голубица, пьяница, дурила ягода – *Vaccinium uliginosum*.



Масляник – *Boletus lateus*, самый ранний гриб, кроме сморчков (*Morchella*), который крестьянами за гриб не считается и в пищу не употребляется.

Известный старинный обычай – драть за уши всякого, кто первый раз в том году ест новинку: первые ягоды, первые грибы, овощи и пр.

С воскресенья Всех Святых начинается Петров пост.

Русская песня начинается запевалой, самым голосистым песенником изо всех. Он, как говорится, «затягивает» и ведет песню, то есть держит голос, лад и меру. Запевало – обыкновенно высокий тенор; к нему пристают два «голоса»: один тенор, другой бас, первый «заливается», другой «выносит», то есть заканчивает каждый стих песни в одиночку. Подголосками называются остальные песенники. Расстанная песня (по иным местам разводная) – та, что поют перед расходом по домам. Таких песен много, все веселые.

Мостом называют большие холодные сени между переднею и заднею избами, в иных местах – только пол в этих сенях.

В деревнях простой народ часов не знает, считает время по «поводкам». Уповодок – собственно время работы за один прием: от еды до еды, от роздыха до роздыха. Зимой во дню три уповодка, летом четыре. Первый летний уповодок от восхода солнца и перекуски (ломоть хлеба) до завтрака (то есть с четырех или пяти часов до восьми часов утра); второй – от завтрака до обеда (с восьми часов до полудня); третий – от обеда до пауженки (еда между обедом и ужином), то есть от полудня до трех или четырех часов пополудни; четвертый – от пауженки до солнечного заката и ужина, то есть до восьми или девяти часов. За Волгой и вообще в лесах на севере завтракают с восходом солнца, обедают в девять часов утра, в полдень полудничают, в три или четыре часа бывает паужена, на закате солнца ужин.

Июня 20-го, Мефодия Патарского – праздник перепелятников.

Тыква.



Так поется эта зауко́йная песнь по дони́коновскому переводу.

Милостыня, раздаваемая по рукам на кладбище или у ворот дома, где справляют поминки.

Старинное слово: свеча, величиной в ослóп. А ослоп в лесах на севере и доселе означает дубину, стяг.

Полной заупокойной стихеры «Создателю и творче» ни в одной старопечатной книге нет. Только в «уставе» сказано: «По сем восстав от трапезы поем: «Создателю и творче», но дальше ни одного слова текста стихеры не напечатано. Это некоторых ревнителей на Керженце вводило в немалое сомнение, пока не был привезен из Москвы полный текст поминальной стихеры. Он находится только в рукописных крюковых певчих книгах XVII столетия, довольно редких.

От греческого «Proscunw» – поклоняюсь. Описание путешествия ради поклонения святым местам.

Қаңдалы.

Умная молитва – мысленная, без слов.

Подпешить – сделать птицу пешею посредством обрезки крыльев.



Толкунцы, или толкачи, – рои мошек.

Одна из отдаленных окраин Москвы, поблизости Рогожского кладбища. В Сыромятниках живет немало старообрядцев рогожского согласия.

Встречник – противник в споре, иногда враг.

Жители Крестецкого уезда Новгородской губернии.

Чищею называется безлесная полоса вдоль левого берега Волги шириною верст на двадцать, двадцать пять и больше.

Разные виды русских поярковых шляп.

Город и большое село на Волге в Костромской губернии. Калязин – город Тверской губернии, тоже на Волге.

Крестины.



Кизяк – сухой навоз, обделанный в форму кирпича.

Плут.

Кинешемского уезда Костромской губернии.

**291**

1812 год.

Заобихожий – лишний в доме.

Рознежье – село на левом берегу Волги, повыше Васильсурска. Здесь весной во время водополья ловят много маломерных стерлядей и вялят их.

Певчие книги. Крюки – старинные русские ноты, до сих пор обиходные у старообрядцев.

Истопки – изношенные лапти.



На Горах – на правом берегу Волги.

Июля 23-го.

Августа 1-го.

То есть записанных в полицейские списки.

Думка – маленькая подушка, подкладываемая под щеку.

**301**

Изурóчить – колдовством навести на человека болезнь, испортить.

Притка – посредством порчи напущенная болезнь с обмороками, беспричинными рыданиями и истерическими припадками.

Сурóчить – знахарскими заговорами снять напущенную на человека болезнь.



Урок – порча.

Призор очес, сглаз – порча, происходящая от взгляда недобрым глазом.

Кумоха – лихорадка.

По́мста – наказание, мщение.

Летун – летучий воздушный дух, огненный змей.

Кочет – петух. Первые кочета «полночь опевают», вторые (перед зарей) «чертей разгоняют», третьи (на заре) «солнышко на́ небо зовут».

В скитах и вообще в Керженских и Чернораменских лесах иерусалимской слезой в шутку называют водку.

Мóлостью за Волгой зовут ненастье, слякоть, мокрую и ветреную погоду.



Хороводиться – знать, водиться с кем.

Мечтание, мечта – в народном языке употребляется лишь в смысле привидения, призрака, обмана чувств сверхъестественною силою.

Выступки – род женских башмаков с высокими передами и круглыми носками.

Застреха – желоб под скатом крыши, в который упираются нижние концы теса или драни. На застрехах по деревням обыкновенно воробьи живут, отчего и называются подзастрешными.

Пестер, иначе пещур, – заплечная котомка из лыка, иногда прутьев.

Июня 16-го св. Тихона.

**318**

*Smillax sarsaparilla.*

Картофель.



**320**

Отделать – снять порчу.

Вместо «польза» в Нижегородском и Костромском Заволжье говорят «польга».

**322**

Петров крест – *Lathraea Squammaria*.

Адамова голова, иначе Адам-трава, или кукушкины сапожки –  
*Cypripedium Calceolus*.

Плакун, иначе луговой зверобой – *Hypericum Ascyron*.

Чертогон – *Scabiosa Succisa*.

одолень – *Nymphaea alba*. Тем же именем «одолень» зовется и другое растение *Euphorbia pilosa*.

Водяница – нечистая сила в водах, поляница – в полях и вообще на земле.



Прострел-трава, иначе лютик – *Aconitum Iuscoctonum*.

Царь-трава, иначе купальница – *Ranunculus acris*.

Смотница – сплетница, клеветница.

**331**

Повилика – *Cuscuta*.

Поло́й – более или менее обширная яма вблизи лугового берега большой реки. В полое через все лето остается залившаяся во время весеннего разлива вода. Заво́дь – узкий полый, отделенный от реки узенькою гривкой, за которою заливная вода стоит до усышки.

Верховою Волгой называется эта река выше устья Оки. Усолье – соляные варницы. Каменная дорога – шоссе. Стрелка – мыс, образуемый слиянием двух больших рек.

Единоверческой.

У старообрядцев и единоверцев при совершении брака вокруг наложниц ходят по солнцу. Исая ликуй не поют, вино пьют из стеклянного сосуда, который потом жених бросает на пол и растаптывает ногой. До Никона патриарха это было всеобдержным обычаем, он сохранялся даже и на царских свадьбах.



**336**

Фрак.

Таевочная, иначе крышечная циновка – та, что делается в три аршина длины и полтора ширины. Каждого размера циновка имеет свое название: романовка, баковка, казанка и т. д.

Закрой неба – нижний край видимого горизонта.

Писатель притчей, царь Соломон.

Кашка, или тысячелистник, – *Achillea millifolium*. Медуница – *Pulmonaria officinalis*. Донник – *Millolotus officinalis*.

Бортевая пчела, прижившаяся в борти – долбленом дереве, нарочно для пчел в лесу приготовленном. Шмель, или земляная пчела, – *Bombus*. Оса – *Vespa*. Шершень – самая большая порода осы.

Зверобой – *Figularia Sibirica*. Бубенчики – *Jris Sibirica*. Купёна, из  
породы ландышей – *Convallaria bifolia*.

Вяхирь, дикий голубь – *Columna palumbus*. Ветюлень, лесной голубь – *Columna oenas*. Желна́, большой дятел, поедающий пчел, – *Picus martius*. Иволга – *Oriolus galbula*. Соя, или сойка, лесная птичка с хохолком и голубым зеркальцем на горлышке, из рода ворон – *Corvus glandorius*. Свиристель, лесная птичка со скворца, с ярко-алыми лепестками на крылышках – *Ampelis garrulus*.



**344**

Сон-трава, сонуля, дрема – *Viscaria vulgaris*.

**345**

Верхняя одежда, плащ.

Это сказание находится и в Печерском патерике, и в летописи преподобного Нестора.

**347**

Апреля 12-го.

Так в северных и восточных губерниях зовут вьюгу.

Осока – *Carex visicaria*. Белоус – *Nardus stricta*.

**350**

16 июня 1708 года.

Водяной лапушник, *Nimphaea*.



Место, где лес вырублен, выкорчеван и сожжен под посев; пашня, расчищенная из-под лесу.

Сокола и другую ловчую птицу носят на руке, поколь не заснет, и таким образом приручают. Это называется вынашивать. Перевабить – перезвать сокола, переманить вабилом с места. Вабило – пара птичьих крыльев; ими машут, посвистывая, для призыва выношенной ловчей птицы.

По переведении в 1817 году Макарьевской ярмарки в Нижний Старый Макарьем зовут уездный город Макарьев, при котором знаменитая ярмарка существовала с начала XVII столетия. Каменский лес вблизи Волги на левой стороне ее, ниже Макарьева, называется так по селу Каменке, находящемуся на Рознежской заводи реки Волги. Сплошной с ним лес, простирающийся к востоку, называется Дорогучинским, по речке Дорогуче. К северу от них Ветлужские леса, по реке Ветлуге. В этих местностях до расхищения казенных лесов, бывшего в пятидесятых годах, жило немало пустынников.

Озеро Нестиар на левой стороне Керженца среди глухого леса.

Рымские леса, отрасль Унженских и Ветлужских, тянутся вдоль реки Черного Луха, впадающего в Унжу. Они в Макарьевском уезде Костромской губернии. Называются так по деревням Большие и Малые Рымы. Писатели о расколе в конце XVII и в начале XVIII столетия, говоря об этих лесах, наполненных тогда беглыми раскольниками, исказили их название и называли Брынскими. Позднейшие писатели искали эти леса около Брянска... Этим много внесено путаницы в историю раскола. Полома, или Поломский лес, – на юг от Рымских, отделяется от них верховьями Керженца, который тут течет еще в виде небольшого лесного ручья.

**357**

Частый кустарник.

Горящие ветки хвойных деревьев.

23 и 24 июня.



Череда – *Bidena tripartita*. Шалфей – *Salvio officinalis*. Мать-и-мачеха – *Tussilago farfara*. Ромашка – *Chamomilla vulgaris*. Зверобой – *Hypericum perforatum*. Девясил – *Inula helenium*. Перелет-трава – сказочное растение, как и цвет папоротника; его радужный, огненный цвет мотыльком перепархивает по воздуху в Иванову ночь. Есть и настоящие травы, называемые перелетом; одна – *Oenothera*, другая – *Lotus corniculatus*. Ревенька – ревень, *Rheum rharonticum*. Архилин – сказочное растение. Тирлич – *Gentiana amarella*. Спрыг-трава, она же разрыв-трава – сказочное растение, с помощью которого даются клады, а замки и запоры сами спадают.

Иван-да-Марья – *Viola tricolor*. Любисток, или заря, – *Ligusticum levisticum*. Любовная трава, или любжа, – *Orchis incarnata*.

**362**

Купальница – *Trollius loricatus*.

Непременное условие при добывании «живого огня», чтоб его приняла перворожденная, непорочная девица. Перворожденную отыскать не трудно, но чтоб не ошибиться в другом – дают лучину восьми-девятилетней девочке.

Иначе светляк, появляющийся обыкновенно около 24 июня.

Растение *Byssus phosphorea*. Его цветки иногда светятся ночью. Мышиным огнем называется также древесная гнилушка, издающая по ночам фосфорический свет.

В Нижнем Новгороде до сего времени сохранилось старинное народное гулянье на «Ярилином поле» 24 июня. В Муроме и Костроме в тот же день хоронят чучело Ярилы из травы или соломы; в Кинешме и Галиче на игрищах Ярилу представляет старик – «дедушка, золотая головушка, серебряна бородушка»; по рекам Вятке и Ветлуге сохранились местами остатки ярилиных купальских празднеств.

Нижегородской губернии (на самой границе с Костромской) Макарьевского уезда, близ села Люнды (Владимирское то ж). Дно этого глубокого озера со всех сторон покато и песчано.



Г. Поливанов лет в пять собрал здесь значительное число орудий каменного периода.

Былины об Илье Муромце и про Суровца Суздальца. Князь Никита Байборода – лицо историческое (1350–1372 гг.).

Перехожими старцами зовут старообрядских монахов, живущих не в монастырях, а по домам в селениях. Между ними немало и произвольно надевших на себя иноческое одеяние.

Июня 23-го, на день Аграфены Купальницы, празднуют иконе Владимирской Богородицы.

**372**

Июля 5-го.

Стихи заутрени после канона.

Гуслицы, или Гуслицкая волость (в нынешнем Богородском уезде Московской губернии), и в начале XVIII столетия, как и теперь, заселена была почти сплошь раскольниками.

**375**

1 сентября 1743 года.



Через восемнадцать лет все пострадавшие по этому делу были объявлены невиновными.

В 1853 году. Факт.

**378**

26 июля.

Айда́ – татарское слова, иногда значит: пойдём, иногда – иди, иногда – погоняй, смотря по тому, при каких обстоятельствах говорится. Это слово очень распространено по Поволжью, начиная от устья Суры, особенно в Казани; употребляется также в восточных губерниях, в Сибири.

Катавасиею (греческое *catabasiz* – сход) называются ирмосы, которыми покрываются песни канона. Катавасии в торжественных случаях поются обоими клиросами, которые для того сходятся среди церкви.

**381**

Мед, поставляемый на аналогий во время пения панихид.

Ур<sup>о</sup>сливый – от уросить – капризный, своевольный. Слово это употребляется в Поволжье, в восточных губерниях и в Сибири. Происходит от татарского урус – русский. Татары своевольных и причудливых людей зовут русскими.

Большие удельные села в захолустье Варнавинского уезда.



Коровинская – поповщинская часовня в Казани на Булаке у Татарского моста. До обращения в единоверческую церковь была монастырьком.

Утренняя служба, вместо обедни.

Фарш из свежей частиковой (то есть не красной) рыбы, преимущественно из судака или щуки.

Старинное пирожное, постоянно бывавшее за царскими столами. Это пряженое на масле печенье, приготовленное в «сушь», на него кладут варенье. Хворосты и теперь употребляются в среднем классе горожан и у богатых крестьян. В скитах – самое любимое пирожное.

Мисинное – старинное название пирожных, подаваемых не на блюдах, а в чашах, в мисках.

Обед у молодых после свадьбы.

**390**

Убежать.

Златорогий олень, как олицетворение солнца, нередко встречается в старинных песнях, сказках и преданиях русского Севера.



Общественное моление (языческое), принесение в жертву животного, съедаемого молельщиками. Это старорусское слово перешло и к мордве.

Жертвенное мясо. Теперь моленным (иногда «петым») кусом зовут снеди, освящаемые в церкви: куличи, сыр и пр.

Народное поверье.

Есть поверье, что в лета стародавние ежегодно на Петров день выходил из лесу олень и сам давался в руки людям на разговенье. Об этом намек в Житии Макария Желтоводского (XV столетия). Братчина, иначе ссыпчина, – праздник на общий счет.

Петр-Золотые-Ключи – олицетворение солнца, как Илья пророк – грома и т. п. Петр-Павел – соединение в одном лице двух, так же, как Кузьма-Демьян, Флор-Лавер и пр.

Петров пост зовется голодным, потому что ни овощи, ни грибы еще не поспели, а хлеб на исходе. Говорят: «Петровка-голодовка, спасовка-лакомка» (спасовка – Успенский пост). Общее великорусское поверье, что Петров пост бабы у Бога выпросили для скопа масла. Молёный, или обреченный, баран обыкновенно назначается на петровскую братчину. Петровских баранов брали помещики с крестьян, берут попы с прихожан.

Новый хлеб.

Пресные пироги с творогом.



Обычай на Севере, а отчасти в Средней России.

Чучело Ярилы из соломы. В Малороссии оно зовется «Кострубонькой». Его хоронят в Казанской губернии – накануне Троицына дня; около Владимира и Суздаля, а также в Пензенской и Симбирской губерниях – в Троицын или в Духов дни; в Ярославской и в западной части Костромской губернии – в воскресенье Всех святых, а местами – в Петров день; в Тверской губернии – в первое воскресенье Петрова поста; в других местах Великой России, особенно в степных, а также в Малороссии – 24 июня; в восточной части Костромской губернии, местами в Нижегородском Заволжье и в Вятской губернии – в Петров день. Похоронами Ярилы, или Костромы, кончаются летние хороводы и гулянья, за ним наступает «страда» (усиленные полевые работы на покосе, на жнитве, молотье и т. д.). С июля (1 июля – «лета макушка») все увеселения прекращаются до осенних «капусток» (в конце сентября). Местами в Ильин день, в дожинки (конец жатвы), в Семен-день (1 сентября) бывают хороводы, но небольшие, и водят их непóдолгу.

Тихий ветер, обыкновенно бывающий на утренней заре. О нем говорят: «зорька потянула».

Выведенным.

Разумеется, не одно сердце, но легкие, печенка, почки, мозги, языки, губы и уши.

Сергачские крестьяне водят по деревням ученых медведей, при них неразлучна «коза» (мальчик-подросток в длинном холщовом балахоне, который он держит на палке; сверху балахона сделаны из дерева козы челюсти и рога). Другой подросток, а иногда и сам «поводырь» во время пляски медведя бьет в барабан, то есть в лукошко.

Былина о Ваське Буслаеве.

Пресная на масле лепешка с кашей, с творогом или со сметаной.



Млечный Путь.

Живите в любви и согласии.

Церковные песни (на вечерне), начинающиеся словами псалма:  
«Господи, воззвах тебе».

Нанимаемые сельскими обществами для разъездов полицейских чиновников и волостных властей.

Поповщинская часовня, находившаяся в Петербурге на Разъезжей улице, в доме купца Королева. Уничтожена около 1840 года.

Вобла, или обла, – рыба, *Cyprinus grislagine*, тарань – *Cyprinus vimba*. Их вялят с просолом на солнце и продают в огромных количествах по самой дешевой цене. Вяленая вобла распространена по Поволжью, тарань – по Дону, Азовскому и Черноморскому побережьям.

Родом из села Ерахтура, Рязанской губернии, Касимского уезда. В нем много старообрядцев поповщинского согласия.

**415**

Деревянная тарелка, на которой крошат говядину или рыбу.



Последняя заздравная чарка вина на прощанье.

Сказала: «Аминь».

В действительности эта грамота послана была Софронию через три года по постановлении владимирского архиепископа Антония, то есть в 1856 году.

Лжет.

Черниговской губернии.

Косоклиный – широкий в подоле, с перехватом в стане. Саян – распашной сарафан (сарафанчик-расстегайчик) на застежках спереди, от пояса до подола.

**422**

Плеяды.

Большая Медведица.



Холодненьким в купеческих беседах зовется шампанское и вообще шипучее вино.

На другой день Петрова дня, 30 июня, празднуется двенадцати апостолам.

Истинник – наличные деньги, капитал.

К Ефесеям, V – 16. В старом переводе: «зли» вместо «лукави».

Деисус – ряды икон ярусами, иконостас. В тесном смысле три иконы: Спасителя, Богородицы и Иоанна Предтечи.

Переводом у старообрядцев называется новая перепечатка богослужебных книг: слово в слово, буква в букву со старопечатными московской печати времен первых пяти патриархов. В конце XVIII столетия, за оскудением старопечатных книг, много переводов печаталось в посаде Клинцах (Черниговской губернии) в тайных типографиях. На этих переводах в выходах означалось, будто они печатаны в Почаеве, тогда еще не принадлежавшем России.

В старину в монастырях, как мужских, так и женских, за провинности сажали на цепь в поварне. В женских монастырях сажали на погреб. Эти наказания до последнего времени удерживались в старообрядских скитах, где твердо сохранялись всякого рода старинные обычаи.

Выражение, употребляемое в Поволжье, взято от татар: «ни тебе, ни мне».



Черноречье – по левому берегу низовья Оки в Балахонском уезде.

Кусовáя морская – длиной от 10 до 13 сажен, поднимает до 25 тысяч пудов, ловецкая от 3 до 4 сажен, живоднáя – прорезь с садком для пойманной рыбы. В ней возят живую воблу, употребляемую при ловле белуг на «кус», то есть на приманку. Рёюшка – малая кусовая лодка для морского промысла, длиной 7 сажен, без закроя (палубы), с косыми парусами. При ней ходит бударка – узкая, с длинным носом и косым парусом. Эмбенка – при кусовой морской, длиной две-три сажени, без закроя. Косная – легкая лодка, для разъездов промысловых приказчиков и т. п., длиною от полутора до двух сажен, шестивесельная или восьмивесельная, с двумя косыми парусами.

Село Нижегородского уезда на Волге. Кóванец – большой рыболовный крюк для ловли больших рыб. Кусовой самоллов – кованцы, подвешенные на хребтине (веревка с поводцами, к коим прикреплены кóванцы), для ловли большой красной рыбы. Дель – конопляная ручная пряжа, из нее вяжут ловецкие (рыболовные) сети для промыслов в Ягодном, Княгининского уезда, и по окрестным селениям. Ставные сети – на красную рыбу стоят как тенета на одном месте во все время лова. Плавная сеть – подвижная, плывущая по течению реки. В Горбатове делают бечеву для ловецких снастей. Татинец и Кадницы – приволжские села Макарьевского уезда Нижегородской губернии.

**435**

Место для неводного зало́ва рыбы.

Старый Макарий – город Макарьев на Волге, где до 1817 года бывала нынешняя Нижегородская ярмарка.

Маханина – конина.

В 1832 году.

Черствыми именинами зовут день, следующий за днем ангела.



На больших, богатых свадьбах бывают три свахи: «женихова» – которая сватает; «погуби-красу», она же «расчеши-косу», иначе «невестина» – что находится при невесте во время свадебных обрядов и расчесывает косу после венчания; «пуховая», или «постельная», – которая отводит молодых на брачную постель, а поутру убирает ее.

Обрядня – женское хозяйство, женский обиход – платье, белье и пр., также все до стряпни относящееся.

Сойка – лесная птица, *Corvus glandarius*.

Канителить – длить, волочить, медлить делом. Иногда – ссориться, браниться.

Бахвалиться – хвастаться, самохвальничать.

Населенная местность, где церковь с кладбищем, но домов, кроме принадлежащих духовенству, нет.

Жители погоста.

**447**

Зеленуха – трехрублевая бумажка.



То же.

**449**

Двадцатипятирублевый кредитный билет.

Восьэтто, или восейка, – недавно, на днях, намедни.

**451**

Круча – утес, обрыв, гора стеной.

Талагай – болван, неуч, невежа.

Щепетко – щегольски, по-модному, но неловко. Щепетун – щеголь, щепет – щегольство. Слова эти употребляются в простом народе Нижегородской и других поволжских губерний.

Высший сорт чая.

Наемный работник, также наемный охотник в солдаты.